This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

ПАМЯТИ

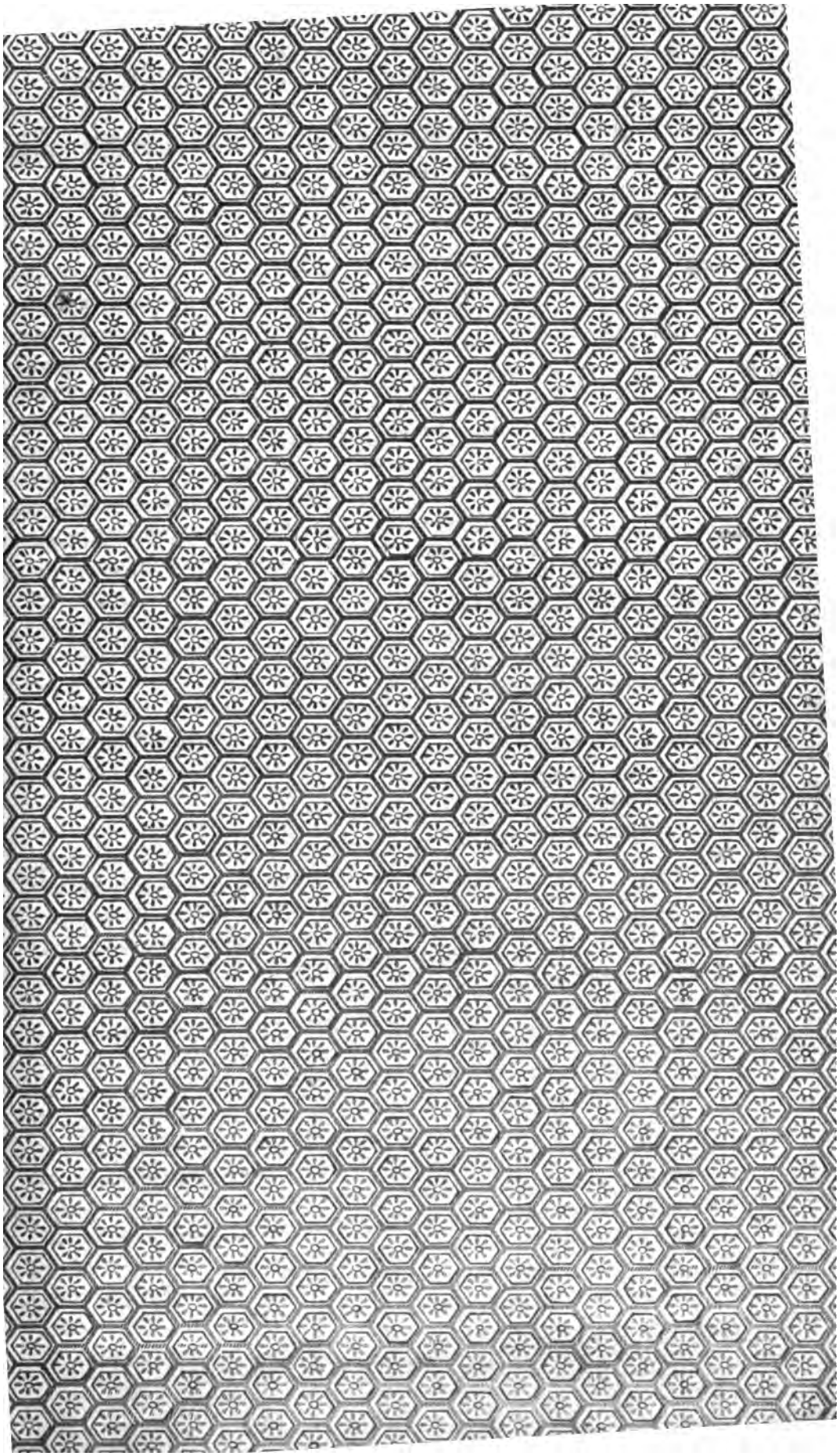
БѢЛИНСКАГО

THE HOOVER LIBRARY

ON

WAR, REVOLUTION, AND PEACE

STANFORD LIBRARIES



ПАМЯТИ
БѢЛИНСКАГО

ПАМЯТИ В. Г. БѢЛИНСКАГО

Thesis

0

Penza. Russia. Lermontovskaia obshchestvennaia biblioteka
1913

ПАМЯТИ В. Г. БѢЛИНСКАГО

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИКЪ,

составленный

ИЗЪ ТРУДОВЪ РУССКИХЪ ЛИТЕРАТОРОВЪ

съ 3 фототипіями

Изданіе Пензенской общественной библіотеки
имени М. Ю. Лермонтова.

МОСКВА
ТОВАРИЩЕСТВО ТИПОГРАФІИ А. И. МАМОНТОВА
ЛЕОНТЬЕВСКІЙ ПЕР., Д. МАМОНТОВА
1899

185120

Дозволено цензурою. Москва, 5 марта 1899 года.

THE NOVELA LIBRARY

ОТЪ ИЗДАТЕЛЕЙ.

Сборникъ „Памяти Бѣлинскаго“, составленный изъ трудовъ русскихъ литераторовъ и ученыхъ, издается Общественною Библіотекой имени М. Ю. Лермонтова въ Пензѣ, какъ воспоминаніе о чествованіи великаго критика въ годовщину пятидесятилѣтія его кончины.

Правленіе Библіотеки приноситъ искреннюю благодарность авторамъ, доставившимъ свои статьи, художнику И. А. Астафьеву за разрѣшеніе воспользоваться для сборника его рисункомъ—„Бѣлинскій въ гробу“ и художнику М. Е. Малышеву за составленіе рисунка для обложки. Нельзя не выразить признательности и памяти П. М. Третьякова, который незадолго до своей кончины разрѣшилъ сдѣлать для сборника снимки съ находящихся въ Третьяковской галереѣ оригинальныхъ портретовъ великаго критика работы К. А. Горбунова и О. М. Языковой. Портретъ, рисованный Горбуновымъ, былъ доселѣ извѣстенъ только по литографіи 1843 г. и ея позднѣйшимъ воспроизведеніямъ, а портретъ работы Языковой—лишь по нѣсколькимъ снимкамъ, которые однако были сдѣланы не съ оригинала, а съ копіи. Всѣ три фототипіи исполнены для сборника фирмой Шереръ, Набгольцъ и К° въ Москвѣ; рисунокъ же обложки исполненъ въ цинкографіи товарищества А. И. Мамонтова и К°.

Правленіе выражаетъ также глубокую признательность лицамъ, взявшимъ на себя нелегкій трудъ и заботы по составленію и печатанію сборника: П. А. Ефремову, А. Е. Грузинскому и В. Е. Якушкину.

Выходъ сборника значительно задержался по различнымъ причинамъ. Въ виду этого Правленіе Библіотеки считаетъ своимъ долгомъ извиниться передъ лицами, заранѣе подписавшимися на сборникъ, какъ за такое опозданіе, такъ и за неполное соотвѣтствіе содержанія сборника съ первоначальными о немъ объявленіями, потому что не всѣ обѣщанныя авторами статьи были ими доставлены.

Чистый доходъ отъ сборника предназначенъ въ фондъ имени Бѣлинскаго, образуемый для просвѣтительныхъ цѣлей при Общественной Библіотекѣ въ Пензѣ.

— ———

26 мая 1898 года.

I.

Сборникъ, посвященный памяти Бѣлинскаго, былъ задуманъ обществомъ Лермонтовской библіотеки въ Пензѣ въ связи съ организаціей торжественнаго чествованія великаго критика. Какъ извѣстно, празднованіе и въ самой Пензѣ неожиданно получило широкій общественный смыслъ, благодаря дружному отклику со всѣхъ концовъ Россіи, и, кромѣ того, широкою волной разлилось по городамъ и весямъ, отъ столицъ до глухихъ захолустій, при чемъ первые звуки торжества раздались еще въ 1897 г. (въ Кіевѣ), а послѣдніе отголоски ихъ замирали уже въ октябрѣ и ноябрѣ 1898 года.

Естественно поэтому начать сборникъ съ разсказа о томъ, какъ прошли „дни Бѣлинскаго" въ Пензѣ и какъ почтила его память вся Россія *).

Исторія организаціи пензенскихъ торжествъ была изложена въ вступительной рѣчи предсѣдателя правленія Лермонтовской библіотеки, д-ра К. Р. Евграфова, открывшаго ею литературный вечеръ 26 мая въ залѣ Дворянскаго собранія. Здѣсь говорилось:

„Мысль о чествованіи памяти В. Г. Бѣлинскаго — писателя, по происхожденію, по первоначальному и гимназическому образованію принадлежащаго Пензенской губ., зародилась въ Пензѣ уже давно. Болѣе опредѣленную форму и выраженіе она приняла въ средѣ членовъ зарождавшагося Общества Лермонтовской библіотеки въ

*) Слѣдующее ниже изложеніе составлено по свѣдѣніямъ, полученнымъ изъ Пензы, и по печатному матеріалу (всего болѣе по корреспонденціямъ Б. А. М—ча въ „Саратовскомъ Дневникѣ" и по газетнымъ статьямъ, собраннымъ въ книжкѣ Б. Глинскаго).

1891 году, когда праздновалась память другого великаго земляка нашего, М. Ю. Лермонтова. Такое совпаденіе, разумѣется, было весьма естественно, такъ какъ имя Бѣлинскаго неразрывно связано съ именемъ всѣхъ корифеевъ русской литературы послѣдняго пятидесятилѣтія, а съ именемъ Лермонтова—особенно близко и тѣсно. Кружокъ пензенской интеллигенціи тогда уже, при постановкѣ памятника Лермонтову, началъ лелѣять мысль о памятникѣ Бѣлинскому. Затѣмъ въ слѣдующемъ, 1892 году, директоръ I-й Пензенской гимназіи А. Е. Соловьевъ предложилъ своему Педагогическому Совѣту начать сборъ средствъ среди преподавателей гимназіи на постановку бюста В. Г. Бѣлинскаго въ скверѣ гимназіи и портрета въ актовомъ залѣ. Наконецъ, 3 мая 1897 года въ Пензенскую городскую думу поступило ходатайство членовъ Общества библіотеки имени М. Ю. Лермонтова. „Наступаетъ пора,—говорилось въ этомъ ходатайствѣ,—для торжественнаго признанія великихъ заслугъ Бѣлинскаго передъ русскимъ обществомъ. Истолковывая и выясняя значеніе литературныхъ произведеній нашихъ великихъ писателей—Пушкина, Лермонтова, Гоголя и др.—и подготовляя этимъ почву для появленія всей новѣйшей русской литературы съ такими корифеями ея, каковы Тургеневъ, Достоевскій, Толстой, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ будилъ и распространялъ въ русскомъ обществѣ любовь къ истинному, прекрасному и высокому, уча его уважать достоинство человѣческое, любить ближняго, быть гуманнымъ. Воспитательное значеніе его свѣтлой личности и его произведеній громадно и неоспоримо. На его сочиненіяхъ воспитались дѣятели преобразовательной эпохи Императора Александра II-го и то поколѣніе, которое вынесло на своихъ плечахъ и провело въ жизнь всѣ великія реформы этого царствованія“. И далѣе: „Годы дѣтства В. Г. Бѣлинскаго протекли въ предѣлахъ Пензенской губ. Учился онъ въ Пензенской гимназіи, и, хотя родился въ гор. Свеаборгѣ, но весь родъ его принадлежалъ къ кореннымъ жителямъ Пензенской губерніи, и самая фамилія его происходитъ отъ названія села Бѣлыни Нижне-Ломовскаго уѣзда, Пензенской губерніи, гдѣ дѣдъ его священствовалъ. Такимъ образомъ, Пензенская губ. по праву можетъ присвоить себѣ честь именоваться родиной Бѣлинскаго, и никому другому, какъ пензенскому обществу, надлежитъ принять на себя иниціативу чествованія его памяти. Въ виду этого общее собраніе членовъ Пензенской общественной библіотеки имени М. Ю. Лермонтова сочло своимъ долгомъ обратиться къ пензенской городской думѣ съ просьбой о томъ, чтобы городское управленіе приняло на себя трудъ исходатайствовать Высочайшее соизволеніе на открытіе всероссійской подписки на памятникъ В. Г. Бѣлинскому въ г. Пензѣ

и на основаніе какого-либо просвѣтительнаго учрежденія его имени". При этомъ общество выразило надежду, что городское управленіе приметъ мѣры къ тому, чтобы самый день пятидесятилѣтія 26 мая 1898 года ознаменовался торжественнымъ празднествомъ въ честь В. Г. Бѣлинскаго.

„Ходатайство это, по разсмотрѣніи въ засѣданіи 23-го мая 1897 года, уважено думой, единогласно постановившею ходатайствовать о разрѣшеніи всероссійской подписки на постановку памятника Бѣлинскому. Для разработки программы чествованія его памяти въ день 26 мая дума избрала комиссію подъ предсѣдательствомъ гор. головы Н. Т. Евстифѣева, изъ гласныхъ — П. П. Львова, Н. Р. Евграфова, С. П. Бѣлоярцева, Н. Н. Мещерякова, А. С. Ѳедотова, Н. И. Пульхерова, К. Е. Бартмеръ и Ѳ. К. Штольцъ. Къ участію въ трудахъ этой комиссіи Дума постановила приглашать и членовъ правленія Библіотеки имени М. Ю. Лермонтова.

„Съ своей стороны, Общество библіотеки постановило: 1) *издать литературный сборникъ памяти Бѣлинскаго, доходъ отъ котораго обратить въ особый при библіотекѣ фондъ имени Бѣлинскаго на поддержаніе или созданіе просвѣтительнаго учрежденія его имени;* 2) ходатайствовать о разрѣшеніи наименовать безплатную народную библіотеку-читальню именемъ В. Г. Бѣлинскаго.

„Иниціатива чествованія памяти Бѣлинскаго со стороны городского управленія и пензенскаго общества скоро вызвала благородный откликъ и въ другихъ мѣстахъ, о чемъ прекрасно свидѣтельствуетъ поступившее отъ московской почетной гражданки Варвары Алексѣевны Морозовой пожертвованіе въ 2000 руб. на библіотеку имени В. Г. Бѣлинскаго. Вскорѣ затѣмъ изъ Парижа отъ скульптора М. Я. Каплана поступило заявленіе на имя городского головы, въ которомъ г. Капланъ предлагалъ гор. Пензѣ памятникъ, предназначавшійся имъ первоначально на могилу Бѣлинскаго, при чемъ отъ вознагражденія за трудъ г. Капланъ отказался. На приглашеніе правленія библіотеки принять участіе въ сборникѣ „памяти Бѣлинскаго", обращенное къ русскимъ писателямъ и ученымъ, съ горячимъ сочувствіемъ отозвались лучшія силы современной литературы. Августѣйшій Покровитель библіотеки также разрѣшилъ помѣстить въ сборникъ одно изъ своихъ поэтическихъ произведеній.

„Ходатайство города о разрѣшеніи всероссійской подписки на памятникъ, представленное 13 іюня 1897 года, было отклонено г. министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, при чемъ г. министръ выразилъ, что съ его стороны не встрѣтилось бы препятствій къ разрѣшенію чествованія памяти Бѣлинскаго г. Пензой и къ сооруженію ему па-

мятника на средства, имѣющіяся въ распоряженіи города, если бы отъ городской управы было возбуждено ходатайство о томъ въ установленномъ порядкѣ. Такое ходатайство было возбуждено отъ городского управленія, при чемъ была представлена программа чествованія, выработанная комиссіей и принятая думой 28 января 1898 года. Въ ходатайствѣ этомъ, помимо программы самаго чествованія 26 и 27 мая, заключалась также просьба о разрѣшеніи на открытіе памятника по проекту г. Каплана, если онъ будетъ готовъ, или же, въ противномъ случаѣ, на освященіе мѣста и закладку фундамента памятника, а также ходатайство объ учрежденіи музея имени Бѣлинскаго, въ которомъ были бы собраны реликвіи, относящіяся къ его памяти. Губернское земское собраніе, въ засѣданіи своемъ 17 декабря 1897 года, ассигновало 300 руб. въ видѣ пособія городу на расходы по чествованію Бѣлинскаго.

„По разсмотрѣніи программы, представленной отъ городской думы, г. министръ Внутреннихъ Дѣлъ 28-го марта 1898 года увѣдомилъ г. пензенскаго губернатора, что онъ находитъ включеніе въ программу торжествъ закладки фундамента памятника или самаго открытія преждевременнымъ въ виду того, что невозможно предвидѣть, удостоится ли представленный проектъ памятника Высочайшаго утвержденія или нѣтъ, а также въ виду того, что городомъ не представлено смѣты и подробнаго проекта памятника, равнымъ образомъ въ виду того, что въ постановленіи не выяснено, имѣется ли въ наличности необходимая для покрытія расходовъ сумма и изъ какого источника она получена, или только предназначена къ поступленію. Равнымъ образомъ г. министръ Внутреннихъ Дѣлъ нашелъ, что торжество, устраиваемое по почину мѣстнаго общества, не можетъ носить характера всероссійскаго, а потому предназначенное по программѣ приглашеніе къ участію въ торжествахъ представителей отъ Императорскихъ университетовъ, Академіи наукъ, литературныхъ и ученыхъ обществъ и пр.—неумѣстно. Вопросъ о музеѣ, по указанію г. министра, можетъ быть подвергнутъ разсмотрѣнію не ранѣе, какъ по представленіи думой проекта устава или положенія о музеѣ и назначеніи средствъ для его содержанія. Поэтому г. министръ Внутреннихъ Дѣлъ призналъ возможнымъ разрѣшить предположенное чествованіе только подъ условіемъ измѣненія городскою думой выработанной ею программы соотвѣтственно даннымъ имъ указаніямъ съ тѣмъ, чтобы вновь составленная программа была предварительно представлена на его разсмотрѣніе.

„21-го апрѣля дума разсмотрѣла и утвердила программу, составленную комиссіей согласно указаніямъ г. министра Внутреннихъ

Дѣлъ и постановила возложить по полученіи утвержденія самое выполненіе программы на комиссію, учрежденную 23 мая 1897 года.

„Утвержденіе программы получено городскою управой 17-го текущаго мая, и только этимъ временемъ комиссія и могла воспользоваться, чтобы сдѣлать необходимыя приготовленія къ празднеству“.

Утвержденная г. министромъ программа состояла изъ слѣдующихъ пунктовъ. *26 мая:* 1) торжественная литургія и панихида въ соборѣ, 2) открытіе выставки портретовъ и изображеній самого Бѣлинскаго и дѣятелей его эпохи — въ зданіи рисовальной школы *), 3) освященіе именемъ Бѣлинскаго безплатной народной читальни; 4) подписной обѣдъ и 5) литературный вечеръ въ залѣ Дворянскаго собранія. *27 мая:* 1) литературное утро въ томъ же залѣ, 2) школьный праздникъ со спектаклемъ для городскихъ училищъ и 3) парадный спектакль въ городскомъ театрѣ.

Чествованіе 26 мая началось съ литургіи въ Петропавловской приходской церкви, находящейся на базарѣ, вдали отъ центральной части города **). Однако, къ панихидѣ собралось очень много почитателей; присутствовалъ губернаторъ гр. А. В. Адлербергъ. Счастливая случайность устроила такъ, что богослуженіе происходило тотчасъ послѣ Троицына дня, и храмъ былъ украшенъ зеленью. Зелень эта осталась и на панихидѣ по Бѣлинскомъ, какъ будто символизируя великую весну русской жизни, русскаго просвѣщенія, вышедшую изъ сороковыхъ годовъ, славнымъ борцомъ которыхъ былъ поминаемый „рабъ Божій Виссаріонъ“.

Послѣ панихиды всѣ почетные гости направились на выставку, помѣщавшуюся въ актовомъ залѣ рисовальной школы. Выставка была открыта въ теченіе нѣсколькихъ дней съ 10 ч. утра до 5 час. дня и съ перваго же дня стала привлекать большое количество публики. Тамъ же продавались новыя изданія сочиненій Бѣлинскаго и статей о немъ, а также фототипическій альбомъ выставки (исполненный К. Фишеромъ). Количество посѣтителей за все время равняется, приблизительно, 800 человѣкъ; альбомовъ продано до 200 штукъ, а книгъ до 500 экземпляровъ.

Присутствовавшій на пензенскихъ торжествахъ корреспондентъ „Новостей“ говоритъ о выставкѣ: „Нужно ли описывать ея содержаніе? Кажется, оно уже достаточно извѣстно по описаніямъ изъ

---

*) Благодаря любезности П. А. Ефремова и нѣкоторыхъ другихъ лицъ въ Пензу была привезена почти цѣликомъ богатая коллекція, выставленная на Святой недѣлѣ въ Москвѣ Обществомъ Любителей Рос. Словесности.

**) Точное выполненіе перваго пункта программы не состоялось вслѣдствіе распоряженія духовнаго начальства.

Москвы и альбому, изданному г. Фишеромъ, — скажу только, что она производитъ весьма цѣльное и сильное впечатлѣніе на зрителя, какъ графическое изображеніе эпохи Бѣлинскаго. Не говоря уже о картинѣ Наумова „Бѣлинскій передъ смертью“ *), сильное впечатлѣніе производитъ коллекція портретовъ великаго критика въ разные періоды его жизни, и пензенское общество за эти три дня могло основательно познакомиться съ его физическимъ образомъ, съ внѣшностью невзрачной, но полной внутренней силы и неугасимаго огня. Толпа, въ которой виднѣются и интеллигентныя лица, и простонародье, и подростки, шумно поднимается по лѣстницѣ; слышится смѣхъ, обмѣнъ привѣтствій; но едва переступаетъ она порогъ залы, какъ тотчасъ же стихаетъ. Въ торжественномъ молчаньѣ группы посѣтителей обходятъ витрины, то быстро оглядывая портреты современниковъ Бѣлинскаго, его друзей и враговъ, то надолго останавливаясь передъ изображеніями самого виновника торжества. Трагическое полотно Наумова привлекаетъ всѣхъ; около него тѣснота, и покрытые предсмертною дымкой глаза умирающаго генія, кажется, оживаютъ, видя наконецъ предъ собою дѣйствительный, а не воображаемый только народъ“.

Въ часъ дня совершилось нареченіе именемъ В. Г. Бѣлинскаго безплатной народной библіотеки-читальни, существующей уже болѣе двухъ лѣтъ. Домъ общ. взаимн. кредита на углу Московской и Никольской улицъ, гдѣ скромно и тѣсновато пріютилась читальня, уже съ утра представлялъ собою красивую декорацію. Часть его, занятая библіотекой, снаружи была сплошь покрыта зеленью, вѣнками и флагами; внутри всѣ стѣны и окна были задрапированы гирляндами зелени, небольшими флагами и множествомъ вышитыхъ полотенецъ, что въ общемъ представляло очень нарядный и кокетливый видъ. Небольшой читальный залъ, украшенный изящно декорированнымъ бюстомъ Бѣлинскаго, переполнила публика, значительная часть которой стояла въ сосѣднихъ комнатахъ, въ передней, на крыльцѣ и на улицѣ передъ библіотекой. Прибылъ губернаторъ, оффиціальныя лица, духовенство, и раздались звуки церковнаго служенія, закончившагося провозглашеніемъ вѣчной памяти рабу Божію Виссаріону; пѣлъ тотъ же любительскій хоръ, который утромъ въ церкви замѣчательно прочувствованно и музыкально исполнилъ обѣдню и панихиду. Затѣмъ завѣдующій читальней Н. Е. Евграфовъ познакомилъ собравшихся съ исторіей возникновенія народной библіотеки. Эпиграфомъ къ рѣчи были взяты извѣстныя слова Бѣлинскаго:

*) Картина продавалась и въ Пензѣ, и въ Москвѣ, но къ сожалѣнію не нашла покупателя.

„Придетъ время,—просвѣщеніе разольется въ Россіи широкимъ потокомъ, выяснится умственная физіономія народа, и тогда наши художники и писатели будутъ на всѣ свои произведенія налагать печать русскаго духа. Но теперь намъ нужно ученье, ученье, ученье!“ Сравнивъ съ высказаннымъ здѣсь пожеланіемъ русскую дѣйствительность, ораторъ выяснилъ отсюда мотивы основанія въ Пензѣ безплатной народной читальни. Мысль о ней возникла въ правленіи Лермонтовской библіотеки въ 1895 году. Послѣ обычной трудной процедуры, среди всеобщихъ сомнѣній въ успѣхѣ предпріятія, съ самыми ничтожными средствами, библіотека была открыта 5 ноября 1895 г. при наличности всего 542 томовъ. Черезъ мѣсяцъ число ея читателей было 780 чел., въ февралѣ слѣдующаго года—уже 1176 ч. Всѣхъ читателей въ теченіе перваго года зарегистровано 1304, въ теченіе второго—1839 чел.; между ними—400 постоянныхъ читателей, не покидавшихъ библіотеку со дня ея открытія. Главный контингентъ читателей — мѣщане и крестьяне; половина ихъ состоитъ изъ учащейся молодежи, половина—изъ рабочаго люда. Число книгъ во второмъ году увеличилось до 2400 томовъ, изъ нихъ было въ чтеніи 1990, выданныхъ 30390 разъ. Сильно мѣшаетъ развитію библіотеки незначительность и случайность средствъ и происходящія отсюда неудобства помѣщенія. При ежегодномъ расходѣ въ 1200 р. читальня имѣла лишь 300 р. въ 1897 г. отъ города, затѣмъ пособіе отъ Сергѣевскаго товарищества писчебумажной фабрики, остальное покрывается случайными пожертвованіями, концертами, спектаклями и т. д. Указавъ также на необходимость народныхъ чтеній, до сихъ поръ не устроенныхъ въ Пензѣ, г. Евграфовъ выразилъ пожеланіе, чтобы скорѣе удалось осуществить идею постройки въ Пензѣ зданія для просвѣтительныхъ учрежденій имени Бѣлинскаго, и сообщилъ, что съ цѣлью образованія подобнаго фонда правленіе Лермонтовской библіотеки задумало издать литературный сборникъ памяти В. Г. Бѣлинскаго, и на призывъ правленія сочувственно отозвались многіе русскіе писатели. Въ заключеніе г. Евграфовъ, замѣтивъ, что настоящая библіотека является первымъ живымъ памятникомъ великому критику, объявилъ, что отнынѣ она будетъ именоваться безплатною читальней имени В. Г. Бѣлинскаго.

Этимъ и закончилось оффиціальное утреннее торжество, послѣ котораго состоялся обѣдъ по подпискѣ, прошедшій очень оживленно и сопровождавшійся цѣлымъ рядомъ рѣчей и тостовъ; въ немъ участвовало болѣе ста человѣкъ изъ мѣстнаго общества. Изъ гостей были—гг. Острогорскій, Потапенко, Быстренинъ (представитель „Новостей“), Грузинскій, Балталонъ, Ермиловъ, проф. Архангельскій,

г-жа Билибина (отъ „Спб. Вѣдомостей"), Кремлевъ, Орлинъ, Иноземцевъ (представитель „Бирж. Вѣдом.") и Марковичъ (представ. „Саратовск. Дневника" *).

Послѣ тоста за Государя Императора, провозглашеннаго предсѣдателемъ правленія Лермонтовской библіотеки, д-ромъ К. Р. Евграфовымъ и покрытаго громкимъ ура при звукахъ народнаго гимна, произнесенъ былъ тостъ за Августѣйшаго Покровителя Лермонтовской библіотеки, великаго князя Константина Константиновича, принятый собраніемъ съ энтузіазмомъ. Затѣмъ К. Р. Евграфовъ поднялъ бокалъ за здоровье живыхъ родственницъ Бѣлинскаго, его дочери О. В. Бензи и сестры жены, А. В. Орловой. Тутъ же отправлена была Ольгѣ Виссаріоновнѣ Бензи телеграмма слѣдующаго содержанія (переводъ съ французскаго): „Лица, собравшіяся въ Пензѣ чествовать пятидесятилѣтіе смерти вашего великаго отца, приносятъ вамъ выраженіе своей глубокой благодарности и живой симпатіи. Они душевно сожалѣютъ о невозможности въ настоящее время закладки памятника". Отправлена также телеграмма А. В. Орловой съ выраженіемъ сожалѣнія объ ея отсутствіи въ Пензѣ и привѣтствіемъ по поводу чествованія ея великаго родственника.

Затѣмъ поднялся гласный думы и членъ организаціонной комиссіи по устройству празднествъ, П. П. Львовъ и привѣтствовалъ собравшихся отъ имени города слѣдующею рѣчью:

„М.м. Г.г.

За трапезой нашей отсутствуетъ представитель нашего городского общества, городской голова Н. Т. Евстифѣевъ, котораго три недѣли тому назадъ постигло тяжкое семейное горе,—скончалась его единственная дочь, почему онъ, страшно удрученный этимъ, не нашелъ въ себѣ тѣхъ силъ, которыя были бы ему необходимы, чтобы имѣть возможность достойно принять васъ, господа, при чествованіи полувѣковой памяти великаго наставника нашей родины.

„За отсутствіемъ представителя городского общества, мнѣ, члену исполнительной комиссіи по чествованію памяти В. Г. Бѣлинскаго, выпадаетъ честь привѣтствовать нашихъ дорогихъ гостей, которымъ отъ лица всего нашего общества бью челомъ за ихъ сочувствіе, выразившееся въ ихъ пріѣздѣ къ намъ; прошу простить намъ тѣ лишенія и неудобства, которыя придется пережить у насъ; не претендовать на насъ за невольную скудость нашего торжества, и съ раскрытымъ сердцемъ говорю дорогимъ гостямъ: добро пожаловать, достойные преемники духовнаго наслѣдства Бѣлинскаго. Провозглашаю

*) Описаніе обѣда беремъ изъ корресп. Б. М—ча въ „Саратов. Дневникѣ".

тостъ за дорогихъ нашихъ гостей, за дальнѣйшую плодотворную ихъ дѣятельность въ русской литературѣ, на пользу и славу нашей дорогой родины. Ура!"

Рѣчь г. Львова была покрыта громкими и продолжительными рукоплесканіями.

Раздался голосъ В. П. Острогорскаго, который своимъ убѣдительнымъ, горячимъ словомъ сразу расшевелилъ лучшія чувства всего собранія.

„Между нами нѣтъ современниковъ Бѣлинскаго. Мы, старики, были дѣтьми, когда онъ проводилъ послѣдніе дни. И я не удостоился великой чести видѣть или слышать его, но съ дѣтства самаго я слышалъ имя Бѣлинскаго, произносимое съ яркимъ сочувствіемъ, съ глубокимъ благоговѣніемъ. Такъ относились къ этому имени во многихъ петербургскихъ кружкахъ того времени. Я сейчасъ помню, какъ однажды вошелъ мой отецъ и сказалъ мнѣ: „Знаешь ли, кто померъ? Нѣтъ, ты не знаешь, не можешь понять, что умеръ великій человѣкъ!"—„Мнѣ жалко его, отецъ",—отвѣтилъ я.—„Да жалѣй, жалѣй; помни о немъ цѣлую жизнь". И это имя насъ, многихъ петербургскихъ юношей, сопровождало всю жизнь. Гимназистами мы читали Бѣлинскаго украдкой. Въ старшихъ классахъ мы уже знали всего Бѣлинскаго, хотя имя это не могло еще проникнуть въ гимназическія программы. Но мы его и въ гимназіи услышали. Однажды мой учитель въ 3-ей гимназіи, Стоюнинъ, пришелъ въ классъ подготовлять насъ къ экзамену. „Знаете ли, какой сегодня день? Сегодня—26-е мая, годовщина смерти Бѣлинскаго!" Мы знали, мы были подготовлены и услышали въ гимназіи живое, убѣжденное слово Стоюнина, того Стоюнина, котораго, вмѣстѣ съ Ушинскимъ, Пироговымъ и Водовозовымъ, нужно считать преемниками Бѣлинскаго въ области русской педагогіи, куда они внесли идеи и завѣты великаго критика.

„Что же внесъ Бѣлинскій какъ въ педагогію, такъ и въ нашу критику, въ литературу, во всѣ области, которыхъ касался его мощный умъ?—Самый возвышенный, самый благородный идеализмъ. Мы, русское образованное общество, не отличаемся практическими свойствами, но у насъ есть драгоцѣнный капиталъ—это нашъ идеализмъ. Этимъ идеализмомъ мы обязаны Бѣлинскому. Все, все мы отъ него получили. Принесемъ же, господа, нашу глубокую благодарность устроителямъ праздника Бѣлинскаго, чествованія лучшихъ, гуманныхъ идей. Да стоитъ долго этотъ градъ, сумѣвшій почтить память великаго Бѣлинскаго; да процвѣтетъ его народная библіотека; да помнятъ и дѣти наши этотъ знаменательный день! Пусть они потомъ повторятъ наше глубокое, сердечное спасибо за этотъ великій праздникъ!".

Эта рѣчь наэлектризовала собраніе. Почти всѣ, при громѣ аплодисментовъ и восклицаній, встали съ мѣстъ и спѣшили привѣтствовать маститаго педагога.

Извѣстный художникъ К. А. Савицкій, завѣдующій теперь художественнымъ училищемъ и музеемъ въ Пензѣ, подтвердилъ своимъ личнымъ воспоминаніемъ потрясающее впечатлѣніе, произведенное смертью Бѣлинскаго въ Петербургѣ, и произнесъ тостъ въ честь молодого своего собрата, скульптора Каплана, работающаго теперь надъ памятникомъ великому писателю. Тутъ же была составлена привѣтственная телеграмма талантливому скульптору: „Собравшіеся на чествованіе Бѣлинскаго сожалѣютъ о вашемъ отсутствіи и шлютъ искренній привѣтъ вамъ, безкорыстно отдающему талантъ и трудовое время идеѣ увѣковѣченія памяти великаго писателя“.

К. Р. Евграфовъ, упомянувъ о живомъ сочувствіи, которое встрѣтила въ печати и въ обществѣ мысль о чествованіи Бѣлинскаго, предложилъ тостъ за извѣстную благотворительницу В. А. Морозову, выразившую свое глубокое почитаніе памяти Бѣлинскаго и предложившую организаторамъ празднества 2,000 руб. на библіотеку въ честь Бѣлинскаго. Собраніе долгими аплодисментами привѣтствовало этотъ отрадный даръ и отправило телеграмму, въ которой, кромѣ глубокой благодарности, выразило надежду увидѣть В. А. Морозову на торжествѣ открытія памятника Бѣлинскому въ Пензѣ.

Большое впечатлѣніе произвела рѣчь В. Е. Ермилова. Вступленіемъ было взято изреченіе о пророкѣ въ своемъ отечествѣ. Пророкъ—Бѣлинскій, отечество—Пенза. Пенза признала своего пророка и сумѣла исправить странную, непростительную ошибку одного „богоспасаемаго города“, имѣющаго самое большое и роскошное въ Россіи зданіе для народныхъ чтеній. Правленіе этого „народнаго дворца“ отказалось чествовать память великаго писателя на томъ основаніи, будто Бѣлинскій не имѣлъ никакого отношенія къ русскому народу, къ народной литературѣ. Пора стряхнуть этотъ невѣжественный предразсудокъ—онъ, очевидно, существуетъ, хотя бы въ томъ „богоспасаемомъ градѣ“. Нѣкоторые идутъ дальше и утверждаютъ, что Бѣлинскій не признавалъ народа, относился къ нему съ высокомѣріемъ, съ презрѣніемъ. Это неправда, грубая неправда. Напротивъ, Бѣлинскій первый въ Россіи заговорилъ мощно и властно о народѣ и народной литературѣ. Онъ съ благоговѣніемъ относился къ народу, онъ вдохновенно говорилъ объ изумительныхъ способностяхъ русскаго народа. (Ораторъ приводитъ цитату, въ которой Бѣлинскій сравниваетъ русскій народъ, по силѣ его духа, съ Петромъ Великимъ). Кто привѣтствовалъ народно-литературную дѣятельность кн. Одоевскаго, какъ

не Бѣлинскій? Пусть же замолкнутъ невѣжественные голоса. Просвѣщеніе народа, народныя права всегда воодушевляли Бѣлинскаго. И Пенза, устроившая Лермонтовскую общественную библіотеку, и безплатную народную библіотеку-читальню, и настоящія празднества, слѣдуетъ завѣтамъ именно своего пророка Бѣлинскаго!

Одушевленная рѣчь г. Ермилова имѣла громадный успѣхъ. Долго не смолкали аплодисменты...

Другой гость Пензы, профессоръ Архангельскій охарактеризовалъ Бѣлинскаго не только какъ замѣчательнаго литературнаго дѣятеля вообще, но и какъ перваго въ Россіи публициста, и закончилъ свое слово тостомъ за процвѣтаніе русской прессы, принятымъ съ большимъ одушевленіемъ.

В. Н. Ладыженскій, поэтъ и мѣстный земскій дѣятель, подчеркнулъ просвѣтительную дѣятельность Бѣлинскаго. Огромный успѣхъ имѣло его указаніе на скромныхъ, незамѣтныхъ продолжателей дѣла Бѣлинскаго, на „маленькаго человѣка“ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, эпическаго героя—на народнаго учителя, который осуществляетъ завѣтную мечту Бѣлинскаго—„ученье, ученье, ученье“. За здоровье того маленькаго человѣка, который коллективно—великанъ!

К. Р. Евграфовъ дополняетъ эту рѣчь тостомъ за другихъ посредниковъ между книгой и народомъ, за скромныхъ, незамѣтныхъ, но безкорыстныхъ и неутомимыхъ труженицъ народной читальни. Тостъ принятъ восторженно.

Раздались громкіе аплодисменты, когда В. П. Острогорскій всталъ съ своего мѣста и подошелъ къ В. Е. Ермилову, чтобы сказать свою вторую рѣчь.

„Вы привели прекрасную цитату Бѣлинскаго о способностяхъ русскаго народа. Какъ это ни странно, но до сихъ поръ остались люди, которые сомнѣваются въ этихъ способностяхъ, несмотря на массу всѣмъ извѣстныхъ фактовъ, свидѣтельствующихъ о громадныхъ дарованіяхъ нашего народа. И сегодня особенно ярко выступаетъ блестящее доказательство, въ лицѣ самого Бѣлинскаго. Какая громадная величественность этого таланта, какая всеобъемлемость его дарованій,— эта всеобъемлемость называется геніемъ! Вспомните все, что написалъ Бѣлинскій, постарайтесь найти какую-либо широкую область человѣческаго духа, о которой бы онъ не писалъ. Все, все вы найдете у Бѣлинскаго. Не говорю ужъ о массѣ статей по поводу самыхъ разнообразныхъ литературныхъ событій своего времени; возьмемъ общіе вопросы. Женскій вопросъ: кто же поставилъ въ Россіи этотъ вопросъ, какъ не Бѣлинскій, первый адвокатъ за Пушкинскую Татьяну? Всѣ основныя положенія этого вопроса — а многіе считали

и считаютъ, что онъ принадлежитъ къ позднѣйшему времени,—были горячо, краснорѣчиво и опредѣленно поставлены Бѣлинскимъ. Возьмите музыку. Казалось бы, что общаго между музыкою и Бѣлинскимъ, который о своемъ слухѣ самъ выразился, будто „медвѣдь ему на ухо наступилъ". А между тѣмъ, кто въ Россіи первый вдохновенно писалъ о значеніи музыки, кто пропагандировалъ необходимость музыкальнаго образованія и распространенія музыки въ массахъ? Опять Бѣлинскій. О критическомъ геніи Бѣлинскаго нечего говорить, но возьмите вы научную основу литературы, возьмите, такъ называемую, теорію словесности. Боже правый, сколько онъ тутъ сдѣлалъ! Вѣдь всѣ, всѣ мы, присяжные педагоги,—и Стоюнинъ, и Ушинскій, и Водовозовъ и прочіе, ихъ же нѣсть числа,—отъ Бѣлинскаго взяли лучшее; всѣ отъ него и теперь „побираемся", и беремъ... и часто забываемъ при этомъ ставить „ковычки".

Дружныя рукоплесканія прерываютъ рѣчь.

„Странно было бы требовать,—продолжалъ В. П. Острогорскій,—чтобы Бѣлинскій далъ намъ какія-либо подробныя, точныя системы по вопросамъ политическимъ и общественнымъ,—въ 40-хъ годахъ это было немыслимо,—но вспомните, что Бѣлинскій писалъ о правахъ и обязанностяхъ человѣка, какъ члена общества, что онъ писалъ все, что можно было, по поводу общихъ вопросовъ, и вы найдете Бѣлинскаго и въ этой области. И „всечеловѣкъ" окажется у Бѣлинскаго гораздо раньше и опредѣленнѣе, чѣмъ у Достоевскаго. Все есть у Бѣлинскаго, цѣлая энциклопедія знанія! Вдумайтесь же въ эту изумительную многосторонность Бѣлинскаго — развѣ она не доказываетъ огромную духовную силу, колоссальныя способности русскаго народа, сыномъ котораго былъ Бѣлинскій!"

Взрывъ аплодисментовъ и продолжительная овація сопровождали и эту вторую рѣчь В. П. Острогорскаго.

Когда возстановилось спокойствіе, поднялась съ мѣста В. П. Билибина, сотрудница „С.-Петерб. Вѣд." и произнесла небольшую рѣчь, имѣвшую громаднѣйшій успѣхъ.—„Насъ только двѣ женщины въ вашемъ собраніи, но я не могу промолчать, когда рѣчь зашла о томъ, что Бѣлинскій сдѣлалъ для русской женщины. Послѣ блестящей рѣчи В. П. Острогорскаго, который, такъ сказать, предвосхитилъ то, что я могла сказать, скажу лишь нѣсколько словъ. Прошло пятьдесятъ лѣтъ отъ Бѣлинскаго, и за это время мы, русскія женщины, не остались позади общаго развитія русской жизни. Въ медицинской сферѣ женщина работала и ея заслуги уже признаны: женщины-врачи сравнены въ правахъ съ медиками-мужчинами, кромѣ мундировъ и орденовъ. Въ артистическихъ сферахъ мы уже

давно завоевали равноправность съ мужчиною. Въ педагогіи мы тоже работали и, если учительницъ не пускаютъ дальше первыхъ четырехъ классовъ женской гимназіи, то нужно надѣяться, что очень близко то время, когда и учительницы будутъ сравнены въ правахъ съ учителями. Наконецъ, и въ сферѣ общественной самодѣятельности можно отмѣтить появленіе нѣсколькихъ исключительно женскихъ обществъ. Такимъ образомъ, мнѣ кажется, что русская женщина слѣдовала, по мѣрѣ возможности, безсмертнымъ завѣтамъ Бѣлинскаго!".

Рѣчь эта — вѣроятно, первая въ Пензѣ публичная рѣчь женщины,—произвела фуроръ. Всѣ спѣшили чокаться и лично привѣтствовать женщину-оратора.

Одинъ изъ пензенскихъ жителей предложилъ тостъ за В. П. Острогорскаго — стараго педагога и носителя свѣтлыхъ традицій Бѣлинскаго. Тостъ былъ принятъ съ энтузіазмомъ.

С. А. Орлинъ, отъ имени нѣкоторыхъ петербургскихъ педагоговъ, привѣтствовалъ празднество въ честь Бѣлинскаго, получившее всероссійское значеніе. Дальше г. Орлинъ указалъ на объединяющее значеніе литературы и провозгласилъ тостъ за присутствующихъ представителей литературы, принятый собраніемъ съ шумными привѣтствіями по адресу гг. Острогорскаго, Потапенко, Ладыженскаго и прочихъ гостей. Съ такимъ же одушевленіемъ встрѣченъ тостъ г. Шульгина за возрастающее и просвѣщающееся юное поколѣніе русскаго народа.

Съ большимъ вниманіемъ и сочувствіемъ была встрѣчена рѣчь предсѣдателя Лермонтовскаго общества, К. Р. Евграфова, остановившагося на просвѣтительномъ значеніи идей Бѣлинскаго и звавшаго образованное общество въ провинцію, на работу народнаго просвѣщенія, образнымъ сравненіемъ съ различными источниками свѣта. „Оставимъ электрическій свѣтъ, который будетъ ярко горѣть и безъ насъ, оставимъ газовое освѣщеніе большихъ промышленныхъ городовъ, и обратимъ свои силы туда, гдѣ еле тлѣетъ дымная лучина, скудно освѣщающая народную темноту; поддержимъ тѣхъ маленькихъ свѣтляковъ, которые еле начинаютъ мерцать въ вѣковѣчной темнотѣ народныхъ массъ". Послѣднею рѣчью было слово В. П. Острогорскаго, съ восхищеніемъ отмѣтившаго единодушіе, съ которымъ чествуется въ Пензѣ свѣтлое имя Бѣлинскаго. Затѣмъ въ прочувствованныхъ, краснорѣчивыхъ словахъ онъ, отъ имени гостей, и также всего общества, глубоко благодарилъ иниціаторовъ и организаторовъ празднества, вынесшихъ на своихъ плечахъ всю трудную, обставленную, какъ всѣмъ извѣстно, и осложненіями, и не-

пріятностями, подготовительную работу, блестящіе плоды которой несомнѣнно проявятся въ громадномъ всероссійскомъ значеніи пензенскихъ празднествъ.

„Центральное мѣсто въ празднествахъ въ честь Бѣлинскаго долженъ былъ занять литературный вечеръ. Это мѣсто онъ и занялъ: прекрасное литературное содержаніе, одушевленіе ораторовъ и слушателей, торжественная обстановка, еще болѣе торжественное настроеніе, сообщавшееся душѣ зрителя вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ передъ его духовными очами развертывалась, во всей ея красотѣ, свѣтлая личность великаго писателя, — все это сообщило вечеру возвышенный и, совершенно для многихъ неожиданный, характеръ праздника русской мысли.

„Вечеръ былъ устроенъ въ Дворянскомъ собраніи. Небольшая сравнительно зала, вмѣщающая отъ 700 до 800 человѣкъ, отличается очень большимъ изяществомъ. Гармоническіе ея размѣры украшаются отдѣлкой внутреннихъ стѣнъ подъ мраморъ, нѣжнаго розоваго и сѣрыхъ цвѣтовъ. Широкая лѣстница и всѣ проходы красиво задрапированы краснымъ и національными цвѣтами, густо убранными зеленью—гирляндами хвойныхъ вѣтокъ, цвѣтами и пр. Зала также густо и красиво убрана зеленью и цвѣтами. Надъ этимъ трудился губернскій инженеръ А. С. Ѳедотовъ, принимавшій вообще чрезвычайно дѣятельное участіе въ устройствѣ празднествъ. Въ серединѣ продольной стѣны, въ цвѣтахъ и зелени, возвышеніе съ нишей для бюста Бѣлинскаго. Надъ бюстомъ большой поясной портретъ Бѣлинскаго, спѣшно исполненный извѣстнымъ художникомъ К. А. Савицкимъ. Говорятъ, онъ днемъ и ночью работалъ надъ нимъ, когда стало извѣстнымъ, что бюстъ Каплана и другія ожидавшіяся изображенія не поспѣютъ къ 26 мая въ Пензу. Портретъ издали прекрасенъ: черты великаго критика сильны и выразительны. За нишей, передъ зрителями выступаетъ каѳедра, задрапированная краснымъ сукномъ, эффектно убраннымъ зеленью; къ ней, по обоимъ бокамъ, лѣстницы въ нѣсколько ступенекъ съ тѣмъ же убранствомъ.

„Передъ каѳедрой, дугой — почетный рядъ большихъ бархатныхъ креселъ. Въ серединѣ занимаютъ мѣсто начальникъ губерніи, графъ Адлербергъ съ супругой; рядомъ, съ одной стороны губернскій предводитель дворянства; по другую сторону—характерная фигура предсѣдателя губернской земской управы, А. Н. Бекетова, брата извѣстнаго ученаго. А. Н. Бекетовъ — старикъ, съ совсѣмъ бѣлою головой; глаза его съ одушевленіемъ устремлены на ораторовъ: онъ самъ принадлежитъ и по времени, и по традиціямъ къ людямъ „сороко-

выхъ годовъ" *). Дальше различные члены пензенскаго генералитета; тутъ же, и по бокамъ отъ возвышенія, организаторы празднествъ и литературные гости. Дальше цѣлая вереница фраковъ, сюртуковъ губернскаго общества, свѣтлыхъ платьевъ его представительницъ. На первый взглядъ—обычная парадная концертная публика, но дальше студенческіе мундиры, простенькіе костюмы учительницъ и прочей молодежи, столпившейся въ проходахъ и на хорахъ. И эта масса, не исключая и первыхъ рядовъ, сперва нѣсколько недоумѣвающая, корректно чинная и даже немного чопорная, скоро оживится, заволнуется, проникнется общимъ оживленіемъ, которое часто будетъ граничить съ восторгомъ и окончится единодушнымъ, свѣтлымъ впечатлѣніемъ отъ праздника.

Какъ сказано выше, вечеръ открылся рѣчью предсѣдателя правленія Лермонтовской библіотеки, К. Р. Евграфова. Изложивъ исторію организаціи празднествъ (главными данными ея мы воспользовались въ предыдущемъ изложеніи), г. Евграфовъ остановился на значеніи настоящаго торжества и закончилъ рѣчь слѣдующими словами:

„Истинно христіанскимъ духомъ вѣетъ со страницъ безсмертныхъ произведеній чествуемаго писателя, всю жизнь отдавшаго честному и неподкупному служенію родной странѣ. Въ самомъ первомъ своемъ произведеніи онъ начерталъ девизъ свой въ этихъ прекрасныхъ словахъ: „отрекись отъ себя, подави свой эгоизмъ, попри ногами твое своекорыстное *я*, дыши для счастія другихъ, жертвуй всѣмъ для блага ближняго, родины, для пользы человѣчества, люби истину и благо, и тяжкимъ крестомъ выстрадай твое соединеніе съ Богомъ, твое безсмертіе, которое должно состоять въ уничтоженіи твоего *я*, въ чувствѣ безпредѣльнаго блаженства". Этому девизу онъ былъ вѣренъ всю жизнь, до послѣдняго вздоха. Я думаю, что выражу единодушное желаніе всѣхъ присутствующихъ, пригласивъ почтить память Виссаріона Григорьевича Бѣлинскаго вставаніемъ".

Всѣ поднялись съ мѣстъ; прошло нѣсколько мгновеній въ торжественной и благоговѣйной тишинѣ: мысль невольно летѣла въ прошлое; съ быстротой молніи проносилась въ головѣ вся тревожная, кипучая жизнь Бѣлинскаго, полная идеальныхъ восторговъ и реальныхъ терзаній, вставала столь же двойственная судьба его идей въ русской жизни послѣ его смерти—вплоть до настоящей минуты примиренія, признанія, благодарности... Такія настроенія не забываются!

---

*) А. Н. Бекетовъ скончался осенью 1898 г.

ныхъ заведеніяхъ въ Петербургѣ, Товарищество пензенскихъ врачей); народно-просвѣтительныя учрежденія (Высочайше учрежденная Постоянная комиссія народныхъ чтеній, Невское общество народныхъ развлеченій, Пермскій драматическій кружокъ, Пензенскій драматическій кружокъ народнаго театра, Харьковское общество грамотности, Русское женское общество, Педагогическія общества взаимо-помощи въ Петербургѣ, Псковѣ и Твери, Тверское общество „Парусъ", Тамбовское общество по устройству народныхъ чтеній, Екатеринбургское общество изящныхъ искусствъ, Общества распространенія грамотности и попеченія о начальномъ образованіи въ Елизаветградѣ, Курскѣ, Томскѣ, Красноярскѣ, публичныя и народныя библіотеки въ Воронежѣ, Борисоглѣбскѣ, Полтавѣ, Кишиневѣ, Екатеринбургѣ, Угличѣ, Севастополѣ, Вологдѣ, Калугѣ, Херсонѣ и Якутскѣ); цѣлый рядъ журналовъ и газетъ, нѣсколько городовъ (Петербургъ, Казань, Самара), нѣсколько корпорацій (Петербургскіе и Оренбургскіе присяжные повѣренные, Тамбовское общество приказчиковъ, земскіе врачи Московской губерніи, земскіе работники Московскаго уѣзда, медицинскій персоналъ Серпуховской больницы, рядъ воскресныхъ школъ); импровизированныя группы почитателей (напр., телеграмма изъ Ялты съ 60 подписями, изъ Самары—съ 30-ю, изъ Бердянска—съ 20-ю, телеграмма отъ 22 жителей поселка Ртищево, рѣшившихъ устроить читальню имени Бѣлинскаго) и, наконецъ, отдѣльные писатели, профессора, общественные дѣятели и частныя лица *). Безъ сомнѣнія, этихъ привѣтствій было бы въ нѣсколько разъ больше, будь извѣстны заблаговременно подробности готовящагося чествованія, но Пензенскіе устроители, терпя одну неудачу за другою съ памятникомъ и другими ходатайствами и получивъ окончательное утвержденіе программы лишь за девять дней до праздника, не имѣли возможности сообщить публикѣ что-либо опредѣленное, и сомнѣнія, что̀ будетъ въ Пензѣ 26 мая и даже будетъ ли что-нибудь, навѣрно помѣшали многимъ выразить свое сочувствіе. Присоединились также неудобства сезона, когда большая часть обществъ и учрежденій прекращали или уже прекратили свои занятія, и члены разъѣзжались на лѣто.

Чтеніе адресовъ, телеграммъ и привѣтствій заняло очень много времени и не могло быть окончено въ этотъ вечеръ; остальныя рѣшено было отложить до „Литературнаго утра". Затѣмъ происходило возложеніе вѣнковъ; цѣлый рядъ ихъ занялъ всю эстраду, опоясавъ подножіе бюста Бѣлинскаго; здѣсь были вѣнки отъ города Пензы, отъ Лермонтовской библіотеки, отъ мѣстнаго драматическаго кружка,

*) Текстъ главнѣйшихъ адресовъ и телеграммъ помѣщенъ ниже.

„Литературная часть вечера началась чтеніемъ московскаго гостя, А. Е. Грузинскаго: „Личность В. Г. Бѣлинскаго“. Взявъ эпиграфомъ извѣстные стихи Пушкина о грядущей „свободной Россіи“ и о рабствѣ, „павшемъ по манію Царя“, г. Грузинскій установилъ, что до эманципаціи народа надлежало еще эманципироваться русскому обществу и его литературѣ, и этой задачѣ служилъ Бѣлинскій; далѣе слѣдовала характеристика свѣтлой личности великаго писателя. Затѣмъ вошелъ на каѳедру, встрѣченный громкими аплодисментами, В. П. Острогорскій и прочиталъ свою прекрасную статью „В. Г. Бѣлинскій какъ педагогъ“. Послѣ него В. Е. Ермиловъ читалъ свою брошюру: „Завѣты В. Г. Бѣлинскаго молодому поколѣнію“. Г. Ермиловъ прекрасный чтецъ и декламаторъ; его мастерское чтеніе произвело большое впечатлѣніе и въ Пензѣ.

„Второе отдѣленіе вечера открылъ московскій педагогъ, Ц. П. Балталонъ, прочитавшій весьма содержательную рѣчь „В. Г. Бѣлинскій, какъ эстетикъ“. Авторъ доказываетъ, что, хотя Бѣлинскій и не оставилъ системы эстетики, въ видѣ отдѣльнаго сочиненія или формальнаго курса, но эта система несомнѣнно есть у Бѣлинскаго. Шумныя одобренія вызвалъ петерб. прис. пов. А. Н. Кремлевъ, прочитавшій извѣстный отрывокъ о Бѣлинскомъ изъ Некрасовской „Медвѣжьей охоты“. За г. Кремлевымъ выступилъ извѣстный беллетристъ И. Н. Потапенко, прочитавшій очень просто и красиво элегическіе стихи Плещеева: „Я тихо шелъ по улицѣ пустынной“. Въ заключеніе поэтъ В. Н. Ладыженскій прочелъ свои стихи: „Памяти Бѣлинскаго“. Стихи вообще всѣ были приняты очень шумно и оживленно.

Наступила очередь чтенія привѣтствій. Эта часть вечера явилась центромъ, опредѣлившимъ важное значеніе празднества; представительство отъ самыхъ различныхъ слоевъ русскаго общества сказалось необыкновенно полно и широко: число адресовъ, телеграммъ и привѣтствій доходитъ до 150. Пензу поздравляли: Второе Отдѣленіе Академіи Наукъ, Варшавскій и Харьковскій университеты, рядъ ученыхъ и литературныхъ обществъ (Филологическое общество при Харьковскомъ университетѣ, Филологическое общество при Нѣжинскомъ филологическомъ институтѣ, Западно-Сибирскій отдѣлъ Русскаго Географическаго общества, Рязанская ученая архивная комиссія, Общество любителей словесности при Московскомъ университетѣ, Союзъ писателей, Литературный фондъ, Литературно-артистическій кружокъ въ Петербургѣ, Саратовское общество помощи нуждающимся литераторамъ, Императорское техническое общество, Пироговское общество врачей, отдѣленіе Педагогическаго музея при военно-учеб-

ныхъ заведеніяхъ въ Петербургѣ, Товарищество пензенскихъ врачей); народно-просвѣтительныя учрежденія (Высочайше учрежденная Постоянная комиссія народныхъ чтеній, Невское общество народныхъ развлеченій, Пермскій драматическій кружокъ, Пензенскій драматическій кружокъ народнаго театра, Харьковское общество грамотности, Русское женское общество, Педагогическія общества взаимо-помощи въ Петербургѣ, Псковѣ и Твери, Тверское общество „Парусъ", Тамбовское общество по устройству народныхъ чтеній, Екатеринбургское общество изящныхъ искусствъ, Общества распространенія грамотности и попеченія о начальномъ образованіи въ Елизаветградѣ, Курскѣ, Томскѣ, Красноярскѣ, публичныя и народныя библіотеки въ Воронежѣ, Борисоглѣбскѣ, Полтавѣ, Кишиневѣ, Екатеринбургѣ, Угличѣ, Севастополѣ, Вологдѣ, Калугѣ, Херсонѣ и Якутскѣ); цѣлый рядъ журналовъ и газетъ, нѣсколько городовъ (Петербургъ, Казань, Самара), нѣсколько корпорацій (Петербургскіе и Оренбургскіе присяжные повѣренные, Тамбовское общество приказчиковъ, земскіе врачи Московской губерніи, земскіе работники Московскаго уѣзда, медицинскій персоналъ Серпуховской больницы, рядъ воскресныхъ школъ); импровизированныя группы почитателей (напр., телеграмма изъ Ялты съ 60 подписями, изъ Самары—съ 30-ю, изъ Бердянска—съ 20-ю, телеграмма отъ 22 жителей поселка Ртищево, рѣшившихъ устроить читальню имени Бѣлинскаго) и, наконецъ, отдѣльные писатели, профессора, общественные дѣятели и частныя лица *). Безъ сомнѣнія, этихъ привѣтствій было бы въ нѣсколько разъ больше, будь извѣстны заблаговременно подробности готовящагося чествованія, но Пензенскіе устроители, терпя одну неудачу за другою съ памятникомъ и другими ходатайствами и получивъ окончательное утвержденіе программы лишь за девять дней до праздника, не имѣли возможности сообщить публикѣ что-либо опредѣленное, и сомнѣнія, что̀ будетъ въ Пензѣ 26 мая и даже будетъ ли что-нибудь, навѣрно помѣшали многимъ выразить свое сочувствіе. Присоединились также неудобства сезона, когда большая часть обществъ и учрежденій прекращали или уже прекратили свои занятія, и члены разъѣзжались на лѣто.

Чтеніе адресовъ, телеграммъ и привѣтствій заняло очень много времени и не могло быть окончено въ этотъ вечеръ; остальныя рѣшено было отложить до „Литературнаго утра". Затѣмъ происходило возложеніе вѣнковъ; цѣлый рядъ ихъ занялъ всю эстраду, опоясавъ подножіе бюста Бѣлинскаго; здѣсь были вѣнки отъ города Пензы, отъ Лермонтовской библіотеки, отъ мѣстнаго драматическаго кружка,

*) Текстъ главнѣйшихъ адресовъ и телеграммъ помѣщенъ ниже.

отъ товарищества Сергѣева, отъ двухъ саратовскихъ газетъ и проч. Вечеръ закончился посвященнымъ памяти Бѣлинскаго стихотвореніемъ г. Кремлева.

Въ заключеніе громкія оваціи встрѣтили освѣщеніе бюста Бѣлинскаго бенгальскимъ огнемъ. Въ это время къ подножію бюста посыпалась масса живыхъ цвѣтовъ и зелени, которыя съ увлеченіемъ кидала молодежь съ хоръ. Зрители всѣ встали съ мѣстъ и горячо апплодировали. Этимъ живымъ апоѳезомъ памяти Бѣлинскаго закончился вечеръ.

Второй день празднествъ начался въ 11 час. литературнымъ утромъ, на которомъ гг. Острогорскій, Ермиловъ и Кремлевъ повторили свои чтенія. Кромѣ того, П. П. Львовымъ была прочитана рѣчь предсѣдателя Общества любителей словесности, профессора Н. И. Стороженко, а А. Е. Грузинскимъ — рѣчь И. И. Иванова (обѣ рѣчи были произнесены въ Москвѣ, въ засѣданіи Общества любителей словесности). В. П. Острогорскій прочиталъ стихотвореніе Плещеева: „Еще одинъ великій голосъ смолкъ". Затѣмъ повторены были нѣкоторыя изъ произнесенныхъ наканунѣ привѣтствій и прочитаны остальныя, не попавшія за позднимъ временемъ въ составъ литературнаго вечера.

„Утро прошло съ такимъ же одушевленіемъ, какъ и вечеръ,—даже съ бо́льшимъ, потому что публика, наполнявшая залъ, была моложе и непосредственнѣе. Важнымъ отличіемъ было то, что на утрѣ присутствовали гимназисты, гимназистки, реалисты и ученики другихъ школъ. Оказалось, что на утро, какъ на *платный* спектакль, они имѣли право входа. И, дѣйствительно, извѣстное распоряженіе г. министра народнаго просвѣщенія гласило о воспрещеніи учащимся среднеучебныхъ заведеній принимать *оффиціальное* участіе на празднествахъ, посвященныхъ памяти Бѣлинскаго, т.-е. исполнять какія-либо роли въ программахъ празднествъ, принимать участіе въ процессіяхъ или живыхъ картинахъ и пр. Учебные же округа и отдѣльныя заведенія поняли распоряженіе въ смыслѣ безусловнаго воспрещенія для учащейся молодежи даже входа или простого присутствія, въ качествѣ частныхъ лицъ, на какихъ бы то ни было торжествахъ въ честь Бѣлинскаго. Въ Пензѣ,—впрочемъ, и въ Одессѣ, и въ нѣкоторыхъ другихъ городахъ,—была выяснена неправильность подобнаго толкованія, и въ Пензѣ, напримѣръ, состоялся такой компромиссъ между различными представителями учебнаго начальства: считать „оффиціальными" (и, слѣдовательно, не допускать) тѣ отдѣлы празднествъ, куда публика допускалась безплатно или по приглашенію; платныя же зрѣлища и развлеченія были сочтены дѣломъ частнымъ, партикулярнымъ и неподлежащимъ воспрещенію для вос-

питанниковъ среднихъ и низшихъ школъ. Поэтому гимназисты, реалисты, ученики школы садоводства и техническаго училища, гимназистки и др. — на вечерѣ не присутствовали, а на утро имѣли право входа за незначительную плату въ 10 копеекъ. Точно также они были на выставкѣ и въ парадномъ спектаклѣ въ народномъ театрѣ съ апоѳеозомъ Бѣлинскаго.

„Въ часъ дня въ пензенскомъ народномъ театрѣ начался школьный праздникъ. Праздникъ этотъ былъ устроенъ городскою комиссіей по устройству чествованія памяти В. Г. Бѣлинскаго, и на него получили приглашеніе всѣ воспитанники городскихъ школъ и различныхъ пріютовъ. Исключенными оказались только воспитанники среднихъ учебныхъ заведеній, изъ которыхъ ни одинъ не попалъ на это торжество. Само собою разумѣется, не было допущено никакого истолкованія дѣтямъ значенія происходившаго торжества, и дѣти только случайно могли слышать о Бѣлинскомъ, не зная при томъ, что же онъ собственно такое. На сценѣ шла „Женитьба“ Гоголя — и она была очень кстати на праздникѣ критика гоголевскаго періода. „Женитьба“ у исполнителей народнаго театра шла превосходно. Молодая публика замѣчательно отзывчиво относилась къ каждой остротѣ, къ каждому смѣшному положенію комедіи. Восторгамъ ея конца не было. Свѣжіе, щебечущіе голоса звонко раздавались въ воздухѣ, требуя „всѣхъ“, „всѣхъ“. И эти ученки, не привыкшія къ нашему выраженію театральнаго удовольствія, не просто апплодировали, а какъ-то особенно плескали въ воздухѣ выше головъ ихъ обладателей.

„По окончаніи спектакля, дѣти выстроились попарно, каждая школа подъ предводительствомъ своего учителя. Вся эта длинная лента потянулась отъ народнаго театра по лѣсу, такъ называемаго, Верхняго гулянья. Тѣ же щебечущіе, веселые голоса раздавались повсюду, веселье царило вокругъ и радостнымъ ауканьемъ будило лѣсъ. Четыре тысячи дѣтей вытянулись въ ленту чуть не съ версту. Но вотъ, наконецъ, колонна достигла той поляны, на которой были предположены дѣтскія игры и угощеніе дѣтей. Ряды были разорваны, съ радостнымъ визгомъ бросились дѣтишки, какъ будто бы на штурмъ, черезъ ровъ, отдѣляющій лѣсъ отъ поляны. Мгновенье — и вся публика разсыпалась по полянѣ. Однако, дѣтей тотчасъ же снова собрали по школамъ, имъ было предложено угощеніе, и начались игры — веселыя, беззаботныя игры... Право, если у десятой части этихъ дѣтишекъ западетъ имя Бѣлинскаго, ради котораго имъ устроили такой свѣтлый, радостный праздникъ, то и это уже большое пріобрѣтеніе. Придетъ пора — захотятъ и воплотить это имя, познакомиться съ завѣтами его носителя...

„Закончились оффиціальныя празднества спектаклемъ въ народномъ театрѣ съ апоѳеозомъ Бѣлинскаго. На спектаклѣ присутствовалъ г. начальникъ губерніи, графъ А. В. Адлербергъ, и очень много представителей и представительницъ пензенскаго общества. Судя по костюмамъ—народа, собственно говоря, не было. Говорили, впрочемъ, что за оградой (въ Пензѣ народный театръ представляетъ собою, такъ называемую, открытую сцену, довольно значительнаго размѣра, но все же открытую), гдѣ мѣста стоятъ всего десять копеекъ, были желѣзнодорожные рабочіе и изъ мануфактуры Сергѣева, но они не выдѣлялись отъ мѣщанъ и даже канцелярской „мелкой сошки". Театръ былъ, разумѣется, переполненъ. Многимъ, желавшимъ попасть на нумерованныя мѣста, не хватило билетовъ. За оградой виднѣлся густой рядъ публики. Послѣ „Женитьбы" Гоголя, — разыгранной, кстати сказать, съ очень недурнымъ ансамблемъ,—поднялся еще разъ занавѣсъ, показавъ на сценѣ апоѳеозъ Бѣлинскаго. Нѣсколько группъ молодежи. Лица и взоры большинства ихъ устремлены съ восхищеніемъ на бюстъ Бѣлинскаго, утопающій въ зелени. Лица молодыя, добрыя — отъ нихъ вѣетъ свѣжестью молодости и ея душевныхъ движеній. Въ общемъ—идейно, эффектно и красиво. Картина поставлена К. А. Савицкимъ, который вообще очень много поработалъ для празднествъ. Шумные аплодисменты встрѣтили картину. При ихъ звукахъ занавѣсъ поднимался еще два раза."

Этимъ закончился второй и послѣдній день городскихъ торжествъ въ честь Бѣлинскаго.

Общее впечатлѣніе всѣхъ присутствовавшихъ на этихъ „дняхъ Бѣлинскаго" прекрасно выражено въ одушевленныхъ словахъ корреспондента „Новостей", г. Быстренина, которыми мы и заключимъ описаніе празднества.

„Догорѣли огни... Опустился занавѣсъ на сценѣ общедоступнаго театра, скрывъ отъ глазъ публики живую картину, изображающую апоѳеозъ Бѣлинскаго,—и программа чествованія памяти безсмертнаго писателя закончилась. Два дня... Какъ мало, въ сущности, времени, и какъ много пережили мы, присутствовавшіе на всенародномъ, гласномъ, открытомъ признаніи правъ Бѣлинскаго на безсмертіе за эти двое сутокъ, когда тысячи сердецъ бились согласно, одушевленныя однимъ благороднымъ чувствомъ преклоненія предъ именемъ великаго учителя. Да, славные были эти дни! Ими можетъ гордиться Пенза, а съ нею вмѣстѣ и все интеллигентное русское общество, наконецъ, заплатившее, хотя часть огромнаго долга своего „неистовому Виссаріону!"...

Право, я чувствую, что далеко не въ силахъ ярко и образно опи-

сать настроеніе присутствовавшихъ: выходитъ все блѣдно и тускло въ сравненіи съ дѣйствительностью, превзошедшею ожиданія. Это затаенное дыханіе тысячной толпы, эти горящія лица, эти одушевленные внутреннимъ огнемъ глаза, дѣлающіе и некрасивыя лица красивыми,—кто видѣлъ нѣчто подобное хоть разъ, тотъ до могилы не забудетъ видѣннаго!

Не умеръ Бѣлинскій, нѣтъ! онъ живъ среди насъ, мы ощущали вѣяніе его мысли въ нашихъ душахъ въ эти дни, и гипсовый бюстъ его оживалъ, согрѣтый общимъ восторгомъ и преклоненіемъ предъ многострадальною тѣнью великаго учителя!"

II.

Приводимъ текстъ нѣкоторыхъ адресовъ, привѣтствій и телеграммъ, полученныхъ и прочтенныхъ въ Пензѣ 26-го и 27-го мая.

Отъ Правленія Пензенской общественной библіотеки имени М. Ю. Лермонтова:

„Правленіе отъ лица Общества библіотеки имени М. Ю. Лермонтова проситъ пензенское городское управленіе принять сердечныя привѣтствія по поводу праздника, посвященнаго памяти В. Г. Бѣлинскаго. Наше общество, основанное во имя другого великаго земляка нашего, М. Ю. Лермонтова, не можетъ не быть особенно признательнымъ городскому управленію за его сочувственное отношеніе къ иниціативѣ членовъ общества по поводу чествованія В. Г. Бѣлинскаго—отношеніе, благодаря которому мы имѣемъ счастіе видѣть осуществившимся праздникъ во имя одного изъ самыхъ безупречныхъ борцовъ за гуманность и просвѣщеніе. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда Пенза чествовала Лермонтова, у всѣхъ на устахъ было другое родное имя, неразрывно связанное съ именемъ и памятью Лермонтова. Бѣлинскій первый указалъ Россіи Лермонтова; онъ первый объяснилъ значеніе его поэзіи русскому обществу; первый оплакалъ преждевременную, невознаградимую для Россіи его утрату. И на праздникѣ Лермонтова невольно вспоминались заслуги Бѣлинскаго. Поздно въ нашемъ отечествѣ получаютъ всеобщее признаніе заслуги выдающихся дѣятелей; поздно увѣковѣчивается ихъ память. Тѣмъ болѣе отрадны такіе факты, какъ постановка памятника Лермонтову и созданіе общественной библіотеки, посвященной его имени. Пусть же скорѣе осуществятся хлопоты города по постановкѣ въ Пензѣ памятника Бѣлинскому. Будемъ надѣяться, что фондъ его имени, осно-

ванный при нашемъ Обществѣ, въ самомъ близкомъ будущемъ дастъ возможность упрочиться и расцвѣсти просвѣтительному учрежденію, безплатной народной библіотекѣ-читальнѣ имени В. Г. Бѣлинскаго, этому живому памятнику, призванному во имя его служить родному просвѣщенію. Воздавъ должное тому, кто всю жизнь кипѣлъ благородной любовью къ правдѣ, просвѣщенію и человѣчеству и душу свою положилъ за нихъ, благодарное потомство пусть загладитъ вины современниковъ по отношенію къ писателю, личность и жизнь котораго могутъ служить лучшимъ образцомъ нравственной чистоты и согласованія честной мысли и слова со всею жизнью. Пусть приметъ городъ привѣтъ нашъ и глубокую признательность за тѣ счастливыя минуты, которыя мы, благодаря ему, имѣемъ возможность пережить здѣсь „на праздникѣ Бѣлинскаго", на праздникѣ русскаго просвѣщенія.

Отъ товарищества пензенскихъ врачей:

„Если вамъ нужно истиннаго человѣка, способнаго сострадать болѣзнямъ и несчастіямъ угнетенныхъ, честнаго доктора, честнаго слѣдователя, — который полѣзъ бы на борьбу, — ищите таковыхъ въ провинціи между послѣдователями Бѣлинскаго".—Такъ писалъ около 50 лѣтъ тому назадъ не сторонникъ его партіи, а дѣятель литературнаго кружка, враждебно относившагося къ Бѣлинскому. Это писалъ человѣкъ, высокая честность мысли и слова котораго, его неподкупная правдивость, горячій патріотизмъ и непреклонность убѣжденій стоятъ внѣ всякаго сомнѣнія. Это писалъ И. С. Аксаковъ. Изъ этихъ словъ ясно, какое громадное нравственное вліяніе на современное общество имѣли личность и литературная дѣятельность Бѣлинскаго. Наши учителя воспитались на сочиненіяхъ Бѣлинскаго, ихъ дѣятельность—отраженіе въ жизни животворной мысли и проповѣди Бѣлинскаго. Дѣятельность врачебная должна быть всецѣло одушевлена идеалами гуманности, отзывчивостью къ страданіямъ ближнихъ, уваженіемъ къ ихъ человѣческому достоинству. А кто же, какъ не Бѣлинскій, съ такою страстностью, съ такимъ талантомъ и настойчивостью проводилъ эти идеалы въ сознаніи русскаго общества! Мы врачи, не можемъ не привѣтствовать съ чувствомъ глубокаго нравственнаго удовлетворенія и радости городское управленіе и пензенское общество, чествующее память великаго учителя - идеалиста, вдохновенныя слова котораго, отъ юности нашей, даютъ намъ запасъ свѣтлыхъ, гуманныхъ идеаловъ, облегчающихъ трудный путь врача. Выскажемъ пожеланіе нашему городу, чтобы его стремленіе увѣковѣчить подобающимъ памятникомъ образъ ве-

ликаго критика—пензяка по происхожденію—скорѣе увѣнчалось желаннымъ и полнымъ успѣхомъ".

Отъ Драматическаго кружка народнаго театра въ г. Пензѣ.

„Въ Пензѣ два года назадъ открылся народный театръ. Народный театръ—явленіе новое въ русской жизни. Каковъ смыслъ этого явленія въ исторіи русскаго театра и русской жизни? Нетрудно отвѣтить на этотъ вопросъ при свѣтѣ имени В. Г. Бѣлинскаго, центральной личности нашего столѣтія въ области общественнаго самосознанія.

Колыбель русскаго театра—городъ Ярославль; простой кожевенный амбаръ былъ первою импровизованной сценой труппы купеческаго сына Ѳедора Григорьевича Волкова; мѣстное „вельможество и боярство" пришло на помощь начинаніямъ основателя русскаго театра, и вотъ на берегу Волги возникъ деревянный театръ, по выраженію Бѣлинскаго, „дѣдушка нынѣшнихъ колоссальныхъ и великолѣпныхъ театровъ". Слава Волкова дошла до столицъ, и онъ вмѣстѣ съ товарищами былъ приглашенъ въ Петербургъ ко двору Елизаветы Петровны, а въ 1756-мъ году указомъ Императрицы положено оффиціальное начало русскому театру.

Прошло съ той поры полтораста лѣтъ, и по лицу русской земли зачинаютъ строиться и вырастать опять деревянные театры, но какая разница? Русскій театръ зародился въ средѣ народной, основатели его вышли изъ народа, возникъ онъ внизу, перенесенъ наверхъ и пріютился сначала въ дворцахъ и палатахъ, подъ высокимъ покровительствомъ русскихъ царей и меценатовъ. Первымъ русскимъ актерамъ выпало на долю разыгрывать псевдоклассическія произведенія Сумарокова, но, по отзывамъ современниковъ, сквозь фальшивыя и реторическія формы тогдашняго „лицедѣйствія" сочилась живая струна народности—печать происхожденія русскаго театра. Окончательное торжество народности и реализма на русской почвѣ неразрывно и тѣсно связано съ дѣятельностью Бѣлинскаго. Принципъ жизненной правды есть основной принципъ литературы и искусства—такова формула Бѣлинскаго. Врагъ отжившихъ міровоззрѣній, тѣснившихъ развитіе русскаго генія, смѣлый и благородный поборникъ правды въ жизни, литературѣ, искусствѣ — Бѣлинскій объяснилъ „Горе отъ ума" и съ пламеннымъ энтузіазмомъ привѣтствовалъ „Ревизора". Все драматическое, театральное, по словамъ Тургенева, глубоко проникало въ душу Бѣлинскаго, такъ и зажигало ее. Его статьи о Мочаловѣ, Щепкинѣ, вообще о театрѣ, проникнуты страстью. Бѣлинскій обладалъ глубокою и тонкою артистическою на-

турой.—„Я—недоконченный художникъ“, — говорилъ онъ о себѣ и считалъ эстетическое развитіе необходимымъ элементомъ общаго образованія, а театру, какъ могучему образовательному и воспитательному средству, отводилъ одно изъ главныхъ мѣстъ въ ряду просвѣтительныхъ учрежденій. Кто не знаетъ въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ страницъ, посвященныхъ театру...—„Любите ли вы театръ такъ, какъ я люблю его, т.-е. всѣми силами души вашей, со всѣмъ изступленіемъ, къ которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлѣній изящнаго?“ „О, какъ было бы хорошо,—восклицаетъ Бѣлинскій дальше,—если бы у насъ былъ свой народный русскій театръ!.. Въ самомъ дѣлѣ, видѣть на сценѣ всю Русь съ ея добромъ и зломъ, съ ея высокимъ и смѣшнымъ, слышать говорящими ея доблестныхъ героевъ, вызванныхъ изъ гроба могуществомъ фантазіи, видѣть біеніе пульса ея могучей жизни!“... На призывъ геніальнаго критика русская литература „отвѣтила великимъ явленіемъ“ національной комедіи Гоголя, а потомъ Островскаго.

Первые всходы русскаго сценическаго искусства на ярославской почвѣ оказались ранними всходами, были пересажены въ теплицу, возращены тамъ, теперь театръ пустилъ глубокіе корни, упрочился, и сфера вліянія его съ каждымъ днемъ расширяется. Во Всеподданнѣйшемъ докладѣ объ учрежденіи народнаго театра въ Москвѣ Островскій писалъ: „Стѣны существующихъ театровъ стали узки для національнаго искусства, въ нихъ нѣтъ мѣста для той публики, для которой хотятъ писать народные писатели“. Мечты Бѣлинскаго и планы Островскаго осуществляются: возникаютъ въ столицахъ и провинціяхъ народные „деревянные“ театры; театръ идетъ въ народную среду, гдѣ зародился,—возвращается домой. Съ какимъ чувствомъ глубокаго удовлетворенія привѣтствовалъ бы Бѣлинскій это знаменательное движеніе въ исторіи русскаго театра, эти задатки его блестящаго будущаго!

Народный театръ имени Бѣлинскаго былъ бы достойнымъ памятникомъ великаго гражданина русской земли“.

Отъ Императорскаго Варшавскаго университета:

„Въ день исполнившагося пятидесятилѣтія преждевременной кончины великаго русскаго критика В. Г. Бѣлинскаго совѣтъ Императорскаго Варшавскаго университета шлетъ комитету по закладкѣ памятника въ Пензѣ свой искренній привѣтъ и единодушныя пожеланія успѣшнаго исполненія предпринятаго дѣла. Взирая на изображеніе неутомимаго труженика, да поучаются грядущія поколѣнія,

что пламенная любовь къ родинѣ и беззавѣтное стремленіе работать съ нею на благо человѣчества возносятъ высоко безсмертный духъ нашъ надъ немощью тѣла и другими, не менѣе тяжкими условіями жизни. Въ сравнительно короткій, четырнадцатилѣтній періодъ своей дѣятельности Бѣлинскій самъ воздвигъ себѣ несокрушимый памятникъ въ лѣтописяхъ русской художественной мысли. Надѣленный эстетическимъ чувствомъ, исполненный дивнаго благородства и пылкости, онъ не зарылъ въ землю дарованнаго ему таланта, а посвятилъ его на служеніе прекрасному, на неустанное проведеніе въ сознаніе читателей существенныхъ понятій объ истинныхъ законахъ художественности, при чемъ не только впервые у насъ оцѣнилъ съ глубиною и мѣткостью цѣлый рядъ произведеній русской словесности, но положилъ пробныя начала самой обработкѣ исторіи русской литературы, какъ особой науки, и намѣтилъ пути позднѣйшаго развитія русской литературной критики. Восторгаясь твореніями великихъ русскихъ поэтовъ, Бѣлинскій чутко угадалъ, что истинно геніальное въ области искусства достигается расцвѣтомъ національныхъ особенностей духа,—и дабы печать русскаго духа сіяла въ идеальной чистотѣ на произведеніяхъ русскихъ писателей, онъ не прекращалъ горячей проповѣди о необходимости дать у насъ широкое распространеніе просвѣщенію, но просвѣщенію, не внѣшнимъ образомъ заимствованному, а созданному собственными усиліями и возращенному на родной почвѣ.

Самъ Бѣлинскій глубоко вѣрилъ въ наше свѣтлое будущее и его неразрывную связь съ успѣхами просвѣщенія, онъ вѣрилъ въ наше всемірно-историческое назначеніе и часто высказывалъ это въ своихъ сочиненіяхъ, Для него основою такой вѣры было сохраненіе несокрушимой мощи и творческихъ силъ русскаго духа, проявленіе которыхъ онъ указывалъ то въ нашей народной словесности, то въ историческихъ подвигахъ всего русскаго народа, то въ богатырской дѣятельности отдѣльныхъ русскихъ людей, особенно Петра Великаго, этого яркаго выразителя русскаго національнаго генія. Бѣлинскій былъ страстный боецъ за водвореніе правды въ литературѣ и жизни; но онъ не ограничивался обличеніемъ неправды въ другихъ, а съ суровой искренностью осуждалъ и самого себя, какъ только убѣждался, что искалъ правды не тамъ, гдѣ она кроется, или же что впадалъ въ крайности по увлеченію. Свои мысли и чувства, насколько они вызывались поэтическими образами, свои сужденія объ изящномъ и, наконецъ, свои думы о благѣ собственнаго и другихъ народовъ Бѣлинскій излагалъ со свойственной истинному художнику увлекательностью; огонь горѣлъ въ статьяхъ его и переливался изъ

нихъ въ сердца читателей. Этотъ огонь, возженный искрой Божьей благодати, да не угасаетъ и впредь въ русскомъ обществѣ, да пламенѣетъ онъ на благо и просвѣщеніе русскаго народа и да возрастаетъ и крѣпнетъ на этомъ просвѣщеніи величіе и слава русскаго государства!"

Отъ учрежденной по Высочайшему повелѣнію Постоянной комиссіи народныхъ чтеній А. Н. Кремлевъ произнесъ слѣдующую рѣчь:

„Мм. Гг.! Въ общемъ собраніи своемъ 21-го мая комиссія единогласно постановила просить меня, какъ своего члена, „на предстоящемъ чествованіи высоко-талантливаго критика и ревнителя народнаго просвѣщенія В. Г. Бѣлинскаго въ городѣ Пензѣ произнести отъ лица комиссіи привѣтствіе и быть во время предстоящаго чествованія ея представителемъ".

Съ искреннимъ удовольствіемъ принявъ на себя это порученіе, я долженъ былъ рѣшить вопросъ, къ кому именно обратить свое привѣтствіе—къ иниціатору ли чествованія незабвеннаго критика—правленію Лермонтовской библіотеки, къ городскому ли самоуправленію, отъ имени котораго чествованіе происходитъ, ко всему ли кружку лицъ, сплотившихся вмѣстѣ во имя великаго гражданина русской земли. И я остановился на мысли обратить привѣтствіе свое ко всѣмъ этимъ лицамъ и учрежденіямъ—ко всѣмъ, здѣсь собравшимся, такъ какъ всѣ мы здѣсь собрались во имя одной общей идеи, во славу одного и того же великаго имени. Итакъ, позвольте привѣтствовать васъ, мм. гг., въ день исполняющагося 50-лѣтія кончины знаменитаго писателя и критика, привѣтствовать всѣхъ и заявить, что Высочайше утвержденная комиссія горячо присоединяется къ вашему чествованію памяти Бѣлинскаго.

Когда Вилльямъ Пеннъ основалъ американскія колоніи, первымъ его увѣщаніемъ были слова: „воспитывайте народъ!" Когда Георгъ Вашингтонъ спасъ американскую націю, его первымъ завѣтомъ были слова: „воспитывайте народъ!" И всѣ мы, собравшіеся здѣсь, можемъ сказать отъ всей души общимъ хоромъ: „воспитывайте народъ!" Вотъ та общая идея, общая задача, во имя которой мы высоко прославляемъ народныхъ представителей и воспитателей. Педагоги говорятъ намъ: нѣтъ ничего возвышеннѣе, какъ создать человѣческую душу. Мы скажемъ имъ: нѣтъ ничего величественнѣе, какъ создать и организовать истинное національное воспитаніе и образованіе. Въ Россіи, которая по неграмотности стоитъ ниже Турціи, образованіе и

воспитаніе народа составляютъ дѣло особой важности и имѣютъ огромное государственное значеніе. Дайте русскому народу грамотность—и онъ сдѣлается воистину великимъ народомъ.

Средства воспитанія народа различны. Ему одинаково служатъ и наука, и искусство, и нравственность, и политика. Тому же народному воспитанію служитъ и здравая литературная и общественная критика, а блестящимъ представителемъ ея былъ Бѣлинскій. Съ другой стороны, въ силу особаго рода условій громадное просвѣтительное значеніе получили въ настоящее время въ Россіи сильно развивающія чтенія для народа—и представителемъ этой скромной дѣятельности является наша комиссія народныхъ чтеній.

На этомъ пунктѣ—на идеѣ просвѣщенія народа—пути наши сходятся, и комиссія, подобно драматургу Островскому на праздникѣ Пушкина, можетъ сказать: „Сегодня на нашей улицѣ праздникъ".

Но мы чествуемъ Бѣлинскаго не только какъ великаго критика и ревнителя народнаго просвѣщенія, но еще и какъ великаго человѣка и гражданина. Какъ *критикъ*, онъ создалъ цѣлую эпоху, цѣлый методъ, цѣлую школу, — и никто до сихъ поръ не превзошелъ его по искренности, глубинѣ и яркости мысли и убѣжденія. Какъ ревнитель *народнаго просвѣщенія*, Бѣлинскій сослужилъ Россіи великую службу, и далеко еще не все изъ того, что проповѣдовалъ онъ въ области педагогики, морали, науки и искусства, осуществилось теперь, многое и теперь еще можно извлечь изъ богатой сокровищницы его сочиненій для пользы народа и общества. И однако, заслуги и качества его, какъ человѣка и гражданина, едва ли уступятъ его заслугамъ въ области критики и просвѣщенія. Какъ человѣкъ, Бѣлинскій былъ однимъ изъ тѣхъ людей, у которыхъ жизнь и ученіе, личность и дѣятельность, человѣкъ и работникъ составляютъ одно нераздѣльное цѣлое. Его идеалы, его завѣтныя мечты, надежда и вѣра были средствами его жизни, а жизнь была средствомъ для достиженія этихъ идеаловъ и надеждъ. Въ этомъ смыслѣ онъ могъ бы съ полнымъ основаніемъ сказать, какъ шекспировскій герой: „Когда отнимете мои вы средства въ жизни, отнимете вы жизнь мою!" Какъ ни великъ его критическій талантъ, его эрудиція, его умъ и способность понимать истинныя красоты искусства во всѣхъ его видахъ, но все это не оказало бы такого могучаго вліянія на общество и не наложило бы на всѣ произведенія Бѣлинскаго печати особой симпатіи и прелести, если бы у него не было особаго свойства, чисто человѣческаго, а не писательскаго. Это средство—искренность.

Наконецъ, какъ *гражданинъ*, Бѣлинскій можетъ служить образ-

цомъ непоколебимаго мужества и стойкости убѣжденій. Какъ ни гнели его тяжелыя условія окружающаго, какъ ни страдалъ онъ за свои взгляды и мнѣнія, онъ остался твердъ и ни разу не измѣнилъ своимъ принципамъ. А основной принципъ его можно было бы выразить словами британскаго поэта: „прекрасно имѣть силу великаго, но было бы тиранніей злоупотреблять ею по-великански“.

Вотъ какова была рыцарская фигура этого борца за правду и честность въ литературѣ и жизни.

Оглядывая эту фигуру однимъ взглядомъ, отыскивая въ критикѣ, просвѣтителѣ, человѣкѣ и гражданинѣ общую всѣмъ имъ черту, мы можемъ видѣть, что во всѣхъ своихъ бѣдствіяхъ и твореніяхъ, въ совокупности дѣлъ всей своей жизни Бѣлинскій былъ всегда и вездѣ гуманистомъ, и въ этомъ словѣ заключаются какъ его личность, такъ и его дѣла.

50-лѣтіе смерти Бѣлинскаго совпало со смертью еще двухъ великихъ гуманистовъ XIX вѣка: 7 (19) текущаго мая умеръ въ Лондонѣ великій англійскій гуманистъ Гладстонъ, а 11 (23) мая умеръ въ Бостонѣ великій американскій гуманистъ Эдвардъ Беллями. Такимъ образомъ, почти одновременно въ трехъ пунктахъ земного шара идеи гуманизма привлекаютъ горячее сочувствіе человѣческихъ обществъ. И если бы Бѣлинскій былъ извѣстенъ за границей Россіи такъ же, какъ у насъ извѣстны Гладстонъ и Беллями, конечно и Европа, и Америка почтили бы память великаго русскаго гуманиста съ подобающимъ торжествомъ.

Итакъ, вѣчная память незабвенному Виссаріону Григорьевичу Бѣлинскому! Вѣчная слава его критическому таланту и его великимъ гуманнымъ идеямъ! И горячій привѣтъ всѣмъ вамъ, собравшимся во имя его!“

Отъ Харьковскаго общества распространенія въ народѣ грамотности.

Пятьдесятъ лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ преждевременно сошелъ въ могилу В. Г. Бѣлинскій; его заслуги предъ русскимъ обществомъ выясняются съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе; его талантъ, неустанная работа и чистота взглядовъ способствовали созданію и укрѣпленію русской общественной мысли, а его идеи легли краеугольнымъ камнемъ въ основу русскаго самосознанія. Онъ научилъ насъ понимать, оцѣнивать и уважать русскихъ писателей, немало поработалъ и въ дѣлѣ сближенія нашей литературы съ западноевропейскою. Чѣмъ далѣе уходимъ мы отъ той эпохи, когда жилъ и дѣйствовалъ Бѣлинскій, тѣмъ болѣе и болѣе представляется онъ

намъ нравственно-высокимъ. Если отечество можетъ гордиться Бѣлинскимъ, однимъ изъ лучшихъ своихъ сыновъ, то его родина въ правѣ считать за счастье, что вскормила для земли русской такого высокоталантливаго и высоко-честнаго человѣка.

Харьковское общество распространенія въ народѣ грамотности шлетъ свой искренній привѣтъ собравшимся въ Пензѣ почтить память Виссаріона Григорьевича, проникаясь чувствомъ глубокаго уваженія къ свѣтлому образу незабвеннаго русскаго критика и великаго поборника просвѣщенія".

Отъ Невскаго общества устройства народныхъ развлеченій.

„Заслуги В. Г. Бѣлинскаго въ дѣлѣ развитія русскаго самосознанія, просвѣщенія и критической мысли въ читающей публикѣ навсегда останутся въ памяти русскаго общества.

Сегодня, въ торжественный день, посвященный памяти Виссаріона Григорьевича, русское общество воздаетъ должное заслугамъ и трудамъ покойнаго на поприщѣ его литературной дѣятельности.

Невское общество устройства народныхъ развлеченій, имѣющее одною изъ главнѣйшихъ цѣлей своей дѣятельности просвѣщеніе рабочаго населенія, поднятіе его въ умственномъ и нравственномъ отношеніи, всецѣло присоединяется къ настоящему торжественному событію—памяти В. Г. Бѣлинскаго и выражаетъ полную свою солидарность съ принявшими участіе въ чествованіи нашего выдающагося критика.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Невское общество шлетъ свой искренній привѣтъ и благодарность пензенскому Комитету, взявшему на себя иниціативу почтить память В. Г. Бѣлинскаго и напомнить о немъ нашему молодому поколѣнію".

Отъ Общества Борисоглѣбской публичной библіотеки.

„Прошло 50 лѣтъ, какъ умеръ человѣкъ, посвятившій всѣ свои лучшія силы на служеніе родной странѣ во имя общечеловѣческихъ принциповъ права и гражданственности.

На зарѣ гражданской жизни Россіи, когда режимъ крѣпостного права въ самомъ корнѣ отравлялъ духовный и нравственный строй русскаго общества, когда равенство всѣхъ передъ закономъ и признаніе за личностью неотъемлемыхъ правъ казались чистѣйшимъ абсурдомъ, когда окружающая атмосфера до того давила личность, что даже лучшіе люди то, какъ Гоголь, поворачивали вспять и съ горькимъ смѣхомъ отчаянія отрекались отъ завѣтнѣйшихъ думъ прошлаго, то, подобно Лермонтову, кончали жизнь самымъ безсмы-

сленнымъ образомъ,—въ это самое глухое время В. Г. Бѣлинскій не потерялъ ни вѣры въ идеалъ, ни вѣры въ Россію и ея лучшее будущее.

Неустанно работая среди полнѣйшаго несочувствія окружающихъ, Бѣлинскій, говоря словами поэта,

..... Насъ гуманно мыслить научилъ,
Едва ль не первый вспомнилъ о народѣ,
Едва ль не первый онъ заговорилъ
О равенствѣ, о братствѣ, о свободѣ.

Энергія и невозможность дѣла сломили Бѣлинскаго, но сломили лишь его физическія силы, а нравственно онъ остался цѣлъ и непоколебимъ и стоитъ предъ нами гигантскою тѣнью, набрасываемою изъ полувѣковой тьмы прошлаго на нашу, быть можетъ, также полную сомнѣній и разочарованій жизнь, но все-таки жизнь, уже далеко ушедшую впередъ во всѣхъ отношеніяхъ.

Эта великая тѣнь является для насъ примѣромъ, и, какъ ни тяжела кажется намъ окружающая дѣйствительность, вспомнимъ, что Бѣлинскій работалъ при худшихъ условіяхъ и все-таки воспиталъ цѣлое поколѣніе мыслящихъ людей и талантливыхъ писателей, создалъ читающую публику и двинулъ впередъ ходъ нашего общественнаго развитія.

Поэтому Борисоглѣбская публичная библіотека, въ лицѣ своихъ членовъ, считаетъ долгомъ присоединиться къ прекрасному почину Пензы въ дѣлѣ чествованія памяти нашего общаго учителя и во имя дорогихъ о немъ воспоминаній привѣтствовать великій русскій литературный праздникъ въ томъ самомъ городѣ, гдѣ провелъ свое дѣтство и юность нашъ незабвенный критикъ".

Отъ Общества взаимнаго вспоможенія приказчиковъ въ г. Тамбовѣ.

„Пятьдесятъ лѣтъ прошло со дня смерти великаго писателя, человѣка и общественнаго дѣятеля, В. Г. Бѣлинскаго, умершаго почти одинокимъ, незамѣтно, не оставивъ средствъ даже на свое погребеніе, умершаго послѣ упорной и тяжелой борьбы съ окружающимъ гнетомъ и невѣжествомъ. Онъ любилъ русскій народъ, но при жизни его не оцѣнили, и сошелъ онъ въ могилу, истощенный физически, безъ надежды увидѣть плодотворные результаты своей дѣятельности. Но русскій народъ не забываетъ своихъ дѣятелей и учителей. Имя Бѣлинскаго всегда жило и будетъ жить въ сердцахъ лучшихъ представителей русскаго общества.

Привѣтствуя пензенское городское общество за иниціативу, кото-

рую оно взяло на себя въ чествованіи памяти Виссаріона Григорьевича, Общество взаимнаго вспоможенія приказчиковъ въ г. Тамбовѣ вмѣстѣ съ тѣмъ шлетъ свой привѣтъ и всѣмъ представителямъ учрежденій, частныхъ обществъ, науки и литературы, собравшимся въ этотъ достопамятный день въ г. Пензѣ; оно чествуетъ въ лицѣ умершаго Бѣлинскаго неутомимаго, безкорыстнаго борца за правду, великаго писателя, распространявшаго въ своихъ сочиненіяхъ свѣтлыя идеи добра и правды, боровшагося, несмотря на самыя тяжелыя условія, за отмѣну безчеловѣчнаго крѣпостного права, оно чествуетъ въ Бѣлинскомъ бѣднаго, но честнаго труженика, подъ вліяніемъ тяжелой нужды своей и своей семьи, никогда не измѣнившаго своимъ убѣжденіямъ, не потерявшаго надежду, до конца своей несчастной жизни, вѣру въ лучшее будущее.

Общество приказчиковъ твердо вѣритъ въ то, что собравшіеся на чествованія представители ученаго міра и общественные дѣятели также твердо и неуклонно будутъ слѣдовать традиціямъ умершаго великаго человѣка, и забота о меньшемъ, трудящемся людѣ будетъ также и ихъ девизомъ".

Отъ жителей станціи „Ртищево":

„Мы, нижеподписавшіеся, просимъ васъ принять и наше привѣтствіе и поклоненіе памяти великаго, честнѣйшаго и благороднѣйшаго русскаго писателя, Виссаріона Григорьевича Бѣлинскаго, чествуемой нынѣ. Дабы память объ этомъ великомъ праздникѣ русской литературы и просвѣщенія русскаго сохранилась и въ нашемъ глухомъ уголкѣ, мы постановили устроить общественную библіотеку-читальню въ поселкѣ при станціи „Ртищево" имени незабвеннаго В. Г. Бѣлинскаго". (22 подписи).

Письмо А. В. Орловой *).

„Искренно сожалѣла я, что не могла принять участіе въ чествованіи памяти В. Г. Бѣлинскаго: мой, болѣе чѣмъ преклонный, возрастъ и неизбѣжные съ нимъ недуги достаточно извиняютъ меня. Я до сихъ поръ еще не могу отдохнуть отъ поѣздки въ Петербургъ.

На долю вашего поколѣнія досталось понять и достойно оцѣнить великаго страдальца, котораго при жизни близкіе знакомые не умѣли (за исключеніемъ Герцена и Кавелина) достаточно понимать и цѣнить, чему доказательствомъ служитъ въ время его агоніи рѣчь къ народу, въ время которой онъ съ тоской сказалъ: „Они меня не по-

*) А. В. Орлова—сестра жены В. Г. Бѣлинскаго.

нимаютъ, совсѣмъ не понимаютъ!"—„Ничего"—отвѣчала жена,—„теперь не понимаютъ, а послѣ поймутъ."—Черезъ 50 лѣтъ послѣ его смерти исполнилось предсказаніе жены его.

Въ лицѣ вашемъ приношу мою глубокую благодарность всѣмъ, принимавшимъ участіе въ чествованіи Бѣлинскаго въ Пензѣ, Москвѣ и Петербургѣ, и отъ всего сердца желаю, чтобы исполнился завѣтъ Бѣлинскаго, и его внукамъ жилось бы легче, чѣмъ ему.

Съ истиннымъ уваженіемъ и безпредѣльною благодарностью остаюсь

Аграфена Орлова.

Письмо П. Засодимскаго.

„М. Г. *).

Мнѣ очень жаль, что я не могу сегодня быть съ вами—въ средѣ вашихъ уважаемыхъ товарищей. Но я не могу отказать себѣ въ удовольствіи хотя заочно побесѣдовать съ вами, привѣтствовать васъ и сказать нѣсколько словъ по поводу чествованія въ г. Пензѣ памяти нашего знаменитаго писателя и гражданина.

Нѣкоторые находятъ, что какъ будто бы не совсѣмъ кстати пріурочивать празднество ко дню годовщины смерти знаменитыхъ согражданъ. Тутъ, конечно,—явное недоразумѣніе: чествовать память не значитъ „праздновать" и ликовать,—а затѣмъ должно памятовать слова поэта о дорогихъ для насъ людяхъ, отошедшихъ отъ насъ навѣки:

„Не говори съ тоской: ихъ нѣтъ.
„Но съ благодарностію: *были*".

Я очень дорожу торжествами, подобными настоящему, и придаю имъ значеніе глубокое, потому что они, помимо своего прямого назначенія, представляютъ одинъ изъ тѣхъ рѣдкихъ въ нашей жизни моментовъ, когда наши общественныя надежды и идеалы могутъ публично высказываться въ живой рѣчи.

Я всегда придавалъ особенно большое значеніе *областному* началу, сказавшемуся съ такою жизненностью и силой въ исторіи русскаго народа. Вотъ почему мнѣ было такъ отрадно сознавать, что починъ въ дѣлѣ чествованія памяти В. Г. Бѣлинскаго принадлежитъ провинціи.

Честь и слава вамъ, иниціаторамъ сегодняшняго чествованія памяти человѣка, столь много и съ такимъ блестящимъ успѣхомъ поработавшаго надъ развитіемъ нашего общественнаго самосознанія. Да. Честь и слава вамъ!...

*) Писано на имя предсѣдателя Правленія Лермонтовской общественной библіотеки.

Этотъ фактъ, т.-е., что починъ упомянутаго чествованія принадлежитъ Пензѣ, указываетъ на то, что неоффиціальная, *земская* Россія дѣлаетъ все большіе и большіе успѣхи и завоеванія на поприщѣ общественности, что сознаніе своей силы въ ней крѣпнетъ и она возвышаетъ свой голосъ...

35 лѣтъ тому назадъ, на студенческой скамьѣ, зачитывались мы горячими, огнемъ дышащими статьями В. Г. Бѣлинскаго. Но въ то время еще не думали о томъ, какъ глубоко и какъ далеко отзовется вліяніе Бѣлинскаго...

Впрочемъ, о виновникѣ сегодняшняго торжества я говорить не буду: въ средѣ вашей сегодня найдутся люди, которые прекрасно охарактеризуютъ все плодотворное значеніе литературной дѣятельности Бѣлинскаго, оцѣнятъ его великія заслуги и ярко и живо возсоздадутъ предъ русскимъ современнымъ обществомъ образъ этого славнаго писателя и *честнаго гражданина*. Я же по поводу В. Г. Бѣлинскаго скажу лишь словами поэта:

„Не каждый живъ, кто дышетъ;
Но и не всякій мертвъ—въ гробу!...

Все то доброе, что было посѣяно В. Г. Бѣлинскимъ, не поклевано птицами, не заглушено плевелами и попало не на каменистую землю, но живетъ, растетъ и развивается, доказательствомъ чего служитъ ваше сегодняшнее собраніе.

Заочно братски обнимаю васъ и всѣхъ, дружною семьей собравшихся сегодня въ Пензѣ—въ память для всѣхъ насъ дорогого писателя-гражданина.

Съ искреннимъ уваженіемъ остаюсь, милостивый государь, всегда готовый къ вашимъ услугамъ

П. Засодимскій.

Отъ Отдѣла библіографіи и критики дѣтской литературы при Педагогическомъ музеѣ военно-учебныхъ заведеній въ Петербургѣ.

„Въ числѣ заслугъ Бѣлинскаго по отношенію къ русскому умственному, этическому и эстетическому просвѣщенію имѣетъ великое значеніе основаніе имъ критики дѣтской литературы. Полагая въ основаніе своей дѣятельности при разсмотрѣніи дѣтскихъ книгъ его благотворное идейное руководство, Отдѣлъ библіографіи и критики дѣтской литературы, въ особомъ засѣданіи своемъ 16 апрѣля сего года, посвященномъ памяти Бѣлинскаго, постановилъ принести городу Пензѣ, въ лицѣ исполнительной комиссіи, свой сердечный при-

вѣтъ и самыя теплыя пожеланія, дабы какъ можно полнѣе и шире осуществились всѣ благіе просвѣтительные замыслы, связанные съ именемъ Бѣлинскаго".

ТЕЛЕГРАММЫ.

Отъ Императорской Академіи Наукъ.

Отдѣленіе русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ съ живѣйшимъ сочувствіемъ присоединяется къ чествованію Бѣлинскаго по случаю пятидесятилѣтія со дня его кончины. Своею литературною дѣятельностью нашъ знаменитый критикъ навсегда связалъ свое имя съ исторіей отечественной словесности, развитіемъ которой онъ такъ дорожилъ.

Предсѣдательствующій въ отдѣленіи Бычковъ.

Отъ Харьковскаго университета.

Императорскій Харьковскій университетъ, вспоминая великія заслуги В. Г. Бѣлинскаго въ исторіи развитія русскаго самосознанія, горячо присоединяется къ чествованію его памяти по случаю истеченія пятидесятилѣтія со дня его кончины.

За ректора Бріо.

Отъ Общества любителей россійской словесности.

Общество любителей россійской словесности и почитатели памяти В. Г. Бѣлинскаго въ Москвѣ, собравшись послѣ заупокойной обѣдни и панихиды, шлютъ привѣтъ вашему свѣтлому празднеству въ честь великаго учителя правды и добра, вѣруя, что настоящее торжество предзнаменуетъ ясное будущее родной литературы.

Предсѣдатель Стороженко (14 подписей).

Отъ Союза писателей.

Союзъ писателей, благодарно чтя память Бѣлинскаго, присоединяется къ сегодняшнему ея чествованію на родинѣ незабвеннаго писателя.

Предсѣдатель Комитета Исаковъ.

Отъ Литературнаго фонда.

Комитетъ Литературнаго фонда, участвуя душой и мыслью въ прекрасномъ чествованіи памяти Бѣлинскаго на его родинѣ и сердечно сожалѣя о невозможности ни одному изъ членовъ лично вы-

разить горячее сочувствіе, можетъ подѣлиться отрадною вѣстью, что Л. Ѳ. Пантелеевъ въ ознаменованіе празднества вноситъ въ литературный фондъ $1^1/_2$ тысячи рублей для учрежденія преміи за лучшее сочиненіе о Бѣлинскомъ.

Члены Комитета: Манасеинъ, Таганцевъ, Михайловскій, Короленко, Вейнбергъ, Станюковичъ и др.

Отъ Харьковскаго историко-филологическаго общества.

Харьковское историко-филологическое Общество присоединяется къ чествованію памяти великаго сѣятеля правды и славнаго дѣятеля отечественной литературы—Бѣлинскаго.

Предсѣдатель профессоръ Сумцовъ.

Отъ Историко-филологическаго общества при институтѣ кн. Безбородко въ Нѣжинѣ.

Историко-филологическое общество при Институтѣ князя Безбородко въ Нѣжинѣ присоединяется къ пензенскому торжеству въ честь славнаго критика.

Предсѣдатель Гельбке.

Отъ Правленія С.-Петербургскаго общества взаимной помощи и комиссіи по устройству курсовъ обще-образовательныхъ предметовъ при С.-Петербургскомъ Педагогическомъ обществѣ.

Правленіе С.-Петербургскаго общества взаимной помощи и комиссія по устройству курсовъ обще-образовательныхъ предметовъ при С.-Петербургскомъ педагогическомъ обществѣ, привѣтствуютъ собравшихся на чествованіе памяти Бѣлинскаго и всѣхъ устроителей этого праздника русской литературы и просвѣщенія.

Отъ совѣта Томскаго общества попеченія о начальномъ образованіи.

Совѣтъ Томскаго общества попеченія о начальномъ образованіи, устраивая сегодня литературно-музыкальный вечеръ памяти Бѣлинскаго, присоединяется къ чествованію пензенцами памяти незабвеннаго критика и учителя-гуманиста. Совѣтъ вѣритъ въ скорѣйшее наступленіе времени, „когда мужикъ не Блюхера, а Бѣлинскаго и Гоголя съ базара понесетъ“.

Предсѣдатель Граціановъ.

Рязанская ученая архивная комиссія сегодня въ торжественномъ своемъ засѣданіи, почтивъ память Виссаріона Григорьевича и воспоминая съ глубокимъ уваженіемъ и благодарностью о великомъ писателѣ, совершившемъ цѣлый переворотъ въ теченіи русской мысли и дѣйствовавшемъ такъ неотразимо на рядъ поколѣній, мысленно переносится въ Пензу и всецѣло присоединяется къ чувствамъ, одушевляющимъ всѣхъ, собравшихся въ Пензѣ почитателей Бѣлинскаго.

Предсѣдатель комиссіи Повалишинъ.

Правленіе Общества русскихъ врачей Пирогова привѣтствуетъ городъ по случаю чествованія памяти славнаго просвѣтителя русской мысли—Бѣлинскаго.

Корсаковъ, Яковенко и др.

Земскіе врачи Московской губерніи въ торжественный день памяти Бѣлинскаго присоединяютъ свой голосъ къ чествованію великаго учителя и выражаютъ пожеланія, чтобы завѣты его вѣчно хранились въ сердцахъ русскихъ людей, чтобы общественная правда и любовь, возвѣщенныя Бѣлинскимъ, всегда проникали дѣла людей на благо народа.

Завѣдующій санитарнымъ бюро Поповъ.

Городъ Петербургъ, присоединяясь къ чествованію памяти В. Г. Бѣлинскаго, счастливъ тѣмъ, что въ стѣнахъ столицы проявилась вся зрѣлость и мощь таланта великаго русскаго писателя, именемъ котораго гордится вся Россія.

С.-Петербургскій городской голова П. Леляновъ.

Казанская дума присоединяется ко всей мыслящей Россіи, восторженно чествующей память о дорогомъ и великомъ Бѣлинскомъ, связуя съ этимъ воспоминаніемъ открытіе въ Казани школы имени незабвеннаго Виссаріона Григорьевича.

Казанскій городской голова Дьяченко.

По порученію *Самарской городской думы*, отъ имени города поздравляю въ лицѣ вашемъ (пенз. гор. головы) жителей Пензы съ полувѣковымъ юбилеемъ великаго земляка вашего Бѣлинскаго. Вашъ праздникъ — праздникъ всего русскаго просвѣщенія, побѣда ума и сердца надъ властью тьмы и злобы. Пусть же будетъ жива во вѣки свѣтлая память о Виссаріонѣ Григорьевичѣ, пусть его имя всегда будетъ звучать призывомъ къ неустанной просвѣтительной работѣ.

Городской голова Араповъ.

Воронежская публичная библіотека и два ея отдѣленія: имени Кольцова и Никитина просятъ принять выраженія ихъ участія въ общерусскомъ торжествѣ, посвященномъ памяти великаго критика и работника на пользу самосознанія русскаго общества.

Кишиневская городская общественная библіотека.

Книгохранилище наше богато произведеніями ума и вдохновенія великихъ людей, но изъ нихъ наиболѣе цѣнятся произведенія В. Г. Бѣлинскаго, и его благотворныя и гуманныя идеи ежедневно запечатлѣваются въ умѣ и сердцѣ его многочисленныхъ читателей. Память Бѣлинскаго тихо, но торжественно чествуется у насъ ежедневно. Сегодня же мы присоединяемся къ общему торжеству.

Изъ Москвы:

Всею душой присоединяемся къ чествующимъ память Бѣлинскаго, одного изъ великихъ сыновъ Россіи, и твердо надѣемся, что память о немъ поддержитъ и соединитъ въ дружную семью всѣхъ стремящихся ко благу нашей родины.

Почитатели Бѣлинскаго (18 подписей).

Изъ Ялты:

Благоговѣйно преклоняясь предъ именемъ незабвеннаго великаго учителя, всею душой присоединяемся, изъ далекой Ялты, къ чувствамъ, одушевляющимъ и объединяющимъ собравшихся въ Пензѣ чествовать его священную память.

Городской голова, предсѣдатель земской управы и др. (60 подписей).

Изъ Самары:

Присоединяемся къ чествованію памяти великаго русскаго критика В. Г. Бѣлинскаго. Въ его лицѣ мы чествуемъ не только геніальнаго истолкователя безсмертныхъ произведеній Пушкина, Лермонтова, Гоголя, но и глашатая правды и свободы, будившаго словомъ общественное сознаніе, которое, окрѣпнувъ, впослѣдствіи всколыхнуло русскую жизнь, сбросило позорныя путы крѣпостного права и обновило затхлую атмосферу до-реформенной Россіи. Вѣчная память литератору-борцу за идеалы лучшаго будущаго, писавшему „кровью своего сердца и сокомъ своихъ нервовъ“, и да будетъ имя его могучимъ стимуломъ для широкой безкорыстной дѣятельности въ интересахъ свободы на пользу науки и просвѣщенія!

(30 подписей).

Изъ Бердянска:

Душей и сердцемъ присоединяемся къ знаменательному торжеству открытія памятника благороднѣйшему изъ сыновъ Россіи, непоколебимому, геніальному поборнику истины, правды и красоты. Честь и слава городу, воспитавшему такого гражданина, какъ В. Г. Бѣлинскій! Великъ и могучъ духомъ народъ, рождающій такихъ сыновъ! Сохранимъ же съ благодарностью незабвенное имя Бѣлинскаго, столь много послужившаго своимъ пламеннымъ перомъ русскому самосознанію. Пусть это имя навсегда воодушевляетъ и подвигаетъ насъ къ исканію вѣчной правды, къ достиженію идеала!

(20 подписей).

Изъ отдѣльныхъ лицъ, приславшихъ поздравленія, упомянемъ родственниковъ Бѣлинскаго Бензи и Прозорову, затѣмъ гг. Мачтета, Златовратскаго, В. Якушкина, Бѣлоконскаго и Рубакина; наконецъ, рядъ близкихъ Пензѣ лицъ: бывшаго губернатора кн. Святополкъ-Мирскаго, профессоровъ Загоскина и Дормидонтова и др. Сенаторъ Таганцевъ прислалъ слѣдующую телеграмму:

„Сердечно присоединяюсь къ празднику родного города, съ благодарностью вспоминая память Бѣлинскаго, сильно и благотворно вліявшаго на наше духовное развитіе.—*Бывшій воспитанникъ Пензенской гимназіи Н. Таганцевъ.*

Получены были телеграммы отъ учащейся русской молодежи изъ Вѣны, Берлина, Берна, Женевы и Монпелье; поздравленія отдѣльныхъ лицъ шли изъ Вѣны, Ливорно, изъ глухихъ угловъ и съ окраинъ Россіи, какъ, напр., телеграмма „сибиряка-якутянина“ съ береговъ Лены или изъ маленькаго мѣстечка Минской губ.

III.

Не будемъ передавать въ подробностяхъ, какъ происходило чествованіе въ столицахъ, отсылая за этимъ къ книжкѣ г. Глинскаго.

Московское общество любителей словесности, кромѣ торжественнаго засѣданія (всѣ рѣчи, произнесенныя здѣсь, помѣщены въ текстѣ Сборника), устроило прекрасную выставку портретовъ и бюстовъ самого Бѣлинскаго и дѣятелей его эпохи; богатый подборъ интересныхъ и рѣдкихъ изображеній вызвалъ такой наплывъ посѣтителей, что пришлось отсрочить закрытіе выставки. Заботами Общества любителей словесности сюда была, между прочимъ, доставлена извѣстная картина А. Наумова. Наконецъ Общество же организовало и

посылку выставки въ Пензу къ тамошнимъ торжествамъ, а 26 мая послѣ панихиды привѣтствовало Пензу телеграммой.

Кромѣ того, старѣйшее и долгое время единственное въ Россіи педагогическое общество — Учебный отдѣлъ Общ. распр. техническ. знаній—устроило публичное засѣданіе въ Политехническомъ музеѣ съ нѣсколькими рефератами, привлекшее многочисленную публику. Комиссія учителей русскаго языка при Учебномъ отдѣлѣ изготовила и напечатала избранныя сочиненія Бѣлинскаго въ двухъ томахъ съ отдѣльною біографическою статьей. Если прибавить, что въ Москвѣ появилось къ 26 мая новое изданіе полнаго собранія сочиненій Бѣлинскаго и семь статей его, напечатанныхъ впервые по рукописямъ подъ ред. П. А. Ефремова и В. Е. Якушкина, то будетъ указано все, что сдѣлано было въ Москвѣ.

Петербургъ чествовалъ память Бѣлинскаго почти въ тѣхъ же самыхъ формахъ; иниціатива торжественнаго засѣданія, какъ и панихиды на Волковомъ кладбищѣ съ рѣчами послѣ нея, принадлежала здѣсь Союзу писателей; слѣдуетъ отмѣтить, что городское самоуправленіе сочло нужнымъ принести поздравленіе Пензѣ телеграммой, подписанною головой Леляновымъ, чего не сдѣлала московская дума. Вкладъ Петербурга въ литературу о Бѣлинскомъ былъ болѣе обиленъ, чѣмъ въ Москвѣ: вышло три изданія избранныхъ статей критика—въ „Дешевой Библіотекѣ“ Суворина, давшаго, между прочимъ за 25 коп. всѣ статьи о Пушкинѣ, затѣмъ изд. О. Н. Поповой въ двухъ большихъ томахъ съ прекрасною статьей Н. Котляревскаго и наконецъ, „Избранныя сочиненія Бѣлинскаго для семьи и школы“ подъ ред. В. Острогорскаго. Послѣднее изданіе слѣдуетъ отнести къ петербургскимъ, хотя оно напечатано въ Москвѣ, такъ какъ оно отражаетъ на себѣ воззрѣнія и духъ своего петербургскаго редактора, и Москва лишь внѣшнимъ образомъ участвовала здѣсь. Затѣмъ вышелъ большой, горячо написанный, трудъ г. Е. Соловьева (Скрибы), гдѣ впервые сдѣлана попытка охарактеризовать личность и воззрѣнія Бѣлинскаго на основаніи новаго матеріала, главнымъ образомъ писемъ, появившихся послѣ извѣстной книги Пыпина. (Кстати: были слухи, что А. Н. Пыпинъ занятъ переработкой своей книги, давно уже нуждающейся въ переизданіи; этому можно только порадоваться). Упомянемъ также, что книгоиздателемъ Л. Пантелѣевымъ учреждена премія за лучшее сочиненіе о Бѣлинскомъ. Наконецъ, и въ Москвѣ, и въ Петербургѣ, кромѣ газетныхъ и журнальныхъ статей (отмѣтимъ большую работу С. Венгерова въ „Русск. Богатствѣ“: „Великое сердце“), появился рядъ брошюръ съ біографіями, оцѣнкой или избранными мыслями Бѣлинскаго: В. Острогорскаго, И. Иванова, Алфе-

рова, Ермилова, Балталона, Л. С., Л. Сѣдова, Сальникова; заслуживаетъ вниманія попытка журн. „Дѣтское Чтеніе“ дать для широкой публики общій популярный очеркъ жизни и дѣятельности критика (брошюра А. Алферова. Ц. 5 к.).

Теперь посмотримъ, что дѣлалось въ остальной Россіи.

Слишкомъ въ тридцати городахъ былъ чѣмъ-либо особо ознаменованъ этотъ день; изъ нихъ въ семи были устроены болѣе или менѣе торжественныя чествованія. Въ Кіевѣ по почину совѣта университета въ актовомъ залѣ происходило торжественное собраніе, открывшееся рѣчью профессора государственнаго права Романовича-Славатинскаго; сверхъ того, литературно - артистическимъ клубомъ было устроено засѣданіе съ рефератами.

Изъ Рязани писали въ „Биржевыя вѣдомости“: „Прекрасное зрѣлище представляло торжественное засѣданіе Ученой архивной комиссіи. Собралось до 400 человѣкъ публики; на эстрадѣ, подъ предсѣдательствомъ Н. С. Брянчанинова (губернатора), открылось засѣданіе его рѣчью, объявлявшей, что вліяніе Бѣлинскаго настолько широко распространялось въ свое время, что каждая мѣстность можетъ считать его своимъ; списки его статей расходились по рукамъ и въ Рязанской губ., сохранились эти списки и въ библіотекѣ комиссіи, которая потому, имѣя задачей охранять слѣды и реликвіи мѣстной исторической жизни, сочла долгомъ осмыслить вліяніе Бѣлинскаго въ день, когда его сочиненія перестаютъ быть частной собственностью наслѣдниковъ его. На эстрадѣ, въ группѣ лавровъ и пальмъ высился портретъ Бѣлинскаго и подъ нимъ его книги; все это было украшено лавровымъ вѣнкомъ съ надписью на лентахъ: „Бѣлинскому почитатели его таланта“. Разсказавъ о томъ, какія читались рѣчи (кромѣ мѣстныхъ лекторовъ прислали свои рѣчи проф. Веселовскій и г. Джанціевъ), корреспондентъ заключаетъ: „Вообще этотъ вечеръ, и многолюдство аудиторіи, и участіе въ средѣ членовъ комиссіи оффиціальныхъ лицъ, — все это представляло нѣчто выходящее изъ ряда“.

Одесса чествовала память Бѣлинскаго панихидами въ нѣсколькихъ учебныхъ заведеніяхъ, литературнымъ вечеромъ въ артистическомъ клубѣ, засѣданіемъ въ Славянскомъ благотворит. обществѣ и вечеромъ въ народной аудиторіи. Въ Томскѣ инициатива исходила отъ „Школьнаго общества“; „залъ народной библіотеки былъ переполненъ“, передаютъ телеграммы.

Въ Елизаветградѣ Общество распростран. грамотности и ремеслъ постановило, уже послѣ каникулъ: 1) устроить литературный вечеръ, сборъ съ котораго отослать въ Пензу на постановку памятника Бѣ-

линскому; 2) возбудить ходатайство о наименованіи безплатной народной библіотеки и читальни Общества именемъ В. Г. Бѣлинскаго и 3) черезъ Совѣтъ библіотеки ходатайствовать о допущеніи сочиненій Бѣлинскаго въ народную библіотеку.

Въ Чембарѣ организовала празднество городская дума. Кромѣ церковнаго служенія и рѣчей въ программу входило открытіе общественной библіотеки имени Бѣлинскаго, но уставъ ея еще не получилъ утвержденія.

Но особенно празднично прошелъ день 26 мая въ Саратовѣ и Екатеринбургѣ.

Въ Саратовѣ празднество заняло даже два дня; Общество вспомоществованія нуждающимся литераторамъ, кромѣ церковной службы, устроило 26-го мая публичное чествованіе въ городскомъ театрѣ, а 27-го—въ народномъ театрѣ. Заимствуемъ нѣкоторыя подробности изъ саратовскихъ газетъ. Театръ, вмѣщающій до 900 человѣкъ, былъ наполненъ сверху до низу; кромѣ рѣчи мѣстнаго лектора г. Немировскаго, были прочитаны рѣчи московскихъ профессоровъ Стороженка и Веселовскаго, затѣмъ читались стихотворенія Некрасова и Плещеева, посвященныя Бѣлинскому, была даже музыкальная часть. Наконецъ, отъ разныхъ саратовскихъ учрежденій и частныхъ лицъ было возложено на бюстъ писателя 24 вѣнка. На другой день въ народномъ театрѣ собравшейся въ большомъ количествѣ (не хватило мѣстъ) „сѣрой“ публикѣ, — какъ сказано въ корреспонденціи „Новостей“ — была предложена та же программа съ замѣной рѣчей популярною біографіей Бѣлинскаго. Желающихъ быть на праздникѣ набралось такъ много, что пришлось распредѣлять билеты по предварительнымъ заявленіямъ. Саратовцы предполагаютъ открыть народную читальню имени Бѣлинскаго.

Въ Екатеринбургѣ организаторомъ явилось Общество изящныхъ искусствъ. Оттуда пишутъ, что огромный залъ общественнаго собранія не могъ вмѣстить всей публики; было произнесено нѣсколько рѣчей предсѣдателемъ общества и членами, прочтены рѣчи профессоровъ Стороженка и Веселовскаго, читались стихотворенія; празднество заключилось увѣнчаніемъ бюста Бѣлинскаго при звукахъ кантаты, написанной къ этому дню мѣстнымъ композиторомъ Ожеговымъ.

Въ Тифлисѣ въ залѣ думскихъ засѣданій въ присутствіи городской управы, гласныхъ, городскихъ учителей и учительницъ и публики была отслужена панихида; городъ постановилъ открыть въ слѣдующемъ году городское училище имени Бѣлинскаго и одну изъ лучшихъ улицъ города назвать улицей Бѣлинскаго.

Въ Самарѣ было устроено литературное утро съ рѣчами А. С. Пру-

гавина и др. и чтеніемъ стихотвор. Некрасова; организаторамъ пришла въ голову удачная мысль расшить по листамъ и выставить для обозрѣнія фототипическій альбомъ Московской выставки Общ. люб. словесности. Кромѣ того, здѣсь постановлено назвать городское училище именемъ Бѣлинскаго и открыть въ его память при городской школѣ библіотеку для учащихъ.

Не останавливаясь на печальной исторіи, разыгравшейся по поводу чествованія въ Тамбовскомъ обществѣ устройства народныхъ чтеній и не разъ уже пересказанной (см. книгу Глинскаго), укажемъ, что различнаго рода празднества были организованы въ Перми, Омскѣ, Бирскѣ, Вологдѣ, Новгородѣ, Костромѣ, Новочеркасскѣ, Ставрополѣ Кавказскомъ, Ригѣ, Вяткѣ, Нижнемъ - Новгородѣ, Курскѣ и Смоленскѣ. Формы чествованій были очень разнообразны. Кромѣ засѣданій разныхъ обществъ и литературно - музыкальныхъ вечеровъ, устраивались лекціи о Бѣлинскомъ, а въ Вяткѣ былъ организованъ дѣтскій праздникъ на открытомъ воздухѣ: собралось до тысячи дѣтей, которымъ былъ между прочимъ показанъ на экранѣ портретъ Бѣлинскаго и сказано нѣсколько словъ объ его значеніи. Заслуживаетъ вниманія, что въ трехъ городахъ (Бирскѣ, Вологдѣ и Костромѣ) сборъ съ лекцій и вечеровъ былъ обращенъ въ помощь пострадавшимъ отъ неурожая, а въ Новгородѣ — въ пользу интерната для дѣтей лицъ, учащихъ въ Новгородской губерніи.

Наконецъ, въ Казани, Самарѣ, Ялтѣ, Курскѣ, Кишиневѣ и Батумѣ были отслужены панихиды по иниціативѣ или городского управленія, или представителей печати, или кружка интеллигенціи.

Приглядываясь къ учрежденіямъ, откликнувшимся на чествованія, нетрудно замѣтить, что почти вездѣ это были—частныя общества съ просвѣтительными цѣлями или свободныя корпораціи — врачи, литераторы и т. д.; оффиціальный элементъ отсутствовалъ. Правда, что представители правительственныхъ учрежденій нерѣдко присутствовали въ числѣ публики и на панихидахъ, и на литературныхъ засѣданіяхъ; газеты обыкновенно сообщаютъ: „въ присутствіи властей“ или что нибудь въ такомъ родѣ. Мы уже отмѣтили большое вниманіе къ торжествамъ со стороны пензенскаго губернатора, гр. Адлерберга, который присутствовалъ на всѣхъ отдѣлахъ праздника и не разъ выражалъ удовольствіе по поводу того, что онъ слышитъ и видитъ; въ Рязани губернаторъ, въ качествѣ предсѣдателя архивной комиссіи, самъ открылъ торжество рѣчью. Это все— факты, не лишенные значенія. Но оффиціальныя просвѣтительныя учрежденія наши—учебныя заведенія,—которымъ прежде всего надлежало понять праздникъ Бѣлинскаго, какъ свой близкій праздникъ,

и дать своимъ питомцамъ истинную оцѣнку крупнаго русскаго писателя и общественнаго дѣятеля, почти не участвовали въ общемъ торжествѣ. Слѣдуетъ сдѣлать нѣкоторую оговорку: экзаменаціонная страда могла помѣшать среднимъ учебнымъ заведеніямъ теперь же присоединиться къ чествованію; если не ошибаемся, въ двухъ учебныхъ округахъ было получено разрѣшеніе почтить память Бѣлинскаго; этимъ почти нигдѣ не успѣли воспользоваться, и пріобщенія учащихся къ общерусскому событію надо было ждать осенью; но объ этомъ что-то молчали газеты. Но никакими соображеніями нельзя извинить того, что изъ нашихъ университетовъ отозвались лишь три провинціальныхъ; особенно странно было полное молчаніе со стороны Московскаго университета, который мы привыкли на протяженіи его почти полуторастолѣтняго существованія видѣть во главѣ или во всякомъ случаѣ на уровнѣ умственной жизни и духовныхъ интересовъ русскаго общества.

Итакъ, это былъ праздникъ менѣе всего оффиціальный; онъ явился дѣломъ свободной иниціативы русскаго интеллигентнаго общества въ самыхъ различныхъ его слояхъ. Столицы сдѣлали здѣсь свое дѣло, но новою и характерною чертой было то, что этотъ праздникъ широко захватилъ провинцію; средній интеллигентный русскій человѣкъ, скромный мѣстный дѣятель въ Екатеринбургѣ, Вологдѣ, даже Якутскѣ счелъ его праздникомъ „на своей улицѣ“ и чествовалъ какъ могъ, достойно. Это—важный фактъ.

Девятнадцать лѣтъ назадъ, когда открывался памятникъ Пушкину, въ отзывахъ печати, старавшейся разъяснить смыслъ этого національнаго торжества, не разъ звучала мысль, что подобное заявленіе національнаго чувства къ одному изъ главныхъ представителей національной мысли—нѣчто новое, почти небывалое на Руси. „Доселѣ у насъ еще не случалось,—говорили тогда,—чтобы интересу умственному приносима была обществомъ дань уваженія столь гласно и торжественно“. Другою чертой, тоже поражавшею, какъ новость, былъ неоффиціальный характеръ торжества. „У насъ немало было,—писалъ „Голосъ“,—подобныхъ, по наружнымъ признакамъ, торжествъ, открытій памятниковъ, юбилеевъ, разныхъ чествованій... На всѣхъ нихъ лежалъ большій или меньшій *казенный* отпечатокъ, котораго не было ни малѣйшаго слѣда на пушкинскомъ праздникѣ. Этотъ праздникъ, можно сказать безъ преувеличенія, свободно и самобытно изошелъ изъ самыхъ нѣдръ русскаго общества, изъ народнаго сердца... Онъ былъ устроенъ по почину частныхъ лицъ, на частныя деньги, безъ всякаго участія правительства, такъ же, какъ возникла и была осуществлена самая идея памятника“.

Эти мысли невольно припоминаются, когда оглядываешься на майское чествованіе памяти Бѣлинскаго. Само собою разумѣется, рѣчь идетъ не о какомъ бы то ни было сравненіи этихъ двухъ торжествъ, а лишь о томъ, что тѣ же черты, которыя останавливали вниманіе наблюдателя въ Пушкинскомъ праздникѣ, составляютъ, быть можетъ, еще болѣе характерную особенность „дней Бѣлинскаго“.

Дѣйствительно, здѣсь происходило дѣло, еще болѣе небывалое: гласно и торжественно приносилась обществомъ дань уваженія одному изъ главныхъ представителей не только національной мысли, но и критической мысли; открыто признавались крупныя заслуги передъ русскимъ народомъ писателя-критика и публициста. Еще недавно такое признаніе было бы крайне затруднительно; еще на томъ самомъ Пушкинскомъ торжествѣ изъ всѣхъ говорившихъ и писавшихъ помянули Бѣлинскаго публично добрымъ словомъ только Тургеневъ и Тихонравовъ въ своихъ рѣчахъ, да сочувственно процитировалъ его „Церковно-общественный вѣстникъ“. Съ другой стороны, чествованіе памяти Бѣлинскаго, какъ ни было оно внѣшне-скромнымъ сравнительно съ „Пушкинскими днями“ 1880 г., отличалось еще большимъ отсутствіемъ *„казеннаго* отпечатка“ и нисколько не въ меньшей степени „изошло свободно и самобытно изъ самыхъ нѣдръ русскаго общества“.

Если вы возьмете описаніе всѣхъ торжествъ при открытіи памятника Пушкину („Вѣнокъ на памятникъ Пушкина“ состав. Ѳ. Б.) и посмотрите, какъ откликнулась на этотъ праздникъ наша провинція, вы убѣдитесь, что теперь, при чествованіи памяти Бѣлинскаго, ея участіе выразилось значительно полнѣе и ярче. Не только число городовъ, гдѣ праздновали, было тогда меньше, чѣмъ теперь, но самыя чествованія прошлою весной носили болѣе разнообразный и *болѣе общественный характеръ*. Даже—какъ ни странно это—адресовъ и телеграфныхъ привѣтствій изъ разныхъ мѣстъ Россіи было получено въ Пензѣ больше, чѣмъ въ 1880 г. въ Москвѣ. Все это показываетъ, разумѣется, не то, чтобы имя Бѣлинскаго было болѣе популярно, чѣмъ имя Пушкина, а то, что за послѣднія 18 лѣтъ общественные элементы нашей провинціи стали иными. Интересно, что и въ печати нашей, которая вся сильно и дружно содѣйствовала разъясненію образа великаго писателя въ широкихъ кругахъ, выдѣляется живая и серьезная работа провинціи, особенно замѣтная, напр., въ Саратовѣ.

Чествованіе Бѣлинскаго показало, что къ очень многимъ провинціальнымъ угламъ уже не подходитъ характеристика, которую когда-то дѣлалъ Г. Успенскій, писавшій, что безмятежная тишина провинціальнаго города нарушается лишь какими-то несуразными событіями:

„то Рубинштейнъ пріѣдетъ, то волкъ забѣжитъ и перекусаетъ народъ на улицахъ“; современная провинція лучше характеризуется словами В. Г. Короленко, сказанными на прощаніи съ Нижнимъ. „Въ ней есть жизнь, живыя весеннія струйки текутъ подъ глыбами мертваго снѣга и пробиваютъ себѣ пути; онѣ точатъ эти массы и растопятъ ихъ, лишь бы грѣло солнце по весеннему“.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

В. Бѣлинскій

ФОТОТИПІЯ ШЕРЕРЪ, КАБЛЪ

[illegible]

[illegible]

[illegible]ятъ, 8 ал[illegible]

[illegible]

[illegible]

Чтенія на торжественномъ собраніи Общества Любителей Россійской Словесности при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ, 8 апрѣля 1898 г., въ память В. Г. Бѣлинскаго.

ПАМЯТИ БѢЛИНСКАГО.

Мм. Гг.! Устраивая литературныя поминки по Бѣлинскомъ, мы были глубоко убѣждены, что московское общество откликнется на нашъ призывъ. Ваше присутствіе, и въ такомъ числѣ, на настоящемъ засѣданіи показываетъ, что наша увѣренность была не напрасна, что м сковскому образованному обществу дорога̀ память о великомъ русскомъ критикѣ, дѣятельность котораго началась въ Москвѣ. Чудное и поразительное явленіе представляетъ собою эта 14-лѣтняя дѣятельность! Недоучившійся студентъ, бѣднякъ, зарабатывающій свой хлѣбъ журнальною работой, вдругъ становится, благодаря своему выдающемуся таланту, во главѣ русской критики, создаетъ, разрушаетъ литературныя репутаціи. Къ его сужденіямъ, къ его вдохновеннымъ рѣчамъ прислушиваются то съ восторгомъ, то съ негодованіемъ, но всегда со вниманіемъ, всѣ извѣстные тогдашніе литераторы, ибо этотъ геніальный самоучка обладаетъ рѣдкою проницательностью и умѣетъ открыть присутствіе большого таланта тамъ, гдѣ никто этого не подозрѣваетъ, и, наоборотъ, никто не умѣетъ такъ разоблачить убожество таланта подъ блестящею мишурой фразъ, какъ онъ. Предоставляя другимъ познакомить васъ съ главными фактами біографіи Бѣлинскаго, его характеромъ и темпераментомъ, его отношеніями къ современной ему общественной мысли, я намѣренъ остановиться на одномъ вопросѣ, на одной сторонѣ ея дѣятельности, именно—на эволюціи его критическихъ взглядовъ. Одаренный отъ природы рѣдкимъ эстетическимъ чутьемъ и страстною любовью къ литературѣ,

Бѣлинскій въ самый ранній періодъ своей дѣятельности весь отдается своему непосредственному чувству и любуется прекраснымъ во всѣхъ видахъ и у всѣхъ народовъ. Онъ отдаетъ дань восторга и протестующему идеализму Шиллера и трезвому реализму Сервантеса, но въ особенности преклоняется передъ геніальною многосторонностью Шекспира. Точка зрѣнія его на художественныя произведенія была въ то время чисто эстетическая, и задача критика состояла, по его мнѣнію, въ томъ, чтобы выяснить себѣ; точно ли разбираемое произведеніе изящно, и заслуживаетъ ли авторъ названія поэта. Изъ рѣшенія этого вопроса,—говоритъ онъ,—сами собою вытекаютъ отвѣты о характерѣ и важности сочиненія (т. I, стр. 212). Въ то время Бѣлинскій имѣлъ свою собственную, отчасти навѣянную философіей Шеллинга, теорію процесса поэтическаго творчества. Процессъ этотъ заключалъ въ себѣ три главные момента: появленіе основной идеи, безсознательно вторгающейся въ душу художника, вынашиваніе ея въ душѣ и выясненіе тѣхъ образовъ, въ которые она должна воплотиться, и, наконецъ, самое ея воплощеніе въ художественную форму.—Теорія эта изложена Бѣлинскимъ въ 1835 г. въ его замѣчательной статьѣ *О повѣстяхъ Гоголя*. Но натура критика была слишкомъ живая и отзывчивая, чтобы онъ могъ долго успокоиться на формально-эстетической точкѣ зрѣнія. Не болѣе какъ черезъ годъ, онъ уже ставитъ для критики болѣе широкія задачи и утверждаетъ, что наша критика должна быть учителемъ общества и на простомъ языкѣ высказывать высокія истины. Нѣмецкая и трансцендентальная по своему принципу, она должна быть французскою по способу изложенія. Нѣмецкая теорія и французскій способъ изложенія—вотъ единственное средство сдѣлать ее глубокой и общедоступной (т. 2, стр. 78). Въ концѣ 1837 года Бѣлинскій, при посредствѣ Бакунина, подпадаетъ подъ могущественное вліяніе гегелевской философіи искусства, дѣлается страстнымъ сторонникомъ теоріи объективнаго творчества и не менѣе страстнымъ противникомъ всякихъ тенденцій въ искусствѣ. Увлеченный этою теоріей, онъ позволяетъ себѣ рѣзкія выходки противъ Шиллера, порицаетъ Жоржъ Сандъ и Лямартина за ихъ тенденціозность и жестоко издѣвается надъ Менцелемъ за его требованіе, чтобы искусство служило обществу. Подъ вліяніемъ гегельянца Ретшера, Бѣлинскій дѣлается въ это время убѣжденнымъ пропагандистомъ нѣмецкой философской критики и настаиваетъ на томъ, что полное и совершенное пониманіе произведеній искусства возможно только черезъ посредство философской критики, ибо тоталитетъ художественнаго произведенія заключается въ общей идеѣ, а идея открывается только вполнѣ

овладѣвшему царствомъ абсолютной идеи (т. II, стр. 323). Отсюда является у Бѣлинскаго требованіе отъ каждаго художественнаго произведенія болѣе или менѣе глубокой общей идеи; произведенія, не удовлетворяющія этому условію, напримѣръ *Слово о полку Игоревѣ*, не считаются имъ художественными. Увлеченіе гегельянствомъ продолжалось съ небольшимъ два года. Отрезвленію Бѣлинскаго способствовалъ разрывъ его съ Бакунинымъ и сближеніе съ кружкомъ Герцена, ставившимъ для литературной дѣятельности живыя общественныя задачи, а болѣе всего совершившееся осенью 1839 г. переселеніе въ Петербургъ. Тутъ гегелевскому культу дѣйствительности наносится жестокій ударъ, ибо представшая передъ Бѣлинскимъ дѣйствительность была такого рода, что способна была внести въ душу самое горькое разочарованіе. Тяжелыя впечатлѣнія, ложившіяся въ эту мрачную эпоху на всѣ благородныя сердца, не замедлили бросить густую тѣнь и на душу Бѣлинскаго. „Меня убило, — писалъ онъ въ 1840 г. къ Боткину, — зрѣлище общества, въ которомъ властвуютъ и играютъ роль подлецы и дюжинныя посредственности, а все благородное и даровитое лежитъ въ позорномъ бездѣйствіи“. Что удивительнаго, что, подъ вліяніемъ испытанныхъ Бѣлинскимъ тяжелыхъ впечатлѣній, мало-по-малу измѣнились взгляды его на задачи критики и сталъ выступать въ нихъ на первый планъ элементъ общественный. Происшедшій съ нимъ душевный переломъ Бѣлинскій такъ характеризуетъ въ письмѣ къ Боткину: „Ты знаешь мою натуру, она вѣчно въ крайностяхъ; я съ трудомъ и болью разстаюсь съ старою идеею, а въ новую перехожу со всѣмъ фанатизмомъ прозелита. Итакъ, я теперь въ новой крайности. Соціальная идея стала для меня идеей идей“. Это измѣненіе взглядовъ замѣтно уже въ разборѣ рѣчи профессора Никитенко *О критикѣ*, гдѣ Бѣлинскій дѣлаетъ попытку примирить критику эстетическую съ критикой общественно-исторической, при чемъ права послѣдней онъ считаетъ безспорными. По его мнѣнію, каждое произведеніе искусства должно быть разсматриваемо по отношенію къ эпохѣ и по отношенію художника къ обществу; разсмотрѣніе его жизни и характера также можетъ служить къ уясненію его созданія. Еще бо́льшее измѣненіе произошло во взглядахъ Бѣлинскаго на задачи художественнаго творчества. Прежде онъ требовалъ отъ художественнаго произведенія только красоты или гармоніи идеи и формы; теперь онъ прежде всего останавливается на содержаніи и общемъ смыслѣ художественныхъ произведеній: „Что красота, — говоритъ онъ,—есть необходимое условіе въ искусствѣ, это—аксіома, но съ одною красотой искусство недалеко уйдетъ, особенно въ наше время. Нашъ вѣкъ

рѣшительно отрицаетъ искусство для искусства, красоту для красоты. Байронъ, Шиллеръ и Гёте—это философы и критики въ поэтической формѣ. О нихъ всего менѣе можно сказать, что они поэты и больше ничего. Правда, Гёте еще могъ бы подходить подъ идеалъ поэта, который поетъ, какъ птица, для себя, но и онъ не могъ не заплатить дань духу времени; его Вертеръ есть не что иное, какъ вопль эпохи; въ его Фаустѣ заключены всѣ нравственные вопросы, какіе только могутъ возникнуть въ груди человѣка нашего времени" (т. VI, стр. 208—209). Слова эти были написаны Бѣлинскимъ въ 1842 г. Ставя такія широкія задачи для искусства, Бѣлинскій не могъ иначе, какъ отрицательно, относиться къ нѣмецкой философской критикѣ, которая продолжала разбирать художественныя произведенія съ философско-художественной точки зрѣнія; поэтому выходки противъ нѣмецкой критики нерѣдко попадаются въ это время въ статьяхъ и письмахъ Бѣлинскаго. Въ 1844 г., въ статьяхъ, посвященныхъ разбору стихотвореній Пушкина, Бѣлинскій жестоко нападаетъ на нѣмецкую критику, которая, при разсматриваніи произведеній искусства, опирается на само искусство, вращается въ сферѣ чистой эстетики и оставляетъ безъ вниманія исторію, общество, жизнь. „И оттого,—замѣчаетъ по этому поводу Бѣлинскій,—жизнь давно уже оставила тѣхъ нѣмецкихъ поэтовъ, которые своими произведеніями угождаютъ такой критикѣ" (т. VIII, стр. 347—348). Въ тѣхъ же статьяхъ Бѣлинскій излагаетъ весьма подробно свою новую критическую теорію. Первою задачей критики онъ считаетъ всестороннее изученіе личности писателя съ цѣлью уясненія того, въ чемъ состоитъ паѳосъ его творчества. Безъ этого, по словамъ Бѣлинскаго, критикъ можетъ раскрыть нѣкоторыя частныя красоты или недостатки разбираемаго поэта, но значеніе и сущность его дѣятельности останутся для него такою же тайной, какъ и для читателя (ibid. стр. 361). Съ бо́льшею опредѣленностью Бѣлинскій выражаетъ свои новые взгляды въ написаной въ томъ же году статьѣ по поводу „Тарантаса" гр. Соллогуба: „Чисто художественная критика,—говоритъ онъ,—не допускающая историческаго взгляда, теперь никуда не годится, какъ односторонняя, пристрастная и неблагодарная. Художественность и теперь великое качество литературныхъ произведеній, но если при ней нѣтъ качества, заключающагося въ духѣ современности, она уже не можетъ сильно увлекать насъ. Поэтому теперь посредственно-художественное произведеніе, но которое даетъ толчекъ общественному сознанію, будитъ вопросы или рѣшаетъ ихъ, гораздо важнѣе самаго художественнаго произведенія, ничего не дающаго сознанію внѣ сферы художества. Вообще нашъ вѣкъ — вѣкъ

рефлексій, мысли, тревожныхъ вопросовъ, а не искусства. Скажемъ болѣе: нашъ вѣкъ враждебенъ чистому искусству и чистое искусство невозможно въ немъ" (т. IX, стр. 313). При такомъ взглядѣ на задачи художественнаго творчества и роль критика становилась другою. Главная его задача состояла не въ томъ, чтобы разъяснять публикѣ художественныя достоинства разбираемаго произведенія или обличать его художественную фальшь, а въ томъ, чтобы раскрывать его общественный смыслъ, его соціальное значеніе и попутно будить общественное сознаніе — проводить въ общество просвѣтительныя и гуманныя идеи. Такимъ образомъ, подъ вліяніемъ условій русской жизни совершилась эволюція критическихъ взглядовъ Бѣлинскаго, мало-по-малу превратившая его изъ художественнаго критика въ критика-публициста. Враги Бѣлинскаго сильно нападали на него за эту неустойчивость взглядовъ, не принявъ въ соображеніе, что Бѣлинскій постоянно шелъ впередъ и что окружающая жизнь постоянно представляла ему свои новыя стороны, соотвѣтственно которымъ измѣнялись его взгляды. Измѣненія эти были настолько радикальны, а отпаденіе отъ прежнихъ заблужденій было въ Бѣлинскомъ такъ искренно и глубоко, что онъ считалъ за личную обиду, если собесѣдникъ въ разговорѣ упоминалъ о томъ, что онъ въ прежнее время держался отвергаемыхъ имъ нынѣ воззрѣній. По словамъ Тургенева, Бѣлинскій простить себѣ не могъ статью о Менцелѣ; онъ считалъ ее не только литературною ошибкой, но дурнымъ поступкомъ. Еще хуже онъ смотрѣлъ на свою статью о Бородинской годовщинѣ. По этому поводу одинъ современникъ передаетъ слѣдующій случай: однажды Бѣлинскій обѣдалъ у своихъ знакомыхъ; въ числѣ гостей былъ какой-то инженерный офицеръ. Желая доставить удовольствіе гостю, хозяинъ спросилъ офицера — хочетъ ли онъ познакомиться съ Бѣлинскимъ? „Это авторъ статьи о Бородинской годовщинѣ"?—спросилъ его на-ухо офицеръ.—Да.—„Въ такомъ случаѣ нѣтъ, покорно благодарю",—сухо отвѣтилъ онъ. Слышавшій этотъ разговоръ Бѣлинскій съ свойственною ему пылкостью подбѣжалъ къ офицеру, горячо пожалъ ему руку и сказалъ: „Вы благородный человѣкъ, я васъ уважаю". Приведенный случай показываетъ, насколько любовь къ истинѣ была у Бѣлинскаго выше разсчетовъ самолюбія. Другой сумѣлъ бы какъ-нибудь замаскировать столь нелестную для своего самолюбія перемѣну убѣжденій, но Бѣлинскій былъ выше этихъ эгоистическихъ соображеній и доказывалъ свою любовь къ истинѣ тѣмъ, что безъ оглядки приносилъ на алтарь ея свою собственную личность. Враги, конечно, не упускали случая подхватить эти самообличенія и осыпали Бѣлинскаго насмѣшками

и клеветами, больно отзывавшимися въ его сердцѣ. Въ одну изъ такихъ горькихъ минутъ изъ-подъ пера его вылилась жалоба на свою судьбу, безспорно имѣющая, подобно Гоголевской параллели между двумя писателями въ шестой главѣ Мертвыхъ Душъ, автобіографическое значеніе. „Тяжка у насъ,—говорилъ онъ въ одномъ мѣстѣ,—роль критика, проникнутаго убѣжденіемъ и не отдѣляющаго вопросовъ объ искусствѣ и литературѣ отъ вопросовъ о своей собственной жизни, отъ всего, что составляетъ сущность и цѣль его нравственнаго существованія. И тѣмъ хуже ему, если онъ настолько уважаетъ истину и столько смиряется передъ ней, что всегда готовъ отказаться отъ мнѣнія, которое онъ защищалъ съ жаромъ и энергіей, но которое, въ процессѣ своего безпрерывно-движущагося сознанія, онъ уже не можетъ признавать за справедливое“ (т. VIII, стр. 52). Но это уныніе было мимолетное. Бѣлинскій былъ слишкомъ убѣжденъ въ пользѣ своей дѣятельности, чтобы мечтать о прекращеніи ея или о перемѣнѣ карьеры. „Упорствуя, волнуясь и спѣша“, онъ твердо шелъ къ своей цѣли, не покидалъ своего знамени до тѣхъ поръ, пока дыханіе смерти не прекратило біеніе его сердца, горѣвшаго пламенною любовью къ истинѣ, родинѣ и человѣчеству. Критическая дѣятельность Бѣлинскаго имѣла громадное, не только литературное, но и общественное значеніе. Какъ литературный критикъ, онъ обладалъ почти безошибочнымъ эстетическимъ чутьемъ и необыкновенною чисто-художественною фантазіей, съ помощью которой онъ переживалъ созданныя художникомъ положенія, какъ переживалъ ихъ самъ художникъ. На этихъ двухъ качествахъ основывалась его рѣдкая критическая проницательность, которая такъ удивляла его читателей. Онъ первый оцѣнилъ по достоинству Гоголя, угадалъ талантъ Лермонтова, Кольцова, Достоевскаго, Майкова и другихъ писателей, которые составляютъ теперь гордость нашей литературы. Гончаровъ, знавшій лично Бѣлинскаго, думаетъ, что ему помогало въ этомъ случаѣ то, чего недоставало другимъ критикамъ: это страстное сочувствіе къ художественнымъ произведеніямъ. „Чѣмъ ярче и сильнѣе талантъ, тѣмъ страстнѣе было и впечатлѣніе. Оно будило его нервную систему, затрогивало фантазію и порождало тѣ горячія критическія изліянія, которыя бросали столько свѣту и огня на все, что производила литература замѣчательнаго“. Въ послѣдніе годы жизни Бѣлинскаго критическая дѣятельность его приняла публицистическій оттѣнокъ, и чисто-литературные интересы отступили на второй планъ сравнительно съ интересами общественными. Съ одной стороны онъ явился вдохновеннымъ выразителемъ всѣхъ лучшихъ стремленій и надеждъ современнаго ему поколѣнія; съ дру-

гой стороны, всѣ язвы эпохи нашли въ немъ своего страстнаго и неподкупнаго обличителя. Въ рѣдкой изъ написанныхъ имъ въ послѣдніе годы статей онъ не касается какого-нибудь общественнаго вопроса, который и разъясняетъ читателямъ. Время было такое, что нужно было ободрять впавшее въ уныніе и апатію общество, поддерживать въ немъ вѣру хоть въ отдаленное торжество гуманныхъ идей. Могучій голосъ Бѣлинскаго ободрялъ робкихъ и унывающихъ, соединялъ разрозненныхъ, вразумлялъ недоумѣвающихъ. Эту сторону своей дѣятельности самъ Бѣлинскій считалъ выше своей чисто-литературной дѣятельности, ибо видѣлъ въ ней исполненіе своего гражданскаго долга передъ обществомъ. Полвѣка прошло со времени смерти Бѣлинскаго. Съ тѣхъ поръ многое, о чемъ мечталъ Бѣлинскій, осуществилось: литературѣ дышется сравнительно легче, крѣпостное право уничтожено, судебная волокита, сословность и канцелярская тайна замѣнены гласнымъ и для всѣхъ равнымъ судомъ. Исчезли также давно всѣ тѣ, которыхъ Бѣлинскій считалъ тормазами нашего общественнаго развитія и которые своими нападками и преслѣдованіемъ отравили его недолгую жизнь. Но, забывая по-христіански все содѣянное ими, мы не должны забывать, что тѣмъ подъемомъ общественнаго сознанія, тою массой свѣта и тепла, которые пролились съ тѣхъ поръ на русскую землю, мы обязаны, главнымъ образомъ, людямъ сороковыхъ годовъ и стоявшему во главѣ ихъ Бѣлинскому.

Н. Стороженко.

БѢЛИНСКІЙ, КАКЪ РУССКІЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКІЙ ТИПЪ.

I.

Принято думать, исторія нелицепріятный судья людей и ихъ дѣйствій, и потомство—для памяти великаго человѣка возмѣщаетъ всѣ несправедливости и заблужденія его современниковъ. И сколько разъ дѣятелямъ мысли и слова, непонятымъ и гонимымъ, приходилось возлагать свои единственныя надежды на поколѣнія будущаго! И надежды оправдывались, воздвигались монументы на мѣстахъ казни и терновые вѣнки смѣнялись лавровыми.

Въ настоящую минуту предъ нами совершается одинъ изъ актовъ этой справедливости.

Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ въ Петербургѣ произошла похоронная церемонія. Ее одинъ изъ самыхъ благоговѣйныхъ свидѣтелей могъ описать въ трехъ строкахъ.

„Немногіе друзья провожали тѣло Бѣлинскаго до Волкова кладбища. Покойнаго отпѣли, опустили въ могилу, и огорченные друзья его бросили молча, по христіанскому обычаю, горсть земли въ его могилу, въ которой уже начинала проступать вода“ *).

Въ Москвѣ въ то же время произносились надгробныя рѣчи. Самая пространная и намѣренно-безпристрастная принадлежала профессору Погодину—одному изъ виднѣйшихъ ученыхъ и журналистовъ своего времени.

Здѣсь усиленно подчеркивалась малообразованность и легкомысліе критика, журналъ *Московскій Телеграфъ* объявлялся единствен-

*) *Панаевъ:* „Литературныя воспоминанія и воспоминанія о Бѣлинскомъ“. Спб., 1876 г., стр. 412—3.

нымъ источникомъ свѣдѣній и умственнаго развитія Бѣлинскаго, его сочиненія сами по себѣ признавались даже недостойными воспоминанія...

„Найдите мнѣ,—восклицалъ ученый публицистъ,—въ этихъ почти пятнадцатилѣтнихъ разсужденіяхъ хоть одну мысль собственную, теоретическую или критическую. Ни одной! Или общія мѣста, или чужія мысли!“ *).

И подобныя рѣчи могли раздаваться невозбранно и неопровержимо. Со смертью Бѣлинскаго и самое имя его исчезло въ печати. Въ теченіе восьми лѣтъ лежалъ строжайшій запретъ на личности и произведеніяхъ писателя, проповѣдывавшаго будто бы только общія мѣста и чужія мысли!

Какой превосходный случай для русскаго общества, по общему мнѣнію, такого забывчиваго и не любопытнаго, — забыть безповоротно автора рецензій и критическихъ разсужденій!

Но случилось нѣчто другое.

Лишь только представилась возможность печатно говорить о Бѣлинскомъ, вліятельнѣйшій общественный руководитель шестидесятыхъ годовъ, Чернышевскій, поспѣшилъ установить тѣснѣйшую нравственную и идейную связь своего поколѣнія съ великимъ критикомъ. И съ тѣхъ поръ начался открытый и побѣдоносный судъ потомства. Въ наши дни онъ договорился до памятниковъ, до просвѣтительныхъ учрежденій, до торжественыхъ празднествъ и навсегда поставилъ имя Бѣлинскаго на ту высоту, куда не достигаютъ самыя злобныя посягательства партій и враговъ.

Но есть одна сомнительная сторона въ праведныхъ приговорахъ потомства. Оно всегда пишетъ *исторію*, оцѣниваетъ *историческія* заслуги. Пусть это совершается спокойно, вдумчиво и разносторонне,— для кого безусловно внушителенъ окончательный выводъ? Какъ бы ни былъ глубокъ умъ мыслителя, какою бы оригинальною силой ни блисталъ талантъ писателя,—время и общій прогрессъ могутъ сдѣлать и глубину, и оригинальность весьма относительными. Знатоки вопроса, никогда не упускающіе изъ виду исторической перспективы, знаютъ, чего стòили когда-то современныя ходячія истины и какимъ геніемъ и нерѣдко исключительнымъ мужествомъ завоеваны страницы позднѣйшихъ учебниковъ.

Но какъ смутно и двусмысленно звучитъ для большинства самое выраженіе — *историческія заслуги!* Читатель раскрываетъ сочиненія стараго прославленнаго писателя и на каждой страницѣ встрѣчаетъ

---

*) *Москвитянинъ* 1848 г., IV, стр. 43.

идеи совершенно безспорныя, общепризнанныя, нѣкоторыя — знакомыя еще со школьной скамьи.

Впечатлѣніе легко становится рѣшающимъ. Идеи другого порядка, еще не дожившія до разумѣнія толпы, — естественно попадаютъ въ разрядъ парадоксовъ и заблужденій,—и писатель цѣликомъ сдается въ архивъ. Онъ превращается въ своего рода памятникъ священной древности. Прохожій останавливается съ любопытствомъ, поддается пріятнымъ романтическимъ ощущеніямъ и идетъ дальше съ незанятою мыслью и нетронутымъ сердцемъ.

Отъ подобной участи не обезопашенъ никакой великій умъ — и въ особенности отдающій себя вопросамъ общественнымъ и нравственнымъ. Здѣсь труднѣе всего запоминаются первоучители и родоначальники и легче всего смѣшивается былая оригинальность съ современными трюизмами.

Нашъ случай одинъ изъ самыхъ краснорѣчивыхъ.

Еще при жизни Бѣлинскаго начали составляться учебники, основанные исключительно на его литературныхъ идеяхъ. Первый появился за годъ до смерти критика *), — можно представить, какая обильная жатва собрана за полвѣка!

О всѣхъ старыхъ и новыхъ нашихъ поэтахъ до второй половины текущаго столѣтія мы судимъ по Бѣлинскому, всѣ общія понятія о творчествѣ, о талантѣ, объ отношеніяхъ писателя и общества заимствованы у Бѣлинскаго, самое представленіе о серьезныхъ жизненныхъ запросахъ публики къ литературѣ, о вдумчивомъ и осмысленномъ чтеніи художественныхъ произведеній—ведетъ начало отъ Бѣлинскаго. И потомство живетъ всѣмъ этимъ наслѣдствомъ, часто даже не подозрѣвая благодѣтеля и не видя указующей руки. Все равно какъ давно забыты имена творцовъ первѣйшихъ и необходимѣйшихъ условій общежитія и цивилизаціи.

Вы видите, какая сравнительно сложная задача—понять настоящую цѣну просвѣтительной работы писателя, и вотъ здѣсь-то нашъ основательнѣйшій судъ не сравнится силою чувства съ непосредственными впечатлѣніями современниковъ.

Но въ исторіи Бѣлинскаго заключается нѣчто высшее и болѣе прочное, чѣмъ всѣ его завоеванія въ критикѣ. Это — рядъ моментовъ, событій непрестанно развивавшагося духа, дающихъ цѣльный общедоступный обликъ. Именно его слѣдуетъ считать богатѣйшимъ и нетлѣннымъ наслѣдствомъ Бѣлинскаго, именно на немъ изъ поколѣнія въ поколѣніе будутъ утверждаться связи всѣхъ

*) *А. Милюковъ:* „Очерки исторіи русской поэзіи“.

живыхъ силъ русскаго народа съ Бѣлинскимъ, какъ своимъ вдохновителемъ и прообразомъ.

II.

Событія начинаются очень рано, еще въ стѣнахъ чембарскаго уѣзднаго училища. Двѣнадцатилѣтній школьникъ, бѣдный, оборванный, безъ уютнаго угла въ семьѣ и безъ близкаго человѣка во всемъ остальномъ мірѣ, онъ не производитъ впечатлѣнія слабаго и заброшеннаго. Онъ шутя справляется со школьной наукой, не смущается ни низшаго, ни высшаго начальства, не приходитъ въ восторгъ отъ его похвалъ и не волнуется его наградами. Онъ будто *знаетъ себя* и чувствуетъ силы, превосходящія всяческія внѣшнія поощренія и не нуждающіяся въ благопріятныхъ обстоятельствахъ.

Намъ разсказываютъ сцену, извнѣ очень простую, но совершенно необычную ни въ старое, ни въ новое время, въ школьной средѣ и съ героемъ-ребенкомъ.

Училище посѣтилъ ревизоръ, лицо грозное одинаково и для учащихся, и для учащихъ. Бойкіе и умные отвѣты мальчика очаровали его. Ревизоръ здѣсь же наградилъ его поцѣлуемъ и книгой съ лестною надписью. „Мальчикъ,—разсказываетъ ревизоръ,—принялъ отъ меня книгу безъ особеннаго радостнаго увлеченія, какъ должную себѣ дань, безъ низкихъ поклоновъ, которымъ учатъ бѣдняковъ съ малолѣтства“ *).

Но будущій Неистовый Орландъ смѣлъ не только въ поступкахъ и рѣчахъ, онъ независимъ и рѣшителенъ въ важнѣйшихъ вопросахъ своей дальнѣйшей жизни.

Онъ рано задумываетъ попасть въ университетъ и перестаетъ посѣщать школу. Его исключаютъ „за нехожденіе въ классъ“. Его это не смущаетъ. Недаромъ онъ не руководится чужими мнѣніями, самъ обо всемъ думаетъ, и изгнаніе изъ школы не разрушаетъ его плановъ и не подрываетъ его энергіи. Онъ является въ Москву съ единственнымъ капиталомъ—„пламеннымъ желаніемъ“ достигнуть намѣченной цѣли—и становится студентомъ.

Вотъ краткая исторія, не требующая никакихъ толкованій! Это первый актъ самодовлѣющей и самоопредѣляющейся личности. Это не игра своевольнаго юношескаго воображенія, не плодъ незрѣлой и неискушенной самоувѣренности, это — система, точнѣе *натура*. И нѣтъ въ человѣческой природѣ талантовъ, равныхъ этой способности

---

*) *Замѣтки для біографіи Бѣлинскаго. Сочиненія И. Лажечникова.* Спб., 1884 г., томъ XII, стр. 269, 270.

осмысленнаго выбора и *страстнаго* дѣйствія. Энтузіазмъ и воля, каждая изъ этихъ силъ отдѣльно — способна творить чудеса, но при особыхъ обстоятельствахъ, когда для идеи, по общественнымъ условіямъ, не требуется восторга и героизма, тогда она — нормальное явленіе жизни. Для русскаго идеалиста дореформенной Россіи требовалось запастись и холодомъ разсудка, и жаромъ чувства, тогда только онъ могъ смѣло отправиться въ путь и пройти его, не вписавъ лишней страницы въ безконечную истинно-русскую исторію о трагическихъ паденіяхъ и безвременныхъ нравственныхъ смертяхъ.

Бѣлинскій въ университетѣ... Съ незапамятныхъ временъ въ судьбѣ русскихъ молодыхъ поколѣній стало общимъ мѣстомъ — нетерпѣливое, часто восторженное ожиданіе свѣта высшей науки и — быстрое жестокое разочарованіе. За исключеніемъ немногочисленныхъ, будто случайныхъ проблесковъ, мы на пространствѣ десятилѣтій слышимъ, съ различными варьяціями, все ту же рѣчь Константина Аксакова, товарища Бѣлинскаго:

„Солнце истины освѣщало наши умы очень тускло и холодно...“ *).

А юношеской природѣ необходимъ свѣтъ яркій и грѣющій, и Бѣлинскій-студентъ оказывается въ такомъ же положеніи, какъ и гимназистъ.

Ему досадно и тягостно въ университетской аудиторіи, онъ не можетъ уважать подвижниковъ мертвой буквы и ремесленническаго производства изъ двухъ книгъ третьей. Онъ такъ же чуждъ своимъ призваннымъ наставникамъ, какъ живой организмъ трупу, и онъ жадно набрасывается на такихъ же неудовлетворенныхъ и протестующихъ товарищей, какъ онъ самъ.

Здѣсь онъ счастливъ. Станкевичъ, Герценъ, Бакунинъ — чистая романтическая душа, сильный свободный политическій темпераментъ, блестящая, художественно-гибкая отвлеченная мысль,—рыцарь, трибунъ и артистъ-діалектикъ! Какая богатая пожива для самаго прихотливаго ума и безпокойной натуры!

Какія чудныя незабвенныя ночи — свидѣтельницы доблестныхъ турнировъ, головокружительныхъ полетовъ въ сферы высшихъ тайнъ! Настоящія бдѣнія во имя страстно-исповѣдуемой философской вѣры!

Нашъ герой, сначала смиреннѣйшій оглашенный, потомъ священно-служитель — фанатикъ, и на этой ступени снова одинокій и даже для лучшихъ, еще вчерашнихъ друзей — безпокойный и тягостный.

---

*) *Воспоминаніе студенчества 1832—1835 годовъ. День.* 1862 года, сентября 29, № 39, стр. 3.

Университетъ извергаетъ его изъ своего святилища, какъ недостойнаго, но и за стѣнами храма, въ товарищескихъ номерахъ и гостиныхъ, Бѣлинскій не свой человѣкъ и не родная душа. Только первое впечатлѣніе скрадываетъ естественную пропасть, отдѣляющую его отъ его сверстниковъ.

Всѣ они явились въ университетъ балованными дѣтьми судьбы. Чѣмъ бы ни увлекалось ихъ молодое чувство,—вездѣ имъ чуялась сладость бытія, сопровождавшая ихъ съ первой минуты сознанія. Шиллеровская поэзія баюкала Станкевича эстетическою истомой и розовою мглой сверхъ-земныхъ грёзъ и желаній. Гегельянство тѣшило Бакунина нескончаемою замысловатою тканью едва осязаемыхъ и неуловимыхъ анализовъ и синтезовъ. А Герценъ, больше другихъ связанный съ землей и дѣйствительностью, незамѣтно, въ захватывающемъ опьяненіи кипучей молодости, перешелъ отъ дѣтства сказочнаго принца къ орлинымъ взмахамъ мужественнаго идеализма.

И всѣ эти люди, бережно взлелѣянные и великолѣпно воспитанные, приступили къ западной поэзіи и мудрости во всеоружіи аристократическаго образованія, съ превосходнымъ знаніемъ языковъ, съ готовою культурною почвой, давшейся такъ же просто и даромъ, какъ пища и тепло въ родительскомъ домѣ.

Естественно, здѣсь не можетъ быть никакихъ экстренныхъ нравственныхъ терзаній, болѣзненныхъ драматическихъ запросовъ къ какимъ бы то ни было идеямъ и теоріямъ.

Будетъ ли это шиллеризмъ или гегельянство, — все это воспримется спокойно и уравновѣшенно. Молодые люди просто станутъ продолжать путь постепеннаго умственнаго развитія. Это — *эволюція* просвѣщеннаго общества, безъ вмѣшательства какихъ бы то ни было бурныхъ *революціонныхъ* стихій. И недаромъ жизнь Бакунина въ философскій періодъ рисуется Станкевичемъ, какъ нѣкій отрывокъ изъ сказаній о золотомъ вѣкѣ, а біографію самого Станкевича можно представить въ формѣ нѣсколькихъ стихотвореній: для дѣтства — лирическая пѣсня, для молодости — задумчивая идиллія, изящная элегія, подъ конецъ прерываемая сдержаннымъ стономъ наслѣдственнаго недуга...

III.

Теперь—рядомъ съ этими поэмами и прекраснодушными или беззаботно-героическими фигурами — вызовите нервный лихорадочно-впечатлительный образъ, явно изможденный самыми реальными страданіями отъ голода, холода и нравственнаго неуюта.

Вамъ не потребуется особенной проницательности и терпѣнія,

чтобы заглянуть въ душу этого плебея-самоучки. Онъ переполненъ жгучею жаждой высказаться. Для него міръ слова и мысли—единственное пристанище и въ буквальномъ, и въ переносномъ смыслѣ. Нельзя же человѣку жить по-человѣчески въ темномъ углу, ежеминутно задыхаясь отъ дыма и смрада и надрывая больную грудь въ безсильной борьбѣ съ пронизывающимъ холодомъ. Душа невольно вопіетъ о свѣтѣ и волѣ...

И съ Бѣлинскимъ совершается тотъ самый процессъ, какой когда-то тысячи униженныхъ и оскорбленныхъ устремлялъ къ подножію голгоѳскаго креста. Всевозможные пасынки судьбы искали здѣсь истины, какъ вполнѣ дѣйствительнаго нравственнаго утѣшенія, какъ осязательнаго цѣльнаго счастья, торжествующаго надъ смутой и невыносимою разорванностью человѣческихъ будней.

Съ такой же алчбой истины, просвѣщающей и дѣйствующей, Бѣлинскій приступитъ къ современной философіи, и вѣчный разладъ между философами, ради философіи, и мыслителемъ, ради жизни, обнаружится немедленно.

Станкевичъ преслѣдуетъ Бѣлинскаго мольбой: „будь посмирнѣе“; Бакунинъ приходитъ въ ужасъ отъ неистовства Виссаріона и старается *заговорить* его; раздраженный неуклоннымъ приспособленіемъ философской разумной дѣйствительности къ русской жизни, Герценъ порываетъ съ Бѣлинскимъ личныя отношенія...

Но развѣ древніе христіане справлялись, какого мнѣнія ихъ друзья и даже отцы—объ ихъ вѣрѣ? Они не задавали себѣ вопроса о томъ, насколько изобрѣтательны римскіе палачи и какою смертью придется умереть за Христа? Совершенное счастье уже въ самомъ познаніи истины, а борьба за нее — предѣлъ человѣческаго призванія.

И Бѣлинскій ни на минуту не смутится настроеніями своего кружка и пойдетъ съ своей правдой на какой угодно бой. Онъ именно затѣмъ и искалъ ее, чтобы создавать прозелитовъ и ниспровергать невѣрующихъ. Онъ—прирожденный апостолъ, и для него не только вѣра, но всякая мысль и всякое чувство безъ дѣлъ, безъ неуклоннаго жизненнаго осуществленія—мертвы. И Бѣлинскій, внося свою правду въ жизнь, неминуемо провѣритъ достоинство своего оружія и не замедлитъ преобразовать его, разъ оно окажется недостаточно крѣпкимъ и острымъ.

Въ этомъ фактѣ вся разгадка многообразно обсуждаемыхъ, но въ дѣйствительности мнимыхъ метаморфозъ Бѣлинскаго. Его нравственные принципы оставались неизмѣнны, мѣнялись только пути, какими онъ думалъ достигнуть общаго блага и свѣта, и мѣнялись не въ

силу чьихъ-либо вліяній и личныхъ настроеній, а сообразно съ указаніями пережитаго опыта.

Сначала гегельянство, вопреки чисто-философскимъ наклонностямъ учителей, превращено въ религіозный и, слѣдовательно, практическій догматъ. А потомъ, когда вышли плохія шутки съ русской дѣйствительностью, пришлось совершить дальнѣйшее преобразованіе, уже по существу, и авторитетъ самого Гегеля палъ окончательно.

Какъ это произошло — понять въ высшей степени просто. Надо только на мѣсто философа-созерцателя поставить дѣятеля живой жизни, и немедленно, вполнѣ логически, преобразуются основныя философскія идеи.

Коренное гегельянское понятіе—*разумная дѣйствительность*. Это—діалектически развившаяся и осуществившаяся идея. Бѣлинскій усвоилъ эту истину, но съ нею трудно рѣшать практическіе вопросы и въ искусствѣ и въ жизни. Требуется опредѣленіе, ясно предписывающее и цѣль и путь дѣйствій, — слѣдовательно, опредѣленіе не чисто-философское, а нравственное.

И дѣйствительность является у Бѣлинскаго противоположностью лжи, мечтательности, поддѣльнаго и слабаго. Въ искусствѣ это — реализмъ, въ наукѣ—безусловная трезвость мысли, въ жизни — законченная твердость души.

И вспомните характеристику Печорина у Бѣлинскаго! Вы увидите, дѣйствительность слилась съ позитивизмомъ и критикѣ шестидесятыхъ годовъ не придется прибавить ни одной существенной черты къ этому портрету „сильнаго организма“ и „реальнаго мыслителя“ *).

Еще любопытнѣе судьба другого философскаго понятія, излюбленнѣйшаго у молодежи тридцатыхъ годовъ—*объективность*.

Германская поэзія и философія учили одинаково: это значитъ—поглощеніе личности внѣшнимъ міромъ, сліяніе субъекта съ дѣйствительностью, какъ волны съ моремъ.

Перенесите эту истину на практическую почву, и вы получите самоотреченіе, уничтоженіе личной дѣятельности и, конечно, борьбы. Для Бѣлинскаго это означало бы самоубійство, и *объективность* должна претерпѣть нѣкоторыя поправки.

Неразрывная связь личности и внѣшняго міра будетъ достигнута обратнымъ путемъ, чѣмъ у философовъ: не личность исчезнетъ въ океанѣ жизни, а дѣйствительность цѣликомъ войдетъ въ нравственный міръ человѣка. Проще, это значитъ неограниченная отзывчи-

---

*) Статья *Герой нашего времени*, т. III, 1840 г.

вость нашего *я* на всѣ явленія, вѣчно напряженная чуткость ко всему положительному и отрицательному внѣ насъ *).

Теперь вамъ ясно—съ такой системой можно выступить на сцену дѣйствій. Опредѣлена психологія борца и установлены цѣли борьбы. Философская религія, наконецъ, создана въ полномъ смыслѣ слова, т. е. открыта истина, теоретически развитая и практически творческая.

Такъ разрѣшилось для Бѣлинскаго одно изъ могущественнѣйшихъ европейскихъ вліяній на русское общество, разрѣшилось тѣмъ самымъ путемъ, какой опредѣлилъ судьбу Бѣлинскаго сначала гимназиста, потомъ студента. Нѣтъ надъ нимъ авторитета болѣе внушительнаго, чѣмъ личная совѣсть, нѣтъ другой цѣли кромѣ давнишней юношеской мечты. Она вполнѣ уяснилась еще въ то время, когда писалась романтическая драма противъ крѣпостного права,—писалась, по словамъ автора, „со всѣмъ жаромъ сердца, пламенѣющаго любовью къ истинѣ, со всѣмъ негодованіемъ души, ненавидящей несправедливость“.

Но гегельянство и дружба не послѣднія препятствія на свободной дорогѣ Бѣлинскаго. Признавъ дѣйствительностью открытую правду жизни, онъ восторженно встрѣтитъ и будетъ сопровождать великаго художника-реалиста. Онъ истощитъ свой обильный художественный языкъ, призоветъ все свое глубокое чувство красоты и мощный инстинктъ истины, чтобы нарисовать во всемъ блескѣ талантъ Гоголя, раскрыть смыслъ созданныхъ имъ типовъ и, среди оглушительнаго гама слѣпотствующихъ и враждующихъ, утвердить за писателемъ мѣсто, подобающее великому учителю родного народа.

И что же?

Именно этотъ человѣкъ, на комъ покоились лучшія надежды критика, кто былъ его настоящимъ и будущимъ, кто для его задушевнѣйшихъ идей создалъ незабвенные образы, этотъ человѣкъ вздумалъ отречься отъ своего дѣла, не понять внушеній своего генія и призваніе общественнаго судьи смѣнить на роль усыпителя.

Какое страшное *личное* горе для Бѣлинскаго! Вѣдь у него никогда не было и нѣтъ высшихъ интересовъ, чѣмъ литература: она,—говорилъ Бѣлинскій,—„мое призваніе и ремесло“, она, — прибавимъ мы,—и его счастье. И вотъ на все это совершается посягательство рукой одного изъ немногихъ избранныхъ, сообщавшихъ громадный смыслъ призванію и ремеслу и возвысившихъ счастье чудною си-

---

*) Статьи: *Дѣтскія сказки дѣдушки Принея*, т. III, стр. 508, 1840 г., ***Повѣсть о приключеніяхъ англійскаго милорда***, т. III, стр. 253, 1839 г.

лой своего творчества. Смертельнымъ чувствомъ обиды и гнѣва загорится рѣчь Бѣлинскаго. Онъ напишетъ письмо. И до сихъ поръ ни въ одной литературѣ мы не знаемъ примѣра, гдѣ бы человѣкъ и гражданинъ слились въ такомъ подавляющемъ паѳосѣ идеи и страсти, гдѣ бы отдѣльная личность съ такой глубиной и мукой пережила общую утрату, какъ свое собственное лишеніе.

„Да если бъ вы обнаружили покушеніе на мою жизнь, и тогда бы я не болѣе возненавидѣлъ васъ!“ — писалъ Бѣлинскій, свидѣтельствуя своею ненавистью къ „позорнымъ строкамъ“ о силѣ своей любви къ чести писателя и славѣ его родины.

И онъ разорвалъ съ Гоголемъ, какъ религіознымъ проповѣдникомъ и аскетомъ. Онъ ни минуты не колебался раздѣлить рѣзкою чертой прирожденный геній непосредственнаго художника и притязательные замыслы самообольщеннаго и, можетъ быть, отчасти лицедѣйствующаго человѣка. И этотъ разрывъ, несомнѣнно, былъ самымъ тягостнымъ. Наканунѣ быстро наступавшей смерти Бѣлинскому приходилось поставить крестъ на любимомъ дѣтищѣ своего идеализма, и будущее русскаго общества становилось еще темнѣе и тревожнѣе.

IV.

Я въ самой краткой формѣ представилъ вамъ глубочайшіе моменты духовной жизни Бѣлинскаго, но общій смыслъ вамъ ясенъ. Раскрытію его посвящена въ сущности вся дѣятельность критика. Бѣлинскій напомнилъ о немъ и въ своей предсмертной статьѣ.

Разбирая романъ Герцена, онъ такъ опредѣлялъ „задушевную мысль“ автора: это—„мысль о достоинствѣ человѣческомъ, которое унижается предразсудками, невѣжествомъ, и унижается то несправедливостью человѣка къ своему ближнему, то собственнымъ добровольнымъ искаженіемъ самого себя“ *).

И вотъ послѣдній-то источникъ униженій — самый могущественный и ядовитый въ судьбѣ русскихъ людей. Добровольное самоискаженіе скрывается въ основѣ и чисто-личныхъ паденій и, повидимому, невольныхъ уступокъ средѣ и времени.

Кто бы сталъ обвинять Бѣлинскаго въ самоискаженіи, если бъ онъ искренне и безраздѣльно отдался школьной и университетской наукѣ тридцатыхъ годовъ? Изъ него бы могъ выйти почтенный ученый и заслуженный статскій совѣтникъ. Кто бы бросилъ въ него камнемъ, если бы надъ нимъ окончательно восторжествовало гегель-

*) *Взглядъ на русскую литературу въ 1847 году*, т. XI, стр. 376.

янство? Онъ остался бы однимъ изъ многочисленныхъ идеалистовъ, пожалуй, съ оттѣнкомъ донкихотства и неизлѣчимой умственной близорукости, но безъ малѣйшаго нравственнаго пятна.

Кто бы, наконецъ, произнесъ смертный приговоръ разсудку и характеру Бѣлинскаго, если бъ онъ, зачарованный творческою геніальностью Гоголя, пошелъ вслѣдъ ему и по новому пути? Потомство, несомнѣнно, посѣтовало бы на двойное самозакланіе таланта и мысли, но у него не поднялась бы рука на вѣрное, преданное чувство критика первостепенному художнику своего времени.

И исторія во всѣхъ этихъ случаяхъ признала бы не постыдное самоискаженіе, а идейное самопожертвованіе.

Она нашла бы основаніе своему приговору и помимо психологіи,— въ самыхъ наглядныхъ свойствахъ среды и времени Бѣлинскаго. Сегодня вы услышите стихотворную характеристику литературныхъ условій, встрѣтившихъ критика въ началѣ его пути *), — я представлю вамъ прозаическую картину болѣе широкаго содержанія. На ней захвачена вся атмосфера со всѣми ея живыми разумными организмами и явленіями.

---

*) Стихотвореніе Н. А. Некрасова, разсказывающее жизнь и дѣятельность Бѣлинскаго. Отрывокъ о положеніи литературы:

Тогда все глухо и мертво
Въ литературѣ нашей было:
Скончался Пушкинъ, безъ него
Любовь къ ней публики остыла.
Въ бореньи пошлыхъ мелочей
Она, погрязнувъ, поглупѣла.
До общества, до жизни ей
Какъ будто не было и дѣла.
Въ то время какъ въ родномъ краю
Открыто зло торжествовало,
Ему лишь „баюшки-баю“
Литература распѣвала.
Ничья могучая рука
Ее не направляла къ цѣли.
Лишь два задорныхъ поляка (Булгаринъ и Сенковскій)
На первомъ планѣ въ ней шумѣли.
Ужъ новый геній поднималъ
Тогда главу свою межъ нами.
Но онъ одинъ изнемогалъ.
Тѣснимъ безстыжими врагами.
Къ нему подъ знамя приносилъ
Запасъ идей, надеждъ и силъ
Кружокъ еще несмѣлый, тѣсный,—
Потребность сильная была
Въ могучемъ словѣ правды честной,
Въ открытомъ обличеньи зла.

Картина нарисована вполнѣ достовѣрнымъ лицомъ, профессоромъ и цензоромъ Никитенкомъ,—человѣкомъ, какъ видите, не безпокойнымъ и не фрондирующимъ безъ толку.

Никитенко очень усердно читалъ лекціи, писалъ статьи, составлялъ ученыя изслѣдованія, — вообще честно выполнялъ программу высокообразованнаго интеллигента. Но по временамъ на него находило странное чувство, близкое къ отчаянію и гамлетовскому пессимизму. Тогда, затворившись въ своемъ кабинетѣ, онъ писалъ:

„Я обманываю и обманываюсь, произнося слова: *развитіе, направленіе мыслей, основныя идеи искусства.* Все это что-нибудь и даже много значитъ тамъ, гдѣ существуетъ общественное мнѣніе, интересы умственные и эстетическіе, а здѣсь просто швырянье словъ въ воздухъ. Слова, слова и слова! Жить въ словахъ и для словъ, съ душою, жаждущею истины, съ умомъ, стремящимся къ вѣрнымъ и существеннымъ результатамъ,—это дѣйствительное, глубокое злополучіе. Часто, очень часто я бываю пораженъ глубокимъ, мрачнымъ сознаніемъ моего ничтожества. Если бъ я жилъ среди дикихъ, я ходилъ бы на звѣриную и рыбную ловлю, я дѣлалъ бы дѣло, а теперь я, какъ ребенокъ, какъ дуракъ, играю въ мечты и призраки! О, кровью сердца написалъ бы я исторію моей внутренней жизни! Проклято время, гдѣ существуетъ выдуманная оффиціальная необходимость моральной дѣятельности, безъ дѣйствительной въ ней нужды, гдѣ общество возлагаетъ на васъ обязанности, которыя само презираетъ“ *).

Это очень сильно, но у автора были утѣшенія: онъ служилъ и награжденья бралъ. Неудовлетворенное нравственное и общественное чувство болѣе или менѣе возмѣщалось чиновничьимъ честолюбіемъ и оффиціальною карьерой.

Если для лекцій и статей Никитенка не существовало общественнаго мнѣнія, его способности и усердіе цѣнило начальство, и эта оцѣнка, конечно, была дорога для дѣятеля: иначе онъ не усердствовалъ бы до послѣдняго напряженія силъ на казенной службѣ.

Но и ему, мы видимъ, приходилось жутко только потому, что, помимо чиновника, въ немъ жилъ еще гражданинъ, подъ мундиромъ билось человѣческое сердце. И этого достаточно, чтобы высокопоставленный литераторъ доходилъ по временамъ до полной душевной растерянности.

Чего же ждать отъ просто писателей, принужденныхъ опираться только на общество, на ту самую косную, рабскую и дикую толпу, какая удручаетъ нашего лѣтописца?

---

*) *Записки и дневникъ.* Спб., 1893 г., стр. 423—4.

V.

Бѣлинскій былъ такимъ писателемъ и въ десять съ небольшимъ лѣтъ достигъ поразительныхъ результатовъ. Какихъ именно—пусть объяснитъ одинъ изъ принципіальныхъ враговъ критика, И. С. Аксаковъ. Съ болью въ сердцѣ и съ жестокимъ сѣтованіемъ на участь дорогого славянофильскаго ученія Аксаковъ пишетъ отцу слѣдующія строки:

„Много я ѣздилъ по Россіи: имя Бѣлинскаго извѣстно каждому, сколько-нибудь мыслящему юношѣ, всякому, жаждущему свѣжаго воздуха среди вонючаго болота провинціальной жизни. Нѣтъ ни одного учителя гимназіи въ губернскихъ городахъ, который бы не зналъ наизусть письма Бѣлинскаго къ Гоголю... „Мы Бѣлинскому обязаны своимъ спасеньемъ", говорятъ мнѣ вездѣ молодые честные люди въ провинціяхъ. И въ самомъ дѣлѣ, въ провинціи вы можете видѣть два класса людей: съ одной стороны—взяточниковъ, чиновниковъ въ полномъ смыслѣ этого слова, жаждущихъ лентъ, крестовъ и чиновъ, помѣщиковъ, презирающихъ идеологовъ, привязанныхъ къ своему барскому достоинству и крѣпостному праву,—вообще довольно гнусныхъ. Вы отворачиваетесь отъ нихъ, обращаетесь къ другой сторонѣ, гдѣ видите людей молодыхъ, честныхъ, возмущающихся зломъ и гнетомъ, поборниковъ эмансипаціи и всякаго простора съ идеями гуманности... И если вамъ нужно честнаго человѣка, способнаго сострадать болѣзнямъ и несчастіямъ угнетенныхъ, честнаго доктора, честнаго слѣдователя, который полѣзъ бы на борьбу,—ищите таковыхъ въ провинціи между послѣдователями Бѣлинскаго" *).

Это говорилось сорокъ два года назадъ. Многое, что̀ возмущало Аксакова, стало преданіемъ, и, слѣдовательно, многія идеи Бѣлинскаго утратили новизну. И искреннѣйшимъ желаніемъ нашимъ должно быть, чтобы *всѣ* идеи Бѣлинскаго пришли къ такому результату, чтобы наша дѣйствительность достигла уровня его идеаловъ, чтобы, наконецъ, его сочиненія превратились въ прописи нашихъ будней. И такъ произойдетъ непремѣнно, хотя бы даже въ отдаленномъ будущемъ.

Тогда писательская дѣятельность Бѣлинскаго станетъ въ полномъ смыслѣ исторической. Предъ его именемъ исчезнутъ партіи, и оно пребудетъ навсегда въ спокойномъ, ясномъ ореолѣ безспорной славы.

---

*) *Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ въ его письмахъ.* Часть первая, томъ третій. Москва, 1892 г., стр. 290—1.

Но одновременно не изсякнетъ и другой источникъ—болѣе сильныхъ и лирическихъ чувствъ самыхъ позднихъ поколѣній. Это не отдѣльныя идеи, а сама органическая почва, вызвавшая великій даръ личнаго самоопредѣленія и религіозно - прочувствованнаго сознанія личнаго достоинства и личной умственной и нравственной неприкосновенности.

Обратитесь къ нашимъ днямъ.

Одинъ изъ самыхъ настойчивыхъ современныхъ вопросовъ—идея самообразованія. Всякому извѣстно, сколько тратится нерѣдко героическихъ усилій русскою молодежью и грамотною, и полуграмотною и даже образованною,—во имя осмысленнаго и одухотвореннаго знанія. Очевидно, школьный недугъ — отъ низшихъ до самыхъ высокихъ ступеней—до сихъ поръ не уврачеванъ, за стѣнами и гимназій, и университетовъ остается много пренебреженнаго, и какъ разъ самаго насущнаго и жизненнаго... Очевидно, школьныя мытарства Бѣлинскаго остаются самою современною и самою обыкновенною исторіей.

Но знаній и науки жизни новыя поколѣнія, подобно своимъ предшественникамъ, ищутъ еще дальше, чѣмъ классы и аудиторіи, — ищутъ у вѣковыхъ учителей русскаго общества. Гегельянство — послѣдняя зарубежная новость при Бѣлинскомъ — давно смѣнилось другими вліяніями и теченіями, не прекращаются они и до сегодня, не прекратятся и въ отдаленнѣйшемъ будущемъ, пока Россія останется культурною европейскою страной.

Великая и часто мучительнѣйшая задача—какъ достойно разсчитаться съ этими неизбѣжными фактами. Мы знаемъ, какъ Бѣлинскій рѣшилъ задачу. Онъ во главѣ своихъ идей поставилъ русскую дѣйствительность во всей ея жестокой истинѣ и цѣли русскаго человѣческаго благоденствія и развитія и къ этимъ исходнымъ точкамъ просвѣтительной дѣятельности примѣнилъ силу и результаты европейской мысли. Скажите, когда перестанетъ быть современнымъ такой способъ учиться у Европы?

Долго еще не перейдетъ на страницы исторіи и тотъ подвигъ свободной и ясной мысли, какой увѣковѣченъ письмомъ Бѣлинскаго къ Гоголю.

Для развитія творческаго генія несущественъ средній или высшій культурный уровень среды, и великій художникъ можетъ быть роднымъ дѣтищемъ общества, въ громадномъ большинствѣ не представляющаго ничего великаго въ области ума и нравственныхъ идеаловъ.

Отсюда неотъемлемый истинно-національный фактъ нашей лите-

ратуры—сліяніе сильнаго поэтическаго таланта съ весьма слабыми общественными инстинктами, уживчивость реальнѣйшихъ созданій вдохновенія съ мертвыми и мелкими идеями міросозерцанія.

А между тѣмъ есть ли что обаятельнѣе геніальнаго творчества? Существуетъ ли въ нашемъ мірѣ болѣе законный и болѣе благородный соблазнъ, чѣмъ увлеченіе великимъ художникомъ? И сколько надо идейнаго мужества, страсти къ общему благу, чтобы въ произведеніяхъ художника распознать плевелы отъ пшеницы, чтобы отвергнуть недостойную *мысль*, предлагаемую подъ покровомъ признаннаго *художественнаго таланта!*

Бѣлинскому представился одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ опытовъ, и онъ, лично одаренный музыкальнѣйшею художественною организаціей, трепетно и пламенно отзывавшійся на малѣйшій проблескъ творческой силы, предпочелъ разрушить гармонію своего личнаго чувства, чѣмъ преклониться передъ заблужденіями восторженно-чтимаго писателя.

Вотъ завѣты Бѣлинскаго, для которыхъ нѣтъ предѣловъ во времени и нѣтъ опасности забвенія, какъ бы коротка ни была наша память. Въ его лицѣ воплотились высшія нравственныя стихіи русской національности, онъ живой обобщитель культурныхъ задатковъ русской природы. Въ каждомъ изъ насъ, въ лучшія *человѣческія* минуты нашей жизни, непремѣнно горитъ искра, причастная тому пламени, въ какомъ перегорѣло сердце Бѣлинскаго.

Древніе отцы христіанской церкви съ невольнымъ благоговѣніемъ останавливались предъ такими преданіями язычества, какъ Сократъ, Маркъ Аврелій, и не рѣшались произнести слова правовѣрнаго осужденія. Они признавали, что эти *святые* язычники творили законъ добра безотчетно, по внушеніямъ своего сердца, не вѣдая писаннаго откровенія.

Мы не *святые*, хотя часто, слишкомъ часто бываемъ *язычниками* и творимъ себѣ кумировъ изъ своего эгоизма и чужого зла... Но какъ бы упорно ни идолослужительствовали мы въ нашихъ личныхъ и общественныхъ отношеніяхъ, по временамъ все-таки мы исполняемъ завѣты великаго идеалиста.

Мы живемъ умственными завоеваніями Бѣлинскаго, не сознавая первоисточника, осуществляемъ его духъ, хотя бы даже въ рѣдкіе моменты пробужденія нашего личнаго достоинства и свободы.

Враги Бѣлинскаго, по свойственной врагамъ проницательности, давно поняли эту непобѣдимую силу нашего писателя. Одинъ изъ самыхъ ожесточенныхъ, видя неудержимое торжество его имени, со скрежетомъ зубовнымъ объявлялъ:

Бѣлинскій умеръ,—живъ Бѣлинскій! *).

А мы эти слова можемъ повторить, какъ убѣдительнѣйшее свидѣтельство, что и у насъ не только есть незабвенное общечеловѣческое прошлое, но что мы способны находить въ немъ опору въ настоящемъ и вѣрный залогъ будущаго.

Ив. Ивановъ.

---

*) *Князь П. А. Вяземскій*: „Полное собраніе сочиненій". Спб., 1887 г., стр. 439.

БѢЛИНСКІЙ, ЕГО ДРУЗЬЯ И ВРАГИ.

В. Г. Бѣлинскій родился въ 1810 г. въ Свеаборгѣ, гдѣ отецъ его служилъ тогда врачемъ во флотѣ. Отецъ его былъ родомъ изъ Пензенской губерніи, сынъ сельскаго священника изъ села Бѣлыни, Чембарскаго уѣзда. По этому селу Григорій Никифоровичъ и получилъ (въ семинаріи) фамилію *Бѣлынскій*. По окончаніи курса въ Медицинской академіи Г. Н. поступилъ врачемъ въ балтійскій флотъ и вскорѣ женился на дочери одного морского офицера. Виссаріонъ Григорьевичъ былъ первенцемъ отъ этого брака. Въ 1816 г. Г. Н. перешелъ на службу въ родной Чембаръ — уѣзднымъ лѣкаремъ. Такимъ образомъ, хотя Бѣлинскій и родился въ Свеаборгѣ, онъ ребенкомъ былъ перевезенъ въ Пензенскую губернію, откуда былъ родомъ его отецъ, и здѣсь провелъ свое дѣтство и юность до поступленія въ университетъ.

Условія, окружавшія Бѣлинскаго въ теченіе пензенскихъ лѣтъ его жизни, не могутъ быть признаны благопріятными. Отецъ его былъ человѣкъ умный, стоялъ выше уѣздной среды, но онъ много пилъ и былъ очень грубъ и съ чужими, и со своими домашними, доходя иногда до кулачной расправы съ дѣтьми. Мать Бѣлинскаго Марья Ивановна, была женщина добрая, но неразвитая и необразованная, очень несдержаннаго характера. Семейная жизнь Бѣлинскихъ не отличалась спокойствіемъ, и Виссаріонъ Григорьевичъ, человѣкъ очень привязчивый, въ жизни котораго мы встрѣчаемъ много самыхъ нѣжныхъ дружескихъ связей, выказывавшій большую заботливость по отношенію къ своимъ роднымъ, въ общемъ сохранилъ самыя тягостныя воспоминанія о родномъ домѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ несомнѣнно, что умный и озлобленный уѣздный врачъ имѣлъ извѣстное вліяніе на характеръ и направленіе своего даровитаго сына.

Условія школьнаго обученія тоже не заключали въ себѣ ничего

особенно благопріятнаго. И чембарское уѣздное училище, и пензенская гимназія стояли на обычномъ педагогическомъ уровнѣ того времени: учителя били учениковъ, являлись въ классъ иногда совершенно пьяные; преподаваніе было мертвенно-сухое, схоластическое, ученье шло по книжкѣ, въ зубрёжку. Но и школа не осталась безъ вліянія на развитіе Бѣлинскаго. Штатный смотритель чембарскаго уѣзднаго училища Грековъ дозволялъ Бѣлинскому отвѣчать „своими словами", не препятствовалъ его чтенію помимо казенныхъ руководствъ. Здѣсь же, въ чембарскомъ училищѣ, Бѣлинскаго впервые увидалъ директоръ училищъ Пензенской губерніи, впослѣдствіи извѣстный романистъ Лажечниковъ. Онъ ревизовалъ чембарское училище и обратилъ вниманіе на бойкіе и осмысленные отвѣты одного ученика, налетавшаго на задаваемые вопросы, какъ ястребъ на свою добычу; въ отвѣтахъ умнаго мальчика видна была обдуманность и начитанность. На свой вопросъ смотрителю Лажечниковъ узналъ, что этотъ ученикъ—сынъ уѣзднаго лѣкаря, Виссаріонъ Бѣлинскій. Судьба вновь свела Бѣлинскаго съ Лажечниковымъ позднѣе, когда бывшій ученикъ чембарскаго училища поступалъ въ Московскій университетъ. Одинъ изъ учителей далъ Бѣлинскому рекомендательное письмо къ Лажечникову, жившему тогда въ Москвѣ. По выступленіи Бѣлинскаго на литературное поприще онъ постоянно поддерживалъ сношенія съ Лажечниковымъ, о произведеніяхъ котораго не разъ сочувственно говорилъ въ своихъ критическихъ статьяхъ. Послѣ кончины Бѣлинскаго надолго пережившій его Лажечниковъ составилъ и опубликовалъ свои интересныя воспоминанія о немъ.

Въ пензенской гимназіи русская словесность преподавалась сухимъ педантомъ по старой реторикѣ, но развивавшіеся уже въ Бѣлинскомъ серьёзные литературные интересы нашли себѣ сочувствіе и поддержку въ учителѣ естественныхъ наукъ Поповѣ, который оставилъ намъ также интересныя воспоминанія о Бѣлинскомъ-гимназистѣ, объ его постоянномъ серьёзномъ чтеніи, объ его критическомъ самосостоятельномъ отношеніи къ читаемому, о томъ, какъ онъ съ жадностью поглощалъ тогдашніе журналы, всасывая въ себя „духъ Надеждина и Полеваго".

Бѣлинскій учился неровно, хотя при своихъ способностяхъ и начитанности онъ зналъ больше своихъ товарищей. По словамъ Попова, если Бѣлинскаго экзаменовать обычнымъ порядкомъ—онъ плохой ученикъ, а если поговорить съ нимъ дома, онъ по всѣмъ наукамъ—первый. Много читая, Бѣлинскій вмѣстѣ съ тѣмъ не интересовался сухимъ гимназическимъ преподаваніемъ, получалъ по нѣкоторымъ предметамъ дурныя отмѣтки, пропускалъ уроки, опазды-

валъ въ классы. Онъ и тогда уже настолько выдавался своими знаніями и способностями, что одно время замѣнялъ въ младшемъ классѣ учителя русскаго языка, и въ числѣ учениковъ его былъ Буслаевъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не кончилъ курса гимназіи, былъ исключенъ за „нехожденіе въ классъ".

Бѣлинскій уѣхалъ къ родителямъ въ Чембаръ и сталъ готовиться къ поступленію въ университетъ. Осенью 1829 г. онъ былъ уже въ Москвѣ и, послѣ затрудненій изъ-за того, что бумаги объ его рожденіи были не въ должномъ порядкѣ, онъ, сдавъ экзаменъ, не только былъ принятъ въ студенты, но и поступилъ вскорѣ „на казенный коштъ".

Это было переходное время въ жизни Московскаго университета, одна изъ наиболѣе печальныхъ эпохъ въ его исторіи. Правильный порядокъ университетскаго быта былъ уже поколебленъ въ послѣдніе годы царствованія Александра I-го за время господства мистической реакціи; условія университетской жизни стали еще тяжеле и неопредѣленнѣе въ началѣ царствованія Николая I-го. Только въ 1834 году новый университетскій уставъ внесъ въ дѣло больше опредѣленности и порядка и, благодаря притоку свѣжихъ преподавательскихъ силъ, университетъ, при попечительствѣ гр. С. Г. Строганова, переживалъ блестящую эпоху съ конца 30-хъ годовъ. Но въ концѣ 20-хъ годовъ, когда Бѣлинскій поступилъ въ студенты, университетъ имѣлъ мало хорошихъ преподавателей, а внутренніе распорядки его отличались формализмомъ, очень тяготившимъ студентовъ. Въ силу этихъ условій, съ Бѣлинскимъ здѣсь повторилось нѣчто подобное тому, что было въ Пензѣ, — лишь въ болѣе рѣзкой формѣ и съ осложненіями.

Бѣлинскій не могъ быть увлеченъ сухимъ схоластическимъ преподаваніемъ тогдашнихъ профессоровъ. Онъ ходилъ по обязанности на лекціи, но мало занимался „предметами", такъ что экзамены были неудачны. Между прочимъ одинъ изъ товарищей Бѣлинскаго передаетъ про него анекдотъ, показывающій, какъ невнимательное отношеніе Бѣлинскаго къ лекціямъ приводило его къ столкновеніямъ, которыя быстро отразились на его университетской судьбѣ. „Преподаватель Побѣдоносцевъ, — вспоминаетъ товарищъ Бѣлинскаго Прозоровъ, — въ самомъ азартѣ объясненія хрій, вдругъ остановился и, обратившись къ Бѣлинскому, сказалъ: „Что ты, Бѣлинскій, сидишь такъ безпокойно, какъ будто на шилѣ, и ничего не слушаешь? Повтори-ка мнѣ послѣднія слова, на чемъ я остановился?" — „Вы остановились на словахъ, что я сижу на шилѣ", отвѣчалъ спокойно и не задумавшись Бѣлинскій. Студенты разразились смѣхомъ, а

профессоръ, съ презрѣніемъ отвернувшись отъ неразумнаго, по его мнѣнію, студента, продолжалъ свою лекцію о хріяхъ. Прозоровъ прибавляетъ: „Но горько потомъ пришлось Бѣлинскому за его убійственно ѣдкій сарказмъ,“ т. е. это столкновеніе съ Побѣдоносцевымъ повліяло на послѣдовавшее затѣмъ исключеніе Бѣлинскаго. Нельзя не припомнить, что профессоръ Побѣдоносцевъ оказался около этого же времени причастнымъ къ исключенію изъ Московскаго университета Лермонтова.

Помимо отношенія Бѣлинскаго къ университетскому преподаванію, у него возникли столкновенія съ университетскимъ начальствомъ по студенческимъ казеннымъ номерамъ. Если вообще при тогдашнихъ порядкахъ студенту жилось не легко, то особенно неблагопріятны были условія для казенныхъ студентовъ, такъ какъ они больше зависѣли отъ начальства, постоянно находились у него на глазахъ. Прозоровъ разсказываетъ, какъ возмущало студентовъ грубое обхожденіе съ ними помощника попечителя, Голохвастова, передаетъ подробно о волненіи, которое было вызвано среди студентовъ дурнымъ столомъ. Въ одномъ изъ писемъ Бѣлинскаго-студента читаемъ: „Пища въ столовой такъ мерзка, такъ гнусна, что невозможно ѣсть. Я удивляюсь, какимъ образомъ мы уцѣлѣли отъ холеры, питаясь пакостною падалью, стервятиной и супомъ съ червями“. Было высказано предположеніе, что этотъ отзывъ заключаетъ въ себѣ преувеличеніе; но въ бумагахъ профессора Щепкина, занявшаго въ то время должность инспектора, сохранились указанія, что дѣло продовольствія студентовъ онъ засталъ дѣйствительно въ безобразномъ видѣ.

Уже въ первый годъ своего студенчества Бѣлинскій былъ на замѣчаніи у инспектора Перевощикова; осенью 1830 г. Перевощикова замѣнилъ П. С. Щепкинъ, у котораго тоже вышли столкновенія съ Бѣлинскимъ. Къ послѣднему очень не благоволилъ и ректоръ Двигубскій, про котораго въ „Быломъ и Думахъ“ читаемъ: „Видъ его былъ такъ назидателенъ, что какой-то студентъ изъ семинаристовъ, приходя за табелью, подошелъ къ нему подъ благословенье и постоянно называлъ его „отецъ-ректоръ“. При томъ онъ былъ страшно похожъ на сову съ Анной на шеѣ, какъ его описывалъ другой студентъ, получившій болѣе свѣтское образованіе“. И ректоръ, и инспекторъ не разъ грозили Бѣлинскому исключеніемъ. Положеніе Бѣлинскаго въ глазахъ начальства особенно ухудшилось послѣ исторіи съ его трагедіей. Онъ представилъ въ цензурный комитетъ пьесу, въ которой рѣзкими чертами изображались условія крѣпостного быта. Цензура была тогда при университетѣ, цензоромъ пьесы Бѣ-

линскаго былъ профессоръ Цвѣтаевъ, и, хотя цензоръ признавалъ литературныя дарованія автора, трагедія была объявлена „безнравственною, безчестящею университетъ“. Бѣлинскому грозили за нее исключеніемъ, за нимъ былъ учрежденъ особый надзоръ. Исторія съ этою пьесой, повидимому, сильно повліяла на удаленіе молодого автора изъ университета. Подробности объ исключеніи Бѣлинскаго изъ числа студентовъ не вполнѣ выяснены. Осенью 1831 г. правленіе университета дѣлало попечителю представленіе объ исключеніи Бѣлинскаго; но попечитель кн. Голицынъ не утвердилъ этого представленія, затребовалъ дополнительныхъ свѣдѣній и объясненій. Такимъ образомъ исключеніе Бѣлинскаго формально не состоялось, но, повидимому, судя по письмамъ Бѣлинскаго, онъ фактически былъ исключенъ тогда же: начальство не сообщило ему, что представленіе правленія не утверждено; во всякомъ случаѣ осенью 1832 г. вторично было сдѣлано представленіе попечителю объ исключеніи Бѣлинскаго, на этотъ разъ представленіе — округомъ управлялъ тогда вмѣсто кн. Голицына помощникъ попечителя Голохвастовъ— было утверждено, и Бѣлинскій былъ исключенъ по „ограниченности способностей“.

Университетомъ Бѣлинскій не былъ признанъ оффиціально; тѣмъ не менѣе годы его студенчества имѣли важное значеніе для его развитія. Прежде всего надо сказать, что среди плохихъ профессоровъ, составлявшихъ громадное большинство, были исключенія. Какъ праведники спасаютъ городъ, такъ и два-три хорошихъ профессора спасали университетъ. Такими профессорами были: М. Г. Павловъ, Н. И. Надеждинъ и состарѣвшійся уже, но все еще убѣжденный проповѣдникъ скептицизма, Каченовскій. Благодаря этимъ профессорамъ, „университетъ сдѣлалъ свое дѣло“. Любопытно отмѣтить слѣдующее: Московскій университетъ еще съ прошлаго вѣка стоялъ въ близкомъ, вообще, отношеніи къ нашей журналистикѣ; такъ и всѣ три названныхъ профессора были журналисты. Всего больше на Бѣлинскаго имѣлъ вліяніе Надеждинъ: его статьями зачитывался Бѣлинскій еще въ гимназіи, его лекціями увлекался въ университетѣ, подъ его руководствомъ онъ началъ журнальную работу.

Но и помимо лекцій лучшихъ профессоровъ, университетъ оказалъ на Бѣлинскаго сильное вліяніе своей аудиторіей, студенчествомъ. О значеніи товарищества для общаго развитія студентовъ въ то время говорятъ воспоминанія Герцена, К. Аксакова и др. Дружная аудиторія того времени внѣ университета распадалась на еще болѣе дружные студенческіе кружки. Студенты собирались читать вмѣстѣ, обсуждать прочитанныя книги или лекціи профессо-

ровъ, предъявляли на товарищескій судъ собственные литературные опыты, ставили и рѣшали разнообразные вопросы жизни: „въ свою чреду все подвергалось ихъ суду“... Бѣлинскій былъ однимъ изъ организаторовъ литературныхъ вечеровъ въ № 11 казенныхъ студентовъ, гдѣ онъ жилъ. По свидѣтельству товарища, Бѣлинскій уже тогда, въ первые годы студенчества, поражалъ своимъ критическимъ отношеніемъ къ признаннымъ старымъ авторитетамъ, безпощаднымъ преслѣдованіемъ всего пошлаго и фальшиваго. Но помимо „литературныхъ вечеровъ“ 11-го № Бѣлинскій былъ очень близокъ съ другимъ студенческимъ кружкомъ, такъ называемымъ кружкомъ Станкевича.

Бѣлинскій не кончилъ въ университетѣ, остался „недоучившимся студентомъ“, какъ и звали его враги. Обвиненіе въ недостаткѣ знаній повторялось относительно Бѣлинскаго даже лицами, къ нему расположенными, а враждебные писатели и до сихъ поръ говорятъ о его невѣжествѣ. Не буду разбирать здѣсь подробно неосновательность этого обвиненія: не разъ уже оно было опровергаемо въ печати самыми компетентными лицами. Если мы разберемъ весь ходъ образованія и развитія Бѣлинскаго, мы должны признать, что при всемъ значеніи личныхъ геніальныхъ способностей Бѣлинскаго, его развитіе и направленіе представляются связанными съ послѣдовательнымъ ходомъ исторіи русской общественной мысли, съ теченіями, внесенными въ русскую жизнь предшествующею наукой и литературой. На Бѣлинскаго вліяли люди и книги. Оффиціальная школа, которую онъ проходилъ и не кончилъ, на всѣхъ своихъ ступеняхъ представлялась тогда на низкомъ уровнѣ. Но Бѣлинскій вездѣ встрѣчалъ людей, которые были выше этого уровня, которые являлись представителями результатовъ, достигнутыхъ къ тому времени русскою образованностью. Въ Чембарѣ отецъ Бѣлинскаго, воспитанникъ духовной семинаріи и медицинской академіи, въ Пензѣ учитель Поповъ—воспитанникъ Казанскаго университета, въ Москвѣ профессоръ Павловъ—закончившій свое образованіе за границей, профессоръ Надеждинъ—воспитанникъ духовной академіи; въ Москвѣ же на Бѣлинскаго особенно вліяли кружки его товарищей, университетскихъ студентовъ. Такимъ образомъ, черезъ людей, имѣвшихъ значеніе въ развитіи Бѣлинскаго, на послѣдняго вліяла своими результатами свѣтская и духовная школа того времени, русская научная мысль. Еще непосредственнѣе было вліяніе книги, литературы: Бѣлинскій постоянно много читалъ, и, по мѣрѣ развитія своего чтенія, онъ воспринималъ въ извѣстной послѣдовательности результаты работы, вложенной въ русскую литературу XVIII и XIX вѣковъ. Такимъ образомъ, мы должны

признать, что недоучившійся студентъ, лишенный патента на ученость, былъ въ сущности выразителемъ всей суммы русской образованности.

Съ кружкомъ Станкевича Бѣлинскій сохранилъ тѣсную связь и по оставленіи университета, продолжая работать надъ своимъ образованіемъ; кружокъ этотъ не распался и послѣ того, какъ его члены перестали быть студентами. Кромѣ Станкевича и Бѣлинскаго, въ этотъ кружокъ входили: Бакунинъ, Боткинъ, К. Аксаковъ, Красовъ, Клюшниковъ, Ефремовъ, Катковъ, Кетчеръ; къ нему же примкнули: Тургеневъ, Невѣровъ, Самаринъ, Грановскій. Кружокъ Станкевича всецѣло былъ преданъ изученію германской философіи, страстно увлекался Гегелемъ. Бѣлинскій, слабо знавшій иностранные языки, знакомился съ идеями Гегеля въ передачѣ ихъ Станкевичемъ и Бакунинымъ. Но, получая философскую мудрость изъ вторыхъ рукъ, Бѣлинскій быстро и свободно себѣ ее усвоивалъ, являлся самостоятельнымъ участникомъ въ общей философской работѣ, вносилъ въ нее всю горячность своего темперамента, велъ выработанную мысль до логическихъ послѣдствій ея, куда за нимъ не всегда рѣшались слѣдовать его друзья. Вмѣстѣ съ тѣмъ, обладая исключительнымъ литературнымъ талантомъ, онъ являлся выразителемъ взглядовъ кружка въ печатныхъ статьяхъ.

Рядомъ съ кружкомъ Станкевича большое значеніе имѣлъ въ то время другой кружокъ, кружокъ Герцена, Огарева, Сатина. Направленіе обоихъ кружковъ было различно; при встрѣчахъ между членами происходили горячіе споры, и предъявляемыя возраженія заставляли Бѣлинскаго еще рѣзче ставить свои воззрѣнія. Но эти столкновенія оказали свое вліяніе на развитіе Бѣлинскаго, подготовили ту перемѣну въ его убѣжденіяхъ, которая совершилась потомъ въ Петербургѣ.

Какъ извѣстно, кружокъ Станкевича и кружокъ Герцена слились потомъ и составили вмѣстѣ передовой кругъ вождей сороковыхъ годовъ. Приведемъ общій отзывъ Герцена объ этомъ кружкѣ: „Такого круга людей талантливыхъ, развитыхъ, многостороннихъ и чистыхъ, я не встрѣчалъ потомъ нигдѣ, ни на высшихъ вершинахъ политическаго міра, ни на послѣднихъ маковкахъ литературнаго и аристократическаго. А я много ѣздилъ, вездѣ жилъ и со всѣми жилъ... и я по совѣсти долженъ повторить то же самое".

И въ этомъ замѣчательномъ кругѣ первое мѣсто, по признанію самого Герцена, принадлежало Бѣлинскому.

Бѣлинскій былъ тѣсно связанъ съ кружкомъ своихъ московскихъ друзей не только лично, но и своею дѣятельностью. Если сначала

онъ былъ главнымъ выразителемъ идей своего кружка, то послѣ увлекъ за собою въ печать и своихъ друзей: они шли за нимъ въ „Московскій Наблюдатель“, въ „Отечественныя Записки“, въ „Современникъ“. Нельзя здѣсь обойти молчаніемъ близость личныхъ отношеній Бѣлинскаго къ его друзьямъ, постоянно выражающуюся въ его перепискѣ. Не вхожу въ подробности, а позволю себѣ лишь привести изъ „Былого и Думъ“ живое описаніе одной сцены дружескаго свиданія. Лѣто 1842 г. Герценъ съ женою проводилъ въ своей подмосковной, въ селѣ Покровскомъ. У нихъ гостилъ Кетчеръ. Разъ вечеромъ, въ одну изъ субботъ, они услыхали по дорогѣ колокольчикъ; тройка повернула къ усадьбѣ, Герценъ и Кетчеръ побѣжали навстрѣчу. „Тройка у подъѣзда; Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ, какъ лавина, уже скатился съ нея, смѣется, цѣлуется и моритъ со смѣха, въ то время какъ Бѣлинскій, проклиная даль Покровскаго, устройство русскихъ телѣгъ, русскихъ дорогъ, еле слѣзаетъ, расправляя поясницу. А Кетчеръ уже бранитъ ихъ: „Да что васъ это нелегкая принесла въ восемь часовъ вечера! не могли раньше пріѣхать! все привередникъ Бѣлинскій, не можетъ рано встать. Вы что смотрѣли!“ — „Да онъ еще больше одичалъ у тебя, говоритъ Бѣлинскій, да и волосы какіе отростилъ! Ты, Кетчеръ, могъ бы въ Макбетѣ представлять подвижной лѣсъ. Погоди, не истощай всего запаса ругательствъ; есть злодѣи, которые позже нашего пріѣзжаютъ“. Другая тройка уже загибаетъ на дворъ—Грановскій, Евгеній Коршъ.—„На долго ли вы?“—„На два дня“. —„Превосходно!“ И самъ Кетчеръ радъ до того, что встрѣчаетъ ихъ почти такъ, какъ Тарасъ Бульба своихъ сыновей“.

Не могу здѣсь не остановиться благодарнымъ воспоминаніемъ на скончавшемся осенью 1897 года Е. Ѳ. Коршѣ, который былъ однимъ изъ самыхъ близкихъ участниковъ московскаго кружка сороковыхъ годовъ, который такъ много потрудился въ области русской печати въ теченіе своей долгой жизни. Коршъ началъ свою литературную работу еще въ началѣ тридцатыхъ годовъ, когда онъ вмѣстѣ съ Грановскимъ сотрудничалъ въ „Библіотекѣ для чтенія“. Съ тѣхъ поръ они съ Грановскимъ остались въ неразрывной дружбѣ до самаго конца. Сколько оригинальнаго было въ личности Е. Ѳ., котораго многіе изъ насъ помнятъ еще въ полномъ развитіи силъ! Западникъ по своимъ взглядамъ и убѣжденіямъ, Коршъ не только не бывалъ за границей, но онъ любилъ Москву почти такъ же сильно, какъ К. Аксаковъ; онъ тяготился своею жизнью въ Петербургѣ въ тридцатыхъ и затѣмъ въ пятидесятыхъ годахъ. Про Корша Герценъ говоритъ,— а онъ могъ быть хорошимъ судьей въ этомъ от-

ношеніи, — что у него „остроты и шутки искрились, какъ шипучее вино, отъ избытка силъ“. Имя Е. Ѳ. Корша навсегда останется въ исторіи русскаго общества, какъ имя одного изъ видныхъ и дѣятельныхъ представителей сороковыхъ годовъ, въ исторіи русской печати—какъ усерднаго и полезнаго литературнаго работника.

Другой спутникъ Бѣлинскаго при его пріѣздѣ къ Герценамъ въ Покровское — М. С. Щепкинъ. Съ нимъ Бѣлинскій познакомился вскорѣ по пріѣздѣ въ Москву, еще будучи студентомъ, такъ какъ Щепкинъ въ 1830 г. бывалъ въ казенныхъ студенческихъ номерахъ при постановкѣ спектаклей. Бѣлинскій потомъ сдѣлался близкимъ человѣкомъ въ домѣ Щепкина, имѣлъ сильное личное вліяніе на многочисленную молодежь, росшую въ этомъ домѣ. Съ старшимъ изъ его сыновей Дмитріемъ Бѣлинскій между прочимъ встрѣтился въ Берлинѣ въ 1847 г., а Николай былъ впослѣдствіи вмѣстѣ съ К. Т. Солдатенковымъ — издателемъ перваго собранія сочиненій В. Г. Бѣлинскаго. Съ М. С. Бѣлинскій ѣздилъ въ 1846 г. на югъ. Конечно, прежде всего Бѣлинскій увидалъ Щепкина на сценѣ: страстный поклонникъ драматическаго искусства еще въ Пензѣ, студентъ-Бѣлинскій, несмотря на упреки матери, часто бывалъ въ театрѣ; еще въ студенческихъ письмахъ онъ описывалъ съ восторгомъ игру Мочалова и Щепкина: „Мочаловъ неподражаемый актеръ, необыкновенный геній, великій артистъ драматическаго искусства“. „Лучшій комическій актеръ здѣсь Щепкинъ: это не человѣкъ, а дьяволъ, вотъ лучшая и справедливѣйшая похвала его“.

Не буду говорить здѣсь о знаменитыхъ отзывахъ Бѣлинскаго о Мочаловѣ въ его статьяхъ; упомяну только, что послѣдняя статья Бѣлинскаго, появившаяся незадолго до его кончины, былъ некрологъ Мочалова въ апрѣльской книжкѣ „Современника“ 1848 г.

Обращаюсь опять къ московскому кружку ближайшихъ друзей Бѣлинскаго. Указанія на его составъ будутъ не полны, если не упомянуть о входившихъ въ него женщинахъ. О Н. А. Герценъ и Е. Б. Граповской мы находимъ самые сочувственные отзывы въ перепискѣ Бѣлинскаго, который былъ близокъ со многими дамами кружка. Онъ писалъ женѣ въ 1846 г.: „Дамы просто носятъ меня на рукахъ, братецъ ты мой: озябну — укутываютъ своими шалями, надѣваютъ на меня свои мантильи, приносятъ мнѣ подушки, подаютъ стулья. Таковы права старости, другъ мой! Впрочемъ, Наталья Александровна *(Герценъ)* (къ которой я питаю какое-то немножко восторженно-идеальное чувство) нашла, что я *похорошѣлъ* (замѣть это) и поздоровѣлъ. Она такъ была мнѣ рада, что я даже почувствовалъ къ себѣ нѣкоторое уваженіе. Вотъ какъ!“ Въ другомъ

письмѣ изъ той же поѣздки онъ пишетъ: „Здѣшній кружокъ живѣе нашего, и здѣшнія дамы тоже живѣе нашихъ. Благодари за комплиментъ“.

Въ первомъ письмѣ Бѣлинскаго къ невѣстѣ онъ описываетъ живую сцену своего посѣщенія семьи Е. Ѳ. Корша, передаетъ о своемъ разговорѣ съ М. Ѳ. и С. К. Коршъ, сестрою и женою Е. Ѳ. Отъ этой сцены такъ и вѣетъ чувствомъ искренней привязанности, связывавшей собесѣдниковъ.

К. Аксаковъ и затѣмъ Ю. Самаринъ принадлежали въ молодости къ тому же кружку, какъ и Бѣлинскій. Мало-по-малу они разошлись, когда все опредѣленнѣе и опредѣленнѣе стало складываться славянофильское направленіе. Бѣлинскій былъ очень близокъ съ К. Аксаковымъ; въ письмахъ его мы находимъ не разъ сочувственную характеристику К. С., а также указаніе на участіе, какое онъ встрѣчалъ въ немъ въ случаѣ нужды. Въ воспоминаніяхъ К. Аксакова мы также имѣемъ нѣкоторыя свѣдѣнія объ отношеніяхъ его къ Бѣлинскому. Изъ другихъ выдающихся славянофиловъ—и Бѣлинскій и весь его кружокъ были ближе съ Кирѣевскими, о которыхъ такіе сочувственные отзывы находимъ у Герцена. Надо напомнить, что Бѣлинскій раньше и рѣзче другихъ разошелся съ славянофилами; онъ упрекалъ своихъ московскихъ друзей, Герцена, Грановскаго, въ податливости и снисходительности; а москвичи, не соглашаясь съ нимъ, осуждали его за излишнюю рѣзкость; скоро, однако, отношенія московскаго кружка къ славянофиламъ очень обострились. Однимъ изъ поводовъ было стихотвореніе Языкова „Не наши“, съ доносомъ на Грановскаго, Герцена, Чаадаева. Даже К. Аксаковъ возмутился этимъ стихотвореніемъ; оно внесло окончательный разладъ между западниками и славянофилами. „Бѣлинскій былъ правъ“,—писалъ Герценъ. Извѣстно, какую борьбу велъ въ своихъ статьяхъ Бѣлинскій съ увлеченіями славянофиловъ. Побѣда въ этомъ спорѣ оставалась за нимъ; статьи его не только уясняли обществу сущность спора, но несомнѣнно имѣли извѣстное вліяніе на самое развитіе славянофильскаго ученія. Не надо, однако, думать, что Бѣлинскій во всемъ безусловно отвергалъ взгляды, высказанные славянофилами. Онъ относился къ нимъ безъ предвзятой мысли, безъ предубѣжденія и умѣлъ указывать въ нихъ справедливую сторону.

По исключеніи изъ университета „по неспособности“, Бѣлинскій вскорѣ принялся за литературную работу. Имъ, между прочимъ, были сдѣланы не особенно удачныя попытки по изданію учебника грамматики, а также по постановкѣ на сцену своей новой драмы. Затѣмъ онъ окончательно сосредоточился на журнальной работѣ, на кри-

тикѣ, въ которую онъ вносилъ всегда элементъ публицистики. Бѣлинскій работалъ сначала въ „Телескопѣ“ и „Молвѣ“ Надеждина. Въ „Молвѣ“ и была помѣщена его первая критическая статья, обратившая на себя всеобщее вниманіе: „Литературныя мечтанія“. Каково было значеніе и вліяніе этой „элегіи въ прозѣ“, можно видѣть изъ слѣдующаго разсказа въ воспоминаніяхъ Панаева. Передавъ подробно о своемъ вступленіи въ петербургскіе литературные круги, о тогдашнихъ литературныхъ настроеніяхъ и взглядахъ, Панаевъ говоритъ: „я началъ смутно понимать, что въ литературѣ господствуютъ устарѣлые взгляды и рабское поклоненіе передъ старинными кумирами, какое-то пошлое лицемѣріе передъ ними“. Ему хотѣлось чего-то новаго, какой-то правды. „Отъ кого же услышать это новое слово, эту желанную правду? Полевой, на котораго еще съ ожиданіемъ и надеждою смотрѣло новое поколѣніе, видимо ослабѣвалъ: онъ не понялъ Гоголя и встрѣтилъ этотъ могучій талантъ даже съ недоброжелательствомъ; да и Полевой принужденъ былъ скоро замолкнуть... Однажды прохаживаясь по Невскому проспекту, я зашолъ въ кондитерскую Вольфа, въ которой получались всѣ русскія газеты и журналы. Я подошелъ къ столу, на которомъ они были расположены, и мнѣ прежде всего попался на глаза послѣдній № „Молвы“. Въ этомъ № было продолженіе статьи, подъ заглавіемъ: „Литературныя мечтанія — элегія въ прозѣ“. Это оригинальное названіе заинтересовало меня; я взялъ нѣсколько предшествовавшихъ нумеровъ и принялся читать. Начало этой статьи привело меня въ такой восторгъ, что я охотно бы тотчасъ поскакалъ въ Москву, если бы это было можно, познакомиться съ авторомъ ея и прочесть поскорѣе ея продолженіе. Новый свѣжій духъ ея такъ и охватилъ меня“...

Приведемъ еще разсказъ Тургенева о вліяніи первыхъ статей Бѣлинскаго на читателей. Въ своихъ воспоминаніяхъ авторъ „Записокъ охотника“ говоритъ: „Стихотворенія Бенедиктова появились въ 1836 году маленькою книжечкой, съ неизбѣжною виньеткой на заглавномъ листѣ,—какъ теперь ее вижу,—и привели въ восхищеніе все общество, всѣхъ литераторовъ, критиковъ, всю молодежь. И я не хуже другихъ упивался этими стихотвореніями, зналъ многія наизусть, восторгался „Утесомъ“, „Горами“, даже „Матильдой“ на жеребцѣ, гордившеюся „усѣстомъ красивымъ и плотнымъ“. Вотъ въ одно утро зашелъ ко мнѣ студентъ-товарищъ и съ негодованіемъ, сообщилъ мнѣ, что въ кондитерской Беранже появился № „Телескопа“ съ статьей Бѣлинскаго, въ которой этотъ „критиканъ“ осмѣливался заносить руку на нашъ общій идолъ, на Бенедиктова. Я не-

медленно отправился къ Беранже, прочелъ всю статью отъ доски до доски и, разумѣется, также воспылалъ негодованіемъ. Но странное дѣло!—и во время чтенія, и послѣ, къ собственному моему изумленію и даже досадѣ, что-то во мнѣ невольно соглашалось съ „критиканомъ", находило доводы его убѣдительными, неотразимыми... Прошло нѣсколько времени — и я уже не читалъ Бенедиктова"... Такъ Бѣлинскій, начиная съ своихъ первыхъ статей, умѣлъ покорять себѣ и такого читателя, который по первому впечатлѣнію враждебно относился къ взглядамъ критика.

Въ 1836 г. „Телескопъ" былъ закрытъ за извѣстное философское письмо Чаадаева, переведенное для журнала Кетчеромъ. Послѣ перерыва въ постоянной журнальной работѣ Бѣлинскій, съ 1838 г., сдѣлался негласнымъ редакторомъ „Московскаго Наблюдателя". Онъ привлекъ къ этому журналу весь кругъ своихъ друзей, которые и помѣщали въ „Московскомъ Наблюдателѣ" свои статьи и переводы. Несмотря на то, что Бѣлинскій былъ извѣстнымъ уже писателемъ и редактировалъ журналъ, онъ получалъ очень мало, былъ сильно стѣсненъ въ средствахъ даже для самаго необходимаго. Къ извѣстнымъ ранѣе свидѣтельствамъ объ этомъ присоединяются теперь не давно найденныя записочки его этого времени къ его товарищу А. П. Ефремову: у послѣдняго Бѣлинскій то проситъ взаймы 10 р., то каится, что не можетъ отдать долга, то обращается къ нему даже за сапогами и за фракомъ.

Литературный заработокъ въ Москвѣ не обезпечивалъ Бѣлинскаго; онъ посылалъ статьи также въ петербургскія изданія и вмѣстѣ съ Галаховымъ и Катковымъ писалъ разборы выходившихъ въ Москвѣ книгъ. Когда Бѣлинскій переѣхалъ въ Петербургъ, вмѣсто него съ Галаховымъ сталъ сотрудничать П. Н. Кудрявцевъ, будущій профессоръ исторіи, уже помѣщавшій свои повѣсти въ „Московскомъ Наблюдателѣ". Бѣлинскій очень высоко ставилъ и личность Кудрявцева, и его дарованія, его художественное пониманіе.

Въ Москвѣ же черезъ Станкевича Бѣлинскій сошелся съ Кольцовымъ, на котораго имѣлъ такое сильное вліяніе. Впослѣдствіи онъ издалъ первое собраніе стихотвореній Кольцова.

Прежде чѣмъ обратиться къ петербургскому періоду жизни и дѣятельности Бѣлинскаго, приведу изъ воспоминаній Герцена общую характеристику московскаго общества, съ которымъ Бѣлинскій не разрывалъ и по переѣздѣ въ Петербургъ. „Говоря о московскихъ гостиныхъ и столовыхъ, я говорю о тѣхъ, въ которыхъ нѣкогда царилъ А. С. Пушкинъ; гдѣ до насъ декабристы давали тонъ; гдѣ смѣялся Грибоѣдовъ; гдѣ М. Ѳ. Орловъ и А. П. Ермоловъ встрѣчали

дружескій привѣтъ, потому что они были въ опалѣ; гдѣ А. С. Хомяковъ спорилъ до четырехъ часовъ утра, начавши въ девять; гдѣ К. Аксаковъ, съ мурмолкой въ рукѣ, свирѣпствовалъ за Москву, на которую никто не нападалъ, и никогда не бралъ въ руки бокала шампанскаго, чтобы не сотворить тайно моленія и тостъ, который всѣ знали; гдѣ Рѣдкинъ выводилъ логически личнаго Бога, ad majorem gloriam Hegelii; гдѣ Грановскій являлся съ своею тихою, но твердою рѣчью; гдѣ всѣ помнили Бакунина и Станкевича; гдѣ Чаадаевъ, тщательно одѣтый, съ нѣжнымъ, какъ изъ воску, лицомъ, сердилъ оторопѣвшихъ аристократовъ и православныхъ славянъ колкими замѣчаніями, всегда отлитыми въ оригинальную форму и намѣренно замороженными; гдѣ молодой старикъ А. И. Тургеневъ мило сплетничалъ обо всѣхъ знаменитостяхъ Европы, отъ Шатобріана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгагенъ; гдѣ Боткинъ и Крюковъ пантеистически наслаждались разсказами М. С. Щепкина, и куда, наконецъ, падалъ, какъ Конгревова ракета, Бѣлинскій, выжигая кругомъ все, что попадало".

Съ 1839 г. Бѣлинскій переѣзжаетъ въ Петербургъ и беретъ на себя завѣдываніе критическимъ отдѣломъ „Отечественныхъ Записокъ". Первое время дѣятельность Бѣлинскаго въ Петербургѣ служитъ прямымъ продолженіемъ его московской дѣятельности, представляетъ ея логическое усиленіе. Придя къ проповѣди гегелевскаго положенія — „все дѣйствительное разумно", Бѣлинскій съ обычною своею горячностью примѣнилъ его къ русской жизни, къ русской исторіи и, вопреки своей природѣ, выступилъ защитникомъ фактовъ и условій русской дѣйствительности. Въ Петербургѣ, послѣ мучительной для него борьбы, онъ перешелъ къ совсѣмъ иному взгляду на жизнь и въ лучшую пору своей дѣятельности явился могучимъ критикомъ не только русской литературы, но и русской дѣйствительности. Эта перемѣна, несмотря на всю рѣзкость ея, представляется понятнымъ и естественнымъ развитіемъ во взглядахъ великаго критика: по своей впечатлительной, горячей природѣ онъ не могъ долго остаться на тѣхъ отвлеченныхъ вершинахъ, куда завела его германская метафизика, односторонне понимаемая. Еще въ Москвѣ столкновеніе съ Герценомъ и его друзьями уже подготовляло предстоявшую перемѣну, которая и совершилась, какъ только критикъ поставленъ былъ въ болѣе близкое отношеніе съ жизнью. Страстная натура неистоваго Виссаріона получила должное направленіе, и литературная критика „Отечественныхъ Записокъ" и „Современника" пріобрѣла значеніе вліятельнаго, могущественнаго общественнаго фактора.

Перемѣна во взглядахъ Бѣлинскаго встрѣчала упреки и уко-

ризны. Для того чтобы указать на внутренній характеръ этой перемѣны приведемъ два разсказа друзей Бѣлинскаго. Первыми критическими статьями Бѣлинскаго въ „Отечественныхъ Запискахъ“ были статьи о Менцелѣ и Бородинской годовщинѣ. Эти статьи были наиболѣе рѣзкимъ выраженіемъ проповѣди о разумности дѣйствительности. Герценъ говоритъ о своихъ спорахъ съ Бѣлинскимъ, приведшихъ послѣдняго къ статьѣ „Бородинская Годовщина“. „Бѣлинскій, самая дѣятельная, порывистая, діалектически-страстная натура бойца, проповѣдывалъ тогда индѣйскій покой созерцанія и теоретическое изученіе вмѣсто борьбы. Онъ вѣровалъ въ это воззрѣніе и не блѣднѣлъ ни передъ какимъ послѣдствіемъ, не останавливался ни передъ какимъ моральнымъ приличіемъ, ни передъ мнѣніемъ другихъ, котораго такъ боятся люди слабые и несамобытные; въ немъ не было робости, потому что онъ былъ силенъ и искрененъ; его совѣсть была чиста“. Разъ въ спорѣ Герценъ, желая поразить Бѣлинскаго своимъ ультиматумомъ, сказалъ, что такъ можно доказать разумность чудовищныхъ условій быта. „Безъ всякаго сомнѣнія“, отвѣчалъ Бѣлинскій, и прочелъ мнѣ „Бородинскую годовщину“ Пушкина. Этого я не могъ выдержать, и отчаянный бой закипѣлъ между нами. Размолвка дѣйствовала на другихъ; кругъ распадался на два стана... Бѣлинскій, раздраженный и недовольный, уѣхалъ въ Петербургъ и оттуда далъ по насъ послѣдній яростный залпъ въ статьѣ, которую такъ и назвалъ „Бородинской годовщиной“. Статьи о Менцелѣ и Бородинской годовщинѣ были писаны еще въ Москвѣ, передъ отъѣздомъ Бѣлинскаго въ Петербургъ. Онъ читалъ тогда же „Бородинскую годовщину“ своимъ друзьямъ, между прочимъ Панаеву, въ воспоминаніяхъ котораго и передана слѣдующая сцена. Разсказавъ о своей статьѣ, „Бѣлинскій началъ мнѣ ее читать съ такимъ волненіемъ и жаромъ, съ какимъ онъ никогда не читалъ ни прежде, ни послѣ“... Панаевъ былъ увлеченъ статьею, но хотѣлъ сдѣлать замѣчаніе. „Я знаю, что, — не договаривайте, перебилъ меня съ жаромъ Бѣлинскій, меня назовутъ льстецомъ, подлецомъ, скажутъ, что я кувыркаюсь передъ властями... Пусть ихъ! Я не боюсь открыто и прямо высказывать свои убѣжденія, что̀ бы обо мнѣ ни думали... Противъ убѣжденій никакая сила не заставитъ меня написать ни одной строчки... Подкупить меня нельзя... Клянусь вамъ, Панаевъ, вы вѣдь еще меня мало знаете“... Онъ подошелъ ко мнѣ и остановился передо мною. Блѣдное лицо его вспыхнуло, вся кровь прилила къ головѣ, глаза его горѣли. „Клянусь вамъ, что меня нельзя подкупить ничѣмъ!... Мнѣ легче умереть съ голода—я и безъ того рискую этакъ умереть каждый день (и онъ улыбнулся при этомъ съ

горькою ироніей), чѣмъ потоптать свое человѣческое достоинство передъ кѣмъ бы то ни было, или продать себя"...

Въ 1840 г. Герценъ пріѣхалъ въ Петербургъ и сначала не шелъ къ Бѣлинскому. Наконецъ, по настоянію Огарева, устроилось ихъ свиданіе. „Наша встрѣча, разсказываетъ Герценъ, сначала была холодна, непріятна, натянута; въ продолженіе ничтожнаго разговора я помянулъ статью о „Бородинской годовщинѣ". Бѣлинскій вскочилъ съ своего мѣста и, вспыхнувъ въ лицѣ, пренаивно сказалъ мнѣ: „Ну, слава Богу, договорились же; а то я съ моимъ глупымъ нравомъ не зналъ, какъ начать... ваша взяла: три — четыре мѣсяца въ Петербургѣ меня лучше убѣдили, чѣмъ всѣ доводы. Забудемте этотъ вздоръ. Довольно вамъ сказать, что на-дняхъ я обѣдалъ у одного знакомаго. Тамъ былъ инженерный офицеръ; хозяинъ спросилъ его, хочетъ ли онъ со мною познакомиться?—„Это авторъ статьи о „Бородинской годовщинѣ?" спросилъ его на-ухо офицеръ.—Да.— „Нѣтъ, покорно благодарю", сухо отвѣтилъ онъ. Я слышалъ все и не могъ вытерпѣть, я горячо пожалъ руку офицера... Чего же вамъ больше?" Съ этой минуты и до кончины Бѣлинскаго мы шли съ нимъ рука въ руку".

Отношенія Бѣлинскаго къ издателю „Отечественныхъ Записокъ" Краевскому въ настоящее время хорошо выяснены письмами Бѣлинскаго къ самому Краевскому, къ Боткину, Герцену. Бѣлинскій вскорѣ потерялъ уваженіе къ Краевскому, и послѣ ряда недоразумѣній въ 1846 г. у нихъ дѣло дошло до окончательнаго разрыва. Сотрудничество Бѣлинскаго было обставлено въ „Отеч. Зап." очень неблагопріятно, какъ по отношенію къ вознагражденію, такъ и по количеству и срочности работы. Въ одномъ изъ писемъ Бѣлинскій говоритъ: „Журнальная срочная работа высасываетъ изъ меня жизненныя силы, какъ вампиръ кровь. Обыкновенно я двѣ недѣли въ мѣсяцъ работаю съ страшнымъ, лихорадочнымъ напряженіемъ, до того, что пальцы деревенѣютъ, и отказывается писать перо; другія двѣ недѣли я, словно съ похмѣлья послѣ двухнедѣльной оргіи, праздно шатаюсь и считаю за трудъ даже прочесть романъ"... Краевскій заваливалъ Бѣлинскаго черною работой, заставлялъ его разбирать латинскую грамматику, книгу по архитектурѣ или медицинѣ. Бѣлинскій въ одномъ изъ писемъ сравниваетъ себя съ Прометеемъ въ каррикатурѣ: „Отечественныя Записки моя скала, а Краевскій— коршунъ".

Въ 1846 г. Бѣлинскій ушелъ изъ „Отечеств. Зап." Сначала онъ думалъ заняться изданіемъ обширнаго альманаха „Левіаѳанъ", для котораго всѣ друзья его давали ему статьи; но потомъ онъ вмѣстѣ

съ собраннымъ матеріаломъ присоединился къ новому литературному предпріятію: Некрасовъ и Панаевъ съ 1847 г. стали издавать „Современникъ“, купленный ими у Плетнева. По условіямъ возникновенія и осуществленія этого предпріятія, казалось, что Бѣлинскій долженъ быть главнымъ хозяиномъ и распорядителемъ „Современника“; но на дѣлѣ онъ очутился простымъ сотрудникомъ, хотя работа его поставлена была въ гораздо лучшія условія, чѣмъ въ „Отеч. Зап.“ Такое несправедливое отношеніе къ Бѣлинскому вызвало сильное неудовольствіе среди друзей его, и это отразилось на ихъ взглядѣ на новый журналъ. Бѣлинскій старался смягчить гнѣвъ друзей, старался оправдать Некрасова и Панаева. При его замѣчательномъ безкорыстіи, при его преданности дѣлу, онъ лично не былъ въ обидѣ за себя, за свои интересы, и въ этой исторіи, какъ видно изъ его писемъ, Бѣлинскому тяжелѣе всего было встрѣтить черствое отношеніе къ себѣ въ людяхъ, которыхъ онъ цѣнилъ, и которые были ему такъ много обязаны. Нельзя сказать, чтобы отношенія Бѣлинскаго къ издателямъ „Современника“ были такъ же ясны, какъ отношенія его къ Краевскому. При оцѣнкѣ всего дѣла нельзя не принять во вниманіе не какъ оправданіе, а какъ объясненіе со стороны Некрасова, его указанія на смертельную болѣзнь Бѣлинскаго и на неудобства имѣть по изданію обязательныя отношенія къ наслѣдникамъ Бѣлинскаго.

Какъ бы то ни было, горячія статьи Бѣлинскаго и привлеченіе имъ въ журналъ произведеній его друзей создали первый успѣхъ „Современнику“. Въ Петербургѣ Бѣлинскій проработалъ около десяти лѣтъ. Его литературная дѣятельность получила здѣсь свое полное развитіе и по содержанію, и по значенію. Въ немъ нашли своего лучшаго истолкователя наши великіе писатели Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь. Особенно важно было выясненіе литературной дѣятельности Гоголя, котораго отвергали Булгаринъ, Полевой и т. под.

Бѣлинскій былъ знатокъ русской литературы XVIII и XIX вѣковъ. Его статьи съ историко-литературными обзорами явились важнымъ шагомъ въ изученіи исторіи нашей словесности. Бѣлинскій далъ правильную оцѣнку очень многимъ явленіямъ прежняго времени. Онъ какъ бы подвелъ итоги всему, что сдѣлала русская литература до Гоголя включительно, и указалъ направленіе, которое она должна была принять въ дальнѣйшемъ развитіи. Его критическія указанія непосредственно повліяли на всѣхъ нашихъ выдающихся писателей, начавшихъ свою дѣятельность въ сороковыхъ годахъ. Онъ помогъ вытти на открытую дорогу и указалъ цѣль Тургеневу, Достоевскому, Гончарову, Григоровичу, Некрасову. Дѣятельность этихъ

писателей самымъ тѣснымъ образомъ связана съ вліяніемъ Бѣлинскаго. Если Бѣлинскій былъ самымъ выдающимся членомъ замѣчательнаго московскаго кружка, то въ Петербургѣ его значеніе и вліяніе сдѣлалось благотворно господствующимъ въ передовыхъ литературныхъ кругахъ. Упомянемъ кстати, что цѣлый рядъ выдающихся писателей оставилъ намъ воспоминанія о Бѣлинскомъ: Герценъ, Тургеневъ, Достоевскій, Григоровичъ, Гончаровъ, Панаевъ. Некрасовъ изложилъ свои воспоминанія о Бѣлинскомъ въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ. Надо упомянуть также о воспоминаніяхъ Кавелина, который въ Москвѣ былъ ученикомъ Бѣлинскаго, умѣвшаго внушить своему ученику горячую привязанность къ себѣ. Потомъ въ Петербургѣ Кавелинъ былъ однимъ изъ самыхъ близкихъ Бѣлинскому людей.

Мы вкратцѣ перечислили друзей Бѣлинскаго. У него, конечно, были не одни друзья, но и многочисленные враги. Помимо его горячей полемики съ славянофилами, о чемъ упомянуто выше, Бѣлинскій упорно боролся съ такими литературными дѣятелями, какъ Булгаринъ и Гречъ, Сенковскій, Воейковъ, сіамскіе близнецы „Москвитянина"—Погодинъ и „педантъ" Шевыревъ, измѣнившійся Полевой. Извѣстно, какое значеніе имѣла литературная монополія Булгарина и Греча, опиравшаяся на литературные и нелитературные доносы, какимъ фальшъ-фейерверкомъ былъ баронъ Брамбеусъ; какъ недалеко, если не по значенію, то по характеру дѣятельности, ушелъ отъ Булгарина и Греча Воейковъ, каково было направленіе „Москвитянина". Со всѣми ими и боролся побѣдоносно Бѣлинскій, совершивъ въ этомъ отношеніи то, чего тщетно добивался Пушкинъ.

Но у Бѣлинскаго были не одни литературные враги. Здѣсь прежде всего надо упомянуть, какъ жестоко страдалъ онъ отъ цензуры, искажавшей его статьи. Не привожу, по недостатку времени, отдѣльныхъ примѣровъ. Онъ страдалъ не только отъ цензуры: ему приходилось имѣть личныя столкновенія съ полицейскими властями. Еще въ 1836 г., когда былъ запрещенъ „Телескопъ", Бѣлинскаго, какъ главнаго помощника редактора, требовали для объясненій. Вмѣстѣ съ развитіемъ литературной дѣятельности Бѣлинскаго, вмѣстѣ съ возрастаніемъ его общественнаго вліянія, отношенія властей къ нему становились все натянутѣе. Когда въ 1848 г. начались невѣроятныя цензурныя строгости, положеніе Бѣлинскаго сдѣлалось очень опаснымъ. Въ III отдѣленіи служилъ тогда бывшій пензенскій учитель Бѣлинскаго Поповъ, который и присылалъ ему письма съ приглашеніемъ явиться для объясненій. Только смерть избавила Бѣлинскаго отъ очень крупныхъ непріятностей.

Въ 1843 г. Бѣлинскій женился на Марьѣ Васильевнѣ Орловой. Его интересныя письма къ невѣстѣ и къ женѣ объясняютъ намъ его семейныя отношенія. Если семейная жизнь не доставила Бѣлинскому того гармоническаго счастія, какого онъ искалъ, то его привязанность къ женѣ, къ дѣтямъ скрасила все-таки тяжелыя условія его жизни за послѣдніе годы.

Бѣлинскій съ дѣтства отличался болѣзненностью. Усиленная работа въ „Отечеств. Зап.“ подорвала его силы. Въ 1846 г. онъ ѣздилъ на югъ Россіи, въ 1847—за границу; но здоровье не могло уже быть возстановлено. Вскорѣ по возвращеніи изъ-за границы Бѣлинскій простудился, и ему становилось все хуже и хуже. Послѣднія минуты Бѣлинскаго описаны въ письмахъ одной знакомой къ Тургеневу. „Слегъ онъ въ постель дня за три до смерти и, кажется, надѣялся до тѣхъ поръ, пока жива была въ немъ память; наканунѣ онъ сталъ заговариваться, однако узналъ Грановскаго, пріѣхавшаго въ тотъ же день изъ Москвы. Передъ самою смертью онъ говорилъ два часа, не переставая, какъ будто къ русскому народу, и часто обращался къ женѣ, просилъ ее все хорошенько запомнить и вѣрно передать эти слова, кому слѣдуетъ; но изъ этой длинной рѣчи ничего уже нельзя было разобрать; потомъ онъ вдругъ замолкъ и черезъ полчаса мучительной агоніи умеръ.“

Грановскій писалъ женѣ изъ Петербурга: „Былъ у Бѣлинскаго. Онъ при послѣднемъ издыханіи. Жена его сказала мнѣ, что наканунѣ моего пріѣзда онъ былъ цѣлый день въ бреду и все говорилъ со мною. Онъ лежитъ въ забытьѣ, но узналъ меня, протянулъ мнѣ руку, пожалъ мою и сказалъ: „Прощай братъ, Грановскій! умираю!“—Въ другомъ письмѣ онъ сообщалъ: „Бѣлинскій умеръ вчера. Сейчасъ отправляюсь къ Тютчеву, гдѣ сговоримся, какъ похоронить его и что на первый случай сдѣлать для его семейства. Онъ не оставилъ по себѣ ни гроша буквально... Мы дали свои деньги на погребеніе“. Грановскій былъ на похоронахъ Бѣлинскаго. У Панаева находимъ краткое описаніе этихъ похоронъ.

„29 мая 1848 г. по Лиговкѣ къ Волкову кладбищу тянулась бѣдная и печальная процессія, не обращавшая на себя большого вниманія встрѣчныхъ. За гробомъ шло человѣкъ двадцать пріятелей умершаго. Немногіе петербургскіе друзья провожали тѣло его до Волкова кладбища. Къ нимъ присоединилось 3 или 4 *неизвѣстныхъ*, вдругъ Богъ знаетъ откуда взявшіеся. Они оставались до самаго конца печальной церемоніи на кладбищѣ и слѣдили за всѣмъ съ величайшимъ любопытствомъ, хотя слѣдить было ровно незачѣмъ. Бѣлинскаго отпѣли и опустили въ могилу, какъ и всякаго другого,

и огорченные друзья его бросили молча по христіанскому обычаю горсть земли на его могилу, въ которой уже начала проступать вода".

Надъ гробомъ никакихъ рѣчей сказано не было; въ печати появились два краткихъ некролога Бѣлинскаго, а затѣмъ печать о немъ замолчала: имя Бѣлинскаго сдѣлалась запретнымъ въ литературѣ. Только съ средины пятидесятыхъ годовъ запретъ этотъ снимается, начинаютъ появляться статьи, а затѣмъ и книги о Бѣлинскомъ. Любопытно, что запретъ былъ снятъ не сразу: и Чернышевскій въ началѣ „Очерковъ гоголевскаго періода" не могъ еще называть Бѣлинскаго,—говорилъ о безыменномъ критикѣ. „Очерки гоголевскаго періода" были замѣчательнымъ явленіемъ, дали характеристику литературной дѣятельности Бѣлинскаго въ связи съ положеніемъ всей литературы русской его времени. Къ сожалѣнію, и этотъ интересный трудъ вскорѣ оказался подъ запретомъ уже не изъ-за имени Бѣлинскаго, а изъ-за имени автора, и лишь черезъ сорокъ почти лѣтъ появился отдѣльнымъ изданіемъ, которое, впрочемъ, скромно умалчиваетъ объ имени автора. Въ послѣдующей литературѣ о Бѣлинскомъ всего важнѣе труды А. Н. Пыпина „Бѣлинскій, его жизнь и переписка", а также „Характеристика литературныхъ мнѣній". Но интересная книга Пыпина о Бѣлинскомъ вышла 22 года назадъ; съ тѣхъ поръ появились новые матеріалы, да и многое, что біографъ Бѣлинскаго обходилъ въ срединѣ 70-хъ годовъ молчаніемъ (напримѣръ, отношенія Бѣлинскаго къ „Отеч. Зап.", къ „Совр."), теперь можетъ быть выяснено. Такимъ образомъ, мы въ правѣ желать, чтобы біографія Бѣлинскаго появилась въ болѣе полной разработкѣ, и всего желательнѣе, чтобы этотъ трудъ былъ предпринятъ А. Н. Пыпинымъ.

Въ 1859 г. К. Т. Солдатенковъ и Н. М. Щепкинъ предприняли изданіе сочиненій Бѣлинскаго. Редакцію изданія взялъ на себя Н. Х. Кетчеръ при помощи А. Д. Галахова. Собраніе состояло изъ 12 т. и имѣло громадный успѣхъ. Въ повторныхъ изданіяхъ, которыя дѣлалъ А. И. Глазуновъ, многіе томы были перепечатываемы по нѣскольку разъ. Въ 1896 г. вышло новое, дешевое изданіе сочиненій Бѣлинскаго, исполненное Ф. Ѳ. Павленковымъ. Къ 26 маю 1898 г. готовилось много новыхъ изданій: 5 въ Москвѣ, нѣсколько въ С.-Петербургѣ.—При составленіи перваго изданія на него было положено много труда: но въ настоящее время нельзя не признать, что редакторъ изданія Кетчеръ, помимо пропуска цѣлаго ряда мелкихъ замѣтокъ Бѣлинскаго, казавшихся ему неважными, дѣлалъ нѣкоторыя сокращенія (на что обратилъ вниманіе А. Н. Пыпинъ), а

рукописи одиннадцати статей, доставленныхъ на выставку въ Москвѣ и бывшихъ прежде въ распоряженіи Кетчера, показываютъ, что пользованіе рукописями было недостаточное. Между тѣмъ послѣдующія изданія спокойно, безъ всякаго редакторскаго труда, перепечатывали текстъ перваго изданія. Въ изданіи Павленкова къ прежнимъ прибавлено еще нѣсколько пропусковъ. Было бы желательно не сокращать первое изданіе, а напротивъ дополнить его всѣмъ, что въ него не вошло; но о такомъ полномъ изданіи, къ сожалѣнію, не слышно. За новыми изданіями, хотя бы и сокращенными, несомнѣнно останется важная заслуга широкаго распространенія сочиненій Бѣлинскаго.

Бѣлинскій, какъ мы сказали, въ теченіе 10 лѣтъ считался запрещеннымъ, однако его сочиненія еще при его жизни проникли въ школьное преподаваніе, какъ видно, напримѣръ, изъ автобіографической записки Тихонравова, учитель котораго (въ III-й московской гимназіи, въ концѣ сороковыхъ годовъ) диктовалъ ученикамъ записки, оказавшіяся потомъ выдержками изъ знаменитыхъ статей Бѣлинскаго о Пушкинѣ. Между тѣмъ для школы Бѣлинскій оставался запрещеннымъ, и только за послѣдніе годы допущенъ въ военно-учебныхъ заведеніяхъ—весь, а въ средней школѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія одинъ VIII-й томъ. Новыя изданія дадутъ широкое распространеніе сочиненій Бѣлинскаго, и можно думать, что мы увидимъ, какъ исполнится желаніе поэта,—„Бѣлинскаго съ базара понесутъ“; думается, что въ средѣ русскаго *народа,* къ которому обращался Бѣлинскій передъ смертью, теперь уже найдется контингентъ читателей, которымъ будутъ интересны нѣкоторыя изъ сочиненій великаго критика, которымъ будетъ понятна его горячая, художественно-простая рѣчь.

О печальномъ концѣ Бѣлинскаго Герценъ писалъ: „бойцомъ и нищимъ палъ, изнуренный страданіями, Бѣлинскій“... Онъ палъ, но онъ не былъ побѣжденъ. Напротивъ, его дѣятельность носила въ себѣ залогъ будущей побѣды. Бѣлинскій не дожилъ до осуществленія своихъ стремленій, но онъ подготовилъ побѣду своихъ идей. Вліяніе Бѣлинскаго сильнымъ и глубокимъ потокомъ вошло въ послѣдующее теченіе нашего общественнаго развитія.

Выше было указано вкратцѣ на важное историко-литературное значеніе дѣятельности Бѣлинскаго; но не менѣе важно было его общественное значеніе. Его проповѣдь „общественности“, его гуманныя стремленія къ правдѣ и свободѣ, его горячее негодованіе на злоупотребленія—насколько все это возможно было тогда въ печати—имѣли сильное облагораживающее вліяніе. Въ 1856 г. И. С. Аксаковъ писалъ: „Много ѣздилъ я по Россіи: имя Бѣлинскаго извѣстно

каждому, сколько-нибудь мыслящему юношѣ, всякому, жаждущему свѣжаго воздуха среди вонючаго быта провинціальной жизни... Его письмо къ Гоголю всѣ знаютъ наизусть.—„Мы Бѣлинскому обязаны своимъ спасеніемъ,“ говорятъ мнѣ вездѣ молодые честные люди въ провинціи... И если вамъ нужно честнаго человѣка, способнаго сострадать болѣзнямъ и несчастіямъ угнетенныхъ, честнаго доктора, честнаго слѣдователя, который полѣзъ бы на борьбу — ищите таковыхъ въ провинціи, между послѣдователями Бѣлинскаго“. Некрасовъ про Бѣлинскаго говоритъ, что всѣ честные люди — „признать готовы его учителемъ своимъ“...

Такъ было черезъ 10 лѣтъ по смерти Бѣлинскаго. Но и теперь, когда минуло уже 50 лѣтъ съ его кончины, мы не можемъ не чувствовать, сколько живыхъ нитей связываютъ насъ съ проповѣдью Бѣлинскаго, дѣятельности котораго мы обязаны многими важными и прочными завоеваніями русскаго общественнаго самосознанія.

Важно значеніе эпохи сороковыхъ годовъ; во главѣ ея стоитъ тріумвиратъ ея вождей, а первое мѣсто въ этомъ тріумвиратѣ принадлежитъ Бѣлинскому. И проповѣдь Бѣлинскаго имѣетъ для насъ не одно только историческое значеніе; хотя въ русской жизни, за 50 лѣтъ, протекшихъ со смерти Бѣлинскаго, произошли коренныя преобразованія и улучшенія, но его проповѣдь и теперь еще представляетъ живое поученіе. Бѣлинскому многимъ обязаны не только наши дѣды и отцы, но и мы сами, какъ ему будутъ обязаны и послѣдующія поколѣнія. Сегодня въ стѣнахъ Московскаго университета мы чествуемъ память „недоучившагося студента“, сдѣлавшагося однимъ изъ самыхъ великихъ писателей и историческихъ дѣятелей Россіи.

В. Якушкинъ.

„ORLANDO FURIOSO“.

Когда въ убогой обстановкѣ казеннаго студенческаго нумера или въ кабинетѣ Станкевича среди одного изъ безконечныхъ и неистощимыхъ юношескихъ споровъ о міровыхъ вопросахъ въ схватку мнѣній внезапно вливался, точно струя раскаленной лавы, потокъ страстныхъ рѣчей, восторженныхъ, идеалистическихъ славословій, негодующей полемики, сносившей все на своемъ пути, бурной, бѣшеной,—очарованнымъ или разсерженнымъ и разбитымъ на-голову слушателямъ вспоминался классическій образъ вѣчно взволнованнаго, безумно отважнаго, трепещущаго въ экстазѣ „Orlando furioso“ (тогда еще читали Аріоста),—и за неукротимымъ спорщикомъ закрѣпилось шутливое прозвище сначала „Неистоваго Орланда“, а потомъ—„Неистоваго Виссаріона“. Онъ самъ свыкся съ нимъ и даже въ довольно позднюю пору не разъ прилагалъ его къ себѣ *). Впослѣдствіи, когда обстановка перемѣнилась и порѣдѣлъ кружокъ, въ которомъ впервые произнесено было это ласкательное имя и гдѣ бы ссылку на него сразу поняли, Бѣлинскій въ письмахъ своихъ то-и-дѣло возвращался къ подмѣченной въ немъ смолоду чертѣ характера, объяснялъ ею многое въ своей дѣятельности, берегъ ее, цѣнилъ ее, считалъ лучшимъ изъ своихъ даровъ.

Его итальянскій патронъ, отуземившійся французъ эпическихъ временъ, старый богатырь Роландъ, успѣвшій въ Италіи (у Боярдо въ его „Orlando inamorato“) научиться любовной горячкѣ и кинувшійся потомъ по волѣ Аріоста въ нескончаемую борьбу съ волшебниками, чудовищами, злодѣями, развратниками и соблазнителями,—ратовалъ, правда, изъ-за иныхъ побужденій. Его увлекали

---

*) Письмо къ Станкевичу отъ 19-го апр. 1839 года; подъ письмомъ къ Константину Аксакову 10-го января 1840 г. все еще подписано: „Твой неистовый Виссаріонъ“ (*Русь*, 1881 г., № 8-й).

„жажда славы и бурный порывъ любви“; насланное на него свыше испытаніе, безуміе, придало его героизму и любовному рыцарству оттѣнокъ болѣзненный, невмѣняемый. Въ восторгахъ, протестахъ, словесныхъ битвахъ и вдохновенныхъ проповѣдяхъ русскаго Орланда не было и тѣни славолюбія; немногаго ждалъ онъ отъ безгласной и безвѣстной читающей массы, по временамъ жалуясь на „страшныя узы, соединяющія его съ расейской публикой, какъ съ постылою женой“, но всѣ силы свои отдавая на пользу ей. Не ломалъ онъ копья и въ экстазѣ любви; она явилась ему въ мистическихъ грёзахъ ранней молодости и исчезла навсегда, отражаясь въ безплодныхъ и безсильныхъ сѣтованіяхъ и томленіяхъ, уныло раздававшихся среди напряженнаго повседневнаго труда и разсудочной семейной жизни.

„Если хотя искра того божественнаго огня, того животворнаго восторга, которые оживляли меня, какъ электричество сообщится душѣ читателя... то я достигъ моей цѣли“,—такъ говорилъ въ предисловіи къ своему первенцу, лишь недавно вышедшему на волю изъ цензурныхъ тайниковъ, къ „драматической повѣсти“ „Дмитрій Калининъ“ *), юный, двадцати съ чѣмъ-то лѣтъ, авторъ. И его трагедія, полная воспламеняющихся, взрывчатыхъ веществъ, вдоволь насыщенная ужасами и злодѣйствами, подстать къ трескучимъ драмамъ Sturm und Drang'а, но вмѣстѣ съ тѣмъ проникнутая сильнѣйшею ненавистью къ крѣпостничеству и заступничествомъ за рабовъ, дѣйствительно обнаруживаетъ чуть не въ каждомъ словѣ ту необыкновенную возбужденность, которую писатель-новичекъ уже созналъ въ себѣ, какъ отличительное свойство своей натуры. И съ той поры до самой смерти въ интимныхъ изліяніяхъ его переписки разсѣяны разнообразныя замѣчанія и самонаблюденія въ томъ же родѣ. Онъ говоритъ (беремъ разновременные примѣры) о своихъ „дикихъ порывахъ“, о своей „дико-страстной натурѣ“, о томъ, что „всѣ лучшія статьи его — импровизаціи“, считаетъ „страстность источникомъ своихъ мукъ и радостей“, — но ни за что въ мірѣ не хотѣлъ бы подавить ее въ себѣ, и сходитъ въ могилу неисправимымъ. За годъ до смерти, отстаивая отъ недовольныхъ придирокъ и упрековъ Боткина свою статью о гоголевскихъ „Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями“, онъ заявлялъ, что „умѣетъ вчужѣ понимать и цѣнить терпимость, но останется гордо и убѣжденно нетерпимымъ“... „И если сдѣлаюсь терпимымъ,—продолжаетъ онъ,—знай, что съ той минуты... во мнѣ умерло то прекрасное че-

*) „Сборникъ Общества любит. росс. словесн.“, 1891 г., стр. 440.

ловѣческое, за которое столько хорошихъ людей (а въ числѣ ихъ и ты) любили меня больше, нежели сколько я стоилъ“ *).

Такой человѣкъ неспособенъ что-либо дѣлать вполовину. Сочувствіе превращается у него въ восторженное удивленіе, радость въ ликованіе, охлажденіе и разочарованіе въ ненависть. Ускоренный, горячій, нерусскій темпъ жизни Бѣлинскаго—весь въ такихъ крайностяхъ. Онъ фанатикъ въ дружбѣ и способенъ, по его же словамъ, мучительно ревновать близкаго ему человѣка; въ экстазѣ преклоняетъ онъ колѣно передъ великимъ писателемъ и славословитъ его; когда же заслышитъ онъ наглыя рѣчи обскуранта, въ немъ заклокочетъ негодованіе, и онъ кидается въ сѣчу. „Онъ загорался вдругъ“, онъ „мчался впередъ и никогда не оглядывался“; „представить его себѣ отдыхающимъ было невозможно“,—говоритъ современникъ **). И въ тонъ ему самъ Бѣлинскій признавался, что „спокойствіе не для него“: „Мнѣ нужно,—говорилъ онъ,—то, въ чемъ видно состояніе духа человѣка, когда онъ захлебывается волнами трепетнаго восторга и заливаетъ ими читателя, не давая ему опомниться“. Годы не охлаждали кипучаго темперамента. Покончивъ съ однимъ строемъ воззрѣній, переживъ и перестрадавъ ихъ, чтобы свободно и убѣжденно перейти въ кругъ другихъ идей, онъ воспламенялся новымъ энтузіазмомъ и возмущался своею недавнею слѣпотой. „Я теперешній болѣзненно ненавижу себя прошедшаго!“—восклицалъ онъ.—„Боже мой, какіе прыжки, какіе зигзаги въ развитіи!“ (январь 1841 г.).

Приходилось пересматривать и брать назадъ много оцѣнокъ и приговоровъ, высказанныхъ когда-то подъ вліяніемъ страстнаго аффекта. Какъ странно, вѣроятно, было ему читать потомъ тѣ строки, въ которыхъ онъ называлъ Вальтеръ-Скотта „дивнымъ геніемъ“, а Купера ставилъ еще выше какъ художника или (правда, въ письмѣ къ другу) заявлялъ съ торжествомъ, что „ему открылся „Бахчисарайскій фонтанъ“, великое, міровое созданіе!“ Оцѣнивъ гуманную дѣятельность Жоржъ-Санда и Диккенса, національныя заслуги Мицкевича или Беранже, тяжело было вспоминать свои прежніе суровые отзывы о нихъ. Какъ искренно каялся онъ въ „хулахъ на французовъ, этотъ энергическій, благородный народъ“, какъ сливалъ въ запоздаломъ, но оттого еще болѣе горячемъ чествованіи имена прежнихъ своихъ недруговъ, Шиллера („Да здравствуетъ Шиллеръ, благородный адвокатъ человѣчества, яркая звѣзда спасенія“,—вос-

*) Пыпинъ. Бѣлинскій, его жизнь и переписка. II, 278.

**) Гончаровъ. Замѣтки о личности Бѣлинскаго. Сочин., 1884, VIII, 189—193.

клицалъ онъ) и Вольтера,—и твердо, безповоротно перейдя на почву „соціальности“, трепеталъ при одномъ напоминаніи о благодушномъ квіэтизмѣ своей статьи о „Бородинской годовщинѣ“!

Гончарову казалось (и это—одно изъ самыхъ тонкихъ его наблюденій), что для Бѣлинскаго увлеченіе было вѣрнѣйшимъ способомъ добыть истину. „Переживъ впечатлѣніе въ себѣ, истративъ на него потоки болѣе или менѣе горячихъ, печатныхъ или изустныхъ импровизацій, онъ потомъ оставался ему вѣренъ уже въ той долѣ правды, не какую онъ видѣлъ въ пылу увлеченія, а какая дѣйствительно была въ немъ“. Такъ, безусловное преклоненіе передъ Мочаловымъ смѣнилось глубокою, сознательною оцѣнкой свѣта и тѣни въ его талантѣ; такъ, за извѣстнымъ восторженнымъ возгласомъ: „Давайте мнѣ Достоевскаго!“—послѣдовали очень скоро строгіе и мѣткіе отзывы о недостаткахъ романиста-дебютанта.

Онъ попытался привязаться всей душой даже къ тому строю мысли, который былъ прямо противоположенъ его природѣ и навязанъ ему философскимъ повѣтріемъ (впослѣдствіи онъ клеймилъ его суровой кличкой „дикихъ убѣжденій, занятыхъ по слухамъ у гегелизма“). Герценъ былъ пораженъ, видя, какъ Бѣлинскій, „самая дѣятельная, порывистая, діалектически страстная натура бойца, проповѣдывалъ индѣйскій покой и теоретическое изученіе вмѣсто борьбы“ *). Но и въ печатныхъ статьяхъ и въ пространныхъ философствующихъ письмахъ за время крайняго его гегельянства чувствуешь, какъ болѣзненно врѣзывались въ чуткій, устремленный къ дѣятельности организмъ вериги умѣренности и примиренія, какъ онѣ сжимали полетъ мысли, какъ мутенъ и блѣденъ становился блестящій слогъ, какъ неизбѣжныя увлеченія и преувеличенія начинали переходить въ реторику,—и вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ дышешь полною грудью, когда вырвался онъ, наконецъ, на свободу, бросилъ ироническій вызовъ своимъ недавнимъ менторамъ и апостоламъ, осмѣялъ „философскій колпакъ Егора Ѳедоровича“ (Гегеля) и пошелъ навстрѣчу жизни... Счастье для него, что періодъ примиренія съ дѣйствительностью былъ все же непродолжителенъ (по крайнему счету — четыре года)! Его не вычеркнешь изъ обзора развитія Бѣлинскаго; всегда его будутъ изучать какъ промежуточное (случайное, а не неизбѣжное) звено въ составѣ его воззрѣній,—но (пусть негодуютъ запоздалые сторонники Гегеля, сколько хотятъ!) будутъ считать его тяжкимъ плѣномъ ума независимаго и общественно-чуткаго.

Но его ждалъ новый плѣнъ. Чѣмъ явственнѣе становилась его

*) Сочиненія, т. VII, 126.

руководящая роль въ литературѣ и обществѣ, тѣмъ труднѣе дѣлалось высказываться и оживлять массу тѣмъ „божественнымъ огнемъ“, тѣмъ электричествомъ, которое онъ снова почуялъ въ себѣ. Порою ему страстно хотѣлось „умереть отъ избытка жизни“ (письмо въ началѣ февраля 1840 г.), — а вмѣсто того нужно было сдерживаться, уже изъ другихъ побужденій, усвоивать языкъ намековъ и аллегорій, закутывать мысль въ разныя околичности, съ подходами, отступленіями, оговорками, когда, сильная и смѣлая, она рвалась на волю. Упрекъ, сдѣланный Бѣлинскому Чернышевскимъ *), въ умѣренности требованій и терпѣливости (причемъ критикъ признавалъ, однако, энергическую твердость и настойчивость убѣжденій), къ концу жизни Бѣлинскаго съ каждымъ годомъ становился все менѣе заслуженнымъ. Требованія вышли далеко за предѣлы прежнихъ гуманныхъ и неопредѣленныхъ пожеланій общественнаго прогресса, справедливости и распространенія знаній; новая работа саморазвитія, новыя вліянія и чтенія, пристальное изученіе европейской современности указали точныя цѣли и задачи,—но именно тогда-то стала особенно мучительною необходимость говорить полусловами...

„Въ этомъ застѣнчивомъ человѣкѣ, въ этомъ хиломъ тѣлѣ обитала мощная, гладіаторская натура,—вспоминалъ потомъ Герценъ **).—Да, это былъ сильный боецъ! Онъ не умѣлъ проповѣдывать, поучать, ему надобенъ былъ споръ... Когда онъ чувствовалъ себя уязвленнымъ, когда касались его дорогихъ убѣжденій, тутъ надобно было его видѣть: онъ бросался на противника барсомъ, онъ рвалъ его на части, дѣлалъ его смѣшнымъ, дѣлалъ его жалкимъ и по дорогѣ съ необычайной силой, съ необычайной поэзіей развивалъ свою мысль“. Перенести такой пламенный споръ на страницы своей статьи было бы высшимъ удовлетвореніемъ для Бѣлинскаго, но онъ *никогда* не испыталъ его вполнѣ. Біографы доказали, что печатное собраніе статей Бѣлинскаго есть лишь блѣдный оттискъ первоначальнаго замысла и первичной формы, что многія важныя работы явились на половину или на двѣ трети сокращенныя и передѣланныя, что за наличнымъ литературнымъ достояніемъ нашего критика нужно всегда предполагать первую, *безвозвратно погибшую* редакцію статей, полную силы и страсти. Но уже одного сравненія печатныхъ текстовъ съ задушевными, блещущими умомъ и чувствомъ письмами, которыхъ не могъ знать Чернышевскій и которыя много помогли въ пониманіи Бѣлинскаго, однихъ разсказовъ друзей о тѣхъ свободныхъ импрови-

*) Очерки гоголевскаго періода русской литературы. 1892 г., стр. 290.
**) Сочиненія VII, 138.

шаніе наблюденій, приговоровъ и пожеланій. „Если бы я далъ полную волю моему чувству, письмо это скоро превратилось бы въ толстую тетрадь“, говоритъ, кончая, Бѣлинскій; представляя себѣ, какъ, почуявъ возможность свободнаго слова, завѣтныя мысли зароились въ его умѣ, вырываясь на просторъ, легко этому повѣрить.

Точно бремя скатилось съ души, когда письмо было написано,— такъ хотѣлось сказать горячо любимому писателю (вѣдь и теперь признается онъ, что „любилъ его со всею страстью, съ какою человѣкъ, кровно связанный съ своей страной, можетъ любить ея надежду, честь, славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія, прогресса“), такъ хотѣлось сказать ему все, „что̀ лежало на душѣ противъ него по поводу его книги“. И съ той неудержимой и безстрашной силой, съ которой онъ еще смолоду гремѣлъ среди московской молодежи противъ всего, въ чемъ видѣлъ ложь и вредъ, онъ обрушиваетъ на свою жертву самыя тяжкія обвиненія. Онъ назоветъ его „проповѣдникомъ кнута, апостоломъ невѣжества, поборникомъ обскурантизма и мракобѣсія, панегиристомъ татарскихъ нравовъ“; онъ крикнетъ ему: „Взгляните себѣ подъ ноги, вѣдь вы стоите надъ бездной!“ Увидавъ, какъ, вмѣсто протеста противъ рабства, авторъ „учитъ помѣщика наживать отъ крестьянъ больше денегъ“, онъ внѣ себя восклицаетъ: „И это не должно было привести меня въ негодованіе?... Да если бы вы обнаружили покушеніе на мою жизнь, и тогда бы я не болѣе возненавидѣлъ васъ за эти позорныя строки!“ Въ смиреніи Гоголя онъ раскрываетъ „съ одной стороны страшную гордость, съ другой—самое позорное униженіе своего человѣческаго достоинства“. Отъ всей книги вѣетъ „не истиной христіанскаго ученія, а болѣзненною боязнью смерти, чорта и ада“.

Но среди этихъ взрывовъ негодованія, среди нападокъ на отдѣльныя мѣста книги, сопоставленныя во всей ихъ слѣпости и умѣренности съ тяжкими фактами подлинной, крѣпостной и беззаконной дѣйствительности, вырисовывается, какъ въ тѣхъ спорахъ, что̀ характеризовалъ только-что Герценъ, основная мысль, ради которой ратуетъ Бѣлинскій. Когда онъ заявляетъ, что̀ Россія „видитъ свое спасеніе не въ мистицизмѣ, не въ аскетизмѣ, не въ піэтизмѣ, а въ успѣхахъ цивилизаціи, просвѣщенія, гуманности, въ пробужденіи въ народѣ чувства собственнаго достоинства“, когда указываетъ, какъ „на самые живые, современные, національные вопросы теперь, на уничтоженіе крѣпостного права, отмѣну тѣлеснаго наказанія, введеніе по возможности строгаго выполненія хотя тѣхъ законовъ, которые уже есть“, называетъ ужаснымъ зрѣлище страны, гдѣ „люди

заціяхъ въ которыхъ выражались у него первыя впечатлѣнія отъ поразившей его книги, когда, взволнованно ходя по комнатѣ, онъ выражалъ вслухъ свои мысли и чувства,—было бы достаточно, чтобы невольная раздвоенность вполнѣ обозначилась, и настоящій, интимный, бурный Бѣлинскій, Orlando furioso, сталъ ближе и дороже извѣстнаго всѣмъ строгаго критика.

„Дайте такому человѣку сферу свойственной его способностямъ дѣятельности, и онъ переродится... но эта сфера... да вы понимаете, что ея негдѣ взять“, -вотъ доля Бѣлинскаго по его же собственной мѣткой оцѣнкѣ (письмо Бакунинымъ, 1843 г.). Только одинъ разъ въ жизни, подъ сильнымъ захватомъ возмущеннаго чувства, но зато и внѣ домашнихъ условій, владѣя своей волей и своимъ словомъ, онъ созналъ себя вполнѣ „въ сферѣ свойственной его способностямъ дѣятельности“, -и тогда послышалась свободная рѣчь, негодующая, благородная, чуткая къ народнымъ нуждамъ, та рѣчь, съ которою онъ никогда не могъ обращаться къ своему читателю, рѣчь достойная вождя литературы. То было „Письмо къ Гоголю“.

У насъ есть драгоцѣнное свидѣтельство очевидца о томъ, *какъ* писалось это письмо. Больной и утомленный жизнью, мечтавшій найти въ водахъ Зальцбрунна спасеніе, Бѣлинскій забылъ обо всемъ на свѣтѣ, какъ только враждебный отзывъ о немъ автора „Выбранныхъ мѣстъ“ по поводу статьи объ этой книгѣ сдѣлался ему извѣстенъ. Ему бросаютъ перчатку? Такъ онъ отзовется же на вызовъ! Три утра сряду ушло на эту работу, сначала лихорадочно набросанную, потомъ пересмотрѣнную, отточенную и взволнованно прочтенную русскому другу *). Когда читаешь эти горячія строки, отказываешься вѣрить, что онѣ написаны на порогѣ смерти, что писалъ ихъ человѣкъ, изнуренный болѣзнью и до того измѣнившійся съ отъѣзда изъ Россіи, что онъ „казался старикомъ, съ страшной худобой, глухимъ звукомъ голоса и блѣднымъ, мраморнымъ лицомъ“. Рѣчь льется неудержимо; негодованіе, иронія, желчный смѣхъ, глубокая грусть, грозные призывы одуматься смѣняютъ другъ друга; переполненное разнородными фактами общественнаго, литературнаго, религіознаго содержанія, превращаясь то въ обвинительный актъ, то въ превосходную критическую статью, то въ политическій памфлетъ, письмо, видимо, даетъ спѣшныя, вызванныя требованіями минуты, обобщенія,—а за ними отгадываешь множество такихъ же, добытыхъ цѣлою жизнью, но никогда не высказанныхъ во всеуслы-

*) Воспомин. и критич. очерки Анненкова. III, 212. Сравн. также письмо Гоголя въ книгѣ „Анненковъ и его друзья“. 1892, 500—3.

шаніе наблюденій, приговоровъ и пожеланій. „Если бы я далъ полную волю моему чувству, письмо это скоро превратилось бы въ толстую тетрадь“, — говоритъ, кончая, Бѣлинскій; представляя себѣ, какъ, почуявъ возможность свободнаго слова, завѣтныя мысли зароились въ его умѣ, вырываясь на просторъ, легко этому повѣрить.

Точно бремя скатилось съ души, когда письмо было написано,— такъ хотѣлось сказать горячо любимому писателю (вѣдь и теперь признается онъ, что „любилъ его со всею страстью, съ какою человѣкъ, кровно связанный съ своей страной, можетъ любить ея надежду, честь, славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія, прогресса“), такъ хотѣлось сказать ему все, „что̀ лежало на душѣ противъ него по поводу его книги“. И съ той неудержимой и безстрашной силой, съ которой онъ еще смолоду гремѣлъ среди московской молодежи противъ всего, въ чемъ видѣлъ ложь и вредъ, онъ обрушиваетъ на свою жертву самыя тяжкія обвиненія. Онъ назоветъ его „проповѣдникомъ кнута, апостоломъ невѣжества, поборникомъ обскурантизма и мракобѣсія, панегиристомъ татарскихъ нравовъ“; онъ крикнетъ ему: „Взгляните себѣ подъ ноги, вѣдь вы стоите надъ бездной!“ Увидавъ, какъ, вмѣсто протеста противъ рабства, авторъ „учитъ помѣщика наживать отъ крестьянъ больше денегъ“, онъ внѣ себя восклицаетъ: „И это не должно было привести меня въ негодованіе?... Да если бы вы обнаружили покушеніе на мою жизнь, и тогда бы я не болѣе возненавидѣлъ васъ за эти позорныя строки!“ Въ смиреніи Гоголя онъ раскрываетъ „съ одной стороны страшную гордость, съ другой—самое позорное униженіе своего человѣческаго достоинства“. Отъ всей книги вѣетъ „не истиной христіанскаго ученія, а болѣзненною боязнью смерти, чорта и ада“.

Но среди этихъ взрывовъ негодованія, среди нападокъ на отдѣльныя мѣста книги, сопоставленныя во всей ихъ елейности и умѣренности съ тяжкими фактами подлинной, крѣпостной и беззаконной дѣйствительности, вырисовывается, какъ въ тѣхъ спорахъ, что̀ характеризовалъ только-что Герценъ, основная мысль, ради которой ратуетъ Бѣлинскій. Когда онъ заявляетъ, что̀ Россія „видитъ свое спасеніе не въ мистицизмѣ, не въ аскетизмѣ, не въ піэтизмѣ, а въ успѣхахъ цивилизаціи, просвѣщенія, гуманности, въ пробужденіи въ народѣ чувства собственнаго достоинства“, когда указываетъ, какъ „на самые живые, современные, національные вопросы теперь, на уничтоженіе крѣпостного права, отмѣну тѣлеснаго наказанія, введеніе по возможности строгаго выполненія хотя тѣхъ законовъ, которые уже есть“, называетъ ужаснымъ зрѣлище страны, гдѣ „люди

торгуютъ людьми", гдѣ „нѣтъ не только никакихъ гарантій для личности, чести и собственности, но нѣтъ даже полицейскаго порядка", или беретъ подъ свою защиту народное образованіе,—обличитель превращается въ публициста съ опредѣленнымъ строемъ убѣжденій, добытымъ, наконецъ, послѣ долгаго исканія истины.

Давно уже, по выраженію Чернышевскаго, онъ почувствовалъ, что „границы литературныхъ вопросовъ тѣсны, и тосковалъ, подобно Фаусту въ своемъ кабинетѣ: ему тѣсно стало въ этихъ стѣнахъ, уставленныхъ книгами,—ему нужна была жизнь" *). Онъ пробился къ ней черезъ всѣ преграды, узналъ ее, понялъ ея нужды и запросы, готовъ былъ посвятить ей всѣ свои дарованія, горячую рѣчь, отвагу борьбы, умѣнье говорить съ массой и вліять на нее, чутье художественной правды и критическій талантъ, и въ своемъ обличеніи Гоголя, котораго не переставалъ и въ эти минуты высоко цѣнить за прежнія заслуги **), показалъ, въ какомъ духѣ безпристрастія, справедливости, преданности общему благу онъ повелъ бы свое общественное руководительство,—но его первая свободная рѣчь была вмѣстѣ съ тѣмъ и его лебединою пѣснью.

Она разнеслась повсюду; было время, когда ее съ такою же любовью списывали и берегли, какъ лучшія украшенія „непечатной" литературы нашего вѣка, страдали изъ-за нея, какъ пострадалъ Плещеевъ, видѣли въ ней завѣщаніе Бѣлинскаго, считали ее „призывнымъ трубнымъ гласомъ". Но продолжительный успѣхъ этого единственнаго обнародованнаго письма былъ порукой за сильное вліяніе многочисленныхъ писемъ, осужденныхъ никогда не выйти изъ предѣловъ дружескаго обмѣна мыслей,—настоящихъ статей, гдѣ съ жаромъ, воодушевленіемъ и смѣлостью, сдержанной, по словамъ автора, лишь призракомъ гоголевскаго почтмейстера, Бѣлинскій отзывался на всѣ явленія литературной, философской, общественной жизни, если бы эти письма могли сдѣлаться общимъ достояніемъ. Такъ, въ началѣ вѣка Грибоѣдовъ въ своей блестящей умомъ перепискѣ, часто оставлявшей далеко позади себя его печатныя заявленія, раскрывался во всей своей независимости, строгой требовательности, просвѣтительныхъ стремленіяхъ, въ своеобразности страстной натуры, съ годами едва лишь прикрытой дѣловою внѣшностью исполнительнаго чиновника. Но за-то цѣнители Грибоѣдова и назвали потомъ Бѣлинскаго прямымъ преемникомъ Чацкаго.

*) Очерки гоголевскаго періода, стр. 322.

**) Въ томъ же Зальцбруннѣ, когда онъ „изнемогъ душевно", онъ „отчитался" только „Мертвыми душами". См. „Братская помощь армянамъ", 1897 г., 14. Письма Бѣлинскаго къ женѣ.

Среди поколѣнія двадцатыхъ годовъ Чацкій былъ такимъ же „Неистовымъ Орландомъ", какимъ Бѣлинскій былъ среди поколѣнія сороковыхъ годовъ. Рѣдкая, къ сожалѣнію, у насъ порода людей съ сильной волей, горячей кровью, могучимъ словомъ, фанатической преданностью идеѣ, нравственнымъ благородствомъ,—съ темпераментомъ общественнаго дѣятеля, оратора, не смущающихся тѣмъ, что время ихъ торжества не настало, что они всю жизнь осуждены „вопіять въ пустынѣ"! Откуда являлись они въ той странѣ, гдѣ, какъ о томъ скорбѣлъ современникъ Бѣлинскаго Кавелинъ *), люди „не умѣютъ заявлять напрямикъ своихъ мнѣній, не имѣя и возможности привыкнуть къ этому, высказываются осторожно, вполовину, безпрестанно озираясь, изъ боязни, чтобы отъ нашихъ словъ не вышло какого-нибудь печальнаго недоразумѣнія?"

Дарованія такихъ избранниковъ — не тѣ свойства натуры, не тѣ спеціальные таланты, которыхъ рутина требуетъ отъ литературнаго критика. Мы привыкли къ совсѣмъ инымъ оттѣнкамъ этой профессіи. Безстрастный лѣтописецъ, вносящій въ свой конторскій отчетъ балансъ добра и зла, успѣховъ и неудачъ; хлёсткій, танцующій на фразѣ или остротѣ полемистъ; полный тонкаго вкуса и личныхъ усмотрѣній критикъ леметровскаго пошиба, изрекающій приговоры подъ настроеніемъ минуты; эссеистъ, обставляющій писателя и произведеніе картинами ихъ среды и времени; представители научнаго метода, —критикъ-соціологъ, критикъ-натуралистъ и т. д.,—привычныя явленія. Но нигдѣ, ни въ западной литературѣ съ ея Лессингами, Гердерами, Тэнами, Сентъ-Бёвами, Брандесами, ни въ русской, несмотря на дѣятельность трехъ замѣчательныхъ критиковъ пятидесятыхъ - шестидесятыхъ годовъ, столь близко сходившуюся съ идеями Бѣлинскаго, не повторилось удивительное сліяніе въ одномъ лицѣ великихъ критическихъ способностей не только съ талантомъ публициста, но и съ энергіей общественнаго дѣятеля, достойнаго иной арены, чѣмъ то дряблое общество, которое представлялось ему „младенцемъ въ англійской болѣзни, спеленутымъ въ тискахъ желѣзныхъ" **). Вспомните, что говорили о Бѣлинскомъ наиболѣе авторитетные современники, близко его знавшіе. Гончаровъ называетъ его „трибуномъ", Герценъ—„гладіаторомъ, бойцомъ-проповѣдникомъ", Кавелинъ „образцомъ гражданской и политической безупречности", Тургеневъ указываетъ на „силу и опредѣлительную рѣзкость его

---

*) „Бѣлинскій и послѣдующее движеніе нашей критики". Письмо А. Н. Пыпину. *Недѣля* 1875 г., № 40.

**) *Русь*, 1881 г., № 8. Письмо Конст. Аксакову отъ 23-го августа 1840 г.

политическихъ и соціальныхъ убѣжденій". Всѣ они сознавали, что въ этомъ человѣкѣ, приставленномъ ходомъ обстоятельствъ къ будничной, механически однообразной прозѣ критическихъ отчетовъ и превратившемъ ихъ въ важное орудіе общественнаго воспитанія, таились еще бо̀льшія, быть можетъ, способности двигателя соціальнаго прогресса.

Когда насталъ періодъ его послѣдняго и сильнѣйшаго увлеченія, и на знамени Орланда красовался девизъ „соціальности", когда Бѣлинскій усвоивалъ себѣ новѣйшіе результаты европейской общественной науки и связаннаго съ нею литературнаго движенія и вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣлялъ насущныя русскія нужды, когда онъ видѣлъ вокругъ себя уже не философствующій и оторванный отъ жизни „Kruschok in der Stadt Moskau", а рвущуюся къ полезной дѣятельности свѣжую и талантливую молодежь, ожидающую только его призывнаго слова, — цѣль жизни, казалось, была, наконецъ, найдена.

„Священный огонь" мечтателя-студента, „пенстовыя" вспышки крайняго эстетика и философа не остыли, но превратились въ воодушевленіе гуманными и освободительными идеями; краснорѣчіе утратило свой вулканическій характеръ, не обдавало слушателей огненными брызгами, не изумляло эксцентрической горячностью, но воспламеняло сердца, вело людей впередъ не только во имя старой, звучавшей общимъ мѣстомъ и все же богатой содержаніемъ формулы „добра, правды, красоты и свободы", но ради опредѣленныхъ способовъ добыванія этихъ благъ для народной массы. Оно воспитало все поколѣніе общественныхъ и литературныхъ дѣятелей слѣдующаго періода русской жизни; оно звучало въ ихъ памяти въ лучшія минуты ихъ самостоятельной дѣятельности, какъ завѣтъ дорогого учителя, какъ напоминаніе о посланномъ имъ судьбою великомъ счастьѣ быть сподвижниками его. Если бы вы видѣли, какъ преображалось лицо старика-Тургенева, когда рѣчь заходила о Бѣлинскомъ и о невозвратныхъ свѣтлыхъ дняхъ ихъ близости! Какимъ благоговѣніемъ сіяло лицо, какъ увлажнялись глаза въ то время, какъ вереницей проходили воспоминанія, проникнутыя удивленіемъ и благодарностью!

Аріостовъ Орландъ послѣ многихъ несообразныхъ излишествъ пробудился, точно послѣ тяжелаго сна; къ нему возвратился отнятый божественнымъ велѣніемъ разумъ, скрытый на время искуса въ таинственной лунной долинѣ; пробудившись, онъ уже не вернется болѣе къ бурямъ любви, а отдастъ всѣ силы священной войнѣ. Бѣлинскій испыталъ такое же пробужденіе; съ той поры началась и

для него „священная война“. Выдерживая годами всѣ ея тревоги, онъ дожилъ, казалось, до первой побѣды: канунъ 1848 года съ несомнѣнной, хоть и смутно обрисовывавшейся готовностью къ реформамъ и уступкамъ, съ сборами къ осуществленію величайшаго въ глазахъ Бѣлинскаго преобразованія—освобожденія крестьянъ, наполнили его радостными ожиданіями. Но это былъ только миражъ,—изъ числа тѣхъ, что среди выжженной пустыни показываютъ роскошную и обманчивую картину цвѣтущей природы. Горизонтъ снова заволокло, враги подняли голову, и смерть застигла утомленнаго боевою жизнью, но не сдавшагося гладіатора среди приготовленій къ новой борьбѣ.

Сложнымъ, извилистымъ, полнымъ переходовъ, колебаній, разочарованій и радостныхъ открытій, представляется долгій путь, пройденный Бѣлинскимъ въ поискахъ за истиной, но, черезъ всѣ ступени въ развитіи проходитъ цѣльный и не пострадавшій отъ столкновеній съ дѣйствительностью нравственный образъ, которому на старомъ литературномъ жаргонѣ не нашлось иного прозвища, кромѣ эпическаго имени аріостова героя. Въ наше время золотой середины и мудрой практической умѣренности, когда воодушевленіе начинаетъ казаться чѣмъ-то старомоднымъ, добытымъ изъ архивовъ сороковыхъ или шестидесятыхъ годовъ, образъ этотъ является еще поразительнѣе.

Пусть исторія русской критики вѣнчаетъ Бѣлинскаго, какъ ея творца,—исторія развитія *личности* на Руси будетъ всегда считать однимъ изъ своихъ лучшихъ украшеній такого рыцаря правды, какъ нашъ незабвенный „Неистовый Орландъ“.

Алексѣй Веселовскій.

БѢЛИНСКІЙ И ЭПОХА РЕФОРМЪ.

Есть имена, которыя слѣдуетъ произносить не иначе, какъ съ непокрытою головой. Есть писатели, жизнь и творенія коихъ такъ чисты и возвышенны, такъ благородны и назидательны, что, чѣмъ ближе съ ними знакомишься, тѣмъ болѣе проникаешься къ нимъ уваженіемъ, удивленіемъ, почти благоговѣніемъ. Къ числу такихъ немногихъ дорогихъ для всякаго мыслящаго человѣка свѣтлыхъ, скажемъ больше, святыхъ именъ принадлежитъ и имя Виссаріона Бѣлинскаго, этого недоучившагося студента Московскаго университета, впослѣдствіи ставшаго не только великимъ судьей для русскихъ писателей, но и авторитетнымъ руководителемъ ихъ, образцомъ безтрепетнаго гражданскаго служенія своему народу и „властителемъ думъ“ нѣсколькихъ поколѣній, въ томъ числѣ того, которое двигало эпоху великихъ реформъ.

Молясь твоей многострадальной тѣни,
Учитель! передъ именемъ твоимъ
Дозволь смиренно преклонить колѣни!

гласитъ Некрасовскій стихъ.

Много нужно было, чтобы у сдержанной „музы мести и печали“ вырвать такія пламенныя строки безпредѣльнаго благоговѣнія, и только одинъ Бѣлинскій могъ такъ растрогать самаго сдержаннаго сына „сдержаннаго племени“...

Не только исчерпать, но и затронуть невозможно въ отмежеванное мнѣ время всѣ стороны нравственнаго воздѣйствія Бѣлинскаго на русское общество. Я имѣю въ виду только отмѣтить въ двухъ-трехъ словахъ значеніе „учительства“ его для эпохи великихъ реформъ.

И друзья, и враги отдаютъ справедливость необыкновенной искренности Бѣлинскаго, его отзывчивости и пламенному увлеченію предметами своего мышленія и поклоненія. Когда, во время одного изъ безконечныхъ споровъ, „взалкалъ“ доведенный до изнеможенія Тургеневъ, Бѣлинскій съ нескрываемою гадливостью къ его слабостямъ воскликнулъ: „Мы еще не рѣшили вопроса о существованіи Бога, а вы хотите ѣсть“ *). Человѣкъ такого темперамента, такого алчущаго правды сердца не могъ одѣться въ броню высокомѣрнаго равнодушія по отношенію къ практическимъ вопросамъ жизни, не могъ предаваться самодовольному квіетизму философствующихъ Панглоссовъ. Даже въ періодъ наибольшаго увлеченія гегельянствомъ, однажды и навсегда давшимъ верховную санкцію всѣмъ существующимъ безобразіямъ, Бѣлинскій не вполнѣ поддался гипнозу его всеоправдывающей философіи. Одно существованіе крѣпостного права вбивало такой всесокрушающій клинъ въ гегелевскую формулу „все обстоитъ благополучно“, что умы, наименѣе наклонные къ анализу и скептицизму, невольно задумывались надъ окружающею дѣйствительностью. Съ переѣздомъ въ Петербургъ **), гдѣ и жизнь, и мысль общественная, какъ видно изъ переписки Бѣлинскаго съ невѣстой, были менѣе скованы путами старыхъ предразсудковъ и гегельянскою барскою кружковщиной, подъ высокопарными кунститюками метафизической діалектики утратившей смыслъ жизни и пониманіе ея потребностей, — Бѣлинскій все глубже и глубже сталъ вдумываться въ окружающую дѣйствительность.

Онъ скоро прозрѣлъ и, не умѣя ничего дѣлать наполовину, съ мужественною рѣшимостью предалъ анаѳемѣ то, чему только-что поклонялся всѣмъ сердцемъ. Нужно читать его письма этого періода (начало сороковыхъ годовъ), чтобы видѣть охватившее его, словно Фауста послѣ вызова духа земли,—бурное преклоненіе предъ требованіями земли, даннаго времени, отдѣльной личности, которымъ онъ теперь обуреваемъ.

Въ одномъ изъ обширныхъ своихъ писемъ-трактатовъ, такъ разъясняетъ онъ, съ обычною своею страстностью и рельефностью,

---

*) Передавъ эти слова, Тургеневъ продолжаетъ: „Сознаюсь, что, написавъ эти слова, я чуть не вычеркнулъ ихъ при мысли, что они могутъ возбудить улыбку на лицахъ иныхъ изъ моихъ читателей... Но не пришло бы въ голову смѣяться тому, кто самъ бы слышалъ, *какъ* Бѣлинскій произнесъ эти слова, и если, при воспоминаніи объ этой небоязни смѣшного, улыбка можетъ прійти на уста, то развѣ улыбка умиленія и удивленія“.

**) „Москва погубила меня,—пишетъ передъ отъѣздомъ Бѣлинскій Панаеву,—въ ней нечѣмъ жить и нечего дѣлать, и нельзя дѣлать, а разстаться съ нею-тяжелый опытъ“.

В. П. Боткину сущность современнаго своего настроенія и происшедшаго переворота:

„Ты будешь надо мною смѣяться; но смѣйся, какъ хочешь, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности, *важнѣе* судебъ всего міра... Мнѣ говорятъ: развивай всѣ сокровища своего духа для свободнаго самонаслажденія духомъ, а споткнешься, падай, чортъ съ тобою — таковскій и былъ с..... Благодарю покорно, Егоръ Ѳедоровичъ! (Гегель) — кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всѣмъ подобающимъ вашему филистерству уваженіемъ честь имѣю донести вамъ, что если бы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія, я и тамъ попросилъ бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи, Филиппа II и пр. пр.: иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головою. Я не хочу *счастія и даромъ,* если не буду спокоенъ насчетъ каждаго изъ моихъ братій по крови. Говорятъ, что дисгармонія—это условіе гармоніи: можетъ быть, это очень выгодно и усладительно для меломановъ, но никакъ не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участью идею дисгармоніи“.

Нужна была именно такая безграничная любовь къ ближнему, такая пламенная вѣра въ „званье человѣка“, въ достоинство личности, чтобы сколько-нибудь расшевелить умы и сердца́ въ странѣ, про которую Пушкинъ писалъ:

Здѣсь барство дикое, безъ чувства, безъ закона,
Присвоило себѣ насильственной лозой
И трудъ, и собственность, и время земледѣльца...
Здѣсь тягостный яремъ до гроба всѣ влекутъ;
Надеждъ и склонностей въ душѣ питать не смѣя,
Здѣсь дѣвы юныя цвѣтутъ
Для прихоти развратнаго злодѣя.

Скорбь объ этомъ отвратительномъ недугѣ стараго русскаго строя еще съ студенческой скамьи не давала покоя Бѣлинскому. Еще въ юношеской своей драмѣ „Калининъ“, аттестованной московскою цензурой „безчестною и позорящею университетъ“, онъ далъ свою Аннибалову клятву бороться изо-всѣхъ силъ съ рабствомъ народа. И онъ остался вѣренъ своей клятвѣ почти до послѣдняго вздоха.

Съ замираніемъ сердца онъ слѣдилъ за неоднократно возникавшими, но безплодными попытками Николая I возвратить воровски похищенную, по его собственной характеристикѣ, у народа свободу,

и со всею отвагой своего мощнаго слова и „великаго сердца“ онъ накидывался на всякаго, — кто бы онъ ни былъ, — разъ онъ выступалъ защитникомъ рабства народа. Ради горячо любимаго народа, онъ даже не остановился предъ тѣмъ, чтобы развѣнчать и разбить свой кумиръ — Гоголя, когда тотъ выступилъ въ „Перепискѣ“ поборникомъ крѣпостного права.—„Неумытое рыло“ — этого выраженія не могъ Бѣлинскій простить даже своему любимцу, своему дѣтищу—Гоголю. Высоко цѣня его, еще выше онъ ставилъ свободу русскаго народа. Въ знаменитомъ письмѣ 1847 г. (изъ Зальцбрунна), написанномъ, по выраженію Берне, „кровью сердца и сокомъ нервовъ“, Бѣлинскій ставитъ на видъ Гоголю: „Вмѣсто того, чтобы учить, во имя Христа и церкви, варвара-помѣщика наживать отъ крестьянъ больше денегъ, ругая ихъ *неумытыми рылами*, вы написали бы ему, что такъ какъ его крестьяне—его братья о Христѣ и какъ братъ не можетъ быть рабомъ своего брата, то онъ и долженъ или дать ему свободу, или хотя, по крайней мѣрѣ, пользоваться трудами крестьянъ какъ можно льготнѣе для нихъ, сознавая себя въ ложномъ отношеніи къ ихъ положенію. А выраженіе: „ахъ, ты неумытое рыло!“... Да у какого Ноздрева, у какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать міру, какъ великое открытіе въ пользу и назиданіе мужиковъ, которые и безъ того потому и не умываются, что, повѣривъ своимъ барамъ, себя не считаютъ за людей!.. Проповѣдникъ кнута, апостолъ невѣжества, поборникъ обскурантизма и мракобѣсія, панегиристъ татарскихъ нравовъ, что вы дѣлаете? Взгляните себѣ подъ ноги, вѣдь вы стоите надъ бездной!... Христа - то зачѣмъ примѣшали тутъ? Онъ первый возвѣстилъ людямъ ученіе свободы, равенства и братства, и мученичествомъ запечатлѣлъ, утвердилъ истину своего ученія“.

Послѣдній разъ затрогиваетъ Бѣлинскій крестьянскій вопросъ за нѣсколько мѣсяцевъ до своей смерти. Вернувшись осенью 1847 г. изъ-за границы въ Петербургъ, онъ узнаетъ о новой попыткѣ Николая I разрѣшить этотъ роковой вопросъ. Радостно потрясенный другъ народа пишетъ въ декабрѣ 1847 г. длиннѣйшее письмо съ „вѣрною оказіею“ П. В. Анненкову, жившему за границею: „Тотчасъ по пріѣздѣ, услышалъ я, что въ правительствѣ нашемъ происходитъ большое движеніе по вопросу объ уничтоженіи крѣпостного права. Государь Императоръ вновь и съ большою энергіей изъявилъ свою *рѣшительную волю* касательно этого великаго вопроса. Разумѣется, тѣмъ болѣе рѣшительной воли и искусства обнаружили окружающіе его *отцы отечества*, чтобы отвлечь его волю отъ крайне непріятнаго имъ предмета. Искренно раздѣляетъ желаніе

Государя Императора *только одинъ* Киселевъ; самый рѣшительный и, къ несчастью, самый умный и знающій дѣло противникъ этой мысли—Меншиковъ" (какъ извѣстно, онъ и впослѣдствіи, при освобожденіи крестьянъ, остался ярымъ крѣпостникомъ). „Перовскій, который въ душѣ своей былъ противъ освобожденія крестьянъ, продолжаетъ Бѣлинскій, объявилъ себя за освобожденіе. Все зависитъ отъ воли Государя Императора, а она *рѣшительна*. Вы знаете, что послѣ выборовъ назначается обыкновенно двое депутатовъ отъ дворянства, чтобы благодарить Государя Императора за продолженіе дарованныхъ дворянству правъ, и вы знаете, что въ настоящее царствованіе эти депутаты никогда не были допускаемы. Теперь вдругъ велѣно смоленскимъ депутатамъ явиться въ Питеръ. Государь Императоръ милостиво принялъ ихъ и сказалъ слѣдующую рѣчь: „Теперь я буду говорить съ вами не какъ Государь, а какъ первый дворянинъ имперіи. Земли принадлежатъ намъ, дворянамъ, по праву, потому что мы пріобрѣли ихъ нашею кровью, пролитою за государство, *но я не понимаю*, какимъ образомъ *человѣкъ сдѣлался вещью*, и не могу себѣ объяснить этого иначе—какъ *хитростью и обманомъ*, съ одной стороны, и *невѣжествомъ*— съ другой *). Этому должно положить конецъ. Лучше намъ отдать добровольно, нежели допустить, чтобъ у насъ *отняли*. Крѣпостное право причиною тому, что у насъ нѣтъ торговли, промышленности"... Конечно, несмотря на все, грустно заканчиваетъ Бѣлинскій, хорошо знавшій силу бюрократіи, дѣло это опять затихнетъ. *Друзья своихъ интересовъ и враги общаго блага*, окружающіе Государя Императора, утомятъ его проволочками, серединными, неудовлетворительными рѣшеніями, разными препятствіями, истинными и вымышленными, потомъ воспользуются маневрами или чѣмъ-нибудь подобнымъ и отклонятъ его вниманіе отъ вопроса, и онъ останется нерѣшеннымъ при такомъ Монархѣ, который одинъ по своей мудрости и твердой волѣ способенъ рѣшить его. Но тогда онъ рѣшится самъ собою, въ тысячу разъ болѣе непріятнымъ для русскаго дворянства способомъ. Крестьяне сильно возбуждены, *спятъ и видятъ освобожденіе*... Когда масса спитъ, дѣлайте что хотите—все будетъ по-вашему, но когда она проснется, не дремлите сами, а то быть худу".

Не суждено было великому поборнику народной воли дождаться радостнаго дня паденія рабства. Опасеніе Бѣлинскаго насчетъ стараній высшихъ сферъ затушить крестьянскій вопросъ вполнѣ оправдалось и даже въ очень скоромъ времени. Уже 15 февраля 48-го года Бѣлинскій пишетъ Анненкову: „Крестьянское дѣло идетъ, *но не дви-*

*) См. П. В. Анненковъ и его друзья, стр. 599 и слѣд.

гается впередъ", а немного спустя крѣпостники, ловко воспользовавшись революціоннымъ движеніемъ 48 года, настроили Николая I такъ, что сторонники освобожденія крестьянъ стали третироваться, какъ враги государственнаго порядка, и въ рѣчи, обращенной Николаемъ I къ петербургскому дворянству, „онъ призывалъ дворянъ на борьбу съ „внутренними врагами", объявивъ самые слухи объ освобожденіи крестьянъ *нелѣпыми*" *).

Приведенное письмо Бѣлинскаго къ Гоголю заключаетъ въ себѣ также драгоцѣнныя указанія на то, какъ трезво и отчетливо ставилъ онъ задачи современной общественной жизни, разрѣшеніе коихъ стало возможнымъ въ благодатную эпоху великихъ реформъ. Просвѣщеніе, гуманность, возвышеніе человѣческаго достоинства, гарантіи личности и укрѣпленіе законности—вотъ принципы, проповѣдуемые Бѣлинскимъ и легшіе въ основу реформъ 60-хъ годовъ.

„Вы не замѣтили, пишетъ онъ Гоголю, что Россія видитъ свое спасеніе не въ мистицизмѣ, не въ аскетизмѣ, не въ піэтизмѣ, а въ успѣхахъ цивилизаціи, просвѣщенія, гуманности. Ей нужны не проповѣди,—довольно она слышала ихъ,—а пробужденіе въ народѣ чувства *человѣческаго достоинства*, столько вѣковъ попираемаго въ грязи и навозѣ; *права и законы*, сообразные съ здравымъ смысломъ и справедливостью, и строгое, по возможности, *исполненіе ихъ*. А вмѣсто этого она представляетъ собою ужасное зрѣлище страны, гдѣ люди сами себя называютъ не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Стёпками, Палашками; страны, гдѣ нѣтъ не только никакихъ гарантій для личности, чести и собственности, но нѣтъ даже и полицейскаго порядка, а есть только огромныя корпораціи разныхъ служебныхъ чиновъ... Самые живые, современные національные вопросы въ Россіи теперь: *уничтоженіе крѣпостного права*, ослабленіе *тѣлеснаго наказанія*, введеніе, по возможности, строгаго *исполненія* хотя бы тѣхъ *законовъ*, которые уже есть. Это чувствуетъ даже само правительство (которое хорошо знаетъ, что дѣлаютъ помѣщики со своими крестьянами и сколько послѣдніе ежегодно рѣжутъ первыхъ), что доказывается его робкими и безплодными полумѣрами въ пользу бѣлыхъ негровъ и комическимъ замѣненіемъ однохвостнаго кнута трехвостною плетью. Вотъ вопросы, которыми тревожно занята Россія въ ея апатическомъ полуснѣ... и въ это время великій писатель является съ книгой, въ которой учитъ, во имя Христа и церкви, варвара-помѣщика наживать отъ крестьянъ больше денегъ, ругая ихъ *неумытыми рылами*..."

---

*) Матеріалы для исторіи упразд. крѣп. права, т. I, 77.

Изъ этихъ словъ явствуетъ, что Бѣлинскій, помимо отмѣны крѣпостного права, отчетливо представлялъ себѣ и другія черты преобразовательной эпохи.

Но главное значенье „учительства“ Бѣлинскаго—въ его проповѣди гуманности и просвѣщенія. Онъ оказалъ громадное воспитательное вліяніе какъ на свое поколѣнье, вынесшее на своихъ плечахъ всю законодательную выработку и практическое приложеніе реформъ 60-хъ годовъ, такъ и на литературу и публицистику, воспитавшую позднѣйшее поколѣніе дѣятелей эпохи возрожденія.

Недаромъ Некрасовъ сказалъ о Бѣлинскомъ:

Ты насъ гуманно мыслить научилъ,
Едва ль не первый вспомнилъ о народѣ,
Едва ль не первый ты заговорилъ
О равенствѣ, о братствѣ, о свободѣ.

Да и одинъ ли Некрасовъ испыталъ на себѣ облагораживающее дѣйствіе личности и слова Бѣлинскаго? „Образъ Бѣлинскаго я ношу въ душѣ своей, какъ *святыню*“, писалъ Кавелинъ. Хорошо извѣстно, какъ благоговѣйно чтилъ память Бѣлинскаго Тургеневъ, пожелавшій покоиться на Волковомъ кладбищѣ въ ногахъ своего „учителя“. Всѣхъ славныхъ именъ учениковъ Бѣлинскаго и не перечесть. Укажемъ еще на одно только. Суровый, иногда желчный художникъ, Салтыковъ, и тотъ приходилъ въ умиленіе и впадалъ въ лиризмъ, когда вспоминалъ время Бѣлинскаго, время,

Когда въ отвѣтъ стенаніямъ народа
Мысль русская стонала въ полутонъ.

„Невольнымъ образомъ, писалъ Салтыковъ, мысленно переноситесь къ временамъ вашей юности, къ тѣмъ золотымъ временамъ, когда съ каѳедры къ вамъ обращалась живая рѣчь, если не самого Грановскаго, то одного изъ учениковъ его, вызывая къ дѣятельности благороднѣйшіе инстинкты души, когда съ иной, болѣе обширной каѳедры лилось къ вамъ полное страсти слово Бѣлинскаго, волнуя и утѣшая васъ и наполняя сердца ваши скорбью и негодованіемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ указывая цѣль для вашихъ стремленій... Да, замѣчательное было это время, когда слово служило не естественною формой для выраженія человѣческой мысли, а какъ бы покровомъ, сквозь который неполно и словно намеками свѣтились очертанія этой мысли; и чѣмъ хитрѣе, чѣмъ запутаннѣе сплетенъ былъ этотъ покровъ, тѣмъ скорбнѣе, тѣмъ нетерпѣливѣе трепетала подъ нимъ полная мощи мысль, и тѣмъ горячѣе отдавалось ея эхо

въ молодыхъ душахъ читателей и слушателей! То было время, когда мысль должна была оговариваться и лукавить, когда она тысячу разъ вынуждена была окунуться въ помойныхъ ямахъ житейскаго базара, чтобъ выстрадать себѣ право, хотя однажды, хотя на мгновеніе, засіять надъ міромъ лучомъ надежды, лучомъ грядущаго обновленія! И, стало быть, крѣпки были эти люди, если и при такой обстановкѣ они не изолгались, не сдѣлались отступниками" *).

Бѣлинскій зналъ и ясно сознавалъ все значеніе своего публицистическаго учительства, своего пламеннаго, вдохновеннаго краснорѣчія и считалъ своимъ призваніемъ будить мысль человѣческую въ эпоху, когда, по выраженію цензора Никитенко, „единственнымъ нашимъ назначеніемъ было быть солдатомъ, а не человѣкомъ", и когда благонамѣреннѣйшій Погодинъ заносилъ въ свой дневникъ ектенію: „о еже въ любезномъ отечествѣ книги читать было можно". Въ это-то мрачное время,

Когда свободно рыскалъ звѣрь,
А человѣкъ бродилъ пугливо,
Онъ твёрдо свѣточъ свой держалъ.

Его пламенное, идущее отъ сердца слово поддерживало въ трудное время вѣру въ силу добра и въ лучшее будущее. Секретъ этого глубокаго вліянія Бѣлинскаго, этой присущей ему одному, „неистовому Виссаріону", способности

Глаголомъ жечь сердца людей,

необыкновенно наглядно разъяснено другомъ его Герценомъ.

Сравнивая „ученаго" болтуна, бывшаго профессора Сенковскаго (барона Брамбеуса), съ его семитическими языками и семью литературами—съ „самоучкой" Бѣлинскимъ, Герценъ говоритъ: „у Бѣлинскаго былъ, въ отличіе отъ перваго, избытокъ того вѣчно тревожнаго демона любви и негодованія, который виденъ въ слезахъ и въ смѣхѣ, того убѣжденія, которое было дѣломъ его жизни, картой, на которую все поставлено, страстью, болью; въ словахъ, идущихъ отъ такого убѣжденія, остается доля *магнетическаго демонизма*, подъ которымъ работалъ говорящій; оттого рѣчи его безпокоятъ, тревожатъ, будятъ, становятся силой, мощью и двигаютъ иногда цѣлыми поколѣніями".

---

*) Сочин. II. 144—145.

Таково именно было воздѣйствіе вѣщаго слова Бѣлинскаго *).

Когда вспоминаешь удивительную, по количеству и качеству честныхъ, стойкихъ дѣятелей, эпоху реформъ, эпоху, когда внезапно, какъ будто бы выросши изъ земли, появляется цѣлая плеяда гуманныхъ и просвѣщенныхъ тружениковъ, невольно задаешься вопросомъ, откуда они? кто ихъ создалъ? Отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ политическій противникъ Бѣлинскаго, И. С. Аксаковъ, свидѣтельство котораго, стало быть, не можетъ быть заподозрѣно въ пристрастіи, и потому оно особенно цѣнно.

Описывая свои странствованія по разнымъ частямъ необъятной Россіи, Аксаковъ, скрѣпя сердце, констатируетъ замѣчательный фактъ распространенія вреднаго, по его мнѣнію, но все же громаднаго вліянія Бѣлинскаго. „Много я ѣздилъ по Россіи, пишетъ онъ въ 1856 году, имя Бѣлинскаго извѣстно *каждому* сколько-нибудь мыслящему юношѣ, всякому, жаждущему свѣжаго воздуха среди вонючаго болота провинціальной жизни. Нѣтъ ни одного учителя гимназіи въ губернскихъ городахъ, который не зналъ бы наизусть письма Бѣлинскаго къ Гоголю (приведено выше); въ отдаленныхъ краяхъ Россіи только теперь еще проникаетъ это вліяніе и увеличиваетъ число прозелитовъ... Мы *Бѣлинскому* обязаны *своимъ спасеніемъ*, говорятъ мнѣ вездѣ молодые, честные люди въ провинціи. И въ самомъ дѣлѣ, продолжаетъ Аксаковъ, въ провинціи вы можете видѣть два класса людей: съ одной стороны, взяточниковъ, чиновниковъ въ полномъ смыслѣ этого слова, жаждущихъ лентъ, крестовъ и чиновъ, помѣщиковъ, презирающихъ идеологовъ, привязанныхъ къ своему барскому достоинству и крѣпостному праву, вообще довольно гнусныхъ. Вы отворачиваетесь отъ нихъ, обращаетесь къ другой сторонѣ, гдѣ видите людей молодыхъ, честныхъ, возмущающихся зломъ и гнетомъ, поборниковъ эманципаціи и всякаго простора, съ идеями гуманными. Если вамъ *нужно честнаго человѣка*, способнаго *сострадать* болѣзнямъ и несчастіямъ угнетенныхъ, честнаго доктора, честнаго слѣдователя, который полѣзъ бы на борьбу — ищите таковыхъ въ провинціи между *послѣдователями Бѣлинскаго*“ **).

Вотъ чѣмъ обязана преобразованная Россія просвѣтительной дѣятельности Бѣлинскаго, неустанно сѣявшаго сѣмена—„разумнаго, добраго, вѣчнаго“...

---

*) „Какъ скоро дѣло касается моихъ задушевныхъ убѣжденій, писалъ Бѣлинскій, я тотчасъ забываю себя, выхожу изъ себя, и тутъ давай мнѣ каѳедру и толпу народа: я ощущаю въ себѣ присутствіе Божіе, мое маленькое *я* исчезаетъ, и слова, полныя жара и силы, рѣкой польются съ языка моего“.

**) Аксаковъ, въ его письмахъ, III, 390.

Многія изъ брошенныхъ имъ сѣмянъ дали всходъ, многое изъ того, о чемъ мечталъ Бѣлинскій, осуществлено ко дню 50-ти лѣтія его кончины, но многое еще осталось свершить впереди. Идеи, какъ и все живое, только путемъ боренія доказываютъ свою жизнеспособность и право на существованіе. Чѣмъ менѣе благопріятны окружающія условія, тѣмъ болѣе должны поборники идеи прилагать труда для ея распространенія. Воспоминаніе о великомъ и неутомимомъ труженикѣ земли русской—Бѣлинскомъ должно воодушевить притокомъ новой энергіи всѣхъ, кому дорого его благодатное имя.—Кажется, достаточно трудны были времена, когда дѣйствовалъ онъ, „волнуясь и спѣша",—а вѣдь не упалъ же онъ духомъ, не раскисъ, не „изолгался", по выраженію Щедрина, не продался, не сталъ ренегатомъ *).

Нѣтъ горше бѣдствія, какъ потеря вѣры въ силу добра и разума, въ силу права и справедливости, и чѣмъ менѣе продолжительны такіе проклятые моменты нравственнаго одряхлѣнія, тѣмъ лучше для общественнаго самосознанія:

Да будетъ проклятъ краткій мигъ,
Когда, подъ тяжестью веригъ
И дрязгъ житейскихъ доли пошлой,
Изсякнетъ юности родникъ
И вдохновеній жизни прошлой;
Когда почуешь охлажденье
Къ тѣмъ идеаламъ и мечтамъ,
Которымъ прежде въ умиленьи
Молился ты, какъ божествамъ,
И видишь, какъ слова святыя
(Что встарь, какъ бурная стихія,
Рвались изъ сердца тайника)
Безстрастно сходятъ съ языка...
Когда почувствуешь, что холодъ
Объялъ тебя и въ грудь проникъ,
Что сердцемъ больше ты не молодъ,
Что и душой ты сталъ старикъ:
Да будетъ проклятъ этотъ мигъ!

---

*) „Я продаю себя всѣмъ и каждому,—пишетъ оставшійся безъ дѣла послѣ прекращенія „М. Наблюдателя" Бѣлинскій,—отъ Сенковскаго до (тьфу, гадость какая!) до Булгарина,—кто больше дастъ, не стѣсняя при томъ моего образа мыслей, выраженія, словомъ, моей литературной совѣсти, которая для меня такъ дорога, что во всемъ Петербургѣ нѣтъ приблизительной суммы для ея купли. Если дѣло дойдетъ до того, что мнѣ скажутъ: независимость и самобытность убѣжденія, или голодная смерть,—у меня *достанетъ силы* скорѣе издохнуть какъ собака, нежели живому отдаться на позорное съѣденіе псамъ".

Такихъ минутъ слабости, проклятыхъ моментовъ нравственнаго разслабленія Бѣлинскій никогда не зналъ:—вотъ чему учитъ и къ чему *обязываетъ* его свѣтлая память. И да вольетъ предстоящее чествованіе его благословенной памяти новую вѣру въ жизненность и спасительность гуманно-освободительныхъ и просвѣтительныхъ принциповъ, коимъ онъ служилъ до гробовой доски...

Вѣрное служеніе гуманно-просвѣтительнымъ завѣтамъ, оставленнымъ Бѣлинскимъ—лучшій и наиболѣе достойный, по слову поэта, способъ чествованія памяти почившихъ героевъ-мыслителей:

Не нужно ни гимновъ, ни слезъ мертвецамъ,
Отдайте имъ лучшій почетъ:
Шагайте безъ страха по мертвымъ тѣламъ,
Несите ихъ знамя *впередъ!..*

Гр. Джаншіевъ.

БѢЛИНСКІЙ, КАКЪ ПЕДАГОГЪ.

Читано 10 мая 1898 года на торжественномъ засѣданіи Союза взаимопомощи русскихъ писателей, посвященномъ памяти Бѣлинскаго.

Мм. Гг-ни и Гг.! Въ древней Греціи именемъ „педагога", *вождя дѣтей*, называли раба, отводившаго дѣтей въ школу, отъ словъ *παῖς*—дитя и глагола *ἄγω*—веду. Этимъ же именемъ зовутъ у насъ учителя или воспитателя школьнаго. Такими же педагогами—вождями, но уже не однихъ дѣтей, а цѣлаго общества, народа, страны, человѣчества, называемъ мы и тѣхъ писателей, которые своими сочиненіями способствовали поднятію просвѣщенія, которыхъ просвѣтительныя идеи поднимали духъ человѣчества и тѣмъ способствовали человѣческому облагороженію. Такими педагогами были на Западѣ, напримѣръ, Руссо, Шиллеръ, Лессингъ, Гердеръ. У насъ на Руси такой вождь нашего общества, по широтѣ и возвышенности педагогическихъ идеаловъ, по опредѣленной и вдохновенной ихъ постановкѣ, вождь—первый по времени и единственный и до сихъ поръ—Бѣлинскій.

Не будучи учителемъ по профессіи, критикъ и публицистъ, собственно педагогическихъ статей онъ не писалъ. Но просвѣтительныя идеи, мысли о воспитаніи проходятъ красною нитью черезъ всѣ его сочиненія. Безпрестанно говоритъ онъ о воспитаніи—и въ статьяхъ критическихъ, и въ рецензіяхъ дѣтскихъ книгъ или учебниковъ—словомъ, всюду, гдѣ только представляется къ этому малѣйшій поводъ. По отношенію къ идеямъ просвѣтительнымъ, къ воспитанію, остается онъ вѣренъ себѣ за всю свою дѣятельность, и никакихъ существенныхъ перемѣнъ въ его взглядахъ, какъ видимъ мы это по отношенію къ критикѣ, обществу, политикѣ, здѣсь мы не видимъ. Просвѣщеніе ставитъ онъ, еще въ первой статьѣ своей „Литературныя мечтанія" — краеугольнымъ камнемъ всего нашего развитія и благосостоянія, необходимымъ, единственнымъ условіемъ

развитія у насъ и литературы и науки, безъ которыхъ нѣтъ исторической жизни и прогресса. „Придетъ время,—восклицаетъ онъ,—и просвѣщеніе разольется по Россіи широкимъ потокомъ; выяснится умственная физіономія народа, и тогда наши художники и писатели будутъ на всѣ свои произведенія налагать печать русскаго духа. Но теперь намъ нужно ученье, ученье и ученье!..“ „И это просвѣщеніе не замедлитъ явиться. Русскій народъ смышленъ и понятливъ, усерденъ и горячъ ко всему благому и прекрасному“. „Въ настоящемъ времени зрѣютъ сѣмена для будущаго!“—раздается пророческій голосъ Бѣлинскаго въ 1834 году: „зрѣютъ они, эти сѣмена, взойдутъ и расцвѣтутъ,—расцвѣтутъ пышно и великолѣпно! И тогда будемъ мы имѣть свою литературу, явимся не подражателями, а соперниками европейцевъ“.

Такъ, поставивъ просвѣщеніе девизомъ своей дѣятельности съ первой же статьи, Бѣлинскій оставался борцомъ за просвѣщеніе и прогрессъ до самаго конца своей жизни.

Прошло семь лѣтъ послѣ его смерти. Народился другой критикъ, и тоже борецъ за просвѣщеніе, авторъ „Очерковъ гоголевскаго періода русской литературы“, Н. Г. Чернышевскій. Вотъ что пишетъ онъ въ 1855 году: „Русскій, у кого есть здравый умъ и живое сердце, до сихъ поръ не могъ и не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ патріотомъ, въ смыслѣ Петра Великаго,—дѣятелемъ въ великой задачѣ просвѣщенія русской земли. Всѣ остальные интересы его дѣятельности—служеніе чистой наукѣ, чистому искусству, даже идеѣ общечеловѣческой правды, если онъ юристъ,—подчиняются у русскаго ученаго, художника, юриста великой идеѣ служенія на пользу своего отечества“

Такимъ-то патріотомъ-педагогомъ и былъ Бѣлинскій. Имя Петра Великаго, по словамъ Ломоносова, „возвысившаго съ собою до небесъ Россію, попранную варварствомъ“, а по словамъ Пушкина, „смѣлою рукой повсюду сѣявшаго просвѣщеніе и прорубившаго окно въ Европу“,—это имя Петра Великаго сдѣлалось для Бѣлинскаго священнымъ символомъ всего нашего русскаго просвѣщенія и прогресса. За это имя Бѣлинскій ведетъ такую ожесточенную полемику съ славянофилами, когда они явились поборниками до-петровскаго мрака, звавшими Русь назадъ, въ до-петровскую тьму; во имя этого европейскаго, гуманнаго просвѣщенія, уже чуть не наканунѣ смерти, онъ съ такимъ негодующимъ паѳосомъ возстаетъ противъ охватившаго Гоголя мракобѣсія, въ своемъ знаменитомъ письмѣ о „Перепискѣ съ друзьями“.

Чтобы достойно оцѣнить педагогическо-общественную, патріоти-

ческую заслугу нашего критика, призвавшаго русское общество къ обновленію путемъ воспитанія новыхъ поколѣній, которымъ принадлежитъ будущее, вспомнимъ только, хотя бы по однимъ художественнымъ произведеніямъ, чѣмъ была Русь въ тридцатыхъ годахъ. Какія страшныя картины всероссійскаго невѣжества рисуются въ трехъ величайшихъ нашихъ комедіяхъ: „Недорослѣ", „Горѣ отъ ума", и „Ревизорѣ". Какой убогой въ умственномъ и нравственномъ отношеніи смотритъ наша родина въ воспитаніи Евгенія Онѣгина и Татьяны, въ воспитаніи Чичикова и гоголевскихъ героевъ; какой страшной интеллектуальной несостоятельностью всей Руси поражаютъ мрачныя „Мертвыя души", или по времени совпадающее съ Бѣлинскимъ воспитаніе въ дореформенныхъ „Обломовкахъ", или вспомянутая позже Салтыковымъ педагогія „Пошехонской старины"! Вспомните только эти, отошедшіе въ область прошлаго, картины и образы; вспомните мрачную ночь русской реакціи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, о которой съ печальнымъ изумленіемъ читаемъ мы въ запискахъ современниковъ, напр., хоть въ Дневникѣ Никитенко,—вспомните, представьте себѣ только это наше кровное прошлое, и тѣмъ болѣе свѣтлымъ предстанетъ передъ нами благородный образъ того общественнаго педагога, чей громкій голосъ прозвучалъ въ нощи, зовя родину къ умственному и нравственному пробужденію путемъ воспитанія!.. Полвѣка назадъ умеръ Бѣлинскій, но еще и теперь ждетъ онъ полнаго и повсемѣстнаго торжества провозглашенныхъ имъ педагогическихъ идей, ждетъ распространенія ихъ въ семьѣ, школѣ и обществѣ; ждетъ общаго, широкаго просвѣщенія всѣхъ классовъ, ибо въ этомъ просвѣщеніи одно наше благо, одно спасеніе отъ застоя и моральной смерти, одна надежда, одна вѣра!

Чему же училъ Бѣлинскій, къ какому свѣту звалъ русское общество? Чего требовалъ отъ воспитанія, и какимъ характеромъ оно, по мнѣнію Бѣлинскаго, должно отличаться?

Русскому обществу, прежде и главнѣе всего, недоставало *человѣчности, гуманности.* Оно, это общество, погрязло въ мелочахъ повседневной, сѣрой обыденности, въ интересахъ сословности, освященной крѣпостнымъ правомъ. Въ мужчинѣ видѣло общество чиновника, помѣщика, пріобрѣтателя во что бы то ни стало, какими бы то ни было средствами; въ *женщинѣ*—жену-хозяйку во вкусѣ Лариной, невѣсту для выгоднаго брака. Это общество съ дѣтства умерщвляло живыя души своихъ дѣтей, подавляя въ нихъ всякую самостоятельность, индивидуальность и готовя изъ этихъ дѣтей не полезныхъ гражданъ, а эгоистовъ и тунеядцевъ, для которыхъ недоступно было понятіе ни о человѣкѣ, ни о человѣчествѣ, ни объ

истинномъ патріотизмѣ, ни даже часто и о совѣсти. И вотъ, Бѣлинскій является апостоломъ самой широкой *гуманности*. Обществу съ крайне узкимъ кругозоромъ мысли, не видящему ничего дальше своего мурья и настоящей минуты, недоставало идеализма,—и вотъ этотъ-то идеализмъ и кладетъ Бѣлинскій краеугольнымъ камнемъ всего воспитанія. „Только въ обществѣ, стремящемся къ идеалу,—говоритъ онъ,—только въ обществѣ, сознающемъ въ своей груди существованіе глубоко-внутренняго, возносящагося надъ дѣйствительностью, идеальнаго міра, — только въ подобномъ обществѣ и возможенъ прогрессъ. И воспитаніе, не развивающее въ дѣтяхъ даннаго имъ въ зародышѣ идеальнаго міра, есть воспитаніе въ человѣческомъ обществѣ животныхъ, а не людей". Этотъ-то *идеализмъ*, которымъ былъ такъ проникнутъ Бѣлинскій, какъ наиболѣе яркій и искренній представитель своей эпохи, вмѣстѣ съ гуманностью, и составляетъ его педагогическое *исповѣданіе вѣры*, почему и воспитаніе, имъ проповѣдуемое, и можетъ быть названо *гуманистическо-идеалистическимъ*. Въ основу воспитанія, которому, по мнѣнію Бѣлинскаго, поддаются, болѣе или менѣе, всѣ люди, полагалъ онъ воспитаніе *личности*, уважающей себя и другихъ,—личности, которой до самой старости не было бы чуждо ничто человѣческое: ни въ природѣ, ни въ человѣкѣ, ни въ искусствѣ, ни въ наукѣ, чтобы воспитанный человѣкъ могъ „отозваться сердцемъ своимъ на все, что проситъ у сердца отвѣта". Цѣлью всего воспитанія поставилъ онъ *человѣчность;* орудіемъ же и посредникомъ воспитанія считалъ *любовь*. Эта-то любовь должна вести ребенка съ колыбели; и на чувствѣ и здоровой фантазіи, на счетъ разсудочности, которой мѣсто позднѣе, должно быть основано все семейное воспитаніе, которое должно, вмѣстѣ съ тѣмъ, воспитать въ ребенкѣ и *совѣсть*. Въ основаніе же чувства полагаетъ Бѣлинскій воспитаніе *религіозное*, которое, кромѣ любви къ Богу, должно поселить въ ребенкѣ еще и *чувство безконечнаго, высокаго*, чутье того, что выше насъ, предъ чѣмъ мы благоговѣемъ, что вводитъ насъ въ связь съ цѣлымъ міромъ, въ которомъ мы только ничтожныя единицы, что поселяетъ въ насъ стремленіе къ лучшему, къ идеалу,—воспитаніе того чувства безконечнаго, котораго не отвергаетъ и сама наука, для которой остается еще такъ много неизвѣданнаго. Къ воспитанію *любви* въ человѣкѣ, *чувства совѣсти* и чувства *безконечнаго* присоединяетъ Бѣлинскій еще и чувство *эстетическое*, какъ одинъ изъ первѣйшихъ элементовъ человѣчности, и средствомъ этого воспитанія считаетъ искусство, особенно поэзію и музыку, какъ наиболѣе сильно дѣйствующія на воспріимчивую натуру ребенка. Итакъ, воспитаніе *всесто-*

ронняго, полнаго человѣка, какъ *человѣка*,—вотъ педагогическій *идеалъ* Бѣлинскаго.

Но не какого-то отвлеченнаго человѣка хочетъ воспитать Бѣлинскій. Онъ знаетъ, что, какъ бы ни была богата и роскошна внутренняя жизнь человѣка, она неполна, если не усвоитъ въ свое содержаніе интересовъ внѣшняго ей міра, общества и человѣчества. Въ полной и здоровой натурѣ благородной личности должно горячо биться сердце о *судьбѣ своей родины*, съ которою человѣкъ долженъ сознавать свое кровное родство. Съ *отечествомъ* своимъ, съ *обществомъ*, гдѣ онъ живетъ, онъ долженъ имѣть близкую, кровную связь, болѣть его недугами, мучиться его страданіями, блаженствовать его счастіемъ, внѣ своихъ собственныхъ, личныхъ интересовъ. За это общество, за отечество свое, за родину, человѣкъ долженъ умѣть и постоять. Воспитаніе должно приготовить не только человѣка, но и сильнаго борца за истину и благо отечества, бодраго духомъ гражданина. Но, воспитывая, должно всегда помнить о томъ, чтобы за гражданиномъ не уничтожился человѣкъ. Любовь къ отечеству, по мнѣнію Бѣлинскаго, должна выходить изъ любви къ человѣчеству, какъ частное изъ общаго. „Любить свою родину, значитъ—пламенно желать видѣть въ ней осуществленіе идеала человѣчества и по мѣрѣ силъ своихъ осуществленію этого идеала споспѣшествовать. Иначе патріотизмъ будетъ только китаизмомъ, который любитъ свое только за то, что оно свое, и ненавидитъ все чужое за то только, что оно чужое, и не нарадуется собственнымъ безобразіямъ и уродствамъ“.

Вотъ главнѣйшія изъ педагогическихъ идей, которыя проводилъ Бѣлинскій, которыя съ такой страстностью провозгласилъ онъ среди общаго мрака задолго раньше Пирогова и Ушинскаго. Эти идеи вложилъ онъ и въ свои разборы дѣтскихъ книгъ, и тѣмъ положилъ основы русской вообще педагогической литературы и критики литературы дѣтской, которыя пошли за нимъ, какъ пошли за нимъ вслѣдъ и всѣ лучшіе наши педагогическіе дѣятели. Его просвѣтительныя идеи были истиннымъ лучемъ свѣта въ нашемъ темномъ царствѣ. Уже въ ближайшее къ нему время стали всѣ молодые умы, по выраженію г. Венгерова, работать въ томъ же просвѣтительномъ направленіи, вырастая и укрѣпляясь подъ знаменемъ науки, зовущей впередъ. А когда настала *эпоха великихъ реформъ*, однимъ изъ наиболѣе важныхъ общественныхъ движеній было именно движеніе *педагогическое*, охватившее всю школу, начиная съ народной и кончая университетомъ и самообразованіемъ. И движеніе это, захватившее все общество, совершается именно въ духѣ Бѣлинскаго, въ смыслѣ пользованія его идеями, развитіемъ его идей. Возьмемъ ли

Пирогова и Ушинскаго—ихъ сочиненія проникнуты ими; возьмемъ ли вопросъ о наглядности въ преподаваніи—объ этой наглядности говорилъ Бѣлинскій; обратимся ли къ литературѣ дѣтской, начиная съ „Журнала для дѣтей“ его же товарища по университету, Чистякова,—она вся и до сихъ поръ жива, по крайней мѣрѣ въ лучшей своей части, его требованіями. Все преподаваніе словесности и исторіи литературы, всѣ учебники по этой части, начиная съ Стоюнина, все это прямо проникнуто его идеями и даже на немъ, Бѣлинскомъ, въ значительной степени построено. А воспитаніе и образованіе нашей русской женщины, которымъ мы справедливо гордимся, развѣ оно мало обязано тому же Бѣлинскому, который являлся всегда такимъ горячимъ адвокатомъ общечеловѣческаго, русскаго женскаго просвѣщенія?

Въ настоящее время, когда у насъ какъ будто опять возбудился въ обществѣ интересъ къ педагогіи, особенно отрадно вспомнить о томъ человѣкѣ, который научилъ насъ гуманно мыслить; отрадно встрѣтить въ многочисленныхъ педагогическихъ статьяхъ отзвуки его идей. Въ этихъ широко-просвѣтительныхъ идеяхъ великаго нашего учителя—залогъ всего нашего просвѣщенія; на нихъ-то, этихъ идеяхъ гуманности и истиннаго патріотизма, и да воспитаются наши дѣти. И этими же идеями да руководится вся наша русская школа, начиная съ университета и гимназіи и кончая школой народной. Святыя педагогическія истины Бѣлинскаго горятъ намъ путеводной звѣздой, и, хотя онъ умеръ уже полвѣка назадъ, но „и мертвый живъ онъ между нами“, ибо живой духъ нашего пророка и учителя не умретъ никогда!

Викторъ Острогорскій.

БѢЛИНСКІЙ ДРАМАТУРГЪ.

Читано на томъ же засѣданіи Союза писателей, 10 мая 1898 г.

Бѣлинскій — драматургъ... Такая тема многимъ покажется странною, въ особенности въ день чествованія памяти великаго критика. Двѣ драмы Бѣлинскаго—„Дмитрій Калининъ“ и „Пятидесятилѣтній дядюшка, или странная болѣзнь“—представляютъ собою нѣчто очень слабое. Онѣ могутъ служить лишнимъ подтвержденіемъ той истины, что человѣкъ, обладающій тонкимъ пониманіемъ художественной правды и красоты, прямо жадный на ощущеніе этой правды и красоты, можетъ оказаться совершенно безсильнымъ самъ воплотить ихъ въ образы и картины.

Въ ранней молодости, собственно въ дѣтствѣ, въ гимназіи, Бѣлинскій писалъ стихи и, какъ онъ потомъ иронически выражался, „почиталъ себя опаснымъ соперникомъ Жуковскаго“. Но уже вскорѣ по поступленіи въ университетъ онъ такъ отвѣчалъ на предложенія дать стихотвореніе для готовившагося къ печати альманаха: „Въ сердцѣ моемъ часто происходятъ движенія необыкновенныя, душа часто полна чувствами и впечатлѣніями сильными, въ душѣ рождаются мысли высокія, благородныя,—хочу ихъ выразить стихами и не могу! Тщетно трудясь, бросаю перо. Имѣю пламенную, страстную любовь ко всему изящному, высокому, имѣю душу пылкую и при всемъ томъ не имѣю таланта выражать свои чувства и мысли легкими, гармоническими стихами. Риѳма мнѣ не дается и, не покоряясь, смѣется надъ моими усиліями; выраженія не уламываются въ стопы, и я нашелся принужденнымъ приняться за смиренную прозу“. Такимъ образомъ въ это время Бѣлинскій отказывался только отъ стихотворства и лишь лѣтъ, примѣрно, черезъ десять убѣдился, что ему „не дается“ художественное творчество вообще. Плодомъ его

иллюзій въ этомъ направленіи и были двѣ упомянутыя драмы, составляющія, не считая дѣтскихъ стиховъ, все его художественное наслѣдство.

„Скудное наслѣдство!"—скажутъ многіе. Да такъ сказалъ бы и самъ Бѣлинскій. Въ предисловіи къ „Дмитрію Калинину" онъ называетъ это произведеніе „первымъ несвязнымъ лепетаніемъ младенца, первымъ незрѣлымъ произведеніемъ пера неопытнаго, несмѣлаго". А когда въ 1839 г. вторая его драма, „Пятидесятилѣтній дядюшка", была поставлена на московской сценѣ, въ „Московскомъ Наблюдателѣ", конечно, съ вѣдома и согласія самого Бѣлинскаго, было сказано, между прочимъ, слѣдующее: „Пьеса имѣла большой успѣхъ и могла бы имѣть еще большій, если бы неопытность автора въ знаніи сцены и убійственная растянутость пьесы не повредили дѣлу. Содержаніе пьесы такъ просто, что и разсказать нечего; взято оно изъ помѣщичьяго быта; эффектовъ, по крайней мѣрѣ кровавыхъ, нѣтъ; конецъ самый „благополучный"—двѣ свадьбы вдругъ. Многія положенія очень интересны и изложены съ одушевленіемъ и увлекательностью; но тѣмъ не менѣе пьеса ни съ которой стороны не относится къ сферѣ искусства, какъ творчества".

Тѣмъ не менѣе, когда Союзъ писателей сдѣлалъ мнѣ честь предложеніемъ принять участіе въ чествованіи памяти Бѣлинскаго, я, послѣ недолгаго колебанія, остановился именно на его драмахъ. Художественной критикѣ нечего съ ними дѣлать, но въ нихъ ярче и сконцентрированнѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, сказались нѣкоторыя коренныя черты „неистоваго Виссаріона". Слишкомъ извѣстны колебанія Бѣлинскаго во взглядахъ на явленія литературы и жизни. Но было въ немъ нѣчто и непоколебимое, пронесенное имъ отъ колыбели (литературной колыбели) до могилы. И это нѣчто вполнѣ отражается въ двухъ его драмахъ.

Приведенный отзывъ „Московскаго Наблюдателя" о „Пятидесятилѣтнемъ дядюшкѣ" не совсѣмъ вѣренъ въ томъ смыслѣ, что драма эта отнюдь не столь „проста" по содержанію и лишена эффектовъ. Правда, эффектовъ кровавыхъ, которыми изобилуетъ „Дмитрій Калининъ", въ ней дѣйствительно нѣтъ. Во всякомъ случаѣ обѣ драмы, при всемъ своемъ различіи, имѣютъ нѣчто общее прежде всего въ характерѣ центральныхъ фигуръ. И молодой Дмитрій Калининъ, и пятидесятилѣтній Николай Матвѣевичъ Горскій — пылкія натуры, стремительно реагирующія на всѣ впечатлѣнія, быстро мѣняющія свое настроеніе и ярко выражающія его громоносными рѣчами, рѣзкими жестами, безумными поступками. Оба они то и дѣло разражаются бурными монологами, то и дѣло „съ бѣшенствомъ вскакиваютъ",

„рвутъ на себѣ волосы“ и т. п., а Калининъ еще, кромѣ того, совершаетъ нѣсколько убійствъ. Эпиграфъ къ третьей картинѣ „Дмитрія Калинина“ взятъ изъ Озерова и гласитъ:

Ахъ! не вини меня: вини мои ты чувства,
Которыхъ укрощать не знаю я искусства.
Вини сей огнь въ моей пылающей крови:
Чрезмѣренъ я во всемъ—и въ злобѣ и въ любви.

Словомъ, герои обѣихъ драмъ суть своего рода „неистовые Виссаріоны“ по натурѣ, поставленные въ разныя условія и, благодаря отсутствію художественнаго дарованія въ авторѣ, преувеличенные и подчеркнутые, мѣстами даже до карикатурности. И хотя Калининъ есть убійца и кровосмѣситель (невольный), а Николай Матвѣевичъ Горскій безъ малаго вдвое старше своего автора, но нѣтъ никакого сомнѣнія, что обоихъ ихъ Бѣлинскій писалъ съ самого себя.

Не только надѣлилъ онъ ихъ своею „неистовою“ натурой, но и въ волнующія ихъ мысли и чувства вложилъ нѣчто свое коренное—задушевное. Дѣло, разумѣется, не въ тѣхъ или другихъ частностяхъ и подробностяхъ, а въ немногихъ основныхъ нотахъ.

Мы не коснемся біографическаго значенія обѣихъ драмъ, — ни того, какъ отразился на судьбѣ автора „Дмитрій Калининъ“, ни того, что̀ въ жизни Бѣлинскаго послужило толчкомъ для созданія „Пятидесятилѣтняго дядюшки“. Не будемъ припоминать и весь сложный и запутанный ходъ развитія фабулъ обѣихъ драмъ. Для нашей цѣли достаточно нѣсколькихъ моментовъ.

У богатаго помѣщика Лѣсинскаго есть жена, двое сыновей, дочь, Софья, и пріемышъ, Дмитрій Калининъ. Оффиціально этотъ пріемышъ есть сынъ умершаго крѣпостного лакея Лѣсинскаго, но на самомъ дѣлѣ онъ незаконный сынъ самого помѣщика, что, однако, открывается только въ самомъ концѣ драмы, послѣ смерти Лѣсинскаго. И для злобы и для любви Дмитрій находитъ обильную пищу въ домѣ Лѣсинскихъ. Онъ любитъ своего „благодѣтеля“, который частью въ виду исключительнаго положенія Дмитрія, а частью въ виду его высокихъ умственныхъ и нравственныхъ качествъ, относится къ нему съ особенною нѣжностью; любитъ Софью, не подозрѣвая, что она его сестра и видя въ ней лишь блещущую красотой, умомъ и благородствомъ души дѣвушку; ненавидитъ жену и сыновей Лѣсинскаго. Эти грубые, пошлые, невѣжественные, жестокіе люди тиранятъ своихъ крѣпостныхъ и на каждомъ шагу, въ отсутствіи старика Лѣсинскаго, оскорбляютъ Дмитрія. Вотъ какъ онъ разсказываетъ объ этомъ своему пріятелю Сурскому: „Нерѣдко я втайнѣ

плакалъ, но при нихъ всегда казался спокойнымъ, хотя сердце мое стѣснялось, хотя душа страдала. Я не хотѣлъ показать имъ, что ихъ обиды для меня чувствительны. Видя сіе, они еще болѣе раздражались и, наконецъ, изобрѣли новый способъ мученія: стали называть меня... рабомъ!... (Стремительно схватываетъ стаканъ, наполненный виномъ, разомъ осушаетъ оный и со злобою опрокидываетъ на столъ). О, какое убійственное, какое ужасное дѣйствіе производило на мою душу это слово! Оно было для меня остріемъ кинжала, гибельнымъ жаломъ змѣи, которое, уязвляя мое сердце, пожирало его ядовитымъ огнемъ!" И т. д., и т. д.

Мы можемъ не итти дальше. Мы дошли, если не до фактическаго, то до духовнаго центра драмы, до того магическаго слова, которое неоднократно повторяясь въ драмѣ, всякій разъ дѣйствуетъ на Дмитрія, какъ ударъ хлыста, и смыслъ котораго составляетъ источникъ всѣхъ его злоключеній. Слово это—рабъ.

„Дмитрій Калининъ" представляетъ собою рѣзкій протестъ противъ крѣпостного права. Не удивительно, что драма не могла появиться въ свое время, на рубежѣ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, въ печати, но нельзя не удивляться, нельзя не любоваться двадцатилѣтнимъ юношей авторомъ, который за тридцать лѣтъ до освобожденія крестьянъ кипѣлъ такимъ бурнымъ негодованіемъ противъ вѣковой неправды.

Дѣло не въ личной трагической судьбѣ Дмитрія Калинина, не въ ней одной, по крайней мѣрѣ. Юный авторъ проводитъ передъ нами рядъ картинъ возмутительнаго насилія и жестокости, и влагаетъ въ уста Дмитрія такой, напримѣръ, монологъ:

„Неужели эти люди для того только родятся на свѣтъ, чтобы служить прихотямъ такихъ же людей, какъ и они сами?.. Кто далъ это гибельное право—однимъ людямъ порабощать своей власти волю другихъ, подобныхъ имъ существъ, отнимать у нихъ священное сокровище—свободу? Кто позволилъ имъ ругаться правами природы и человѣчества? Господинъ можетъ, для потѣхи или для разсѣянія, содрать шкуру съ своего раба; можетъ продать его, какъ скота; вымѣнить на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь съ отцомъ, съ матерью, съ сестрами, съ братьями и со всѣмъ, что для него мило и драгоцѣнно!.. Милосердый Боже, отецъ человѣковъ! отвѣтствуй мнѣ: твоя ли премудрая рука произвела на свѣтъ этихъ зміевъ, этихъ крокодиловъ, этихъ тигровъ, питающихся костями и мясомъ своихъ ближнихъ и пьющихъ, какъ воду, ихъ кровь и слезы?"

Иной скажетъ, что это напыщенная реторика, навѣянная шиллеровскими „Разбойниками". Но не забудемъ, что это писано двадцатилѣтнимъ юношей и при томъ семьдесятъ лѣтъ тому назадъ. И

если форма выраженія здѣсь навѣяна, то не навѣяны мысли и чувства, вложенныя въ эту форму. Ихъ Бѣлинскій сохранилъ до конца дней своихъ. Въ знаменитомъ, можно сказать, уже предсмертномъ, письмѣ къ Гоголю онъ писалъ:

„Вмѣсто того, чтобы учить во имя Христа и церкви варвара-помѣщика наживать отъ крестьянъ больше денегъ, ругая ихъ „неумытыми рылами", вы написали бы ему, что его крестьяне — его братья о Христѣ, и какъ братъ не можетъ быть рабомъ своего брата, то онъ и долженъ или дать ему свободу, или хотя по крайней мѣрѣ пользоваться трудами крестьянъ какъ можно льготнѣе для нихъ, сознавая себя въ ложномъ отношеніи къ ихъ положенію. А выраженіе: „ахъ ты, неумытое рыло!" Да у какого Ноздрева, у какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать міру, какъ великое открытіе въ пользу и назиданіе мужиковъ, которые и безъ того потому и не умываются, что, повѣривъ своимъ барамъ, себя не считаютъ за людей!... Проповѣдникъ кнута, апостолъ невѣжества, поборникъ обскурантизма и мракобѣсія, панегиристъ татарскихъ нравовъ, что вы дѣлаете? Взгляните себѣ подъ ноги, вѣдь вы стоите надъ бездной!"

Мы, здѣсь присутствующіе, собравшіеся почтить память Бѣлинскаго, такъ далеко ушли отъ крѣпостныхъ временъ и нравовъ, что склонны, можетъ быть, умалять значеніе терзаній и протестовъ благороднѣйшихъ изъ нашихъ духовныхъ предковъ. Что жъ, дескать,— было и быльемъ поросло!... Не думаю, чтобы поросло быльемъ все, на что обрушивался Бѣлинскій хотя бы въ томъ же письмѣ къ Гоголю. Достаточно привести хоть слѣдующія строки: „Самые живые современные національные вопросы Россіи теперь—уничтоженіе крѣпостного права и отмѣненіе тѣлеснаго наказанія, введеніе по возможности строгаго выполненія тѣхъ законовъ, которые уже есть"...

Но я долженъ быть кратокъ и не буду останавливаться дольше на взглядахъ Бѣлинскаго на рабство въ смыслѣ крѣпостного права. Для него слово „рабъ" имѣло гораздо болѣе широкое значеніе.

Извѣстна трогательная переписка Бѣлинскаго съ его невѣстой, впослѣдствіи женой, Марьей Васильевной Орловой. Здѣсь онъ все тотъ же „неистовый Виссаріонъ" „и въ злобѣ и въ любви". Между прочимъ, онъ звалъ невѣсту изъ Москвы въ Петербургъ, чтобы тамъ и обвѣнчаться, а она уклонялась отъ этого, ссылаясь на обычаи, приличія, родственныя отношенія и настаивала на томъ, чтобы свадьба состоялась въ Москвѣ. За это онъ ее назвалъ „esclave", полагая, очевидно, смягчить французскимъ словомъ мысль объ ея „рабствѣ". Это не мѣшаетъ ему тутъ же „неистовствовать": „Всего хуже, всего

ужаснѣе,—это покориться обычаямъ шутовскимъ и подлымъ, профанирующимъ святость отношеній, въ какія мы готовы вступить съ вами; обычаямъ, которые я презираю и ненавижу по принципу и по натурѣ моей. У дядюшки обѣдъ! Будь прокляты всѣ обѣды, всѣ дядюшки и всѣ тетушки и всѣ чиновники съ ихъ гнусными обычаями". А когда она упорствуетъ и даже соглашается принять титулъ esclave, онъ пишетъ: „Причина этому votre esclavage, ваша московская боязнь того, что скажутъ о васъ люди, которыхъ вы въ душѣ презираете и не любите, но передъ мнѣніемъ которыхъ вы ползаете. Это стыдно и грѣхъ. Это преступленіе передъ Богомъ и совѣстью. Скажу болѣе: это низко и недостойно васъ". Среди трогательно нѣжныхъ изліяній въ любви, этотъ взрывъ негодованія производитъ особенно сильное впечатлѣніе.

Такими же взрывами негодованія по адресу именно этого рода esclavage переполнена драма „Дмитрій Калининъ". Тутъ, совершенно независимо отъ крѣпостныхъ, юридически рабскихъ отношеній, мы имѣемъ еще рядъ бурныхъ протестовъ противъ рабства мысли и чувства. И здѣсь лежитъ ключъ къ пониманію всего Бѣлинскаго. Вся его литературная дѣятельность, вся его обширная переписка, вся, наконецъ, жизнь его проникнуты этою борьбой съ рабствомъ во имя достоинства человѣческой личности.

Какъ далеко за предѣлы юридическаго рабства раздвигалъ онъ это ненавистное ему явленіе, видно изъ слѣдующаго.

Въ одномъ изъ писемъ къ Станкевичу онъ кается въ двухъ своихъ недостаткахъ — въ самолюбіи и чувственности. Послѣдней онъ не придаетъ большого значенія, за-то очень огорчается своимъ самолюбіемъ, собственно потому, что—пишетъ онъ—„оно овладѣло мною совершенно, сдѣлало меня своимъ рабомъ". — Великій покойникъ оклеветалъ себя. Но не въ этомъ дѣло. Съ его точки зрѣнія рабомъ является всякій, кто допустилъ овладѣть собою какой-нибудь одной сторонѣ своего существа, одной умственной складкѣ или одной страсти въ ущербъ полнотѣ жизни. Это не отрицаніе страсти, — слишкомъ было бы это не къ лицу неистовому Виссаріону, — это отрицаніе узости, ограниченности, односторонности, односторонняго подавленія личности ея же собственными элементами. На борьбѣ личности съ ея собственными элементами и построена вторая драма Бѣлинскаго.

Съ 50-лѣтнимъ Горскимъ случилось несчастіе: онъ влюбился въ свою 20-лѣтнюю воспитанницу, которая преисполнена къ нему наилучшихъ почтительнѣйшихъ чувствъ, но любитъ его молодого племянника. Дѣло запутывается разными плохо мотивированными не-

доразумѣніями. „Неистовый“, несмотря на свои пятьдесятъ лѣтъ, Горскій бурно переходитъ отъ стыда запоздалой страсти къ неутолимой жаждѣ счастія, отъ мученій ревности и отчаянія—къ надеждѣ. Авторъ видимо сочувствуетъ „дядюшкѣ“, и если вы всмотритесь въ особенности въ тѣ сцены, въ которыхъ дядюшка гнѣвается на самого себя, то увидите, что причина этого гнѣва есть дѣйствительная или кажущаяся готовность стать рабомъ то слѣпой страсти, то условнаго, не признаваемаго имъ самимъ нравственнаго долга.

Если Бѣлинскій такъ чутко относился къ рабству, такъ сказать, внутреннему, то тѣмъ паче ненавистно ему рабство, хотя бы и не юридическое, передъ внѣшними силами,—передъ обычаями, преданіями, предразсудками, передъ тѣмъ, „что станетъ говорить княгиня Марья Алексѣвна“, передъ общественнымъ мнѣніемъ. Мы уже это видѣли въ „Дмитріи Калининѣ“ и въ перепискѣ съ невѣстой. Таковы же его отношенія къ авторитетамъ въ области мысли. Говоря объ одномъ петербургскомъ кружкѣ, онъ выразился такъ: „это не подданные, а холопы“. Онъ никогда не отказывался воздать должную дань уваженія тому или другому авторитету и даже часто, по пылкости своей, пересаливалъ въ этомъ отношеніи, но никогда не былъ холопомъ, рабомъ. Повелительное значеніе изреченія „magister dixit“ для него не существовало, его критическая мысль была всегда насторожѣ и не разъ жестоко расправлялась съ недавними кумирами.

Въ жизни Бѣлинскаго былъ, какъ извѣстно, періодъ „примиренія съ дѣйствительностью“, „съ гнусною россійскою дѣйствительностью“, какъ онъ потомъ выражался. И тогда онъ писалъ, между прочимъ: „Правда, мы еще не имѣемъ правъ, мы еще рабы, если угодно, но это оттого, что мы еще должны быть рабами“. Но до какой степени онъ и въ это время былъ не рабъ, видно хотя бы изъ его страстной реплики Панаеву по поводу одной изъ „примирительныхъ“ статей: „Я знаю, меня назовутъ льстецомъ, подлецомъ, скажутъ, что я кувыркаюсь передъ властями. Пусть ихъ. Я не боюсь открыто и прямо высказывать мои убѣжденія, что̀ бы обо мнѣ ни думали... Да, это мои убѣжденія. Я не стыжусь, а горжусь ими... Противъ убѣжденія никакая сила не заставитъ меня написать ни одной строчки... Клянусь вамъ, что меня нельзя подкупить ничѣмъ! Мнѣ легче умереть съ голоду,—я и безъ того рискую этакъ умереть каждый день,—чѣмъ потоптать свое человѣческое достоинство, унизить себя передъ кѣмъ бы то ни было или продать себя“.

Дѣло не въ деньгахъ, разумѣется, — объ этомъ смѣшно и говорить; и не въ „кувырканьи передъ властями“, — и это слишкомъ элементарно. Но есть двѣ силы, передъ которыми часто пасуютъ

люди, не способные ни продаваться, ни „кувыркаться“. Это, во-первыхъ, сила авторитета, это, во-вторыхъ, сила общественнаго мнѣнія. Бѣлинскій признавалъ обѣ эти силы, но никогда не раболѣпствовалъ передъ ними—не бѣжалъ отъ труда и страданія оригинальной мысли и не заискивалъ передъ общественнымъ мнѣніемъ. Когда онъ выстрадалъ — именно выстрадалъ свое примиреніе съ дѣйствительностью,—онъ не убоялся того, что его назовутъ „льстецомъ, подлецомъ“ и т. д. „Что мнѣ дорожить мнѣніемъ и толками чортъ знаетъ кого?“—говорилъ онъ Панаеву, хотя совсѣмъ не „чортъ знаетъ кто“ были люди, возмущенные „Бородинскою годовщиной“. А когда спала съ глазъ Бѣлинскаго завѣса и авторитетъ, способствовавшій „примиренію“, Гегель, не выдержалъ новаго напора критики, Бѣлинскій объявилъ: „Судьба субъекта, индивидуума, личности важнѣе судебъ всего міра и здравія китайскаго императора (то-есть гегелевской Allgemeinheit)... Благодарю покорно, Егоръ Ѳедорычъ (Гегель), кланяюсь вашему философскому колпаку...“ И въ другомъ письмѣ: „Проклинаю мое стремленіе къ примиренію съ гнусной дѣйствительностью! Да здравствуетъ великій Шиллеръ, благородный адвокатъ человѣчества, яркая звѣзда спасенія, эмансипаторъ общества отъ кровавыхъ предразсудковъ преданія! Для меня теперь человѣческая личность выше исторіи, выше общества, выше человѣчества“.

Въ этихъ страстныхъ словахъ Бѣлинскій нашелъ самого себя. Эта личность, не желающая быть рабомъ исторіи, общества, человѣчества, и есть самъ Бѣлинскій отъ перваго проблеска сознанія до послѣдняго дыханія, отъ „Дмитрія Калинина“ до послѣдней написанной имъ строчки. Это его основной фонъ, на которомъ его нетерпѣливый умъ и безпокойное сердце рисовали, подъ вліяніемъ разныхъ условій, разные, подчасъ затемняющіе его, узоры.

Боюсь, что, по краткости отведеннаго мнѣ времени, я не могъ достаточно характеризовать всю яркость этого основного фона всей жизни и дѣятельности Бѣлинскаго. Приведу еще одно мѣсто изъ его переписки: „Кто на вопль и судорожное сжатіе личности смотритъ свысока, какъ на отпаденіе отъ общаго, тотъ или мальчикъ, или эгоистъ, или дуракъ,—а мнѣ тотъ и другой и третій равно несносны“...

Послѣднимъ шагомъ въ развитіи Бѣлинскаго была идея выработки соціальныхъ условій, способствующихъ не порабощенію личности, а ея расцвѣту.

Насколько я могу прозрѣвать въ даль грядущаго, это — идея вѣчная. И потому — вѣчное вѣчному — вѣчная память неистовому Виссаріону!

Ник. Михайловскій.

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ КРИТИКИ БѢЛИНСКАГО.

(ЗАМѢТКА).

Наступаетъ, наконецъ, чередъ всесторонняго и объективнаго изученія литературной дѣятельности и писательской личности великаго русскаго критика.

Въ ряду различныхъ вопросовъ, которые будутъ подняты этимъ изученіемъ, не послѣднее мѣсто займетъ, конечно, вопросъ о томъ, *какая черта* должна быть признана *особливо-характерною* для литературной дѣятельности Бѣлинскаго, *чѣмъ* именно, какою *особенностью* критика Бѣлинскаго рѣзко отличается (и *должна была отличаться)* отъ критической дѣятельности его преемниковъ и продолжателей.

Цѣль настоящей замѣтки состоитъ лишь въ томъ, чтобы, во-первыхъ, указать на самую необходимость постановки этого вопроса и, во-вторыхъ, въ томъ, чтобы дать на него посильный—предварительный—отвѣтъ, который, думается намъ, въ существенномъ выдержитъ искусъ дальнѣйшихъ изслѣдованій.

Всякій выдающійся писатель имѣетъ свою оригинальную физіономію, свои отличительныя черты, которыми онъ болѣе или менѣе рѣзко разнится отъ другихъ представителей того же рода литературы. Никто не смѣшаетъ, напр., Добролюбова съ Писаревымъ. Такая яркая и огромная сила, умственная и нравственная, какъ Бѣлинскій, не могла не имѣть индивидуальныхъ особенностей, придающихъ ей своеобразную физіономію и выдѣляющихъ ее изъ ряда другихъ нашихъ писателей. Эти индивидуальныя особенности давно уже были указаны, а нѣкоторыя изъ нихъ въ послѣднее время стали предметомъ подробнаго изученія. Огромныя философскія дарованія

Бѣлинскаго были въ свое время замѣчены еще Одоевскимъ, недавно же они были выдвинуты на первый планъ въ статьяхъ г. Каменскаго (въ „Новомъ Словѣ"). Страстность натуры Бѣлинскаго, его способность легко впадать въ крайности и, вмѣстѣ съ тѣмъ, глубокая искренность и честность его мышленія и убѣжденій—были ясны еще его современникамъ, ярко и опредѣленно изображены въ воспоминаніяхъ о немъ (Панаева, Герцена, Тургенева) и превосходно раскрыты въ классическомъ трудѣ А. Н. Пыпина, гдѣ эти черты обнаружены, между прочимъ, на неизданномъ матеріалѣ писемъ Бѣлинскаго. Г. Венгеровъ въ основу своего обстоятельнаго и широко задуманнаго изслѣдованія о жизни и дѣятельности Бѣлинскаго („Русс. Богатство") положилъ ту весьма извѣстную и въ высокой степени характерную для перваго русскаго критика черту, которая опредѣляется выраженіемъ „великое сердце". Необыкновенное художественное чутье Бѣлинскаго и его огромное художественно-критическое дарованіе давнымъ-давно извѣстны и были оцѣнены еще при жизни великаго критика. Его положительныя заслуги въ этомъ отношеніи (объясненіе Пушкина, Гоголя и т. д.) у всѣхъ передъ глазами и стали неотъемлемымъ достояніемъ русской литературы. Далѣе, своеобразный ходъ его развитія, какъ мыслителя, фазисы, черезъ которые прошелъ его умъ въ стремленіи къ истинѣ, внутреннее соотношеніе этой „исторіи ума" съ постановкою критическихъ задачъ и развитіемъ пріемовъ критики Бѣлинскаго—все это въ общемъ и существенномъ было давно извѣстно, а въ деталяхъ, въ интимныхъ подробностяхъ раскрыто и освѣщено въ книгѣ А. Н. Пыпина. Наконецъ, вспомнимъ еще о Тургеневскомъ опредѣленіи Бѣлинскаго—какъ „*центральной* натуры".

Ни одна изъ этихъ чертъ въ отдѣльности, а равно и вся совокупность ихъ, не составляетъ той отличительной особенности, которую мы имѣемъ въ виду.

Мы ищемъ такой особенности Бѣлинскаго, которая лежала бы въ самомъ основаніи его исторической роли, такъ что эта послѣдняя безъ нея была бы немыслима. Эта искомая особенность Бѣлинскаго должна была находиться въ тѣсной психологической связи съ *призваніемъ* Бѣлинскаго и принадлежать ему не столько какъ человѣку, сколько какъ *писателю*.

Нетрудно видѣть, что изъ числа вышеуказанныхъ чертъ однѣ представляются случайными и не имѣющими ближайшаго отношенія къ историческому призванію и дѣлу Бѣлинскаго, другія имѣютъ къ нимъ отношеніе болѣе или менѣе отдаленное, третьи, сохраняя все свое значеніе, не характеризуютъ Бѣлинскаго, какъ дѣятеля

съ опредѣленнымъ историческимъ призваніемъ, и найдутся и у другихъ писателей съ инымъ историческимъ дѣломъ и призваніемъ.

Излишне много распространяться на ту тему, что великое историческое дѣло Бѣлинскаго могло быть сдѣлано имъ и въ томъ случаѣ, если бы онъ совсѣмъ не обладалъ нѣкоторыми изъ вышеуказанныхъ чертъ, характерныхъ для него, какъ человѣка, и, конечно, отразившихся на его литературной дѣятельности. Сюда можно отнести, напр., необыкновенную страстность натуры, легкость, съ какою Бѣлинскій впадалъ въ крайности, и также — тѣсно связанную съ этими чертами — неправильность или, лучше сказать, извилистый ходъ развитія его воззрѣній. Бѣлинскій могъ и не быть „неистовымъ Виссаріономъ"—и все-таки осуществить свою миссію.

Огромное художественное чутье и пониманіе, огромный критическій даръ, это—качества, вообще необходимыя для первостепеннаго критика, это — conditio sine qua non, и, конечно, они не были монополіей Бѣлинскаго,—Добролюбовъ, напр., обладалъ этими качествами въ высокой степени.

Чтобы найти искомую особенность или отличительную черту критики Бѣлинскаго, нужно обратиться къ его сочиненіямъ, нужно уловить господствующую въ нихъ, органически имъ присущую *точку зрѣнія*.

Съ этой цѣлью сдѣлаемъ бѣглый обзоръ важнѣйшихъ статей Бѣлинскаго въ хронологическомъ порядкѣ.

Вотъ прежде всего знаменитыя „Литературныя мечтанія", которыми такъ блистательно открылась дѣятельность Бѣлинскаго въ 1834 г. Спрашивается: какая точка зрѣнія руководитъ авторомъ въ этой обширной (138 стран.) статьѣ, столь богатой содержаніемъ и столь важной по новымъ въ то время и глубокимъ взглядамъ на явленія русской литературы?

Руководящая точка зрѣнія здѣсь безспорно — *историческая* или, точнѣе, *историко-литературная*. Бѣлинскій уже въ этой первой своей статьѣ является не литературнымъ критикомъ въ тѣсномъ смыслѣ, а *критикомъ-историкомъ*. На вопросъ: есть ли у насъ литература? — онъ даетъ, какъ извѣстно, отрицательный отвѣтъ, исходя изъ понятія о литературѣ, какъ о проявленіи исторической жизни народа, какъ объ органическомъ порожденіи развивающагося національнаго самосознанія. Остроумный обзоръ „хода" русской литературы, „отъ Ломоносова, перваго ея генія, до г-на Кукольника, послѣдняго ея генія", есть, по существу дѣла, *историческій трактатъ*—съ выводами и характеристиками, которые теперь общепризнаны, но тогда были и новы, и смѣлы.

Историческая точка зрѣнія въ литературѣ предполагаетъ постоянное обращеніе къ исторіи и ведетъ къ раскрытію внутренней связи между литературнымъ развитіемъ и всѣмъ ходомъ исторіи даннаго народа. Оттуда у Бѣлинскаго въ этой статьѣ и въ другихъ постоянные экскурсы въ область русской исторіи, преимущественно „петербургскаго“ періода. Рѣдкая изъ его большихъ статей обходится безъ обращенія къ Петру Великому, культу котораго Бѣлинскій остался вѣренъ до конца. Въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ есть краснорѣчивыя страницы, посвященныя реформѣ Петра, вліянію Западной Европы, вѣку Екатерины Великой. При этомъ Бѣлинскій всегда старается уловить внутренній смыслъ историческаго момента, установить, такъ сказать, его философію и связать съ этою философіей изучаемыя явленія литературной исторіи.

Та же историческая точка зрѣнія приводитъ Бѣлинскаго къ опредѣленію относительнаго значенія писателей для своего времени,—и можно сказать, что среди современниковъ Бѣлинскаго едва ли найдется другой мыслитель, который бы такъ мѣтко, такъ вѣрно и удачно опредѣлялъ это значеніе и выяснялъ заслуги дѣятелей литературы и ихъ относительныя права на память въ потомствѣ, какъ это дѣлалъ Бѣлинскій. Въ этомъ отношеніи, конечно, XVIII вѣкъ привлекалъ особливое вниманіе Бѣлинскаго. Къ писателямъ этого вѣка онъ обращается во многихъ статьяхъ, нерѣдко входя въ большія подробности. Въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ отмѣтимъ мастерскія характеристики Ломоносова и Державина. Считаю излишнимъ подтверждать сказанное здѣсь цитатами: статья Бѣлинскаго слишкомъ хорошо должна быть извѣстна всякому образованному русскому, и всякій можетъ провѣрить наши слова — просмотрѣвъ лишній разъ это, можно сказать, классическое произведеніе, положившее начало не только русской критикѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и исторіи русской литературы.

Итакъ, мы находимъ у Бѣлинскаго въ его первой же статьѣ *историческую точку зрѣнія* (добавимъ, оплодотворенную философскимъ воззрѣніемъ на искусство и литературу). Излюбленный пріемъ, впервые примѣненный здѣсь Бѣлинскимъ и неизмѣнно повторяющійся въ его послѣдующихъ большихъ статьяхъ, состоитъ *въ обращеніи къ прошлому и освѣщеніи всего хода литературнаго развитія.*

Отмѣтимъ еще и то обстоятельство, что въ первой статьѣ Бѣлинскаго (а также и въ нѣкоторыхъ другихъ статьяхъ 30-хъ годовъ) какъ бы чувствуется близость XVIII-го вѣка, который, хотя и отошелъ въ прошлое, но съ которымъ все еще критику-историку приходится считаться. Литературное наслѣдіе XVIII-го вѣка еще не совсѣмъ

сдано въ архивъ и не стало исключительнымъ достояніемъ „кабинетныхъ“ ученыхъ. Споръ о томъ, былъ ли Ломоносовъ поэтъ или нѣтъ, еще сохраняетъ свою свѣжесть, свою современность. Опредѣленіе поэтическаго таланта Державина и критика его поэзіи, это — тема, которая далеко еще не стала, если можно такъ выразиться, „археологическою“.

Вторая по времени большая критическая статья Бѣлинскаго это— „О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя“ (1835 г.).

Она также начинается обращеніемъ къ прошлому, — указаніемъ на схоластическій и „тяжело-педантическій“ характеръ подражательной литературы прошлаго вѣка. Переходя къ отличительной чертѣ, характеризующей литературное развитіе, какъ западно-европейскихъ литературъ, такъ и русской въ XIX-мъ вѣкѣ, Бѣлинскій видитъ эту черту въ рѣшительномъ преобладаніи повѣсти и романа и вмѣстѣ съ тѣмъ въ стремленіи сблизить поэзію съ жизнью,—въ „реальномъ“ направленіи искусства. Въ интересахъ этого сближенія форма повѣсти и романа представляется наиболѣе удобною. Слѣдуетъ обстоятельное критическое изложеніе исторіи русской повѣсти, гдѣ даны характеристики и оцѣнки повѣстей Марлинскаго, Погодина, Полевого, Павлова и др., послѣ чего Бѣлинскій обращается къ Гоголю и даетъ нынѣ общепризнанное и чуть ли не во всѣхъ деталяхъ правильное опредѣленіе творческаго генія Гоголя.

Это въ высокой степени замѣчательная статья, образцовая съ точки зрѣнія вѣрности и мѣткости критическаго взгляда. И хотя бо́льшая часть ея занята разборомъ и выясненіемъ художественныхъ достоинствъ повѣстей Гоголя, но все-таки историческая точка зрѣнія не только не исключена, но даже, какъ мы видѣли, положена въ основаніе статьи.

Минуя періодъ конца 30-хъ годовъ, къ которому относится извѣстное, доведенное до крайности, „примиреніе“ Бѣлинскаго съ „дѣйствительностью“ и когда его литературная дѣятельность, уклонившись въ сторону отъ направленія историко-критическаго, выразилась въ рядѣ тенденціозно-полемическихъ статей, — перейдемъ къ 40-мъ годамъ и просмотримъ большія критическія статьи Бѣлинскаго, большею частью написанныя въ формѣ ежегодныхъ обозрѣній литературы.

Въ 1842 году онъ пишетъ обширную статью-обозрѣніе („Русская литература въ 1841 г.“, т. VI), отчасти напоминающую по основной мысли, а мѣстами и по тону, „Литературныя мечтанія“. Здѣсь опять находимъ оцѣнку писателей прошлаго вѣка и начала XIX-го (Сумарокова, Ломоносова, Державина, Княжнина, Капниста, Карамзина и

[illegible] Въ живой диалогической формѣ здѣсь опять „развѣнчиваются“ „гении“ и „боги“ до Пушкинскаго періода и въ то же время указаны дѣйствительныя достоинства и историческія заслуги дѣятелей литературы, а также опредѣлены размѣры и характеръ поэтическаго дарованія [illegible], которые обладали несомнѣнной „искрой Божьей“, какъ напр. Державинъ, Батюшковъ, Жуковскій. Діалогъ заканчивается [illegible] характеристикой Пушкина. Вся [illegible]—[illegible] [illegible] 82 стран. Остальные стр. 83—104 [illegible] статьи 1841 года.

[illegible] „Русская литература [illegible]

Этотъ, быть можетъ, важнѣйшій трудъ Бѣлинскаго есть настоящее *изслѣдованіе* и при томъ такое, въ которомъ ярко обнаруживается огромный историческій смыслъ, составлявшій отличительную особенность критическаго ума и таланта Бѣлинскаго. — Оно открывается обстоятельнымъ „Обозрѣніемъ русской литературы отъ Державина до Пушкина", занимающимъ болѣе 200 страницъ и раздѣленнымъ на двѣ главы: первая разсматриваетъ исторію новой русской литературы до Карамзина, вторая—отъ Карамзина до Пушкина. Перечитывая это „Обозрѣніе", мы лишній разъ убѣждаемся въ томъ, что Бѣлинскій былъ не только критикъ-философъ, но также или даже въ особенности критикъ-историкъ. Историческая точка зрѣнія проведена здѣсь съ рѣдкой послѣдовательностью, историческая перспектива выдержана такъ, какъ это удается только мыслителямъ съ прирожденнымъ дарованіемъ и чутьемъ историка. Задачу и планъ труда Бѣлинскій опредѣляетъ такъ: „Наблюдая за ходомъ отечественной литературы, мы, естественно, часто должны были въ прошедшемъ отыскивать причины настоящаго и *прозрѣвать въ историческую связь явленій*. Чѣмъ болѣе думали мы о Пушкинѣ, тѣмъ глубже прозрѣвали въ живую связь его съ прошедшимъ и настоящимъ русской литературы, и убѣждались, что писать о Пушкинѣ—значитъ писать о цѣлой русской литературѣ: ибо какъ прежніе писатели русскіе объясняютъ Пушкина, такъ Пушкинъ объясняетъ послѣдовавшихъ за нимъ писателей. Эта мысль сколько истинна, столько и утѣшительна: она показываетъ, что несмотря на бѣдность нашей литературы, въ ней есть жизненное движеніе и органическое развитіе, слѣдственно, у нея есть исторія....." (VIII, 98).—Вотъ именно это „жизненное движеніе и органическое развитіе" и прослѣжено въ „Обозрѣніи".

Историческая точка зрѣнія выдержана и въ отношеніи къ самому Пушкину — къ его поэтической дѣятельности, разсматриваемой an sich, помимо вопроса о ея исторической подготовкѣ и ея вліяніи на послѣдующее развитіе русской литературы. Бѣлинскій разбираетъ произведенія Пушкина—*строго придерживаясь хронологіи*. О безусловной необходимости этого пріема онъ самъ говоритъ въ главѣ IV-ой (стр. 308) такъ: „Приступая къ критическому обозрѣнію твореній Пушкина, мы будемъ строго держаться хронологическаго порядка, въ какомъ являлись они. Пушкинъ отъ всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ отличается именно тѣмъ, что по его произведеніямъ можно слѣдить за постепеннымъ развитіемъ его не только, какъ поэта, но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ человѣка и характера....".

Въ этой особенности Пушкина Бѣлинскій видитъ новое доказательство „органической жизненности его поэзіи".

И, слѣдуя этому принципу, Бѣлинскій начинаетъ изслѣдованіе поэзіи Пушкина разборомъ лицейскихъ стихотвореній. Читая этотъ разборъ, гдѣ критикъ съ большимъ мастерствомъ выдѣляетъ вліянія предшествующихъ Пушкину поэтовъ, мы еще разъ убѣждаемся въ томъ, что Бѣлинскій, по прирожденнымъ качествамъ своего ума, былъ прежде всего историкъ. Не лишне обратить вниманіе на ту легкость или какъ бы непроизвольность, съ какою онъ съ самаго начала находитъ вѣрный путь, становясь сразу на хронологическую точку зрѣнія. Намъ кажется, какъ будто онъ это сдѣлалъ нечаянно, или словно это само собою у него такъ вышло. Давно извѣстно, что простыя и вѣрныя мысли обыкновенно являются послѣдними, послѣ долгихъ исканій и блужданій вкривь и вкось. Но Бѣлинскій принадлежалъ къ числу тѣхъ избранниковъ, у которыхъ эти простыя и вѣрныя мысли являются въ самомъ началѣ, почему умамъ этого рода и не приходится блуждать и пробираться къ цѣли окольными путями: они идутъ прямою дорогой, которую сами же впервые и прокладываютъ въ дѣвственной чащѣ непочатыхъ вопросовъ.

Мы не будемъ слѣдить дальше изъ главы въ главу за этимъ капитальнымъ трудомъ Бѣлинскаго. Для нашей цѣли достаточно только указать или, лучше, напомнить читателю, что въ этомъ трудѣ дана, при соблюденіи строгаго хронологическаго принципа, настоящая *исторія развитія* поэтическаго генія Пушкина. Это—не собраніе болѣе или менѣе вѣрныхъ замѣчаній или опредѣленій того, что Бѣлинскій называлъ „паѳосомъ“ Пушкина, это—не только критическая оцѣнка достоинствъ и недостатковъ различныхъ произведеній Пушкина, это — прежде всего мастерское изслѣдованіе процесса постепеннаго роста художественныхъ силъ Пушкина, процесса, который прослѣженъ здѣсь во всѣхъ его фазисахъ.

Напомню также, что для Бѣлинскаго Пушкинъ прежде всего — великій національный русскій поэтъ, совершившій великое историческое дѣло созданія русской національной поэзіи.

Историческая точка зрѣнія, требующая обращенія къ прошлому и выясненія связи настоящаго съ этимъ прошлымъ, введена и въ обозрѣніе русской литературы за 1844 г. (т. IX, стр. 227—309). Въ началѣ этой статьи, посвященной главныхъ образомъ разбору стихотвореній Языкова и Хомякова, находимъ слѣдующее любопытное замѣчаніе: „Читатели наши знаютъ, что бо̀льшая часть этихъ годичныхъ обозрѣній постоянно наполнялась разсужденіями вообще о русской литературѣ и, слѣдов., о всѣхъ русскихъ писателяхъ, отъ Кантемира и Ломоносова до настоящей минуты; а взглядъ на прошлогоднюю литературу—главный предметъ статьи—всегда занималъ ея

мѐньшую часть. Подобныя отступленія отъ главнаго предмета необходимы по двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому что настоящее объясняется только прошедшимъ, и потому что по поводу цѣлой русской литературы еще можно написать не одну, а даже и нѣсколько статей, болѣе или менѣе интересныхъ; но о русской литературѣ за тотъ или другой годъ, право, не о чемъ слишкомъ много или слишкомъ интересно разговориться".

Обозрѣніе русской литературы въ 1845 г. (т. X, стр. 269—308), посвященное успѣхамъ основанной Гоголемъ реальной школы, лишь мимоходомъ заглядываетъ въ прошлое, резюмируя на нѣсколькихъ страницахъ историческую смѣну литературныхъ направленій, отъ ложноклассическаго до реальнаго.

За-то въ слѣдующемъ 1847 году Бѣлинскій даетъ тому же сюжету гораздо болѣе обстоятельное развитіе въ статьѣ „Взглядъ на русскую литературу 1846 года", начинающейся такъ: „Настоящее есть результатъ прошедшаго и указаніе на будущее. Поэтому говорить о русской литературѣ 1846 г. значитъ говорить о современномъ состояніи русской литературы вообще, чего нельзя сдѣлать, не коснувшись того, чѣмъ она была, чѣмъ должна быть". Историческая часть статьи наполнена изложеніемъ взгляда Бѣлинскаго на значеніе Ломоносова, какъ основателя новой русской литературы, какъ ея Петра Великаго, и полемикою съ славянофилами по вопросу о Петровской реформѣ (т. XI, стр. 1 и сл.).

Послѣднее изъ написанныхъ Бѣлинскимъ годичныхъ обозрѣній есть „Взглядъ на русскую литературу въ 1847 г." (т. XI, стр. 315—436). Это въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ замѣчательнѣйшее изъ обозрѣній Бѣлинскаго разбито на двѣ большія главы. Въ первой Бѣлинскій устанавливаетъ понятіе органическаго прогресса въ литературѣ и умственной жизни общества и развиваетъ свой взглядъ на основанную Гоголемъ *натуральную* школу, появленіе которой было знаменіемъ совершившагося прогресса. Вторая глава сперва трактуетъ о романѣ и повѣсти вообще, а потомъ обращается къ разбору произведеній Искандера, Гончарова, Тургенева, Даля и др. Здѣсь мы находимъ замѣчательный (это, какъ извѣстно, одно изъ образцовыхъ произведеній русской литературной критики) разборъ „Кто виноватъ?" Искандера и „Обыкновенной исторіи" Гончарова и мѣткое сравненіе дарованій этихъ двухъ писателей.

Въ XII-мъ томѣ укажемъ на два отрывка: 1) „Общее значеніе литературы" (стр. 393—447) и 2) „Общій взглядъ на народную поэзію и ея значеніе" (стр. 448—455), которые, по мысли Бѣлинскаго, должны были войти въ задуманную имъ „Критическую исторію русской ли-

тературы". Это, конечно, тотъ трудъ, о которомъ онъ упоминаетъ въ рецензіи на „Опытъ исторіи русской литературы" профессора Никитенка (1845 г., т. IX, стр. 370 *).

Этотъ бѣглый пересмотръ важнѣйшихъ большихъ статей Бѣлинскаго приводитъ къ заключенію, что въ самомъ основаніи критической работы Бѣлинскаго лежалъ *историческій взглядъ* на явленія русской литературы. Кромѣ тонкаго и поразительно-вѣрнаго *художественнаго чутья*, кромѣ выдающагося *философскаго дарованія* и кромѣ тѣхъ качествъ, которыя могли бы, при благопріятствующихъ условіяхъ, выразиться въ блестящей *публицистической* дѣятельности, нашъ первый критикъ былъ надѣленъ еще необыкновеннымъ *историческимъ чутьемъ и смысломъ*. По условіямъ времени, въ особенности же въ силу потребностей только-что начинавшаго развиваться національнаго самосознанія, этотъ послѣдній даръ—историческаго пониманія вещей—и долженъ былъ выступить въ дѣятельности критика на первый планъ. Благодаря ему главнымъ образомъ, а не другимъ своимъ дарованіямъ, Бѣлинскій и могъ такъ правильно оцѣнивать, такъ отчетливо разъяснять смыслъ и значеніе совершавшихся литературныхъ „событій", великихъ и малыхъ. Благодаря этому дару, онъ и могъ такъ глубоко проникать въ ходъ вещей и такъ мѣтко опредѣлять пути литературной эволюціи, понимаемой какъ одно изъ проявленій и вмѣстѣ орудій развивающагося національнаго самосознанія. Поэтому, не взирая на то, что критика Бѣлинскаго изобилуетъ элементами философскими и эстетическими, и что ей далеко не чужды, съ одной стороны, психологическій анализъ, съ другой—направленіе публицистическое, мы все-таки скажемъ, что въ существѣ дѣла Бѣлинскій не былъ критикъ-философъ, эстетикъ, психологъ и публицистъ, а что онъ былъ по преимуществу *критикъ-историкъ*, и что въ русской литературѣ ему должно быть отведено почетное мѣсто не только какъ основателю нашей литературной критики, но и какъ писателю, которому принадлежитъ починъ въ установленіи основъ раціональной исторіи новой русской литературы.

Д. Овсянико-Куликовскій.

---

*) „.... Къ этому (появленіе „Опыта" Никитенка и—раньше—историко-литературныхъ статей Шевырева) мы можемъ присовокупить, что готовится и еще сочиненіе по тому же предмету, подъ именемъ „Критической исторіи русской литературы" (преимущественно новой) съ обозрѣніемъ, въ видѣ введенія, произведеній народной поэзіи; впрочемъ мы ничего не можемъ сказать положительнаго о времени выхода этого сочиненія".

ГЕГЕЛЬ И БѢЛИНСКІЙ ОБЪ ИСКУССТВѢ.

Чѣмъ объяснить необычайный успѣхъ, которымъ пользовалась въ свое время философія Гегеля въ Германіи и внѣ ея предѣловъ? На этотъ вопросъ до-сихъ-поръ не дано полнаго отвѣта.

Въ настоящее время философія Гегеля почти забыта. Многіе воображаютъ, что все ученіе Гегеля сводится къ отрицанію закона противорѣчія, и при томъ въ смыслѣ явно нелѣпаго утвержденія, что какая-либо вещь А. равна своему собственному отрицанію, т.-е. не-А. Если бы Гегель утверждалъ что-либо подобное относительно конкретныхъ вещей, то пришлось бы только изумиться легковѣрію и малой проницательности десятковъ и сотенъ мыслящихъ людей, считавшихъ Гегеля геніальнымъ философомъ *).

Оспаривать подобныя сужденія о Гегелѣ не стоитъ труда. Но, во всякомъ случаѣ, обаяніе, которымъ нѣкогда пользовалась забытая теперь философія Гегеля, можетъ показаться загадочнымъ.

Простѣйшимъ разрѣшеніемъ этой загадки является, повидимому, утвержденіе, повторяемое большинствомъ историковъ философіи, и состоящее въ томъ, что появленіе системы Гегеля было неизбѣжнымъ и что философія Гегеля является послѣднимъ звеномъ въ ряду, идущемъ отъ Канта къ Фихте, отъ Фихте къ Шеллингу и, наконецъ, отъ Шеллинга къ Гегелю. Но эта генеалогія вовсе не объясняетъ причины *успѣха* философіи Гегеля. Преемственная связь между различными философскими системами, конечно, не подлежитъ спору и пред-

---

*) Желающіе понять истинный смыслъ утвержденія Гегеля, что бытіе и ничто есть одно и то же, могутъ обратиться къ болѣе популярному изложенію его логики, находящемуся въ „Энциклопедіи философскихъ наукъ". Hegel's Werke, VI Bd. Berl. 1843, S. 172—173. Гегель ясно высказываетъ, что утверждаемое имъ тожество относится лишь къ *абстракціямъ*, а никакъ не къ чему-либо конкретному. Можно, подобно намъ, отвергать цѣликомъ основныя начала философіи Гегеля, но едва ли умѣстно навязывать Гегелю логику, непримѣняемую даже въ домѣ умалишенныхъ,

ставляетъ значительный интересъ; но эта связь не создаетъ прямолинейнаго ряда. Подобно тому, какъ въ органическомъ мірѣ, отъ одной первичной формы, въ силу различныхъ внутреннихъ и внѣшнихъ условій развитія, происходятъ разнообразныя породы и разновидности, такъ и въ мірѣ идей, одна философская система является исходнымъ пунктомъ развитія, идущаго разными путями, дающаго многочисленныя главныя и побочныя вѣтви. Такъ, философія Сократа породила множество философскихъ школъ — платонизмъ наравнѣ съ цинизмомъ и съ школою киренаиковъ. Точно также и Кантъ, породившій Фихте съ его субъективнымъ идеализмомъ, въ то же время былъ родоначальникомъ реалистическаго направленія, включая новѣйшую нѣмецкую научную философію. Шеллингъ породилъ Гегеля, но тотъ же Шеллингъ, черезъ посредство Окена и Каруса, связанъ съ новѣйшимъ естествознаніемъ, чего нельзя сказать о Гегелѣ, такъ какъ его діалектическое развитіе не имѣетъ ничего общаго съ органической эволюціей *).

Это разнообразіе путей, избираемыхъ философской мыслью, даже когда она отправляется отъ общаго источника, требуетъ отвѣта на вопросъ: почему въ данную эпоху побѣда въ борьбѣ за существованіе одерживается тою или другою системой? Одной ссылки на геніальность того или иного философа, конечно, недостаточно: часто мы видимъ, что философъ, мало повліявшій на современниковъ, впослѣдствіи признается геніемъ первой величины. Почему въ тридцатыхъ годахъ никто не признавалъ геніальности Шопенгауэра, такъ прославившагося въ болѣе позднюю эпоху, и почему въ то время царилъ Гегель, о которомъ въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ почти забыли? На эти и подобные вопросы можетъ быть только одинъ отвѣтъ: философія Гегеля, въ свое время, болѣе всякой другой удовлетворяла требованіямъ мыслящихъ людей. А это, въ свою очередь, объясняется совокупностью соціальныхъ и политическихъ условій того времени.

Гегель выступилъ въ эпоху политической реставраціи и общественной реакціи, послѣдовавшей за французской революціей и достигшей кульминаціоннаго пункта послѣ наполеоновскихъ войнъ. Революціонныя теоріи XVIII вѣка никого уже не удовлетворяли, но плодъ, выросшій отъ этого сѣмени, не могъ быть попросту отброшенъ. Возвратъ къ старинѣ сталъ немыслимъ. Чувствовалась потребность въ выработкѣ новой *положительной* системы, которая не могла отказаться отъ того, что было пріобрѣтено въ эпоху революціи, но въ то же время должна была выступить подъ флагомъ консерватизма. Такое поло-

*) См. мое сочиненіе: Философія дѣйствительности. Т. I. Предисловіе.

женіе заняла и философія Гегеля, по внѣшности крайне консервативная, даже преклонявшаяся передъ прусскимъ бюрократизмомъ, но скрывавшая въ себѣ радикальныя начала, хотя въ этомъ не хотѣлъ сознаться ея основатель. Еще при жизни Гегеля, одинъ изъ его даровитѣйшихъ учениковъ, Гансъ, огорчилъ учителя, сдѣлавъ крайне демократическіе выводы изъ его „философіи права". Здѣсь не мѣсто разбирать, кто былъ болѣе послѣдователенъ—учитель или радикальная фракція его учениковъ. Но важно помнить, что ученіе Гегеля далеко не относилось къ однимъ абстрактнымъ вопросамъ бытія, но сближало философію съ самыми жгучими вопросами своего времени.

Это одно уже привлекало современниковъ; но еще важнѣе было для нихъ то обстоятельство, которое теперь, упуская изъ виду историческія условія, часто ставятъ Гегелю въ укоръ, какъ главный недостатокъ его системы. Ученіе Гегеля не было критикой или даже теоріей познанія. Оно было всеобъемлющей положительной системой, пытавшейся дать отвѣты на всѣ вопросы, мучившіе современниковъ Гегеля. Но эти современники именно и жаждали найти цѣлостное міросозерцаніе, такъ какъ ихъ главной болѣзнью было внутреннее раздвоеніе, анархія мысли и чувства. То же стремленіе къ созданію всеобъемлющей положительной системы выразилось и въ ученіи современника Гегеля—Огюста Конта. Несмотря на все различіе принциповъ, метода и содержанія ученій Гегеля и Конта, у обоихъ философовъ есть одна общая черта: оба они не выступаютъ съ отрицаніемъ или простой критикой, но разсматриваютъ всю предыдущую исторію и всѣ прежнія философскія системы лишь какъ рядъ необходимыхъ моментовъ развитія.

Какъ въ Германіи, такъ и въ Россіи состояніе умовъ въ 30-хъ годахъ настоящаго столѣтія было таково, что чисто-критическая философія не могла удовлетворить жаждавшихъ истины. Въ Россіи западничество точно такъ же не было чистымъ отрицаніемъ, какъ и славянофильство. Если славянофилы отрицали Петра, то положительный элементъ они находили въ московской Руси; западники, обратно, видѣли положительныя начала въ петровской реформѣ и отрицали только татарско-византійскій идеалъ.

Оба направленія исходили отъ нѣмецкой философіи и были знакомы съ ученіями Фихте, Шеллинга и Гегеля; менѣе всего знали ученіе Канта, и удивляться этому трудно. Дуализмъ Канта менѣе всего былъ пригоденъ для поколѣнія, искавшаго примиренія между разумомъ и чувствомъ, пытавшагося найти мостъ между субъектомъ и объектомъ. Чисто теоретическая часть ученія Канта, съ ея полнымъ ниспроверженіемъ метафизики, была еще не по силамъ поколѣнію,

Историческая точка зрѣнія въ литературѣ предполагаетъ постоянное обращеніе къ исторіи и ведетъ къ раскрытію внутренней связи между литературнымъ развитіемъ и всѣмъ ходомъ исторіи даннаго народа. Оттуда у Бѣлинскаго въ этой статьѣ и въ другихъ постоянные экскурсы въ область русской исторіи, преимущественно „петербургскаго“ періода. Рѣдкая изъ его большихъ статей обходится безъ обращенія къ Петру Великому, культу котораго Бѣлинскій остался вѣренъ до конца. Въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ есть краснорѣчивыя страницы, посвященныя реформѣ Петра, вліянію Западной Европы, вѣку Екатерины Великой. При этомъ Бѣлинскій всегда старается уловить внутренній смыслъ историческаго момента, установить, такъ сказать, его философію и связать съ этою философіей изучаемыя явленія литературной исторіи.

Та же историческая точка зрѣнія приводитъ Бѣлинскаго къ опредѣленію относительнаго значенія писателей для своего времени,—и можно сказать, что среди современниковъ Бѣлинскаго едва ли найдется другой мыслитель, который бы такъ мѣтко, такъ вѣрно и удачно опредѣлялъ это значеніе и выяснялъ заслуги дѣятелей литературы и ихъ относительныя права на память въ потомствѣ, какъ это дѣлалъ Бѣлинскій. Въ этомъ отношеніи, конечно, XVIII вѣкъ привлекалъ особливое вниманіе Бѣлинскаго. Къ писателямъ этого вѣка онъ обращается во многихъ статьяхъ, нерѣдко входя въ большія подробности. Въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ отмѣтимъ мастерскія характеристики Ломоносова и Державина. Считаю излишнимъ подтверждать сказанное здѣсь цитатами: статья Бѣлинскаго слишкомъ хорошо должна быть извѣстна всякому образованному русскому, и всякій можетъ провѣрить наши слова — просмотрѣвъ лишній разъ это, можно сказать, классическое произведеніе, положившее начало не только русской критикѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и исторіи русской литературы.

Итакъ, мы находимъ у Бѣлинскаго въ его первой же статьѣ *историческую точку зрѣнія* (добавимъ, оплодотворенную философскимъ воззрѣніемъ на искусство и литературу). Излюбленный пріемъ, впервые примѣненный здѣсь Бѣлинскимъ и неизмѣнно повторяющійся въ его послѣдующихъ большихъ статьяхъ, состоитъ *въ обращеніи къ прошлому и освѣщеніи всего хода литературнаго развитія.*

Отмѣтимъ еще и то обстоятельство, что въ первой статьѣ Бѣлинскаго (а также и въ нѣкоторыхъ другихъ статьяхъ 30-хъ годовъ) какъ бы чувствуется близость XVIII-го вѣка, который, хотя и отошелъ въ прошлое, но съ которымъ все еще критику-историку приходится считаться. Литературное наслѣдіе XVIII-го вѣка еще не совсѣмъ

сдано въ архивъ и не стало исключительнымъ достояніемъ „кабинетныхъ“ ученыхъ. Споръ о томъ, былъ ли Ломоносовъ поэтъ или нѣтъ, еще сохраняетъ свою свѣжесть, свою современность. Опредѣленіе поэтическаго таланта Державина и критика его поэзіи, это — тема, которая далеко еще не стала, если можно такъ выразиться, „археологическою“.

Вторая по времени большая критическая статья Бѣлинскаго это— „О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя“ (1835 г.).

Она также начинается обращеніемъ къ прошлому, — указаніемъ на схоластическій и „тяжело-педантическій“ характеръ подражательной литературы прошлаго вѣка. Переходя къ отличительной чертѣ, характеризующей литературное развитіе, какъ западно-европейскихъ литературъ, такъ и русской въ XIX-мъ вѣкѣ, Бѣлинскій видитъ эту черту въ рѣшительномъ преобладаніи повѣсти и романа и вмѣстѣ съ тѣмъ въ стремленіи сблизить поэзію съ жизнью,—въ „реальномъ“ направленіи искусства. Въ интересахъ этого сближенія форма повѣсти и романа представляется наиболѣе удобною. Слѣдуетъ обстоятельное критическое изложеніе исторіи русской повѣсти, гдѣ даны характеристики и оцѣнки повѣстей Марлинскаго, Погодина, Полевого, Павлова и др., послѣ чего Бѣлинскій обращается къ Гоголю и даетъ нынѣ общепризнанное и чуть ли не во всѣхъ деталяхъ правильное опредѣленіе творческаго генія Гоголя.

Это въ высокой степени замѣчательная статья, образцовая съ точки зрѣнія вѣрности и мѣткости критическаго взгляда. И хотя бо́льшая часть ея занята разборомъ и выясненіемъ художественныхъ достоинствъ повѣстей Гоголя, но все-таки историческая точка зрѣнія не только не исключена, но даже, какъ мы видѣли, положена въ основаніе статьи.

Минуя періодъ конца 30-хъ годовъ, къ которому относится извѣстное, доведенное до крайности, „примиреніе“ Бѣлинскаго съ „дѣйствительностью“ и когда его литературная дѣятельность, уклонившись въ сторону отъ направленія историко-критическаго, выразилась въ рядѣ тенденціозно-полемическихъ статей, — перейдемъ къ 40-мъ годамъ и просмотримъ большія критическія статьи Бѣлинскаго, большею частью написанныя въ формѣ ежегодныхъ обозрѣній литературы.

Въ 1842 году онъ пишетъ обширную статью-обозрѣніе („Русская литература въ 1841 г.“, т. VI), отчасти напоминающую по основной мысли, а мѣстами и по тону, „Литературныя мечтанія“. Здѣсь опять находимъ оцѣнку писателей прошлаго вѣка и начала XIX-го (Сумарокова, Ломоносова, Державина, Княжнина, Капниста, Карамзина и

др.). Въ живой діалогической формѣ здѣсь опять „развѣнчиваются“ „геніи“ и „поэты“ до-Пушкинскаго періода и въ то же время указаны дѣйствительныя достоинства и историческія заслуги дѣятелей литературы, а также опредѣлены размѣры и характеръ поэтическаго дарованія тѣхъ изъ нихъ, которые обладали несомнѣнной „искрой Божьей“, какъ напр. Державинъ, Батюшковъ, Жуковскій. Діалогъ заканчивается блестящей характеристикой Пушкина. Вся эта—историческая—часть статьи занимаетъ 82 стран. Остальное (стр. 83—104) посвящено обзору литературныхъ явленій отчетнаго 1841 года.

Въ слѣдующей по времени статьѣ-обозрѣніи: „Русская литература въ 1842 г.“ (т. VII, стр. 1—55) нѣтъ такого обстоятельнаго историческаго введенія, какъ въ обозрѣніи 1841 г., но все-таки тамъ есть нѣкоторая „историческая справка“—о тѣхъ „обозрѣніяхъ литературы“, которыя писались еще въ 20-хъ годахъ. Первый началъ писать ихъ Марлинскій (стр. 10). Слѣдуетъ характеристика статей послѣдняго и оцѣнка ихъ значенія. Далѣе говорится объ „Обозрѣніи словесности 1829 года“ Ив. Кирѣевскаго и дана общая характеристика пріемовъ „критики“ этого, такъ сказать, архаическаго періода нашей критической литературы. Затѣмъ, также въ видѣ какъ бы „исторической справки“, нѣсколько страницъ посвящено русскому романтизму, какъ уже отжившему литературному направленію.

Непосредственно вслѣдъ за этой статьею въ томъ же VII томѣ находимъ обширный трактатъ, можно сказать, цѣлое критическое изслѣдованіе о поэзіи Державина, написанное по случаю выхода въ свѣтъ „Сочиненій Державина“ въ 1843 г. Статья занимаетъ почти 100 страницъ (55 — 151). Само собой разумѣется, Бѣлинскій становится здѣсь на историческую точку зрѣнія, которую въ самомъ началѣ статьи онъ формулируетъ такъ: „.....отъ смерти Державина едва прошло $^1/_4$ вѣка,—и несмотря на то, кажется, цѣлые вѣка легли между имъ и нами. Читая его стихотворенія, теперь уже почти ничего не понимаешь въ нихъ безъ историческихъ нравоописательныхъ комментарій на вѣкъ, котораго онъ былъ органомъ.....“ Но „.....вѣкъ, Екатерины приготовилъ вѣкъ Александра, приготовившій нашъ вѣкъ,—и между Державинымъ и поэтами нашего времени существуетъ та же кровно-родственная историческая связь, которая существуетъ и между этими тремя эпохами русской исторіи.....“ (стр. 55).

Переходимъ къ VIII-му тому, бо̀льшую часть котораго, какъ извѣстно, занимаетъ обширная монографія о Пушкинѣ, до сихъ поръ остающаяся незамѣненною, а можетъ быть, и незамѣнимою. Это — самое лучшее, самое вѣрное, самое глубокое, что̀ только было написано когда-либо о поэзіи величайшаго изъ нашихъ поэтовъ.

Этотъ, быть можетъ, важнѣйшій трудъ Бѣлинскаго есть настоящее *изслѣдованіе* и при томъ такое, въ которомъ ярко обнаруживается огромный историческій смыслъ, составлявшій отличительную особенность критическаго ума и таланта Бѣлинскаго. — Оно открывается обстоятельнымъ „Обозрѣніемъ русской литературы отъ Державина до Пушкина", занимающимъ болѣе 200 страницъ и раздѣленнымъ на двѣ главы: первая разсматриваетъ исторію новой русской литературы до Карамзина, вторая—отъ Карамзина до Пушкина. Перечитывая это „Обозрѣніе", мы лишній разъ убѣждаемся въ томъ, что Бѣлинскій былъ не только критикъ-философъ, но также или даже въ особенности критикъ-историкъ. Историческая точка зрѣнія проведена здѣсь съ рѣдкой послѣдовательностью, историческая перспектива выдержана такъ, какъ это удается только мыслителямъ съ прирожденнымъ дарованіемъ и чутьемъ историка. Задачу и планъ труда Бѣлинскій опредѣляетъ такъ: „Наблюдая за ходомъ отечественной литературы, мы, естественно, часто должны были въ прошедшемъ отыскивать причины настоящаго и *прозрѣвать въ историческую связь явленій.* Чѣмъ болѣе думали мы о Пушкинѣ, тѣмъ глубже прозрѣвали въ живую связь его съ прошедшимъ и настоящимъ русской литературы, и убѣждались, что писать о Пушкинѣ—значитъ писать о цѣлой русской литературѣ: ибо какъ прежніе писатели русскіе объясняютъ Пушкина, такъ Пушкинъ объясняетъ послѣдовавшихъ за нимъ писателей. Эта мысль сколько истинна, столько и утѣшительна: она показываетъ, что несмотря на бѣдность нашей литературы, въ ней есть жизненное движеніе и органическое развитіе, слѣдственно, у нея есть исторія....." (VIII, 98).—Вотъ именно это „жизненное движеніе и органическое развитіе" и прослѣжено въ „Обозрѣніи".

Историческая точка зрѣнія выдержана и въ отношеніи къ самому Пушкину — къ его поэтической дѣятельности, разсматриваемой an sich, помимо вопроса о ея исторической подготовкѣ и ея вліяніи на послѣдующее развитіе русской литературы. Бѣлинскій разбираетъ произведенія Пушкина—*строго придерживаясь хронологіи.* О безусловной необходимости этого пріема онъ самъ говоритъ въ главѣ IV-ой (стр. 308) такъ: „Приступая къ критическому обозрѣнію твореній Пушкина, мы будемъ строго держаться хронологическаго порядка, въ какомъ являлись они. Пушкинъ отъ всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ отличается именно тѣмъ, что по его произведеніямъ можно слѣдить за постепеннымъ развитіемъ его не только, какъ поэта, но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ человѣка и характера....".

Въ этой особенности Пушкина Бѣлинскій видитъ новое доказательство „органической жизненности его поэзіи".

И, слѣдуя этому принципу, Бѣлинскій начинаетъ изслѣдованіе поэзіи Пушкина разборомъ лицейскихъ стихотвореній. Читая этотъ разборъ, гдѣ критикъ съ большимъ мастерствомъ выдѣляетъ вліянія предшествующихъ Пушкину поэтовъ, мы еще разъ убѣждаемся въ томъ, что Бѣлинскій, по прирожденнымъ качествамъ своего ума, былъ прежде всего историкъ. Не лишне обратить вниманіе на ту легкость или какъ бы непроизвольность, съ какою онъ съ самаго начала находитъ вѣрный путь, становясь сразу на хронологическую точку зрѣнія. Намъ кажется, какъ будто онъ это сдѣлалъ нечаянно, или словно это само собою у него такъ вышло. Давно извѣстно, что простыя и вѣрныя мысли обыкновенно являются послѣдними, послѣ долгихъ исканій и блужданій вкривь и вкось. Но Бѣлинскій принадлежалъ къ числу тѣхъ избранниковъ, у которыхъ эти простыя и вѣрныя мысли являются въ самомъ началѣ, почему умамъ этого рода и не приходится блуждать и пробираться къ цѣли окольными путями: они идутъ прямою дорогой, которую сами же впервые и прокладываютъ въ дѣвственной чащѣ непочатыхъ вопросовъ.

Мы не будемъ слѣдить дальше изъ главы въ главу за этимъ капитальнымъ трудомъ Бѣлинскаго. Для нашей цѣли достаточно только указать или, лучше, напомнить читателю, что въ этомъ трудѣ дана, при соблюденіи строгаго хронологическаго принципа, настоящая *исторія развитія* поэтическаго генія Пушкина. Это—не собраніе болѣе или менѣе вѣрныхъ замѣчаній или опредѣленій того, что Бѣлинскій называлъ „паѳосомъ“ Пушкина, это—не только критическая оцѣнка достоинствъ и недостатковъ различныхъ произведеній Пушкина, это — прежде всего мастерское изслѣдованіе процесса постепеннаго роста художественныхъ силъ Пушкина, процесса, который прослѣженъ здѣсь во всѣхъ его фазисахъ.

Напомню также, что для Бѣлинскаго Пушкинъ прежде всего — великій національный русскій поэтъ, совершившій великое историческое дѣло созданія русской національной поэзіи.

Историческая точка зрѣнія, требующая обращенія къ прошлому и выясненія связи настоящаго съ этимъ прошлымъ, введена и въ обозрѣніе русской литературы за 1844 г. (т. IX, стр. 227—309). Въ началѣ этой статьи, посвященной главныхъ образомъ разбору стихотвореній Языкова и Хомякова, находимъ слѣдующее любопытное замѣчаніе: „Читатели наши знаютъ, что бо̀льшая часть этихъ годичныхъ обозрѣній постоянно наполнялась разсужденіями вообще о русской литературѣ и, слѣдов., о всѣхъ русскихъ писателяхъ, отъ Кантемира и Ломоносова до настоящей минуты; а взглядъ на прошлогоднюю литературу—главный предметъ статьи—всегда занималъ ея

мѐньшую часть. Подобныя отступленія отъ главнаго предмета необходимы по двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому что настоящее объясняется только прошедшимъ, и потому что по поводу цѣлой русской литературы еще можно написать не одну, а даже и нѣсколько статей, болѣе или менѣе интересныхъ; но о русской литературѣ за тотъ или другой годъ, право, не о чемъ слишкомъ много или слишкомъ интересно разговориться".

Обозрѣніе русской литературы въ 1845 г. (т. X, стр. 269—308), посвященное успѣхамъ основанной Гоголемъ реальной школы, лишь мимоходомъ заглядываетъ въ прошлое, резюмируя на нѣсколькихъ страницахъ историческую смѣну литературныхъ направленій, отъ ложноклассическаго до реальнаго.

За-то въ слѣдующемъ 1847 году Бѣлинскій даетъ тому же сюжету гораздо болѣе обстоятельное развитіе въ статьѣ „Взглядъ на русскую литературу 1846 года", начинающейся такъ: „Настоящее есть результатъ прошедшаго и указаніе на будущее. Поэтому говорить о русской литературѣ 1846 г. значитъ говорить о современномъ состояніи русской литературы вообще, чего нельзя сдѣлать, не коснувшись того, чѣмъ она была, чѣмъ должна быть". Историческая часть статьи наполнена изложеніемъ взгляда Бѣлинскаго на значеніе Ломоносова, какъ основателя новой русской литературы, какъ ея Петра Великаго, и полемикою съ славянофилами по вопросу о Петровской реформѣ (т. XI, стр. 1 и сл.).

Послѣднее изъ написанныхъ Бѣлинскимъ годичныхъ обозрѣній есть „Взглядъ на русскую литературу въ 1847 г." (т. XI, стр. 315—436). Это въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ замѣчательнѣйшее изъ обозрѣній Бѣлинскаго разбито на двѣ большія главы. Въ первой Бѣлинскій устанавливаетъ понятіе органическаго прогресса въ литературѣ и умственной жизни общества и развиваетъ свой взглядъ на основанную Гоголемъ *натуральную* школу, появленіе которой было знаменіемъ совершившагося прогресса. Вторая глава сперва трактуетъ о романѣ и повѣсти вообще, а потомъ обращается къ разбору произведеній Искандера, Гончарова, Тургенева, Даля и др. Здѣсь мы находимъ замѣчательный (это, какъ извѣстно, одно изъ образцовыхъ произведеній русской литературной критики) разборъ „Кто виноватъ?" Искандера и „Обыкновенной исторіи" Гончарова и мѣткое сравненіе дарованій этихъ двухъ писателей.

Въ XII-мъ томѣ укажемъ на два отрывка: 1) „Общее значеніе литературы" (стр. 393—447) и 2) „Общій взглядъ на народную поэзію и ея значеніе" (стр. 448—455), которые, по мысли Бѣлинскаго, должны были войти въ задуманную имъ „Критическую исторію русской ли-

тературы". Это, конечно, тотъ трудъ, о которомъ онъ упоминаетъ въ рецензіи на „Опытъ исторіи русской литературы" профессора Никитенка (1845 г., т. IX, стр. 370 *).

Этотъ бѣглый пересмотръ важнѣйшихъ большихъ статей Бѣлинскаго приводитъ къ заключенію, что въ самомъ основаніи критической работы Бѣлинскаго лежалъ *историческій взглядъ* на явленія русской литературы. Кромѣ тонкаго и поразительно-вѣрнаго *художественнаго чутья*, кромѣ выдающагося *философскаго дарованія* и кромѣ тѣхъ качествъ, которыя могли бы, при благопріятствующихъ условіяхъ, выразиться въ блестящей *публицистической* дѣятельности, нашъ первый критикъ былъ надѣленъ еще необыкновеннымъ *историческимъ чутьемъ и смысломъ*. По условіямъ времени, въ особенности же въ силу потребностей только-что начинавшаго развиваться національнаго самосознанія, этотъ послѣдній даръ—историческаго пониманія вещей—и долженъ былъ выступить въ дѣятельности критика на первый планъ. Благодаря ему главнымъ образомъ, а не другимъ своимъ дарованіямъ, Бѣлинскій и могъ такъ правильно оцѣнивать, такъ отчетливо разъяснять смыслъ и значеніе совершавшихся литературныхъ „событій", великихъ и малыхъ. Благодаря этому дару, онъ и могъ такъ глубоко проникать въ ходъ вещей и такъ мѣтко опредѣлять пути литературной эволюціи, понимаемой какъ одно изъ проявленій и вмѣстѣ орудій развивающагося національнаго самосознанія. Поэтому, не взирая на то, что критика Бѣлинскаго изобилуетъ элементами философскими и эстетическими, и что ей далеко не чужды, съ одной стороны, психологическій анализъ, съ другой—направленіе публицистическое, мы все-таки скажемъ, что въ существѣ дѣла Бѣлинскій не былъ критикъ-философъ, эстетикъ, психологъ и публицистъ, а что онъ былъ по преимуществу *критикъ-историкъ*, и что въ русской литературѣ ему должно быть отведено почетное мѣсто не только какъ основателю нашей литературной критики, но и какъ писателю, которому принадлежитъ починъ въ установленіи основъ раціональной исторіи новой русской литературы.

Д. Овсянико-Куликовскій.

---

*) „.... Къ этому (появленіе „Опыта" Никитенка и—раньше—историко-литературныхъ статей Шевырева) мы можемъ присовокупить, что готовится и еще сочиненіе по тому же предмету, подъ именемъ „Критической исторіи русской литературы" (преимущественно новой) съ обозрѣніемъ, въ видѣ введенія, произведеній народной поэзіи; впрочемъ мы ничего не можемъ сказать положительнаго о времени выхода этого сочиненія".

ГЕГЕЛЬ И БѢЛИНСКІЙ ОБЪ ИСКУССТВѢ.

Чѣмъ объяснить необычайный успѣхъ, которымъ пользовалась въ свое время философія Гегеля въ Германіи и внѣ ея предѣловъ? На этотъ вопросъ до-сихъ-поръ не дано полнаго отвѣта.

Въ настоящее время философія Гегеля почти забыта. Многіе воображаютъ, что все ученіе Гегеля сводится къ отрицанію закона противорѣчія, и при томъ въ смыслѣ явно нелѣпаго утвержденія, что какая-либо вещь А. равна своему собственному отрицанію, т.-е. не-А. Если бы Гегель утверждалъ что-либо подобное относительно конкретныхъ вещей, то пришлось бы только изумиться легковѣрію и малой проницательности десятковъ и сотенъ мыслящихъ людей, считавшихъ Гегеля геніальнымъ философомъ *).

Оспаривать подобныя сужденія о Гегелѣ не стоитъ труда. Но, во всякомъ случаѣ, обаяніе, которымъ нѣкогда пользовалась забытая теперь философія Гегеля, можетъ показаться загадочнымъ.

Простѣйшимъ разрѣшеніемъ этой загадки является, повидимому, утвержденіе, повторяемое большинствомъ историковъ философіи, и состоящее въ томъ, что появленіе системы Гегеля было неизбѣжнымъ и что философія Гегеля является послѣднимъ звеномъ въ ряду, идущемъ отъ Канта къ Фихте, отъ Фихте къ Шеллингу и, наконецъ, отъ Шеллинга къ Гегелю. Но эта генеалогія вовсе не объясняетъ причины *успѣха* философіи Гегеля. Преемственная связь между различными философскими системами, конечно, не подлежитъ спору и пред-

---

*) Желающіе понять истинный смыслъ утвержденія Гегеля, что бытіе и ничто есть одно и то же, могутъ обратиться къ болѣе популярному изложенію его логики, находящемуся въ „Энциклопедіи философскихъ наукъ". Hegel's Werke, VI Bd. Berl. 1843, S. 172—173. Гегель ясно высказываетъ, что утверждаемое имъ тожество относится лишь къ *абстракціямъ*, а никакъ не къ чему-либо конкретному. Можно, подобно намъ, отвергать цѣликомъ основныя начала философіи Гегеля, но едва ли умѣстно навязывать Гегелю логику, непримѣняемую даже въ домѣ умалишенныхъ,

ставляетъ значительный интересъ; но эта связь не создаетъ прямолинейнаго ряда. Подобно тому, какъ въ органическомъ мірѣ, отъ одной первичной формы, въ силу различныхъ внутреннихъ и внѣшнихъ условій развитія, происходятъ разнообразныя породы и разновидности, такъ и въ мірѣ идей, одна философская система является исходнымъ пунктомъ развитія, идущаго разными путями, дающаго многочисленныя главныя и побочныя вѣтви. Такъ, философія Сократа породила множество философскихъ школъ — платонизмъ наравнѣ съ цинизмомъ и съ школою киренаиковъ. Точно также и Кантъ, породившій Фихте съ его субъективнымъ идеализмомъ, въ то же время былъ родоначальникомъ реалистическаго направленія, включая новѣйшую нѣмецкую научную философію. Шеллингъ породилъ Гегеля, но тотъ же Шеллингъ, черезъ посредство Окена и Каруса, связанъ съ новѣйшимъ естествознаніемъ, чего нельзя сказать о Гегелѣ, такъ какъ его діалектическое развитіе не имѣетъ ничего общаго съ органической эволюціей *).

Это разнообразіе путей, избираемыхъ философской мыслью, даже когда она отправляется отъ общаго источника, требуетъ отвѣта на вопросъ: почему въ данную эпоху побѣда въ борьбѣ за существованіе одерживается тою или другою системой? Одной ссылки на геніальность того или иного философа, конечно, недостаточно: часто мы видимъ, что философъ, мало повліявшій на современниковъ, впослѣдствіи признается геніемъ первой величины. Почему въ тридцатыхъ годахъ никто не признавалъ геніальности Шопенгауэра, такъ прославившагося въ болѣе позднюю эпоху, и почему въ то время царилъ Гегель, о которомъ въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ почти забыли? На эти и подобные вопросы можетъ быть только одинъ отвѣтъ: философія Гегеля, въ свое время, болѣе всякой другой удовлетворяла требованіямъ мыслящихъ людей. А это, въ свою очередь, объясняется совокупностью соціальныхъ и политическихъ условій того времени.

Гегель выступилъ въ эпоху политической реставраціи и общественной реакціи, послѣдовавшей за французской революціей и достигшей кульминаціоннаго пункта послѣ наполеоновскихъ войнъ. Революціонныя теоріи XVIII вѣка никого уже не удовлетворяли, но плодъ, выросшій отъ этого сѣмени, не могъ быть попросту отброшенъ. Возвратъ къ старинѣ сталъ немыслимъ. Чувствовалась потребность въ выработкѣ новой *положительной* системы, которая не могла отказаться отъ того, что было пріобрѣтено въ эпоху революціи, но въ то же время должна была выступить подъ флагомъ консерватизма. Такое поло-

*) См. мое сочиненіе: Философія дѣйствительности. Т. I. Предисловіе.

женіе заняла и философія Гегеля, по внѣшности крайне консервативная, даже преклонявшаяся передъ прусскимъ бюрократизмомъ, но скрывавшая въ себѣ радикальныя начала, хотя въ этомъ не хотѣлъ сознаться ея основатель. Еще при жизни Гегеля, одинъ изъ его даровитѣйшихъ учениковъ, Гансъ, огорчилъ учителя, сдѣлавъ крайне демократическіе выводы изъ его „философіи права". Здѣсь не мѣсто разбирать, кто былъ болѣе послѣдователенъ—учитель или радикальная фракція его учениковъ. Но важно помнить, что ученіе Гегеля далеко не относилось къ однимъ абстрактнымъ вопросамъ бытія, но сближало философію съ самыми жгучими вопросами своего времени.

Это одно уже привлекало современниковъ; но еще важнѣе было для нихъ то обстоятельство, которое теперь, упуская изъ виду историческія условія, часто ставятъ Гегелю въ укоръ, какъ главный недостатокъ его системы. Ученіе Гегеля не было критикой или даже теоріей познанія. Оно было всеобъемлющей положительной системой, пытавшейся дать отвѣты на всѣ вопросы, мучившіе современниковъ Гегеля. Но эти современники именно и жаждали найти цѣлостное міросозерцаніе, такъ какъ ихъ главной болѣзнью было внутреннее раздвоеніе, анархія мысли и чувства. То же стремленіе къ созданію всеобъемлющей положительной системы выразилось и въ ученіи современника Гегеля—Огюста Конта. Несмотря на все различіе принциповъ, метода и содержанія ученій Гегеля и Конта, у обоихъ философовъ есть одна общая черта: оба они не выступаютъ съ отрицаніемъ или простой критикой, но разсматриваютъ всю предыдущую исторію и всѣ прежнія философскія системы лишь какъ рядъ необходимыхъ моментовъ развитія.

Какъ въ Германіи, такъ и въ Россіи состояніе умовъ въ 30-хъ годахъ настоящаго столѣтія было таково, что чисто-критическая философія не могла удовлетворить жаждавшихъ истины. Въ Россіи западничество точно такъ же не было чистымъ отрицаніемъ, какъ и славянофильство. Если славянофилы отрицали Петра, то положительный элементъ они находили въ московской Руси; западники, обратно, видѣли положительныя начала въ петровской реформѣ и отрицали только татарско-византійскій идеалъ.

Оба направленія исходили отъ нѣмецкой философіи и были знакомы съ ученіями Фихте, Шеллинга и Гегеля; менѣе всего знали ученіе Канта, и удивляться этому трудно. Дуализмъ Канта менѣе всего былъ пригоденъ для поколѣнія, искавшаго примиренія между разумомъ и чувствомъ, пытавшагося найти мостъ между субъектомъ и объектомъ. Чисто теоретическая часть ученія Канта, съ ея полнымъ ниспроверженіемъ метафизики, была еще не по силамъ поколѣнію,

чуждому вопросовъ естествознанія. Практическая же философія Канта, опирающаяся на признаніе сверхчувственнаго міра, разрывала надвое то, что въ жизни было неразрывнымъ. Наоборотъ, въ ученіи Гегеля, несмотря на всю возвышенность „абсолютной идеи", переходъ отъ нея къ міру земныхъ радостей и скорбей былъ необычайно простъ. И въ этой близости „абсолюта" къ обыденной дѣйствительности— вотъ въ чемъ вся сила, но и вся слабость философіи Гегеля....

Ученіе, дававшее своимъ адептамъ ключъ для рѣшенія всѣхъ вопросовъ природы и духа, всего, что встрѣчалось въ общественной и даже личной жизни, — эта стройная и цѣльная система должна была обладать неотразимой притягательной силой, привлекавшей поколѣніе, измученное раздвоеніемъ, сомнѣніемъ, усталое отъ „рефлексіи", зачитывавшееся „Вертеромъ" Гёте и поэмами Байрона. И особенно сильно и неотразимо было вліяніе такой законченной и на все отвѣчающей системы тамъ, гдѣ, какъ у насъ въ Россіи, не существовало ни философской традиціи, ни самостоятельной философской критики, какая не замедлила явиться по отношенію къ Гегелю въ его собственномъ отечествѣ. У насъ Гегель сталъ не просто главою вліятельной философской школы, но оракуломъ цѣлаго поколѣнія.

Изученіе философіи Гегеля началось у насъ, главнымъ образомъ, въ кружкѣ Станкевича, къ которому принадлежалъ и Бѣлинскій. Извѣстно, что Бѣлинскій, по незнанію нѣмецкаго языка, могъ ознакомиться съ Гегелемъ лишь изъ вторыхъ рукъ, главнымъ образомъ, чрезъ посредство друзей. Отсюда возникло мнѣніе, все еще порою повторяемое, что Бѣлинскій, будто бы, почти не зналъ или не понялъ Гегеля.

Несомнѣнно, что знакомство съ Гегелемъ изъ вторыхъ рукъ не могло замѣнить для Бѣлинскаго чтенія подлинника. Такъ напр., ученіе Гегеля о „разумной дѣйствительности" первоначально было усвоено Бѣлинскимъ въ извращенномъ видѣ, главнымъ образомъ, благодаря Бакунину, который, ссылаясь на Гегеля, доказывалъ разумность всѣхъ существующихъ гнусностей. Однако, мало-по-малу, отчасти съ помощью Герцена и другихъ членовъ кружка, частью же вслѣдствіе своей способности схватывать мысль по немногимъ намекамъ, Бѣлинскій не только постигъ смыслъ „разумной дѣйствительности", но прошелъ и тѣ ступени эволюціи философской мысли, которыя почти одновременно были пройдены въ самой Германіи представителями радикальнаго гегельянства.

Увлеченіе философіей Гегеля не было у насъ случайною модою или чисто внѣшнимъ наносомъ. Эта философія выполнила въ Россіи великую историческую миссію. Она не только удовлетворила жаждѣ

теоретическаго знанія, не только дала отвѣты на запросы, соотвѣтствующіе „глубочайшимъ потребностямъ духа". Философія Гегеля вообще была первою философскою системой, усвоенною у насъ настолько, что явилась возможность связать ее съ вопросами, предъявленными самою жизнью. Она впервые позволила русскимъ мыслящимъ людямъ разобраться въ вопросахъ объ отношеніи индивидуальнаго къ общему, личнаго къ общественному, народнаго къ общечеловѣческому. Она поставила на очередь вопросъ о правахъ самой мысли и высоко подняла культъ разума. Пусть Гегель ошибался, приписывая разуму всемогущество, которымъ онъ не обладаетъ; но гордая самоувѣренность разума была въ высшей степени важна тамъ, гдѣ, какъ напр. въ самомъ отечествѣ Гегеля и еще болѣе въ Россіи, общественныя условія далеко не благопріятствовали господству разума. И каковы бы ни были недостатки „абсолютнаго идеализма", ему наша „интеллигенція" обязана значительною долей своего самосознанія, и эта заслуга русскаго гегельянства никогда не будетъ забыта безпристрастной исторіей.

Съ этой точки зрѣнія можно привести не мало любопытныхъ параллелей между философіей Гегеля и литературной критикой Бѣлинскаго *). Но здѣсь мы ограничимъ нашу задачу и разсмотримъ лишь одну сторону этой параллели, а именно сравнимъ философію искусства въ системѣ Гегеля съ эстетическими воззрѣніями, положенными въ основу критики Бѣлинскаго.

Эстетика Гегеля вытекаетъ изъ его философіи духа. По ученію Гегеля, духъ проходитъ три стадіи развитія. Первую ступень составляетъ субъективный духъ, дѣятельность котораго сводится исключительно къ самопостиженію. Онъ поэтому свободенъ лишь самъ по себѣ, но не по отношенію къ окружающему міру. Вторую ступень составляетъ объективный духъ: этотъ духъ есть уже *личность*. Онъ сознаетъ внѣшнія условія своей свободы и свою неприкосновенность по отношенію къ другимъ личностямъ. Онъ обладаетъ сознаніемъ дѣйствительности, какъ міра, имъ самимъ созданнаго, и познаетъ законы этой дѣйствительности. Объективный духъ не просто свободенъ самъ по себѣ, но свободенъ по отношенію къ внѣшнему міру, и сознаетъ эту свободу, какъ необходимость, т.-е. какъ законъ дѣйствительности.

Но и эта объективная свобода еще не полна и чисто-формальна. Завершеніе развитія духа достигается лишь на третьей стадіи развитія. Міръ еще разъ долженъ быть „отпущенъ на свободу" духомъ;

*) Ср. мои статьи о Бѣлинскомъ въ „Научномъ Обозрѣніи" 1897 года.

это мы и видимъ на стадіи абсолютнаго духа, къ области котораго относятся искусство, религія и философія.

Изъ этого уже видно, какъ высоко ставитъ Гегель искусство. Для оцѣнки значенія, придаваемаго имъ искусству, слѣдуетъ напомнить, что къ области объективнаго духа, стоящей, слѣдовательно, ступенью ниже, нежели область искусства, Гегелемъ отнесены право, мораль, семейныя и общественныя отношенія и государственное бытіе. Итакъ, по ступени духовнаго развитія, искусство выше морали, выше государственности. Мы можемъ, конечно, отвергнуть основы философіи Гегеля, можемъ отрицать самое существованіе „абсолютнаго духа"; но все же отъ утвержденій Гегеля останется мысль, которою можетъ воспользоваться и наиболѣе реалистическая эстетика. Мы видимъ, что по Гегелю искусство не можетъ быть подчинено морали, такъ какъ само стоитъ выше ея формальнаго ограниченія свободы, но отсюда не слѣдуетъ, что истинное искусство можетъ быть безнравственнымъ. Такъ какъ область искусства выше области условной морали, то отсюда, наоборотъ, слѣдуетъ, что все истинно художественное тѣмъ самымъ уже нравственно. Это мысль, угаданная, а можетъ быть и независимо отъ Гегеля высказанная Бѣлинскимъ въ одной изъ его статей.

Гегелевскій идеализмъ не только не враждебенъ реалистической теоріи искусства, но, въ концѣ концовъ, неизбѣжно приводитъ къ реализму. Въ „абсолютѣ" гегелевской философіи скрывалось начало, которое прямо сближало искусство съ дѣйствительностью. Основнымъ признакомъ абсолютной идеи является ея *конкретность*. Эта конкретность, сближающая абсолютъ съ дѣйствительностью, особенно важна для гегелевской философіи искусства.

Содержаніе искусства не имѣетъ ничего общаго съ пустыми абстраціями. По замѣчанію Гегеля, никакая абстракція не можетъ быть предметомъ художественнаго творчества, какъ не былъ такимъ предметомъ абстрактный іудейскій Богъ. Конкретному *содержанію* искусства должна соотвѣтствовать и индивидуальная, чувственно-конкретная форма *). Сообразно съ этимъ, и талантъ художника долженъ быть отзывчивъ не на призрачное, а на дѣйствительное. Творческая фантазія художника не безумный бредъ, не безсознательная фантазія сновидца. Ея первымъ условіемъ является схватываніе живой дѣйствительности. Внимательно прислушиваясь и вдумчиво всматриваясь, художникъ долженъ напечатлѣть въ умѣ разнообразныя картины. Онъ долженъ обладать памятью, достаточно сильною для того, чтобы

*) Hegel's Aesthetik, 2 Aufl. Werke, X, 90.

удержать эти образы въ воспоминаніи. Художникъ не можетъ ограничиться самодѣльными фантазіями: отъ пошлыхъ такъ называемыхъ „идеаловъ“ онъ долженъ обратиться къ дѣйствительности и лишь отправляясь отъ нея достичь идеала. Идеальничанье въ самомъ началѣ въ искусствѣ всегда подозрительно, такъ какъ художникъ долженъ черпать изъ полноты жизни, а не изъ полноты абстрактной общности. Онъ долженъ много видѣть, много слышать и, главное, много запоминать *).

Изъ этихъ требованій вытекаетъ опредѣленіе искусства. Подобно религіи и философіи, искусство относится къ области абсолютнаго духа, т.-е. соотвѣтствуетъ высшей ступени сознанія и свободы; но отъ религіи и отъ философіи искусство отличается тѣмъ, что представляетъ конкретное созерцаніе идеала, т.-е. формы, обладающей признакомъ красоты—физической или духовной.

Идеалъ, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь, очевидно не есть что-либо противоположное дѣйствительности или отъ нея отрѣшенное. Наоборотъ, по опредѣленію Гегеля, идеалъ, который долженъ быть осуществленъ художественнымъ произведеніемъ, есть осуществленіе идеи въ дѣйствительности; но для дѣйствительнаго существованія самого человѣка необходимъ окружающій міръ, „какъ храмъ для статуи божества“ (по выраженію Гегеля): поэтому идеалъ связанъ съ внѣшнимъ міромъ безчисленными нитями.

Лишь туманное представленіе объ идеальномъ приводитъ, по словамъ Гегеля, къ ошибочной мысли, будто искусство должно отрѣзать для себя всякій путь къ установленію связи съ міромъ „относительнаго“. Призракъ такой фальшивой „идеальности“ есть абстракція новѣйшаго субъективизма, которому, при подобномъ отрѣшеніи отъ дѣйствительности, остается лишь погрузиться во внутренній міръ своихъ чувствъ, откуда онъ уже неспособенъ выбраться. И въ этомъ мірѣ призрачности, такой субъективистъ считаетъ себя всезнающимъ, взирая только на небо и воображая, что онъ поэтому въ правѣ пренебрегать всѣмъ земнымъ.

Таково чисто-теоретическое рѣшеніе вопроса о субъективизмѣ въ искусствѣ, данное Гегелемъ. Для него этотъ вопросъ не представлялъ, впрочемъ, особой трудности, такъ какъ философія Гегеля заранѣе исключала и крайности субъективизма, погружающагося въ свой внутренній міръ, и то пренебреженіе къ требованіямъ субъекта, которое могло быть приписано Гегелю лишь по недоразумѣнію; а именно вслѣдствіе смѣшенія абстрактной общности съ живою конкретною

*) Hegel's Werke, X, 353—4.

идеей. Абсолютная идея должна совмѣщать субъективный міръ съ объективнымъ и о поглощеніи въ ней субъекта объектомъ не можетъ быть и рѣчи. Когда Бѣлинскій, въ эпоху реакціи противъ взглядовъ, высказанныхъ имъ по поводу „Бородинской годовщины", упрекнулъ философію Гегеля въ пристрастіи къ „общему" и въ умаленіи правъ субъекта, — то онъ былъ рѣшительно не правъ. Непосредственное знакомство съ „Философіей духа" и съ „Эстетикой" Гегеля убѣдило бы его въ томъ, что Гегель совсѣмъ иначе относился къ правамъ субъекта, и что взгляды Гегеля были очень близки къ тѣмъ, которые выработались у Бѣлинскаго по минованіи мучительнаго кризиса. Восторжествовавъ надъ той объективностью, которая смѣшивала призрачную дѣйствительность съ дѣйствительностью, возсозданною разумомъ, Бѣлинскій достигъ гегелевской ступени „абсолютнаго духа". И именно поэтому онъ не могъ остановиться на другой крайности, т.-е. впасть въ узкій субъективизмъ, утрачивающій всякое сознаніе своей связи съ „общимъ". Подобно Гегелю, Бѣлинскій видѣлъ, что субъективность, рефлексія, господствующая въ новѣйшей поэзіи, имѣетъ цѣну только потому, что вытекаетъ изъ условій самой современной жизни, уже не допускающей олимпійскаго спокойствія греческаго искусства. Вмѣстѣ съ Гегелемъ, Бѣлинскій усматривалъ и опасную сторону этой субъективности, погубившей столько среднихъ дарованій. Лишь тѣ поэты, въ чьей личности сосредоточивается „общее", свойственное ихъ эпохѣ, могутъ быть субъективными, не впадая при этомъ въ узкую ограниченность, воображающую, что ея личныя скорби и сомнѣнія составляютъ самое важное. Этотъ мелочной субъективизмъ былъ осужденъ уже Лермонтовымъ въ стихахъ, цитируемыхъ Бѣлинскимъ:

Какое дѣло намъ—страдалъ ты или нѣтъ,
На что намъ знать твои сомнѣнья,
Надежды глупыя первоначальныхъ лѣтъ,
Разсудка злыя сожалѣнья...

Но вопросъ о „субъектѣ" и его отношеніи къ „общему" былъ разсмотрѣнъ какъ Гегелемъ, такъ и Бѣлинскимъ не только съ точки зрѣнія феноменологіи или, какъ мы бы теперь сказали, внутренней эволюціи духа. Вопросъ этотъ можно разсмотрѣть и чисто-исторически, посредствомъ сравнительнаго изученія различныхъ эпохъ. Въ современномъ государствѣ,—а съ точки зрѣнія Гегеля государство является высшимъ выраженіемъ общественности (хотя далеко не высшею областью дѣятельности духа),—въ государствѣ индивидуумъ состав-

ляетъ лишь ограниченную часть цѣлаго, какъ вслѣдствіе раздѣленія труда, такъ и потому, что всякая крупная дѣятельность въ государствѣ требуетъ сотрудничества многихъ. Даже кара за обиду, нанесенную частному лицу, становится дѣломъ не частныхъ лицъ, а учрежденій. Въ героическія времена, наоборотъ, всѣ общественныя функціи исходили изъ дѣятельности частныхъ лицъ; герои цѣликомъ создавали для себя свое право: отъ нихъ исходили и законъ, и нравственность. Отсюда — самостоятельность и развитіе мощной индивидуальности, съ которыми, по мнѣнію Гегеля, ничто не можетъ сравниться въ наше время. Гегель, однако, упускаетъ изъ виду, что въ героическія времена свободу личности стѣсняли многія путы, значительно ослабѣвшія благодаря успѣхамъ цивилизаціи. Иго преданія, давленіе общественнаго мнѣнія — никакъ не меньше узъ, налагаемыхъ на личность новѣйшимъ государствомъ. Но Гегель остается вѣренъ самому себѣ, когда, сравнивая нашу эпоху съ героическою, находитъ, что въ современной дѣйствительности сфера идеальныхъ образовъ значительно сократилась, и когда утверждаетъ, что это роковымъ образомъ привело къ господству въ поэтическомъ творчествѣ „рефлексіи". „Идеальныя семейныя добродѣтели" рѣдко доставляютъ глубокое содержаніе; остается, главнымъ образомъ, субъективная сторона — настроеніе. Отсюда субъективизмъ новѣйшаго искусства.

Правда, въ юношескихъ произведеніяхъ Шиллера и Гёте мы видимъ попытку найти иной исходъ для искусства, а именно, возстановить права личной самостоятельности. Но какой цѣной дается это, напр., Шиллеру въ его юношескихъ произведеніяхъ! Карлъ Мооръ возстаетъ противъ всякаго гражданскаго порядка. Онъ, по замѣчанію Гегеля, самъ себя переноситъ въ героическую эпоху, дѣлаетъ себя возстановителемъ попранныхъ правъ и достигаетъ цѣли лишь посредствомъ ряда преступленій. Только въ Фіеско и въ Донъ-Карлосѣ Шиллеръ возвышаетъ героическій элементъ, ставя на мѣсто личныхъ обидъ и разбойничьихъ идеаловъ, способныхъ увлечь лишь мальчишекъ, стремленія высшаго порядка. Такъ напр., въ Фіеско мы находимъ идею освобожденія отечества, т.-е. идею съ „субстанціальнымъ содержаніемъ".

Здѣсь Гегель рѣшаетъ вопросъ о субъективизмѣ, долго терзавшій Бѣлинскаго, который колебался между восторженнымъ поклоненіемъ Шиллеру, какъ „благородному адвокату человѣчества", и отрицательнымъ отношеніемъ къ субъективизму, рѣзко выразившемуся особенно въ юношескихъ драмахъ Шиллера. Еще до увлеченія мнимо-разумной дѣйствительностью, Бѣлинскій относился довольно отрицательно

къ первымъ произведеніямъ Шиллера, не исключая Фіеско; въ эпоху „Бородинской годовщины“ Бѣлинскій почти возненавидѣлъ Шиллера. Позднѣе, вновь примирившись съ германскимъ поэтомъ, Бѣлинскій рѣшилъ вопросъ о поэзіи Шиллера въ томъ же смыслѣ, какъ это было сдѣлано Гегелемъ. Онъ понялъ, что если въ субъективномъ настроеніи поэта отражается міровая скорбь, то его произведенія, будучи субъективными, останутся художественными.

Историческая конструкція эстетики у Бѣлинскаго нѣсколько отличается отъ той, которая дана Гегелемъ. Въ особенности это слѣдуетъ сказать объ отношеніи Бѣлинскаго къ героическому эпосу. Уже русскій былинный эпосъ помогъ Бѣлинскому усмотрѣть, что героическія эпохи не всегда блещутъ высокимъ уровнемъ развитія индивидуальности. Но ту же точку зрѣнія Бѣлинскій примѣняетъ и къ античному міру. Въ Иліадѣ Бѣлинскій видитъ не самостоятельную дѣятельность индивидуумовъ, но владычество судьбы *). Патроклъ *долженъ* погибнуть по предназначенію судьбы, Ахиллъ *долженъ* отомстить убійцѣ своего друга. Убивъ Гектора, онъ *долженъ* пасть отъ стрѣлы Париса, направленной Фебомъ. „Изъ всего этого ясно, что герой поэмы не Ахиллъ: ибо онъ какъ будто лишенъ свободной воли, дѣйствуетъ не отъ себя, но только выполняетъ волю другой, высшей себя и неотразимой воли“. „Что же такое эта судьба? Это—понятіе грековъ о томъ, что́ мы называемъ разумной необходимостью, законами дѣйствительности, соотношеніемъ между причиной и слѣдствіемъ; словомъ, объективное дѣйствіе, которое развивается и идетъ себѣ, движимое внутренней силой своей разумности, подобно паровой машинѣ — идетъ, не останавливаясь и не совращаясь съ пути, встрѣчается ли ей человѣкъ, котораго она можетъ раздавить, или каменный утесъ, о который она сама можетъ разбиться“.

Бѣлинскій говоритъ здѣсь, дѣйствительно, объ „объективномъ дѣйствіи“, о той необходимости, которая, по Гегелю, соотвѣтствуетъ стадіи „объективнаго духа“. Но это не есть необходимость, соединившаяся со свободой въ томъ высшемъ единствѣ, которое соотвѣтствуетъ стадіи „абсолютнаго духа“. Въ приведенныхъ выше словахъ Бѣлинскаго, написанныхъ въ эпоху реакціи противъ „призрачной“ дѣйствительности, которую онъ сначала принялъ за „разумную“, скрывается въ зародышѣ вся теорія, впослѣдствіи развитая подробно „субъективными соціологами“ семидесятыхъ годовъ. Но самъ Бѣлинскій не остановился на этой точкѣ зрѣнія, столько же

*) Бѣлинскій, Сочиненія. Статья: „Раздѣленіе поэзіи на роды и виды“. Отеч. Зап. 1841, № 3.

односторонней, какъ и та, которую онъ отстаивалъ въ эпоху увлеченія объективной необходимостью. Философія Гегеля могла бы указать Бѣлинскому путь, но на этотъ разъ онъ пошелъ дальше Гегеля и нашелъ исходъ, сходный съ тѣмъ, который былъ найденъ на Западѣ. Не въ „абсолютной жизни духа", а въ соціальныхъ идеалахъ Леру и Жоржъ-Сандъ Бѣлинскій встрѣтилъ, наконецъ, почву для объединенія „общаго" съ частнымъ и индивидуальнымъ,— почву, не требовавшую болѣе принесенія личнаго счастія и индивидуальной свободы въ жертву объективному Молоху, которому Бѣлинскій поклонялся въ „Бородинской годовщинѣ". Свободное и всестороннее развитіе личности не противорѣчитъ наивысшему развитію общественности, но находится съ нимъ въ тѣснѣйшемъ взаимодѣйствіи, — такова идея, вынесенная Бѣлинскимъ изъ ознакомленія съ соціальнымъ движеніемъ Запада. Приводить всю дѣятельность Бѣлинскаго къ исканію одной субъективной, личной правды, къ одному освобожденію личности отъ узъ, налагаемыхъ на нее обществомъ и государствомъ, значитъ умалять результатъ той внутренней борьбы, изъ которой онъ, въ концѣ концовъ, вышелъ побѣдителемъ. Не для того отказался Бѣлинскій отъ почитанія Молоха, чтобы отрѣшить личность отъ всякой связи съ „общимъ". Все значеніе его побѣды надъ самимъ собою именно въ томъ и состоитъ, что Бѣлинскій сталъ выше не только узкой объективности, но и ограниченнаго субъективизма, смѣшивающаго свою личность съ человѣчествомъ.

Этимъ опредѣляется и отношеніе Бѣлинскаго къ вопросамъ искусства и къ значенію идеи художественнаго произведенія. Въ эпоху „Бородинской годовщины" Бѣлинскій готовъ былъ исключить изъ искусства всякую общественную тенденцію; но при этомъ онъ, незамѣтно для самого себя, вводилъ тенденцію, состоявшую въ умаленіи правъ субъекта, способную утопить личное начало въ общемъ. Но это было лишь временное преклоненіе передъ „призракомъ". Еще въ самомъ первомъ своемъ значительномъ критическомъ произведеніи и даже въ своихъ юношескихъ драмахъ Бѣлинскій указалъ художнику истинный путь, состоящій въ томъ, что искусство сознаетъ біеніе пульса своего вѣка и постигаетъ жизнь, которая есть „дѣйствованіе и борьба". И это ни мало не противорѣчитъ гегелевскому ученію о разумной дѣйствительности и объ отношеніи къ ней искусства. Гегель требовалъ, чтобы банальная дѣйствительность просвѣтлялась разумомъ: иначе она не можетъ стать объектомъ художественнаго творчества. „Непосредственность" искусства вовсе не означаетъ безсознательности творчества. Безъ размышленія, различенія, выдѣленія, худож-

никъ не въ состояніи овладѣть предметомъ, и глупо думать, что настоящій художникъ не вѣдаетъ, что творитъ *).

Бѣлинскій гораздо болѣе Гегеля цѣнилъ значеніе „непосредственности“ и „пламеннаго порыва“ въ художественномъ творчествѣ, и въ этомъ былъ, конечно, правъ. Но и онъ ни на минуту не признавалъ теоріи „безсознательнаго творчества“, и даже въ эпоху „Бородинской годовщины“ рѣчь шла о сознательномъ подавленіи личности въ пользу „общаго“. Опредѣленіе искусства у Бѣлинскаго почти не отличается отъ того, которое дано Гегелемъ. Искусство, — говоритъ Бѣлинскій,—есть „непосредственное созерцаніе истины или мышленіе въ образахъ“ **). Этимъ опредѣленіемъ Бѣлинскій настолько дорожилъ, что подчеркнулъ свои авторскія права на него, по крайней мѣрѣ въ русской литературѣ. Отстаивая эту формулу, Бѣлинскій старается устранить кажущуюся парадоксальность, состоящую въ томъ, что искусство отнесено къ области мышленія. Онъ отстаиваетъ субстанціальное единство природы и духа и разныхъ сторонъ человѣческой духовной дѣятельности и развиваетъ взглядъ, по которому человѣческій духъ и общественная жизнь являются лишь высшими стадіями развитія, проявляющагося уже въ постепенномъ образованіи самого земного шара. Искусство является лишь одной изъ стадій развитія мышленія, которое на начальныхъ ступеняхъ характеризуется миѳологическимъ творчествомъ. Въ свою очередь, искусство, по словамъ Бѣлинскаго, не есть еще высшая стадія духа. Вполнѣ развившійся человѣкъ переходитъ въ „чистое мышленіе“, отрѣшенное отъ всего непосредственнаго. Но и въ искусствѣ непосредственность не есть уже безсознательность, наоборотъ, чѣмъ больше участвуетъ въ искусствѣ воли и сознанія, тѣмъ оно выше: только однимъ сознаніемъ и волей нельзя достичь творчества. Условіе непосредственности есть вдохновенный порывъ, сливающій воедино всѣ силы человѣка. Тогда разумное дѣйствіе становится инстинктивнымъ движеніемъ. Результатъ непосредственности — организація, т.-е. продуктъ творчества, подобный тому, какой мы видимъ въ природѣ.

Этихъ указаній на мысли, содержащіяся въ неоконченномъ очеркѣ Бѣлинскаго, составляющемъ часть задуманной имъ „Эстетики“, достаточно для того, чтобы опредѣлить степень сходства и различія его основныхъ положеній съ эстетическими воззрѣніями Гегеля. Сходясь съ Гегелемъ въ основныхъ чертахъ, Бѣлинскій порою уклоняется въ сторону натурфилософскихъ воззрѣній въ духѣ Шеллинга.

*) Hegel's Werke, X, 365.

**) Бѣлинскій. Сочиненія. Статья: Идея искусства (неоконченная).

Но на Бѣлинскаго дѣйствовалъ не столько Шеллингъ, съ которымъ онъ былъ знакомъ лишь по отрывкамъ, сколько его собственный художественный темпераментъ. Если Бѣлинскій и не былъ художникомъ въ томъ смыслѣ, чтобы стать, напр., хотя посредственнымъ драматургомъ, но самая его критика была работою художника. По своему темпераменту, Бѣлинскій представлялъ совершенную противоположность холодному, порою иронизирующему, но почти неспособному къ энтузіазму и къ „непосредственному порыву" Гегелю. Уже одного этого различія натуръ достаточно для объясненія многихъ особенностей, отличающихъ эстетическія воззрѣнія Бѣлинскаго отъ эстетики Гегеля. И тѣмъ не менѣе, изъ всѣхъ русскихъ гегельянцевъ, исключая развѣ Герцена, Бѣлинскій былъ самымъ настоящимъ, — именно потому, что онъ не рабски повторялъ заученныя фразы гегелевской философіи, но претворилъ мысли Гегеля въ свою собственную плоть и кровь. Во многомъ уклоняясь отъ Гегеля, Бѣлинскій въ самомъ общемъ и главномъ остался вѣренъ духу германскаго мыслителя. Высоко цѣня энтузіазмъ и пламенный порывъ, Бѣлинскій ни на минуту не ставилъ чувство выше разума и, подобно Гегелю, отличалъ вдохновеніе художника отъ бреда бурныхъ геніевъ и безумцевъ. Гегель приводитъ примѣръ Мармонтеля, сказавшаго о себѣ, что, находясь въ погребѣ среди 6,000 бутылокъ шампанскаго, онъ не почувствовалъ, однако, ни малѣйшаго прилива вдохновенія. Совершенно то же утверждаетъ Бѣлинскій въ слѣдующихъ словахъ: „Если я подъ словомъ вдохновеніе разумѣю нравственное опьяненье... изступленіе чувствъ или горячку страсти, которая заставляетъ непризваннаго поэта изображать предметы въ какомъ-то безумномъ круженіи, выражаться дикими, натянутыми фразами... то какъ вразумите вы меня, что вдохновеніе есть состояніе духовнаго ясновидѣнія, кроткаго, но глубокаго созерцанія таинства жизни?" *)

Искусство, по мнѣнію Бѣлинскаго, отличается отъ науки тѣмъ, что художникъ воспринимаетъ впечатлѣнія прежде всего сердцемъ, и лишь черезъ посредство сердца—умомъ. Но отсюда вовсе не слѣдуетъ, чтобы художникъ могъ оставаться при одномъ непосредственномъ чувствѣ. „Нигдѣ жизнь не является столько жизнью, какъ въ сферѣ разумнаго сознанія". Поэтъ долженъ быть ясновидящимъ и чуткимъ, но въ то же время разумѣть видѣнное и слышанное. „Все постичь духомъ, все обнять чувствомъ, всѣмъ возобладать и ничему окончательно не покориться — вотъ жизнь". Въ поэзіи же жизнь должна явиться въ большей степени жизнью, чѣмъ въ самой дѣй-

*) Бѣлинскій. Сочиненія. Статья: Стихотворенія Лермонтова. 1840 г.

ствительности. Художникъ не рабъ, а творецъ разумной дѣйствительности. Не она водитъ его рукой, а онъ вноситъ въ нее свои идеалы и по нимъ преобразуетъ ее.

Это совершенно согласно съ взглядами Гегеля на объективность творчества. Обыкновенно, говоритъ Гегель, подъ объективностью изображенія подразумѣваютъ просто усвоеніе художникомъ любой представляющейся ему наличной дѣйствительности. Будь это вѣрно, намъ пришлось бы признать объективнымъ художникомъ Коцебу, у котораго дѣйствительность выступаетъ передъ нами во всей ея будничной пошлости. Но цѣль искусства состоитъ именно въ томъ, чтобы „устранить способъ", которымъ представляются намъ будничныя явленія. Искусство именно и должно освободить толпу отъ той субъективности, въ которой она погрязла. Коцебу имѣлъ большой успѣхъ, выведя на сцену то, что каждый и безъ него видѣлъ ежедневно: „наши нужды и страданія", въ родѣ горести, испытываемой нами при пропажѣ у насъ серебряныхъ ложекъ; нашихъ общихъ знакомыхъ — коммерціи-совѣтниковъ и гусарскихъ офицеровъ. Конечно, не въ томъ дѣло, что выведены коммерціи-совѣтники, а въ томъ, что самъ Коцебу мыслитъ и чувствуетъ, какъ человѣкъ того же круга, какой онъ изображаетъ. Обратную крайность составляетъ французскій лже-классицизмъ. Это—„субъективизмъ свѣтской образованности". Абстракція деликатнаго обращенія была перенесена въ область поэзіи. „Ни одинъ поэтъ не смѣлъ болѣе сказать cochon или назвать своимъ именемъ ложку или вилку." Съ этой точки зрѣнія обрабатывали историческіе сюжеты. Ахиллъ французской трагедіи—настоящій французскій принцъ; Агасверъ въ Эсѳири Расина—почти тотъ же Людовикъ XIV, даже напудренный и сопровождаемый французскимъ камердинеромъ въ шолковыхъ чулкахъ. Французская трагедія такъ же неспособна стать выше уровня придворныхъ сферъ, какъ Коцебу—подняться надъ міросозерцаніемъ коммерціи-совѣтниковъ. Почему голландская живопись есть истинное искусство, несмотря на изображеніе ею уличныхъ и кабацкихъ сценъ? Потому, что у великихъ голландскихъ мастеровъ такія сцены всегда одухотворены мыслью. Изобразить просто, какъ мужикъ пьетъ водку въ кабакѣ, не есть еще искусство. Но когда мы видимъ картину безшабашнаго веселья, удальства и безпечности, или когда намъ изображаютъ нищаго, который въ своемъ рубищѣ смотритъ на міръ болѣе беззаботно, чѣмъ иной принцъ, то въ такихъ изображеніяхъ мы видимъ уже до нѣкоторой степени „побѣду духа".

Это говоритъ Гегель. Но совершенно аналогичныя мнѣнія высказываются Бѣлинскимъ, напр., по поводу произведеній, изображаю-

щихъ народный бытъ. Бѣлинскій горячо привѣтствовалъ „Вечера на хуторѣ“, потому что увидѣлъ у Гоголя не однихъ мужиковъ, но и поэзію крестьянской жизни. Бѣлинскаго не смутилъ „романтизмъ“ Гоголя, огорчающій эпигоновъ реалистической критики. Но Бѣлинскій ясно усматривалъ всю трудность обработки простонародныхъ темъ, легко приводящихъ средніе таланты къ утрировкѣ. Онъ одобрилъ „Черную немочь“ Погодина, такъ какъ увидѣлъ въ ней идею: изображеніе борьбы молодого купеческаго сына, охваченнаго „святою жаждой знанія“, съ грязною дѣйствительностью. Но когда тотъ же Погодинъ сталъ писать повѣсти, гдѣ народность выражалась лишь въ плоскихъ шуткахъ на простонародномъ жаргонѣ, то Бѣлинскій сказалъ, что это „верхъ романтизма, который хуже всякаго классицизма“.

Цѣня „непосредственность“ искусства, Бѣлинскій, однако, настолько сознавалъ значеніе идеальныхъ, т.-е. разумныхъ моментовъ творчества, что ни на минуту не ставилъ народную поэзію выше „искусственной“. Это привело къ ошибочному мнѣнію, будто Бѣлинскій *пренебрегалъ* народнымъ творчествомъ и будто онъ вообще не признавалъ русской литературы до Петра Великаго. Противное доказывается статьей Бѣлинскаго о русской народной литературѣ. Во всякой литературѣ Бѣлинскій прежде всего хотѣлъ видѣть выраженіе „общаго“, и чѣмъ болѣе „народное“ выражало собою „общечеловѣческое“, тѣмъ выше онъ цѣнилъ такую народность. Поэзія народа, по словамъ Бѣлинскаго, находится въ тѣсномъ соотношеніи съ его внутренней исторіей. Чѣмъ бѣднѣе исторія, тѣмъ бѣднѣе и поэзія. „Удѣльная Русь“, „еще не знавшая варварскаго ярма татарщины и чуждая грубости и дикости“ московской Руси, дала высокопоэтическое „Слово о полку Игоревѣ“. Бѣлинскій подчеркиваетъ не только поэтическія красоты этого древнѣйшаго памятника русскаго дружиннаго эпоса, но и благородство тона.

Весьма замѣчателенъ также данный Бѣлинскимъ анализъ былиннаго эпоса. Здѣсь мы не найдемъ позднѣйшихъ утрированныхъ толкованій, превратившихъ богатырей чуть не въ космическія силы, но за-то найдемъ ясное пониманіе человѣческихъ отношеній, общественныхъ идеаловъ разныхъ слоевъ населенія древней Руси. Въ былинѣ о Садкѣ Бѣлинскій видитъ не космическій миѳъ, а поэтическій апоѳеозъ Новгорода, какъ торговой общины, а въ Василіи Буслаевѣ выражается уже борьба общины съ людьми, для нея опасными. Ту же общественную точку зрѣнія Бѣлинскій примѣнялъ и къ сужденію о русской народной лирикѣ. При изображеніи поэзіей чувства, по словамъ Бѣлинскаго, всего важнѣе знать, какъ смотритъ на чувство

общество. „А съ этой стороны,—говоритъ Бѣлинскій,—древняя Русь представляетъ зрѣлище, не совсѣмъ отрадное. Чѣмъ богаче народъ чувствомъ, тѣмъ ужаснѣе видѣть это чувство сдавленнымъ неправильно развившейся общественностью“ *). Противорѣчіе общественности съ разумными потребностями и стремленіями натуры—вотъ въ чемъ, по мнѣнію Бѣлинскаго, источникъ трагическаго элемента русской народной лирики.

И тотъ же самый трагизмъ мы видимъ въ исторіи личнаго творчества Бѣлинскаго.

Бѣлинскій не могъ, подобно Гегелю, остановиться на чисто-теоретическомъ устраненіи мучившаго его противорѣчія. Онъ не могъ успокоиться на мысли, что духъ его достигъ стадіи абсолюта, и тѣмъ самымъ объединилъ субъектъ съ объектомъ, претворивъ „гнусное и подлое опредѣленіе“ въ великую субстанціальную идею. Его кипучая натура требовала не только познанія неправды, не только признанія ея „призрачности“, но и фактическаго устраненія неправды путемъ дѣятельной борьбы. И такъ какъ онъ выше всего цѣнилъ и любилъ русскую литературу и искусство, то не было для него величайшаго огорченія, нежели видѣть, что эта литература не можетъ удовлетворить запросамъ общественности, — по внѣшнимъ-ли условіямъ, или же потому, что ея крупнѣйшіе представители порою уклонялись отъ своей миссіи. Не какія-либо субъективныя настроенія диктовали Бѣлинскому его пламенно негодующее письмо къ Гоголю. Онъ былъ оскорбленъ за русскую литературу, страдалъ, какъ гражданинъ земли русской, какъ борецъ за свободу народныхъ массъ, за просвѣщеніе и за гуманность. Отъ искусства Бѣлинскій требовалъ прежде всего служенія правдѣ и благу человѣчества. Бѣлинскій не разъ въ своей жизни заблуждался, не разъ принималъ призракъ за дѣйствительность, стихійное начало—за продуктъ разума. Но тонкое художественное чутье рѣдко измѣняло ему и постоянно подсказывало ему—цѣнить выше всего тѣ произведенія искусства, которыя всего болѣе содѣйствовали очеловѣченію человѣка.

М. Филипповъ.

30 іюня 1898 года.
С.-Петербургъ.

---

*) Бѣлинскій. Сочиненія. Статья: „Русская народная поэзія“.

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ БІОГРАФІИ БѢЛИНСКАГО.

ПРЕБЫВАНІЕ ВЪ МОСКОВСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

Во время моей работы надъ біографіей Бѣлинскаго, въ началѣ семидесятыхъ годовъ, я, между прочимъ, обращался къ С. М. Соловьеву съ просьбой сообщить мнѣ оффиціальныя свѣдѣнія, какія могли бы найтись въ архивѣ Московскаго университета. С. М. Соловьевъ доставилъ мнѣ въ копіяхъ нижеслѣдующіе документы; содержаніе ихъ было указано вкратцѣ въ моей біографіи Бѣлинскаго (I, стр. 72—73); здѣсь они приводятся сполна, какъ были мною получены.

Мартъ, 1898. **А. Пыпинъ.**

№ 4095. 31 Августа 1829 г.

Въ Правленіе Императорскаго Московскаго Университета.

отъ Виссаріона Бѣлинскаго

Прошеніе.

Родомъ я Штабъ-Лѣкарскій сынъ, отъ роду имѣю 18 лѣтъ, обучался въ домѣ моихъ родителей, а нынѣ, желая продолжать курсъ наукъ, для большаго моего образованія, въ Императорскомъ Московскомъ Университетѣ, прошу Правленіе онаго, по надлежащемъ меня испытаніи, принять меня въ число студентовъ онаго Университета и допустить къ слушанію лекцій по Словесному отдѣленію. При семъ представляю данное мнѣ отъ благороднаго Дворянства свидѣтельство о моемъ рожденіи. Къ сему прошенію руку приложилъ Виссаріонъ Григорьевъ сынъ Бѣлинскій, 1829 года Сентября 12 дня.

№ 4471. 30 Сентября 1829 года.

Въ Правленіе Императорскаго Московскаго Университета.

Отъ Ординарныхъ Профессоровъ: Перевощикова, Ивашковскаго, Терновскаго, Адьюнктовъ: Гаврилова, Погодина, Лекторовъ: Кистера и Еннекенъ

Донесеніе.

По назначенію Господина Ректора Университета, мы испытывали Виссаріона Бѣлинскаго, сына Штабъ-Лѣкаря Григорія Бѣлинскаго, въ языкахъ и Наукахъ, требуемыхъ отъ вступающихъ въ Университетъ въ званіи Студента, и нашли его достойнымъ къ слушанію Профессорскихъ лекцій въ семъ званіи. О чемъ и имѣемъ честь донести Правленію Университета. Сентября дня 1829 года. Подписали: Дмитрій Перевощиковъ, Семенъ Ивашковскій, Петръ Терновскій, Михаилъ Погодинъ, Александръ Гавриловъ, Федоръ Кистеръ, Петръ Еннекенъ.

№ 6441. 19 Октября 1831 г.

Въ Правленіе Московскаго Университета

Изъ Отдѣленія Словесныхъ наукъ

По прочтеніи выписки изъ журнала Правленія и при оной списка казеннокоштныхъ и своекоштныхъ студентовъ и слушателей, кои въ минувшемъ академическомъ году, за неуспѣшность въ наукахъ, оставлены были на прежнихъ лекціяхъ 1-го курса, Члены Отдѣленія испытывали во всѣхъ предметахъ, коимъ обучаются первогодичные, явившихся на экзаменъ—Студентовъ казенныхъ: Александра Евланова, Виссаріона Бѣлинскаго, Владиміра Померанцева; своекоштнаго, Алексѣя Заборовскаго и слушателя, Василья Петрова; въ слѣдствіе чего и оказались достойными быть переведенными на ординарныя лекціи только слѣдующіе—Казенные студенты: 1) Александръ Евлановъ, 2) Владиміръ Померанцевъ и 3) слушатель Василій Петровъ—о чемъ симъ и сообщается Правленію Университета. Подписали: Деканъ Качеповскій и Секретарь Петръ Побѣдоносцевъ.

1831 года
Сентября 24 дня.

№ 6442. 19 Октября 1831 г.

Въ Правленіе Императорскаго Московскаго Университета.

Отъ Казенно-коштнаго Студента
Виссаріона Бѣлинскаго

Прошеніе.

Родомъ я изъ Штабъ-Офицерскихъ дѣтей; въ Университетъ поступилъ студентомъ въ 1829 году, гдѣ нахожусь и понынѣ; теперь же, по особеннымъ обстоятельствамъ, не могу продолжать курса наукъ, а желаю поступить въ службу Его Императорскаго Величества въ Училищный Комитетъ Императорскаго Московскаго Университета въ число Канцелярскихъ служителей, почему и прошу Правленіе Императорскаго Университета на сіе мое прошеніе рѣшеніе учинить. Къ сему прошенію казенно-коштный студентъ Виссаріонъ Григорьевъ сынъ Бѣлинскій руку приложилъ. 1831 года Октября 15 дня.

МИНИСТЕРСТВО
НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ

ПРАВЛЕНІЕ
ИМПЕРАТОРСКАГО
МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
столъ 2-й
Октября 26 дня 1831 г.
№ 5034
Москва

Объ опредѣленіи Бѣлинскаго въ Училищный Комитетъ.

Господину Попечителю Московскаго Учебнаго Округа.

Казенно-коштный студентъ Виссаріонъ Бѣлинскій, происходящій родомъ изъ Штабъ-Офицерскихъ дѣтей и поступившій въ Университетъ Студентомъ въ 1829 году, поданнымъ въ Правленіе прошеніемъ изъясняетъ, что онъ по особеннымъ обстоятельствамъ продолжать курсъ наукъ болѣе не можетъ, а желаетъ поступить на службу въ Училищный Комитетъ въ число Канцелярскихъ Служителей; при чемъ слушано и отношеніе отдѣленія Словесныхъ наукъ, о томъ, что означенный Бѣлинскій за неуспѣшность въ наукахъ въ минувшемъ академическомъ году, долженъ оставаться на прежнихъ пріуготовительныхъ лекціяхъ, по справкѣ же оказалось, что онъ Бѣлинскій и въ прошломъ 1830 году за малоуспѣшность въ наукахъ не былъ удостоенъ на Ординарныя лекціи. По чему Правленіе

опредѣлило: Казеннаго Студента Виссаріона Бѣлинскаго, оказавшагося не способнымъ къ слушанію Ординарныхъ лекцій, согласно его прошенію принять въ число Канцелярскихъ служителей сего Правленія съ жалованьемъ по 200 руб. въ годъ изъ хозяйственной Университетской суммы, изъ числа же казенныхъ студентовъ исключить; о чемъ и имѣетъ честь представить Вашему Сіятельству на утвержденіе.

МИНИСТЕРСТВО
НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ
———
МОСКОВСКІЙ
УЧЕБНЫЙ ОКРУГЪ
ОТЪ ПОПЕЧИТЕЛЯ
ОНАГО ОКРУГА
въ Москвѣ
9 Ноября 1831 г.
№ 1111
по № 5032.

№ 6731. 9 Ноября.

Правленію Императорскаго Московскаго Университета.

Оное Правленіе, отъ 27 минувшаго Октября испрашиваетъ разрѣшенія моего на опредѣленіе казеннокоштнаго студента Виссаріона Бѣлинскаго въ число Канцелярскихъ служителей, съ исключеніемъ его изъ числа казенныхъ студентовъ.

Въ дополненіе къ сему предлагаю Правленію Университета доставить свѣдѣнія о тѣхъ особенныхъ обстоятельствахъ, кромѣ малоуспѣшности, по коимъ помянутый Бѣлинскій не можетъ болѣе продолжать курса наукъ. Подписали: Попечитель Московскаго Учебнаго Округа, Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ Князь Сергѣй Голицынъ и Письмоводитель Иванъ Фаворскій.

МИНИСТЕРСТВО
НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ

ПРАВЛЕНІЕ
ИМПЕРАТОРСКАГО
МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
Ноября 16 дня 1831 г.
№ 5309
Москва
донесеніе на № 1111.

Господину Попечителю Московскаго Учебнаго Округа.

На предложеніе Вашего Сіятельства отъ 9-го числа сего Ноября за № 1111 Правленіе Университета имѣетъ честь донести, что Инспекторъ Казенныхъ Студентовъ г. Ординарный Профессоръ Щепкинъ объявилъ, что къ опредѣленію Студента Виссаріона Бѣлинскаго въ Канцелярскіе служители Правленія, по его прошенію кромѣ малоуспѣшности его въ наукахъ, не имѣется никакихъ другихъ побудительныхъ причинъ и что Правленіе основываясь на § Устава Университета представило его Бѣлинскаго какъ къ исключенію съ Казеннаго Кошта, такъ и къ опредѣленію его въ Канцелярскіе служители Правленія, къ исправленію каковой должности оказался онъ Бѣлинскій способнымъ.... (не дописано).

МИНИСТЕРСТВО
НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ

МОСКОВСКІЙ
УЧЕБНЫЙ ОКРУГЪ
ОТЪ ПОПЕЧИТЕЛЯ
ОНАГО ОКРУГА
въ Москвѣ
7 Декабря 1831 г.
№ 1230.
на № п. 5270, 5309, 5447 и 5519

№ 7045. 7 Декабря 1831 г.

Правленію Императорскаго Московскаго Университета.

Оное Правленіе, отъ 12, 16, 23, 30-го минувшаго Ноября, представило объ опредѣленіи въ число Канцелярскихъ служителей Правленія: Студента Виссаріона *Бѣлинскаго*, Канцеляриста Ивана *Спасскаго* и училищнаго Комитета: Дѣйствительнаго Студента Семена *Полтева* и сына Коллежскаго Регистратора Пѣвницкаго, Алексѣя *Пѣвницкаго*.

Какъ въ непродолжительномъ времени имѣетъ быть преобразованіе сихъ мѣстъ, то по сей причинѣ, и слѣдуетъ остановиться на нѣкоторое время опредѣленіемъ вышепоименованныхъ лицъ, почему и возвращаю представлен-

ные онымъ документы, за исключеніемъ аттестата, выданнаго Правленіемъ Полтеву, на степень Дѣйствительнаго Студента, который, по приказанію моему выданъ ему изъ Канцеляріи моей съ роспискою, о которыхъ Правленіе, смотря по надобности, взойдетъ ко мнѣ съ новымъ представленіемъ.

Вмѣстѣ съ симъ предлагаю Правленію Университета составить имянной списокъ Канцелярскимъ Чиновникамъ и служителямъ Правленія, Училищнаго Комитета и другихъ экономическихъ мѣстъ, съ обозначеніемъ: чина, имени, фамилій каждаго, какія и съ какого времени занимаютъ должности, сколько и изъ какихъ суммъ получаютъ жалованья и прочаго содержанія, и представить таковой списокъ мнѣ безъ замедленія времени. Подписали: Попечитель Московскаго Учебнаго Округа, Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ Князь Сергѣй Голицынъ, и Письмоводитель Иванъ Фаворскій.

(Примѣчаніе. Во всѣхъ документахъ, при печатаніи, соблюдена орѳографія и пунктуація подлинниковъ. Разница же въ ссылкахъ на числа и на нумера представленій и отвѣтовъ—также принадлежитъ подлинникамъ).

ЗАПИСКИ И ПИСЬМО В. Г. БѢЛИНСКАГО КЪ А. П. ЕФРЕМОВУ *).

I.

(Бѣлинскій! Когда ты будешь у Бееровыхъ, спроси у нихъ Histoire de la Révolution française Mignet, да напиши мнѣ, *когда*, въ которомъ часу мы выѣзжаемъ, потому что сегодня послѣ обѣда я долженъ нанять вольныхъ лошадей до Тулы. — Не забудь квартальнаго. А. Еф.....).

Выѣзжаемъ въ 3 часа ночи. Зачѣмъ вольныхъ лошадей до Тулы? Короче: нельзя ли тебѣ сію же минуту забѣжать ко мнѣ?

II.

Ефремовъ, отработывай свой переводъ какъ можно скорѣе. Да пожалуста, пошли своего человѣка или моего мальчика къ Кетчеру— онъ обѣщался мнѣ прислать стихи Красова—и надулъ, злодѣй! Напиши къ нему, и сдѣлай такъ, чтобы мой же мальчикъ принесъ мнѣ стихи Красова.

III.

Любезный Ефремовъ, благодарю за окончаніе перевода: титулъ *дѣятельнаго* принадлежитъ теперь тебѣ по праву. Нѣтъ ли, братъ,

---

*) Кн. Н. В. Шаховской любезно доставилъ для напечатанія въ „Сборникѣ" 11 записокъ и письмо Бѣлинскаго къ его товарищу А. П. Ефремову, бывшія на выставкѣ Общества Л. Р. Словесности въ память Бѣлинскаго. Три изъ этихъ записокъ представляютъ отвѣтъ на записки Ефремова и написаны вслѣдъ за ними на тѣхъ же клочкахъ бумаги. Первая, по времени, записка относится къ поѣздкѣ на Кавказъ, т.-е. писана въ 1837 г.; остальныя писаны въ то время, когда Бѣлинскій былъ редакторомъ „Московскаго Наблюдателя", т.-е. въ 1838—1839 гг.

лишнихъ сапогъ? Завтра жду своихъ отъ сапожника, а нынче не въ чемъ выйдти. Одолжи также и фрака. Твой В. Б.

P. S. Посылаю тебѣ книгъ, а вчерашнюю нельзя ли возвратить?

IV.

Душенька Ефремовъ—Ж. П. теперь никакъ не могу достать. Полевой на дачѣ въ Архангельскѣ—у кого въ рукахъ, не знаю, гдѣ живутъ. Аксаковъ ничего мнѣ не оставлялъ. Посылаю тебѣ статью Тампліеры: прочти ее хорошенько и, если тебѣ понравится, то переведи. Главное дѣло, чтобы было интересно и доступно для нашей публики. Твой В. Б.

V.

Ефремовъ, спасибо, что хорошо держишь слово. Дѣло остановилось, благодаря тебѣ. Нѣтъ ли еще хоть листика, вмѣсто пяти обѣщанныхъ: все не такъ совѣстно будетъ передъ Степановымъ.

VI.

(Бѣлинскій! Посылаю тебѣ Б. д. ч. Пожалуйста, братецъ, пришли еще нѣсколько № оной. Видѣлъ ли ты вчера послѣ меня Станкевича или Мишу? Если нѣтъ, то приходи ко мнѣ, я сообщу тебѣ важную новость и поиграемъ на бильярдѣ. А. Ефремовъ).

Ефремовъ! я занятъ: Бога ради, забѣги ко мнѣ. Какова бы ни была эта новость и до кого бы ни касалась она,—она *важная новость*— и я горю нетерпѣніемъ узнать ее. Не случилось ли какаго-нибудь несчастія въ Прямухинѣ? Хоть напиши—а тамъ часа черезъ два я, можетъ быть, и зайду къ тебѣ. Не получилъ ли письма Станкевичъ, или не пріѣхалъ ли его отецъ? Бога ради, увѣдомь скорѣе.

VII.

Любезный Ефремовъ! Цензоръ тиранствуетъ, я въ лютомъ отчаяніи: приди, если можешь, утѣшить твоего бѣднаго друга В. Б.

VIII.

Ефремовъ! сейчасъ одѣвайся, приходи ко мнѣ: я имѣю сообщить тебѣ нѣчто такое, что̀ тебя удивитъ и что касается равно и до тебя и до меня; я немного въ досадѣ и потому жду тебя съ нетерпѣніемъ. Кучеру своему ты можешь приказать черезъ часъ пріѣхать къ моей квартирѣ. В. Б.

IX.

Любезный Ефремовъ, если любишь меня—одолжи меня безконечно: на приложенныя деньги возьми два дамскихъ билета на первый имѣющій быть маскерадъ. Сдѣлай это поскорѣе, и взявши, тотчасъ пришли ко мнѣ; если меня не будетъ дома, вели отдать моему мальчику. Бога ради, душа моя. Меня просили дамы, я далъ слово, такъ не хочется срѣзаться. В. Б.

X.

(Не можешь ли ты, любезнѣйшій Виссаріонъ, прислать мнѣ денегъ; я бы тебя не потревожилъ, но я самъ имѣю въ нихъ, какъ говорятъ Французы, bon bésoin. Твой А. Ефрем.).

Я ждалъ этого, Ефремовъ—и дождался, хотя и слишкомъ поздно. Ты былъ слишкомъ деликатенъ, я былъ слишкомъ подлъ. Я надувалъ тебя и теперь долженъ дѣлать то же. Я очень понимаю, чего стоило тебѣ напомнить мнѣ о деньгахъ. Ефремовъ, хоть посади въ яму—не могу. Я ужъ сталъ откровенно подлъ и наглъ.

XI.

Ефремовъ, скажи ради Бога, что ты за свинья такая: если къ тебѣ не ходятъ каждый день, такъ ты думаешь, что это даетъ тебѣ право не казать къ тѣмъ людямъ свое(го) чувствующаго носа? Зайди поболтать. Да къ этому еще не можешь ли сдѣлать и другаго одолженія: нѣтъ ли у тебя лишней красненькой; если ты самъ очень бѣденъ, я тебѣ на-дняхъ отдамъ, а если не очень нуждаешься, то впредь до расчета. Но во всякомъ случаѣ, зайди теперь ко мнѣ—душа взстосковалась о тебѣ.

XII.

С.-Петербургъ. 1840, августа 23.

Странную роль назначено тебѣ, любезный Ефремовъ, играть въ отношеніи ко мнѣ: вотъ уже въ другой разъ увѣдомляешь ты меня объ ужасной утратѣ, о смерти, которой ты былъ свидѣтелемъ. Станкевича нѣтъ, и я уже не услышу, его никогда, и никто никогда не увидитъ его—странная, дикая, неестественная идея! Мнѣ все не вѣрится, все кажется, что смерть не посмѣла бы разрушить та-

кой божественной личности. Разлука много отняла у меня: ты знаешь, какъ мы всѣ были глупы, когда оставилъ онъ насъ. Онъ небылъ свидѣтелемъ самаго важнаго періода моего развитія, онъ давно уже существовалъ для меня въ прошедшемъ, какъ воспоминаніе, какъ живое представленіе лучшаго, прекраснѣйшаго, что зналъ я въ жизни. О, если бы ты зналъ, Ефремовъ, какъ я завидую тебѣ: ты жилъ съ нимъ цѣлый годъ, ты присутствовалъ при его послѣднихъ минутахъ, ты навсегда сохранилъ живую память его просіявшаго по смерти лица. Я ничего не знаю, что̀ бы могло сравниться съ твоимъ счастіемъ. Конечно, тебѣ чувствительнѣе всѣхъ насъ его потеря — твоя рана и теперь еще сочится теплою кровью, но — Боже мой! — что жизнь и всѣ ея радости, все блаженство, въ сравненіи со счастіемъ — вѣчно носить въ душѣ такую рану! Да, Ефр., я завидую твоей святой скорби, твоему святому страданію, завидую — потому что самъ чуждъ ихъ. Странное дѣло! Какъ глубоко страдалъ я и какъ религіозно было мое страданіе, когда умерла *она,* которая была совершенно чужда мнѣ, хотя и прекрасное явленіе! Для меня было величайшимъ счастіемъ знать ее, видѣть и слышать, — и я такъ хорошо зналъ ее, такъ много видѣлъ и слышалъ ее; но бо̀льшаго для меня и не могло быть; тогда какъ онъ называлъ меня своимъ другомъ, ему обязанъ я всѣмъ, что есть во мнѣ человѣческаго,—и его смерть произвела на меня такое не глубокое впечатлѣніе! Можетъ быть, тутъ много значитъ, что я хоть мигъ, но видѣлъ ее незадолго до смерти. Но я думаю, что главная причина—мое теперешнее состояніе, которое можно характеризовать такъ: вѣры нѣтъ, знанія и не бывало, а сомнѣнія превратились въ убѣжденія. Мысль о томъ, что все живетъ одно мгновеніе, что послѣ самого Наполеона осталось только нѣсколько костей, да слава, въ которой ему теперь ни чорта нѣтъ толку, и которая хотя и не скоро, но все же погибнетъ вмѣстѣ съ нашею планетою,—эта мысль превратила для меня жизнь въ мертвую пустыню, въ безотрадное царство страданія и смерти. Смерть, смерть! вотъ истинный Богъ міра! Ея владычество для всѣхъ равно и несомнѣнно — ей слава вѣчная, ей поклоненіе! Что такое общее (для познанія котораго Ст. жилъ и умеръ вдали отъ насъ)? Молохъ, пожирающій собственныя созданія, Сатурнъ, пожирающій собственныхъ чадъ. Зачѣмъ родился, зачѣмъ жилъ Станкевичъ? что осталось отъ его жизни, что дала ему она? Нѣтъ, ему надо было умереть, потому что, чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. И мы, знавшіе его, всѣ умремъ, —и тогда даже и памяти на землѣ не останется объ немъ. Вотъ въ такихъ-то мысляхъ застало меня письмо твое. Право, мнѣ кажется, что надо мною уже безсильна всякая утрата и всякое

бѣдствіе, кромѣ нужды и физическаго страданія, но и къ нимъ можно привыкнуть.

Бога ради, Ефремовъ, увѣдомь меня, какъ можно подробнѣе обо всемъ, до малѣйшей подробности—и какъ онъ жилъ, и какъ умиралъ. Не полѣнись, душа моя,—помни, что то, что̀ ты знаешь о немъ, есть общее наше достояніе. О, какъ жажду я видѣться съ тобою! Будетъ ли это когда-нибудь, или и ты скоро же умрешь? Собери всѣ мои письма къ Станкевичу для доставл(енія) ко мнѣ, если воротишься или найдешь случай. Для меня священна собственная моя строка, которую читали его глаза. Пожалуста.

А вотъ тебѣ и выговоръ. Въ твоемъ письмѣ есть что-то, какъ будто тебѣ неловко говорить со мною, да и начинается оно словомъ „почтеннѣйшій“ (такъ что я думалъ, что это письмо шуточное, веселое). Стыдно тебѣ! Неужели ты думаешь, что я способенъ помнить старыя глупости и сердиться за нихъ. Повѣрь, что онѣ мнѣ даже и не смѣшны. Жизнь наша такъ коротка, такъ ничтожна, что и на великое въ ней надо смотрѣть въ уменьшительное стекло, а не дѣлать изъ мелочей великаго. Слушай, Ефремовъ, если ты не считаешь меня тѣмъ, чѣмъ считалъ нѣкогда въ отн(ошеніи) къ себѣ,—то Богъ съ тобой—ребенокъ ты послѣ этого. Но нѣтъ, этого не можетъ быть, особенно теперь, когда чувство общей великой утраты, общаго сиротства должно еще болѣе сблизить и сроднить насъ другъ съ другомъ.

К. *(зачеркнуто: Катковъ)* хандритъ. Онъ кланяется тебѣ и собирается скоро ѣхать. Кстати: я ничего не могу тебѣ сказать насчетъ его отнош(еній) къ М.—Я показалъ ему твое письмо, — онъ ничего не сказалъ. Вѣдь это дѣло нешуточное, и требованіе отсрочки въ немъ очень справедливо и основательно можетъ быть принято за желаніе оставить дѣло нерѣшеннымъ. Если М. хочетъ его покончить (что̀ всего лучше, особенно для него, когда онъ явно виноватъ, что̀ долженъ сознавать, если онъ человѣкъ), то ему лучше и прямѣе всего написать къ К. нѣчто въ родѣ той записки, какую онъ вытребовалъ себѣ отъ В. К. Р.—Я не могу отвѣчать за К., но если ты обратился ко мнѣ съ вопросомъ по этому дѣлу, то, сколько я могу судить по чувству К. къ М. и по взгляду его на сущность дѣла,—это дѣло едва ли можетъ кончиться иначе, какъ такъ, какъ было условлено между ними, или какъ я говорю, т.-е. запискою, отъ которой постраждетъ самолюбіе М., но оправдается его человѣческое достоинство (которое теперь въ сильномъ подозрѣніи у всѣхъ благородно-мыслящихъ людей).

Кланяйся отъ меня В. А. Д—ой. Мнѣ бы очень хотѣлось написать

ПИСЬМА БѢЛИНСКАГО КЪ ЖЕНѢ. 1846 г.

I.

Москва. 1846, мая 1. Вотъ уже четвертый день, какъ я въ Москвѣ, и все еще не могу оправиться отъ проклятой дороги. Холодъ, дождь, слякоть, невозможность прилечь, необходимость сидѣть, все это порядочно измучило меня. Часто дождь просѣкалъ къ намъ сквозь стеклянную складную стору и живописно струился по ногамъ. Не возьми я зимнихъ панталонъ и тулупа, я погибъ бы. Погода въ Москвѣ такая же, какъ и въ Петербургѣ. Вчера было солнце, но въ то же время было вѣтрено и холодно. Сегодня, первое мая, рѣшительно октябрьскій день. Мочи нѣтъ, какъ все это гадко. Ни зелени, ни деревьевъ—глубокая осень.

Дорога до того испорчена, особенно между Клиномъ и Москвою, что мы пріѣхали въ воскресенье въ 6 часовъ вечера. Друзья мои дожидались меня въ почтамтѣ съ двухъ часовъ. Принять я былъ до того ласково и радушно, что это глубоко меня тронуло, хотя я и привыкъ къ дружескому вниманію порядочныхъ людей. Безо всякой ложной скромности скажу, что мнѣ часто приходитъ въ голову мысль, что я не стою такого вниманія. Что это за добрый, за радушный народъ москвичи! Что за добрѣйшая душа Герценъ! Какъ бы я желалъ, чтобы ты, Marie, познакомилась съ нимъ. Да и всѣ они—что за славный народъ! Лучше, т.-е. оригинальнѣе принялъ меня Михаилъ Семеновичъ: готовясь облобызаться со мною, онъ пресерьезно сказалъ: какая мерзость! Онъ глубоко презираетъ всѣхъ худыхъ и тонкихъ. Дамы просто носятъ меня на рукахъ, братецъ ты мой: озябну, укутываютъ своими шалями, надѣваютъ на меня свои мантильи, приносятъ мнѣ подушки, подаютъ стулья. Таковы права старости, другъ мой! Впрочемъ, Наталья Александровна (къ которой

къ ней,—да останавливаетъ мысль—что же я напишу къ ней, когда у меня и въ головѣ и въ сердцѣ—только и знай посвистываетъ. Поблагодари ее за память обо мнѣ и попроси подольше не умирать, если можно. Она принадлежитъ къ тѣмъ явленіямъ, которымъ смерть больше всѣхъ грозитъ; она то же, что онъ,—пусть же спѣшитъ сюда къ намъ, чтобы всѣ, знавшіе и любившіе ее, еще разъ увидѣли ее. Что ея Саша? Боже мой! сколько перемѣнъ въ такое малое время! Ефремовъ, помнишь ли осень 1836 года—еще нѣтъ и полныхъ четырехъ лѣтъ, а между тѣмъ... Право, мнѣ кажется, что я начинаю умнѣть.— и не мудрено: жизнь есть такая школа, которая лучше всѣхъ университетовъ и философіи даетъ знать, что она—„даръ напрасный и случайный...“ Есть изъ чего и биться... О пребываніи въ Б(ерлинѣ) В. А. никому изъ *чужихъ* не скажу. Скоро ли она въ Россію—и черезъ Петербургъ ли—о Боже мой, какая грустная радость для меня!

Для журнала, прежде всего — новостей, ученыхъ, художественныхъ и литературныхъ. Нѣтъ ли хорошихъ сказокъ—пожалуста.

Долго не отвѣчалъ тебѣ на письмо — не на что было послать. Прощай, обнимаю тебя. Твой В. Бѣлинскій.

ПИСЬМА БѢЛИНСКАГО КЪ ЖЕНѢ. 1846 г.

I.

Москва. 1846, мая 1. Вотъ уже четвертый день, какъ я въ Москвѣ, и все еще не могу оправиться отъ проклятой дороги. Холодъ, дождь, слякоть, невозможность прилечь, необходимость сидѣть, все это порядочно измучило меня. Часто дождь просѣкалъ къ намъ сквозь стеклянную складную стору и живописно струился по ногамъ. Не возьми я зимнихъ панталонъ и тулупа, я погибъ бы. Погода въ Москвѣ такая же, какъ и въ Петербургѣ. Вчера было солнце, но въ то же время было вѣтрено и холодно. Сегодня, первое мая, рѣшительно октябрьскій день. Мочи нѣтъ, какъ все это гадко. Ни зелени, ни деревьевъ—глубокая осень.

Дорога до того испорчена, особенно между Клиномъ и Москвою, что мы пріѣхали въ воскресенье въ 6 часовъ вечера. Друзья мои дожидались меня въ почтамтѣ съ двухъ часовъ. Принятъ я былъ до того ласково и радушно, что это глубоко меня тронуло, хотя я и привыкъ къ дружескому вниманію порядочныхъ людей. Безо всякой ложной скромности скажу, что мнѣ часто приходитъ въ голову мысль, что я не стою такого вниманія. Что это за добрый, за радушный народъ москвичи! Что за добрѣйшая душа Герценъ! Какъ бы я желалъ, чтобы ты, Магіе, познакомилась съ нимъ. Да и всѣ они—что за славный народъ! Лучше, т.-е. оригинальнѣе принялъ меня Михаилъ Семеновичъ: готовясь облобызаться со мною, онъ пресерьезно сказалъ: какая мерзость! Онъ глубоко презираетъ всѣхъ худыхъ и тонкихъ. Дамы просто носятъ меня на рукахъ, братецъ ты мой: озябну, укутываютъ своими шалями, надѣваютъ на меня свои мантильи, приносятъ мнѣ подушки, подаютъ стулья. Таковы права старости, другъ мой! Впрочемъ, Наталья Александровна (къ которой

я питаю какое-то немножко восторженно-идеальное чувство) нашла, что я *похорошѣлъ* (замѣть это) и поздоровѣлъ. Она такъ была мнѣ рада, что я даже почувствовалъ къ себѣ нѣкоторое уваженіе. Вотъ какъ!

Ѣдемъ мы 16, 17 или 18 мая, не прежде. Боюсь, что возвратимся довольно поздно. М. С. хочетъ лѣчиться, кромѣ купанья, и виноградомъ. Это и мнѣ будетъ очень полезно.

Сегодня поѣду къ твоему отцу, а завтра увижусь съ Галаховымъ. Кстати: завтра друзья мои даютъ мнѣ торжественный обѣдъ. На-дняхъ (какъ назначитъ Галаховъ) увижусь съ Остроумовой. Жду съ нетерпѣніемъ отъ тебя письма. Объ Олѣ не могу вспомнить безъ безпокойства: такъ все и кажется, что мой баранъ нездоровъ. Въ пятницу или субботу опять буду писать къ тебѣ. А пока прощай, будь здорова и спокойна. Крѣпко жму твою руку. Твой В. Бѣлинскій.

II.

Москва. 1846, мая 4. Вотъ уже недѣля, какъ я живу въ Москвѣ, а отъ тебя все ни строки. Это начинаетъ меня сильно безпокоить. Все кажется, что тó больна ты, тó—плохо съ Ольгою, тó нельзя вамъ выѣхать по множеству хлопотъ, тó терпите вы отъ грубости людей. Такъ всякая дрянь и лѣзетъ въ голову и отнимаетъ веселье, а безъ этого мнѣ было бы въ Москвѣ довольно весело. Когда получу твое письмо, и въ немъ не будетъ ничего непріятнаго, то мнѣ будетъ настоящимъ образомъ весело.

Погода въ Москвѣ до сихъ поръ — ужасъ. Сегодня ночью шелъ сильный снѣгъ. Отъ такой погоды здоровъ не будешь. Особеннаго ничего не чувствую, а все-таки такъ нехорошо, и все отъ проклятой погоды. Въ прошломъ письмѣ моемъ я забылъ сказать тебѣ, что хваленая прочная пломбировка почти вся повыпала еще дорогою, отъ употребленія пищи, но безъ всякаго участія пера или другого зубочистительнаго орудія. Уцѣлѣла только въ нижнемъ зубу, и то сверху сошла. Ай да шарлатаны, чортъ ихъ возьми! Былъ у твоего „дражайшаго". Почтенный человѣкъ! Вотъ истинный-то представитель отсутствія добра и зла, олицетворенная пустота! Онъ, впрочемъ, былъ мнѣ радъ, и много суетился, угощая меня чаемъ. Я ему—объ васъ съ Агриппиной, а онъ все о себѣ—такъ и лупитъ, такъ и наяриваетъ. Только объ Ольгѣ послушалъ минуты двѣ не безъ удовольствія. Я разсказалъ ему о твоихъ родахъ, и заключилъ, что, несмотря на гнусность бабки, дѣло кончилось все-таки хорошо.—А Богъ-то на что! сказалъ онъ мнѣ съ убѣжденіемъ.—Да, никто, какъ

Богъ!—отвѣчалъ я ему съ умиленіемъ. Живетъ онъ бѣдно, и страшно труситъ смерти его княжны, угрожающей ему монастыремъ. Буду у него еще разъ и позову къ себѣ обѣдать. У Н. И. О. еще не былъ, а буду во вторникъ—такъ назначилъ Галаховъ.

Здѣшній кружокъ живѣе нашего, и здѣшнія дамы тоже поживѣе нашихъ (благодари за комплиментъ). И для отдыха Москва вообще чудный городъ. Впрочемъ, и то сказать, теперь какъ нарочно всѣ съѣхались сюда въ одно время, и отъ того весело. Сегодня даютъ мнѣ обѣдъ; ему надо было быть въ четвергъ, да по болѣзни Корша отложили до сегодня, а Коршъ-то все-таки не выздоровѣлъ.

Я ужъ не знаю, о чемъ больше и писать, И потому въ ожиданіи извѣстія отъ тебя, ma chère Marie, и въ чаяніи, что васъ уже нѣтъ въ Питерѣ,—писать больше не буду до выѣзда изъ Москвы. Жму всѣмъ вамъ руки и отъ души всѣхъ васъ цѣлую —о собачкѣ я не говорю. Малкѣ кланяюсь. Прощай. В. Бѣлинскій.

III.

Москва. 1846, мая 7. Наконецъ я имѣю о васъ нѣчто въ родѣ извѣстія. По крайней мѣрѣ, Тургеневъ увѣдомилъ меня, что вы всѣ здоровы, и сказалъ мнѣ, что вы отправляетесь изъ Петербурга 11-го мая. Стало-быть, это письмо получишь ты наканунѣ своего отъѣзда, въ пятницу. Надѣюсь, что въ этотъ день ты отправишь ко мнѣ письмо. Я ѣду 15 или 16. Къ 1-му іюня будемъ мы въ Харьковѣ, куда ты и можешь писать, по слѣдующему адресу: *Его Высокоблагородію Николаю Дмитріевичу Алфераки; въ собственномъ домѣ.* (Pour remettre à M-r Belinsky). Изъ Харькова я увѣдомлю тебя, куда опять можешь ты писать ко мнѣ. Затѣмъ прощай. Сегодня ѣду къ Остроумовой. В. Бѣлинскій.

IV.

Москва. 1846, мая 7. Сейчасъ только (въ 4 часа) прочелъ письмо твое, chère Marie, воротившись домой для фрака и шляпы, необходимыхъ для посѣщенія Н. И. О. Прочелъ — и порадовался: вы всѣ скучаете, но здоровы, у Ольги появился 6-й зубъ, и ничего худаго не случилось. Худо только то, что у тебя, кажется, не опредѣленъ еще день отъѣзда; по крайней мѣрѣ, ты объ этомъ ничего не говоришь мнѣ. Странные мы съ тобою, братецъ ты мой, люди: живемъ вмѣстѣ—не уживаемся, а врозь скучаемъ. Вотъ и я: мнѣ не скучно, я гуляю, ѣмъ, пью, ничего не дѣлаю, дамы со мною любезны до нельзя—кажется, тутъ и грѣшно и стыдно было бы помнить, что женатъ и есть жена, а вѣдь помнится. Да это еще куда бы ни шло, а то вѣдь

хотѣлось бы увидѣться, какъ будто и Богъ вѣсть какъ давно не видались. Поэтому, я думаю, что для поддержанія супружескаго благосостоянія необходимы частыя разлуки. Разлука сглаживаетъ всѣ неровности отсутствующаго и дѣлаетъ яснѣе его хорошія стороны. Но это пока въ сторону. Не знаю, получишь ли ты это письмо, если отправляешься въ субботу 11-го. Авось либо! Но писать больше не буду, если не получу отъ тебя письма объ отсрочкѣ отъѣзда. А собачка—грустила обо мнѣ, бѣдненькая! Но за то скоро забыла, глупенькая! Берегите ее отъ простуды.—Дочь Иванова застужена при прорѣзываніи глазныхъ зубовъ, и отъ того получила воспаленіе въ мозгу и лишилась зрѣнія. Страшно и больно смотрѣть—а ребенокъ полный и здоровый. Это письмо пойдетъ завтра (8, въ середу) и завтра же докончу его.

Мая 8. Боясь, что письмо это не застанетъ тебя въ Питерѣ, посылаю его на имя Маслова *(Ив. Ильичъ)*, чтобы, въ случаѣ твоего отъѣзда, онъ переслалъ его въ Гапсаль. Вчера былъ у Н. И. О чемъ болтали мы, можешь догадаться. Она умна, у нея на многое есть чутье. Надъ драматическою пьесою Кудрявцева она смѣется. Вообще, Н. И.—не будь она погребена въ этомъ монастырѣ, была бы очень порядочною особою. Когда я съ нею раскланивался, появилась гнусная рожа Шихларевой: боюсь во снѣ увидѣть—стошнитъ. Письмо твое пришло въ Москву 5-го, а почталіонъ принесъ его 7-го. Москва городъ патріархальный, и въ ней все зависитъ отъ воли всѣхъ и каждаго, а получающіе письма зависятъ отъ прихода почталіоновъ. Извощики въ Москвѣ страшно дешевы, но ночныхъ нѣтъ, и ходить ночью въ Москвѣ опасно. Меня чутъ было не прибилъ одинъ пьяный. И потому, кто хочетъ провести вечеръ въ гостяхъ, долженъ нанимать извощика на вечеръ.

Здоровье мое сносно и, мнѣ кажется, даже нѣсколько лучше, чѣмъ было въ Питерѣ. Михаила Семеновича держитъ въ Москвѣ бенефисъ Мартынова, который будетъ 14 или 15 мая, а на другой день мы ѣдемъ. Въ Крыму, можетъ быть, ему отведутъ покои въ Алупкѣ, замкѣ князя Воронцова, и мы тамъ будемъ съ нимъ упражняться въ купаніи въ морѣ и въ пожираніи винограда. По пріѣздѣ въ Гапсаль, напиши ко мнѣ большое письмо, означь свой адресъ, опиши, какъ вы собирались и убирались, какъ ѣхали и доѣхали, и какъ устроились въ Гапсалѣ. Пошли письмо такъ, чтобы оно дошло въ Харьковъ (на имя Его Высокоблагородія Николая Дмитріевича Алфераки, въ собств. домъ, для передачи мнѣ) къ 1-му іюня; получивъ его, я

напишу къ тебѣ изъ Харькова, куда опять писать тебѣ. Прощай. Агриппинѣ жму руку, и всѣхъ васъ цѣлую. В. Бѣлинскій.

Печать я взялъ съ собою Наполеона.

V.

Москва. 1846, мая 14. Послѣднее письмо твое (отъ 9 мая) столько же огорчило меня, сколько доставило мнѣ радости предпослѣднее (отъ 6 мая). Мерзости, какія дѣлаетъ съ тобою управляющій Лопатина, дѣйствительно возмутительны, но для меня еще тяжелѣе та раздражительность, съ которою ты принимаешь ихъ. Не спорю: тяжело, досадно, гадко, но все же не вижу тутъ достаточной причины доходить до отчаянія, до разстройства здоровья, именно въ ту минуту, когда здоровье особенно нужно. Я обрадовался, увидя твое письмо, но мнѣ стало грустно и какъ-то неловко, когда я прочелъ его. Я какъ будто вижу тебя передъ собою въ этомъ письмѣ: ты встревожена, раздражена, — и все тебѣ кажется не такъ, нехорошо. Ты начинаешь съ того, что ты „никогда не говорила мнѣ, чтобы я въ „дражайшемъ" нашелъ что-нибудь лучше того, что нашелъ". Да я и писалъ къ тебѣ о немъ нисколько не въ тонѣ возраженія противъ тебя, а просто передавалъ тебѣ впечатлѣніе, какое онъ произвелъ на меня. Я былъ уже заранѣе предубѣжденъ противъ него, хорошаго ничего не ожидалъ, ѣхалъ къ нему не для него, а для тебя, и нисколько не раскаиваюсь, что былъ у него. Тебѣ показалось, что я не получалъ твоихъ писемъ: ясно, что ты не разочла, что наши письма сперва разъѣзжались въ дорогѣ, а потому мы оба и упрекали другъ друга въ молчаніи. Но я твои получилъ всѣ, и первое, отъ 2-го мая. Ради всего святаго для обоихъ насъ, успокойся, Marie, и не давай себѣ выходить изъ себя по причинѣ дѣйствительно досадныхъ, но въ то же время и мелкихъ неудовольствій. 7-й зубъ Ольги гораздо важнѣе и двухъ цѣлковыхъ, которые содралъ съ тебя управляющій, и 30 рублей за клеенки и шкафъ, а ты къ этому зубу присоединила еще боль въ своей груди и дошла до возможности слечь въ постель. Я ѣду въ четвергъ (16-го мая), и если сегодня или завтра не получу отъ тебя болѣе утѣшительнаго письма, то дорога моя не будетъ весела. Зная твой характеръ, я не шутя боюсь, чтобы ты не слегла въ постель, если уже къ бывшимъ непріятностямъ прибавится еще какая-нибудь мелочь, а тутъ еще у меня на умѣ 7-ой зубъ... Тяжело.

Здоровье мое пока лучше, чѣмъ было въ Питерѣ. Съ 9-го мая началась въ Москвѣ теплая погода, и теперь такъ хорошо, что даже

ночью пахнетъ весною. Я зябъ не потому, что простудился, а потому, что всѣ зябли отъ холода, а теперь не зябну, а потѣю и блаженствую отъ жару.

Твои неудачи въ отъѣздѣ произошли отъ того, что ты не хотѣла заранѣе взять билетъ, какъ это дѣлаютъ всѣ. Но ужъ дѣло сдѣлано, и лишь бы только выѣхать. Не знаю, получу ли отъ тебя письмо сегодня. Боюсь, чтобы оно не пришло послѣ завтра, въ день отъѣзда (въ четвергъ). А это письмо адресую на имя Маслова, тоже изъ боязни, что оно, придя въ день твоего отъѣзда, не попадетъ въ твои руки. Я видѣлся съ Тютчевыми, и они много меня порадовали извѣстіемъ о состояніи, въ которомъ оставили васъ; но въ тотъ же день (т.-е. вчера) получилъ я твое письмо... У Александры Петровны *(Тютчевой)* разболѣлись глаза, и по этой причинѣ они проживутъ нѣсколько дней въ Москвѣ. Насчетъ адреса въ Харьковъ—адресуй письма ко мнѣ, какъ хочешь. Я и забылъ было о Кронебергѣ. Это все равно. Скажи Маслову, что Некрасовъ будетъ въ Питерѣ въ половинѣ іюля, и попроси его вложенное здѣсь письмо доставить по адресу хоть черезъ Майковыхъ, если онъ не знаетъ, гдѣ живетъ Гончаровъ.

Еще разъ прошу тебя, милая Marie, быть спокойнѣе и беречь себя отъ губительнаго вліянія, какое на тебя имѣютъ petites misères de la vie humaine. Не думай, что *только* съ тобою случаются такія бѣды. Чортъ съ ними, съ такими бѣдами, лишь (бы) судьба пощадила отъ такихъ, какія обрушились надъ Языковыми. Прощай. Твой В. Бѣлинскій.

VI.

Харьковъ. 1846, іюня 10. Вообрази—какую я сдѣлалъ глупость: послалъ къ тебѣ письмо изъ Калуги, въ Гапсаль, на твое имя, думая, что ты непремѣнно въ Гапсалѣ, что тебя въ этомъ маленькомъ городкѣ найдутъ и безъ адреса квартиры и что посылать черезъ Маслова—только лишняя трата времени. Сынъ М. С. Щепкина служитъ въ кавалер. полку въ Воронежѣ, былъ долго въ Москвѣ и послѣ насъ долженъ былъ отправиться въ Воронежъ. Пріѣзжаемъ туда, и онъ подаетъ мнѣ твое письмо изъ Петербурга, которое пришло въ Москву въ день нашего отъѣзда, и которое Ивановъ отослалъ въ домъ Щепкина. Изъ этого письма я узнаю, что ты останешься въ Ревелѣ и что, слѣдовательно, я опростоволосился, пославъ къ тебѣ письмо въ Гапсаль. Досадно! Письмо было подробное, почти журналъ изо-дня въ день, съ означеніемъ погоды каждаго дня. Перескажу

тебѣ вкратцѣ его содержаніе. Выѣхали мы изъ Москвы 16 мая (въ четвергъ), въ 12 часовъ. Насъ провожали до первой деревни, за 13 верстъ, и провожавшихъ было 16 человѣкъ, въ ихъ числѣ и Галаховъ. Пили, ѣли, разстались. Погода страшная, грязь, дорога скверная, за лошадьми остановка. Въ Калугу пріѣхали въ субботу (18 мая), прожили въ ней одиннадцать дней. Если бъ не гнусная погода, мнѣ было бы не скучно. Еще въ Москвѣ я почувствовалъ, что поправляюсь въ здоровьи и возстановляюсь въ силахъ, а въ Калугѣ, въ сносную погоду, я уходилъ за городъ, всходилъ на горы, лазилъ по оврагамъ, уставалъ до-нельзя, задыхался на-смерть, *но не кашлянулъ ни разу*. Съ возвращеніемъ холода и дождя возвращался и кашель. Пребываніе въ Калугѣ для меня останется вѣчно памятнымъ по одному знакомству, котораго я и не предполагалъ, выѣзжая изъ Питера. Въ Москвѣ М. С. Щ. познакомился съ А. О. Смирновой. C'est une dame de qualité; свѣтъ не убилъ въ ней ни ума, ни души, а того и другого природа отпустила ей не въ обрѣзъ. Она большая пріятельница Гоголя, и М. С. былъ отъ нея безъ ума. Такъ какъ она приглашала его въ Калугу (гдѣ мужъ ея губернаторомъ), то я еще въ Москвѣ предвидѣлъ, что познакомлюсь съ нею. Когда мы пріѣхали въ Калугу, ея еще не было тамъ; въ качествѣ хвоста толстой кометы, т.-е. М. С., я былъ приглашенъ губернаторомъ на ужинъ въ воскресенье во время спектакля; потомъ мы у него обѣдали. Во вторникъ пріѣхала она, и въ четвергъ я былъ ей представленъ. Чудесная, превосходная женщина—я безъ ума отъ нея. Снаружи холодна какъ ледъ, но страстное лицо, на которомъ видны слѣды душевныхъ и физическихъ страданій, измѣняетъ невольно величавому наружному спокойствію. Благодаря тебѣ, братецъ ты мой, тебѣ, моя милая супруга, я знаю толкъ въ этого рода холодныхъ лицахъ. Потомъ я у ней два раза обѣдалъ, въ послѣдній раскланялся, да еще въ тотъ же вечеръ раскланялся съ нею на лѣстницѣ, ведущей изъ-за кулисъ въ ея ложу. Пишу тебѣ все это не больше, какъ матеріалъ для разговоровъ и разсказовъ при свиданіи, а потому въ подробности не пускаюсь. Несмотря на весь интересъ этого знакомства, погода дѣлала мое пребываніе въ Калугѣ чисто невыносимымъ; разъ два дня сряду сидѣлъ я въ заперти въ грязной комнатѣ грязной гостинницы, въ тепломъ пальто, съ окоченѣлыми руками и ногами и съ покраснѣвшимъ носомъ. Выѣхали мы изъ Калуги, со вторника на середу (29 мая) въ 4 часа утра и поѣхали или, лучше сказать, поплыли по грязи въ Воронежъ на Тулу. Въ Воронежъ приплыли въ субботу (1 іюня), въ 5 часовъ утра, и въ пятницу ѣхали уже по хорошей дорогѣ. Въ Воронежѣ погода была славная. Тутъ я получилъ

твое письмо, на которое, для порядка, и буду сейчасъ отвѣчать. Наканунѣ нашего выѣзда изъ Москвы пріѣхалъ туда Языковъ *(Мих. Александр.)*, и успокоилъ меня на твой счетъ, сказавши мнѣ, что твои геройскіе подвиги, достойные Бобелины, увѣнчались блестящею побѣдой надъ злокачественнымъ Лопатинымъ и гнуснымъ клевретомъ его, управляющимъ. Это извѣстіе дало мнѣ возможность уѣхать изъ Москвы въ спокойномъ духѣ, который былъ разстроенъ твоимъ письмомъ отъ 9 мая. Я не знаю, получила ли ты мой отвѣтъ на него, отъ 14 мая, кажется. Ты пишешь, что разлука сдѣлаетъ насъ *уступчивѣе* въ отношеніи другъ друга, но и болѣе *чуждыми* другъ другу. Мнѣ кажется—то и другое равно хорошо. Почему хорошо первое—толковать нечего, и такъ ясно; второе хорошо потому, что дастъ случай познакомиться вновь на лучшихъ основаніяхъ. Я уже не въ этой порѣ жизни, чтобы тѣшить себя фантазіями, но еще и не дошелъ до того сухого отчаянія, чтобы не знать надежды. А потому жду много добра для обоихъ насъ отъ нашей разлуки. Я никакъ, напримѣръ, не могъ понять твоихъ жалобъ на меня, что будто я дурно съ тобою обращаюсь, и видѣлъ въ этихъ жалобахъ величайшую несправедливость ко мнѣ съ твоей стороны, а теперь, какъ въ новой для меня сферѣ, я смотрю на нашу прежнюю жизнь, какъ на что-то прошедшее, внѣ меня находящееся, то вижу, что если ты была не вполнѣ права, то и не совсѣмъ неправа. Я опирался на глубокомъ сознаніи, что не имѣлъ никакого желанія оскорблять тебя, а ты смотрѣла на факты, а не на внутреннія мои чувства, и, въ отношеніи къ самой себѣ, была права. Ежели разлука и тебя заставитъ войти поглубже въ себя и увидѣть кое-что такого, чего прежде ты въ себѣ видѣть не могла,—то разлука эта будетъ очень полезна для насъ: мы будемъ снисходительнѣе, терпимѣе къ недостаткамъ одинъ другого и будемъ объяснять ихъ болѣзненностію, нервическою раздражительностію, недостаткомъ воспитанія, а не какими-нибудь дурными чувствами, которыхъ, надѣюсь, мы оба чужды. Что же касается до твоихъ словъ, что мужъ, *безъ причины* оставляющій жену и дѣтей, не любитъ ихъ,—ты права; но, во 1-хъ, я говорилъ тебѣ о разлукѣ съ причиною, хотя бы эта причина была просто желаніемъ разсѣяться и освѣжиться прогулкою, или и прямо желаніемъ освѣжить ею свои семейныя отношенія, и, во 2-хъ, я, кажется, уѣхалъ не безъ причины. Но объ этомъ послѣ, какъ ты сама говоришь въ письмѣ своемъ.

Масловъ немного сердитъ на меня, что я не писалъ къ нему. Но вѣдь онъ долженъ же знать, что я человѣкъ—слабый (т.-е. лѣнивый), мошенникъ такой! Слухъ носится, что умеръ Скобелевъ, а ты

пишешь, что Масловъ думаетъ ѣхать въ Ревель, Гапсаль и еще не знаю куда. Гдѣ же мнѣ писать къ нему. А напиши-ка лучше ты и увѣдомь его о моемъ знакомствѣ съ Александрою Осиповною Смирновой: это для него будетъ интересно.

Комплиментъ, сдѣланный тебѣ Тильманомъ *(докторъ)*, основателенъ. Ты сильная барыня, и послѣ твоей войны съ Лопатинымъ, я не шутя начинаю тебя побаиваться.

Что же ты не пишешь, взяла ли съ собою Егора? И кто у тебя нянька? И какъ ты разсталась съ прислугою?

Въ Воронежѣ мы застали чудесную погоду. Выѣхали во вторникъ, въ 4 ч. послѣ обѣда (4 іюня). Солнце пекло насъ, но къ вечеру потянулъ вѣтеръ съ Питера, ночью полилъ дождь, и мы до Курска опять не ѣхали, а плыли, и въ Курскъ приплыли въ четвергъ (6). Въ тотъ же день поплыли въ знаменитую Коренную ярмарку (за 28 верстъ отъ Курска). И ужъ подлинно поплыли, потому что жидкая грязь по-колѣна, и лужи выше брюха лошадямъ были безпрестанно. Ѣхали на 5-ти сильныхъ коняхъ слишкомъ 4 часа и, наконецъ, увидѣли ярмарку, буквально по поясъ сидящую въ грязи, а дождь такъ и льетъ. За 20 р. въ сутки нашли комнатку, маленькую, грязную, и той были рады безъ памяти. Въ тотъ же вечеръ были въ театрѣ, и М. С. узналъ, что онъ играть не будетъ. На другой день прошлись по рядамъ (крытымъ, до которыхъ доѣхали на дрожкахъ, выше ступицы въ грязи). На другой день, около 2 часовъ пополудни, поѣхали назадъ, въ Курскъ. На полдорогѣ встрѣтился крестный ходъ: изъ Курска 8 іюня носятъ явленный образъ Богоматери въ монастырь, при которомъ стоитъ ярмарка. Вообрази тысячъ 20 народу, врозбить идущаго по-колѣна въ грязи, и который, пройдя 27 верстъ, ляжетъ спать подъ открытымъ небомъ, въ грязи, подъ дождемъ, при 5 градусахъ тепла. Въ Курскѣ перемѣнили лошадей, закусили и пустились плыть на Харьковъ (часовъ въ 8 вечера, въ субботу, 8 іюня). Ужъ не помню, ѣдучи въ Курскъ изъ Воронежа,—да, именно въ Курскъ изъ Воронежа, имѣли удовольствіе засѣсть въ грязи, и нашъ экипажъ, вмѣстѣ съ нами (потому что выйти не было никакой возможности), вытаскивали мужики. Въ тотъ же вечеръ, какъ мы выѣхали изъ Курска, погода начала поправляться, а съ нею и дорога, такъ что верстъ за сто до Харькова ѣхали мы по дорогѣ довольно сносной, и могли дѣлать по 8 верстъ въ часъ (на пяти лошадяхъ), а станціи двѣ до Харькова дѣлали по 10 верстъ. Въ Харьковъ пріѣхали мы въ воскресенье (9 іюня) около 2 ч. послѣ обѣда. Черезъ часъ я былъ уже у Кронеберговъ, съ полною увѣренностью найти твое письмо, а можетъ быть и цѣлыхъ два. Кронеберги приняли меня

радостно, добрая М. А. была просто въ восторгѣ, даже Андрей Ивановичъ былъ видимо разогрѣтъ; а письма нѣтъ. Возвращается М. С. отъ Алфераки—что письмо?—Нѣтъ!—Худо!—Я сталъ было утѣшать себя тѣмъ, что письмо твое должно идти до Харькова три недѣли; но Кронебергъ сказалъ мнѣ, что письма изъ Питера въ Харьковъ приходятъ въ 11-ый день, а по экстра-почтѣ въ 8-ой, — я и призадумался, забывъ, что по этой дорогѣ почты также дѣлаютъ въ часъ по 5 верстъ, а иногда и въ сутки по 50-ти. Былъ въ театрѣ, посидѣлъ съ четверть часа, и поѣхалъ къ Кронебергамъ, гдѣ и пробылъ почти до 12 часовъ. Вчера, часу въ 1-мъ, приходитъ Кронебергъ и подаетъ мнѣ твое письмо, которое взялъ онъ у Алфераки, съ которымъ встрѣтился гдѣ-то на улицѣ. И хоть много въ этомъ письмѣ непріятнаго, но я воскресъ. Теперь отвѣчаю тебѣ на твое послѣднее письмо.

Отчего ты ни слова не сказала въ немъ о томъ, опасна ли простуда груди твоей и лѣчишься ли ты? Отчего не отнимаешь Ольгу отъ груди? Ждешь ли 8-го зуба? Наемъ вторыхъ мѣстъ на пароходѣ былъ порядочною глупостью со стороны Маслова. Заграничные пароходы лучше здѣшнихъ и вторыя мѣста на нихъ немногимъ хуже первыхъ, но и ихъ потому всѣ избѣгаютъ, что надо быть въ обществѣ лакеевъ, что не совсѣмъ пріятно и для мужчинъ, а о женщинахъ нечего и говорить. О томъ, чего вы тутъ натерпѣлись—нечего и говорить; оставалось бы только радоваться, что все это кончилось и Ольга здорова, если бы не твое положеніе, о которомъ я теперь ничего вѣрнаго не знаю, потому что не знаю—какова эта болѣзнь—простуда груди, а ты объ этомъ не сказала ни слова. И потому, жду со страхомъ и нетерпѣніемъ твоего второго письма, которое надѣюсь получить въ Харьковѣ, въ которомъ мы пробудемъ до 18 числа, потому что М. С. въ Харьковѣ является въ 5 спектакляхъ. Мнѣ странно, что ты, пробывши въ Ревелѣ 5 дней, все еще только собираешься пригласить доктора, вмѣсто того, чтобы пригласить его на другой же день пріѣзда. Ты, видно, забыла мою осеннюю исторію и что значитъ запускать болѣзнь. Это ни на что не похоже. Видно, мы всѣ только другимъ умѣемъ читать поученія, а сами... но дѣлать нечего—ворчаньемъ не поможешь, а вотъ что-то скажетъ мнѣ твое второе письмо.

Бога ради, не мучь себя заботами о будущемъ и о деньгахъ. Лишь стало (бы) денегъ вамъ, и вы могли бы пріѣхать въ Питеръ хоть съ цѣлковымъ въ карманѣ, а то все вздоръ. И потому, если не хватитъ денегъ, адресуйся заранѣе къ Александру Александровичу *(Комаровъ)*, и проси не въ обрѣзъ, чтобы изъ пустой деликатности не натерпѣться

бѣдъ; а я по пріѣздѣ *тотчасъ* же отдамъ ему, потому что въ Питеръ я пріѣду съ деньгами, которыхъ станетъ не только на переѣздъ на новую квартиру, но и на то, чтобы безъ нужды прожить мѣсяца три—четыре. Я на это и разсчитывалъ, уѣзжая изъ Питера, потому что я тогда же ясно видѣлъ, что безъ этой надежды, несмотря на всѣ альманахи, мы послѣ этой разлуки, съѣхались бы съ тобою только для того, чтобы умереть вмѣстѣ голодною смертью. Къ счастью, я не обманулся въ моей надеждѣ, и могу пріѣхать въ Питеръ съ деньгами. Но вотъ что меня безпокоитъ. Ты наняла квартиру до 15 сентября, а я, кажется, буду въ Питеръ не прежде 15 октября: вотъ тутъ что дѣлать? М. С. надо ѣсть виноградъ, что и мнѣ было бы небезполезно, а это дѣлается въ сентябрѣ, въ которомъ мы и будемъ въ Крыму. Да еще очень можетъ быть, что князь Воронцовъ пригласитъ М. С. въ Тифлисъ, и хоть это не протянетъ нашей поѣздки, но сдѣлаетъ то, что раньше 15 октября мнѣ невозможно будетъ быть въ Питерѣ. Тутъ худо то, что вѣдь ты не рѣшишься остановиться у Тютчевыхъ, а въ трактирѣ жить Боже сохрани. И потому, скажи мнѣ, можешь ли ты остаться въ Ревелѣ до моего возвращенія.

Некрасовъ будетъ въ Питерѣ къ августу. Онъ открываетъ книжную лавку, и тотчасъ же займется печатаньемъ моего альманаха. Открытіе лавки очень выгодно для моего альманаха, такъ же какъ мой альманахъ очень выгоденъ для лавки. Деньги для лавки даютъ ему москвичи. Кстати: во время моего пребыванія въ Москвѣ, у Герцена умеръ отецъ, послѣ котораго ему должно достаться тысячъ четыреста денегъ. Если безъ меня придетъ отъ тебя письмо въ Харьковъ, его перешлютъ ко мнѣ. А по полученіи этого письма, пиши ко мнѣ немедленно въ Одессу, на имя *Его Высокоблагородія Александра Ивановича Соколова.* Я радъ, что наши псы съ вами, радъ и за нихъ, и еще больше за васъ. И потому, Малкѣ жму лапку, и даже дураку Дюку посылаю поклонъ. Объ Ольгѣ не знаю, что писать — хотѣлось бы много, а не говорится ничего. Что ты не говоришь мнѣ ни слова—начинаетъ ли она ходить, болтать, и что ея 8-ой зубъ? Ахъ, милочка, барашекъ, какъ она теперь уже перемѣнилась для меня—вѣдь уже полтора мѣсяца! Поблагодари ее за память о моемъ портретѣ и за угощеніе его молокомъ и кашею. Она чѣмъ богата, тѣмъ и рада, и понюхать готова дать всякое кушанье. Должно быть, она очень довольна поведеніемъ моего портрета, который позволяетъ ей угощать себя не въ ущербъ ея аппетиту. Изъ Харькова я еще пошлю къ тебѣ письмо, т.-е. оставлю, а Кронебергъ пошлетъ. А теперь пока прощай. Будь здорова и спокойна духомъ, Маґіе, и успокой скорѣе меня насчетъ твоего здоровья. Жму руку Агриппинѣ и

желаю ей всего хорошаго, а я не объѣдаюсь и не простужаюсь, какъ она обо мнѣ думаетъ. Прощай. Твой Висс.....

Среда, 12. Сегодня пойдетъ на почту это письмо, а завтра Ольгѣ годъ, по каковому случаю чортъ меня возьми, если я не выпью завтра шампанскаго. Изъ Харькова мы ѣдемъ въ ночь, въ воскресенье, въ Екатеринославъ, а оттуда, черезъ Николаевъ и Херсонъ, въ Одессу. Пиши сейчасъ же въ Одессу, какъ получишь это письмо. Если въ Одессѣ твое письмо и не застанетъ меня, мнѣ перешлютъ его въ Крымъ. Вотъ уже другой день, какъ въ Харьковѣ опять *холодно.* Я отъ Петербурга, а онъ за мною. Прощай.

VII.

Харьковъ. 1846, іюня 14. Вчера, вовсе неожиданно, получилъ я твое второе письмо (отъ 27 мая), которое сильно огорчило меня. Что ты больна—это мнѣ горько, но горесть моя не ограничивается одною этою причиною: не меньше того мучитъ меня твое странное поведеніе въ болѣзни. Еще въ первомъ письмѣ твоемъ изъ Ревеля писала ты мнѣ о своей болѣзни, не говоря ни слова о мѣрахъ противъ нея, и во второмъ письмѣ—тоже ни слова о докторѣ и леченіи. Это невыносимо. Тебѣ, кажется, хочется повторить исторію моей болѣзни прошлою осенью. Если бы ты на другой же день пріѣзда позвала доктора,—можетъ быть теперь была бы уже здорова; а такъ какъ ты этого не сдѣлала, то можешь или вытерпѣть опасную и продолжительную болѣзнь, или, что еще хуже, воротишься въ Петербургъ съ зерномъ какой-нибудь опасной болѣзни. Гдѣ тутъ разбирать докторовъ—бери какого-нибудь, если нѣтъ хорошаго. Отъ Достоевскаго ты могла узнать, кто изъ Ревельскихъ врачей считается лучшимъ. Не могу понять, что ты дѣлаешь съ собою, со мною, Ольгою и со всѣми нами? Тебѣ можетъ показаться непріятнымъ, что вмѣсто того, чтобы утѣшать тебя, я бранюсь съ тобою: но войди въ мое положеніе и посуди, легко ли мнѣ отъ всего этого?

О прислугѣ говорить нечего: въ Россіи нѣтъ хорошей прислуги, и потому надо дорожить не лучшею, а менѣе худшею. Это я всегда говорилъ тебѣ. Что чухонка мылась Ольгинымъ мыломъ, это—я понимаю—непріятно и досадно; но лучше было взять свои мѣры, чтобъ она не могла впередъ этого дѣлать, даже купить ей кусокъ мыла, нежели ссылать ее. Плеть обуха не перешибетъ, и намъ съ тобою не передѣлать русской дѣйствительности. Другая чухонка не будетъ лучше первой: оставитъ въ покоѣ Олино мыло, но сдѣлаетъ другую

мерзость, не лучше этой. Надо сносить это терпѣливо, потому что другого ничего не остается. Въ Петербургѣ ты доканала себя, отстаивая отъ Лопатина какихъ-нибудь 30 р.; въ Ревелѣ ты рѣжешь себя кускомъ мыла. Я знаю, тебѣ дороги не 30 р., не кусокъ мыла, а справедливость; но вотъ здѣсь-то и обнаруживается весь твой несчастный характеръ. Непривычка покоряться необходимости безпрестанно заставляетъ тебя жертвовать важнымъ ничтожному. Что же изъ этого выходитъ? Спасая грошъ, ты теряешь фунтъ крови, тогда какъ тебѣ дорога каждая капля ея. Грустно, больно, страшно!

Довольно объ этомъ. Хотѣлъ бы говорить больше, но мысль, что это только огорчитъ, а не убѣдитъ тебя, удерживаетъ мою руку. Мнѣ грустно и больно. Теперь до самой Одессы я не получу отъ тебя письма, каково-то мнѣ будетъ ждать его, и каково-то будетъ мнѣ распечатать его! Видишь сама, какъ веселъ будетъ путь мой до Одессы. Я боюсь, что у тебя изнурительная лихорадка — болѣзнь важная, которую ты ежеминутно усиливаешь и безпрестанно поддерживаешь своею способностью приходить въ отчаяніе отъ вещей досадныхъ, но въ сущности пустыхъ. Что изъ всего этого будетъ— у меня языкъ не поворачивается сказать тебѣ. Бѣдная Оля!... У Агриппины сердце доброе и благородное, но терпѣніе не принадлежитъ къ числу ея добродѣтелей. Хороши мы всѣ сошлись: точно на подборъ—одинъ другого лучше. Тамъ, гдѣ бы она еще справилась сама съ собою—ей надо няньчиться съ тобою,—какое положеніе! Не знаю, какъ вы еще живы! И въ самомъ дѣлѣ, какъ не приходить въ отчаяніе, видя, что чухонки глупы, грубы и жадны къ деньгамъ? Подобное развращеніе нравовъ можетъ быть терпимо только въ столицахъ, а Ревель — провинція. Можно ли жить послѣ этого. „Хорошо (скажешь ты) смѣяться, да дѣлать наставленія, а попробовалъ бы самъ“. Пробовалъ и пробую — и удается, какъ нельзя лучше. Что такое русская дорога, русскіе ямщики, трактиры, обѣды и пр. и пр.— этого и описать нельзя; но я рѣшился находить все въ порядкѣ вещей, все сноснымъ, если не хорошимъ, — и отъ этого мнѣ стало хорошо, и поѣздка *уже* принесла пользу и физически и нравственно. Передъ моимъ отъѣздомъ, недѣли за двѣ, или за три, и ты попробовала сдѣлать надъ собою усиліе и повести себя въ отношеніи ко мнѣ иначе: я это видѣлъ и, повѣрь мнѣ, ты уже взяла хорошіе проценты съ капитала твоего усилія: это я знаю. Вѣдь стало же тебя на это! Лишь захоти—и всегда станетъ; и *все* будетъ хорошо, и всѣ страданія и мученія сами собою незамѣтно исчезнутъ.

Здоровье мое поправляется. Кашель почти совсѣмъ исчезъ, а между тѣмъ, не забудь, я еще почти не видалъ хорошей погоды и,

въ этомъ отношеніи, выѣхалъ только изъ Питера, но не изъ Москвы: что же будетъ въ Одессѣ, гдѣ я буду черезъ недѣлю, и гдѣ я буду купаться въ морѣ?

Изъ плодовъ въ Харьковѣ мы нашли только землянику, да и ту подаютъ только въ гостинницахъ. Нынѣшняя весна въ Харьковѣ была не лучше петербургской. Верстъ за 30 до Харькова я увидѣлъ Малороссію, хотя еще и перемѣшанную съ грязнымъ москальствомъ. Избы Хохловъ похожи на домики фермеровъ—чистота и красивость неописанныя. Вообрази, что малороссійскій борщъ есть не что иное, какъ зеленый супъ (только съ курицею или бараниною, и заправленный саломъ), а о борщѣ съ сосиськами и ветчиною Хохлы и понятія не имѣютъ. Супъ этотъ они готовятъ превкусно и до нельзя чисто. И это мужики! Другія лица; смотрятъ иначе. Дѣти очень милы, тогда какъ на русскихъ смотрѣть нельзя—хуже и гаже свиней. Зубъ мой выпадаетъ. Въ Москвѣ хочу попробовать счастія у Жоли — заплачу подороже, лишь бы сдѣлалъ хорошо. Если и его пломбировка окажется такая же—полно платить деньги этимъ шарлатанамъ. Изъ моей поѣздки хочу сдѣлать статью. Въ головѣ плановъ бездна. Словомъ: оживаю и вижу, что могу писать лучше прежняго, могу начать новое литературное поприще. А закабались опять въ журнальную работу—идіотъ, кретинъ!

Все бы хорошо, если бъ не твоя болѣзнь. Прощай. Жму и цѣлую твою руку, прошу и умоляю тебя, милая Marie, береги себя, помни, что ты больше не принадлежишь себѣ. Когда я уѣзжалъ, вы все прочили, что я и простужусь, и обожрусь, и обопьюсь; а вышло не такъ: я берегъ себя и былъ остороженъ — могу похвалиться этимъ. Мое здоровье все улучшается, а ты больна, конечно, отъ простуды; но сколько же ты прибавила къ ней отъ себя, и какъ помогаешь ты ей доканывать себя — Богъ тебѣ судья! Вчера мы, съ М. С., пили шампанское за здоровье Ольги, о чемъ и прошу увѣдомить ее.

15 іюня. Въ Харьковѣ опять тепло. Третьяго дня пошелъ теплый дождь—и стало тепло. Харьковъ былъ первый городъ, въ которомъ на этой дорогѣ встрѣтился я съ мухами и блохами, а вчера вечеромъ (чудный вечеръ — такъ и парило) укусилъ меня первый комаръ, котораго я отъ радости тутъ же и раздавилъ. Что за пыль въ Харьковѣ! Ужасъ!

Меня печалитъ мысль, что ты долго не получишь моихъ писемъ. Твои шли ко мнѣ: первое кажется 17, а второе 15 дней. Чего ты не надумаешься въ ожиданіи! Это письмо пойдетъ по экстра-почтѣ, и потому немудрено, что ты получишь его прежде перваго, которое пошло къ тебѣ въ середу (12).

Завтра въ ночь ѣдемъ въ Екатеринославъ, черезъ недѣлю будемъ въ Одессѣ. Пиши туда на имя Александра Ивановича Соколова (въ Одессѣ). Еще разъ прощай, другъ мой. Желаю тебѣ всего хорошаго, а больше всего здоровья и терпѣнія, терпѣнія и здоровья. Твой Висс.....

VIII.

Одесса. 1846, іюня 24, понедѣльникъ. Мысль о твоей болѣзни, chère Marie, такъ мучительно безпокоитъ меня, что мнѣ тяжело писать къ тебѣ. Къ этому присоединяется еще та мысль, что до сихъ поръ ты не получила отъ меня ни одного письма со времени моего выѣзда изъ Москвы. При твоей обыкновенной мнительности, въ соединеніи съ болѣзнью, это обстоятельство должно быть для тебя истинною пыткой. То я боленъ, то умеръ, то забылъ свое семейство до того, что и знать о немъ не хочу, то мнѣ скучно и я страдаю, то мнѣ весело и я до того наслаждаюсь всѣми благами, что мнѣ вовсе не до жены: вотъ мысли, которыя денно и нощно вертятся у тебя въ головѣ и грызутъ тебя. Я это знаю хорошо, потому что знаю тебя хорошо, не говоря уже о томъ, что на твоемъ мѣстѣ и всякая другая женщина, хоть и не такъ, а все бы не могла не безпокоиться. Я и самъ, до полученія отъ тебя письма въ Харьковѣ, чувствовалъ себя неловко, и хотя это письмо было и неутѣшительно, но все-таки оно избавило меня хотя отъ чувства неизвѣстности, которое теперь опять мучитъ меня. Разсчитываю по пальцамъ, и все выходитъ, что мои два письма изъ Харькова (отъ 12 и 15 іюня) ты должна получить не прежде 28 числа, т.-е. еще черезъ 4 дня по отсылкѣ вотъ этого письма; а когда получу отъ тебя письмо — не знаю. Я, впрочемъ, несмотря на это, живу недурно, даже больше весело, нежели скучно, потому что мысль о тебѣ и твоемъ положеніи вдругъ набѣгаетъ на меня, какъ волна на корабль, — качнетъ и рванетъ, — и отхлынетъ. Такія минуты довольно часты и очень тяжелы, но я гоню отъ себя черныя мысли, какъ солдатъ на сраженіи, который все-таки думаетъ: авось не убьютъ, и съ отчаянною храбростью слышитъ свистъ пуль. Я думаю: если худо, еще будетъ время отдаться мукамъ страданія, а если хорошо, то нечего заранѣе напрасно себя мучить и терзать. Здоровье мое очень поправилось: я и свѣжѣе, и крѣпче, и бодрѣе. Что же касается до кашля — въ отношеніи къ нему я сдѣлался совершеннымъ барометромъ: солнце жжетъ, вѣтру нѣтъ—грудь моя дышетъ легко, мнѣ отрадно, и кажется, что про-

клятый кашель *навсегда* оставилъ меня; но лишь скроется солнце хоть на полчаса за облако, пахнётъ вѣтеръ—и я кашляю. Впрочемъ, сильные припадки кашля оставили меня уже съ мѣсяцъ. Вообще же, если бы я получилъ отъ тебя письмо, изъ котораго бы увидѣлъ, что ты здорова и спокойна, Ольга попрежнему дуетъ молоко какъ теленокъ, здоровѣетъ, полнѣетъ, начинаетъ ходить, лепетать, Агриппина находится въ добромъ гуморѣ, и вы съ нею бранитесь только слегка, и то больше для препровожденія времени,—я бы началъ жить, какъ давно уже не жилъ, да и надежду потерялъ жить. Но когда я получу отъ тебя письмо (если бы и предположить, что оно будетъ такъ благопріятно, какъ бы мнѣ хотѣлось): мое получишь ты 28, свое пошлешь, положимъ, 30-го іюня, а получу я его и не знаю когда—недѣли черезъ три. Надѣлалъ же я дѣла, пославши тебѣ письмо изъ Калуги въ Гапсаль.

Изъ Харькова выѣхали мы въ воскресенье 16-го, въ ночь, часа въ три. Наканунѣ, въ субботу, Кронебергъ участвовалъ въ пикникѣ, который затѣяли его знакомые. Замѣтивъ, что тутъ будетъ много незнакомыхъ рожъ, которыя, кажется, на меня и собирались, я отказался, хотя меня и сильно упрашивали. Съ пикника Кронебергъ провожалъ одну даму, на ея лошадяхъ, и лошади понесли ихъ съ страшной горы; жизнь сидѣвшихъ была на волоскѣ. Кронебергъ выпрыгнулъ счастливо, только ушибъ колѣни и подбородокъ, и на другой день я увидѣлъ его съ подвязаннымъ лицомъ. Дама тоже отдѣлалась легкимъ ушибомъ; только кучеру досталось порядкомъ. Пикникъ ихъ былъ скученъ, и я поздравилъ себя, что не поѣхалъ на него. Въ тотъ же вечеръ (въ воскресенье) Кронебергъ былъ очень озабоченъ и сказалъ мнѣ, что его Коля тяжело боленъ. У него была корь, она прошла, но послѣ нея сдѣлалось воспаленіе; такое теперь, говорятъ, повѣтріе. Не знаю, что теперь у нихъ дѣлается. А дѣвочка ихъ—ничего; здорова и смѣшна, какъ слѣдуетъ быть ребенку, даже довольна жива.

Изъ Харькова выѣхали мы, какъ водится, съ дождемъ и довольно холодною погодой. Во время спектакля шелъ сильный дождь, обратившій страшную пыль въ порядочную грязь. Мы направили нашъ путь на Екатеринославъ. Погода скоро поправилась, и стало свѣтло, хотя и холодно, за исключеніемъ полдня, когда пекло солнцемъ. На одной станціи мы принуждены были ночевать, прождавши лошадей ровно 12 часовъ. Во вторникъ, часовъ около восьми вечера, прибыли въ Екатеринославъ. Этотъ городъ, какъ всѣ города въ Новороссіи, построенъ Потемкинымъ, который хотѣлъ изъ него сдѣлать южную столицу Россіи. И было гдѣ! Екатеринославъ стоитъ у Днѣпра, на

высокомъ берегу, Днѣпръ обтекаетъ его полукругомъ, и въ этомъ мѣстѣ шире Невы. Городъ чрезвычайно оригиналенъ: улицы прямыя, широкія, есть дома порядочные, но больше все мазанки; по улицамъ бродятъ свиньи съ поросятами, спутанныя лошади. Городъ кишитъ жидами. На огромной (незастроенной) площади стоитъ храмъ, довольно большой, но онъ занимаетъ только мѣсто алтаря по прежнему плану. Потемкинъ хотѣлъ его строить на цѣлый аршинъ кругомъ шире собора Петра и Павла въ Римѣ—величайшаго въ Европѣ храма. Но онъ умеръ, и съ нимъ умерли всѣ его исполинскіе планы. На той же площади стоитъ дворецъ Потемкина, въ которомъ онъ принималъ у себя императрицу Екатерину и австрійскаго императора Іосифа II. Середина дворца реставрирована для дворянскаго собранія, а боковыя зданія находятся въ состояніи развалинъ. При дворцѣ садъ, омываемый заливомъ Днѣпра, въ саду много деревьевъ, которыя не могутъ расти въ московскомъ климатѣ и которыхъ нѣтъ и въ Харьковѣ (хотя отъ Харькова до Екатеринослава только 200 верстъ), напр., шелковичное дерево и др. Интересенъ также казенный городской садъ. Въ немъ однѣхъ яблонь до 49 родовъ, акацій до 30 родовъ, много разныхъ американскихъ растеній. Все это смотрѣли мы на другой день пріѣзда; погода была чудесная, я много ходилъ—и не уставалъ, и видъ этой природы и чуднаго мѣстоположенія упоилъ меня. Отобѣдавши у одного знакомаго М. С., въ 5 часовъ вечера мы выѣхали изъ Екатеринослава. Проѣхали черезъ Херсонъ (довольно дрянной городишко, при днѣпровскомъ лиманѣ, т.-е. заливѣ); отъ него поворотили параллельно морю, отъ востока на западъ, ѣхавши до того времени прямо отъ сѣвера на югъ. Жаль, что черезъ Николаевъ проѣзжали ночью. Городъ большой, портовой, стоитъ онъ при сліяніи Буга съ Ингуломъ, образующемъ рѣку шириною верста и 70 саженъ. Переправлялись на баркасѣ, съ парусомъ и на веслахъ; ночь была чудная, мѣсячная. На другой день (въ субботу, 22), за 30 верстъ отъ Одессы завидѣли Черное море, по берегу котораго столько верстъ ѣхали, не видавши его. Въ Одессу пріѣхали въ 2 часа. Оригинальный городъ! чисто иностранный, съ итальянскимъ характеромъ. Нашъ трактиръ на берегу моря, берегъ высокій, вдоль его идетъ бульваръ, внизъ къ морю идетъ каменное крыльцо, съ большими уступами, въ 200 ступенекъ. По этой лѣстницѣ ходятъ купаться въ морѣ. На морѣ корабли, суда. Видъ единственный! А что за гулянье по этому бульвару въ тихую, теплую погоду, лунною ночью! Боже великій! Когда въ Одессѣ жары, жители днемъ спятъ, а ночью гуляютъ. Днемъ пыль страшная, и многіе дома (и нашъ трактиръ) сдѣланы съ жалузи, которые днемъ и

не открываются, по причинѣ страшной пыли. Есть въ Одессѣ Палеройяль—четвероугольное зданіе, съ садикомъ внутри, съ галлереей кругомъ, съ 3-хъ сторонъ — съ 4-й ходъ въ театръ. Тутъ лавки съ модными товарами, кофейни, кондитерскія, въ галлереяхъ всегда народъ, сидятъ на скамейкахъ, на стульяхъ, передъ маленькими столиками, пьютъ кофе, шоколадъ, лимонадъ, оршадъ, ѣдятъ мороженое. Все это довольно пестро, живо. Для меня одно скверно: нельзя купаться въ морѣ—вода страшно холодна. Это странное море—вода въ немъ холоднѣетъ отъ южнаго вѣтра, который ее выворачиваетъ со дна, а при сѣверномъ теплѣетъ. Дня за три до нашего пріѣзда вода была тепла. Впрочемъ, нынѣшній годъ весна и лѣто въ Одессѣ скверныя, какъ и во всей Россіи. Оно, коли хочешь тепло, даже жарко, но вѣтеръ холодный. Теперь, спасибо, вечера очаровательны: поэзія, чистая поэзія!

Пріѣхавши, я взялъ ванну, теплую, изъ морской воды, меня отъ нея страшно разслабило — едва на ногахъ держался цѣлый день. Завтра возьму похолоднѣе. Сдуру вымылъ голову морскою водой— 4 раза мылилъ, а грязи все-таки не смылъ, потому что соленая вода уничтожаетъ мыло. Отъ смѣси оставшейся въ волосахъ грязи съ морскою водой моя голова до сихъ поръ словно смолою вымазана.

Шью себѣ сюртукъ въ Одессѣ. Неимѣніе сюртука въ дорогѣ было для меня истинною пыткой. Безъ фрака было бы въ 100 разъ легче обойтись.—Въ Одессѣ все страшно дешево.

Мы проживемъ въ Одессѣ недѣли двѣ, а можетъ быть и три, и я надѣюсь получить отъ тебя письмо въ отвѣтъ на мои харьковскія, а если не получу, А. И. Соколовъ перешлетъ ихъ въ Крымъ.

Пиша это письмо, я все жралъ вишни. Пока изъ плодовъ только и есть. Впрочемъ, въ Екатеринославѣ отвѣдалъ дыни.

Въ пятницу мнѣ будетъ весело отъ мысли, что, наконецъ-то, получила ты отъ меня мои письма. О, если бы они застали тебя выздоровѣвшею!

Но пока прощай. Изъ Одессы ты получишь отъ меня еще письма два или три, смотря потому, сколько времени проживемъ мы въ ней. Цѣлую тебя и Ольгу и кланяюсь всѣмъ вамъ. Твой Висс...

Это письмо пойдетъ сегодня же, по экстра-почтѣ.

IX.

Одесса. 1846, іюня 28. Если только мои письма изъ Харькова не пропали на почтѣ, то ты ихъ уже получила сегодня, вчера или даже три и четыре дня назадъ. Но отъ тебя ни строки. Неужели

ты, послѣ двухъ своихъ писемъ, не послала еще ни одного въ Харьковъ? Страшно подумать! потому что безъ особенной причины ты едва ли бы стала такъ долго не писать. Хорошо бы, если бъ это потому, что ты хотѣла сперва дождаться отвѣта отъ меня, считая меня безъ вѣсти пропавшимъ. Однакожъ я все надѣюсь и жду: авось Кронебергъ перешлетъ мнѣ твое письмо изъ Харькова. Еслижъ нѣтъ, буду крѣпиться и ждать отвѣта отъ тебя на мои харьковскія письма, ждать ихъ до половины будущаго мѣсяца, до 20-хъ чиселъ его, а тамъ ужъ, конечно, если не отъ тебя, такъ отъ другихъ услышу что-нибудь о тебѣ. А пока буду писать въ предположеніи, даже въ увѣренности, что все хорошо, что ты теперь поправилась, а мои письма изъ Харькова успокоили и развеселили тебя.

Со вторника (на другой день по отправленіи къ тебѣ перваго письма моего) въ Одессѣ наступила лѣтняя погода. Не знаю, сколько именно градусовъ, но увѣренъ, что на солнцѣ не меньше 35. М. С. весь такъ и плыветъ; меня этимъ еще нельзя пронять, но бываетъ и мнѣ тяжело. Потѣю чуть-чуть (потому что днемъ не выхожу), но иногда даже лежать трудно, не только сидѣть. Спишь съ отвореннымъ окномъ, и я накрываюсь ночью моимъ салфеточнымъ халатомъ — и то жарко. Но что за вечера! что за луна! На одесскомъ бульварѣ, ночью, при лунѣ, надъ моремъ, поневолѣ становишься романтикомъ: грудь ноетъ, а на душѣ такъ сладко, свѣтло и ясно, хочется плакать, самъ не зная о чемъ и отчего, на глазахъ кипятъ слезы, а въ умѣ никакой опредѣленной мысли. Смѣшно право! Палеройяль — очарованіе, особенно вечеромъ. Кругомъ магазины, съ широкими галлереями, съ асфальтовымъ поломъ, внутри садикъ, горятъ огни; мужчины, дамы гуляютъ, сидятъ, болтаютъ, пьютъ, ѣдятъ. Хожу я настоящимъ аркадскимъ пастушкомъ: въ бѣлыхъ панталонахъ, въ жилетѣ, легкомъ платкѣ на шеѣ и бѣломъ пальто, прюнелевыхъ сапогахъ и соломенной шляпѣ — да и то жарко. Сегодня въ первый разъ купался въ морѣ — хорошо. Вода вблизи зеленая, попадетъ въ ротъ — солоно. Въ Одессѣ у М. С. есть докторъ, короткій знакомый, прекрасный человѣкъ и искусный врачъ. Онъ меня разспрашивалъ о болѣзни, далъ наставленіе, какъ купаться, и только потому не далъ лекарства, что не нашелъ этого нужнымъ. Онъ вмѣстѣ съ нами ѣдетъ въ Крымъ. Въ Одессѣ мы пробудемъ еще съ мѣсяцъ, а можетъ быть и больше. Изъ Одессы поѣдемъ въ Крымъ моремъ, а тамъ опять начнемъ колесить и кочевать изъ города въ городъ. М. С. заключилъ условіе съ однимъ содержателемъ труппы и будетъ играть у него въ Симферополѣ, Севастополѣ, Херсонѣ, Николаевѣ, Елизаветградѣ и не знаю гдѣ еще, всего 41 спектакль.

Въ понедѣльникъ вечеромъ вздумалъ я купить себѣ въ Палеройялѣ дюжину фуляровъ, за которую заплатилъ 20 руб. серебромъ. Въ Питерѣ дюжина такихъ платковъ (большіе, прочные, плотные) стоила бы рублей 30, если не больше. Да вздумалось мнѣ кстати купить что-нибудь для тебя и Агриппины, и купилъ я вамъ по полудюжинѣ батистовыхъ платковъ, тебѣ подороже, ей подешевле: за твою полудюжину заплатилъ я 45 р. ассигн., за ея—25. Вы, пожалуй, за этотъ гостинецъ, вмѣсто спасибо, еще разбраните меня. Но чтожъ было дѣлать. Матеріи на платье въ Одессѣ купить нельзя: таможня пропускаетъ только сшитое и надёванное (почему платки ваши будутъ обрублены и сполоснуты). Купить что-нибудь дешевенькое?—Но въ такомъ случаѣ всего бы лучше купить при въѣздѣ въ Петербургъ пару саекъ, да и сказать, что вотъ-молъ вамъ, душеньки, подарокъ одесскій. А если меня не обманули и лишняго не взяли, то такихъ платковъ за такую цѣну въ Питерѣ купить нельзя: вотъ почему одесскій гостинецъ имѣетъ смыслъ. Сегодня вечеромъ принесутъ мнѣ отъ портного суконный сюртукъ и триковый сюртукъ-пальто. Сукно по 25 р. аршинъ, и М. С. говоритъ, что въ Петербургѣ такое сукно стоитъ 35 р., а весь сюртукъ, съ прикладомъ и работою, стоитъ 125 р. ассигн., а сюртукъ-пальто 80 р. Непремѣнно куплю себѣ еще полторы дюжины рубашекъ: дюжина готовыхъ (голландскаго полотна) стоитъ 60 р. серебромъ: вѣдь это не мотовство, и рубашки надо же будетъ мнѣ дѣлать въ Петербургѣ, а тамъ это много дороже. Денегъ возьму у М. С., а ему отдамъ въ Москвѣ; теперь же трачу изъ 500 ассигн., которыя далъ мнѣ Герценъ; онъ еще въ Петербургъ писалъ о нихъ и хотѣлъ мнѣ выслать, но я написалъ къ нему, чтобы онъ далъ мнѣ ихъ въ Москвѣ.

Докторъ сказалъ мнѣ, что мой кашель не грудной и не желудочный, а происходитъ отъ разстройства всего организма, преимущественно же нервной системы. Теперь только вижу я, до какой степени разстроены твои нервы. Мои крѣпче твоихъ, я не боюсь лошадей и не пугаюсь ничего, что вижу или знаю впередъ, но когда я слышу залпъ изъ пушки (2 раза въ день, въ 12 ч. дня и въ 9 вечера), то всегда пугаюсь, какъ будто бы подо мною полъ провалился, и я полетѣлъ вверхъ ногами. Докторъ говорилъ мнѣ о чудотворной силѣ морского купанья для страждущихъ разстройствомъ нервовъ, и увѣрялъ, что онъ отпуститъ меня домой совершенно здоровымъ. Я дѣйствительно становлюсь крѣпче. Сегодня только два раза отдыхалъ на лѣстницѣ въ 200 ступенекъ, и то на минуту, и то отъ слабости ногъ, а не отъ одышки, которой почти не чувствовалъ; слабость же въ колѣняхъ чувствуютъ всѣ, не привыкшіе ходить по

этой лѣстницѣ, даже М. С., хотя это и желѣзный человѣкъ. Вотъ уже три дня, какъ я не сплю послѣ обѣда, и за то, какъ лягу ночью, такъ и засну сію же минуту и сплю крѣпко до $6^1/_2$ часовъ; а ложусь въ одиннадцатомъ, когда нѣтъ театра. А спать днемъ пересталъ потому, что за это провелъ адскую ночь—засну и проснусь—тяжело, жарко, душно, даромъ, что окно отворено. Не знаю, какъ буду спать нынѣшнею ночью, послѣ морского купанья. Морская вода дѣйствуетъ на тѣло почти такъ же сильно, какъ и минеральныя воды, и производитъ волненіе и жаръ въ крови ужасные. Поэтому я купался не больше двухъ минутъ.

Ѣмъ вообще умѣренно. Впрочемъ, въ жары я не могу обжираться, если бъ и хотѣлъ, а здѣшнія жары — не петербургскія. Вишни и черешни не могу съѣсть и фунта за-разъ, а больше одного раза въ день еще не случалось: отъ этой ягоды, слава Богу, скоро дѣлается оскомина. Другихъ плодовъ пока еще нѣтъ, а апельсины теперь уже гадки. Вотъ въ Крыму другое дѣло; надо будетъ быть осторожнѣе; да съ нами будетъ докторъ, да и М. С. смотритъ за мной, словно дядька за недорослемъ. Что это за человѣкъ, если бъ ты знала!

Въ пятницу опять буду писать, а если бъ до понедѣльника получилъ черезъ Кронеберга отъ тебя письмо изъ Харькова, то написалъ бы въ понедѣльникъ: въ оба эти дня ходитъ экстра-почта. Прощай, цѣлую тебя и Ольгу и жму руку Агриппинѣ. Твой Висс...

X.

Одесса. 1846, іюля 8. Сейчасъ получилъ твое письмо, chère Marie, оно меня испугало, обрадовало, успокоило и удивило. Я думалъ, ты умираешь, если еще не умерла, или что съ Ольгой плохо. Твоя лихорадка и ежедневныя мелкія огорченія, которыя такъ сильно на тебя дѣйствуютъ, о чемъ всемъ писала ты мнѣ въ послѣднемъ письмѣ своемъ отъ 27 мая, не говоря ни слова о томъ, лечишься ли ты,— все это напугало меня. Прибавь къ этому, что вотъ уже почти мѣсяцъ, какъ я не получалъ отъ тебя ни строки, и, слѣдовательно, не имѣлъ никакого понятія о твоемъ положеніи за цѣлые полтора мѣсяца, кромѣ того, что ты больна. Каждый день жду письма, черезъ Кронеберга, изъ Харькова, и вотъ съ полчаса назадъ—письмо; срываю конвертъ Кронеберга—тамъ рука твоя—ну?—читаю—и странное впечатлѣніе произвело на меня это письмо. Что за старина! Я исколесилъ болѣе двухъ тысячъ верстъ, проѣхалъ Калугу, Тулу, Воронежъ, Курскъ, былъ на Коренной, въ Харьковѣ, Екатеринославѣ, вотъ уже 17-й день какъ въ Одессѣ,—а ты все еще не выѣхала изъ

Москвы, все пишешь мнѣ о моемъ пребываніи въ Москвѣ, которое я помню какъ будто сквозь сонъ. Однакожъ я очень хорошо помню, что ни въ Москвѣ, ни въ другомъ какомъ мѣстѣ не плакалъ. Это, вѣроятно, bon mot Панаева, которое Масловъ принялъ за наличныя деньги, а ты и повѣрила. Впрочемъ, если это имѣетъ какое-нибудь основаніе, т.-е. хоть не то, чтобы я рыдалъ, а можетъ быть глаза были влажны, такъ не помню, какъ честный человѣкъ, не помню, потому что былъ въ истинномъ „восторгѣ", такъ что многое мнѣ помнится какъ сквозь сонъ.

Не понимаю, что у тебя былъ за планъ прожить зиму въ Ревелѣ: что за ребяческая мысль? Но объ этомъ послѣ. Что я за Ольгу радъ до смерти, что я люблю ее безъ памяти и заочно, *при сей вѣрной оказіи,* цѣлую ее 1000 разъ,—все это разумѣется само-собою, но вотъ что мнѣ кажется странно: когда же это она успѣла захворать и выздоровѣть: вѣдь въ письмѣ отъ 27 мая она была здорова, а отъ 27 мая до 6-го іюня—всего десять дней. И что же ты не написала, чѣмъ именно была она больна? Потомъ: забыла ли она о груди, какъ забыла обо мнѣ, вѣтреница и измѣнница?

Я никакъ не ожидалъ, чтобы Ревель былъ такъ отвратителенъ. Хуже всего то, что ты не только не гуляешь, но и не купаешься въ морѣ. За этимъ люди пріѣзжаютъ чортъ знаетъ откуда; а ты пріѣхала не издалека и понапрасну. А морскія ванны должны бы тебѣ быть полезны, какъ всѣмъ слабонервнымъ; только безъ доктора съ ними обращаться опасно. Я началъ купаться съ пятницы (28 іюня), въ субботу и воскресенье купался по два раза, а когда, въ понедѣльникъ (1 іюля) поутру, пошелъ я сдѣлать шестое купанье, то замѣтилъ, что откашливаюсь съ кровью. Это мнѣ не помѣшало выкупаться. Однако, въ тотъ же день поѣхалъ я къ доктору, и онъ велѣлъ мнѣ на время оставить купанье, и далъ микстуру, отъ которой . . . . . и отвлекло приливъ крови отъ груди внизъ. Тѣмъ не менѣе, сегодня впервые позволилъ онъ мнѣ возобновить купанья, и я поутру купался, а часа черезъ три опять пойду. Чудо, что за наслажденіе! Сегодня море въ волненіи, волна то подхватитъ тебя, взнесетъ на гору, сброситъ внизъ, окатитъ съ головой, вода теплая, погода чудная, хотя и съ вѣтромъ! Купанье уже оказало благодѣтельное вліяніе на мои нервы: я сталъ крѣпче, свѣжѣе и здоровѣе. Въ Москву мы будемъ съ М. С. къ первому октября и, если опоздаемъ, то ни какъ не больше, какъ двумя или тремя днями, потому что онъ получилъ отпускъ только до этого времени. Пріѣхавши, я тотчасъ же беру мѣсто въ мальпостъ, или гдѣ случится, и въ Москвѣ пробуду не больше недѣли.

Ты пишешь, что это отъ тебя 4-е письмо въ Харьковъ: я третьяго не получалъ. Должно быть, ты адресовала его на имя Алфераки, а онъ теперь на ярмаркѣ въ Ромнахъ. Жаль, что такъ случилось. Спектакли русскіе въ Одессѣ кончились, и мы пока живемъ такъ, сами не зная, скоро ли ѣдемъ. Это зависитъ отъ содержателя театральной труппы въ Новороссіи, съ которымъ М. С. сдѣлалъ условіе. Когда онъ напишетъ, мы по старому пути поѣдемъ на сѣверовостокъ, въ Николаевъ, гдѣ проживемъ недѣль около двухъ, оттуда еще дальше—въ Херсонъ, а оттуда опять въ Одессу, чтобы изъ нея моремъ ѣхать на южный берегъ Крыма, откуда поѣдемъ въ Симферополь и Севастополь, гдѣ М. С. будетъ играть.

Я познакомился съ братомъ покойнаго Кульчицкаго. Онъ очень похожъ на А. Я., только ниже его ростомъ, здоровъ и полонъ. Онъ показался мнѣ порядочнымъ молодымъ человѣкомъ.

Можно ли быть аккуратнѣе меня: получилъ отъ тебя письмо—и часа черезъ два послалъ отвѣтъ на почту!

Продолжай писать въ Одессу на имя Александра Ивановича Соколова. Когда меня и въ Одессѣ не будетъ, онъ станетъ пересылать ко мнѣ. По моему разсчету, на дняхъ отъ тебя долженъ притти ко мнѣ отвѣтъ на мои два письма изъ Харькова. Если онъ придетъ до пятницы, или въ пятницу, то въ этотъ день пошлю къ тебѣ письмо по экстра-почтѣ, а если послѣ, то буду писать въ понедѣльникъ.

Что это у тебя за странная манера говорить и писать о своей беременности такимъ тонкимъ штилемъ, какъ будто дѣло идетъ — о контрабандѣ? Мнѣ было бы пріятнѣе, если бъ ты написала прямо о своемъ положеніи въ этомъ отношеніи, т.-е. въ какой степени беременности находишься ты, когда придется тебѣ родить. Да, Бога ради, познакомься съ какимъ-нибудь лекаремъ: иначе я спокоенъ не буду, а я и такъ еще не совсѣмъ успокоился: вѣдь отъ 6-го іюня до 8 іюля я ничего не знаю о вашемъ положеніи. Кланяюсь Агриппинѣ и прощаюсь съ тобою. Твой Висс.....

Отъ Кронеберга получилъ письмо: у него дома все хорошо.

Погода въ Одессѣ жаркая. Жру теперь все абрикосы—ихъ подвезли изъ Константинополя. Кстати, въ Грузію мы *не* поѣдемъ.

XI.

Одесса. 1846, іюля 12. Наконецъ я получилъ отъ тебя и отвѣтъ на мое первое письмо изъ Харькова, и теперь совершенно спокоенъ на счетъ вашего положенія по части здоровья. Правда, ты не совсѣмъ

здорова, но нездоровье для насъ съ тобою вещь обыкновенная; а я боялся слѣдствій простуды твоей, полученной на пароходѣ. И такъ, поѣздка твоя въ Ревель не принесла тебѣ ни пользы, ни удовольствія, отъ того, главное, какъ теперь ясно оказывается, что ты ошибочно понадѣялась найти въ Ревелѣ прислугу и рискнула ѣхать туда безъ прислуги. Ты пишешь, что Марья была бы теперь для тебя прекрасною кухаркой: знаешь ли что? — я бы очень желалъ, чтобы, по возвращеніи въ Петербургъ, ты не убѣдилась на опытѣ, что имѣла въ Марьѣ прекрасную няньку, лучше которой мудрено найти. Я, признаюсь, что-то сильно боюсь, что по этой части тебѣ предстоитъ много огорченій. По крайней мѣрѣ, я желалъ бы, чтобы тебѣ сдѣлали пользу купанья въ морѣ,—тогда бы, несмотря на всѣ неудовольствія, все бы стоило ѣхать въ Ревель; а иначе гораздо лучше было бы остаться въ Петербургѣ на дачѣ. На счетъ твоего переѣзда въ Питеръ—дѣлай, какъ хочешь. Если бы и не стало денегъ, можно попросить у у Александра Александровича. Кстати о деньгахъ. Я писалъ къ тебѣ о нихъ съ тѣмъ именно, чтобы совершенно успокоить тебя въ этомъ отношеніи: но вышло иначе: по тону письма твоего видно, что тебѣ все худо—нѣтъ денегъ и есть деньги. Я совсѣмъ не *надѣюсь занять гдѣ-нибудь*, какъ пишешь ты. Гдѣ мнѣ занять и кто мнѣ дастъ взаймы? Но я потому и рѣшился ѣхать въ такой дальній путь, что надѣялся не *занять у кого-нибудь, а взять у друзей* денегъ, съ которыми могъ бы пріѣхать въ Петербургъ. И я не ошибся въ моей надеждѣ: Герценъ предложилъ мнѣ денегъ. Объ отдачѣ ихъ ему я и думать не намѣренъ. И это меня нисколько не безпокоитъ, не мучитъ и не унижаетъ въ собственныхъ глазахъ: Герценъ не Струговщиковъ, не Косяковскій (о которыхъ не могу вспомнить безъ сердечнаго и всяческаго щемленія). Если бъ подобный поступокъ съ моей стороны я считалъ предосудительнымъ, это значило бы, что я самъ, будучи богатъ, не иначе помогъ бы бѣдному пріятелю въ его стѣсненномъ положеніи, какъ внутренно презирая его за-то, что онъ взялъ у меня денегъ, зная, что ему нечѣмъ будетъ заплатить мнѣ. Понимай меня какъ хочешь въ этомъ отношеніи, но я таковъ, и другимъ быть не хочу.

Опасеніе Агриппины, чтобы я не проболтался Достоевскому о томъ, что его родные — розмазня, совершенно неосновательно. Я былъ бы не болтунъ, а дуракъ, если бъ счелъ себя въ правѣ смѣяться Достоевскому въ глаза надъ близкими ему людьми, которые, въ довершеніе всего, были къ вамъ радушны. На этотъ счетъ я могу васъ успокоить. Не знаю также, почему тотъ—юноша и мечтатель, кто думаетъ, что годовалый ребенокъ можетъ ходить или лепетать.

Дѣйствительно, мнѣ поѣздка лучше посчастливилась, чѣмъ тебѣ. Здоровье мое все лучше и лучше становится; наконецъ, и кашель начинаетъ подаваться. Въ Одессѣ теперь жары, отъ которыхъ все охаетъ и стонетъ. Представь себѣ: ночью душно отъ жару. Вѣтеръ одна отрада. Даже мнѣ тяжело отъ жару. Купаться въ морѣ наслажденіе. Жить въ Одессѣ дешево; только нѣтъ льду и нечего пить—вода прегнусная. Сегодня, какъ пойдетъ къ тебѣ это письмо, мы ѣдемъ въ Николаевъ. Можетъ быть, оттуда пріѣдемъ опять въ Одессу въ первыхъ числахъ августа, а 15 августа изъ Одессы моремъ поѣдемъ въ Крымъ. Если же изъ Николаева М. С. долженъ будетъ ѣхать играть въ Херсонъ, то въ Крымъ поѣдемъ изъ Херсона сухимъ путемъ. Во всякомъ случаѣ, письма твои мнѣ будетъ доставлять Александръ Ивановичъ Соколовъ; а начиная съ половины (или съ 20) августа, адресуй ихъ въ Севастополь, на имя Михаила Семеновича Щепкина (отдать при театрѣ), съ передачею мнѣ.

Я очень радъ, что ты хочешь переѣхать въ Петербургъ, не дожидаясь меня. Мнѣ пріятнѣе застать васъ въ Питерѣ, нежели дожидаться. И квартиру вмѣстѣ будемъ искать. О причинахъ же, которыя ты приводишь въ письмѣ своемъ, нечего и говорить: онѣ основательны какъ нельзя больше. Только одного не понимаю я: почему ты не пишешь мнѣ, когда тебѣ придется родить? Я вообще такого мнѣнія, что мнѣ не мѣшало бы знать это.

Спѣлые абрикосы — довольно вкусный плодъ. Я таки порядочно истребляю ихъ. Груши только начинаютъ спѣть, но ихъ уже давно продаютъ. Клубники и малины мнѣ не удалось отвѣдать это лѣто. Клубнику я хоть видѣлъ мелькомъ въ Харьковѣ, но малины и въ глаза не видалъ. Скоро поспѣютъ дыни и арбузы. Я писалъ къ тебѣ, что въ Харьковѣ зубъ мой выпалъ. Не знаю, какъ-то разъ впихнулъ я его, да такъ удачно, что и теперь держится крѣпко, только торчитъ пренелѣпо, смотря изо рту вонъ.

Я было надѣялся, что глазные зубы у Оли пойдутъ въ іюлѣ, и что къ переѣзду она отмучается ими совсѣмъ. Анъ нѣтъ, чортъ дернулъ коренные полѣзть. Стало быть, худшее-то все еще впереди.

Въ Николаевѣ мнѣ будетъ скука смертельная. Спектакли мнѣ надоѣли смертельно. Начну что нибудь дѣлать, если погода позволитъ, т.-е. если жары не будутъ слишкомъ мучительны. Буду купаться въ Бугѣ. Сегодня небо мрачно, вѣтеръ прохладенъ, а въ комнатѣ, при растворенномъ окнѣ, все-таки душно отъ жару, хоть я и сижу только въ рубашкѣ. Ну, прощай. Всѣхъ васъ обнимаю. Твой Висс....

XII.

Николаевъ. 1846, іюля 17. М. С. попросилъ меня свезти на почту его письмо съ деньгами;—и я кстати рѣшился свезти и свое, хотя писать не о чемъ, и жара страшная. Все же тебѣ весело будетъ получить письмо, хоть въ немъ и ничего не будетъ интереснаго. Жить въ Николаевѣ довольно скучно. Это первый городъ, въ которомъ у насъ не нашлось ни одного знакомаго. Городъ этотъ флотскій и набитъ матросами и ихъ офицерами. Спектакли идутъ плоховато. Актеры ничѣмъ не лучше твоихъ чухонскихъ кухарокъ. Ужасъ! Кажется, 25 (въ ночь, въ четвергъ) мы опять поѣдемъ въ Одессу. Я радъ этому, потому что до 15 августа буду купаться въ морѣ, что принесетъ мнѣ большую пользу. Въ будущемъ интересуетъ только южный берегъ Крыма, который проѣдемъ мы дня въ два, въ три. Внѣ этого—поѣздка мнѣ начинаетъ надоѣдать, мнѣ начинаетъ хотѣться домой, въ свой уголъ. Думаю, что въ Севастополѣ, куда мы явимся, проѣхавъ по южному берегу Крыма, гдѣ мы проживемъ съ мѣсяцъ, мнѣ будетъ скучно. Впрочемъ, я тамъ буду купаться въ морѣ и потому, если будетъ и скучно, за-то полезно. Здоровье мое хорошо. Особенно поправился у меня сонъ—сплю чудесно. Прощай.

Обнимаю и цѣлую васъ всѣхъ. В. Б.

Ухъ, какъ жарко—мочи нѣтъ.

Это письмо ты получишь позднѣе обыкновеннаго: оно пойдетъ черезъ Москву.

23 іюля. Пришедши на почту въ прошлую середу, я узналъ тамъ, что московская почта ходитъ изъ Николаева по вторникамъ и пятницамъ. М. С. въ пятницу раздумалъ посылать свое письмо, отложивъ до вторника. Такъ какъ мнѣ не было ни о чемъ особенномъ писать—и я отложилъ до нынѣшняго вторника. О нашемъ маршрутѣ ничего вѣрнаго не знаемъ. Сегодня содержатель труппы, Жураховскій, ѣдетъ въ Херсонъ, чтобы узнать, позволятъ ли тамъ играть постомъ; если позволятъ, то перваго августа, или въ ночь на 31 іюля, мы выѣзжаемъ изъ Николаева въ Херсонъ (59 верстъ). Если не позволятъ, то Жураховскій будетъ просить позволенія играть въ Симферополѣ, и мы поѣдемъ туда. Если же бы не позволили ни тамъ, ни тутъ, мы, оставивъ экипажъ Жураховскому и оставивъ при немъ человѣка, поѣхали бы изъ Николаева въ Одессу на пароходѣ, гдѣ и прожили бы до 15 августа, а въ этотъ день на пароходѣ поѣхали бы въ Крымъ. Но всего вѣроятнѣе, что играть позволятъ въ Херсонѣ, а не то въ Симферополѣ, и намъ уже въ Одессѣ не быть. Въ Херсонѣ мы пробудемъ дней около десяти, а оттуда моремъ поѣдемъ въ Се-

вастополь, гдѣ меня ожидаетъ чудесное купанье въ морѣ, потому что при берегахъ Севастополя вода солонѣе, нежели при берегахъ Одессы.

Въ слѣдующую пятницу надѣюсь написать тебѣ,—вѣрно ли мы ѣдемъ 31-го въ Херсонъ,—и если не въ пятницу, то ужъ непремѣнно во вторникъ (30), стало-быть ровно черезъ недѣлю по полученіи этого письма, ты получишь другое. Со дня на день, все сильнѣе и сильнѣе начинаю скучать; хочется домой, поѣздка надоѣла, и меня утѣшаетъ только то, что большая половина поѣздки уже совершена, и что я еще увижу, хотя и мимоходомъ, южный берегъ Крыма.

Здоровье мое хорошо, кашля нѣтъ. Жду много добра отъ купанья въ морѣ въ Севастополѣ. Въ Николаевѣ напали на меня блохи и мухи, особенно послѣднія. Не даютъ спать, проклятыя, и если случится лечь попозднѣе, дальше 7 часовъ утра никакъ не дадутъ уснуть, днемъ тоже. А какъ жарко—мочи нѣтъ; а нынѣшнее лѣто еще не изъ жаркихъ здѣсь. Абрикосы проходятъ. На базарѣ въ Николаевѣ десятокъ лучшихъ абрикосовъ стоитъ 10 к. мѣдью, лучшихъ грушъ—30 к. мѣдью. Вчера въ первый разъ увидѣли дыни и, кажется, за гривенникъ купили четыре небольшія дыньки. Теперь скоро пойдутъ дыни и арбузы, а недѣли черезъ три и виноградъ — ѣшь не хочу. И все это нипочемъ. Боже мой! что это за богатый край! Вчера мы обѣдали у контръ-адмирала Берха, что за чудесный старикъ! До сихъ поръ, у насъ не было никого знакомыхъ; теперь зять Берха, офицеръ, будетъ у насъ часто бывать.

А отъ тебя что-то опять долго нѣтъ писемъ. Все жду отъ Соколова и не получаю. Теперь ужъ ты адресуй письма на имя М. С. въ Севастополь *(отдать при театрѣ)*. Еще разъ прощай.

XIII.

Николаевъ. 1846, іюля 30. Оба письма твои, chère Marie, я получилъ здѣсь, въ Николаевѣ, а если ты и кромѣ ихъ послала по тому же адресу и еще нѣсколько, я ихъ получу исправно въ Херсонѣ или въ Симферополѣ. Теперь я положительно могу увѣдомить тебя о нашемъ пути-дорогѣ. Въ Одессу мы больше не будемъ, а отправляемся послѣ завтра въ Херсонъ, гдѣ пробудемъ числа до 12 (августа), а потомъ поѣдемъ въ Симферополь, гдѣ пробудемъ почти до сентября, а весь сентябрь проведемъ въ Севастополѣ, куда и адресуй свои письма на имя М. С. Щ., надписывая каждый разъ: *отдать при*

театръ. Начиная съ 15 сентября, посылай свои письма въ Воронежъ, по адресу: *е. бл. Николаю Михайловичу Щепкину, въ канцелярію Драгунскаго Его Императорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича полка*. Въ Воронежѣ мы будемъ около 10 октября, и я былъ бы очень радъ получить тамъ вдругъ два или три письма твои. Въ Воронежѣ мы проживемъ сутокъ двое, стало-быть, въ Москву пріѣдемъ числа 16. Въ Москвѣ я пробуду много если дней пять, слѣд. въ Петербургъ буду числа 25.

Письма твои, съ одной стороны, очень порадовали меня, потому что я увидѣлъ изъ нихъ, что всѣ вы здоровы, и ничего особеннаго дурного съ вами не случилось; но, съ другой стороны, они очень огорчили меня, показавши мнѣ, что ни житье вмѣстѣ, ни отдаленіе разлуки, ничто не научило васъ понимать мой характеръ и читать мои письма не въ однѣхъ строкахъ, но и между строками. Это тѣмъ болѣе огорчило меня, что мнѣ пришло вдругъ въ голову, что я самъ виноватъ въ этомъ, что созданъ такъ грубо, что не могу не оскорблять выраженіемъ моей симпатіи также точно, какъ и выраженіемъ моего нерасположенія. Испугавшись за твою болѣзнь и увидя изъ твоихъ писемъ, что всѣ дни твои есть рядъ безпрерывныхъ мелкихъ досадъ и огорченій, я естественно желалъ помочь чѣмъ-нибудь горю, и для этого не нашелъ другого средства, какъ, жалуясь вамъ же на раздражительность вашихъ характеровъ, особенно для васъ вредную въ такихъ обстоятельствахъ, этимъ самымъ обратить ваше вниманіе на это обстоятельство и возбудить въ васъ рѣшимость бороться съ нимъ. Во всякомъ случаѣ, источникъ моихъ словъ никоимъ образомъ не могъ быть для васъ оскорбителенъ, и если бъ я даже и ошибся въ этомъ случаѣ на вашъ счетъ, вамъ нечего было сердиться, но лучше было бы успокоить меня, увѣривши меня (не оскорбляясь и не сердясь), что мои опасенія были напрасны и что я ошибся. *Но вмѣсто этого*, въ одномъ письмѣ ты пишешь, что Агриппина *не шутя разсердилась на меня; въ другомъ, что она плюетъ на меня, потому что я въ каждомъ письмѣ приписываю ей что-нибудь ругательное*. У меня руки опустились по прочтеніи этихъ вовсе неожиданныхъ мною строкъ. Живя вмѣстѣ, я часто вздорилъ съ Агриппиной (потому что, повторяю подъ опасеніемъ быть снова оплеваннымъ, у обоихъ насъ, у нея и у меня, характеры прескверные, ребячески—мелочные, болѣзненно-раздражительные, а воспитаніе у обоихъ насъ не развило того, что называется деликатностью и тактомъ), но никогда, ни на яву, ни во снѣ, не питалъ я къ ней никакихъ враждебныхъ чувствъ; но находясь вдали отъ семейства, забывши всѣ мелочныя неудовольствія и, можно сказать, дрожа ежеминутно за здоровье и жизнь каждаго изъ

его членовъ, я писалъ и объ Агриппинѣ не только безъ всякой враждебности, но съ полнымъ расположеніемъ, съ самою теплою симпатіей къ ней, и отвѣтъ на это получаю въ деликатномъ и граціозномъ образѣ плеванія! Я въ эту минуту походилъ на человѣка, который подошелъ къ другому съ улыбкой и протянутою для пожатія рукой, а въ отвѣтъ получилъ оплеуху. Но что еще огорчительнѣе для меня, это—то, что вмѣсто того, чтобы разувѣрить и успокоить Агриппину въ ея несправедливомъ и неосновательномъ раздраженіи противъ меня, ты берешь ея сторону и вычисляешь мнѣ все, что̀ дѣлаетъ для насъ Агриппина. Я и прежде замѣчалъ съ горестью, что ты убѣждена въ томъ, что я не вижу и не понимаю, что̀ для насъ дѣлаетъ и чѣмъ для насъ жертвуетъ Агриппина. Она вообразила, что живетъ у насъ въ тягость мнѣ, словно изъ милости, а ты такъ и смотришь на меня, какъ будто ожидая, что вотъ я въ одно прекрасное утро скажу тебѣ, что мнѣ уже не въ силахъ скрывать того, что ея пребываніе у насъ мнѣ невыносимо. Вотъ это-то мнѣ еще обиднѣе, нежели смѣшно и нелѣпо неосновательныя сомнѣнія Агриппины. Но довольно объ этомъ. Лучше переговорить при свиданіи, или, еще лучше, вовсе никогда не говорить объ этомъ: чего нельзя поправить, то только портится поправками. Видно, вамъ уже суждено не понимать меня, и я былъ бы очень радъ убѣдиться, что *я* больше васъ виноватъ въ этомъ.

Если въ Крыму есть кумысъ, и мой докторъ, съ которымъ я тамъ долженъ увидѣться, скажетъ, что мнѣ кумысъ полезенъ, я буду пить его; только едва ли онъ тамъ есть, потому что для него ѣздятъ не въ Крымъ, а въ Оренбургъ. Плодами я не обжираюсь. Абрикосы рѣшительно кончились, и дней пять назадъ я ѣлъ ихъ въ послѣдній разъ. До грушъ я не охотникъ: недозрѣлыя—онѣ жестки, дозрѣлыя—безвкусно мягки. Бергамотовъ въ Николаевѣ нѣтъ. Дыни только что показались, а арбузы только что показываются. Въ Херсонѣ отличные арбузы, а это безвредный плодъ.

У зятя контръ-адмирала Берха премиленькія дѣти—сынъ и дочь десяти мѣсяцевъ, близнецы. На видъ имъ кажется года по полутора. Мальчикъ страдаетъ зубами, спалъ съ тѣла и сталъ вялъ, а дѣвочка—что за прелесть, а зовутъ ее Ольгой.

Съ недѣлю назадъ тому, дней съ пять сряду были все дожди, при которыхъ было все также душно и жарко. Наконецъ, въ пятницу вечеромъ сдѣлалось холодно, ртуть опустилась до 15 градусовъ. Субботу весь день было холодно, воскресенье стало теплѣе, а теперь опять жара. Странное лѣто! ни одного дня не помню я, чтобъ небо было совершенно чисто, чтобы не было на немъ ни облачка. Ни

одной грозы не видалъ. Было, правда, на прошлой недѣлѣ нѣсколько ударовъ грома, и все тутъ.

Увѣдомь меня, ради всего святого, когда тебѣ придется родить, и купаешься ли ты въ морѣ, и есть ли тебѣ отъ этого лучше. Прощай, цѣлую тебя и Ольгу. Твой Висс...

XIV.

Херсонъ. 1846, августа 6. Третьяго дня получилъ я неожиданно твое третье письмо въ Харьковъ, отъ 3 іюня. Оно было адресовано на имя Алфераки, который въ это время находился на Роменской ярмаркѣ, стало быть, получилъ его уже по возвращеніи оттуда, отдалъ Кронебергу, который переслалъ его въ Одессу къ Соколову, а тотъ ко мнѣ въ Херсонъ. Изъ этого письма узналъ я, во первыхъ, что ты видѣла на мой счетъ преглупый сонъ, который почему-то нашла „очень непріятнымъ", во 2-хъ, у тебя въ Ревелѣ есть докторъ и что ты начала брать теплыя ванны, по его совѣту. Такъ вотъ въ чемъ было дѣло: письмо не попало мнѣ въ руки во время, а въ другихъ письмахъ тебѣ какъ-то не пришлось повторить это, а я безпокоился и мучился. Такъ-то бо́льшая часть нашихъ страданій и огорченій въ жизни происходитъ отъ такихъ недоразумѣній. Вотъ другое дѣло, что ты опечалилась отъ глупаго сна: тутъ по дѣлòмъ вору мука—не вѣрь глупымъ снамъ, коли знаешь грамотѣ и считаешь себя образованнѣе какой-нибудь старухи-салопницы; а если не хочешь, чтобы надъ тобой за это смѣялись, не пиши объ этомъ серьёзно къ человѣку, который подобнымъ глупостямъ давно уже не вѣритъ!

Выѣздъ нашъ изъ Николаева ознаменовался двумя непріятными событіями: пожаромъ (сгорѣло 5 домовъ) и смертью ребенка у нашего хозяина, дѣвочки лѣтъ двухъ. Въ середу вечеромъ начала она кашлять съ хрипѣніемъ, М. С. посовѣтовалъ сейчасъ же послать за лекаремъ или самимъ поставить ей пьявокъ; я, не зная этого, — съ своей стороны тоже совѣтовалъ, немедля обратиться къ доктору; но хозяинъ отвѣчалъ мнѣ, что всѣ доктора—скоты, которые уже уморили у него двоихъ дѣтей, и что дѣтямъ доктора̀ не нужны, однакожъ ночью пошелъ за докторомъ, но тотъ отказался, по причинѣ ночи; въ четвергъ поставили пьявокъ; но, видно, поздно: вечеромъ ребенокъ умеръ. Отецъ весь день ревѣлъ какъ баба; а потомъ всю вину, по обыкновенію, сложилъ на волю Божію.

Въ Херсонѣ случилось съ нами необыкновенное происшествіе. Хотя содержатель театра, Жураховскій, и выпросилъ заранѣе позволеніе у херсонскаго начальства играть отъ 4-го до 15 августа, но губернаторъ одумался и запретилъ. Вслѣдствіе этого мы въ Симферополь не поѣдемъ, а проживемъ въ Херсонѣ до 26 августа, такъ какъ жители этого города изъявили большую охоту видѣть М. С., и заранѣе разобрали почти всѣ билеты. Будетъ сыграно 7 спектаклей, да восьмой бенефисъ въ пользу М. С., который этимъ хотѣлъ вознаградить себя за двѣ почти недѣли, даромъ прожитыя въ Херсонѣ, потому что театръ начнется 15 августа. Скучно, а дѣлать нечего.

Ужъ какъ надоѣло мнѣ ничего не дѣлать и проживать въ разныхъ захолустьяхъ—мочи нѣтъ, тоска да и только! Такъ бы и полетѣлъ домой. Утѣшаю и укрѣпляю себя только тѣмъ, что уже бо̀льшая часть опредѣленнаго на поѣздку времени прошла, и что лучшее этой поѣздки, т.-е. Крымъ, еще впереди, и что мѣсяцъ въ Севастополѣ (сентябрь) будетъ употребленъ на дѣло—на купанье въ морѣ. Ну, что Агриппина? я думаю, еще больше осердилась на меня, разогорчилась и прочее и прочее? Есть изъ чего! Я такъ вовсе простылъ на этотъ счетъ, и даже жалѣю, что въ прошедшемъ письмѣ распространился объ этихъ вздорахъ. Ну, Агриппина Васильевна, полноте сердиться—дайте-ка руку—это будетъ лучше.

Фу, чортъ возьми, въ какую даль уѣхалъ я отъ васъ—инда страшно становится! Ахъ, кабы этотъ августъ да скорѣе прошелъ! Кабы деньги—я зналъ бы какъ убить время—поѣхалъ бы я до 25 августа въ Одессу къ Соколову и къ морю.

Въ послѣднее время пребыванія въ Николаевѣ я довольно дурно чувствовалъ себя. Кровь прилила къ груди, и оттого грудь болѣла, я кашлялъ, страдалъ . . . . . , а отъ недостатка движенія болѣла и голова. Наканунѣ отъѣзда Рѣдкинъ далъ мнѣ какихъ-то пилюль,

. . . . . .

. . . . . .

. . . .—и грудь освободилась, дышу легко и полно, голова свѣжа, кашля нѣтъ. Даже языкъ такъ чистъ, какъ никогда не бывалъ, а послѣ обѣда, поспоритъ въ чистотѣ съ языкомъ Дюка и Малки (что эти почтенные юноши? напиши что нибудь о нихъ). Такъ какъ теперь по утрамъ и вечерамъ уже не такъ жарко, то хожу пѣшкомъ на Днѣпръ купаться, два раза въ день. Ѣдимъ арбузы, изъ которыхъ спѣлые еще очень рѣдки. Но что за дыни—объѣденье! Груши здѣсь очень недурны. Арбузы здѣсь продолговатые, на подобіе дыни.

Да будетъ вамъ извѣстно, что я хожу съ бородою. Съ выѣзда изъ Калуги не брился, въ Воронежѣ, на Коренной и въ Харьковѣ

я походилъ на бѣглаго солдата, но къ пріѣзду въ Одессу у меня уже явилось что-то вродѣ бороды, а теперь совсѣмъ борода. Я боялся, что моя борода выйдетъ вродѣ моихъ усовъ, то есть мерзость страшная, но борода вышла на славу—вотъ сама увидишь.

Ну, прощай, chère Marie, цѣлую и обнимаю васъ всѣхъ. Твой Висс...

XV.

Херсонъ. 1846, августа 13. Третьяго дня получилъ я твое письмо отъ 26 іюля. Волосы Ольги, упавшіе изъ письма, когда я развернулъ его, непріятно поразили меня. Глаза мои упали на строку, что Ольга была больна не болѣе 10 дней—я даже обомлѣлъ; но, пробѣжавъ письмо, я успокоился, видя, что это отвѣтъ на 2-е мое письмо изъ Одессы, о которомъ я совсѣмъ забылъ. Когда ты писала ко мнѣ о Прокоповичѣ? не знаю. Или ты вовсе не писала, или письмо это не дошло до меня. Совѣты твои на счетъ покупки рубашекъ пропали понапрасну: эта покупка не состоялась. Я хотѣлъ на нее взять денегъ у М. С., но какъ для этого мнѣ нужно было знать, играетъ ли онъ у Жураховскаго, то я и отложилъ дѣло до вторичнаго посѣщенія Одессы, которое не состоялось. Я уже писалъ къ тебѣ, что сшилъ въ Одессѣ сюртукъ за 125 руб. асс., такого сукна, изъ какого въ Питерѣ не сошьешь за эту цѣну. Потомъ пальто изъ трико за 75 р. асс. Кромѣ дюжины фуляровъ и батистовыхъ платковъ для тебя и Агр., купилъ я трубку со стеклами, заплатилъ 4 р. серебромъ—въ Питерѣ надо-бы заплатить 10 р. с.; палку камышъ, съ прекрасно сдѣланною изъ бронзы головою кардинала Ришельё, заплатилъ 4 р. с.—эту вещь въ Питерѣ едва-ли можно купить и за 10 р. с. Двѣ пары франц. прюнелевыхъ сапогъ по 3 р. с. за пару. Вотъ и всѣ мои покупки.

За присылку волосъ Оли спасибо. Я желалъ бы, чтобы ты выѣхала изъ Ревеля поскорѣе: чѣмъ больше промедлишь, тѣмъ дорога для тебя труднѣе. Сегодня Олѣ исполнилось два мѣсяца другаго года, а когда это письмо дойдетъ до тебя, ей вѣроятно минетъ и третій мѣсяцъ. Письма мои доходятъ до тебя страшно поздно.

Я жалѣю, что только два послѣднія письма адресовалъ на имя Достоевскаго; боюсь, что послѣднее, адресованное на твое имя, не застанетъ тебя въ Ревелѣ и пропадетъ. Это я адресую прямо въ Питеръ на имя Тютчева. Мнѣ кажется, я заѣхалъ на край свѣта. А между тѣмъ, скоро надо будетъ и еще отдалиться на 360 верстъ. Вотъ уже почти двѣ недѣли живемъ мы въ Херсонѣ безъ всякаго

дѣла; спектакли начнутся послѣ завтра, и кончатся 25 или 27 августа, послѣ чего поѣдемъ въ Симферополь, гдѣ пробудемъ дней 10, а тамъ въ Севастополь—крайній предѣлъ и послѣднее мѣсто нашего странствованія, изъ котораго уже домой. Считаю дни, пройдетъ день—я и радъ, что однимъ днемъ меньше, и теперь утѣшаю себя мыслью, что скоро половины августа—какъ не бывало, и что по выѣздѣ изъ Херсона минетъ 4 мѣсяца моему странствію, со дня выѣзда изъ Питера. Лишь бы выбраться изъ скучнаго Херсона, а тамъ время пойдетъ для меня быстрѣе. Во 1-хъ, надо будетъ проѣхать 300 верстъ до Симферополя, а въ дорогѣ время летитъ быстро, да и кромѣ того, эта дорога сама по себѣ будетъ интересна, ибо крымская природа уже другая; Симферополь хотя и дрянной, но все же новый для меня городъ, и въ спектакляхъ 10 дней пройдутъ скорѣе, а тамъ—Севастополь съ моремъ, виноградомъ и устрицами. Если есть кумысъ, то непремѣнно буду пить. Я самъ убѣжденъ, что онъ будетъ мнѣ полезенъ. Ну, а изъ Севастополя поѣдемъ уже почти безъ остановокъ: остановимся на часъ, на другой—въ Николаевѣ, чтобы повидаться съ Морицомъ Борисовичемъ Берхомъ, да на часъ, на другой—въ Харьковѣ; изъ Харькова сдѣлаемъ крюкъ на Воронежъ, гдѣ остановимся на день, на другой, и гдѣ я надѣюсь застать письма отъ тебя. (Не забудь: если ты послѣ 15 сентября отошлешь хотя одно письмо въ Севастополь, оно уже не застанетъ меня). Изъ Воронежа до Москвы проѣдемъ уже безо всякихъ остановокъ. Отъ Николаева до Харькова поѣдемъ новою дорогою, черезъ Кременчугъ и Полтаву, и это мнѣ пріятно. И такъ, лишь бы выбраться изъ томительнаго Херсона, я бы считалъ, что моя поѣздка какъ будто кончена. Нашлись у насъ знакомые и въ Херсонѣ, которые насъ ласкаютъ; предстоятъ они намъ и въ Симферополѣ.

Въ прошлый вторникъ я видѣлъ чудное для меня зрѣлище. Ѣду купаться, и вижу страшные клубы пыли, подымающіеся изъ-за Днѣпра по направленію къ Херсону. Смотрю—нѣтъ, это не пыль, это густой дымъ, да откуда же и какъ?—Слышу, въ Херсонѣ на одной колокольнѣ бьютъ набатъ. Странно: зачѣмъ же это, вѣдь если это пожаръ, такъ въ какой-нибудь деревнишкѣ въ окрестностяхъ Херсона. Наконецъ вижу, что это не пыль, не дымъ, а туча саранчи, растянувшаяся на нѣсколько верстъ и летящая черезъ Херсонъ. Звонили затѣмъ, чтобъ испугать ее и не дать ей сѣсть на Херсонъ—иначе она не оставила бы ни деревца, ни былинки въ городѣ. Когда этотъ бичъ южныхъ странъ садится на поля, то не оставляетъ ни признака соломы—одну черную землю видятъ послѣ нея тамъ, гдѣ спѣлымъ колосомъ шумѣла колосистая рожь или пшеница. Саранча,

которую я видѣлъ, на пути своемъ пожрала весь тростникъ въ окрестностяхъ Херсона. Насѣкомое это довольно велико: молодая саранча въ пятеро больше обыкновеннаго кузнечика, а старая немного потоньше пѣночки (птички) и немного подлиннѣе ея. Я писалъ къ тебѣ въ послѣднемъ письмѣ, что жары спали и стало прохладнѣе: какъ нарочно начались опять такія палящія жары, что мочи нѣтъ. Ночью въ комнатѣ душно, а на дворѣ утра страшно-прохладны. Въ субботу мы ѣздили на баркасѣ гулять, пристали верстахъ въ 4 отъ Херсона къ берегу, велѣли рыбакамъ закинуть сѣти, варили уху, ѣли, пили. Было человѣкъ 15. Разумѣется, эти затѣи и расходы М. С. Этотъ человѣкъ для удовольствія другихъ готовъ ничего не жалѣть. Даже я, по части мотовства—пасъ передъ нимъ. Воротились уже вечеромъ, въ темнотѣ. Что за люди, что за міръ окружаетъ насъ. Я дивлюсь, а М. С. только посмѣивается. Наканунѣ этого пикника я обожрался раками, которые теперь линяютъ. Вечеромъ былъ у насъ одинъ знакомый, я болталъ и чувствовалъ только, что въ комнатѣ душно. Гость ушелъ, я вышелъ на галлерею, и въ одну секунду почувствовалъ, что зябну. Въ комнату я воротился въ пароксизмѣ сильной лихорадки — било меня такъ, что зубы колотились. Я выпилъ рюмку мадеры, и едва согрѣлся въ постели подъ тулупомъ. Думалъ, что по утру надо будетъ имѣть дѣло съ докторомъ, со рвотными, слабительными и пьявками. Однако проснулся, какъ ни въ чемъ не бывало. Скажи Александрѣ Балтазаровнѣ *(мать жены Н. Н. Тютчева)*, какъ увидишься съ нею, что Новороссійскій край ея, со включеніемъ Отраднаго, страна чудесная, но что жить въ немъ я не согласился бы ни за какія блага въ мірѣ, ни даже за цѣну обладанія *Отраднымъ*. Климатъ и природа здѣсь чудные, но нѣтъ лѣсовъ и оттого тоска смертельная. Кругомъ вызженная солнцемъ сухая степь, воздухъ проникнутъ какою-то сухостью. Степь эта хороша въ апрѣлѣ и въ началѣ мая, а послѣ она выгораетъ. Дерево рѣдкость въ степи, и это всегда ветла. Въ городахъ тополь и бѣлая акація, но и тѣ растутъ только до 30 лѣтъ, ибо въ это время корень ихъ встрѣчаетъ каменную почву, и они сохнутъ.

На счетъ абрикосовъ въ Таганрогѣ—ничего не могу тебѣ сказать. Въ Николаевѣ мы покупали ихъ по 3 к. с. десятокъ, а въ Херсонѣ уже не застали ихъ. Здѣсь чудесныя груши по 3 к. с. фунтъ. Начинаютъ появляться спѣлые арбузы—30 к. мѣдью на вырѣзъ арбузъ въ полпуда; 10 коп. м. цареградская огромная дыня, а свои ни по чемъ. Арбузы мнѣ всячески полезны: избавляютъ отъ необходимости пить воду со льдомъ (что опасно). . . . . .

Прощай, другъ мой, обнимаю васъ всѣхъ. Передъ выѣздомъ буду

писать, а если получу отъ тебя письмо, буду писать опять во вторникъ (20). Твой Висс.....

Когда пріѣдешь въ Питеръ, попроси Некрасова написать ко мнѣ.

XVI.

Херсонъ. 1846, августа 22. Скучно. Михаилъ Семеновичъ страдаетъ теперь на сценѣ пакостнѣйшаго театра (сдѣланнаго изъ сарая), играя съ безтолковѣйшими и пошлѣйшими въ мірѣ актерами; а я остался дома. Письмо это пойдетъ на почту завтра поутру, и я рѣшился приготовить его съ вечера, чтобъ чѣмъ-нибудь заняться. Вотъ отъ тебя опять давно уже нѣтъ-какъ-нѣтъ письма. Мнѣ хотѣлось бы получать рѣшительно каждую недѣлю. Чѣмъ ближе къ свиданію, тѣмъ безпокойнѣе и тоскливѣе становлюсь я. Мнѣ кажется, я заѣхалъ на край свѣта. Страшно подумать: пока пошлешь письмо и получишь на него отвѣтъ, должно пройти мѣсяца два! Послѣднее письмо твое было отъ 26 іюля: я ахнулъ, увидя, что это отвѣтъ *только еще* на мое второе письмо изъ Одессы.

Что тебѣ сказать о себѣ? Въ понедѣльникъ поутру ѣдемъ изъ Херсона; остается трое сутокъ, а мнѣ все кажется, какъ будто остается еще три года! Ай да Херсонъ — буду я его помнить! Вообще, Новороссія страшно мнѣ опротивѣла. Безлѣсная, опаленная солнцемъ, вѣчно сухая и пыльная сторона. За неимѣніемъ лучшаго утѣшенія, утѣшаюсь мыслью, что ближе, чѣмъ черезъ недѣлю, увижу деревья, лѣса, виноградные сады. Но если бъ было возможно, кажется, уѣхалъ бы сейчасъ же домой, не посмотрѣвши ни на что на это. Въ день нашего выѣзда, т.-е. въ понедѣльникъ, 26 августа, исполнится ровно *четыре мѣсяца*, какъ я выѣхалъ изъ Питера, а мнѣ кажется, что прошло съ тѣхъ поръ по крайней-мѣрѣ четыре года. Надѣюсь, что сентябрь пройдетъ для меня скорѣе, нежели августъ.

Цѣль этого письма—не оставить тебя на долгое время безъ извѣстій обо мнѣ, потому что слѣдующая почта во вторникъ, а въ этотъ день меня уже не будетъ въ Херсонѣ, а тамъ дорога, новый городъ, пока отдохнешь, осмотришься, а между тѣмъ на 300 верстъ дальше, и письмо изъ Симферополя пройдетъ еще дольше всѣхъ прежнихъ писемъ. Здоровье мое хорошо. Если въ воскресенье получу отъ Соколова твое письмо, буду отвѣчать на него уже изъ Симферополя. Въ Крыму кумысъ есть, и я буду пить его. Прощай, мой другъ, цѣлую тебя и Олю и жму руку Агриппинѣ.—Когда ты будешь читать

эти строки, я буду уже въ Севастополѣ — самой крайней точкѣ нашего путешествія. Еще разъ прощай, chère Marie, будь здорова, спокойна и благоразумна. Твой Висс.....

Дорогою прочелъ Жилблаза, Roman comique, теперь читаю Lettres d'un voyageur, и это послѣднее чтеніе порою очень освѣжаетъ меня. Чудо какъ хорошо!

Августа 23. Погода у насъ начинаетъ мѣняться. Въ прошлую пятницу былъ довольно прохладный и сѣрый день, т.-е. было тепло безъ жару и зною; въ субботу опять жаръ и зной, въ воскресенье опять прохладный день съ сильнымъ вѣтромъ и страшной пылью. Слѣдующіе дни теплые, безъ малѣйшаго зноя; вчера немного жарко, сегодня тоже. Но вечера уже съ недѣлю какъ теплые безъ малѣйшаго жару, а утренники ужасно холодные; въ 7 часовъ уже темнѣетъ, а въ 8 уже настоящая ночь. Вотъ уже, значитъ, время вечеровъ со свѣчами, время, въ которое для меня необходимо быть въ своемъ углѣ; а когда я доберусь до него? Прощайте, обнимаю васъ всѣхъ.

Кто хочетъ насладиться долголѣтіемъ, тому совѣтую поѣхать въ Херсонъ: если онъ въ немъ проживетъ годъ, ему покажется, что онъ прожилъ маѳусаиловы вѣки, жизнь утомитъ его и душа его востоскуетъ по успокоительной могилѣ.

XVII.

Симферополь. 1846, сентября 4. Меня опять начинаетъ безпокоить, что я такъ давно не получаю отъ тебя, chère Marie, писемъ: послѣднее было отъ 26 іюля, слѣдовательно, я опять не имѣю никакихъ извѣстій о положеніи моего семейства слишкомъ за мѣсяцъ! Меня только и успокоиваетъ одна мысль: вѣрно ты перестала писать, думая, что твои письма, адресованныя въ Одессу, не будутъ уже доходить до меня. Жаль! Они до сихъ поръ доходили бы преисправно; но какъ же тебѣ знать это? Еще думаю, что застану въ Севастополѣ хотя одно (а м. б. не одно) письмо твое, которое тамъ уже ждетъ меня.

Августа 26 отправились мы изъ ужаснаго Херсона въ Симферополь. Этотъ переѣздъ былъ бы переходомъ изъ ада въ рай, если бъ не одно обстоятельство. Августа 24 я заболѣлъ сильнымъ припадкомъ гемороя, какихъ у меня никогда не бывало. Сдѣлалось страшное раздраженіе . . . . . Дѣло дошло до того, что позвалъ доктора, который къ несчастію, узнавши, что изъ меня вышло довольно крови, не рѣшился поставить мнѣ больше 8 пьявокъ. Я однако поставилъ

одну лишнюю; но все-таки нужно было по крайней мѣрѣ 20, если не 30, а ужъ не 9. Однакожъ это нѣсколько облегчило меня, и поутру, въ понедѣльникъ, въ 7 ч. мы поѣхали, сперва водою (14 верстъ), а потомъ на лошадяхъ. Ѣхать мнѣ было довольно сносно; пріѣхали мы во вторникъ, часа въ 2. Чортъ меня дернулъ пойти съ М. С. въ турецкую баню, съ холоднымъ передбанникомъ. Мы пріѣхали въ пыли невыразимой и грязны, какъ свиньи. Должно быть, я тутъ простудился. Короче: въ пятницу мною овладѣло бѣшенство—хоть на стѣны лѣзть. Тогда нашъ докторъ велѣлъ мнѣ поставить 20 пьявокъ. Послѣ этого, со дня на день мнѣ становится все легче и легче. Докторъ нашъ—Андрей Ѳедоровичъ Арендтъ, родной братъ знаменитаго петербургскаго врача, предобрѣйшій старикъ, который полюбилъ насъ такъ, что и сказать нельзя. Къ этому, онъ очень искусный и опытный врачъ. Я его спрашивалъ о кумысѣ, и объяснилъ ему мою болѣзнь; но онъ сказалъ, что это не нужно и, вмѣсто этого, велѣлъ мнѣ курить траву (которой и далъ мнѣ), а курить ее надо какъ табакъ и затягиваться. Она производитъ сильный кашель и сильное отдѣленіе мокроты, и послѣ одной трубки груди легко, дыханіе свободно, мокрота отдѣляется прекрасно. И надо курить всякій разъ, какъ почувствуешь припадокъ кашля, одышки или и просто усталости. Не знаю, вылечитъ ли это меня, но какъ пальятивъ это хорошее средство. Я знаю, что тебѣ непріятно будетъ узнать, что я не пью кумыса; скажу тебѣ по секрету, что и мнѣ это не совсѣмъ пріятно, да что же дѣлать? Не съ моими средствами собирать консиліумы. Въ Симферополѣ, кромѣ Арендта, есть еще искусный докторъ—Мильгаузенъ, да какъ я къ нему пойду? А вѣдь Арендтъ лечитъ насъ даромъ и о деньгахъ слышать не хочетъ.

Мѣстоположеніе Симферополя плѣнительное. Отъ него начинаются горы и, въ 60 верстахъ отъ него, виднѣется Чатыръ-Дагъ. То-то бы гулять! А я сегодня еще въ первый разъ вышелъ. Завтра ѣду за городъ съ М. С. Городъ заваленъ арбузами, дынями, грушами, сливами, яблоками, виноградомъ. Но какъ-то всего этого я ѣмъ мало, хотя мой докторъ велитъ ѣсть какъ можно больше всего, кромѣ грушъ. Арбузы здѣсь посредственны, но дыни — невообразимыя. То и другое здѣсь дорого, сравнительно съ Херсономъ. Небольшая дыня стоитъ 5 коп. серебромъ. Какъ-то купили мы окъ (3 фунта) грушъ за 28 к. мѣдью, а въ окѣ ихъ было 9, и каждая величиною съ французскую, что въ Питерѣ въ дешевую пору продаются по 10 р. асс. десятокъ, да и то неспѣлыя. Виноградъ еще неспѣлъ (точно такой, какой ѣдимъ мы въ Петербургѣ и Москвѣ), по 20 к. мѣдью за окъ. Но сегодня М. С. одинъ знакомый прислалъ винограду, во 1-хъ спѣ-

лаго, а во 2-хъ такого, который на винодѣліе не употребляется, а разводится для ѣды. Святители! что это такое! Вообрази себѣ, если можешь, сладчайшій виноградъ, одинъ съ ароматомъ муската, а другой съ ароматомъ ананаса! Я только теперь могу сказать, что я ѣлъ виноградъ. Обыкновенный (виноделъный) виноградъ въ сравненіи съ этимъ то же, что огурецъ въ сравненіи съ арбузомъ, тыква или рѣпа—въ сравненіи съ дынею. Вотъ бы привезъ вамъ хоть по ягодкѣ, если бъ это не было невозможно!

Въ Севастополь будемъ числу къ 15-му; а тамъ, октября 2-го или 3-го—маршъ домой! Дождусь ли этого! Нѣтъ, впередъ. . . . . одинъ надолго въ вояжъ не пущусь, особенно въ Россіи, гдѣ существуетъ только какое-то подобіе почтовыхъ сношеній между людьми. Какъ-то вскорѣ по пріѣздѣ въ Симферополь всю ночь снилась мнѣ Оля—будто такая хорошенькая, такая миленькая, и все безъ умолку болтала, а мы всѣ на нее смотрѣли. Потомъ, какъ-то послѣ обѣда, я спалъ и все видѣлъ ее. Не могу смотрѣть безъ тоски на маленькихъ дѣтей, особенно дѣвочекъ. Охъ, дожить бы поскорѣе до октября!

Не повѣришь, какъ грустно писать не въ отвѣтъ на письмо, тѣмъ болѣе, что отвѣтъ на *это* письмо я могу получить, если не въ Москвѣ, то развѣ въ Воронежѣ. Прощай, ma chère Marie, крѣпко жму твою руку и обнимаю и цѣлую всѣхъ васъ. Твой Висс.

М. С. въ театрѣ; я одинъ дома. Пора принять порошокъ. Письмо это пойдетъ на почту завтра. Благо еще теперь не жарко — можно читать. Lettres d'un voyageur кончилъ; теперь читаю Les Confessions—немного книгъ въ жизни дѣйствовали на меня такъ сильно, какъ эта. Когда поправлюсь совсѣмъ, примусь писать. Вечера теперь уже длинны, и работа сократитъ время и незамѣтно приблизитъ минуту отъѣзда. А дня черезъ три я надѣюсь совершенно поправиться.

Сентября 5. Ночью шелъ дождь — явленіе рѣдкое въ нынѣшнее лѣто. Пыли нѣтъ, свѣжо; облака расходятся; если пригрѣетъ солнышко, поѣдемъ за-городъ.

Сильно меня безпокоитъ мысль, что ты запоздала своимъ выѣздомъ изъ Ревеля и, можетъ быть, должна ѣхать въ дурную погоду. Досадно мнѣ на себя, что въ послѣднемъ письмѣ моемъ, адресованномъ на имя Достоевскаго, я позабылъ увѣдомить тебя, что слѣдующее буду адресовать на имя Тютчева, прямо въ Питеръ. Еще разъ прощай, будь здорова и спокойна.

1848
Mai

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

ТЫ ПОБѢДИЛЪ ГАЛИЛЕЯНИНЪ!

Сраженный стрѣлой ассирійскою, палъ
Кесарь, отступникъ Христова ученія.
Въ смертной тоскѣ къ небесамъ онъ воззвалъ:
Ты побѣдилъ, Галилеянинъ!

Погибъ Юліанъ, врагъ Христова креста,
Церковь свободна отъ злаго гоненія.
Снова воскликнули вѣрныхъ уста:
Ты побѣдилъ, Галилеянинъ!

Расторгнемъ же сѣти порока и зла,
Къ свѣту воспрянемъ изъ тьмы усыпленія;
Вновь да раздастся и наша хвала:
Ты побѣдилъ, Галилеянинъ!

К. Р.

Палермо.
30 марта 1882 г.

* * *

Былыя радости!... Какъ нынѣ
Я васъ, далекихъ, назову?
Напѣвъ родимый на чужбинѣ;
Въ лѣсу чуть слышное: ау!
Притокъ въ окно струи воздушной;
Веселый возгласъ въ тишинѣ;
Во тьмѣ и грустно, и радушно
Огни, мигающіе мнѣ...

Алексѣй Жемчужниковъ.

Мартъ. 1898 г.

ТРИ РАЗСКАЗА.

I.

ОРАТОРЪ.

Въ одно прекрасное утро хоронили коллежскаго ассесора Кирилла Ивановича Вавилонова, умершаго отъ двухъ болѣзней, столь распространенныхъ въ нашемъ отечествѣ: отъ злой жены и алкоголизма. Когда погребальная процессія двинулась отъ церкви къ кладбищу, одинъ изъ сослуживцевъ покойнаго, нѣкто Поплавскій, сѣлъ на извощика и поскакалъ къ своему пріятелю Григорію Петровичу Запойкину, человѣку молодому, но уже достаточно популярному. Запойкинъ, какъ извѣстно многимъ читателямъ, обладаетъ рѣдкимъ талантомъ произносить экспромтомъ свадебныя, юбилейныя и похоронныя рѣчи. Онъ можетъ говорить, когда угодно: спросонокъ, натощакъ, въ мертвецки пьяномъ видѣ, въ горячкѣ. Рѣчь его течетъ гладко, ровно, какъ вода изъ водосточной трубы, и обильно; жалкихъ словъ въ его ораторскомъ словарѣ гораздо больше, чѣмъ въ любомъ трактирѣ тараканов. Говоритъ онъ всегда краснорѣчиво и длинно, такъ что иногда, въ особенности на купеческихъ свадьбахъ, чтобы остановить его, приходится прибѣгать къ содѣйствію полиціи.

— А я, братецъ, къ тебѣ!—началъ Поплавскій, заставъ его дома.— Сію же минуту одѣвайся и ѣдемъ. Умеръ одинъ изъ нашихъ, сейчасъ его на тотъ свѣтъ отправляемъ, такъ надо, братецъ, сказать на прощанье какую-нибудь чепуховину... На тебя вся надежда. Умри кто-нибудь изъ маленькихъ, мы не стали бы тебя безпокоить, а то вѣдь секретарь... канцелярскій столбъ, нѣкоторымъ образомъ. Неловко такую шишку безъ рѣчи хоронить.

— А, секретарь!—зѣвнулъ Запойкинъ.—Это пьяница-то?

— Да, пьяница. Блины будутъ, закуска... на извощика получишь. Поѣдемъ, душа! Разведи тамъ, на могилѣ, какую-нибудь мантифолію поцицеронистѣй, а ужъ какое спасибо получишь!

Запойкинъ охотно согласился. Онъ взъерошилъ волосы, напустилъ на лицо меланхолію и вышелъ съ Поплавскимъ на улицу.

— Знаю я вашего секретаря,—сказалъ онъ, садясь на извощика.— Пройдоха и бестія, царство ему небесное, какихъ мало.

— Ну, не годится, Гриша, ругать покойниковъ!

— Оно, конечно, aut mortuis nihil bene, но все-таки онъ жуликъ.

Пріятели догнали похоронную процессію и присоединились къ ней. Покойника несли медленно, такъ что до кладбища они успѣли раза три забѣжать въ трактиръ и пропустить за упокой души по маленькой.

На кладбищѣ была отслужена литія. Теща, жена и свояченица, покорныя обычаю, много плакали. Когда гробъ опускали въ могилу, жена даже крикнула: „Пустите меня къ нему!“ но въ могилу за мужемъ не пошла, вѣроятно, вспомнивъ о пенсіи. Дождавшись, когда все утихло, Запойкинъ выступилъ впередъ, обвелъ всѣхъ глазами и началъ:

— Вѣрить ли глазамъ и слуху? Не страшный ли сонъ сей гробъ, эти заплаканныя лица, стоны и вопли? Увы, это не сонъ, и зрѣніе не обманываетъ насъ! Тотъ, котораго мы еще такъ недавно видѣли столь бодрымъ, столь юношески свѣжимъ и чистымъ, который такъ недавно на нашихъ глазахъ, наподобіе неутомимой пчелы, носилъ свой медъ въ общій улей государственнаго благоустройства, тотъ, который... этотъ самый обратился теперь въ прахъ, въ вещественный миражъ. Неумолимая смерть наложила на него коснѣющую руку въ то время, когда онъ, несмотря на свой согбенный возрастъ, былъ еще полонъ расцвѣта силъ и лучезарныхъ надеждъ. Незамѣнимая потеря! Кто замѣнитъ намъ его? Хорошихъ чиновниковъ у насъ много, но Прокофій Осипычъ былъ единственный. Онъ до глубины души былъ преданъ своему честному долгу, не щадилъ силъ, не спалъ ночей, былъ безкорыстенъ, неподкупенъ... Какъ презиралъ онъ тѣхъ, кто старался въ ущербъ общимъ интересамъ подкупить его, кто соблазнительными благами жизни пытался вовлечь его въ измѣну своему долгу! Да, на нашихъ глазахъ Прокофій Осипычъ раздавалъ свое небольшое жалованье своимъ бѣднѣйшимъ товарищамъ, и вы сейчасъ сами слышали вопли вдовъ и сиротъ, жившихъ его подаяніями. Преданный служебному долгу и добрымъ дѣламъ, онъ не зналъ радостей въ жизни и даже отказалъ себѣ въ счастьѣ семей-

наго бытія; вамъ извѣстно, что до конца дней своихъ онъ былъ холостъ! А кто намъ замѣнитъ его, какъ товарища? Какъ сейчасъ вижу бритое, умиленное лицо, обращенное къ намъ съ доброй улыбкой, какъ сейчасъ слышу его мягкій, нѣжно-дружескій голосъ. Миръ праху твоему, Прокофій Осипычъ! Покойся, честный, благородный труженикъ!

Запойкинъ продолжалъ, а слушатели стали шушукаться. Рѣчь понравилась всѣмъ, выжала нѣсколько слезъ, но многое показалось въ ней страннымъ. Во-первыхъ, непонятно было, почему ораторъ называлъ покойника Прокофіемъ Осипычемъ въ то время, какъ того звали Кирилломъ Иванычемъ? Во-вторыхъ, всѣмъ извѣстно было, что покойный всю жизнь воевалъ со своей законной женой, а стало быть, не могъ называться холостымъ; въ-третьихъ, у него была густая рыжая борода, отродясь онъ не брился, а потому непонятно, чего ради ораторъ назвалъ лицо его бритымъ. Слушатели недоумѣвали, переглядывались и пожимали плечами.

— Прокофій Осипычъ!—продолжалъ ораторъ, вдохновенно глядя въ могилу,—твое лицо было некрасиво, даже безобразно, ты былъ угрюмъ и суровъ, но всѣ мы знали, что подъ сею видимой оболочкой бьется честное, дружеское сердце!

Скоро слушатели стали замѣчать нѣчто странное и въ самомъ ораторѣ. Онъ уставился въ одну точку, безпокойно задвигался и сталъ самъ пожимать плечами. Вдругъ онъ умолкъ, разинулъ удивленно ротъ и обернулся къ Поплавскому.

— Послушай, онъ живъ! сказалъ онъ, глядя съ ужасомъ.

— Кто живъ?

— Да Прокофій Осипычъ! Вонъ онъ стоитъ около памятника!

— Онъ не умиралъ! Умеръ Кириллъ Иванычъ!

— Вѣдь ты же самъ сказалъ, что у васъ секретарь померъ!

— Кириллъ Иванычъ и былъ секретарь. Ты, чудакъ, перепуталъ! Прокофій Осипычъ, это вѣрно, былъ у насъ прежде секретаремъ, но его два года назадъ во второе отдѣленіе перевели столоначальникомъ.

— А, чортъ васъ разберетъ!

— Что жъ остановился? Продолжай, неловко!

Запойкинъ обернулся къ могилѣ и съ прежнимъ краснорѣчіемъ продолжалъ прерванную рѣчь. У памятника дѣйствительно стоялъ Прокофій Осипычъ, старый чиновникъ съ бритой физіономіей. Онъ глядѣлъ на оратора и сердито хмурился.

— И какъ это тебя угораздило! смѣялись чиновники, когда вмѣстѣ съ Запойкинымъ возвращались съ похоронъ.—Живого человѣка похоронилъ!

— Нехорошо-съ, молодой человѣкъ! ворчалъ Прокофій Осипычъ.— Ваша рѣчь, можетъ быть, годится для покойника, но въ отношеніи живого она—одна насмѣшка-съ! Помилуйте, что вы говорили? Безкорыстенъ, неподкупенъ, взятокъ не беретъ! Вѣдь про живого человѣка это можно говорить только въ насмѣшку-съ. И никто васъ, сударь, не просилъ распространяться про мое лицо. Некрасивъ, безобразенъ, такъ тому и быть, но зачѣмъ всенародно мою физіономію на видъ выставлять? Обидно-съ!

II.

НЕОСТОРОЖНОСТЬ.

Петръ Петровичъ Стрижинъ, племянникъ полковницы Ивановой, тотъ самый, у котораго въ прошломъ году украли новыя калоши, вернулся съ крестинъ ровно въ два часа ночи. Чтобы не разбудить своихъ, онъ осторожно раздѣлся въ передней, на цыпочкахъ, чуть дыша, пробрался къ себѣ въ спальню и, не зажигая огня, сталъ готовиться ко сну.

Стрижинъ ведетъ жизнь трезвую и регулярную, выраженіе лица у него всегда душеспасительное, книжки онъ читаетъ только духовно-нравственныя, но на крестинахъ отъ радости, что Любовь Спиридоновна благополучно разрѣшилась отъ бремени, онъ позволилъ себѣ выпить четыре рюмки водки и стаканъ вина, напоминавшаго своимъ вкусомъ что-то среднее между уксусомъ и касторовымъ масломъ. Горячіе же напитки подобны морской водѣ или славѣ: чѣмъ больше пьешь, тѣмъ сильнѣе жаждешь... И теперь, раздѣваясь, Стрижинъ чувствовалъ непреодолимое желаніе выпить.

— „У Дашеньки, кажется, есть водка въ шкапу, въ правомъ углу,—думалъ онъ.—Если я выпью одну рюмку, то она не замѣтитъ“.

Послѣ нѣкотораго колебанія, пересиливъ свой страхъ, Стрижинъ направился къ шкапу. Отворивъ осторожно дверцу, онъ нащупалъ въ правомъ углу бутылку и рюмку, налилъ, поставилъ бутылку на мѣсто, потомъ перекрестился и выпилъ. И тотчасъ же произошло нѣчто въ родѣ чуда. Со страшной силой, точно бомбу, Стрижина другъ отбросило отъ шкапа къ сундуку. Въ глазахъ его засверкало, дыханіе сперло, по всему тѣлу пробѣжало такое ощущеніе, какъ будто онъ упалъ въ болото, полное пьявокъ. Ему показалось, что

вмѣсто водки онъ проглотилъ кусокъ динамита, который взорвалъ его тѣло, домъ, весь переулокъ... Голова, руки, ноги—все оторвалось и полетѣло куда-то къ чорту, въ пространство...

Минуты три онъ лежалъ на сундукѣ неподвижно, не дыша, потомъ поднялся и спросилъ себя:

— Гдѣ я?

Первое, что онъ ясно ощутилъ, прійдя въ себя, это былъ рѣзкій запахъ керосина.

— Батюшки мои, это я вмѣсто водки керосину выпилъ! ужаснулся онъ.—Святители, угодники!

Отъ мысли, что онъ отравился, его бросило и въ холодъ, и въ жаръ. Что ядъ былъ дѣйствительно принятъ, свидѣтельствовали, кромѣ запаха въ комнатѣ, жженіе во рту, искры въ глазахъ, звонъ колоколовъ въ головѣ и колотье въ желудкѣ. Чувствуя приближеніе смерти и не обманывая себя напрасными надеждами, онъ пожелалъ проститься съ близкими и отправился въ спальню Дашеньки. (Будучи вдовымъ, онъ у себя въ квартирѣ держалъ вмѣсто хозяйки свою свояченицу Дашеньку, старую дѣву).

— Дашенька! — сказалъ онъ плачущимъ голосомъ, входя въ спальню.—Дорогая Дашенька!

Что-то заворочалось въ потемкахъ и испустило глубокій вздохъ.

— Дашенька!

— А? Что?—быстро заговорилъ женскій голосъ. — Это вы, Петръ Петровичъ? Уже вернулись? Ну, что? Какъ назвали дѣвочку? Кто былъ кумой?

— Кумой была Наталья Андреевна Великосвѣтская, а кумомъ Павелъ Иванычъ Безсонница... Я... я, Дашенька, кажется, умираю. А новорожденную назвали Олимпіадой въ честь ихней благодѣтельницы... Я... я, Дашенька, выпилъ керосину...

— Вотъ еще! Нешто тамъ подавали керосинъ?

— Признаться, я хотѣлъ, не спросясь васъ, водки выпить и... и Богъ наказалъ: по нечаянности я въ потемкахъ керосину выпилъ... Что мнѣ дѣлать?

Дашенька, услышавъ, что безъ ея разрѣшенія отворяли шкапъ, оживилась... Она быстро зажгла свѣчку, прыгнула съ постели и въ одной сорочкѣ, весноватая, костлявая, въ папильоткахъ, зашлепала босыми ногами къ шкапу.

— Кто же это вамъ позволилъ?—спросила она, строго оглядывая внутренность шкапа.—Нешто водка для васъ поставлена?

— Я... я, Дашенька, пилъ не водку, а керосинъ...—пробормоталъ Стрижинъ, отирая холодный потъ.

— А зачѣмъ вамъ керосинъ трогать? Развѣ это ваше дѣло? Для васъ онъ поставленъ? Или, по вашему, керосинъ денегъ не стоитъ? А? Да вы знаете, почемъ теперь керосинъ? Знаете?

— Дорогая Дашенька! — простоналъ Стрижинъ. — Вопросъ идетъ о жизни и смерти, а вы о деньгахъ!

— Напился пьяный и въ шкапъ суетъ свой носъ! — крикнула Дашенька, сердито хлопнувъ дверцей. — О, изверги, мучители! Страдалица я несчастная, ни днемъ, ни ночью покою! Аспиды-василиски, ироды окаянные, чтобъ вамъ на томъ свѣтѣ такъ жилось! Завтра же съѣзжаю! Я дѣвица и не позволю вамъ стоять передо мною въ одномъ нижнемъ бѣльѣ! Вы не смѣете глядѣть на меня, когда я не одѣта!

И пошла, и пошла... Зная, что разсерженную Дашеньку не уймешь ни мольбами, ни клятвами, ни даже пальбой изъ пушекъ, Стрижинъ махнулъ рукой, одѣлся и рѣшилъ сходить къ доктору. Но доктора легко найти только тогда, когда онъ не нуженъ. Избѣгавъ три улицы и позвонившись разъ пять къ доктору Чепхарьянцу и семь разъ къ доктору Бултыхину, Стрижинъ побѣжалъ въ аптеку: авось поможетъ аптекарь. Тутъ, послѣ долгаго ожиданія, къ нему вышелъ маленькій, чернявый и кудрявый фармацевтъ, заспанный, въ халатѣ, и съ такимъ серьёзнымъ и умнымъ лицомъ, что даже стало страшно.

— Вамъ шьто угодно? — спросилъ онъ тономъ, какимъ могутъ говорить только очень умные и солидные фармацевты іудейскаго вѣроисповѣданія.

— Ради Бога... прошу васъ! — проговорилъ Стрижинъ, задыхаясь. — Дайте мнѣ чего-нибудь... Я сейчасъ по нечаянности керосину выпилъ! Умираю!

— Прошу васъ не волноваться и отвѣчать на вопросы, которые я буду вамъ задавать. Уже одинъ тотъ фактъ, что вы волнуетесь, не дозволяетъ мнѣ понимать васъ. Вы выпили керосину? Да-а?

— Да, керосину! Спасите пожалуста!

Фармацевтъ хладнокровно и серьёзно подошелъ къ конторкѣ, раскрылъ книгу и погрузился въ чтеніе. Прочитавъ двѣ страницы, онъ пожалъ однимъ плечомъ, потомъ другимъ, состроилъ презрительную гримасу и, подумавъ, вышелъ въ смежную комнату. Часы пробили четыре. И когда они показывали десять минутъ пятаго, фармацевтъ вернулся съ другой книгой и опять погрузился въ чтеніе.

— Гм! — сказалъ онъ, какъ бы недоумѣвая. — Уже одинъ тотъ фактъ, что вы чувствуете себя нехорошо, нужно чтобъ вы обратились не въ аптеку, а къ врачу.

— Но я уже былъ у докторовъ! Не дозвонился!

— Гм... Вы насъ, фармацевтовъ, не считаете за людей и безпокоите даже въ четыре часа ночи, а каждая собаке, каждый кошке имѣетъ покой... Вы ничего не желаете понимать, и, по вашему, мы не люди и въ насъ нервы долженъ быть, какъ веровка.

Стрижинъ выслушалъ фармацевта, вздохнулъ и пошелъ домой.

— Стало быть, суждено умереть!—думалъ онъ.

А во рту у него горѣло и пахло керосиномъ, въ желудкѣ рѣзало, въ ушахъ раздавалось: бумъ, бумъ, бумъ! Каждую минуту ему казалось, что конецъ его уже близокъ, что сердце его уже не бьется...

Пріидя домой, онъ поспѣшилъ написать: „Прошу въ моей смерти никого не винить", потомъ помолился Богу, легъ и укрылся съ головой. До утра онъ не спалъ и ждалъ смерти, и все время ему мерещилось, какъ его могила покрывается молодою зеленью и какъ надъ нею щебечутъ птички...

А утромъ онъ сидѣлъ на кровати и, улыбаясь, говорилъ Дашенькѣ:

— Кто ведетъ правильную и регулярную жизнь, дорогая сестрица, того никакая отрава не возьметъ. Вотъ хоть бы меня взять въ примѣръ. Былъ я на краю погибели, умиралъ, мучился, а теперь ничего. Только во рту пожгло и въ глоткѣ саднитъ, а все тѣло здорово, слава Богу... А отчего? Потому что регулярная жизнь.

— Нѣтъ, это значитъ—керосинъ плохой! — вздыхала Дашенька, думая о расходахъ и глядя въ одну точку. — Значитъ, лавочникъ мнѣ далъ не лучшаго, а того, что полторы копейки фунтъ. Страдалица я несчастная, изверги-мучители, чтобъ вамъ на томъ свѣтѣ такъ жилось, ироды окаянные...

И пошла, и пошла...

III.

ВЪ БАНѢ.

— Эй, ты, фигура!—крикнулъ толстый бѣлотѣлый господинъ, завидѣвъ въ туманѣ высокаго и тощаго человѣка съ жиденькой бородкой и съ большимъ мѣднымъ крестомъ на груди.— Поддай пару!

— Я, ваше высокородіе, не банщикъ, я цирюльникъ-съ. Не мое дѣло паръ поддавать. Не прикажете ли кровососныя баночки поставить?

Толстый господинъ погладилъ себя по багровымъ бедрамъ, подумалъ и сказалъ:

— Банки? Пожалуй, поставь. Спѣшить мнѣ некуда.

— А зачѣмъ вамъ керосинъ трогать? Развѣ это ваше дѣло? васъ онъ поставленъ? Или, по вашему, керосинъ денегъ не сто А? Да вы знаете, почемъ теперь керосинъ? Знаете?

— Дорогая Дашенька! — простоналъ Стрижинъ. — Вопросъ ид о жизни и смерти, а вы о деньгахъ!

— Напился пьяный и въ шкапъ суетъ свой носъ! — крикну Дашенька, сердито хлопнувъ дверцей. — О, изверги, мучители! Ст далица я несчастная, ни днемъ, ни ночью покою! Асиды-вас лиски, ироды окаянные, чтобъ вамъ на томъ свѣтѣ такъ жилос Завтра же съѣзжаю! Я дѣвица и не позволю вамъ стоять пере мною въ одномъ нижнемъ бѣльѣ! Вы не смѣете глядѣть на мен когда я не одѣта!

И пошла, и пошла... Зная, что разсерженную Дашеньку н уймешь ни мольбами, ни клятвами, ни даже пальбой изъ пушекъ, Стрижинъ махнулъ рукой, одѣлся и рѣшилъ сходить къ доктору. Но доктора легко найти только тогда, когда онъ не нуженъ. Избѣгавъ три улицы и позвонившись разъ пять къ доктору Ченхарьянцу и семь разъ къ доктору Бултыхину, Стрижинъ побѣжалъ въ аптеку: авось поможетъ аптекарь. Тутъ, послѣ долгаго ожиданія, къ нему вышелъ маленькій, чернявый и кудрявый фармацевтъ, заспанный, въ халатѣ, и съ такимъ серьёзнымъ и умнымъ лицомъ, что даже стало страшно.

— Вамъ шьто угодно? — спросилъ онъ тономъ, какимъ могутъ говорить только очень умные и солидные фармацевты іудейскаго вѣроисповѣданія.

— Ради Бога... прошу васъ! — проговорилъ Стрижинъ, задыхаясь. — Дайте мнѣ чего-нибудь... Я сейчасъ по нечаянности керосину выпилъ! Умираю!

— Прошу васъ не волноваться и отвѣчать на вопросы, которые я буду вамъ задавать. Уже одинъ тотъ фактъ, что вы волнуетесь, не дозволяетъ мнѣ понимать васъ. Вы выпили керосину? Да-а?

— Да, керосину! Спасите пожалуста!

Фармацевтъ хладнокровно и серьёзно подошелъ къ конторкѣ, раскрылъ книгу и погрузился въ чтеніе. Прочитавъ двѣ страницы, онъ пожалъ однимъ плечомъ, потомъ другимъ, состроилъ презрительную гримасу и, подумавъ, вышелъ въ смежную комнату. Часы пробили четыре. И когда они показывали десять минутъ пятаго, фармацевтъ вернулся съ другой книгой и опять погрузился въ чтеніе.

— Гм! — сказалъ онъ, какъ бы недоумѣвая. — Уже одинъ тотъ фактъ, что вы чувствуете себя нехорошо, нужно чтобъ вы обратились не въ аптеку, а къ врачу.

Цирюльникъ сбѣгалъ въ предбанникъ за инструментомъ, и черезъ какія-нибудь пять минутъ на груди и спинѣ толстаго господина уже темнѣли десять банокъ.

— Я васъ помню, ваше благородіе,—началъ цирюльникъ, ставя одиннадцатую банку.—Вы у насъ въ прошлую субботу изволили мыться, и тогда же еще я вамъ мозоли срѣзывалъ. Я цирюльникъ Михайло... Помните-съ? Тогда же вы еще изволили меня насчетъ невѣстъ разспрашивать.

— Ага... Такъ что же?

— Ничего-съ... Говѣю я теперь, и грѣхъ мнѣ осуждать, ваше благородіе, но не могу не выразить вамъ по совѣсти. Пущай меня Богъ проститъ за осужденія мои, но невѣста нынче пошла все непутящая, несмысленная... Прежняя невѣста желала выйтить за человѣка, который солидный, строгій, съ капиталомъ, который все обсудить можетъ, религію исполняетъ, а нынѣшняя льстится на образованность. Подавай ей образованнаго, а господина чиновника или кого изъ купечества и не показывай—осмѣетъ! Образованность разная бываетъ... Иной образованный, конечно, до высокаго чина дослужится, а другой весь вѣкъ въ писцахъ просидитъ, похоронить не на что. Мало ли ихъ нынче такихъ? Къ намъ сюда ходитъ одинъ... образованный. Изъ телеграфистовъ... Все превозошелъ, депеши выдумывать можетъ, а безъ мыла моется... Смотрѣть жалко!

— Бѣденъ, да честенъ!—донесся съ верхней полки хриплый басъ.—Такими людьми гордиться нужно. Образованность, соединенная съ бѣдностью, свидѣтельствуетъ о высокихъ качествахъ души. Невѣжа!

Михайло искоса поглядѣлъ на верхнюю полку... Тамъ сидѣлъ и билъ себя по животу вѣникомъ тощій человѣкъ съ костистыми выступами на всемъ тѣлѣ и состоящій, какъ казалось, изъ одной только кожи и реберъ. Лица его не было видно, потому что все оно было покрыто свѣсившимися внизъ длинными волосами. Видны были только два глаза, полные злобы и презрѣнія, устремленные на Михайлу.

— Изъ энтихъ... изъ длинноволосыхъ! мигнулъ глазомъ Михайло.—Съ идеями... Страсть, сколько развелось нынче такого народу! Не переловишь всѣхъ... Ишь, патлы распустилъ, шкилетъ! Всякій христіанскій разговоръ ему противенъ, все равно, какъ нечистому ладанъ. За образованность вступился! Такихъ вотъ и любитъ нынѣшняя невѣста. Именно вотъ такихъ, ваше высокородіе! Нешто не противно? Осенью зоветъ меня къ себѣ одна священникова дочка.—„Найди, говоритъ, мнѣ, Мишель",—меня въ домахъ Мишелемъ зовутъ, потому я дамъ завиваю,—„найди, говоритъ, мнѣ, Мишель, жениха, чтобъ былъ изъ писателей". А у меня на ея счастье былъ такой... Ходилъ

онъ въ трактиръ къ Порфирію Емельянычу и все стращалъ въ газетахъ пропечатать. Подойдетъ къ нему человѣкъ за водку деньги спрашивать, а онъ сейчасъ по уху... „Какъ? Съ меня деньги? Да знаешь ты, кто я такой? Да знаешь ты, что я могу въ газетахъ пропечатать, что ты душу загубилъ?“ Плюгавый такой, оборванный... Прельстилъ я его поповскими деньгами, показалъ барышнинъ портретъ и свозилъ. Костюмчикъ ему на прокатъ досталъ... Не понравился барышнѣ! „Меланхоліи, говоритъ, въ лицѣ мало“. И сама не знаетъ, какого ей лѣшаго нужно.

— Это клевета на печать!—послышался хриплый басъ съ той же полки.—Дрянь!

— Это я-то дрянь? Гм... Счастье ваше, господинъ, что я въ эту недѣлю говѣю, а то бы я вамъ за „дрянь“ сказалъ бы слово... Вы, стало-быть, тоже изъ писателей?

— Я хотя и не писатель, но не смѣй говорить о томъ, чего не понимаешь. Писатели были въ Россіи многіе и пользу принесшіе. Они просвѣтили землю, и за это самое мы должны относиться къ нимъ не съ поруганіемъ, а съ честью. Говорю я о писателяхъ какъ свѣтскихъ, такъ равно и духовныхъ.

— Духовныя особы не станутъ такими дѣлами заниматься.

— Тебѣ, невѣжѣ, не понять. Дмитрій Ростовскій, Иннокентій Херсонскій, Филаретъ Московскій и прочіе другіе святители церкви своими твореніями достаточно способствовали просвѣщенію.

Михайло покосился на своего оппонента, покрутилъ головой и крякнулъ.

— Ну, ужъ это вы что-то тово, сударь...—пробормоталъ онъ, почесавъ затылокъ.—Что-то умственное... Недаромъ на васъ и волосья такіе. Недаромъ!... Пущай, ваше благородіе, баночки на васъ постоятъ, а я сейчасъ... Схожу только.

Михайло, подтягивая на ходу свои мокрыя брюки и громко шлепая босыми ногами, вышелъ въ предбанникъ.

— Сейчасъ выйдетъ изъ бани длинноволосый,—обратился онъ къ малому, стоявшему за конторкой и продававшему мыло.—Такъ ты тово... погляди за нимъ... Народъ смущаетъ... Съ идеями... За Назаромъ Захарычемъ сбѣгать бы...

— Ты скажи мальчикамъ.

— Сейчасъ выйдетъ сюда длинноволосый,—зашепталъ Михайло, обращаясь къ мальчикамъ, стоявшимъ около одежи.—Народъ смущаетъ. Поглядите за нимъ да сбѣгайте къ хозяйкѣ, чтобы за Назаромъ Захарычемъ послали—протоколъ составить. Слова разныя произноситъ... Съ идеями...

— Какой же это длинноволосый?—встревожились мальчики.—Тутъ никто изъ такихъ не раздѣвался. Всѣхъ раздѣвалось шестеро. Тутъ вотъ два татара, тутъ господинъ раздѣвшись, тутъ изъ купцовъ двое, тутъ дьяконъ... а больше и никого... Ты, знать, отца дьякона за длинноволосаго принялъ?

— Выдумываете, черти! Знаю, что говорю!

Михайло посмотрѣлъ на одежу дьякона, потрогалъ рукой ряску и пожалъ плечами... По лицу его разлилось крайнее недоумѣніе.

— А какой онъ изъ себѣ?

— Худенькій такой, бѣлобрысенькій... Бородка чуть-чуть... Все кашляетъ...

— Гм...—пробормоталъ Михайло.—Гм... Это я, значитъ, духовную особу облаялъ... Комиссія отца Денисія! Вотъ грѣхъ-то! Вотъ грѣхъ! А вѣдь я говѣю, братцы! Какъ я теперь исповѣдаться буду, ежели я духовное лицо обидѣлъ? Господи, прости меня грѣшнаго! Пойду прощенія просить...

Михайло почесалъ затылокъ и, состроивъ печальное лицо, отправился въ баню. Отца дьякона на верхней полкѣ уже не было. Онъ стоялъ внизу у крановъ и, сильно раскорячивъ ноги, наливалъ себѣ въ шайку воды.

— Отецъ дьяконъ!—обратился къ нему Михайло плачущимъ голосомъ.—Простите меня, Христа ради, окаяннаго!

— За что такое?

Михайло глубоко вздохнулъ и поклонился дьякону въ ноги.

— За то, что я подумалъ, что у васъ въ головѣ есть идеи!

Антонъ Чеховъ.

Изъ Ады Негри.

ПОЖАРЪ ВЪ ШАХТѢ.

1.

На тысячу метровъ подъ слоемъ земли,
Во тьмѣ копошась, какъ циклопы,
Работали люди, въ дыму и пыли,
Блуждая, какъ тѣни, отъ свѣта вдали.
Они—рудокопы.

Ихъ — сотни. Въ рукахъ ихъ лопаты видны,
Видны фонари и веревки,
Труда не боятся народа сыны,
Прекрасны они, мускулисты и ловки,
Какъ воины храброй страны.

Вверху ожидаютъ и жены и дѣти,
Вернется ль семейства глава
Изъ бездны на землю, гдѣ въ солнечномъ свѣтѣ
Красуются ландыши въ полномъ расцвѣтѣ
И гдѣ зеленѣетъ листва?

Упорно и мощно народная сила
На скалы войною идетъ.
И въ нѣдрахъ гранитныхъ пути проложила,
И въ дикомъ порывѣ она сокрушила
Холоднаго камня оплотъ.

Рабочая сила, буравя, взрывая,
Стремится ударъ безпощадный нанесть —
(Долбящая камень вода дождевая!) —
Но бездна не дремлетъ: близка роковая,
Ужасная месть.

Разбилася лампа... немедля за взрывомъ
Послѣдовалъ грозный ударъ.
Онъ грянулъ подъ сводомъ, досель молчаливымъ,
И вспыхнулъ, разлившись зловѣщимъ приливомъ
Со свистомъ и трескомъ — пожаръ!

Въ пещерѣ подземной, подъ рухнувшимъ сводомъ,
Гдѣ слышатся стоны людей,
Стелясь, извиваясь по всѣмъ переходамъ,
И жертвы душа мимоходомъ,
Вздымается пламя, какъ огненный змѣй!

2.

Въ огнѣ и дыму, безпощадно, удушливо черномъ,
Пещера становится адскимъ зіяющимъ горномъ;
Обрушились своды, и въ этой печи огневой
Смѣшалися въ кучу умершій и полуживой...
Удары, и грохотъ, и дикаго звѣря рычанье,
Изъ дыма и пламени цѣлыя зданья...
Не адъ ли разверзся надъ ихъ головой?...
И люди, цѣпляясь за жизнь безотчетно и страстно,
Спасенія жаждутъ, спасенія ищутъ напрасно,
И мечутся дико въ какомъ-то безумномъ бреду,
Нагіе, подобные демонамъ страшнымъ въ аду.
Иные — въ лохмотьяхъ, съ налитыми кровью глазами,
Готовыми лопнуть — царапаютъ стѣны руками...
И воздуха, воздуха! — требуетъ каждый изъ нихъ, —
Свободы, простора, сіянья лучей золотыхъ,
Лазури небесъ съ безконечной ея чистотою,
Всего, что̀ зовется на этой землѣ красотою,
Дыханіемъ, свѣтомъ, — что̀ *жизнью* зовется самой!

О, рабская жизнь въ подземеліяхъ, ставшихъ тюрьмой,
У темныхъ колодцевъ, наполненныхъ ѣдкою пылью,

Ведущая рано рабочія руки къ безсилью —
Суровая жизнь въ неустанныхъ трудахъ безъ конца...
И этой-то жизни раба и слѣпца —
Съ упорствомъ отчаяннымъ молятъ и требуютъ люди!
Глотаютъ не воздухъ, но дымъ разъѣдающій груди,
Цѣпляются руки за выступы въ темной скалѣ
И кровь просочилась на черной отъ сажи землѣ...
Развалины... гибель... И все превращая въ горнило,
Кругомъ торжествуетъ слѣпая стихійная сила
И словно глумится, вражды къ человѣку полна,
Надъ грудой дымящихся труповъ она...
Играя, рѣзвясь на подобіе дикой пантеры
Межъ грозныхъ обломковъ, во мракѣ пещеры,
Гдѣ билось недавно такъ много отважныхъ сердецъ,
Она торжествуетъ побѣду надъ ними... Конецъ.

3.

Утромъ, взволнованный вѣстью ужасной,
Движется къ шахтѣ толпою народъ изъ села.
Грудой безжизненной, грудой безгласной —
Вынесутъ павшихъ тѣла.

Скорбныя очи омоютъ слезою страданья
Каждый обугленный трупъ;
Лицъ почернѣвшихъ коснется печатью лобзанья
Множество любящихъ губъ.

Маршъ погребальный... Знамёна, вуали изъ крепа...
Кончится грустный обрядъ, — и затѣмъ
Сотнямъ погибшихъ — подъ сводами общаго склепа —
Мѣсто отыщется всѣмъ.

Смѣнятся скоро забвеніемъ горькія слезы.
Божьи лобзанья, струясь съ высоты,
Вызовутъ къ жизни изъ праха могильнаго розы,
Нѣжныхъ фіалокъ цвѣты.

Въ жатвѣ налившейся, соками падшихъ вспоёной,
Въ вѣяньѣ крыльевъ среди синевы,
Въ трепетѣ лавровъ и мирты зеленой,
Въ шелестѣ влажной травы,

Въ шумномъ весельѣ и говорѣ массы народной —
Радость могучая жизни земной
Всюду струится и все заливаетъ свободной,
Свѣтлой волной!

Только сыны опочившихъ — несчастное племя —
Спустятся въ тотъ же зіяющій гробъ;
Такъ же, за грошъ и кусокъ, понесетъ непосильное бремя
Сынъ рудокопъ.

Въ шахту, подобную безднѣ глубокой и темной,
Чутко внимая ударамъ лопаты глухимъ,
Спустятся люди подъ своды пещеры огромной,
Молча, одинъ за другимъ.

Роясь въ землѣ, какъ могильщикъ на старомъ погостѣ,
Вздрогнутъ они, натолкнувшися вдругъ
Въ темномъ углу на отцовскія кости, —
Выронятъ заступъ изъ рукъ.

Жалкое племя! Исполнено мощи, прекрасно,
Ты, тѣмъ не менѣе, въ рабствѣ привыкло коснѣть.
Если къ иному пути ты пробиться невластно —
Лучше тебѣ умереть!

Слава пожарамъ! Въ огнѣ ихъ — конецъ голоданью,
Жалкимъ лохмотьямъ твоимъ и обидамъ — конецъ!
Слава пожарамъ — предѣлъ положившимъ страданью
Испепелённыхъ сердецъ.

Искра пожара заронитъ къ тебѣ сожалѣнье
Въ души людей, незнакомыхъ со скорбью людской;
Пламя его, избавляя тебя отъ мученья,
Вѣчный приноситъ покой.

Слава пожару, который избраннику счастья,
Солнцемъ пригрѣтому — въ пламени кинетъ слова:
„Встань, и оставь, позабывъ сладострастье,
Залъ празднества.

Долу челомъ! Преклони съ уваженьемъ колѣно,
Низко склонись, угрызеньемъ и скорбью объятъ:
Въ пламени, въ мукахъ, трудясь за тебя неизмѣнно —
Умеръ твой братъ“.

О. Чюмина.

П. С. МОЧАЛОВЪ

ВЪ ЖИЗНИ И НА СЦЕНѢ.

(Читано на торжественномъ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности, 26 апрѣля 1898 г.)

Трудно говорить о Мочаловѣ, мм. гг—ни и мм. гг. Его колоссальный образъ подавляетъ своимъ исключительнымъ значеніемъ въ исторіи русскаго театра. Мочаловъ былъ настолько же огромнымъ, насколько и неожиданнымъ явленіемъ, не подготовленнымъ историческимъ ходомъ вещей, не подчиненнымъ никакимъ законамъ, самобытно развившимся и стоящимъ особнякомъ отъ всего остального театральнаго міра. Судьба, пославшая Россіи почти одновременно Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Грибоѣдова и Бѣлинскаго, не захотѣла скупиться для театра и подарила ему Мочалова и Щепкина. Прежде чѣмъ приступить къ посильной обрисовкѣ образа великаго артиста, позвольте просить васъ на время отрѣшиться отъ того представленія, которое создалось о немъ, благодаря цѣлому ряду анекдотовъ, ходячихъ мнѣній, наконецъ — сопоставленій съ его послѣдователями. Попробуемъ возстановить его величавый образъ въ связи съ его временемъ, съ его дѣломъ и съ реальными послѣдствіями его сценическаго труда. А главное, постараемся полюбить въ немъ актера, равнаго которому рѣдко посылаетъ судьба театру, и человѣка, память котораго не омрачена ни однимъ пятномъ; его единственная слабость, о которой говорятъ и думаютъ слишкомъ много, не мѣшала ему быть безкорыстнымъ, благороднымъ, отзывчивымъ и прямымъ въ тѣ времена, когда театръ кишмя кишѣлъ элементами діаметрально противуположнаго характера, когда барскичиновничье отношеніе театральнаго „начальства“ давило въ безправномъ актерѣ и тѣ слабые проблески личнаго достоинства, которые съ трудомъ можно было найти въ крѣпостной Россіи той эпохи; когда этимъ достоинствомъ поступались волей-неволей величайшіе умы и

крупнѣйшіе таланты въ силу положенія вещей.—Только ваша любовь къ прекрасному и трогательному образу великаго артиста поможетъ мнѣ отчасти справиться съ моей задачей—на время перенести ваше вниманіе во внутренній міръ геніальнаго трагика, поскольку онъ стоялъ въ зависимости и соотвѣтствіи съ окружающимъ его обществомъ и современными ему общественными теченіями и настроеніями.

Время Мочалова было временемъ, когда И. И. Панаевъ выучивалъ наизусть страницы изъ Notre Dame de Paris, гдѣ Клодъ Фролло говоритъ Эсмеральдѣ, приведя ее ночью къ висѣлицѣ: „выбирай между мною и этою висѣлицей"; когда К. С. Аксаковъ искренно удивлялся, что въ Петербургѣ нельзя, не привлекая особеннаго вниманія, вслухъ декламировать на улицѣ стихотворенія, какъ онъ привыкъ это дѣлать въ Москвѣ; когда спорили отъ зари до зари, и Бѣлинскій возмущался, что его зовутъ обѣдать, между тѣмъ какъ еще не конченъ споръ о безсмертіи души; когда лекціи Грановскаго привлекали почти такое же общественное вниманіе, какъ теперь скачки или concours hippiques; когда даже Кукольникъ въ качествѣ перваго драматурга и исключительно художественной натуры собиралъ вокругъ себя въ Петербургѣ всю столичную гвардію; когда Брюлловъ велъ жизнь, про которую Панаевъ въ своихъ воспоминаніяхъ говоритъ, что „артистъ, какъ существо исключительное, высшее, могъ безнаказанно вырывать серьги изъ ушей жены своей вмѣстѣ съ тѣломъ. предаваться самому грязному разврату и пьянству, но обвинять его въ безнравственности могли только пошлые, разсудочные люди съ мелкими потребностями, не понимающіе широкихъ титаническихъ натуръ артистовъ и ихъ волканическихъ страстей". Вообще, это было время яркое и вмѣстѣ странное, богатое контрастами, полное самыхъ, повидимому, несовмѣстимыхъ противорѣчій, молодыхъ неуходившихся силъ и запросовъ, страстныхъ порывовъ и постоянной жажды впечатлѣній. Надо всѣмъ этимъ неумолимо властвовала желѣзная рука чиновничьей до-реформенной Россіи, подо всѣмъ этимъ молчала многомилліонная крѣпостная масса, рядомъ со всѣмъ этимъ бились въ тискахъ русская мысль и русскій геній, необычайными, сверхъестественными вспышками озарявшій русскую дѣйствительность и двигавшій рѣзкими толчками русское сознаніе. Это было время трагическихъ смертей Пушкина и Лермонтова, время романтически-таинственной смерти Марлинскаго, время ультра-реальныхъ смертей Бѣлинскаго, Кольцова и позже Грановскаго, смертей, имѣвшихъ характеръ гибели въ непосильной борьбѣ съ невыносимо-тяжелыми условіями жизни; время, взволнованное необычайнымъ притокомъ творческихъ силъ, которыя волновали общество, приковывали къ

себѣ его интересъ, взывали къ лучшимъ чувствамъ и порывамъ, требовали отъ него поклоненія себѣ и богамъ, которымъ они молились; рѣзко отдѣляли толпу отъ поэтовъ, какъ Пушкинъ; смѣялись, какъ Гоголь; возмущались, какъ Грибоѣдовъ; мечтали, какъ Жуковскій; ненавидѣли, какъ Лермонтовъ; увлекались, какъ Бѣлинскій; учили, какъ Грановскій; наконецъ играли, какъ Мочаловъ и Щепкинъ. И все это ослѣпляющее богатство русскихъ силъ нахлынуло сразу, почти одновременно. А сколько второстепенныхъ дѣятелей! Какая мощь общаго настроенія! Въ это же время съ Запада къ намъ неслось, несмотря ни на какія заставы, огненное слово Виктора Гюго; Шиллеръ и Гёте были настолько же русскими, насколько германскими поэтами, проникали въ глубь Россіи и читались въ помѣщичьихъ бесѣдкахъ Рудиными и Лаврецкими. Безвѣстные Михалевичи говорили о нихъ подъ сурдинку въ гимназіяхъ и семинаріяхъ, Введенскій читалъ въ классахъ Дворянскаго полка свои переводы Диккенса. Романтизмъ Востока черезъ Грузію и Кавказъ, сквозь военную „линію", проникалъ въ хутора „старосвѣтскихъ помѣщиковъ" и „дворянскія гнѣзда". И всѣмъ хотѣлось волноваться, бороться, гибнуть, любить, сражаться, вѣрить, отрицать, ненавидѣть. Но какъ стѣнки котла сдавливаютъ паръ, открывая ему единственный клапанъ для выхода, такъ и эти общественныя эмоціи были сдавлены снизу—крѣпостнымъ народомъ, въ который ничего не проникало свѣтлаго, стоявшимъ внѣ правъ и общаго теченія жизни, а сверху—тѣмъ „большимъ свѣтомъ", передъ которымъ гнулись крупнѣйшія силы, тою „жадною толпой свободы, генія и славы палачей", которая могла измѣнять на практикѣ даже такіе акты Высочайшей милости, какъ обѣщаніе Государя Пушкину: „Я буду твоимъ цензоромъ". „Холодный" свѣтъ—теперь для насъ выраженіе почти непонятное. Для насъ теперь открыто все русское общество, стремящееся раздѣлить со своимъ народомъ свои познанія, свое искусство, свои силы, проникающее однимъ концомъ въ народную школу, другимъ во дворцы и министерства. Но тогда... о, сколько живого смысла было въ томъ, холоденъ или радушенъ былъ „свѣтъ", а ужъ особенно „большой", какъ онъ манилъ къ себѣ, какъ вліялъ на весь складъ жизни, на весь ходъ литературы, какъ своимъ оффиціальнымъ значеніемъ давилъ мысль и геній, безпощадно уничтожая человѣка всѣми средствами и всѣми путями, съ равнодушіемъ и брезгливостью большого барина. Сколько у него было преданныхъ холоповъ, для которыхъ самое слово „мысль" было равносильно преступленію, которые изображали изъ себя самое бездушное, самое безпощадное въ мірѣ: безсмысленную силу положенія вещей. А барское помѣщичье житье

на счетъ дарового труда продаваемыхъ людей не могло развить въ обществѣ сознанія правъ личности и оно при всякомъ ударѣ грома боязливо сторонилось отъ тѣхъ, кого поражала молнія. О смерти Лермонтова извѣстіе: „Была гроза въ Пятигорскѣ. Скончался поэтъ Лермонтовъ".—И молчаніе. О смерти Бѣлинскаго—молчаніе.

Но оставался все-таки клапанъ, въ который находила себѣ выходъ бродившая молодая сила русскаго общества. Это былъ театръ. Въ театрѣ сходились, въ театрѣ сливались въ одно большой свѣтъ и... я не знаю, какъ называли другой. И то, что не могло слиться въ жизни, то, что было подавлено, и то, что давило—только въ театрѣ инстинктивно чувствовало свою общность и свою принадлежность къ одному и тому же народу, къ одной и той же эпохѣ, свою прикосновенность къ однимъ и тѣмъ же идеаламъ и духовнымъ стремленіямъ. Искусство становилось выше жизни и освѣщало ее. И въ этомъ театрѣ актеромъ былъ человѣкъ, сумѣвшій слить въ своей душѣ всѣ сильныя и слабыя стороны своего вѣка и своего народа. Какъ и его вѣкъ, Мочаловъ былъ великъ въ порывахъ и немощенъ въ цѣломъ, то отъ начала до конца спектакля „морозилъ кровь у зрителей", то былъ убійственно холоденъ и равнодушенъ ко всему, что ему приходилось переживать на сценѣ. Этотъ Антей всю свою силу черпалъ въ той эпохѣ, къ которой онъ принадлежалъ, которую онъ втягивалъ въ себя всѣми своими нервами—нервами мочаловскими, которую онъ цѣликомъ отразилъ въ своей художественной натурѣ. Нѣтъ, это не былъ актеръ-романтикъ, какъ его называютъ теперь. Это былъ сынъ своего времени, современникъ Лермонтова, но и Обломова, Пушкина, но и Булгарина, Кукольника и Бѣлинскаго. Это былъ человѣкъ, независимо отъ своего сознанія воспринимавшій все, что носилось въ окружавшей его атмосферѣ, какъ есть люди, чувствующіе малѣйшую перемѣну погоды. Это былъ идеалъ того актера, котораго требовалъ Шекспиръ не съ технической, а съ внутренней стороны, актеръ, отражавшій „и современный вѣкъ и его характеръ", жившій его жизнью, его высокими добродѣтелями и его пороками. Лучшее доказательство этого—Гамлетъ.

Мнѣ не разъ приходилось слышать отъ людей, искренно любящихъ театръ и серьёзно въ него вдумывающихся, мнѣніе, что Гамлетъ Мочалова въ описаніи Бѣлинскаго имъ кажется по мѐньшей мѣрѣ страннымъ. Всѣмъ извѣстна статья Бѣлинскаго и я не стану, конечно, ее цитировать. Но всякій согласится, что, какъ ни смотрѣть на Гамлета, нельзя признать его человѣкомъ непосредственной страсти, а ужъ въ особенности—человѣкомъ неудержимаго темперамента. Между тѣмъ, прочтя статью Бѣлинскаго, нельзя не видѣть, что въ

самыя вдохновенныя минуты своего исполненія Мочаловъ именно наиболѣе всего отступалъ отъ характерной стороны Гамлета, какимъ бы мы его ни считали, какъ бы мы на него ни смотрѣли. Возьмемъ на удачу описаніе Бѣлинскимъ Мочалова послѣ сцены представленія на театрѣ. „Лицо, искаженное судорогами страсти и все-таки не утратившее своего меланхолическаго выраженія; глаза, сверкающіе молніями и готовые выскочить изъ своихъ орбитъ; *черные* кудри, какъ змѣи, *бьющіеся* по блѣдному челу — о, какой могучій, какой страшный художникъ! Онъ захохоталъ и, хлопая руками, въ неистовомъ одушевленіи метался по широкой сценѣ. Двѣ тысячи голосовъ и четыре тысячи рукъ соединились въ одинъ плескъ, и отъ этого, оглушающаго вопля отдѣлялся неистовый хохотъ и дикіе стоны одного человѣка, бѣгавшаго по широкой сценѣ, подобно вырвавшемуся изъ клѣтки льву“.—Что же? Бѣлинскій не видѣлъ, развѣ, разницы между своимъ же собственнымъ взглядомъ на Гамлета и исполненіемъ Мочалова? Однако, онъ самъ сознается, что Мочаловъ до Гамлета—еще не былъ Мочаловымъ, и постоянно пишетъ Гамлетъ-Мочаловъ, отождествляя исполнителя съ ролью. Что же? великій критикъ, угадавшій Гоголя и Лермонтова, не сумѣлъ разобраться въ игрѣ Мочалова? Нѣтъ, это не то. Мочаловъ былъ правъ безусловно и не даромъ Бѣлинскій создалъ ему нерукотворный памятникъ своею статьей.

Кѣмъ бы ни былъ Гамлетъ по замыслу его творца, весь его смыслъ и все его міровое вѣчное значеніе заключаются въ томъ, что въ немъ, какъ въ зеркалѣ, узнаютъ себя не только всѣ эпохи и народы, но и малѣйшіе оттѣнки и переходы общественныхъ настроеній. Гамлетъ—прообразъ мыслящаго и чувствующаго человѣчества. Гамлетъ не есть что-нибудь опредѣленное тѣми или другими характерными чертами. Онъ выражаетъ въ себѣ вѣчный протестъ правды противъ неправды и вмѣстѣ съ тѣмъ вѣчное сомнѣніе: „что̀ есть истина?“ Вяло или энергично, бѣшено или сосредоточенно, разсудочно или темпераментно выражается это сомнѣніе — совершенно безразлично съ точки зрѣнія внутренняго пониманія его духа. Великъ тотъ актеръ, который сумѣлъ воплотить эту любовь къ правдѣ и вѣчное исканіе истины въ форму, волнующую современныхъ ему зрителей, который внесъ въ Гамлета всю сумму сомнѣній, запросовъ и порывовъ лучшей части современной ему публики. Дѣло ученаго и литератора разбирать Гамлета. Дѣло артиста заставить публику *почувствовать* свое кровное родство съ нимъ, приблизить его, сдѣлать малѣйшее его душевное движеніе близкимъ и дорогимъ и для этого—прожить его въ своей душѣ. Это и свершилъ Мочаловъ. Онъ прожилъ Гамлета и прожитаго имъ лично передалъ со-

временному ему обществу со всею силой и страстью убѣжденія и искренности. Общество узнало себя въ Гамлетѣ-Мочаловѣ, услышало свои восторженные порывы, свои страданія, свои сомнѣнія — почувствовало, что Гамлетъ подходитъ къ нему все ближе и ближе, начинаетъ волноваться и жить тѣмъ, чѣмъ оно живетъ, и волнуется, такъ, какъ оно живетъ и волнуется, и откликнулось „плескомъ четырехъ тысячъ рукъ“ и несравненною статьей своего лучшаго критика, одного изъ своихъ представителей, наиболѣе взволнованныхъ горячею любовью и непрерывнымъ стремленіемъ къ истинѣ, одного изъ честнѣйшихъ, и самыхъ неутомимыхъ ея искателей. Какое намъ дѣло до того, что вообще у датчанъ рѣдко встрѣчаются черные кудри, что Гамлетъ ходилъ со спущеннымъ чулкомъ и страдалъ одышкой? Все это, можетъ быть, и вѣрно, и художественно, но не существенно-важно. И когда артистъ проникнулъ въ глубину души зрителя правдой созданнаго имъ образа и воплотилъ въ немъ всѣ муки и сомнѣнія своего времени, цвѣтъ волосъ датской націи отступаетъ на десятый планъ и будетъ поставленъ художнику въ укоръ только такимъ критикомъ, который совсѣмъ не похожъ на Бѣлинскаго. Недавно въ Москвѣ былъ итальянскій трагикъ Эммануэль, который безволіе Гамлета иллюстрировалъ въ высшей степени правдиво: послѣ ухода короля въ сценѣ „Оленя ранили стрѣлой“—онъ безпомощно сталъ размазывать пальцемъ вокругъ того мѣста, на которомъ лежалъ, и самымъ безвольнымъ голосомъ сообщилъ Гораціо, что онъ убѣжденъ теперь въ виновности короля. Всей публикѣ стало вполнѣ понятно, ясно, какъ день, что такой Гамлетъ не можетъ убить короля иначе, какъ нечаянно, что сомнѣнія и колебанія — его вторая природа.—Кромѣ того, волосы его были совершенно льняного цвѣта. Упрекнуть было не за что, все было на своемъ мѣстѣ, но... но... Впрочемъ, договаривать мою мысль совершенно лишнее. Ваше художественное чувство подскажетъ вамъ конецъ. Вы сами увидите тутъ Гамлета-датчанина, Гамлета, вѣрнаго быту и тексту, но ни вамъ до него, ни ему до васъ нѣтъ никакого дѣла. А Мочаловъ обезсмертилъ нетолько себя, но и переводъ Полевого, отдѣльные стихи котораго вошли въ разговорный языкъ, который пережилъ много другихъ переводовъ, несмотря на всю свою неточность и слабость, и Гамлетъ въ переводѣ Полевого, благодаря Мочалову, сталъ русскою, почти народною пьесой, близкою намъ каждымъ своимъ стихомъ больше, чѣмъ всѣ другія, не менѣе великія трагедіи Шекспира.

Итакъ, первая сторона Мочаловскаго генія — и самая важная съ точки зрѣнія общественнаго значенія всякаго художника — это необычайная близость ко всѣмъ важнѣйшимъ теченіямъ современнаго

ему общества, творческое воплощеніе идеаловъ и стремленій своего времени въ конкретные и живые образы. Нелишнее здѣсь обратить вниманіе на то печальное явленіе, которое по недоразумѣнію пріурочивается къ завѣтамъ Мочалова и въ чемъ онъ совершенно неповиненъ. Я говорю о томъ странномъ отождествленіи всякаго нервоза на сценѣ съ истиннымъ вдохновеніемъ, которое дается въ удѣлъ только избраннымъ художникамъ. Невѣрно понятый, искаженный преданіями и анекдотами, Мочаловъ являлся долгое время для русскихъ актеровъ оправданіемъ такъ называемаго „нутра". Долго считалось, да и сейчасъ этотъ взглядъ не исчезъ совершенно, что стòитъ себя хорошенько взвинтить, растрепать свои нервы, довести себя на сценѣ до состоянія вертящагося факира — и уже приближаешься къ идеалу вдохновеннаго исполнителя. Окончательно забывается, что волненія актера постольку волнуютъ публику, поскольку эти волненія исходятъ изъ того образа, который онъ олицетворяетъ, а не изъ его субъективнаго настроенія, что геній Мочалова заключался въ его исключительной способности проникаться ролью и до самоуничтоженія жить именно ея, а не своею жизнью, цѣликомъ входить въ тотъ образъ, который ему рисуется.

Бѣлинскій повсюду отмѣчаетъ, что Мочаловъ доходитъ до высшихъ проявленій своего генія только въ тѣхъ моментахъ роли, которые художественно правдивы и даютъ ему возможность уйти отъ себя, пережить не свои волненія, а волненія воплощаемаго имъ лица. „Онъ не русскій, не москвичъ, не Мочаловъ,—пишетъ Бѣлинскій,—а Гамлетъ и Отелло, чувствующій въ своей душѣ всѣ раны ихъ души". „Если бы провинціалъ, видѣвшій Мочалова только въ роли Гамлета,—пишетъ онъ дальше,—увидѣлъ его въ Отелло, то ему было бы трудно увѣриться, что это тотъ же самый Мочаловъ, а не другой совсѣмъ актеръ."

Откуда же взялось это мнѣніе, служащее къ оправданію всевозможныхъ сценическихъ несообразностей, что Мочаловъ не считалъ нужнымъ подчиняться ничему иному, кромѣ своего мимолетнаго настроенія, сценическаго возбужденія и нервнаго подъема?

И что общаго между великимъ художникомъ, цѣликомъ отдающимся охватившему его образу, образу, созданному его творческимъ воображеніемъ, до тончайшихъ изгибовъ души близкому его существу, и тѣмъ нервнымъ господиномъ, который умѣетъ взвинтить себя на сценѣ, наивно воображая, что его, Петрова или Сидорова, волненія публика должна принимать за „раны души Гамлета или Отелло". Тутъ разница также велика, какъ между Мочаловымъ и любымъ декламаторомъ изъ его предшественниковъ. Въ одномъ

случаѣ изображаемое лицо искажается, искажается оно и въ другомъ. „Эти дѣла, по словамъ Бѣлинскаго, не касаются Мочалова, и Мочаловъ не касается этихъ дѣлъ“. Мочаловъ — могучій художникъ образовъ и ихъ духовной жизни, сознательный или безсознательный—для насъ совершенно безразлично, и, какъ таковой, онъ вводитъ въ себя свою роль цѣликомъ и изъ себя дѣлаетъ то лицо, которое онъ играетъ. Въ немъ въ это время силенъ художникъ своею творческою силой, а не человѣкъ личныхъ страданій и нервныхъ изступленій.

Чтобы дорисовать мой блѣдный и неполный портретъ великаго трагика, мнѣ остается еще указать на одинъ въ высшей степени важный его подвигъ—я не нахожу другого слова—въ исторіи русскаго театра.

Случайно мнѣ приходится писать эти строки подъ живымъ впечатлѣніемъ игры берлинскихъ и парижскихъ артистовъ. Вглядываясь много лѣтъ въ иностранные театры, я постоянно, наперекоръ всѣмъ дифирамбамъ печати, увлеченіямъ публики, даже отзывамъ знатоковъ,—испытывалъ чувство стыда за ту аффектацію, къ которой прибѣгаютъ знаменитѣйшіе трагики Европы—я уже не говорю—въ трагедіи, но даже въ обыкновенной житейской драмѣ. Я только что видѣлъ Коклена въ Сирано-де-Бержеракъ, на-дняхъ — Муне-Сюлли въ Ногасе, Вормса въ современной драмѣ Catherine. Лирическая драма, трагедія и бытовая драма для меня лично утрачивали весь свой трогательный, потрясающій, или волнующій характеръ, какъ только начинались эти сверхъестественныя завыванья, раскаты murmure'ы, сдавленныя рыданья, скрытые вздохи—и все это очень искусно—и все это нарочно. Трудно понять, какъ артисты, умѣющіе съ такой идеальной простотой играть комедію, и безспорно обладающіе и силой и темпераментомъ, какъ они могутъ превращаться въ тѣхъ невѣроятныхъ причитальщиковъ или декламаторовъ, какими они являются въ драмахъ и трагедіяхъ? Гдѣ они слышали эти звуки? Кто повѣритъ въ жизни этимъ стонамъ? Или они никогда не страдали, не видѣли страданій? Не говоря уже о разницѣ тона въ трагедіи и комедіи, но въ одной и той же пьесѣ, особенно современной, вы видите, что артистъ только-что говорилъ, какъ всѣ люди, передъ вами была живая фигура, вы начинаете чувствовать „тѣло“, теплоту, жизнь образа. И вдругъ на бѣду какой-нибудь чувствительный или горячій монологъ... и куда что дѣвалось! Образъ слинялъ моментально, актеръ—и только актеръ проступилъ во всей своей субъективности началось блестящее, талантливое, несравненное, — называйте, какъ хотите, — только не живое, не содержащее даже зародыша жизни

чтеніе, докладъ, декламація. Та сила и яркость простоты, путемъ которой публика забываетъ рампу и сливается съ дѣйствіемъ, утрачивается вполнѣ самыми талантливыми артистами, благодаря непреодолимымъ традиціямъ, пошлѣйшей рутинѣ, противъ которой *до сихъ поръ* ни одна европейская сцена, кромѣ итальянской, не посмѣла возстать даже въ лицѣ наисмѣлѣйшихъ артистовъ, наиболѣе вліятельныхъ критиковъ.

А онъ—Мочаловъ—возсталъ. Возсталъ одинъ, не имѣя за собою ни одного предшественника, около себя ни одного соратника. Возсталъ въ то время, когда В. А. Каратыгинъ торжествовалъ въ Петербургѣ, когда итальянская сцена не дала еще ни Сальвини, ни Росси, когда Рашель сверкала во всемъ блескѣ псевдо-классической декламаціи, когда живы были преданія М-lle Марсъ, Тальма, Фредерика Леметра, когда въ русской драмѣ и трагедіи царилъ Кукольникъ, когда Озеровъ былъ на репертуарѣ. Мочаловъ заговорилъ въ трагедіи просто, когда никто и нигдѣ не говорилъ въ ней просто; первый сталъ жить на сценѣ всѣмъ существомъ, когда никто не жилъ. Щепкинъ самъ говоритъ въ своихъ запискахъ, что переворотъ въ его художественномъ міровоззрѣніи произвело исполненіе какимъ-то княземъ роли во французской комедіи съ простотой, естественностью французской сцены. Кого же видѣлъ Мочаловъ? Кого бы онъ увидѣлъ даже теперь въ Парижѣ, Вѣнѣ, Берлинѣ? Кто изъ трагиковъ этихъ странъ подсказалъ бы ему его живыя, его *человѣческія* страданія, страсти и волненія? А онъ все это нашелъ въ своей необъятной душѣ. Въ ней онъ подслушалъ надрывающіе душу звуки тоски Гамлета, отчаянія Ричарда, ревности Отелло. Такъ велика была эта душа, что всякія Уголино, Неизвѣстные и Фингалы, весь этотъ сбродъ лживыхъ чувствъ и сочиненныхъ фразъ, пройдя сквозь душу Мочалова, пріобрѣталъ краски и теплые контуры жизни, чуть только представлялся артисту хоть одинъ правдивый моментъ на всемъ пространствѣ роли. — Мочаловъ создалъ русскую реальную трагедію и драму, указалъ ей пути, и никакой авторитетъ Запада уже не въ силахъ теперь измѣнить созданнаго имъ. Велика заслуга Щепкина передъ русскимъ театромъ. Онъ въ него перенесъ то, что сумѣлъ узнать и даже угадать лучшаго въ западномъ искусствѣ. Но заслуга Мочалова не менѣе, если не болѣе огромна.—Онъ самъ создалъ и укрѣпилъ навсегда въ русскомъ театрѣ правду.

Щепкину посчастливилось первому олицетворить центральныя фигуры „Ревизора“ и „Горя отъ ума“ съ тѣмъ талантомъ и совершенствомъ, которые за нимъ давно признаны. Вся наша—и не одна *драматическая* — литература половиной своего развитія обязана этимъ

комедіямъ, и исполнитель, возвысившійся до степени воплощенія главныхъ ихъ типовъ въ живыя сценическія фигуры, несомнѣнно пріобрѣтаетъ уже болѣе, чѣмъ узко-театральное значеніе. Именно благодаря этому, крупная фигура Щепкина заслонила гигантскую фигуру Мочалова, и всѣ 50 лѣтъ русское общество приписывало Щепкину все, а Мочалову оставляло только туманныя, романтическія воспоминанія, и никогда никто не усматривалъ преемственной связи между трагедіей Мочалова и послѣдующимъ теченіемъ русской драмы, отразившемся на всемъ русскомъ театрѣ. Садовскій въ послѣднемъ актѣ Любима Торцова, Мартыновъ въ Нахлѣбникѣ — прямые наслѣдники мочаловской силы и мочаловской правды. Щепкинъ зовется по праву главою русской школы, но съ такимъ же правомъ и Мочаловъ могъ бы предъявить свое требованіе на этотъ лестный титулъ. Но все, что ему выпало въ удѣлъ—именоваться безумнымъ другомъ Шекспира. Въ чемъ же выражалось это „безуміе"? Не въ томъ ли, что онъ при жизни не умѣлъ сойтись съ кругомъ вліятельныхъ и талантливыхъ людей? Все это далеко отъ безумія. Во всемъ этомъ видна только гордая и независимая душа, сильная въ своемъ одиночествѣ, застѣнчивая и мало приспособленная къ практикѣ жизни. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ требовать отъ Геркулеса, чтобы онъ правильно и умѣло держалъ пряжу Омфалы. Изъ Наполеона, вѣроятно, вышелъ бы отвратительный бухгалтеръ, изъ Шиллера невозможный директоръ департамента. Почему же, по какому праву, даже въ самомъ лестномъ смыслѣ слова, примѣнили къ Мочалову эпитетъ безумнаго? Тщательно вслушиваясь въ изустныя преданія о немъ, вчитываясь въ мемуары и критическія статьи, я, наоборотъ, все больше и больше убѣждался, что во всемъ складѣ его художественной личности не было и слѣда той распущенности мысли и творческой силы, которую можно было бы для красоты слога окрестить безуміемъ. Кѣмъ бы онъ ни былъ *въ жизни*,—а въ жизни онъ былъ преимущественно страдальцемъ, неудовлетвореннымъ ничѣмъ, что выпадало на его долю,—*на сценѣ* онъ почти во всѣхъ роляхъ, если не во всѣхъ спектакляхъ, былъ господиномъ положенія, вдохновеннымъ творцомъ своихъ образовъ, именно тогда, когда игралъ, забывая свою личность, отождествляя себя и все окружающее съ тѣмъ міромъ, которымъ окружалъ его авторъ. Если это безуміе, то что же такое творчество? И наоборотъ, когда его „душа вкушала хладный сонъ", и онъ, по выраженіямъ своихъ поклонниковъ, былъ „невыносимъ", „невозможенъ", „отвратителенъ"—тогда, что ли, наступали для этого безумца такъ называемыя lucida momenta? Странно! Въ порывѣ услужливой дружбы

написали на могилѣ великаго актера, что онъ былъ безумнымъ другомъ Шекспира, стали говорить объ его исключительныхъ моментахъ, превратили его въ легендарную личность и совершенно отняли у него то культурно-историческое значеніе, которое онъ, несомнѣнно, имѣетъ и какъ артистъ, который первый въ цѣломъ мірѣ—и ужъ во всякомъ случаѣ во всей Россіи—сошелъ съ трагическихъ котурнъ и показалъ взволнованнымъ и растроганнымъ зрителямъ человѣческія страданія трагическихъ героевъ и, какъ видный общественный дѣятель, отразившій всѣ теченія и стремленія своего времени въ своей артистической личности. Это почти забыто: осталась надпись на могилѣ, дающая право воистину безумствовать тамъ, гдѣ надо творить, да рядъ разсказовъ о чисто-субъективныхъ сторонахъ его генія: какъ публика поднималась вмѣстѣ съ нимъ, да какъ замиралъ театръ, прислушиваясь къ его шопоту. За это его отблагодарили современники, и, къ сожалѣнію, разсказы объ этихъ великихъ минутахъ наслажденія не могутъ намъ ихъ вернуть. Мы должны благодарить его за ту школу „правды и жизненности", которую онъ создалъ и укрѣпилъ на русскомъ театрѣ силою своего творческаго проникновенія въ дѣйствительный смыслъ трагедіи и въ духъ русскаго театра.

Какъ и всѣ одинокіе двигатели тѣхъ или другихъ сторонъ культуры, повторяю—безсознательные или сознательные, это все равно,—Мочаловъ страдалъ сомнѣніемъ въ себѣ и припадками глубочайшей апатіи къ дѣлу, которому всецѣло принадлежала его душа. Я не могу признать, чтобы та неровность исполненія, за которую его упрекали, происходила отъ недостатка работы, отъ недостаточнаго развитія. При чемъ тутъ работа и развитіе, когда одною и тою же ролью онъ сегодня удовлетворялъ, а завтра приводилъ въ негодованіе своихъ ярыхъ поклонниковъ? Боже меня сохрани отрицать первостепенное значеніе труда и знанія въ сферѣ театра. Но Мочаловъ—явленіе исключительное. Онъ имѣлъ свою провиденціальную миссію и выполнялъ ее, когда „вскипала вода силоамской купели", а въ остальное время былъ „среди дѣтей ничтожныхъ міра, быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ". Когда писатель или живописецъ впадаетъ въ эту мучительную прострацію, онъ можетъ прервать свой романъ или завѣсить свое полотно. Актеръ этого сдѣлать не можетъ. Тысячи спеціальныхъ условій театральной работы заставляютъ его играть въ минуту такихъ душевныхъ настроеній, при которыхъ поэтъ и художникъ ломаютъ кисти, бросаютъ перья и погружаются въ отчаянно-мрачное настроеніе, составляющее истинную „пытку творческаго духа", и въ полное бездѣйствіе. Писатель можетъ, наконецъ, уни-

чтожить неудавшіяся ему страницы, художникъ — изрѣзать свой холстъ, актеръ не только уничтожить, но и поправить не можетъ разъ сдѣланной имъ ошибки, видитъ ее, тутъ же кается въ ней, обвиняетъ себя и теряется, громоздя уже ошибку за ошибкой.

И это бываетъ съ обыкновеннымъ актеромъ. Что же должно было быть съ Мочаловымъ, въ душѣ котораго всякое ощущеніе отражалось въ тысячу разъ сильнѣе, ошибки котораго были видны ему самому гораздо яснѣе, чѣмъ самому просвѣщенному зрителю, и мученіе за нихъ доходило до того, что, кажется, убѣжалъ бы со сцены, чтобы хоть не продолжать ихъ, какъ Пушкинъ, Лермонтовъ и Гоголь, которые жгли въ огнѣ тѣ свои произведенія, въ которыхъ они не находили себя. А что могъ сдѣлать Мочаловъ, „не найдя себя“ въ Гамлетѣ? Только во что бы то ни стало доиграть до конца. И онъ доигрывалъ. Таково существо актерскаго дѣла.

Но нѣтъ ли внѣшнихъ причинъ болѣе частаго, чѣмъ можно ожидать, повторенія такихъ спектаклей съ участіемъ Мочаловъ безъ его таланта? Позвольте, вмѣсто отвѣта, набросать вамъ только однѣ сутки изъ его жизни, какими онѣ мнѣ рисуются изо всего, что мнѣ удалось узнать о его времени.

Предупреждаю васъ, м. г-ни и м. г-ри, что во всей этой картинѣ моя фантазія непричемъ. Я только намѣренно путаю хронологію.

10 часовъ утра. Мочаловъ пріѣхалъ на репетицію. Долго не могъ онъ заснуть наканунѣ. Была вечеринка, превратившаяся въ гомерическій кутежъ. Уклониться отъ него было невозможно: на артистическомъ подъѣздѣ въ ноги Мочалову бухнулась кубическая фигура съ кубической бородой. За нею, въ видѣ ассистентовъ, оказались два „старинныхъ пріятеля“ Мочалова—извѣстные всей Москвѣ купцы—Брусковъ и Большовъ. За ними, въ перспективѣ, слабо рисовался Маломальскій. Дружба эта началась давно. Играя на гастроляхъ, Мочаловъ встрѣтился съ ними какъ-то случайно; слово за слово, Павелъ Степановичъ, да Павелъ Степановичъ, удостойте да не побрезгайте, а когда Павелъ Степановичъ удостоилъ и не побрезговалъ, были сдѣланы попытки заставить его плясать въ присядку. Мочаловъ живо и опредѣленно разсѣялъ эти попытки. Брусковъ отлетѣлъ въ уголъ, а Большовъ моментально присмирѣлъ и началъ оказывать уваженіе, потому—понялъ, съ кѣмъ дѣло имѣетъ, и даже пригрозилъ Брускову кулакомъ сверхъестественныхъ размѣровъ, если тотъ не отстанетъ. Тотъ не отставалъ, куражился. Былъ битъ, просилъ колѣнопреклоненно прощенія—былъ прощенъ и съ тѣхъ поръ зачисленъ въ „перваго друга“. Вотъ эти-то двое и привели третьяго, рязанскаго мучника, впервые увидавшаго Мочалова въ Нино. Мучникъ-то и бухнулся ему

въ ноги. Давно уже Мочаловъ не отводилъ души. А надо. Много на ней насѣло всякой театральной и нетеатральной грязи. Дѣваться некуда, тоска безпросвѣтная... Ослабѣлъ Мочаловъ, принялъ приглашеніе и вернулся въ 2 часа ночи домой, оставивъ купцовъ доканчивать пиръ безъ себя. Ему не пилось въ эту ночь. Только что передъ этимъ дѣвушкѣ, которую онъ любилъ, приказано было административнымъ порядкомъ „вернуть его, Мочалова, женѣ". Пришлось покориться.. Разговоры въ то время были короткіе, что можно ясно видѣть изъ статьи г. В. М-скаго, напечатанной въ „Русской Мысли" за мартъ. И вотъ, вернулся Мочаловъ домой: не вязались пьяный купецъ и шампанское съ глубокою тоской по счастью, отнятому въ силу полицейскаго предписанія: „водворить дѣвицу Петрову..." и т. д. И вотъ, послѣ полу-безсонной ночи пришолъ онъ на репетицію. Шла пьеса Кокошкина, конечно, заимствованная, „Школа супруговъ". Роль, доставшаяся Мочалову, была украшена особымъ перломъ: монологомъ на семи страницахъ. Кн. Шаховской, ставившій пьесу, думалъ было сократить его на двѣ трети, но, на правахъ директора, рѣшилъ такъ: пусть Мочаловъ выучитъ, я его плослусаю на лепетиціяхъ, а тамъ лѣсу". Мочаловъ выучилъ наизусть семилистную белиберду въ пьесѣ, которая по словамъ С. Т. Аксакова. „прошла, кажется, еще одинъ разъ"—значитъ, всего два раза — и произвелъ на репетиціи такое впечатлѣніе, что кн. Шаховской удостоилъ его одобрить и поручить ему роль въ *своей* новой пьесѣ „Буря", волшебное романтическое зрѣлище въ трехъ дѣйствіяхъ изъ Шекспира (Восп. Акс. стр. 87).—Мочаловъ отвѣтилъ поклономъ и словами: „не знаю, какъ благодарить ваше сіятельство за вашу милость".—„Я, голубчикъ Павелъ Степанычъ, всегда тебя отличаю, а вотъ ты иногда иглаесь, какъ сапожникъ".—„Совершенно вѣрно, ваше сіятельство".—„То-то, блатецъ мой, пливезъ я Селгѣя Тимоѳеевича въ четвелгъ полюбоваться тобою въ глафинѣ Клалѣ д'Обелвиль, а онъ послѣ двухъ актовъ сбѣжалъ". — „Такъ точно, ваше сіятельство".—„Ты знаешь, блатецъ, онъ на тебя въ обидѣ: плигласилъ тебя бывать у него поутламъ, почитать длугъ-длугу, а ты ужъ больше мѣсяца глазъ не кажешь".—„Некогда ваше сіятельство".—„Ахъ, некогда? Некогда?"—голосъ принимаетъ визгливые оттѣнки.—„А пьянствовать съ купцами есть влемя?".—„Завтра утромъ явлюсь, ваше сіятельство"—„То-то".

Кн. Шаховской думаетъ, что сдѣлалъ много хорошаго: одобрилъ актера, постаравшагося для его сіятельства выучить безсмысленную роль, распекъ за пьянство и направилъ къ Аксакову, который любилъ поутрамъ послушать хорошихъ стиховъ въ хорошемъ чтеніи и—что грѣха таить—самому почитать ихъ Мочалову, который на всѣ раз-

говоры „о театрѣ, о сценическихъ условіяхъ, о мѣрѣ огня и чувства у славныхъ актеровъ“—хотя и отвѣчалъ: да-съ, точно такъ-съ, совершенно справедливо, но, по признанію самого Аксакова на 107-й страницѣ его воспоминаній, слова Аксакова отскакивали отъ Мочалова, какъ горохъ отъ стѣны. Но, какъ это ни странно, ни Гамлетъ, ни Ричардъ III отъ него вѣдь не отскакивали, какъ горохъ отъ стѣны, а впивались въ его душу. Чѣмъ это объяснить?

Репетиція кончена. Мочаловъ ѣдетъ домой, куда онъ водворенъ. Жена съ удрученнымъ видомъ слѣдитъ за возвращеннымъ ей мужемъ. Общаго между ними мало, хотя бы въ силу послѣдняго удара, постигшаго его. Онъ пытается примириться съ условіями... да и хочется душу отвести. „Сейчасъ репетировали какой-то вздоръ... слова съ языка не шли“. — Разговоръ не клеится. Мочаловъ кидаетъ салфетку и встаетъ изъ-за стола. Идетъ къ себѣ въ комнату и ложится на диванъ лицомъ къ стѣнѣ. Что вспоминается ему въ эти минуты? Его ли первая любовь, красавица и талантливая Львова-Синецкая? Или та дѣвушка, которой онъ обязанъ лучшими вдохновеніями, внесенными имъ въ Гамлета и въ Отелло, дѣвушка, только что съ безсмысленною жестокостью оторванная отъ него чиновничьимъ произволомъ? Или мучитъ злость при мысли, что завтра, чѣмъ свѣтъ, тащиться къ барину-меценату и выслушивать декламаціи и разговоры „о сценическихъ условіяхъ“? Или противна становится вся его жизнь со всею окружащею пошлостью въ сравненіи съ жизнью изображаемыхъ имъ героевъ? Или думается ему: нѣтъ, вотъ каково было бы Гамлету испытать всю эту жизнь на своей сложной, тонкой природѣ. И воображеніе разгоралось. Уже Гамлетъ весь, какъ живой, ходилъ вокругъ него. Онъ его чувствовалъ, сливался съ нимъ—и ѣхалъ играть. Умный Щепкинъ съ утра уже обѣщалъ себѣ удовольствіе. Онъ видѣлъ, какъ на Мочалова находили тучи—значитъ, вечеромъ будетъ играть. И игралъ... Вся скорбь и боль его души претворялись въ глубокую тоску принца, и его принцу нуженъ былъ хотя мгновенный выходъ изъ этой давящей душу тоски — и выходъ находился. „Оленя ранили стрѣлой“—звучало въ стѣнахъ театра—и въ этомъ звукѣ слышалось русскому человѣку того времени все, что русскій же великій артистъ воплощалъ въ ихъ общемъ—и зрителя и художника—Гамлетѣ: и жажда вскрикнуть всею грудью послѣ долгаго вынужденнаго молчанія, и недовѣріе къ своимъ силамъ, и отчаяніе отъ своего безсилія, и неудержимое стремленіе хоть передъ единственнымъ другомъ—Гораціо, засвидѣтельствовать правду. Реальная жизнь отражалась въ великомъ художественномъ моментѣ съ грозовою силой—и чутко внималъ этимъ звукамъ Бѣ-

линскій, дрожа и волнуясь и любя этого „могучаго, страшнаго художника“ больше себя самого. Вдругъ взглядъ художника падаетъ на знакомое лицо въ ложѣ—лицо одного изъ его меценатовъ и рядомъ съ нимъ блестящій мундиръ какого-нибудь чиновнаго гостя. Мочалова точно что̀ выбило изъ сѣдла. „А, вотъ что! Показываютъ!“—и все смѣшалось. Полѣзла мысль за мыслью: и „надо постараться“, и „осрамился“, и „вотъ опять завтра пристанутъ“,—а слова монолога льются какъ-то не такъ, руки хлопаютъ по бедрамъ, какъ пѣтушьи крылья. С. Т. Аксаковъ уходитъ изъ ложи, Шаховской показываетъ украдкой языкъ, петербургскій генералъ недоумѣвающе оглядывается, а Загоскинъ высказываетъ предположеніе: „Запилъ каналья“ (воспоминанія Панаева, стр. 166). Умный Щепкинъ тихонько крадется въ свою уборную, печально качая головой; и низко опускаетъ свою голову на грудь, страдающій за Шекспира, за Мочалова, за Гамлета „неистовый Орландъ“.—Все это знаетъ Мочаловъ, все это чувствуетъ и играетъ все хуже и хуже. Только благодарная молодежь прощаетъ ему все за моменты высокаго счастья, и молодыя груди сливаются въ одномъ восторженномъ кликѣ.—Ночью Мочаловъ уже не вернулся домой. Пилъ на ты съ рязанскимъ мучникомъ, требовалъ, чтобы передъ нимъ становились на колѣни (Восп. Панаева), и утромъ явился прямо къ С. Т. Аксакову въ такомъ видѣ, что внукъ дѣдушки Степана Михайловича, при всей своей страсти къ театру, „долженъ былъ вывести его насильно и ужъ съ тѣхъ поръ онъ у него въ домѣ не бывалъ“ (Восп. Акс., стр. 107). Конечно, можно было бы и теплѣе отнестись къ такому геніальному гостю. Но время, время! Время, когда Пушкинъ и Лермонтовъ были застрѣлены, время, когда... Позвольте не кончить. Мочаловъ умеръ, сожженный не виномъ, а огнемъ своей души, умеръ неестественною смертью, и ему нельзя было умереть иначе, когда такъ умирали всѣ безъ исключенія геніи его времени. И если Гоголь умиралъ отъ сумасшествія, великіе поэты отъ пуль, Бѣлинскій отъ чахотки, могъ ли Мочаловъ составить исключеніе?

50 лѣтъ назадъ изъ стѣнъ этого зданія студенты Московскаго университета вышли навстрѣчу гробу Мочалова. Сегодня тотъ же университетъ вѣнчаетъ гордость и славу своего отечества, великаго артиста, родоначальника и творца русской трагедіи.

Кн. А. Сумбатовъ

ПАМЯТИ В. Г. БѢЛИНСКАГО.

Ребенкомъ видѣлъ я случайно твой портретъ
Съ чертами строгими раздумья и печали...
— Кто это? я спросилъ. „Дитя, его ужъ нѣтъ,
И не понять тебѣ, кого мы потеряли!
Онъ долго съ нами жилъ, и былъ онъ намъ родной,
И бился въ жизни онъ, какъ бились мы когда-то,
Онъ истины искалъ тревожною душой,
Одной лишь истины—ни почести, ни злата!
И онъ ушелъ отъ насъ. О, какъ хотѣли мы
Летѣть за нимъ туда, во слѣдъ его побѣдный,
Но знай, дитя, тогда летать могли орлы,
А были слабы мы, и немощны, и бѣдны;
Потомъ узнаешь ты...“ И я тебя узналъ,
Учася по тобой же созданной страницѣ,
Я въ пылкой юности тебя благословлялъ
И въ старости принесъ хвалу твоей гробницѣ!...

Пенза, 26 мая 1898 г.

Вл. Ладыженскій.

СОНЪ.

(ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ ОДНОГО МАЛЕНЬКАГО ЧЕЛОВѢКА).

Кто со слезами свой хлѣбъ не ѣдалъ,
Кто никогда, отъ пелёнъ до могилы,
Ночью на ложѣ своемъ не рыдалъ,
Тотъ васъ не знаетъ, небесныя силы!

Гёте.

... Говорятъ, что я умеръ. Вотъ сейчасъ около меня только-что стояли младшій ординаторъ и фельдшеръ, Осипъ Васильичъ, толстенькій, на короткихъ ножкахъ человѣчекъ, съ нафабренными усами, въ короткомъ пиджачкѣ табачнаго цвѣта, какъ-то всегда смѣшно топорщившемся на его выпяченномъ животикѣ.

Осипъ Васильичъ былъ добродушный человѣкъ и любимецъ всей нашей палаты, главнымъ образомъ потому, кажется, что любилъ поострить; циникъ по природѣ, онъ былъ всегда веселъ и тѣмъ, казалось, веселѣе, чѣмъ страшнѣе и ужаснѣе были проходившія передъ нимъ больничныя картины; его остроуміе особенно крѣпчало, когда кто-нибудь умиралъ изъ временныхъ его кліентовъ; со стороны казалось, какъ будто нашъ Осипъ Васильичъ былъ несказанно радъ всякому смертному случаю, отъ искренняго сердца восторгаясь, что временный земной жилецъ, изстрадавшійся по разнымъ житейскимъ мытарствамъ, успокоился навсегда, и что нѣтъ и не можетъ быть на землѣ такой силы, какъ бы могуча она ни была, которая могла бы кощунственно нарушить этотъ великій покой изстрадавшагося человѣка. И вотъ, подите жъ, несмотря на его грубый цинизмъ, мы всѣ, умирающіе, почему-то его любили. Вотъ и теперь я чувствую, что онъ стоитъ у моего изголовья, и, на-скоро собирая съ моего столика уже ненужные мнѣ пузырьки, онъ хитро подмигива-

етъ доктору и, улыбаясь, говоритъ: „finis coronat opus!“ и, сдѣлавъ за спиной доктора гримасу, вполголоса переводитъ моимъ палатскимъ сожителямъ: „сила солому ломитъ!“

— Да... кончено... кончено! — говоритъ докторъ, продѣлавъ надо мною какія-то спѣшныя изслѣдованія.

— Прикажете переправить на постоянную фатеру?—спрашиваетъ Осипъ Васильичъ.

— Всенепремѣнно,—въ тонъ ему мимоходомъ кидаетъ докторъ.

— Больше ничего не изволите приказать?

Докторъ вскользь бросаетъ на Осипа Васильича нѣсколько изумленный и недоумѣвающій взглядъ.

— Нѣтъ, ничего, — говоритъ онъ отрывисто и быстро исчезаетъ изъ палаты.

Но какъ ни рѣшительно увѣряетъ докторъ, что я умеръ, какъ ни весело остроумничаетъ довольный Осипъ Васильичъ по этому поводу, однако я чувствую, что я еще далеко не умеръ. Это для нихъ я умеръ, но не для себя... Положимъ, сердце мое замерло уже; пульсъ не бьется больше; такъ долго и безостановочно работавшія легкія, какъ усталый, натрудившійся человѣкъ, мирно заснули, неподвижныя, спокойныя, но зато никогда не былъ еще такъ чутокъ мой слухъ, никогда еще не было такъ остро мое *внутреннее* зрѣніе, никогда еще мой мозгъ не озарялся такимъ яснымъ и жгучимъ сознаніемъ, какъ теперь!

Да, я умираю, дѣйствительно, но я еще не умеръ...

О, вы, оставшіеся въ живыхъ, вы не знаете что̀ такое эти краткія секунды между жизнью и смертью, секунды, въ которыя воплощаются цѣлые года, въ которыя послѣдній разъ переживается милліонъ впечатлѣній, передумывается милліонъ мыслей, и трепещущая въ послѣднихъ конвульсіяхъ душа вся содрогается, какъ отъ электрическаго тока, перегорая въ быстромъ пламени вновь переживаемыхъ ею внутреннихъ ощущеній.

Прежде всего, съ поразительной ясностью, я представляю себѣ до ничтожнѣйшихъ мелочей все, что со мною сейчасъ будетъ.

Я знаю, Осипъ Васильичъ уже неторопливо спускается съ лѣстницы въ пріемную и, встрѣтивъ въ дверяхъ „больничнаго мужика“ Силантія, въ большомъ бѣломъ фартукѣ, съ закинутыми за спину руками, какъ будто давно уже ожидающаго свою жертву, — говоритъ ему мимоходомъ:

— Силантій! На постоянныя фатеры.

— Готовъ, стало быть, Осипъ Васильичъ? — переспрашиваетъ предупредительно Силантій.

— Вполнѣ.

— Поди, шестой нумеръ?

— Онъ самый.

Силантій съ необыкновеннымъ удовольствіемъ, какъ кажется, крякаетъ и, выйдя за дверь на больничный дворъ, запускаетъ глубоко въ карманъ своихъ шароваръ руку, вытягиваетъ оттуда щепоть корешковъ и начинаетъ вертѣть сигаретку, въ то время, какъ подъ его усами блуждаетъ какая-то ироническая и таинственная улыбка. Я знаю Силантія давно,—это человѣкъ уже пожилой, высокій, съ просѣдью въ бородѣ и особою мужицкою сановитостью во всей фигурѣ; онъ иногда заходитъ къ намъ со шваброй и ведромъ мокрыхъ опилокъ убирать нашу палату—и тогда любитъ, между дѣломъ, подсѣсть къ кому-нибудь изъ больныхъ и вполголоса побесѣдовать съ нимъ о его „домашности" и прочихъ предметахъ; знакома мнѣ и его ироническая улыбка, которая чуть замѣтно и таинственно скользила подъ его усами всякій разъ, когда изстрадавшійся человѣкъ пускался предъ нимъ въ разныя мечтанія насчетъ „настоящей жизни", лишь только вырваться бы ему на вольный свѣтъ.

О чемъ же онъ думаетъ теперь? Чему онъ улыбается? Отчего онъ такъ спокоенъ и его не охватываютъ ужасъ и скорбь при мысли, что тамъ, вверху, кончилась чья-то долгая жизнь и что скоро охватятъ ее мракъ и забвеніе могилы, холодной, страшной, безнадежной, при мысли о которой оледенѣла бы кровь въ моихъ жилахъ, если бы она не была уже холодна?

Но Силантій, повидимому, знаетъ, что́ знаетъ, и раскуривъ сигаретку, съ тою же таинственною улыбкой направляется къ „мертвецкой", около двери которой, на лавочкѣ, сидитъ второй экземпляръ больничнаго мужика, Памфилъ, поставивши около себя швабру, и тоже только-что принявшійся обмусливать сигаретку; онъ моложе Силантія, кряжистѣе, но зато безъ всякой еще мужицкой степенности, а потому больше склонный слушаться во всемъ Силантія.

— Носилки!—коротко произноситъ Силантій, усердно сплевывая послѣ послѣдней крѣпкой затяжки, ожегшей ему языкъ.

— Готовъ?—спрашиваетъ и Памфилъ, медленно вытягивая одну ногу въ огромномъ новомъ сыромятномъ сапогѣ, чтобы достать изъ-за голенища спички (я почему-то всегда представлялъ его себѣ не иначе, какъ непремѣнно въ новыхъ густо-намазанныхъ сапогахъ и съ необыкновенно счастливою улыбкой на лицѣ).—Кто такой будетъ?

— Скворецъ... Оттерпѣлся, слава те, Господи! — отвѣчаетъ Силантій.

— Давно пора было ему надумать,—замѣчаетъ, поплевывая Пам-

филъ,—одну канитель тянулъ... Что ни говори, а все оно тамъ, у мѣста-то, поди, куда спокойнѣе будетъ... да и душѣ-то полегшаетъ.

— Знамо дѣло! Тамъ оно, братъ, вѣрнѣе, — рѣшаетъ Силантій, отворяя наотмашь дверь въ „мертвецкую", изъ которой такъ и пахнуло леденящимъ холодомъ безнадежной тоски, унынія и отчаянія... Неужели, неужели я буду сейчасъ лежать тамъ, голый, на жесткихъ доскахъ, цѣлую ночь, одинъ, неподвижный и нѣмой, крѣпко запертый Памфиломъ на ключъ? При одной мысли объ этомъ у меня волосы подымаются на головѣ и мнѣ хочется крикнуть, звать на помощь, хочется сказать имъ всѣмъ: „Что вы дѣлаете? Вы ошиблись! Я еще не умеръ... Погодите! Какъ же такъ можно?... Я еще жить хочу, жить полною, разумною человѣческою жизнью..."

Напрасно. Силантій и Памфилъ уже внесли носилки въ палату. Вотъ они подходятъ ко мнѣ. Я вижу на лицѣ Силантія ту же улыбку, но уже не ироническую, а добрую, какъ бы радостную и привѣтственную.

— Ну, ну, Господь съ тобою! Оттерпѣлся... Пойдемъ-ка, кормилецъ, на спокой!—говоритъ онъ, подхватывая меня сзади подъ мышки.

Почему онъ такъ спокойно можетъ говорить объ *этомъ?* Равнодушные и безжалостные люди! Отчего вы не хотите понять мой ужасъ, мое отчаяніе?

Они меня уносятъ.

Мои палатскіе сожители наскоро и боязливо крестятся дрожащими руками... О, они-то уже навѣрное понимаютъ, что переживаю я въ эти минуты! А, впрочемъ, понимаютъ ли? Но все одно, я мысленно говорю имъ: „Простите, добрые люди! Я всегда желалъ вамъ добра и хотѣлъ вамъ сдѣлать это добро... Если же вы думаете, что между всѣми нами нѣтъ и не можетъ быть ничего общаго, кромѣ зараженнаго палатскаго воздуха, которымъ мы дышемъ,—и потому всѣ мы одиноки, то не я виноватъ въ этомъ. Я знаю одно, что я никогда не хотѣлъ вамъ дѣлать зла. Простите хотя за это!..."

Мы осторожно спускаемся по широкой лѣстницѣ, по которой намъ навстрѣчу поднимаются врачъ и Осипъ Васильичъ. Меня вдругъ охватываетъ страстная, необоримая жажда жизни. Мнѣ кажется, что я собралъ послѣдній остатокъ силъ, поднялся на носилкахъ и, размахивая руками, кричу: „Послушайте! Докторъ! Осипъ Васильичъ! Что вы дѣлаете? Подумайте хотя минуту! Развѣ же такъ можно? Оборвать все сразу... всю эту долгую цѣпь жизни, полную, быть можетъ, ничтожныхъ и мелкихъ на вашъ взглядъ, надеждъ и упованій, порывовъ и домогательствъ, рѣдкихъ искорокъ любви и долгихъ, холодныхъ часовъ и дней одинокаго отчаянія... Оборвать эту,

быть можетъ, полуживую, быть можетъ, ничтожнѣйшую изъ ничтожныхъ по своему значенію, но еще крѣпкую связь съ міромъ—и сказать: конецъ! будетъ!... А что же дальше? Что же *тамъ?* Вѣдь если въ васъ есть хоть капля участія къ моимъ страданіямъ, вѣдь вы должны же мнѣ сказать—куда, зачѣмъ и почему вы уносите меня отсюда? Вѣдь должна же быть, гдѣ-нибудь корениться, дрожать эта живая связь между всѣмъ тѣмъ, что было, и тѣмъ, что будетъ... Вѣдь нельзя же иначе! Поймите!... Вѣдь иначе... Постойте, если вы сами не чувствуете, дайте передать мнѣ вамъ весь этотъ ужасъ, который охватываетъ меня передъ мракомъ той бездны, въ которую вы сейчасъ меня бросите... Постойте же, послушайте!"

— Осторожнѣе, осторожнѣе!—заботливо говоритъ докторъ, пропуская мимо себя носилки, а Осипъ Васильичъ хочетъ перекреститься, но, посмотрѣвъ на свои руки, между растопыренными пальцами которыхъ онъ несетъ цѣлую аптеку всякихъ пузырьковъ, оставляетъ это намѣреніе.

Итакъ, кончено!

Меня уносятъ въ мертвецкую, гдѣ Силантій и Памфилъ наскоро обмываютъ меня, одѣваютъ въ саванъ, приносятъ изъ кладовой сосновый гробъ, пригоняютъ его по мнѣ—и затѣмъ я вижу, какъ укладываютъ въ гробъ мое изсохшее, странное тѣло, похожее на корявое дерево съ высохшими и торчащими въ разныя стороны мертвыми членами-сучьями. Памфилъ и Силантій усиленно сгибаютъ ихъ, по своему желанію приминая въ узкое ложе между досками. Я не ощущаю, однако, никакой боли. Я смотрю на мое тѣло со стороны, какъ посторонній зритель. Но когда, покончивъ „убирать" его, оставили меня одного во мракѣ мертвецкой, меня вдругъ объялъ невыразимый ужасъ и, съ послѣднимъ поворотомъ ключа въ двери, я потерялъ всякое сознаніе...

Я начинаю медленно приходить въ себя, только когда меня перенесли въ больничную часовню. Вотъ пришли батюшка и дьячокъ отдать мнѣ послѣдній долгъ. Я вижу, какъ батюшка при словахъ о „послѣднемъ лобызаніи" нѣсколько разъ заглядываетъ въ пустые углы, на затворенныя двери и, не увидавъ никого больше, кромѣ Силантія и Памфила, качаетъ головой, вздыхаетъ и спрашиваетъ Силантія:

— Одинокій, должно быть?

— Такъ точно-съ, батюшка. Какъ перстъ единъ!

Батюшка долго и внимательно, скорбнымъ взглядомъ, смотритъ въ мое лицо, слегка помахивая кадиломъ, и потомъ, опять глубоко вздохнувъ, произноситъ послѣдній возгласъ; „Вѣчный покой подаждь, Господи, усопшему рабу твоему!"

— Вѣчна-ая па-а-мять!—разомъ подхватываютъ и дьячокъ, и Силантій, и Памфилъ, стараясь между словами скорѣе погасить казенныя свѣчи.

Пока батюшка снимаетъ эпитрахиль, Силантій успѣваетъ сообщить ему свои соображенія.

— Натрудилъ вотъ себя... Да... Отъ дѣла не бѣгалъ, а толку себѣ все не видалъ... Тоже, какъ и мы, грѣшные, здѣсь жисть-то околачивался. Поди, еще съ коихъ лѣтъ, со вьюности, поди, отшибся отъ дому-то... Ну, и заблудился въ столицыи... Думалъ, чай, оно здѣсь, въ столицыи-то, слаще... Эхъ ты, братъ, заблудящій!—прибавляетъ онъ со своею иронически-грустною улыбкой: — Спрашиваю однова: чего молъ, пишешь? „Такъ, говоритъ, объ жисти... Здѣсь оно, говоритъ, въ палатѣ-то поспособнѣе... А то, на волѣ-то, по рабочему дѣлу, несподручно...“ А то разъ, гляжу — плачетъ, горюетъ... Знамо, не сладко въ одиночку-то... Не то мастерокъ какой, не то по письменной части... И Боже мой, сколько здѣсь этого званія народу!

И разчувствовавшійся Силантій поправилъ мнѣ заботливо руки и подушку подъ головой.

— Хошь бы умирать-то къ себѣ въ деревню уѣхалъ. Тоже, поди, сваты какіе есть... Все бы оно тамъ будто пригляднѣе умирать-то было,—замѣчаетъ и Памфилъ.

— Вѣрно, вѣрно!..—подтверждаетъ Силантій.—У насъ въ деревнѣ все же оно пригляднѣе... Глядишь, вся деревня сбѣжится, ребятишки, все честь-честью... Бабы повоютъ... О, Господи, Господи! Вотъ тоже и насъ, поди, такъ-то: и здѣсь-то тебя никто не проводитъ въ могилу тихую, да и на томъ свѣтѣ встрѣтить некому... Вотъ оно, наше сиротство-то!...

— Казённо здѣсь,—замѣчаетъ батюшка, уходя и крестясь широкимъ размахомъ.

— Вотъ самое это слово, батюшка... Такъ точно-съ! — улыбается предупредительно Силантій.—По-казенному-съ!

И я не столько вижу сквозь полузакрытыя вѣки, сколько чувствую, какъ по лицу Силантія скользитъ какая-то странная тѣнь не то сердитой скорби, не то робкаго раздраженія, а по лѣвой щекѣ пробѣгаетъ судорога.

— Эхъ ты, казанская сирота!—громко и рѣзко говоритъ онъ, сдергивая полусердито съ меня старенькій покровъ, какъ только батюшка выходитъ совсѣмъ за дверь.— И поплакать вышло некому по тебѣ. Отъ своихъ-то вотъ отсталъ, а къ чужимъ не присталъ,—продолжаетъ онъ, помогая дьячку и Памфилу убирать въ часовнѣ.—То ли бы дѣло въ деревнѣ-то: ребятишекъ бы, по грамотному дѣлу, уму-разуму

обучалъ бы... По-сусѣдски бы со всѣми въ сурьёзъ проживалъ, со всѣми на міру... Можетъ и до внуковъ бы дожилъ... Тамъ, братъ, дожилъ бы!.. А умеръ — все бы это честь-честью... всѣмъ бы міромъ собрался народъ-то... Вотъ, молъ, онъ, упокоился нашъ старичокъ, радѣтель за міръ и за правду... Вотъ оно какъ бы по дѣлу-то!..

И чѣмъ больше разсуждаетъ надо мною Силантій, тѣмъ все больше и больше онъ на кого-то сердится... О, я понимаю на что и на кого онъ сердится!

— Эхъ, сироты, сироты!—опять продолжаетъ, онъ, ходя со шваброй изъ угла въ уголъ часовни.—Такъ вотъ и умрешь, какъ тварь какая безсловесная... И на томъ свѣтѣ показаться отъ стыда тяжко будетъ...

И я чувствую, что въ груди Силантія что-то клокочетъ все сильнѣе и сильнѣе, какъ ни старается онъ подбодрить себя полушутливымъ тономъ. И вотъ, вдругъ онъ останавливается прямо передо мною, опершись на швабру, и, внимательно всматриваясь въ мое лицо, говоритъ:

— Да, такъ думать надо, братецъ мой, что и намъ съ тобою разцѣнка на томъ свѣтѣ не ахти важная будетъ!... Да... не за что потому... Отъ роду-племени отшиблись; какое сѣмя отъ отца-матери было пущено доброе—и то не соблюли по настоящему, да и отъ себя ни худого, ни добраго не оставили... Такъ, братъ, одну канитель мы съ тобой вели!...

— Это вѣрно, что канитель, — вдругъ оживленно подтверждаетъ и молчаливый Памфилъ.— Я вотъ только, дай Богъ вздоху, Силантій Петровичъ, хочу разомъ съ ней порѣшить, съ эстой канителью... Поѣду въ деревню — свадьбу играть! А то, спаси Богъ, проканителишься—да и сгибнешь эдакъ же безо всякаго званія...

— Вѣрно! какъ же не канитель!... Какъ хошь смотри... Эвона, еще съ коихъ годовъ меня изъ дому-то вышибло,—говоритъ такъ-же оживляясь Силантій.—Брательникъ говоритъ: „Надо, говоритъ, тебѣ, Силантій, съ хлѣбовъ долой... Потому объѣдимся мы безъ остатку... А чего же намъ теперь здѣсь вдвоемъ-то околь голоднаго мѣста трепаться?“ Вѣрно! Правильно! самъ вижу... Али, думаю, правды на свѣтѣ нѣтъ!.. Правда должна быть... Взялъ кошель—пошелъ.—„За пропитаніемъ что ли, почтенный?“ спрашиваютъ.—Такъ точно молъ...—„Ну вотъ, говорятъ, въ отходники сгоняютъ...“ Пошелъ... Смердитъ, съ души воротитъ по незнакомому дѣлу...—Ну, говорятъ, вотъ, можетъ, въ мороженщики?... Можно и въ мороженщики... Хожу—кричу, треплю сѣдую-то бороду по дворамъ, кабысь прямо безъ стыда, безъ совѣсти... Относился съ мороженымъ—въ трактиръ, въ кухоннаго мужика угодилъ... А то разъ недѣлю по трухтувару съ конвертой бѣ-

галъ... Отъ совѣсти, было, сгорѣлъ!... Да такъ-то вотъ десятый годъ канителюсь. И совѣсть, и Бога забылъ... Прямо говорю: стыда не возьмешь на тотъ свѣтъ-то явиться... Правда!... Правда-то, она отсюда, должно, за море ушла, а мы и ту, какую знали, забыли..

И Силантій сурово сдвигаетъ брови; по лицу его пробѣгаетъ сердитая тѣнь.

— Хоть бы вотъ и тебя взять,—продолжаетъ онъ, опять сердито заглядывая мнѣ въ лицо.—Одна расцѣнка! Только что развѣ сертучишка былъ у тебя, да по грамотному дѣлу мараковалъ, такъ будто чиномъ повыше! А тоже всю жисть канителился по чужимъ дворамъ, по халуйскому дѣлу... Съ чѣмъ къ Богу-то придемъ? Какъ ему глаза-то покажемъ?... Охъ, грѣхи, грѣхи!...

Я уже совершенно внятно слышу, какъ голосъ Силантія дрожитъ, а у меня что-то жгучее подступаетъ къ горлу, и мнѣ хочется встать и крикнуть: „Дядя Силантій! за что такъ? за что?“

И мнѣ кажется, что старый Силантій понялъ это.

— Знаю, знаю... Тоже, поди, всѣ жилы изъ себя вытянулъ, все правды ждалъ... Знамо, человѣкъ вѣдь, не тварь какая... Ну, Богъ съ тобой! Спокойся!—говоритъ онъ.—Авось, Богъ и пожалѣетъ еще насъ, въ міру безпризорныхъ, заблудшіихъ...

И Силантій осторожно закрываетъ мнѣ лицо коленкоромъ, но я успѣваю еще увидать, какъ у него по щекамъ заструились слезы и онъ быстро отеръ ихъ фартукомъ.

А у меня вдругъ сжало грудь, и мнѣ кажется, что я зарыдалъ громко-громко, зарыдалъ какъ ребенокъ... и что кругомъ рыдаютъ и мои братья и сестры, и отецъ и мать, и Силантій и Памфилъ... и что всѣ мы не въ больничной часовнѣ, а тамъ, въ далекой глухой деревенькѣ, на берегу рѣчки Норки, которую я когда-то такъ любилъ, съ ея высокимъ зеленымъ берегомъ, заросшимъ густыми вѣтлами, подъ которыми ютилась наша маленькая деревянная церковь съ деревенскимъ нашимъ кладбищемъ... и что отъ этой церковки несется по окрестнымъ полямъ и лугамъ дребезжащій звонъ жиденькаго колокола, какъ-то чудно переливаясь съ волнами свѣжаго, чистаго, бодрящаго воздуха... Вотъ онъ, то плачетъ около меня похоронною пѣснью, утѣшая и баюкая своихъ давнихъ-давнихъ знакомцевъ, нашихъ дѣдовъ и бабокъ, въ ихъ тихихъ могилахъ, — то гудитъ и переливается въ пасхальную ночь широкою, веселою волною звуковъ, торжественно вѣщая имъ о вновь и вновь воскресающей веснѣ жизни, о вѣчномъ, неизсякающемъ источникѣ ея непрестанно стремящихся къ вѣчному Благу могучихъ силъ, — то надрывается, вмѣстѣ съ нашими матерями, какъ-то болѣзненно-жа-

лобно взвизгивая, нервнымъ набатомъ, какъ будто сзывая подъ сѣнь старыхъ вётлъ нашей сиротливой деревеньки ея развѣянныхъ по великой Руси сыновей... Ахъ, если ужъ умирать, то лучше лечь тамъ, подъ этотъ зеленый бархатъ росистой муравы, подъ прохладную нѣжную тѣнь этихъ старыхъ дѣдовскихъ вётлъ!.. Унесите меня туда! Унесите!

. . . . . .

Силантій вдругъ вздрогнулъ, испуганно отвелъ отъ меня глаза и почему-то неожиданно заторопился, какъ-будто онъ чего-то испугался или ему хотѣлось скорѣе-скорѣе отогнать докучную мысль.

— Ну-ка, ну, Памфилъ, давай, надѣвай крышку-то!

Я слышу, какъ кладутъ на меня крышку и начинаютъ пригонять ее въ пазы.

— Ну, ладно! — говоритъ Силантій и ударомъ своего здороваго кулака, какъ разъ у меня надъ головой, плотно осаживаетъ передній конецъ крыши.

— Пойдемъ одѣваться скорѣй... Да гдѣ тамъ еще мужики-то? Чего не идутъ? И такъ ужъ валандаемся съ нимъ невѣсть сколько времени.

— Поторапливайтесь, поторапливайтесь!—говоритъ скороговоркой и дьячокъ:—убрали, и дѣлу конецъ! Чего тутъ съ нимъ разговоры вести? Разговоры тоже завелъ!—говоритъ онъ недовольнымъ голосомъ по адресу Силантія.

— Это вѣрно: какіе ужъ тутъ разговоры, Иванъ Порфирычъ, какіе разговоры! — машетъ безнадежно рукой Силантій и уходитъ вмѣстѣ съ Памфиломъ изъ часовни.

Да, какіе ужъ тутъ разговоры! Вотъ еще нѣсколько минутъ, послѣднихъ минутъ, связывающихъ меня тоненькою, тоненькою ниточкой съ земною жизнью... еще нѣсколько минутъ, и эта ниточка порвется навсегда и невозвратно! Сейчасъ войдутъ съ носилками четверо мужиковъ, поднимутъ на плечи гробъ и понесутъ на кладбище, на „казенный участокъ“... Я знаю этотъ казенный участокъ; какъ-то разъ я проходилъ мимо него: скользкій, глинистый косогоръ, изрытый рытвинами отъ дождевыхъ потоковъ; на немъ нѣтъ никакихъ признаковъ жизни—это поистинѣ смертная юдоль; кругомъ него не растетъ даже бурьянъ; тамъ и здѣсь виднѣются только могилы съ обвалившимися и облѣзшими буграми. А вотъ гдѣ-нибудь тутъ новая свѣжая яма—это для меня! Пройдетъ полчаса, гробъ со мною грузно хлюпнетъ на ея дно, посыплются неторопливо комья сыроватой глины, все больше и больше... Мнѣ уже чувствуется, какъ подъ ея напоромъ, какъ въ желѣзныхъ тискахъ, ломается моя грудь... и

кругомъ мракъ, мракъ и мракъ!.. Ужасно! Пощадите!.. Неужели это конецъ человѣческаго существованія? Порвались узы жизни... изсякъ животворящій токъ преемственности...

Я чувствую, какъ по моимъ мертвенно-холоднымъ щекамъ полились изъ неподвижныхъ глазъ горячіе потоки слезъ. Я жутко слышу, какъ изъ моей груди рвется неудержимый крикъ отчаянія...

О, дайте, дайте хотя одинъ вздохъ любви изъ прошлаго, хотя одинъ лучъ участія и любвеобильнаго свѣта изъ будущаго! Братья и сестры! всѣ тѣ, которые уже тамъ, по ту сторону стѣны мрака,— неужели и вы не подадите мнѣ руку спасенія? Неужели вы не встрѣтите меня крикомъ участія и любви? Неужели вы не смоете теплыми слезами моего ужаса и отчаянія, не озарите мракъ души моей свѣтозарнымъ лучемъ сознанія живой, непрерываемой связи ея съ вѣчнымъ разумомъ?

Вотъ уже слышенъ поспѣшный стукъ и скрипъ нѣсколькихъ паръ ногъ, за дверями часовни. Это они, мои невольные палачи, больничные мужики.

Еще нѣсколько минутъ...

. . . . . .

О, нѣтъ... Погодите! Остановитесь! Я вижу надо мной, — смотрите! — слабое мерцаніе... Вотъ оно все шире и шире, все ярче... Что-то свѣтозарное, переливающееся, какъ волны, охватило уже полнеба... Я вижу тысячи рукъ, которыя любвеобильно простираютъ ко мнѣ изъ-за этого сіянія мои братья и сестры и всѣ тѣ, которые когда-либо любили ихъ въ жизни или хотя бы только сострадали имъ... Слышите? Это звонитъ колоколъ на нашей бѣдной деревенской церкви, надъ нашимъ покрытымъ зеленою муравой, осѣненнымъ густыми вѣтлами деревенскимъ кладбищемъ, на берегу нашей веселой рѣчки Норки. Я знаю, это сейчасъ меня понесутъ на наше кладбище и положатъ среди тихихъ и мягкихъ могилъ, покрытыхъ бархатомъ муравы и полевыхъ цвѣтовъ... Вотъ уже тысячи невидимыхъ рукъ подняли меня высоко-высоко въ безбрежномъ океанѣ воздуха: мнѣ кажется, что я плыву по этимъ чистымъ, влажнымъ волнамъ, какъ-будто несущимся отъ нашей далекой Норки, что эти животворящія волны все больше и больше охватываютъ меня, обвѣваютъ и облекаютъ тонкою, едва ощутимою пеленой... Я чувствую, какъ нѣжныя, теплыя струи побѣжали по моимъ жиламъ все быстрѣе и быстрѣе, чаще и чаще забился пульсъ, изъ груди вырвался радостный полувздохъ...

— Господи, я еще живъ!—вскрикнулъ я.

И тогда кто-то остановился вблизи меня и сказалъ такъ властно и внятно:

— Встань и иди за Мною!.. Царство мое близится, царство свѣта, любви и правды.

И я почувствовалъ, какъ вдругъ вспыхнули во мнѣ всѣ силы жизни: и я всталъ, и пошелъ за Нимъ, и сталъ въ ряды воинства Его, среди котораго были всѣ братья и сестры мои, и всѣ тѣ, которые когда-либо сострадали имъ.

Я проснулся. Передо мною опять мелькнуло доброе личико моей молоденькой „милосердной сестрички", въ бѣломъ, какъ снѣгъ, фартучкѣ, которую я не видалъ и не узнавалъ такъ долго.

— Слава Богу, слава Богу! — говорила она, сдерживая звонкій голосокъ, и смотрѣла на меня радостно-улыбающаяся, сквозь слезы, которыя сами собою родились изъ ея дѣтски-чистой и сострадательной души. — Кризисъ проходитъ... Еще немного и, дастъ Богъ, мы встанемъ бодрые и крѣпкіе духомъ и тѣломъ! — лепетала она какъ деревенская касаточка, быстро суетясь около моей больничной койки.

— Да, милая, сердобольная дѣвушка,—дай Богъ!

А какой это былъ долгій и мучительный сонъ...

Н. Златовратскій.

МЕТЕЛЬ.

Разстилаетъ метель
Снѣговую постель,
Серебристая кружится мгла.
Я стою у окна,
Я больна, я одна,
И на сердце тоска налегла.

Сколько звуковъ родныхъ,
Голосовъ неземныхъ,
Зимній вѣтеръ клубитъ въ вышинѣ.
Я внимаю. И вотъ—
Колокольчикъ поетъ.
То не милый ли мчится ко мнѣ?

Я бѣгу на крыльцо.
Вѣтеръ бьетъ мнѣ въ лицо,
Вѣтеръ вздохъ мой поймалъ и унесъ:
„Милый, другъ мой, скорѣй,
Сердцемъ сердце согрѣй,
Дай отраду утраченныхъ слезъ!

Не смотри, что измятъ
Мой вѣнчальный нарядъ,
Что отъ мукъ поблѣднѣли уста...
Милый, другъ мой, скорѣй,
Сердцемъ сердце согрѣй,—
И воскреснетъ моя красота.“

Жду я. Тихо вдали.
Смолкли звуки земли.
Другъ далеко, забылъ обо мнѣ.
Только вѣтеръ не спитъ,
И гудитъ, и твердитъ
О свиданьѣ въ иной сторонѣ.

М. Лохвицкая.

ДѢДЪ.

(РАЗСКАЗЪ).

Падалъ первый ноябрьскій снѣгъ.

Бѣлыя пушинки долго носились по воздуху прежде, чѣмъ попадали на землю, покрытую густымъ слоемъ грязи. Иногда, подхваченныя порывомъ вихря, пушинки вдругъ начинали подниматься вверхъ и сталкивались съ новыми, падавшими безъ перерыва, еще и еще, изъ желтовато-сѣрой пелены, нависшей надъ городомъ.

Давно ужъ шелъ снѣгъ. Около стѣнъ и на мостовой, у фонарныхъ столбовъ и тротуарныхъ тумбъ, успѣли образоваться бѣлыя грядки и становились все выше; но подъ ногами пѣшеходовъ и на серединѣ улицы все превращалось сейчасъ же въ мокрую кашу, издававшую противный хлюпающій звукъ.

Распущенные зонтики сталкивались, ныряли внизъ или описывали поверху фантастическіе круги, чтобъ миновать благополучно обывательскія головы. Въ воздухѣ носились только непріязненные, досадные звуки; люди злились, проклинали погоду, ругали дворниковъ, сновавшихъ со своими лопатами, толкались и посылали наудачу раздосадованные возгласы.

Рѣдко, рѣдко слышится молодой смѣхъ изъ группы какихъ-нибудь дѣвочекъ, весело бѣгущихъ по водѣ, подобравъ высоко юбки и разбрасывая лукавые взгляды изъ подъ шляпки, гдѣ бѣлѣетъ кучками набившійся снѣгъ.

Назойливый, рѣзко скребущій звукъ желѣза по камню точно подгоняетъ всю эту толпу.

По одной изъ второстепенныхъ улицъ, по направленію къ Невскому проспекту шелъ высокій, полный господинъ въ форменномъ пальто. Пальто было новенькое съ иголочки; отъ времени до времени

обладатель его что-то ворчалъ сквозь зубы и бережно стряхивалъ съ рукавовъ набиравшійся снѣгъ.

Вдоль длинной улицы не было видно ни одного свободнаго извощика. Господинъ останавливался, приглядываясь съ надеждой къ приближающейся пролеткѣ—и снова бросался впередъ, различивъ смутный силуэтъ въ глубинѣ низко нависшаго верха.

Наконецъ, онъ круто измѣнилъ походку, какъ человѣкъ, рѣшающій покориться своей участи и не выбиваться изъ силъ напрасно. Онъ прошелъ нѣсколько шаговъ спокойно, точно на прогулкѣ въ отличную погоду, потомъ не торопясь разстегнулъ новенькое пальто и вынулъ изъ кармана черепаховый портсигаръ.

Съ губъ сорвалось раздосадованное: „Чортъ!"—портсигаръ былъ пустъ. Въ скверную погоду все идетъ скверно.

Злобно зажимая въ карманѣ пустой портсигаръ, высокій господинъ пробѣжалъ глазами оба ряда вывѣсокъ. Съ угла узкаго переулка на противоположной сторонѣ на него глядѣли двѣ симметричныя пирамидки изъ разноцвѣтныхъ папиросныхъ коробокъ на черномъ фонѣ.

Онъ перешелъ черезъ улицу, стараясь не забрызгать подкладку новаго пальто. . . . . .

. . . . . .

— Царскихъ—крѣпкихъ!—выговорилъ господинъ, сердито въ пространство.

Было около трехъ часовъ дня, но въ маленькой табачной лавкѣ уже горѣли газовые рожки, весело освѣщая всю пестроту переполненныхъ полокъ. Прямо напротивъ двери въ воздухѣ колыхался подвѣшенный на проволокѣ къ потолку изящный абажуръ изъ желтаго шелка, съ пышнымъ кружевнымъ рюшемъ.

Это было нѣсколько неожиданно для табачной лавочки. Покупатель стоялъ съ безсознательно поднятымъ вверхъ лицомъ, какъ будто онъ никогда не видалъ желтыхъ шелковыхъ абажуровъ.

Въ яркомъ освѣщеніи выступало его лицо, покраснѣвшее отъ сырого воздуха, съ мягкими расплывчатыми чертами и подстриженной по модѣ узкой бородкой. Но модная бородка не шла къ закругленнымъ чертамъ. Въ глубинѣ недурныхъ темныхъ глазъ точно пряталось что-то усталое.

— Въ десять копѣекъ или въ двадцать?—спросилъ голосъ изъ угла, гдѣ онъ чувствовалъ какую-то человѣческую тѣнь.

Усталый взглядъ блеснулъ неуловимымъ выраженіемъ и въ мигъ перелетѣлъ въ уголъ, за конторку.

Тамъ стоялъ человѣкъ маленькаго роста и перебиралъ на полкѣ

коробочки съ яркими бандеролями. Человѣкъ этотъ былъ необыкновенно худъ и это чувствовалось даже въ его оригинальномъ костюмѣ изъ толстаго темно-сѣраго драпа; не то военная тужурка, не то венгерка, плотно охватывавшая узкое туловище и украшенная безчисленными клапанами и карманами. Сѣдые волосы стояли вверхъ густой щеткой надъ худымъ лицомъ; длинныя бакенбарды падали до половины груди, дѣлаясь свѣтлѣе къ концамъ. Изъ-за очковъ глядѣли острые глаза въ слегка воспаленныхъ вѣкахъ.

Покупатель безсознательно сдѣлалъ два шага къ конторкѣ. Лицо его покраснѣло сильнѣе; въ немъ проступало недоумѣвающее, напряженное выраженіе.

Хозяинъ лавки быстро заворачивалъ на прилавкѣ папиросы, не отрывая глазъ отъ свертка—хоть онъ не получилъ никакого отвѣта на свой вопросъ. Листокъ тонкой бумаги издавалъ какой-то безпокойный шорохъ въ его проворныхъ пальцахъ... звукъ, который могъ навести на мысль, что эти пальцы дрожатъ.

И хоть человѣкъ, покупавшій папиросы, никогда раньше не прислушивался къ подобнымъ звукамъ, но онъ чувствовалъ, какъ эти безмолвные, спѣшные жесты точно выпроваживаютъ его изъ ярко освѣщенной маленькой лавочки.

Хозяинъ подалъ свертокъ. Высокій господинъ взялъ его и вышелъ изъ лавки, позабывъ, что за купленную вещь надо заплатить.

. . . . . .

Худенькій старичекъ въ сѣрой тужуркѣ вытянулся во весь свой маленькій ростъ и долго смотрѣлъ на затворившуюся дверь, надъ которой жалобно звякнулъ колокольчикъ.

Хмурыя черты его мало-по-малу разглаживались... Въ нихъ проступало меланхолическое выраженіе, въ которомъ сквозятъ далекія тяжелыя воспоминанія, когда что-нибудь случайно всколыхнетъ ихъ въ примиренной душѣ . . . . . .

Закрытая дверь около конторки приотворилась, и въ лавку заглянула голова молодой женщины въ накинутомъ на плечи байковомъ платкѣ.

— Папа... что это вы такъ?—спросила она, окинувъ его и лавку быстрымъ взглядомъ.

... Звонокъ... потомъ довольно долгій промежутокъ, во время котораго не было слышно голосовъ—и опять звонокъ. Она бросила работу и встала посмотрѣть... Она сама не знала, почему.

— Папиросы...—отвѣтилъ лаконически старикъ, повернулся къ ней спиной и сталъ переставлять коробки на средней полкѣ.

Женщина вошла въ лавку и плотно затворила за собою дверь. Теперь она была уже увѣрена, что то не былъ простой покупатель.

Она это видѣла въ горбившейся спинѣ сѣрой тужурки и въ томъ, что отецъ не разговариваетъ съ нею, а для чего-то роется въ папиросахъ

Женщина вздохнула, какъ могла беззаботнѣе.

— Ну, абажурчика моего продать намъ такъ и не удается! Онъ ужъ начинаетъ темнѣть отъ копоти! папа, вы не замѣчаете?

Она старалась вызвать на разговоръ.

Старикъ опять увидѣлъ въ яркомъ свѣтѣ знакомыя, слишкомъ знакомыя черты, наивно поднятыя къ желтому абажуру... И онъ не могъ дольше молчать: Если съ Варей молчать, тогда какъ же жить?...

— Отгадай, кто былъ сейчасъ?—выговорилъ онъ глухо, поворачиваясь къ ней серьёзнымъ лицомъ.

Съ минуту дочь испуганно смотрѣла на него, охваченная тревожнымъ ощущеніемъ неизвѣстности,—но вдругъ она, сама не понимая какъ, прочла имя въ его глазахъ, нѣжно и печально смотрѣвшихъ на нее...

Ея спокойныя, чуть-чуть поблѣднѣвшія черты дрогнули... въ нихъ проскользнула внезапная боль. Женщина въ байковомъ платкѣ сдѣлала нѣсколько невѣрныхъ шаговъ, облокотилась на прилавокъ и неожиданно заплакала, опустивъ голову на руки.

Старикъ мрачно потрясъ головой, точно онъ мысленно говорилъ кому-то: „ну, вотъ видите—я это зналъ!...“

Слышно было, какъ тикаютъ маленькіе стѣнные часы съ яркими розами на бѣломъ циферблатѣ (ихъ не сразу и разглядишь среди окружающей пестроты), и какъ слабо гудятъ газовые рожки, и какъ на улицѣ стучатъ проѣзжающіе экипажи.

Старикъ нервно потеръ согнутыми пальцами о лѣвую ладонь и подошелъ къ дочери по другую сторону прилавка.

— Гм, дочурка... съ чего это ты плакать-то вздумала? Ну, пришелъ... живой человѣкъ, что тутъ удивительнаго? Коли въ лавкѣ сидишь, такъ стало быть всякій зайти можетъ. Не умеръ вѣдь онъ!

Варя выпрямилась, вытерла глаза ладонью и сказала спокойно:

— Не съ чего мнѣ плакать. Неожиданно очень...

Отецъ прислонился спиной къ полкамъ и ничего не отвѣтилъ. Воспоминанія тянули, завладѣвали, затягивали въ свою глубь противъ воли...

... Не надо, не надо! Давно все это отпало, какъ мертвый листъ отпадаетъ съ живого дерева, какъ густой зеленый дернъ разрастается надъ старой могилой... какъ спадаетъ самое тяжкое бремя съ незатронутой совѣсти...

— Перемѣнился?—спросила вдругъ Варя, обходившая вокругъ прилавка, чтобы поставить на мѣсто забытую коробочку.

Старикъ подумалъ.

— Потолстѣлъ, кажется... Постарѣлъ. И побѣдителемъ не смотритъ!

Онъ усмѣхнулся себѣ въ усы. Должно быть дочери почему-нибудь памятно было это выраженіе.

— Ждалъ, что я заговорю...

— Господи! да развѣ же онъ узналъ васъ? — вылетѣло испуганно изъ груди женщины, и розовая волна начала заливать ей лицо и шею.

Почему-то она думала, что Моршановъ не узналъ отца: зашелъ случайно въ лавку—не глядѣлъ вовсе...

— Голосъ узналъ.

— Да, голосъ!...

Слова, фразы, цѣлыя рѣчи разомъ вырвались изъ мрака и всѣми голосами зазвучали въ ихъ душахъ.

Кажется, Варя теперь не совсѣмъ уже отчетливо помнитъ лицо Моршанова,—но этого взволнованнаго и пристыженнаго, раздраженнаго и страдающаго, этого боящагося, остерегающагося голоса—нѣтъ, нельзя его забыть!... Какъ она ненавидѣла этотъ голосъ и ускользающій, что-то прячущій, несчастный взоръ . . . . . .

Больше нѣтъ ненависти. Несчастный! сдѣлать то, что онъ сдѣлалъ, и найти ихъ такъ, въ табачной лавочкѣ...

Варя тоже прислонилась къ полкамъ. Такъ они стояли на разныхъ концахъ и думали одну думу... мучительную и безцѣльную.

Вдругъ за притворенной дверью въ сосѣдней комнатѣ послышался быстрый топотъ дѣтскихъ ногъ.

— Мама!... Мама!...—кричалъ звонкій, счастливый голосокъ.

Старикъ кинулся къ двери.

— Погоди, погоди, не открывай! Пальчики прищемишь!—кричалъ онъ тревожно.

Крошечная дѣвочка прыгнула прямо въ его объятія. Онъ поднялъ ее надъ головой и поставилъ на прилавокъ. Она начала прыгать и хлопать ладонями. Желтый абажуръ вздрагивалъ и раскачивался въ воздухѣ.

— Гдѣ паяцъ?—кричала дѣвочка, вытягивая шейку, чтобы заглянуть дальше, и размахивая длинными золотыми волосами. —Дѣдъ! дай паяцъ поиграть!

Онъ научилъ ее звать его „дѣдъ“ и каждый разъ наслаждался, когда она точно выстрѣливала смѣшное коротенькое словцо, стиснувъ сначала изо всѣхъ силъ свои пунцовыя губки.

Онъ прыгалъ вслѣдъ за нею, балансируя разставленными руками, чтобы она не могла упасть. Очки сдвинулись на лобъ, счастливые глаза слѣдили со страхомъ за ёрзавшими маленькими ножками въ безобразныхъ шерстяныхъ чулкахъ.

Дѣвочка хотѣла пробраться на самый уголокъ, откуда совсѣмъ близко до пестраго картоннаго паяца съ соблазнительно свѣсившимися веревочками. Бумажная рожа со ртомъ до ушей весело дразнила ее.

— Я не оборву! я тихонько!—молила она вкрадчиво и жалобно и забавно откинула назадъ короткія ручонки въ доказательство своего благонравія.

Этого дѣдъ окончательно ужъ не могъ перенести.

— Ну, ну, не шевелись... стой такъ! Стой, я сейчасъ достану его.

Онъ грозилъ ей пальцемъ, оглядывался и никакъ не могъ рѣшиться отойти отъ нея на два шага, чтобы снять паяца.

— Опять! мы держимъ игрушки только для того, чтобы Соня ихъ ломала!

Это сказала мать негодующимъ голосомъ. Она рѣшительными шагами подошла къ дѣвочкѣ, вытянувшейся на прилавкѣ въ своей очаровательной позѣ, выражавшей и радость и страхъ остаться одной такъ высоко.

— Ты никогда больше не будешь бѣгать по большому столу! — сказала молодая женщина безпощадно.

Прилавокъ составляетъ всегдашнюю мечту крошечной Сони. Она называетъ его „большой столъ“, чтобы не воевать напрасно съ мудренымъ словомъ.

— Ты обѣщала, что никогда не будешь ничего просить въ лавкѣ! Ну, значитъ, тебя нельзя сюда пускать.

Мать протянула руки, чтобы снять ее. Но Соня кинулась на шею старику, и они составили молчаливо-протестующую группу: Соня, дѣдъ и паяцъ.

— Хорошо! я больше ничего не скажу! — я отступаюсь! Такъ нельзя дѣтей воспитывать! — кричала Варя, гнѣвно размахивая рукой и волоча по полу соскользнувшій съ шеи платокъ.

Изъ-подъ платка высвободилась статная молодая фигура безъ корсета, въ темномъ бумазейномъ платьѣ; густая каштановая коса была некрасиво свернута на затылкѣ.

Во всей ея внѣшности лежалъ отпечатокъ глубокаго равнодушія женщины, нежданно очутившейся въ табачной лавкѣ и сознающей въ какой мѣрѣ это несовмѣстимо съ притязаніями на молодость и изящество.

— Балуйте, балуйте больше! кто-то будетъ за все это расплачиваться!...

Варя поскорѣе ушла изъ лавки, чтобы не наговорить еще больше.

Баловство Сони—это всегда открытая слабая сторона отца. Когда необходимость вынуждала дочь наносить удары, она страдала отъ своихъ побѣдъ, едва ли не сильнѣе его самого...

Проклятыя игрушки составляютъ одну изъ отравъ ихъ жизни. Въ табачной лавочкѣ нельзя не держать игрушекъ; трехлѣтней дѣвочкѣ нѣтъ возможности внушить равнодушія къ новымъ игрушкамъ. Оставалось дѣду помнить, что игрушки дороги, а баловство вредно.—Но дѣдъ, съ своей стороны, находилъ что-то „позорное“ въ необходимости отказывать маленькому кумиру въ „подобной дряни“...

Бѣда въ томъ, что людямъ, спустившимся въ табачную лавку изъ сферъ жизни несравненно болѣе просторныхъ, органически не хватало тѣхъ убогихъ масштабовъ, на какіе разсчитанъ ихъ новый кругозоръ. Во вкусахъ, привычкахъ и во всемъ ихъ душевномъ багажѣ оказывались цѣлыя залежи лишняго и неумѣстнаго...

И между двумя людьми, связанными самою горячею привязанностью, тянется нескончаемая безсознательная борьба, въ которой каждый старается отстоять свое: то, что въ силу возраста, настроенія или темперамента ему слишкомъ тяжело было бы принести въ жертву...

Въ лавкѣ дѣдъ прижималъ къ себѣ Соню, и они перешептывались, какъ побѣдители, нѣсколько сконфуженные собственною побѣдой.

Въ сосѣдней комнатѣ Варя сѣла къ окну и взяла брошенную работу.

Низкая квадратная комната, въ два окна, обставлена старыми вещами, уцѣлѣвшими отъ погрома,—всѣмъ, что могло помѣститься въ ней и въ темной коморкѣ передъ кухней, которая служила спальней отцу; туда же прячется на день кроватка Сони и постель матери. Всѣ эти солидныя барскія вещи черезчуръ громоздки для такой квартиры при лавкѣ...

Варя шила на ручной машинѣ шубку для дѣвочки; на полу валялись клочки ваты и обрѣзки синей фланели. Она очень спѣшила. Соня сильно выросла за лѣто, и неожиданно оказалось, что ее не въ чемъ вывести гулять. Все хорошее осеннее время ушло, пока мать собиралась съ силами соорудить новую шубку, и дѣдъ пилитъ ее этимъ изо-дня въ день...

Молодая женщина лихорадочно вертѣла колесо. Все новыя и новыя слезы набѣгали на ея глаза...

Появленіе Моршанова всколыхнуло все, что замирало въ душѣ

сномъ смерти... Но Варя плакала теперь не объ немъ—не объ этомъ первомъ женихѣ, отказавшемся отъ нея, какъ только надъ отцомъ разразилось судебное слѣдствіе. Любила ли она его? Можетъ быть, какъ почти каждое дѣвическое чувство, это была еще не любовь, а лишь возможность любви....

Дѣвушка его не оплакивала. Презрѣніе выжгло слезы. Онъ для нея потонулъ въ потокѣ обрушившагося на нихъ зла и жестокости. Еще одна лишняя жестокость — еще одно разочарованіе... Но вѣдь вся жизнь вокругъ нея шаталась и готова была рухнуть. Она уже видѣла себя въ страшной дали Сибири, неподготовленную, безпомощную, внезапно оторванную отъ безпечальнаго житья единственной балованной дочки...

...Того, *другого,* который спасъ ихъ, полюбила ли Варя истинной любовью, какъ рисуется она въ романическихъ мечтаніяхъ?... Онъ ихъ спасъ отъ Сибири. Онъ быстро и свѣтло сгорѣлъ на работѣ, не сознавая, что умираетъ, полный безконечныхъ великодушныхъ плановъ, полный гордаго счастія, что ему удалось на своихъ молодыхъ плечахъ вынести два разбитыхъ существованія...

Молодая женщина бросила машину и упала головой на подоконникъ. Другой — чужой и ненавистный — вызвалъ дорогой скорбный образъ.

— Миша!... Миша, родной мой!—рыдала она.

...Буря стихла. Изъ обломковъ разбитаго корабля любящія руки сложили убогій шалашикъ, и Варя не замѣчала его убожества, пока ютилось подъ нимъ свѣтлое счастье...

Молодость легла въ могилу Миши. Теперь — тѣсная схватка съ нуждой и вѣчный трепетъ за судьбу Сони... Не все ли равно, молода она или стара, миловидна или дурна?...

Въ лавкѣ звякнулъ колокольчикъ.

Соня, какъ бомба, влетѣла въ дверь, прижимая къ груди картоннаго паяца.

— По-ку-па-тели!... по-ку-па-тели! — лепетала она, забавно выпячивая губы.

„Покупатели“, это—что-то таинственное и заманчивое въ воображеніи ребенка. Для Сони это не были обыкновенные люди, на которыхъ она смотрѣла въ окно или которые проходятъ мимо по улицѣ— и вся хитрость ребенка направлялась на то, чтобы какъ-нибудь застать ихъ въ лавкѣ, увидѣть, какъ дѣдъ „продаетъ“.

Слова эти Соня слышитъ съ утра до вечера, но живого покупателя все-таки никогда не видала. Ее строго выпроваживали, какъ только за стеклянною дверью показывался человѣческій силуэтъ.

Мать выпрямилась на стулѣ и вытерла платкомъ глаза.

Соня сейчасъ же вспомнила, что она выпросила у дѣда паяца— и почувствовала себя не по себѣ въ „комнатѣ“... Съ наивнымъ простодушіемъ совсѣмъ маленькаго ребенка, Соня направилась прямикомъ въ кухню—больше уйти некуда.

Мать ее не остановила.

Перешагнувъ за дверь темной комнаты, дѣвочка пустилась бѣгомъ, предчувствуя, что сейчасъ за нею должны погнаться и вернуть ее.

Но Варвара Павловна не шевельнулась на своемъ стулѣ.

...Внезапнымъ толчкомъ она отброшена въ то мучительное настроеніе, когда безвозвратное прошлое становилось реальнѣе живой дѣйствительности. Второе существо, сломленное и покоренное, шевелило раздробленными членами и порывалось выползти на волю...

...Минуты — быть можетъ, только секунды — безумной вѣры, что „такъ не можетъ продолжаться, такъ невозможно!...“ Но и за секундами все начинается сызнова: вся тяжкая работа обузданія... безутѣшное горе потери... вся гложущая тоска одиночества...

... Точно во снѣ плетется тусклая жизнь. Громоздятся, нарастаютъ глухою стѣной грошовыя заботы, разсчеты, убогія мечтанія... Жизнь та же, что и вчера—но какъ будто потухаетъ вдругъ свѣточъ великодушной рѣшимости... Потемки кругомъ!...

Варя ходитъ, точно автоматъ. Отецъ ссорится съ нею за ея разсѣянность, за непростительное равнодушіе къ ихъ кровнымъ интересамъ...

А старикъ погружается въ эти интересы все глубже съ каждымъ днемъ. Маленькія коммерческія комбинаціи начинаютъ даже неподдѣльно занимать его... Наивныя комбинаціи барина, знавшаго во всю жизнь только казенную службу, гдѣ все предрѣшено и заключено въ строгія рамки—увы! онѣ почти всегда кончаются крахомъ. Всѣ усилія Вари направлены на то, чтобы удерживать отца въ рамкахъ спасительной рутины, давно выработанной другими: тѣми, которые умѣютъ считать, привыкли сколачивать гривенники изъ грошей; тѣми, кто вооруженъ единственнымъ оружіемъ нищеты—терпѣніемъ.

Новымъ хозяевамъ табачной лавочки еще приходилось наживать день за днемъ это безотрадное оружіе.

Но старая привычка къ правильнымъ занятіямъ и новое, незнакомое раньше чувство полной независимости дѣйствовали возбуждающимъ образомъ. Переселеніе въ табачную лавку повліяло совершенно различно на отца и на дочь.

Заказалъ себѣ Павелъ Васильевичъ драповую тужурку по соб-

ственному хитрому фасону, облекся въ нее и почувствовалъ себя новымъ человѣкомъ.

Старый баринъ, благополучный чиновникъ—и тотъ несчастный, которому только любовь къ дочери помѣшала пустить себѣ въ лобъ пулю—оба умерли, уступая мѣсто дѣду маленькой Сони. Для Сони надо добывать возможность жить, возможность расти и готовиться къ свѣтлому будущему.

Мать точно сразу состарилась въ свои двадцать шесть лѣтъ, опустилась... Отецъ этого не замѣчалъ. Жизнь вся — какъ понималась она раньше—отрѣзана навсегда... зачѣмъ оглядываться и сожалѣть о чемъ-нибудь?...

Даже ненависть къ врагамъ, даже возмущеніе передъ невозможностью побороть силу и отстоять свое честное имя — стихали въ возрастающемъ равнодушіи... Такъ гаснетъ перегорѣвшій пепелъ. Хотѣлось только уйти отъ безплодной муки, отъ людей, отъ жестоко обманувшаго прошлаго. Любо было спрятаться въ этомъ новомъ упрощенномъ существованіи, гдѣ царило одно крошечное созданіе, вмѣщающее въ себѣ новое будущее.

— Ты Бога благодари, что Соня у тебя есть! Осталась бы одна послѣ Миши—каково бы теперь было?—внушалъ отецъ Варѣ.

Отъ него ускользало различіе. Онъ отрѣшался отъ жизни, которая была вся изжита. Послѣдняя страсть точно заслоняла отъ него ея судьбу.

Была замужемъ два года — похоронила мужа... Старикъ одно возражалъ, когда дочь повторяла, что для нея въ жизни все кончено:

— А Соня-то? Развѣ у тебя нѣтъ Сони?...

. . . . . .

Павелъ Васильевичъ вошелъ въ комнату и съ порога окинулъ ее безпокойными глазами.

— Ну, такъ и есть: опять Соня въ кухню убѣжала!... Удивительно право, что ты не можешь доглядѣть! Дождешься, что опять горло захватитъ...

Варя очнулась, подняла голову отъ работы и посмотрѣла туманными глазами.

— Сію минуту тутъ была...

Старикъ нетерпѣливо махнулъ рукой и прошелъ въ кухню; черезъ минуту онъ вернулся съ Соней, сидѣвшею у него на плечѣ. Онъ усадилъ ее на диванѣ и самъ сѣлъ рядомъ. Картоннаго паяца булавкой прикололи къ мягкой спинкѣ, и дѣдъ сталъ бережно распутывать перепутанные шнурки. На болтающихся красныхъ ногахъ

темнѣло жирное пятно. Дѣдъ показалъ на него пальцемъ и покачалъ головой, подмигивая лѣвымъ глазомъ.

Соня покраснѣла и оглянулась на мать.

...Монотонный стукъ машинки точно отгораживаетъ ее отъ всего окружающаго.

— Звонятъ! покупатели! — закричала Соня, которая всегда первая слышитъ звонки.

Павелъ Васильевичъ убѣжалъ въ лавку. Минутъ черезъ десять онъ вернулся, весь красный отъ возбужденія.

— Эге! Отгадайте-ка, Варвара Павловна, что сейчасъ продано?

Побѣдоносный тонъ возвѣщалъ крупную удачу. Варя подумала и сказала:

— Часы?...

— Пхе, часы!.. Вотъ-съ, получайте ваши шесть рублей и прошу покорно, чтобы цѣлую недѣлю носа не вѣшать! Не то отниму — ей Богу, отниму!...

Онъ разсмѣялся довольнымъ смѣхомъ.

Варя даже вспыхнула отъ удовольствія, принимая деньги.

— Абажуръ? это удивительно!—вотъ ужъ совсѣмъ не ожидала!... Ну, коли такъ—я завтра же начну новый мастерить.

— Та-та-та! не завтра, матушка, прошу покорно! Сначала мнѣ шубку-то—шубку ея подай! Вотъ видишь, сударыня, что значитъ нѣкоторая предпріимчивость? Ты со мною споришь; вѣчно я изо всякихъ пустяковъ съ тобою воевать долженъ...

Варя готова была каяться, обезоруженная удачей... Господи, Боже мой – да развѣ же она не готова хоть ночи просиживать надъ этими абажурами, лишь бы только ихъ покупали!...

Она сложила свою работу и отправилась въ кухню поторопить Анисью.

Во время обѣда на звонки въ лавку выходитъ всегда Варя. Павелъ Васильевичъ забирается на диванъ и всецѣло занятъ кормленіемъ внучки.

Сегодня звонили три раза.

— Письмо вамъ посыльный принесъ.

Въ лавкѣ Варя долго разсматривала адресъ подъ газовымъ рожкомъ, но не узнавала почерка.

Старикъ повертѣлъ конвертъ въ рукахъ и положилъ около своего прибора; неохота теперь очки надѣвать. Кто могъ ему писать?

Странное любопытство томило дочь...

Сегодня Варя не чувствуетъ себя замурованною въ табачной ла-

вочкѣ отъ всего живого міра. Что-то неумирающее колыхнулось тамъ... во мракѣ... Не предчувствіе ли новыхъ ударовъ?...

Наконецъ кончился незатѣйливый обѣдъ, который всегда затягивается кормленіемъ Сони; Соня больше болтаетъ, чѣмъ ѣстъ, а дѣдъ настаиваетъ и приходитъ въ отчаяніе отъ каждаго недоѣденнаго куска.

Старикъ взялъ письмо и ушелъ читать въ лавку.

„Зачѣмъ онъ такъ сдѣлалъ?...“ Ей стало досадно и почему-то еще безпокойнѣе...

Странная мысль наконецъ отчетливо выплыла въ ея умѣ: письмо отъ Моршанова... Дико—безсмысленно,—но почему-то она чувствовала, что это такъ...

Она двигалась взадъ и впередъ, убирая со стола, волоча за собою глухую тоску...

Только и возможно жить, пока не думаешь, пока копошатся въ головѣ нескончаемыя заботы и соображенія.—Провизія, тряпки... Вывернуть, выкрасить, вычистить;—уличить Анисью въ воровствѣ двугривеннаго, поймать, когда прачки на дворѣ таскаютъ ихъ дрова,—научиться чинить самой домашнюю обувь...

Варя выпустила изъ рукъ полотенце и присѣла на край отцовской кровати. Въ такія минуты ее всегда тянетъ въ темную комнату.

Отецъ терпѣть этого не можетъ: „Ну, да! опять въ конуру забилась!..“—ворчитъ онъ сквозь зубы такъ, чтобы Варя слышала.

Для нея это предостереженіе—не доводить до того, чтобы отецъ началъ утѣшать ее... О, это послѣднее—не утѣшеніе, а самая горькая, ѣдкая мука!...

Милый, добрый папа говоритъ все то, что полагается, и не чувствуетъ, въ чемъ обида... Она не винитъ его. Конечно, онъ любитъ ее больше жизни! Только Соню одну онъ любитъ больше, чѣмъ ее. Но странно... страдать за Соню, за себя онъ умѣетъ, а за дочь нѣтъ! Не умѣетъ... Жалѣетъ, что она не досыпаетъ, не доѣдаетъ... Себя за это не жалѣетъ—ее одну... Но вѣдь именно это-то все ей и ни почемъ! Не физически тяжка нужда, а нравственно: духота—неволя—мертвое, мертвое одиночество...

Рядомъ двѣ сестры-модистки, шляпки дѣлаютъ. Смѣхъ у нихъ, пѣсни... Гости ходятъ... Нормальная жизнь въ своей средѣ. На Рождествѣ въ маскарадъ поѣдутъ; въ театръ, въ галлерею пѣшкомъ бѣгаютъ и потомъ въ восторгѣ болтаютъ до полночи. Кофе ячменный съ ситникомъ пьютъ три раза въ день,—кажется, только по воскресеньямъ обѣдаютъ. Ей кажется, что она никогда не видала такихъ веселыхъ лицъ, какъ у этихъ сестеръ.

Барыню изъ табачной лавочки оглядываютъ съ головы до ногъ насмѣшливыми взглядами. А заказала имъ капоръ для Сони (шубку одолѣетъ какъ-нибудь сама, а капора не сдѣлать), такъ ни за что цѣны назначить не хотѣли. „По-сосѣдски"... да „между дѣломъ", пока тутъ же, въ ихъ магазинѣ Варвара Павловна расплакалась.— Господи, дойти до подобныхъ волненій!...

Отецъ дальше отъ всякихъ дрязгъ. И за нимъ надо смотрѣть во всѣ глаза, удерживать, предостерегать... Ну, а что же она понимаетъ-то въ концѣ концовъ? Онъ правъ: изъ ничего ничего и не будетъ.

Въ темную комнату прибѣжала Соня, разыскала мать на кровати.

— Мышка скребетъ? Мама, это мышка? Мышка въ какой щелкѣ живетъ? Въ этой щелкѣ? Мама!

Соня болтаетъ безъ умолку, тормошитъ. Мать часто спрашиваетъ себя, отчего ея лепетъ не можетъ разогнать мрака? Иногда тяготитъ... Кого любить ей кромѣ Сони? . . . . . .

Павелъ Васильевичъ вернулся въ среднюю комнату, и дочь, точно пойманная школьница, бросилась изъ темной, подхвативъ на руки дѣвочку.

У отца странное, строгое лицо. Говоритъ и не глядитъ въ глаза...

...Сейчасъ ему сходить надобно, на часокъ; къ чаю онъ вернется; лавку закрыть можно, коли она хочетъ.

Лавка обоимъ точно мѣшаетъ сегодня. Въ экстренныхъ случаяхъ, лавка обыкновенно запирается въ неурочный часъ—когда становится для нихъ слишкомъ несносной обузой.

На сосѣдей (веселыхъ модистокъ, и краснощекихъ прикащиковъ изъ свѣчной, въ холщевыхъ передникахъ, и на жеманныхъ нѣмочекъ изъ булочной) это производитъ каждый разъ впечатлѣніе сенсаціи и служитъ темой для грубыхъ насмѣшекъ. Весной, когда Соня заболѣла, лавка простояла закрытою три дня. Это разъ навсегда погубило коммерческое реноме новыхъ владѣльцевъ: съ тѣхъ поръ никто уже не принималъ ихъ торговли въ серьёзъ, все кругомъ только ждало, когда они окончательно прогорятъ.

Впрочемъ, есть у нихъ и безкорыстный руководитель для всѣхъ такихъ пріемовъ и обычаевъ профессіи, по которымъ опытный глазъ сразу и безошибочно отличаетъ истиннаго мастера отъ какого-нибудь случайнаго выходца изъ другихъ сферъ. Старшій дворникъ Савелій въ ту пору прямо насильно заставилъ ихъ отпереть лавочку; каждый день по нѣскольку разъ онъ являлся „урезонивать", а подъ конецъ прямо накричалъ на его высокоблагородіе и попрекнулъ Соней:

...Торговлишка и вся грошовая—ну, да вѣдь и капиталы у нихъ не велики: грошъ-то всего легче просадить, да мудренѣе всего вер-

нуть! Что́ они съ дѣвочкой дѣлать станутъ, коли хозяинъ за неплатежъ выселитъ? Савелій, Савелій,—а тоже домъ-то не его собственность! Ну, больна... на то Божія воля. Что жъ около нея двоимъ-то околачиваться? Доглядитъ небось мать и одна. А покупателя-то во̀ какъ беречь надобно по нынѣшнимъ временамъ. Сунется разъ да другой попусту, и пошелъ въ другое мѣсто... Лови его тогда!

Савелій такъ раздражался на барскую неумѣлость, какъ будто его собственная репутація главнаго дворника страдала отъ такихъ неосновательныхъ квартирантовъ. Слава Богу, лавочка въ ихъ домѣ восемнадцать лѣтъ существуетъ и никто еще по міру не пошелъ; одинъ уѣхать долженъ былъ, другой померъ... А они вотъ никакъ взяться по настоящему не умѣютъ.

Павелъ Васильевичъ не сознавался себѣ, конечно, что въ глубинѣ души онъ сильно побаивается зоркихъ глазъ, никогда не улыбавшихся на рябомъ лицѣ Савелія.

На этотъ разъ однако Варя рѣзко отвѣтила, что „запирать вовсе не для чего“.

Ея тоска перешла въ тревогу. Неужели „тотъ“ позвалъ отца? Неужели отецъ къ нему идетъ?... Съ него станетъ!...

Мало-по-малу у него устанавливается до такой степени упрощенное міровоззрѣніе, что дочь приходитъ минутами въ отчаяніе... Что же это, наконецъ?—Ни самолюбія, ни гордости, ни оскорбленія!... На все одинъ отвѣтъ: „Богъ съ нимъ совсѣмъ!“ и одна забота во всемъ: Соня, Соня и Соня...

Сониной мамѣ двадцать шесть лѣтъ. Несмотря на жестокіе удары судьбы, жизнь во всей ея сложности остается для нея такой, какъ требуютъ воспитанныя въ ней понятія. И все чаще и чаще является необходимость отстаивать свою молодую нетерпимость, обороняться отъ примирительной старческой философіи...

Правда, философія эта отцу принесла успокоеніе и небывалую ясность души. Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ отчаянія и ожесточенія, это былъ удивительный переворотъ. Вначалѣ дочь первая почувствовала облегченіе—не слышать вѣчныхъ жалобъ, не бороться съ уныніемъ, не утѣшать противъ собственной совѣсти...

Но роли быстро перемѣнились: теперь Варя борется противъ примиренія. Она старается удержать что-нибудь отъ прежняго человѣка, болѣе несовершеннаго и болѣе несчастнаго, но съ которымъ столько выстрадано за-одно!...

— Куда это вы собрались, папа? спросила Варя, когда старикъ надѣлъ шубу, простился съ внучкой и молча прошелъ мимо нея къ выходной двери.

Она стояла за прилавкомъ и слѣдила за нимъ мрачными глазами.

— Некогда мнѣ теперь. Вернусь, такъ разскажу.

Колокольчикъ надъ дверью громко звякнулъ. Варя опустилась на табуретку и заплакала....

Дверь распахнулась прежде, чѣмъ Павелъ Васильевичъ постучалъ.

— Благодарю васъ! благодарю васъ!—шепталъ сдавленный голосъ.

Съ минуту они боролись за то, кому снять и повѣсить на вѣшалку шубу; потомъ столкнулись на пути къ дивану; хозяинъ бросился на перерѣзъ, чтобы отбросить кресло.

Красное, возбужденное лицо и лихорадочныя движенія выдавали возрастающее волненіе. Въ ту минуту, какъ старикъ опустился на диванъ, онъ успѣлъ схватить и крѣпко стиснуть ему руки и сейчасъ же опять выпустилъ ихъ.

Была минута, когда Павелъ Васильевичъ пожалѣлъ, что пришелъ.

Въ письмѣ было нѣсколько строкъ, горячо взывавшихъ къ его великодушію. Пришелъ потому, что не умѣлъ уже быть жестокимъ; потому что боялся каждаго недобраго движенія души, за которое ждетъ воздаяніе... Со времени опасной болѣзни внучки онъ уже немогъ отрѣшиться отъ новаго сознанія жизни.

...Человѣкъ молитъ—дать ему облегчить свою душу. Прошлое отболѣло, и въ его собственной душѣ уже не оказалось преграды старыхъ обидъ и разочарованій; напротивъ, прежняя искренняя симпатія къ этому человѣку, къ счастливому жениху его молоденькой Вари—всплывала откуда-то, изъ непонятной глубины...

Онъ былъ пораженъ тѣмъ, какъ сильно Моршановъ измѣнился за семь лѣтъ, точно онъ ожидалъ встрѣтить прежняго юношу. И показалось, что, пожалуй, лучше было вовсе не приходить... вонъ до чего онъ волнуется, бѣдняга!

Моршановъ сѣлъ на стулъ и смотрѣлъ на него безпокойными глазами. Онъ отдавалъ себя на судъ. Онъ ничего не хотѣлъ прятать, хотѣлъ, чтобы тотъ прочелъ въ его лицѣ всю искренность порыва, передъ которымъ онъ не устоялъ.

Почему-то онъ былъ увѣренъ, что Павелъ Васильевичъ не откажетъ и придетъ... Почему? вѣдь не пожелалъ признать его въ лавкѣ, хоть онъ его узналъ... Можетъ быть, Моршановъ понялъ это изъ его волненія, изъ того, какъ старикъ избѣгалъ смотрѣть на него, вмѣсто того, чтобы уничтожить его взглядомъ, полнымъ презрѣнія или даже выгнать его изъ своей лавки! Развѣ и такъ не могло быть?

Онъ не смѣлъ спросить—гдѣ Варя? Живетъ ли она съ отцомъ въ этой маленькой табачной лавочкѣ? или замужъ вышла? или умерла?..

Желаніе сбросить мрачную тѣнь съ своей жизни вспыхнуло въ немъ съ такой силой, какъ будто всѣ недочеты и всѣ разочарованія этой жизни сосредоточились здѣсь: въ одномъ низкомъ поступкѣ, совершенномъ на самомъ порогѣ.

Низость, за которую онъ не понесъ даже осужденія. Всѣ близкіе находили вполнѣ естественнымъ, что молодые люди разошлись. Никто не считалъ, чтобы онъ былъ обязанъ связать себя съ обезславленной семьей, когда ему еще предстояло создавать свою карьеру, когда репутація человѣка, вступающаго въ жизнь, подобна чувствительной пластинкѣ, запечатлѣвающей на себѣ каждую мимолетную тѣнь...

Старикъ оглянулъ номеръ гостинницы. Въ письмѣ сказано, что Моршановъ уѣзжаетъ сегодня съ вечернимъ поѣздомъ. Онъ вспомнилъ, что семь лѣтъ тому назадъ молодой человѣкъ долженъ былъ получить назначеніе въ одну изъ западныхъ губерній.

— Вы служите въ N**?—спросилъ онъ, чтобы начать разговоръ простымъ вопросомъ.

Онъ смутно чувствовалъ, что первое же слово безмолвствовавшаго хозяина должно бросить ихъ въ пучину волненія.

Моршановъ отвѣтилъ не на вопросъ.

— Просидѣлъ здѣсь цѣлый мѣсяцъ, каждый день ходилъ и ѣздилъ мимо...

Онъ не договорилъ: „вашей лавки“, голосъ оборвался на болѣзненномъ звукѣ.

...Что же онъ тутъ находитъ удивительнаго? Не страннѣе ли въ тысячу разъ, что онъ все-таки вошелъ именно въ эту лавку! Людямъ угодно только одинъ случай признавать...

Моршановъ началъ говорить. Онъ узналъ, чѣмъ кончилось *дѣло*, изъ „Правительственнаго Вѣстника“, больше онъ ничего не знаетъ. Въ Петербургѣ не былъ нѣсколько лѣтъ... Потомъ пріѣзжалъ ненадолго, никого не видалъ изъ общихъ знакомыхъ...

Тревожная, нетерпѣливая интонація точно подсказывала: „да развяжи же ты мою душу, скажи скорѣе!...“

На губахъ старика блуждала тихая усмѣшка... Совсѣмъ какъ будто на чужую жизнь оглядывается—такъ далекъ онъ отъ того страдальца, о которомъ идетъ рѣчь. И ворошить стараго не для чего!...

Онъ поднялъ голову и такой ясный взоръ встрѣтился съ пылающими глазами Моршанова, что тотъ вскочилъ на ноги отъ нестерпимаго волненія. Теперь ему казалось, что даже лицо у Павла Ва-

сильевича стало совсѣмъ другое... и какъ только онъ могъ узнать его съ перваго взгляда!

Неожиданно... „безстрастное“ лицо... Не могъ же онъ сказать—„счастливое“ лицо! но ни горечи, ни унынія, ни злобы нѣтъ въ этомъ лицѣ... Что научило его такъ скрываться, такъ играть роль? и передъ кѣмъ же!...

— Ничего я, ничего не понимаю!—сорвалось совсѣмъ непроизвольно съ его устъ.

... А старику еще разъ показалось страннымъ—зачѣмъ такъ узко смотрѣть на жизнь? Зачѣмъ нагромождено столько неподвижныхъ условныхъ понятій, точно колодки, которыми каждый осужденъ калѣчить свои шаги...

Онъ выпрямилъ невысокій станъ, и что-то прежнее, гордое и задорное, блеснуло въ его глазахъ

— Не понимаете, — крикнулъ онъ почти весело: — почему я не клоню смиренно голову? отчего не влачу за собой позорный приговоръ, какъ каторжникъ цѣпь, на которую онъ прикованъ?... Васъ встрѣтилъ свидѣтель благополучнаго прошлаго: по вашему мнѣнію, мнѣ передъ вами прилично только рыдать, не такъ ли?—Снова начать доказывать свою невинность, которой доказать нельзя; проклинать враговъ, пылать злобой и местью?—да, вотъ это все для васъ было бы вполнѣ понятно!... И васъ кстати попрекнуть за слабодушіе, позлорадствовать, что вижу васъ нѣсколько угнетеннымъ прошлымъ. Сначала поломаться всласть и всѣ трескучія слова перебрать—и тогда только облегчить вашу душу моимъ торжественнымъ прощеніемъ...

Онъ взмахнулъ руками и даже выскочилъ съ своего дивана на середину комнаты.

— Нѣтъ, да почему же собственно я обязанъ быть мелкой душонкой? объясните, коли можете! Почему я свои раны ковырять долженъ, когда жизнь-то—вонъ ужъ куда она убѣжать успѣла отъ того мѣста, гдѣ меня невзначай съ ногъ сшибло!... Я, видите ли, милый мой, содержу табачную лавочку и мнѣ этимъ заниматься недосугъ. Пока я буду съ человѣчествомъ счеты сводить, да надъ своей гордостью оранжереи возводить, у меня, чего добраго, дочь да внучка съ голоду помрутъ!

— У васъ внучка есть?... внучка?...

Павелъ Васильевичъ разсмѣялся тихимъ, счастливымъ смѣхомъ.

— Есть, есть внучка... Соничка! Такъ вы, стало быть, и того не знали? Да! вотъ и это еще мы съ Варей пережили: схоронили его въ двадцать семь лѣтъ... Такіе на землѣ не живутъ.

Вотъ когда голосъ старика прервался отъ внезапно прихлынув-

шихъ слезъ. Онъ опустилъ голову и медленнно побрелъ въ свободномъ пространствѣ между диваномъ и дорожными сундуками.

Моршановъ нѣсколько разъ провелъ рукой по влажному лбу. Старикъ остановился и посмотрѣлъ на него.

— Отъ его могилы я другимъ человѣкомъ вернулся. Кабы живъ былъ отецъ Сонинъ, можетъ быть, я и по сейчасъ еще старался бы заслонить свѣтъ солнечный моимъ судебнымъ приговоромъ... Растрата!... а?... каково словечко-то?... Было, было время, батюшка, когда мнѣ казалось, что слово это лошади извощичьи и воробьи уличные понимаютъ! Ну, а теперь...

Онъ близко подошелъ къ Моршанову и пристально, прямо въ глубину его глазъ устремилъ свой спокойно и грустно свѣтящійся взоръ.

— Что жъ, ступайте въ мою лавочку на углу переулка, милости просимъ! Считайте вѣрнѣе, какіе капиталы казенные я прикопилъ. Загляните въ горшокъ щей на Вариной кухнѣ—нарядами полюбуйтесь, въ какихъ дочка единственная щеголяетъ,—да съ дворникомъ Савеліемъ побесѣдуйте. Такъ неужто жъ слова бумажныя, чернилами выведенныя, убѣдительнѣе, чѣмъ нужда, какую терпитъ нашъ ребенокъ?...

— Павелъ Васильевичъ... родной мой!...

Моршановъ схватилъ его руку и вдругъ нагнулся и припалъ къ ней губами.

— Что̀ вы—что вы!... Христосъ съ вами, развѣ можно!—заволновался старикъ.

— Развѣ вы не знаете, что никогда я не сомнѣвался, никогда!... А вотъ подите же—не могъ какого-то стыда побороть, не могъ!...

По лицу покатились слезы.

— Будетъ, не надо, не говорите объ этомъ! — остановилъ, сдерживая волненіе, старикъ.—Вамъ, милый мой, двадцать три года тогда было, что ли?—мнѣ и всѣ пятьдесятъ стукнуло, да я голову потерялъ, хоть одинъ я зналъ, что преступленія не совершалъ.

Моршановъ рукой махнулъ.

— Не оправдывайте!... Вы святой человѣкъ и дочка ваша тоже святая, коли она простила... Святые могутъ прощать, а другіе и не должны... не должны!...

Павелъ Васильевичъ улыбнулся своею тихою улыбкой.

— Понять... такъ это просто! Какъ молодость судить строго!... у всѣхъ одинъ туманъ въ глазахъ, какимъ настоящая жизнь заслоняется. А вотъ въ табачной лавочкѣ меньше тумана, вѣрьте мнѣ. Тамъ, батюшка, только самые простые элементы обращаются.

У Моршанова вырвался безпокойный жестъ.

— Вотъ, да,—эта лавочка!... Павелъ Васильевичъ, да какъ это вы напали на подобную мысль?

Старикъ медленно отошелъ къ столу, нашелъ спички и сталъ закуривать папиросу.

— Каково это для Варвары Павловны въ ея годы... Необходимость!—но неужели же, неужели нельзя было какъ-нибудь иначе?... Мало ли у васъ было пріятелей...

Онъ запнулся: „Ты первый пріятель былъ—женихъ!"—пронеслось въ умѣ.

Онъ сѣлъ на стулъ, точно ноги вдругъ подкосились подъ нимъ, и поникъ лицомъ на руки.

Гость курилъ. Не хотѣлось ему разсказывать... Нельзя было иначе или онъ не сумѣлъ — не все ли равно теперь? И особенное выраженіе, съ какимъ Моршановъ произносилъ слова „лавка",—точно оно въ горлѣ у него цѣплялось за что-то—каждый разъ раздражало его.

— А вѣдь странно все это какъ-то, Михаилъ Николаевичъ!—заговорилъ онъ, помолчавъ: какъ это вы письмо послали въ лавочку—думали, что я приду къ вамъ?... Не понимаю! Тотъ человѣкъ, которому вы писали, не пришелъ бы на вашъ зовъ.

Моршановъ смотрѣлъ ему въ лицо открытымъ взглядомъ.

— Не знаю. Я ждалъ, что придетъ. Кто столько выстрадалъ, тотъ не ошибается.

— Эхъ, не то вы все говорите!—перебилъ старикъ нетерпѣливо.—Вы все еще меня оплакиваете, сочувствіе свое показать стремитесь. Ну-съ, а кабы да это правда была—такъ не только что сюда прійти, а убѣжать за сто верстъ хотѣлъ бы я отъ вашего сочувствія! Я для того и пришелъ, чтобы заблужденіе это въ васъ разсѣять: не лежимъ мы съ Варей до сего дня подъ развалинами, какъ оно вамъ представляется,—ничего подобнаго нѣтъ, да въ сущности и не было.

Моршановъ съ недоумѣніемъ слушалъ его.

...Табачная лавочка! — вотъ неугодно ли ему будетъ пожаловать, заглянуть въ ихъ комнатку вечеромъ, когда Варя на своей машинкѣ стучитъ или какія-нибудь деликатныя штучки мастеритъ для лавки... Сонька тутъ же съ чернымъ котенкомъ возится или съ дѣдомъ сказки разсказываетъ... Строго у нихъ тутъ очередь ведется: одинъ вечеръ дѣдъ ей, а другой она ему сказки говоритъ... и что только за память феноменальная! Ничего, шельма, не забудетъ — ни самой крохотной подробности! Зато ужъ собственной фантазіи — хоть отбавляй! Изъ разныхъ исторій такую фантасмагорію смастеритъ — Шехерезада да и только! Писательница она у нихъ будетъ, романистка знаменитая

или артистка какая-нибудь... А голосъ, слухъ музыкальный какой теперь уже! Слава Богу, видалъ онъ довольно дѣтей на своемъ вѣку, но такой умницы никогда не видалъ.

Лицо дѣда свѣтилось умиленіемъ, глаза налились влагой; какіе-то тихіе блаженные звуки ворковали въ груди.

— Ну-те, а какое же другое дѣло позволило бы ему быть всегда съ ними, съ Варей и внучкой? Чѣмъ былъ бы онъ вознагражденъ за необходимость каждый день оставлять ихъ однѣхъ, да корпѣть гдѣ-нибудь надъ бумагами, или по чужимъ дѣламъ бѣгать и хозяйскіе интересы блюсти? Нѣтъ, довольно съ него! довольно казеннымъ человѣкомъ по готовой указкѣ жить! Теперь самъ себѣ господинъ. Нѣтъ квартиры въ десять комнатъ, нѣтъ поваровъ и лакеевъ и всей этой сутолоки свѣтской...

— Лишеніе, подумаешь! Гдѣ же эти друзья, пріятели, ближніе, о комъ жалѣть?... Всѣ, всѣ сгинули — аки воскъ отъ лица огня. Гнаться за ними, что-ли?

Павелъ Васильевичъ походилъ молча и заговорилъ снова другимъ—тихимъ и вмѣстѣ полнымъ, яснымъ звукомъ.

— Нѣтъ, чтобы Соню вырастить, ничего этого не нужно. Нужно, главное, при ней всегда быть, чтобы самому доглядѣть и уберечь ее... Сама Варя, и та иной разъ легкомысленна бываетъ: займется дѣломъ и не видитъ, что́ ребенокъ затѣваетъ. Вотъ, учить скоро придется, готовить... Гувернантокъ нанимать не изъ чего. Варѣ развѣ есть время, коли ей и со своимъ дѣломъ дай Богъ управляться.— Опять его, его, стараго, за бока!

Еще походилъ молча Павелъ Васильевичъ.

— Ну, конечно, бываетъ, что и крутенько приходится... Сами виноваты — надо умѣть придумать что-нибудь свѣжее, ходкое! Мало ли какія комбинаціи возможны! Торговля въ сущности дѣло очень заманчивое. Это вѣдь не мертвая казенщина, гдѣ надъ головой у тебя горы бумажныя, да цѣлыя іерархіи начальственныя: тутъ смѣлость только нужна, розмахъ, рискъ — благородное дѣло!... Да! ну, а съ женщинами въ такихъ случаяхъ трудно... въ нихъ эту боязнь никакъ не искоренишь — вещь понятная! А только иной разъ, какъ станетъ Варя поперекъ дороги съ своимъ пресловутымъ благоразуміемъ—хоть ты тресни! Прежде она гораздо смѣлѣе была, куда! Пуганная ворона куста боится—что тутъ подѣлаешь!

Павелъ Васильевичъ шагалъ по комнатѣ и оживленно жестикулировалъ.

Моршановъ слѣдилъ за нимъ напряженными глазами. Вопросы толпились и замирали на его губахъ.

...А Варя?... какъ живется Варѣ въ маленькой лавочкѣ, гдѣ царитъ крошечный геній? Когда отдыхаетъ она отъ одуряющихъ заботъ, на чемъ забудется отъ горестныхъ воспоминаній?... Есть ли у нея пріятельница, другъ, — кто-нибудь, кто угадывалъ бы сердцемъ ея тоску, ея лишенія?... кто бы о ней одной подумалъ хоть когда-нибудь въ этой холодной атмосферѣ старческаго безразличія и къ людямъ и къ жизни?...

— Варвара Павловна здорова?

— А?... здорова ли?—очнулся старикъ:—какъ же, какъ же, совершенно здорова. Жизнь не веселая—да зато покойная, что и говорить! Не то, что по урокамъ во всякую погоду трепаться.

— Тамъ хоть съ людьми общеніе какое-нибудь...

— Съ людьми — да!... Съ родителями, норовящими выторговать лишній рубль, натянуть лишній часъ! Съ чужими ребятишками биться, когда своя брошена! Да и какіе нынче уроки безъ диплома достанешь? Вы-то знаете, что она у меня образована не хуже, чѣмъ гимназистка или педагогичка,—а не хотите ли втолковать это кому-нибудь! Бумажку-съ пожалуйте. Купцы одни еще на это снисходительны, имъ лишь бы по-французски болтала...

— Варвара Павловна пробовала давать уроки?

— Пробовала при жизни мужа, какъ же! Тогда все это легче устроивалось... Изъ лавки не побѣжишь на урокъ, да и платья больше истрепишь.

„Ей и выйти некуда изъ этой лавки!"—резюмировалъ мысленно Моршановъ добытыя свѣдѣнія.

— У Варвары Павловны свое развлеченіе есть! — объяснилъ съ улыбкой отецъ. — Она все книжки мужнины читаетъ, какъ только свободная минута выдастся. Онъ вѣдь въ юристы потомъ ужъ перешелъ, а сначала два года медициной занимался, да слабое здоровье не позволило... Ну-съ, и такъ-то моя Варя навострилась, что теперь коли что-нибудь неважное, такъ и безъ доктора отлично обходимся! И лекарства сама развѣшиваетъ, да кипятитъ... Всѣ бабы на дворѣ у нея лечатся... Ха, ха, ха!... На это она и денегъ не жалѣетъ.

Онъ закурилъ новую папиросу.

— Только Соньку я ей лечить не позволяю; нѣтъ-съ, шалите!... Да она здоровенькій ребенокъ,—а вотъ за зиму поблѣднѣетъ въ конурахъ этихъ; точно подснѣжникъ, прозрачная сдѣлается... У отца чахотка была, это помнить надо... Эхъ-ма! Повѣрите ли... иной разъ какъ вспомнишь, сколько на своемъ вѣку денегъ просажено на карты, на жранье это наше, глупости всякія... просто волосы на себѣ рвать готовъ! На дачу бы ее увезти, хоть одно лѣто—на морской берегъ—

въ деревню!... На какую-нибудь сотню рублей здоровья купить на всю жизнь... да! Терпитъ Господь грѣхамъ нашимъ, терпитъ...

Моршановъ внезапно поднялся съ мѣста, близко подошелъ къ нему и взялъ за обѣ руки.

— Павелъ Васильевичъ!... теперь вы меня выслушайте терпѣливо—усердно прошу васъ объ этомъ.

Онъ выпустилъ руки, отступилъ на шагъ назадъ и сдѣлалъ глубокій поклонъ; когда онъ медленно выпрямился, лицо его было блѣдно и строго.

Старикъ слегка отстранился невольнымъ движеніемъ.

— Что такое?...

Моршановъ выдвинулъ ящикъ стола и вынулъ изъ него пакетъ, перетянутый резиновымъ кольцомъ. Онъ положилъ пакетъ на столъ и прикрылъ ладонью. Заговорилъ онъ очень тихо, не поднимая глазъ.

— Я сюда три недѣли назадъ по дѣлу вызванъ: наслѣдство получать послѣ какой-то невѣдомой тетушки. Въ глаза ее не видалъ и даже не слыхалъ никогда... Вы, Павелъ Васильевичъ, тогда все мое знали—знали бы, кабы я наслѣдства какого-нибудь ждалъ. Съ этимъ вы должны согласиться, не такъ ли?

Павелъ Васильевичъ пожалъ плечами и мелькомъ посмотрѣлъ ему въ лицо.

— Наслѣдство небольшое — собрали всѣхъ, кого только откопать могли,—ну, словомъ, на долю каждаго по три съ половиной тысячи пришлось... Павелъ Васильевичъ! вы вотъ только что говорили про туманъ, которымъ настоящая правда въ жизни заслоняется... Батюшка вы мой! докажите, что вы выше предразсудковъ ходячихъ—возьмите, Бога ради, эти три тысячи для внучки вашей маленькой!...

Онъ протянулъ къ нему руки. Въ глазахъ, не проливаясь, точно застыли двѣ слезы.

Павелъ Васильевичъ отскочилъ отъ стола, замахалъ руками и уронилъ на полъ папиросу; онъ нагнулся и долго не могъ захватить ее прыгавшими пальцами.

— Ну, вотъ!... ну, вотъ!—восклицалъ горестно Моршановъ.—Глядите сюда: вотъ на конвертѣ ваше имя... Я и не зналъ, что у Варвары Павловны дочка есть, когда написалъ это... А теперь — да вы даже и права никакого не имѣете отказываться! Я не вамъ предлагаю—за ребенка вы не можете отказывать!

— Ну, не зналъ, не зналъ... не пришелъ бы, кабы зналъ... зачѣмъ вы меня заманили сюда!—выговаривалъ съ трудомъ, пыхтя и запинаясь, весь красный, старикъ.

Моршановъ задумчиво нѣсколько разъ перекинулъ по столу пакетъ.

...Во снѣ не снились никому эти три тысячи... Не нуждаются... Онъ по службѣ отлично идетъ, семья будетъ обезпечена; здоровье хорошее, до всякихъ пенсій дослужится, и у жены тоже есть кое-что на черный день. Женѣ онъ скажетъ, что отказался отъ своей доли въ пользу бѣдныхъ родственниковъ... Она не жадная, жалѣть не будетъ...

— Павелъ Васильевичъ... доставьте вы мнѣ эту отраду!—молилъ онъ,—не откупиться, не заплатить за старый грѣхъ... зачѣмъ все въ человѣкѣ готовою пошлостью марать! Теперь, сейчасъ—избавьте меня отъ кошмара! Этой грошовой лавчонки, гдѣ Варя съ ребенкомъ бьется...

Онъ безъ силъ опустился на стулъ.

Присѣлъ и Павелъ Васильевичъ у стѣнки, на другомъ концѣ комнаты. Весь вытянулся въ струнку и смотрѣлъ въ потолокъ остановившимися глазами. Глубокое дыханіе съ легкимъ свистомъ вырывалось изъ раздувавшихся ноздрей и шевелило сѣдые усы.

... Дача, деревня, морской берегъ!... Свѣтлая квартира... Дѣло расширить, — пожалуй, библіотечку, о которой мечтаетъ Варя, въ аренду снять на первое время...

Моршановъ опять говоритъ что-то.

...Это чужія деньги, не его. Своихъ онъ, вѣрно, и не посмѣлъ бы предложить. Въ чемъ же преграда? Отчего только на словахъ легко играть условностями съ философскимъ пренебреженіемъ, — а, какъ доведется до дѣла, и мигомъ цѣлый частоколъ вырастаетъ подъ ногами у самыхъ здравомыслящихъ людей! Или его помиловать нельзя— его необходимо казнить за прошлое?...

...Нѣтъ! кто самъ себя простилъ — того напрасно миловать. А у кого своя казнь въ душѣ—того и пожалѣть не будетъ грѣха.

Пока онъ говорилъ, фантазія его задумавшагося собесѣдника Богъ вѣсть куда успѣла залетѣть... Готовыя дѣловыя комбинаціи, недоступныя до сихъ поръ, и подавленныя несбыточныя желанія, и нарождающіяся своевольныя надежды — все переплеталось и вилось вокругъ крошечной фигурки съ золотыми кудрями и васильковыми глазками...

...Нѣжно закругленныя щечки вытягиваются, блѣднѣютъ, превращаются въ прозрачные лепестки подснѣжника... Въ тѣсныхъ, загроможденныхъ комнатахъ спертый воздухъ, пропитанный и кухоннымъ чадомъ, и газовою гарью, и табакомъ, и всею пылью, скопляющеюся на полкахъ... Темные закоулки, куда никогда не проникаетъ лучъ свѣта—но и туда бѣгутъ беззаботно рѣзвыя ножки въ уродливыхъ толстыхъ чулкахъ... Полъ холодный, дверь постоянно отворяется... Сквозитъ...

Рѣзкимъ движеніемъ старикъ поднялся на ноги.

— Пусть будетъ по вашему. Спасибо вамъ, Михаилъ Николаевичъ! Непристойно—такъ не дѣлается благовоспитанными людьми—ну, да гдѣ ужъ съ табачной лавочки бонтонности спрашивать! Зачахнетъ въ зиму Соня наша... Весной на вонючій дворъ выпустимъ... Иногда въ чахлый скверъ церковный—вотъ и вся ея дача. Чахотка у отца-то... Спасибо вамъ!

— Вамъ спасибо—вамъ, вамъ!... До смерти не забуду...

Моршановъ, весь красный и просіявшій, бросился къ столу, схватилъ пакетъ и запихалъ его въ карманъ шубы.

— Только, Бога ради, не говорите никому!—выговорилъ онъ съ видимымъ усиліемъ.

Лицо старика потемнѣло.

...Легко это сказать — не говорите! Право это онъ за собой чувствовалъ, не разсуждая, — но какъ на дѣлѣ скрыть лишніе рубли тамъ, гдѣ каждый грошъ на счету?... Загрызетъ его Варя—встревожится, покой потеряетъ... Подумаетъ, что онъ совсѣмъ разума лишился отъ старости, въ долги пустился...

— Охъ, ужъ не знаю... не знаю! Бѣды не нажить бы съ вашими деньгами... Откуда взялось вдругъ?...

— Не знаю... какъ-нибудь! Потомъ это—сочините исторію какую-нибудь... Меня только не называйте...

Старикъ сумрачно думалъ о томъ же.

...Расплачется... раскричится... Она на каждомъ шагу оскорбленіе чувствуетъ тамъ, гдѣ онъ и не замѣтитъ ничего... Ее все волнуетъ: и глупыя сосѣдки, и грубые дворники, и покупатели, которые торгуются, воображая, что она запрашиваетъ, точно торговка.—Волнуютъ и окружающіе чужіе люди — и другіе, когда-то близкіе и отступившіеся давно, о существованіи ихъ позабывшіе... Все Варю обижаетъ, возмущаетъ, жить мѣшаетъ! Чѣмъ бы на Соничку свою утѣшаться, да объ ней одной думать, а она понапрасну слезы льетъ... иной разъ на ребенкѣ же сердце сорветъ.—Характеръ портится...Много, охъ, много вынести пришлось безвинно,—ну, только не даромъ и дается это молодой душѣ! Все на сердце падаетъ...

...Дѣлать нечего! Обманетъ онъ Варю — свою помощницу, друга единственнаго, — дочку, какихъ немного живетъ на бѣломъ свѣтѣ... Для нея самой не сталъ бы обманывать, не взялъ бы для нея такихъ денегъ...

...Соня!

...Соня день ото-дня таять будетъ у нихъ на глазахъ... А въ дѣлахъ путаница... Торговля тихо идетъ, да еще и не разберешься въ

ней во всякую минуту, при чемъ ты! Вонъ Савелій все одно хуже другого пророчитъ—а онъ на эту лавочку восемнадцать лѣтъ смотритъ... Три тысячи!...

...„Не скажу...“—рѣшаетъ старикъ. Но точно камень тяжелый укладывается на сердцѣ... Понесетъ онъ этотъ камень домой, станетъ лгать, глядя въ честные глаза своей Вари... Путаться, сбиваться—и читать подозрѣніе, и бояться этихъ пристальныхъ глазъ...

...„Ну, какъ-нибудь!... долгъ вернули старый, что ли... какъ-нибудь“...

Онъ заспѣшилъ уходить.

— До смерти не забуду—спасибо вамъ!—повторялъ Моршановъ, провожая его до самой лѣстницы.

Снялъ этотъ человѣкъ тяжесть съ его души — взвалилъ ее на себя...

Вернулся Моршановъ въ пустую комнату и окинулъ ее оживившимися глазами. Спѣшить надо, не все еще у него уложено.

На столахъ, на стульяхъ и на окнахъ пестрѣли большіе и маленькіе пакеты, картонки, угловатыя очертанія дѣтскихъ игрушекъ подъ толстою бумагой—воплощеніе его нѣжныхъ думъ о тѣхъ, кто ждетъ его дома... Съ неожиданнаго наслѣдства всѣмъ припасены подарочки столичные.

...И теперь опять это могло радовать его, опять веселило предвкушеніемъ счастливой встрѣчи. Пакетъ, перетянутый резиновымъ кольцомъ, навсегда заслонилъ отъ него табачную лавочку — и призракъ живого подснѣжника, и неуловимый, вмѣстѣ чужой и знакомый, образъ женщины...

Вдоль платформы Варшавскаго вокзала вытянулся длинный поѣздъ.

Первая давка уже прошла. За свѣтящимися окнами вагоновъ мелькали тѣни усаживающихся пассажировъ, а толпа снаружи порѣдѣла и установилась на опредѣленныхъ мѣстахъ. Провожающіе кучками тѣснились около дверей; черезъ головы летѣли восклицанія, слышались поцѣлуи... чей-то взволнованный шопотъ, потонувшій въ слезахъ...

Около международнаго вагона перваго класса небольшая кучка мужчинъ, молодыхъ и старыхъ, весело распивала шампанское. Къ оконному стеклу прильнула пестрая груда живыхъ цвѣтовъ. На тормазѣ стояла красивая дама въ бѣлой ротондѣ.

Въ воздухѣ разсыпались бойкая французская рѣчь и напряженный смѣхъ людей въ томъ особенномъ подъемѣ, когда каждый ри-

суется, чѣмъ только можетъ, когда самое беззаботное восклицаніе взвѣшено напередъ и щекочетъ, прежде всего, собственный слухъ. Француженка быстро поворачивала пикантную головку, посылая во всѣ стороны сіяющія улыбки. За спиной ея виднѣлась колоссальная фигура въ великолѣпной шубѣ и слушала весь этотъ гомонъ съ самодовольною усмѣшкой на жирномъ лицѣ.

Моршановъ помогъ сторожу размѣстить въ вагонѣ ручной багажъ и вышелъ на тормазъ посмотрѣть, что́ тамъ за веселье.

Его никто не провожалъ. Немногіе старые товарищи или знакомые, съ кѣмъ онъ встрѣчался въ театрахъ и ресторанахъ, простились съ нимъ такъ же безразлично, какъ встрѣтились, да никто и не интересовался знать, когда именно онъ уѣзжаетъ.

Друзей у него не было. Для него, какъ и для его сверстниковъ еще не настала пора той болѣзненной нѣжности ко всему, съ чѣмъ связана наша собственная юность, какая охватываетъ людей за переваломъ: впередъ спѣшатъ, повернувшись спиной къ прошлому.

И Моршановъ тоже нашелъ всѣхъ или неинтересными или непріятными — точно отъ каждаго изъ этихъ людей онъ ждалъ чего-то бо́льшаго, самъ того не сознавая. Богъ съ нимъ совсѣмъ и съ Петербургомъ!...

Второй звонокъ.

...Ахъ, опоздала, бѣдная! успѣетъ или нѣтъ?...

Запыхавшійся пассажиръ, съ развѣвающеюся одеждой, растеряннымъ лицомъ и изуродованною походкой, всегда производитъ впечатлѣніе нѣсколько комическое; никто не желаетъ ему зла, но всѣ слѣдятъ за нимъ съ невольною улыбкой: успѣетъ или нѣтъ?...

Женщина неслась вдоль вагоновъ, кого-то разыскивая. Кажется, она говоритъ что-то отрывисто—одно слово, испуганнымъ голосомъ:

— Гдѣ же?... гдѣ?... гдѣ?...

Напряженный взоръ захватилъ въ очередь Моршанова. Она проскочила дальше по инерціи, но сейчасъ же откинулась назадъ, къ нему.

И онъ какъ будто вдругъ теперь замѣтилъ ея лицо—знакомое и чужое...

— Слава Богу!... Я васъ не узнала.... Вотъ... ваши деньги!... берите скорѣе, сейчасъ звонокъ...

Она кого-то оттолкнула, кто стоялъ на дорогѣ, и вскочила на ступеньку.

Моршановъ безсознательно пятился отъ нея въ глубину площадки.

— Вы не имѣете права! Берите же! Хорошо, я брошу тутъ—мнѣ все равно!

Пакетъ, перетянутый резиновымъ кольцомъ, упалъ ему подъ ноги.

— Нѣтъ, вы, вы права не имѣете!... Я не вамъ, не вамъ!... вашъ отецъ согласился....

— Отецъ!... Мы, мы съ Соней несогласны! Мы не позволимъ!...

— Сударыня! извольте сейчасъ сойти — третій звонокъ, развѣ возможно?... Господинъ, позвольте!...

Кондукторъ отпихнулъ ихъ въ разныя стороны и захлопнулъ дверь. Засовъ громко щелкнулъ.

Пассажиры выглядывали изъ дверей, высовывались изъ оконъ. Толпа на платформѣ глухо шумѣла.

— Что она сдѣлала?...

— Что она ему сказала!...

— Какой это пакетъ?...

— Позвольте, позво-ольте!... Можетъ быть, тамъ разрывной снарядъ... надо освидѣтельствовать!... Alexandre!... Боже мой.... Господинъ кондукторъ! господинъ кондукторъ!...

Какая-то перепуганная дама кричала дикимъ голосомъ и побѣжала за тронувшимися вагонами.

. . . . . .

Въ табачной лавочкѣ Павелъ Васильевичъ сидѣлъ около дѣтской кроватки и разсказывалъ сказку.

Соня слушала, вздрагивая, и втягивала воздухъ дрожащимъ, жалобнымъ звукомъ. Она долго плакала, перепуганная бурною сценой. Ей кажется, что сейчасъ мама вернется, и опять начнутъ ссориться съ дѣдомъ.... Кричать, плакать, что-то отнимать другъ у друга...

Она шире раскрывала заплаканные глаза и въ полусвѣтѣ ночника старалась всмотрѣться въ ласковое родное лицо.

— Закрой, закрой глазки! ты спи, я никуда не уйду отъ тебя. Вотъ я укрою тебя получше... Холодно.

Дѣдъ нагнулся, натянулъ выше ватное одѣяльце и обнялъ рукой вздрагивающее тонкое тѣльце.

— Вотъ та-акъ!.. такъ теплѣе будетъ.... Спи, спи, подснѣжникъ мой....

Дѣдъ закашлялъ....

...Какое это новое слово?...

Дѣдъ зоветъ ее сегодня незнакомымъ именемъ, но звучитъ оно точно удвоенною лаской... Сонѣ хотѣлось знать, что значитъ новое слово, но она была взволнована и не могла съ этимъ справиться.

Соня спроситъ завтра.

Ольга Шапиръ.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛЪ.

Въ разгарѣ силъ, когда пришла
Пора страстей, когда впервые
Съ любовью спорила пужда
И предразсудки вѣковые;

Когда, бѣднякъ, я смѣлъ мечтать
О славѣ, думалъ, что терпѣнье
Позолотитъ мои труды —
Плоды ума иль вдохновенья;

Когда безсмысленной молвой
Я оклеветанъ былъ жестоко
И, порываясь въ даль безъ крылъ,
Жилъ и боролся одиноко, —

Тогда сталъ навѣщать меня
Не духъ отчаянья и мщенья,
Ожесточенный врагъ Творца,
Духъ вѣчнаго столпотворенья...

Нѣтъ, посѣтитель мой входилъ
Безъ шума. Это былъ любимый
Толпой житейской Здравый Смыслъ:
Космополитъ вѣротерпимый,

Патріотическій ханжа —
Ни правды въ людяхъ, ни довѣрья
Не выносилъ онъ, и внушалъ,
Что жить нельзя безъ лицемѣрья,

Нельзя не льстить, не поощрять
Людей, враждебныхъ намъ, ошибки, —
И это всѣмъ онъ говорилъ
Безъ гнѣва, хоть и безъ улыбки.

Онъ былъ сродни моей пуждѣ:
И признаюсь, ему невольно
Внималъ я; но ему внимать
Мнѣ было совѣстно и больно...

Онъ зналъ тщету моихъ страстей,
Цѣнилъ мгновенья страстной ласки,
Но мнѣ совѣтовалъ не ждать
Ихъ прозаической развязки...

И говорилъ мнѣ Здравый Смыслъ:
„Не вѣрь ни въ равенство, ни въ братство,
При нихъ свободы нѣтъ, — и нѣтъ
Нигдѣ свободы безъ богатства.

Разбогатѣй и, усладивъ
Насъ гулкимъ звономъ милліоновъ,
Жди власти, лести и похвалъ,
И женской ласки, и поклоновъ.

А если славы хочешь ты:
Чтобъ заслужить толпы вниманья,
Добейся отъ своихъ судей
Не заточенья — такъ изгнанья.

Но неужели вѣришь ты,
Что, увлекаясь этой славой,
Мы за тобой вослѣдъ пойдемъ!?
Нѣтъ — говорилъ разсудокъ здравый —

Не вѣрь!... За этою толпой
Людей надменно либеральныхъ,
Бездарныхъ умниковъ, глупцовъ
Или красивыхъ куколъ бальныхъ,

За этой пестрою толпой
Артистовъ и шутовъ, за этой
Неповоротливой спиной
Толпы, поэтами воспѣтой,

Иная движется толпа
Стомилліонаго народа:
Невѣжество и нищета,
И беззащитная свобода.

И нѣтъ ей дѣла до твоихъ
Проклятій и благословеній,
Ей все равно, глупецъ ли ты
Или проникновенный геній!...

Она безграмотна, она
Кой-какъ въ грязи живетъ трудами;
Смѣшонъ ей твой тернистый путь,
Не удивишь ее цѣпями...

Ей чужды красоты искусствъ,
Наука, даже слава... Наша
Вся жизнь при ней — нескладный сонъ
Иль зломъ отравленная чаша.

Кто жадно пьетъ ее, тому
Грозитъ безславная могила;
Но —
Это ужъ не Здравый Смыслъ,
А роковая, злая сила —

— Смѣясь мы ждемъ измѣнъ, вражды,
Заразы, голода, пожара...
Но —
Это ужъ не Здравый Смыслъ...
Тутъ нашъ позоръ! тутъ Божья кара...

Я. П. Полонскій.

1897 г., декабря 9.

НУЖДА.

(НАБРОСКИ ИЗЪ ЖИЗНИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВЪ).

— —

I.

Какъ послѣ весенняго разлива рѣкъ остаются на просыхающихъ лугахъ новые бугры песку и ила, нанесенные половодьемъ, такъ и здѣсь, на широкомъ сибирскомъ полѣ, послѣ лѣтняго движенія переселенцевъ осталось за лѣсомъ много новыхъ могилъ; какъ послѣ схлынувшей воды, которая неслась по лугамъ и дорогамъ, остаются въ пескѣ и въ травѣ мелкія рыбы, запоздавшія убраться вмѣстѣ съ водой и обреченныя биться и задыхаться въ пыли подъ знойными лучами солнца, такъ и здѣсь осталось послѣ схлынувшаго многотысячнаго народнаго потока нѣсколько дѣтей, обреченныхъ на вѣчное сиротство или на смерть. Родители ихъ либо умерли въ пути, либо, забитые нуждой, ушли въ неизвѣстный край, покинувъ больного ребенка на произволъ судьбы.

Именно такимъ сиротой и остался Николка, худенькій пятилѣтній мальчикъ, про котораго даже отецъ сказалъ, махнувши рукой:

— Все одно, помретъ!

Мать долго молилась и плакала, но тоже наконецъ сказала:

— Помретъ родименькій... Видитъ Богъ, помретъ.

Дожидаться его смерти было, однако, нельзя. Баржа стояла уже у пристани, и на утро былъ назначенъ отъѣздъ. Не уѣдешь завтра— прождешь очереди еще цѣлый мѣсяцъ, а Матвѣй и безъ того уже прожился, дожидаясь то тутъ, то тамъ, гдѣ недѣлю, гдѣ двѣ, а здѣсь простоялъ чуть не полъ-лѣта, валяясь, какъ собака, на грязной землѣ подъ тряпичнымъ шатромъ. Да и не все ли равно, днемъ раньше, или днемъ позже разставаться съ ребенкомъ? Николки ужъ не во-

ротишь, а всякій день между тѣмъ стóитъ денегъ, и дожидаться Матвѣю было не по карману: и безъ того ужъ прохарчился—хоть съ рукой выходи!

Подойдетъ Матвѣй, поглядитъ на сына и разведетъ руками.

— Родное дитя, али нѣтъ? — со слезами вопрошаетъ онъ самого себя и, ударивъ по груди кулакомъ, опять подумаетъ: — Звѣри мы, али нѣтъ?

А Николка лежитъ ни живъ, ни мертвъ, только хрипитъ.

— Помирать бы, такъ помиралъ, что ли, прости Господи!—съ отчаяніемъ думалъ Матвѣй про сына.—По крайности развязка!

Жаль ему было Николку, очень жаль, и оставлять его при смерти было совѣстно, но что же подѣлаешь иначе? Съ собою не возьмешь, потому что начальство не пропуститъ больного на баржу, на поправку его тоже надежды не было—еле дышетъ, а просидѣть изъ-за него еще цѣлый мѣсяцъ на одномъ мѣстѣ — значило разориться и погибнуть въ конецъ. Завтра не уѣдешь, а Николка, глядишь, завтра же и помретъ—только задержитъ. Такъ на него и смотрѣли всѣ, какъ на пропащаго. А у Матвѣя, кромѣ Николки, было въ семьѣ восемь душъ, о которыхъ нельзя было не подумать. Либо всѣмъ погибать и Николкиной смерти дожидаться, либо уходить по добру, по здорову дальше, а Николка, Богъ съ нимъ, пускай умираетъ одинъ.

— Арина! а, Арина!—въ раздумьѣ проговорилъ Матвѣй, подходя къ своему шалашу.

На его окрикъ изъ шалаша высунулось худощавое бабье лицо и, молча, съ надеждой во взглядѣ, ожидало вопроса.

— Что жъ дѣлать-то? а? — нерѣшительно прибавилъ Матвѣй.— Собираться, ай нѣтъ?... Али ужъ терпѣть будемъ?...

Оба они поглядѣли другъ другу въ глаза, оба помолчали, а затѣмъ Арина, не отвѣтивъ, заплакала, а Матвѣй побрелъ молча по полю, думая все о томъ же.

Долго бродилъ онъ съ понурою головой, не зная, на что рѣшиться. То вздохнетъ, то крякнетъ со зла, то опять вздохнетъ... Кажется, бросилъ бы все, да побѣжалъ бы скорѣй безъ оглядки домой, на родину! Но вернуться было уже нельзя: на родинѣ все продано до клочка, а что продано, то прожито въ дорогѣ, проѣдено, истрачено, и дай Богъ, чтобы хватило послѣднихъ грошей добраться до „новой земли“. Ни вернуться, ни уѣхать дальше, ни оставаться—все было нельзя, и какъ ни вертись, какъ ни думай,—ни направо, ни налѣво,—нигдѣ не было выхода. „Не уѣдешь завтра,—пропадать!“—съ тоской думалъ Матвѣй. — „Оборвешься!...“ Главное, его смущала мысль, что Николка завтра же и помретъ, какъ только всѣ уѣдутъ.

— Тогда пропадать!

И опять вопросъ становился ребромъ: либо всей семьѣ разориться, либо спасаться тому, кто еще живъ и цѣлъ.

Поле, по которому онъ бродилъ, было все покрыто палатками и шалашами. Всюду торчали скрещенные шесты, пестрѣли на нихъ одѣяла, обноски и тряпки; возлѣ палатокъ на помятой травѣ лежали и сидѣли люди, то вмѣстѣ, то порознь; кто курилъ трубку, кто разводилъ костеръ, отъ котораго стелился голубой прозрачный дымокъ, кто чинилъ рубаху; тутъ же молодая мать кормила грудью ребенка, а рядомъ бились въ засаленныя карты безбородые парни, рѣзвились и плакали дѣти, охала старуха; изнутри палатокъ слышался дѣтскій кашель, материнская тихая пѣсенка, или доносилось злое, нехорошее слово, либо старческій глубокій вздохъ съ причитаньемъ молитвы. И куда ни поди, куда ни взгляни — всюду люди, да люди, да шалаши,—и такъ по всему полю, до самаго берега.

— Вотъ тутъ и жди череда!—думалъ Матвѣй, оглядывая со злобой эту двадцатитысячную голодную толпу. Нѣшто всѣхъ переждешь!

И опять онъ побрелъ къ своему шалашу, и опять вызвалъ Арину.

— Ни!... Николкѣ не жить! — сказалъ онъ глухимъ голосомъ, точно стыдясь признаться въ своемъ рѣшеніи, и добавилъ со вздохомъ:—Божья воля!

Однако, сказавъ это, онъ зажмурилъ глаза и покрутилъ головой.

— Богъ далъ, Богъ и взялъ,—успокоивалъ онъ жену. — Будемъ живы, другой Николка родится, а этому... все одно!...

Стояла тихая звѣздная ночь.

Раскинувшійся по всему огромному полю переселенческій лагерь спалъ въ своихъ шалашахъ и въ травѣ. Спалъ и Матвѣй съ своимъ семействомъ, то бредя во снѣ, то храпя. Не спала только Арина.

Это была простая деревенская баба, съ широкою спиной и впалою грудью, сидѣвшая по-просту на землѣ, сгорбившись и вытянувъ впередъ ноги; сощуренные глаза ея были обращены къ горизонту, блѣдному и ясному, ротъ опустился углами внизъ, а по широкому, плоскому лицу расплылись слезы. Изрѣдка она брала подолъ юбки и молча утирала имъ носъ, или глаза, или щеки, и опять глядѣла на ту далекую полосу, гдѣ сходилось небо съ землею и гдѣ на самомъ краю, надъ лѣсомъ, блестѣли двѣ ясныя звѣздочки, одна возлѣ другой; обѣ весело мелькали, переливаясь и точно играя, какъ маленькія дѣти.

Зачѣмъ она глядѣла на нихъ, Арина не думала, но глядѣла она

долго и пристально, а слезы все плыли по щекамъ, и материнское сердце ныло и болѣло. Забитая подневольная жизнь, терпѣливая и трудная, только и чувствовалась Ариной въ минуты горя; набѣжитъ бѣда, глянетъ ей прямо въ глаза — вотъ она и чувствуетъ, что ей больно и тяжело, а все остальное—дѣло обыкновенное. Беременность среди работы и хлопотъ по хозяйству, роды, кормленіе грудью, порой пьяныя ласки подгулявшаго мужа—все выносила она, какъ должное. Случалось тащить изъ кабака озвѣрѣвшаго Матвѣя, терпѣть его брань и побои, да скрывать свои слезы отъ добрыхъ людей, а поутру топить избу, кормить ребятишекъ, шить имъ одежду, питаться впроголодь, да когда придетъ постъ, сокрушаться о грѣхахъ и быть въ постоянномъ страхѣ за свою душу, за ея вѣчное мученіе на томъ свѣтѣ. Въ трудѣ, лишеніяхъ и думахъ о завтрашнемъ днѣ протекала Аринина жизнь, точно рѣка по опредѣленному судьбой руслу, но Аринѣ казалось, что она счастлива; только жить было трудно.

Весело мелькали передъ нею двѣ звѣздочки, и глядя на нихъ, она думала про Николку. Ей хотѣлось самой положить его въ гробикъ, закрыть ему глаза, самой отнести на погостъ, подъ березки, повыть и поплакать надъ нимъ, а потомъ ужъ и ѣхать дальше, куда Богъ велитъ...

II.

Еще съ ранняго утра, почти съ разсвѣта, надъ полемъ стоялъ гулъ и говоръ, а къ полудню весь берегъ былъ усѣянъ народомъ. Мелькали въ толпѣ загорѣлыя лица хохловъ, бараньи шапки, мужицкія бороды, виднѣлись картузы и русскія лица, пестрѣли рубахи, бабьи платки, сермяги, заплаты, узлы, котомки. Все колыхалось, двигалось и гудѣло. Всѣ глаза устремились къ рѣкѣ, гдѣ стоялъ пароходъ съ двумя огромными баржами на привязи; всѣ глядѣли на высокія мачты, на которыхъ развѣвались и надувались отъ вѣтра и весело трепетали разноцвѣтные флаги.

На жиденькомъ мостикѣ, соединявшемъ берегъ съ баржей, собрались должностныя лица и готовились уже къ пріему. Здѣсь былъ чиновникъ, по народному прозвищу, „переселенный“, былъ студентъ въ полинявшемъ мундирѣ и два матроса въ бѣлыхъ курткахъ,— одинъ съ тетрадью, другой со счетами.

— Начинай!—проговорилъ чиновникъ, окидывая взглядомъ волновавшуюся толпу. И матросъ закричалъ тонкимъ тягучимъ голосомъ:

— Вороньковцы!... Вороньковская волость!

Толпа заревѣла и пошатнулась. Расталкивая народъ, съ отвѣт-

нымъ крикомъ, выбивались къ берегу „вороньковцы“, таща дѣтей и волоча мѣшки.

— Выбрали старосту?

Этотъ вопросъ „переселеннаго“ былъ мгновенно покрытъ сотней голосовъ: „Здѣсь!“ „Есть! Готово!“ и въ подтвержденіе крика къ чиновнику выступилъ изъ толпы мужикъ.

— Староста, ваше благородіе.

Онъ поклонился, и пріемъ начался.

Каждую семью спрашивали о здоровьѣ и отсчитывали на счетахъ, когда же пропускали дѣтей, то студентъ раскрывалъ каждому остроганною щепкой ротъ и глядѣлъ въ горло. Сначала онъ дѣлалъ это внимательно, потомъ все быстрѣй и быстрѣй, потомъ вперемежку съ осмотромъ началъ вытирать себѣ вспотѣвшій лобъ, потомъ, опуская уставшую руку, качалъ ею вдоль бедра и снова напрягалъ вниманіе, и опять уставалъ, и опять махалъ рукой.

Миновавъ „начальство“, вороньковцы уже спокойно проходили, хотя съ шумомъ и говоромъ, на дальнюю баржу и спускались внизъ, въ „каюту“, прозванную переселенцами ямой, потому что внутри баржи нѣтъ ни дверей, ни оконъ.

Солнце пекло; надъ толпой, казалось, стоялъ паръ. Чиновникъ обмахивался фуражкой, студентъ, разстегнувъ сюртукъ, одною рукой утиралъ лицо, другою работалъ.

— Овчаровская волость! снова прокричалъ матросъ своимъ тонкимъ тягучимъ голосомъ, когда кончились вороньковцы. Овчаровская волость! Впередъ!

Снова загудѣла и заколыхалась толпа, и изъ нея съ крикомъ и бранью начали выбиваться овчаровцы и подходить къ помосту. Народомъ овладѣвало тревожное, нетерпѣливое чувство. Всѣ глядѣли, всѣ толпились, точно боясь чего-то не дослышать. Многіе роптали, что вотъ—отправляютъ ближнихъ, а ихъ, дальнихъ путниковъ, амурскихъ, заставляютъ ждать. Одни кричали, что здѣсь они прожились и проѣлись, другіе негодовали на то, что смерть и болѣзни убавили ихъ семейства, третьи радовались, что сейчасъ уѣзжаютъ... И бранились, и орали, созывая своихъ,—и вся толпа гудѣла, кричала и волновалась.

— Назадъ! У дѣвочки дифтеритъ! — заявилъ вдругъ студентъ, ломая и бросая щепку, которой только что прижималъ ребенку языкъ.

— Ваше благородіе!—взмолился мужикъ, озадаченный и сразу потерявшійся передъ ужаснымъ открытіемъ.—Явите божескую милость... Три недѣли... Проѣлись всѣ...

— Назадъ!

— Ваше благородіе! Не губите...

— Назадъ! Назадъ!—подхватили матросы.—Не разговаривай!

— Ваше благ...

Голосъ мужика осѣкся. Произошло замѣшательство. Вся семья, уже пропущенная къ баржѣ, должна была вернуться на берегъ. Поднялся крикъ и плачъ. Отецъ больной дѣвочки стоялъ надъ нею съ стиснутыми зубами и поднятымъ кулакомъ; казалось, онъ убьетъ ее сейчасъ съ отчаянія, но онъ, ухвативъ себя за волосы, началъ пыть тонкимъ, почти бабьимъ голосомъ, оплакивая свою долгую новую задержку, оплакивая свое разореніе свое несчастіе,—а матросъ между тѣмъ уже вызывалъ:

— Жилинская волость! Жилинцы, впередъ! Подходи!

Толпа вновь загудѣла, заколыхалась,—и мужикъ съ его семьей, съ его горемъ и больнымъ ребенкомъ, на минуту привлекшій общее вниманіе, былъ мгновенно забытъ.

Всякому было только до себя.

Чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе овладѣвало народомъ нетерпѣливое, стихійное чувство. На глазахъ у всѣхъ происходили страшныя сцены, когда изъ-за больного оставалась цѣлая семья, а товарищи ихъ уходили на баржу; слышались стоны, вопли, ругательства, но никто на нихъ не обращалъ вниманія, никто не отзывался.

Объятая ужасомъ, стояла передъ чиновникомъ баба, блѣдная, съ трясущимися губами, а матросъ, вынувъ изъ ея мѣшка скрытаго тамъ ребенка, котораго баба тайкомъ хотѣла пронести на баржу, показывалъ его студенту. Ребенокъ былъ въ оспѣ.

Эта же мысль—пронести Николку въ мѣшкѣ—мелькала въ головѣ Матвѣя, но пойманная баба смутила его. Проститься за-живо — больше ничего не оставалось дѣлать съ Николкой. Какъ ни думалъ Матвѣй, какъ ни считалъ свои капиталы, нужда толкала его ближе къ помосту; какъ ни надрывалась Арина, но баржа наполнялась народомъ, и очередь приближалась, и никакія думы, никакія слезы не помогали.

— Божья воля!—рѣшалъ въ сотый разъ Матвѣй, съ тоской и почти со злобой оглядывая и считая свою семью.—Не пропадать же всѣмъ, коли такъ!... А Николка не жилецъ на свѣтѣ... аминь!

Между тѣмъ народная толпа волновалась все болѣе, все сильнѣе; оживленіе, спѣшка и суетня все крѣпче охватывали настрадавшіяся сердца; боялись, какъ бы не вышло ошибки, какъ бы не объявили, что баржа полна, что сажать больше некуда,—и каждый вызовъ, каждый окрикъ матроса такъ и шатали эту толпу, такъ и тянули ближе къ берегу, ближе къ баржамъ.

— Сосновская волость! — раздался вдругъ голосъ. — Сосновцы, впередъ!

Словно земля дрогнула подъ Матвѣемъ. Онъ быстро взглянулъ на жену, на семью, на свою поклажу и вмѣстѣ съ другими крикнулъ: „Здѣсь!“ — А вокругъ него уже ревѣла толпа, точно буря; его тѣснили, толкали, напирали на него со всѣхъ сторонъ. Общее стихійное чувство тревоги и поспѣшности охватило внезапно и его самого; въ немъ пробудился затравленный звѣрь, настала пора спасать свою шкуру; уже не было дѣла до бабьихъ слезъ и рыданій, раздававшихся сзади него; съ устремленными впередъ глазами, нахмуренный, съ струящимся по лицу холоднымъ потомъ, оскаливъ зубы, Матвѣй проталкивался сквозь народъ, расчищая путь для семьи къ баржевому помосту....

Къ вечеру, когда загудѣлъ пароходъ, когда натянулись крѣпкіе канаты, и обѣ баржи, переполненныя людьми, грузно и тяжело тронулись, Матвѣй сидѣлъ на днѣ баржи, съежившись и ничего не видя передъ собою: ни берега, ни рѣки, ни оставшагося на берегу народа. Онъ только ощутилъ, что баржа тронулась,—и перекрестился.

— Божья воля!... Не встать Николкѣ.... Все одно—помретъ!

Такъ онъ думалъ часъ и два, и весь день, и недѣлю, и мѣсяцъ; такъ, вѣроятно, будетъ думать и всю жизнь....

Къ глубокой осени опустѣло поле. Народъ разбрелся въ разныя стороны; затихли и опустѣли бараки, застыла рѣка. Остались только за лѣсомъ новыя могилы, въ полѣ соръ и грязь, да въ маленькомъ домикѣ у сторожа нѣсколько дѣтей, осиротѣлыхъ или забытыхъ, либо брошенныхъ родителями на произволъ судьбы. Они дичились другъ друга, плакали въ одиночку, звали тятьку да мамку,—и никто не зналъ, чьи они дѣти, откуда, и гдѣ находятся теперь ихъ семьи. Среди этихъ „божьихъ дѣтей“ остался и Николка, исхудавшій и поблѣднѣвшій послѣ болѣзни.

— Кто твой отецъ?—спрашивали его.—Откуда онъ? Какъ его звать?

— Тятька,—со слезами отвѣчалъ мальчикъ.

— А мать какъ зовутъ?

— Мамка.

Иныхъ свѣдѣній отъ него нельзя было добиться.

Н. Телешовъ.

ПАМЯТИ В. Г. БѢЛИНСКАГО.

Была пора: кипѣли чувства,
Сіяла мысль въ борьбѣ со тьмой
На славу русскаго искусства
И въ честь любви къ землѣ родной.

Была пора, и были люди, —
И ты, учитель, жилъ межъ нихъ, —
Чьи вѣрой въ свѣтъ пылали груди,
Чье сердце билось за другихъ, —

Другихъ, трудами изнуренныхъ
Подъ гнетомъ рабства и цѣпей,
Свободы, правъ, всего лишенныхъ,
Людьми непризнанныхъ людей...

Ты не дождался дней счастливыхъ,
Когда упали цѣпи съ нихъ,
И для бездольныхъ, сиротливыхъ
Насталъ желанный свѣтлый мигъ...

Борясь за нихъ, за нихъ страдая,
Въ любви къ страдальцамъ ты сгорѣлъ...
Но утро встало, и, пылая,
Разсвѣтъ свободы ихъ согрѣлъ.

Пылаетъ утро... И, завѣты
Твои, учитель нашъ, храня,
Великой вѣрой мы согрѣты
При блескѣ утра въ близость дня!

Е. Чернобаевъ.

С.-Петербургъ. 13 іюля 1898 г.

СМЕРТЬ Н. А. ГЕРЦЕНЪ.

Нѣкоторые говорятъ про Герцена, что онъ былъ человѣкъ непостоянный въ своихъ привязанностяхъ. Но это больше, чѣмъ невѣрно. Стоитъ вспомнить его дружбу съ Огаревымъ, которая началась чуть не съ 7-лѣтняго возраста и продолжалась вплоть до смерти Герцена. А его любовь къ двоюродной сестрѣ, Натальѣ Александровнѣ Захарьиной, которая потомъ стала его женой и которая еще до Вятки такъ полонила его молодое сердце, что *навсегда* осталась самою дорогою и высокою привязанностью въ его жизни. Правда, Герценъ не разъ увлекался, но мимолетное увлеченіе не есть любовь. Образъ одной женщины проходитъ черезъ всю его жизнь: это образъ его „Наташи", которую онъ не переставалъ любить и послѣ ея смерти.

Вотъ что онъ писалъ изъ-за границы, спустя полтора мѣсяца послѣ ея похоронъ, своему неизмѣнному другу въ Россію:

„Прислали мнѣ изъ Италіи *) оставленные портреты и картинку похоронъ **). — Мой кабинетъ, какъ часовня надгробная — и мнѣ лучше съ этими памятниками. Мое несчастье—фактъ жизни и *чувство мое*, противостоявшее горькому искушенію, *пережило смерть*" ***).

И это не фраза въ устахъ Герцена. Наталья Алексѣевна Огарева не разъ подтверждаетъ въ своихъ письмахъ ко мнѣ ****), что Герценъ и послѣ смерти не переставалъ любить свою жену.

Е. Некрасова.

---

*) Изъ Ниццы, гдѣ въ 1852 г. умерла жена Герцена и гдѣ ее похоронили.

**) Портретъ жены А. И—ча, снятый (акварелью), когда она лежала въ гробу и рядомъ съ ней новорожденный малютка,—и нарисованная масляными красками картина похоронъ—хранятся въ Лозаннѣ у А. А. Герцена.

***) Оригиналъ этого письма, писаннаго 12 іюня 1852 года въ Россію къ Огареву и его второй женѣ, находится у меня.

****) Н. А. Огарева съ такимъ интересомъ и любовью относится ко всему, что касается покойныхъ Герценовъ, что всегда съ готовностью отвѣчаетъ на всѣ вопросы, которыми приходится довольно часто ее безпокоить.

3 мая 1855.

Сегодня 3 мая—три году тому назадъ въ этотъ день были у насъ похороны *).

... Тридцатаго апрѣля, вечеромъ, она велѣла подать себѣ новорожденнаго и позвать дѣтей; докторъ предписалъ наисовершеннѣйшій покой. Я просилъ ее не дѣлать этого. Она кротко посмотрѣла на меня: „И ты, Александръ, слушаешь ихъ! смотри, какъ бы тебѣ не было потомъ очень жаль, что ты у меня отнимаешь эту минуту.— Мнѣ теперь полегче, я хочу сама представить малютку дѣтямъ.“ Я позвалъ дѣтей. Не имѣя силы держать новорожденнаго, она его положила возлѣ себя и съ свѣтлымъ, радостнымъ лицомъ сказала Сашѣ и Татѣ **): „Вотъ вамъ еще маленькій братъ — любите его.“ Дѣти весело бросились цѣловать ее и малютку... Я печально стоялъ поодаль; смерть явно выражалась въ каждой чертѣ ея прекраснаго лица ***). Дѣти и малютка напомнили мнѣ стихи Пушкина, повторенные ею такъ часто въ послѣднее время. Это была апотеоза матери, образъ Успенія... въ комнатѣ горѣли двѣ свѣчи, и не было никого посторонняго. Когда дѣти вышли, она заплакала, но долго не говорила ни слова; потомъ она положила мою руку себѣ на грудь и сказала: „Александръ... если... помни твое обѣщаніе... Я боюсь, они останутся одни“ ****). Она опять заплакала. Я не могъ выговорить слова и молчалъ. Она съ выраженіемъ ужаса покачала головой и съ невыразимою болью остановила на мнѣ взглядъ. — „Будь покойна,—сказалъ я,—все, что человѣчески возможно, я сдѣлаю.“

— Да неужели?—сказала она, и будто лучъ надежды мелькнулъ въ ней... и у меня тоже. Ей не хотѣлось умереть. Въ послѣднее время она часто, часто говорила: „Да, я хочу жить, мнѣ надобно

*) Далѣе зачеркнуто карандашемъ: „Похороны были слѣдствіемъ. Я ждалъ смерти — она не невзначай взошла въ мой домъ. Столько нельзя было вынести женской груди“.

**) *Саша*—сынъ первенецъ, родившійся въ Россіи въ 1839 г. *Татою* звали въ семьѣ старшую дочь Наталью. Она теперь живетъ въ Парижѣ.

***) Это лицо не переставало быть „прекраснымъ“ для А. И. Герцена даже и послѣ смерти жены: ея портретъ, снятый въ гробу, украшалъ его кабинетъ.

****) Разговоръ шелъ о дѣтяхъ. Ее бралъ страхъ за малютокъ; она знала, что общественныя дѣла такъ поглощали мужа, что онъ могъ забыть о дѣтяхъ. Онъ занятъ своими дѣлами, онъ ушелъ изъ дому, — съ кѣмъ же остались малютки? А вдругъ онъ женится? И вотъ поэтому она желала, чтобы послѣ ея смерти въ ихъ домъ пріѣхала ея любимица, Н. А. Тучкова-Огарева, — *ей* она поручала дѣтей своихъ,—*ее* называла: „Consuella души моей“, по имени главной героини извѣстнаго произведенія Жоржъ-Сандъ.

жить... для полнаго оправданія — для твоего торжества, для дѣтей; ихъ никто не будетъ такъ любить."—Но были и иныя мгновенія, въ которыя физическая боль, тревога, оскорбленія и еще просто память былого наводили иное настроеніе... и она говорила не разъ: „Какъ, кажется, я необходима для дѣтей... а, вѣдь, все пойдетъ своимъ путемъ, когда меня не будетъ..."

Еще нѣсколько словъ о дѣтяхъ, о здоровьѣ Саши, она радовалась, что онъ гораздо сталъ крѣпче въ Ниццѣ, что въ этомъ согласенъ и Фохтъ *). „Береги Тату... съ нею надобно быть очень, очень осторожнымъ, это натура глубокая и несообщительная.—Ахъ, добавила она, если бъ мнѣ дожить до пріѣзда моей Natalie!.. **) Что дѣти, спятъ?".

— Спятъ,—сказалъ я.

Вскорѣ издали послышался дѣтскій голосъ.

— „Это Оленька ***), сказала она и улыбнулась. Посмотри, что она?"

Потомъ ею овладѣло сильное безпокойство, она, молча, указывала, что подушки не хорошо лежатъ, но какъ я ни поправлялъ, ей все казалось безпокойно, и она съ тоской и стономъ, *даже съ досадой* ****) мѣняла положеніе головы, — потомъ наступилъ тяжелый сонъ.... Середь ночи она сдѣлала движеніе рукой, какъ будто хотѣла пить, я ей подавалъ съ ложечки апельсинный сокъ съ сахаромъ и водой, который я одинъ умѣлъ приготовлять по ея вкусу,—но зубы больной были совершенно стиснуты; она была безъ сознанія.... Я оцѣпенѣлъ отъ ужаса и *стоялъ* *****), дрожа, всѣмъ тѣломъ ******).... Между тѣмъ яркое утро свѣтило больше и больше сквозь опущенныя занавѣски. И я съ какимъ-то безумнымъ чувствомъ отчаянія и ужаса разглядѣлъ, что не только губы, но и зубы почернѣли въ нѣсколько часовъ. За что же еще *все* *******) это? за что страшное безпамятство?...********) Зачѣмъ этотъ черный цвѣтъ?

Докторъ и К. Фохтъ съ двумя, тремя друзьями были внизу. Я сказалъ Фохту; отвѣта его мнѣ было не нужно. Онъ миновалъ мой

---

*) Извѣстный профессоръ физіологіи въ Женевѣ, близкій пріятель Герцена.

**) Н. А. Огаревой-Тучковой.

***) *Оленька*—вторая дочь Герцена, вышедшая въ послѣдствіи замужъ за профессора Моно, живетъ въ настоящее время въ Парижѣ.

****) Слова, напечатанныя здѣсь курсивомъ, вписаны въ копіи рукой самого А. И. Герцена.

*****) Вписано сверху рукой А. И. Герцена.

******) Далѣе зачеркнуто „стоялъ, скрестивъ руки на груди".

*******) Вписано рукой А. И. Герцена.

********) Далѣе зачеркнуто: „и такъ вдругъ",

взглядъ и взошелъ наверхъ. Я самъ взялъ руку *больной* *)—пульсъ почти не бился.

Около полудня больная пришла въ себя.... Опять позвала дѣтей, но не говорила ни слова....

— „Отчего это здѣсь такъ темно?...“

Я приподнялъ стору.

— „Все темно“.

Въ комнатѣ было совершенно свѣтло.

— „Ахъ, другъ мой, какъ тяжело головѣ!“

Еще нѣсколько словъ.—Разъ она снова хотѣла что-то спросить.... Я понималъ по движеніямъ, въ чемъ дѣло, и отвѣчалъ прежде вопроса, успокоивая ее. Она болѣзненно взяла мою руку, — рука ея ужъ не была похожа на живую,—и покрыла ею свое лицо,—слезы катились у нея изъ глазъ,—она произнесла мое имя, прижала губы къ моей рукѣ... я что-то сказалъ ей,—она отвѣчала невнятно... сознаніе было снова потеряно—и не возвращалось.

Хоть бы еще слово... или бы уже смерть!—она осталась въ этомъ положеніи до слѣдующаго утра, съ полудня 1-го мая до 7 часовъ утра слѣдующаго дня.—Минутами она приходила въ полусознаніе... явственно говорила, что хочетъ снять съ себя фланель, спрашивала свой платокъ,—но ничего больше. Я нѣсколько разъ начиналъ говорить; не знаю, ошибался я или нѣтъ, но мнѣ казалось, что она слышитъ, но не можетъ выговорить слова,—выраженіе горькой боли пробѣгало по лицу нѣсколько разъ. Она пожала мнѣ руку, не судорожно, а намѣренно,—въ этомъ я совершенно увѣренъ.

Часовъ въ 6 утра я спросилъ доктора — сколько остается времени?

— „Не больше часа.“

Я вышелъ въ садъ позвать Сашу, — я не хотѣлъ, чтобъ у него не остались въ вѣчной памяти послѣднія минуты его матери. — Всходя съ нимъ на лѣстницу, я предупредилъ его, что насъ ждетъ большое несчастіе (ему было тогда около тринадцати лѣтъ). Саша не подозрѣвалъ всей опасности; онъ, совершенно блѣдный и близкій къ обмороку, взошелъ со мною въ комнату.

— „Становись здѣсь у кровати на колѣни“,—сказалъ я ему.

Предсмертный потъ покрывалъ ея лицо... спазматическія движенія рукой, нѣсколько стенаній—и.... тѣ перестали. Докторъ взялъ руку и опустилъ—она упала, какъ вещь. Мальчикъ рыдалъ... я хорошенько не помню, что было въ первыя минуты.

— — —

*) Вписано сверху его же рукой.

Когда я сошелъ внизъ, мнѣ пришло въ голову: „Береги Тату.“— Я очень боялся, что ребенка*), страстно любившаго мать, испугаютъ. Я велѣлъ позвать ее къ себѣ и не говорить ни слова; я заперся съ нею въ кабинетъ, посадилъ къ себѣ на колѣни и тихо, тихо приготовилъ ее,—она дрожала всѣмъ тѣломъ. У нея навернулись слезы, и пятна вышли на лицѣ.... Я ее повелъ наверхъ.

Тамъ уже все измѣнилось. Покойница, какъ живая, лежала на убранной цвѣтами постели, возлѣ малютки, скончавшагося въ ту же ночь... вся комната обтянута бѣлымъ.

Насколько этотъ обычай Италіи человѣчественнѣе нашего гроба въ залѣ!... Цвѣты, бѣлыя, легкія ткани—торжественный видъ не уменьшаютъ, а вносятъ кротость въ раздирающую печаль. Испуганное дитя сейчасъ было удивлено этою изящною обстановкой. „Мамаша вотъ!“ сказала она, но когда я ее поднялъ, и она коснулась губами холоднаго лица, она истерически заплакала... дольше я не могъ и вышелъ.

Часа черезъ два я сидѣлъ у окна и смотрѣлъ безсмысленно *то* **) на море, то на небо... дверь отворилась, и взошла Тата одна. Она подошла ко мнѣ и, ласкаясь какъ-то испуганно, говорила мнѣ:

— „Я *умно* себя вела, я не много плакала.“

Съ глубокою горестью посмотрѣлъ я на сироту, такъ ребячески не понимавшую, что́ случилось. Не знать тебѣ материнской ласки, материнской любви..... бѣдное дитя! Ихъ ничто не замѣнитъ, у тебя будетъ пробѣлъ въ сердцѣ... ты не испытаешь лучшей, чистѣйшей, единой безкорыстной привязанности на свѣтѣ.... Ты ее, можетъ, будешь имѣть, но къ тебѣ ея никто не будетъ имѣть... что́ же любовь отца въ сравненіи съ материнскою *болью* любви?...

---

*) Дѣвочкѣ въ это время было лѣтъ шесть, она родилась еще въ Россіи.

**) Вписано рукой А. И. Герцена.

РАКИТА И ВѢТЕРЪ.

Въ полѣ, при дорогѣ, низкая ракита
Жаловалась вѣтру: „Пылью я покрыта,
Отъ тоски-кручины сохну каждый день:
Пролетаютъ птицы, путники проходятъ,
У меня отрады лѣтомъ не находятъ...
Вянутъ мои листья, пропадаетъ тѣнь!“

* * *

Отвѣчаетъ вѣтеръ: „Не горюй, ракита!
Ливнемъ благодатнымъ будешь ты омыта,
Я обвѣю грезой, я навѣю сонъ...
Спи, не бойся блеска молніи летучей,
Громъ тебя не тронетъ: ты не дубъ могучій,
Что грозой вчерашней на-смерть пораженъ!“

Николай Пановъ.

СКАЗКА

ОБЪ ИВАНУШКѢ-ДУРАЧКѢ И БРАТѢ ЕГО, ПРЕМУДРОМЪ КУЗЬМѢ.

Въ нѣкоторомъ царствѣ—не въ нашемъ государствѣ жилъ-былъ одинъ человѣкъ.

И пустился этотъ человѣкъ странствовать по бѣлому свѣту.

Перебирался онъ черезъ горы высокія, продирался черезъ лѣса темные, дремучіе, переплывалъ рѣки быстрыя, брелъ песками сыпучими, шелъ зелеными равнинами. Ни верстового столба, ни вѣшечки не попадалось ему. Мѣста все новыя, да новыя, незнакомыя....

Шелъ онъ, шелъ, не путемъ—не дорогой, путался онъ, путался,—то заберетъ вправо, то влѣво... И не досмотрѣлъ тотъ человѣкъ, промахнулся и—забрелъ въ болото.... Не иначе, что „лукавый" попуталъ...

Не разъ человѣкъ пытался выбраться изъ того болота, да не успѣлъ вò время.

И зловонная топь болотная стала его засасывать: погрузился человѣкъ сначала по колѣна, потомъ ушелъ по поясъ, по грудь и, наконецъ, завязъ чуть не по уши. Долго онъ барахтался, но только напрасно разбрасывалъ по сторонамъ тину и грязь.... Силушки его не стало. Изнемогъ человѣкъ.... Бѣлые и желтые красивые цвѣточки своимъ ядовитымъ запахомъ, да вредныя испаренія болотныя совсѣмъ его одурманили....

Въ тѣхъ же самыхъ мѣстахъ пришлось проходить Иванушкѣ-дурачку и брату его, премудрому Кузьмѣ. Посмотрѣли братья въ сторону и видятъ: большое болото и въ томъ болотѣ, поросшемъ красивыми бѣлыми и желтыми цвѣточками, увязъ человѣкъ, безпомощно вертитъ головой туда и сюда, все что-то высматриваетъ, какъ будто откуда-то помощи себѣ дожидается. И хищное, кровожадное вороньё темною стаей такъ и кружится-носится надъ его беззащит-

ною головой. Человѣкъ, казалось, былъ уже не въ силахъ отбиваться отъ налетавшихъ на него черныхъ птицъ. Съ отчаяніемъ, съ ужасомъ смотритъ онъ на нихъ....

— Глянь-ка, братецъ: человѣкъ-то въ болото забился!—крикнулъ Иванушка-дурачекъ.—Пойдемъ! поможемъ ему, бѣднягѣ!

Но Кузьма премудрый, посмотрѣвъ на болото, гдѣ барахтался утопающій, съ многозначительнымъ видомъ простеръ руку и сказалъ:

— Постой!

Остановился Иванушка-дурачекъ и смотритъ: что будетъ дальше.

— Ты, никакъ, этого человѣка несчастнымъ считаешь?—съ лукавою усмѣшкой спросилъ его братъ.

— Знамо, не съ радости головой-то онъ этакъ вертитъ!—промолвилъ Иванушка.

— Положимъ, житьё-то ему невеселое.... Это точно!—задумчиво проговорилъ Кузьма.—А только, братецъ, дѣло, вишь, въ чемъ: вѣдь онъ попалъ въ это болото не зря, а по „общимъ законамъ", и не зря онъ тутъ барахтается.... Это — онъ подчиняется „извѣстному закону...." Понялъ?

— Нѣтъ, какъ будто бы не понялъ.... Что-то мудрено!—протянулъ Иванушка, покачивая головой, но вдругъ спохватился и воскликнулъ:—А-а! Догадался!... Это, значитъ, ужъ такая линія ему вышла... на роду, знать, ему, сердечному, написано?

— Ну, да!..— промямлилъ премудрый Кузьма.— Не то, чтобы... а въ родѣ того... только... то-есть.... Да нѣтъ! Гдѣ жъ тебѣ, дураку, понять „общіе законы".... Тутъ, братъ, нужно голову—ой-ой какую!...

Кузьма внушительно крякнулъ и провелъ рукой по лбу, какъ бы желая наглядно показать Иванушкѣ: какую голову нужно для того, чтобы уяснить себѣ неизбѣжность законовъ, заставляющихъ человѣка залѣзать въ болото и бултыхаться въ немъ.

Иванушка былъ упрямъ и хотѣлъ уже броситься на помощь къ утопающему, но братъ опять удержалъ его.

— Не бѣжи! Постой!—говорилъ Кузьма премудрый.— Ну, что ты скажешь этому человѣку? Да едва ли онъ будетъ и слушать тебя! Онъ, братъ, вѣдь не дуракъ.... Онъ свое дѣло тонко знаетъ.... Онъ понимаетъ, что долженъ подчиняться „общимъ законамъ" и — бултыхается.... Ну, и не трошь его!

— Значитъ, назвался груздемъ, такъ полѣзай въ кузовъ!—съ недоумѣніемъ замѣтилъ Иванушка.

— У тебя, у дурака, только простонародныя поговорки на умѣ!— съ досадой проворчалъ Кузьма.— Нѣтъ тутъ ни груздя, ни кузова... а первое дѣло—законъ!

Иванушка стоялъ въ нерѣшимости, не зная, какъ быть и что̀ ему дѣлать. Жаль ему было утопавшаго человѣка.... А Кузьма премудрый глубокомысленно нахмурилъ брови и, помедля мало, глухимъ голосомъ провозгласилъ:

— А знаешь что̀?... Вѣдь и намъ нужно въ болото лѣзть!

— Это еще для коего лѣшаго?—съ изумленіемъ спросилъ Иванушка-дурачекъ.—Вѣдь путь-то намъ не по болоту лежитъ.... Совсѣмъ намъ, выходитъ, не по дорогѣ....

— Мало ли что „не по дорогѣ"! отвѣчалъ ему братъ.—А мы все-таки должны,—понимаешь, *неизбѣжно* должны въ это же самое болото забиться!

— Нѣтъ, братецъ! Какъ ты хошь, а не гоже намъ этакъ срамиться—самимъ лѣзть въ болото!—возражалъ Иванушка.—И что за радость!... Вонъ, гляди, какъ человѣкъ-то мается!...

— И мы такъ же должны маяться и... завязнуть по уши!—съ какимъ-то дикимъ азартомъ выкрикнулъ Кузьма.

— Что ты! что ты! Уймись, сердечный!—успокоивалъ его Иванушка, съ испугомъ посмотрѣвъ на него.

— Не уймусь, ни въ жизнь не уймусь! Говорю тебѣ: это — *неизбѣжно!...*—твердилъ Кузьма, съ самымъ рѣшительнымъ, зловѣщимъ видомъ глядя на болото.

— Да для чего же, братецъ, мы въ болото-то ввалимся, коли можемъ пройти прямикомъ и по суху?—спросилъ Иванушка.

— Для чего?!—торжественно заговорилъ Кузьма.—А для того, что и мы въ полѣ не обсѣвки, уродились не хуже другихъ, должны понимать себя и безпрекословно подчиняться „общимъ законамъ"....

— Какимъ такимъ законамъ?—перебилъ его Иванушка.—Кто же такіе законы выдумалъ, чтобы намъ, значитъ, не прямо и не по суху идти, а въ болотную трясину по уши забиваться?

— Гм! Кто выдумалъ... эти законы-то?—какъ бы нѣсколько смутившись, проговорилъ Кузьма, усердно почесывая затылокъ. — Гм! Какъ тебѣ сказать.... Тутъ, видишь, дѣло въ томъ, что и для насъ пришло время въ болото лѣзть... понимаешь? такое ужъ время пришло... а какъ залѣземъ мы туда, такъ, значитъ, и будемъ „въ законѣ",— и покой дорогой!... А то мы теперь, ровно, какіе-нибудь оголтѣлые,— какъ саврасы безъ узды... куда захотѣлъ, туда и сиганулъ! А это, братъ, не порядокъ... потому: первое дѣло —„общіе законы!"

— Экъ вѣдь... затвердила сорока Якова, зоветъ имъ всякова — „общіе законы", да „общіе законы"!... Мнѣ что-то, братецъ, и слушать-то тебя стало скучно!—позѣвывая, промолвилъ Иванушка.

— Дуракъ, такъ оттого и скучно!— съ досадой проворчалъ Кузьма. Онъ начиналъ уже не въ шутку сердиться.

— А ты не отлынивай, скажи толкомъ: кто законы-то тѣ издалъ?—приставалъ къ нему Иванушка.

Такое „умственное убожество“ и такая упорная навязчивость окончательно вывели Кузьму изъ терпѣнія.

— Отвяжись!—рѣзко оборвалъ онъ брата.—Никто ихъ не издавалъ... А такъ ужъ... сами, значитъ, „образовались“... и того... пошло, да и пошло.... Ну, и дѣлу шабашъ!

Иванушка усмѣхнулся.

— А ты чего зубы-то скалишь!—напустился на него Кузьма.— Вижу: ничего-то ты не понимаешь, голубчикъ! Да и гдѣ жъ тебѣ, облому этакому, понять!... Весь вѣкъ прожилъ ты дуракъ-дуракомъ въ своей деревнѣ, въ курной избѣ,—жилъ ты не по „общимъ законамъ“, а чортъ знаетъ какъ.... Срамъ! Одинъ только срамъ мнѣ съ тобою!... Занимался ты только своимъ невѣжествомъ, грубостью, да озорствомъ.... Дули тебя какъ сидорову козу, только что лучину изъ тебя не щепали; кормили тебя, дурня, отрубями со свиньями вмѣстѣ изъ одного корыта.... На отрубяхъ-то, знать, ты послѣдній умишко проѣлъ. Дур-р-ракъ! Выдумалъ что-то свое.... Ничего у тебя своего нѣтъ!

— Умишко-то у меня свой, не чортъ его съѣлъ!—возразилъ Иванушка.

— Ну, да! Какъ же!..—продолжалъ Кузьма.—Да вотъ и теперь— я ужъ, кажется, все тебѣ объяснилъ, разжевалъ, да и въ ротъ положилъ, а ты по своему невѣжеству все-таки упорствуешь, отъ болота отбиваешься и знать ничего не хочешь. Ничего-то ты, Иванушка, не разумѣешь! А ужъ я тебѣ вѣрно говорю,—вотъ хоть провалиться на семъ мѣстѣ,—есть такіе „общіе законы“.... Спроси, кого хочешь! Тебѣ нонѣче про это всякій — даже самый махонькой младенецъ — разскажетъ вотъ какъ!—въ лучшемъ видѣ....

— Нѣтъ, ужъ, братецъ, пойдемъ лучше прямо по суху!—упорствовалъ Иванушка.—Ну, ты подумай: для чего намъ крюкъ дѣлать, да еще въ болото забиваться? Хоть что̀ скажи, не пойду!....

— Тсс! Что ты, чудакъ! Да развѣ же это возможно!—перебилъ его Кузьма, замахавъ на него руками.

— Даже и очень просто!—возразилъ Иванушка.

— Ахъ, ты, глупый!—съ сожалѣніемъ посмотрѣвъ на брата, сказалъ премудрый Кузьма.—А ты не подумалъ о томъ: что̀ о насъ заговорятъ! Во всѣ трубы затрубятъ: „Вотъ такъ, скажутъ, братаны! Прославились! Полюбуйтесь-ка!...“ Да вѣдь намъ, чудакъ ты этакой,

проходу не дадутъ, засмѣютъ насъ.... И тотъ, что̀ въ болотѣ-то барахтается, насъ подниметъ на смѣхъ.... И безъ того тебя, Иванушка, ужъ лупятъ на всѣхъ перекресткахъ, по̀ходя честятъ тебя и „грубымъ животнымъ“, и „скотиной“ и всячески.... А какъ еще прослышатъ, что ты знать не хочешь „общихъ законовъ“, тогда тебѣ совсѣмъ бѣда придетъ! Тогда ужъ они тебя не бичами — скорпіонами жарить начнутъ.... Они тебя и вверхъ и внизъ головой распнутъ, да они тебя....

— А, ну тебя совсѣмъ! - перебилъ Иванушка.—Сказано: не полѣзу я въ твое болото!... Пойдемъ лучше—поможемъ тому бѣднягѣ, пока онъ еще не захлебнулся!

— Охъ, не ладно ты говоришь, Иванушка! Право, неладно! Этакъ у насъ ужъ совсѣмъ не по „общимъ законамъ“ дѣло выйдетъ...—заворчалъ Кузьма.

— Да будетъ тебѣ врать-то!—сказалъ Иванушка и, схвативъ Кузьму за руку, потащилъ его впередъ.

Подошли они къ болоту и остановились.

— Кышъ, кышъ, проклятые! - крикнулъ Иванушка-дурачекъ, махнувъ рукой на черныхъ хищниковъ, кружившихся надъ головой утопавшаго человѣка.

И хищныя, жадныя птицы мигомъ разлетѣлись.

— Землякъ! А, землякъ!—обратился Иванушка къ утопающему.—Какъ тебя, сердечнаго, угораздило въ болото-то забиться, а?

Несчастный съ трудомъ очистилъ грязь и тину, залѣпившія ему усы и ротъ, и слабымъ, надорваннымъ голосомъ промолвилъ:

— Да ужъ такъ вышло, братецъ.... Давно это было, очень давно.... Теперь ужъ хорошо и не помню, какъ было дѣло... шелъ-шелъ, да какъ-то и забрелъ въ эту трясину, спохватился—да поздно! Вотъ и бьюсь теперь.... Не разъ я поровилъ выбраться на сухое мѣсто, да нѣтъ! только еще глубже уходилъ въ болото.... Сила не беретъ!... Воздухъ здѣсь тяжелый, да и цвѣты, вотъ, тоже одурманиваютъ....

— Плохо, братъ, твое дѣло!—сказалъ Иванушка, съ сожалѣніемъ покачивая головой, и тутъ же, оборотившись къ брату, съ укоромъ замѣтилъ ему:—Ты что-жъ это, Кузьма, про „общіе-то законы“ мнѣ наплелъ? Слышь, что̀ человѣкъ-то сказываетъ?

Кузьма премудрый разинулъ было ротъ, чтобы отвѣтить, но утопающій въ ту самую минуту дикимъ, отчаяннымъ голосомъ завопилъ:

— Охъ, тошнёхонько! Охъ, батюшки! Охъ, голубчики!... Тону, тону!...

Иванушка почувствовалъ, что ядовитый запахъ цвѣтовъ и ему

одурманиваетъ голову. Нужно было поторапливаться, чтобы и имъ самимъ—грѣшнымъ дѣломъ—не очутиться въ болотѣ.

— Хочешь, я тебѣ веревку брошу? Хватайся за нее! Мы тебя ужъ какъ нибудь вытащимъ...—крикнулъ Иванушка утопающему.

— Какъ? Что такое?... Веревка?... Веревка—вервіе простое...—какъ бы въ бреду скороговоркой шепталъ утопающій.

— Что онъ такое бормочетъ? — вполголоса сказалъ Иванушка брату.—Изъ ума, знать, его вышибло!... Да и то сказать: вышибетъ изъ ума отъ этакого поганаго житья!

Иванушка снялъ веревку, намотанную черезъ плечо, и распустилъ ее.

— На̀, землячекъ! Хватай! Держись крѣпче!—гаркнулъ онъ и бросилъ утопающему одинъ конецъ веревки, а за другой братья ухватились обѣими руками.

Тянули-тянули, тащили-тащили (ужъ очень загрузъ человѣкъ), вытащили, наконецъ.

Выбравшись изъ болота, человѣкъ отряхнулся, пообчистилъ съ себя грязь и тину, потянулся, порасправилъ рученьки-ноженьки и сказалъ братьямъ „спасибо“....

Всѣ трое послѣ того пошли вмѣстѣ.

Иванушка не разъ съ укоромъ поглядывалъ на брата и, покачивая головой, думалъ про себя: „Ой, Кузьма, Кузьма! премудрая голова!... Чуть было не подкузьмилъ онъ меня! Еще хорошо, что я не послушался его, а то сидѣли бы мы теперь въ болотѣ....“ А Кузьма шелъ и недоумѣвалъ, все безпокоился по поводу того: какъ же теперь быть съ „общими-то законами“?

* * *

Подошли путники къ высокой-высокой горѣ, поднимавшейся до самыхъ облаковъ, и стали взбираться на нее. Трудно было имъ взойти на гору, долго они шли, измаялись, а за то, какъ взошли на ея вершину, такъ и ахнули....

Передъ ними на далекое пространство, какъ только могъ глазъ охватить, разстилалась прекрасная, чудесная страна. Здѣсь весна царила вѣчно; хищныя птицы здѣсь не летали и не рыскалъ лютый звѣрь....

— Хорошая сторонка! Какъ-то она называется? — сказалъ Иванушка.

Въ ту минуту онъ увидалъ на деревѣ стараго, сѣдого ворона и подошелъ къ нему.

— Воронъ ты, воронъ! Почтенная, старая ты птица...—сказалъ ему Иванушка. — Давно ты живешь на бѣломъ свѣтѣ, вездѣ ты леталъ, обо всемъ ты слыхалъ, все ты видѣлъ, все ты знаешь.... Скажи намъ, батюшка старый воронъ, какъ эта сторона называется?

Воронъ наклонилъ свою сѣдую голову, пристально посмотрѣлъ на Иванушку и глухимъ, хриплымъ голосомъ молвилъ ему:

— „Братствомъ народовъ“ зовутъ ее!

— Ну, вотъ и дошли, наконецъ.... Айда! — зычнымъ голосомъ крикнулъ Иванушка.

И всѣ трое пустились внизъ по склону горы.

И пошли они по той прекрасной, цвѣтущей странѣ,—и шли все впередъ и впередъ, все дальше и дальше въ заманчивую, таинственную даль.

П. Засодимскій.

взглядъ и взошелъ наверхъ. Я самъ взялъ руку *больной* *)—пульсъ почти не бился.

Около полудня больная пришла въ себя.... Опять позвала дѣтей, но не говорила ни слова....

— „Отчего это здѣсь такъ темно?...“

Я приподнялъ стору.

— „Все темно“.

Въ комнатѣ было совершенно свѣтло.

— „Ахъ, другъ мой, какъ тяжело головѣ!“

Еще нѣсколько словъ.—Разъ она снова хотѣла что-то спросить.... Я понималъ по движеніямъ, въ чемъ дѣло, и отвѣчалъ прежде вопроса, успокоивая ее. Она болѣзненно взяла мою руку, — рука ея ужъ не была похожа на живую,—и покрыла ею свое лицо,—слезы катились у нея изъ глазъ,—она произнесла мое имя, прижала губы къ моей рукѣ... я что-то сказалъ ей,—она отвѣчала невнятно... сознаніе было снова потеряно—и не возвращалось.

Хоть бы еще слово... или бы уже смерть!—она осталась въ этомъ положеніи до слѣдующаго утра, съ полудня 1-го мая до 7 часовъ утра слѣдующаго дня.—Минутами она приходила въ полусознаніе... явственно говорила, что хочетъ снять съ себя фланель, спрашивала свой платокъ,—но ничего больше. Я нѣсколько разъ начиналъ говорить; не знаю, ошибался я или нѣтъ, но мнѣ казалось, что она слышитъ, но не можетъ выговорить слова,—выраженіе горькой боли пробѣгало по лицу нѣсколько разъ. Она пожала мнѣ руку, не судорожно, а намѣренно,—въ этомъ я совершенно увѣренъ.

Часовъ въ 6 утра я спросилъ доктора — сколько остается времени?

— „Не больше часа.“

Я вышелъ въ садъ позвать Сашу, — я не хотѣлъ, чтобъ у него не остались въ вѣчной памяти послѣднія минуты его матери. — Всходя съ нимъ на лѣстницу, я предупредилъ его, что насъ ждетъ большое несчастіе (ему было тогда около тринадцати лѣтъ). Саша не подозрѣвалъ всей опасности; онъ, совершенно блѣдный и близкій къ обмороку, взошелъ со мною въ комнату.

— „Становись здѣсь у кровати на колѣни“,—сказалъ я ему.

Предсмертный потъ покрывалъ ея лицо... спазматическія движенія рукой, нѣсколько стенаній—и.... тѣ перестали. Докторъ взялъ руку и опустилъ—она упала, какъ вещь. Мальчикъ рыдалъ... я хорошенько не помню, что было въ первыя минуты.

*) Вписано сверху его же рукой.

Когда я сошелъ внизъ, мнѣ пришло въ голову: „Береги Тату.“— Я очень боялся, что ребенка*), страстно любившаго мать, испугаютъ. Я велѣлъ позвать ее къ себѣ и не говорить ни слова; я заперся съ нею въ кабинетъ, посадилъ къ себѣ на колѣни и тихо, тихо приготовилъ ее,—она дрожала всѣмъ тѣломъ. У нея навернулись слезы, и пятна вышли на лицѣ.... Я ее повелъ наверхъ.

Тамъ уже все измѣнилось. Покойница, какъ живая, лежала на убранной цвѣтами постели, возлѣ малютки, скончавшагося въ ту же ночь... вся комната обтянута бѣлымъ.

Насколько этотъ обычай Италіи человѣчественнѣе нашего гроба въ залѣ!... Цвѣты, бѣлыя, легкія ткани—торжественный видъ не уменьшаютъ, а вносятъ кротость въ раздирающую печаль. Испуганное дитя сейчасъ было удивлено этою изящною обстановкой. „Мамаша вотъ!“ сказала она, но когда я ее поднялъ, и она коснулась губами холоднаго лица, она истерически заплакала... дольше я не могъ и вышелъ.

Часа черезъ два я сидѣлъ у окна и смотрѣлъ безсмысленно *то* **) на море, то на небо... дверь отворилась, и взошла Тата одна. Она подошла ко мнѣ и, ласкаясь какъ-то испуганно, говорила мнѣ:

— „Я *умно* себя вела, я не много плакала.“

Съ глубокою горестью посмотрѣлъ я на сироту, такъ ребячески не понимавшую, что́ случилось. Не знать тебѣ материнской ласки, материнской любви..... бѣдное дитя! Ихъ ничто не замѣнитъ, у тебя будетъ пробѣлъ въ сердцѣ... ты не испытаешь лучшей, чистѣйшей, единой безкорыстной привязанности на свѣтѣ.... Ты ее, можетъ, будешь имѣть, но къ тебѣ ея никто не будетъ имѣть... что́ же любовь отца въ сравненіи съ материнскою *болью* любви?...

---

*) Дѣвочкѣ въ это время было лѣтъ шесть, она родилась еще въ Россіи.

**) Вписано рукой А. И. Герцена.

РАКИТА И ВѢТЕРЪ.

Въ полѣ, при дорогѣ, низкая ракита
Жаловалась вѣтру: „Пылью я покрыта,
Отъ тоски-кручины сохну каждый день;
Пролетаютъ птицы, путники проходятъ,
У меня отрады лѣтомъ не находятъ...
Вянутъ мои листья, пропадаетъ тѣнь!“

* * *

Отвѣчаетъ вѣтеръ: „Не горюй, ракита!
Ливнемъ благодатнымъ будешь ты омыта,
Я обвѣю грезой, я навѣю сонъ...
Спи, не бойся блеска молніи летучей,
Громъ тебя не тронетъ: ты не дубъ могучій,
Что грозой вчерашней на-смерть пораженъ!“

Николай Пановъ.

СКАЗКА

ОБЪ ИВАНУШКѢ-ДУРАЧКѢ И БРАТѢ ЕГО, ПРЕМУДРОМЪ КУЗЬМѢ.

Въ нѣкоторомъ царствѣ—не въ нашемъ государствѣ жилъ-былъ одинъ человѣкъ.

И пустился этотъ человѣкъ странствовать по бѣлому свѣту.

Перебирался онъ черезъ горы высокія, продирался черезъ лѣса темные, дремучіе, переплывалъ рѣки быстрыя, брелъ песками сыпучими, шелъ зелеными равнинами. Ни верстового столба, ни вѣшечки не попадалось ему. Мѣста все новыя, да новыя, незнакомыя....

Шелъ онъ, шелъ, не путемъ—не дорогой, путался онъ, путался,—то заберетъ вправо, то влѣво... И не досмотрѣлъ тотъ человѣкъ, промахнулся и—забрелъ въ болото.... Не иначе, что „лукавый“ попуталъ...

Не разъ человѣкъ пытался выбраться изъ того болота, да не успѣлъ вò время.

И зловонная топь болотная стала его засасывать: погрузился человѣкъ сначала по колѣна, потомъ ушелъ по поясъ, по грудь и, наконецъ, завязъ чуть не по уши. Долго онъ барахтался, но только напрасно разбрасывалъ по сторонамъ тину и грязь.... Силушки его не стало. Изнемогъ человѣкъ.... Бѣлые и желтые красивые цвѣточки своимъ ядовитымъ запахомъ, да вредныя испаренія болотныя совсѣмъ его одурманили....

Въ тѣхъ же самыхъ мѣстахъ пришлось проходить Иванушкѣ-дурачку и брату его, премудрому Кузьмѣ. Посмотрѣли братья въ сторону и видятъ: большое болото и въ томъ болотѣ, поросшемъ красивыми бѣлыми и желтыми цвѣточками, увязъ человѣкъ, безпомощно вертитъ головой туда и сюда, все что-то высматриваетъ, какъ будто откуда-то помощи себѣ дожидается. И хищное, кровожадное вороньё темною стаей такъ и кружится-носится надъ его беззащит-

ною головой. Человѣкъ, казалось, былъ уже не въ силахъ отбиваться отъ налетавшихъ на него черныхъ птицъ. Съ отчаяніемъ, съ ужасомъ смотритъ онъ на нихъ....

— Глянь-ка, братецъ: человѣкъ-то въ болото забился!—крикнулъ Иванушка-дурачекъ.—Пойдемъ! поможемъ ему, бѣднягѣ!

Но Кузьма премудрый, посмотрѣвъ на болото, гдѣ барахтался утопающій, съ многозначительнымъ видомъ простеръ руку и сказалъ:

— Постой!

Остановился Иванушка-дурачекъ и смотритъ: что будетъ дальше.

— Ты, никакъ, этого человѣка несчастнымъ считаешь?—съ лукавою усмѣшкой спросилъ его братъ.

— Знамо, не съ радости головой-то онъ этакъ вертитъ!—промолвилъ Иванушка.

— Положимъ, житьё-то ему невеселое.... Это точно!—задумчиво проговорилъ Кузьма.—А только, братецъ, дѣло, вишь, въ чемъ: вѣдь онъ попалъ въ это болото не зря, а по „общимъ законамъ", и не зря онъ тутъ барахтается.... Это — онъ подчиняется „извѣстному закону...." Понялъ?

— Нѣтъ, какъ будто бы не понялъ.... Что-то мудрено!—протянулъ Иванушка, покачивая головой, но вдругъ спохватился и воскликнулъ:—А-а! Догадался!... Это, значитъ, ужъ такая линія ему вышла... на роду, знать, ему, сердечному, написано?

— Ну, да!..—промямлилъ премудрый Кузьма.—Не то, чтобы... а въ родѣ того... только... то-есть.... Да нѣтъ! Гдѣ жъ тебѣ, дураку, понять „общіе законы".... Тутъ, братъ, нужно голову—ой-ой какую!...

Кузьма внушительно крякнулъ и провелъ рукой по лбу, какъ бы желая наглядно показать Иванушкѣ: какую голову нужно для того, чтобы уяснить себѣ неизбѣжность законовъ, заставляющихъ человѣка залѣзать въ болото и бултыхаться въ немъ.

Иванушка былъ упрямъ и хотѣлъ уже броситься на помощь къ утопающему, но братъ опять удержалъ его.

— Не бѣжи! Постой!—говорилъ Кузьма премудрый.—Ну, что ты скажешь этому человѣку? Да едва ли онъ будетъ и слушать тебя! Онъ, братъ, вѣдь не дуракъ.... Онъ свое дѣло тонко знаетъ.... Онъ понимаетъ, что долженъ подчиняться „общимъ законамъ" и — бултыхается.... Ну, и не трошь его!

— Значитъ, назвался груздемъ, такъ полѣзай въ кузовъ!—съ недоумѣніемъ замѣтилъ Иванушка.

— У тебя, у дурака, только простонародныя поговорки на умѣ!—съ досадой проворчалъ Кузьма.—Нѣтъ тутъ ни груздя, ни кузова... а первое дѣло—законъ!

Иванушка стоялъ въ нерѣшимости, не зная, какъ быть и что̀ ему дѣлать. Жаль ему было утопавшаго человѣка.... А Кузьма премудрый глубокомысленно нахмурилъ брови и, помедля мало, глухимъ голосомъ провозгласилъ:

— А знаешь что̀?... Вѣдь и намъ нужно въ болото лѣзть!

— Это еще для коего лѣшаго?—съ изумленіемъ спросилъ Иванушка-дурачекъ.—Вѣдь путь-то намъ не по болоту лежитъ.... Совсѣмъ намъ, выходитъ, не по дорогѣ....

— Мало ли что „не по дорогѣ“! отвѣчалъ ему братъ.—А мы все-таки должны,—понимаешь, *неизбѣжно* должны въ это же самое болото забиться!

— Нѣтъ, братецъ! Какъ ты хошь, а не гоже намъ этакъ срамиться—самимъ лѣзть въ болото!—возражалъ Иванушка.—И что за радость!... Вонъ, гляди, какъ человѣкъ-то мается!...

— И мы такъ же должны маяться и... завязнуть по уши!—съ какимъ-то дикимъ азартомъ выкрикнулъ Кузьма.

— Что ты! что ты! Уймись, сердечный!—успокоивалъ его Иванушка, съ испугомъ посмотрѣвъ на него.

— Не уймусь, ни въ жизнь не уймусь! Говорю тебѣ: это — *неизбѣжно!...*—твердилъ Кузьма, съ самымъ рѣшительнымъ, зловѣщимъ видомъ глядя на болото.

— Да для чего же, братецъ, мы въ болото-то ввалимся, коли можемъ пройти прямикомъ и по суху?—спросилъ Иванушка.

— Для чего?!—торжественно заговорилъ Кузьма.—А для того, что и мы въ полѣ не обсѣвки, уродились не хуже другихъ, должны понимать себя и безпрекословно подчиняться „общимъ законамъ“....

— Какимъ такимъ законамъ?—перебилъ его Иванушка.—Кто же такіе законы выдумалъ, чтобы намъ, значитъ, не прямо и не по суху идти, а въ болотную трясину по уши забиваться?

— Гм! Кто выдумалъ... эти законы-то?—какъ бы нѣсколько смутившись, проговорилъ Кузьма, усердно почесывая затылокъ. — Гм! Какъ тебѣ сказать.... Тутъ, видишь, дѣло въ томъ, что и для насъ пришло время въ болото лѣзть... понимаешь? такое ужъ время пришло... а какъ залѣземъ мы туда, такъ, значитъ, и будемъ „въ законѣ“,— и покой дорогой!... А то мы теперь, ровно, какіе-нибудь оголтѣлые,— какъ саврасы безъ узды... куда захотѣлъ, туда и сиганулъ! А это, братъ, не порядокъ... потому: первое дѣло —„общіе законы!“

— Экъ вѣдь... затвердила сорока Якова, зоветъ имъ всякова — „общіе законы“, да „общіе законы“!... Мнѣ что-то, братецъ, и слушать-то тебя стало скучно!—позѣвывая, промолвилъ Иванушка.

— Дуракъ, такъ оттого и скучно!— съ досадой проворчалъ Кузьма. Онъ начиналъ уже не въ шутку сердиться.

— А ты не отлынивай, скажи толкомъ: кто законы-то тѣ издалъ?—приставалъ къ нему Иванушка.

Такое „умственное убожество“ и такая упорная навязчивость окончательно вывели Кузьму изъ терпѣнія.

— Отвяжись!—рѣзко оборвалъ онъ брата.—Никто ихъ не издавалъ... А такъ ужъ... сами, значитъ, „образовались“... и того... пошло, да и пошло.... Ну, и дѣлу шабашъ!

Иванушка усмѣхнулся.

— А ты чего зубы-то скалишь!—напустился на него Кузьма.— Вижу: ничего-то ты не понимаешь, голубчикъ! Да и гдѣ жъ тебѣ, облому этакому, понять!... Весь вѣкъ прожилъ ты дуракъ-дуракомъ въ своей деревнѣ, въ курной избѣ,—жилъ ты не по „общимъ законамъ“, а чортъ знаетъ какъ.... Срамъ! Одинъ только срамъ мнѣ съ тобою!... Занимался ты только своимъ невѣжествомъ, грубостью, да озорствомъ.... Дули тебя какъ сидорову козу, только что лучину изъ тебя не щепали; кормили тебя, дурня, отрубями со свиньями вмѣстѣ изъ одного корыта.... На отрубяхъ-то, знать, ты послѣдній умишко проѣлъ. Дур-р-ракъ! Выдумалъ что-то свое.... Ничего у тебя своего нѣтъ!

— Умишко-то у меня свой, не чортъ его съѣлъ!—возразилъ Иванушка.

— Ну, да! Какъ же!..—продолжалъ Кузьма.—Да вотъ и теперь— я ужъ, кажется, все тебѣ объяснилъ, разжевалъ, да и въ ротъ положилъ, а ты по своему невѣжеству все-таки упорствуешь, отъ болота отбиваешься и знать ничего не хочешь. Ничего-то ты, Иванушка, не разумѣешь! А ужъ я тебѣ вѣрно говорю,—вотъ хоть провалиться на семъ мѣстѣ,—есть такіе „общіе законы“.... Спроси, кого хочешь! Тебѣ нонѣче про это всякій — даже самый махонькой младенецъ — разскажетъ вотъ какъ!—въ лучшемъ видѣ....

— Нѣтъ, ужъ, братецъ, пойдемъ лучше прямо по суху!—упорствовалъ Иванушка.—Ну, ты подумай: для чего намъ крюкъ дѣлать, да еще въ болото забиваться? Хоть что̀ скажи, не пойду!....

— Тсс! Что ты, чудакъ! Да развѣ же это возможно!—перебилъ его Кузьма, замахавъ на него руками.

— Даже и очень просто!—возразилъ Иванушка.

— Ахъ, ты, глупый!—съ сожалѣніемъ посмотрѣвъ на брата, сказалъ премудрый Кузьма.—А ты не подумалъ о томъ: что̀ о насъ заговорятъ! Во всѣ трубы затрубятъ: „Вотъ такъ, скажутъ, братаны! Прославились! Полюбуйтесь-ка!...“ Да вѣдь намъ, чудакъ ты этакой,

проходу не дадутъ, засмѣютъ насъ.... И тотъ, что̀ въ болотѣ-то барахтается, насъ подниметъ на смѣхъ.... И безъ того тебя, Иванушка, ужъ лупятъ на всѣхъ перекресткахъ, по̀ходя честятъ тебя и „грубымъ животнымъ“, и „скотиной“ и всячески.... А какъ еще прослышатъ, что ты знать не хочешь „общихъ законовъ“, тогда тебѣ совсѣмъ бѣда придетъ! Тогда ужъ они тебя не бичами — скорпіонами жарить начнутъ.... Они тебя и вверхъ и внизъ головой распнутъ, да они тебя....

— А, ну тебя совсѣмъ! - перебилъ Иванушка.—Сказано: не полѣзу я въ твое болото!... Пойдемъ лучше—поможемъ тому бѣднягѣ, пока онъ еще не захлебнулся!

— Охъ, не ладно ты говоришь, Иванушка! Право, неладно! Этакъ у насъ ужъ совсѣмъ не по „общимъ законамъ“ дѣло выйдетъ...—заворчалъ Кузьма.

— Да будетъ тебѣ врать - то!—сказалъ Иванушка и, схвативъ Кузьму за руку, потащилъ его впередъ.

Подошли они къ болоту и остановились.

— Кышъ, кышъ, проклятые! - крикнулъ Иванушка-дурачекъ, махнувъ рукой на черныхъ хищниковъ, кружившихся надъ головой утопавшаго человѣка.

И хищныя, жадныя птицы мигомъ разлетѣлись.

— Землякъ! А, землякъ!—обратился Иванушка къ утопающему.— Какъ тебя, сердечнаго, угораздило въ болото-то забиться, а?

Несчастный съ трудомъ очистилъ грязь и тину, залѣпившія ему усы и ротъ, и слабымъ, надорваннымъ голосомъ промолвилъ:

— Да ужъ такъ вышло, братецъ.... Давно это было, очень давно.... Теперь ужъ хорошо и не помню, какъ было дѣло... шелъ - шелъ, да какъ-то и забрелъ въ эту трясину, спохватился—да поздно! Вотъ и бьюсь теперь.... Не разъ я норовилъ выбраться на сухое мѣсто, да нѣтъ! только еще глубже уходилъ въ болото.... Сила не беретъ!... Воздухъ здѣсь тяжелый, да и цвѣты, вотъ, тоже одурманиваютъ....

— Плохо, братъ, твое дѣло!—сказалъ Иванушка, съ сожалѣніемъ покачивая головой, и тутъ же, оборотившись къ брату, съ укоромъ замѣтилъ ему:—Ты что-жъ это, Кузьма, про „общіе-то законы“ мнѣ наплелъ? Слышь, что̀ человѣкъ-то сказываетъ?

Кузьма премудрый разинулъ было ротъ, чтобы отвѣтить, но утопающій въ ту самую минуту дикимъ, отчаяннымъ голосомъ завопилъ:

— Охъ, тошнёхонько! Охъ, батюшки! Охъ, голубчики!... Тону, тону!...

Иванушка почувствовалъ, что ядовитый запахъ цвѣтовъ и ему

одурманиваетъ голову. Нужно было поторапливаться, чтобы и имъ самимъ—грѣшнымъ дѣломъ—не очутиться въ болотѣ.

— Хочешь, я тебѣ веревку брошу? Хватайся за нее! Мы тебя ужъ какъ нибудь вытащимъ...—крикнулъ Иванушка утопающему.

— Какъ? Что такое?... Веревка?... Веревка—вервіе простое...—какъ бы въ бреду скороговоркой шепталъ утопающій.

— Что онъ такое бормочетъ? — вполголоса сказалъ Иванушка брату.—Изъ ума, знать, его вышибло!... Да и то сказать: вышибетъ изъ ума отъ этакого поганаго житья!

Иванушка снялъ веревку, намотанную черезъ плечо, и распустилъ ее.

— На̀, землячекъ! Хватай! Держись крѣпче!—гаркнулъ онъ и бросилъ утопающему одинъ конецъ веревки, а за другой братья ухватились обѣими руками.

Тянули-тянули, тащили-тащили (ужъ очень загрузъ человѣкъ), вытащили, наконецъ.

Выбравшись изъ болота, человѣкъ отряхнулся, пообчистилъ съ себя грязь и тину, потянулся, порасправилъ рученьки-ноженьки и сказалъ братьямъ „спасибо“....

Всѣ трое послѣ того пошли вмѣстѣ.

Иванушка не разъ съ укоромъ поглядывалъ на брата и, покачивая головой, думалъ про себя: „Ой, Кузьма, Кузьма! премудрая голова!... Чуть было не подкузьмилъ онъ меня! Еще хорошо, что я не послушался его, а то сидѣли бы мы теперь въ болотѣ....“ А Кузьма шелъ и недоумѣвалъ, все безпокоился по поводу того: какъ же теперь быть съ „общими-то законами“?

* * *

Подошли путники къ высокой-высокой горѣ, поднимавшейся до самыхъ облаковъ, и стали взбираться на нее. Трудно было имъ взойти на гору, долго они шли, измаялись, а за то, какъ взошли на ея вершину, такъ и ахнули....

Передъ ними на далекое пространство, какъ только могъ глазъ охватить, разстилалась прекрасная, чудесная страна. Здѣсь весна царила вѣчно; хищныя птицы здѣсь не летали и не рыскалъ лютый звѣрь....

— Хорошая сторонка! Какъ-то она называется? — сказалъ Иванушка.

Въ ту минуту онъ увидалъ на деревѣ стараго, сѣдого ворона и подошелъ къ нему.

— Воронъ ты, воронъ! Почтенная, старая ты птица...—сказалъ ему Иванушка. — Давно ты живешь на бѣломъ свѣтѣ, вездѣ ты леталъ, обо всемъ ты слыхалъ, все ты видѣлъ, все ты знаешь.... Скажи намъ, батюшка старый воронъ, какъ эта сторона называется?

Воронъ наклонилъ свою сѣдую голову, пристально посмотрѣлъ на Иванушку и глухимъ, хриплымъ голосомъ молвилъ ему:

— „Братствомъ народовъ“ зовутъ ее!

— Ну, вотъ и дошли, наконецъ.... Айда! — зычнымъ голосомъ крикнулъ Иванушка.

И всѣ трое пустились внизъ по склону горы.

И пошли они по той прекрасной, цвѣтущей странѣ,—и шли все впередъ и впередъ, все дальше и дальше въ заманчивую, таинственную даль.

П. Засодимскій.

---

* * *

Я въ мірѣ грёзъ не зналъ прекраснѣе одной,
Которую сберегъ и въ вихряхъ непогоды:
Я видѣлъ нѣкій храмъ въ поэзіи родной,
Свѣтильникъ истины и жертвенникъ свободы.
Какимъ величіемъ и помысловъ и дѣлъ
Я надѣлялъ жрецовъ, тамъ — на горѣ стоящихъ!
Звукъ каждый слова ихъ въ душѣ моей горѣлъ,
Какъ отблескъ ихъ сердецъ, на высотѣ парящихъ!
Мнѣ говорила жизнь:
„Не вѣрь! Смотри — твой жрецъ
И силѣ гимнъ поетъ, и злу кадитъ свободно,
А надъ свободою глумится всенародно...
Ему ль присталъ изъ терніевъ вѣнецъ?"

. . . . . .

Не разъ я унывалъ, лица поднять не смѣя!
Но грёза юныхъ дней съ побѣднымъ торжествомъ
Вновь пѣла мнѣ:
„О, пусть порой и фарисея
Курится фиміамъ на алтарѣ святомъ,
И волки хищные подъ видомъ агнцевъ бродятъ:
Забвенье — ихъ удѣлъ за жизненной чертой!
Въ святилище сердецъ лишь тѣ, какъ боги, входятъ,
Чьи думы далеки отъ пошлости мірской,
Они, избранники съ душой неоскверненной,
Кому поэзія — отчизны лучшій храмъ,
Чьимъ думамъ чистымъ и слезамъ
Поклонится потомокъ отдаленный!"

Декабрь 1898 г. **П. Я.**

ДВА „ПОХОДА“ ЭМИЛЯ ЗОЛЯ.

Семнадцать лѣтъ тому назадъ Эмиль Золя, только что одержавшій, съ „Assommoir“ и „Nana“, рѣшительную побѣду надъ равнодушіемъ публики и критики, задумалъ покинуть газетную и журнальную работу, которую онъ долго велъ параллельно съ сочиненіемъ романовъ,—но покинуть ее съ трескомъ и блескомъ, еще разъ выставивъ на видъ, ярко и смѣло, главную суть „натурализма“. Ему открыла для этого свои столбцы газета „Figaro“, враждебная его направленію, но падкая на шумъ, идущая навстрѣчу скандаламъ, дорожащая всѣмъ, что можетъ стать приманкой для читателей. Въ продолженіе цѣлаго года Золя еженедѣльно помѣщалъ въ „Figaro“ статью, посвященную злобѣ дня, и затѣмъ издалъ бо̀льшую часть этихъ статей отдѣльно, подъ заглавіемъ: „Походъ“ („Une campagne“, 1880—81). Это было надолго его послѣднимъ вкладомъ въ воинствующую журналистику. Притягательной своей силы она, однако, для него не потеряла — и въ 1896 г. онъ тряхнулъ стариной, опять помѣстивъ въ „Figaro“ рядъ статей, также вышедшихъ отдѣльною книжкой („Nouvelle campagne“, 1897). Интересно сравнить этотъ новый „походъ“ съ прежнимъ; интересно сопоставить манифесты побѣдителя, стремящагося въ полномъ расцвѣтѣ таланта къ дальнѣйшимъ тріумфамъ, съ усиліями состарѣвшагося, но все еще бодраго бойца удержать за собою позицію, оспариваемую у него прежними и новыми врагами.

Прямолинейность, исходящая изъ безграничнаго и горделиваго довѣрія къ собственной силѣ, почти юношескій задоръ, желаніе и готовность схватиться съ главными противниками, олимпійски-высокомѣрное отношеніе къ толпѣ — вотъ отличительныя черты перваго „похода“. Золя не допускаетъ сомнѣній, не знаетъ колебаній; онъ считаетъ себя обладателемъ абсолютной истины. Преклоняясь передъ

„писанною мыслью“, онъ преклоняется, въ сущности, передъ самимъ собою, какъ однимъ изъ передовыхъ и типичныхъ ея представителей. Презирая политику и политическихъ дѣятелей—этихъ пигмеевъ сравнительно съ гигантами литературы,—онъ обрушивается не только на корифеевъ правящей партіи, въ родѣ Ранка или Флоке, но и на ея главу, на *самого* Гамбетту, именно въ то время стоявшаго въ зенитѣ славы. Оставляя всторонѣ эпигоновъ романтической школы онъ пытается развѣнчать ея короля—В. Гюго, окруженнаго на склонѣ лѣтъ восторгами друзей, почтительнымъ молчаніемъ противниковъ, и еще при жизни какъ бы вступившаго въ безсмертіе. Онъ бросаетъ перчатку не только такимъ безсильнымъ, заживо забытымъ критикамъ, какъ Барбэ д'Орвильи или Арманъ де-Понмартенъ, но и могущественной группѣ такъ называемыхъ normaliens (бывшихъ воспитанниковъ Нормальной школы), съ Абу и Тэномъ во главѣ. Онъ объявляетъ войну протестантизму, располагающему немалымъ вліяніемъ въ парижскомъ обществѣ. Кромѣ „своихъ“ (Эдм. Гонкура, Альф. Додэ, Сеара и Гюисманса, Мопассана и Алекси), онъ хвалитъ только тѣхъ немногихъ ученыхъ (Ог. Контъ, Литтре, Клодъ Бернаръ), въ доктринѣ которыхъ онъ ищетъ точекъ опоры для своего „экспериментализма“.—Далеко не такимъ является Золя въ „Новомъ походѣ“. Нѣтъ больше смѣлыхъ вызововъ всему общепризнанному, установившемуся, имѣющему за себя авторитетъ давности и привычки. Нѣтъ больше отрицанія политики и политической карьеры; нѣтъ насмѣшекъ надъ тщеславіемъ, какъ прирожденнымъ недостаткомъ французовъ; нѣтъ попытокъ сокрушить литературныя репутаціи, пріобрѣтенныя внѣ натуралистическаго движенія. Съ прежнимъ увлеченіемъ Золя набрасывается теперь только на своихъ личныхъ противниковъ — на критиковъ, умаляющихъ значеніе его романовъ, на молодежь, поклоняющуюся новымъ богамъ. Все остальное и всѣхъ остальныхъ онъ охотно защищаетъ или, по меньшей мѣрѣ, извиняетъ. Страстный „походъ“ противъ протестантовъ уступаетъ мѣсто „походу“ въ пользу евреевъ; въ отношеніе къ папѣ вносится такая же доля объективности, какъ въ отношеніе къ французскому правительству. Промежутокъ времени, истекшій между обоими „походами“, очевидно, успокоилъ Золя, смягчилъ—говоря языкомъ френологіи—ту combativité, которою онъ прежде въ такой высокой степени отличался. Отчасти этой перемѣнѣ способствовало приближеніе старости, отчасти—сознаніе достигнутаго успѣха; но ни тѣмъ, ни другимъ она не объясняется всецѣло. Чтобы понять ее вполнѣ, нужно присмотрѣться поближе къ нѣкоторымъ ея признакамъ, особенно характеристичнымъ.

„Когда я дебютировалъ въ литературѣ,“ — такъ начинается въ „Nouvelle campagne“ статья, озаглавленная „L'élite et la politique“,— „я былъ исполненъ необычайнаго презрѣнія къ политикѣ. Я не только отдалялся отъ нея съ гордостью писателя, пренебрегающаго столь низкимъ дѣломъ: я осуждалъ, съ оскорбительною суровостью, всѣхъ занимающихся ею, считая ихъ всѣхъ, безъ разбора, безполезными глупцами. Это было съ моей стороны слишкомъ ужъ элементарнымъ мнѣніемъ раздраженнаго поэта, и оно кажется мнѣ теперь какъ нельзя болѣе дѣтскимъ и тупоумнымъ. Жизнь меня исправила: моя работа заставила меня проникнуть въ самыя различныя общественныя сферы и отказаться отъ близорукаго взгляда, воплощающаго человѣчество въ литераторѣ, въ артистѣ, а во всемъ остальномъ видящаго пошлое стадо, недостойное вниманія. Политика явилась въ моихъ глазахъ тѣмъ, что она есть на самомъ дѣлѣ—полемъ, гдѣ происходитъ борьба между націями, гдѣ сѣется исторія народовъ, въ виду будущихъ всходовъ истины и правды. Я понялъ, что здѣсь широкій просторъ для эволюціи самыхъ великихъ умовъ, для лучшей изъ всѣхъ дѣятельностей—для труда на пользу чужого счастья. И если бы я открылъ въ самомъ себѣ хотя бы малѣйшій даръ слова, я не устоялъ бы, кажется, противъ потребности принять участіе въ этомъ трудѣ“... Откровенное сознаніе въ ошибкѣ — большая заслуга, особенно при тѣхъ условіяхъ, при которыхъ оно сдѣлано авторомъ „Новаго похода“. Чрезвычайно удобно сидѣть на конькѣ, позволяющемъ смотрѣть на злобу дня сверху внизъ, какъ на нѣчто безнадежно-ничтожное, невообразимо жалкое или смѣшное: это освобождаетъ отъ разныхъ докучныхъ и тяжелыхъ обязанностей — и въ то же время даетъ возможность любоваться самимъ собою, своимъ превосходствомъ надъ суетной и суетливой чернью, увлекающейся безконечно малыми величинами. Нелегко сойти съ такого конька; еще труднѣе заявить во всеуслышаніе, что это—именно *конекъ*, а не конь, уносящій за облака. Золя рѣшился и на то, и на другое,—но, къ сожалѣнію, тотчасъ же влѣзъ на новаго конька, во многомъ схожаго съ прежнимъ. Политика, съ которою онъ только что помирился, опять начинаетъ внушать ему презрѣніе, не потому, чтобы она была пуста и ничтожна сама по себѣ, а потому, что ею занимаются одни пустые и ничтожные люди. Его раздражаетъ посредственность министровъ, сенаторовъ, депутатовъ; ему чудится глубокая пропасть между правительствомъ и „избранною частью“ націи (l'élite de la nation)—пропасть, существовавшая уже во времена второй имперіи, даже во времена іюльской монархіи, но теперь менѣе прикрытая и потому болѣе замѣтная, чѣмъ прежде. Лучшіе умы безцеремонно отодвигаются въ

сторону, великіе люди прямо признаются непригодными для государственной дѣятельности; управленіе страной отдается въ руки „подрядчиковъ по части общественнаго строительства“, въ руки „спеціалистовъ“, склонныхъ къ устройству своихъ личныхъ дѣлишекъ въ ущербъ общему дѣлу. Къ такому пессимистическому выводу Золя пришелъ въ особенности подъ вліяніемъ рѣзкихъ нападеній, которымъ подвергался въ печати извѣстный химикъ Бертело, пока былъ министромъ иностранныхъ дѣлъ (въ радикальномъ кабинетѣ Буржуа). На великаго ученаго, составляющаго славу современной французской науки, накинулись съ удвоенною яростью, находя какое-то дикое наслажденіе въ развѣнчаніи знаменитости, въ низведеніи ея на одинъ уровень съ толпою. Устрашенные примѣромъ Бертело, великіе умы, по мнѣнію Золя, еще болѣе прежняго будутъ держаться вдали отъ политики. Заглянувъ, такимъ образомъ, въ будущее, Золя обращается къ прошедшему и настоящему — и приходитъ къ заключенію, что чѣмъ выше дарованіе ученаго или поэта, тѣмъ меньше оно благопріятствуетъ успѣшной политической дѣятельности. Гюго въ политикѣ былъ только громко звучащею лирой; Шатобріанъ и Лямартинъ сыграли роль болѣе крупную, но скорѣе декоративную, чѣмъ плодотворную; Бальзаку, Ренану не удалось попасть въ депутаты. Изъ числа современниковъ ни Вогюэ, ни Барресъ не достигли виднаго положенія въ парламентѣ. Выдающееся мѣсто на трибунѣ или на министерской скамьѣ занимаютъ только тѣ писатели, которые разрываютъ связь съ наукой или искусствомъ (Ганото, Локруа). Не значитъ ли это, что для дѣятельнаго участія въ политикѣ нужны качества, которыхъ нѣтъ у художниковъ, литераторовъ, ученыхъ? Вмѣсто того, чтобы мечтать,—какъ мечталъ Ренанъ,—объ олигархіи талантовъ, не слѣдуетъ ли вѣрить въ медленный подъемъ средняго уровня, въ достиженіе равновѣсія, которое не нарушалось бы ни слишкомъ большою геніальностью избранныхъ умовъ, ни слишкомъ большимъ невѣжествомъ массы? „Увы,—восклицаетъ Золя, — равенство даже въ посредственности — не отъ міра сего, и пройдутъ, вѣроятно, еще цѣлые вѣка, въ продолженіе которыхъ управлять народами будутъ ораторы и дѣловые люди, а ученые, писатели, артисты, одаренные мозгомъ болѣе свободнымъ и болѣе абсолютнымъ (?!), будутъ смотрѣть на правителей, пожимая плечами, съ презрѣніемъ и гнѣвомъ“.

Какая цѣпь противорѣчій, какой длинный рядъ диссонансовъ, остающихся неразрѣшенными! Если политика „даетъ просторъ эволюціи самыхъ великихъ умовъ“, то какъ же можно утверждать, что въ ея сферѣ нѣтъ мѣста для людей творческой мысли? Если ученые

писатели, артисты оказываются въ большинствѣ случаевъ посредственными политическими дѣятелями, то есть ли поводъ сокрушаться о томъ, что страна рѣдко ввѣряетъ имъ участіе въ управленіи? Если руководство государственными дѣлами требуетъ „мозга менѣе свободнаго и менѣе абсолютнаго“, чѣмъ мозгъ мыслителей и художниковъ, то въ правѣ ли послѣдніе смотрѣть на политическихъ дѣятелей „съ презрѣніемъ и гнѣвомъ“? Развѣ можно негодовать на то, что каждый избираетъ себѣ дѣло, соотвѣтствующее его способностямъ и силамъ?... Новое воззрѣніе Золя на политику въ сущности не такъ далеко отъ прежняго, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Прежде онъ считалъ мелкими стремленія и задачи политики, теперь считаетъ мелкими, неизбѣжно мелкими людей, занимающихся политикой,—а въ рукахъ мелкихъ людей становится мелкимъ и всякое дѣло. Аргументація Золя построена на двухъ ошибкахъ: фактической и логической. Фактическая ошибка заключается въ томъ, что слишкомъ легко и поспѣшно признается доказанной неспособность ученыхъ и поэтовъ къ политической дѣятельности. Не оправдывается этотъ выводъ даже тѣми немногими примѣрами, на которые ссылается самъ Золя. Политическая роль Лямартина вовсе не была только „декоративнаго“ свойства: какъ ораторъ оппозиціи при Людовикѣ-Филиппѣ, онъ раскрывалъ съ большою мѣткостью недостатки іюльскаго режима; какъ членъ временнаго правительства 1848 г., онъ предупреждалъ, пока могъ, столкновеніе, погубившее республику. Раньше многихъ другихъ онъ понялъ опасность наполеоновскаго культа и навсегда прославилъ свое имя отмѣной смертной казни за политическія преступленія. У В. Гюго призваніе къ политической дѣятельности выразилось не такъ ясно, какъ у Лямартина, но изъ него несомнѣнно выработывался замѣчательный ораторъ, и если бы не 2-ое декабря, онъ, вѣроятно, сыгралъ бы выдающуюся роль въ государственной жизни Франціи. Останавливаясь въ своемъ обзорѣ недавняго прошлаго на однихъ лишь мастерахъ слова, и при томъ только французскаго слова, Золя упускаетъ изъ виду тѣхъ крупныхъ представителей науки, которые оставили глубокій слѣдъ въ политической исторіи своей страны: во Франціи, напримѣръ, Ройе-Колляра, Гизо, Тьера, Токвиля, Фр. Араго, въ Германіи—Нибура, Вильгельма Гумбольдта, Вирхова, въ Англіи — Маколея, Грота, Дж. Ст. Милля, Морлея.—Не менѣе существенна логическая ошибка Золя. Онъ разсуждаетъ такъ: крупные ученые, литераторы, художники рѣдко проникаютъ въ область политической жизни, еще рѣже занимаютъ въ ней видное мѣсто; ergo — ораторами и дѣловыми людьми, управляющими государствомъ, могутъ быть только посредственности Золя.

забываетъ или не хочетъ знать, что даровитыми и геніальными могутъ быть не одни только представители излюбленныхъ имъ профессій. Есть величины чисто политическія, отнюдь не уступающія самымъ крупнымъ величинамъ науки и искусства. Имя Перикла пережило вѣка наравнѣ съ именами Софокла и Аристофана, Анаксагора и Фидія; такъ же точно, по всей вѣроятности, перейдутъ въ потомство имена Штейна, Каннинга, Гладстона, Гамбетты. Конечно, въ политикѣ царятъ временами посредственности, — но вѣдь это случается и въ литературѣ: вездѣ существуетъ своего рода приливъ и отливъ, вездѣ обиліе талантовъ чередуется съ ихъ недостаткомъ. Если великіе государственные люди встрѣчаются рѣже, чѣмъ великіе писатели, то не объясняется ли это тѣмъ, что послѣдніе все черпаютъ изъ самихъ себя, тогда какъ сила, таящаяся въ первыхъ, можетъ проявиться и развернуться только при совокупности благопріятныхъ обстоятельствъ? Литературное или художественное дарованіе всегда пробьетъ себѣ дорогу; политическій талантъ легко можетъ заглохнуть, неизвѣстный даже своему обладателю, если движеніе государственной жизни совершается среди глубокой тьмы или извращается пороками избирательной системы. Чѣмъ ниже средній уровень умственный и нравственный профессіональныхъ политическихъ дѣятелей, тѣмъ яснѣе задачи представителей „писанной мысли": вмѣсто того, чтобы „пожимать плечами" и давать волю „презрѣнію и гнѣву", они должны, если могутъ, доискиваться причинъ зла и средствъ къ его устраненію. Такъ иногда поступаетъ, впрочемъ, и самъ Золя, когда остается въ своей настоящей сферѣ и *изображаетъ* дѣйствительность, не вдаваясь въ ея оцѣнку.

Итакъ, если прежнее отношеніе Золя къ политической жизни можно было формулировать въ слѣдующихъ словахъ: „политика—безполезное и скучное дѣло, годное только для глупцовъ", то въ настоящее время эта формула замѣнена другою: „политика была бы дѣломъ хорошимъ, если бы въ ней было больше мѣста для меня и мнѣ подобныхъ". Подъ тѣмъ же личнымъ угломъ зрѣнія Золя смотритъ и на литературу, и на общественную жизнь. Ему приходится, напримѣръ, говорить о только-что умершемъ поэтѣ Верленѣ—и что же онъ всего усерднѣе старается доказать?—Что Верленъ вовсе не былъ мученикомъ народной глупости, не понятымъ и не оцѣненнымъ, свободно обрекшимъ себя на бѣдность и безвѣстность. „Верленъ,— восклицаетъ Золя, — не пренебрегалъ обществомъ: общество его отвергло". Замѣчая въ молодежи стремленіе возвеличивать непризнанныхъ и одинокихъ, Золя утверждаетъ, что *настоящее* одиночество—

добровольное одиночество писателя, всецѣло отдающагося своему творчеству, чтобы сдѣлать его возможно болѣе могучимъ и высокимъ. „Онъ можетъ сходиться съ другими людьми, жить ихъ обыденною жизнью, соблюдать общепринятые обычаи, быть, повидимому, такимъ же, какъ всѣ,—и все-таки оставаться одинокимъ, если воля его независима отъ постороннихъ вліяній, если онъ дѣлаетъ только то, что хочетъ и какъ хочетъ, не обращая вниманія на оскорбленія, не сгибая колѣнъ и ни въ комъ не ища опоры“. Не подлежитъ сомнѣнію, что въ глазахъ Золя этотъ истинно-одинокій писатель (le solitaire)— не кто другой, какъ онъ самъ. Еще яснѣе мысль о самомъ себѣ выступаетъ въ другомъ мѣстѣ той же статьи, гдѣ онъ говоритъ объ учителѣ, ревниво оберегаемомъ учениками отъ всякихъ почестей, могущихъ сблизить его съ толпою. „Вы стоите слишкомъ высоко, чтобы (нуждаться въ внѣшнихъ знакахъ отличія)“— кричатъ ему со всѣхъ сторонъ его поклонники, насильно удерживая его на вершинѣ столпа, гдѣ стоять очень скучно и неудобно... Семнадцать лѣтъ тому назадъ, въ статьѣ: „Pluie de couronnes“, Золя смѣялся надъ французами, въ дѣтствѣ гоняющимися за школьными наградами, въ зрѣломъ возрастѣ и старости — за титулами и орденами; теперь онъ признаетъ даже за „одинокимъ“ (великимъ) человѣкомъ право быть просто человѣкомъ и находить удовольствіе въ томъ, въ чемъ находятъ его обыкновенные смертные. Отчего бы ему и не попасть въ кавалеры Почетнаго легіона или въ академики, если это можетъ быть ему пріятно? Въ томъ-то и дѣло, что въ 1880 г. ни то, ни другое не представляло для Золя никакой прелести, никакого интереса,—а теперь ему кажется заманчивымъ академическое кресло, уже нѣсколько лѣтъ сряду составляющее предметъ его упорныхъ домогательствъ. Въ 1880 г. онъ возставалъ, и совершенно правильно, противъ академическихъ порядковъ, въ силу которыхъ увѣнчано академіей можетъ быть только сочиненіе, представленное ей самимъ авторомъ,—а теперь онъ подчиняется аналогическому обычаю, требующему, чтобы кандидатура въ члены академіи была поставлена самимъ кандидатомъ. „Les grandes fortunes littéraires—восклицалъ Золя въ 1880 г.,—sont aux hommes libres“; теперь онъ готовъ отказаться отъ этой свободы. Въ 1880 г. онъ говорилъ о жалкомъ положеніи французской академіи, „опасная безполезность которой была бы смѣшна, если бы не была такъ плачевна; ему казалось возможнымъ, что еще до конца вѣка академія будетъ поколеблена или вовсе снесена волною. Теперь онъ, очевидно, не считаетъ ее ни жалкой, ни смѣшной, ни непрочной. Прежде различныя формы тщеславія казались ему принадлежностями дѣтскаго возраста; теперь (въ статьѣ:

„Enfin couronné!“ онъ признаетъ законность тщеславія, такъ какъ „не найдено еще средствъ иначе дѣйствовать на людей“.

Въ своемъ первомъ „походѣ“ Золя рѣдко искалъ столкновеній съ своими личными врагами, а если и скрещивалъ съ ними шпагу, то какъ истый рыцарь, воздерживаясь отъ грубыхъ словъ, отъ оскорбительныхъ обвиненій. Всю силу своихъ ударовъ онъ приберегалъ для принципіальныхъ противниковъ, хотя бы они вовсе не стояли на его дорогѣ къ успѣху. Въ „новомъ походѣ“, наоборотъ, предметомъ нападеній, и притомъ нападеній ожесточенныхъ, служатъ только литературные оппоненты Золя. Сражается ли онъ съ цѣлой ихъ группой или съ однимъ изъ нихъ, онъ одинаково даетъ волю своему раздраженію, иногда надѣвая, иногда снимая маску равнодушія. Полемическія выходки противъ него — это, по его выраженію, *жабы*, которыя онъ глотаетъ ежедневно, къ которымъ онъ такъ привыкъ, что безъ нихъ ему чего-то бы не доставало. Его издатель присылаетъ ему еженедѣльно ворохъ статей, гдѣ его поносятъ, разрываютъ на части, топчутъ въ грязь—и тогда онъ видитъ передъ собой цѣлое болото, кишащее отвратительными жабами (la crapaudière elle-même, dans son affreux pullulement). За исключеніемъ немногихъ, весьма немногихъ этюдовъ, написанныхъ добросовѣстно, съ любовью и уваженіемъ къ литературѣ, всѣ остальныя статьи, направленныя противъ Золя, раздѣляются имъ на три группы: *глупыя*—наиболѣе извинительныя, принадлежащія большею частью писателямъ начинающимъ или впавшимъ въ дѣтство; *ядовитыя* — произведенія озлобленной посредственности; *безумныя*—внушенныя религіознымъ или политическимъ фанатизмомъ. Если вѣрить Золя, всѣ разновидности полемики оставляютъ его одинаково невозмутимымъ: къ авторамъ наиболѣе ядовитыхъ статей онъ даже чувствуетъ нѣчто въ родѣ состраданія. Въ искренности *словъ* заставляетъ, однако, усомниться ихъ *тонъ*, меньше всего свидѣтельствующій о спокойствіи духа. Вотъ небольшой образчикъ, приводимый нами въ подлинникѣ, чтобы сохранить всю дышащую въ немъ злобу (рѣчь идетъ объ авторахъ „отравленныхъ“ статей): „ils suent naturellement la perfidie, comme les pins suent leur résine. Quelle rage épandue ont-ils donc dans les veines, quelle conscience de leur impuissance, pour baver ainsi sur toute création? On rêve des bassesses ignorées, des âmes laides et noires, de vilains messieurs, qui, hantés par la médiocrité de leurs oeuvres, se soulagent *) en souillant les oeuvres des autres“. Такъ не можетъ

*) Пускай читатели припомнятъ, что выраженіе se soulager имѣетъ двоякій смыслъ. Въ какомъ значеніи оно употреблено здѣсь Золя,—это ясно изъ послѣдующихъ словъ.

говорить человѣкъ, философски относящійся къ нападеніямъ. Что хладнокровіе Золя—только мнимое, въ этомъ окончательно убѣждаютъ двѣ статьи (Les droits du romancier и Les droits du critique), прямо направленныя противъ одного изъ критиковъ „Рима“. Здѣсь Золя уже не сдерживаетъ своего гнѣва, хотя и старается облечь его въ форму презрѣнія. Онъ не называетъ своего противника по имени, потому что видитъ въ немъ воплощеніе зависти и безсилія. Библіотечная крыса, кляча, ничтожество, сражающееся съ паразитами льва,—вотъ образцы эпитетовъ, которыми онъ его осыпаетъ. Отличительныя черты этого ничтожества — недобросовѣстность и глупость; его функція — ранить врага изъ засады, въ спину, оружіемъ отравленнымъ, но не отравляющимъ. Изъ-за чего же всѣ эти взрывы ярости, весь этотъ подборъ бранныхъ выраженій? Изъ-за того, что критикъ указалъ на многочисленныя выписки, сдѣланныя авторомъ „Рима“ изъ разныхъ трудовъ о вѣчномъ городѣ. Признавая самый фактъ заимствованій, Золя провозглашаетъ право романиста черпать изъ всевозможныхъ источниковъ, усвоивать себѣ результаты ученыхъ изслѣдованій, вводить ихъ, какъ составную часть, въ зданіе романа. Онъ перечисляетъ историческія, статистическія, медицинскія, техническія сочиненія, которыми онъ пользовался для разныхъ частей ругонъ-маккаровскаго цикла; онъ называетъ друзей, служившихъ ему совѣтами и указаніями, когда ему приходилось касаться музыки, архитектуры, права. Намъ кажется, что во всемъ этомъ Золя остается à côté de la question, проходитъ мимо настоящаго спорнаго пункта. Одно дѣло—подготовиться къ сочиненію романа основательнымъ изученіемъ мѣстности, эпохи, среды, къ которымъ онъ пріуроченъ, научныхъ, соціальныхъ или этическихъ проблемъ, которыя онъ затрогиваетъ; другое дѣло— прямо перенести въ романъ изъ ученаго изслѣдованія или справочной книги цѣлую вереницу фактовъ, не подвергая ихъ художественной переработкѣ. Насколько былъ правъ Золя, пользуясь для своихъ авторскихъ цѣлей всѣмъ видѣннымъ, слышаннымъ и прочитаннымъ имъ въ Римѣ и о Римѣ, настолько онъ не былъ правъ, механически вклеивая въ романъ, безъ всякихъ оговорокъ, чужія страницы. Нѣтъ надобности объяснять въ предисловіи или въ примѣчаніяхъ къ роману, съ какими сочиненіями ознакомился авторъ, чтобы овладѣть своимъ предметомъ; но по отношенію къ „Риму“ — разъ что въ его составъ вошло въ сыромъ видѣ столько посторонняго матеріала, — это было бы далеко не излишнимъ. Умолчавъ объ источникахъ, изъ которыхъ онъ черпалъ для своего „Рима“, Золя, конечно, не совершилъ плагіата—но едва ли эстетиченъ пріемъ, обращающій цѣлыя страницы романа въ отрывки изъ учебника или путеводителя.

Для славы Золя было бы лучше, если бы бо̀льшая часть статей, изданныхъ подъ заглавіемъ „Nouvelle campagne“, осталась не написанной или погребенной въ отдѣльныхъ нумерахъ „Figaro“. Центральнымъ пунктомъ „Новаго похода“ служатъ не столько идеи, которыя проводитъ Золя, какъ романистъ и теоретикъ, сколько самъ Золя, все еще не удовлетворенный успѣхомъ, все еще считающій себя не вполнѣ оцѣненнымъ, дорожащій внѣшними признаками извѣстности, не переносящій противорѣчія, не мирящійся съ регрессомъ, наступившимъ для натурализма. Спѣшимъ прибавить, что это — только одна сторона сложной натуры знаменитаго писателя. Есть другой Золя, стоящій гораздо выше автора „Новаго похода“, — Золя, написавшій лучшія страницы „Fortune des Rougon“, „Germinal“, „Paris“, Золя, способный увлекаться всѣмъ волнующимъ его время и проникать мыслью въ даль будущаго, мечтая о всеобщемъ счастьѣ. Въ недавней агитаціи по дѣлу Дрейфуса мы видѣли, если можно такъ выразиться, обоихъ Золя. Насчетъ одного — знакомаго намъ по „Новому походу“ — слѣдуетъ поставить то, что было въ этой агитаціи шумливаго, разсчитаннаго на эффектъ и на прославленіе самого агитатора; заслугу другого составляетъ упорная борьба противъ національныхъ и классовыхъ предразсудковъ, безкорыстное стремленіе къ торжеству истины и права. Изъ-за послѣдняго можно позабыть о первомъ: если въ юриспруденціи, по извѣстному французскому выраженію, la forme emporte le fond, то въ политической и соціальной жизни содержаніе, наоборотъ, перевѣшиваетъ форму.

К. Арсеньевъ.

ТѢНЬ.

(изъ одного дневника).

Сегодняшній журфиксъ у Ольховскихъ отличался обычною вялостью, и только подъ конецъ вечера всѣ мы нѣсколько оживились, когда случайно зашелъ довольно шаблонный, но ставшій вскорѣ жаркимъ разговоръ о томъ, дозволительно или недозволительно прибѣгать иногда ко лжи и обману. Маленькая и довольно хорошенькая блондинка—Марья Николаевна Перелётова, жена мѣстнаго прокурора (который самъ отсутствовалъ), съ горячей категоричностью поспѣшила высказаться на этотъ счетъ отрицательно.

— Нѣтъ, нѣтъ, никогда въ жизни! Ложь всегда останется ложью, какъ софизмъ софизмомъ, и честный человѣкъ никогда и ни при какихъ условіяхъ не долженъ позволять себѣ говорить завѣдомую неправду!

Молодой адвокатъ Орликовъ, у котораго съ хорошенькою прокурершей идетъ вѣчная кокетливая пикировка, усмѣхаясь подошелъ къ ней.

— Я вспомнилъ, что почтеннѣйшая Марья Николаевна очень часто зоветъ меня софистомъ, такъ что слова ея въ нѣкоторомъ смыслѣ могутъ быть вызовомъ мнѣ лично. Однако, я нахожу лишнимъ защищаться собственными доводами, а сошлюсь лучше на авторитетъ платоновскаго Сократа.

— Ого!... Надѣюсь, Сократъ не оправдывалъ лжи? Насколько помнится моему невѣжеству, онъ боролся съ аѳинскими софистами?

— Да, конечно. Сократъ былъ Сократомъ... но если вамъ угодно знать, и онъ дѣлалъ нѣкоторыя исключенія; допускалъ, напр., что врачъ имѣетъ право скрывать отъ своего паціента степень опасности его болѣзни, т.-е. обманывать его. Что вы на это скажете?

Марья Николаевна загорячилась.

— Позвольте, это опять софизмъ!... Какой же здѣсь обманъ? Это простой тактъ, это, наконецъ, обязанность врача...

Но тутъ всѣ зашумѣли и стали спорить. Большинство мужчинъ приняло сторону Орликова, и кто-то замѣтилъ даже, что Марья Николаевна сама говоритъ софизмы. Когда шумъ нѣсколько улегся адвокатъ продолжалъ:

— Но я пойду дальше, господа. Я буду откровененъ. Мнѣ кажется, невозможно и одного дня прожить, держась во всемъ абсолютной правды: всѣ убѣгутъ отъ такого человѣка, какъ отъ чумы... Сознательно и безсознательно, въ силу приличія, долга, такта, разсчета, мы всѣ на каждомъ шагу скрываемъ другъ отъ друга свои настоящія мысли, силимся казаться не совсѣмъ тѣмъ, что́ мы есть на дѣлѣ, и я, право, не могу себѣ представить современнаго общества, гдѣ всѣ жили бы по рецепту Марьи Николаевны.

— А вѣдь что вѣрно, то вѣрно, — согласился добродушный толстякъ Ольховскій, хозяинъ дома:—вотъ и сейчасъ, напримѣръ, мнѣ ужасно хочется ѣсть, и я все думаю, что ужъ пора бы подавать ужинъ, но вслухъ высказать эту мысль боюсь... какъ бы не разсердить хозяйку: быть можетъ, у нея тамъ въ кухнѣ какія-нибудь неисправности...

Гости засмѣялись, а расходившійся старикъ продолжалъ:

— А знаете, что́ бы я предложилъ, господа? Чтобъ скоротать остающееся до ужина время, не разскажемъ ли мы поочереди по какой-нибудь этакой исторійкѣ, когда мы кого-нибудь въ жизни обманули или просто кому-нибудь солгали... Мнѣ кажется, у каждаго изъ насъ лежитъ что-нибудь этакое на сердцѣ, вродѣ, такъ сказать, угрызенія совѣсти.

— Превосходная мысль!—подхватило нѣсколько голосовъ.

— И пускай начнутъ эту исповѣдь дамы, ихъ грѣхи всегда интереснѣе.

— Не припомнитъ ли чего-нибудь безгрѣшная Марья Николаевна?— неосторожно прибавилъ Орликовъ, и эта шутка, повидимому, вполнѣ добродушная, испортила все дѣло.

Марья Николаевна неожиданно вспыхнула, гнѣвно поднялась съ мѣста и, не удостоивъ дерзкаго даже взглядомъ, начала тотчасъ же прощаться. Выходилъ скандалъ... Ее окружили, убѣждали остаться; самъ Орликовъ что-то сконфуженно лепеталъ въ свое оправданіе, но ничто не помогло, и самолюбивая M-me Перелётова уѣхала. Хозяйка поспѣшила съ ужиномъ, чтобы загладить овладѣвшее всѣми чувство неловкости, но и ужинъ не могъ уже вернуть прежняго оживлен-

наго настроенія. Часть гостей вскорѣ увлеклась, впрочемъ, игрой въ винтъ, а другіе—и я въ томъ числѣ—поспѣшили разойтись по домамъ.

Сонъ, однако, нейдетъ, хотя уже и не рано. Глупая исторія у Ольховскихъ разстроила мнѣ нервы; этотъ отъ бездѣлья затѣянный и такъ глупо оконченный споръ задѣлъ въ моемъ сердцѣ одну давно молчавшую струну, разбередилъ старую, казалось, уже забытую боль...

Мнѣ было ровно девять лѣтъ, и я готовился къ поступленію въ гимназію. Нельзя сказать, чтобъ я былъ неспособнымъ или лѣнивымъ мальчуганомъ, но за мною водился одинъ грѣхъ — мечтательность. Да и мудрено ли? Все дѣтство свое, свѣтлое, золотое дѣтство, я провелъ въ деревнѣ, на лонѣ природы, подъ крылышкомъ у баловницы-матери, и только годъ тому назадъ меня вырвали изъ насиженнаго, дорогого гнѣзда, перевезли въ городъ, подъ кровлю угрюмаго отцовскаго дома, и отдали въ когти жеманной и придирчивой гувернантки. Начались всякаго рода муштровки, диктанты, зубрёжка французскихъ вокабулъ и проч. Ни поиграть мнѣ было не съ кѣмъ, ни душу отвести свободною, дѣтскою болтовней; ни ласки ни отъ кого, ни привѣта... Да тутъ и болѣе солидный человѣкъ взвылъ бы, пожалуй, сѣрымъ волкомъ и сталъ отдавать дань мечтательности! Весна была, къ тому же, въ полномъ разгарѣ. Приближался роковой срокъ, когда кончались гимназическія занятія, и старшій братъ мой Митя, четырнадцатилѣтній мальчикъ, долженъ былъ поѣхать на лѣто къ матери. Вставалъ вопросъ, въ которомъ заключалась для меня жизнь и смерть: отпустятъ ли и меня вмѣстѣ съ нимъ на родину? Митя, любимецъ отца, ходатайствовалъ за меня, вызываясь самолично наблюдать за тѣмъ, чтобы подъ злотворнымъ вліяніемъ деревенской обстановки не погибли уже пріобрѣтенныя мною великія научныя познанія, и я могъ явиться обратно въ городъ, на предстоявшій мнѣ вступительный экзаменъ, во всеоружіи ариѳметическихъ и всякихъ иныхъ правилъ. Отецъ непрочь былъ согласиться; но бѣда въ томъ, что онъ жилъ и мыслилъ во всемъ такъ, какъ хотѣла моя „гувернантка“ Зоя Михайловна. Послѣдняя же и слышать не желала о моемъ отъѣздѣ.

— Ахъ, чтобъ онъ опять обмужланился тамъ? Чтобъ всѣ труды мои пропали даромъ?

Моя дѣтская душа, переполненная самою лютою ненавистью къ

сторону, великіе люди прямо признаются непригодными для государственной дѣятельности; управленіе страной отдается въ руки „подрядчиковъ по части общественнаго строительства“, въ руки „спеціалистовъ“, склонныхъ къ устройству своихъ личныхъ дѣлишекъ въ ущербъ общему дѣлу. Къ такому пессимистическому выводу Золя пришелъ въ особенности подъ вліяніемъ рѣзкихъ нападеній, которымъ подвергался въ печати извѣстный химикъ Бертело, пока былъ министромъ иностранныхъ дѣлъ (въ радикальномъ кабинетѣ Буржуа). На великаго ученаго, составляющаго славу современной французской науки, накинулись съ удвоенною яростью, находя какое-то дикое наслажденіе въ развѣнчаніи знаменитости, въ низведеніи ея на одинъ уровень съ толпою. Устрашенные примѣромъ Бертело, великіе умы, по мнѣнію Золя, еще болѣе прежняго будутъ держаться вдали отъ политики. Заглянувъ, такимъ образомъ, въ будущее, Золя обращается къ прошедшему и настоящему — и приходитъ къ заключенію, что чѣмъ выше дарованіе ученаго или поэта, тѣмъ меньше оно благопріятствуетъ успѣшной политической дѣятельности. Гюго въ политикѣ былъ только громко звучащею лирой; Шатобріанъ и Лямартинъ сыграли роль болѣе крупную, но скорѣе декоративную, чѣмъ плодотворную; Бальзаку, Ренану не удалось попасть въ депутаты. Изъ числа современниковъ ни Вогюэ, ни Барресъ не достигли виднаго положенія въ парламентѣ. Выдающееся мѣсто на трибунѣ или на министерской скамьѣ занимаютъ только тѣ писатели, которые разрываютъ связь съ наукой или искусствомъ (Ганото, Локруа). Не значитъ ли это, что для дѣятельнаго участія въ политикѣ нужны качества, которыхъ нѣтъ у художниковъ, литераторовъ, ученыхъ? Вмѣсто того, чтобы мечтать,—какъ мечталъ Ренанъ,—объ олигархіи талантовъ, не слѣдуетъ ли вѣрить въ медленный подъемъ средняго уровня, въ достиженіе равновѣсія, которое не нарушалось бы ни слишкомъ большою геніальностью избранныхъ умовъ, ни слишкомъ большимъ невѣжествомъ массы? „Увы,—восклицаетъ Золя, — равенство даже въ посредственности — не отъ міра сего, и пройдутъ, вѣроятно, еще цѣлые вѣка, въ продолженіе которыхъ управлять народами будутъ ораторы и дѣловые люди, а ученые, писатели, артисты, одаренные мозгомъ болѣе свободнымъ и болѣе абсолютнымъ (?!), будутъ смотрѣть на правителей, пожимая плечами, съ презрѣніемъ и гнѣвомъ“.

Какая цѣпь противорѣчій, какой длинный рядъ диссонансовъ, остающихся неразрѣшенными! Если политика „даетъ просторъ эволюціи самыхъ великихъ умовъ“, то какъ же можно утверждать, что въ ея сферѣ нѣтъ мѣста для людей творческой мысли? Если ученые

писатели, артисты оказываются въ большинствѣ случаевъ посредственными политическими дѣятелями, то есть ли поводъ сокрушаться о томъ, что страна рѣдко ввѣряетъ имъ участіе въ управленіи? Если руководство государственными дѣлами требуетъ „мозга менѣе свободнаго и менѣе абсолютнаго“, чѣмъ мозгъ мыслителей и художниковъ, то въ правѣ ли послѣдніе смотрѣть на политическихъ дѣятелей „съ презрѣніемъ и гнѣвомъ“? Развѣ можно негодовать на то, что каждый избираетъ себѣ дѣло, соотвѣтствующее его способностямъ и силамъ?... Новое воззрѣніе Золя на политику въ сущности не такъ далеко отъ прежняго, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Прежде онъ считалъ мелкими стремленія и задачи политики, теперь считаетъ мелкими, неизбѣжно мелкими людей, занимающихся политикой,—а въ рукахъ мелкихъ людей становится мелкимъ и всякое дѣло. Аргументація Золя построена на двухъ ошибкахъ: фактической и логической. Фактическая ошибка заключается въ томъ, что слишкомъ легко и поспѣшно признается доказанной неспособность ученыхъ и поэтовъ къ политической дѣятельности. Не оправдывается этотъ выводъ даже тѣми немногими примѣрами, на которые ссылается самъ Золя. Политическая роль Лямартина вовсе не была только „декоративнаго“ свойства: какъ ораторъ оппозиціи при Людовикѣ-Филиппѣ, онъ раскрывалъ съ большою мѣткостью недостатки іюльскаго режима; какъ членъ временнаго правительства 1848 г., онъ предупреждалъ, пока могъ, столкновеніе, погубившее республику. Раньше многихъ другихъ онъ понялъ опасность наполеоновскаго культа и навсегда прославилъ свое имя отмѣной смертной казни за политическія преступленія. У В. Гюго призваніе къ политической дѣятельности выразилось не такъ ясно, какъ у Лямартина, но изъ него несомнѣнно выработывался замѣчательный ораторъ, и если бы не 2-ое декабря, онъ, вѣроятно, сыгралъ бы выдающуюся роль въ государственной жизни Франціи. Останавливаясь въ своемъ обзорѣ недавняго прошлаго на однихъ лишь мастерахъ слова, и при томъ только французскаго слова, Золя упускаетъ изъ виду тѣхъ крупныхъ представителей науки, которые оставили глубокій слѣдъ въ политической исторіи своей страны: во Франціи, напримѣръ, Ройе-Колляра, Гизо, Тьера, Токвиля, Фр. Араго, въ Германіи—Нибура, Вильгельма Гумбольдта, Вирхова, въ Англіи — Маколея, Грота, Дж. Ст. Милля, Морлея.—Не менѣе существенна логическая ошибка Золя. Онъ разсуждаетъ такъ: крупные ученые, литераторы, художники рѣдко проникаютъ въ область политической жизни, еще рѣже занимаютъ въ ней видное мѣсто; ergo — ораторами и дѣловыми людьми, управляющими государствомъ, могутъ быть только посредственности Золя.

забываетъ или не хочетъ знать, что даровитыми и геніальными могутъ быть не одни только представители излюбленныхъ имъ профессій. Есть величины чисто политическія, отнюдь не уступающія самымъ крупнымъ величинамъ науки и искусства. Имя Перикла пережило вѣка наравнѣ съ именами Софокла и Аристофана, Анаксагора и Фидія; такъ же точно, по всей вѣроятности, перейдутъ въ потомство имена Штейна, Каннинга, Гладстона, Гамбетты. Конечно, въ политикѣ царятъ временами посредственности, — но вѣдь это случается и въ литературѣ; вездѣ существуетъ своего рода приливъ и отливъ, вездѣ обиліе талантовъ чередуется съ ихъ недостаткомъ. Если великіе государственные люди встрѣчаются рѣже, чѣмъ великіе писатели, то не объясняется ли это тѣмъ, что послѣдніе все черпаютъ изъ самихъ себя, тогда какъ сила, таящаяся въ первыхъ, можетъ проявиться и развернуться только при совокупности благопріятныхъ обстоятельствъ? Литературное или художественное дарованіе всегда пробьетъ себѣ дорогу; политическій талантъ легко можетъ заглохнуть, неизвѣстный даже своему обладателю, если движеніе государственной жизни совершается среди глубокой тьмы или извращается пороками избирательной системы. Чѣмъ ниже средній уровень умственный и нравственный профессіональныхъ политическихъ дѣятелей, тѣмъ яснѣе задачи представителей „писанной мысли“: вмѣсто того, чтобы „пожимать плечами“ и давать волю „презрѣнію и гнѣву“, они должны, если могутъ, доискиваться причинъ зла и средствъ къ его устраненію. Такъ иногда поступаетъ, впрочемъ, и самъ Золя, когда остается въ своей настоящей сферѣ и *изображаетъ* дѣйствительность, не вдаваясь въ ея оцѣнку.

Итакъ, если прежнее отношеніе Золя къ политической жизни можно было формулировать въ слѣдующихъ словахъ: „политика—безполезное и скучное дѣло, годное только для глупцовъ“, то въ настоящее время эта формула замѣнена другою: „политика была бы дѣломъ хорошимъ, если бы въ ней было больше мѣста для меня и мнѣ подобныхъ“. Подъ тѣмъ же личнымъ угломъ зрѣнія Золя смотритъ и на литературу, и на общественную жизнь. Ему приходится, напримѣръ, говорить о только-что умершемъ поэтѣ Верленѣ—и что же онъ всего усерднѣе старается доказать?—Что Верленъ вовсе не былъ мученикомъ народной глупости, не понятымъ и не оцѣненнымъ, свободно обрекшимъ себя на бѣдность и безвѣстность. „Верленъ,— восклицаетъ Золя, — не пренебрегалъ обществомъ: общество его отвергло“. Замѣчая въ молодежи стремленіе возвеличивать непризнанныхъ и одинокихъ, Золя утверждаетъ, что *настоящее* одиночество—

добровольное одиночество писателя, всецѣло отдающагося своему творчеству, чтобы сдѣлать его возможно болѣе могучимъ и высокимъ. „Онъ можетъ сходиться съ другими людьми, жить ихъ обыденною жизнью, соблюдать общепринятые обычаи, быть, повидимому, такимъ же, какъ всѣ,—и все-таки оставаться одинокимъ, если воля его независима отъ постороннихъ вліяній, если онъ дѣлаетъ только то, что хочетъ и какъ хочетъ, не обращая вниманія на оскорбленія, не сгибая колѣнъ и ни въ комъ не ища опоры“. Не подлежитъ сомнѣнію, что въ глазахъ Золя этотъ истинно-одинокій писатель (le solitaire)—не кто другой, какъ онъ самъ. Еще яснѣе мысль о самомъ себѣ выступаетъ въ другомъ мѣстѣ той же статьи, гдѣ онъ говоритъ объ учителѣ, ревниво оберегаемомъ учениками отъ всякихъ почестей, могущихъ сблизить его съ толпою. „Вы стоите слишкомъ высоко, чтобы (нуждаться въ внѣшнихъ знакахъ отличія)“— кричатъ ему со всѣхъ сторонъ его поклонники, насильно удерживая его на вершинѣ столпа, гдѣ стоять очень скучно и неудобно... Семнадцать лѣтъ тому назадъ, въ статьѣ: „Pluie de couronnes“, Золя смѣялся надъ французами, въ дѣтствѣ гоняющимися за школьными наградами, въ зрѣломъ возрастѣ и старости — за титулами и орденами; теперь онъ признаетъ даже за „одинокимъ“ (великимъ) человѣкомъ право быть просто человѣкомъ и находить удовольствіе въ томъ, въ чемъ находятъ его обыкновенные смертные. Отчего бы ему и не попасть въ кавалеры Почетнаго легіона или въ академики, если это можетъ быть ему пріятно? Въ томъ-то и дѣло, что въ 1880 г. ни то, ни другое не представляло для Золя никакой прелести, никакого интереса,—а теперь ему кажется заманчивымъ академическое кресло, уже нѣсколько лѣтъ сряду составляющее предметъ его упорныхъ домогательствъ. Въ 1880 г. онъ возставалъ, и совершенно правильно, противъ академическихъ порядковъ, въ силу которыхъ увѣнчано академіей можетъ быть только сочиненіе, представленное ей самимъ авторомъ,—а теперь онъ подчиняется аналогическому обычаю, требующему, чтобы кандидатура въ члены академіи была поставлена самимъ кандидатомъ. „Les grandes fortunes littéraires—восклицалъ Золя въ 1880 г.,—sont aux hommes libres“; теперь онъ готовъ отказаться отъ этой свободы. Въ 1880 г. онъ говорилъ о жалкомъ положеніи французской академіи, „опасная безполезность которой была бы смѣшна, если бы не была такъ плачевна; ему казалось возможнымъ, что еще до конца вѣка академія будетъ поколеблена или вовсе снесена волною. Теперь онъ, очевидно, не считаетъ ее ни жалкой, ни смѣшной, ни непрочной. Прежде различныя формы тщеславія казались ему принадлежностями дѣтскаго возраста; теперь (въ статьѣ:

„Enfin couronné!“ онъ признаетъ законность тщеславія, такъ какъ „не найдено еще средствъ иначе дѣйствовать на людей“.

Въ своемъ первомъ „походѣ“ Золя рѣдко искалъ столкновеній съ своими личными врагами, а если и скрещивалъ съ ними шпагу, то какъ истый рыцарь, воздерживаясь отъ грубыхъ словъ, отъ оскорбительныхъ обвиненій. Всю силу своихъ ударовъ онъ приберегалъ для принципіальныхъ противниковъ, хотя бы они вовсе не стояли на его дорогѣ къ успѣху. Въ „новомъ походѣ“, наоборотъ, предметомъ нападеній, и притомъ нападеній ожесточенныхъ, служатъ только литературные оппоненты Золя. Сражается ли онъ съ цѣлой ихъ группой или съ однимъ изъ нихъ, онъ одинаково даетъ волю своему раздраженію, иногда надѣвая, иногда снимая маску равнодушія. Полемическія выходки противъ него — это, по его выраженію, *жабы*, которыя онъ глотаетъ ежедневно, къ которымъ онъ такъ привыкъ, что безъ нихъ ему чего-то бы не доставало. Его издатель присылаетъ ему еженедѣльно ворохъ статей, гдѣ его поносятъ, разрываютъ на части, топчутъ въ грязь—и тогда онъ видитъ передъ собой цѣлое болото, кишащее отвратительными жабами (la crapaudière elle-même, dans son affreux pullulement). За исключеніемъ немногихъ, весьма немногихъ этюдовъ, написанныхъ добросовѣстно, съ любовью и уваженіемъ къ литературѣ, всѣ остальныя статьи, направленныя противъ Золя, раздѣляются имъ на три группы: *глупыя*—наиболѣе извинительныя, принадлежащія большею частью писателямъ начинающимъ или впавшимъ въ дѣтство; *ядовитыя* — произведенія озлобленной посредственности; *безумныя*—внушенныя религіознымъ или политическимъ фанатизмомъ. Если вѣрить Золя, всѣ разновидности полемики оставляютъ его одинаково невозмутимымъ: къ авторамъ наиболѣе ядовитыхъ статей онъ даже чувствуетъ нѣчто въ родѣ состраданія. Въ искренности *словъ* заставляетъ, однако, усомниться ихъ *тонъ*, меньше всего свидѣтельствующій о спокойствіи духа. Вотъ небольшой образчикъ, приводимый нами въ подлинникѣ, чтобы сохранить всю дышащую въ немъ злобу (рѣчь идетъ объ авторахъ „отравленныхъ“ статей): „ils suent naturellement la perfidie, comme les pins suent leur résine. Quelle rage épandue ont-ils donc dans les veines, quelle conscience de leur impuissance, pour baver ainsi sur toute création? On rêve des bassesses ignorées, des âmes laides et noires, de vilains messieurs, qui, hantés par la médiocrité de leurs oeuvres, se soulagent *) en souillant les oeuvres des autres“. Такъ не можетъ

*) Пускай читатели припомнятъ, что выраженіе se soulager имѣетъ двоякій смыслъ. Въ какомъ значеніи оно употреблено здѣсь Золя,—это ясно изъ послѣдующихъ словъ.

говорить человѣкъ, философски относящійся къ нападеніямъ. Что хладнокровіе Золя—только мнимое, въ этомъ окончательно убѣждаютъ двѣ статьи (Les droits du romancier и Les droits du critique), прямо направленныя противъ одного изъ критиковъ „Рима“. Здѣсь Золя уже не сдерживаетъ своего гнѣва, хотя и старается облечь его въ форму презрѣнія. Онъ не называетъ своего противника по имени, потому что видитъ въ немъ воплощеніе зависти и безсилія. Библіотечная крыса, кляча, ничтожество, сражающееся съ паразитами льва,—вотъ образцы эпитетовъ, которыми онъ его осыпаетъ. Отличительныя черты этого ничтожества — недобросовѣстность и глупость; его функція — ранить врага изъ засады, въ спину, оружіемъ отравленнымъ, но не отравляющимъ. Изъ-за чего же всѣ эти взрывы ярости, весь этотъ подборъ бранныхъ выраженій? Изъ-за того, что критикъ указалъ на многочисленныя выписки, сдѣланныя авторомъ „Рима“ изъ разныхъ трудовъ о вѣчномъ городѣ. Признавая самый фактъ заимствованій, Золя провозглашаетъ право романиста черпать изъ всевозможныхъ источниковъ, усвоивать себѣ результаты ученыхъ изслѣдованій, вводить ихъ, какъ составную часть, въ зданіе романа. Онъ перечисляетъ историческія, статистическія, медицинскія, техническія сочиненія, которыми онъ пользовался для разныхъ частей ругонъ-маккаровскаго цикла; онъ называетъ друзей, служившихъ ему совѣтами и указаніями, когда ему приходилось касаться музыки, архитектуры, права. Намъ кажется, что во всемъ этомъ Золя остается à côté de la question, проходитъ мимо настоящаго спорнаго пункта. Одно дѣло—подготовиться къ сочиненію романа основательнымъ изученіемъ мѣстности, эпохи, среды, къ которымъ онъ пріуроченъ, научныхъ, соціальныхъ или этическихъ проблемъ, которыя онъ затрогиваетъ; другое дѣло—прямо перенести въ романъ изъ ученаго изслѣдованія или справочной книги цѣлую вереницу фактовъ, не подвергая ихъ художественной переработкѣ. Насколько былъ правъ Золя, пользуясь для своихъ авторскихъ цѣлей всѣмъ видѣннымъ, слышаннымъ и прочитаннымъ имъ въ Римѣ и о Римѣ, настолько онъ не былъ правъ, механически вклеивая въ романъ, безъ всякихъ оговорокъ, чужія страницы. Нѣтъ надобности объяснять въ предисловіи или въ примѣчаніяхъ къ роману, съ какими сочиненіями ознакомился авторъ, чтобы овладѣть своимъ предметомъ; но по отношенію къ „Риму“ — разъ что въ его составъ вошло въ сыромъ видѣ столько посторонняго матеріала, — это было бы далеко не излишнимъ. Умолчавъ объ источникахъ, изъ которыхъ онъ черпалъ для своего „Рима“, Золя, конечно, не совершилъ плагіата—но едва ли эстетиченъ пріемъ, обращающій цѣлыя страницы романа въ отрывки изъ учебника или путеводителя.

Для славы Золя было бы лучше, если бы бо́льшая часть статей, изданныхъ подъ заглавіемъ „Nouvelle campagne“, осталась не написанной или погребенной въ отдѣльныхъ нумерахъ „Figaro“. Центральнымъ пунктомъ „Новаго похода“ служатъ не столько идеи, которыя проводитъ Золя, какъ романистъ и теоретикъ, сколько самъ Золя, все еще не удовлетворенный успѣхомъ, все еще считающій себя не вполнѣ оцѣненнымъ, дорожащій внѣшними признаками извѣстности, не переносящій противорѣчія, не мирящійся съ регрессомъ, наступившимъ для натурализма. Спѣшимъ прибавить, что это — только одна сторона сложной натуры знаменитаго писателя. Есть другой Золя, стоящій гораздо выше автора „Новаго похода“, — Золя, написавшій лучшія страницы „Fortune des Rougon“, „Germinal“, „Paris“, Золя, способный увлекаться всѣмъ волнующимъ его время и проникать мыслью въ даль будущаго, мечтая о всеобщемъ счастьѣ. Въ недавней агитаціи по дѣлу Дрейфуса мы видѣли, если можно такъ выразиться, обоихъ Золя. Насчетъ одного — знакомаго намъ по „Новому походу“ — слѣдуетъ поставить то, что было въ этой агитаціи шумливаго, разсчитаннаго на эффектъ и на прославленіе самого агитатора; заслугу другого составляетъ упорная борьба противъ національныхъ и классовыхъ предразсудковъ, безкорыстное стремленіе къ торжеству истины и права. Изъ-за послѣдняго можно позабыть о первомъ: если въ юриспруденціи, по извѣстному французскому выраженію, la forme emporte le fond, то въ политической и соціальной жизни содержаніе, наоборотъ, перевѣшиваетъ форму.

К. Арсеньевъ.

ТѢНЬ.

(ИЗЪ ОДНОГО ДНЕВНИКА).

Сегодняшній журфиксъ у Ольховскихъ отличался обычною вялостью, и только подъ конецъ вечера всѣ мы нѣсколько оживились, когда случайно зашелъ довольно шаблонный, но ставшій вскорѣ жаркимъ разговоръ о томъ, дозволительно или недозволительно прибѣгать иногда ко лжи и обману. Маленькая и довольно хорошенькая блондинка—Марья Николаевна Перелётова, жена мѣстнаго прокурора (который самъ отсутствовалъ), съ горячей категоричностью поспѣшила высказаться на этотъ счетъ отрицательно.

— Нѣтъ, нѣтъ, никогда въ жизни! Ложь всегда останется ложью, какъ софизмъ софизмомъ, и честный человѣкъ никогда и ни при какихъ условіяхъ не долженъ позволять себѣ говорить завѣдомую неправду!

Молодой адвокатъ Орликовъ, у котораго съ хорошенькою прокуроршей идетъ вѣчная кокетливая пикировка, усмѣхаясь подошелъ къ ней.

— Я вспомнилъ, что почтеннѣйшая Марья Николаевна очень часто зоветъ меня софистомъ, такъ что слова ея въ нѣкоторомъ смыслѣ могутъ быть вызовомъ мнѣ лично. Однако, я нахожу лишнимъ защищаться собственными доводами, а сошлюсь лучше на авторитетъ платоновскаго Сократа.

— Ого!... Надѣюсь, Сократъ не оправдывалъ лжи? Насколько помнится моему невѣжеству, онъ боролся съ аѳинскими софистами?

— Да, конечно. Сократъ былъ Сократомъ... но если вамъ угодно знать, и онъ дѣлалъ нѣкоторыя исключенія; допускалъ, напр., что врачъ имѣетъ право скрывать отъ своего паціента степень опасности его болѣзни, т.-е. обманывать его. Что вы на это скажете?

Марья Николаевна загорячилась.

— Позвольте, это опять софизмъ!... Какой же здѣсь обманъ? Это простой тактъ, это, наконецъ, обязанность врача...

Но тутъ всѣ зашумѣли и стали спорить. Большинство мужчинъ приняло сторону Орликова, и кто-то замѣтилъ даже, что Марья Николаевна сама говоритъ софизмы. Когда шумъ нѣсколько улегся адвокатъ продолжалъ:

— Но я пойду дальше, господа. Я буду откровененъ. Мнѣ кажется, невозможно и одного дня прожить, держась во всемъ абсолютной правды: всѣ убѣгутъ отъ такого человѣка, какъ отъ чумы... Сознательно и безсознательно, въ силу приличія, долга, такта, разсчета, мы всѣ на каждомъ шагу скрываемъ другъ отъ друга свои настоящія мысли, силимся казаться не совсѣмъ тѣмъ, что́ мы есть на дѣлѣ, и я, право, не могу себѣ представить современнаго общества, гдѣ всѣ жили бы по рецепту Марьи Николаевны.

— А вѣдь что вѣрно, то вѣрно, — согласился добродушный толстякъ Ольховскій, хозяинъ дома:—вотъ и сейчасъ, напримѣръ, мнѣ ужасно хочется ѣсть, и я все думаю, что ужъ пора бы подавать ужинъ, но вслухъ высказать эту мысль боюсь... какъ бы не разсердить хозяйку: быть можетъ, у нея тамъ въ кухнѣ какія-нибудь неисправности...

Гости засмѣялись, а расходившійся старикъ продолжалъ:

— А знаете, что́ бы я предложилъ, господа? Чтобъ скоротать остающееся до ужина время, не разскажемъ ли мы поочереди по какой-нибудь этакой исторійкѣ, когда мы кого-нибудь въ жизни обманули или просто кому-нибудь солгали... Мнѣ кажется, у каждаго изъ насъ лежитъ что-нибудь этакое на сердцѣ, вродѣ, такъ сказать, угрызенія совѣсти.

— Превосходная мысль!—подхватило нѣсколько голосовъ.

— И пускай начнутъ эту исповѣдь дамы, ихъ грѣхи всегда интереснѣе.

— Не припомнитъ ли чего-нибудь безгрѣшная Марья Николаевна?— неосторожно прибавилъ Орликовъ, и эта шутка, повидимому, вполнѣ добродушная, испортила все дѣло.

Марья Николаевна неожиданно вспыхнула, гнѣвно поднялась съ мѣста и, не удостоивъ дерзкаго даже взглядомъ, начала тотчасъ же прощаться. Выходилъ скандалъ... Ее окружили, убѣждали остаться; самъ Орликовъ что-то сконфуженно лепеталъ въ свое оправданіе, но ничто не помогло, и самолюбивая M-me Перелётова уѣхала. Хозяйка поспѣшила съ ужиномъ, чтобы загладить овладѣвшее всѣми чувство неловкости, но и ужинъ не могъ уже вернуть прежняго оживлен-

наго настроенія. Часть гостей вскорѣ увлеклась, впрочемъ, игрой въ винтъ, а другіе—и я въ томъ числѣ—поспѣшили разойтись по домамъ.

Сонъ, однако, нейдетъ, хотя уже и не рано. Глупая исторія у Ольховскихъ разстроила мнѣ нервы; этотъ отъ бездѣлья затѣянный и такъ глупо оконченный споръ задѣлъ въ моемъ сердцѣ одну давно молчавшую струну, разбередилъ старую, казалось, уже забытую боль...

Мнѣ было ровно девять лѣтъ, и я готовился къ поступленію въ гимназію. Нельзя сказать, чтобъ я былъ неспособнымъ или лѣнивымъ мальчуганомъ, но за мною водился одинъ грѣхъ — мечтательность. Да и мудрено ли? Все дѣтство свое, свѣтлое, золотое дѣтство, я провелъ въ деревнѣ, на лонѣ природы, подъ крылышкомъ у баловницы-матери, и только годъ тому назадъ меня вырвали изъ насиженнаго, дорогого гнѣзда, перевезли въ городъ, подъ кровлю угрюмаго отцовскаго дома, и отдали въ когти жеманной и придирчивой гувернантки. Начались всякаго рода муштровки, диктанты, зубрёжка французскихъ вокабулъ и проч. Ни поиграть мнѣ было не съ кѣмъ, ни душу отвести свободною, дѣтскою болтовней; ни ласки ни отъ кого, ни привѣта... Да тутъ и болѣе солидный человѣкъ взвылъ бы, пожалуй, сѣрымъ волкомъ и сталъ отдавать дань мечтательности! Весна была, къ тому же, въ полномъ разгарѣ. Приближался роковой срокъ, когда кончались гимназическія занятія, и старшій братъ мой Митя, четырнадцатилѣтній мальчикъ, долженъ былъ поѣхать на лѣто къ матери. Вставалъ вопросъ, въ которомъ заключалась для меня жизнь и смерть: отпустятъ ли и меня вмѣстѣ съ нимъ на родину? Митя, любимецъ отца, ходатайствовалъ за меня, вызываясь самолично наблюдать за тѣмъ, чтобы подъ злотворнымъ вліяніемъ деревенской обстановки не погибли уже пріобрѣтенныя мною великія научныя познанія, и я могъ явиться обратно въ городъ, на предстоявшій мнѣ вступительный экзаменъ, во всеоружіи ариѳметическихъ и всякихъ иныхъ правилъ. Отецъ непрочь былъ согласиться; но бѣда въ томъ, что онъ жилъ и мыслилъ во всемъ такъ, какъ хотѣла моя „гувернантка“ Зоя Михайловна. Послѣдняя же и слышать не желала о моемъ отъѣздѣ.

— Ахъ, чтобъ онъ опять обмужланился тамъ? Чтобъ всѣ труды мои пропали даромъ?

Моя дѣтская душа, переполненная самою лютою ненавистью къ

Зоѣ Михайловнѣ, недоумѣвала: зачѣмъ я понадобился ей? Зачѣмъ она такъ цѣпляется за меня, когда всѣ „труды“ ея со мною заключались въ томъ, что она била меня линейкой по рукамъ и задавала зубрить „съ этихъ до этихъ“? Но Митя понималъ дѣло отлично.

— Просто ей стыдно, дряни, оставаться жить у насъ безъ всякаго предлога; а она вѣдь все равно останется и безъ тебя!

Тѣмъ не менѣе въ одно прекрасное утро, послѣ того, какъ наканунѣ Зоя Михайловна устроила съ отцомъ генеральное совѣщаніе насчетъ моей будущности и, таинственно запершись съ нимъ въ кабинетѣ, провела тамъ весь вечеръ, отецъ объявилъ торжественно, что Зоя Михайловна отпускаетъ меня къ матери, но что я долженъ цѣнить такое ея благодѣяніе, усиленно готовиться въ деревнѣ къ экзамену, а не бить баклуши; въ видѣ благодарности я долженъ былъ подойти къ Зоѣ Михайловнѣ и приложиться къ ея пухлой, бѣлой рукѣ. Я просто ошалѣлъ отъ радости... Выслушивая суровое наставленіе отца, я слышалъ только звуки его голоса, рѣзкаго и нѣсколько хриповатаго, не вникая въ ихъ смыслъ, и они казались мнѣ слаще райскаго пѣнія. Въ эту минуту я все простилъ и Зоѣ Михайловнѣ, всѣ ея неправды и нанесенныя мнѣ обиды; ея всегда кислое и злое лицо показалось мнѣ внезапно милымъ и добрымъ, и я почти съ искреннимъ чувствомъ поцѣловалъ еще недавно ненавистную руку. Когда я вышелъ отъ отца, каждая жилка прыгала во мнѣ отъ бѣшенаго восторга, и только страхъ помѣшалъ мнѣ выкинуть какой-нибудь дикій пируэтъ, отъ котораго вся посуда въ столовой попадала бы со стола на полъ. Свиданіе съ нею, нашею желанной, любимой мамочкой! Съ бѣдною голубочкой, одиноко живущей въ глухой деревушкѣ, безъ любимыхъ дѣтей, тоскуя и увядая, какъ цвѣтокъ безъ воды! Наконецъ-то опять увижу я и родимыя мѣста, нашъ сѣренькій домикъ и подлѣ него сосновую рощу, синѣющій вдали темный боръ, а подъ горой — извилистую рѣчку Безымянку. Какъ все живо встало въ моемъ воображеніи; какъ захотѣлось скорѣе, на крыльяхъ птицы, помчаться туда къ дорогимъ людямъ, къ дорогимъ мѣстамъ!

Было субботнее прекрасное майское утро. Митя ушелъ на свой послѣдній экзаменъ; отецъ—на службу въ уѣздный судъ (доживавшій тогда тоже послѣдніе дни). Зоя Михайловна отправилась съ служанкой на базаръ, строго наказавъ мнѣ хорошенько учиться, но ученье не лѣзло мнѣ въ голову. Солнце такъ ярко свѣтило въ окно и зароняло въ душу такіе золотые сны и грезы. Вдругъ я увидѣлъ, какъ во дворѣ дѣти нашихъ жильцовъ, маленькая дѣвочка и мальчикъ, играя, возятъ песокъ въ дѣтской телѣжкѣ. Я такъ давно не

игралъ ни въ какую игру, такъ давно не бѣгалъ съ дѣтьми... Одно мгновеніе—и книги, тетрадки были брошены, я выскочилъ на дворъ къ дѣтямъ и, несмотря на то, что они были значительно моложе меня, дружба между нами завязалась очень быстро. Въ маленькой телѣжкѣ мы свозили въ одну большую кучу песокъ и воздвигали изъ него стѣны неприступной крѣпости. Я, какъ истый мечтатель и фантазеръ, взялъ на себя роль инженера. Дѣло кипѣло и двигалось на всѣхъ парахъ, какъ вдругъ за нашей спиной послышался вкрадчивый голосъ:

— Дѣтки, что вы тутъ дѣлаете?

Я выронилъ изъ рукъ лопату и хотѣлъ было удариться на-утекъ; мои новые друзья тоже остановились въ недоумѣніи; но лицо заговорившаго господина было такъ благодушно, улыбка такъ добра, а невинные голубые глаза такъ ласкали насъ, что испугъ тотчасъ же смѣнился чувствомъ самаго довѣрчиваго благорасположенія.

— Мы строимъ крѣпость,—отвѣчалъ я съ смущенною улыбкой.

— Ага, такъ нужно вѣдь построить и башню на валу?—сказалъ ласковый господинъ и съ этими словами, положивъ портфель, который держалъ подъ мышкой, на траву и засучивъ рукава, взялъ меня изъ рукъ лопатку и нѣсколькими искусными ударами ея построилъ башню.

Мы дѣти были въ восхищеніи. Ласковый господинъ тоже весело смѣялся, такъ что даже котлетообразныя бакенбарды его дрожали отъ смѣха. Мое маленькое забитое и запуганное сердце переполнилось къ нему чувствомъ величайшей благодарности.

— А теперь, молодые люди, — сказалъ господинъ, усаживаясь вмѣстѣ съ нами на траву,—побесѣдуемъ о болѣе серьёзныхъ вещахъ. Окажите мнѣ одну услугу.

— Услугу? О, какую угодно!

— Вѣдь у васъ во дворѣ жилъ во флигелѣ сапожникъ Гавриленковъ?

— У насъ, у насъ!

— Каковъ онъ былъ на видъ?

— Черный, высокій.

— Совершенно вѣрно. Вотъ позвольте, я запишу сейчасъ. Но какъ же это мы не познакомились еще до сихъ поръ: какъ ваше имя и фамилія, молодой человѣкъ?

— Витя... Викторъ Луговской.

— Ахъ, какая хорошая фамилія. Вашъ папенька судья?

— Да, судья.

— Превосходнѣйшій человѣкъ. Такъ это вы сынокъ его? Пріятно,

очень пріятно. Надѣюсь, мы будемъ пріятелями? Такъ вы, говорите, хорошо были знакомы съ Гавриленковымъ?

— О, да. Онъ шилъ вѣдь папѣ сапоги... И мнѣ тоже.

— А у него въ квартирѣ вы бывали?

— Нѣтъ... (съ нѣкоторымъ недовольствомъ въ голосѣ).

— Ну, можетъ быть, онъ разсказывалъ вамъ что-нибудь о своей жизни, о своей семьѣ?

— Нѣтъ...

Еще большая тѣнь недовольства омрачила мое лицо: я не могъ удовлетворить любознательности своего новаго друга.

— Но вамъ случалось съ нимъ о чемъ-нибудь другомъ бесѣдовать?

— О, да. У насъ большой, пребольшой садъ позади дома—вонъ тамъ. И тамъ есть огромная, огромная ель. Такой высокой ели во всемъ городѣ нѣтъ; ее еще съ другой улицы видно. Тамъ есть воронье гнѣздо. И Гавриленковъ доставалъ мнѣ оттуда воронятъ. Онъ такой ловкій. Въ одну минуту взобрался на дерево, на самую верхушку... Настоящая бѣлка!

— Такой ловкій? Это любопытно. Позвольте, я запишу. А вотъ что еще скажите мнѣ, милый Витя: не видали ли вы, чтобы Гавриленковъ носилъ когда-нибудь къ себѣ на квартиру или отъ себя на улицу какіе-нибудь сундуки, узлы, вообще вещи?

Я задумался. Вдругъ точно лучъ солнца озарилъ внезапно мой мозгъ. Я вспомнилъ.

— Видѣлъ, видѣлъ.

— Что же именно вы видѣли?

— Разъ утромъ сапожникъ пронесъ къ себѣ огромный, огромный узелъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? Это было давно или недавно?

— Не очень давно. Скоро послѣ того Гавриленковъ и съѣхалъ отъ насъ. Его, говорятъ, въ острогъ посадили.

— Неужели въ острогъ? Скажите, пожалуйста, какой мерзавецъ.

— Да, и я больше не видалъ его. Они вотъ потомъ переѣхали къ намъ.

— Мы переѣхали,—пролепетала дѣвочка.

— Ну, и какой же это былъ узелъ? Какого цвѣта?

— Бѣлый, большой... Скатерть, и въ ней вещи.

— Какого же рода вещи, вы не замѣтили?

— Тоже что-то бѣлое... Вѣрно, бѣлье.

— Ну, конечно, бѣлье. Прекрасно, прекрасно, юноша. Ну, а куда же отнесъ Гавриленковъ этотъ узелъ?

— Не знаю... Я смотрѣлъ изъ окна своей комнаты, вонъ изъ того окна. Онъ быстро вошелъ въ калитку, держа въ рукахъ узелъ, и скрылся за стѣной дома.

— А могъ онъ пройти съ этимъ узломъ въ садъ?

— Могъ, могъ. Садъ у насъ никогда не запирается.

— Никогда? Отлично, это все, что мнѣ нужно. А теперь прощайте, дѣти, играйте себѣ, играйте, на то вамъ и красное дѣтство дано!

И ласковый господинъ, поднявъ свой портфель, торопливо удалился прочь, даже не поглядѣвъ на меня. И лицо его показалось мнѣ уже не такимъ добрымъ, и голосъ какъ будто нѣсколько суше. Я почувствовалъ легкое раздраженіе и даже обиду...

Однако, впечатлѣніе это быстро изгладилось; изъ головы моей выскочили и Гавриленковъ, и разспрашивавшій о немъ вкрадчивый господинъ, и я продолжалъ строить крѣпость, а потомъ побѣжалъ домой учиться.

Митя вернулся съ экзамена сіяющій: онъ выдержалъ его блистательно и не далѣе, какъ на дняхъ могъ ѣхать къ матери. Обыкновенно серьёзный не по лѣтамъ мальчикъ, онъ теперь безумствовалъ отъ восторга, бѣгалъ по двору, боролся со мною какимъ-то особеннымъ способомъ и громко выкрикивалъ, должно быть, вычитанное изъ учебника древней исторіи выраженіе:

— Варварійская борьба!...

Не понимая его значенія, я повторялъ въ дикомъ весельи:

— Барбарисская бурьба!...

Веселье наше прервано было неожиданнымъ появленіемъ отца. Онъ почти влетѣлъ въ калитку, взволнованный, красный: въ высшей степени раздраженный.

— Викторъ, ты что тутъ надѣлалъ!

У меня сердце замерло: что же я такое надѣлалъ?...

— Иди за мной въ комнату.

Ни живъ, ни мертвъ, отправился я въ кабинетъ отца. Онъ плотно притворилъ дверь, подозвалъ меня къ себѣ и спросилъ строгимъ голосомъ:

— Что ты болталъ тамъ судебному слѣдователю про Гавриленкова?

— Судебному слѣдователю?

Въ дѣтскомъ умѣ, какъ рядъ ослѣпительныхъ молній, мелькнула цѣлая вереница мыслей — и мнѣ все стало понятнымъ. Раньше я слышалъ отъ другихъ и самъ не разъ повторялъ чисто-механически, что „Гавриленкова посадили въ острогъ“, думая, вѣроятно, что его просто позвали туда шить сапоги...

Но теперь я вспомнилъ и то, что собственными глазами видалъ не разъ этотъ „острогъ“, большое, бѣлое зданіе, стоящее одиноко за городомъ, обнесенное высокимъ частоколомъ, охраняемое солдатомъ съ ружьемъ на плечѣ, — и то, что въ зданіи этомъ, какъ приходилось мнѣ слышать, сидятъ люди, совершившіе что-либо дурное, гадкое, укравшіе деньги, убившіе человѣка... Несомнѣнно, что и Гавриленкова обвиняли въ чемъ-нибудь такомъ же... Но меня самого столько разъ обвиняли Богъ знаетъ въ чемъ, и даже жестоко наказывали, между тѣмъ какъ я былъ невиненъ, какъ голубь! Такъ зачѣмъ же разсказалъ я слѣдователю про Гавриленкова? А если я повредилъ ему этимъ разсказомъ? Что мнѣ дурного сдѣлалъ Гавриленковъ? Не получая и не ожидая никакой награды, онъ былъ всегда такъ добръ и ласковъ со мною: возилъ меня, точно лошадь, на своей спинѣ, лазилъ за воронятами на самую высокую ель въ городѣ, рискуя сломить шею...

А слѣдователь—какимъ онъ оказался хитрымъ, противнымъ! какъ онъ предательски поступилъ со мною! Когда все выспросилъ, то сразу сдѣлался сухимъ и холоднымъ...

И вдругъ смертельная блѣдность испуга, покрывавшая мое лицо, смѣнилась яркимъ, жгучимъ румянцемъ стыда: вѣдь я не все разсказалъ судебному слѣдователю, вѣдь самое-то главное, что, навѣрное, измѣнило бы мое показаніе въ пользу Гавриленкова, я утаилъ!...

— Повтори же мнѣ все, отъ слова до слова, что ты сказалъ этому ищейкѣ. Если я найду хоть одно слово разницы, если окажется, что ты навралъ, я запорю тебя! Такъ и знай: за—по—рю!

Дрожа съ ногъ до головы, я повторилъ все отъ слова до слова, опять утаивъ самое главное: я дѣйствительно видѣлъ Гавриленкова идущимъ съ узломъ въ рукахъ, но въ сопровожденіи... околодочнаго надзирателя.

Почему не сказалъ я объ этомъ слѣдователю? Прежде всего потому, конечно, что онъ не спросилъ меня, былъ ли Гавриленковъ одинъ. Я увѣренъ, что, будь этотъ вопросъ мнѣ заданъ, я, — хотя, быть можетъ, и съ тайнымъ сожалѣніемъ,—далъ бы на него правдивый отвѣтъ. Но вопроса задано не было, и я не спѣшилъ предупредить его: смутно, инстинктивно я, должно быть, чувствовалъ, что досказанная до конца правда нарушитъ главную прелесть моего показанія въ глазахъ новаго друга, и послѣдній не будетъ въ такой степени доволенъ мною... Теперь, когда я узналъ настоящую цѣну этой дружбы, я, навѣрное, тотчасъ же сказалъ бы отцу полную правду, не возьмись онъ за меня съ такою грубою суровостью. Не столько самый страхъ наказанія отрѣзалъ мнѣ всякій путь къ отступленію,

сколько своего рода гордость, стыдъ оказаться лжецомъ передъ этимъ строгимъ и властнымъ человѣкомъ!

По прошествіи тридцати лѣтъ я могу утверждать это, положа руку на сердце.

— И ты правду говоришь? Все такъ и было? — сурово переспрашивалъ отецъ, пронизывая меня насквозь своими большими сѣрыми глазами.

— Правду,—робко, но съ твердостью отвѣчалъ я.

— Такъ смотри же, показывай и на судѣ, когда будутъ спрашивать, это же—и только это, ни слова больше. Судъ будетъ, вѣроятно, въ концѣ іюня или началѣ іюля. Значитъ, о поѣздкѣ въ деревню и думать нечего. Самъ виноватъ, болтунишка этакій, сморчокъ... Убирайся вонъ!

Я вышелъ, шатаясь, какъ пьяный... Судъ! О деревнѣ и думать нечего! Мое душевное состояніе было ужасно; однако, мысль о возможности перемѣнить показаніе и, сказавъ полную правду, сразу уничтожить всякую его цѣнность ни разу даже и въ голову не пришла мнѣ: я скорѣе согласился бы тысячу разъ умереть, чѣмъ пойти на такой стыдъ, на такой позоръ!

Митя съ жестокостью, свойственной молодости, не принялъ близко къ сердцу моего горя: онъ обругалъ меня, подобно отцу, „длиннымъ языкомъ“ и, сказавъ, что я самъ виноватъ, продолжалъ радоваться своему скорому отъѣзду въ деревню, бѣгалъ опять по двору, въ припадкахъ телячьяго восторга крича: „варварійская борьба!“—но я уже не вторилъ ему „барбарисскою бурьбой“ и смотрѣлъ на чужое веселье, понуря голову. Дня черезъ два Митя уѣхалъ съ утреннимъ пароходомъ на родину; былъ опять яркій солнечный день, теплый и радостный, и, выйдя на крыльцо и прижавшись лицомъ къ стѣнѣ я горько, горько плакалъ...

Не помню, какъ прошло время до разбирательства дѣла въ окружномъ судѣ. Должно быть, я сильно тосковалъ, потому что всѣ находили меня поблѣднѣвшимъ и исхудавшимъ. Судъ назначенъ былъ на 18 іюня, и въ глубинѣ души я питалъ еще надежду, что отецъ послѣ того сжалится надо мной и отвезетъ меня въ деревню отдохнуть хоть немного у матери. Каково же было поэтому мое огорченіе, ужасъ и гнѣвъ, когда предсѣдатель окружнаго суда, едва только открылось засѣданіе, объявилъ, что за неявкой нѣкоторыхъ важныхъ свидѣтелей разбирательство дѣла Гавриленкова отлагается на одинъ мѣсяцъ... Все лѣто мое такимъ образомъ погибало, надежда уѣхать домой разлеталась, какъ обманчивый сонъ, и я долженъ былъ грустить въ своемъ одиночествѣ, рѣшая безъ конца скучныя ариѳмети-

ческія задачи или списывая какіе-нибудь стихи съ книги въ тетрадь. Я ненавидѣлъ въ это время не только Зою Михайловну съ ея неискреннимъ, кисло-сладкимъ голосомъ, но и отца съ его вѣчно угрюмымъ лицомъ, озарявшимся улыбкой лишь при видѣ этой „хитрой вѣдьмы", какъ называлъ я про себя гувернантку со словъ нелюбившей ее прислуги; впрочемъ, я ненавидѣлъ въ это время и самого себя, и весь окружающій міръ.

Наконецъ онъ наступилъ, роковой день...

И странно: событія именно этого важнаго дня запечатлѣлись у меня въ мозгу почему-то съ гораздо меньшей подробностью и отчетливостью. День этотъ заволакивается въ моихъ воспоминаніяхъ словно какимъ-то туманомъ, изъ котораго выныряютъ лишь отдѣльныя сцены, лица, слова.

Огромное, мрачное зданіе окружнаго суда. Меня привели туда необыкновенно рано, одѣтаго въ новую красную рубашку, напомаженнаго и гладко причесаннаго, но кто привелъ—не помню. Я все время помѣщаюсь въ свидѣтельской комнатѣ, въ обществѣ разныхъ незнакомыхъ чуекъ и старухъ, изъ которыхъ ярче другихъ оживаетъ въ памяти фигура салопницы со множествомъ бородавокъ на нижней части лица, покрытыхъ лѣсомъ жесткихъ, сѣдыхъ волосъ, напоминающихъ мужскую бороду. Захлебываясь въ собственной слюнѣ, она извергаетъ потоки брани противъ подсудимаго, и изъ ея-то злобныхъ устъ я впервые узнаю, въ чемъ обвиняется Гавриленковъ: гдѣ-то взломалъ онъ какой-то замокъ, что-то укралъ и чуть ли не покушался на убійство...

Въ залу суда салопницу вызывали нѣсколько разъ и даже вторично приводили къ присягѣ. Помню, я дрожалъ какъ въ лихорадкѣ, все ожидая, что вотъ-вотъ и мое имя будетъ названо, и я долженъ буду стать лицомъ къ лицу съ Гавриленковымъ... Какъ-то я погляжу ему въ глаза? Что-то онъ скажетъ и сдѣлаетъ? Не назоветъ ли меня лжецомъ и даже... не прибьетъ ли? Но всѣ страхи оказались напрасными: меня совсѣмъ не вызвали. Забыли ли обо мнѣ? Нашли ли лишнимъ допрашивать публично ребенка, сына судьи, и удовлетворились прочтеніемъ записи моего показанія? Какъ бы то ни было, кажется, это фактъ, что въ залѣ суда я не былъ и ни судей, ни самого подсудимаго видѣть не могъ. Но, въ такомъ случаѣ, откуда же взялось столь яркое воспоминаніе о томъ, что я ихъ видѣлъ и слышалъ? Разсказы ли другихъ свидѣтелей подѣйствовали такъ сильно на мое воображеніе, собственная ли фантазія работала въ этотъ день съ особенной живостью? Подходилъ ли я вмѣстѣ съ другими къ дверямъ, ведшимъ въ залу суда, и слышалъ долетавшіе оттуда звуки

голосовъ, а, быть можетъ, даже и видѣлъ кое-что, когда дверь временами приотворялась? Не знаю. Но и теперь еще звучитъ въ моихъ ушахъ тихій, глухой, грустный голосъ Гавриленкова; и до сихъ поръ я словно вижу въ углу длинной залы нѣсколько возвышающихся одна надъ другою скамеекъ и на одной изъ нихъ знакомую, печально согнувшуюся фигуру въ сѣрой курткѣ, съ двумя часовыми за спиной... За столомъ, покрытымъ краснымъ сукномъ, сидятъ увѣшанные орденами судьи. И вотъ изъ-за этого стола поднимается краснощекій господинъ въ золотыхъ очкахъ и начинаетъ говорить.

— Обратите, господа судьи, особенное вниманіе на показаніе маленькаго Луговского. Конечно, это не болѣе какъ ребенокъ, но вспомните, кто его отецъ. Это одинъ изъ достойнѣйшихъ членовъ нашего города, собственникъ-землевладѣлецъ, самъ судья, человѣкъ неподкупной, всѣмъ извѣстной честности. Ужъ, конечно, такой человѣкъ умѣетъ воспитывать своихъ дѣтей! Сыну подобнаго отца можно безусловно довѣриться... Прочтите же еще разъ, что онъ показываетъ.

И мнѣ до сихъ поръ чудится, какъ низко опущенные глаза сидящей въ углу печальной фигуры вдругъ поднимаются, словно отыскивая кого-то, чтобы пронизать жгучимъ взоромъ, полнымъ удивленія и безконечно-горькаго упрека...

Повторяю: мои воспоминанія этого дня расходятся съ фактами, въ самыхъ живыхъ, до болѣзненности отчетливыхъ краскахъ рисуя то, чего я не могъ ни видѣть, ни слышать.

Но почему же, однако,—быть можетъ, спросятъ меня,—самъ Гавриленковъ не поспѣшилъ опровергнуть мое показаніе? Вѣдь для этого ему стоило только упомянуть объ околодочномъ надзирателѣ... Просто ли онъ запамятовалъ этотъ фактъ, какъ не заключавшій въ себѣ ничего противозаконнаго (вѣдь десятки такихъ узловъ и узелковъ могъ онъ проносить въ разное время), или же... или, быть можетъ, этотъ околодочный былъ его соучастникомъ въ разныхъ темныхъ дѣлишкахъ? Не знаю. Одно только знаю, что таинственный околодочный такъ и не фигурировалъ въ дѣлѣ Гавриленкова, и показаніе мое осталось не опровергнутымъ.

Лишь къ вечеру увели меня домой обѣдать, и въ судѣ я больше не былъ. Для чего же меня продержали все лѣто въ душномъ городѣ, лишивъ свиданія съ любимой матерью? — шевелился въ умѣ горькій вопросъ. Только на слѣдующій день за обѣдомъ узналъ я изъ разговора отца съ гувернанткой, что Гавриленкова приговорили къ четыремъ годамъ каторжныхъ работъ.

— Такъ ему, мерзавцу, и надо!—сказала мягкосердечная Зоя Михайловна,—не станетъ больше таскать узловъ по чужимъ садамъ.

Поднося ко рту ложку съ супомъ, я низко наклонилъ голову чтобы скрыть краску стыда и смущенія, ярко залившую мнѣ лицо. Хотя я и смутно представлялъ себѣ степень и форму назначеннаго наказанія, но все-таки понималъ, что это нѣчто страшное, въ конецъ разбивающее жизнь человѣка, и пораженъ былъ ужасно... Дѣтскому уму представлялось чѣмъ-то неподлежащимъ никакому сомнѣнію, что погубило Гавриленкова именно мое показаніе; мнѣ и въ голову не приходило, что если свидѣтельство ребенка и могло послужить во вредъ подсудимому, то лишь какъ одно изъ мелкихъ звеньевъ въ длинной цѣпи другихъ, болѣе вѣскихъ доказательствъ его вины, и, въ неподдѣльномъ ужасѣ, въ порывѣ безконечнаго раскаянія, я глядѣлъ на себя, какъ на величайшаго преступника, какъ на безвозвратно погибшаго человѣка!...

Вечеромъ того же дня, не находя нигдѣ себѣ мѣста и блуждая, какъ тѣнь, по всему дому, я заглянулъ въ кухню; здѣсь тоже шелъ разговоръ о вчерашнемъ судѣ, и изъ устъ кучера Максима я услыхалъ фразу, отъ которой весь похолодѣлъ:

— А развѣ съ каторги нельзя бѣжать? Дай мнѣ Богъ столько лѣтъ прожить, сколько *ихъ* бѣгаетъ оттуда! Не я буду, коли и Николай скоро пятками не засверкаетъ. Ну, и выпуститъ же онъ тогда кишки изъ этой старушонки подлой!

(Рѣчь, очевидно, шла о главной свидѣтельницѣ, уличившей Гавриленкова).

— Да и нашего барченка тоже прихватитъ, пожалуй... не чеши безъ пути языкъ!—загоготалъ Максимъ, увидѣвъ меня въ дверяхъ и внушительнымъ жестомъ показавъ, какъ меня „прихватятъ“.

Этотъ Максимъ, огромный добродушный дѣтина, въ обычное время бывшій моимъ любимцемъ, теперь показался мнѣ ужаснымъ; съ бьющимся сердцемъ, въ смертельномъ страхѣ, убѣжалъ я въ спальню и тамъ, зарывшись въ подушки, залился горячими, беззвучными слезами...

Осенью меня приняли въ первый классъ гимназіи, и масса новыхъ, нахлынувшихъ сразу впечатлѣній отвлекла мои мысли въ другую сторону. Однако, стоило какому-нибудь факту или даже слову напомнить о пережитой душевной драмѣ—и вся старая боль оживала тотчасъ же съ прежней силой. Даже и много позже, когда мысль начала самостоятельно работать, и ребяческое преступленіе стало

представляться мнѣ въ болѣе невинномъ свѣтѣ, въ глубинѣ души все продолжало что-то шевелиться и болѣзненно звучать.

Жизнь шла своимъ чередомъ, и много помню я другихъ сдѣланныхъ мною въ томъ же родѣ ошибокъ—недосказанной правды, словъ и поступковъ неискреннихъ, чаще всего мнѣ самому причинявшихъ горе, отдаляя отъ меня дорогихъ, любимыхъ людей... Но, перебирая мысленно событія прошлаго, годъ за годомъ, день за днемъ, я все-таки съ наибольшей горечью останавливаюсь на этомъ эпизодѣ своей дѣтской жизни: онъ оставилъ въ моей душѣ какой-то странный слѣдъ—тѣнь, которую изгладить ничто не можетъ.

Л. Мельшинъ.

ПАМЯТИ В. Г. БѢЛИНСКАГО.

Прочитано въ Саратовѣ на чествованіи В. Г. Бѣлинскаго 26 мая 1898 года.

Бѣлинскій былъ далекъ житейской суеты...
Онъ отдалъ родинѣ и молодость и силы —
И свѣточъ знанья несъ; въ завѣтныя мечты
Онъ страстно вѣрилъ до могилы.

Великимъ смерти нѣтъ... Его душа жива,
Онъ съ нами—вѣрный другъ, учитель поколѣній,
И слышимъ мы его могучія слова,
И видимъ пылъ его стремленій!

Онъ былъ всегда правдивъ; бездарность не щадилъ;
Но сколько было въ немъ восторженнаго чувства,
Когда онъ въ комъ-нибудь даръ Божій находилъ:
Никто такъ не цѣнилъ искусства!

Онъ покорялъ сердца и покорялъ умы,
И свѣтлый духъ его царитъ здѣсь величаво...
Онъ славы не искалъ, но всѣ воскликнемъ мы:
Тебѣ, Бѣлинскій, слава, слава!

А. Лукьяновъ.

СИМВОЛИСТЫ И ДЕКАДЕНТЫ.

ПСИХІАТРИЧЕСКІЙ ЭТЮДЪ.

Въ послѣднее пятнадцатилѣтіе въ Западной Европѣ, въ особенности во Франціи и Англіи, народились новыя эстетическія и литературныя теченія, отразившіяся до нѣкоторой степени и въ Россіи, и извѣстныя подъ именемъ символизма, декадентства и подъ другими замысловатыми и мудреными кличками.

Спору нѣтъ — слѣдуетъ быть очень осторожнымъ въ приложеніи къ художественнымъ явленіямъ такого спеціальнаго и исключительнаго критерія, какъ психіатрическій... Однако, литературное движеніе, о которомъ мы говоримъ, выражалось и продолжаетъ выражаться въ такихъ уродливыхъ формахъ, что само собою возникаетъ предположеніе, не подлежитъ ли оно гораздо болѣе вѣдѣнію нашей науки, чѣмъ вѣдѣнію эстетической критики. Быть можетъ, волны этого новаго потока кажутся намъ столь мутными по той же причинѣ, почему мутенъ и пѣнистъ горный ручей, который дальше, войдя въ покойное и широкое ложе, станетъ свѣтлою и ясною рѣкой; быть можетъ, нелѣпости, странности и чудачества представителей этого направленія объясняются тѣмъ, что въ лицѣ ихъ мы видимъ вовсе не знаменосцевъ новаго художественнаго слова, какъ они себя величаютъ, а только первыхъ жалонеровъ, ощупью и впотьмахъ ищущихъ своей дороги; быть можетъ, вслѣдъ за ними явится когда-нибудь большой художникъ, который силою своего генія озаритъ эти потемки и въ самомъ дѣлѣ дастъ людямъ новую эстетическую формулу *) и

*) Тѣ, которыя даны, до сихъ поръ страдаютъ въ лучшемъ случаѣ чрезвычайною туманностью и неопредѣленностью. Не говоря уже о писаніяхъ Ghil'я и пр., которыхъ ни перевести, ни понять невозможно, обратимся къ Charles Morice'у

укажетъ новый, до сихъ поръ невѣдомый, родникъ эстетическихъ наслажденій; — быть можетъ, все это и такъ, но до сихъ поръ всѣ попытки въ этомъ направленіи были до такой степени претенціозны и причудливы, въ большинствѣ случаевъ до такой степени лишены печати дарованія и такъ, въ концѣ концовъ, ничтожны, что мы въ правѣ разсматривать это новшество, какъ патологическое явленіе въ искусствѣ, и эти произведенія, какъ продуктъ психопатическаго творчества. Болѣе того: былъ даже поставленъ вопросъ, не есть ли это движеніе симптомъ болѣзненнаго состоянія общества и даже предсмертнаго его упадка? На что послѣдовали и удовлетворительные

философу и критику этой школы. Этотъ авторъ, который, не въ примѣръ многимъ другимъ, пишетъ болѣе или менѣе удобопонятнымъ языкомъ, такъ заключаетъ свой солидный томъ, озаглавленный „La littérature de tout à l'heure" („Завтрашняя литература"). „Такова вкратцѣ теорія созданія поэмы: очень неопредѣленные стихи вьются около идеи, распредѣляя ее поэтично соотвѣтственно ея различнымъ смысламъ, предусмотрѣннымъ, благодаря послѣдовательнымъ и подготовительнымъ заблужденіямъ, которыя были заранѣе и впослѣдствіи отражены въ окружающей прозѣ, отодвигаютъ окончательное значеніе въ блескъ, украшенный отдаленною зарею. Затѣмъ, когда надлежащая атмосфера создана, неожиданное присоединеніе этой зари открываетъ истину въ стихѣ множественномъ, богатомъ, но точномъ, *точномъ, но таинственномъ и которымъ резюмируется вся поэма подъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы вся поэма была прочитана цѣликомъ* (курсивъ подлинника). Затѣмъ идея самоутверждается въ новыхъ развитіяхъ, въ свою очередь концентрированныхъ около единственнаго стиха или только части его, хотя бы полустишія,— и такъ идетъ далѣе все твореніе, то предоставленное логическому капризу фантазіи, то крѣпко связанное магическимъ стихомъ — этою, такъ сказать, столицею столь краткой и столь обширной области художественнаго творчества".

Болѣе ясно и болѣе опредѣленно изложено художественное profession de foi этой литературной группы въ извѣстномъ стихотвореніи P. Verlaine'я „Art poétique", посвященномъ только что упомянутому нами Charles Morice'у. Вотъ оно:

De la musique avant toute chose.
Et pour cela préfère l'impair,
Plus vague et plus soluble dans l'air,
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.
Il faut aussi que tu n'ailles point
Choisir tes mots sans quelque méprise.
Rien de plus cher que la chanson grise,
Où l'Indécis au Précis se joint.
C'est des beaux yeux derrière des voiles,
C'est le grand jour tremblant de midi,
C'est par un ciel d'automne attiedi
Le bleu fouilli des claires étoiles!
Car nous voulons la Nuance encore,
Pas la Couleur, rien que la nuance!
Oh! la nuance seule fiance,
Le rêve au rêve et la flûte au cor.
Fuis du plus loin la pointe assassine,
L'Esprit cruel et le Rire impur.
Qui font pleurer les yeux de l' Azur,
Et tout cet ail de basse cuisine!
Prends l'éloquence et tords-lui son cou!
Tu feras bien, en train d'énergie,
De rendre un peu la Rime assagie,
Si l'on n'y veille, elle ira jusqu'ou?
Oh! qui dira les torts de la Rime,
Quel enfant sourd ou quel nègre fou
Nous a forgé ce bijou d'un sou,
Qui sonne creux et faux sous la lime?
De la musique encore et toujours!
Que ton vers soit la chose envolée
Qu'on sent qui fuit d'une âme en allée.
Vers d'autres cieux à d'autres amours.
Que ton vers soit la bonne aventure,
Eparse au vent crispé du matin.
Qui va fleurant le menthe et le thym...
Et tout le reste est littérature.

отвѣты; такъ, очень категорически высказался въ этомъ смыслѣ Максъ Нордау въ его популярной и у насъ книгѣ „О вырожденіи“.

Остроумный авторъ „Conventionelle Lügen“, также врачъ, хотя болѣе всего публицистъ, въ этомъ сочиненіи подъ совершенно особымъ угломъ зрѣнія разсматриваетъ литературныя продукціи, характеризующія нашъ конецъ вѣка. Содержаніе этой, очень интересной и оригинальной, хотя и блещущей гораздо болѣе полемическимъ задоромъ, чѣмъ строго научнымъ методомъ, книги сводится къ слѣдующему: подъ вліяніемъ цѣлаго сложнаго комплекса причинъ — органическихъ и соціальныхъ — наше время ознаменовано чрезвычайнымъ усиленіемъ и распространеніемъ нервно-психическаго вырожденія, которое сказывается во всѣхъ областяхъ общественной жизни, въ томъ числѣ въ литературѣ и искусствѣ. Затѣмъ, рядомъ болѣе остроумныхъ, чѣмъ научныхъ сближеній и сравненій доказывается, что всѣ наиболѣе оригинальныя и замѣтныя литературныя творенія второй половины нашего столѣтія—отъ „Fleurs du mal“ до „Крейцеровой Сонаты“, отъ натуралистическаго романа до символизма и декадентизма,—носятъ на себѣ рѣзкую печать вырожденія и свидѣтельствуютъ о столь же глубокой соціальной дегенераціи. Мы еще возвратимся къ этой проблемѣ, теперь же замѣчу только, что въ томъ, что это движеніе возникло, годъ отъ году разрастается и, какъ бы то ни было, вызываетъ къ себѣ извѣстный интересъ,—нужно видѣть явленіе сложное, которое едва ли можетъ быть правильно оцѣнено однимъ простымъ утвержденіемъ, что оно свидѣтельствуетъ объ умираніи цѣлой культуры. Прежде всего я сказалъ бы, что для того, чтобы приговорить къ смерти многовѣковую цивилизацію, недостаточно еще констатировать, что группы художниковъ дѣлаютъ болѣе или менѣе неудачныя попытки найти новыя эстетическія формы и формулы. Гораздо правильнѣе принять для оцѣнки этого явленія во вниманіе совершенно нормальные психологическіе факторы, а именно: подобно тому, какъ глазъ, утомленный видѣніемъ краснаго цвѣта, видитъ потомъ на бѣломъ фонѣ зеленое пятно, такъ и чрезвычайное утилитарное и матеріалистическое направленіе мысли въ теченіе въ особенности послѣдняго полустолѣтія, успѣхи точныхъ наукъ, техническія завоеванія и пр. могли вызвать, какъ въ сущности совершенно естественную реакцію, эту наклонность къ мистицизму, прерафаэлизму, символизму и т. д., при расцвѣтѣ которыхъ мы теперь присутствуемъ и которыя, очень возможно, такъ же исчезнутъ, какъ исчезаетъ зеленое пятно изъ поля зрѣнія, когда глазъ, утомленный раньше видѣніемъ краснаго, отдохнулъ. Что же касается до нѣкотораго успѣха этого движенія въ обществѣ, до того, что оно находитъ

себѣ даже поклонниковъ и послѣдователей, то не нужно забывать, что подражаніе, какъ говоритъ Маудсли, есть одно изъ самыхъ основныхъ свойствъ нашей нервной системы, и вмѣсто того, чтобы удивляться этому, правильнѣе спросить себя, было ли вообще когда-либо такое художественно-литературное движеніе, которое не нашло бы своихъ сторонниковъ? Одинъ изъ самыхъ оригинальныхъ и самыхъ блестящихъ современныхъ соціологовъ Tarde полагаетъ даже, что вся исторія и вся общественная жизнь опредѣляются законами подражанія. „La société,—говоритъ онъ,—c'est l'imitation" и утверждаетъ, что соціальное существованіе было бы невозможно, если бы въ обществѣ не было особаго запаса рутины, обезьянничества и стадности. Но если такъ, если вся исторія человѣчества есть въ сущности исторія оригинальнаго творчества немногихъ, подражательности огромнаго большинства, борьбы и интерференціи между обычаемъ и возникающими умственными вѣяніями, то совершенно естественно и нормально встрѣтить тѣ же явленія и въ одной изъ главъ исторіи, въ исторіи художественной жизни.

Впрочемъ, всѣ эти стороны вопроса подлежатъ разработкѣ ихъ историками, соціологами и эстетическими критиками. Рамки моей задачи и предѣлъ моей компетенціи гораздо уже и опредѣленнѣе; мое дѣло оцѣнить съ спеціально психіатрической точки зрѣнія жизнеспособность этого направленія и творческую силу его представителей, по-скольку мы владѣемъ въ ихъ біографіяхъ и въ ихъ произведеніяхъ достаточнымъ матеріаломъ для такой оцѣнки.

Здѣсь необходима одна оговорка: нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что въ этой толпѣ декадентовъ и символистовъ — и какъ ихъ тамъ еще зовутъ—есть множество людей, психически совершенно здоровыхъ, но искусно пользующихся знаменемъ декадентизма и символизма, какъ рекламою. Другіе, также не менѣе здоровые люди примкнули къ этому движенію ради моды, изъ подражательности, изъ снобизма. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно познакомиться съ „Enquête sur l'évolution littéraire" Jules' я Huret, фельетоны котораго въ свое время надѣлали много шума, или, еще проще, прочесть романъ Додэ младшаго „Les Kamchatka". Подъ этимъ именемъ, очевидно подсказаннымъ автору выросшею въ послѣдніе годы въ Европѣ популярностью сѣверныхъ литературъ, въ особенности скандинавской (Ибсенъ, Стриндбергъ и др.), описываются крайніе художественно-литературные кружки Парижа. Léon Daudet пишетъ прямо-таки портреты, конечно, нѣсколько шаржированные; многихъ легко узнать, сверхъ того, ему можно довѣрять, ибо по его литературнымъ связямъ и возрасту онъ находится въ очень благопріятныхъ условіяхъ для

того, чтобы быть очень хорошо освѣдомленнымъ. Наконецъ ему нельзя отказать и въ нѣкоторой объективности или, по крайней мѣрѣ, въ томъ, что у него нѣтъ пристрастій, онъ одинаково бьетъ и своихъ и чужихъ, и въ галереѣ его нѣсколько карикатурныхъ типовъ фигурируетъ, между прочимъ, подъ именемъ Гильдебранда не кто иной, какъ самъ Максъ Нордау. Додэ очень остроумно отмѣчаетъ склонность Нордау къ широкимъ и скорымъ обобщеніямъ и діагностикамъ и зло высмѣиваетъ его, изображая его за обѣдомъ въ кружкѣ *„камчаткистовъ“*, записывающимъ на скорую руку такія діагностики своихъ сосѣдей, какъ „эпилептоидный фантазеръ, типъ Мишлэ-Карляйль“ или: „микроцефалъ, торпидное слабоуміе, типъ Шопэнъ-Шуманъ“ и т. д. И вотъ, въ этомъ кружкѣ, представители котораго даютъ поводъ и матеріалъ къ такимъ оцѣнкамъ ихъ личностей, въ кружкѣ, гдѣ издается журналъ подъ заглавіемъ: *„Кураре“*, гдѣ ставятся переводныя съ гренландскаго языка пьесы не въ двухъ актахъ, а въ двухъ льдинахъ, и музыкально-ритмическія абстракціи подъ заглавіемъ „Прекрасные дни одной эссенціи“, при чемъ въ числѣ дѣйствующихъ лицъ фигурируетъ между прочимъ, *„кривой богъ экстазовъ“*; въ кружкѣ, гдѣ одна изъ героинь такъ перечисляетъ тѣ немногія вещи, которыя удовлетворяютъ ея изысканно-прихотливымъ эстетическимъ требованіямъ: „третій актъ Парсиваля, вторая часть Фауста, Генрихъ VIII Шекспира, ибо остальныя драмы его плоски, Заратустра Нитчше, черныя орхидеи, атласъ цвѣта mauve *) и молодыя кэнгуру, а одинъ изъ героевъ плѣняетъ свою собесѣдницу тѣмъ, что признается ей, что еще въ дѣтствѣ „любилъ мучить слабыхъ, чтобы доставить себѣ наслажденіе раскаянія, ибо презрѣніе и раскаяніе суть его высшія удовольствія, теперь же онъ нуждается только въ искусственныхъ чувствованіяхъ и создаетъ ихъ себѣ самъ, ибо естественныя эмоціи мимолетны и банальны“; въ кружкѣ, гдѣ словечка въ простотѣ не скажутъ и гдѣ вычурная терминологія сдѣлалась неизбѣжною принадлежностью обиходной рѣчи; — въ этомъ кружкѣ, говорю я, людей искреннихъ очень мало, большинство ори-

*) Это уже само собою разумѣется, ибо цвѣтъ мальвы пользуется почему-то особымъ фаворомъ „молодой“ поэтической школы. Comte de Montesquiou Fezensac:

„Dirai-je tout ce que j'entends
Dans la sonorité de mauve,
Et que j'y vois en même temps?“

и даже несомнѣнно талантливый и во всякомъ случаѣ не всей этой компаніи чета Edm. Rostand въ популярной и у насъ „Принцессѣ Грезъ“:

...„il pourra contempler entre les grands cils fauves,
Ces yeux bleus, qui sont gris et qui pourtant sont mauves!“

гинальничающіе подражатели и снобы. Героини напрасно стараются казаться представительницами вырождающагося конца вѣка, fin de siècle et fin de race, это внучки по плоти и духу Madelon и Cathos изъ Мольеровскихъ „Precieuses ridicules“, ихъ законныя преемницы и наслѣдницы; что же касается до меценатствующаго торговца саломъ, на средства котораго издается „Кураре“, и гостиная котораго увѣшана диковинными декадентскими картинами, изображающими, напр., мостъ, надъ мостомъ четыреугольное око, а подъ мостомъ половину мертвой головы,—то pendant къ этому типу найдется, вѣроятно, и въ Москвѣ, хотя и предполагается, что Москва еще не при смерти, какъ Парижъ.

Но, если отбросить отъ этого литературно-эстетическаго движенія всѣ наросты и подражанія, все, что случайно и внѣшнимъ образомъ примкнуло къ нему, то мы очутимся лицомъ-къ-лицу съ подлиннымъ психопатологическимъ явленіемъ, съ людьми, которые чувствуютъ, думаютъ и творятъ иначе, чѣмъ мы, потому что они больны, и въ этомъ мы сейчасъ убѣдимся.

Дѣдомъ и отцомъ символистическо - декадентскаго направленія слѣдуетъ считать Beaudelaire'a и Verlaine'a: оба они, несомнѣнно, крупные художники, но, несомнѣнно также, психически больные люди.

Боделэръ, умершій отъ прогрессивнаго паралича умалишеннымъ въ 1867 г., написалъ цѣлый томъ подъ общимъ заглавіемъ „Искусственные раи“ (Paradis artificiels), въ которыхъ воспѣвалъ наслажденія, доставляемыя ядами центральной нервной системы—алкоголемъ, гашишемъ и опіумомъ, къ первому прибѣгалъ, повидимому, и самъ съ большимъ усердіемъ, и всю жизнь отличался оригинальничаньемъ и чрезвычайными странностями. Чтобы дать представленіе объ этихъ чудачествахъ Боделэра, заимствую два анекдота о немъ: одинъ — изъ воспоминаній Maxime du Camp, другой — изъ этой сокровищницы остроумныхъ и мѣткихъ наблюденій, характеристикъ и вскользь брошенныхъ идей, которая называется „Дневникомъ Гонкуровъ“, въ девяти томахъ котораго, обнимающихъ почти полувѣковой періодъ, какъ въ зеркалѣ, отражается жизнь политическаго и интеллектуальнаго Парижа съ начала 50-хъ до средины 90-хъ годовъ.

Гонкуры описываютъ ужинъ въ модномъ и дорогомъ ресторанѣ. Рядомъ за столикомъ сидитъ Боделэръ. Вотъ его внѣшній видъ: бритая голова, открытая грудь и шея безъ воротничка и галстука. Une vraie toilette de guillotiné, говорятъ они и прибавляютъ: „au fond une recherche voulue“ (нарядъ изысканный и придуманный, несмотря на его видимую небрежность). А Max. du Camp разсказываетъ, что Боделэръ явился къ нему однажды съ волосами, выкрашенными въ голу-

бой цвѣтъ. Du Camp умышленно не замѣчаетъ этого, несмотря на то, что Боделэръ вертится передъ зеркаломъ, проводитъ рукой по головѣ и всячески старается обратить на себя его вниманіе. Наконецъ не выдерживаетъ: „Вы ничего не находите во мнѣ особеннаго?"—Нѣтъ, а что?—„Да, вотъ, у меня голубые волосы!"—Ну, это что за диковина,—отвѣчаетъ du Camp,—вотъ, если бы они были зеленые!... Боделэръ вспыхиваетъ, уходитъ отъ du Camp и, встрѣтивши общихъ знакомыхъ, говоритъ имъ: „Вы къ du Camp? не ходите! онъ сегодня въ отвратительномъ расположеніи духа,—il est d'une humeur massacrante".

Конечно, нельзя отрицать крупнаго поэтическаго дарованія автора „Цвѣтовъ зла" и „Маленькихъ поэмъ въ прозѣ", но нельзя также не считать его прародителемъ сегодняшняго символизма и декадентизма.

Его другъ и учитель Теофиль Готье, которому посвящены „Цвѣты зла", въ предисловіи къ этому сборнику такъ перечисляетъ краски на палитрѣ Боделэра: „ему удалось найти болѣзненно-роскошные оттѣнки болѣе или менѣе развившагося гніенія, тона перламутра на льду стоячихъ водъ, розы чахотки, бѣлизну хлороза, желтизну разлившейся желчи, сѣро-свинцовый цвѣтъ зачумленныхъ тумановъ, ядовитые и металлическіе оттѣнки зеленаго цвѣта, отъ которыхъ отзывается мышьякомъ и мѣдью, черноту сажи, размокшей на дождѣ и окрасившей штукатурку стѣнъ, или смолы, прикипѣвшей въ аду, которая служила бы прекраснымъ фономъ для блѣдной головы привидѣнія,—словомъ, всю гамму отчаянныхъ красокъ, необыкновенной интенсивности, которая соотвѣтствуетъ осени, закату, перезрѣлости плодовъ и *послѣднему часу цивилизаціи"* *). Какъ видите—понятіе упадка и вырожденія нельзя сказать, чтобы было уже очень ново, имъ пользуются для характеристики художественныхъ направленій уже около полустолѣтія.

Что касается до символизма Боделэра, то мнѣ думается, что я не нарушаю историко-литературной перспективы, называя его прародителемъ символизма. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно познакомиться съ слѣдующимъ сонетомъ. Прошу читателя быть снисходи-

---

*) Въ pendant къ этой характеристикѣ, данной предшественникомъ Боделэра, вотъ отзывъ объ этомъ поэтѣ его литературнаго потомка, Huysmans'a:

„Боделэръ... открылъ намъ болѣзненную психологію ума достигшаго октября своихъ чувствованій, разсказалъ симптомы душъ, призванныхъ къ скорби, которымъ дана привилегія сплина; показалъ все разрастающуюся костоѣду впечатлѣній тогда, когда вѣрованія и энтузіазмы юности изсякли и когда не осталось ничего, кромѣ безплоднаго воспоминанія о пережитыхъ несчастіяхъ, перенесенныхъ нетерпимостяхъ и оскорбленіяхъ, выпавшихъ на долю разуму, подавленному безсмысленною судьбой".

тельнымъ къ переводу, ибо главною цѣлью моей была, конечно, близость къ подлиннику:

СОЧЕТАНЬЯ *).

Природа—это храмъ. Подъ сводами живыми
Здѣсь слышится порой намъ шопотъ смутныхъ словъ,
Проходитъ человѣкъ сквозь лѣсъ неясныхъ сновъ
И символовъ, и грезъ, какъ будто межъ родными.

Какъ дальнихъ отзвуковъ свершается сліянье
Въ *„одно“* обширное, какъ свѣтъ иль темнота,—
Такъ запахи, и звуки, и цвѣта
Сливаются въ единомъ сочетаньѣ.

Бываетъ запахъ, какъ младенецъ, чистый,
Зеленый, какъ луга, иль звучный, какъ гобой,
Бываетъ и торжественно-душистый

Развратный и роскошный ароматъ—
Такъ амбра, мускусъ, ладонъ и бензой
Восторгамъ чувства служатъ и кадятъ.

Обращая вниманіе читателя на эти неожиданныя и причудливыя уподобленія запаховъ зеленому лугу или звуку гобоя, пока прошу только отмѣтить это; мы скоро возвратимся къ этому подробнѣе. Для дальнѣйшей же характеристики поэтическаго творчества Боделэра я позволю себѣ привести въ подлинникѣ слѣдующее стихотвореніе (извиняюсь передъ тѣми читателями, которые незнакомы съ французскимъ языкомъ, что я не привожу его въ переводѣ: русскій

---

*) CORRESPONDANCES.

La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté.
Les parfums, les couleurs, et les sons se répondent.
Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies
Et d'autres corrompus, riches et triomphants,
Ayant l'expansion des choses infinies
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.

языкъ не выдерживаетъ иныхъ эпитетовъ и образовъ, на которые дерзаютъ французскіе писатели).

UNE CHAROGNE.

Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme,
Ce beau matin d'été si doux:
Au détour d'un sentier une charogne infâme
Sur un lit semé de cailloux.
Les jambes en l'air, comme une femme lubrique,
Brulant et suant les poisons,
Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique
Son ventre plein d'exhalaison.
Le soleil rayonnait sur cette pourriture,
Comme afin de la cuire à point,
Et de rendre au centuple à la grande Nature
Tout ce qu'ensemble elle avait joint;
Et le ciel regardait la carcasse superbe
Comme une fleur s'épanouir.
La puanteur était si forte, que sur l'herbe
Vous crûtes vous évanouir.
Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,
D'où sortaient de noirs bataillons
De larves, qui coulaient comme un épais liquide
Le long de ces vivants haillons.
Tout cela descendait, montait comme une vague
Ou s'élançait en pétillant;
On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague,
Vivait en se multipliant.
Et ce monde rendait une étrange musique,
Comme l'eau courante et le vent,
Où le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique
Agite et tourne dans son van.
Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve
Une ébauche lente à venir
Sur la une toile oubliée, et que l'artiste achève
Seulement par le souvenir.
Derrière les rochers une chienne inquiète
Nous regardait d'un oeil faché
Epiant le moment de reprendre au squelette
Le morceau qu'elle avait laché.
Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,
A cette horrible infection,
Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous, mon ange et ma passion.
Oui, telle vous serez, ô, la reine des grâces,
Après les derniers sacrements,

Quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses
Moisir parmi les ossements.
Alors, ô ma beauté! dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers,
Que j'ai gardé la forme et l'essence divine
De mes amours décomposés!

Ассоціація по контрасту есть совершенно законное психологическое явленіе. Въ частности, говоря о только-что цитированномъ стихотвореніи, нельзя не назвать совершенно естественною идею о бренности и мимолетности всего земного, о тлѣнности всего живущаго, это не только излюбленная тема элегій, но каждому изъ насъ, конечно, она посѣщаетъ иногда голову и сердце. Однако въ этихъ строфахъ поэтъ съ такою подробностью, можно сказать, такъ любовно останавливается на описаніи всѣхъ деталей разложенія лошадинаго трупа, отъ стихотворенія, да простится мнѣ это выраженіе, до такой степени воняетъ падалью, контрастирующая ассоціація этого зрѣлища съ прекраснымъ образомъ его возлюбленной, къ которой поэтъ возвращается въ послѣднихъ строфахъ стихотворенія, чтобы просить ее *„передать червямъ, которые будутъ глодать ея трупъ, что онъ въ душѣ своей сохранилъ божественную форму и эссенцію своей разложившейся любви“*, ассоціація по контрасту, говорю я, пошла въ этомъ случаѣ такъ далеко, что очутилась внѣ предѣловъ нормальной психологіи.

Ближайшимъ и непосредственнымъ духовнымъ преемникомъ Боделэра, отцомъ современнаго декадентизма и символизма, если дѣдомъ этого движенія мы считаемъ Боделэра, былъ признанный глава этой школы, недавно умершій французскій поэтъ Верленъ. Я не только изъ хронологическихъ соображеній назвалъ его наслѣдникомъ Боделэра,—нѣтъ! Верленъ былъ дѣйствительно его продолжателемъ; самъ онъ въ своихъ Confessions говоритъ, что первою книгой, попавшею ему въ руки еще въ школѣ, если не считать дѣтскихъ книжекъ и учебниковъ, былъ томикъ „Цвѣтовъ зла“, утащенный имъ у разсѣяннаго и неосторожнаго надзирателя, и этотъ сборникъ произвелъ на него неизгладимое впечатлѣніе.

Біографія этого многострадальнаго и многогрѣшнаго поэта въ краткихъ чертахъ такова: отецъ его умеръ отъ болѣзни, которую мы называемъ dementia paralitica tabica, т.-е. сухотка спинного мозга, осложненная аналогичными явленіями со стороны головного мозга, словомъ, отъ одного изъ варіантовъ той роковой и безпощадной болѣзни, которая именуется прогрессивнымъ параличомъ умалишенныхъ. Мнѣ невозможно останавливаться въ этомъ этюдѣ на нѣкото-

рыхъ особенностяхъ нрава и привычекъ поэта, и остается поэтому просить читателя повѣрить мнѣ на слово, что уже почти съ самаго дѣтства въ немъ замѣчаются, а въ юношествѣ уже рѣзко сказываются, такіе вкусы, которые прямо подлежатъ вѣдѣнію психіатріи, но, впрочемъ, также подлежатъ и вѣдѣнію уголовнаго закона, вслѣдствіе чего Верлену и пришлось уже въ зрѣлые годы провести нѣсколько лѣтъ въ тюрьмѣ по обвиненію его въ оскорбленіи общественной нравственности; этой уголовной карѣ онъ подвергся за то же преступленіе, за которое былъ осужденъ современный англійскій эстетъ, критикъ и драматургъ Оскаръ Уайльдъ, о которомъ мнѣ тоже придется потомъ сказать нѣсколько словъ. Съ 17-ти-лѣтняго возраста Верленъ, по собственному его признанію, горькій пьяница, и притомъ съ наклонностью къ худшему изъ видовъ пьянства, къ самому тяжелому изъ алкогольныхъ отравленій,—онъ пьетъ преимущественно абсентъ. Всю жизнь онъ проводитъ, какъ настоящій богема, завсегдатай разныхъ кафэ, всегда полубольной или полупьяный, обыкновенно безпріютный, если старые пріятели его по Латинскому кварталу, вышедшіе въ люди и сдѣлавшіеся врачами парижскихъ госпиталей, не давали ему передохнуть на больничной койкѣ; въ больницахъ онъ провелъ изрядную часть своей жизни, въ больницѣ же и умеръ въ 1895 году.

Такъ же, какъ и Боделэру, невозможно отказать и Верлену въ большомъ художественномъ дарованіи; это во всякомъ случаѣ крупный поэтъ. Съ этимъ согласится каждый, кто знакомъ хотя бы только съ его „романсами безъ словъ", гдѣ попадаются настоящія жемчужины, какъ, напр., исполненная такой искренной, тихой грусти элегія:

Il pleut dans mon coeur
Comme il pleut dans la ville!

или небольшое въ шести куплетахъ стихотвореніе: Dans l'interminable ennui de la plaine, которое дѣйствительно вызываетъ образъ и настроеніе чего-то безконечнаго и безнадежнаго. Я не пытаюсь приводить эти стихи въ переводѣ, потому что для того, чтобы передать не столько красоту, сколько впечатлѣніе, производимое подлинникомъ, нужно быть Фетомъ, который изъ русскихъ поэтовъ всего болѣе въ нѣкоторыхъ своихъ произведеніяхъ приближается къ манерѣ и поэтическому типу Верлена: то же мастерство дать въ нѣсколькихъ строкахъ цѣлый пейзажъ и вызвать въ душѣ читателя соотвѣтствующее настроеніе, тотъ же техническій пріемъ способствовать этому и усиливать это ощущеніе своеобразнымъ ритмомъ, повторяющимися

строфами, иногда неожиданнымъ, неяснымъ, не столько опредѣляющимъ, сколько подсказывающимъ или, лучше, внушающимъ эпитетомъ.

Такъ какъ Верленъ не пользуется большою популярностью среди русской читающей публики, а многимъ, вѣроятно, и совсѣмъ неизвѣстенъ, то образца ради привожу слѣдующее небольшое стихотвореніе его:

EFFET DE NUIT.

La nuit. La pluie. Un ciel blafard qui déchiquette
De flèches et de tours à jour la silhouette
D'une ville gothique éteinte au lointain gris.
La plaine. Un gibet plein de pendus rabougris—
Secoués par le bec avide des corneilles
Et dansant dans l'air noir des gigues non pareilles,
Tandis que leurs pieds sont la pâture des loups.
Quelques buissons d'épines épars et quelques houx
Dressant l'horreur de leur feuillage à droite, à gauche
Sur le fuligineux fouillis d'un fond d'ébauche.
Et puis autour de trois livides prisonniers
Qui vont pieds nus, deux cent vingt-cinq pertuisaniers
En marche, et leurs fers droits, comme des fers de herse
Luisent à contre-sens des lances de l'averse.

Стихотвореніе это взято изъ сборника Eaux fortes и озаглавлено такъ, какъ озаглавливаются картины: „Effet de nuit“, и, дѣйствительно, лучшаго заглавія нельзя и придумать: эти 17 строчекъ въ самомъ дѣлѣ производятъ впечатлѣніе старинной гравюры: на фонѣ дождливой ночи вырисовываются готическія колокольни и башни средневѣкового города, висѣлицы съ тѣлами казненныхъ и отрядъ стрѣльцовъ, окружающій плѣнныхъ.

Но рядомъ съ этими высоко-художественными произведеніями — какое множество, если можно такъ выразиться, явно-больныхъ стиховъ!... Не угодно ли прочесть и понять, если можете, *Балладу дурной репутаціи*, оканчивающуюся призывомъ къ знаменитому маркизу де-Саду, автору кроваво-циничныхъ, безумно-порнографическихъ многотомныхъ романовъ, умершему въ началѣ нашего столѣтія въ сумасшедшемъ домѣ и имя котораго вошло въ психіатрію для обозначенія одного изъ видовъ глубокаго нравственнаго и чувственнаго извращенія и вырожденія.

Впрочемъ, весь сборникъ, въ которомъ заключается эта баллада, сборникъ подъ общимъ заглавіемъ „Parallélement“, даетъ достаточно матеріала, чтобы судить о степени психопатичности автора. Въ немъ

дѣйствительно *параллельно*, какъ обѣщаетъ заглавіе, вы найдете гимны, иные—исполненные глубокаго религіознаго чувства, другіе—мистическаго содержанія, и рядомъ, на слѣдующей же страницѣ, авторъ, который только что называлъ себя рыцаремъ Св. Дѣвы, воспѣваетъ самую грубую чувственность и самые гнусные пороки. Долженъ замѣтить, что такое сочетаніе мистицизма и самаго разнузданнаго эротизма есть столь обычное и заурядно психопатическое явленіе, что на эту тѣсную ассоціацію двухъ, казалось бы, діаметрально противоположныхъ сторонъ душевной дѣятельности легко найти указанія въ любомъ учебникѣ психіатріи, а живые примѣры этому въ любой психіатрической клиникѣ или больницѣ *). Около Верлена группировалась и выросла цѣлая плеяда поэтовъ, именующихъ себя всякими причудливыми кличками, ибо теперь уже декадентизмъ и символизмъ тоже становятся старьемъ, vieux jeu, и замѣняются идео-реализмомъ, нео-натурализмомъ, изолизмомъ, эволютиво-инструментализмомъ и другими ежедневно нарождающимися новыми школами, которыя, впрочемъ, всѣ имѣютъ нѣчто общее между собою, а именно могли бы взять себѣ девизомъ, какъ это мы сейчасъ увидимъ, русскую пословицу: „на грошъ аммуниціи, да на рубль амбиціи". Въ самомъ дѣлѣ, всѣ эти столь многочисленные послѣдователи Верлена не имѣютъ и сотой доли его дарованія, литературный багажъ ихъ обыкновенно чрезвычайно невеликъ, зато претензіи и самомнѣніе колоссальны. Вотъ, напр., какъ рекомендуетъ себя Jean Moréas, *„глава"*, какъ онъ себя величаетъ, эволютивно-инструменталистской школы: „Кому неизвѣстно, что я работаю надъ Твореніемъ (Твореніе написано, конечно, съ большой буквы), единымъ созданіемъ всей жизни, въ 11 книгахъ, слѣдовательно болѣе, чѣмъ въ 30 томахъ: Твореніе, которое будетъ и поэтическимъ, и философскимъ, и религіознымъ. Это будетъ развитіемъ моего принципа эволютивной философіи на научномъ основаніи, а моя теорія словесной инструментовки есть адэквативная и столь же научная форма выраженія этого Творенія" (опять, конечно, съ прописной буквы).

Но это все въ будущемъ, и надо полагать, что намъ также не суждено увидѣть этихъ 30 томовъ „Творенія" Jean Moréas'a, какъ наши отцы не увидѣли изданія сочиненій Тентетникова, задуманнаго по

---

*) И не одни врачи, но и художественные критики также замѣтили это—казалось бы, столь парадоксальное—родство мистицизма и эротизма. См., напр., въ книгѣ René Doumic „Les jeunes. Etudes et portraits" (p. 84): „... ce qu'on distingue dans ce trouble ideal, c'est... surtout l'appel exaspéré de la sensualité... Cette aspiration à la pieté. c'est l'effort d'une génération fatiguée pour restituer dans nos âmes la foi qui rendrait la saveur du péché."

столь же обширному плану, а пока творецъ эволютивной и словесной инструментаціи пишетъ вирши такого сорта (даю подстрочный переводъ): „Чтобъ утѣшить мое сердце отъ измѣнъ, я буду воспѣвать въ благородныхъ пѣсняхъ дочерей Нерея: Главкею, Кимоѳею, Тою, Притомнидею и Панопею, Тевриду съ розовыми руками, Эулимену и Гипотою, любезную Иліолею, скороплывущую Амфитриду, Прото, Дото, которая такъ очаровательна, и Киматолегу, которая усмиряетъ Мрачное море“.

Не отвѣчаю за точную транскрипцію всѣхъ этихъ нанизанныхъ другъ на друга женскихъ именъ, — да и увѣренъ ли самъ Moréas въ томъ, что именно таковы были имена Нереидъ?—во всякомъ случаѣ я взялъ отрывокъ изъ наиболѣе связнаго произведенія; многихъ другихъ понять, а тѣмъ паче перевести невозможно.

Кстати замѣтить, — представители новой художественной школы весьма злоупотребляютъ этимъ пріемомъ и охотно замѣняютъ поэтическіе образы вереницами словъ, которыя почему-то кажутся имъ звучными. Сколько я знаю, всѣхъ въ этомъ отношеніи перещеголялъ графъ de Montesquiou-Fezensac, авторъ стихотворныхъ сборниковъ съ такими странными заглавіями, какъ: „Chef des odeurs suaves“, „Chauves souris“ и т. д., и не стѣсняющійся перелагать въ стихи каталоги аптекарскихъ фирмъ и прейскуранты цвѣтоводныхъ заведеній *), что не мѣшаетъ ему, однако, пользоваться нѣкоторою извѣстностью даже за предѣлами кружковъ, среди большой публики.

Но, боясь утомить вниманіе читателя, я оставляю всторонѣ всѣхъ dii minores и скажу два слова о признанныхъ главахъ и вождяхъ символистическо-декадентскаго направленія во французской литературѣ: Stephan'ѣ Mallarmé и Maiterlinck'ѣ. Мнѣ неизвѣстны ихъ біографіи, и я, не имѣя необходимыхъ данныхъ въ рукахъ, воздерживаюсь отъ зачисленія ихъ въ ту или другую рубрику психопатологіи. Но я въ правѣ отмѣтить характерныя черты ихъ творчества. Mallarmé, глава *молодыхъ* поэтовъ, хотя ему теперь лѣтъ подъ шестьдесятъ **), написалъ очень мало, а то, что написалъ, — написалъ до

---

*) Напр.:
Aurone, pergulaire, ananas, amalgalmes
Bigarade, kus-kus, neroli, tournesol,
Origans, orvietans, orpiments, orcanétes;
Miroane, axonge, alcoolats, spermaceti,
Mucilages, glycerolés et savonnettes,
Vin de lys, lait de rose, étalé, bu, senti.—
Phlox, Melanocarpus, Penstemon, Ixia,
Agave, Schizanthus, Thlaspi, Collinsia,
Epacris, Ixora, Brachicome, Rhodanthe.
Centrenthus, Areca, Tagetes, Muscaris,
Mesembrianthemum et Strutiopteris,
Anthurium, Rhapis, Arecas et Limmanthe,
и т. д. и т. д.

**) Эти строки были уже сданы въ печать, когда въ газетахъ появилось извѣстіе о кончинѣ Mallarmé. Онъ умеръ въ сентябрѣ 1898 года, въ возрастѣ 57 лѣтъ. Послѣ смерти Верлена въ Парижѣ состоялся „конгрессъ поэтовъ“, вѣнчав-

такой степени вычурнымъ языкомъ, съ такими неологизмами и архаизмами и такими причудливо-уродливыми сочетаніями фразъ и словъ, что онъ въ большинствѣ своихъ произведеній неудобопонятенъ. Судите сами: что означаетъ, напр., *„и прозрачный плавающій измѣнникъ моей ноги и моихъ рукъ, со многими скачками отрицающій дурного Гамлета“* (Le pitre chatié), или: *„она, мертвая, нагая въ зеркалѣ, несмотря на то, что въ забвеніи, затянутомъ рамкой, тотчасъ отражается septetъ сверканія“* и т. д. Смѣю увѣрить, что я выбиралъ еще наиболѣе переводимыя мѣста, въ большинствѣ же случаевъ нѣтъ никакой возможности доискаться, гдѣ подлежащее и гдѣ сказуемое, или встрѣчаешься съ такими словечками, которыхъ ни въ какомъ словарѣ найти невозможно *).

Другой корифей школы, Меттерленкъ, написалъ гораздо больше Малларме, но столь же мало удобопонятнаго. Пока читаешь его драмы, которыя какъ-ни-какъ написаны доступнымъ и для простого смертнаго языкомъ, можно во всякомъ случаѣ понять, что хотѣлъ сказать авторъ. Такъ, въ L'Intruse онъ хочетъ вызвать въ читателѣ или зрителѣ настроеніе нервнаго и безпокойнаго ожиданія неизбѣжнаго несчастія, смерти, готовой войти въ семью, и дѣйствительно до извѣстной степени достигаетъ этого, главнымъ образомъ съ помощью внѣшнихъ техническихъ пріемовъ. Дѣйствующія лица обмѣниваются только короткими отрывочными фразами, слѣпой и дряхлый старикъ бросаетъ отъ времени до времени въ общій разговоръ ноту нарастающаго ужаса, и этому должны содѣйствовать декоративно-бутафорскіе сценическіе эффекты въ родѣ внезапнаго умолканія пѣнія птицъ, безпричиннаго шума шаговъ или звука отпирающейся двери и пр. и пр. Можно представить себѣ, что въ очень хорошемъ исполненіи эта пьеса можетъ, пожалуй, произвести то впечатлѣніе, на которое разсчитываетъ авторъ, если только ее вообще возможно поставить на сцену, ибо, сколько мнѣ извѣстно, попытки въ этомъ направленіи потерпѣли фіаско.

Другія его драматическія произведенія, въ родѣ *Слѣпыхъ и Принцессы Малейнъ*, показываютъ близкое генетическое родство между современнымъ символизмомъ и полузабытымъ теперь аллегорическимъ

шій на царство въ качествѣ главы школы Стефана Малларме. Дофиномъ считался R. Ghil, однако королемъ поэтовъ былъ провозглашенъ нѣкій Léon Dierx, произведенія котораго извѣстны лишь небольшому кружку его единомышленниковъ и въ печати, повидимому, не появлялись.

*) Развѣ только въ спеціальномъ „Petit glossaire pour servir à l'intelligence des auteurs décadents“, который понадобилось издать, чѣмъ достаточно характеризуется степень удобопонятности этихъ авторовъ даже для ихъ соотечественниковъ.

жанромъ въ искусствѣ. Но, повторяю, драмы его все-таки можно понять *). Зато стихотворенія его доступны, конечно, только избранному кругу его единомышленниковъ. Два, три изъ нихъ существуютъ и въ переводѣ его русскихъ поклонниковъ, напр., слѣдующее, извѣстное и русской читающей публикѣ (конечно, только благодаря остроумной пародіи на него, появившейся въ „Вѣст. Евр.“).

Вотъ это стихотвореніе Меттерленка въ переводѣ, напечатанномъ въ сборникѣ „Русскіе Символисты.“

Моя душа больна весь день,
Моя душа больна прощаньемъ,
Моя душа въ борьбѣ съ молчаньемъ,
Глаза мои встрѣчаютъ тѣнь.
И подъ кнутомъ воспоминанья
Я вижу призраки охотъ,
Полузабытый слѣдъ ведетъ
Собакъ секретнаго желанья.
Во глубь забывчивыхъ лѣсовъ,
Лиловыхъ грезъ несутся своры,
И стрѣлы желтыя—укоры—
Казнятъ оленей лживыхъ сновъ.
Увы! Увы! вездѣ желанья,
Вездѣ вернувшіеся сны
И слишкомъ синее дыханье...
...На сердцѣ меркнетъ ликъ луны.

Должно замѣтить, — и это очень характерно для русскихъ декадентовъ, которые, очевидно, не обладаютъ смѣлостью своихъ западноевропейскихъ учителей, — что ихъ переводы въ отношеніи фактуры стиха подчиняются общепринятымъ правиламъ стихосложенія и вслѣдствіе этого не даютъ надлежащаго представленія о подлинникахъ, въ которыхъ самымъ рѣшительнымъ образомъ игнорируются и размѣръ, и рифма, а подчасъ и синтаксисъ.

Стихотворенія Меттерленка собраны въ сборникъ, носящій общее заглавіе „*Теплицы*“ (Serres chaudes).

Первое впечатлѣніе, которое получаетъ читатель отъ этой книжицы,—изумленіе передъ разнузданностью фантазіи автора, причудливостью и неожиданностью его образовъ: по мѣрѣ чтенія это впечатлѣніе блѣднѣетъ, такъ какъ одни и тѣ же вычурныя сравненія перестаютъ быть неожиданными, ибо повторяются слишкомъ часто; когда закрываешь книжку, удивляешься только одному: необыкно-

*) За исключеніемъ, конечно, Les septs Princesses, недоступной по ихъ собственному сознанію даже для посвященныхъ.

венной скудости и убогости мысли и воображенія. Въ этомъ маленькомъ томикѣ „Serres chaudes“ напечатано на 83 страничкахъ съ огромными полями и многими пробѣлами 33 стихотворенія. Если бы перепечатать все содержаніе этой брошюры обыкновеннымъ газетнымъ шрифтомъ, то не вышло бы, вѣроятно, даже нѣсколькихъ столбцовъ фельетона въ газетѣ средняго формата. Я имѣлъ терпѣніе отмѣчать и подсчитать излюбленные художественные образы Меттерленка. Одинъ изъ самыхъ назойливо-повторяющихся это—сравненіе съ больницей и пріютомъ для неизлѣчимыхъ. „Духовая музыка подъ окнами неизлѣчимыхъ“, „Почтальонъ во дворѣ больницы“, „Раненые, находящіеся на излѣченіи въ оранжереѣ“, „Весь горизонтъ занятъ столовыми для больныхъ“, „Больница, устроенная среди жатвы“ и т. д. и т. д., такъ и пестрятъ на страницахъ сборника, гдѣ въ тридцати трехъ, составляющихъ его, стихотвореніяхъ указанное сравненіе повторяется ровно 25 разъ. Не менѣе излюбленное сравненіе съ принцессами, или умирающими съ голоду, или запертыми въ башню (иногда просто въ башню, иногда въ башню души автора), или блуждающими то по болоту, то по полю, засѣянному цикутою, то по озерамъ, есть даже такія странныя принцессы, которыя *„въ теченіе всего лѣта ложились* почему-то *спать не ранѣе полудня“*...

Овцы и бараны съ честью выдерживаютъ въ этомъ сборникѣ конкурренцію съ принцессами, какъ по частотѣ упоминанія о нихъ, такъ и по разнообразію приписываемыхъ имъ занятій: въ одномъ стихотвореніи они жуютъ снѣгъ, въ другомъ — темноту, то умираютъ на льду, то гуляютъ по лугу, покрытому бѣльемъ, или даже входятъ съ грустнымъ видомъ въ залу.

Въ большомъ почетѣ у Меттерленка синій цвѣтъ. Болѣе, чѣмъ въ половинѣ стихотвореній его можно найти что-нибудь окрашенное въ этотъ цвѣтъ, въ томъ числѣ: сны, скука, распутство, кнуты воспоминаній и даже собственный умъ поэта. Не то, что у другого поэта той же школы, который, какъ человѣкъ, съѣвшій слишкомъ много цитварнаго сѣмени и отравленный сантониномъ, видитъ все въ желтомъ цвѣтѣ—у Noël'я Laumo: „un coeur qui sait l'idéal jaune!“

Я ограничиваю этимъ выдержки изъ поэзіи декадентовъ. Моя задача—не задача художественнаго критика, а задача психіатра, который долженъ приложить свои методы изслѣдованія и свой спеціальный критерій къ анализу этихъ произведеній и психологіи ихъ авторовъ. Я не считаю себя въ правѣ утверждать діагностику душевной болѣзни по поводу людей, которыхъ я не видѣлъ и о которыхъ не имѣю никакихъ біографическихъ свѣдѣній. Весьма вѣроятно, что въ этомъ легіонѣ, ибо теперь имя имъ легіонъ, всего больше такихъ,

на которыхъ только съ натяжкой можно распространить такую діагностику и которыхъ справедливѣе и естественнѣе просто зачислить въ ряды тѣхъ весьма многочисленныхъ представителей рода homo sapiens, у которыхъ синтетизирующая сила ума качественно или количественно недостаточна, не выходя, однако, изъ предѣловъ психологіи.

Дѣйствительно душевно-больныхъ людей въ этой толпѣ апостоловъ новаго эстетическаго слова, конечно, меньшинство, но они несомнѣнно есть, и если невозможно констатировать этого съ достаточною научною строгостью и на многихъ примѣрахъ, то только вслѣдствіе отсутствія біографическихъ данныхъ. Когда же по какимъ-нибудь особымъ обстоятельствамъ такія данныя выплываютъ наружу, то и мы получаемъ возможность сдѣлать надлежащую оцѣнку личности. И дѣйствительно, въ этихъ случаяхъ можно съ увѣренностью говорить о конституціональномъ психопатизмѣ, о глубокомъ въ большинствѣ случаевъ нервно-психическомъ вырожденіи личности.

Это показалъ намъ, напр., процессъ Oscar Wilde, извѣстнаго англійскаго эстета и драматурга, только недавно отбывшаго свой срокъ тюремныхъ работъ, къ которымъ онъ былъ приговоренъ за такое же преступленіе, какъ и Верленъ. Не пахожу возможнымъ остановиться подробнѣе на этомъ дѣлѣ, скажу только, что изъ дневника Гонкуровъ, на который я уже имѣлъ случай ссылаться, мы узнаемъ, что въ семействѣ Уайльда большинство ближайшихъ родственниковъ были душевно-больны, а репутація самаго Уайльда еще до его процесса была такова, что его не пускали ни въ одну гостинницу Лондона и что ему приходилось прибѣгать для этого къ гримировкѣ и парикамъ.

Другое уголовное дѣло, бросающее яркій свѣтъ какъ разъ на тотъ кружокъ французскихъ декадентовъ, о которомъ только что шла рѣчь, есть процессъ Chambige'a, процессъ, послужившій, кстати сказать, канвою и основою для извѣстнаго романа P. Bourget „Le disciple".

Въ первой половинѣ восьмидесятыхъ годовъ въ кафэ Латинскаго квартала и Монмартра, художественнаго квартала Парижа, возникало какъ разъ то декадентское и символистическое движеніе въ искусствѣ, которое насъ теперь занимаетъ; тамъ, за стаканомъ purée d'absinthe, засѣдалъ старикъ Верленъ, окруженный кликой молодыхъ адептовъ новой художественной секты, тамъ нарождались, погибали и снова возникали многочисленные печатные органы, отличавшіеся весьма кратковременнымъ существованіемъ, тамъ далеко за-полночь разносились вдребезги старыя литературныя и художественныя ре-

путаціи и создавались новыя, довольно дешевымъ способомъ взаимнаго самовосхваленія *). Въ этихъ кружкахъ былъ довольно замѣтенъ нѣкто Шамбижъ, молодой студентъ, лѣтъ 23, авторъ двухъ романовъ съ слѣдующими любопытными заглавіями: „Dispersion infinitésimal du coeur“ (Раздробленіе сердца на безконечно-малыя величины) и L'âme intransmissible (Непередаваемая душа).

На каникулахъ Шамбижъ познакомился съ семьей нѣкоего инженера, состоявшею изъ мужа, человѣка лѣтъ 35, красиваго мужчины, пользовавшагося общими симпатіями, и жены, дамы лѣтъ 30, женщины съ репутаціею безукоризненной семьянинки, обожавшей своихъ двухъ дочерей и жившей съ мужемъ душа въ душу. Что произошло между нею и Шамбижемъ, такъ и осталось неразъясненнымъ ни судебнымъ слѣдствіемъ, ни на судѣ. Вѣрно только то, что въ одинъ прекрасный день они оба были найдены въ виллѣ, принадлежавшей семейству Шамбижа, и гдѣ M-me G. бывала и прежде, такъ какъ вслѣдствіе дружескихъ отношеній съ семьей, ей былъ порученъ присмотръ за этою дачей; найдены въ такомъ видѣ: M-me G. на постели, почти раздѣтая, окруженная цвѣтами и съ огнестрѣльною раной въ вискѣ, убитая наповалъ, и Шамбижъ съ двумя легкими ранами на лицѣ, изъ которыхъ одна пробила ему щеку, другой же выстрѣлъ въ сущности опалилъ только бороду.

На судѣ Шамбижъ утверждалъ, что онъ и M-me G. полюбили

---

*) См. напр., какъ Ch. Morice въ уже цитированной книгѣ своей на нѣсколькихъ страницахъ (242—267) громитъ старшее поколѣніе современныхъ французскихъ поэтовъ, романистовъ и критиковъ: „A. Daudet и P. Loti имѣютъ много общаго—оба пишутъ одинаково скверно, у обоихъ въ головѣ нѣтъ ни одной глубокой мысли, ни одной изящной идеи“. „Richepin'а сгноили реторика и претензіи“. „Bourget пошелъ въ литературѣ кривымъ путемъ, заблудился и попалъ въ тѣ нездоровыя области, гдѣ царствуютъ Daudet и Loti“. J. Lemaitre—критикъ остроумный, но пропитанный школьнымъ педантизмомъ и совершенно некомпетентный“. „У Renan'а блестящій и изящный стиль скрываетъ мысли туманныя и двойственныя, тяжелыя и подозрительныя“. „Anatole France—диллетантъ“, „Victor Hugo—общее мѣсто всяческихъ новшествъ—не далъ ничего оригинальнаго и т. д.

Въ pendant къ отзывамъ Ch. Morice'а см. въ „Portrais du prochain siècle“ (Paris 1896. Chez Edm. Girard) аттестаціи, которыя выдаютъ другъ другу 141 представитель молодой школы литераторовъ, имена которыхъ призваны украсить будущее столѣтіе: „Edm. Barthélemy — удивительный стилистъ, одно изъ самыхъ крупныхъ именъ будущей исторіи литературы“. „P. N. Roinard—достигъ тѣхъ вершинъ, съ которыхъ охватывается вся гармонія человѣчества и всѣ соціальные микрокосмы“. „Em. Michelet—блестящее созвѣздіе“ „Стихотворенія Elskamp'а божественны и освѣщаютъ столѣтія“. „Ivan Gilkin (Иванъ Жилкинъ?)—черный Рафаэль“. „André Gide въ нѣсколькихъ краткихъ писаніяхъ коснулся самыхъ глубокихъ тайнъ человѣческаго разумѣнія и смысла Божества“. „J. Moréas воскресилъ чистую пѣснь предковъ, M. du Plessys—полный и звучный стиль Малерба, Ch. Maurras—періоды Боссюэта“ и т. д. и т. д.

другъ друга и что онъ уговорилъ ее отдаться ему, подъ тѣмъ условіемъ, что они немедленно искупятъ грѣхъ двойнымъ самоубійствомъ, что по ея настоянію онъ направилъ ей выстрѣлъ въ високъ, но по себѣ промахнулся. Здѣсь, кстати, замѣтить, что у него въ карманѣ найдено было еще слишкомъ 20 патроновъ и что, пока прибѣжали на выстрѣлы и выломали двери, у него, конечно, было болѣе чѣмъ достаточно времени, чтобы застрѣлиться въ серьёзъ.

Показаніе мужа г-жи G. и всѣхъ лицъ, знавшихъ ее съ дѣтства, всего провинціальнаго общества того городка, гдѣ произошла драма, свидѣтельствуютъ, что объясненія обвиняемаго находятся въ безусловномъ противорѣчіи съ характеромъ и всѣмъ психологическимъ типомъ жертвы. Точно также совершенно непонятно, какимъ образомъ женщина, идущая на смерть, всю первую половину дня провела совершенно обычнымъ образомъ: занималась съ дѣтьми, завтракала и потомъ играла со своими дѣвочками, провѣдала знакомую, у которой былъ боленъ ребенокъ, заѣзжала въ кондитерскую купить пирожнаго, написала родственницѣ письмо въ совершенно спокойномъ тонѣ, съ разными подробностями о мелкихъ домашнихъ и хозяйственныхъ дѣлахъ, и затѣмъ отправилась на роковое свиданіе, даже не простившись съ дѣтьми, и, по показанію прислуги, съ совершенно спокойнымъ видомъ. Въ виду всего этого, нѣкоторые свидѣтели на судѣ высказывали предположеніе, что г-жа G. подверглась насилію, а затѣмъ была убита въ состояніи гипноза.

Это загадочное дѣло осталось неяснымъ для суда и слѣдствія. Мы тѣмъ болѣе не будемъ пытаться разобраться въ подробностяхъ и мотивахъ этого таинственнаго преступленія, что оно интересуетъ насъ въ эту минуту лишь настолько, насколько даетъ матеріалъ для психіатрической характеристики Шамбижа, романиста школы декадентовъ, и его литературныхъ друзей. Вотъ какія указанія находимъ мы въ процессѣ: во-первыхъ, болѣзненную наслѣдственность— отецъ Шамбижа, меланхоликъ, кончилъ самоубійствомъ; во вторыхъ, чрезвычайную душевную неуравновѣшенность самого Шамбижа въ тѣ юные годы, когда начинаетъ складываться умственная и моральная личность; изъ его дневника оказывается, что уже въ раннемъ дѣтствѣ онъ до крайности увлекается всѣмъ таинственнымъ и мистицизмомъ до такой степени, что можно говорить о помѣшательствѣ съ религіознымъ бредомъ; позднѣе наступаетъ переломъ, и, не достигши еще 20 лѣтъ, онъ пишетъ, что „зданіе его души разрушено скептицизмомъ и что нынѣ онъ сталъ, подобно—ни много, ни мало!—Монтэню, Сенъ-Бёву и Ренану — абсолютно объективнымъ“... и дальше: „я написалъ слово néant (ничто) въ моемъ умѣ и въ мо-

емъ сердцѣ". Затѣмъ мы имѣемъ дѣло уже съ безспорно психопатическими явленіями, напр., навязчивыя идеи при видѣ ножа, такъ что онъ принужденъ бѣжать отъ него. Шамбижъ самъ говоритъ, что его въ эти годы преслѣдуетъ боязнь сойти съ ума. Были, повидимому, въ это время и зрительныя галлюцинаціи (J'eus des visions d'arbres verts, de maisons de paysans).

Наконецъ, съ нимъ уже во время студенчества бываютъ, какъ свидѣтельствуютъ его товарищи, припадки истерическихъ рыданій, а ради характеристики его нравственнаго чувства можно привести слѣдующую фразу изъ того же дневника его: „еще больше, чѣмъ женщинъ, я люблю ложь". Одинъ изъ свидѣтелей, правда, вызванныхъ прокуроромъ, указалъ, что незадолго до преступленія Шамбижъ говорилъ, что онъ хотѣлъ бы пережить ощущеніе убійцы, чтобы доставить себѣ новыя эмоціи и подвергнуть ихъ психологическому анализу; интересенъ вызванный со стороны защиты свидѣтель Martin Laya, тоже романистъ и декадентъ, пріятель Шамбижа, который, посвящая ему свой романъ, говоритъ въ этомъ посвященіи: „судьи должны склониться передъ человѣкомъ, который сегодня подлежитъ суду, но завтра, благодаря своимъ литературнымъ трудамъ, сдѣлается ихъ учителемъ". Любопытно замѣтить, что въ другомъ романѣ того же автора попадаются фразы въ родѣ слѣдующей: „женщины—все равно, что пѣнковыя трубки: разобьешь одну, возьмешь другую!"

Все, что мнѣ извѣстно по этому дѣлу, я могъ бы резюмировать, выразивъ удивленіе, что въ немъ не участвовали эксперты-психіатры; по моему убѣжденію, процессъ даетъ для этого достаточный матеріалъ, и мѣсто Шамбижа едва ли на каторгѣ, куда онъ былъ приговоренъ, а скорѣе всего въ больницѣ.

Итакъ, для нѣсколькихъ представителей этой литературной группы, Боделэра, Верлена, Уайльда, Шамбижа, намъ удалось съ біографическими фактами въ рукахъ доказать наличность нервно-психическаго разстройства, при томъ въ той сильной степени, которая приводитъ въ психіатрическую больницу или на скамью подсудимыхъ *).

---

*) То же самое было бы легко доказать относительно предтечъ этого литературнаго направленія—Гоффмана и Э. Поэ, которыхъ я не касаюсь въ настоящей статьѣ, хотя теперешніе символисты сами связываютъ себя съ ними генетически и признаютъ въ нихъ своихъ учителей, въ особенности Э. Поэ, произведенія котораго были переведены на французскій языкъ Боделэромъ и на декадентскій языкъ Стефаномъ Малларме. См., напр., у Ch. Morice, l. c., pp. 200 — 204, по поводу Гоффмана: „... d'autres (poëtes étrangers) pourtant semblaient s'imposer dans cette revue..... Hoffmann par exemple..... Mais Hoffmann est plutôt une exception—combien delicieuse!—qu'une influence". И по поводу Эдг. Поэ: „ C'est un déja vieux fait, qu'Edgard Poë, a peine révélé en France, y trouva comme la patrie naturele de sa gloire..

Большинство, конечно, избѣгаетъ этой печальной альтернативы и намъ, чтобы выполнить нашу задачу, приходится искать признаковъ психопатіи въ особенностяхъ ихъ творчества.

Говоря о Боделэрѣ, я останавливалъ вниманіе читателя на сонетѣ, въ которомъ поэтъ воспѣваетъ сочетаніе и сліяніе во-едино запаховъ, звуковъ и красокъ. Этотъ *„ароматъ зеленый или звучный“* вовсе не простая піитическая вольность. Напротивъ, весьма вѣроятно, что Боделэру въ самомъ дѣлѣ запахи или звуки казались окрашенными, а цвѣта звучными. Можетъ быть, даже у него не только обонятельныя, но и вкусовыя ощущенія сочетались съ представленіемъ о цвѣтѣ или звукѣ *). Такое психологическое явленіе дѣйствительно существуетъ, и въ послѣднее время на него обращено учеными значительное вниманіе. Въ простѣйшей своей формѣ это явленіе, извѣст-

---

De lui et de Baudelaire il faut aimer les influences comme fraternelles et qu'il sied de ne séparer point. Ce sentiment de la *conscience poëtique,* plutôt jusqu'à lui, pressentiment, n'acquiert tous ces droits qu'en Edgard Poë... Moins souvent dans cette oeuvre, telle quelle pourtant divine—put-il manifester cette conscience principalement, je veux dire en de l'art pur, que, secondairement, en des pages où le plus sublime Poëte ne montrait que ses moins rares dons... L'exception! voilà peut-être le plus significatif trait d'E. Poë, sa plus féconde vue en art. Dans l'exception seule, en effet, pourront les nouveaux Poëtes réaliser les grands rêves d'aristocratie savante et de pureté belle...

*) Позволю себѣ рекомендовать читателю, котораго заинтересовала бы эта своеобразная психологическая особенность, познакомиться съ романомъ Huysmans'a „A rebours“. Это нѣчто въ родѣ клинической исторіи болѣзни нѣкоего des Esseintes. Этотъ послѣдній худосочный и изнервничавшійся представитель древняго и когда-то мощнаго рода, забавлявшійся, между прочимъ, систематическимъ развращеніемъ шестнадцатилѣтняго мальчишки съ исключительною цѣлью приготовить изъ него будущаго вора и убійцу, удаляется отъ міра въ спеціально выстроенный для этого домъ. Тамъ все не по-людски; столовая представляетъ собою каюту корабля, и свѣтъ проникаетъ въ нее не черезъ окно, а черезъ акваріумъ; на полу гостиной ползаетъ черепаха съ броней, не только позолоченной, но и украшенной драгоцѣнными камнями и при томъ, конечно, не какими-нибудь банальными и всѣмъ знакомыми алмазами или изумрудами, а такими, имена которыхъ можно найти развѣ только въ подробныхъ руководствахъ минералогіи; библіотека составлена исключительно изъ латинскихъ поэтовъ эпохи упадка и французскихъ латинистовъ и отцовъ церкви до X вѣка включительно.... Этотъ полоумный герой устраиваетъ себѣ цѣлые спектакли съ помощью духòвъ, которыхъ у него полная коллекція; наполняя комнату смѣсью различныхъ запаховъ, онъ вызываетъ въ своемъ умѣ послѣдовательно представленія цвѣтущихъ луговъ, напудренныхъ и нарумяненныхъ женщинъ, большого города, окруженнаго заводами, несуществующаго и фантастическаго пейзажа. Не менѣе полна коллекція спиртныхъ напитковъ, хранящаяся въ очень хитромъ и сложномъ поставцѣ, которымъ можно управлять какъ органомъ. На этомъ инструментѣ онъ разыгрываетъ симфоніи и даетъ себѣ концерты: кюрасо — это кларнетъ, кюммель—гобой, мятная и анисовка—флейты, киршъ—рожокъ, джинъ и виски—тромбоны, а хіоское раки—цимбалы и т. д. Въ струнныхъ квартетахъ участвуетъ: водка въ качествѣ скрипки, ромъ въ качествѣ альта, веспетро—віолончель и горькая—контробасъ; съ помощью этого инструмента онъ то самъ компонируетъ мелодіи, то исполняетъ сложныя музыкальныя произведенія....

ное подъ именемъ окрашеннаго слышанія, audition colorée, состоитъ въ томъ, что нѣкоторыя буквы, обыкновенно исключительно гласныя буквы, а иногда и нѣкоторыя отдѣльныя слова, кажутся лицу, имѣющему эту странную особенность, окрашенными, при чемъ дѣло обыкновенно не доходитъ до дѣйствительной зрительной иллюзіи, но ограничивается тѣмъ, что при произнесеніи извѣстнаго звука въ умѣ возникаетъ представленіе объ опредѣленномъ цвѣтѣ. Эта психологическая аномалія—одинъ изъ излюбленныхъ коньковъ декадентской поэзіи, и теперь съ легкой руки A. Rimbaud, написавшаго извѣстный сонетъ объ окраскѣ гласныхъ [A—noir, E—blanc, I—rouge, U—vert, O—bleu, voyelles...], а потомъ Réné Ghil, опредѣлившаго окраску музыкальныхъ инструментовъ: A — органы, E — арфы, I— скрипки, O—мѣдныя трубы, U—флейты, при чемъ, сверхъ того, арфы бѣлаго цвѣта, скрипки синяго, флейты желтаго, трубы краснаго и органы чернаго *),— съ легкой руки этихъ писателей, говорю я,— теперь трудно найти хоть одного поэта этой школы, который не увѣрялъ бы въ своихъ произведеніяхъ, что ему не только вѣдома окраска различныхъ музыкальныхъ тоновъ, но также звукъ скуки или запахъ раскаянія. Даже наши отечественные символисты, которые робко и опасливо слѣдуютъ по пятамъ своихъ западныхъ собратій, даже и они пытаются внушить читателю, что тишина—звонка и звучна, что можно чертить звуки, что пѣсни имѣютъ видъ колоннъ, что сердцебіеніе алаго, тоска лазурнаго, а грубость желтаго цвѣта и т. д. и т. д.

Трудно повѣрить, чтобы рѣдкое явленіе этихъ анормальныхъ ассоціацій между звуковыми, зрительными, вкусовыми и обонятельными впечатлѣніями было дѣйствительно такъ распространено между поэтами-символистами, какъ они хотятъ насъ въ этомъ увѣрить, но во всякомъ случаѣ они очень ошибаются, когда утверждаютъ, что *окрашенное слышаніе есть признакъ прогрессивной эволюціи нашихъ органовъ чувствъ***)*— это признакъ психической неустойчивости и дегенераціи, ибо чаще все наблюдается совмѣстно съ другими патологическими симптомами ***).

---

*) *Réné Ghil.* Traité de verbe: „Constatant les souverainetés les Harpes sont blanches; et bleus sont les violons mollis souvent d'une phosphorescence pour surmener les paroxysmes; en la plenitude des Ovations les cuivres sont rouges; les Flutes-jaunes qui modulent l'ingenu s'étonnant de la lueur des lèvres; et, sourdeur de la terre et des chairs, synthése simplement des seuls instruments simples, les Orgues toutes noires plangorent..... и въ другомъ мѣстѣ „A—les Orgues; E—les harpes I—les violons; O—les cuivres; U—les flutes."

**) Jean Moréas..... nous assistons là, par cette coloration des mots vue par un très grand nombre, à une évolution progressive de nos sens élevés, et que l'on va à la synthèse raisonnée des sensations....

***) См. напр. d'Abundo. Revista clinica e Terapeutica. 1896. Oct. и отдѣльныя клиническія наблюденія, опубликованныя за послѣдніе годы въ Révue Philosophique.

Это, кстати замѣтить, должно бы было быть имъ извѣстно, ибо поэтъ, хотя и романтикъ, но котораго они тоже причисляютъ къ своимъ предшественникамъ, Th. Gautier, наблюдалъ на себѣ самомъ всѣ эти явленія *вслѣдъ за отравленіемъ гашишемъ* и описалъ ихъ болѣе 50 лѣтъ тому назадъ *).

Они могли бы знать также, если бы были лучше знакомы съ нѣмецкими классиками, что объ окрашенномъ слышаніи гораздо раньше ихъ говорилъ Goethe въ своемъ „Ученіи о цвѣтахъ“ **), ссылаясь притомъ (съ удивленіемъ и несогласіемъ) на наблюденія, опубликованныя цѣлымъ столѣтіемъ прежде ***), чѣмъ гг. символисты вспомнили объ этомъ своеобразномъ феноменѣ и стали носиться съ нимъ, какъ съ какимъ-то патентомъ на особую чувствительность и изощренность нервной системы—привилегіею ихъ, поэтовъ будущаго.

Итакъ, подвергая психологическому анализу характерныя черты творчества этой школы, мы уже отмѣтили двѣ несомнѣнныя аномаліи ассоціативныхъ процессовъ: во-первыхъ, ассоціаціи по контрасту выходятъ за предѣлы психологической нормы, во-вторыхъ, ассоціаціи совершаются неправильно, по необычнымъ путямъ.

Правильность и цѣлесообразность ассоціативныхъ процессовъ есть основа высшаго умственнаго синтеза. Поэтому совершенно естественно встрѣтить у людей, лишенныхъ этой основы, тотъ болѣзненный симптомъ, который мы, психіатры, называемъ incoherentio idearum—безсвязность идей, и такъ какъ слово есть выраженіе идеи, то послѣдовательно и другой не менѣе патологическій симптомъ—безсвязность рѣчи—verbigeratio; какъ же иначе, если не словомъ безсвязность назвать, ну, хоть, напр., слѣдующее стихотвореніе Réné Ghil'я (подстрочный переводъ): „Но ихъ животы, осколокъ ночи и грозъ, отвычка отъ большого столкновенія небесныхъ луговъ, заря, теряющая смыслъ брачныхъ гимновъ, съ улыбкой привлекаетъ тщеславіе глазъ. О! глубокій отбросъ различныхъ позолотъ, и твоя тщетная человѣческая прелесть говоритъ, что ты вырождаешься, древность груди, на которой очищается лучшее! Своею фатой со слишкомъ волнообразными складками эти женщины, влюбленныя даже въ одно

*) Th. Gautier въ фельетонѣ газеты „La Presse“ 10-го іюля 1843 г.: „...Слухъ мой изощрился въ чрезвычайной степени; я слышалъ звукъ цвѣтовъ. До меня совершенно явственными волнами доносились звуки зеленые, красные, синіе, желтые....“

**) Geschichte der Farbenlehre. Goethes sämmtliche Werke in vierzig Bänden. Cotta'scher Verlag. Bd. 39, S. 417—422.

***) Hoffmann. Versuch einer Geschichte der malerischen Harmonie überhaupt und der Farbenharmonie insbesondere, mit Erläuterungen aus der Tonkunst und vielen praktischen Anmerkungen. Halle. 1786.

подобіе надгробныхъ надписей, идутъ иррадіировать вдали отъ соблазнительнаго солнца за то, что въ высокіе вечера мечей не вспомнили, что отъ чреслъ ихъ можетъ родиться искупитель, который долженъ появиться изъ неизвѣстныхъ временъ нашихъ грезъ."

Я не знаю г. Рене Гиль, быть можетъ, это просто шутникъ, хотя, когда такая шутка продолжается слишкомъ долго, а онъ постоянно пишетъ и печатаетъ не только стихи, но даже эстетическіе манифесты (Traité du verbe), то возникаетъ большое подозрѣніе относительно умственнаго здоровья такого мистификатора; какъ бы то ни было, смѣю увѣрить, что если бы я захотѣлъ въ pendant къ этому стихотворенію привести какое-нибудь произведеніе нашихъ паціентовъ, то мнѣ пришлось бы обратиться уже не къ дегенерантамъ, а къ больнымъ, страдающимъ вторичнымъ хроническимъ слабоуміемъ послѣ перенесеннаго ими остраго психоза.

Точно также только душевно-больнымъ послѣдней категоріи свойственна такая склонность къ неологизмамъ, къ созданію новыхъ, имъ однимъ принадлежащихъ словъ, ибо существующій запасъ рѣченій недостаточенъ для выраженія ихъ чувствъ и мыслей, къ чрезвычайному замысловатому построенію фразъ, имѣющихъ особый, только имъ доступный смыслъ и значеніе. Вотъ примѣра ради нѣсколько выдержекъ изъ писаній Андреянова, убійцы московск. городск. головы Алексѣева, душевно-больного, страдающаго именно этою формой психоза. Рукописи, изъ которыхъ я заимствую эти цитаты, носятъ заглавіе: „Психозная присказка объ инфлуэнцѣ" и „Таинственность".

„Въ массовомъ заболѣваніи затруднительно разобраться въ систематичности инфлуэнціи, но, разгруппировывая ее по мѣстнымъ особенностямъ сравнительно атмосферическимъ давленіямъ и народнымъ подготовительнымъ событіямъ, она подчиняется позитивнымъ странностямъ. Странность зависима въ поднятіи какъ бы народнаго духа противъ кого, чего?—это безразлично."

„Кашель можетъ представить изъ себя важное, онъ удачно группируетъ общность духа съ кругомъ искусственнаго центра, въ особенности національную рознь...." „Третья форма, болѣе сложная (нужно думать), зависящая отъ сцѣпленія развитости возбужденной мысли до момента логической остановки, построенной на гнетущей средѣ, которая примѣняется къ людямъ политики, науки и т. д." Или, напр., по поводу отказа графа Л. Н. Толстого отъ участія на судѣ въ качествѣ присяжнаго: „Если Л. Н. въ теченіе ряда или числа дней пойметъ раздраженіе, соотвѣтствующее мысли о судѣ и присяжныхъ все тѣмъ же пріемомъ среды — при постоянной облавѣ Ясной-Поляны— и магнетизмомъ, то неудивительно, что онъ болѣзненно произнесъ

указанныя слова или, вѣрнѣе, выразилъ смыслъ"..... и т. д. и т. д. Или вотъ еще, напр., отрывокъ изъ произведенія, адресованнаго въ Прав. Синодъ и озаглавленнаго „Святое порученіе Трубящаго Ангела по 9-й главѣ откровенія", тоже одного изъ моихъ паціентовъ:

„....если дворянство въ Россійскомъ Царствѣ и поято и восхищено не къ Христовымъ пирамъ, а къ однимъ царскимъ, князевымъ и барабановскимъ, то жаль будетъ, если отнесутъ къ князевымъ и барабановскимъ пирамъ и гг. докторовъ, врачей и медиковъ столичнаго города Москвы" и т. д.

Долженъ замѣтить, однако, что мнѣ для того, чтобы найти такія запутанныя построенія фразъ и замысловатыя словечки, пришлось обратиться къ писаніямъ больныхъ, страдающихъ тою формой психоза, которая въ наукѣ называется Paranoia chronica, характеризуется галлюцинаціями и иллюзіями, систематизированными бредовыми идеями преслѣдованія и величія съ продолжительнымъ теченіемъ болѣзни, которое заканчивается обыкновенно слабоуміемъ. Нѣтъ никакихъ основаній предполагать, чтобы поэты, о которыхъ только что шла рѣчь выше, также страдали этимъ психозомъ; поэтому необходимо принимать наше сравненіе съ оговоркой, что здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ тождественнымъ, а лишь съ аналогичнымъ психологическимъ феноменомъ.

Точно также по поводу злоупотребленія прописными буквами, необыкновеннаго шрифта заглавій, претенціозности и удивительнаго расположенія заглавныхъ словъ, странныхъ виньетокъ, графическихъ символовъ, что такъ часто встрѣчается въ изданіяхъ символистовъ и декадентовъ,—нельзя не вспомнить подобныхъ же особенностей въ рукописяхъ и печатныхъ произведеніяхъ хроническихъ параноиковъ. Въ моей коллекціи есть, между прочимъ, „*Алл-азбука*—все земное и небесное примирящее съ Богомъ арифметическими цифрами и геометрическими линіями, параллелизирующими и согласующими книгу природу съ книгою библіею къ очевидной истинѣ и правдѣ". Это произведеніе довольно извѣстнаго въ свое время, лѣтъ 15—20 тому назадъ, въ заграничныхъ эмигрантскихъ кружкахъ, доктора К., полагавшаго, что онъ Мессія и успѣвшаго даже создать въ Россіи секту, глава которой и апостолъ, купецъ П., недавно умеръ въ Соловецкомъ монастырѣ.

Въ этой алл-азбукѣ въ самыхъ причудливыхъ графическихъ начертаніяхъ—концентрическіе круги, со вписанными треугольниками, звѣздами и пр.—предлагается цѣлая странная этико-религіозно-космическая система. Такъ напр., отрѣзки внѣшняго круга послѣдовательно изображаютъ: Духъ, Разумъ, Свѣтъ, Огонь, Газъ, Электриче-

ство, Желтокъ или лицо на-выворотъ и т. п. въ томъ же родѣ. Думаю, что, когда J. Moréas издастъ свое 30-томное твореніе, то это, вѣроятно, будетъ что-нибудь въ томъ же родѣ, а пока рекомендую сравнить алл-азбуку съ вычурно напечатаннымъ заглавіемъ сочиненія наперсника и признаннаго наслѣдника главы школы Mallarmé, уже упоминавшагося нами René Ghil'я и съ оглавленіемъ отдѣльныхъ частей этой брошюры, въ одной II части которой, именуемой „Рѣчь о долгѣ" (I часть: „Рѣчь о лучшемъ", а III—„Рѣчь о законѣ"), содержатся слѣдующія главы: 1) Тысячи, 2) Происхожденіе, 3) Новая эволюція, 4) Смертный міръ, 5) Будущее.

Уже по поводу двухъ относительно крупныхъ представителей школы, Mallarmé и Maiterlink'a, намъ пришлось отмѣтить необыкновенную скудость ихъ фантазіи и творчества. Въ произведеніяхъ ихъ второстепенныхъ послѣдователей и соратниковъ эта черта выступаетъ на первый планъ: рѣдкостная ничтожность темы и безсодержательность стихотворенія, — авторъ ни-дать-ни взять, какъ наши сѣверные инородцы: увидитъ снѣгъ и поетъ про снѣгъ, увидитъ щепку и поетъ про щепку;—отсутствіе поэтическаго настроенія, безсильныя потуги изобразить сложныя и титаническія чувства, отъ которыхъ у читателя остается впечатлѣніе только шумныхъ и высокопарныхъ или причудливыхъ эпитетовъ, и, чтобы прикрыть все это, погоня за внѣшними эффектами, вродѣ аллитераціи, или даже за типографскими кунштюками вродѣ, напр., того стихотворенія, которое я нахожу въ одномъ изъ сборниковъ русскихъ символистовъ и которое въ печати имѣетъ видъ ромба, потому что первая строфа односложна, затѣмъ количество слоговъ на протяженіи шести строфъ все увеличивается, въ седьмой строфѣ ихъ уже 12, а затѣмъ они въ томъ же порядкѣ убываютъ.

Для всѣхъ этихъ элукубрацій, поскольку онѣ въ самомъ дѣлѣ искренни, а не относятся къ области мистификаціи или рекламы, можетъ быть только одно опредѣленіе, одно наименованіе: *психическая недостаточность.*

Чтобы покончить съ этимъ, я позволю себѣ привести два отрывка — одинъ стихотворный, другой прозаическій изъ архивовъ больницы для душевно-больныхъ. Думаю, что они, напоминая очень по содержанію и стилю, нисколько не хуже и даже удобопонятнѣе многихъ произведеній, которыя я цитировалъ, и огромной массы другихъ, съ которыми читатель могъ бы познакомиться, если бы далъ себѣ трудъ пересмотрѣть накопившуюся теперь цѣлую библіотеку измышленій писателей этой группы. Вотъ эти вещи.

Сначала стихи:

Небо какъ огонь,
Смотрю направо—
Высокія деревья
Чуть не загораются,
Смотрю впереди—
Опасности нѣтъ...
Синіе огоньки
Видны только справа.
Каменный столбъ
Прямо стоитъ.
Дверь къ дому налѣво
Крышей зеленой,
Желѣзной покрыта.

А вотъ и проза—по моему, тоже ничѣмъ не хуже прозаическихъ сонетовъ и якобы стихотвореній въ прозѣ Rimbaud, Mallarmé и нашихъ декадентовъ.

„Сейчасъ я былъ въ кабинетѣ, гдѣ налѣво впереди сердце больное любовь материнскую напоминаетъ. И показалось моимъ глазамъ, четыреугольникъ розовый летѣлъ, потомъ пятиугольникъ. И въ третій разъ какъ бы шестиугольный сапфиръ. А на западѣ солнце горитъ и люди крестъ несутъ налѣво. Въ углу же высокая благородная особа сидѣла направо. А чиновникъ пошелъ налѣво. Высокую даму приглашаютъ во дворецъ, чиновникъ пошелъ налѣво. А огненное солнце между высокими деревьями палитъ, и полетѣли птички налѣво“...

Резюмируя все вышеизложенное, мы можемъ сказать теперь, что относительно цѣлаго ряда—и при томъ крупныхъ — представителей этого направленія намъ было нетрудно съ біографическими данными въ рукахъ доказать, что это были несомнѣнно душевно-больные люди. Что же касается до остальныхъ, то анализъ элементовъ ихъ творчества выяснилъ намъ слѣдующія основныя черты: скудость фантазіи и убожество мысли, поверхностность, капризность и причудливость настроенія, извращенность вкусовъ и вообще ненормальность психологической реакціи, нравственную тупость, уродливость и болѣзненность ассоціативныхъ и высшихъ логическихъ процессовъ, равную той, которую можно наблюдать въ тяжелыхъ и большею частью неизлѣчимыхъ формахъ психозовъ, и рядомъ съ этимъ ничѣмъ не мотивированную переоцѣнку собственной личности.

Такая дефективность и дисгармонія всей психической сферы свойственны именно тому, что мы называемъ нервно-психическимъ вырожденіемъ въ строго-научномъ смыслѣ этого слова. Можно съ значительной вѣроятностью предположить, что при точномъ клиниче-

скомъ изслѣдованіи у многихъ авторовъ, о которыхъ мы упоминали, нашлись бы и очевидныя подтвержденія для такой діагностики въ видѣ, напр., уродливой конфигураціи черепа и др. физическихъ признаковъ вырожденія.

Но этимъ моя задача не ограничивается и, хотя я далеко не исчерпалъ моей темы,—для этого потребовалась бы монографическая обработка,—я долженъ все-таки коснуться здѣсь связанныхъ съ нею общихъ вопросовъ.

Дѣйствительно ли такъ близко родство геніальности и помѣшательства, какъ это полагаютъ и многіе ученые? Есть ли то, что наука называетъ дегенераціей или психопатической конституціею, хотя бы въ той формѣ, которая именуется dégénérescence supérieure, необходимый элементъ творчества? Слѣдуетъ ли думать, что нашъ конецъ вѣка отмѣченъ въ цивилизованномъ мірѣ, преимущественно въ Западной Европѣ, особеннымъ ослабленіемъ или нарушеніемъ душевнаго равновѣсія и психической мощи? Являемся ли мы въ самомъ дѣлѣ свидѣтелями періода упадка и умиранія старыхъ культурныхъ расъ?

Рѣшеніе этихъ вопросовъ возможно, конечно, только при обоснованіи его на цѣлыхъ рядахъ антропологическихъ, психологическихъ, историческихъ и соціальныхъ данныхъ. Но, пытаясь отвѣтить на нихъ съ той спеціальной точки зрѣнія, на которой мы стоимъ сегодня, и въ предѣлахъ нашей компетенціи, я отвѣтилъ бы отрицательно. Нѣтъ данныхъ, чтобы утверждать, какъ это дѣлаетъ Нордау, что констатируемое вырожденіе отдѣльныхъ лицъ есть показатель вырожденія цѣлой расы. Нѣтъ основанія утверждать также, что патологическое состояніе нѣсколькихъ писателей—есть нѣчто спеціальное и свойственное только нашему столѣтію.

Кольриджъ, одинъ изъ корифеевъ плеяды такъ называемыхъ *„озерныхъ“* поэтовъ, или еще ранѣе, Свифтъ, авторъ сказки о бочкѣ и путешествій Гулливера, былъ такой же полубольной человѣкъ, какъ и нашъ современникъ Уайльдъ.

Во французской литературѣ прошлаго столѣтія и, еще ранѣе, въ средневѣковой литературѣ можно назвать цѣлый рядъ лицъ, которыя и по безпутному образу жизни, и по своимъ художественнымъ темамъ и по обработкѣ ихъ, словомъ, по особенностямъ своего, несомнѣнно, дегенеративнаго творчества, ничѣмъ не отличаются отъ Верлена, напр., или отъ Боделэра и даже больше, чѣмъ они, заслуживаютъ наименованіе вырождающихся писателей. Таковы, напр., François de Montcorbier, по прозванію Villon, дважды приговоренный къ смертной казни за убійство и грабежъ, воръ, развратникъ и су-

тенеръ, который, однако, по единогласному признанію всѣхъ историковъ литературы, отъ Clement Marot, камерлакея короля Франциска I, продолжая Boileau и до нашего современника, академика F. Brunetière, есть несомнѣнный прародитель, а произведенія его—несомнѣнный первоисточникъ всей французской лирики *); Cyrano de Bergerac, имя котораго недаромъ фигурируетъ въ „библіографіи сумасшедшихъ писателей", Retif de la Brétonne, отецъ современнаго натурализма, по признанію самого Zola и его школы, и т. д. и т. д. Таковъ, позднѣе, въ первой половинѣ этого столѣтія Alf. de Musset. Интересно и любопытно сопоставить нѣкоторыя страницы книги М. Нордау съ отрывками изъ „Confessions d'un enfant du siècle". Въ этой исповѣди Musset мы читаемъ въ видѣ жалобы на эпоху, въ которой живетъ авторъ, упрекъ этому столѣтію въ томъ, что онъ совершенно лишенъ своего стиля: „Мы встрѣчаемъ на улицѣ людей съ бородой, подстриженною какъ у Генриха III, иные брѣются, у этихъ прическа, какъ на картинѣ Рафаэля, у тѣхъ, какъ во времена Іисуса Христа. Квартиры людей богатыхъ—точно музеи рѣдкостей: все перемѣшано—антики, готика, стиль эпохи возрожденія и стиль Людовика XIV... словомъ, мы живемъ среди обломковъ, какъ бы наканунѣ конца міра" **).

А теперь посмотримъ, какъ М. Нордау приступаетъ къ установленію для нашего конца вѣка своей діагностики вырожденія:

„Смѣшаемся съ толпой... и посмотримъ, изъ кого она состоитъ. Прежде всего женщины. Однѣ изъ нихъ носятъ волосы гладко зачесанными назадъ, какъ на картинахъ Рафаэля... у другихъ, какъ у Юліи или Плотины... костюмъ вполнѣ гармонируетъ съ своеобразною уборкой головы и шляпами... Мужчины дополняютъ картину... одинъ носитъ короткіе волосы и завитую бородку Луція Вера, другой прямой проборъ и усы...; его сосѣдъ подстригъ бородку по модѣ Ген-

---

*) Чтобы убѣдиться въ томъ, что многіе и при томъ самые дерзновенные мотивы современныхъ намъ декадентовъ и родственныхъ имъ создателей того литературнаго жанра, который получилъ во Франціи названіе „la chanson rosse", не оригинальны и не новы, достаточно сравнить иныя произведенія ихъ, хотя бы того же Verlain'a (въ особенности изъ сборниковъ „Fêtes galantes" и „Parallelement") или модныхъ теперь пѣсенниковъ Jouy, Bruant. Xanroff и др. съ отрывками изъ „Grand Testament" Villon'a, произведенія, относящагося къ 1461 году, напр., съ „Ballade de Villon et de la grosse Margot" или „Ballade de la belle Heaulmière aux filles de joie" и др. Любопытно также возможное сближеніе другихъ аккордовъ на лирахъ Виллона и Верлена, ср., напр., у перваго „Ballade pour prier Nostre Dame" съ пьесой Верлена изъ сборника „Sagesse": „Je ne veux plus aimer que ma mère Marie".

**) *A. de Musset.* Confessions d'un enfant du siècle, 1859. Paris. Charpentier pp. 38—39.

риха IV... Проникнемъ вмѣстѣ со всѣми въ ихъ квартиры; это тѣ же театральныя декораціи, лавки антикваріевъ, мебельные магазины и музеи древностей. Рабочій кабинетъ хозяина, въ готическомъ стилѣ, убранъ рыцарскими доспѣхами... Стѣны салона обиты гобеленами... между модными креслами и стульями стоятъ кресла стиля Ренессансъ... Будуаръ хозяйки напоминаетъ не то молельню, не то гаремъ... Однообразный стиль считается старомоднымъ, провинціальнымъ, филистерскимъ; своего же стиля эпоха не выработала" *).

Я привелъ обѣ эти выдержки вовсе не для того, чтобы подчеркнуть почти дословное заимствованіе, сдѣланное Нордау у Мюссе—увѣренъ, что это произошло совершенно случайно и безсознательно,—но лишь для того, чтобы сказать, что указываемые болѣзненные симптомы отнюдь не характерны именно для нашего времени и что столь же горькія сѣтованія слышались уже около полустолѣтія тому назадъ.

Другой, такъ же очень интересный и очень большой вопросъ, это вопросъ о взаимныхъ отношеніяхъ геніальности и психозовъ, о необходимомъ присутствіи въ творческомъ дарѣ нѣкотораго патологическаго фактора.

Въ послѣднее время Lombroso, раньше его Laségue и въ особенности Moreau de Tours и др., категорически указывали на близкое родство геніальности и душевной болѣзни **). Извѣстна формула: геніальность—это неврозъ.

Посмотримъ, такъ ли это... И прежде всего, знаете ли вы, сколько именъ въ спискѣ геніальныхъ душевно-больныхъ людей, въ спискѣ, составленномъ Lombroso и идущемъ отъ Torquato Tasso до Гоголя включительно?—Ровно 27, и въ томъ числѣ такіе геніи, о которыхъ едва ли многіе слышали, напр., Lee, Loyd, Concato, Mainlander, Codazzi, Bolyai, Cardan, Szeckenyi, Fodera, занимающіе, однако, такое же мѣсто въ этомъ перечнѣ, какъ, напр., Шопенгауеръ и даже Ньютонъ... Стало быть, на протяженіи всей культурной исторіи цивилизованнаго человѣчества ученый, всячески старающійся доказать ближайшую связь геніальности и психозовъ, не могъ насчитать даже двухъ десятковъ людей талантливыхъ или даже дѣйствительно геніальныхъ, страдающихъ душевною болѣзнью.

Не правда ли, что a priori ожидаешь гораздо болѣе многочисленнаго списка!.. Правда, что значительно обширнѣе перечень различныхъ извѣстныхъ мыслителей, художниковъ, ученыхъ, обществен-

*) М. Нордау. Вырожденіе. Переводъ Генкеля. изд. Іогансона, стр. 12—16.

**) *Lombroso.* L'homme de génie.

Moreau de Tours. La Psychologie morbide. Paris, 1859.

ныхъ дѣятелей и т. д., которые отличались аномаліями характера и чудачествами и у которыхъ констатированы различныя болѣзненныя явленія со стороны нервной системы и физическіе или психическіе симптомы вырожденія. Но, вѣдь, все это имѣло бы значеніе и силу доказательства только въ томъ случаѣ, если бы параллельною статистикою было констатировано, что всѣ эти патологическія особенности гораздо рѣже встрѣчаются среди рядовой, средней, такъ сказать, нормальной толпы. Но этого не сдѣлано, да и едва ли можетъ быть сдѣлано, ибо люди выдающіеся, само собою разумѣется, привлекаютъ къ себѣ общее вниманіе, и даже мелкія особенности ихъ жизни и дѣятельности отмѣчаются тщательно, записываются біографами и т. д. Впрочемъ, не было бы ничего удивительнаго, если бы и оказалось даже, что среди людей, исключительныхъ по своимъ дарованіямъ, встрѣчаются чаще люди съ нервными и психическими изъянами, чѣмъ среди толпы. Чѣмъ тоньше, чѣмъ сложнѣе инструментъ, тѣмъ скорѣе онъ можетъ испортиться, тѣмъ легче въ немъ скажется недостатокъ.

Совершенно естественно также, что органъ, наиболѣе работающій, или,—что̀ въ данномъ случаѣ будетъ точнѣе, — тѣ нервные центры, отъ которыхъ требуется наибольшее усиліе, имѣютъ и болѣе шансовъ и поводовъ переутомиться и заболѣть, но все-таки изъ того, что у піанистовъ нерѣдко дѣлаются профессіональныя судороги, отнюдь нельзя заключить, чтобы эта судорога и музыкальная виртуозность были понятіями тождественными.

Прежде чѣмъ говорить о болѣзни и вырожденіи и искать рѣшенія психологическихъ задачъ въ психіатрической клиникѣ — слѣдуетъ вспомнить, что человѣческая психика находится въ состояніи продолжающейся эволютивной организаціи. Синтезирующая сила интеллекта не представляетъ собою постоянной, всегда равной самой себѣ величины; различные типы и степени умственной координаціи достигаются путемъ постоянной борьбы отдѣльныхъ впечатлѣній и представленій и группъ таковыхъ между собою и подборомъ измѣняющихся сочетаній отдѣльныхъ группъ въ группы высшаго порядка. Слѣдовательно, въ конкретныхъ условіяхъ жизни могутъ наблюдаться лишь различныя ступени большей или меньшей, но всегда условной и преходящей гармоніи духа и различныя относительныя степени развитія его отдѣльныхъ способностей съ предѣломъ въ безконечности. Оставаясь вѣрными этой точкѣ зрѣнія, мы должны допустить, что и по отношенію къ человѣческой психологіи общіе законы міровой эволюціи сохраняютъ въ полной мѣрѣ свое значеніе, а именно: 1) позднѣе всего созидаются, организуются и изъ ком-

плекса другихъ органовъ и функцій выдѣляются наиболѣе тонкія, высшія функціи и 2) чѣмъ позднѣе въ исторіи эволюціи совершалась спеціализація органа и дифференцированіе данной функціи, чѣмъ, однимъ словомъ, юнѣе данный признакъ, тѣмъ онъ и менѣе устойчивъ и нужно много времени, которое въ лѣтописяхъ эволюціи исчисляется столѣтіями и тысячелѣтіями, чтобы признакъ сдѣлался устойчивымъ и прочнымъ.

Если такъ, то, быть можетъ, во многихъ случаяхъ, гдѣ мы говоримъ о возвращеніи къ типу пережитому, объ атавизмѣ или о дегенераціи, мы правильнѣе поступили бы, если бы говорили о предвосхищеніи—конечно, неполномъ и несовершенномъ—будущаго типа, объ adposterism'ѣ, о прогенераціи?

Но на этомъ я долженъ остановиться и закончить настоящій этюдъ, ибо здѣсь мы касаемся уже предѣльной области сегодняшняго знанія. Въ видѣ заключенія я позволю себѣ привести слѣдующія слова Гладстона, сказанныя имъ по поводу слишкомъ рано погибшей, одаренной многими духовными дарами, сложной и мятежной женской души: „Марія Башкирцева,—говоритъ онъ,—напоминаетъ мнѣ развалины Селинунта, непохожія ни на какія другія развалины, которыя я когда-либо видѣлъ. Храмъ разрушенъ до такой степени, что, можно сказать, онъ превратился въ массу отдѣльныхъ камней, но каждый камень величественъ самъ по себѣ. Здѣсь были великія силы, нагроможденныя въ изобиліи, подобно матеріаламъ для возведенія храма Соломонова".

Да, дѣйствительно, подвергая психологическому анализу жизнь, дѣятельность и творчество многихъ выдающихся по своимъ дарованіямъ людей,—мы можемъ сказать, что видимъ драгоцѣнные мраморы, нагроможденные въ изобиліи, а зданія не видимъ, но кто знаетъ—почему? быть можетъ, это вовсе не развалины, а матеріалы, собранные великимъ зодчимъ для созданія чуднаго, но еще не построеннаго храма?...

Dr. Н. Баженовъ.

ТИШИНА.

Какъ небо ясно! блескъ лазури
Какъ кротокъ! словно никогда
Не вѣдалъ онъ ни мрака бури,
Ни зноя смутнаго слѣда...

Безбрежно, въ радостномъ сіяньѣ,
Объемлетъ землю тишина,
И только птички щебетанье,
Да пѣсня пахаря слышна...

И льются въ душу грёзы счастья,
И мысль отъ сердца далека:
Что гдѣ-то, можетъ быть, ненастье,
Что гдѣ-то бродятъ облака...

Гр. П. Капнистъ.

МОТЯ.

(НАБРОСКИ КАРАНДАШЕМЪ).

Стой, стой, — кричала Марья Ивановна, хватая извощика за рукавъ,—ворота проѣдешь!

Мальчишка, сидѣвшій на козлахъ пролетки, вытянулъ впередъ руки и, принявъ позу настоящаго кучера, лихо подкатилъ къ подъѣзду. Кляча его сразу осѣла на переднія ноги и тяжело перевела дыханіе.

Домъ, къ которому они подъѣхали, горѣлъ огнями, и вся улица была запружена экипажами; между ними виднѣлись кое-гдѣ одноконныя дрожки съ верхомъ, запряженныя рослыми, породистыми лошадьми.

— Не по твоему рылу парадный подъѣздъ,—замѣтилъ одинъ изъ кучеровъ, возсѣдавшій на высокихъ козлахъ маленькой каретки.

— Самъ недавно на пѣтухѣ ѣздилъ,—огрызнулся мальчикъ.

Онъ задергалъ вожжами, но кляча его не хотѣла тронуться съ мѣста—и конецъ.

— Вези на живодерню,—раздался опять чей-то голосъ.

— Положи коня на дрожки, лучше будетъ,—послышался другой.

Мальчишка задвигался на мѣстѣ и съ ожесточеніемъ началъ хлестать несчастное животное по тощимъ ребрамъ.

— Да стой ужъ себѣ на мѣстѣ, — проговорила Марья Ивановна.

Она вышла изъ пролетки, подошла къ фонарю и стала рыться въ портмоне, отыскивая пятнадцать копеекъ.

— На тебѣ,—подала она деньги мальчику.

— Пойдемъ, Мотя, — обратилась она затѣмъ къ сѣдоку, продолжавшему безучастно сидѣть на дрожкахъ.

Мотя былъ гимназистъ высокій, нескладный, съ длинными ру-

ками. Онъ медленно вылѣзъ, остановился на тротуарѣ и оглядывался по сторонамъ, точно собираясь вызвать на бой всякаго, кто осмѣлится его задѣть, но никто ничего не осмѣлился.

— Идемъ, идемъ скорѣй,—проговорила Марья Ивановна.

Оба они были безъ зонтиковъ, и мелкій ноябрьскій дождь успѣлъ смочить не только ихъ верхнія платья, но шею и руки гимназиста.

Марья Ивановна была счастливѣе. Она обвязалась чернымъ шерстянымъ платкомъ поверхъ смушковой шапочки и держала свои руки въ муфтѣ. Когда они вошли подъ арку воротъ, гимназистъ проговорилъ хриплымъ голосомъ, какой бываетъ обыкновенно у мальчиковъ, переходящихъ въ юношескій возрастъ.

— Зачѣмъ вы меня тащите?

— Идемъ, идемъ!—быстро отвѣтила она.

Яркій свѣтъ, выходившій изъ оконъ, освѣщалъ узкую полосу вымощеннаго двора и рѣшетку сада, который тянулся за ней темною, непроницаемою массой.

— Сегодня наверху сговоръ, Марьяна замужъ выходитъ,—обратилась она къ Мотѣ.

— А чортъ ее побери, пусть выходитъ,—пробурчалъ онъ.

— Нехорошо, Мотя, не говорите такъ.

— Какой я вамъ Мотя достался?

— Ну, Матвѣй Ивановичъ, все равно. Вотъ тутъ ступеньки, не упадите.

Гимназистъ остановился и не хотѣлъ спускаться внизъ по ступенямъ.

— Идемъ же, голубчикъ, не упрямьтесь.— Она взяла его за рукавъ пальто и слегка потянула за собою.

— Не хочу,—проговорилъ онъ своимъ хриплымъ басомъ.

— Ну, полноте, не стыдно ли вамъ!

И такъ какъ она уже успѣла сойти съ нѣсколькихъ ступеней, то опять вернулась обратно, поднялась къ его уху и начала о чемъ-то шептать.

Онъ ничего не отвѣтилъ и позволилъ свести себя внизъ. Въ большихъ просторныхъ сѣняхъ горѣла маленькая лампочка, распространяя угаръ и копоть вокругъ себя. Музыка, игравшая наверху, доносилась сюда только мѣрными ударами по барабану: „бумъ, бумъ, бумъ, бумъ“. Слышно было хлопанье дверей и отдаленный неясный гулъ отъ множества голосовъ, говорившихъ въ одно и то же время.

Изъ сѣней они вступили въ узкій проходъ. Здѣсь былъ абсолютный мракъ и никакихъ звуковъ. Пахло не то уксусомъ, не то чѣмъ-то старымъ, прокисшимъ. Марья Ивановна шла смѣло впередъ

и тащила за собой Мотю, который инстинктивно протянулъ впередъ свою свободную руку. Вдругъ совершенно неожиданно для него передъ ними открылась дверь изъ ярко-освѣщенной комнаты и послышался слабый голосъ:

— Это вы, Марья Ивановна?

— Я,—былъ отвѣтъ.

— Привезли?

— Привезла.

— Ахъ, какъ я вамъ благодарна.

— Пусть онъ раздѣнется,—проговорила Марья Ивановна.

— Не нужно, не нужно,—возразилъ голосъ.

Мотя снялъ шапку и, выпятивъ свои пунцовыя губы, стоялъ съ упрямой рѣшимостью не позволить себя растрогать, что́ бы здѣсь ни происходило.

Высокая спинка кровати мѣшала ему видѣть говорившую. У окна, на столикѣ, горѣла большая лампа безъ всякаго абажура.

Марья Ивановна теперь уже безъ церемоніи схватила Мотю за рукавъ пальто и подвела къ больной, лежавшей на кровати. На высокихъ подушкахъ, обшитыхъ кружевами, въ цѣлой массѣ черныхъ всклокоченныхъ волосъ едва виднѣлось тонкое маленькое личико. Глаза казались неестественно большими. Когда-то красивый выпуклый ротъ утратилъ всякую прелесть. Верхняя губа точно высохла и обнажила рядъ маленькихъ, все еще блестящихъ, какъ перламутръ, зубовъ. Мотя взглянулъ на нее и ему вдругъ захотѣлось повернуться и бѣжать безъ оглядки изъ этой комнаты. Эта женщина совсѣмъ не похожа была на ту, которая пріѣзжала къ нимъ пять лѣтъ тому назадъ, яркая, красивая и ласковая.

— Удержите его, Марья Ивановна, душечка! — проговорила она умоляюще.

Марья Ивановна схватила его за рукавъ и силой усадила на край постели.

Блѣдная рука, съ тонкими пальцами впилась въ его руку. Ему хотѣлось крикнуть отъ прикосновенія этой мертвенно-холодной руки. Онъ воздержался, однако, и сидѣлъ, сгорбившись, отвернувъ отъ нея лицо. Сердце его учащенно билось.

— Мотя,—произнесъ слабый, дрожащій голосъ.

Онъ молчалъ.

— Ты не хочешь взглянуть на свою мать?

Онъ продолжалъ сидѣть, отвернувшись.

— Если не хочешь, не нужно, дружочекъ. Я знаю, тебѣ не за что меня любить.

Мотя повернулъ лицо въ ея сторону, но продолжалъ молчать.

— Я знаю, тебѣ не особенно хорошо живется,—начала она опять слабымъ голосомъ,—но помни, дитя мое, есть много мальчиковъ, которымъ живется еще хуже твоего. Твоему отцу жилось гораздо хуже, гораздо.

По лицу Моти скользнула тѣнь, губы дрогнули, и онъ опять отвернулся отъ нея.

— Ты вырастешь, ты получишь образованіе,—продолжала мать,— это я могла тебѣ дать, этого никто отъ тебя отнять не можетъ, если даже ты совсѣмъ уйдешь отъ своихъ теперешнихъ—родителей, хотѣла она сказать, но спохватилась и сказала—родныхъ; они не помѣшаютъ тебѣ кончить университетъ, но, дитя мое, университетъ не сдѣлаетъ изъ тебя человѣка.

Не выпуская его руки изъ своихъ холодныхъ пальцевъ, она откинулась на подушку и тяжело перевела дыханіе.

— Марья Ивановна, — проговорила она едва слышно, — уйдите, оставьте насъ однихъ.

Когда Марья Ивановна уходила, Мотя рванулся было за ней, но цѣпкіе холодные пальцы впились въ его руку, и онъ остался.

— Не бойся меня, мой голубчикъ,—прошептала она съ глубокою нѣжностью. Голова ея отдѣлилась отъ подушки и нагнулась къ нему.

— Я была честной женщиной,—раздавался ея слабый голосъ.— Я выкормила и выняньчила всѣхъ своихъ троихъ дѣтей. Я хотѣла ихъ имѣть много, много. Я никогда не думала, что я была только куклой въ домѣ своего мужа. Твой отецъ былъ первый и единственный мужчина, который взглянулъ на меня, какъ на человѣка, и вотъ я теперь умираю, потому что онъ умеръ, потому что у меня не осталось ни одного друга на землѣ. Когда ты вырастешь и станешь мужчиной и встрѣтишь женщину, которую полюбишь, помни, что она такой же человѣкъ, какъ и ты, чего ей нельзя дѣлать, того и тебѣ нельзя, что̀ тебѣ можно, то и ей можно. Помни, ни одинъ человѣкъ въ мірѣ не можетъ жить безъ сознанія, что онъ человѣкъ. Этого сознанія ничѣмъ нельзя заглушить, и когда оно проснется въ человѣкѣ, его потушить можно, только отнявши жизнь.

Въ это время точно гдѣ-то открылся люкъ въ потолкѣ, и въ него ворвались веселые звуки оркестра. Мальчикъ съ тоской оглянулся на эти звуки.

— Видишь, какая я большая преступница,—продолжала она. Я лежу здѣсь одна, всѣми брошенная, никому ненужная, но мнѣ нисколько не больно и не обидно. Когда я была пустою куклой, которая ни-

чего не дѣлала, которая ни о чемъ не думала. которая порхала съ бала на балъ, тратила огромныя суммы денегъ на свои наряды, у ногъ моихъ былъ цѣлый городъ; а когда я поняла всю пустоту своей жизни, когда я полюбила твоего отца настоящею человѣческою любовью, когда я почувствовала всю прелесть жертвы, я лежу здѣсь одинокая, брошенная, проклятая. Даже дѣти мои рѣдко меня навѣщаютъ, но ты, ты вѣдь не будешь проклинать меня, сынъ мой!

Тутъ голосъ ея понизился до шопота, и она продолжала:

— Они хотѣли, чтобъ я убила тебя раньше, чѣмъ ты появишься на свѣтъ, но я отстояла тебя. Я потратила всю свою энергію, я потратила всѣ силы души своей, я пожертвовала даже отцомъ твоимъ. Онъ долженъ былъ уѣхать, далеко уѣхать для того, чтобъ я имѣла право любить тебя и заботиться о тебѣ, мое возлюбленное дитя.

Пальцы ея, сухіе и костлявые, судорожно впивались въ его тѣло. Ему становилось больно, и онъ порывистымъ движеніемъ отдернулъ свою руку и сидѣлъ съ надутыми губами, глядя на нее въ полуоборотъ, красный, возбужденный, съ сильно бьющимся сердцемъ, готовый сорваться и убѣжать. Она казалась ему страшна съ этой копной черныхъ, всклокоченныхъ волосъ, съ синевой подъ глазами и обнаженнымъ рядомъ острыхъ зубовъ.

— Сынъ мой,—простонала она.

— Ну, что?—проговорилъ онъ.

— Прости меня, про...

Спазмы сдавили ей горло и не дали договорить.

Онъ быстро вскочилъ и выбѣжалъ въ коридоръ. Какъ только дверь спальни захлопнулась за нимъ, онъ тотчасъ очутился въ непроницаемой мглѣ. Темнота всегда дѣйствовала на него подавляющимъ образомъ. Онъ протянулъ руки впередъ, но, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, наткнулся на что-то и упалъ на свои протянутыя руки. Предметъ, преградившій ему путь, была деревянная скамья. Мотя опустился на эту скамью. Онъ весь дрожалъ. Все, что составляло его мученіе, теперь точно удвоилось, удесятерилось и заставляло такъ сильно биться его сердце, что всякій ударъ его отзывался болью въ головѣ. Хотя онъ былъ узаконенъ по всѣмъ правиламъ теперешними своими, такъ называемыми, родителями, но онъ прекрасно зналъ тайну своего появленія на свѣтъ. Она была сообщена ему безо всякой подготовки и деликатности. Она была сообщена ему съ проклятіями по адресу его настоящей матери. Пріемный отецъ былъ пьяный и грубый человѣкъ. До девятилѣтняго возраста ему жилось очень хорошо. Къ нимъ часто пріѣзжала нарядная, красивая дама, она одѣвала его какъ куклу, дарила массу игрушекъ и

буквально закармливала конфетами. Пріѣздъ ея былъ настоящимъ праздникомъ въ домѣ, гдѣ онъ жилъ. Ее называли madame Петрова, и Мотя очень часто спрашивалъ своихъ сверстниковъ, съ которыми игралъ въ сосѣднемъ скверѣ:

„Твоя madame Петлова доблая? моя очень доблая!“ Онъ думалъ въ простотѣ сердечной, что у каждаго маленькаго мальчика есть своя madame Петрова, которая возитъ игрушки, конфеты и балуетъ своего любимца. Послѣ того, какъ посѣщенія madame Петровой прекратились, жизнь его радикально измѣнилась. Онъ не только не получалъ никакихъ ласкъ и никакихъ игрушекъ, но самое даже воспоминаніе о прежнемъ времени было отравлено грубыми намеками, посылаемыми по адресу его бѣдной матери. Онъ узналъ, что настоящій его отецъ умеръ, что мать его разбита параличемъ и ее силой держатъ за границей. Его отдали въ гимназію и точно нарочно выбрали такую, которая находилась на одной улицѣ съ домомъ, принадлежавшимъ мужу его матери. Каждый день испытывалъ онъ горечь проходить мимо этого маленькаго дворца. Онъ зналъ въ лицо своихъ братьевъ, двухъ франтоватыхъ студентовъ, безпрестанно встрѣчалъ свою красавицу-сестру Марьяну. Въ домѣ у нихъ разсказывали о ея сорока платьяхъ, сшитыхъ у самой дорогой портнихи, о шестнадцати корсетахъ, о роскошныхъ балахъ, задаваемыхъ въ честь ея. Его пріемный отецъ каждый день грозился, что пойдетъ въ этотъ роскошный домъ и потребуетъ себѣ еще платы за то, что усыновилъ чортъ знаетъ чье отродье. Мотя страдалъ невыносимо, его такъ часто, такъ незаслуженно оскорбляли, что онъ одинаково возненавидѣлъ какъ своихъ домашнихъ, такъ равно и тѣхъ, которые были причиной его рожденія. Объ отцѣ его говорили, что это былъ очень молодой и очень интересный человѣкъ, ихъ разлучили, и онъ долженъ былъ навсегда покинуть городъ.

Первое время, когда исчезла съ горизонта madame Петрова, ему страстно, почти до боли хотѣлось увидать ее и пожаловаться ей на своихъ мучителей; онъ часто принималъ какую-нибудь другую даму за нее, и обманъ этотъ причинялъ ему острыя страданія, но грубые люди, усыновившіе его, сумѣли выставить ее въ такомъ свѣтѣ, что въ душѣ мальчика ничего не оставалось, кромѣ горечи и озлобленія. Они никакъ не могли простить ей того недовѣрія, какое она имъ выказала, когда ее разбилъ параличъ и прекратились щедрыя подачки; оказалось, что деньги, предназначенныя на образованіе Моти, положены на имя мальчика, оставленъ опекунъ, который постоянно мѣшался въ ихъ взаимныя отношенія. Все это, взятое вмѣстѣ, сдѣлало жизнь Моти еще болѣе сложной и тяжелой. Но мальчикъ

наслѣдовалъ отъ своихъ родителей недюжинный умъ, большія способности, душу хотя и нѣжную, но способную къ борьбѣ и сильному чувству. Въ ученьи онъ шелъ первымъ и шелъ свободно, точно шутя справляясь со всѣми трудностями гимназической муштры. Онъ напустилъ на себя суровость и безчувственность; это помогало ему справляться съ своими сложными отношеніями къ пріемнымъ родителямъ, но тамъ, гдѣ-то далеко, въ глубинѣ его страдающей души, остался образъ madame Петровой, и сквозь всѣ послѣдующія наслоенія, непріязни и возмущенія, она часто снилась ему—ласковая, яркая и красивая.

Прошло пять тяжелыхъ лѣтъ, въ продолженіе которыхъ онъ много страдалъ, много учился, боролся и, наконецъ, сталъ чувствовать, что вся горечь, накопившаяся за эти годы, точно начинаетъ тонуть въ перспективахъ его стремленія идти бодро впередъ; какъ вдругъ въ домѣ опять съ различными комментаріями стали говорить о томъ, что мать его привезли изъ-за границы, что ее помѣстили въ нижнемъ этажѣ и держатъ подъ замкомъ. Покой души его былъ опять нарушенъ и, какъ всегда, грубо, цинично.

Ему исполнилось въ это время четырнадцать лѣтъ, и онъ блистательно перешелъ въ пятый классъ. Опять онъ старался выходить изъ дому нѣсколькими минутами раньше для того, чтобы сдѣлать кругъ и не проходить мимо дома, гдѣ была заперта его мать. Опять при встрѣчѣ съ своими братьями, а особенно съ красавицею Марьяной, въ немъ возникалъ мучительный вопросъ: знаютъ ли они о его существованіи или нѣтъ. Особенно Марьяна приводила его въ смущеніе. Она была поразительно похожа на свою мать, и видъ ея будилъ столько различныхъ чувствъ въ душѣ мальчика, что онъ никакъ не могъ рѣшить, любитъ онъ ее или ненавидитъ. Когда явилась Марья Ивановна и потащила его прощаться съ умирающей матерью, въ его воображеніи, помимо его воли, съ удивительной яркостью нарисовался образъ когда-то любимой имъ madame Петровой и страстно схожій съ Марьяной. Онъ далъ себя увлечь, но видъ этой исхудалой, обезображенной страданіями женщины перепугалъ и устрашилъ его дѣтскую душу. Теперь онъ сидѣлъ въ темнотѣ, и цѣлое море различныхъ ощущеній волновало его потрясенную душу. Ему хотѣлось и убѣжать отсюда, и хотѣлось навсегда остаться здѣсь, и было жаль эту несчастную женщину, которая просила у него прощенья, и что-то непонятно сильное и неотразимое вставало между нимъ и ею. Тамъ, наверху, шелъ сговоръ, гремѣла музыка, а здѣсь она одна лежитъ, всѣми брошенная и проклятая; даже Марья Ивановна, приведшая его сюда, куда-то убѣжала. Неужели онъ не войдетъ къ ней, не станетъ передъ

ней на колѣни и не скажетъ: „Мама, прости меня!“ Когда эта мысль впервые мелькнула въ его сознаніи, онъ сжалъ свои пальцы и затрепеталъ весь, сердце его точно переполнилось до самыхъ краевъ и готово было разорваться. Горло сдавили спазмы. Онъ хотѣлъ, чтобы вошла Марья Ивановна, и боялся ея прихода. Онъ вскакивалъ со скамьи, дѣлалъ нѣсколько шаговъ по направленію къ спальнѣ и опять возвращался назадъ, и опять не зналъ—любитъ ли онъ ее или ненавидитъ, хочетъ ли повидать ее, выпросить у нея прощенье, или уйдетъ и никогда не увидитъ ее больше. Минуты проходили, Марья Ивановна не являлась, и желаніе видѣть свою мать росло въ немъ, усиливаясь съ каждымъ мгновеніемъ. Наконецъ онъ подошелъ къ двери и медленно открылъ ее. Яркій свѣтъ на мгновеніе ослѣпилъ его. Онъ остановился на порогѣ и ждалъ. Ему казалось, онъ долженъ услышать ея призывъ, но въ спальнѣ все было безмолвно, высокая спинка скрывала попрежнему то, что находилось на кровати. Съ сильно бьющимся сердцемъ онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ. Ему показалось, что мать его какъ будто провалилась въ глубину своей постели. Яркая лампа освѣщала гору подушекъ и кружевъ, а тамъ, среди нихъ, точно придавленная невидимою силой, лежала она, маленькая и совсѣмъ плоская. Въ душѣ Моти загорѣлась жгучая жалость.

— Мама,—позвалъ онъ ее.

Она молчала.

— Мама, голубчикъ, прости меня,—началъ онъ страстнымъ шопотомъ и нагнулся къ ея изголовью. Два остановившіеся, мутные глаза смотрѣли на него, ничего не видя, и на перекосившихся губахъ застыла кровь и бѣлая пѣна.

— Мама!—крикнулъ онъ внѣ себя отъ ужаса.

Въ это время опять гдѣ-то открылся люкъ и опять полились звуки оркестра, но Мотя ничего не слышалъ. Охваченный любовью, раскаяніемъ и всепоглощающей жалостью къ своей несчастной матери, онъ рыдалъ на ея трупѣ.

А. С. Шабельская.

Харьковъ, 1898. Февраль.

ЧАСЫ СЪ ЦѢПОЧКОЙ.

(изъ папки этюдовъ).

Я шелъ по одному изъ грязныхъ переулковъ столицы, въ довольно скверномъ настроеніи духа. За послѣднее время мнѣ не везло: нѣсколько неудачныхъ дѣлъ, нездоровье, отвращеніе къ опостылѣвшему труду, — словомъ, я въ этотъ прескверный мартовскій день смотрѣлъ на міръ сквозь очень мрачную призму.

Петербургская весна давно была „сдѣлана“: на улицахъ снѣгу не было и въ поминѣ. Но съ крышъ, отъ горячо припекавшаго солнца, капало; тамъ, у карнизовъ, должно быть таяли послѣднія, плохо счищенныя льдинки. Сторонясь отъ этихъ капель и опасаясь, какъ бы вмѣстѣ съ ними не „оттаяла“ гдѣ-нибудь и штукатурка, я держался подальше отъ стѣны, къ краю тротуара.

Не доходя до угла улицы, я еще издали увидалъ маленькаго оборванца, безъ шапки, которую онъ почему-то держалъ въ рукѣ. Повидимому, это былъ нищій. Онъ стоялъ передъ окномъ нижняго этажа и съ довольнымъ видомъ, казалось, любовался смотрѣвшимъ на него въ отворенную форточку улыбающимся лицомъ другого такого же мальчика. Какъ двѣ капли воды похожіе другъ на друга, мальчики были, очевидно, родные братья, вѣроятно, погодки лѣтъ десяти, одиннадцати. Только всматриваясь пристальнѣе, можно было замѣтить, что глядѣвшій изъ окна былъ постарше, поблѣднѣе и съ тѣмъ отпечаткомъ утомленія на запачканномъ сажей лицѣ, который обыкновенно кладется пребываніемъ въ душной и нездоровой атмосферѣ мелкихъ мастерскихъ.

Проходя теперь мимо нихъ, я замѣтилъ, что надъ окномъ, гдѣ были два мальчика, висѣла вывѣска золотыхъ дѣлъ мастера. Въ два другихъ окна видна была самая мастерская, мрачная, грязная: избитые круглые столы съ какими-то своеобразными выступами, за ко-

торыми сидѣли мастера, худые, блѣдные, нѣкоторые въ очкахъ; эти люди дули въ паяльныя трубки на горѣвшіе передъ ними газовые рожки или разсматривали лежавшія передъ ними золотыя вещи при блѣдныхъ лучахъ, пропускаемыхъ стеклянными шарами съ какою-то прозрачной, нѣжно-зеленоватой жидкостью. На окнѣ, ближайшемъ къ входной двери, виднѣлись на подоконникѣ и полочкахъ разныя старыя и подновленныя кольца, брошки, браслеты, цѣпочки, солонки, портсигары.

Я остановился и сталъ разсматривать эту выставку убогой роскоши. Всѣ вещи были невысокаго сорта, безвкусны или старомодны, грубы, нѣкоторыя потускнѣли, другія помяты и плохо выправлены. Какъ украшеніе, какъ вещь для какого бы то ни было употребленія, я не взялъ бы ни одной изъ нихъ. Въ моихъ глазахъ онѣ могли имѣть только мѣновую цѣнность, такую же, какъ горсть стертыхъ пятіалтынныхъ или мѣшокъ мѣдныхъ пятаковъ.

А между тѣмъ онѣ кому-то, очевидно, нужны? Кто-то покупаетъ ихъ, собирая для этого гроши за грошами путемъ сбереженій и лишеній, кто-то украсится ими, радуется, глядя на нихъ, кто-то за нихъ обманываетъ, унижается, быть можетъ совершаетъ преступленіе.

Въ то время, какъ я думалъ такъ, въ мастерской раздался окрикъ; отворенная форточка мигомъ захлопнулась, и стоявшій передъ ней мальчикъ отскочилъ въ сторону. Постоявъ нѣсколько секундъ въ раздумьи, онъ надѣлъ шапку и пошелъ; но вдругъ, какъ будто опомнившись, онъ опять снялъ шапку и, сжимая ее обѣими руками на груди, приблизился ко мнѣ, смотря на меня просящимъ взглядомъ и молча кивая головой. Мнѣ не понравился въ мальчикѣ этотъ переходъ отъ того довольнаго, почти сіяющаго вида, съ какимъ онъ сейчасъ стоялъ передъ окномъ, къ внезапной приниженности и жалобности, которыми онъ, очевидно, хотѣлъ теперь тронуть меня. Я рѣшилъ ничего не давать ему.

— Развѣ ты нищій?—спросилъ я.

Онъ отвѣтилъ совершенно спокойно:

— Да.

— А это братъ твой?—спросилъ я, кивкомъ головы указывая на окно мастерской.

— Братъ.

— Отчего же и ты не работаешь, какъ онъ?—спросилъ я.

Мальчикъ посмотрѣлъ на меня удивленными глазами и, помолчавъ, отвѣтилъ:

— Туда больше не принимаютъ.

— Ну, въ другую мастерскую поступилъ бы.

Онъ опять не то съ недоумѣніемъ, не то съ недовѣріемъ посмотрѣлъ на меня и, опять помолчавъ, сказалъ:

— Мать искала, да не берутъ; малъ еще я.

— А кто твоя мать?

— Прачка.

— Зачѣмъ же она пускаетъ тебя нищенствовать?

Мальчикъ, казалось, не понималъ значенія моего вопроса и стоялъ въ ожиданіи.

— Гдѣ она служитъ, твоя мать?—спросилъ я.

— Сегодня она на Гороховой,—отвѣтилъ онъ.

— То-есть почему—сегодня?

— Она по людямъ поденно ходитъ.

— А тебя по-міру посылаетъ?

— Кормиться надо. На все-то не заработаешь,—отвѣчалъ онъ серьёзнымъ тономъ маленькаго дѣлового человѣка, уже усвоившаго истины, преподанныя ему стариками.

Мальчикъ смотрѣлъ на меня при этомъ добрыми и хорошими глазами, а въ его голосѣ, въ его съ убѣжденіемъ произнесенныхъ словахъ я почувствовалъ теперь неподдѣльную наивность, и я сталъ разспрашивать маленькаго нищаго объ ихъ житьѣ-бытьѣ.

Оказалось, что и мать иногда нищенствовала, а прежде, до поступленія въ ученье къ золотыхъ дѣлъ мастеру, нищенствовалъ и братъ. Въ ученье мать отдала брата на пять лѣтъ даромъ, „изъ харчей", а „на одёжу" сама даетъ. Когда братъ тоже „сбиралъ", имъ было полегче, а теперь еще и на него же надо добывать. Когда мать на работѣ, она получаетъ полтину въ день да куски домой приноситъ, а когда нѣтъ работы, такъ живутъ тѣмъ, что̀ вотъ онъ соберетъ. Самой матери ходить за подаяніемъ нельзя: можетъ попасться на хозяевъ, у кого стираетъ, и тогда не будутъ брать на поденщину, да и отъ полиціи опасно.

— А ты развѣ не боишься?—спросилъ я.

— Боюсь, — отвѣтилъ онъ равнодушно и потомъ, улыбнувшись, добавилъ:—да вѣдь я не мать—я убѣгу.

— А развѣ никогда не ловили тебя?

— Нѣтъ—разъ поймалъ городовой, да, спасибо, добрый былъ, взялъ двугривенный и отпустилъ,—серьёзнымъ тономъ сообщилъ мальчуганъ этотъ важный эпизодъ изъ своей жизни.

— А отецъ твой гдѣ? — вспомнилъ я, что еще не спросилъ его объ отцѣ.

Мальчикъ взглянулъ на меня и просто, непринужденно отвѣтилъ:

— Отца у насъ не было.

— Какъ не было? Умеръ что ли?

— Не знаю,—спокойно продолжалъ отвѣчать мальчуганъ.—Мать сказываетъ, вовсе не было отца. Она одна и насъ двое. Больше нѣтъ.

Я не сталъ разспрашивать его объ этомъ больше, и съ минуту мы оба молчали. Потомъ я опять обратился къ нему:

— Отчего же твоя мать не поступитъ куда-нибудь на постоянное мѣсто?

— Не берутъ,—серьёзно отвѣчалъ онъ.—Изъ-за мальчика не берутъ. А ей дѣвать меня некуда. Вотъ отдастъ меня въ ученье, тогда поступитъ.

— А ты хочешь въ ученье?

— Все равно.

Это „все равно“ было сказано тономъ, не оставлявшимъ сомнѣній, что маленькій бродяга былъ равнодушенъ къ своему будущему.

— А что твой братъ? Ему теперь что̀ больше нравится: въ ученьи или...—я почему-то не рѣшился произнести слово „нищенствовать“ и сказалъ:—или когда онъ дома былъ?

— Въ ученьи труднѣе,—отвѣтилъ мальчикъ,—такъ за то, онъ говоритъ, буду мастеромъ—самъ буду часы съ цѣпочкой носить.

Этотъ отвѣтъ сразу вызвалъ у меня такой притокъ мыслей, не имѣвшихъ непосредственнаго отношенія къ стоявшему передо мной нищему, что я на минуту совсѣмъ забылъ о немъ; а потомъ, взглянувъ опять на его рваную шапченку, которую онъ все еще вертѣлъ въ рукахъ, и на его миловидное, спокойное лицо, теперь уже безъ всякихъ признаковъ напускной приниженности, обращенное ко мнѣ, я какъ-то безотчетно досталъ портмоне и далъ мальчугану первую попавшуюся монету. Онъ кивкомъ головы поблагодарилъ меня, нахлобучилъ шапку и быстро исчезъ за угломъ переулка.

Я посмотрѣлъ ему вслѣдъ, окинувъ еще разъ взглядомъ убогія драгоцѣнности на окнѣ маленькаго магазина при мастерской „золотыхъ дѣлъ“, и пошелъ своею дорогой.

Но ничтожный самъ по себѣ разговоръ съ мальчикомъ не выходилъ у меня изъ головы и, забывая теперь, что нужно остерегаться „таявшей“ надо мною штукатурки, я шелъ по тротуару, погруженный въ свои мысли. Идеалъ „часовъ съ цѣпочкой“ преслѣдовалъ меня и разрастался уже во что-то болѣе широкое, обнимавшее въ моемъ воображеніи весь міръ, всю людскую борьбу за существованіе и благосостояніе. Я представлялъ себѣ этихъ двухъ братьевъ,—одного въ мастерской, другого на улицѣ,—какъ двѣ ступени въ развитіи общечеловѣческихъ потребностей. И я долго не могъ отдѣлаться отъ возникшаго у меня въ умѣ вопроса: каковъ-то будетъ этотъ маль-

чикъ, который теперь такъ равнодушенъ даже къ тому, что у него „совсѣмъ не было отца“, и которому еще „все равно“, поступить ли въ ученье или собирать съ прохожихъ добровольную дань для пополненія бюджета своей семьи,—каковъ-то будетъ онъ, когда, какъ и его старшій братъ, онъ проникнется идеаломъ „часовъ съ цѣпочкой“? Подастъ ли онъ когда-нибудь свой грошъ вотъ такому же нищему, какъ онъ самъ теперь, или „отвернется отъ попрошайки“, какъ хотѣлъ сейчасъ это сдѣлать я?—„Подастъ, непремѣнно подастъ!“—рѣшилъ я.

И почему я, въ концѣ концовъ, подалъ что-то такое этому мальчику? Чѣмъ вызванъ этотъ поступокъ? Есть ли это малодушіе сентиментальнаго человѣка, которому давно пора бы имѣть твердое убѣжденіе, что поощрять нищенство не слѣдуетъ? Или это приторное самоуслажденіе собственною добротой? Или безсознательное чувство виноватости передъ этимъ „меньшимъ“ братомъ, который меня, „старшаго“ брата, тоже одѣвалъ и кормилъ, когда я былъ еще въ ученьи? Или, наконецъ, просто это - добровольная расплата за отнятое у бродяги время на разговоры со мной? Вѣдь эта подачка—не великодушіе же въ самомъ дѣлѣ, отпущенное на цѣлый двугривенный.

И почему я подалъ этому мальчику, когда на меня произвели пріятное впечатлѣніе его открытый взглядъ и наивный разсказъ; почему я не хотѣлъ давать, когда онъ думалъ разжалобить меня униженной просьбой? Вѣдь эта низменная манера выпрашивать явилась у него путемъ наслѣдственнаго приспособленія ко вкусамъ тѣхъ, кто подаетъ. Развѣ онъ виноватъ въ этомъ? Научимте его просить такъ, чтобы намъ было пріятно давать.

Но стоитъ ли подавать? И до какихъ поръ? Всегда, во всю жизнь, всѣмъ тунеядцамъ, отъ ихъ дѣтскаго до старческаго возраста, или только до того времени, когда младшій братъ вступитъ на стезю пріобрѣтенія „часовъ съ цѣпочкой“? Но почему же я долженъ сочувствовать его идеалу и содѣйствовать ему въ достиженіи его? Быть можетъ, мой идеалъ —часы съ двумя цѣпочками и съ брелокомъ? И не въ правѣ ли я не разбрасывать своихъ двугривенныхъ на сентиментальныя подачки, а стремиться къ достиженію своего идеала съ брелокомъ и тѣмъ временемъ не думать, совсѣмъ не думать о томъ, будутъ или не будутъ часы съ одной цѣпочкой у моего брата, или онъ такъ и останется подъ окномъ на улицѣ?

Ал. Луговой.

— —

ЖИЗНЬ.

Стояли юноши толпою,
И каждый жадно въ даль глядѣлъ:
Чаруя взоры красотою,
Тамъ образъ женщины блестѣлъ.

Ея глаза горѣли страстно,
Дышали прелестью уста...
О, какъ была она прекрасна,
И величава, и чиста!

„Какое сладкое волненье
„Въ насъ будитъ твой маняцій взглядъ,
„И голосъ нѣжный, и движенья,
„И станъ, и поступь, и нарядъ!

„Не знаемъ мы, какая фея
„Явилась въ образѣ твоемъ,
„Но за тобой, благоговѣя,
„Мы всюду, дивная, пойдемъ!“

Объяты страстью молодою,
Они торопятся туда,
Гдѣ ослѣпительной красою
Она сіяетъ, какъ звѣзда.

Они подходятъ... Боже правый!
Гдѣ жъ красота? О, мрачный видъ!
Какой мучительной отравой
Онъ за восторги ихъ казнитъ!

„Насмѣшка грубая и злая!...
„Зачѣмъ, за что такой обманъ?
„Гдѣ эта прелесть неземная,
„Гдѣ чудный взоръ, гдѣ стройный станъ?

„Въ ней все поддѣльно, все фальшиво,
„И ложь сквозитъ во всѣхъ чертахъ...
„Въ глазахъ слѣды борьбы тоскливой —
„И смѣхъ безстыдный на губахъ!

„Прочь отъ нея! Она ужасна
„Своей продажной мишурой;
„Она скучна, какъ день ненастный
„Съ его томительной тоской!

„Смотрите: жалкія морщины
„Изъ-подъ бѣлилъ ея глядятъ!...“
И отъ чудовищной картины
Толпа отхлынула назадъ.

Но изъ толпы одинъ остался...
Онъ долго, долго въ грустный ликъ
Пытливымъ взоромъ погружался, —
И новый смыслъ онъ въ немъ постигъ.

Въ ея глубокомъ, странномъ взорѣ
Онъ скорбь великую открылъ;
Онъ слезы скрытыя и горе
Тревожнымъ сердцемъ ощутилъ.

Въ ея улыбкѣ невеселой,
Въ невнятныхъ жалобныхъ рѣчахъ
Онъ прочиталъ укоръ тяжелый,
Мольбу, и грусть, и стыдъ, и страхъ.

А пѣснь ея въ унылыхъ звукахъ
Всю боль, всю горечь излила...
Онъ услыхалъ о тяжкихъ мукахъ, —
И сердце въ немъ та пѣснь зажгла.

„Молчи... Не мучь меня... Довольно!
„Горитъ огнемъ душа моя...
„О, перестань! Мнѣ больно, больно!
„Внимать тебѣ не въ силахъ я!

„Другую спой!...“ Она запѣла...
Въ ея очахъ, какъ солнца лучъ,
Надежды пламя заблестѣло,
И звукъ былъ свѣтелъ и могучъ.

Въ той пѣснѣ пѣлось о прощеньи,
И о зарѣ желанныхъ дней,
И о любви, и о спасеньи
Отъ язвъ, лохмотьевъ и цѣпей.

И плакалъ онъ отъ пѣсни страстной...
Онъ звуки дивные ловилъ
И образъ женщины несчастной,
Какъ мать родную, полюбилъ.

Н. Тимковскій.

ОГЮСТЪ КОНТЪ,

КАКЪ ОСНОВАТЕЛЬ СОЦІОЛОГІИ *).

Чествуя въ сегодняшнемъ засѣданіи память родоначальника позитивной философіи, Огюста Конта, мы отдаемъ ему должную дань, какъ основателю новой науки—соціологіи. Я не буду говорить о возникновеніи позитивной философіи и объ ея сущности и ограничусь только указаніемъ на то, что основнымъ принципомъ этой философіи сдѣлалось устраненіе всякихъ метафизическихъ предположеній изъ изученія явленій реальнаго міра. Ранѣе всего это требованіе было осуществлено въ наукахъ о неорганическомъ мірѣ: Контъ распространилъ его и на изученіе человѣческаго общества. Находя, что общественныя знанія все еще коснѣютъ на теологической и метафизической ступеняхъ развитія человѣческой мысли, онъ задумалъ создать „соціальную физику", которая совершенно такъ же изучала бы явленія міра соціальнаго, какъ физика, въ широкомъ смыслѣ этого слова, изучаетъ явленія міра матеріальнаго. Этой новой наукѣ онъ далъ опредѣленное мѣсто въ своей знаменитой классификаціи наукъ, какъ наукѣ, занимающейся самыми сложными явленіями, какія только существуютъ на свѣтѣ: вся его классификація наукъ основана, какъ извѣстно, на принципѣ убывающей общности и возрастающей сложности, и въ этомъ смыслѣ соціологія явилась у Конта высшимъ завершеніемъ всѣхъ человѣческихъ знаній. Такая идея о положительной наукѣ, имѣющей своимъ предметомъ общественныя явленія, представляетъ собою нѣчто совершенно новое въ исторіи мысли.

*) Рѣчь, произнесенная въ засѣданіи Историческаго общества при Петербургскомъ университетѣ, 18 февраля 1898 г., по случаю сотой годовщины со дня рожденія Конта.

Мнѣ скажутъ, что изученіе общественныхъ явленій существовало и раньше. Это вполнѣ вѣрно, и часто, повидимому, такое изученіе преслѣдовало тѣ же задачи, какія Контъ поставилъ соціологіи, но на самомъ дѣлѣ старыя соціальныя науки имѣли своимъ предметомъ не то общество, о которомъ говоритъ Контъ. Онъ самъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ своего „Курса положительной философіи", почему „соціальная физика" не могла возникнуть въ прежнія времена: отдѣльныя отрасли знанія переходили одна за другою на положительную ступень развитія въ извѣстномъ порядкѣ, и, по крайней сложности своего предмета, позитивная соціологія могла явиться лишь послѣ другихъ наукъ. Правда, общественныя явленія изучались и раньше возникновенія мысли о соціологіи, но предметомъ этого изученія дѣлалась лишь та или другая сторона соціальной жизни человѣка, а не вся совокупность общественныхъ явленій, взятая въ ея цѣломъ. Еще древніе греки создали политику, какъ науку о *государствѣ*, а римляне — юриспруденцію, какъ науку о *правѣ*, и новая Европа прибавила къ этимъ двумъ наукамъ политическую экономію, изучающую *народное хозяйство*, но все это было изученіемъ лишь отдѣльныхъ сторонъ общественной жизни человѣка. Контъ первый высказалъ мысль о необходимости такой науки, которая сдѣлала бы своимъ предметомъ общество со всѣми совершающимися въ немъ явленіями, въ томъ числѣ и культурными, и вмѣстѣ съ этимъ указалъ на существованіе между всѣми явленіями, совершающимися въ обществѣ, извѣстнаго consensus'а. Такимъ образомъ болѣе старыя общественныя науки, т.-е. политика, юриспруденція, политическая экономія, имѣютъ значеніе наукъ частныхъ сравнительно съ соціологіей, которая по мысли своего основателя должна быть наукой совершенно общею, изучающею не ту или другую категорію соціальныхъ явленій, а всѣ эти явленія въ ихъ consensus'ѣ. Но это еще не все.

Прежде всего нужно еще вспомнить о задачѣ, которую Контъ поставилъ для новой науки. Вообще люди стремятся къ пріобрѣтенію знаній или ради достиженія тѣхъ или другихъ практическихъ цѣлей, или ради удовлетворенія чисто-теоретическихъ потребностей ума. Отсюда дѣленіе наукъ на прикладныя и чистыя, при чемъ чистыя науки являются истинными основами прикладныхъ. Въ области соціальныхъ знаній до Конта практическія и теоретическія задачи были, такъ сказать, смѣшаны воедино. Одна изъ заслугъ Конта въ данномъ отношеніи заключается въ томъ, что онъ провелъ и въ области соціальныхъ знаній рѣзкую разграничительную черту между наукой, или чистымъ знаніемъ, и искусствомъ, или знаніемъ

прикладнымъ. По его мысли, соціологія должна была быть наукой не только общею, но и чистою, чѣмъ онъ вполнѣ приблизилъ ее къ другимъ наукамъ, уже раньше достигшимъ вполнѣ теоретическаго значенія.

Другимъ важнымъ пунктомъ, опредѣляющимъ собою истинный характеръ соціологіи, я считаю сдѣланное Контомъ различеніе между науками конкретными и абстрактными. „Однѣ науки,—говоритъ самъ онъ,—абстрактныя, общія, имѣютъ предметомъ открытіе законовъ, управляющихъ разными классами явленій, разсматривая всѣ случаи, какіе только можно опредѣлить; другія науки, конкретныя, частныя, описательныя, состоятъ въ приложеніи этихъ законовъ къ дѣйствительной исторіи различныхъ существующихъ предметовъ.“ Другими словами, науки изучаютъ или данныя конкретныя явленія, или общіе законы, управляющіе извѣстною категоріей явленій, гдѣ бы то ни было и когда бы то ни было. Соціологіи Контъ придаетъ значеніе науки абстрактной: это—общая теорія общества, но не по типу метафизическихъ построеній, а по типу другихъ положительныхъ наукъ, занимающихся открытіемъ общихъ законовъ. Идея законовъ, управляющихъ общественными явленіями, прямо положена была Контомъ въ основу новой науки, создать которую онъ считалъ себя призваннымъ. Конечно, мысль о закономѣрности общественныхъ явленій не была совершенною новостью, но вообще до Конта въ приложеніи этой мысли къ разсмотрѣнію соціальной жизни не было надлежащаго научнаго пониманія. Когда говорилось о существованіи въ мірѣ общественныхъ отношеній такихъ же законовъ, какими, напримѣръ, управляется движеніе небесныхъ свѣтилъ, то имѣлись обыкновенно въ виду какъ-разъ именно *не* такіе же законы, а нѣчто другое. Одни сбивались на идеи такъ называемаго „естественнаго права“, концепціи чисто метафизической; другіе говорили о „законахъ, написанныхъ въ сердцахъ людей“, т.-е. разумѣли подъ законами, управляющими человѣческимъ обществомъ, принципы морали; третьи, наконецъ, впадали въ ошибку еще болѣе грубую, отождествляя законы въ научномъ смыслѣ съ законами въ смыслѣ юридическомъ. Контъ разъ навсегда положилъ конецъ этой путаницѣ понятій, обобщивъ понятіе закона въ научномъ смыслѣ и примѣнивъ именно это понятіе къ изученію общественныхъ явленій.

Пойдемъ еще дальше. Вводя въ науку идею consensus'а общественныхъ явленій, Контъ указывалъ тѣмъ самымъ на то, что между совмѣстно существующими явленіями есть всегда нѣкоторая закономѣрная связь. Съ другой стороны, съ особою силой онъ напиралъ на то, что такая же закономѣрная связь существуетъ и между об-

щественными явленіями, слѣдующими одно за другимъ во времени. XIX вѣкъ выработалъ идею эволюціи, и Контъ былъ однимъ изъ первыхъ, кто придалъ этой идеѣ научный характеръ, первый, кто сталъ употреблять самый терминъ: его évolution spontanée есть не что иное, какъ процессъ, совершающійся въ силу дѣйствія естественныхъ законовъ. Ставъ на такую точку зрѣнія, онъ придалъ основанной имъ наукѣ эволюціонный характеръ, который сохранился за нею и впослѣдствіи. Правда, еще ранѣе на эволюціонную точку зрѣнія поставила разсмотрѣніе міра человѣческихъ отношеній нѣмецкая философія, но то былъ эволюціонизмъ метафизическій: эволюціонизмъ Конта имѣетъ вполнѣ реалистическій характеръ, и дальнѣйшее развитіе соціологіи подъ вліяніемъ эволюціонныхъ ученій Спенсера, Дарвина, Маркса пошло по той дорогѣ, которую передъ новою наукой открылъ Контъ.

Создавъ для науки новый предметъ—общество во всей совокупности его бытія, и указавъ для науки новую задачу—открытіе законовъ, управляющихъ общественными явленіями, Контъ позаботился и о томъ, чтобы наука обладала и новыми средствами для достиженія своей новой цѣли. Именно, онъ первый поставилъ вопросъ о научномъ методѣ, при помощи котораго соціологія должна выполнять свою основную задачу. Конечно, Контъ ошибался, когда утверждалъ, что изслѣдованіе метода нельзя отдѣлить отъ изслѣдованія самого предмета, но въ дѣйствительности онъ-то и положилъ основаніе всей соціологической методологіи. Отличительною особенностью научнаго метода во всѣхъ областяхъ знанія онъ признавалъ „необходимое и непрерывное подчиненіе воображенія наблюденію“, тогда какъ метафизическое мышленіе характеризуется у него „основнымъ преобладаніемъ воображенія надъ наблюденіемъ“. Исходя изъ этой мысли, Контъ хотѣлъ, чтобы соціологія училась методу у старшихъ наукъ, но онъ не думалъ, чтобы это должно было быть чисто внѣшнимъ заимствованіемъ. Напротивъ, онъ постоянно сопоставлялъ соціологію съ естествознаніемъ, чтобы лучше оттѣнить особенности первой, вытекающія изъ особыхъ свойствъ, присущихъ ея предмету и требующихъ особыхъ пріемовъ при своемъ изученіи. Между прочимъ Контъ въ своихъ методологическихъ соображеніяхъ придавалъ особенно важное значеніе сравнительно-историческому изученію: дальнѣйшее развитіе соціологіи вполнѣ оправдало Конта въ этомъ отношеніи.

Вотъ, слѣдовательно, какая идея предносилась передъ умственнымъ взоромъ Конта, когда онъ думалъ о необходимости создать соціологію. Это была идея совершенно новая, какъ бы стары ни были ея элементы. Предметомъ новой науки должно было стать не госу-

дарство, не право, не народное хозяйство въ своей обособленности, а вся общественная жизнь, включая въ это понятіе и явленія духовной культуры. Задача соціологіи была поставлена тоже новая— открывать законы общественныхъ явленій въ ихъ consensus'ѣ и въ ихъ эволюціи, и прямо было заявлено, что для выполненія этой задачи старые методы не годятся, что должны быть созданы новые. Мало того: Контъ не усомнился взять на себя и осуществленіе этой идеи. Изъ шести томовъ его „Курса положительной философіи" цѣлая половина (томы IV—VI) посвящена новой наукѣ. Соціологія Конта— одинъ изъ грандіознѣйшихъ памятниковъ человѣческаго ума, заслуживающій удивленія уже по одной смѣлости замысла. Нельзя, разумѣется, не упомянуть, что Контъ взялъ на себя работу, которая вообще не по силамъ одному человѣку. Онъ самъ любилъ указывать на непомѣрную сложность соціальныхъ явленій, а тутъ еще ему пришлось создавать свою соціологію, когда для такой работы не было научно-образовательнаго матеріала, когда въ данной области господствовали еще теоріи, которыя подлежали устраненію, когда самый методъ такой работы только-что намѣчался впервые. Контъ, понятное дѣло, не создалъ соціологіи, но и та заслуга его велика, что онъ ее основалъ. „Когда строится царь, плотникамъ много работы": эти слова, сказанныя поэтомъ о комментаторахъ Канта, вполнѣ примѣнимы и къ нашему случаю. Современники мало оцѣнили великую мысль Конта. Когда сорокъ лѣтъ тому назадъ онъ кончилъ свое земное поприще, соціологія едва зарождалась, но зато въ данную минуту, когда мы чествуемъ память Конта по случаю исполнившагося столѣтія со дня его рожденія, уже существуетъ на разныхъ языкахъ громадная соціологическая литература, въ которой обнаруживаются разныя направленія, залогъ дальнѣйшаго развитія, и эта литература оказываетъ уже значительное вліяніе на другія общественныя науки, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда представители этихъ наукъ стоятъ очень далеко отъ того, чтобы раздѣлять философскія воззрѣнія самого Конта. О громадномъ значеніи Конта въ умственной исторіи XIX в. свидѣтельствуетъ и весьма обширная литература, посвященная личности и идеямъ самого родоначальника позитивной философіи. И Контъ, конечно, не занялъ бы такого выдающагося положенія, если бы не удовлетворялъ одной изъ глубочайшихъ потребностей нашего времени.

Въ XVIII столѣтіи не было соціальной науки: ея мѣсто занимала политическая метафизика; подъ знаменемъ идей этой метафизики совершился одинъ изъ величайшихъ историческихъ переворотовъ, какіе мы только знаемъ—французская революція. Исходъ этого со-

бытія, на которое возлагалось столько радужныхъ надеждъ, привелъ къ самому мрачному разочарованію, выразившемуся въ той культурной реакціи, которая проявилась съ такою силой въ первыя десятилѣтія нашего вѣка. Въ общемъ это была реакція противъ идей XVIII столѣтія, но въ то время, какъ одни выразили свое отрицательное отношеніе къ этимъ идеямъ въ видѣ проповѣди о необходимости вернуться назадъ, къ средневѣковому міросозерцанію, другіе, наоборотъ, стремились прокладывать новые пути для человѣческой мысли и человѣческой жизни. Контъ принадлежалъ, главнымъ образомъ, къ послѣдней категоріи людей первой половины XIX вѣка, хотя испыталъ на себѣ вліяніе и людей первой категоріи. Къ политической метафизикѣ прошлаго столѣтія онъ отнесся самымъ отрицательнымъ образомъ, и особенно это непріязненное расположеніе выразилось въ его отношеніи къ Руссо, который въ его глазахъ былъ только софистъ. Но въ той же философіи XVIII в. Контъ нашелъ и нѣчто такое, что въ его глазахъ имѣло въ высшей степени важное положительное значеніе. Это былъ именно зарождавшійся научный духъ, представителемъ котораго ему являлся Дидро. Кромѣ того, среди немногихъ предшественниковъ соціологіи Контъ называетъ еще двухъ мыслителей XVIII вѣка — Монтескьё и Кондорсе. Чѣмъ же, по мнѣнію Конта, грѣшила политическая метафизика прошлаго столѣтія? Плохимъ знаніемъ дѣйствительности и законовъ, ею управляющихъ, а это плохое знаніе было результатомъ „основного преобладанія воображенія надъ наблюденіемъ". Это же преобладаніе воображенія надъ наблюденіемъ характеризуетъ и современный Конту соціальный утопизмъ, а въ концѣ своей дѣятельности и самъ онъ заплатилъ обильную дань такому утопизму. Какъ основатель научной соціологіи, онъ прежде всего врагъ именно утопизма, не считающагося съ фактами дѣйствительности и съ законами реальнаго міра. Въ ту эпоху, когда онъ стоялъ за „необходимое и непрерывное подчиненіе воображенія наблюденію", онъ совершенно правильно доказывалъ и слѣдующую мысль: чтобы успѣшно дѣйствовать, нужно знать естественные законы, управляющіе тою вещью, на которую мы хотимъ дѣйствовать; наука, давая намъ знаніе законовъ, позволяетъ намъ не только предвидѣть событія, но и вызываетъ ихъ путемъ обращенія къ помощи однихъ законовъ противъ другихъ. Эту мысль онъ выразилъ, между прочимъ, въ слѣдующей формулѣ: „наука—откуда предвидѣніе, предвидѣніе—откуда дѣйствіе". Хотя Контъ, какъ мы видѣли, и отдѣлилъ весьма строго чистую науку, какой по его мысли должна быть соціологія, отъ прикладной, получившей у него названіе искусства, однако, онъ вовсе не думалъ, что соціо-

логія должна существовать лишь для удовлетворенія нашей любознательности. Наука вообще и въ особенности соціологія имѣетъ у Конта важное общественное значеніе. Вѣрно ли или ошибочно, это— другой вопросъ, но главную бѣду переживаемаго историческаго момента Контъ находилъ въ анархіи умовъ, происходящей отъ того, что отдѣльныя науки стоятъ на разныхъ ступеняхъ развитія, и, такимъ образомъ, въ міросозерцаніи общества царитъ хаосъ, и отъ того еще, что такое состояніе общества способствуетъ развитію крайняго индивидуализма. Онъ думалъ, что устранить эту умственную анархію можно только новымъ міросозерцаніемъ, которое было бы цѣльно и послѣдовательно во всѣхъ частяхъ. При этомъ, стремясь къ общественному единству въ области мысли, онъ заходилъ такъ далеко, что не хотѣлъ допускать ни свободы изслѣдованія, ни свободы совѣсти, какъ ведущихъ за собою подлежащую устраненію умственную анархію общества. Оставляя въ сторонѣ эти увлеченія Конта, въ которыхъ, между прочимъ, ярче всего сказалось на немъ вліяніе ретроградпаго теченія мысли начала XIX вѣка, мы должны остановиться лишь на общемъ характерѣ того міросозерцанія, посредствомъ котораго Контъ думалъ повліять на общественное сознаніе, а черезъ него и на общественный бытъ. Старыя міросозерцанія и основныя идеи, обобщающія ихъ отдѣльныя понятія, отжили свое время, а потому не могутъ болѣе служить потребностямъ общественной жизни. Новымъ объединяющимъ и руководящимъ міросозерцаніемъ можетъ быть лишь то, которое создается наукою. Вотъ поэтому-то Контъ и поставилъ цѣлью своей жизни обосновать всѣ положительныя знанія на одномъ принципѣ, слить ихъ въ одну систему и все направить къ одной цѣли, къ тому, чтобы лишь научное знаніе было основаніемъ для нашей практической дѣятельности, для нашего поведенія. Зданіе своей философіи Контъ строилъ на широкомъ и прочномъ фундаментѣ естественныхъ наукъ, завершеніемъ же и, такъ сказать, цѣлью этого зданія должна была быть соціологія, наука съ характеромъ общественнымъ по преимуществу и по своему предмету, и по своему практическому значенію для общественной жизни. Въ частности занимавшая всѣхъ соціальныхъ утопистовъ мысль объ улучшеніи быта наиболѣе многочисленнаго класса общества не была чужда и Конту, когда онъ думалъ объ общественномъ значеніи научнаго міросозерцанія вообще и новой науки въ частности. Въ этомъ Контъ видѣлъ высшее оправданіе необходимости научнаго изученія общественныхъ явленій.

Посмотримъ, когда впервые высказана была Контомъ такая мысль о соціологіи: эта маленькая историческая справка покажетъ намъ,

насколько онъ можетъ считаться родоначальникомъ идеи о научной соціологіи и объ общественномъ значеніи такой науки. Будучи еще совсѣмъ молодымъ человѣкомъ, Контъ въ началѣ двадцатыхъ годовъ былъ очень близокъ съ С. Симономъ, какъ извѣстно, мечтавшимъ о полной реформѣ научной мысли и общественной жизни. Скоро, однако, между С. Симономъ и Контомъ начался разладъ, такъ какъ учитель находилъ, что ученикъ слишкомъ выдвигаетъ впередъ научную сторону ихъ ученія, пренебрегая сентиментальной и религіозной. Къ этому-то времени (1822 г.) и относится небольшой, написанный Контомъ: „Проспектъ научныхъ трудовъ, необходимыхъ для реорганизаціи общества". Въ тотъ годъ, когда вышла въ свѣтъ эта брошюрка, мыслители, которымъ впослѣдствіи суждено было оказать наиболѣе сильное вліяніе на современную соціологію, были еще малыми дѣтьми—Дарвину было 13 лѣтъ, Марксу 4 года, Спенсеру 2. Свой „Курсъ положительной философіи" Контъ издалъ въ 1830—1842 годахъ, во время наибольшаго распространенія и господства гегельянства, и не нужно забывать, что именно лишь въ началѣ сороковыхъ годовъ, такъ называемые, „лѣвые" гегельянцы обратили свое вниманіе на вопросы общественной жизни и стали ихъ рѣшать въ болѣе реалистическомъ духѣ, нежели томъ, какъ училъ родоначальникъ ихъ философіи. Не забудемъ и того, что въ послѣднія пятнадцать лѣтъ своей жизни Контъ не сказалъ ничего такого, къ чему со вниманіемъ могла бы отнестись современная соціологія: все самое важное въ этой области было сказано имъ еще въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ. Я уже упоминалъ, что на новѣйшее міросозерцаніе оказали наибольшее вліяніе Дарвинъ, Марксъ, Спенсеръ: нельзя не подчеркнуть того обстоятельства, что ихъ главныя работы увидѣли свѣтъ уже послѣ смерти Конта.

Но эти хронологическія сопоставленія нужны мнѣ были и для другой цѣли. За полустолѣтіе, отдѣляющее насъ отъ Конта, передовое человѣчество жило особенно быстро. Это была эпоха въ высшей степени важныхъ научныхъ открытій и завоеваній мысли, это была эпоха богатаго историческаго опыта, научившаго насъ лучше понимать существо и взаимоотношенія общественныхъ явленій. Прогрессивное развитіе соціологическихъ идей шло за все это время въ общемъ какъ-разъ въ томъ научно-реалистическомъ направленіи, на необходимость котораго указывалъ Контъ, но именно благодаря совершившемуся за эти полвѣка прогрессу общественныхъ знаній въ области соціологіи, мы оставили далеко за собою научныя построенія Конта. Въ настоящее время его соціологія имѣетъ лишь историческое значеніе, хотя всякій, кто хочетъ оріентироваться въ этой области

знанія, долженъ непосредственно ознакомиться съ Контомъ. Съ нашей, позднѣйшей точки зрѣнія въ его идеяхъ найдется и немало ошибочнаго. Новѣйшіе соціологи указали, что въ своей классификаціи наукъ Контъ совершенно напрасно пропустилъ психологію, и что именно эта наука, а не біологія, какъ онъ думалъ, должна лежать въ основаніи соціологіи. Любопытно, впрочемъ, что, отвергая психологію въ теоріи, Контъ думалъ, однако, что вся исторія управляется закономъ трехъ фазисовъ міросозерцанія, имѣющимъ чисто психологическій характеръ. Всѣ важнѣйшія историческія перемѣны и даже перемѣны въ общественной организаціи онъ ставилъ въ связь съ перемѣнами въ человѣческихъ воззрѣніяхъ на природу. Мы понимаемъ теперь — и понимаемъ въ полномъ согласіи съ основными взглядами самого Конта, что соціальная эволюція есть нѣчто болѣе сложное, нежели отраженіе на фактахъ жизни теоретическихъ идей о природѣ, и хотя мы все еще споримъ объ относительномъ значеніи разныхъ факторовъ соціальной эволюціи, тѣмъ не менѣе всѣ новѣйшія объясненія имѣютъ болѣе реалистическій характеръ, чѣмъ у Конта. Въ данномъ случаѣ, однако, мы не отвергаемъ Конта, а лишь идемъ дальше его по проложенному имъ пути, потому что, при всей своей недостаточности, его объясненіе соціальной эволюціи имѣло все-таки болѣе реалистическій характеръ, чѣмъ объясненіе Гегеля. Въ частности Контъ игнорировалъ значеніе экономическаго фактора и даже отрицалъ за политической экономіей значеніе науки. Но не нужно забывать, что Контъ написалъ свой „Курсъ“ въ то время, когда между исторіей и политической экономіей существовало полное взаимное отчужденіе. Вѣдь сближеніе между обѣими науками и у экономистовъ, и у историковъ началось лишь въ сороковыхъ годахъ, и только благодаря этому сближенію политическая экономія отрѣшилась отъ той метафизичности, въ которой ее упрекаетъ Контъ. Наконецъ, и сдѣланное Контомъ построеніе всемірной исторіи вызываетъ массу возраженій. Но, отмѣчая заблужденія и ошибки Конта, критика не забываетъ условій, въ какія была поставлена его работа, и средствъ, какими онъ располагалъ. Пусть въ данную минуту его соціологія имѣетъ лишь историческое значеніе, но именно въ этомъ историческомъ, непреходящемъ значеніи его дѣла — его право на вѣчную память во всемъ образованномъ мірѣ. Пусть онъ не создалъ соціологіи, но онъ ее несомнѣнно основалъ: ему принадлежитъ идея зданія, надъ возведеніемъ котораго трудятся въ настоящее время многочисленные соціологи Стараго и Новаго свѣта, и онъ же положилъ первые прочные камни для фундамента. Историческая заслуга Конта въ томъ, что онъ одинъ изъ первыхъ ясно созналъ и

точно выразилъ научный духъ XIX вѣка, одинъ изъ первыхъ указалъ на то, что въ этомъ духѣ должна развиваться впредь философія не только природы, но и міра человѣческихъ отношеній, одинъ изъ первыхъ, наконецъ, понялъ важное общественное значеніе строго-научнаго отношенія къ этому міру. Какъ ни привлекательно чистое знаніе, но само по себѣ оно удаляетъ отъ жизни. Контъ хотѣлъ „знать, чтобы предвидѣть", хотѣлъ „мыслить, чтобы дѣйствовать", и этотъ девизъ онъ завѣщалъ основанной имъ соціологіи.

Говоря о Контѣ, какъ основателѣ соціологіи, въ русскомъ ученомъ обществѣ и передъ русской публикой, я допустилъ бы большой пробѣлъ въ своей темѣ, если бы не коснулся значенія Конта въ исторіи нашей общественной мысли. Позволю себѣ прежде всего указать и на личное чувство, которое заставляетъ меня сказать нѣсколько словъ объ этомъ предметѣ. Тому поколѣнію, къ которому принадлежитъ говорящій передъ вами, пришлось учиться и вырабатывать свои научные взгляды въ пору наибольшаго вліянія Конта въ русской литературѣ, и подъ его духовнымъ руководительствомъ многіе изъ насъ начинали самостоятельно мыслить. Лично во мнѣ это вызываетъ благодарное воспоминаніе: я думаю, что многіе изъ моихъ сверстниковъ поймутъ чувство, заставившее меня выступить здѣсь съ этою краткою рѣчью. Но и въ общемъ смыслѣ у насъ была именно особая пора, характеризующаяся большимъ интересомъ къ Конту и вліяніемъ его идей на нашу литературу. Это время относится къ самому концу шестидесятыхъ и первой половинѣ семидесятыхъ годовъ, когда въ нашей журналистикѣ (особенно въ „Отечественныхъ Запискахъ" и „Знаніи") появлялись соціологическія работы Миртова, Михайловскаго, Южакова и др. представителей русской соціологической школы, и когда на идеи Конта было обращено вниманіе на университетскихъ каѳедрахъ, въ диссертаціяхъ на ученыя степени. Русская литература заключаетъ въ себѣ уже весьма большой матеріалъ для изученія Конта, и это указываетъ на то, какой живой интересъ встрѣтила его философія вообще и въ частности его соціологія въ нашей литературѣ и наукѣ. Здѣсь не время входить въ подробности, такъ какъ это завлекло бы насъ слишкомъ далеко. Я укажу только на то, что съ самаго же начала отношеніе нашей литературы къ Конту выразилось, при общемъ сочувствіи къ его основнымъ идеямъ, въ критическомъ изученіи этихъ идей и въ научномъ синтезѣ ихъ съ тѣми новыми идеями, которыя развились уже послѣ Конта, но въ духѣ того же научнаго пониманія жизни, какого требовалъ основатель соціологіи. Будущее опредѣлитъ всю мѣру вліянія Конта на нашу умственную жизнь въ серединѣ этого вѣка, но

и въ настоящемъ мы имѣемъ право быть особенно признательными этому великому мыслителю за то возбуждающее дѣйствіе, которое онъ оказалъ спеціально на русскую умственную жизнь.

Н. Карѣевъ.

P. S. Помѣщая эту статью въ сборникѣ въ память Бѣлинскаго, считаю нелишнимъ прибавить нѣсколько строкъ объ отношеніи Бѣлинскаго къ Конту. Съ родоначальникомъ позитивизма нашъ великій критикъ познакомился за годъ до своей кончины по статьѣ Сэссе въ „Revue des deux mondes". Авторъ статьи, развязно разсуждавшій о нѣмецкой философіи, плохо ее понимая, произвелъ на Бѣлинскаго дурное впечатлѣніе, но и о Контѣ онъ составилъ себѣ не очень выгодное мнѣніе. Свои впечатлѣнія онъ изложилъ въ письмѣ къ Боткину отъ 6 февраля 1847 г. „Сколько можно,—писалъ онъ,—получить понятіе о предметѣ изъ вторыхъ рукъ, я понялъ Конта." Указывая на тѣ пункты ученія Конта, которые вызывали несогласіе съ его стороны, онъ, тѣмъ не менѣе, называетъ Конта человѣкомъ замѣчательнымъ и ставитъ ему въ заслугу его протестъ противъ теологическаго вмѣшательства въ науку. Общій выводъ его былъ тотъ, что основатель новой философіи долженъ освободить науку отъ признаковъ трансцендентализма, отъ всего фантастическаго и мистическаго. Бѣлинскій находилъ, что самому Конту не по силамъ это сдѣлать, но что, тѣмъ не менѣе, съ другими замѣчательными умами онъ поможетъ это сдѣлать призванному основать новую философію. Нельзя многаго требовать отъ оцѣнки Конта, сдѣланной Бѣлинскимъ на основаніи статьи, къ которой самъ же онъ отнесся отрицательно и въ которой многое было представлено въ ненастоящемъ видѣ, но важно, что Бѣлинскій схватилъ сущность основныхъ стремленій философіи Конта. Освобожденіе науки отъ всякой фантастики и мистики, вотъ въ чемъ состояла главная задача, которую поставилъ себѣ Контъ, и это не могло не быть симпатично Бѣлинскому. Въ своемъ принципѣ дѣйствительности великій критикъ мыслилъ то же самое, что имѣлось въ виду и основателемъ позитивной философіи, когда онъ говорилъ о необходимости изучать міръ явленій, какъ онъ есть. Идеи Бѣлинскаго были отправнымъ пунктомъ всего дальнѣйшаго развитія передовой мысли въ Россіи, и лишь эта умственная подготовка сдѣлала возможнымъ у насъ усвоеніе

общаго духа философіи Конта. Конечно, это не случайность, что наибольшій интересъ и наибольшее сочувствіе къ позитивизму проявились у насъ среди тѣхъ людей, которые видѣли въ Бѣлинскомъ своего духовнаго предка и поняли свою жизненную задачу, какъ продолженіе начатаго имъ дѣла. Общая почва—трезвое и правдивое отношеніе къ дѣйствительности, котораго Контъ требовалъ отъ науки, Бѣлинскій—отъ литературы.

Н. К.

* * *

Мой другъ, есть радость и любовь,
Есть все, что будетъ вновь и вновь,
Хотя въ другихъ сердцахъ, не въ нашихъ.
Но, милый братъ, и я, и ты —
Мы только грёзы Красоты,
Мы только капли въ вѣчныхъ чашахъ
Неотцвѣтающихъ цвѣтовъ
Непогибающихъ садовъ.

Ялта, Сентябрь, 1898.

К. Бальмонтъ.

* * *

Отцвѣли — о, давно! — отцвѣли орхидеи, мимозы,
Сновидѣнья нагрѣтыхъ, и душныхъ, и влажныхъ теплицъ.
И въ пространствѣ, застывшемъ, какъ мертвенный цвѣтъ туберозы,
Чуть скользятъ очертанья поблекшихъ разлюбленныхъ лицъ.
И блѣднѣютъ, и тонутъ въ душѣ, гдѣ развалины дремлютъ,
Въ этой безднѣ, гдѣ много — гдѣ все пробѣгаетъ на мигъ,
Въ переходахъ, гдѣ звукамъ ихъ отзвуки, вторя, не внемлютъ,
Гдѣ одинъ для меня сохранился немеркнущій ликъ.
Этотъ образъ — въ созвучіи странномъ съ душою моею,
Въ этомъ ликѣ мы оба съ тобою узнаемъ себя, —
О, Мечта, чьей улыбки ни ждать, ни желать я не смѣю,
Но кого я люблю, но кого вспоминаю, любя.
Я люблю съ безупречною нѣжностью духа и брата,
Я люблю, какъ звѣзду отдаленная любитъ звѣзда,
Какъ цвѣтокъ, что еще не растратилъ въ душѣ аромата,
Я съ тобой — я люблю — я съ тобой — разлученъ — навсегда.

С.-Пб., Октябрь, 1898.

К. Бальмонтъ.

ФОЛЬКЛОРЪ

И ЕГО ИЗУЧЕНІЕ.

Что такое фольклоръ? Что это за слово и что оно значитъ?

Фольклоръ—слово англійское, произносимое, впрочемъ, не совсѣмъ такъ, какъ его произносятъ сами англичане, а скорѣе согласно произношенію, принятому нѣмцами, у которыхъ слово это первоначально и заимствовано. Слово это составлено изъ слова „folk“ — народъ и „lore“—ученіе, наука, знаніе. Оно, какъ видно изъ этого, означаетъ собою общую совокупность народнаго знанія,—все то, что знаетъ народъ по преданію, помимо вліяній позднѣйшихъ, независимо отъ всякаго воздѣйствія той совокупности знаній, которую — соотносительно — можно назвать культурлоромъ или знаніемъ культурнаго класса. Итакъ, фольклоръ — это обширная и сложная масса разнообразныхъ высказываній народа о всей своей внутренней и внѣшней жизни во всѣхъ ея развѣтвленіяхъ. Сюда относятся: басни, сказки, легенды, сказанія, пѣсни, загадки, дѣтскія игры и присказки, знахарство, ворожба, свадебные и иные обряды, метеорологическія и иныя примѣты, пословицы, поговорки, присловья, разсказы о лунѣ, звѣздахъ, затменіяхъ, кометахъ, и всякаго рода суевѣрія: различеніе легкихъ и тяжелыхъ дней, повѣствованія о вѣдьмахъ, упыряхъ, вовкулакахъ, віяхъ и т. д.,—словомъ, все то, что народъ унаслѣдовалъ отъ отцовъ и дѣдовъ путемъ устнаго преданія, за что онъ держится и что передаетъ послѣдующему поколѣнію вопреки даже воздѣйствію культурлора, въ тѣхъ случаяхъ, когда такое воздѣйствіе можетъ быть констатировано.

Итакъ то, что называется фольклоромъ, не представляетъ собою какой-либо особой науки, какъ то иногда толкуютъ; фольклоръ *для*

насъ—это собраніе документовъ,—документовъ, подлежащихъ изученію и представляющихъ собою для науки богатый и важный матеріалъ.

Фольклоръ, какъ видно изъ этого, говоря словами одного современнаго нѣмецкаго фольклориста, „всѣмъ намъ, къ какому бы званію и состоянію мы ни принадлежали и какимъ бы путемъ наше образованіе ни совершалось, неизбѣжно близокъ съ самаго ранняго дѣтства. Онъ близокъ намъ вплоть отъ того времени, когда мы засыпали подъ напѣвы колыбельныхъ пѣсенъ и заслушивались нянюшкиныхъ сказокъ". Фольклоръ намъ близокъ, но мы живемъ и существуемъ внѣ его: наши нравы, обычаи, вѣрованія, сказанія,—вся наша культура, все наше міровоззрѣніе, не только не общи съ тѣми, которыя составляютъ содержаніе фольклора, но большею частью діаметрально противоположны имъ; сплошь и рядомъ ихъ строй и развитіе зиждутся на отрицаніи фольклора и препобѣжденіи его. Вѣрнѣе будетъ сказать, что наше міровоззрѣніе и наша культура относятся къ фольклору, какъ къ почвѣ, въ которую наше міровоззрѣніе и наша культура входятъ своими корнями, теряющимися въ темныхъ вѣковѣчныхъ ея глубинахъ. Фольклоръ, съ этой точки зрѣнія, это—вся сумма зачаточныхъ состояній нашей техники, нашего искусства, нашей науки, нашей литературы,—это ихъ древнѣйшій, первобытнѣйшій фазисъ. Фольклоръ — это *историческія основы* всего того, изъ чего слагается наша духовная жизнь, чему мы учимся въ школѣ, чему посвящаемъ всѣ наши труды и усилія, что мы стараемся воплотить въ жизнь; но въ то же время, фольклоръ — это также и то, что безчисленными нитями проницаетъ жизнь окружающаго насъ большинства и властвуетъ надъ его умами въ формѣ видоизмѣненной и маскированной, но совершенно вѣрной своему основоначалу. Въ такомъ видоизмѣненіи фольклоръ является „переживаніемъ" первобытнаго состоянія,—переживаніемъ, приспособившимся къ новымъ условіямъ, но неизмѣнно стремящимся къ преодолѣнію вытекающихъ изъ нихъ послѣдствій. Въ этомъ смыслѣ фольклоръ является тормазомъ развитія, источникомъ рутины и застоя. Справедливо оцѣнивалъ нашъ великій сатирикъ значеніе этого окоченѣвшаго преданія—остатка одичалости и изувѣрства, утверждая, что борьба съ нимъ должна внушить ужасъ самымъ смѣлымъ бойцамъ, такъ какъ для окончательнаго его упраздненія необходимо, чтобы „человѣчество окончательно очеловѣчилось".

Итакъ, фольклоръ—это безбрежное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, измѣнчивое море!... Возможно ли, однако, пускаться въ него, если оно остается неизвѣданнымъ? Тутъ предстоитъ работа колоссальная; его способы и

пріемы, его методъ долженъ быть выработанъ и установленъ такъ же, какъ и методъ всякой науки—не умозрительно, не путемъ апріорныхъ построеній и, вообще, не метафизически. Имѣя прочную опору въ методѣ, наука о фольклорѣ, какъ и всѣ другія, вступитъ на вѣрный путь, пойдетъ твердымъ шагомъ впередъ и привлечетъ къ себѣ массу тружениковъ. И всего прежде представляется здѣсь первая стадія изученія фольклора—собираніе матеріаловъ, записываніе тѣхъ документовъ, изъ совокупности которыхъ состоитъ фольклоръ. Дѣло это далеко не такъ просто, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Чтобы записываніе достигло своей цѣли — стало пригодно людямъ науки, собирателямъ необходима извѣстная подготовка: надо, чтобы они были проникнуты убѣжденіемъ важности того дѣла, за которое они берутся, чтобы они не были склонны относиться къ нему поверхностно или легкомысленно — не позволяли себѣ записывать какъ-нибудь, черезъ пятое въ десятое, приблизительно или неточно. Я не говорю уже о томъ, что внесеніе искаженій должно представляться тутъ абсурдомъ, дикостью, чѣмъ-то такимъ, что и въ мысль не придетъ порядочному человѣку. Затѣмъ, собиратели должны быть настолько знакомы съ современною наукой о фольклорѣ, чтобы имѣть возможность оріентироваться въ массѣ представляющагося имъ матеріала,—знать, что именно подлежитъ записыванію и какъ классифицировать записанный матеріалъ. Наконецъ, они должны умѣть спрашивать: умѣть въ томъ смыслѣ, чтобы всегда овладѣвать разговоромъ съ вопрошаемымъ, и еще и въ томъ, чтобы, ведя бесѣду систематически, быть въ состояніи исчерпать наличный фольклорный матеріалъ.

Подготовленіе такихъ собирателей довольно затруднительно тамъ, гдѣ самое слово фольклоръ представляетъ еще собою нѣкоторую новость для обыкновеннаго читателя. Интереса къ фольклору въ нашей обширной публикѣ пока поэтому и нѣтъ; нѣтъ поэтому и достаточнаго числа собирателей, и случайный ихъ составъ не гарантированъ отъ личностей, не стоящихъ на высотѣ положенія. Возможны и случаи искаженія; на одинъ изъ нихъ мнѣ указывалъ еще покойный М. П. Драгомановъ, съ горечью передавая разсказъ о томъ, какъ онъ уличилъ извратителя. Это было болѣе двадцати лѣтъ тому назадъ, но и теперь еще фольклоръ остается землею незнаемой даже тамъ, гдѣ этого не должно бы быть. Такъ, напримѣръ, года два тому назадъ нашелся писатель, который смѣло заявилъ, что сказки, не содержащія „новыхъ темъ“, не интересны. Но, вѣдь, если ужъ „новая тема“, то, значитъ, не сказка. „Новая тема“ можетъ быть и интересною,—почему нѣтъ?—но ея интересъ лежитъ внѣ интересовъ фольк-

лориста. Неудовлетворяющійся старыми сказками писатель воображаетъ, вѣроятно, что сказки продолжаютъ „сочиняться“ и что новость ихъ „выдумки“ и есть именно то, что дѣлаетъ ихъ интересными. Это довольно густой мракъ во всякомъ случаѣ, и, пока онъ не разсѣется, можно ли ожидать, чтобы читатель не выражалъ своего недоумѣнія отъ одной лишь встрѣчи со словомъ „фольклоръ“.

На Западѣ во главѣ фольклорныхъ интересовъ стоятъ фольклорныя общества. У насъ такое общество едвали возможно. И, хотя наши немногіе фольклористы и стоятъ на высокомъ европейскомъ уровнѣ и представляютъ рядъ именъ, которыми могла бы гордиться любая изъ странъ европейскаго Запада, но они работаютъ разрозненно и, если и группируются, то только во имя интересовъ, охватывающихъ интересы фольклора, но не сосредоточивающихся на нихъ. По этой причинѣ, надо полагать, они и до сихъ поръ не дали намъ ни „руководства“ по фольклору, ни „вопросника“, ни „обозрѣнія“ дѣятельности западныхъ фольклорныхъ обществъ. Отъ этого и произошло, что между ними, такъ блистательно овладѣвшими наукой о фольклорѣ и самимъ фольклоромъ, какъ объектомъ изученія, нѣтъ того посредствующаго слоя собирателей, который имъ же такъ необходимъ и который могъ бы сгруппироваться, а потомъ и разрастать лишь въ формѣ „русскаго фольклорнаго общества“.

Смягчающимъ обстоятельствомъ для насъ можетъ служить развѣ указаніе на тотъ фактъ, что и на Западѣ сознаніе важности изученія фольклора развивается съ поразительною медлительностью. Несмотря на то, что начатки интереса къ изученію народнаго міровоззрѣнія относятся къ серединѣ прошлаго вѣка, возбужденное состояніе этого интереса можетъ считаться дѣломъ новымъ. Въ 1765 году вышли „Reliques of ancient Poetey“; въ 1778 г. явилось составленное по ихъ образцу собраніе народныхъ пѣсенъ Гердера; въ 1812 году—первый томъ сборника сказокъ братьевъ Гриммовъ и затѣмъ, болѣе чѣмъ черезъ полъ-вѣка, возникаетъ первое фольклорное общество—англійское, въ 1878 году. Первый списокъ членовъ содержалъ всего только 129 именъ, да и въ 1887 году ихъ было только 390. Во Франціи терминъ „folklore“ въ началѣ 80-хъ годовъ производилъ на средняго читателя такое же впечатлѣніе, какое онъ теперь производитъ у насъ. Изученіе народныхъ воззрѣній продолжало оставаться удѣломъ немногихъ разрозненныхъ изслѣдователей. „Тогда какъ повсемѣстно въ Европѣ,—пишетъ извѣстный фольклористъ Поль Себильо́,—старательно собирали народныя сказанія, у насъ вовсе этимъ не занимались. Если иной разъ какой-нибудь ученый и рѣшался напечатать сказку, онъ считалъ своимъ долгомъ разукрасить и перерабо-

тать ее на литературный ладъ; грубыя черты, отсутствіе литературнаго вкуса при этомъ исчезали, конечно; но разсказъ терялъ народный характеръ и являлся новымъ произведеніемъ. У насъ все еще не дерзали сохранять въ народныхъ сказаніяхъ ту простоту, которую умѣли уберечь Перро и братья Гриммы, и, вообще говоря, оставались при увѣренности, что если у насъ и могли существовать волшебныя повѣствованія, въ родѣ тѣхъ, которыя въ такомъ множествѣ записывались нашими сѣверными и южными сосѣдями, то время собиранія ихъ надо считать давно уже минувшимъ.“ Въ настоящее время во Франціи имѣются уже богатѣйшіе сборники по фольклору, издается посвященный ему журналъ „Мелюзина“, редактируемый Гэдозомъ, и имена Себильо, Коскена, Бладэ, Люзеля, Бассэ и многихъ другихъ фольклористовъ пользуются громкою, всесвѣтною извѣстностью.

Какъ ни медленно двигалось развитіе интереса къ фольклору и его изученію, все же, въ настоящее время, оно уже настолько велико, что въ Западной Европѣ повсемѣстно онъ уже весьма интенсивенъ. Даже въ Испаніи и Португаліи есть свои фольклорныя общества; болѣе того, въ Галисіи, въ какой-то тамъ Коруньѣ, издаются сборники и вопросники мѣстной „Sociedad del Folklore Gallego“, а немного поближе къ намъ скромная валлонская національность имѣетъ свою „Société du Folklore wallon“, которою изданъ замѣчательный вопросникъ—„Questionnaire de Folklore“ (Liège, 1890), вслѣдъ затѣмъ руководство — „Le Folklore wallon par E. Monseur“, да еще издается и журналъ „Bulletin de Folklore“, за шесть франковъ въ годъ.

Эти частныя развѣтвленія поступательнаго хода интереса къ фольклору получили объединеніе въ международныхъ фольклорныхъ конгрессахъ, первый изъ которыхъ собирался въ Парижѣ въ 1889-мъ году; слѣдующій затѣмъ имѣлъ мѣсто въ Лондонѣ въ 1891-мъ году. Доклады обоихъ конгрессовъ были своевременно изданы, и всякій, интересующійся этою отраслью знаній, можетъ почерпнуть теперь въ этихъ двухъ томахъ изслѣдованій, вышедшихъ изъ-подъ перьевъ знаменитѣйшихъ современныхъ спеціалистовъ, массу свѣдѣній первостепенной важности.

Фольклорныя общества и конгрессы фольклористовъ не могли, конечно, остаться безъ вліянія на литературу фольклора во всѣхъ странахъ Запада. Несмѣтные собиратели проникли во всѣ части свѣта и создали своими трудами совершенно новый родъ литературы — литературу всесвѣтнаго фольклора. И на крайнемъ сѣверѣ, у эскимосовъ, и въ экваторіальныхъ странахъ, у негровъ, а также у каффровъ, готтентотовъ, бушмэновъ, айносовъ, папуасцевъ, — всюду

проникли пытливые изслѣдователи, вездѣ записали все, что было только возможно. Съ другой стороны, теорія, идя рука объ руку съ накопленіемъ матеріала, неустанно разработывала этотъ богатый рудникъ и добыла массу драгоцѣнныхъ обобщеній, внесшихъ въ изученіе многихъ вопросовъ совершенно новый свѣтъ. Англійскіе фольклористы, первые по счету въ этомъ блистательномъ рядѣ работниковъ, являются первыми и по достоинству своихъ работъ. Нельзя не поражаться обиліемъ ихъ сборниковъ и основательностью ихъ собирателей, какъ нельзя не восхищаться глубокомысленными и блестящими произведеніями ихъ корифеевъ науки о фольклорѣ, являющимися маяками для всего образованнаго міра. Достаточно назвать такихъ людей, какъ *Andr. Lang, Edw. Clodd, Sidney Hartland, G. L. Gomme, A. Nutt, Miss Roalf Cox*, чтобы представить такую библіотеку просвѣтительныхъ трудовъ, при видѣ которой нельзя не испытывать глубокой благодарности къ творцамъ ихъ. Роль англійскаго фольклорнаго общества въ созданіи этихъ трудовъ весьма значительна: по его порученію *Gomme* составилъ „*The Handbook of Folklore*“ и *Miss Cox* — свой сводъ сказокъ о Золушкѣ, и на его собраніяхъ держались тѣ президентскія рѣчи *Lang*'а, *Clodd*'а и др., печатающіяся въ органѣ общества „Folk-Lore“ въ Quarterly Review, которыя такъ ясно установили основное понятіе фольклора и выяснили, что дѣйствительная его пограничная черта лежитъ гораздо далѣе, чѣмъ представлялось тѣмъ, которые слишкомъ ужъ свыклись съ рутиной, или, иначе говоря, которые сами не были еще свободны отъ воздѣйствій фольклора на ихъ міросозерцаніе.

Посмотримъ теперь, какъ должно намъ представляться изученіе фольклора въ связи съ другими отраслями человѣческаго знанія, или, иначе говоря, какое положеніе занимать долженъ фольклоръ въ общей организаціи этого знанія. Ближайшую связь факты фольклора имѣютъ, какъ то и очевидно, съ фактами *этнографіи*, одинъ изъ отдѣловъ которой, и именно отдѣлъ *палеонтологическій*, они и образуютъ. Этнографія же, въ свою очередь, представляя одно изъ развѣтвленій науки объ обществѣ — *обществовѣдѣнія или соціологіи*, вдвигаетъ изученіе фольклора въ одну изъ тѣхъ обширныхъ частей научнаго познанія, связь съ которою весьма опредѣленно указываетъ на мѣсто и значеніе *палеонтологической этнографіи* въ общемъ его строѣ. Благодаря указываемой мною здѣсь связи, обобщенія науки о фольклорѣ получаютъ освѣщеніе отъ другихъ соотносительныхъ обобщеній, вливающихся въ общее русло обществовѣдѣнія и не подвергаются поэтому опасности, которая всегда угрожаетъ положеніямъ изолированнымъ, то чрезмѣрно превозносимымъ, то произ-

вольно понижаемымъ. Такимъ образомъ, на обширномъ полѣ многосложнаго, но сведеннаго къ общей связи цѣлаго, всякій отдѣльный фактъ, всякая фольклорная молекула, оцѣнивается по своему истинному достоинству, опредѣляемому ея связью съ цѣлымъ. Какъ ни мало, какъ ни ничтожно можетъ представляться абсолютное значеніе этихъ молекулъ, но стоитъ только извлечь ихъ изъ ихъ темной глубины и поставить въ освѣщенной области высшихъ обобщеній, какъ ничтожное становится важнымъ и малое — великимъ. Чтó такое, сами по себѣ взятыя, сказки типа Золушки, Андромеды или Двухъ братьевъ (Египетскихъ); а однакоже, при освѣщеніи ихъ на широкой аренѣ обществовѣдѣнія открывается нѣчто такое, что невольно заставляетъ всякаго повторить возгласъ Гамлета, обращенный къ „другу Гораціо". И, наконецъ, указываемая мною градація: наука о фольклорѣ, этнографія, соціологія, осуществляютъ для занимающей насъ теперь отрасли познанія тотъ основоначальный гносеологическій принципъ, въ силу котораго единичное должно охватываться взглядомъ, устремленнымъ на цѣлое, а взглядъ на цѣлое долженъ всегда сохранять свою связь съ изученіемъ единичнаго. На этой высотѣ наука о фольклорѣ не только избавляется отъ легко постигающей ее порчи буквоѣдствомъ, гелертерствомъ и всякою вообще манерой вести мудрёныя рѣчи о простыхъ вещахъ, но еще и проникается истинно-философскимъ характеромъ, становится дѣйствительною „наукою о мнимомъ", разъ навсегда устраняющею всѣ „мнимыя науки".

Вл. Лесевичъ.

БОЯТЬСЯ НАДО НАМЪ...

Бояться надо намъ не ужасовъ возстанья,
Не хитростей подпольной клеветы;
Бояться надо намъ постыднаго незнанья
И тягостной духовной нищеты.

Не противленья власти и законамъ,
Не пылкихъ подвиговъ должны бояться мы...
Но равнодушія къ людскимъ слезамъ и стонамъ
И отупѣнья въ царствѣ вѣчной тьмы.

Невѣжество! вотъ врагъ непобѣдимый,
Что родину лишаетъ лучшихъ силъ...
Источникъ гибели незримой
И преждевременныхъ могилъ.

Мы, на борьбу съ нимъ выступая смѣло,
Должны бояться только одного,—
Что не успѣетъ наше дѣло
Одну хоть жертву вырвать у него.

Т. Щепкина-Куперникъ.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ

О ТУРГЕНЕВѢ, КАКЪ ПОЭТѢ.

Давно уже критика, въ особенности въ лицѣ Добролюбова, поставила Тургеневу въ заслугу живое отношеніе къ современности, отраженіе въ его повѣстяхъ колебаній общественной мысли. Тотъ же знаменитый критикъ отмѣтилъ у творца *Дворянскаго гнѣзда* „прелесть поэтическихъ описаній, тонкость и глубину въ очертаніяхъ разныхъ лицъ и положеній". „Пѣвецъ чистой, идеальной женской любви, Тургеневъ такъ глубоко заглядываетъ въ юную, дѣвственную душу, такъ полно охватываетъ ее и съ такимъ вдохновеннымъ трепетомъ, съ такимъ жаромъ любви рисуетъ ея лучшія мгновенія, что намъ въ его разсказѣ такъ и чуется — и колебаніе дѣвственной груди, и тихій вздохъ, и увлекательный взглядъ, слышится каждое біеніе взволнованнаго чувства, и наше собственное сердце млѣетъ и замираетъ отъ томнаго чувства, и благодатныя слезы не разъ подступаютъ къ глазамъ, и изъ груди рвется что-то такое, какъ будто мы свидѣлись съ старымъ другомъ послѣ долгой разлуки или возвращаемся съ чужбины къ родимымъ мѣстамъ."

Поэзіей вѣетъ отъ произведеній Тургенева, начиная съ первыхъ его опытовъ и кончая предсмертными твореніями. Когда, въ 1843 году, вышла его *Параша*, Бѣлинскій отмѣтилъ необыкновенное поэтическое дарованіе автора, какъ и ту глубокую мысль, которою Тургеневъ проникалъ въ тайники русской жизни. И въ самомъ дѣлѣ, высокою поэзіей дышетъ описаніе въ этой поэмѣ и природы, и героини. Обращаясь къ послѣдней, Тургеневъ говоритъ:

„... въ тѣни густой
„Широкихъ липъ стоите вы безмолвно;
„Вздыхаете; надъ вашей головой

„Склонилась вѣтвь... а ваше сердце полно
„Мучительной и грустной тишиной.
„На васъ гляжу я: прелестью степною
„Вы дышете, — вы нашей Руси дочь...
„Вы хороши, какъ вечеръ предъ грозою,
„Какъ майская томительная ночь.“

А вотъ, изъ той же *Параши*, описаніе ночи. Она наступаетъ

„... Въ рядъ
„Вдали ложатся тучи. Ровной мглою
„Наполненъ воздухъ... Липы чуть шумятъ,
„И яблони надъ темною травою,
„Раскинувъ вѣтки, высятся и спятъ.
„Лишь изрѣдка промчится легкій трепетъ
„Въ березахъ; тамъ за рѣчкой соловей
„Поетъ себѣ, и слышенъ долгій лепетъ,
„Немолчный шопотъ дремлющихъ степей.
„И въ комнату, какъ вздохъ земли безсонной,
„Влетаетъ робко вѣтеръ благовонный —
„И манитъ въ садъ, и въ поле, и въ лѣса,
„Подъ вѣчныя, святыя небеса...“

Надсонъ писалъ: „Наше поколѣнье юности не знаетъ...“ Неуж это правда? Неужели и ближайшее къ намъ поколѣніе не испы ваетъ отъ произведеній Тургенева того волненія, которое захва вало и умиляло насъ? Прочтите слѣдующій отрывокъ изъ пис къ Андрею, изъ поэмы подъ этимъ именемъ, любимой и оставлен героемъ женщины:

„Андрей, прощайте. Дайте руку
„Не на свиданье — на разлуку.
„Судьба!... Но если въ тишинѣ
„Та дружба старая, случайно,
„Еще живетъ... и если тайно
„Хоть изрѣдка... вамъ обо мнѣ,
„О сторонѣ родной, далекой
„Приходятъ мысли... Знайте: тамъ
„Есть сердце, полное глубокой
„Печалью, преданное вамъ.
„Среди волненій жизни новой,
„Объ участи моей суровой
„Вы позабудете... Но васъ
„Я буду помнить вѣчно... вѣчно...
„И въ каждый свѣтлый, тихій часъ
„Благодарить васъ безконечно.
„Прощайте, добрый, старый другъ...
„Какое горькое мгновенье!
„Мучительно разстаться вдругъ,
„Но страшно долгое томленье...

„Отъ полноты души моей
„На жизнь обильную, святую,
„И даже... на любовь иную
„Благословляю васъ, Андрей!“

Перенесемся въ другую область. Передъ нами Михалевичъ, въ *Дворянскомъ гнѣздѣ,* въ деревнѣ у Лаврецкаго. Это — „человѣкъ высокаго роста и худой, въ затасканномъ синемъ сюртукѣ, съ морщинистымъ, но оживленнымъ лицомъ, съ растрепанными сѣдыми бакенбардами, длиннымъ прямымъ носомъ и небольшими воспаленными глазками“. И вы помните, какъ милъ и близокъ читателю становится этотъ восторженный старый московскій студентъ. „Многія изъ словъ Михалевича неотразимо вошли въ душу (Лаврецкаго), хоть онъ и спорилъ и не соглашался съ нимъ. Будь только человѣкъ добръ, — прибавляетъ Тургеневъ, — его никто отразить не можетъ“.

Кто не знаетъ удивительнаго эпилога къ *Дворянскому гнѣзду,* кто можетъ читать его безъ глубокаго волненія? Лаврецкій вышелъ въ садъ и сѣлъ на знакомой ему скамейкѣ. „И на этомъ дорогомъ мѣстѣ, передъ лицомъ того дома, гдѣ онъ въ послѣдній разъ напрасно простиралъ свои руки къ завѣтному кубку, въ которомъ кипитъ и играетъ золотое вино наслажденья — онъ, одинокій, бездомный странникъ, подъ долетавшіе до него веселые клики уже замѣнившаго его молодого поколѣнія, оглянулся на свою жизнь. Грустно стало ему на сердцѣ, но не тяжело и не прискорбно: сожалѣть ему было о чемъ, стыдиться — нечего... Играйте, веселитесь, растите, молодыя силы, думалъ онъ, и не было горечи въ его думахъ: жизнь у васъ впереди, и вамъ легче будетъ жить, вамъ не придется, какъ намъ, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о томъ, какъ бы уцѣлѣть, — и сколько изъ насъ не уцѣлѣло! — а вамъ надобно дѣло дѣлать, работать — и благословеніе нашего брата-старика будетъ съ вами“.

И куда только, въ какія положенія и страны ни переноситъ насъ чародѣй-художникъ! Въ тоскливую осеннюю ночь, когда мрачныя тучи тяжело и холодно нависли надъ землей, вы раскрываете томъ любимаго писателя и читаете такія строки: „Все небо было испещрено звѣздами; таинственно струилось съ вышины ихъ голубое, мягкое мерцанье; онѣ, казалось, съ тихимъ вниманіемъ глядѣли на далекую землю. Малыя, тонкія облака, изрѣдка налетая на луну, превращали на мгновеніе ея спокойное сіяніе въ неясный, но свѣтлый туманъ... Все дремало. Воздухъ, весь теплый, весь пахучій, даже не колыхался: онъ только изрѣдка дрожалъ, какъ дрожитъ вода, воз-

мущенная паденіемъ вѣтки. Какая-то жажда чувствовалась : немъ, какое-то млѣніе... Я нагнулся черезъ плетень: передо мн красный полевой макъ поднималъ изъ заглохшей травы свой пр мой стебелекъ; большая, круглая капля ночной росы блестѣла те нымъ блескомъ на днѣ раскрытаго цвѣтка. Все дремало, все в жилось вокругъ, все какъ-будто глядѣло вверхъ, вытянувшись, шевелясь и выжидая...“

Не правда ли, вы зачарованы этой лѣтнею ночью, вы совсѣ забыли, что на дворѣ бушуетъ осенняя непогода?

А если вы плывете по Рейну, жадно вглядываясь въ скалы зàмки по обоимъ берегамъ, не вспомните ли вы, когда увидите городку съ той и другой стороны, о бѣдной Асѣ, не послышатся вамъ звуки ляннеровскаго вальса?

А какъ описывалъ Тургеневъ русскую деревню! Въ стихотво ніи, посвященномъ памяти великаго писателя, Плещеевъ говори что Тургеневъ, живя на чужбинѣ, сердцемъ рвался въ край родн

„Его любилъ ты безконечно,
„Какъ тотъ — другъ юныхъ дней твоихъ,
„Знаменоносецъ правды вѣчной
„И мыслей сѣятель благихъ,
„Кого такъ рано смерть сразила,
„Но чья пророческая рѣчь
„Ужъ славы лучъ тебѣ сулила,
„И съ кѣмъ желалъ ты рядомъ лечь.

Да, Бѣлинскій былъ пророкомъ, но въ еще большей степе былъ имъ Тургеневъ. Его *Елена* создана художникомъ изъ ра розненныхъ въ жизни элементовъ, его Базаровъ воплотилъ въ ярко образѣ то, что смутно являлось въ дѣйствительности. По Карлейл пророкъ (прорицатель) и поэтъ — одно и то же. Истинно прекрасн такъ же отличается отъ ложно прекраснаго, какъ небо отъ п толка, и это прекрасное есть въ то же время и благое. Греція *бы* исчезъ градъ Агамемнона, но остаются *слова* великихъ люде Поэтъ — истинный герой, и въ ряду такихъ героевъ міровой истор стоитъ нашъ Тургеневъ.

Художникъ можетъ безстрастно, ярко и выпукло изобража явленія дѣйствительной жизни. Если эти явленія значительны, есл ихъ изображеніе удалось, передъ нами будетъ большой худо никъ — Эмиль Золя, напримѣръ, во многихъ своихъ произведеніях Но если отъ созданій художника на васъ вѣетъ субъективным чувствомъ и міропониманіемъ художника, если онъ творческим силами своего духа украшаетъ, истолковываетъ и природу, и чел

вѣка — передъ вами поэтъ. Онъ поднимаетъ васъ надъ дѣйствительностью, очищаетъ вашу душу и вводитъ ее въ царство идеала...

Не смѣшное ли это слово? Для меня — нѣтъ! Только идеаломъ и красна жизнь. Наука свѣтитъ, а идеалъ свѣтитъ и грѣетъ. Онъ не съ неба сваливается, воспитать его въ собственной душѣ — дѣло воли, труда и совѣсти. У насъ есть способность мысленно уменьшать или увеличивать предметы до безконечности. Возьмите не предметъ, а одно изъ качествъ человѣка, напримѣръ, мужество. Уменьшайте его размѣры — и вы дойдете, наконецъ, до трусости; возвышайте — и вы получите героя. Наша жизнь и вмѣщается между карикатурой и идеаломъ. Отчего не посмѣяться надъ карикатурой? Но не лучше ли всѣми силами ума и сердца подниматься къ идеалу?

Въ *Рудинѣ* вы читали разсказъ Лежнева о Покорскомъ. Лежневъ говоритъ: — „Описать его въ немногихъ словахъ я не въ силахъ, а начавъ говорить о немъ, уже ни о комъ другомъ говорить не захочешь. Это была высокая, чистая душа, и ума такого я уже не встрѣчалъ потомъ.“ Поэзія и правда — вотъ что влекло къ Покорскому.

Этотъ Покорскій удивительно напоминаетъ свѣтлый образъ Виссаріона Григорьевича Бѣлинскаго. Въ воспоминаніяхъ о великомъ критикѣ Тургеневъ говоритъ, что „многіе, даже между молодежью осуждали его и находили, что онъ слишкомъ смѣлъ и далеко заносится; старинный антагонизмъ Петербурга и Москвы придавалъ еще болѣе рѣзкости тому недовѣрію, съ которымъ читатели на берегахъ Невы относились къ новому московскому свѣтилу“.

Тургеневъ былъ способенъ оцѣнить безконечную красоту такого литературно-общественнаго дѣятеля, какъ Бѣлинскій, и Бѣлинскій не остался безъ вліянія на автора *Записокъ охотника*. Поэзія и правда разлиты въ произведеніяхъ Тургенева. Несмотря на философскую печаль, которою отмѣчены его мысли, у него всякій, въ комъ живо, или хоть теплится чувство прекраснаго и чувство справедливаго, найдетъ обновленіе и усладу. Вотъ описываетъ Тургеневъ семейку воробьевъ. Надъ ними кружилъ ястребъ, а они весело и бойко прыгали. „Я поглядѣлъ,— говоритъ Тургеневъ,— разсмѣялся, встряхнулся — и грустныя думы тотчасъ отлетѣли прочь: отвагу, удаль, охоту къ жизни почувствовалъ я. И пускай надо мной кружитъ *мой* ястребъ... Мы еще повоюемъ, чортъ возьми!“

Да, повоюемъ.

В. Гольцевъ.

---

* * *

Они давно уже почили,
Но живъ еще ихъ свѣтлый слѣдъ;
Хоть ихъ сердца давно остыли,
Для мысли ихъ забвенья нѣтъ.

Она вѣка перелетаетъ
И не погибнетъ безъ слѣда...
Такъ намъ съ небесъ свой свѣтъ бросаетъ
Давно угасшая звѣзда.

Евгеній Морозовъ.

ИЗЪ ПЕРЕПИСКИ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ.

ПИСЬМА

И. С. ТУРГЕНЕВА, П. В. АННЕНКОВА, ГР. А. К. ТОЛСТОГО И И. А. ГОНЧАРОВА КЪ РЕДАКТОРУ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ". (1874-й ГОДЪ).

Исполняя охотно желаніе почтенныхъ составителей „Сборника въ память В. Г. Бѣлинскаго", я избралъ изъ моей переписки съ писателями эпохи Бѣлинскаго — переписку именно 1874-го года, такъ какъ въ этомъ году издавался также сборникъ „Складчина", и сношеніе съ ними было возложено на меня, а потому этотъ сборникъ упоминается во всѣхъ письмахъ. Несмотря на пріятельскій, такъ сказать, характеръ самой переписки, при томъ отдѣленной отъ нашего времени цѣлымъ двадцатипятилѣтіемъ, она можетъ представить нѣкоторый интересъ для біографа авторовъ этихъ писемъ—даже и въ томъ случаѣ, если бы тѣ или другія подробности относились къ мелочамъ жизни такихъ лицъ, память о которыхъ далеко переживаетъ ихъ самихъ.

М. Стасюлевичъ.

Спб., 12 января 1899 г.

I.—И. С. ТУРГЕНЕВЪ.

1.

Парижъ, 48, rue de Douaï. Суббота, $^{31}/_{19}$ *янв. 74 г.*

Любезнѣйшій Михаилъ Матвѣевичъ, посылаю вамъ первыя 64 стр. Флоберовскаго романа *): всѣхъ ихъ будетъ около 300-тъ. Вы видите, вещь небольшая, но, какъ говорится, „малъ золотникъ, да дорогъ". Остальные листы будутъ послѣдовательно высылаемы мною. Пре-

*) „La tentation de St.-Antoine".—*М. С.*

дисловіе я уже началъ и тоже скоро вышлю.—Условія мои съ Флоберомъ слѣдующія: 125 франковъ за печатный листъ „Вѣстника Европы“ — и во всякомъ случаѣ — (если бы листовъ оказалось на *меньшую сумму)* — 1000 франк. — Надѣюсь, что вы одобрите эти условія, такъ какъ я и о вашихъ интересахъ порадѣлъ. (Флоберъ предоставляетъ себѣ впослѣдствіи право отдѣльнаго изданія).— Пожалуйста, чтобы переводчикъ былъ первый сортъ. Слогъ Флобера какъ изъ мрамора вырѣзанъ—не ударимъ же мы, россіяне, лицомъ въ грязь!

Я непремѣнно (не улыбайтесь!) выѣзжаю отсюда тотчасъ послѣ бракосочетанія старшей дочери г-жи Віардò, т.-е. въ началѣ марта, и, Богъ дастъ, явлюсь къ вамъ не съ пустыми руками.

Я еще успѣю провѣрить переводъ. — Пока дружески жму вамъ руку и желаю всего хорошаго. Искренно преданный Ив. Тургеневъ.

P. S. По вашему желанію не франкирую этого письма, но дайте знать о полученіи.

2.

Парижъ. Пятница, $\frac{6\ \text{февр.}}{25\ \text{янв.}}$ *74.*

Вотъ вамъ, любезнѣйшій М. М., продолженіе Флоберовскаго романа; а послѣ завтра я вамъ вышлю конецъ: всѣхъ страницъ будетъ около 300. Побаиваюсь я за нѣкоторыя мѣста; цензура (я разумѣю — собственную) будетъ необходима, и переводчикъ долженъ умненько обходить затруднительныя мѣста. Предисловіе мое вы также получите вскорѣ.

Мнѣ было прислано (на мое имя) два № „Вѣстника Европы“, за январь. Я толкую себѣ этотъ фактъ слѣдующимъ образомъ: я поручилъ моему коммиссіонеру въ Петербургѣ подписаться, а вы съ своей стороны выслали мнѣ экземпляръ. Но семейство Тургеневыхъ весьма желаетъ подписаться на „В. Е.“ и потому будьте такъ добры и распорядитесь, чтобы одинъ экземпляръ „В. Е.“ былъ впредь высылаемъ на имя M-me Albert Tourgueneff, rue de Lille, 97, — а мнѣ скажите, сколько я долженъ съ нихъ получить денегъ за подписку.— Крѣпко жму вамъ руку, и т. д.

3.

Парижъ. Понедѣльникъ, $\frac{8\ \text{февр.}}{27\ \text{янв.}}$ *74.*

Любезнѣйшій М. М., въ самый моментъ отправленія *конца* „Антонія“ получаю ваше письмо и спѣшу отвѣчать на ваши запросы.

Извѣстная *„дама“*, конечно, представляетъ нѣчто весьма угрожающее *): однако, теперь, такъ какъ вы можете обозрѣть *цѣлое*,

*) Такъ Т. называлъ, шутя, цензуру: Madame la Censure. — *М. С.*

опытность ваша можетъ подсказать вамъ — есть ли дѣйствительная опасность или нѣтъ ея? И если есть, можно ли ее обойти? Во 1-хъ, трудъ, какъ вы сами говорите, серьёзный и возноситъ въ идеальную сферу, которая уже по самому свойству своему менѣе зазорна; во 2-хъ, Флоберъ понимаетъ необходимость уступокъ и согласенъ на неизбѣжныя смягченія и сокращенія — лишь бы общій тонъ и смыслъ не пострадали. Въ 3-хъ, въ своемъ предисловіи я всячески постараюсь указать на настоящую точку зрѣнія въ этомъ дѣлѣ. — Возьмите всю новеллу и прочтите ее внимательно и въ связи; вы сами увидите, что̀ возможно. — Во всякомъ случаѣ не давайте читать постороннимъ лицамъ. — По мѣрѣ возможности скоро пришлите рѣшительный отвѣтъ. Книга явится здѣсь перваго апрѣля н. ст., слѣдовательно, вы могли бы пустить „Антонія“ даже въ апрѣльской книжкѣ, которая у насъ явится 13-го числа н. ст. — Я самъ хихикаю, когда пишу или говорю о моемъ пріѣздѣ въ Россію; а между тѣмъ, къ собственному изумленію, я по всѣмъ вѣроятностямъ отъявлюсь у васъ въ Питерѣ къ 15-му марта. — Я примусь за предисловіе, *какъ только получу вашъ отвѣтъ*. — Но сознайтесь, замѣчательнѣйшая вещь этотъ „Антоній“! — Пока дружески жму вамъ руку, и пр.

4.

Парижъ. Воскресенье, $^{22}/_{10}$ *февр. 1874.*

Я получилъ ваше письмо и пакетъ съ Флоберовскимъ романомъ, любезнѣйшій М. М.! Не могу сказать, что я слишкомъ удивился подобной развязкѣ: я зналъ, что это штука трудная — я надѣялся: авось проскочитъ! Оказалось, что не проскочила. — Жаль — а дѣлать нечего. Возвращу корректуры по принадлежности.

Нѣкоторой, хотя слабой, замѣной нашей неудачи можетъ послужить вамъ слѣдующее извѣстіе: я *окончилъ вчера* назначенную для „В. Е.“ повѣсть — сегодня примусь за переписку — и черезъ двѣ недѣли пакетъ отправится къ вамъ въ Петербургъ. — Только эта повѣсть — не тотъ большой, затѣянный мною романъ *), который рѣшительно сталъ ни *тпру*, ни *ну*, — какъ лошадь съ норовомъ: это повѣсть небольшая, въ 3 печатныхъ листа. Я убѣдился, что съ романомъ я пока не слажу — и взялся за нее. Будемъ надѣяться, что она вышла порядочная. — Вы можете несомнѣнно разсчитывать для нея въ апрѣльскую книгу „В. Е.“

Вы мнѣ не написали, что̀ я долженъ получить съ Тургеневыхъ за высылаемый экземпляръ „В. Е.“ — пожалуйста, не забудьте.

*) Впослѣдствіи оказалось, что это была „Новь“. — *М. С.*

Кстати, прошу васъ выслать мнѣ „Годъ“. А въ апрѣлѣ мы увидимся, какъ это ни кажется невѣроятнымъ! — Дружески жму вамъ руку, и проч.

5.

Парижъ. Середа, 18/6 марта 1874.

Третьяго дня, любезнѣйшій М. М., отправилъ къ вамъ мою повѣсть. — Полагаю, что она еще успѣетъ попасть въ апрѣльскій № „В. Е.“ Однако, если бы вы распорядились иначе, то покорнѣйше прошу васъ о слѣдующемъ: *немедленно велѣть, разумѣется на мой счетъ, переписать ее и прислать мнѣ эту копію сюда.* Это первое мое произведеніе, которое попадаетъ въ печать, не подвергнувшись критикѣ моихъ пріятелей, а въ особенности П. В. Анненкова, которому я всегда давалъ читать мои рукописныя вещи, и совѣты котораго были всегда чрезвычайно дѣльны и драгоцѣнны для меня. — Если „Пунину и Бабурину“ суждено явиться въ свѣтъ не раньше мая, то я успѣю еще отослать рукопись къ Анненкову въ Ниццу — и получивъ его замѣчанія, сдѣлать нужныя сокращенія, прибавленія или варіанты, которые бы я столь же поспѣшно препроводилъ вамъ, такъ чтобы вы имѣли ихъ подъ рукой за долго до напечатанія самой повѣсти. Въ то же время я попросилъ бы и васъ, съ совершенной откровенностью и безцеремонностью, сообщить мнѣ ваши собственныя замѣчанія и критики. Надѣюсь, что вы исполните мою просьбу и во всякомъ случаѣ извѣстите меня, въ какой № „В. Е.“ попадетъ моя работа — въ апрѣльскій или майскій?

Начало біографіи Бѣлинскаго въ „В. Е.“ прекрасно — скажите это отъ меня А. Н. Пыпину. Онъ несомнѣнно попалъ въ тонъ. — Будьте здоровы — дружески жму вамъ руку — я все еще не могу наступить на ногу.

6.

Парижъ. Пятница, 27/15 марта 74.

Начинаю съ извиненія, любезнѣйшій М. М., въ томъ, что причинилъ вамъ столько заботъ и хлопотъ; будемъ надѣяться, что предметъ ихъ, моя повѣсть, не окажется слишкомъ недостойной тѣхъ экстраординарныхъ мѣръ, къ которымъ вы должны были прибѣгнуть — и что продолженіе и конецъ ея произведутъ на васъ такое же впечатлѣніе, какъ и начало, которое вы прочли. — Благодарю заранѣе за лишнюю корректуру и прошу велѣть напечатать 10 отдѣльныхъ оттисковъ..... Васъ Пушкинъ не можетъ занимать болѣе, чѣмъ меня — это мой идолъ, мой учитель, мой недосягаемый образецъ — и я, какъ Стацій о Виргиліѣ, могу сказать каждому изъ

моихъ произведеній: „Vestigia semper adora". — А потому я съ великимъ нетерпѣніемъ ожидаю присылки обѣщаннаго тома. — Для меня было бы большою честью попасть въ эту библіотеку *) — и я, съ своей стороны, даю вамъ всевозможныя уполномоченія; но я полагаю, въ этомъ вопросѣ рѣшающій голосъ принадлежитъ не мнѣ, а Ѳ. И. Салаеву, московскому книгопродавцу, которому я продалъ новое изданіе моихъ сочиненій. — Надо будетъ обратиться къ нему. — Но объ этомъ мы еще успѣемъ поговорить при личномъ свиданіи, ибо, что ни говорите, и какъ моя „катковка" меня ни мучай — это свиданіе состоится и не позже, какъ въ концѣ апрѣля. — А до тѣхъ поръ, будьте здоровы — вы и вашъ журналъ — не попадайте въ зубы ни болѣзни, ни... ни чему прочему. — Дружески жму вамъ руку и пр.

P. S. Кстати о Пушкинѣ: что это за омерзительная статья въ „Русскомъ Вѣстникѣ" г-на А. объ Анненковскомъ этюдѣ? — Это перебулгарило Булгарина, перекатковило Каткова, outherods Herod! — Г-нъ А. напоминаетъ мнѣ изреченіе Ривароля: „Il fait tache sur la boue".

7.

Парижъ. Суббота, $\frac{4\ апр.}{23\ марта}$ *74.*

Любезнѣйшій М. М., не можете ли вы мнѣ прислать одинъ или два экземпляра „Пунина и Бабурина" — до появленія апрѣльской книжки, т.-е. какъ только листы будутъ отпечатаны? Если это возможно, вы бы очень меня обязали. — Завтра я вамъ пошлю нѣсколько строкъ о Флоберовской „La tentation de St.-Antoine", которая появилась здѣсь и возбуждаетъ нѣчто въ родѣ негодованія. Если еще будетъ время, помѣстите эти строки гдѣ-нибудь въ концѣ „В. Е."

Засимъ желаю вамъ всего хорошаго, жму вамъ руку — и: *до свиданія!*

8.

Парижъ. Середа, $\frac{8\ апр.}{27\ марта}$ *74.*

Любезнѣйшій М. М., я получилъ ваше письмо и радуюсь, что мои чудаки вамъ понравились. — Посмотримъ, что скажетъ публика. — Кстати, о „Живыхъ мощахъ". — Дайте, пожалуйста, знать г.г. издателямъ, что мнѣ было бы весьма пріятно получить здѣсь экземпляръ „Складчины", которая, по журнальнымъ объявленіямъ, должна выйти завтра.

Съ Флоберомъ у насъ неудача. Я, какъ обѣщалъ вамъ, написалъ

*) I-й томъ „Русской Библіотеки" состоялъ изъ выбранныхъ произведеній Пушкина. Выборъ изъ произведеній Тургенева составилъ 6-й томъ.

маленькую статейку о немъ — положилъ ее въ кувертъ, запечаталъ — и къ удивленію моему, нашелъ ее сегодня на моемъ столѣ. Посылать ее теперь нѣтъ смысла. Постараюсь написать что-нибудь побольше и по серьёзнѣе для майской книжки.

Деньги вы мнѣ не высылайте, а *вручите мнѣ ихъ по пріѣздѣ* въ Петербургъ. — Такъ-то, батюшка, совершаются на свѣтѣ вещи неслыханныя: дурачокъ Брольи управляетъ Франціей, а я въ концѣ апрѣля отъявлюсь въ Петербургъ. Послѣ этого — что̀ есть невозможнаго, спрашиваю? — До свиданія!

9.

Парижъ. Понедѣльникъ, $^{1}/_{13}$ *апр. 74.*

Вчера получилъ я оттискъ „Пунина и Бабурина", любезнѣйшій М. М., за что приношу вамъ мою благодарность. Опечатокъ нашелъ я всего двѣ, и то не важныхъ; но все-таки прошу васъ упомянуть о нихъ въ майской книжкѣ.—Вотъ онѣ:

Стр.	Строка.	Напечатано:	Читай:
566	19 снизу	извиняюсь	изъясняюсь
586	5 сверху	ясно	явно.

Остается выжидать, что скажутъ читатели?

....Дружески жму вамъ руку—и до свиданія въ *первыхъ числахъ мая* или послѣднихъ апрѣля.

P. S. Вы были такъ любезны и распорядились на счетъ „Складчины"? Даровыхъ экземпляровъ никому не даютъ (и совершенно справедливо), а потому прошу васъ заплатить

10.

Парижъ. Четвергъ, $^{16}/_{4}$ *апр. 74.*

Любезнѣйшій М. М., я получилъ вчера № „Вѣстника" и успѣлъ уже прочесть продолженіе статьи о Бѣлинскомъ и весьма интересную комедію (В. А.) Крылова *). „А. С. Пушкина" я давно получилъ и прочелъ — я полагалъ, что извѣстилъ васъ объ этомъ. Я съ удовольствіемъ увидалъ свое имя напечатанное на оберткѣ. Изданіе отличное; но (безъ: но, нельзя!) зачѣмъ въ стихотвореніи „З Сосны" помѣстили конецъ, откинутый самимъ Пушкинымъ и портящій впечатлѣніе этой дивной вещи? Надо было остановиться на полу-стихѣ:

„И обо мнѣ вспомянетъ...."

Впрочемъ, это не мѣшаетъ изданію быть образцовымъ **). Жду „Складчину", говорятъ — успѣхъ она получила небывалый. Здѣсь

*) „Земцы" комедія. *М. С.*

**) Дѣло идетъ о первомъ томѣ „Русской Библіотеки".

мои „Мощи“ появились въ фельетонѣ „Temps“, и вы не можете себѣ представить, какіе я получаю комплименты—такъ что даже недоумѣніе беретъ. Письмо отъ Ж.-Зандъ, отъ Тэна и т. д. изъ-за такой бездѣлки.—Странно, но пріятно.

До скораго свиданія; а пока дружески жму вамъ руку, и пр.

P. S. Черезъ 5, 6 дней вы получите статейку о Флоберѣ.

11.

Парижъ. Воскресенье, $\frac{10\ мая}{28\ апр.}$ 74.

Любезнѣйшій М. М., ваше письмо меня *почти* убѣдило; во всякомъ случаѣ отлагаю всякое мѣропріятіе до моего пріѣзда въ Петербургъ. Пишу вамъ наканунѣ моего отъѣзда — завтра вечеромъ я сажусь въ вагонъ и маршъ! Мнѣ придется остановиться два дня въ Баденѣ и одинъ день въ Берлинѣ, но все-таки - если со мной ничего не произойдетъ — я прибуду въ Петербургъ дней за 10 до вашего отъѣзда оттуда и уже, конечно, немедленно васъ увижу. Я остановлюсь въ гостиницѣ Демута. А потому до скорого свиданія.

P. S. Н. Н. Тютчевъ собирается уѣхать за границу—быть можетъ, я его не застану — можете вы быть такъ любезны и уплатить ему должные ему мною 73 рубля 32 коп. Потомъ мы съ вами разсчитаемся. „Складчину“ и экземпляръ „П. и Б.“— получилъ аккуратно и благодарю.

12.

Баденъ-Баденъ, Hotel d'Angleterre. Четвергъ, $^{14}/_{2}$ мая 1874.

Третьяго дня я выѣхалъ изъ Парижа, любезнѣйшій М. М., завтра выѣзжаю отсюда въ Берлинъ, изъ Берлина выѣзжаю въ воскресенье вечеромъ и, слѣд., если ничего не произойдетъ фатальнаго, во вторникъ $^{19}/_{7}$ мая я въ Питерѣ и, если угодно, обѣдаю у васъ или съ вами въ середу. На этотъ разъ дѣло, кажется, стоитъ твердо. А теперь кланяюсь низко и прошу о слѣдующемъ одолженіи: заѣзжайте по пути въ гостиницу Демута и закажите мнѣ, начиная со вторника двѣ порядочныя комнаты. Очень вы бы меня этимъ одолжили. А засимъ до скораго свиданія.

13.

Парижъ, 50, rue de Douaï. Понедѣльникъ, $^{16}/_{4}$ ноября 74.

Вчера, любезнѣйшій М. М., я вамъ отправилъ отвѣтную телеграмму; а вчера вечеромъ получилъ отъ Шарпантье прилагаемое письмо, изъ котораго вы увидите, что вамъ можно успокоиться, и корректурные листы не опоздаютъ.

Я до сихъ поръ не получилъ октябрьской книжки „В. Е.“ При

маленькую статейку о немъ — положилъ ее въ кувертъ, запечаталъ — и къ удивленію моему, нашелъ ее сегодня на моемъ столѣ. Посылать ее теперь нѣтъ смысла. Постараюсь написать что-нибудь побольше и по серьёзнѣе для майской книжки.

Деньги вы мнѣ не высылайте, а *вручите мнѣ ихъ по пріѣздѣ* въ Петербургъ. — Такъ-то, батюшка, совершаются на свѣтѣ вещи неслыханныя: дурачокъ Брольи управляетъ Франціей, а я въ концѣ апрѣля отъявлюсь въ Петербургъ. Послѣ этого — что̀ есть невозможнаго, спрашиваю? — До свиданія!

9.

Парижъ. Понедѣльникъ, $^{1}/_{13}$ *апр. 74.*

Вчера получилъ я оттискъ „Пунина и Бабурина", любезнѣйшій М. М., за что приношу вамъ мою благодарность. Опечатокъ нашелъ я всего двѣ, и то не важныхъ; но все-таки прошу васъ упомянуть о нихъ въ майской книжкѣ.—Вотъ онѣ:

Стр.	Строка.	Напечатано:	Читай:
566	19 снизу	извиняюсь	изъясняюсь
586	5 сверху	ясно	явно.

Остается выжидать, что скажутъ читатели?

....Дружески жму вамъ руку—и до свиданія въ *первыхъ числахъ мая* или послѣднихъ апрѣля.

P. S. Вы были такъ любезны и распорядились на счетъ „Складчины"? Даровыхъ экземпляровъ никому не даютъ (и совершенно справедливо), а потому прошу васъ заплатить

10.

Парижъ. Четвергъ, $^{16}/_{4}$ *апр. 74.*

Любезнѣйшій М. М., я получилъ вчера № „Вѣстника" и успѣлъ уже прочесть продолженіе статьи о Бѣлинскомъ и весьма интересную комедію (В. А.) Крылова *). „А. С. Пушкина" я давно получилъ и прочелъ — я полагалъ, что извѣстилъ васъ объ этомъ. Я съ удовольствіемъ увидалъ свое имя напечатанное на оберткѣ. Изданіе отличное; но (безъ: но, нельзя!) зачѣмъ въ стихотвореніи „З Сосны" помѣстили конецъ, откинутый самимъ Пушкинымъ и портящій впечатлѣніе этой дивной вещи? Надо было остановиться на полу-стихѣ:

„И обо мнѣ вспомянетъ...."

Впрочемъ, это не мѣшаетъ изданію быть образцовымъ **). Жду „Складчину", говорятъ — успѣхъ она получила небывалый. Здѣсь

*) „Земцы" комедія. *М. С.*

**) Дѣло идетъ о первомъ томѣ „Русской Библіотеки".

мои „Мощи“ появились въ фельетонѣ „Temps“, и вы не можете себѣ представить, какіе я получаю комплименты—такъ что даже недоумѣніе беретъ. Письмо отъ Ж.-Зандъ, отъ Тэна и т. д. изъ-за такой бездѣлки.—Странно, но пріятно.

До скораго свиданія; а пока дружески жму вамъ руку, и пр.

P. S. Черезъ 5, 6 дней вы получите статейку о Флоберѣ.

11.

Парижъ. Воскресенье, $\frac{10\ мая}{28\ апр.}$ 74.

Любезнѣйшій М. М., ваше письмо меня *почти* убѣдило; во всякомъ случаѣ отлагаю всякое мѣропріятіе до моего пріѣзда въ Петербургъ. Пишу вамъ наканунѣ моего отъѣзда — завтра вечеромъ я сажусь въ вагонъ и маршъ! Мнѣ придется остановиться два дня въ Баденѣ и одинъ день въ Берлинѣ, но все-таки - если со мной ничего не произойдетъ — я прибуду въ Петербургъ дней за 10 до вашего отъѣзда оттуда и уже, конечно, немедленно васъ увижу. Я остановлюсь въ гостиницѣ Демута. А потому до скорого свиданія.

P. S. Н. Н. Тютчевъ собирается уѣхать за границу—быть можетъ, я его не застану — можете вы быть такъ любезны и уплатить ему должные ему мною 73 рубля 32 коп. Потомъ мы съ вами разсчитаемся. „Складчину“ и экземпляръ „П. и Б.“—получилъ аккуратно и благодарю.

12.

Баденъ-Баденъ, Hotel d'Angleterre. Четвергъ, $^{14}/_{2}$ мая 1874.

Третьяго дня я выѣхалъ изъ Парижа, любезнѣйшій М. М., завтра выѣзжаю отсюда въ Берлинъ, изъ Берлина выѣзжаю въ воскресенье вечеромъ и, слѣд., если ничего не произойдетъ фатальнаго, во вторникъ $^{19}/_{7}$ мая я въ Питерѣ и, если угодно, обѣдаю у васъ или съ вами въ середу. На этотъ разъ дѣло, кажется, стоитъ твердо. А теперь кланяюсь низко и прошу о слѣдующемъ одолженіи: заѣзжайте по пути въ гостиницу Демута и закажите мнѣ, начиная со вторника двѣ порядочныя комнаты. Очень вы бы меня этимъ одолжили. А засимъ до скораго свиданія.

13.

Парижъ, 50, rue de Douaï. Понедѣльникъ, $^{16}/_{4}$ ноября 74.

Вчера, любезнѣйшій М. М., я вамъ отправилъ отвѣтную телеграмму; а вчера вечеромъ получилъ отъ Шарпантье прилагаемое письмо, изъ котораго вы увидите, что вамъ можно успокоиться, и корректурные листы не опоздаютъ.

Я до сихъ поръ не получилъ октябрьской книжки „В. Е.“ При

извѣстной, можно сказать, классической вашей аккуратности, никакого нѣтъ сомнѣнія, что редакція „В. Е.“ тутъ не при чемъ: не было ли какой задержки на почтѣ? Передайте вашей супругѣ мой усердный поклонъ и сожалѣніе, что мнѣ не удалось увидать ее въ Питерѣ. — Не мытьемъ, такъ катаньемъ: вотъ 3-я недѣля какъ меня терзаетъ гриппъ, явившійся на смѣну „катковкѣ“. Впрочемъ, и онъ, кажется, теперь начинаетъ проходить. Крѣпко жму вамъ руку и пр.

14.

Парижъ. Воскресенье, $^{29}/_{17}$ *ноября 74.*

Любезнѣйшій М. М., сейчасъ получилъ ваше замшевое письмо съ 150 р. сер. и сегодня же дамъ знать объ этомъ Шарпантье. Оказывается, что въ Парижѣ выгоднѣе мѣняютъ наши рубли, чѣмъ въ Петербургѣ: здѣсь даютъ 3 ф. 44 сант.—Засимъ, и пр.

P. S. Октябрьскій № „Вѣстника Европы“ получилъ и очень благодарю.

15.

Парижъ. Середа, $\frac{9\ дек.}{28\ ноября.}$ *74.*

Любезнѣйшій М. М., посылаю вамъ, ради порядка, росписку Шарпантье. Вы видите, что промѣнъ въ Парижѣ полутораста рублей оказался на $6^1/_2$ фр. выгоднѣе, чѣмъ въ Петербургѣ.—Надѣюсь, что у васъ теперь переводное дѣло кипитъ, что вы довольны романомъ Золя *), что..... а главное, что вы здоровы и бодры.

16.

Парижъ. Вторникъ, $\frac{5\ янв.\ 75}{24\ дек.\ 74.}$

Любезнѣйшій М. М., посылаю вамъ росписку Шарпантье въ полученіи второй половины слѣдуемой суммы за романъ Золя. Сообщаемыя вами извѣстія невеселаго свойства. Узнаю тутъ руку нашего Московскаго друга. Поистинѣ, не будешь знать, что читать. Надѣюсь, что ваше предисловьеце отвратитъ отъ романа Золя всякое дурное наитіе. Ожидаю съ нетерпѣніемъ перваго тома „Вѣстника Европы“.—Здоровье мое поправилось и я начинаю... помышлять о работѣ. Желаю вамъ всего хорошаго на новый годъ.

17.

Парижъ. Понедѣльникъ, $^{18}/_{6}$ *янв. 75.*

Любезнѣйшій М. М., съ обычною, неизмѣнною аккуратностью явился вчера № 1 „Вѣстника“. Я успѣлъ только пробѣжать предисловіе и

*) „Проступокъ аббата Мурэ“.

первыя страницы романа Золя—и могъ убѣдиться въ доброкачественности перевода.—Имѣю къ вамъ слѣдующую просьбу: распорядитесь высылкой другаго экземпляра „Вѣстника Европы“ по слѣдующему адресу: Chabry, Paris, 100, rue Monge. Тутъ устроивается небольшая Русская читальня—и я хочу имъ поднести „В. Е.“ въ даръ. Мы съ вами сочтемся, ибо вы, вѣроятно, въ скоромъ времени получите отъ меня небольшую вещь—(для мартовской книжки). Большая пока не подвигается.

Еще мнѣ приходятъ двѣ мысли въ голову: отчего вамъ не завербовать „Незнакомца“ (Суворина) въ „В. Е.“? Можно бы печатать его 4 недѣльные фельетона за одинъ разъ — и этимъ бы все-таки передавалось, какъ говоритъ Шекспиръ: the body and pressure of the time. Другая мысль: не хотите ли вы получать отъ Золя „Парижское обозрѣніе“ (безъ его подписи). Онъ сдѣлаетъ это умно и дѣльно Правда, у васъ есть уже Парижскій корреспондентъ*); но Золя могъ бы обращать вниманіе преимущественно на литературныя, художественныя, соціальныя явленія. Если эта мысль вамъ „улыбается“— дайте мнѣ знать и какую вы бы полагали положить цѣну?

II. — П. В. АННЕНКОВЪ.

Nice, 2 апр. н. ст. 1874 г.

Многоуважаемый М. М., я получилъ всѣ ваши посылки, изъ которыхъ одну — оттиски моей статьи сегодня же возвращаю вамъ (sous bande) съ немногими, но, кажется, нужными поправками, прося принять ихъ въ соображеніе при печатаніи отдѣльной брошюры. .....Что касается до статьи „Русскаго Вѣстника“ о вашемъ покорнѣйшемъ слугѣ, то она въ своемъ родѣ есть chef-d'oeuvre. Вотъ куда забрелъ поганый консерватизмъ нашъ, совершенно однородный съ сумасброднымъ нигилизмомъ самаго послѣдняго сорта. И при томъ и при другомъ нѣтъ возможности существовать никакому труду, изслѣдованію, слову науки или правды. Да, Господь съ нимъ! Пускай себѣ развивается: можетъ быть, люди и увидятъ, когда послѣ А. явится еще сильнѣйшій представитель теоріи наговоровъ и наушничествъ, что пора — можетъ статься — и остановиться на этомъ пути.

Примите благодарность за оттиски. переданные Н. Н. Тютчеву. Я

---

*) Главный редакторъ газеты „Temps“—Нефтцеръ. *М. С.*

собирался прописывать вамъ еще благодарность и за нѣкоторыя статьи „В. Е.“, какъ напр., за февральское Внутреннее Обозрѣніе, за статьи Пыпина и Кавелина въ мартѣ и проч., но подумалъ, что этому наконецъ и конца не будетъ и вы изнеможете подъ бременемъ цвѣтовъ и вѣнковъ, а потому и удержалъ въ себѣ готовившіяся изліянія. Предоставляю себѣ, однакоже, право выложить таковыя, если будутъ, по поводу повѣсти Тургенева, которую ожидаю на-дняхъ.

Я пробуду здѣсь до 1-го мая н. ст. и надѣюсь еще получить отъ васъ извѣстіе о литературныхъ дѣлахъ и похожденіяхъ современной печати. Затѣмъ уже пущусь маленькими переходами на сѣверъ, въ Баденъ, гдѣ и поселюсь на лѣто, лелѣя предположеніе свершать оттуда всѣ тѣ экскурсіи по сторонамъ, какія потребуются появленіемъ пріятелей на разныхъ пунктахъ Европейскаго горизонта. Не будете ли и вы въ числѣ ихъ, то-есть не пунктовъ, а пріятелей. То-то бы хорошо было. Прощайте, другъ; крѣпко жму вамъ руку. Бѣдному нашему гр. Алек. Толстому то лучше, то хуже,— но лучше— такъ въ слабой степени, а хуже — такъ въ страшной и ужасающей. Страданія невыносимыя. Что съ нимъ будетъ?

2.

Баденъ-Баденъ. $^{13}/_{1}$ *сентября 1874.*

Черезъ часъ послѣ полученія вашего петерб. письма, отвѣчаю на него и съ приложеніемъ моего заявленія. Вообразите, что̀ я сдѣлалъ по дѣтской моей неопытности. При отъѣздѣ изъ Петербурга, я поручилъ одному моему знакомому продать старую мою мебель, предварительно вычинивъ оную и презукрасивъ лачкомъ и политурой, что онъ, съ помощію Божіей, и совершаетъ аккуратно, высылая мнѣ деньги отъ продажи, по мѣрѣ накопленія ихъ. На-дняхъ получилъ отъ него извѣстіе, что онъ долженъ прекратить всю эту операцію, ибо имѣетъ поводъ думать, что съ него потребуютъ за нее патентъ на право торговли. Не знаю, что и дѣлать: думаю обратиться за совѣтомъ къ Спасовичу или даже и къ Серебряному.

Вотъ бы хорошо было встрѣтиться съ вами въ Парижѣ, но, во всякомъ случаѣ, сообщите мнѣ будущій адресъ вашей супруги въ этомъ городѣ, а ей напишите, чтобы не отогнала меня отъ своего порога, когда я явлюсь на немъ.

Мнѣ еще много жить остается въ Баденѣ, до 15 октября *н. с.* Стало быть, нечего торопиться вамъ ни съ какими сообщеніями, а я вышлю вамъ мой парижскій адресъ тотчасъ, какъ тамъ расположусь.

Раненый генералъ при Вёртѣ доѣхалъ благополучно въ спаль-

номъ вагонѣ до Буживаля и уже завтракалъ въ Парижѣ съ Арапетовымъ и бесѣдовалъ съ Писемскимъ, конечно, уже поѣвши. Онъ мнѣ оказываетъ громадную услугу — ищетъ для моей семьи зимняго гнѣзда.

Послѣ отъѣзда Тургенева я успѣлъ сдѣлать еще при хорошей погодѣ прогулку, съ семьей, по Рейну до Кёльна, и въ Кобленцѣ наткнулся на народный праздникъ по случаю годовщины Седана. Боже! Сколько пѣсенъ, сколько шкаликовъ по Рейну, сколько ракетъ и выстрѣловъ съ Эренбрейтштейна, но ни мачтъ, обмазанныхъ мыломъ, ни, особенно, опрокидывающихся бочекъ съ водой на гимнастовъ, подъ ними проѣзжающихъ, не было *). А безъ этого какой же это народный праздникъ? Жму вамъ крѣпко руку, другъ, и пр.

3.

Baden. 16 сентября н. с.

Третьяго дня получилъ я, добрѣйшій М. М., щегольски напечатанную брошюру съ заглавіемъ „А. С. Пушкинъ, П. Анненкова“ и благодарю васъ за это типографское произведеніе, дѣйствительно замѣчательное по своему наружному виду. Еще одну услугу требую отъ васъ — если брошюра пущена въ ходъ, то передайте одинъ экземпляръ ея другу, весьма сочувствующему и ея внутреннему содержанію, именно К. Д. Кавелину, да препроводите два экземпляра брату моему, Ивану Вас. Анненкову, по адресу: въ Зимній дворецъ, на комендантскомъ подъѣздѣ“. Все остальное я поручаю Н. Н. Тютчеву, который не замедлитъ явиться въ Петербургъ.

Великое затишье въ Европѣ не даетъ никакой возможности бесѣдовать о новостяхъ. Кромѣ сплетенъ, достаточно хорошо подбираемыхъ корреспондентомъ „Петербургскихъ Вѣдомостей“ и другимъ въ томъ же родѣ, рѣшительно нѣтъ ничего.

Два конгресса, совершенно различные по тенденціямъ, но схожіе по безплодности — отщепенцевъ Интернаціоналя въ Брюсселѣ и старо-католиковъ въ Фрейбургѣ — прошли незамѣченными. Первый, между прочимъ, рѣшилъ воспретить приверженцамъ участіе въ политической жизни государствъ, а второй призналъ непогрѣшимость Римской Куріи во всемъ, кромѣ непогрѣшимости папской. Ну, и прекрасно. Шумъ большой, дѣла никакого, всѣ довольны, garçon, une bouteille!

Поклонитесь отъ меня А. Н. Пыпину и скажите, что я жду отъ него извѣстій, да и отъ васъ, другъ, тоже. Не оставьте меня сиро-

*) Все это обыкновенно дѣлалось на петерб. народныхъ гуляньяхъ.

той. Кстати — о комъ это трактуется въ „Рус. Вѣстникѣ“ подъ заглавіемъ: „По поводу одной литературной репутаціи“. Журналецъ этотъ рѣдкость здѣсь. А до тѣхъ поръ возобновляю мою благодарность за изданіе, лучше котораго и придумать ничего нельзя на Руси, и крѣпко жму вамъ руку.

4.

19 сентября н. с. Баденъ-Баденъ.

Вотъ и опять приходится отвѣчать вамъ, добрѣйшій М. М., на дурныя извѣстія, которыми, съ нѣкоторыхъ поръ, вы особенно богаты. Итакъ, вамъ пришлось выдержать травлю и оставить нѣсколько клочковъ своей шубы на аренѣ. Оно и понятно. Осень, время охотничье по всей Европѣ, а вы — красный звѣрь, въ хорошемъ смыслѣ слова и должны были ожидать, что рано или поздно, за дѣло или бездѣлье, за кротость или за ярость, а погоня будетъ учинена за вами. Безъ того — какая же выгода и какое же удовольствіе считаться охотникомъ? — Надо же войти и въ его положеніе. Виртуозность въ переходахъ, по нуждѣ, изъ строгаго и серьёзнаго тона въ скучный или игривый дѣйствительно развита и замѣчается у насъ въ высокой степени, но что она значитъ передъ виртуозностью и выдержкой людей съ похвальными традиціонными началами и съ твердымъ образомъ мыслей! На-дняхъ прочелъ я въ газетахъ, что при закрытіи Петерб. Управы Благочинія оказалось въ ней 80.000 нерѣшенныхъ дѣлъ, на 35 милліоновъ векселей, не пущенныхъ въ ходъ, на 2 милліона рублей частныхъ капиталовъ, которыхъ уже и возвратить по принадлежности нельзя, за утерей именъ и адресовъ. Ничего болѣе поразительнаго я и не читалъ. Вотъ виртуозность, а то что! — шалость!

Съ другой стороны, я и доволенъ, что „В. Европы“ опоздалъ двумя-тремя днями. Господи Боже — что это такое было доселѣ? Человѣкъ держитъ свои обѣщанія! Человѣкъ хочетъ быть вѣренъ разъ данному слову! Человѣкъ соглашается съ нелѣпою мыслію, что у него есть обязанности передъ публикой и затѣялъ выдѣлиться изъ общаго разгильдяйства и шаганья черезъ пень-колоду! Воля ваша — тутъ было нѣчто оскорбительное для русской публики и скрывалось тайное осужденіе и косвенная оппозиція установившимся обычаямъ. Должно быть благодарнымъ передъ тѣми, которые положили предѣлъ таковой заносчивости редакціи и заставили ее, хотя на нѣкоторое время, походить на всѣхъ. Вотъ вамъ моя элегія по поводу запоздалой книжки „В. Е.“

У насъ хорошая, свѣтлая, свѣжетеплая погода. Все же осталь-

ное, кромѣ еще чудныхъ горъ и зелени, не стòитъ никакого вниманія. Ни поучительной книжки, ни занимательной вѣсти. Правда, что все на свѣтѣ релятивно. Со стороны и съ дальняго голоса краснорѣчивыхъ репортеровъ многое можетъ казаться важнымъ, чтò на мѣстѣ и въ колеѣ обыденной жизни кажется будничнымъ дѣломъ...

5.

Баденъ. $^{24}/_{12}$ сентября 1874.

Какъ на ладони, добрѣйшій М. М., выложили вы передо мной весь разсчетъ по изданію „Пушкина", но, кажется, вы забыли посчитать извѣстный процентъ, который слѣдуетъ типографіи, за наличную, одновременную ея издержку въ 860 руб., имѣющую покрыться только съ теченіемъ времени и требующую поэтому вознагражденія за это потерянное время. Ни людямъ, ни деньгамъ не позволяется быть безплодными, развѣ уже первые — въ большихъ чинахъ находятся. Подумайте объ этомъ непремѣнно, а затѣмъ уже позволяю себѣ назвать васъ „идеальнымъ" издателемъ и, какъ таковому, вознести благодарственный гимнъ, слова котораго будутъ открыты моимъ знакомымъ и приближеннымъ — съ приглашеніемъ ихъ въ хоръ!

Возобновляя традиціи графа Хвостова, я намѣренъ сдѣлаться первымъ покупателемъ новой брошюры. Вы уже передали теперь 3 экземпляра ея, а по пріѣздѣ въ Петербургъ Н. Н. Тютчева перешлите ему 50 экз. для распредѣленія ихъ по листу, который я ему изготовляю. Ради Бога, прикажите вести имъ счетъ, ибо въ Парижѣ, вѣроятно, потребуется новая высылка сего товара. Даже и здѣсь уже пристаютъ съ вопросомъ: нельзя ли?... Русскіе чтецы все еще обурѣваемы любопытствомъ знать, какъ это господинъ, который каждый день гуляетъ въ сѣрой шляпѣ по аллеѣ Лихтенталя, — книгу сочинилъ!...

Въ Парижѣ я буду черезъ двѣ недѣли, отыщу вашу жену - путешественницу и оттуда сдѣлаю уже распоряженіе о передачѣ вамъ цѣликомъ всѣхъ моихъ прошлыхъ литературныхъ грѣховъ, теперь уже собранныхъ. Сдѣлайте между ними сами выборъ для печатанія, какъ мы говорили, а если ничего не найдется, выдерживающаго опасный опытъ съ типографскимъ станкомъ, то еще лучше. Пускай ихъ остаются такъ, какъ есть, и составятъ потомъ предметъ изысканій для біографовъ, ищущихъ литературныхъ рѣдкостей или чудовищностей.

Съ какимъ нетерпѣніемъ буду ожидать дальнѣйшей біографіи Бѣлинскаго. Вы пишете, что Бѣл. въ письмахъ неизмѣримо выше

Бѣлинскаго въ печати, но Бѣл. въ разговорахъ—ораторъ и трибунъ—еще выше былъ и писемъ своихъ. Боже! вспоминаю его молніеносные порывы, освѣщавшіе далекіе горизонты, его чувство всѣхъ болѣзней своего времени и всѣхъ его нелѣпыхъ проявленій, его энергическое, мѣткое, ляпидарное слово. Ничего подобнаго я уже не встрѣчалъ потомъ, а жилъ много и видѣлъ многихъ.

Прощайте, другъ. Будемъ довольствоваться живыми, которыхъ тоже, не во гнѣвъ сказать статистикѣ и „Году", издающемуся при „Вѣст. Европы", тоже не очень большое количество.

6.

Баденъ - Баденъ. 14 сентября н. с.

Только одно слово, добрѣйшій М. М. По измѣнившемуся моему адресу въ Баденѣ..... вы легко догадаетесь, что и всѣ мои намѣренія измѣнились вмѣстѣ съ нимъ. Я остаюсь на зиму съ семьей здѣсь, вмѣсто отъѣзда въ Парижъ, гдѣ, конечно, послѣдняя не нашла бы ни того простора, удобства и тепла, какіе я отыскалъ здѣсь для нея въ формѣ прекрасной квартиры съ садомъ, печами, коврами и пр. А насчетъ удовольствій и разсѣяній, то это дѣло всегда касалось болѣе pater familias'а, чѣмъ ихъ самихъ; а послѣдній, по близости Парижа, разсчитываетъ не уронить ни капельки изъ особенно великихъ его приманокъ, но наслаждаться ими будетъ уже въ одиночку, что, говорятъ, увеличиваетъ наслажденіе. Теперь мнѣ нужно знать — будете ли вы или нѣтъ въ Парижѣ, когда или никогда — не оставьте увѣдомленіемъ, по коему стану и собственную мою персону направлять. Вмѣстѣ съ тѣмъ прошу передать 30 экземпляровъ брошюры о Пушкинѣ Н. Н. Тютчеву и довершить благодѣяніе, переславъ одинъ экземпляръ ея прямо Тургеневу въ Парижъ. Я получилъ письмо отъ А. Н. Пыпина, на которое буду отвѣчать уже по прочтеніи его новой статьи о Бѣл., которой еще здѣсь нѣтъ. Желательно думать, что съ новой книжкой „Вѣст. Европы" у васъ не было уже хлопотъ. Впрочемъ, мы всѣ остаемся благополучны по случаю свѣжей, но удивительно свѣтлой и тихой погоды. Я завелъ себѣ деревню въ формѣ Бадена, которой и гр. Орловъ можетъ позавидовать...

7.

Баденъ-Баденъ. 24 октября н. с. 1874.

Исполать вамъ, добрѣйшій М. М., сколько предпріятій ведете вы фрунтомъ. Я получилъ книжку о Гоголѣ и письмо ваше при ней.

Краткая біографія Гоголя есть вещь замѣчательно ловкая и вотъ въ какомъ смыслѣ. Написать краткую біографію Гоголя, казалось мнѣ, труднѣе, чѣмъ написать подробную, и я ожидалъ найти въ вашей статьѣ сборъ фактовъ и чиселъ съ приглашеніемъ читателя понимать и группировать ихъ, какъ самъ знаетъ. Однакожъ, оказалось, что въ статьѣ есть основная мысль и коренной мотивъ, къ которымъ всѣ факты и сводятся, такъ что читатель освобождается отъ задачи шарить въ своемъ умѣ разгадки дѣла. А изъ этого выходитъ, что уже и будущая просторная біографія Гоголя не пройдетъ безъ вниманія передъ сей краткой и должна будетъ на ней остановиться — волей или неволей. Это я и называю замѣчательной ловкостію. Конечно, спорныхъ вопросовъ еще остается не мало, хоть напримѣръ тотъ, дѣйствительно ли въ первый, молодой періодъ жизни Гоголь отпирается тѣмъ ключомъ, который вы даете, т.-е. разладицей между талантомъ и мистическимъ (лирическимъ по скромному вашему выраженію) строемъ своей мысли. Я все держусь—и не безъ причины—того мнѣнія, что въ первую пору своего развитія Гоголь былъ совсѣмъ свободнымъ человѣкомъ, чрезвычайно искусно пробивавшимъ себѣ дорогу, а то, что кажется въ немъ порывами въ иной міръ, чѣмъ дѣйствительный, должно считать не болѣе, какъ маленькимъ невиннымъ плутовствомъ, отводившимъ глаза и потѣшавшимъ людей, иначе настроенныхъ, чѣмъ онъ. Лирическимъ субъектомъ онъ сдѣлался вполнѣ только тогда, когда успѣхи его внушили ему идею объ особенномъ его призваніи на Руси, не просто литературномъ, а реформаторскомъ. Тогда онъ и заговорилъ съ друзьями языкомъ ветхозавѣтнаго пророка, тогда и явилась разладица между талантомъ и умственнымъ настроеніемъ, которая и свела его въ могилу. Но будетъ, простите болтовнѣ, конечно, все-таки не разрѣшающей самаго вопроса. Она только годна на то, чтобы не оставить сомнѣнія въ существованіи вопроса.

Я устроился отлично. Такой зимней кибитки еще и не было у меня, да я и радъ, что могу проживать въ Парижѣ, не живя въ немъ. Къ моему благополучію недостаетъ только „Вѣст. Европы“, но съ 1-го января 1875 года уже буду просить о снабженіи меня онымъ. Я стою, разинувъ ротъ, передъ извѣстіемъ, что книжка о Пушкинѣ идетъ довольно шибко. Мнѣ это даже нѣсколько досадно, ибо противорѣчитъ моему представленію о состояніи русскихъ нравственныхъ потребностей и русскихъ умовъ вообще.

Однакоже придется поправить свои взгляды на этотъ предметъ, если вы будете продолжать сообщать все пріятные факты. А что если ..... это удастся?—просто будетъ переворотъ въ созерцаніи моемъ.

8.

Baden. 4 декабря н. с. 1874.

Напрасно извиняетесь, почтенный другъ мой, въ неаккуратности и запоздалости своего отвѣта. Намъ легко здѣсь быть аккуратными, ничего не дѣлая, глазѣя по сторонамъ, да по газетамъ и книжкамъ— ну, а у васъ — опека не малая. Это мнѣ напоминаетъ анекдотъ съ Гейне, отвѣчавшимъ Менцелю, который упрекалъ его въ безнравственности: „тебѣ, братъ, легко быть нравственнымъ человѣкомъ, живя въ Штуттгартѣ, а ты бы попробовалъ сдѣлаться имъ въ Парижѣ". Кстати о Парижѣ. Вотъ и я до сихъ поръ никакъ не могу собраться испробовать свою нравственность въ этомъ городѣ: во-первыхъ, потому, что облѣнился и у меня тепло и уютно, а на дорогѣ холодно и безпокойно, а во-вторыхъ — да вторыхъ-то причинъ совсѣмъ и не нужно приводить, послѣ той первой и совершенно достаточной. Да и Тургеневъ что-то все хвораетъ, да и я на старости сдѣлался ужъ очень взыскателенъ. Чтобъ Парижъ возымѣлъ счастіе увидѣть меня въ своихъ стѣнахъ, мнѣ необходимо, чтобъ онъ открылъ блестящую художественную выставку, чтобъ онъ далъ замѣчательную оперу какую-либо, чтобы онъ поставилъ какую-либо геніальную пьесу на театрѣ, чтобы онъ отличился чѣмъ-нибудь необычайнымъ, сверхъестественно умнымъ и потрясающимъ. Всего сего я жду со дня на день и каждое утро, развертывая новый журналъ. Однакожъ, ничего такого не приходитъ покамѣстъ — вотъ я и сижу на мѣстѣ, прислушиваясь къ смутнымъ, противорѣчивымъ толкамъ, которые носятся о вашихъ петербургскихъ дѣлахъ въ иностранныхъ газетахъ, въ потѣ лица доискиваясь тутъ истины и какого-нибудь смысла и, доселѣ, ничего не понимая въ нихъ, или встаю съ мѣста и вопрошаю стѣны: „скажите мнѣ, стѣны, какое такое было безпутное собраніе Лит. фонда, которое опредѣлило имѣть неприкосновенный капиталъ съ тѣмъ только, чтобы въ немъ не находилось ни копѣйки денегъ?" и проч. Вообще я очень часто вопрошаю мои стѣны, но не могу сказать, чтобы онѣ мнѣ давали очень умные отвѣты.

Если книжка моя у васъ хорошо идетъ, такъ это благодаря пословицѣ, гласящей: „отъ хозяйскаго глаза лошадь жирѣетъ". У меня есть въ печати еще книжка—старая моя біографія Пушкина, напечатанная Общественной Пользой съ условіемъ дѣлить прибыль, за вычетомъ издержекъ изданія, пополамъ, но вотъ 3-ій годъ ни малѣйшаго извѣстія объ участи книжки не имѣю. Правда и то, что Общественная Польза тогда только и можетъ надѣяться на удержаніе своего титула, когда никому никакой пользы не приноситъ. Однако-

же, другъ, не имѣете ли возможности справиться, что дѣлаетъ въ подвалахъ Общества та несчастная моя книжица? Если имѣете, то хорошо, а нѣтъ—такъ оставьте ее тамъ гнить вмѣстѣ съ памятью о моей собственной глупости.

III.—ГРАФЪ А. К. ТОЛСТОЙ.

1.

Красный Рогъ, 21-го окт. 1873.

Многоуважаемый М. М. Посылаю вамъ обѣщанную поэму. Если, паче чаянія, обращеніе къ вамъ, въ 26-ой строфѣ, вамъ не по сердцу, и вы найдете, что я призываю ваше имя всуе, то не угодно ли будетъ вамъ замѣнить этотъ стихъ слѣдующимъ:

„Да извинятъ читатели мнѣ это.“

Если же вся 28-ая строфа окажется неподходящею къ вашему направленію, то вы могли бы опровергнуть ее въ выноскѣ.

А если при этихъ условіяхъ, или безъ нихъ, поэма вамъ годится, то благоволите послать гонораріи Соловьевичу. Если же она ни въ какомъ случаѣ вамъ не годится, то благоволите отослать рукопись Соловьевичу же.

Начиная съ мая мѣсяца по сію пору, я не переставалъ страдать почти ежедневно невральгическими болями въ головѣ, и въ эту самую минуту онѣ такъ сильны, что я едва могу писать и принужденъ кончить, несмотря на желаніе съ вами побесѣдовать. На-дняхъ мы поѣдемъ въ Montreux, а можетъ быть и дальше. Но я васъ прошу написать мнѣ нѣсколько строкъ въ *Брянскъ, на станцію Красный-рогъ.* Крѣпко жму вамъ руку и есмь вашъ Ал. Толстой.

2.

Парижъ, 2-го янв. 1874 нов. ст.

Многоуважаемый М. М., пожалуйста, примите благоволительно подателя сего, племянника моей жены, князя Дмитрія Николаевича Цертелева, и если у васъ будетъ время, сведите его съ Гончаровымъ, Костомаровымъ и еще кой съ кѣмъ. Онъ—милѣйшій человѣкъ, котораго мы душевно любимъ, и очень недюжиннаго философическаго направленія или, лучше сказать, философ. способностей. Простите, что доселѣ не отвѣчалъ на ваше письмо, доставленное мнѣ женой. Мои стихи въ полномъ вашемъ распоряженіи, а къ осени постараюсь совершить другіе.

PS. Я былъ *очень* боленъ.

3.

France, Alpes Maritimes, Menton, Villa du Parc Tranquille, $^{13}/_{27}$ *января 1874.*

Многоуважаемый М. М., только сейчасъ прочелъ я въ первомъ № „В. Е.“ мое стихотвореніе „Портретъ“. Спѣшу благодарить васъ за сохраненіе, хотя и подъ вуалью, строфъ, заключающихъ въ себѣ обращеніе къ вамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, по принятой привычкѣ, сообщаю вамъ о нѣкоторыхъ опечаткахъ, вкравшихся въ эту поэму, изъ которыхъ, впрочемъ, только одна имѣетъ нѣкоторую важность:

Строфа 17-ая, стихъ 8-ой: Типъ красоты мечта моя *сыскала* — напечатано: *искала*.

Строфа 27-ая, стихъ 7-ой: Для разныхъ нуждъ и выгодъ *матерьяльныхъ*—напечатано: *матеріальныхъ*.

Строфа 39-ая, стихъ 3-ій: Когда *для насъ* мучителенъ и сладокъ— напечатано: *для нихъ*.

Строфа 40-ая, стихъ 1-ый: О чудное мерцанье тѣхъ *времёнъ* — напечатано *временъ*.

Строфа 55-ая, стихъ 6-ой: Что не *прошелъ* назначенный мнѣ срокъ— напечатано: *пришелъ*.

Строфа 71-ая, стихъ 6-ой: Подъ легкимъ вѣтромъ зыблется *ковылъ*—напечатано: *ковыль*.

Строфа 74-ая, стихъ 2-ой: *Или* хотя полковникъ инженерный — напечатано: *иль* хотя.

Строфа 77-ая, стихъ 2-ой: Послышался старинный *менуетъ*—напечатано: *минуетъ*.

Строфа 78-ая, стихъ 4-ый: На цыпочкахъ въ торжественномъ *молчаньи*—напечатано: *молчаньѣ*.

Всѣ эти опечатки довольно незначительны, кромѣ находящейся въ 39 строфѣ, и я привожу ихъ единственно для очищенія совѣсти.

Между тѣмъ, получивъ отъ Краевскаго приглашеніе участвовать въ Сборникѣ „Складчина“, въ пользу самарцевъ, я послалъ въ комитетъ, т.-е. въ редакцію „Голоса“, окончаніе перваго дѣйствія моей драмы: *Посадникъ*. Оно состоитъ изъ нѣсколькихъ сценъ, гдѣ, какъ мнѣ кажется, выдаются два характера, не лишенные занимательности. Я бы очень былъ радъ, если бы въ комитетѣ о „Складчинѣ“, коего вы состоите членомъ, отрывокъ мой былъ прочтенъ Гончаровымъ; хочу самъ просить его объ этомъ.

Съ большимъ удовольствіемъ прочелъ я отвѣтъ нашего милаго Костомарова юродствующему Погодину — но вотъ и все: я долженъ былъ возвратить № „Вѣстника“ Ал. Жемчужникову, который полу-

чилъ его отъ Корсакова. Наши же экземпляры продолжаютъ пріѣзжать въ Красный Рогъ къ оставшимся тамъ членамъ колоніи. Надѣюсь вскорѣ опять получить книгу и прочесть на досугѣ. Если вы еще не читали сочиненія Погодина: „Простая бесѣда о мудрыхъ вещахъ", то совѣтую вамъ, не теряя времени, прочесть. Оно доставитъ вамъ неисчерпаемый источникъ удовольствія. Особенно тамъ есть описаніе, какъ Погодинъ разъ, возвращаясь ночью домой, сталъ опасаться, чтобы мѣсяцъ какъ-нибудь не упалъ съ неба. Но, благодареніе Всевышнему, ничего не случилось. Затѣмъ слѣдуетъ обращеніе ко Св. Троицѣ. Потомъ рекомендую вамъ статью: „о построеніи женщины", гдѣ описывается какъ изъ одной посторонней „капельки" въ женщинѣ зарождается „Моцартъ съ своимъ Донъ-Жуаномъ", „Петрова воля" и „сердце Карамзина". Въ заключеніе обращеніе къ какому-то святому, не помню къ которому. Мы еще въ Красномъ-Рогу, когда прочли объявленіе объ этой книгѣ, съ жадностью выписали ее изъ Москвы *).

Прощайте, любезный М. М., дай вамъ Богъ никогда не знать тѣхъ головныхъ болей, которыми я страдаю съ самаго мая мѣсяца.

4.

$\frac{30\ \text{янв}}{11\ \text{февр.}}$ *1874. Menton, Villa du Parc Tranquille.*

Спасибо вамъ, любезнѣйшій и многоуважаемый М. М., за присылку десяти экземпляровъ „Портрета", полученныхъ мною вчера, и за письмо отъ 25-го января, полученное мною сегодня; а особенное и отдѣльное спасибо за тотъ экземпляръ, гдѣ вы собственною рукой изобразили заглавіе съ означеніемъ: гдѣ и когда печатано и *пр.* Мнѣ, неизбалованному критикой, болѣе, чѣмъ другимъ авторамъ, пріятно находить такихъ читателей, какъ вы. Намедни я прочелъ рецензію „Портрета" въ *„Голосѣ"*. Нѣкто W. обвиняетъ меня въ незнаніи грамматики за то, что я сказалъ: *движась* вмѣсто *двигаясь*. Сей невинный критикъ не знаетъ, что есть два глагола: двигаться и движиться. Онъ же утверждаетъ, что я позволилъ себѣ эту ошибку въ угожденіе цезурѣ, а, какъ на бѣду, въ этомъ-то стихѣ цезуры и нѣтъ. Онъ же находитъ противнымъ грамматикѣ стихъ: „хотѣлъ хотѣть иное, чѣмъ хотѣлъ". И вотъ какіе господа поучаютъ у насъ авторовъ и публику. А придраться ко мнѣ было можно, напр., въ стихѣ: „Не возбудить *чье-либо* подозрѣнье" вмѣсто *чьего-либо*, или въ стихѣ, гдѣ я употребилъ слово „развязанность" вмѣсто *развязность*. Но настоящихъ грѣховъ эти учители не видятъ. Радуюсь сердечно

*) А все-таки Варяги были Скандинавы, а не Литовцы... и пр. (Приписка гр. А. К. Толстого).

скорому появленію „Хивинскаго похода на Костомарова, Пыпина и прочихъ *іомудовъ*“. Но что такое *іомуды?*..... іомудовъ не знаю. Я смотрѣлъ у Даля, и у него нѣтъ. Развѣ это то же самое.... Тогда Погодинъ былъ бы и впрямь Собакевичъ. Къ слову о Далѣ, у меня набралось около 80 словъ, которыхъ въ его лексиконѣ нѣтъ. Не знаете ли вы, кто его продолжитель? Я бы ему послалъ. Голова моя продолжаетъ болѣе, чѣмъ болѣть: она болитъ всякій день, но раза два, три въ недѣлю она трещитъ, ноетъ, горитъ и разрывается вмѣстѣ съ шеей и спиной. Два доктора, изъ которыхъ одинъ знаменитость, а именно Вѣнскій Sigmund, нашли, что у меня въ головѣ подагра. Оно, можетъ быть, почетнѣе простой невральгіи, но я не честолюбивъ и промѣнялъ бы ее на самый скромный насморкъ или поносъ.

Буду ожидать съ живымъ участіемъ вашей „Русской Бесѣды“ *) и поздравляю васъ съ этимъ добрымъ дѣломъ, при чемъ надѣюсь, что печать не будетъ слишкомъ мелка, ибо глаза еще дороже людямъ небогатымъ, чѣмъ богатымъ. Себѣ же вмѣню и въ честь, и въ удовольствіе, если вы пожелаете помѣстить что-либо мое въ этотъ Сборникъ.

Чувствую приступъ головной боли и прекращаю письмо самыми лучшими вамъ пожеланіями и крѣпкимъ пожатіемъ руки.

5.

13/1 іюля 1874. Carlsbad.

Простите великодушно, многоуважаемый М. М., что я такъ долго оставилъ безъ отвѣта ваше лестное письмо изъ Францисбада. Ничего стараго у меня не было, а новое, несмотря на мое *цвѣтущее* здоровье, въ голову не приходило. Къ счастью вспомнилъ я, что есть у меня два ненапечатанныхъ стихотворенія, и благодаря помощи моей двоюродной сестры, прилагаю ихъ здѣсь какъ посильную жертву литературному фонду для его сборника.

Голова болитъ, спина ноетъ, а потому спѣшу кончить, дружески пожавъ вашу руку и пожелавъ вамъ добраго здоровья и всего хорошаго. Черезъ 5 дней ѣду въ Россію.

6.

Красный Рогъ, 22 сент. 1874.

Многоуважаемый М. М., получили ли вы изъ Карлсбада мое письмо, при которомъ я послалъ вамъ два стихотворенія для сборника, предполагаемаго Обществомъ для вспом. и пр.? И если получили,

*) Т.-е. Русской Библіотеки.

то когда состоится этотъ сборникъ? Позволяю себѣ предложить вамъ этотъ нескромный вопросъ, потому что я намѣренъ нынѣшнюю осень издать второе собраніе моихъ стихотвореній, а именно издать его въ Брюсселѣ или въ Парижѣ, куда я отправляюсь послѣ завтра. Если сборникъ Общества отложенъ на неопредѣленное время, то я помѣщу въ свое собраніе и посланныя вамъ два стихотворенія, если же срокъ его появленія назначенъ, то я ихъ не помѣщу. Вы очень обяжете меня отвѣтомъ въ Парижъ poste restante. Я только недѣли двѣ тому воскресъ: ни одна докторская знаменитость, изъ лечившихъ меня, доселѣ не могла избавить меня отъ ужасныхъ невральгическихъ болей, а избавилъ уѣздный Стародубскій врачъ Корженевскій, предписавъ мнѣ принимать три раза въ день новоизобрѣтенную соль подъ заглавіемъ: Litium. Всякому находящемуся въ моемъ положеніи желаю того же, а вамъ, сверхъ того, всякихъ благъ земныхъ, безъ ущерба небесныхъ. Крѣпко жму вашу руку и есмь....

IV. — И. А. ГОНЧАРОВЪ.

1.

А вы, Государь мой, Мих. Матв., изучивъ меня достаточно, должны бы были, вмѣсто меня, бухнуть дамамъ въ ноги въ благодарность за приглашеніе и доложить, что „увалень сей вечеромъ поздно жретъ—и спектаклей никакихъ, кромѣ кучъ снѣга передъ окнами у себя, не вѣдаетъ, поэтому и къ Делапортъ не поспѣетъ, а придетъ-молъ онъ завтра часовъ въ 9 въ Галерную и тамъ поклонится дамамъ и поблагодаритъ за приглашеніе“. Вотъ какъ слѣдовало отвѣчать. До свиданія—до завтра.

Воскресенье. 1874 года.

2.

Воскресенье, 27 янв.

Я вчера былъ въ комитетѣ о „Складчинѣ“ и ужасно жалѣлъ, что вы не застали меня, почтеннѣйшій М. М., а все потому, что рано, не въ свой часъ были, ибо въ 4 часа я былъ уже дома. Завтра хочу и всячески постараюсь быть у васъ въ $6^1/_2$ часовъ.

А теперь прошу, не слѣдуя вашей гнусной привычкѣ не сооб-

щать драгоцѣнной пріятельницѣ моей, а вашей женѣ, изъ писемъ моихъ то̀, что и до нея относится, прошу, говорю, неукоснительно представить ей прилагаемые два билета на полученіе *Складчины*, одинъ на имя великолѣпной В. М., а другой на имя щедраго—И. О. У. И попросите Любовь Ис. не слѣдовать не менѣе гнусной привычкѣ—класть дѣловые документы и билеты въ бонбоньерки и тамъ забывать оные, а вручить по адресамъ.

(Другіе два прилагаемые билета [на ту же *Складчину*] слѣдуетъ отправить тѣмъ двумъ иногороднымъ подписчикамъ, которыхъ я напрасно помѣстилъ въ свою книжку. Если вы отправили въ Казань къ нимъ изъ моей книжечки билеты, то нечего дѣлать: я эти—прилагаемые—завтра возьму назадъ, а, впрочемъ, это все равно. Завтра я ихъ самъ принесу, а теперь отправляю только первые два, а то еще перепутаете!).

Жаль, что вы не застали меня еще и потому, что я показалъ бы вамъ любопытную книгу: *Іедан абичан догађај*. Какъ вы думаете, что̀ это такое?

Это „роман од Ивана Гончарова“ *(Обыкновенная Исторія)* „съ руског превела“

„Марија Лебедева“

И вотъ послала мнѣ въ изящномъ переплетѣ съ надписью: „Писцу Гонч. у знак особита поштованіа од преводительке Лебедеве“.

Но это бы ничего: а какъ издана—точь въ точь недавно видѣнныя мною *записки Храповицкаго* (не знаю, гдѣ печатали), даже гораздо лучше—и шрифтъ и бумага: и гдѣ же?—„У Новоме Саду!“

3.

4 февр. утромъ, 74.

„Милостивый Государь Михайло Матвѣевичъ (Стасюлевичъ)“. Начинающееся такъ письмо г. Назарьева я получилъ и готовъ, по желанію вашему, сдѣлать — что онъ хочетъ, т.-е. способствовать помѣщенію его статьи въ „Складчинѣ“, если она идетъ туда по характеру и если въ ней нѣтъ ничего противнаго правиламъ о печати. Если бъ вы прислали и самую статью, я прочелъ бы и представилъ бы ее уже въ среду въ комитетъ (при вышеозначенныхъ условіяхъ) и, вѣроятно, ее приняли бы и посвятили бы баронессѣ Корфъ, какъ авторъ желаетъ. Все сдѣлали бы ему пріятное, и вамъ тоже, какъ вы говорите: и прекрасно!

И я могу попотчивать васъ для развлеченія письмомъ, полученнымъ мной сію минуту (пока пишу это), въ отплату за письмо На-

зарьева. Это пишетъ вчерашній мой посѣтитель. Какъ неисповѣдимы судьбы, подумаешь! Думалъ ли я вчера, бесѣдуя съ обоими моими гостями, что на другой день получу отъ нихъ по письму и самъ буду писать къ нимъ.

Что сказалъ бы Красовскій объ этомъ, если бъ былъ живъ!

Что скажетъ Погодинъ, когда узнаетъ!

Перехожу къ вопросу о здоровьѣ и объ обѣдѣ. Ахъ, зачѣмъ, подобно первому изъ этихъ двухъ мужей, я не могу сказать сегодня утромъ: „Благодареніе Богу, всталъ благополучно, проспавъ 14 часовъ; пищевареніе совершилъ... во снѣ видѣлъ благочестиваго странника въ бѣлой одеждѣ; обѣдалъ у сенатора такого-то, бесѣдовалъ съ графиней такой-то и т. д.“

Нѣтъ, я плохо спалъ, вчера вовсе не обѣдалъ, между прочимъ, и потому, что нечего мнѣ дома обѣдать, а выходить нельзя. Во снѣ тоже хорошаго ничего не видалъ: нѣтъ, видѣлъ, что Без. впопыхахъ бѣгаетъ и съ напускнымъ амфазомъ кричитъ, что „Складчина“ есть проклятое дѣло, что тамъ всѣ красные—и даже князь Мещерскій, и что самарцы не станутъ ѣсть хлѣба, купленнаго на деньги отъ нея, а если и наѣдятся, то по нимъ пойдутъ красныя пятна!

„Дуракъ!“ сказалъ я, проснувшись, и хотѣлъ плюнуть—но даже и слюны не оказалось, такъ нездоровится. Я сдѣлаю сегодня пробу пройтись, но до васъ не дойду — кашель еще не прошелъ, и неблагоразумно бы было пускаться въ даль, да еще и обѣдать: ни, ни! Видно, и хорошо, что близъ меня нѣтъ нигдѣ сносной кухни, куда бы я могъ послать за обѣдомъ. Но вотъ бѣда—и бульёну здѣсь, въ аристократической улицѣ, порядочнаго не найдешь кругомъ.

Весна начинается — я это скорѣе всѣхъ чувствую, какъ ползетъ изъ земли и впитывается въ поры и въ легкія всякая гадость—и въ комнатѣ стало будто холоднѣе и сыро и т. д.!

Того и гляди, скоро соловьи запоютъ!

Прощайте, „Милост. Госуд. Мих. Матв. (Стасюлевичъ)“, кланяйтесь милостивой г-нѣ Люб. Исак.,—и примите мой поклонъ въ ожиданіи будущаго, мнѣ еще самому невѣдомаго, дня свиданія....

P. S. Такъ какъ дѣло о новомъ и полномъ изданіи что-то не клеится, даже и съ вами, съ кѣмъ только оно, по моему мнѣнію и желанію, и могло бы склеиться добросовѣстно и удовлетворительно для обѣихъ сторонъ, то вы хоть бы научили меня — что̀ мнѣ говорить тѣмъ, кто ко мнѣ обращается съ предложеніями. Кажется, остается обѣимъ сторонамъ прибѣгать къ стереотипному пожиманію плечъ—и расходиться, лишь только зайдетъ рѣчь о томъ, что̀ дѣлать съ 1800 экз.?!

—

4.

Моховая, 3. Пятница, 13 янв. 1889 *).

Lieber alter Herr! Моя нескладная рукопись готова, т.-е. переписана и вновь запакощена моими поправками такъ, что самъ чортъ не разберетъ и никто, кромѣ наборщиковъ.

Я хотѣлъ уже сегодня — т.-е. *13-го*, вмѣсто назначеннаго вами *20-го* числа, послать ее къ вамъ, но воздержался, по сомнѣнію въ благонадежности посыльныхъ, и потомъ разсудилъ, что до понедѣльника, вѣроятно, набирать статью не станутъ.

Но и въ понедѣльникъ будетъ только еще 16-е число—стало-быть время есть. А мнѣ нужно прочитать *двѣ* корректуры *въ гранкахъ* и третью пробѣжать уже готовую, *въ сверсткѣ*, на случай какого-нибудь неудобнаго слова, или ненадлежащей запятой и т. п.

Я желалъ бы, чтобъ это случилось такъ: немедленно по набраніи первой корректуры я просмотрѣлъ бы, исправилъ бы ее — и тогда, по исправленіи моихъ поправокъ, можно бы вторую корректуру доставить въ одно время гг. Арсеньеву, Пыпину, вамъ и опять мнѣ, съ покорнѣйшею просьбой *сдѣлать на поляхъ замѣчанія*, а также и Анатолію Ѳед. Кони, котораго я уже просилъ о томъ, и онъ былъ очень доволенъ, узнавъ, что я написалъ статью о занимающемъ всѣхъ вопросѣ. Потомъ всѣ корректуры съ ихъ замѣчаніями могли бы поступить ко мнѣ, и тогда, исправивъ въ своей корректурѣ согласно замѣчаніямъ, я бы возвратилъ эту 2-ю корректуру окончательно вамъ.

Если же вы, по недостатку гражданскаго мужества, смалодушествуете и побоитесь затяжки, то можно и 1-ю корректуру послать мнѣ и прочимъ господамъ, во всѣ концы свѣта, для одновременныхъ поправокъ, чтобы, вмѣстѣ со 2-ю корректурой, у меня сошлись въ рукахъ всѣ листы съ замѣчаніями.

При этомъ прошу и васъ и всю почтенную коллегію имѣть въ виду таковые пункты: 1) *возможна ли вообще* такая статья и съ такимъ заглавіемъ, т.-е. возможно ли ставить такой вопросъ и такимъ

---

*) Настоящее письмо Ив. Ал. Гончарова, 13 января 1889 г., предшествовало набору послѣдней его статьи, помѣщенной въ мартовской книгѣ „Вѣстника Европы" 1889 г. (стр. 71 и слѣд.), подъ заглавіемъ: „Нарушеніе воли", и было обращено къ редактору журнала, М. М. Стасюлевичу, котораго онъ, въ началѣ письма, шутя называлъ тогда: „alter Herr", а себя, въ подписи: „junger Herr",—будучи старше его на 14 лѣтъ. Такая переписка, и почти ежедневная, предшествовала и сопровождала печатаніе всѣхъ трудовъ И. А. Настоящее письмо, повидимому, онъ писалъ въ довольно хорошемъ настроеніи духа, почти шутливомъ, но чаще случалось обратное, и дни печати были для него временемъ большихъ хлопотъ и мученій.

образомъ, категорически, какъ онъ поставленъ у меня? Можно, скажутъ, выразить *pia desideria,* а не заявлять требованія на какія-то права и т. д. 2) Не слишкомъ ли важно и пространно, тяжело и неуклюже везу я этотъ возъ? 3) Какія можно предвидѣть вѣскія возраженія и 4) указать противорѣчія, повторенія, невѣрности и неточности.

Видите, какая масса возникаетъ по этому пустому вопросу! Но онъ затрогиваетъ многое и многихъ, такъ что, пожалуй, не одна яичная скорлупа и лимонныя корки, но что-нибудь и хуже полетитъ въ меня! Вамъ—ничего, а мнѣ-то каково! Развѣ не подписать! Пусть въ редакцію палятъ!

Я менѣе, чѣмъ когда-нибудь, выхожу со двора—и не знаю, когда увижусь съ Л. И. Постараюсь заползти въ воскресенье или въ понедѣльникъ, но не навѣрное, смотря по погодѣ, по настройству и разстройству духа и нервъ. Ахъ, какой я несчастный! Однако, прошу поклониться ей! Если пріѣду — то и привезу статью самъ, а если меня не будетъ, не пошлете ли *вашего* артельщика за чѣмъ-нибудь въ нашу сторону? Съ завтрашняго дня (съ субботы) пакетъ со статьею будетъ готовъ для передачи посланному. — Вашъ всегда покорный junger Herr—Гончаровъ.

P. S. Это письмо поберегите ради *1-го, 2-го, 3-го* и *4-го* изложенныхъ въ немъ *пунктовъ,* о которыхъ прошу смиренно довести до свѣдѣнія— *А. Н., К. К.* и *вашего;* Анатолію Ѳед. пропишу ихъ самъ, какъ только узнаю отъ васъ, когда пойдетъ къ нему корректура.

ПИСЬМА М. Е. САЛТЫКОВА

КЪ И. С. ТУРГЕНЕВУ.

1.

Петербургъ. 11 января (1882).

Многоуважаемый Иванъ Сергѣевичъ. Я нѣсколько запоздалъ отвѣтомъ на ваше дорогое письмо по случаю разыскиванія рукописей N. N. Благодарю васъ за память. Среди неслыханнаго современнаго унынія память хорошихъ людей очень, очень радуетъ. Вамъ, конечно, извѣстна катастрофа, постигшая Стасюлевича. Удивительное дѣло!... прослылъ чуть не за Робеспьера. Кажется, онъ намѣренъ въ нынѣшнемъ году совсѣмъ не издавать „Порядка". Его прикрыли въ самомъ разгарѣ подписки, и множество подписчиковъ потребовало назадъ деньги. Такъ, по крайней мѣрѣ, онъ мнѣ говорилъ. Въ прошломъ году онъ имѣлъ по этой газетѣ до 10 т. р. недочета, а въ нынѣшнемъ, по случаю внезапнаго прекращенія, тоже будетъ изрядный накладъ. А сколько сотрудниковъ осталось безъ хлѣба! Нашъ Плещеевъ только-что пристроился, думалъ рублей 150 въ мѣсяцъ заработать—опять не при чемъ. Рискуюсь совсѣмъ безъ газеты остаться. Я получалъ двѣ: „Порядокъ" и „Голосъ"—и думалъ весь годъ такъ провести. До 6-го января „Голоса" не давали, а съ 9-го „Порядокъ" уничтожили. А къ „Новому Времени" приступиться нельзя..... съ какой же стати раздражать себя чтеніемъ..... Я и не читаю. Ежели „Голосъ" опять пріостановятъ, клянусь—совсѣмъ газетъ не читать, кромѣ „Московскихъ Вѣдомостей" (кстати: вчера слухъ прошелъ, что Каткова въ тайные совѣтники изъ статскихъ произвели и якобы съ цѣлью назначенія членомъ Госуд. Совѣта).

Обѣ статьи N. N. будутъ къ вамъ завтра или послѣ-завтра высланы: читайте и насладитесь. По моему, онѣ, кромѣ цензурныхъ со-

ображеній, никуда не годятся..... Вы совершенно справедливо замѣтили, что мысли—какъ лошадиный хвостъ во время вѣтра.....

... Я тоже боленъ и при томъ жестоко. Прелести одышки и кашля усилились сильнѣйшимъ бронхитомъ, который ухватилъ меня и не выпускаетъ вотъ ужъ двѣ недѣли. Хорошо, что съ январской книжкой заранѣе управился (выйдетъ 20-го числа, ежели выйдетъ), а съ февральской врядъ ли что-нибудь успѣю. Вездѣ больно.

Я никуда не выхожу и прослылъ невѣжей. А, ей-Богу, не могу выходить, буквально потому, что ноги не ходятъ. Не то, что боюсь заболѣть, а просто ноги не ходятъ.

Очень радъ, что вы предполагаете быть у насъ въ концѣ марта, но выполните ли вы это намѣреніе — вотъ въ чемъ вопросъ. — До свиданія; крѣпко жму вашу руку. Искренно вамъ преданный М. Салтыковъ.

II.

13 февраля (1882), Петербургъ.

Многоуважаемый И. С. Я замедлилъ отвѣтомъ вамъ, потому что не имѣлъ времени прочитать присланную вами статью, а не прочиталъ ее потому, что только сегодня отправилъ 2-ю книжку „Отеч. Записокъ“ въ цензуру. Однакожъ, сейчасъ кончилъ и скажу, какъ и вы: написано не безъ таланта, но весьма неопытною рукой. Оборвано и много лишняго, противнаго архитектурѣ. Сверхъ того, у насъ не безъ вѣса и цензурныя соображенія—и въ этомъ смыслѣ трудно что-нибудь сказать заранѣе. Во всякомъ случаѣ, я поработаю надъ этою вещью, хотя раньше майской книжки или даже іюньской не обѣщаю ее помѣстить. Я думаю въ концѣ прибавить главу фантастическихъ характеровъ. Сидитъ въ острогѣ 5, 10, 20 лѣтъ и все нѣтъ рѣшенія. И дѣти въ острогѣ завелись и выросли, вскормленные млекомъ превратныхъ толкованій, и тоже попали подъ судъ. Наконецъ, приходитъ благородный дѣйств. стат. совѣтникъ, Стратилатова (Городничаго) сажаетъ въ острогъ, а адвоката изъ острога освобождаетъ и сажаетъ на мѣсто Городничаго. Опять начинается дѣло, у Стратилатова рождаются дѣти, приходитъ новый дѣйствит. стат. совѣтникъ, Стратилатова освобождаетъ, а адвоката сажаетъ и т. д. Будетъ много смѣха и при томъ веселаго. Спросите у автора, согласенъ ли онъ. И еще спросите: гонораръ 75 р. за листъ—согласенъ ли? И пожалуйста, напишите, потому что я, пожалуй, удосужусь, да и раньше за работу примусь.

Насчетъ повѣсти N.N. я тоже съ вами согласенъ: передѣлать на-

чало, за конецъ *совсѣмъ* выбросить—только и всего. А сверхъ того, и еще: повѣсть совсѣмъ непензурна. Ежели передѣлаетъ повѣсть, я буду не только радъ напечатать ее, но въ восхищеніи. Никогда мы не были такъ бѣдны матеріаломъ, а у Х.Х. положительно талантъ. Пожалуйста, убѣдите приняться за работу поскорѣе, а главное, имѣть въ виду цензурныя условія. Я знаю, что это условіе ужасное, но, какъ видно, и умереть съ нимъ придется. Особливо мнѣ. Я, впрочемъ, серьёзно ужъ помышляю о закрытіи лавочки. Предположилъ себѣ: двѣ работы докончить и двѣ новыя сдѣлать, чтобы четыре книги новыхъ вышли — и баста. Все это сдѣлаю я до 1-го января 1884 года, ежели не умру раньше. А потомъ, можетъ быть, даже застрѣлюсь. Физическія страданія начинаютъ одолѣвать. Характеръ дѣлается невозможнымъ: боюсь, что дѣти возненавидятъ. А сверхъ того, по окончаніи литературной дѣятельности, я уже—лишній ротъ, какъ у крестьянъ: пора старику и умирать.

До свиданія. Благодарю, что случай заставляетъ васъ вспоминать обо мнѣ. Но вотъ что: вы писали, что въ мартѣ пріѣдете, а теперь—помалчиваете. Что сей сонъ значитъ? — Искренно вамъ преданный М. Салтыковъ.

ПИСЬМА Н. А. НЕКРАСОВА.

I. КЪ И. К. БАБСТУ.

М. Г. Иванъ Кондратьевичъ. Къ 1-му января намъ нужно счесться, и потому прошу васъ прислать мнѣ краткій перечень вашихъ статей въ „Современникѣ"—съ означеніемъ, въ какомъ № которая помѣщена,—я желаю этого, потому что боюсь забыть которую-нибудь.

Затѣмъ, прошу васъ покорнѣйше продолжать ваши занятія въ „Современникѣ" и въ слѣдующемъ году. Какъ быть съ книгами? Вы все спрашиваете меня, а я думаю, что вамъ это дѣло устроить ближе и легче. Я же съ своей стороны, кромѣ предоставленнаго въ ваше распоряженіе магазина Базунова, могу обѣщать вамъ, что деньги, которыя вы задержите по этому предмету, я безпрекословно буду платить. Достаточно ли этого?.....

А насчетъ полноты московской библіографіи прошу васъ особенно позаботиться. Книгъ сколько-нибудь дѣльныхъ не пропускайте, да и о плохихъ говорите хоть по два слова.

О духовныхъ книгахъ рецензій не нужно.

Скажу вамъ откровенно: я было подосадовалъ на васъ, что вы совѣтуете мнѣ *со статьями серьезнаго содержанія обращаться поосторожнѣе*, очевидно, приписавъ исключенія и поправки въ вашихъ статьяхъ моему произволу и малоумію, но потомъ я разсудилъ, что вы съ цензурой дѣла никогда не имѣли, и умилился духомъ. Скажу вамъ, что корректуры вашихъ статей я храню со всѣми слѣдами на нихъ красныхъ чернилъ, и при свиданіи со мною вы будете имѣть случай удостовѣриться, что вышеписанные совѣты попали не по тому адресу.—Очень преданный вамъ Н. Некрасовъ.

10 декабря 1847. Спб.

Поклонъ М. С. Щепкину.

II. КЪ АЛЕКСАНДРУ ВАС. ДРУЖИНИНУ.

Здравствуйте, любезнѣйшій Дружининъ. Съ самаго отъѣзда вашего изъ Москвы и поселенія моего съ Боткинымъ на дачѣ, собирался я писать къ вамъ почти ежедневно, и наконецъ только сегодня собрался. Вотъ вамъ исторія этого времени моей жизни. Время проводилъ я пріятно и спокойно, въ бесѣдѣ съ Вас. Петр. и въ чтеніи; дѣлать ничего не дѣлалъ; лечился, еженедѣльно видаюсь съ Иноземцевымъ. Не знаю, принесли ли мнѣ пользу воды и проч., но два мѣсяца, проведенные въ безмятежномъ и туповатомъ спокойствіи, вѣрно, не пропали вовсе задаромъ для моего здоровья. Оно, впрочемъ, некрасиво, хотя и мало чѣмъ хуже, напримѣръ, прошлогодняго. Сырость—врагъ мой: тотчасъ дѣлаюсь боленъ, горло зудитъ и во всѣхъ членахъ такое ощущеніе лихорадочнаго холода, какое у здороваго можетъ быть только послѣ пятичасового лежанія нагишомъ на сырой землѣ въ дурную погоду. Теперь изъ всѣхъ леченій употребляю два: *наружное*—компрессы изъ холодной воды на горло; *внутреннее*—питье молока. Чтобы дополнить вамъ отчетъ о моемъ здоровьи, долженъ еще сказать, что, по словамъ Иноземцева, мнѣ или должно просидѣть всю зиму въ комнатѣ, или поскорѣй убираться за границу, гдѣ я могу (т.-е. въ Италіи) прогуливаться отъ полудня часовъ до 3-хъ, но зато подвергаюсь опасности простудиться въ комнатѣ, по неимѣнію печей и двойныхъ рамъ; пугаетъ меня также безъязычіе, безкнижіе и безлюдіе, предстоящія мнѣ за границей, вмѣстѣ съ необходимостью просидѣть бо̀льшую часть зимы все-таки въ четырехъ стѣнахъ. А ѣхать-то есть возможность, и въ сію минуту я еще колеблюсь, что дѣлать. Можетъ быть уѣду, а можетъ быть останусь на зиму въ Петербургѣ — на новыхъ основаніяхъ, то-есть найму себѣ особую квартиру и, какъ сурокъ, залягу въ ней до теплой весны, оградивъ себя отъ всякихъ вещей, волнующихъ спокойствіе. Покуда скажу одно, что неохотно покидаю настоящій образъ жизни, ибо Боткинъ—любезнѣйшій для сожительства человѣкъ. Къ этому я долженъ прибавить, что онъ истинно хорошій и истинно дѣльный человѣкъ. Это я нынѣ испыталъ на своей шкурѣ. Онъ принялъ кровное участіе въ неблестящемъ положеніи нашихъ дѣлъ въ нынѣшнемъ году и помогъ намъ и словомъ, и дѣломъ. Правду говорится, что надо съѣсть съ человѣкомъ пудъ соли, чтобъ узнать его.

Боткинъ настоялъ, чтобъ я перечиталъ ваши статьи о Пушкинѣ, и рѣчь объ этомъ я долженъ начать извиненіями передъ вами, любезнѣйшій другъ. Заигравшись въ карты, я пробѣжалъ только пер-

вую статью и то мелькомъ, — а то, конечно, тогда же оцѣнилъ бы эти статьи. Онѣ достойны человѣка, о которомъ писаны; онѣ были бы прекрасны и замѣтны даже и въ лучшую эпоху русской критики, чѣмъ теперешняя. Въ нихъ виденъ не только знатокъ и мастеръ дѣла, но и *благородно* мыслящій человѣкъ — качество столь рѣдкое въ теперешнихъ авторахъ, то-есть, въ ихъ писаніяхъ. Я ужасно жалѣлъ, что эти статьи не попали въ „Современникъ". Онѣ могли бы быть въ немъ и при статьяхъ Чернышевскаго, которыя передъ ними, правда, сильно бы потускли. Мнѣ, Дружининъ, весьма хочется возобновить ваше постоянное участіе въ „Современникѣ", о чемъ поговоримъ, надѣюсь, лично; для этого лучше всего, я думаю, воротиться къ системѣ условій 1849 и 1850 годовъ: то-есть ежемѣсячно вы будете получать опредѣленную сумму, а разсчетъ въ концѣ года. Въ началѣ года также можно вамъ часть изрядную вручить впередъ.— Примите это къ свѣдѣнію, и ежели съ своей стороны не имѣете ничего противъ этого, то считайте это дѣло *вѣрнымъ*, ибо оно вполнѣ зависитъ *отъ меня*. При этомъ замѣчу, что оно будетъ и *прочнымъ*, ибо послѣдніе два года убѣдили насъ, что безпорядочность по счетной части можетъ привести чортъ знаетъ къ чему, и въ силу этого я не уѣду, не устроивъ этого такъ, чтобъ оно не зависѣло ни отъ какихъ случайностей, ни отъ чьей-либо безалаберности. Поговоримъ еще объ этомъ или спишемся. Вы обѣщали мнѣ что-нибудь перевесть изъ Крабба, да, видно забыли. Къ 20-му августа я буду въ Петербургѣ — пришлите хоть двѣ, три пьесы *). Тургеневъ, спасибо ему, взялся мнѣ переводить изъ Бёрнса.

И затѣмъ прощайте. Недавно былъ у насъ Григоровичъ, и здѣсь въ сію минуту Панаевъ. Вечера проводимъ въ бесѣдахъ, гдѣ часто вспоминаемъ друзей отсутствующихъ — и вотъ тутъ-то сердце ваше порадовалось бы и духъ умилился: не зловонная сплетня господствуетъ на этихъ бесѣдахъ, а духъ искренности, благодушія и любви. Давно бы такъ! Да и въ самомъ дѣлѣ мы уже не мальчишки и пора понять всю гнусность злостнаго..... языкомъ и предоставить это упражненіе художества любителямъ и пр.

Будьте здоровы, любезнѣйшій другъ и одинъ изъ пріятнѣйшихъ сердцу моему товарищей.—Вашъ Н. Некрасовъ.

6 августа 1855 г. Петровскій паркъ.

---

*) Кстати о Краббѣ, я надѣюсь, что онъ принадлежитъ *„Современнику"*. Деньги, слѣдующія вамъ, готовы будутъ *7-го сентября*—вѣрно.—Н.

ПИСЬМО Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКАГО

КЪ ИВ. КОНДР. БАБСТУ.

4 декабря 1857.

Отъ всей души благодарю васъ, Иванъ Кондратьевичъ, за то, что вы доставили мнѣ знакомство съ В. И. Касаткинымъ и Н. М. Щепкинымъ *)—это, сколько я теперь знаю ихъ, прекрасные люди. Особенно понравился мнѣ Касаткинъ. Скажите, какимъ образомъ Москва производитъ столько хорошихъ людей? Свойство ли это климата или слѣдуетъ приписать ихъ прекрасныя качества мудрому правительству Закревскаго? Я склоняюсь къ послѣдней гипотезѣ: Закревскій пріучаетъ къ терпѣнію и самоуглубленію, съ тѣмъ вмѣстѣ къ анализу его распоряженій, а съ терпѣніемъ, самоуглубленіемъ и критикой, конечно, развивается много хорошаго въ человѣкѣ.

Благодарю васъ также за ваши брошюры. — Я считаю честью для себя доброе чувство, которое вы, повидимому, имѣете ко мнѣ,— да, великою честью; признаться, я дорожу мнѣніемъ очень немногихъ,—въ Петербургѣ не знаю ни одного человѣка, котораго доброе мнѣніе дѣйствительно приносило бы мнѣ сердечную радость; въ Москвѣ, быть можетъ, и есть такіе люди, кромѣ васъ,—но, сколько могу судить, не видѣвъ многихъ лично, кажется мнѣ, что и въ Москвѣ

*) Викторъ Ив. Касаткинъ былъ редакторомъ-издателемъ послѣдняго (3-го) тома „Библіографическихъ записокъ". Ник. Мих. Щепкинъ — сынъ артиста М. С. По его иниціативѣ была открыта К. Т. Солдатенковымъ книжная лавка, которою и завѣдывалъ Щепкинъ. Далѣе въ письмѣ упоминается о Московскомъ воен. ген. губернаторѣ гр. Закревскомъ и о журналѣ „Атеней", издававшемся полтора года *Е. Ѳ. Коршемъ*. Въ этомъ журналѣ впослѣдствіи была помѣщена статья Чернышевскаго „Русскій человѣкъ на rendez-vous" (по поводу „Аси" Тургенева), давшая потомъ Н. А. Добролюбову постоянное оружіе противъ автора: когда въ спорахъ Чернышевскій сильно нападалъ и оспаривалъ мнѣнія Добролюбова, то стоило послѣднему сказать: „вѣдь я не сотрудничалъ въ Атенеѣ", и Чернышевскій сконфуженно умолкалъ.

некого уважать столько, чтобы радоваться его доброму о себѣ мнѣнію, кромѣ васъ. Это я говорю въ томъ смыслѣ, что надобно считать человѣка и болѣе честнымъ, и болѣе основательнымъ въ сужденіяхъ, нежели самъ, чтобы истинно дорожить его мнѣніемъ.

Не сочтите этого фразой,—повѣрьте, я такъ чувствую,—и въ доказательство искренности сошлюсь на то, что самъ понимаю неумѣстность и даже нелѣпость подобныхъ изъясненій, а если не удержался отъ нихъ, значитъ, припуждаетъ къ нимъ внутреннее какое-то убѣжденіе. Но обрываю эту тему, самъ сознавая все ея неприличіе.

Объ „Атенеѣ“ сочинилъ я въ № XII „Совр.“ нѣкоторую прокламацію, не лишенную патетизма; удерживался еще мыслью, что, чего добраго, вы же и „Атеней“ прогнѣваетесь,—скажете, что парень-де хватилъ уже черезъ край и услуживаетъ съ ревностью не по разуму. То же мнѣ говорилъ и братъ А. Н. Пыпинъ, которому давалъ прочесть написанное, — по его совѣту часть паѳоса я вычеркнулъ; но все еще, Богъ васъ знаетъ, шутя станете бранить.

Сочинилъ нѣчто и о лавкѣ Щепкина — предпріятіе въ самомъ дѣлѣ честное и полезное. Но—предаюсь скептическому направленію своего остроумія—не перессорятся ли эти Пилады и Оресты между собою, когда начнутся разсчеты? Вѣдь съ такими же тенденціями, въ родѣ безкорыстнаго служенія литературы и т. д., основывался „Р. Вѣстникъ“.

Но возвращусь къ „Атенею“. По свойственному мнѣ тщеславію, не хотѣлъ бы я подвергаться заушеніямъ, какъ Берингъ; потому не вызываюсь прямо къ Коршу: но вы скажите съ дипломатическою хитростью, что вы, конечно, не знаете, могу ли я и захочу ли я сочинять разную чепуху для „Атенея“, но что если Коршу было бы пріятно имѣть такого геніальнаго сотрудника, какъ Черныш., то вы спросите, могу ли я писать иногда для „Атенея“. Если Коршъ скажетъ, что этакихъ-де геніевъ мы любимъ держать отъ себя подальше, то да проститъ ему Богъ, и да останется мое желаніе тайною между вами, мною и Единымъ Сердцевѣдцемъ—Богомъ. Тогда и меня горестнымъ отвѣтомъ не возмущайте, а просто промолчите. Серьёзно говоря, я вовсе не такъ обидчивъ, чтобъ это могло меня оскорбить, не подумайте, что я буду въ претензіи: ни мало.

Боже, 4-ое число, а я еще не кончилъ работы для книжки „Совр.“, которой слѣдовало выйти 1-го числа!—Это ужасно для меня, но это великое счастіе для васъ—иначе мое письмо равнялось бы цѣлому нумеру „Атенея“. Простите же. — Вашъ преданнѣйшій Н. Чернышевскій.

СТИХОТВОРЕНІЕ

ИВАНА ИВАНОВИЧА ЛАЖЕЧНИКОВА.

Имя извѣстнаго историческаго романиста тридцатыхъ годовъ — Ивана Ивановича Лажечникова—тѣсно связано съ біографическими свѣдѣніями о Бѣлинскомъ. Личность истинно-гуманнаго, отзывчиваго и чуткаго ко всему, въ чемъ таились нравственныя и умственныя силы, писателя, умѣвшаго до глубокой старости сохранить юношескій жаръ сердца и вѣру въ добро—неоднократно появляется на жизненномъ пути великаго русскаго критика. Еще въ 1823 году, ревизуя Чембарское уѣздное училище, Лажечниковъ подмѣтилъ не по лѣтамъ развитый разумъ и замѣчательныя способности въ 12-лѣтнемъ сынѣ мѣстнаго штабъ-лекаря Бѣлинскомъ и, въ восторгѣ отъ его отвѣтовъ, подарилъ ему книгу, съ соотвѣтствующею надписью, принятую „безъ особеннаго радостнаго увлеченія, какъ должную дань, безъ низкихъ поклоновъ, которымъ учатъ бѣдняковъ съ малолѣтства". Съ тѣхъ поръ Лажечниковъ принималъ живое участіе въ Бѣлинскомъ—хлопоталъ объ облегченіи поступленія его въ университетъ, искренно восхищался его первыми шагами на литературномъ поприщѣ, переписывался съ нимъ, отыскивалъ его въ пріѣзды свои въ Москву, оставивъ описаніе „бель-этажа", въ которомъ, въ крайней бѣдности, надъ кузницей и въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ прачешной жилъ и работалъ одинъ изъ благороднѣйшихъ представителей духовныхъ силъ Россіи,—и, наконецъ, когда стало возможно говорить печатно о Бѣлинскомъ — одинъ изъ первыхъ напечаталъ свои воспоминанія о немъ, проникнутыя любовью и восторженнымъ уваженіемъ...

Поэтому, быть можетъ, нѣсколько строкъ, принадлежащихъ перу автора „Послѣдняго Новика" и „Ледянаго дома", не будутъ неумѣстны въ сборникѣ, посвященномъ памяти Бѣлинскаго.—Лажечниковъ рѣдко прибѣгалъ къ стихотворной формѣ. Въ 1817 году, будучи еще совсѣмъ молодымъ человѣкомъ, онъ издалъ „первые

опыты въ стихахъ и прозѣ", столь незрѣлые, что, по собственному признанію, увидѣвъ ихъ въ печати и устыдясь, поспѣшилъ истребить всѣ экземпляры этой книги. Затѣмъ, уже въ сороковыхъ годахъ, онъ написалъ бѣлыми стихами двѣ историческія драмы — „Опричникъ" и „Христіернъ II и Густавъ Ваза". Но въ частной жизни онъ нерѣдко прибѣгалъ къ выраженію своихъ мыслей стихами. У пишущаго эти строки хранится переписка Лажечникова съ своимъ старымъ пріятелемъ, журналистомъ сороковыхъ годовъ, въ которой часто встрѣчаются стихотворныя вставки въ текстъ писемъ, и случайно находится стихотвореніе, написанное имъ въ 1857 году въ альбомъ 12-лѣтняго юноши. Въ немъ сказывается чистая и незлобивая душа стараго писателя. Вотъ оно:

А. Ѳ. Кони.

Мая 17, 1898 г.

МОЛИСЬ.

Молись, дитя! молись... творя молитву,
Не обдѣли ты ею никого:
Ни матерь, ни отца, ни близкихъ сердцу,
Ни ихъ враговъ, во тьмѣ кругомъ ходящихъ,
Ни сираго, ни бѣдную вдову,
Ни богача, погрязшаго въ грѣхахъ...
Всѣхъ обойди молитвой круговою:
Владыкъ земныхъ, чтобъ свой народъ любили
И правили имъ по подобью Божью—
И милостью и праведной грозой;
И злого, чтобъ привелъ Господь къ добру,
И добраго, чтобъ злые не мутили
Восторга чистаго души его;
И на землѣ ходящихъ въ суетѣ,
И мертвыхъ, отъ суетъ въ землѣ почившихъ.
Молись и о себѣ, чтобы Господь
Въ тебѣ развилъ и укрѣпилъ дары,
Которыми тебя помазалъ въ колыбели—
Умъ, правду, трудъ и благородство.
Молитва дѣтская такъ къ Господу доступна—
Не согрѣши жъ, не позабудь
Ты въ ней кого-нибудь!

Иванъ Лажечниковъ.

ПРОФЕССІЯ ПИСАТЕЛЯ.

(ОТРЫВОКЪ).

...Пишущихъ людей гораздо больше, чѣмъ писателей. Далеко не всѣ пишущіе для печати попадаютъ въ печать; далеко не всѣ печатающіе могутъ считаться писателями.

Въ массѣ тружениковъ печатнаго слова можно различить двѣ категоріи: одни являются выразителями извѣстныхъ идей или чувствъ, самостоятельно передуманныхъ или пережитыхъ ими; другіе работаютъ по чужимъ образцамъ и живутъ чужими мыслями.

Въ литературѣ замѣчается то же, что и въ жизни. Многіе люди — копіи съ оригинала, безцвѣтныя тѣни чего-то знакомаго и близкаго всѣмъ, ходячія воплощенія общаго типа. Изрѣдка въ этой толпѣ тѣней показываются фигуры, не похожія на другихъ, независимые умы и характеры, рѣзко очерченныя головы, — цѣнные оригиналы въ массѣ поддѣлокъ, передѣлокъ и подражаній.

Для однихъ писательство — призваніе, отъ котораго невозможно отречься, нѣчто въ родѣ судьбы, назначенной отъ рожденія; для другихъ, это — случайно выбранное занятіе, болѣе или менѣе выгодное или пріятное, льстящее самолюбію, соблазняющее перспективой извѣстности, вліянія и почета. Писатели по призванію не принадлежатъ непремѣнно къ числу хорошихъ и даровитыхъ; иногда они всю свою жизнь мучаются надъ произведеніями, которымъ не суждено появиться на свѣтъ или которыя, появившись, пропадаютъ безслѣдно для современниковъ и потомства. Особый писательскій зудъ толкаетъ ихъ въ литературу и журналистику; съ малыхъ лѣтъ они упражняются въ сочинительствѣ, и первое появленіе ихъ работы въ какомъ-нибудь журналѣ или въ газетѣ составляетъ для нихъ

событіе, съ котораго они ведутъ точную хронологію, — какъ бы въ предвидѣніи возможнаго въ будущемъ юбилея.

Неодолимая потребность дѣлиться съ публикой своими мыслями, впечатлѣніями или мечтаніями предполагаетъ въ человѣкѣ извѣстный запасъ собственныхъ мыслей, впечатлѣній или мечтаній. Присутствіе этого самостоятельнаго внутренняго содержанія — первое условіе писательства. Чтобы быть писателемъ, нужно прежде всего имѣть что̀ высказывать въ печати. Кто пишетъ по заказу и слѣдуетъ чужимъ мнѣніямъ или „завѣтамъ", ради житейскихъ выгодъ, тотъ является лишь карьеристомъ печатнаго слова, фальсификаторомъ, выразителемъ поддѣльныхъ чувствъ и идей. Можно обладать хорошимъ слогомъ, умѣть писать гладко и красиво о чемъ угодно—и быть совершенно непригоднымъ для роли писателя. Хорошій слогъ процвѣтаетъ и въ канцеляріяхъ, не только чуждыхъ, но нерѣдко даже враждебныхъ литературѣ. Можно писать неумѣло, тяжело и неправильно — и быть писателемъ въ настоящемъ смыслѣ этого слова. Надо имѣть свою особую умственную и нравственную индивидуальность, чтобы претендовать на какое-нибудь участіе въ литературномъ движеніи.

Одни изъ писателей могутъ быть названы работниками мысли, другіе — работниками слова. Для первыхъ стоитъ на первомъ планѣ выраженіе опредѣленныхъ взглядовъ, чувствъ и настроеній, или обсужденіе теоретическихъ и практическихъ задачъ, выдвигаемыхъ жизнью; у вторыхъ—главная забота направлена на то, чтобы взятый извнѣ матеріалъ облечь въ приличную или занимательную литературную форму.

Господство формы надъ содержаніемъ, доведенное до крайности, создаетъ особый типъ писателей, у которыхъ нѣтъ ничего за душой, кромѣ бойкаго пера, свободно гуляющаго по бумагѣ. Поворотливый, острый языкъ дѣйствуетъ безъ всякаго контроля; онъ не нуждается ни въ знаніяхъ, ни въ логикѣ, ни въ здравомъ смыслѣ и подчиняется исключительно стремленію къ дешовымъ внѣшнимъ эффектамъ. Такіе писатели могутъ легко пріобрѣсть популярность; но эта популярность остается столь же мимолетною, какъ и тѣ остроты и словечки, на которыхъ она держится.

Ежедневная печать предъявляетъ постоянный спросъ на людей, умѣющихъ лучше и живѣе писать, чѣмъ думать. Завлекая въ свой круговоротъ молодые умы и таланты, она переработываетъ ихъ въ извѣстномъ духѣ, размѣниваетъ на мелочи ихъ творческую силу и постепенно обрекаетъ ихъ на безплодіе. Кто разъ попалъ въ газетную журналистику и увлекся ея соблазнами, тотъ рѣдко уже сохра-

няетъ способность къ самостоятельной умственной работѣ: онъ незамѣтно дѣлается жертвою писательства, въ которомъ слово предшествуетъ мысли.

Газеты представляютъ собою общественную силу, значеніе которой измѣрить невозможно; никогда нельзя сказать въ точности, какое дѣйствіе онѣ оказываютъ на читателей и какой слѣдъ оставляютъ въ умахъ множества лицъ, вліяющихъ прямо или косвенно на общій ходъ нашей жизни. Распространенная въ массѣ публики газета—единственная въ своемъ родѣ трибуна, съ которой непрерывно, изо дня въ день, раздается (или, по крайней мѣрѣ, можетъ раздаваться) живое слово по текущимъ вопросамъ общественнаго и политическаго характера; это живое слово можетъ возбуждать хорошія или дурныя чувства, наводить на тѣ или другія идеи и рѣшенія, создавать или поддерживать извѣстное настроеніе въ области разнообразныхъ интересовъ, доступныхъ публичному обсужденію, и сообщать фактическій матеріалъ для оцѣнки существующихъ порядковъ и условій народнаго и общественнаго быта. За отсутствіемъ другихъ органовъ общественнаго мнѣнія, ежедневная печать пріобрѣтаетъ иногда совершенно исключительную важность и является могущественнымъ орудіемъ въ рукахъ талантливыхъ публицистовъ и дѣльцовъ. Ничто не можетъ сравниться съ газетой по силѣ, быстротѣ и разнообразію возможнаго дѣйствія на умы. Недаромъ великій Пушкинъ мечталъ о газетѣ даже въ тяжелую Николаевскую эпоху. Газетная работа соблазняетъ уже тѣмъ, что написанное сегодня въ тиши кабинета можетъ завтра же сдѣлаться извѣстнымъ всей Россіи и послужить предметомъ всеобщихъ толковъ и споровъ. Эта сила печати есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, отрава для журналистовъ, при слабости интереса къ общественнымъ дѣламъ и при малой доступности послѣднихъ публичной критикѣ. Имѣя весьма ограниченный кругъ легальной компетенціи въ сферѣ важнѣйшихъ внутреннихъ вопросовъ и задачъ, ежедневная печать невольно принимаетъ направленіе, при которомъ самолюбіе пишущихъ удовлетворяется часто не только безъ пользы, но и къ явному вреду для общества.

Относительно значенія газетной работы для самихъ журналистовъ я считаю нелишнимъ привести нѣсколько примѣровъ изъ личнаго моего опыта. Когда я былъ еще въ университетѣ въ Кіевѣ и слушалъ лекціи Н. Хр. Бунге, я не разъ говорилъ себѣ (и, кажется, высказывалъ это и другимъ), что настоящее призваніе почтеннаго профессора—быть министромъ финансовъ. Впослѣдствіи, будучи уже въ Петербургѣ, я воспользовался газетнымъ сообщеніемъ о пріѣздѣ Бунге и помѣстилъ въ одной газетѣ замѣтку о предстоящемъ, по

всей вѣроятности, назначеніи его на видный постъ по министерству финансовъ, при чемъ мотивировалъ это предположеніе характеристикою личныхъ качествъ Бунге и указаніемъ на особую подготовленность его къ трудному и насущно-необходимому дѣлу поправленія нашего запущеннаго финансоваго хозяйства. Замѣтка моя обошла затѣмъ всѣ газеты и понята была, очевидно, въ смыслѣ сообщенія слуха, исходящаго изъ компетентныхъ оффиціальныхъ источниковъ: только на третій или четвертый день заявлено было въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ", что это извѣстіе лишено основанія. Такимъ образомъ кандидатура Бунге была впервые поставлена публично, когда никто о немъ еще не думалъ, и съ тѣхъ поръ она дѣйствительно не сходила со сцены, несмотря на оффиціозное опроверженіе; а черезъ годъ или два (не помню въ точности) Бунге былъ уже назначенъ товарищемъ министра финансовъ. Кто знаетъ? — быть можетъ, моя невинная газетная хитрость послужила первымъ толчкомъ къ неожиданному возвышенію скромнаго кіевскаго профессора, ибо достаточно иногда предположить существованіе извѣстнаго факта для того, чтобы фактъ въ самомъ дѣлѣ совершился; достаточно иногда назвать подходящее имя, чтобы выдвинуть носителя его на первый планъ. Я ни разу не видалъ Н. Хр. Бунге со времени его возвышенія, хотя былъ ему хорошо извѣстенъ по университетскимъ работамъ (я писалъ диссертацію по его предмету), и онъ, конечно, не подозрѣвалъ, что какой-то газетный анонимъ первый пустилъ въ ходъ его имя, какъ кандидата на постъ министра финансовъ. Въ качествѣ молодого журналиста, я долженъ былъ испытывать особое удовлетвореніе при видѣ необыкновеннаго успѣха моей первой замѣтки о Бунге; позднѣе, когда моя замѣтка оказалась пророческою, я могъ уже легко заразиться общею болѣзнью газетныхъ писателей— склонностью преувеличивать значеніе своихъ анонимныхъ писаній.

Наибольше пищи для самолюбія даетъ завѣдываніе отдѣломъ иностранной политики въ газетахъ. Скромные и тихіе въ дѣлахъ внутреннихъ, мы смѣло поднимаемъ свой голосъ въ дѣлахъ внѣшнихъ, международныхъ, храбро споримъ съ иностранными правительствами, министрами и дипломатами, уличаемъ ихъ въ коварствѣ или въ непріязни, нападаемъ на Англію или Германію, пускаемся въ тонкія политическія комбинаціи насчетъ Памировъ или Порта-Артура, и твердо говоримъ отъ имени Россіи; — а нѣкоторое время спустя, просматривая иностранныя газеты, мы видимъ, что наши разсужденія сообщены Европѣ по телеграфу или приведены въ газетныхъ политическихъ обзорахъ, что наши статьи обсуждаются за границей и вызываютъ полемику въ оффиціозной прессѣ. Въ каче-

ствѣ политическаго обозрѣвателя, я напечаталъ въ газетѣ критическій этюдъ о Бисмаркѣ, когда онъ былъ еще въ апогеѣ своего могущества; въ знаменитомъ органѣ канцлера, „Norddeutsche Allgemeine Zeitung", появился переводъ этой статьи, съ соотвѣтственными комментаріями, и я не могъ противостоять искушенію поговорить потомъ на равныхъ правахъ съ грозною берлинскою газетой и косвенно съ самимъ желѣзнымъ канцлеромъ. Случилось мнѣ однажды указать на какіе-то секретные переговоры между Англіею и Франціею и сдѣлать выводъ о возможности сближенія и союза обѣихъ державъ; моя статья попала въ лондонскій „Times" и сдѣлалась предметомъ формальнаго запроса въ британскомъ парламентѣ. Кто устоитъ передъ подобными иллюзіями политическаго вліянія и значенія? Нужно быть большимъ скептикомъ отъ природы, чтобы понимать настоящую цѣну этой безплодной игры въ политику и сохранить себя для болѣе серьёзныхъ литературныхъ или научныхъ занятій.

Многіе, имѣвшіе въ молодости задатки таланта и трудолюбія, поддались внушеніямъ опасной сирены и окончательно втянулись въ газетное политиканство; они или погибли въ литературномъ смыслѣ или превратились въ спокойныхъ маніаковъ, авторитетно рѣшающихъ судьбы Европы, предсказывающихъ событія и руководящихъ ими на столбцахъ газетъ. Если бы я имѣлъ право давать совѣты начинающимъ писателямъ, я сказалъ бы имъ: не посвящайте своихъ молодыхъ силъ газетному писательству и больше всего избѣгайте почетныхъ функцій политическихъ обозрѣвателей въ газетахъ....

Л. Слонимскій.

УЧИТЕЛЬНИЦА.

„Сѣйте разумное...“

Некрасовъ.

I.

„Сбили; а прежде послушной была...
Впрочемъ, за всѣмъ углядишь ли на свѣтѣ?
Видимъ мы только, что учатся дѣти...
Служба, другія дѣла!

„Папа, несчастливъ нашъ бѣдный народъ, —
„Папа, давно ужъ онъ помощи проситъ...„
Дальше и больше... Гимназію броситъ...
Курсы... и — школу возьметъ.

„Волосы стричь! съ папироской ходить!
Рваться въ деревню, куда ни попало!
Знать, жениховъ у насъ въ Питерѣ мало:
Крайность какая — учить!...“

Проклялъ „курсистку“ упрямый отецъ,
Проклялъ и выгналъ, понятное дѣло;
Юное сердце сначала болѣло, —
Къ счастью, всему есть конецъ.

Мало ли ихъ попадается намъ
Съ виду онѣ никогда не страдаютъ, —
Жаль, что нерѣдко тайкомъ голодаютъ,
Да не по днямъ, по годамъ...

Борется съ тучами утренній свѣтъ,
Время покажетъ, какъ честны и живы,
Какъ благотворны такіе порывы —
Сѣмя грядущихъ побѣдъ.

II.

Избы и церковь... Молога шумитъ,
Сосны качаются, солнышко грѣетъ,
Вьется дорога и нива желтѣетъ,
Земская школа стоитъ.

Школа стоитъ, а напротивъ — кабакъ.
Тамъ, за околицей, тоже строенья:
Справа ютится герой оскудѣнья,
Слѣва приткнулся кулакъ...

Дни полетѣли — и черные дни,
Время тогда — было трудное время,
Рѣзало плечи завѣтное бремя.
Долго терпѣли они.

Выпита горькая чаша до дна;
Темная сила предательски мучитъ,
Дразнитъ, пока ей самой не наскучитъ.
Невыносима она!

Правда — такъ правда, а ложь — такъ и ложь,
Все пригодится для злобнаго слуха;
Спорь, сколько хочешь, а плетью обуха,
Помни, не перебьёшь.

Прежняя жизнь начинается вновь,
Зрѣетъ и крѣпнетъ холодная дума, —
Вдругъ, средь волненій столичнаго шума,
Въ сердце стучится любовь.

III.

Странный мечтатель! Онъ правды искалъ;
Сколько онъ разъ пропустилъ ее мимо!
Правда повсюду гуляетъ незримо,
Кто же о томъ не слыхалъ?...

Жилъ бы спокойно, служилъ да служилъ,
Въ праздникъ ходилъ бы молиться къ обѣднѣ,
Бросилъ бы споры и разныя бредни
И ни о чемъ не тужилъ.

Просто онъ спятилъ немножко съ ума.
Плачетъ, бывало, и шепчетъ тревожно:
„Гдѣ же спасенье? Такъ жить невозможно!
Тьма, непроглядная тьма!“

Умъ повторяетъ, что надобно — знать,
Мать заклинаетъ, что надобно — вѣрить...
Что же тутъ дѣлать? Начать лицемѣрить
Или идти погибать?

Цѣлые годы въ тревогѣ прошли...
Здравствуй, столица! Желанныя встрѣчи,
Новыя книги и смѣлыя рѣчи,
Счастье мелькнуло вдали.

Чудная доля — несчастье вдвоемъ!
Гордыя стычки съ нелѣпой судьбою, —
Жизнь озаренная вѣчной борьбою,
Точно волшебнымъ огнемъ...

IV.

Отдыхъ гнететъ, какъ позорный покой;
Тучи висятъ въ безграничномъ просторѣ.
Чѣмъ же помочь тебѣ, русское горе?
Только безсильной тоской!...

Долго ли было гнѣздо разорить!
Помнишь ли ты суматоху прощанья?
Помнишь, какъ горе, нужда и страданья
Спутали свѣтлую нить?

Вы добивались сознательныхъ дѣлъ,
Въ старомъ покоѣ вы жить не хотѣли, —
Помнишь ли, какъ эти дни улетѣли,
Какъ вашъ пріютъ опустѣлъ?...

Новые дни побѣгутъ чередой;
Вотъ, ты и въ школѣ — огромной, холодной,
Плачетъ ребенокъ, больной и голодный;
Бьется подъ сердцемъ другой.

Смотрятъ ряды бѣлокурыхъ головъ,
Всѣ онѣ жалки и всѣ онѣ милы;
Да, это — подвигъ, но хватитъ ли силы
И замирающихъ словъ?

Ждетъ тебя много печали и бѣдъ,
Много заботы, — а онъ одиноко
Борется гдѣ-то далеко-далеко...
„Вы не измѣните?“ — Нѣтъ!—

V.

„Что-то учебныхъ пособій не шлютъ...
Ѣздила въ городъ... Ужасная стужа;
Я простудилась, и дѣло все хуже:
Кашляешь — слёзы идутъ.

„Докторъ далёко; послала вчера
Лошадь за фельдшеромъ — снова досада:
Дома нѣтъ, что-то купить ему надо...
Нынче прождала съ утра.

„Спать невозможно, нельзя и глотать;
Душитъ... мученье... Прошло бы скорѣе!...
Печку поставятъ, ребятамъ теплѣе
Будетъ сидѣть и писать...

„Мальчикъ нашъ помнитъ и любитъ отца:
Если увидитъ, навѣрно, узнаетъ;
Выросъ, и даже шалить начинаетъ,
Пѣсни поетъ безъ конца...

„Милый! не бойся, иди противъ зла,
Лѣтомъ къ тебѣ постараюсь пріѣду,
Вмѣстѣ отпразднуемъ нашу побѣду...“
А черезъ день — умерла.

Плачетъ ребенокъ въ холодной избѣ,
Зимняя вьюга на волѣ смѣется...
Кто-то стучится — она не проснется.
Вѣчная память тебѣ!

Н. Чудовъ.

ПРОИСХОЖДЕНІЕ ИДЕИ ДОЛГА.

Высказались ли опредѣленнымъ образомъ по вопросу о происхожденіи идеи долга этнографія и исторія, призванныя въ наши дни къ рѣшенію столькихъ проблемъ? Я этого не думаю. Я полагаю, напротивъ, что ни одна теорія не является столь замысловато-искусственной и столь близко соприкасающейся съ парадоксомъ, какъ та, по которой альтруизмъ обязанъ своимъ происхожденіемъ эгоизму, долгъ — личному интересу. Гипотеза, утверждающая, что идея полезности есть истинный двигатель въ жизни первоначальнаго человѣка и его прототипа—дикаря, является крайнимъ анахронизмомъ. Наши самые отдаленные предки надѣляются такими качествами и стремленіями, какихъ не могла создать окружавшая ихъ среда. Ничто въ меньшей мѣрѣ не соотвѣтствуетъ современному индивидуализму и исключительнымъ стремленіямъ къ матеріальному благу, какъ жизнь племенами, обширными родственными обществами, иногда единоутробными, иногда единокровными, владѣющими почти всѣмъ сообща и ставящими честь общества даже выше жизни каждаго отдѣльнаго члена его. И чѣмъ больше углубляемся мы въ потемки нашего происхожденія, чѣмъ тщательнѣе знакомимся съ жизнью современныхъ дикарей, тѣмъ болѣе приходимъ къ тому заключенію, что „собратство“, „родъ“, нераздѣльная семья (cognatio hominum qui una coierunt), употребляя выраженіе Цезаря, были тою единственной средой, въ которой протекало существованіе первобытнаго человѣка.

Гипотезу архаическаго утилитаризма и химерическую мысль о происхожденіи общаго блага изъ исключительнаго преслѣдованія личнаго интереса приходится, слѣдовательно, оставить. Для происхожденія идеи долга нужно искать объясненіе болѣе правдопо-

добное, болѣе соотвѣтствующее характеру и соціальнымъ условіямъ жизни самыхъ отдаленныхъ нашихъ предковъ.

Попытаемся установить иную гипотезу. Но зачѣмъ прибѣгать къ гипотезамъ? скажутъ намъ; не лучше ли было бы просто констатировать генезисъ идеи долга у того или другого изъ дикихъ племенъ, только еще выходящихъ изъ состоянія нравственной безсознательности, свойственной людоѣдамъ и народамъ, живущимъ въ полномъ смѣшеніи половъ?

Единственный отвѣтъ, который можно дать на этотъ вопросъ, заключается въ томъ, что нравственная безсознательность дикарей, полное отсутствіе въ ихъ средѣ правилъ, опредѣляющихъ поведеніе, и отсутствіе обычаевъ, разрѣшающихъ одни поступки и запрещающихъ другіе, столь же мало установлена какъ и приписываемое имъ отсутствіе религіи. Намъ извѣстно теперь, какъ надо относиться къ этому животному смѣшенію половъ, о которомъ столько говорится въ Соціологіи Г. Спенсера. Одинъ молодой финляндскій этнографъ г. Вестермаркъ, въ своемъ извѣстномъ изслѣдованіи оцѣнилъ по справедливости эту теорію, далеко не подтверждаемую положительными фактами. Правда, отрицая самое существованіе родства исключительно по матери, отрицая преобладающую роль, занимаемую въ матріархальномъ обществѣ единоутробнымъ дядей, а также и групповой бракъ, занимающій мѣсто брака индивидуальнаго, — авторъ заходитъ слишкомъ далеко; но онъ безусловно правъ, когда приходитъ, послѣ тщательныхъ изысканій, къ тому заключенію, что безграничнаго смѣшенія половъ нигдѣ не существуетъ. Что касается людоѣдства, оно, какъ мы это покажемъ ниже, нисколько не исключаетъ идеи правила и обязанности, что оно даже можетъ предписываться обычаемъ, какъ долгъ, или, по крайней мѣрѣ, можетъ рекомендоваться обычаемъ, какъ похвальный поступокъ.

Слѣдуетъ ли отсюда заключать, что этнографія и исторія столько же безсильны рѣшить вопросъ о происхожденіи идеи долга, какъ и психологія? Нисколько... Я хочу только доказать, что изученіе генезиса идеи долга является возможнымъ лишь при посредствѣ гипотезы, бывшей, впрочемъ, всегда первымъ источникомъ всѣхъ нашихъ общихъ идей.

Признавая такой путь неизбѣжнымъ, я постараюсь обосновать мою гипотезу на фактахъ извѣстныхъ, многочисленныхъ и легко поддающихся контролю. Я отправляюсь отъ того, подтверждаемаго примѣромъ дикарей, предположенія, что первобытный человѣкъ, безконечно болѣе слабый и менѣе подготовленный къ борьбѣ, чѣмъ человѣкъ современный, не стремился къ одиночеству и жилъ стадной

жизнью, въ обществѣ себѣ подобныхъ. Озерныя постройки и гроты троглодитовъ далеко не внушаютъ намъ представленія о дикаряхъ, какъ о людяхъ, живущихъ отшельниками, отдѣльными самодовлѣющими парами. Рыбная ловля и охота нисколько не исключаютъ, какъ это пытались утверждать, идеи ассоціаціи, идеи труда сообща.

Насъ учитъ этому примѣръ эскимосовъ *), жителей Камчатки и другихъ безчисленныхъ народцевъ, названія которыхъ было бы безполезно перечислять. Охота на китовъ и ловля крупной рыбы производится на Ледовитомъ океанѣ группами въ десять человѣкъ; подобными же группами иногда въ сорокъ человѣкъ (а въ былыя времена даже въ 50 и въ 60-тъ) охотятся за соболями на сѣверовостокѣ Сибири, какъ это видно изъ описанія Камчатки, сдѣланнаго профессоромъ Крашенинниковымъ сто лѣтъ тому назадъ **).

Этотъ родъ коммунизма между охотниками и рыболовами былъ очень пространно изученъ профессоромъ Зиберомъ въ его образцовомъ изслѣдованіи о первобытной культурѣ ***). Его изслѣдованія показываютъ, что и въ наши дни трудности охоты на крупнаго звѣря и ловли морской и озерной рыбы превосходятъ силы отдѣльной семейной группы дикарей; въ этихъ предпріятіяхъ принимаютъ участіе цѣлые роды, при чемъ добыча дѣлится полюбовно или слѣдуя предписаніямъ обычая. Эти группы охотниковъ и рыболововъ, состоящія большею частью изъ родственниковъ по матери и предводительствуемыя старшимъ изъ нихъ, а еще чаще ими самими выбраннымъ вожакомъ, не имѣютъ, конечно, ничего общаго съ тѣми изолированными бродячими парами, которыхъ Дарвинъ нашелъ въ Новой Голландіи и которыя, по его мнѣнію, наиболѣе приближаются къ типу первобытнаго человѣчества. Основательныя изслѣдованія миссіонеровъ, проведшихъ цѣлые годы среди племенъ Новой Голландіи, вовсе не подтверждаютъ того мнѣнія, которое составилъ объ этихъ племенахъ знаменитый ученый на основаніи недостаточныхъ данныхъ. Г.г. Файзонъ и Гауитъ встрѣтили среди этихъ племенъ цѣлую систему матріархальныхъ и эксогамныхъ группъ, подобныхъ тѣмъ, которыя, какъ констатировалъ Морганъ, существуютъ у дикарей Сѣверной Америки.

Нельзя отрицать того, что въ Австраліи и въ Америкѣ, лучше

*) Сравни изобилующее хорошо провѣренными фактами изслѣдованіе, которое г. Ринкъ предпослалъ въ качествѣ введенія къ своему сборнику эскимосскихъ басенъ (Rink., *Folk-tals of the Eskimo*).

**) См. *Histoire et description du Kamtchatka* par M. Krascheninnikow, professeur de l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg, t. II, p. 129.

***) Эта книга знакома только очень ограниченному числу иностранныхъ ученыхъ, между прочимъ г-ну Лоріа (см. его *Genesi della proprieta capitalista*).

изслѣдованныхъ, чѣмъ центральная Африка, и менѣе, чѣмъ Азія, подверженныхъ вліянію старыхъ цивилизацій, имѣетъ еще смыслъ искать черты организаціи первобытныхъ обществъ. Впрочемъ, матріархальныя и эксогамныя группы встрѣчаются и на Малайскомъ Архипелагѣ, и въ горахъ Кавказа. Тѣ, которые отрицаютъ существованіе всякихъ организацій, кромѣ патріархальныхъ, хорошо сдѣлали бы, прочитавъ предварительно все то, что гг. Колеръ, Постъ, Даргунъ и многіе другіе написали въ опроверженіе ихъ взглядовъ *).

Этотъ вопросъ объ относительной древности матріархальной и патріархальной семьи имѣетъ для насъ въ данный моментъ второстепенное значеніе. Намъ не приходится разбирать ни первоначальныя формы этихъ группъ, ни ихъ послѣдовательную трансформацію **). Для насъ все сводится къ отрицанію первобытнаго Робинзона.

Остается установленнымъ, что отсутствіе всякой группировки на зарѣ человѣчества есть безсмыслица. Аристотель былъ правъ, когда говорилъ, что человѣкъ по натурѣ своей есть животное общественное. Его мнѣніе подтверждается не тѣмъ, что семья существовала во всякія времена (въ чемъ я первый сомнѣваюсь), но тѣмъ, что внѣ ея съ самыхъ незапамятныхъ временъ существовали группы лицъ, сообща преслѣдовавшія общую цѣль — производство и защиту отъ дикихъ животныхъ и внѣшнихъ враговъ.

Лишь только эта истина была признана, она совершила переворотъ въ общей исторіи права. Она начинаетъ дѣлать то же по отношенію къ экономической исторіи. Достаточно бросить взглядъ на труды Гёслера, на столь интересную работу г. Бюхера (Происхожденіе народнаго хозяйства ***), чтобы увидѣть, что какъ для эмбріологіи права, такъ и для исторіи экономической эволюціи наступила новая эра.

Почему же то же самое не могло бы быть съ исторіей нравовъ, почему бы не попытаться связать происхожденіе ихъ, и въ частности происхожденіе идеи долга, съ необходимостью поддерживать эти первичныя человѣческія группировки, подчиняя членовъ ихъ правиламъ, прилагаемымъ исключительно къ существующимъ внутри этихъ группировокъ отношеніямъ? Все это, повторяю, только гипотеза, потому что первобытный человѣкъ и первобытное общество извѣстны мнѣ не больше, чѣмъ кому-нибудь другому.

---

*) Это относится въ частности къ г. Брентано (изъ Мюнхена), который съ удивительной развязностью заявляетъ, что теорія матріархата окончательно погребена (см. *Zeitschrift für Social-und Wirtschaffts-Geschichte,* издаваемый Бауэромъ въ Вѣнѣ).

**) Я изслѣдовалъ эти вопросы въ *Tableau des origines de la famille.* Stockholm 1890.

***) *Die Ensthehung der Wolkswirtschafft,* 1893.

Но эта гипотеза строго соотвѣтствуетъ всему тому, что мы знаемъ о жизни самыхъ дикихъ племенъ, не имѣющихъ никакого понятія о Государствѣ. Нѣтъ ничего болѣе ложнаго, чѣмъ то предположеніе, что племена эти, не щадя никого, вполнѣ отдаются своимъ дикимъ инстинктамъ. Напротивъ, насъ поражаетъ исключеніе, которое они дѣлаютъ въ пользу своихъ собственныхъ членовъ, поражаетъ то постоянное и очень замѣтное различіе, которое существуетъ между ихъ отношеніемъ къ чужеродцамъ и отношеніемъ къ такъ-называемымъ братьямъ или „сородичамъ" („gentiles"), употребляя терминъ, освященный римскимъ правомъ. То, что позволено по отношенію къ однимъ, запрещается по отношенію къ другимъ. Такимъ образомъ, одинъ и тотъ же поступокъ можетъ быть въ одномъ случаѣ похвальнымъ и позволительнымъ, въ другомъ — позорнымъ и недозволеннымъ. Ключъ къ этому странному дуализму можетъ быть найденъ не иначе, какъ отправляясь отъ того принципа, что все, способствующее матеріальному или моральному благу группы, является хорошимъ само по себѣ, желательнымъ, сообразнымъ съ обычаемъ, однимъ словомъ является *долгомъ*. Напротивъ, все, что такъ или иначе наноситъ ущербъ группѣ ея безопасности, ея имуществу или ея чести,—разсматривается, какъ дурное, низкое, гнусное и непозволительное. *Воздержаніе отъ всего таковаго есть долгъ;* каждый выполняющій этотъ долгъ поступаетъ сообразно обычаю, является полезнымъ членомъ, къ судьбѣ котораго группа никогда не относится безучастно; тотъ, кто нарушаетъ обычай, выказываетъ этимъ самымъ свою злую волю по отношенію ко всѣмъ „сородичамъ" и долженъ быть изгнанъ изъ ихъ среды.

Тѣ же поступки, совершенные по отношенію къ чужеродцамъ, къ лицамъ, стоящимъ внѣ группы, теряютъ всякую нравственную квалификацію. Они не позволены и не запрещены; вѣрнѣе говоря, они оцѣниваются съ точки зрѣнія интересовъ группы. Поступокъ хорошъ, если можно извлечь изъ него какую-нибудь выгоду, и дуренъ—въ противномъ случаѣ.

Въ любомъ трудѣ, посвященномъ изученію нравственности у различныхъ народовъ, можно найти немало подтвержденій этому. Достаточно заглянуть въ сочиненія Уэка, Летурно, Спенсера.

Вмѣсто того, чтобы останавливаться на отдѣльныхъ примѣрахъ, я предпочитаю сдѣлать обзоръ различныхъ категорій поступковъ, въ которыхъ проявляется вышеуказанный мною дуализмъ.

Начнемъ съ тѣхъ, которые имѣютъ характеръ преступленія; не будемъ забывать, что въ первобытныхъ обществахъ, какъ и въ древнѣйшихъ законодательствахъ, предѣлъ между уголовной и граждан-

ской сферами далеко не является установленнымъ, и что всякое нарушеніе интересовъ, какъ индивидуальныхъ, такъ и коллективныхъ, можетъ имѣть послѣдствіемъ одинъ и тотъ же родъ репрессіи, одну и ту же месть.

Разсмотримъ же различные виды преступленій. Убійство родственника сопровождается обыкновенно исключеніемъ виновнаго изъ группы, къ которой онъ принадлежитъ. Таково происхожденіе тѣхъ „абрековъ", о которыхъ часто упоминается въ черкесскихъ сказаніяхъ. Абрекъ не имѣетъ родственниковъ. Онъ не имѣетъ никого, кто могъ бы его защитить, онъ болѣе другихъ подверженъ оскорбленіямъ. Его можно безнаказанно убить, никто не обязанъ мстить за него *).

Черкесскій абрекъ имѣетъ много сходства съ „wargus"'омъ древнегерманскаго права; его, какъ вѣчно преслѣдуемаго врагами, источники сравниваютъ съ волкомъ. „Изгой", о которомъ заходитъ часто рѣчь въ древнѣйшей исторіи Россіи, есть также падшій человѣкъ, лишенный родства, помощи и поддержки.

Эту относительную безнаказанность преступленій, совершенныхъ надъ родственниками, находили странной. Но необъяснимымъ было бы именно обратное: ибо какой интересъ могъ бы толкать группу— уменьшать свои собственныя силы, мстя провинившемуся члену своему за совершенное имъ преступленіе? Въ результатѣ было бы только однимъ убитымъ болѣе.

Перейдемъ къ тому случаю, когда убійство имѣетъ жертвой чужеродца.

Такъ какъ племена живутъ въ состояніи непрерывной войны, то здѣсь дѣло сводится къ уничтоженію врага. Такое уничтоженіе выгодно, конечно, для группы; все, что ведетъ къ нему, достойно, слѣдовательно, похвалы и является обязанностью, ибо рѣчь идетъ обыкновенно о какой-нибудь мести; месть же священна; попытка освободиться отъ нея посредствомъ уплаты головничества, whergeld или выкупа признавалась многими народами заслуживающей осужденія. Оцѣнивать кровь убитаго родственника большимъ или меньшимъ количествомъ воловъ, коровъ или овецъ казалось нѣкогда постыднымъ среди дагестанскихъ горцевъ. „Кровь можетъ быть смыта только

---

*) Подобные же обычаи, хотя и нѣсколько смягченные, на практикѣ наблюдаются у большинства туземныхъ кавказскихъ племенъ; такъ, сванеты разрѣшаютъ отцеубійцѣ или братоубійцѣ продолжать жить вмѣстѣ съ племенемъ, но съ тѣмъ условіемъ, что онъ не будетъ входить ни въ какія сношенія съ своими ближними. Онъ долженъ носить на шеѣ, въ качествѣ отличительнаго знака, цѣпь изъ маленькихъ круглыхъ камешковъ.

кровью", — гласитъ одна старая осетинская поговорка. Въ исландскихъ сагахъ и въ особенности въ сагѣ Ніала сынъ, который не мститъ за убійство своего отца, является настолько виновнымъ и гнуснымъ, что собственная мать его отказываетъ ему въ пищѣ, давая камни вмѣсто хлѣба *).

Даже въ томъ случаѣ, когда убійца неизвѣстенъ, обычай предписываетъ выполнить актъ мести. Какъ же исполнить этотъ долгъ?— Направляя выстрѣлъ въ перваго встрѣчнаго, лишь бы онъ не принадлежалъ къ тому же роду, что и жертва.

Burton, говоря о племени Сіу Сѣверной Америки, замѣчаетъ: „если авторъ оскорбленія ускользаетъ отъ нихъ, то они, подобно древнимъ шотландскимъ горцамъ, обращаютъ свою ярость противъ невинныхъ, вся преступность которыхъ заключается въ принадлежности къ враждебному племени, или въ томъ, что они одного цвѣта съ послѣднимъ". Отмѣчу мимоходомъ, что тотъ же обычай существовалъ нѣкогда у шотландскихъ родовъ; нѣкоторыя племена Дагестана слѣдовали ему почти до настоящаго времени. И здѣсь употребленіе выкупа было предписано интересами племенъ.

Это вытекаетъ не только изъ того факта, что выкупъ за жертву поступалъ цѣликомъ или частью всему обществу, но еще и изъ того, что виновный занималъ мѣсто убитаго, становился пріемнымъ членомъ группы послѣдняго.

Среди нѣкоторыхъ туземныхъ народцевъ Кавказа кровавая месть еще недавно завершалась слѣдующаго рода процедурой. Покрытый бѣлой буркой, съ растрепанными волосами, съ топоромъ, привѣшеннымъ къ поясу, приходитъ въ Осетіи и въ Дагестанѣ виновный къ самому близкому родственнику своей жертвы. Онъ заявляетъ, что посвящаетъ себя отнынѣ душѣ усопшаго, обѣщаетъ приносить ей всѣ жертвы, требуемыя закономъ, служить тѣмъ, кому служила его жертва при жизни. Надъ нимъ продѣлываютъ извѣстную церемонію, напоминающую своими подробностями актъ усыновленія. Такъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ провинившійся цѣлуетъ грудь матери убитаго; послѣ этого ему прощается вина его, и онъ становится членомъ группы.

Нетрудно понять смыслъ подобнаго обычая.

---

*) Точно такъ же и у австралійцевъ, тотъ, кто не отмститъ за убійство близкаго родственника, становится предметомъ издѣвательствъ со стороны старухъ; жены покидаютъ его; если же онъ холостъ, то ни одна молодая женщина не согласится разговаривать съ нимъ и т. д.—См. G. Gray, *Journal de deux expéditions dans le nord et l'occident de l'Australie,* 1841, цитированный Спенсеромъ — *Мораль у различныхъ народовъ,* стр. 90.

Родъ потерялъ члена. Этотъ членъ возвращается ему въ лицѣ убійцы. Интересы общества такимъ образомъ сохранены. Месть можетъ быть для него отнынѣ только пагубна; для нея поэтому нѣтъ мѣста. Она перестаетъ, слѣдовательно, существовать. Буркгардтъ вполнѣ правъ, говоря, что „спасительный институтъ выкупа помѣшалъ больше какого-либо иного обстоятельства взаимоуничтоженію племенъ“, потому что мстили не только за убійство, но и за всякаго рода нарушенія интересовъ индивидуума или всей группы; безпощадная война становилась нормальнымъ состояніемъ первобытныхъ народовъ. Законъ возмездія сдѣлался, такимъ образомъ, первой гарантіей правосудія. Между нанесеннымъ и возвращеннымъ вредомъ устанавливается точное соотношеніе. Вредъ, наносимый личности, и покушеніе на собственность влекутъ за собою различнаго рода послѣдствія. Захватъ движимаго имущества становится обычной процедурой въ случаяхъ воровства, пролитіе же крови терпится только въ отместку за убійство и за пораненія.

Я не стану болѣе подробно останавливаться на всѣхъ этихъ фактахъ, тщательно изученныхъ мною въ моемъ изслѣдованіи о „Современномъ обычаѣ и древнемъ законѣ“. Мнѣ достаточно только указать, что они подтверждаютъ мою общую мысль, доказывая съ очевидностью, что идея долга всегда предписывалась интересами общественности и внутренняго благосостоянія группы. — Какъ для воровства, такъ и для убійства устанавливается различіе, соотвѣтственно тому, является ли жертвой членъ группы или чужеродецъ *).

И то, и другое похвально, если направлено противъ иностранца, но является преступленіемъ, если имѣетъ жертвой своей члена родственной группы. Въ послѣднемъ случаѣ съ виновнымъ обращаются, какъ съ отцеубійцей. Его не убиваютъ, но онъ изгоняется изъ общества, миръ и покой котораго онъ нарушилъ. Чтобы заставить его удалиться, разрушаютъ его жилище и конфискуютъ его имущество.

Доказательства можно найти и въ обычаяхъ калмыковъ и киргизовъ. Послѣдніе, какъ свидѣтельствуютъ Палласъ и Аткинсонъ, наказываютъ за воровство лишь въ томъ случаѣ, когда оно совершается внутри рода.

---

*) Воровство должно было существовать во всѣ времена, такъ какъ всегда существовали зародыши частной собственности—на отточенные камни, служившіе оружіемъ, на листья и перья, служившіе одеждой, или на различные плоды, рыбу и дичь, употреблявшіеся въ пищу. Чѣмъ менѣе развитъ индивидуализмъ, тѣмъ болѣе сохраняются остатки архаической общинной собственности и тѣмъ менѣе сурово наказаніе за кражу даже у члена своей же группы. Сравнительная этнографія вполнѣ подтверждаетъ это правило.

Цезарь устанавливаетъ то же различіе, говоря о древнихъ германцахъ. „Воровство, совершенное за предѣлами народца,—читаемъ мы въ шестой книгѣ Комментаріевъ къ Галльской войнѣ,—не влечетъ за собою позора". Нетрудно понять происхожденіе этихъ различій: тотъ, кто обворовываетъ своего родственника, члена своей группы, нарушаетъ внутренній миръ послѣдней, являющійся основой ея. Ничего подобнаго не происходитъ, если жертвой воровства является лицо, постороннее роду. Обычай не противится подобнымъ дѣйствіямъ и иногда даже поощряетъ ихъ.

Перейдемъ теперь къ преступленіямъ и проступкамъ, направленнымъ противъ общественной нравственности *).

Ничто не наказывается болѣе строго, чѣмъ половыя сношенія между членами одной и той же группы **); ничто не поощряется съ другой стороны такъ, какъ похищеніе дѣвушекъ и женщинъ, принадлежащихъ къ чужому племени. Такого рода похищеніе рекомендуется, предписывается обычаемъ, потому что среди эксогамныхъ племенъ оно является единственнымъ средствомъ для вступленія въ бракъ. Даже покупая дѣвушку у своего родственника, дѣлаютъ видъ, что отнимаютъ ее силой. Когда бракъ по договору становится общимъ правиломъ, воспоминаніе о похищеніи сохраняется въ свадебныхъ обрядахъ. Между свитой жениха и свитой невѣсты происходитъ схватка, носящая чисто обрядовый характеръ. Молодой мужъ схватываетъ свою нареченную на руки и выбѣгаетъ за порогъ двери, ведущей къ выходу. Народныя пѣсни въ Россіи и въ другихъ славянскихъ странахъ богаты свидѣтельствами этого рода ***).

Факты похищенія и насильственнаго увоза происходятъ и въ наши дни на Кавказѣ. Часто этотъ актъ только симулированъ, такъ какъ между обѣими семьями соглашеніе состоялось ранѣе. Мы не будемъ останавливаться ни на томъ, что увозъ былъ обычнымъ явленіемъ у древнихъ индусовъ и въ частности у военныхъ, вступавшихъ въ бракъ, ни на похищеніи римлянами сабинянокъ. Факты эти слишкомъ хорошо извѣстны, и дальнѣйшія доказательства являются безполезными.

Чтобы уловить въ организаціи первобытнаго общества внутреннюю связь между интересами рода и понятіемъ должнаго и недозволеннаго, необходимо вдуматься въ обычаи, которыми руководствуются по отношенію къ женщинѣ, виновной въ прелюбодѣяніи.

---

*) См. Spencer, *Нравственность у различныхъ народовъ*, стр. 50.

**) См. Fison и Howitt *Kamilarvi and Kurnai*.

***) Г. Волковъ помѣстилъ въ Antropologie цѣлый рядъ интересныхъ статей о свадебныхъ обрядахъ у славянъ. Роль похищенія въ эволюціи брака трактуется съ большимъ богатствомъ подробностей.

Мужъ въ подобныхъ случаяхъ не только имѣетъ право убить свою жену, но онъ лишенъ права оставить ее при себѣ; онъ долженъ прогнать ее; если у него не хватитъ на это рѣшимости, то за него дѣйствуютъ родственники. Почему все это? Потому что не хотятъ допустить, чтобы ребенокъ чужеродца могъ войти въ племя благодаря прелюбодѣянію.

Въ большинствѣ случаевъ такой ребенокъ приносится въ жертву. У кавказскихъ туземцевъ незаконорожденный рѣдко оставляется въ живыхъ; такъ же поступали многіе народы въ древности и въ средніе вѣка.

Обычай, предписывающій убійство какъ женщины, совершившей прелюбодѣяніе, такъ и плода любви ея, допускаетъ, впрочемъ, одно исключеніе.

Забота объ интересахъ группы толкаетъ мужа, если союзъ его безплоденъ, уступить свою жену родственнику съ цѣлью прижить ему ребенка. Таково происхожденіе той „ніога", о которой заходитъ рѣчь въ индусскихъ сводахъ.

Безчестіе прелюбодѣянія не падаетъ въ этомъ случаѣ ни на жену, ни на ребенка, ибо отъ такого желаемаго нарушенія супружеской вѣрности родъ только выигрываетъ.

Другіе, весьма странные и столь же сильно противорѣчащіе нашему нравственному чувству факты, вродѣ принесенія въ жертву военоплѣнныхъ и убійства стариковъ, находятъ себѣ объясненіе въ заботахъ объ интересахъ рода. Что дѣлать, напримѣръ, съ военоплѣнными, многочисленность которыхъ способна внушать опасенія? Ихъ приносятъ въ жертву усопшимъ, мясо же ихъ поступаетъ въ пищу. Такая практика, какъ впервые показалъ Монтэнь, продолжаетъ держаться до тѣхъ поръ, пока человѣчество не сдѣлаетъ того поступательнаго шага, какимъ, какъ это ни можетъ показаться страннымъ, является рабство, т.-е. пріуроченіе военоплѣнныхъ чужеродцевъ къ работамъ на пользу рода.

Принесеніе въ жертву стариковъ точно также освящается интересами родственниковъ и племени. Оно покажется намъ таковымъ, если мы проникнемся предразсудками этихъ первобытныхъ народовъ, наивный матеріализмъ которыхъ допускалъ возможность усвоивать себѣ физическія и нравственныя качества умершаго, напившись его крови.

Мы разсматривали до сихъ поръ матріархальный и патріархальный родъ только какъ общество самозащиты и взаимной помощи, Но не нужно упускать изъ виду, что онъ является вмѣстѣ съ тѣмъ очагомъ извѣстнаго культа, самаго распространеннаго и, вѣроятно. самаго древняго изъ всѣхъ намъ извѣстныхъ.

Я говорю о культѣ предковъ, первичнымъ источникомъ котораго является вѣра въ недѣйствительность смерти.

Какъ современный дикарь, такъ и варваръ, знакомый лѣтописцамъ древности и среднихъ вѣковъ, убѣждены, что умершіе ведутъ такую же жизнь, какъ и живые: продолжаютъ раздѣлять интересы своего рода; борются съ врагами его; побѣждаютъ или падаютъ вмѣстѣ съ нимъ; являются для родственниковъ своихъ помощниками во всѣхъ предпріятіяхъ въ пользу рода. Имъ нельзя поэтому отказывать въ извѣстныхъ услугахъ, имъ предлагается ежедневно пища и питье, въ память ихъ иногда устроиваются особыя поминальныя пиршества. Нельзя пренебречь этими обязанностями: покойники мстительны; покинутые своимъ потомствомъ, они заставляютъ его дорого искупать свою вину.

Ко всѣмъ обязанностямъ, налагаемымъ интересами группы, присоединяются, такимъ образомъ, еще тѣ, которыя предписываются культомъ предковъ. Эти обязанности иногда совершенно противорѣчатъ матеріальному благосостоянію сообщества. Такъ, напримѣръ, туземныя племена Австраліи и Кавказа разоряются, устраивая родственнику достойные похороны. У древнихъ скандинавовъ (нордмэновъ) и „Руссовъ", упоминаемыхъ Ибнъ-Фоцланомъ, женщины, рабы и скотъ сжигались на кострѣ около умершаго, память котораго почитается и которому желаютъ услужить какъ можно лучше даже за гробомъ *).

Заключеніе, къ которому мы приходимъ, состоитъ въ томъ, что идея долга была внушена первобытнымъ племенамъ интересами самосохраненія. Эти интересы заставляли ихъ мстить за смерть родственника, похищать у иностранцевъ возможно больше скота и женщинъ, убивать за прелюбодѣяніе и женщину, и плодъ любви ея, приносить въ жертву военоплѣнныхъ и стариковъ, разоряться на приношенія въ пользу умершихъ и на устройство поминокъ. Какъ ни несообразны эти обычаи, они имѣютъ то общее, что требуютъ отъ личности самоотреченія въ пользу группы. Такъ, сынъ отказывается отъ выкупа за убійство отца и рискуетъ жизнью, преслѣдуя свою месть; обманутый мужъ отказывается принять обратно свою жену и сохранить жизнь незаконнорожденному; онъ жертвуетъ и ту и другого желанію племени остаться незапятнаннымъ; ближайшій родственникъ умершаго разоряется, чтобы устроить похороны.

---

*) Спенсеръ приводитъ примѣръ жителей Св. Августина (Австралія), которые называютъ добродѣтельнымъ человѣкомъ того, кому друзья его устроили пышные похороны, и злымъ того, для кого друзья поскупились устроить какую-нибудь церемонію (см. *Нравственность у различныхъ народовъ*, стр. 120).

Всѣ эти акты внушаются чувствомъ солидарности, являющимся противовѣсомъ личному инстинкту. Чѣмъ болѣе развито это чувство, тѣмъ сильнѣе расширяется кругъ обязанностей.

Благодаря пріему гостей во временные члены семьи *) и пріобщенію рабовъ къ домашнему культу, идея долга выходитъ изъ своего узкаго круга: обязанности, предписываемыя ею, получаютъ болѣе широкое основаніе. Съ религіознымъ объединеніемъ въ единую семью всѣхъ сыновъ одной и той же страны создается подраздѣленіе на правовѣрныхъ и язычниковъ или, что то же, на туземцевъ и чужеземцевъ. Первые связаны между собою взаимными обязательствами, оставаясь свободными отъ всякаго долга по отношенію ко вторымъ, т.-е. по отношенію ко всѣмъ, кто признаетъ другого Бога и другую родину. Такъ было съ евреями и со всѣми народами, исповѣдующими національную религію. Ссуда денегъ на проценты, запрещаемая правовѣрнымъ Іеговы, когда рѣчь идетъ о единовѣрцѣ, разрѣшается по отношенію къ иновѣрцамъ.

Создаются, наконецъ, религіи болѣе или менѣе универсальныя— буддизмъ, христіанство, магометанство — и гуманитарная философія, еще менѣе расположенная останавливаться передъ границами, раздѣляющими народы и вѣрованія. Идея долга становится общей идеей, потому что внушающее ее чувство солидарности охватываетъ постепенно все человѣчество.

Таковы въ немногихъ словахъ происхожденіе и эволюція идеи долга.

М. Ковалевскій.

---

*) Приведемъ одинъ примѣръ изъ тысячи ему подобныхъ. На островахъ Фиджи „тотъ же самый туземецъ, который можетъ безъ колебанія убить въ нѣсколькихъ шагахъ отъ себя только что вышедшаго отъ него гостя, чтобы украсть у него ножъ и топоръ,—будетъ защищать его съ опасностью собственной жизни, разъ онъ переступитъ порогъ его хижины“ (Burton). То же самое имѣетъ мѣсто среди туземцевъ Кавказа.

РУССКОЙ ЖЕНЩИНѢ.

Въ кошмарѣ вѣчномъ увлеченій смутныхъ,
Въ ненужной сердцу суетной борьбѣ,
Среди тревогъ, страстей, блаженствъ минутныхъ,
Сестра моя! завидую тебѣ.

Да, въ этомъ мірѣ, полномъ наслажденья,
Могла ты быть одною изъ царицъ,
Но ты другія избрала владѣнья...
Зато и нѣтъ имъ на землѣ границъ.

Въ глухихъ степяхъ, въ забытыхъ Богомъ селахъ
Нашла себѣ желанный ты пріютъ.
Тамъ въ прозябанье дней, годинъ тяжелыхъ
Твои слова лучъ счастія даютъ.

Вездѣ, гдѣ только въ дверь стучится холодъ,
Гдѣ преступленья жадно ждетъ нужда,
Гдѣ блѣдныхъ жертвъ подстерегаетъ голодъ —
Ужъ ты спѣшишь, какъ легкій духъ, туда.

Ты явишься... такимъ спокойнымъ свѣтомъ
Блеститъ твой ясный, ласковый твой взглядъ,
Что не пугаеть даже темнымъ цвѣтомъ
Больныхъ дѣтей смиренный твой нарядъ.

Приносишь ты тепло успокоенья
И въ жизнь, и въ души жалкихъ бѣдняковъ,
И, слабая, ты облегчаешь звенья
Тяжелаго невѣжества оковъ.

И я, сестра, служу тому же Богу!
Жизнь юную хочу отдать ему;
Пусть образъ твой укажетъ мнѣ дорогу,
Разсѣявши сомнѣній тайныхъ тьму.

Ты — сильная своею вѣрой чистой,
Меня съ собою властно призови!
Веди меня съ собой на путь тернистый
Къ святымъ чертогамъ правды и любви!...

Т. Щепкина-Куперникъ.

ДРАМА.

(ОЧЕРКЪ).

I.

Знаменитая итальянская актриса Тина ди-Лоренцо играла въ „Дамѣ съ камеліями“. Театръ былъ переполненъ публикой. Въ ложѣ Наврохиныхъ сидѣло пять человѣкъ: самъ Наврохинъ, представительный брюнетъ, только что начинающій приходить въ солидный возрастъ; жена его, полная блондинка, одѣтая съ большимъ вкусомъ; сестра Наврохиной, немолодая дѣвушка; Маевскій, хорошій знакомый Наврохиныхъ, и гувернантка ихъ, очень молоденькая, очень худенькая и очень застѣнчивая.

Во время 1-го акта Наврохины перешептывались между собою и посмѣивались надъ Арманомъ:

— Возлюбленный-то старенекъ!

— Разумѣется, Маргарита могла бы найти себѣ помоложе...

Маевскій, розовый, тщательно выбритый и весь чистенькій, точно только что вымытый огуречнымъ разсоломъ, разбиралъ вполголоса наружность примадонны, каждое движеніе ея, одобряя съ видомъ знатока „разработку роли“...

Въ антрактѣ Наврохинъ принесъ изъ буфета два яблока и, подавая одно женѣ, другое—свояченицѣ, съострилъ:

— Вы говорите, что въ театрѣ яблоку упасть негдѣ; а вотъ я цѣлыхъ два принесъ въ ложу.

Наврохина, откусывая яблоко своими блестящими крѣпкими зубами, замѣтила:

— Не правда ли, Лида, — какъ жаль, что въ антрактахъ нѣтъ музыки?

Маевскій возразилъ, что онъ—врагъ оркестра въ драматическихъ театрахъ, и началъ пространно доказывать ненужность его. Завя-

зался споръ, подъ который Наврохинъ раза два украдкой зѣвнулъ... Поднялся занавѣсъ.

По мѣрѣ развитія пьесы Наврохины дѣлались все серьезнѣе: Михаилъ Сергѣевичъ не зѣвалъ и не острилъ, Евгенія Николаевна оставила въ покоѣ Армана, а Маевскій то и дѣло повторялъ:

— Какая красота! Какая красота!

Лидія Николаевна, державшаяся, по старой институтской привычкѣ, необыкновенно прямо, сидѣла все время неподвижная, какъ статуя, и не отрывала глазъ отъ бинокля; а гувернантка, опершись локтями о барьеръ ложи, такъ и замерла, жадно глядя на сцену, и по ея учащенному дыханію можно было заключить, какъ она взволнована. Въ антрактахъ Наврохины горячо аплодировали, а Маевскій восторженно кричалъ своими свѣжимъ теноркомъ: „браво, браво!“ Гувернантка, какъ только опускался занавѣсъ и освѣщался зрительный залъ, тотчасъ же хваталась за либретто и, закрывъ лицо локтями, казалась погруженною въ чтеніе; но страницы зачастую что-то ужъ слишкомъ долго не переворачивались, и тогда можно было замѣтить, какъ изъ ея глазъ падали на либретто крупныя слезы: она быстро смахивала ихъ носовымъ платкомъ и боязливо косилась по сторонамъ...

— Что, Вѣра Ивановна, каково? — спросила ее Наврохина въ послѣднемъ антрактѣ.

— Да...—отвѣтила гувернантка какимъ-то сдавленнымъ голосомъ, не оборачиваясь на вопросъ.

Въ ложу зашелъ Воронинъ, знакомый Наврохиныхъ, господинъ съ ипохондрическимъ лицомъ и развинченнымъ тѣломъ.

— Здравствуйте, Егоръ Валентиновичъ! — привѣтствовала его Наврохина.—Что, каково!

— Прекрасная актриса.

— Смотрите—всѣ плачутъ!

— Ну, эти слезы скоро пересыхаютъ,—возразилъ Воронинъ.

— Этакій брюзга!—сказала ему съ досадой Наврохина, а Лидія Николаевна молча съ негодованіемъ отвернулась отъ него и, сердито зашуршавъ своимъ чернымъ шелковымъ платьемъ, отсѣла подальше отъ Воронина...

Въ послѣднемъ актѣ Наврохина поминутно сморкалась въ маленькій платочекъ, обшитый кружевами, отъ котораго распространялся по ложѣ запахъ резеды; Лидія Николаевна тоже не могла сдержать себя и всхлипнула. Что касается Михаила Сергѣевича, то онъ все время морщился, какъ отъ зубной боли, внутренно сердясь на актрису за то, что она заставляетъ его страдать...

— Это геніально! Это художественно! Это сама жизнь!—восклицалъ вполголоса Маевскій съ такимъ видомъ, какъ будто вся публика ждала отъ него, какъ отъ оракула, этихъ изреченій...

Вѣра Ивановна закусила себѣ чуть не до крови губу и прослушала такъ весь послѣдній актъ; грудь ея волновалась, узкія плечи то и дѣло вздрагивали... Когда занавѣсъ опустился, она повернула голову, и ея маленькіе, сѣрые, измученные глаза встрѣтились съ сіяющимъ взглядомъ заплаканныхъ глазъ Наврохиной: эти красивые голубые глаза смотрѣли такъ ласково, а крошечныя бриліантовыя серьги такъ мило сверкали въ ушахъ, что Вѣра Ивановна инстинктивно придвинулась къ Наврохиной, какъ придвигается иззябшій человѣкъ къ огню. Наврохина такъ же машинально потянулась къ ней и взяла ея руку; рука была холодна и дрожала въ горячихъ, полныхъ рукахъ Евгеніи Николаевны...

— Я думаю, вы никогда не забудете этого впечатлѣнія?—сказала Наврохина, нѣжно улыбаясь ей и глазами, и губами.

— О, никогда!

— Вы плакали? Я тоже не могла удержаться отъ слезъ... Ахъ, смотрите, смотрите,—ее забросали цвѣтами!

На сцену, дѣйствительно, летѣли со всѣхъ сторонъ цвѣты. Наврохинъ и Маевскій успѣли уже сбѣжать внизъ и вмѣстѣ съ восторженной толпой тѣснились къ рампѣ. Въ театрѣ стоялъ стонъ отъ апплодисментовъ и криковъ. Молодежь лѣзла на сцену, наступая на ноги и опрокидывая кресла...

— Смотрите, какъ вашъ супругъ неистовствуетъ, — сказалъ Воронинъ, завернувшій въ ложу проститься.—Михаилъ Сергѣевичъ такъ радъ, что наконецъ страданія на сценѣ кончились!... Вѣдь онъ терпѣть не можетъ драмъ.

Лидія Николаевна бросила на Воронина презрительный взглядъ и вышла изъ ложи; а Евгенія Николаевна говорила:

— Ахъ, отстаньте вы съ вашей желчью! Развѣ вы не видите, что всѣ, всѣ охвачены однимъ чувствомъ? Посмотрите, что дѣлается у рампы!

— Да, публика въ восторгѣ,—согласился Воронинъ,—но особенно шумятъ тѣ, которые... ничего не поняли,—какъ, напримѣръ, мой сосѣдъ по креслу. Онъ въ первый разъ видитъ „Даму съ камеліями“, не знаетъ ни пьесы, ни итальянскаго языка; онъ только сейчасъ спрашивалъ меня: „въ чемъ же тутъ, собственно, дѣло?“—а теперь кричитъ такъ, что рискуетъ выйти изъ театра безъ голоса. И вообще, во всемъ этомъ есть много стаднаго...

— Нѣтъ, вы положительно состарились, — сказала Наврохина и принялась махать платкомъ артисткѣ.

II.

Вернувшись изъ театра, Наврохины пили чай и закусывали. Въ уютной столовой кипѣлъ самоваръ, стояли бутылки съ виномъ и холодныя блюда. Пока хозяева переодѣвались, Маевскій и Лидія Николаевна успѣли поспорить объ искусствѣ. Оба были завзятые театралы, оба перевидали много знаменитостей и даже имѣли отъ нихъ фотографическія карточки съ ихъ факсимиле; но въ то же время они не сходились между собою ни въ одномъ пунктѣ.

— Знаете, что̀ вы такое? — кипятилась Лидія Николаевна. — Вы верхоглядъ по призванію,—да-съ! Вамъ рѣшительно все равно: Тина ди-Лоренцо, Поссартъ, дрессированныя собаки, Зембрихъ — или какая-нибудь танцовщица, опереточная пѣвица, укротительница звѣрей... Вамъ нужно все видѣть для того только, чтобы поговорить объ этомъ. Въ сущности, къ серьезному искусству вы совершенно равнодушны...

— Во всякомъ случаѣ, не болѣе васъ! – кричалъ Маевскій, расхаживая въ возбужденіи по столовой.—Вы только серьёзничаете—вотъ и вся разница. Отъ Поссарта въ „Лирѣ“ вы съ ума сходите, а отъ комедій Шекспира, Гоголя, Островскаго брезгливо морщитесь! Вы—идолопоклонница—вотъ кто вы! Вы обожаете Поссарта, Барная, Дузе такъ же, какъ въ институтѣ обожали учителя Иванова или „милочку Петрову“; а что касается серьёзнаго искусства...

— А не выпить ли намъ водки? — перебилъ его хозяинъ, появляясь въ столовой.—Серьёзное искусство—хорошая вещь, но я, знаете ли, не люблю долго парить въ облакахъ. Ну-ка, по рюмочкѣ!

— Ахъ, Боже мой, ужъ они водку пьютъ! — сказала Наврохина, входя въ столовую въ простенькомъ, но кокетливомъ платьѣ. — А я до сихъ поръ не могу прійти въ себя. Образъ несчастной Маргариты стоитъ, какъ живой, у меня передъ глазами!...

— Ты помнишь, какъ она умирала?—спросила Лидія Николаевна.—Вѣдь это сама красота!

— Ахъ, я такъ и вижу передъ собой это прекрасное, измученное лицо!...

Мужчины, закусывая, разговаривали о знакомыхъ, встрѣченныхъ въ театрѣ:

— У Воронина опять желчь разлилась...

— А Шугаева-то какъ подвело? Говорятъ, отъ умственныхъ занятій...

— Знаемъ мы эти умственныя занятія!

— А Горянскую видѣли? Мужъ въ клубъ, а она—въ театръ... съ своимъ Сержемъ.

— Вѣдь вотъ подите,—не старѣется!...

А Лидія Николаевна, отпивая маленькими глоточками кипятокъ съ вареньемъ, говорила сестрѣ:

— Да, Женя, только тогда и живешь и чувствуешь себя человѣкомъ, когда получаешь такія впечатлѣнія. Отъ этой будничной жизни, съ ея мелочами и дрязгами, душа черствѣетъ, принижается... Искусство дѣлаетъ насъ добрѣе, чище, умнѣе... А гдѣ же Вѣра Ивановна?

— Да, въ самомъ дѣлѣ,—гдѣ она? Неужели легла спать?

— Бываютъ такія счастливыя натуры, которыя всему предпочитаютъ сонъ,—замѣтила не безъ яду Лидія Николаевна.

— Она, должно быть, очень устала,—возразила Наврохина.—Я видѣла, какъ она пошатывалась, когда выходила изъ театра. Пойду, посмотрю, что она дѣлаетъ.

III.

Наврохина вошла въ комнату гувернантки... Вѣра Ивановна сидѣла, одѣтая, передъ свѣчкой, закрывъ лицо руками, и не слыхала, какъ вошла Евгенія Николаевна.

— Вѣра Ивановна, что съ вами?

Дѣвушка вздрогнула всѣмъ тѣломъ, встала навстрѣчу Наврохиной—и вдругъ зарыдала.

— Что вы, что вы? О чемъ?—испугалась Наврохина.

Она усадила Вѣру Ивановну на диванъ, сѣла съ ней рядомъ и обняла ее за талію.

— Ну же, душечка, полно!... Что такое случилось? Неужели драма такъ разстроила васъ?... Не принести ли вамъ капель?

Вѣра Ивановна, захвативъ въ ротъ кончикъ носового платка, чтобы заглушить рыданія, давилась отъ слезъ и вся тряслась...

— Ахъ, Богъ мой, скажите же, что съ вами?—произнесла Наврохина, страшно обезпокоенная; потомъ встала, заперла дверь и опять подсѣла къ гувернанткѣ.—Вы больны?

Вѣра Ивановна вмѣсто отвѣта судорожно рвала на себѣ часовой шнурокъ, точно онъ душилъ ее...

— Ну, успокойтесь же, голубушка, Бога ради: вы меня терзаете!... У васъ какое-нибудь горе случилось?... Ну, овладѣйте собой и повѣдайте мнѣ это горе. Ну же, право,—какая вы... Такъ нельзя...

— Вы...—начала было Вѣра Ивановна, но спазмы перехватили ей голосъ.

— Говорите же... Можетъ быть, я сумѣю помочь вамъ? Вѣдь вы знаете, что я принимаю въ васъ искреннее участіе.

— Вы у меня одна, одна...—съ усиліемъ выговаривала Вѣра Ивановна. — У меня, кромѣ васъ, никого нѣтъ... Если не къ вамъ, то больше не къ кому...

— Бѣдная! — прошептала Наврохина, привлекая къ себѣ Вѣру Ивановну.

— Я боялась васъ, потому что вѣдь я мало знаю васъ... Я всѣхъ боюсь. Но сегодня въ театрѣ я видѣла ваше лицо... Я узнала, что вы—добрая. Вы пожалѣете... вы поймете... Я видѣла, какъ вы плакали...

Ея безсвязная рѣчь оборвалась. Наврохина ждала. Вѣра Ивановна ломала себѣ пальцы...

— Ахъ, если бы вы знали, какъ я несчастна, какъ я несчастна!— простонала дѣвушка.—Я и всегда была такая... У меня никогда не было радости... А главное—чужая, чужая для всѣхъ!

— Но для насъ... для меня вы — не чужая. И моя дѣвочка любитъ васъ... и всѣ мы къ вамъ за эти мѣсяцы такъ привыкли... Вы у насъ свой человѣкъ.

Вѣра Ивановна стиснула руку Наврохиной своими влажными отъ слезъ ркуами и заговорила прерывисто, задыхаясь, точно летѣла въ пропасть...

Она разсказала Наврохиной тяжелую повѣсть своей жизни. Эти повѣсти такъ часто происходятъ въ дѣйствительности и такъ часто встрѣчаются въ литературѣ, что уже не привлекаютъ къ себѣ особеннаго вниманія. „Обыкновенная исторія!"—говорятъ, натолкнувшись на такую повѣсть въ жизни. „Слишкомъ затрепано!"—говорятъ, встрѣтивъ нѣчто подобное въ литературѣ... Вѣра Ивановна, круглая сирота, кончивъ курсъ въ сиротскомъ институтѣ, тотчасъ же поступила на мѣсто гувернантки. Начались мытарства... Она была напугана съ дѣтства, вѣчно помнила, что она сирота, что ей не за кого уцѣпиться и не у кого искать защиты, и потому была безотвѣтна. Патроны ея пользовались этимъ и эксплуатировали гувернантку, кто какъ могъ. Перемѣнивъ нѣсколько мѣстъ, она попала, наконецъ, въ семью тамбовскаго землевладѣльца. Весной пріѣхалъ туда на каникулы сынъ-студентъ. Отъ нечего дѣлать или потому, что гувернантка чѣмъ-нибудь понравилась ему, но онъ тотчасъ же, не теряя времени, принялся ухаживать за нею. Вѣра Ивановна, не видавшая ни отъ кого ласки, привязалась къ нему послѣ перваго его ласко-

ваго слова, а вскорѣ уже любила его безъ оглядки. Овладѣвъ ея душой, онъ такъ же легко овладѣлъ и ею... Онъ называлъ ее наединѣ своею невѣстой, строилъ планы будущей совмѣстной жизни, но однажды ночью былъ застигнутъ отцомъ въ комнатѣ гувернантки, а утромъ скрылся изъ родительскаго дома, оставивъ Вѣрѣ Ивановнѣ письмо. Въ письмѣ онъ бранилъ себя за безхарактерность, проклиналъ судьбу и жестокосердіе людей, но адреса своего не оставилъ. Гувернантку обвинили въ развратномъ поведеніи и съ позоромъ выгнали... Ей посчастливилось найти мѣсто въ томъ же уѣздѣ; но черезъ недѣлю до ея новыхъ патроновъ дошли изъ самыхъ достовѣрныхъ источниковъ слухи о безнравственности гувернантки: она опять потеряла мѣсто, получивъ при этомъ новый рядъ оскорбленій. Страшное время пережила она, скитаясь безъ мѣста, съ разбитымъ здоровьемъ и сердцемъ... Она поняла, что „женихъ" ея принадлежитъ къ числу людей, которые отнюдь не хотятъ дѣлать низостей — и всегда ихъ дѣлаютъ; поняла также и то, что ей предстоитъ быть матерью...

Наврохина слушала признанія гувернантки, и цѣлый рой ощущеній волновалъ ее. Сначала, какъ это ни странно, она ощутила гдѣ-то глубоко, глубоко внутри себя смутное чувство удовольствія при мысли, что съ ней, Наврохиной, ничего подобнаго не случалось и впредь не случится; но это ощущеніе было мимолетно, почти неуловимо, и тотчасъ же смѣнилось замѣшательствомъ: „Какъ же теперь быть?... Все это такъ неожиданно... такія осложненія... Какъ въ подобныхъ случаяхъ поступаютъ?" Но сейчасъ же вслѣдъ за этимъ ее охватило жадное любопытство, и она забросала Вѣру Ивановну вопросами: неужели она любитъ его до сихъ поръ? и за что она его полюбила? и какъ могла она такъ неосторожно... поступить?

Но Вѣра Ивановна не отвѣчала; она сидѣла въ изнеможеніи, понуривъ голову и тяжело дыша. Признаніе не облегчило ее... Наврохина исподтишка смѣрила ее внимательнымъ взглядомъ и замѣтила, что ея талія, въ самомъ дѣлѣ, неестественно полна; потомъ перевела взглядъ на ея лицо: ей бросились въ глаза припухшія отъ слезъ щеки и покраснѣвшій кончикъ носа... „Неужели и я бываю такъ же некрасива, когда плачу?" — промелькнуло у нея въ головѣ, но она отогнала эту мысль и старалась думать о томъ, какъ несчастна, въ самомъ дѣлѣ, эта Вѣра Ивановна: „Бѣдная, ее никто не любитъ!... Ее даже красивою назвать нельзя. Ее, просто, обманули. Конечно, онъ не былъ влюбленъ въ нее."

И она смотрѣла на вздрагивавшее передъ нею истощенное тѣло съ тѣмъ состраданіемъ, которое обиднѣе всякаго равнодушія. Она

жалѣла гувернантку, какъ жалѣютъ жалкое отъ рожденія существо, какого-нибудь физическаго урода или калѣку. Вѣра Ивановна не была уродомъ, но по наружности принадлежала къ тѣмъ незамѣтнымъ существамъ, которыя могутъ прожить среди людей цѣлые годы, не возбуждая ни въ комъ особеннаго интереса, и уйти изъ жизни такъ же незамѣтно: „Что это Вѣры Ивановны давно не видно?“ — „Да вѣдь она умерла.“—„А!... Скажите!...“

— Это ужасно, ужасно!—машинально повторяла Наврохина, желая выразить Вѣрѣ Ивановнѣ сочувствіе къ ея горю,—а сама въ то же время не могла отдѣлаться отъ раздражавшей ее мысли: „Какъ это она въ такомъ положеніи не постѣснилась идти въ гувернантки къ моей Сонѣ?“ Въ сердцѣ ея уже начала выростать вражда къ Вѣрѣ Ивановнѣ; но она старалась подавить ее, чувствуя, что сейчасъ надо думать и говорить не объ этомъ, а о чемъ-то другомъ...

— Зачѣмъ такъ отчаиваться?—сказала она, поглаживая тихонько Вѣру Ивановну по спинѣ, чтобы успокоить ее, — и вдругъ, совершенно неожиданно для себя самой, прибавила:

— Но какъ вы рѣшились, при такихъ... обстоятельствахъ, взять мѣсто гувернантки?... Я не упрекаю васъ,—нѣтъ, нѣтъ! не думайте этого... Я это такъ сказала.

Вѣра Ивановна при этомъ вопросѣ согнулась какъ-то безпомощно и прошептала:

— Я совсѣмъ не ожидала этого.

— Какая наивность!—замѣтила Наврохина, будучи не въ силахъ удержаться отъ улыбки.

— Мнѣ некуда было дѣваться... Я дошла до крайности... — шептала Вѣра Ивановна, нагибаясь все ниже и ниже. — У меня куска хлѣба не было... Заложила все, что могла...

Изъ столовой донесся шумъ голосовъ.

— „Ахъ, вѣдь меня ждутъ тамъ!“—подумала Наврохина—и вдругъ вся наполнилась безпокойствомъ. „Что же однако дѣлать? Какъ намъ быть съ нею? Вотъ положеніе!“

— Вы никому не скажете объ этомъ? никому? — встрепенулась Вѣра Ивановна.

— Ахъ, развѣ я не понимаю!

— Ради Бога, не говорите!

Она схватила съ умоляющимъ видомъ руку Наврохиной и прошептала:

— Мнѣ умереть хочется.

— Полноте, полноте,—что вы!

— Не хватаетъ больше силы... За что обрушивается на меня все,

все?... За что они забросали меня грязью? Что я имъ сдѣлала? Неужели же я... хуже всякаго червя?... А что ждетъ моего ребенка: одна мука!... Господи, какая тоска...

Она вдругъ оборвалась, хотѣла заглянуть въ глаза Наврохиной, но они безпокойно блуждали по комнатѣ, и она никакъ не могла уловить ихъ взгляда... Тогда по лицу гувернантки пробѣжали какія-то судороги, какъ будто она неожиданно увидала передъ собою вмѣсто родного лица — противную гримасу. „Зачѣмъ я говорю все это?... Зачѣмъ я разсказала ей? Вѣдь она для меня—чужая... Теперь все кончено!“ И ей живо представилась мать Наврохиной, высокая, благообразная старуха, съ вѣчнымъ вязаньемъ въ костлявыхъ рукахъ и неумолимымъ сознаніемъ долга въ лицѣ. Этой благообразной старухи, передъ которою она почему-то чувствовала себя особенно виноватою, гувернантка боялась, какъ привидѣнія...

— Ради всего святого, не говорите Елизаветѣ Григорьевнѣ... умоляю! — прошептала Вѣра Ивановна, и въ глазахъ ея появилось выраженіе ребенка, которому грозятъ побои. — Я боюсь, боюсь... Я помню эту травлю... Вы не выдадите меня?

Въ дверь тихонько постучались.

— Женя, Маевскій уходитъ,—послышался голосъ Наврохина, сопровождаемый позѣвываньемъ.

— Сейчасъ,—откликнулась Наврохина.—Мы еще поговоримъ съ вами, Вѣра Ивановна... Не надо падать духомъ... А теперь мнѣ нужно пойти проститься. Главное—вы успокойтесь немножко. Право, вамъ бы принять валерьяновыхъ... Я пришлю сейчасъ.

И она, почему-то осторожно ступая на цыпочкахъ, вышла изъ комнаты.

IV.

Маевскій и Лидія Николаевна одѣвались въ передней; Лидія Николаевна не жила съ сестрой: по ея словамъ, она „не выносила зрѣлища семейнаго благополучія“.

— Что тамъ такое?—спросила она.

— У нея просто разыгрались нервы: слишкомъ сильное впечатлѣніе отъ спектакля...

Но глаза Евгеніи Николаевны бѣгали при этомъ такъ двусмысленно, а въ лицѣ было такое неестественное оживленіе, что Маевскій и Лидія Николаевна переглянулись...

Проводивъ гостей, мужъ, неистово зѣвая, ушелъ спать, а Наврохина достала изъ своей аптечки пузырекъ съ валерьянкой и, принявъ зачѣмъ-то таинственный видъ, велѣла горничной отнести его

Вѣрѣ Ивановнѣ. Затѣмъ она, поколебавшись съ минуту, направилась къ спальнѣ матери, тихонько отворила дверь и заглянула... Елизавета Григорьевна сидѣла, полураздѣтая, у лампы и пришивала что-то къ дѣтской шляпкѣ.

При взглядѣ на строгое лицо матери, Наврохиной снова овладѣла нерѣшительность. „Вѣдь я обѣщала никому не говорить", — пронеслось у нея въ головѣ. — „Ну, такъ что же? Я и не скажу ничего мамѣ", — мысленно возразила она себѣ: „я такъ только поговорю... вообще. А съ другой стороны, имѣю ли я право скрыть это отъ матери и мужа?... Конечно, конечно, имѣю, — потому что это — чужая тайна, и при томъ я обѣщала этой несчастной... Я просто обязана сохранить секретъ... Но въ такомъ случаѣ, какъ же Соня? Вѣдь надо же принять мѣры: дѣло слишкомъ важное, цѣлый скандалъ... Я, какъ мать, обязана... Это—мой долгъ. Наконецъ, вѣдь мы не людоѣды: не съѣдимъ же ее!" Но тутъ она вспомнила жалкое лицо Вѣры Ивановны и почувствовала внутри какую-то неловкость... „Нѣтъ, я не скажу мамѣ,—я только намекну ей: надо же посовѣтоваться, какъ все это устроить получше, поделикатнѣе..."

Съ этою мыслью она вошла въ спальню.

— Что тебѣ, мой другъ? — спросила Елизавета Григорьевна посмотрѣвъ изъ-подъ очковъ на дочь.

— Ты еще не легла, мама? До сихъ поръ?

— Если позволительно засиживаться такъ долго съ гостями, то еще позволительнѣе засиживаться за работой,—сказала наставительнымъ тономъ старуха.

Елизавета Григорьевна смотрѣла на свои обязанности матери и бабушки, какъ на миссію, и нерѣдко ради этой миссіи просиживала до утра за никому не нужной работой; но зато она получала право быть образчикомъ матери и бабушки и носить на своемъ лицѣ выраженіе того зловѣщаго спокойствія, которое для иныхъ нервныхъ людей несноснѣе всякой угрозы...

— Я поставлена въ затруднительное положеніе...—начала Наврохина, присаживаясь къ ногамъ матери, и тутъ же мысленно прибавила: „Конечно, я ничего не скажу мамѣ".

— Что случилось?—спросила Елизавета Григорьевна, неторопливо снимая очки.

— Я хорошенько не знаю, какъ надо держать себя въ извѣстныхъ случаяхъ... Вотъ и пришла посовѣтоваться съ тобой...

— И хорошо сдѣлала, мой другъ. Я слушаю тебя.

— Тебѣ, мама, вѣроятно, приходилось натыкаться въ жизни на такія происшествія...

— Вѣроятно, мой другъ... Я слушаю.

— Напримѣръ, если въ семьѣ, гдѣ есть дѣти, съ кѣмъ-нибудь изъ людей, стоящихъ близко къ нимъ... ну, напримѣръ, съ нянькой, бонной, гувернанткой...

— Ну?

— Случится, по выраженію простонародья, „грѣхъ"...

— Ну?

— Предположимъ, съ гувернанткой это случилось...

— Съ Вѣрой Ивановной?

Наврохина смутилась...

— Нѣтъ, я такъ, вообще говорю... Я не про нее.

Елизавета Григорьевна надѣла очки и пристально посмотрѣла на дочь; должно быть, лицо дочери было въ эту минуту очень краснорѣчиво, потому что старуха встала съ самымъ рѣшительнымъ видомъ и сказала:

— Я понимаю тебя. Съ Вѣрой Ивановной случилось то, послѣ чего нельзя оставаться въ домѣ?

— Я говорила не про нее, а вообще... Я не хотѣла говорить... Кто жъ виноватъ, если ты сама догадалась?...—говорила Наврохина, глядя съ замѣшательствомъ на строго-вопросительное лицо матери.— Не разсказывай, по крайней мѣрѣ, объ этомъ Мишелю...

— Богъ мой, какъ это мнѣ самой въ голову не пришло!—воскликнула Елизавета Григорьевна.—Да вѣдь довольно посмотрѣть на одну ея фигуру!... Бѣдная, бѣдная дѣвочка!

— Ну, положимъ, мама, она ужъ далеко не дѣвочка...

— Что ты, мой другъ, съ ума сошла? Я говорю не о ней, а о Сонѣ. Вѣдь Сонечкѣ ужъ десятый годъ; кругомъ прислуга, которая ужъ, вѣрно, все замѣтила... Того гляди, нашепчутъ ребенку разныхъ глупостей... или будутъ, не стѣсняясь, говорить при Сонѣ... Ахъ, Боже мой, Боже мой!... Давно у нея *это?*

И она принялась разспрашивать по пунктамъ Евгенію Николаевну... Наврохинъ давно храпѣлъ у себя въ спальной, а дамы все шептались.

V.

Утромъ Евгенія Николаевна, свѣжая послѣ хорошаго сна и ванны, вошла въ кабинетъ къ мужу, неся въ рукахъ газету. Наврохинъ, одѣтый во фракъ, торопливо укладывалъ бумаги въ портфель, готовясь ѣхать въ судъ...

— Видѣлъ ты описаніе вчерашняго спектакля въ газетахъ? — спросила Евгенія Николаевна, здороваясь съ мужемъ, и стала чи-

тать ему рецензію, которую Наврохинъ слушалъ въ полъ-уха: „Вчерашнее представленіе „Дамы съ камеліями“ было сплошнымъ торжествомъ...“ „Зрители, растроганные до глубины души, плакали!...“ „Артистку засыпали цвѣтами...“ „Былъ поднесенъ адресъ...“ „Спектакль представлялъ безпрерывный рядъ овацій...“

— Оваціи оваціями,—сказалъ Наврохинъ, роясь въ письменномъ столѣ,—а вотъ, что намъ дѣлать съ гувернанткой-то?

— Какъ,— ты уже знаешь? — изумилась Наврохина. — Мама не должна была говорить тебѣ... При томъ она ужъ черезчуръ строго относится къ этимъ вещамъ... А ты какъ думаешь? Твое мнѣніе?

— Мое мнѣніе такое, что мнѣ надо спѣшить въ судъ. Дѣлай, какъ знаешь.

— Конечно, оставаться ей у насъ въ такомъ положеніи неудобно... но только у меня просто не хватитъ духу сказать ей объ этомъ!

— Ну, а у меня, матушка, времени нѣтъ,—съ досадой возразилъ Наврохинъ и засуетился больше прежняго. — Ты ужъ сама устроивайся съ ней, а я въ эти дѣла не вмѣшиваюсь.

— Но послушай, Мишель...

— Опоздалъ! — воскликнулъ онъ, взглянувъ на часы, схватилъ портфель подъ мышку и выбѣжалъ изъ кабинета...

Вѣра Ивановна столкнулась съ нимъ въ столовой. По тому бѣглому взгляду, которымъ окинулъ ее съ ногъ до головы Наврохинъ, она догадалась, что онъ уже все знаетъ. Тогда она бросилась къ себѣ въ комнату и съ лихорадочною поспѣшностью принялась укладывать свои вещи, комкая, какъ попало, бѣлье, безпрестанно забывая, чтó она только-что собиралась сдѣлать, и замирая отъ страху, когда слышала чьи-нибудь шаги... Ей бросилась въ глаза тетрадка французскихъ переводовъ Сони, и она вспомнила, что Соня въ это утро въ первый разъ не пришла къ ней поздороваться...

Но вотъ все съ грѣхомъ пополамъ уложено: остается уѣхать. При одной мысли, что ей надо выйти къ Наврохинымъ, встрѣтиться съ Елизаветой Григорьевной, говорить съ ней, пройти мимо горничной и няньки,—кровь приливала ей къ сердцу, и у нея не хватало силъ переступить порогъ своей комнаты. Ей казалось, что ужъ всѣ знаютъ объ ея стыдѣ: и горничная, и нянька, и швейцаръ внизу, — и всѣ ждутъ ея появленія, чтобы унизить ее оскорбительнымъ любопытствомъ... Наконецъ, она рѣшилась и, перекрестившись машинально маленькимъ крестикомъ, вышла изъ комнаты.

Войдя въ столовую, она увидѣла издали Наврохину, которая, замѣтивъ ее, торопливо скрылась въ кабинетъ мужа. Вѣра Ивановна постояла и пошла въ гостиную. „Поскорѣй бы ужъ!“ — со стономъ

думала она... Дверь отворилась, и вошла Елизавета Григорьевна. Вѣра Ивановна черезъ неплотно закрытую дверь успѣла разсмотрѣть Соню, которая сидѣла въ бабушкиной комнатѣ съ книгой въ рукахъ. Елизавета Григорьевна поторопилась притворить дверь и произнесла, какъ всегда, нараспѣвъ:

— Bonjour!

— Bonjour,—отвѣтила Вѣра Ивановна дрожащимъ голосомъ, чувствуя, что у нея подгибаются ноги.

Елизавета Григорьевна стояла передъ ней съ поднятой головой и молча смотрѣла на нее... Вѣра Ивановна поняла.

— Я пришла сказать... Я должна покинуть вашъ домъ.

Старуха подняла брови.

— Да?

— Есть уважительныя причины...

— Да?

Старуха молча вынесла деньги, молча вручила ихъ Вѣрѣ Ивановнѣ и такъ же молча кивнула ей головой...

Вѣра Ивановна уѣхала.

Н. Тимковскій.

ЖВИРБЛИСЪ.

(СКАЗКА).

Въ западномъ краѣ есть небольшой литовскій городокъ — такой же, какъ и всѣ другіе: съ казенной „монополіей“, костеломъ и исправникомъ. Отъ этого городка тянется дорога, по сторонамъ которой вырыты канавы и кое-гдѣ уцѣлѣли изображенія святыхъ или распятія. Дорога кажется пустынной; по ней почти никто не ѣздитъ, и только изрѣдка встрѣчаются другъ съ дружкой пѣшеходы.

— Тегуль буусъ погарбентасъ... *(Да будетъ благословенъ...).*

— Антъ амжію... *(Во вѣки...).*

Обмѣнявшись привѣтствіемъ, они проходятъ далѣе. Дорога снова тянется на сѣверъ; потомъ есть поворотъ, корчма,—а на шестнадцатой верстѣ отъ города стоитъ мыза Вербуны.

Сюда залетѣлъ разъ, въ ненастный вечеръ, Жвирблисъ. Было темно, хоть глаза выколи. Онъ залетѣлъ сюда, — да такъ здѣсь и остался.

Жвирблисъ... Но я былъ тамъ недолго, и не знаю хорошенько жмудскаго языка. Жвирблисами зовутъ по —ой губерніи какихъ-то сѣрыхъ птичекъ, не улетающихъ на зиму. Быть можетъ, это — воробьи, а можетъ—и другое что.

Итакъ, Жвирблисъ попалъ сюда въ ненастье. Онъ еле спасся передъ этимъ отъ погони. Злой ястребъ наточилъ свой клювъ и захотѣлъ узнать, остеръ ли онъ? Онъ созвалъ много мелкихъ пташекъ и началъ ихъ долбить по головамъ. Большинство пало мертвыми, но Жвирблисы протестовали и разлетѣлись...

Въ Вербунахъ, кромѣ вербъ, росло немало кленовъ. Въ саду тѣснились липы, яблони и разные кусты. Передъ крыльцомъ была разбита клумба, гдѣ красовались гіацинты, астры, левкои и гвоздика. Жвирблисъ рѣшилъ, что можно жить и тутъ.

Былъ жаркій день, и красная, покрытая черепицей, крыша мызы эффектно выдѣлялась на зеленомъ фонѣ. Панъ поссессоръ *(арендаторъ)* пилъ въ саду чай съ своей молодой женой, а птицы качались на вѣткахъ или носились въ воздухѣ. Недалеко отъ Жвирблиса, сидѣвшаго понуро на кустѣ бузины, щебетала молоденькая ласточка— и заливалась такимъ веселымъ смѣхомъ, что Жвирблиса взяла досада. Можно ли хохотать, когда на свѣтѣ столько горя? Онъ отлетѣлъ подальше отъ сосѣдки, не подозрѣвая, какое важное значеніе будетъ имѣть она современемъ въ его вербунской жизни.

Да, имъ пришлось видаться волей-неволей. Чаще всего это случалось въ цвѣтникѣ, гдѣ ласточка кружилась съ подругами и сестрами. Жвирблисъ узналъ, что ея имя—Мейля *(милая)*. Мейля была легка и граціозна. Жвирблисъ ужъ не сердился на ея веселость. Напротивъ, онъ охотно каждый разъ встрѣчалъ и провожалъ ее глазами. Онъ чувствовалъ, что ея звонкій смѣхъ облегчаетъ его тоску... Онъ захотѣлъ добиться ея ласки.

Охъ, это было трудно... Мейля признавалась, что у нея есть славная способность позабывать каждаго собесѣдника, едва лишь она съ нимъ разстанется. Понятно, при большомъ количествѣ знакомыхъ, это хорошо, — но это вовсе не входило въ планы Жвирблиса. Извольте-ка толковать съ особой, которая черезъ минуту ничего не помнитъ. Къ тому же, послѣ трёпки, полученной отъ хищниковъ, Жвирблисъ имѣлъ далеко не блестящій видъ.

Какъ же пробраться къ ея сердцу? Жвирблисъ вспомнилъ, что онъ считался раньше недурнымъ разсказчикомъ. И вотъ—однажды, когда всѣ птицы отдыхали вмѣстѣ на рабочемъ фольваркѣ, онъ спѣлъ имъ что-то и принялся затѣмъ разсказывать... Онъ говорилъ имъ о людской неправдѣ, о бѣднякѣ, котораго чуть-чуть не заклевалъ злой ястребъ, о его разоренномъ домикѣ, о гибели его подруги, и о томъ, какъ ноетъ и болитъ теперь у этого бѣдняка сердце. Птицы не знали, о комъ идетъ разсказъ, но весь кружокъ замолкъ и слушалъ, и даже сама крягжде *(ласточка)*—мать Мейли—сочувственно кивала головой: „герей, герей!“ *(хорошо)*. А Мейля такъ пытливо глядѣла на разсказчика.

У нея было доброе сердечко. Хотя Илгсъ *(длинный)*, Пиктасъ, *(сердитый)*, Мандрусъ *(умный)* и другіе кавалеры безспорно были жертвами ея кокетства, но общечеловѣческое... общептичье горе трогало ее, конечно, глубже... Однако, Жвирблисъ скоро опомнился: ну, развѣ онъ ей пара? И онъ собрался улетѣть, тихонько отъ своихъ враговъ, куда-либо въ другое мѣсто, дальше отъ соблазна. Вечеромъ онъ заглянулъ, по привычкѣ, въ цвѣтникъ.

— Знаете ли,—сказала ему Мейля,—я хочу предложить вамъ нѣсколько странный вопросъ... Вы извините... Вы думали вчера о мнѣ? Я видѣла васъ ночью, во снѣ...

Онъ ли о ней не думалъ? Жвирблисъ отвѣтилъ утвердительно и признался красавицѣ во всемъ,—вѣдь, все равно, онъ завтра улетитъ отсюда. Юная ласточка склонила свою милую головку. А липы шумѣли, съ неба смотрѣли звѣзды. Жвирблисъ возвратился домой почти счастливый.

Дни побѣжали очень быстро. Жвирблисъ и Мейля летали всюду парочкой, до темной ночи. Птицы ужъ начали подшучивать надъ ними. Одна лишь крягжде хмурилась на дочку, когда та возвращалась поздно.

Точь-въ-точь, какъ у людей. У насъ, бывало, дома — тоже, когда сестра немного запоздаетъ вечеромъ, отецъ сейчасъ начинаетъ ворчать.

— Да гдѣ же это Вѣра пропадаетъ нынче?

— Въ комитетѣ.

— Чортъ побери всѣ комитеты!

Ну-съ, далѣе... Дѣла шли хорошо, пока не появился Іодсъ *(черный)*. Пропало ли у Мейли чувство состраданія, или она, сознавая, что бросить отца съ матерью—черезчуръ серьезный шагъ, желала испытать суженаго какъ слѣдуетъ,—она взялась мутить напропалую. Бѣдному Жвирблису сказали, что его не любятъ; ему совѣтовали такъ или иначе отдѣлаться отъ „увлеченія". Съ другой же стороны, и Іодсъ—„дѣтская привязанность" Мейли—прыгалъ насупившись, сердитый на весь міръ, начиная съ Жвирблиса и кончая своею тужуркой... Развеселить его не стоило для Мейли, конечно, ничего, — но когда ласточка съ этой благой цѣлью порхнула разъ съ своимъ поклонникомъ къ кустамъ бѣлой ольхи, Жвирблисъ почувствовалъ себя достаточно неловко. Онъ понималъ слово „любовь" немножко узко. По его мнѣнію, блаженство являлось непремѣнно чѣмъ-то въ родѣ строгаго дуэта. Отступить же, отойти въ сторону для счастія любимой... птицы — онъ не могъ. Лучше ужъ все порвать во имя самолюбія... Я тоже не хотѣлъ бы, чтобъ у моей невѣсты цѣловали руки студенты или юнкера.

Но Іодсъ скоро улетѣлъ куда-то. Ужъ наступала осень. Въ саду шуршали золотые листья. На клумбѣ оставались только настурціи и иммортели. Панъ-поссессоръ за это время сдѣлался отцомъ. Онъ выходилъ къ линейкѣ ѣхать въ поле, отъ колыбели своей дѣвочки, довольный и сіяющій. И вербы улыбались также...

Прошло еще двѣ, три недѣли. Въ долинахъ по утрамъ заклуби-

лись туманы. Они всползали кверху—и день былъ пасмурный, или ложились на землю—тогда свѣтило солнце. Для Жвирблиса—то загорался лучъ надежды, то ему снова приходилось слышать: „Знаете, я со-вер-шен-но къ вамъ равнодушна.“ Хуже всего, что Мейля послѣ какого-нибудь фортеля сейчасъ же щебетала: „Ну-ну, вы можете меня любить и послѣ этого?“

Жвирблисъ держалъ себя сравнительно похвально. Онъ вооружился стоическимъ терпѣніемъ. Онъ заявилъ еще вначалѣ, что онъ—не Пиктасъ и не Илгсъ, что онъ, пожалуй, могъ бы принять вызовъ и вести игру, но что онъ слишкомъ уважаетъ свое чувство... Все это было бы прекрасно—при взаимности.

Любила ли она его?... Да кто же это знаетъ? Мандрусъ сказалъ какъ-то, еще при Іодсѣ, что Жвирблиса схватилъ за ригой ястребъ. Это былъ вздоръ, но Мейля думала, что это правда. При слѣдующей встрѣчѣ—Жвирблисъ увидалъ въ ея прелестныхъ глазкахъ нѣчто, сдѣлавшее ее еще дороже для него и во-сто разъ милѣе... Обыкновенно, когда онъ говорилъ ей о любви, то ласточка молчала, смотрѣла вдаль и погружалась въ свои думы. Было ли это молчаніе зарницей счастья, или же Мейля просто умѣла слушать терпѣливо пылкіе монологи, не обязывавшіе ее, понятно, ни къ чему,—неизвѣстно. Быть можетъ, она думала, что и полуобманъ — полезное лекарство...

Стоила ли она его любви?... Да, стоила. Ея рѣзвость была залогомъ силы. Пусть человѣкъ смѣется послѣ надъ своею юностью: ея стремленія всегда законны. Тамъ и ошибки даже хороши,—оглянитесь туда.

О, вѣдь, и самъ онъ передъ нею виноватъ. „Сознаться вамъ, зачѣмъ я остаюсь въ Вербунахъ? Мнѣ хочется найти въ васъ нѣсколько побольше недостатковъ. Тогда я улечу спокойно...“ Какіе же въ ней были „недостатки“?

Крошечная малиновка захворала. Думали, что у нея корь. Матери ея не было дома. Корь заразительна. Мейля могла бы тоже отнестись къ малюткѣ безучастно и полетѣть куда-либо къ подругамъ въ гости, но она въ темный и холодный вечеръ отправилась къ больной, на самый конецъ сада. Жвирблисъ попался ей случайно и проводилъ ее. На обратномъ пути онъ былъ особенно задумчивъ и взволнованъ...

Всѣ крягжде улетаютъ на зиму. Онѣ боятся стужи и не желаютъ оставаться тамъ, гдѣ нѣтъ цвѣтовъ. И Мейля улетала съ ними. А Жвирблисъ былъ прикованъ къ мызѣ. Злой ястребъ сторожилъ его попрежнему... Насталъ послѣдній вечеръ.

Они сидѣли наверху бесѣдки. Ея рѣзныя украшенія, влажныя отъ недавняго дождя, бѣлѣли въ лунномъ полусвѣтѣ. Такіе же трепе-

щущіе блики лежали и на мокрыхъ кленахъ. Въ окнахъ мызы виднѣлись огоньки. Мейля была невесела.

— Если мы съ вами, можетъ быть, хорошіе актеры,—промолвилъ Жвирблисъ,—нельзя сказать, будто у насъ плохія декораціи. Давайте, Мейля, закончимъ все порядочнымъ финаломъ. Будьте пободрѣй... Ну, вы не любите меня, — вы улетаете. Я говорилъ вамъ, что знакомства, дружбы мнѣ не надо. Дѣлать нечего... Скажите только, для чего вы иногда смѣялись надо мной? Вѣдь я дѣйствительно любилъ васъ, и люблю.

— Кокетство,—вы же знаете...

— Зачѣмъ вамъ нужно было говорить — сейчасъ одно, потомъ другое? Вѣдь, вы противорѣчили сама себѣ... И это для кокетства тоже?

— Тоже.

— И то?... и то?...—Жвирблисъ напомнилъ ей всѣ лучшіе моменты ихъ свиданій. Мейля замолчала. Влажные блики засіяли ярче. Жвирблиса снова охватило всепобѣждающее чувство. Мейля опять тихонько прошептала „да“,—весной она вернется къ нему.

Теперь у насъ зима. Въ Вербунахъ—тоже. По саду воетъ вѣтеръ, въ полѣ—вьюга, въ лѣсу трещитъ морозъ. На мызѣ скучно. Жвирблисъ совсѣмъ одинъ. Поссессора не видно. Кругомъ шныряютъ хищники.

Жвирблисъ—совсѣмъ одинъ... Ему такъ трудно: больно и холодно. Въ душѣ темно... Онъ вѣритъ, разумѣется, въ себя; онъ знаетъ—и весна придетъ; но—не измѣнитъ ли ему до тѣхъ поръ, не позабудетъ ли его эта непостоянная, хорошенькая птичка?...

Н. Чудовъ.

ИДЕАЛИСТИЧЕСКІЯ НАСТРОЕНІЯ

ВЪ ПОЭМѢ

„ДЕМОНЪ“ ЛЕРМОНТОВА.

„Какъ бы ни была богата и роскошна внутренняя жизнь человѣка, какимъ бы горячимъ ключемъ ни била она во-внѣ и какими бы волнами ни лилась черезъ край, — она неполна, если не усвоитъ въ свое содержаніе интересовъ внѣшняго ей міра, общества и человѣчества.“

В. Бѣлинскій.

I.

Въ будничной жизни большинство судитъ о вещахъ не такъ, какъ подсказываетъ нравственное чувство, а такъ, какъ ихъ опредѣляетъ случайное настроеніе, привычка и темпераментъ. Однако, подобные взгляды, простительные въ житейскомъ обиходѣ, совершенно недопустимы, когда касаются литературныхъ произведеній, особенно тѣхъ, которые уже сами по себѣ учатъ относиться къ нравственному чувству съ уваженіемъ и осторожностью.

Наше общество переживаетъ, по примѣру Западной Европы, увлеченіе символизмомъ, какъ чѣмъ-то небывало-новымъ. Между тѣмъ символистическія настроенія издавна владѣли обще-человѣческой поэзіей и, разумѣется, русская мысль не оставалась въ сторонѣ отъ этого движенія. Поэма Лермонтова „Демонъ“ создалась какъ разъ въ благопріятную такимъ настроеніямъ эпоху философско-идеалистической тенденціи 40-хъ годовъ, хотя до сихъ поръ, кажется, находится подъ гнетомъ односторонняго пониманія.

... „Духъ отрицанья, духъ сомнѣнья“, — таковъ ходячій ярлыкъ Лермонтовскаго Демона, этого страстнаго любовника съ оттѣнкомъ байронизма. Немыслимо отрицать явное вліяніе Байрона на Лермонтова юношеской поры, когда начата была поэма. Однако, поэтъ да-

леко отошелъ отъ рабскаго подчиненія иностранному образцу. Изъ извѣстнаго стихотворенія Лермонтова видно, что этотъ, подобно Байрону,

... гонимый міромъ странникъ,
Но только съ русскою душой,

способенъ сообщить поэмѣ глубоко-жизненное, почти бытовое содержаніе, не лишенное при этомъ самаго идеальнаго, обще-человѣческаго значенія.

Какимъ путемъ дойти до такого сознанія? Не значитъ ли это навязывать поэту личныя мысли и чувства, чуждыя ему по крайней мѣрѣ въ минуту созданія поэмы? Читатель смѣло встрѣчаетъ подобный вопросъ, вспоминая странное ощущеніе, овладѣвшее имъ послѣ чтенія „Демона". Какъ разъ это не было ожидаемое удовлетвореніе, а какое-то томительное, пробуждающее мысли, волненіе. А если вы задумались, то уже не миритесь съ зауряднымъ романомъ коварнаго обольстителя и его жертвы. Грезы уступили мѣсто трезвой мысли, и за героями поэмы угадывается понемногу какая-то другая характеристика ихъ, можетъ быть скрытая идея автора. Вы пользуетесь законнымъ правомъ читателя не восхищаться геніемъ безсознательно и доказываете, что геній, желая высказать малое, высказываетъ многое въ этомъ немногомъ, по большей части помимо своего желанія, повинуясь только безсознательному порыву творчества. Такимъ образомъ, постепенно разберешься въ поэмѣ, ошеломляющей на первыхъ порахъ необычайностью фабулы и обиліемъ поэтическихъ красокъ.

Припоминая образъ Тамары, всякій скажетъ, что гдѣ-то встрѣчалъ ее. Развѣ это не женщина всякаго времени и какой угодно націи,— одна изъ тѣхъ, которыя окружаютъ насъ,—можетъ быть, наши матери, жены, сестры? Однообразный строй жизни дѣвушки нарушенъ замужествомъ. Здѣсь не важно, склонность или разсчетъ привели ее къ такому исходу,—слѣдуетъ признать, что ни одинъ еще идеалъ не укладывался въ рамки, опредѣляемыя общественными уставами, будь это даже брачное постановленіе. Необходимо подробнѣе выяснить эту мысль.

Предположимъ, что сошлись на сожительство двое лицъ, страстно любящихъ другъ друга. Казалось бы, брачный союзъ закрѣпитъ такую любовь до конца ихъ жизни. Однако, неизбѣжныя житейскія дрязги, неизбѣжное столкновеніе идеала съ дѣйствительностью обнаруживаетъ въ любящихъ супругахъ опять-таки неизбѣжныя людскія слабости. Идеалъ, совлеченный съ горнихъ, тускнѣетъ, — и вотъ супруги, каждый порознь,— скажемъ, жена, въ сущности, уже не любитъ своего мужа, какъ прежде, когда онъ былъ ея женихомъ или

любовникомъ, а любитъ тотъ свой идеалъ, который когда-то такъ полно, повидимому, воплощался въ немъ и все же оказался недостижимымъ. При всемъ своемъ очевидномъ внѣшнемъ счастьѣ и покоѣ такъ называемаго счастливаго супружества женщина съ подобными запросами уже неспокойна и не такъ счастлива, какъ прежде.—Допустимъ другой случай, когда судьба одного существа, чаще женщины, связана съ судьбой другого, т.-е. мужа, безъ всякой любви къ нему. Въ такомъ примѣрѣ понятно, что объ идеалѣ не можетъ быть и рѣчи. Женщина мечется въ поискахъ выхода изъ отвратительнаго круга насилія надъ ея чувствомъ. Наконецъ, желанный выходъ, повидимому, близокъ: встрѣтился человѣкъ, отвѣчающій ея душевнымъ запросамъ. Та же неизбѣжная житейская рутина будничныхъ отношеній обнаруживаетъ въ концѣ концовъ несовершенство новаго героя, и снова женское существо, достигнувшее было идеала, въ дѣйствительности не достигло его, снова неудовлетворено и снова ищетъ.

Итакъ, при условіи исключительной натуры, какою является героиня поэмы, мы застаемъ ее въ минуту, когда въ ней проснулась чувственность, и она уже любитъ „кого-то". Тамара томится желаніемъ найти воплощеніе мечты и, конечно, идеалъ ея — не князь Цинондала, этотъ заурядный женихъ, до котораго она снисходитъ по волѣ отца, какъ дитя своего общества, — и, по стеченію обстоятельствъ, какъ песчинка мірового хаоса, дунутая въ ту, а не въ эту сторону. Въ концѣ концовъ ея женихъ убитъ. Тамара свободна теперь осуществить свой идеалъ, какъ можетъ и какъ мечтаетъ. Однако, даже приближеніе къ нему сопряжено съ гибелью—и пылкое сердце платится жизнью за краткое обладаніе истиной.

Слѣдовательно, и Демона нѣтъ основанія понимать дьяволомъ, Это, дѣйствительно, греческій „daimon"—„божество",—олицетворяемое всякимъ въ томъ идеалѣ, въ который онъ вѣруетъ. Это—нѣчто неуловимое, но опредѣляемое каждымъ по своему разуму. Никому не придетъ въ голову умалять значеніе Демона, какъ „духа отрицанья и сомнѣнья", — все же при этомъ слѣдуетъ помнить, что если для одного извѣстное явленіе представляется идеаломъ, для другого оно же—паденіе; если для васъ нѣчто является чѣмъ-то, порою бывающее всѣмъ, то для другого это же нѣчто обращается въ ничто; проще говоря, зло—для одного, добро—другому. Демонъ, какъ воплощеніе идеала, являетъ собою содержательность человѣческаго духа, вмѣстившаго въ себѣ противорѣчія положительнаго и отрицательнаго, обнявшаго добро и зло, а не только одностороннія качества „отрицанья и сомнѣнья" или лучезарную божественность небожителя. Доказательства такого пониманія представляетъ сама поэма.

II.

На первыхъ же порахъ васъ поразитъ, какъ просто, до схематичности просто,—словно отчеканивая металлическую оправу,—поэтъ развиваетъ свою восточную повѣсть.

Уже въ „Посвященіи“ читатель настраивается къ воспринятію положеній, поражающихъ впослѣдствіи грандіозностью замысла. Поэта манитъ Кавказъ,—„суровый царь земли“,—которому онъ преданъ—„всегда и всюду“, всѣмъ сердцемъ, особенно на сѣверѣ—„въ странѣ чужой“.

. . . . . .
Тамъ вѣтеръ машетъ вольными крылами.
Тамъ ночевать слетаются орлы...

Именно картины угрюмой природы обѣщаютъ не менѣе суровыя и стихійныя настроенія поэмы.

Самая поэма начинается изображеніемъ Демона, какъ воплощенія любви въ идеалѣ,—сначала любви, олицетворенной въ „счастливомъ первенцѣ творенья, когда онъ вѣрилъ и любилъ, не зналъ ни злобы, ни сомнѣнья“, — затѣмъ, когда эта чистая любовь опалила себѣ крылья, какъ все небесное, соприкасаясь съ землей, когда —

Давно отверженный блуждалъ
Въ пустынѣ міра безъ пріюта,
Ничтожной властвуя землей,

подобно осложненному и уже извращенному понятію любви, какъ исключительно людского чувства, далеко не чуждаго грѣховной, плотской страсти. Рядомъ съ этой характеристикой Демона — такія же величественныя, бурныя картины Кавказскихъ горъ, гдѣ

Терекъ, прыгая, какъ львица
Съ косматой гривой на хребтѣ,
Ревѣлъ.....

гдѣ „золотыя облака“ и „лазурь небесъ“ не исключаютъ проявленія преимущественно грозныхъ силъ природы.

Непосредственно за этими слѣдуютъ другія, тихія картины, предшествующія появленію Тамары, т.-е. воплощенію дѣвичьей чистоты. Читатель чувствуетъ себя радостно среди „роскошной Грузіи долинъ“,

..... гдѣ соловьи
Поютъ красавицъ, безотвѣтныхъ
На сладкій голосъ ихъ любви.

Поэтъ умышленно сгущаетъ краски, рисуя этотъ „счастливый, пышный край земли“ располагающимъ къ чувственной любви: зной

полудня тамъ „сладострастенъ“; ночи „увлажнены ароматною росой“: звѣзды—ярки, какъ „очи грузинки молодой“.

Среди чарующей природы воздвигнутъ поэтомъ „мрачный домъ сѣдого Гудала“— сосредоточіе патріархальнаго быта съ его наивными обывателями, изъ которыхъ выдѣляется прекрасная дочь Грузіи, дитя своей семьи, типичная представительница своего круга. Гудалъ боготворитъ свое дѣтище; и немудрено: она—кость отъ костей воспитавшаго ее быта. Поэтъ называетъ ее Тамарой—именемъ самымъ обыденнымъ для Грузіи, изображая въ ней общій типъ дѣвушки. Но эта дѣвушка, съ одной стороны, невинна душой, по-дѣтски кокетлива, когда

..... по ковру скользитъ, плыветъ
Ея божественная ножка:

съ другой—пылкая южанка, типичный объектъ для страсти, обѣщаетъ расцвѣтъ чувственной любви:

Властитель Персіи златой
Не цѣловалъ такого ока;
Гарема брызжущій фонтанъ
Ни разу, жаркою порою,
Не омывалъ подобный станъ;
Еще ничья рука земная,
По милому челу блуждая,
Такихъ волосъ не расплела.

Поэтъ клянется, что „съ тѣхъ поръ, какъ міръ лишился рая, красавица такая подъ солнцемъ юга не цвѣла“. Словомъ, передъ нами — идеалъ чувственной красоты, зачатки темперамента, способнаго отдаться не только сладострастью, но и пережить болѣе глубокое испытаніе истинной любви.

До тѣхъ же поръ Тамара совершаетъ обычный путь дѣвушки. Она встрѣчаетъ закатъ солнца, восходъ луны, рѣзвится „веселья дѣтскаго полна“. Въ опредѣленный часъ ея жизни отецъ подводитъ къ ней жениха, и та, покорная родительской волѣ, отдаетъ руку отважному, молодому, но, въ сущности, первому встрѣчному искателю, хотя бы и „властителю Цинондала“. А затѣмъ—

Въ послѣдній разъ она плясала...
Увы!—заутра ожидала
Ее, наслѣдницу Гудала,
Свободы рѣзвое дитя,
Судьба печальная *рабыни*.
. . . . . .
И часто тайное сомнѣнье
Темнило свѣтлыя черты....

Однако, поэтъ не предупреждаетъ событій и не выдаетъ жениха Тамары. Современемъ онъ сталъ бы навѣрное патріархомъ-деспотомъ въ родѣ Гудала, кому „рабы послушные“ служатъ цѣной „многихъ трудовъ и слезъ“, до той же поры это — „удалой“, отважный горецъ, само собою, разумѣется, молодой и, вѣроятно, красивый:— „ремнемъ затянутъ ловкій станъ“. Но пока Гудалъ подготовляетъ свадьбу, пока—

Измучивъ добраго коня,
На брачный пиръ, къ закату дня,
Спѣшитъ женихъ нетерпѣливый,—

радость смѣняется горемъ, и вотъ—

На беззаботную семью,
Какъ громъ, слетѣла Божья кара.

Смерть князя — жестокая и несправедливая случайность, но въ сущности Тамара не любитъ своего будущаго мужа. Правда—„взоръ невѣсты ожидалъ жениха младого“, но это не было порывомъ страсти, а только жаждою такого порыва. Смерть жениха не уничтожила этого желанія,—наоборотъ, дала ему особую силу, уже возбужденную предчувствіемъ таинства любви. „Дѣвственный покой Тамары“ давно тревожила настойчивая мечта любви, и Тамара инстинктивно ждала осуществленія ея въ бракѣ съ княземъ Цинондала. Въ борьбѣ съ собою Тамара испытываетъ всю тревогу пробудившейся страсти—

Всѣ чувства въ ней кипѣли вдругъ:
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жиламъ пробѣгалъ,—

и въ то же время она инстинктивно противится освобожденію чувства, приписывая „неотразимую мечту“ „лукавому духу“. Она „не отдастъ сердца другому,—супругъ ея взятъ сырой землею“,—а потому религія—вотъ единственное прибѣжище души, обуреваемой страстями.

Но и въ монашеской одеждѣ
Все беззаконною мечтой
Въ ней сердце билося, какъ прежде.

Такимъ образомъ настало время, когда чувственность побѣждаетъ свою жертву:

Пылаютъ грудь ея и плечи,
Нѣтъ силъ дышать, туманъ въ очахъ,
Объятья жадно ищутъ встрѣчи,
Лобзанья таютъ на устахъ...

Новая сила зоветъ Тамару отрѣшиться отъ рутины молитвенныхъ обрядностей:

Твоя слеза на трупъ безгласный
Живой росой не упадетъ;
. . . . . .
Небесный свѣтъ теперь ласкаетъ
Безплотный взоръ его очей;
Онъ слышитъ райскіе напѣвы...

И Тамара прислушивается къ увѣщанію послѣдовать голосу природы, голосу своего сердца, отзвуку изъ вѣковѣчнаго царства Пана, гдѣ

На воздушномъ океанѣ,
Безъ руля и безъ вѣтрилъ,
Тихо плаваютъ въ туманѣ
Хоры стройные свѣтилъ.

Роковая стихійность, сопровождающая возникшую любовь, неизбѣжна: это — нѣчто въ родѣ языческаго „фатума“: —

Въ день томительный несчастья
Ты о нихъ лишь вспомяни,
Будь къ земному безъ участья
И *безпечна*, какъ они.

И вотъ раздается „пѣснь торжествующей любви“:

Лишь только ночь своимъ покровомъ
Верхи Кавказа осѣнитъ,
. . . . . .
Къ тебѣ я стану прилетать,
Гостить я буду до денницы,
И на шелковыя рѣсницы
Сны золотые навѣвать...

Тамара теряетъ силу бороться противъ страсти и отдается ей.

III.

Читатель спроситъ, кого же собственно слѣдуетъ подразумѣвать подъ Демономъ? Обычнаго ли героя фантастической поэмы или какое-либо символическое настроеніе?

Подобно тому, какъ въ Тамарѣ угадывается любая изъ женщинъ, воплотившихъ въ себѣ душу и запросы Тамары, такъ и подъ Демономъ должно подразумѣвать любого изъ мужчинъ, въ комъ женщина, подобная Тамарѣ, воплотила бы свой идеалъ. Образъ Демона

отнюдь не служитъ какой-то псевдо-реальной фантастикѣ, — наоборотъ, въ немъ воплотились настроенія и переходы истинной страсти по отношенію ко всякому лицу времени и мѣсту, хотя бы и самымъ реальнымъ. Въ дальнѣйшемъ теченіи поэмы можно прослѣдить развитіе дѣятельной, активной силы любви въ Демонѣ—въ противоположность анализу пассивнаго чувства Тамары.

Величавое, независимое существо смущается при встрѣчѣ съ той, которая овладѣетъ имъ съ первой же минуты:

Нѣмой души его пустыню
Наполнилъ благодатный звукъ,
И вновь постигнулъ онъ святыню
Любви, добра и красоты...
. . . . . .
Онъ съ новой грустью сталъ знакомъ.

Гордый, самолюбивый, замкнутый въ себѣ, сильный духъ зависитъ теперь отъ настроенія близкой ему души, слабой тѣломъ, но сильной въ сердечномъ порывѣ:

И входитъ онъ любить готовый,
Съ душой, открытой для добра;
И мыслитъ онъ, что жизни новой
Пришла желанная пора.

Человѣкъ жадно идетъ навстрѣчу этой „жизни новой",—дантовской vita nuova,—и, вступая въ нее, чувствуетъ, какъ

Слеза тяжелая катится...
Понынѣ возлѣ кельи той
Насквозь прожженный виденъ камень
Слезою жаркою, какъ пламень...

Эта „слеза любви" есть въ то же время истинный перлъ лермонтовской поэзіи, характеризующій короче и полнѣе всякаго комментарія сущность любовной силы, прожигающей камень и двигающей горами.

Непосредственно за изображеніемъ такой пламенной любви, граничащей съ восторгомъ пламенной вѣры, рисуется, какъ фонъ лучезарной картины, „святой" монастырь, прибѣжище другой—рядовой вѣры, оплотъ буржуазной морали:

Въ прохладѣ межъ двумя холмами
Таился монастырь святой...

Неуклонимо-свято, но холодно преслѣдуетъ онъ свои земные, простые идеалы. „Посланникъ рая, херувимъ", отражаетъ въ себѣ нѣж-

ное вѣяніе утраченнаго идеала, воплощая скорбное чувство, сопровождающее всякую утрату,—тотъ отблескъ надземнаго, отвлеченнаго идеала, который меркнетъ при осуществленіи его въ жизненной практикѣ. Вотъ почему, встрѣчаясь съ Демономъ, этимъ олицетвореніемъ уже оскверненнаго землей чувства, Ангелъ говоритъ:

Твоихъ поклонниковъ здѣсь нѣтъ...
Къ моей любви, къ моей святынѣ
Не пролагай преступный слѣдъ.

Однако, когда стихійный порывъ любви, какъ истинно-человѣческаго чувства, взялъ перевѣсъ надъ отвлеченной мыслью и даже совѣстью, Ангелъ, „медленно взмахнувъ крылами, въ эѳирѣ неба потонулъ“, т.-е. отошелъ въ ту область, гдѣ полагается быть источнику всѣхъ идеаловъ. И вотъ, подвергшись предварительному искусу, выдержавъ борьбу съ самимъ собою, не говоря уже о другихъ препятствіяхъ, Демонъ становится во-очію передъ Тамарой...

Съ этой поры Тамара — лицомъ къ лицу съ своимъ чувствомъ. Она — во власти того, „чей взоръ надежду губитъ“. Недавняя дѣвушка-ребенокъ превратилась въ женщину. Воспоминанія дѣтской поры отлетѣли, какъ далекій сонъ, но житейская опытность еще не коснулась Тамары. Вмѣсто этого неожиданно создаются самыя серьезныя положенія, ведущія къ трагической развязкѣ. Какъ-то само-собою предчувствуется торжество идеала, а стало-быть и гибель Тамары. Ея чувство восторжествуетъ на созданіи, почти недоступномъ ему, но тѣмъ значительнѣе такое торжество...

Лишь только человѣкъ вкусилъ отъ древа познанія, лишь только Прометей похитилъ огонь съ неба—

Лишь только Божіе проклятье
Исполнилось,—съ того же дня
Природы жаркія объятья
Навѣкъ остыли для меня,—

такъ разсказываетъ о себѣ Демонъ. И далѣе:

Въ борьбѣ съ могучимъ ураганомъ...
Одѣтый молньей и туманомъ,
Я шумно мчался въ облакахъ,
Чтобы въ толпѣ стихій мятежной
Сердечный ропотъ заглушить...

Мы присутствуемъ при возрожденіи любовью такой грубой силы, этой бурной души, полной неистовыхъ стремленій, нашедшихъ именно

въ любви свое разрѣшеніе. Болѣе того: суровая душа размягчается настолько, что готова поступиться многими своими типичными свойствами. Демонъ отрекается отъ „старой мести“, отъ „гордыхъ думъ“, хочетъ „съ небомъ примириться, молиться, вѣровать добру“. Онъ уже ничего не можетъ сознавать, кромѣ возрожденія своей души; его даже не привлекаетъ главнѣйшая задача своего существованія: не давать міру „цвѣсти въ невѣдѣньи спокойномъ“. Черезъ призму истиннаго чувства міръ представляется ему безъ „истиннаго счастья“, безъ „долговѣчной красоты“—

Гдѣ преступленья лишь, да казни,
Гдѣ страсти мелкой только жить...

При такомъ обновленіи сердца истинной любовью не можетъ быть и мысли о „людской минутной любви“, этого „волненья крови молодого“,—и негодованіе поднимается при возможной участи Тамары

Увянуть молча въ тѣсномъ кругѣ
Ревнивой грубости рабой...

— Ты видишь женскія мечты!—восклицаетъ, наконецъ, Тамара.

Могучій взоръ смотрѣлъ ей въ очи,—
Онъ жегъ ее; во мракѣ ночи
Надъ нею прямо онъ сверкалъ...

Такимъ образомъ свершилось таинство любви... Филистеръ, въ лицѣ монастырскаго сторожа, обходящаго „мѣрнымъ“ шагомъ обитель, не понимаетъ этого апоѳеоза страсти: ея свѣтъ не по будничному ярокъ для подслѣповатаго ока. Видя въ ней одинъ развратъ, онъ

Креститъ дрожащими руками
Мечтой взволнованную грудь,
И молча скорыми шагами
Обычный продолжаетъ путь.

Скажутъ: смерть Тамары — возмездіе за совершенный грѣхъ, за такъ называемое нарушеніе обѣта цѣломудрія. Но тогда ея душа не пріобщилась бы небу, какъ воплощеніе чистой любви. Самъ Ангелъ признаетъ, что

Она страдала и любила.

Демонъ потому и поверженъ въ прахъ, что служитъ представителемъ любви, коснувшейся земной обстановки, а потому извращен-

ной, какъ всякое приближеніе къ идеалу въ несовершенномъ человѣчествѣ. И Ангелъ овладѣваетъ Тамарой, носительницею чистѣйшаго слѣдованія идеалу, глядя „строгими очами“ на „искусителя“.

Когда прошла минута увлеченія, когда, вспоминая внушенныя традиціи, хватаешься за голову со словами:—ахъ, что я сдѣлалъ!—сама Тамара, видимо, поддается обаянію старинныхъ прописей:

Къ груди хранительной прижалась,
Молитвой ужасъ заглуша,
Тамары грѣшная душа.

Что остается дѣлать Демонамъ, когда вся сила, противъ которой они возставали, въ свою очередь возстала на нихъ,—когда общественная рутина празднуетъ побѣду своихъ постановленій, погребаетъ Тамару — „какъ древній требуетъ обрядъ“, — „межъ старыхъ дѣдовскихъ костей“, — и съ недоумѣніемъ указываетъ на смѣльчака, пытавшагося единично возстать на многихъ...

Какимъ смотрѣлъ онъ злобнымъ взглядомъ,
Какъ полонъ былъ смертельнымъ ядомъ
Вражды, не знающей конца...

И, дѣйствительно, можно повѣрить, что „вѣяло могильнымъ хладомъ отъ неподвижнаго лица“—именно, „могильнымъ“: изъ могилы, навсегда схоронившей идеалъ любви... Что̀, наконецъ, дѣлать Демонамъ, когда даже не узко-понимаемая обществомъ мораль, а просто сила слѣпой судьбы губитъ свободу чувства,—когда душа Тамары

..... была изъ тѣхъ,
Которыхъ жизнь—одно мгновенье
Невыносимаго мученья,—

когда Самъ Творецъ,—„соткавши изъ лучшаго эѳира живыя струны ихъ“, признаетъ, что

Онѣ не созданы для міра,
И міръ былъ созданъ не для нихъ.

Поэма заключается подъ тѣмъ же настроеніемъ, подъ какимъ и была начата. Подобно тому, какъ Демонъ въ первыхъ строфахъ рисуется былымъ олицетвореніемъ любви въ идеалѣ, когда чистый духъ—„счастливый первенецъ творенья, вѣрилъ и любилъ, не зналъ ни злобы, ни сомнѣнья“, — такъ и для любви въ лицѣ Тамары, воплощенію этого чистаго идеальнаго чувства — „открылся рай“, — „рай

открылся для любви". Такая связь заключительной характеристики Тамары съ первоначальнымъ опредѣленіемъ Демона, какъ безгрѣшнаго небожителя, трогательно соединяетъ ихъ образы, подчеркивая и взаимно дополняя.

Въ концѣ концовъ союзъ Демона съ Тамарой—есть олицетвореніе того волненія человѣческой души, которое принято называть стремленіемъ къ идеалу. Если въ Тамарѣ этотъ идеалъ воплощается пассивною, довлѣющей сама себѣ силою, то въ образѣ Демона тотъ же идеалъ превращается въ дѣятельную культурную силу, толкающую не только ея носителя, но и всякаго прикасающагося ему по пути развитія и блага—къ безконечной цѣли—часто по головамъ другихъ, еще чаще—цѣною собственной жизни.

С. Махаловъ.

ВЕЙМАРЪ.

(ИЗЪ ПУТЕВЫХЪ ВПЕЧАТЛѢНІЙ).

> ....Гёте былъ духъ, во всемъ жившій и все въ себѣ ощущавшій своимъ поэтическимъ ясновидѣніемъ. Онъ многостороненъ, какъ природа, которой такъ страстно сочувствовалъ, которую такъ горячо любилъ и которую такъ глубоко понималъ.
>
> ....Шиллеръ былъ духъ столь же великій, сколько и нравственный: величіе и нравственность нераздѣльны какъ теплота и свѣтъ въ огнѣ.
>
> *В. Г. Бѣлинскій.*

Время мчится всесокрушающимъ вихремъ, комкая, сметая, разрушая... Люди борятся, губятъ другъ друга: сильный поглощаетъ слабаго, слабый гибнетъ, подавленный собственнымъ безсиліемъ... Слезы, печаль смѣняются радостью и смѣхомъ и наоборотъ... И все снова стирается, какъ мѣлъ на классной доскѣ, все исчезаетъ куда-то... но куда?...

И среди этого жизненнаго сумбура, какъ немеркнущія звѣзды, горятъ вѣчнымъ огнемъ созданія человѣческаго генія. Пусть геній этотъ принадлежитъ всему міру, пускай твореніями его восхищаются милліоны самыхъ различныхъ народностей, тѣмъ болѣе должна быть счастлива страна, ставшая колыбелью блестящему выродку, тѣмъ болѣе долженъ гордиться народъ, породившій его...

Шиллеръ! Гёте!... Вы читаете ихъ произведенія, вы проникаетесь глубокимъ чувствомъ прекраснаго, вы преклоняетесь передъ необыкновенной силой пророческаго ума, какъ бы прозрѣвающаго безконечную даль вѣковъ, и все-таки вы не чувствуете плоти и крови, для васъ это—призраки, миѳъ... Но когда вы войдете въ тѣ самыя комнаты, гдѣ жилъ, дышалъ, мыслилъ, творилъ великій геній, когда вы очутитесь среди тѣхъ стѣнъ, тѣхъ предметовъ, которыми онъ пользовался, которые любилъ, тогда встаетъ передъ вами уже не отвлеченный образъ, а живое человѣческое существо, и ваше сердце

переполняется удивленіемъ и благодарностью къ народу, давшему вамъ возможность пережить эти свѣтлыя минуты...

Веймаръ!... Вы знаете изъ біографій Шиллера и Гёте, что они жили въ Веймарѣ, ходили другъ къ другу въ гости, вели дружескія длинныя бесѣды... Но что такое Веймаръ?—Звукъ пустой, звукъ, ничего не говорящій ни вашему сердцу, ни вашему воображенію...

И вотъ вы въ Веймарѣ. Странно: съ первой же минуты тревожное сладкое чувство охватываетъ васъ, какъ будто повѣяло чѣмъ-то добрымъ, возвышающимъ душу, или наступилъ какой-то праздникъ—и правда!... то праздникъ духа, пережившаго матерію.

Вы идете по широкой тѣнистой аллеѣ... Вотъ площадь... За нею Веймаръ, старый нѣмецкій Веймаръ, милый старый нѣмецъ, таинственно и добродушно манящій васъ къ себѣ... Вы минуете площадь и вступаете въ городъ. Вотъ театръ, невзрачный и небольшой, а передъ нимъ на одномъ пьедесталѣ стоятъ двѣ величавыя фигуры. Онѣ стоятъ, изваянныя рукою художника, какъ бы увѣковѣчившаго этимъ памятникомъ ихъ дружескій союзъ... Два друга, два сердца, два генія!... Они стоятъ, незыблемые и великіе, передъ храмомъ того искусства, которому отдали такъ много, передъ театромъ, въ стѣнахъ котораго хранится тайна ихъ многихъ радостей и многихъ страданій. Это зданіе было, кажется, выстроено еще при жизни Гёте, во время управленія имъ театромъ, взамѣнъ сгорѣвшаго, гдѣ впервые увидѣли свѣтъ драмы Шиллера...

Невдалекѣ отъ театра стоитъ сѣровато-зеленоватый домикъ; деревянная, узкая, полутемная лѣстница и въ третьемъ этажѣ четыре маленькія небогатыя комнатки—здѣсь жилъ Шиллеръ. Внизу помѣщалась его семья.

Если вѣрить въ самостоятельную жизнь духа, покинувшаго внѣшнюю земную оболочку—духъ Шиллера, витая среди своего бывшаго скромнаго обиталища, долженъ испытывать сладкое чувство радости: воспоминанія о Шиллерѣ-поэтѣ будутъ жить вѣчно въ этомъ зеленовато-сѣромъ домикѣ—вѣчно, пока живы Германія, ея языкъ, ея народъ.

Салонъ, какъ громко величается вторая комната, сплошь покрытъ поблеклымъ, вышитымъ, ручной работы ковромъ; такая же и мебель, это—даръ веймарскихъ женщинъ того времени. Въ двухъ небольшихъ витринахъ хранятся разные сувениры—подарки друзей... Но дальше, дальше!... Гдѣ же онъ, тотъ драгоцѣнный рабочій столъ, за которымъ возникали образы Вильгельма Теля, Валленштейна, Фіеско, Іоанны д'Аркъ?...

Вы переступаете порогъ кабинета. Передъ вами квадратная угловая комната, въ три окна. Возлѣ послѣдняго скромно ютится со-

всѣмъ простой, небольшого размѣра, письменный столъ, съ ящиками... Сколько отрадныхъ, мучительныхъ и горькихъ ночей провелъ за нимъ вдохновенный Шиллеръ. Здѣсь изъ-подъ геніальнаго пера лилась пылкая рѣчь юнаго Мортимера, здѣсь, больной, уже умирающій поэтъ, въ промежутокъ между приступами тяжкой болѣзни, оставилъ міру дивныя строки своего предсмертнаго, неоконченнаго „Дмитрія"...

Надъ столомъ повѣшенъ заглавный листъ „Вильгельма Теля" съ дѣйствующими лицами, написанный рукой Шиллера; еще выше — гравюра изъ „Валленштейна"... Въ углу деревянная кровать, сплошь покрытая засохшими вѣнками. Надъ кроватью — большой портретъ Шиллера, подъ нимъ, поменьше — Шиллеръ - студентъ, а въ головахъ—онъ снятый въ гробу. Поэтъ умеръ въ кабинетѣ, куда во время его болѣзни была перенесена его кровать, изъ крошечной полутемной комнаты, служившей ему спальней...

...Но вотъ другой уже не домикъ, а большой домъ, по внѣшнему своему виду напоминающій старинное казенное зданіе, со множествомъ оконъ, съ параднымъ подъѣздомъ, съ тяжелыми дубовыми дверями. Широкая, свѣтлая лѣстница поднимаетъ васъ во второй этажъ и, прочитавъ на порогѣ привѣтливое „Salve", вы вступаете въ покои великаго „олимпійца", какъ бы и послѣ смерти любезно встрѣчающаго посѣтившихъ его гостей.

При входѣ въ Speisezimmer васъ поражаютъ двѣ гигантскія головы Юпитера и Юноны, напоминающія вамъ о любви хозяина къ скульптурѣ и древнему міру. Всѣ стѣны увѣшаны портретами близкихъ и друзей, между которыми видное мѣсто занимаетъ великій герцогъ Карлъ-Августъ, современникъ, другъ и покровитель обоихъ поэтовъ. Слѣдующая комната называется „плафонной". Свѣтлая, просто, но изящно обставленная, она производитъ удивительно милое впечатлѣніе. Флигель (рояль), на которомъ нѣкогда играла полька Шимановская — предметъ послѣдней нѣжной страсти старца-поэта; великолѣпное пано—копія съ античной картины, сдѣланное по заказу Гёте; диванъ, уютно прислоненный къ стѣнѣ; въ простѣнкѣ, между окнами, столъ, на немъ прелестная гипсовая статуэтка — „Гёте въ Римѣ": поэтъ полулежитъ въ свободной позѣ, съ плечъ упалъ небрежно плащъ, длинныя волнистыя кудри обрамляютъ вдохновенное лицо... Гёте молодъ — онъ весь олицетвореніе красоты и поэзіи...

За „плафонной" идетъ рядъ комнатъ, краснорѣчиво говорящихъ о привычкахъ, влеченіяхъ и вкусахъ поэта. Коллекціи камей, гравюръ, медалей, наброски, рисунки знаменитыхъ художниковъ, античныя вещи, добытыя изъ раскопокъ, то тамъ, то тутъ—мраморныя головы или цѣлыя изваянія... и среди этого художественнаго музея

рѣдкостей, со стѣнъ глядятъ портреты самого Гёте, съ его проницательными, жгуче-черными глазами.

У входа въ садъ, маленькая красивая комнатка, гдѣ въ дружеской бесѣдѣ съ Шиллеромъ германскій „олимпіецъ“ любилъ проводить часы. На стѣнахъ, различные дѣтскіе силуэты во весь ростъ, исполненные самимъ поэтомъ. На высокомъ пьедесталѣ фигура Гёте до пояса, съ черепомъ въ рукахъ: Гёте—уже старикъ, его высокій, выпуклый лобъ полонъ сосредоточенной думы, подъ бровями залегли двѣ глубокія складки, глаза внимательно-печальны, и величавымъ спокойствіемъ мыслителя вѣетъ отъ геніальнаго лица. Онъ не протестуетъ, не волнуется малодушно—онъ постигъ тайну „неизбѣжнаго“, онъ побѣдилъ „случайное“... Вспоминается „Вильгельмъ Мейстеръ“, вспоминаются изумительныя по глубинѣ и простотѣ мысли о силѣ покорности передъ „неизбѣжнымъ“ и о борьбѣ съ „случайнымъ“...

Какъ очарованные покидаете вы Веймаръ, точно вы сами участвовали въ этой трогательной заботѣ цѣлаго народа о своихъ великихъ людяхъ, точно вы пріобщились къ чему-то возвышенному и прекрасному. Душа полна великодушныхъ порывовъ, голова полна бодрыхъ, живыхъ думъ, въ памяти возникаютъ цѣлыя строфы забытыхъ стиховъ, картины, образы... И оба они—восторженный идеалистъ и мудрый объективистъ-мыслитель—встаютъ, какъ живые, передъ глазами.

Да! среди повседневной борьбы и копеечныхъ разсчетовъ, среди мелкой зависти, ненависти и гнѣва, среди растлѣвающей атмосферы, какою мы дышемъ, среди которой живемъ, какъ дорогъ голосъ, хотя уже почившаго сномъ вѣчности человѣка, взывающій къ правдѣ, къ идеаламъ добра и справедливости! Они есть — эти идеалы—они есть! Подъ наслоеніями грязи, покрывшей нашу жизнь, мы все еще ихъ чувствуемъ, вопреки всему; и тамъ, гдѣ-то, въ далекихъ тайникахъ, измученной души гнѣздится вѣра въ ихъ торжество. И книга—этотъ проводникъ тепла и свѣта, этотъ хранитель мыслей лучшихъ людей, книга проникнутая вѣрой въ идеалы—наше утѣшеніе, любовь, гордость!... А тѣмъ, кто, протестуя и волнуясь, плакалъ настоящими жгучими слезами надъ человѣческимъ горемъ, изливая свои негодованіе и печаль въ вымученныхъ строкахъ, кто длинными безсонными ночами думалъ упорно и долго, и много страдалъ, и много постигъ, завѣщая намъ вѣру въ лучшіе свѣтлые дни — да будемъ же мы благодарны вѣчно!... вѣчно!...

Н. Анненкова-Бернаръ.

1898 г. Октябрь.

НА РАЗСТОЯНІИ ПОЛУВѢКА.

БАЛЬЗАКЪ, АНТ. ЧЕХОВЪ И ВЛАД. КОРОЛЕНКО

О „КРЕСТЬЯНАХЪ“.

Honoré de Balzac „Les paysans“ (1845—1855); *А. П. Чеховъ* „Мужики“ (1897 г.); *В. Г. Короленко* „Надъ Лиманомъ“ (1897 г.).

КРИТИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ *).

„Такъ вотъ прогрессъ!“—воскликнулъ Эмиль Блондэ, парижскій журналистъ, пріѣхавшій въ 20-хъ годахъ нынѣшняго вѣка въ бывшее имѣніе генерала Монкорнэ, на вдовѣ котораго онъ только что женился, и удивленный перемѣной во внѣшнемъ видѣ помѣстья, перепроданнаго крестьянамъ. „Да это просто страница изъ „Общественнаго договора“ Ж.-Ж. Руссо! И я запряженъ въ соціальную машину, которая такъ функціонируетъ!... Боже мой, что станетъ вскорѣ съ королями? Что станетъ, при такомъ положеніи дѣлъ, даже съ самими націями черезъ какія-нибудь пятьдесятъ лѣтъ?...“

„Мой другъ, ты меня любишь, ты со мной,—отвѣтила Эмилю его жена,—я нахожу настоящее прекраснымъ и не забочусь о столь отдаленномъ будущемъ“. Эмиль Блондэ согласился съ мнѣніемъ жены и карета умчала младоженовъ, справлявшихъ свой медовый мѣсяцъ...

Такъ заканчивалъ, пятьдесятъ слишкомъ лѣтъ тому назадъ, Бальзакъ свой романъ о „мужикахъ“ (Les paysans), въ которомъ излагалась исторія борьбы и побѣды крестьянскаго населенія Франціи надъ другими сословіями общества изъ-за владѣнія землей. „Qui terre a, guerre a“, у кого земля, изъ того и война: таково первоначальное заглавіе романа. Первая часть его появилась въ печати въ

*) Лекція, читанная въ пользу Общества вспоможенія бывшимъ слушательницамъ высшихъ женскихъ курсовъ, 1-го марта 1898 года.

1845 году; вторая лишь десять лѣтъ спустя, послѣ смерти автора († 1850 г.). Бальзакъ трудился надъ этимъ произведеніемъ долго: „сотни разъ въ теченіе восьми лѣтъ,—писалъ онъ въ посвященіи Гаво,—я откладывалъ работу, сотни разъ принимался вновь за книгу, самую значительную изо всѣхъ, которыя я имѣлъ въ виду написать". Между тѣмъ „Les paysans" — нынѣ наименѣе извѣстное изъ произведеній геніальнаго автора „Комедіи человѣчества", и въ художественномъ отношеніи, быть можетъ, не лучшее. Но Бальзакъ поставилъ себѣ задачей—„очертить нѣсколько выдающихся типовъ народа, забытаго,—по его выраженію,—столькими писателями въ погонѣ за новыми сюжетами". „Быть можетъ, это забвеніе—только осторожность", не безъ язвительности замѣчаетъ онъ далѣе, „осторожность въ наше время, когда народъ получилъ наслѣдство всѣхъ (былыхъ) куртизановъ королей. Преступниковъ окружили поэтическимъ ореоломъ (on a fait de la poésie avec les criminels), надъ палачами проливали слезы умиленья, пролетаріевъ почти возвели въ божество". И Бальзакъ задумалъ показать „мужиковъ" такими, каковы они на самомъ дѣлѣ (или правильнѣе—какими они представляются автору), сорвавъ покрывало поэзіи, чтобы стать лицомъ къ лицу съ дѣйствительностью. Картина получилась тяжелая, потрясающая и, какъ указано, герой романа съ ужасомъ думаетъ о завтрашнемъ днѣ, о томъ, что станетъ съ правителями и съ общественнымъ строемъ, при постоянной борьбѣ и заговорахъ (la conspiration permanente),—тѣхъ, кого мы еще называемъ слабыми, противъ тѣхъ, которые воображаютъ себя сильными, мужика противъ богачей. Бальзакъ обращается къ будущему законодателю общества (le legislateur de demain), чтобы уяснить ему настоящее положеніе дѣла; соціальныя проблемы его тревожатъ, но самъ онъ остается въ своей области, не рѣшая, т.-е. не предрѣшая вопросовъ, которые невольно напрашиваются при вдумчивомъ, проникновенномъ изученіи дѣйствительности: художникъ предлагаетъ лишь матеріалы для законодателей.

Прошло пятьдесятъ лѣтъ; миновались революціи: Франція испытала нѣсколько „режимовъ", но „богачи" попрежнему считаютъ себя сильными и бѣдныхъ называютъ слабыми, хотя и ухаживаютъ за ними, задабривая и задаривая передъ выборами въ депутаты; а вопросъ, поставленный Блондэ, попрежнему остается вопросомъ: „le legislateur de demain" все еще не явился. Съ Бальзака зародилось лишь новое направленіе въ народнической литературѣ, которое встрѣтило и порицателей и продолжателей, на западѣ и у насъ. У насъ, первоначально, направленіе Жоржъ Сандъ естественно должно было вызвать больше сочувствія у передовыхъ нашихъ писателей 40-хъ

годовъ, такъ какъ условія жизни были иныя и идеалистическое направленіе въ пользу тѣхъ, кого мы съ бо̀льшимъ правомъ, чѣмъ на Западѣ въ то время, называли „слабыми“ и угнетенными, — это направленіе у насъ только возникло въ ту пору, когда Бальзакъ вступилъ съ нимъ въ борьбу во Франціи. Мы видѣли, что Эмиль Блондэ ссылается прежде всего на Руссо, усматривая какъ бы осуществленіе его идей въ наступленіи мужицкаго царства *). Это крайность; но, дѣйствительно, именно Руссо принадлежитъ починъ въ той идеализаціи народа, которая получила особое развитіе въ періодъ романтизма. Еще отвѣчая на тему, предложенную Дижонскою академіей въ 1750 году—о причинахъ неравенства между людьми и оправдывается ли оно законами природы,—Руссо выступилъ съ новой тогда теоріей, которой суждено было долго тревожить умы своей смѣлостью, своей заманчивостью въ отвлеченіи и практической несостоятельностью. „Человѣкъ по сущности добръ“,—утверждалъ онъ. Природа надѣлила его наилучшими качествами, но общество развратило. „Первобытное состояніе самое счастливое, ибо человѣкъ рожденъ свободнымъ, а въ цивилизованной жизни онъ вездѣ скованъ цѣпями“. Руссо намѣчалъ типъ первобытнаго человѣка—l'homme de la nature—на чисто отвлеченной почвѣ, внѣ пространства и времени. „Начнемъ съ того,—писалъ онъ,—что отстранимъ всѣ факты, ибо они не имѣютъ отношенія къ вопросу“. Не историческія истины предполагалъ онъ излагать, а „гипотезы, условныя разсужденія, цѣль которыхъ выяснить сущность явленій (la nature des choses), а не ихъ происхожденіе“.

Однако, людямъ не свойственно оставаться исключительно на почвѣ чистыхъ отвлеченій, абстракта. Всякая теорія нуждается въ примѣненіи—или для провѣрки ея состоятельности, или просто для проясненія.

И вотъ, отвлеченный образъ „человѣка природы“ вскорѣ принялъ конкретную форму: сперва онъ былъ отожествленъ, несмотря на протесты Руссо, съ уцѣлѣвшими представителями первобытной культуры въ заатлантическихъ странахъ, и вызвалъ поэтическіе разсказы о жизни дикарей въ дѣвственныхъ лѣсахъ и пустыняхъ.

Съ другой стороны, въ центрѣ цивилизованной жизни естественно было обратиться къ тому классу общества, котораго всего менѣе коснулась цивилизація, къ простому народу, или къ крестьянству въ

*) Быть можетъ, Бальзакъ не случайно назвалъ своего героя *Эмилемъ*, а имѣя въ виду извѣстный романъ Ж. Ж. Руссо, съ цѣлью противопоставить именно герою Руссо человѣка, воспитаннаго на сентиментальныхъ теоріяхъ конца прошлаго вѣка, но утрачивающаго свои иллюзіи при столкновеніи съ дѣйствительностью.

широкомъ смыслѣ слова. Если признавать, что цивилизація имѣетъ и обратныя стороны, то именно тѣ положительныя, природныя качества, которыя утрачиваются при стѣснительныхъ, ненормальныхъ условіяхъ культурной жизни, должны были уцѣлѣть прежде всего въ средѣ простого народа... Такъ естественно зародилась идеализація крестьянскаго быта.

Конечно, не однѣ мечты о томъ, чтобы найти, такъ сказать, воочію „человѣка“ природы, или найти хоть нѣкоторыя изъ его положительныхъ свойствъ въ крестьянинѣ, не однѣ эти мечты вызвали расцвѣтъ народнической литературы въ нашемъ вѣкѣ: тутъ участвовало много другихъ факторовъ — соціальныхъ, экономическихъ, художественныхъ, политическихъ и даже психологическихъ; они въ разной степени содѣйствовали интересу къ изображенію въ литературѣ—не однихъ только культурныхъ классовъ общества, а также низшихъ слоевъ его.

Однако, идеи Руссо имѣли несомнѣнное вліяніе, и его оптимизмъ служитъ типичнымъ предшественникомъ многихъ позднѣйшихъ ученій „народничества“.

Въ литературѣ движеніе шло волнами, съ колебаніями вверхъ и внизъ, съ чередованіемъ періодовъ увлеченія, довѣрія, идеализаціи и иллюзій и реакціи въ обратную сторону.

Нынѣ, у насъ, А. П. Чеховъ въ своемъ недавнемъ разсказѣ о „Мужикахъ“ вернулся, на разстояніи полувѣка, къ точкѣ зрѣнія на крестьянъ Бальзака: оба произведенія сходны по выводамъ, связаны общностью пессимистическаго настроенія ихъ авторовъ, и это послужило намъ поводомъ сопоставить ихъ, при всемъ отличіи въ объемѣ произведеній, въ пріемахъ творчества и характерной индивидуальности обоихъ авторовъ — о чемъ рѣчь ниже. Но такъ какъ выводы получались односторонніе, я счелъ умѣстнымъ дополнить ихъ характеристикой литературнаго творчества В. Г. Короленко, по поводу его послѣдняго очерка „Надъ Лиманомъ“, также изъ народнаго быта. Короленко досказываетъ то, что опущено другими, т.-е. Бальзакомъ и Чеховымъ; онъ служитъ имъ въ извѣстномъ смыслѣ противовѣсомъ, является примиряющимъ звеномъ между двумя крайностями— какъ чрезмѣрной идеализаціи „человѣка природы“, такъ и слишкомъ рѣзкихъ, огульно-отрицательныхъ сужденій о „мужикѣ“.

Обратимся сперва къ произведенію Бальзака.

I.

Романъ Бальзака нельзя читать, какъ читаются обыкновенные романы: его приходится почти-что изучать; слишкомъ много въ немъ

всякаго рода вставокъ, отступленій, экскурсовъ въ сторону, соображеній автора „отъ себя“; дѣйствующихъ лицъ невѣроятное количество, и объ каждомъ изъ нихъ говорится такъ обстоятельно, такъ пространно, что они заслоняютъ собою главную канву разсказа. Въ картинѣ мало перспективы, планировки. Всѣ фигуры, главныя и второстепенныя, выписаны слишкомъ детально и загромождаютъ другъ друга. Въ общемъ чтеніе этого произведенія, гдѣ часто теряется изъ виду основная нить, нѣсколько утомительно, и только отдѣльными оазисами выступаютъ эпизодическія сцены, въ которыхъ проявляется во всей силѣ мастерство художника *). Внѣшнею завязкой романа служитъ, какъ выше упомянуто, т.-е. и завязкой, и развязкой—пріѣздъ журналиста Эмиля Блондэ въ имѣніе генерала де-Монкорнэ (въ Эгъ, близъ Суланжа), за женой котораго, урожденною маркизой де-Труавиль, онъ ухаживалъ еще при жизни генерала, пользовался ея взаимностью и теперь состоитъ въ извѣстной роли „друга дома“. Генералъ — бывшій герой Наполеоновскихъ кампаній, пріобрѣлъ большія помѣстья въ Бургундіи. Онъ задумалъ поселиться въ деревнѣ, гдѣ хочетъ хозяйничать самостоятельно, хотѣлъ бы встать въ дружественныя отношенія съ крестьянами, не прочь даже оказывать имъ благодѣянія, но планы его не удаются. Противъ него организуется цѣлая коалиція, во главѣ которой становятся — уволенный имъ управляющій имѣнія Гобертэнъ, и его замѣститель Сибилэ, дѣйствующій заодно съ Гобертэномъ, чтобы вынудить генерала отказаться отъ хозяйства.

Не будемъ останавливаться на перипетіяхъ этой борьбы, которая во всякомъ случаѣ продолжалась недолго: у Монкорнэ былъ только одинъ человѣкъ, безусловно ему преданный, неподкупной честности,— это его главный лѣсничій Мишо, бывшій гвардеецъ; но онъ убитъ въ засадѣ крестьянами, недовольными его строгими порядками. Жена Мишо умираетъ, разрѣшившись мертворожденнымъ ребенкомъ, подъ впечатлѣніемъ трагической смерти мужа. Все противъ генерала, не-

*) Экскурсы разнообразнаго характера: Бальзакъ то вдается въ научныя объясненія происхожденія какого-нибудь физическаго явленія — напримѣръ, зимнихъ пастбищъ для скота въ нѣкоторыхъ провинціяхъ Франціи и сѣверной Италіи; то опредѣляетъ значеніе Наполеона въ народныхъ представленіяхъ; то высказываетъ попутныя сужденія о Мольерѣ, Поль Луи Курье, объ испанской комедіи и ея вліяніи на французскій театръ въ XVII вѣкѣ, о Буало и неудачныхъ попыткахъ создать шутливый эпосъ во Франціи и т. д. Самостоятельно взятыя, эти замѣчанія небезынтересны, свидѣтельствуя о чрезвычайной пытливости ума Бальзака, который старался найти отвѣтъ на всѣ вопросы, приходившіе ему въ голову. Но нельзя не признать также, что они очень затягиваютъ изложеніе романа и нарушаютъ художественную цѣльность впечатлѣнія.

смотря на то, что онъ стоитъ на почвѣ строгой законности и высказываетъ даже великодушіе, неоднократно милуя провинившихся мародеровъ. Наконецъ, онъ самъ попадается въ засаду, какъ и Мишо: но крестьянинъ (Боннебо), которому выпалъ жребій застрѣлить Монкорнэ, даруетъ ему жизнь—за нѣсколько десятинъ земли. Генералъ сдается, продаетъ имѣніе и оно попадаетъ въ руки кулакамъ, которые вели противъ него интригу. Черезъ нѣсколько лѣтъ ген. Монкорнэ умираетъ, оставивъ все же довольно крупное наслѣдство женѣ, а Эмиль Блондэ, которому не повезло на почвѣ журналистики, женится на своей прежней страсти—вдовѣ генерала, и вотъ, проѣзжая случайно мимо Эгъ, гдѣ онъ провелъ первые счастливые дни со своей возлюбленной, онъ застаетъ на мѣстѣ прежней усадьбы совершенно иную картину: „Мѣстность была неузнаваема. Таинственныя рощи, аллеи парка, все это было срыто. Деревенскій ландшафтъ (la campagne) походилъ на картонъ съ образчиками у портного. Мужикъ овладѣлъ землей, какъ побѣдитель и завоеватель. Она была уже раздроблена на тысячу участковъ, и народонаселеніе между Коншами и Бланши утроилось". Эта картина и вызвала вышеприведенное восклицанье Блондэ, на которомъ заканчивается романъ.

Строго говоря, побѣдили не сами мужики, которые лишь воспользовались вторичною перепродажей имѣнія: главная борьба происходила между Монкорнэ и мѣстными кулаками — буржуа, болѣе всего и нажившимся при продажѣ и раздѣлѣ имѣнія Эгъ. Однако, участіе крестьянъ въ этой борьбѣ выразилось тѣмъ, что они оказали вначалѣ пассивную, а подъ конецъ вполнѣ активную поддержку партіи Гобертэна, перешли на его сторону, т.-е. на сторону неправаго хищника противъ честнаго человѣка, признавъ въ этомъ бо́льшую для себя выгоду, чѣмъ „лойяльныя" отношенія съ помѣщикомъ, стоявшимъ на почвѣ законности и правовыхъ порядковъ. Послѣдствія оправдали ихъ безсознательное предпочтеніе партіи хищниковъ: главный кушъ достался послѣднимъ, но выгадали и крестьяне. На чемъ же основывалась эта интимная связь кулачества и крестьянства? Что сближало ихъ? Вопросъ этотъ имѣетъ двѣ стороны, на которыя Бальзакъ и отвѣтилъ, съ одной стороны — характеристикой крестьянства, съ другой — поставленнымъ, но не разрѣшеннымъ соціальнымъ вопросомъ. „Въ описываемой драмѣ,—говоритъ онъ,—крестьяне представляются столь необходимыми участниками дѣйствія, что можетъ возникнуть сомнѣніе, не имъ ли (а не героямъ романа) слѣдуетъ приписать первую роль (les paysans sont... des comparses si nécéssaires à l'action qu'on hésitera peut être entre eux et les premiers roles). Соотвѣтственно, особое вниманіе отведено описанію ихъ быта, нра-

вовъ, этики въ широкомъ смыслѣ слова. Что касается другой стороны вопроса, т.-е. соціальной проблемы, то она намѣчается лишь вскользь: симпатіи автора какъ будто на сторонѣ Монкорнэ, но онъ констатируетъ неизбѣжное дробленіе поземельной собственности, какъ историческій законъ. „Если не перемѣнятъ гражданскаго законодательства,—пишетъ Бальзакъ,—черезъ какія-нибудь пятьдесятъ лѣтъ едва останется сотня крупныхъ помѣстій во Франціи". Далѣе онъ цитируетъ слова одной „пожилой дамы" стараго режима, которая заявила, что съ 1830 года не покидаетъ Парижа: „Я больше не ѣзжу въ помѣстья, съ тѣхъ поръ какъ зàмки обратились въ фермы". „Что же произойдетъ,—спрашиваетъ Бальзакъ,—въ концѣ концовъ изъ этой борьбы, все болѣе и болѣе жгучей, человѣка съ человѣкомъ, богатаго съ бѣднымъ?" Въ другомъ мѣстѣ онъ ссылается на коммунизмъ: „cette logique vivante et agissante de la democratie"; въ третьемъ — разъясняетъ, какъ нужно правильно понимать привиллегіи дворянства, стараясь оправдать ихъ raison d'être, и т. д. и т. д. Теоретическія соображенія автора по этому вопросу мы оставимъ въ сторонѣ, какъ наименѣе интересныя въ устахъ художника, забывшаго свое обѣщаніе представить лишь матеріалы для будущаго законодателя и, по неосмотрительности, попробовавшаго самовольно принять эту роль на себя... Въ какихъ же основныхъ чертахъ описываетъ Бальзакъ крестьянство?

Въ изложеніи авторъ нѣсколько двоится: съ одной стороны, мы имѣемъ рядъ живыхъ характеристикъ, мастерски намѣченныхъ типовъ и чрезвычайно яркихъ, колоритно написанныхъ сценъ; съ другой—теоретическія соображенія самого автора, разсужденія „по поводу", болѣе или менѣе удачныя обобщенія конкретныхъ случаевъ. Дѣйствующія лица „фигурантовъ" (comparses) романа, какъ выразился Бальзакъ, „статистовъ, которые соперничаютъ въ значеніи съ актерами, играющими первыя роли", представляются въ слѣдующей группировкѣ. На первомъ планѣ—семья кабатчика Франсуа Тонсаръ, члены которой одинъ другого хуже. Самъ хозяинъ—эгоистъ и лѣнтяй; правда, онъ могъ быть и хорошимъ работникомъ, когда дѣло шло о его личныхъ интересахъ, но обыкновенно выѣзжалъ за счетъ другихъ, и главной мечтой его было—устроить себѣ спокойную и беззаботную жизнь лодыря. Женившись по разсчету на дочери зажиточнаго фермера и школьнаго учителя Фуршона, онъ нѣсколько ошибся въ ожиданіяхъ—Фуршонъ послѣ смерти жены сталъ горькимъ пьяницей, лишился мѣста и достатка, опустился, излѣнился, сталъ зятю не источникомъ доходовъ, а бременемъ: „le gendre paresseux rencontra par un accident ordinaire un beau-père fainéant".

Его дочь, жена Топсара, красивая деревенская баба, но плохая работница въ полѣ. Съ тѣми же наклонностями къ жизни „себѣ въ сласть“, къ лѣни, къ распутству, какъ и самъ Тонсаръ, она, выдержавъ нѣкоторое время суровое обращеніе мужа, который вымещалъ на ней свою досаду въ несбывшихся надеждахъ на состояніе Фуршона, вскорѣ сумѣла тоже забрать его въ свои руки, потакая его слабостямъ, поощряя въ порокахъ, и затѣмъ сама пріобрѣла многочисленныхъ и выгодныхъ посѣтителей кабака, не отличаясь въ разборчивости средствъ привлеченія кліентовъ. Мужъ смотрѣлъ сквозь пальцы на невѣрности жены, довольный результатами получекъ, никогда не спрашивая, откуда онѣ. Двѣ дочери Тонсаръ пошли по стопамъ матери и славились въ околодкѣ своей доступностью. Сыновья, особенно старшій—Николай, отличались тоже безпорядочностью жизни и сластолюбивыми наклонностями. Дѣдъ, старикъ Фуршонъ, какъ сказано, пьяница и бездѣльникъ, кормится тѣмъ, что подписывается за неграмотныхъ, но промышляетъ также продѣлками надъ обитателями и посѣтителями зàмка, выманивая у нихъ деньги хитростью и обманомъ. Такъ, съ самаго начала романа, Эмиль Блондэ становится „жертвой“ ловкой продѣлки Фуршона съ поимкой нурка, будто вспугнутаго Блондэ, и Фуршонъ заставляетъ его вдвойнѣ заплатить: сцена эта, мастерски написанная, одна изъ лучшихъ „страницъ“ въ бытовыхъ разсказахъ Бальзака. Неизмѣннымъ спутникомъ и помощникомъ Фуршона въ его продѣлкахъ служитъ мальчуганъ Мушъ, сирота, испорченный и развращенный преждевременнымъ „развитіемъ“. У него товарищъ — такой-же бродяга — Вермишель, мѣстный музыкантъ на свадьбахъ и посидѣлкахъ. „Мушъ и Вермишель,—говоритъ Бальзакъ,—связанные порокомъ, какъ нѣкогда Менторъ и Телемакъ были соединены добродѣтелью, отправлялись такъ же, какъ они, въ поиски за хлѣбомъ — panis angelorum,—единственное латинское выраженіе, которое осталось въ памяти прежняго школьнаго учителя“. Пріобрѣтенное Фуршономъ—безцеремонно отбирается у него дочерью или зятемъ: мы присутствуемъ при рядѣ возмутительныхъ сценъ взаимнаго надувательства, грубости обращенія и крайне распущенныхъ нравовъ. Послѣднее Бальзакъ считаетъ неотъемлемымъ свойствомъ крестьянскаго населенія, „Замѣчу разъ навсегда, — говоритъ онъ, — лицамъ, привыкшимъ къ добропорядочности нравовъ въ буржуазныхъ семьяхъ, что у крестьянъ нѣтъ никакой сдержанности въ смыслѣ семейной нравственности (Les paysans n'ont en fait de moeurs domestiques aucune délicatesse). Они возбуждаютъ вопросъ объ оскорбленіи чести по поводу соблазненныхъ дѣвушекъ только въ томъ случаѣ, когда соблазнитель богатъ и тру-

сливъ. Дѣти для крестьянъ — источникъ доходовъ (капиталъ) или орудіе благополучія, пока государство не отниметъ ихъ для себя. Выгода служитъ, особенно съ 1789 года, единственнымъ двигателемъ міросозерцанія крестьянъ; они никогда не ставятъ вопроса, нравственнен или беззаконенъ данный образъ дѣйствій, а только—выгоденъ ли онъ? Нравственность, которую не слѣдуетъ смѣшивать съ религіозностью, начинается только тогда, когда есть достатокъ (La moralité, qu'il ne faut pas confondre avec la religion, *commence à l'aisance)*... „Человѣкъ безусловно честный и нравственный представляется исключеніемъ въ крестьянскомъ сословіи.“ Далѣе Бальзакъ указываетъ на причины такого явленія, ссылаясь на то обстоятельство, что крестьяне, по самой сущности рода ихъ занятій, ведутъ образъ жизни на чисто матеріалистическихъ началахъ, близкій къ состоянію дикарей въ постоянномъ общеніи съ природой. Трудъ непосильный, обременяя тѣло, лишаетъ мысль ея облагораживающаго вліянія (son action purifiante),—особенно у людей невѣжественныхъ. Наконецъ, дескать, для крестьянъ ихъ нищета составляетъ ихъ „raison d'état“, по выраженію аббата Броссеттъ (одного изъ дѣйствующихъ лицъ романа). На этой почвѣ—полнаго отсутствія нравственнаго начала, Бальзакъ отмѣчаетъ рядъ другихъ свойствъ отрицательнаго характера, присущихъ крестьянству. Такъ, параллельно отсутствію нравственнаго чувства въ обыкновенномъ смыслѣ слова, Бальзакъ указываетъ на крайнее озлобленіе и ненависть пролетарія и крестьянина къ „господамъ“, къ зажиточному классу. Основнымъ правиломъ образа дѣйствій ихъ служитъ принципъ утилитаризма, въ самомъ ограниченномъ пониманіи слова. Крестьянинъ хитеръ, но недальновиденъ. Онъ чуждъ всякаго стремленія къ совершенству, даже въ мелочахъ внѣшняго обихода. „Непогрѣшимый судья во всемъ томъ, что представляется существенной необходимостью (juge infaillible des nécéssités en toutes choses), онъ знаетъ всѣ степени силы; знаетъ, какъ, работая на буржуа, за наименьшій трудъ получить наибольшую прибыль *(donner le moins possible pour le plus possible)*. Бальзакъ отчасти объясняетъ современное ему положеніе духовнаго міра крестьянства—послѣдствіями великой революціи и тѣмъ разладомъ, который внесенъ въ бытъ крестьянина идеями якобинцевъ и надеждой стать современемъ абсолютными и единственными собственниками земли. Эти соображенія авторъ излагаетъ уже не прямо отъ себя, а вкладывая ихъ въ уста аббата Броссеттъ, одного изъ завсегдатаевъ зàмка Эгъ, пастыря безъ паствы, такъ какъ крестьяне перестали посѣщать церковь,—но, преданнаго интересамъ церкви, при этомъ отнюдь не фанатика (l'abbé Brossette voyait l'ensemble des choses et l'égoïsme ne

gatait pas son ambition: servir était sa divise и т. д.). Не буду перечислять другихъ дѣйствующихъ лицъ въ романѣ; сказаннаго мнѣ представляется достаточнымъ, чтобы дать себѣ отчетъ, почему, съ точки зрѣнія Бальзака, крестьяне должны были стать на сторону шайки Гобертэна и Сибилэ. Къ этимъ двумъ вожакамъ заговора присоединился еще старшина общины—нѣкто Ригу, бывшій монахъ-разстрига. Ригу женатъ на служанкѣ прежняго приходскаго священника, отъ котораго получилъ порядочное наслѣдство, именно чрезъ жену; теперь онъ главный ростовщикъ во всемъ околодкѣ, человѣкъ къ тому же грязный и развратный, растлѣвающій окрестныхъ дѣвочекъ-подростковъ; въ дѣлахъ—онъ вѣрный союзникъ компаніи Гобертэна, плута-нотаріуса Люпэна и Сибилэ *). Хищническіе происки этихъ лицъ не шли въ разрѣзъ съ міросозерцаніемъ крестьянъ; они умѣли разжигать страсти послѣднихъ, потакать ихъ слабостямъ и приманить надеждой на будущій раздѣлъ земли, хотя бы при этомъ сами заработали крупные барыши. Такъ соединялись интересы двухъ близкихъ другъ другу типовъ: кулаковъ изъ буржуа и крестьянъ, добровольно ставшихъ на ихъ сторону. Между тѣмъ генералъ, при всѣхъ его „лойяльныхъ" намѣреніяхъ, дѣлалъ рядъ безтактностей и промаховъ, и къ тому же въ глазахъ крестьянъ онъ былъ все же живымъ представителемъ прежнихъ феодальныхъ порядковъ, того барства, которому рѣшительный ударъ нанесъ 1789 годъ.

Бальзаку не разъ ставили въ укоръ, что при изображеніи крестьянства онъ слишкомъ односторонне останавливался лишь на отрицательныхъ явленіяхъ, не создалъ положительныхъ типовъ, ограничившись замѣчаніемъ, что таковые представляются въ средѣ крестьянъ лишь какъ исключенія. Однако, и въ данномъ романѣ есть одно лицо, которое не подходитъ подъ общую мѣрку и очерчено въ весьма симпатичныхъ краскахъ: это старый звонарь Низронъ, онъ же—могильщикъ, исполняющій также должность пономаря и пѣвчаго на клиросѣ; при всемъ томъ ярый республиканецъ и „свободомыслящій". „Сгорбленный трудомъ, съ блѣднымъ, испитымъ лицомъ, съ серебристой сѣдиной волосъ, этотъ старый виноградарь,—замѣчаетъ Бальзакъ,—въ одномъ себѣ вмѣщалъ всю честность общины". Дѣйствительно, человѣкъ строгихъ правилъ, справедливый, одинъ онъ осмѣливался осуждать незаконный образъ дѣйствія своихъ односельчанъ; онъ всѣмъ говоритъ правду въ глаза, и ни при какихъ обстоятельствахъ не покривитъ душой. Когда семья Тонсара издѣвается

*) Бальзакъ такъ и обозначилъ главу, въ которой разсказывается исторія этихъ лицъ—„une histoire de voleurs".

надъ „нравственнымъ“ поведеніемъ дочери разжалованнаго сторожа, Куртекюиса, указывая, что: „il vaut mieux sauver son père que de laisser moisir sa *vertu!*“ — Низронъ строго останавливаетъ Тонсара: „Отецъ долженъ быть блюстителемъ чести своихъ дочерей,—говоритъ онъ.—Именно поступая такъ, какъ вы дѣлаете, вы и навлекаете на насъ общее презрѣніе и народъ осуждаютъ, считая его недостойнымъ свободы. Народъ долженъ подавать богатымъ примѣръ гражданской добродѣтели (vertus civiques) и честнаго образа дѣйствій. Вы всѣ продаете себя за деньги Ригу; всѣ, сколько ни на есть васъ! Если вы не отдаете ему вашихъ дочерей, то отдаете вашу совѣсть. Худо это!“ Старикъ говорилъ рѣдко, но пользовался общимъ уваженіемъ и довѣріемъ; неоднократно къ нему обращались за совѣтомъ въ спорныхъ вопросахъ; знали его нелюбовь къ богачамъ, которыхъ онъ проклиналъ за безсердечіе и эгоизмъ, и бѣдняки считали его „своимъ человѣкомъ“. Былъ онъ когда-то предсѣдателемъ якобинскаго клуба въ Ville aux Fayes и, какъ сказано, „вольнодумцемъ“; но однажды его поразило замѣчаніе аббата Броссеттъ, что истинная республика—въ евангеліи; онъ повѣрилъ этому и сталъ исполнять церковныя требы. Низронъ, въ перипетіяхъ романа Бальзака, играетъ роль, сходную съ Акимомъ во „Власти Тьмы“; да отчасти онъ и представляется французскимъ Акимомъ, съ типичными чертами французской народности, которыя вполнѣ ему свойственны и, соотвѣтственно, обособляютъ эти два родственные, но не тождественные типа.

Когда овладѣешь сложной канвой романа Бальзака, когда разберешься въ разныхъ его эпизодахъ и выдѣлишь *á parte,* такъ вредящія цѣльности впечатлѣнія, тогда и въ этомъ, мало извѣстномъ нынѣ произведеніи его находишь всѣ отличительныя качества мощнаго генія Бальзака, его удивительную наблюдательность, правдивость кисти, чуткость въ передачѣ мельчайшихъ подробностей дѣйствительности. Въ выводахъ онъ нѣсколько одностороненъ, въ теоріяхъ сбивчивъ, въ изложеніи расплывчатъ, въ веденіи интриги не всегда умѣлъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ удивительно глубокъ, и та правда, которую онъ высказалъ о крестьянствѣ 50 лѣтъ тому назадъ, остается во многомъ правдой и при измѣнившихся или даже совершенно иныхъ условіяхъ жизни. Мнѣ кажется, что въ идейномъ содержаніи знаменитый „ученикъ“ Бальзака—Золя не прибавилъ ничего новаго въ своемъ романѣ „La terre“ къ тому, что намѣчено въ „Крестьянахъ“. А вдохновлялся онъ послѣднимъ произведеніемъ своего учителя не разъ, заимствуя нѣкоторые наиболѣе рельефные типы и отдѣльные эпизоды, съ тою разницей, что тамъ, гдѣ Бальзакъ, намѣтивъ ситуацію, останавливался, довольствуясь указаніемъ про-

стой возможности факта, Золя сгущалъ краски, развивалъ, распространялся, настаивая на элементѣ эротизма, котораго Бальзакъ вполнѣ чуждъ. У послѣдняго—здоровый реализмъ уравновѣшенной натуры; интересъ къ дѣлу художественно-философскій. У Золя—потребность въ приправахъ, свидѣтельствующая о нѣсколько уже испорченномъ вкусѣ, исканіе внѣшнихъ эффектовъ и злоупотребленіе красками, техникой виртуоза въ ущербъ чистой идейности и строгой художественности. Конечно, въ этой техникѣ, въ виртуозности романиста, Золя опередилъ Бальзака; но, по сущности, я не вижу, чтобы „La terre“ и даже „Germinal“, дали много новаго по оцѣнкѣ крестьянства сравнительно съ „Les paysans“.

Впрочемъ, на преемникахъ Бальзака во Франціи я не имѣлъ въ виду останавливаться и перехожу прямо къ „Мужикамъ“ Чехова. Нѣсколько словъ о значеніи, вообще, народнической литературы въ нашемъ вѣкѣ будетъ сказано въ заключеніе.

II.

Есть прежде всего одна внѣшняя, случайная черта аналогіи въ точкѣ зрѣнія, усвоенной тѣмъ и другимъ авторами, на которую я хотѣлъ бы обратить вниманіе. Бальзакъ отчасти прикрылся за личностью Эмиля Блондэ, который служитъ ему своего рода „угломъ зрѣнія“ при изображеніи крестьянскаго быта. Правда, онъ часто объ немъ забываетъ—вначалѣ выдвигаетъ на первый планъ, затѣмъ Блондэ играетъ вполнѣ эпизодическую роль; авторъ повѣствуетъ отъ себя и вспоминаетъ о Блондэ лишь въ самомъ концѣ романа, чтобы завершить развязку. Зачѣмъ же Блондэ понадобился автору? А потому, что этотъ „горожанинъ“ полонъ иллюзій насчетъ деревенской жизни; пріѣхавъ впервые въ Эгъ, онъ пишетъ восторженное письмо своему пріятелю о сельской идилліи, о блаженной Аркадіи, куда онъ попалъ, и на крестьянское населеніе склоненъ смотрѣть глазами то Купера, то Шатобріана, отожествляя мужиковъ съ опоэтизированными героями американскихъ лѣсовъ и степей. Бальзаку нужно было разрушить иллюзіи своихъ современниковъ и ему представилось удобнѣе сперва объективировать то настроеніе, которое, быть можетъ, онъ раньше пережилъ отчасти и самъ, но нынѣ оно представлялось ему ложнымъ.

Не такую ли же роль играетъ въ началѣ разсказа Чехова—половой Чикильдѣевъ? Мнѣ кажется, что наши критики совершенно ошибочно толковали основную мысль разсказа Чехова, какъ противоположеніе городского и сельскаго быта, какъ рѣшеніе вопроса—кому

и гдѣ лучше живется: рабочему въ городѣ или мужику въ деревнѣ; ошибочно признали въ Николаѣ какой-то „отвлеченный“ типъ полового, какъ представителя городской культуры *). Чикильдѣевъ не только вполнѣ реальный типъ, но настроеніе, которое побуждаетъ его покинуть городъ и ѣхать на отдыхъ въ деревню, полечиться тамъ, гдѣ „и стѣны помогаютъ“,—это настроеніе свойственно девяти десятымъ рабочихъ въ городѣ изъ крестьянъ, въ какую бы обстановку они ни попадали, при какомъ бы дѣлѣ ни состояли—лакеями, дворниками, швейцарами и даже мастеровыми и т. д. Воспоминанія и иллюзіи дѣтства на всѣхъ вліяютъ одинаково: темныя стороны жизни сглаживаются и остается въ памяти лишь хорошее. И вотъ, въ душной городской атмосферѣ мерещится „вольный воздухъ“, просторъ деревни; полевыя работы кажутся здоровымъ и укрѣпляющимъ трудомъ въ сравненіи—особенно съ точки зрѣнія полового—съ суетливою, лихорадочной, на видъ столь непроизводительной дѣятельностью на побѣгушкахъ и въ зависимости отъ прихоти „господъ“. Въ деревнѣ крестьянинъ все же больше чувствуетъ себя собственнымъ хозяиномъ, въ зависимости лишь отъ одной, общей всѣмъ „владычицы“, т.-е. природы. „Въ воспоминаніяхъ дѣтства,—пишетъ Чеховъ, — родное гнѣздо представлялось (Чикильдѣеву) свѣтлымъ, уютнымъ, удобнымъ“. У него, очевидно, были насчетъ деревни „свои“ иллюзіи, какъ и у Эмиля Блондэ свои, и обоихъ одинаково ожидало разочарованіе. Можно спорить о томъ, какой „приступъ“ давалъ болѣе благодарный матеріалъ для развитія сюжета; но, при случайномъ совпаденіи пріемовъ композиціи въ началѣ разсказа у Бальзака и у Чехова, каждый авторъ сумѣлъ извлечь особыя выгоды изъ различія избранныхъ ими „героевъ“ разсказа для общей цѣли — характеристики крестьянства. Бальзакъ даетъ нѣсколько ироническія обозначенія различнымъ главамъ своего романа: напр. „Буколика, забытая Виргиліемъ“; „Еще новая идиллія“; „Оаристисъ, XVIII эклога Ѳеокрита, которую не очень долюбливаютъ въ засѣданіяхъ суда“ и т. п. Чеховъ не писалъ романа: онъ не даетъ самостоятельнаго заглавія отдѣльнымъ главамъ; его задача ограниченнѣе, но извѣстная послѣдовательность въ „разочарованіяхъ“ Чикильдѣева несомнѣнна: и для него идиллическія мечты о покойной жизни въ деревнѣ нарушаются рядомъ тяжелыхъ сценъ, подготовляющихъ насъ къ тому моменту, когда авторъ будетъ продолжать разсказъ уже „отъ себя“

*) Столь же безотрадная характеристика жизни мастеровыхъ въ городѣ дана Чеховымъ въ другой его повѣсти „Моя жизнь“, и, если принять это во вниманіе, врядъ ли справедливо приписывать ему указанную апологію „городского рабочаго“, которую Чеховъ едва ли имѣлъ въ виду.

или приноравливаясь къ настроенію другого дѣйствующаго лица повѣсти, т.-е. Ольги.

Задача Чехова, какъ сказано, проще, чѣмъ у Бальзака: онъ не изображаетъ столкновенія разныхъ сословій общества, а исключительно лишь одну рабочую среду. Вопросъ соціальный—о правѣ на землю и дробленіи поземельной собственности не былъ имъ затронутъ, быть можетъ, отчасти въ силу разницы нашего общиннаго землевладѣнія и участковаго, какъ во Франціи. Но спрашивается, можно ли провести вообще аналогію между нашимъ теперешнимъ крестьянствомъ и французскимъ, пережившимъ событія конца прошлаго вѣка? *) Бальзакъ, какъ мы видѣли, склоненъ придавать большое значеніе, для характеристики міросозерцанія крестьянъ 20-хъ годовъ, тѣмъ идеямъ эмансипаціи, которыя проникли въ народъ послѣ 1789 г. У насъ, какъ бы мирно ни совершилась реформа 1861 г., несомнѣнно, она оказала немаловажное вліяніе не только на матеріальный бытъ, но и на міросозерцаніе народа. Хотя аналогія 1789 и 1861 годовъ, конечно, не полная, но все же „воля" внесла новую струю и въ духовную жизнь народа, а вмѣстѣ съ тѣмъ пошатнула и нѣкоторые традиціонные, такъ называемые, „устои" его созерцанія. Русскій народъ принято было считать глубоко религіознымъ: Чеховъ указалъ, насколько это мнѣніе теперь преувеличено. „Богатые мужики,—говоритъ онъ,—чѣмъ больше богатѣли, тѣмъ меньше вѣрили въ Бога и въ спасеніе души". „Старикъ (отецъ Николая) не вѣрилъ въ Бога, потому что почти никогда не думалъ о немъ; онъ признавалъ сверхъестественное, но думалъ, что это можетъ касаться однѣхъ лишь бабъ". Бабы (Марья и Ѳекла) „крестились, говѣли каждый годъ, но ничего не понимали. Дѣтей не учили молиться, ничего не говорили имъ о Богѣ, не внушали никакихъ правилъ и только запрещали въ постъ ѣсть скоромное". Припомнимъ отвѣтъ Фуршона, у Бальзака, по поводу воспитанія Мушъ, о которомъ Блондэ его разспрашиваетъ: „Да развѣ ему не говорятъ о Богѣ", сказалъ аббатъ Броссэттъ. „О, нѣтъ, нѣтъ, г. кюре, — отвѣтилъ Фур-

*) Кстати сдѣлаемъ оговорку, что, сравнивая писателей разныхъ національностей преимущественно съ точки зрѣнія ихъ отношенія къ изображаемой средѣ, мы имѣемъ въ виду тò „крестьянство", тò пониманіе „простого народа", которое характеризуется общими чертами, какъ извѣстная стадія культурнаго развитія, независимо отъ этническихъ различій французской и русской народностей, въ разсмотрѣніе которыхъ мы здѣсь не входимъ. Но индивидуальныя различія отдѣльныхъ народныхъ особей не исключаютъ общности типа, подобно тому, какъ народная поэзія всѣхъ странъ характеризуется нѣкоторыми общими признаками, независимо отъ тѣхъ или другихъ частностей, присущихъ спеціально народной словесности—русской, французской, нѣмецкой, итальянской и т. д.

шонъ,—мы него воримъ ему, что надо бояться Бога, а только людей. Вы говорите, что Богъ добръ и обѣщалъ намъ царство небесное, потому что богатымъ принадлежитъ царство земное. Я же говорю ему: Мушъ, бойся тюрьмы—оттуда выходятъ, чтобы идти на эшафотъ. Не воруй, но умѣй заставить себѣ давать. Воровство приводитъ къ убійству, а за убійствомъ судъ наѣдетъ и слѣдствіе. Бритвы правосудія—вотъ чего надо бояться: она охраняетъ сонъ богатыхъ отъ безсонницы бѣдняковъ. Учись читать. Съ образованіемъ ты сумѣешь нажить деньги подъ покровомъ закона, какъ этотъ прекрасный г. Гобертэнъ... Самое главное—быть около богатыхъ, всегда найдутся крохи подъ столомъ ихъ. Вотъ что я называю хорошимъ и основательнымъ воспитаніемъ. И мой щенокъ всегда на сторонѣ закона. Славный будетъ малый, меня не забудетъ...“ Фуршону нельзя отказать, конечно, въ снабженіи „правилами“ своего воспитанника, даже весьма своеобразными,—но чѣмъ отличается отъ нихъ утилитарный кодексъ морали, который и безъ „воспитанія“ обыченъ въ простонародной средѣ? Фуршонъ сравниваетъ далѣе старое и новое время, которыя онъ пережилъ: „Вывѣску перемѣнили, — говоритъ онъ,— но вино все то же. Каждый день похожъ на предыдущій. Да развѣ мы на самомъ дѣлѣ освобождены? Мы принадлежимъ все той же деревнѣ, а баринъ нашъ все тутъ же: я называю его трудомъ... Все имущество наше въ заступѣ, который мы не выпускаемъ изъ рукъ. На господъ ли трудиться, или на уплату налоговъ — одинаково всю жизнь проводить въ потѣ лица.“ Итакъ, трудъ — тяжелый, непрерывный—вотъ главное оправданіе и вмѣстѣ съ тѣмъ и объясненіе ограниченнаго и матеріалистическаго кругозора крестьянъ, по Бальзаку, міросозерцанія, въ которомъ нѣтъ мѣста нравственному элементу. Тотъ же выводъ и то же оправданіе у Чехова: „Тяжкій трудъ, отъ котораго по ночамъ болитъ все тѣло, жестокія зимы, скудные урожаи, тѣснота, а помощи нѣтъ и не-откуда ждать ее. Тѣ, которые богаче и сильнѣе ихъ, помочь не могутъ, такъ какъ сами грубы, нечестны, нетрезвы и сами бранятся такъ же отвратительно.“ И вотъ общее впечатлѣніе деревни сводится къ самымъ безотраднымъ выводамъ: „Бывали такіе дни и часы, когда казалось, что эти люди живутъ хуже скотовъ, жить съ ними было страшно; они грубы, нечестны, грязны, нетрезвы; живутъ несогласно, постоянно ссорятся, потому что не уважаютъ, боятся и подозрѣваютъ другъ друга. Кто держитъ кабакъ и спаиваетъ народъ? Мужикъ... Кто укралъ у сосѣда, поджогъ, ложно показалъ на судѣ за бутылку водки? Мужикъ...“ и т. д. и т. д. Выводы въ общемъ совпадаютъ съ заключеніями Бальзака; многія изъ обобщеній послѣдняго вполнѣ примѣнимы и къ

точкѣ зрѣнія на крестьянство, усвоенной Чеховымъ. Но Бальзакъ идетъ еще дальше:—наблюденія дѣйствительности онъ возводитъ въ теорію: то, что есть—должно быть, ибо „нравственность начинается съ достаткомъ...“ Теорія нѣсколько парадоксальная и врядъ ли вполнѣ состоятельная: мы не видимъ въ ней философскаго принципа, и правда, заключающаяся въ ней, есть лишь правда относительная, основанная на эмпиріи. Впрочемъ, мы ниже вернемся къ вопросу.

Чеховъ не излагаетъ теорій въ духѣ Бальзака; при сходствѣ выводовъ, общности настроенія и однородности наблюденій дѣйствительности, между обоими авторами огромная разница и въ пріемахъ, и въ процессахъ творчества, которую мы должны принять во вниманіе для правильной оцѣнки самостоятельнаго значенія каждаго изъ нихъ.

Съ точки зрѣнія конструкціи романа и техническихъ пріемовъ творчества въ настоящее время, очевидно, уже немыслимо писать такъ, какъ это дѣлалъ Бальзакъ: искусство пошло впередъ, и реалистическій романъ освободился изъ того хаоса попутныхъ наблюденій, экскурсовъ и слишкомъ подробной документальности внѣшнихъ описаній, которыми Бальзакъ нѣсколько злоупотреблялъ. Правда, недостатки романиста вытекали также изъ разносторонности его натуры, изъ необыкновенной бодрости и дѣятельности ума, но если и при такихъ условіяхъ онъ часто скученъ, то, не будь онъ такъ уменъ, онъ былъ бы порой невыносимъ. Какъ извѣстно, Тэнъ вмѣнялъ въ особую заслугу Бальзаку то, что „вмѣстѣ съ Шекспиромъ и Сенъ-Симономъ онъ является самымъ богатымъ складомъ документовъ о человѣческой природѣ (le plus grand magasin de documents que nous ayons sur la nature humaine).—Признавая за нимъ также способность схватывать впечатлѣнія цѣлаго, обобщать, уже Тэнъ вполнѣ справедливо отмѣтилъ излишнюю обстоятельность многихъ описаній и склонность скорѣе именно описывать, чѣмъ писать: „une description n'est pas une peinture et Balzac croit souvent faire une peinture quand il n'a fait qu'une description“. Съ другой стороны, Фагэ правильно отмѣтилъ и выдѣлилъ въ Бальзакѣ-натуралистѣ и „романическаго романиста“,—un romancier romanesque,—особенность, которою онъ связанъ съ предшествовавшимъ и отчасти современнымъ ему поколѣніемъ писателей бульварныхъ романовъ, начинавшихъ тогда входить въ моду. Отсюда частныя неправдоподобности въ imbroglio его романовъ, запутанная, а иногда прямо невѣроятная интрига.

Въ рѣзкомъ отличіи съ этими, наиболѣе устарѣлыми, архаичными особенностями произведенія Бальзака представляется творчество Чехова. Ни длинноть, ни отступленій, ни сложныхъ интригъ. Чеховъ почти не описываетъ: онъ ощущаетъ и пишетъ крупными, рельеф-

ными чертами, оставляя большіе интервалы, тутъ же щеголяя мелкими подробностями, иногда совершенно неожиданными, но взятыми живьемъ съ натуры: онъ ихъ подмѣтилъ, видѣлъ, ощутилъ, не выдумалъ, и эти блёстки сообщаютъ разсказу необычайную жизненность. Иной мелкій штрихъ замѣняетъ цѣлыя разсужденія. Вспомнимъ, напримѣръ, эту прелестную сцену съ „дондеже" — слово, при чтеніи котораго всѣ присутствующіе расплакались: „первая—Ольга не удержалась и заплакала; на нее глядя, всхлипнула Марья, потомъ сестра Ивана Макарыча. Старикъ закашлялся и засуетился, чтобы дать внучкѣ (прочитавшей стихъ изъ евангелія) гостинца, но ничего не нашелъ и только махнулъ рукой. И когда чтеніе кончилось, сосѣди разошлись по домамъ, растроганные и очень довольные и Ольгой, и Сашей." Развѣ это дѣйствуетъ не сильнѣе длинныхъ разсужденій о невѣжествѣ, узости кругозора и смутной потребности какой-то высшей, духовной жизни, которая здѣсь символизируется пока лишь въ странномъ, непонятномъ словѣ, звучащемъ какъ загадочная формула стариннаго заклинанія?

Въ другомъ мѣстѣ разсказа, гдѣ говорится о томъ, какъ носятъ образъ Живоносной по уѣзду, изъ деревни въ деревню, когда вся толпа старыхъ и молодыхъ бросилась къ иконѣ, протягивали руки, жадно глядѣли на нее и говорили, плача: „Заступница, Заступница!" — „всѣ какъ будто поняли, что между землей и небомъ не все пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита отъ обидъ, отъ рабской неволи, отъ тяжкой невыносимой нужды, отъ страшной водки..." Это ощущенія автора, но они—непосредственный отголосокъ представившейся ему картины, которой онъ не описываетъ, не наблюдаетъ со стороны, какъ посторонній зритель: онъ воспринимаетъ ее и передаетъ въ своихъ ощущеніяхъ, которыя до извѣстной степени отожествляются имъ съ ощущеніями дѣйствующихъ лицъ. Представится ли другая картина—пожаръ въ деревнѣ: авторъ опять не вдается въ обстоятельное описаніе пожара, а сообщаетъ лишь мгновенныя впечатлѣнія жизни, единственно возможныя въ такую минуту: „Забили въ чугунную доску. Бемъ, бемъ, бемъ... понеслось по воздуху, и отъ этого частаго, неугомоннаго звона щемило за сердце и становилось холодно." Авторъ опять какъ бы отожествляетъ себя съ дѣйствующими лицами разсказа, воспринимая и ихъ ощущенія. На такую смѣлость, какъ этотъ „бемъ, бемъ..." Бальзакъ врядъ ли бы рѣшился. Далѣе незначительная подробность „о вороном жеребцѣ", котораго не пускали въ табунъ, такъ какъ онъ лягалъ и ранилъ лошадей, но теперь, пущенный на волю, топоча, со ржаньемъ пробѣжалъ по деревнѣ разъ, другой и вдругъ остановился около

телѣги и сталъ ее бить задними ногами. Нѣкоторые критики у насъ осудили эту черту: но именно въ суматоху особенно ярко запечатлѣваются только такія мелкія подробности, и выдѣленіе этой черты, какъ нельзя лучше, характеризуетъ общее настроеніе смятенія, растерянности. Кому неизвѣстно, что, когда случится въ домѣ пожаръ, прежде всего хватаются за самыя ненужныя вещи, дѣлаются зачастую весьма нераціональныя распоряженія, обращается вниманіе только на то, что непосредственно передъ глазами, и именно мелочи тогда выростаютъ, пріобрѣтаютъ какое-то необычайно важное значеніе. Онѣ однѣ только и отлагаются въ памяти и ассоціируются съ даннымъ настроеніемъ минуты. Дальнѣйшее изложеніе въ такомъ же родѣ. Пріемъ творчества Чехова—совсѣмъ особый, импрессіональный, если можно такъ выразиться; онъ несомнѣнно изъ „молодыхъ", „un jeune"—по терминологіи Думика. Но, принадлежа къ новой школѣ по пріемамъ творчества, Чеховъ вполнѣ индивидуаленъ по другимъ особенностямъ, и какъ бы ни отсутствовалъ авторъ съ замѣчаніями „отъ себя", позволительно думать, что онъ вовсе не такъ безличенъ и безъидеенъ въ воспроизведеніи однихъ только ощущеній дѣйствительности, что кое-гдѣ онъ вкладываетъ и свое, именно „идейное". Напримѣръ, не характерно ли то обстоятельство, что въ уста Марьи, загнанной, забитой, въ конецъ изстрадавшейся бабы, которая, кромѣ побоевъ отъ мужа и брани, ничего вокругъ себя не видитъ,—послѣ разсказовъ о прежнихъ временахъ при крѣпостномъ правѣ, которое другіе хвалятъ, ибо все прошлое мило,—именно ей, и при томъ на другой день, вложено замѣчаніе: „Нѣтъ, воля лучше!..." Развѣ вполнѣ не предумышленно, что Ольга, наиболѣе терпѣвшая отъ брани и попрековъ распутной Ѳеклы, прикрываетъ ея позднее возвращеніе домой, когда парни такъ зло наглумились надъ нею: „Домой безъ одежи шла... въ чемъ мать родила. Принеси одѣться." Бабка бранится съ печи: „У, чтобы тебя, полуношница... нѣтъ на тебя погибели." „Ничего, ничего, — шептала Ольга, кутая Ѳеклу,—ничего, *касатка*." Такихъ штриховъ нѣсколько, и они наводятъ на сомнѣніе, чтобы авторъ „Мужиковъ" согласился съ мнѣніемъ Бальзака, что „нравственность начинается только съ достаткомъ." Но въ общемъ, конечно, и выводъ Чехова такъ же безотраденъ, какъ и Бальзака. Если можно разсматривать другую, незадолго передъ тѣмъ появившуюся его повѣсть „Моя жизнь", какъ подготовительную ступень къ „Мужикамъ", то и въ ней уже есть намеки на ту же общую характеристику крестьянства. Герой повѣсти, правда, упорствуетъ въ своей вѣрѣ въ „народъ". Къ мужикамъ его „тянетъ", хотя онъ признаетъ, что „въ большинствѣ—это нервные, раздраженные, оскорбленные люди,

съ подавленнымъ воображеніемъ, невѣжественные, съ бѣднымъ, тусклымъ кругозоромъ, все съ однѣми и тѣми же мыслями о сѣрой землѣ, о сѣрыхъ дняхъ, о черномъ хлѣбѣ; люди, которые хитрили, но, какъ птицы, прятали за дерево только одну голову", и т. д. „Однако, чувствовалось,—говоритъ герой повѣсти,—что жизнь мужицкая въ общемъ держится на какомъ-то крѣпкомъ, здоровомъ стержнѣ... Мужикъ вѣритъ, что главное на землѣ правда и что спасеніе его и всего народа въ одной лишь правдѣ, и потому больше всего на свѣтѣ онъ любитъ справедливость." Такъ разсуждаетъ „народникъ", отчасти „толстовецъ", но первая половина разсужденія весьма подрываетъ значеніе второй; еще одинъ шагъ—и „иллюзіи" рухнутъ, если разсматривать народную вѣру въ торжество правды, какъ иллюзію интеллигентнаго человѣка, приписавшаго свое настроеніе простому народу. Уже Маша, въ „Моей жизни", съ негодованіемъ отворачивается отъ мужиковъ, которымъ хотѣла служить, и чувствуетъ къ нимъ какое-то отвращеніе.

Мы очень далеки отъ общественнаго настроенія конца 40-хъ годовъ, отъ того поворота къ народничеству, который у насъ выразился въ знаменательномъ литературномъ событіи, недавно отмѣченномъ юбилейными празднествами. Имѣю въ виду 50-лѣтіе выхода въ свѣтъ первыхъ очерковъ „Записокъ охотника", „Антона Горемыки", основанія „Современника"... Правда, уже въ концѣ 50-хъ и особенно въ 60-хъ годахъ сказалась рѣзкая реакція противъ попытокъ идеализаціи крестьянскаго быта. Народники этого періода даже намѣренно сгущали краски въ изображеніи безотраднаго положенія крестьянства, всѣхъ отрицательныхъ сторонъ только что упраздненнаго крѣпостничества и его не уврачеванныхъ еще послѣдствій. Достаточно вспомнить знаменитый въ свое время романъ Рѣшетникова „Подлиповцы" (1863 г.) и произведенія Николая Успенскаго, значеніе которыхъ въ смыслѣ изображенія народа „безъ прикрасъ" было отмѣчено еще Чернышевскимъ.

Но преобладающей темой въ народнической литературѣ 60-хъ годовъ становятся *страданія* русскаго народа; позже опять обратились къ его изученію и къ вопросу о его *значеніи* для интеллигентнаго класса.

Тогда, т.-е. съ начала 70-хъ годовъ, началась новая волна, новый подъемъ довѣрія къ народныхъ, подспуднымъ силамъ. „Ходили" въ народъ—не только просвѣщать его, но и учиться. Въ простомъ народѣ видѣли спасеніе интеллигенціи, оторванной отъ родной почвы.

Стремленіе „опроститься" вскорѣ получило философское обоснованіе: создалось новое міросозерцаніе, въ которомъ культъ „человѣка

природы“ опирался на нѣкоторомъ разочарованіи въ несбывшихся, чрезмѣрныхъ надеждахъ, возложенныхъ на науку и просвѣщеніе; въ пробудившемся сознаніи предѣльности человѣческаго ума, предѣльности знанія; въ реакціи противъ позитивизма и матеріализма, въ исканіи объекта вѣры; въ возвращеніи къ простотѣ, т.-е. къ основнымъ, вѣковѣчнымъ свойствамъ человѣческой природы, отъ которыхъ, дескать, „умствованія“ отвлекли насъ: цивилизованные люди „исхитрились“. Основы жизни расшатаны. Нужно вернуться къ первобытному состоянію, чтобы пріобрѣсти запасъ свѣжихъ, здоровыхъ силъ, возстановить цѣльность человѣка, цѣльность, нарушенную въ ненормальныхъ, зачастую даже уродливыхъ, зловредныхъ условіяхъ культурной или quasi-культурной жизни. Врядъ ли мнѣ нужно напоминать объ ученіи одного изъ величайшихъ русскихъ писателей, имя котораго послужило кличкой для цѣлаго направленія, охватившаго значительную часть нашей молодежи въ 80-хъ годахъ. „Интеллигентныя колоніи“ явились показателемъ этого движенія, этого бѣгства отъ цивилизаціи и стремленія слиться съ простымъ народомъ.

Ожили идеи Руссо и воскресъ миражъ о „природныхъ качествахъ“, которыми онъ надѣлялъ первобытнаго человѣка, настаивая на отрицательныхъ сторонахъ цивилизованной жизни.

Но и эта волна, завернувъ свой гребень, стала опускаться. Она отхлынула назадъ, разбившись о новыя препятствія, которыя возникаютъ всякій разъ, когда вѣчно колеблющееся море человѣческой мысли разсчитываетъ достичь до надежной гавани и разлиться въ ней невозмутимо-спокойною, зеркальною гладью... „Мужикъ“ не оказался на высотѣ нашихъ иллюзій. И вотъ, въ то время, когда даже у Глѣба Успенскаго, который отнюдь не скрывалъ отрицательныхъ сторонъ крестьянства, даже у него „масса русскаго народа“ характеризуется словами: „молода душою, мужественно-сильна и дѣтски-кротка“; „къ народу, — писалъ Успенскій, — мы идемъ *за исцѣленіемъ душевныхъ мукъ*“ (Власть земли),—у Чехова отношеніе иное. Не исцѣляющее, а глубоко удручающее впечатлѣніе вынесъ онъ изъ соприкосновенія съ мужицкимъ міромъ. И авторъ—не прежній отрицатель 60-хъ годовъ, намѣренно сгущающій краски съ тенденціозною цѣлью; и не просто отрицатель, непонимающій или нежелающій видѣть другихъ сторонъ народной жизни: Чеховъ знаменуетъ особый моментъ въ исторіи духовной жизни нашего общества. Онъ смотритъ на мужиковъ съ точки зрѣнія своей индивидуальности, судитъ о нихъ по отношенію къ сложившемуся ранѣе у него міросозерцанію. И вотъ, въ этихъ, кажущихся безличными, отрывочныхъ образахъ и впечатлѣніяхъ жизни вы словно чуете признаніе человѣка, у котораго

накопились наболѣвшія, быть можетъ, мучительно пережитыя разочарованія насчетъ совершенствъ „l'homme de la nature". Психологическій моментъ тотъ же, кѣмъ бы ни представлялся этотъ первобытный человѣкъ—дикаремъ американскихъ лѣсовъ, французскимъ „пейзаномъ" или русскимъ „мужикомъ".

Вотъ что, на мой взглядъ, сближаетъ послѣднее произведеніе Чехова съ „Крестьянами" Бальзака, имѣвшими то же значеніе во Франціи 50 лѣтъ назадъ. Аналогія, на мой взглядъ, несомнѣнна, несмотря на всѣ отличія въ объемѣ, въ ширинѣ поставленной задачи и въ пріемахъ творчества.

Въ оцѣнкѣ „Мужиковъ" Чехова мнѣнія, какъ извѣстно, раздѣлились; но страстность, съ которою критика отнеслась къ этому произведенію, свидѣтельствуетъ, до какой степени вопросъ жгучій. Мнѣнія же должны были раздѣлиться, въ зависимости отъ того, кто въ какомъ отношеніи стоялъ къ предшествовавшему теченію мысли, къ такъ называемой „толстовщинѣ", къ ученіямъ о томъ, что цивилизація заключаетъ въ себѣ много отрицательныхъ сторонъ, что у народа надо учиться, какъ жить, и т. д. Тому, кто въ это вѣрилъ, Чеховъ отвѣтилъ, что, на его взглядъ, учиться у мужиковъ — нечему. Затѣмъ, въ его лицѣ, извѣстная группа молодыхъ дѣятелей привѣтствовала взгляды, отвѣчающіе экономическимъ теоріямъ новѣйшей формаціи, отъ которыхъ нашъ авторъ, быть можетъ, стоитъ всторонѣ. Третьи словно обидѣлись начертанной картины жизни „мужиковъ", какъ не соотвѣтствующей идеальнымъ представленіямъ о народѣ. Иные, наконецъ, просто не повѣрили Чехову: „Откуда,—говорятъ,—онъ взялъ своихъ мужиковъ? Мы не знаемъ, не видѣли такихъ ужасовъ." „Ужасы" бываютъ, конечно, и бо̀льшіе, и это извѣстно всякому, сколько-нибудь знакомому съ крестьянскимъ бытомъ не по однимъ формальнымъ отношеніямъ помѣщика къ своимъ „пейзанамъ". Единодушія въ оцѣнкѣ быть не можетъ, даже при общемъ признаніи талантливости автора, но если поставить его произведеніе въ то русло, по которому направлялось извѣстное теченіе мысли, вызвавшее его появленіе,—это русло послужитъ естественной рамкой созданной картины, оттѣнитъ ея значеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ укажетъ границы: не вся правда жизни представлена въ ней.

Сходясь съ Бальзакомъ въ отрицательныхъ выводахъ о крестьянствѣ и выступая, тѣмъ самымъ, сторонникомъ культуры, Чеховъ, однако, въ отличіе отъ него не рисуетъ намъ побѣды „слабыхъ" или тѣхъ, кого, по выраженію Бальзака, „привыкли называть слабыми". Между тѣмъ дробленіе собственности крупныхъ землевладѣльцевъ и переходъ земли къ крестьянамъ происходитъ и у насъ при-

мѣрно такъ же, какъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія во Франціи. Многія усадьбы также пустѣютъ, парки и сады обращаются въ пастбища, отходятъ подъ пашню; помѣщики переселились въ города, и т. д. Заключительная глава у Чехова проникнута глубоко-гуманнымъ чувствомъ, которое осталось чуждымъ Бальзаку. Послѣдній испугался за нарушеніе общественнаго строя и порядка; его опасенія не сбылись. Чеховъ заканчиваетъ разсказъ потрясающимъ въ своей простотѣ возгласомъ-мольбой осиротѣлыхъ Ольги и Саши: „Православные христіане, подайте милостыню Христа-ради". Мнѣ кажется, что въ *этомъ* разница настроенія обоихъ авторовъ несомнѣнна и очевидна, и врядъ ли приходится задумываться надъ вопросомъ—у кого оно выше?

III.

Итакъ, правда, сказанная Бальзакомъ о крестьянахъ,—не вся правда о нихъ; и у Чехова—не вся правда о мужикахъ, хотя у него просвѣчиваютъ нѣкоторыя стороны жизни простого народа, которыя не указаны у Бальзака. Но разсказъ Чехова въ общемъ написанъ подъ извѣстнымъ угломъ зрѣнія индивидуальныхъ ощущеній автора. Иная точка зрѣнія у Владиміра Короленко, и если мы рѣшились сопоставить съ двумя разобранными произведеніями бѣглый набросокъ „Изъ записной книжки путешественника", то именно принимая его, какъ показатель иного пріема творчества и нѣсколько иного отношенія къ объекту изученія.

Прежде всего, мы сразу переносимся въ особый міръ *духовной* жизни народа, въ „Некрасовскій корень"; мы въ средѣ раскольниковъ, сектантовъ; а въ чемъ, какъ не въ религіозныхъ движеніяхъ, въ сектантствѣ, наиболѣе проявляется *умственная* жизнь такъ называемаго некультурнаго класса людей? Пусть проявленія ея принимаютъ зачастую странную, нелѣпую форму, впадаютъ даже въ изувѣрство,—мысль бродитъ, потребность въ „умственной" жизни есть; не все подавлено животными инстинктами, не все „человѣческое" дремлетъ подъ грубостью первобытныхъ нравовъ. „Онъ... правильный-те законъ Господень,—говоритъ старикъ-раскольникъ въ разсказѣ Короленко,—ударилъ гдѣ-й-то, какъ шнуръ. Прямо, правильно. Да мы-то вотъ, шукаемъ его, да блукаемъ, какъ слѣпые, найти не можемъ..." „У землю лѣземъ",—съязвилъ его товарищъ Иванъ, намекая на недавніе трагическіе случаи у сектантовъ въ Тирасполѣ, замуравленія живыхъ людей, чтобы не попасть въ перепись. Безотрадны результаты, но мысль, потребность въ духовной жизни придаютъ все же человѣческій обликъ „меньшой братіи", какъ бы она ни блуждала

и ни заблуждалась въ потемкахъ невѣжества. Короленко не скрываетъ отрицательныхъ сторонъ жизни крестьянства, не отрицаетъ грубости, проявляющейся рельефно даже въ гостепріимствѣ, о которомъ идетъ рѣчь въ самомъ началѣ очерка. Извѣстно, что́ такое „праздникъ“ въ деревнѣ: почти сплошное пьянство, обжорство, насильственное „угощеніе“, и тутъ же непомѣрная брань, ругань, нерѣдко драки. Короленко вскользь отмѣчаетъ эти явленія: „старинное гостепріимство,—говоритъ онъ,—добродѣтель свирѣпая, почти чудовищная...“ „Въ избахъ стоялъ только нестройный гулъ, чавканье, отрывочныя и малопонятныя рѣчи“. Авторъ почувствовалъ скоро „что-то похожее на предсмертную тоску...“ Жизнь какъ-то сразу потеряла въ его глазахъ всю свою цѣну и даже чудесная рамка Сарыкіоя, съ синимъ Лиманомъ и жемчужною цѣпью горъ на другой сторонѣ, опостылѣла до послѣдней степени. „Мнѣ казалось,—говоритъ онъ,—что на каждой горѣ закипаетъ по самовару, а отъ Лимана рѣшительно пахло ухой и яичницей...“ И авторъ проходитъ мимо, не распространяясь о томъ, что́ каждый пойметъ самъ, не вдаваясь въ описанія, въ духѣ Золя, крестьянскихъ пирушекъ; онъ знаетъ эту сторону жизни простого народа, въ благодушно-иронической формѣ отмѣтилъ ее, не настаивая, и идетъ дальше: его привлекаетъ исключительно внутренній духовный міръ „крестьянства“ тамъ, гдѣ онъ можетъ проявиться.

Съ Бальзакомъ у Короленко есть одна общая черта: это чрезвычайная колоритность языка въ передачѣ разговоровъ дѣйствующихъ лицъ изъ простого народа. Короленко не только „ощущаетъ“, но такъ же, какъ Бальзакъ, наблюдаетъ и описываетъ дѣйствительность въ объективной формѣ. Его языкъ богатъ образными выраженіями; его стиль свободно переходитъ отъ выраженія субъективныхъ ощущеній автора къ художественной передачѣ своеобразнаго склада рѣчи описываемыхъ лицъ. По временамъ онъ какъ бы воплощается самъ въ выведенныя имъ лица, переживая съ ними ихъ настроенія, говоря отъ ихъ имени ихъ языкомъ. Но затѣмъ, съ необыкновенной яркостью выступаетъ личность автора, въ которомъ есть нѣчто большее, чѣмъ бытописатель, наблюдатель нравовъ, чѣмъ художникъ-жанристъ, пишущій картину съ природы, — въ немъ просвѣчиваетъ поэтъ-лирикъ, и недаромъ сравнивали нѣкоторыя мѣста его произведеній „съ стихотвореніями въ прозѣ“. Есть такое мѣсто и въ настоящемъ очеркѣ, когда авторъ взошелъ на Еникалейскую гору, надъ Лиманомъ, осматриваетъ развалины Гераклеи и сообщаетъ о настроеніи, которое его охватило при видѣ этихъ развалинъ. Настроеніе, быть можетъ, нѣсколько романтическаго характера, но правдивое,

вѣрное и пережитое *). Дѣйствительно, видъ развалинъ неизмѣнно располагаетъ къ грёзамъ и думамъ; — дѣйствительно, есть въ нихъ „что-то особенное“, въ „этихъ мшистыхъ камняхъ и неправильныхъ изломахъ стѣнъ“, что-то, по выраженію автора, щемящее, проникнутое грустью почти до боли душевной и вмѣстѣ вѣющее въ душу страннымъ успокоеніемъ... „Не замѣчаешь, какъ летитъ время; бѣлыя облака тихо продвигаются въ пролетахъ бойницъ и оконъ; высоко въ небѣ парйтъ хищная птица, и сухая трава колышется и шепчетъ что-то, такъ довѣрчиво, какъ будто вы непремѣнно должны ее понять, и такъ жалобно, потому что вы все-таки ее не понимаете. Проходятъ минуты, или часы, или годы... Въ самомъ дѣлѣ, развѣ столѣтія, которыя пронеслись надъ этими стѣнами, не кажутся теперь минутами, а въ настоящія минуты не промчались въ душѣ призраки цѣлыхъ столѣтій...“ Вся эта страница и слѣдующая—чистѣйшая поэзія, словно какія-нибудь „Méditations“ Лямартина, и настроеніе выражено въ прекрасной прозаической рѣчи, гдѣ теплота чувства сливается съ глубиной думъ.

Короленко, какъ поэтъ, долженъ былъ подойти къ описанію дѣйствительности съ нѣсколько иной точки зрѣнія, чѣмъ писатели реалистическаго направленія въ тѣсномъ смыслѣ слова. Соотвѣтственно, онъ характеризуетъ народное міросозерцаніе, считаясь съ его поэзіей, съ образными проявленіями народной мысли въ легендахъ и повѣрьяхъ. Фантастика играетъ вообще значительную роль въ произведеніяхъ Короленко, который придаетъ ей то или другое значеніе, избираетъ то канвой разсказа, то вводитъ какъ дополняющій элементъ къ характеристикѣ настроенія и самого автора, и дѣйствующихъ лицъ. Сживаясь съ народной душой, авторъ мыслитъ ея образами и дополняетъ наблюденія дѣйствительности легендарными чертами вымысла. Въ настоящемъ очеркѣ фантастика тоже не исключена: авторъ припоминаетъ старинную легенду о змѣѣ, который подземнымъ ходомъ пробирался (изъ пещеры на Енисалейской горѣ) на островъ и ложился тамъ, глядя на степь и на море. — Съ тѣхъ поръ прошли столѣтія, смѣнялись поколѣнія одни за другими—„и такъ таяли поколѣнія,—замѣчаетъ авторъ,—какъ эти бѣлыя облака, плывущія по синему небу, какъ эти синія волны, ровными грядами набѣгающія на берегъ внизу, подъ моими ногами, въ умершемъ дунайскомъ руслѣ“.

---

*) При несомнѣнномъ чувствѣ языка, музыкальности періода и красотѣ образовъ, В. Г. Короленко и въ настоящей превосходной страницѣ допустилъ фразу, которая не соотвѣтствуетъ общему тону изложенія. Конечно, предпочтительнѣе было бы не встрѣчать такихъ небрежностей стиля у писателя, обладающаго всѣми данными, чтобы достичь классической красоты формы.

Читатель подготовленъ этимъ приступомъ; онъ особо настроенъ и дальнѣйшій разсказъ объ „искателяхъ“ на горѣ представляется въ своеобразномъ освѣщеніи: эти типы бродягъ — Шуликъ, Филимонъ, Дудикъ—выростаютъ сами въ какія-то фантастическія лица, на грани реальнаго и сверхъестественнаго, т.-е. обобщеннаго. Ихъ суевѣрія, предразсудки, странныя росказни, въ которыхъ такъ своеобразно переплелись отзвуки глубокой старины миѳическихъ вѣрованій съ отголосками новѣйшихъ явленій: и „меркурьево порожденіе“ и „мосоны“ и „спиритизма“ — грубое невѣжество и смутные поиски за истиной (т.-е. опять тѣ же разговоры о томъ, какая вѣра *правильная)*—все это ложится на фонѣ того вѣкового змѣя-великана, который когда-то жилъ въ темной пещерѣ, въ безпросвѣтномъ мракѣ, и выползалъ изъ нея посмотрѣть на вольный міръ Божій: его тянуло къ свѣту... И теперешніе „искатели“ тамъ, на верху горы — какой „кладъ“ они разыскиваютъ? однихъ ли только матеріальныхъ сокровищъ, зарытыхъ подъ спудомъ, толкуя о томъ, что „много отъ вѣры заблужденія бываетъ“?... Поэтическіе образы представляются въ разсказахъ Короленко до такой степени въ тѣсной связи, какъ бы слитыми съ содержаніемъ, что невольно видишь въ нихъ не простыя, случайныя воспоминанія автора, а нѣчто большее: въ нихъ чуются символы, угадываешь въ нихъ, быть можетъ, непроизвольный, ненамѣренный процессъ образнаго мышленія, который, тѣмъ не менѣе, и служитъ характерной чертой всякаго истиннаго поэта.

Какъ бы то ни было, благодаря особенностямъ творчества Короленко, благодаря его личному настроенію и особому отношенію къ народной жизни,—давая порой вполнѣ объективно выпуклыя, яркія характеристики наружнаго быта и типовъ крестьянъ, онъ глубже проникаетъ въ народную душу и раскрываетъ такія ея стороны, которыя свидѣтельствуютъ о подспудной, но неустанной работѣ мысли „мужика“. Вспомнимъ его „убивца“ въ разсказахъ сибирскаго туриста — этотъ своеобразный типъ также „искателя правды“, который добровольно отдаетъ себя въ заключеніе безвинно, а затѣмъ совершаетъ преступленіе — тоже безвинно, въ защиту чужой жизни, но кается: онъ вспылилъ, не выдержалъ, долженъ былъ бы не убить, а просто прикрутить злоумышленника. И опять тоска по Богѣ, по правильной вѣрѣ, по свѣту истины... и, наконецъ, искупленіе вины собственною, добровольною смертью... И все это въ „мужикѣ“ же. Прислушиваясь къ разнымъ толкамъ и спорамъ о „вѣрѣ“ среди раскольниковъ и сектантовъ, Короленко отмѣчаетъ въ разныхъ очеркахъ, сколько есть невѣжественнаго, схоластическаго, даже тупоумнаго въ разсужденіяхъ „книжниковъ“, народныхъ грамотѣевъ. Но

характерно слѣдующее замѣчаніе въ разсказѣ „Рѣка играетъ“: „И я думалъ: отчего же это такъ тяжело было мнѣ тамъ, на озерѣ, среди книжныхъ народныхъ разговоровъ, среди „умственныхъ“ мужиковъ и начетчиковъ, и такъ легко, такъ свободно на этой тихой рѣкѣ, съ этимъ стихійнымъ, безалабернымъ, распущеннымъ и вѣчно страждущимъ отъ похмельнаго недуга перевощикомъ Тюлинымъ? Откуда это чувство тяготы и разочарованія съ одной стороны, и облегченія— съ другой? Отчего на меня, тоже книжнаго человѣка, отъ *тѣхъ* вѣетъ такимъ холодомъ и отчужденностью, а этотъ кажется такимъ близкимъ и такъ хорошо знакомымъ, какъ будто въ самомъ дѣлѣ—„все это уже было когда-то“...

Въ этомъ замѣчаніи раскрывается глубокая, внутренняя связь автора съ простымъ народомъ, который дѣйствительно былъ когда-то и *нашимъ* прошлымъ, который ложится въ основу нашей духовной жизни, какъ часть цѣлаго въ своеобразномъ народномъ организмѣ. Но наслоенія культуры въ разбродъ разобщили „сильныхъ“ и „слабыхъ“, мудрыхъ, просвѣщенныхъ и темный, сѣрый людъ. „Охъ, скоро ль будетъ день на святой Руси,—восклицаетъ Короленко въ другомъ разсказѣ—„Солнечное затменіе“,—когда разсѣются призраки, недовѣріе, вражда и взаимныя недоразумѣнія между тѣми, кто смотритъ въ трубы и изслѣдуетъ небо, и тѣми, кто только припадаетъ къ землѣ, а въ изслѣдованіи видитъ оскорбленіе грознаго Бога?“ И далѣе, когда затменіе кончилось: „Солнце, солнце... я почувствовалъ въ эту минуту, что этотъ первый проблескъ прогналъ прочь густо столпившіеся призраки предразсудка, предубѣжденія, вражду этой толпы?“... „Мелькнулъ свѣтъ—и мы стали опять братьями“... Это не прежній романтизмъ, не возвеличеніе „мѐньшей братіи“ подъ ореоломъ поэзіи на несоотвѣтствующій ей пьедесталъ, не „обожествленіе пролетарія“, противъ котораго вооружался Бальзакъ: Короленко, какъ художникъ, во многомъ не меньше реалистъ, чѣмъ Бальзакъ; но онъ смотритъ шире, проникаетъ глубже. И въ концѣ концовъ, припомнимъ, развѣ не также въ средѣ бродягъ, нищихъ, отщепенцовъ общества нашелъ впервые откликъ своей проповѣди Божественный Учитель изъ Назарета? Если принять это во вниманіе, то парадоксъ Бальзака, что „нравственность начинается съ достаткомъ“— окажется уже граничащимъ съ абсурдомъ... Но Бальзакъ — пессимистъ, Бальзакъ—разрушитель иллюзій, Бальзакъ — непреклонный борецъ за трезвую правду,—въ то же время онъ скептикъ и иногда оказывается въ противорѣчіи съ самимъ собой: „я не вѣрю,—говоритъ онъ въ предисловіи къ „Комедіи человѣчества“,—въ безконечность прогресса, что касается обществъ (т.-е. соціальной организаціи),

но я вѣрю въ прогрессъ человѣка надъ самимъ собой (ie crois au progrès de l'homme sur lui-même"). Въ такомъ случаѣ—зачатки этого прогресса, этого духовнаго развитія человѣка проходятъ черезъ всѣ стадіи эволюціи общества и должны быть также признаны и въ низшихъ слояхъ его. Затѣмъ, хотя бы абсолютный прогрессъ представлялся недостижимымъ въ соціальной организаціи, усовершенствованныя условія жизни представляются существенно необходимыми для *„эволюціи"* нравственности: въ этомъ выводѣ всѣ три разсматриваемые нами писателя могутъ сойтись.

Въ итогѣ нашихъ бѣглыхъ замѣчаній по поводу совпаденія полувѣковой литературной годовщины „Крестьянъ" Бальзака и выхода въ свѣтъ „Мужиковъ" Чехова, отмѣтимъ нѣсколько главныхъ моментовъ въ развитіи народнической литературы на Западѣ и у насъ. Во Франціи сентиментально-идеалистическое направленіе, главнымъ представителемъ котораго служитъ Жоржъ-Сандъ, встрѣтило рѣшительный отпоръ въ лицѣ Бальзака, который далъ иное направленіе литературѣ и противопоставилъ рядъ реалистическихъ картинъ — вымышленнымъ, прикрашеннымъ, идеализированнымъ изображеніямъ крестьянской жизни. Картины его во многомъ правдивы, жизненны; но, по крайней мѣрѣ при описаніи даннаго сословія, односторонни, и авторъ—реакціонеръ во многомъ. Это, конечно, не умаляетъ степени его таланта, даже геніальности, и послѣдующее развитіе реализма и натурализма у писателей, примыкающихъ къ школѣ Бальзака, дало всѣмъ извѣстные результаты во французской литературѣ.

У насъ, при зарожденіи народнической литературы въ 40-хъ годахъ, одновременно съ послѣднимъ періодомъ жизни и дѣятельности Бальзака, идейное направленіе было иное; при этомъ, какъ извѣстно, реалистическія тенденціи встрѣтились и уживались нѣкоторое время рядомъ съ жоржъ - сандизмомъ. Однако, — по свидѣтельству Champfleury,—Бальзака въ Россіи все же раньше оцѣнили, чѣмъ на его родинѣ: M. de Balzac était adoré à St.-Pétersbourg quand on l'insultait en France,—писалъ Шанфлери въ 50-хъ годахъ (Le réalisme, 1857). Дѣйствительно, при всемъ отличіи въ общей оцѣнкѣ „крестьянства" и въ выводахъ, есть много сходнаго въ пріемахъ творчества Бальзака и нашихъ первыхъ „народниковъ", и не только „народниковъ", а и романистовъ въ болѣе широкомъ смыслѣ слова и даже самыхъ крупныхъ.

Ограничусь указаніемъ двухъ чертъ, характерныхъ именно для

послѣдняго произведенія Бальзака и, mutatis mutandis, опредѣляющихъ первый моментъ въ эволюціи народнической литературы и у насъ, независимо отъ теченія, примыкающаго въ идейномъ отношеніи къ направленію Жоржъ-Сандъ.

Первая черта опредѣляется въ двухъ словахъ замѣчаніемъ Золя о литературной дѣятельности Жоржъ-Сандъ: „она не описывала крестьянъ, а воспѣвала ихъ". Бальзакъ же описывалъ; описывалъ, какъ сторонній наблюдатель жизни, по сущности ему чуждой, но привлекавшей его для полноты осуществленія задуманной и тогда уже ясно формулированной общей задачи—„Комедіи человѣчества". Извѣстно, въ чемъ заключалась эта задача: представить описаніе человѣческихъ „породъ", т.-е. людей разныхъ классовъ общества, сложившихся въ опредѣленные типы въ зависимости отъ вліянія среды и условій жизни. Бальзакъ усматривалъ въ человѣческомъ обществѣ аналогію съ животнымъ царствомъ, согласно теоріямъ Жоффруа Сентъ-Илэра въ его знаменитомъ спорѣ съ Кювье. Сначала Бальзакъ писалъ безъ предвзятой теоріи, а подъ впечатлѣніемъ дѣйствительности и внутренне-пережитаго. По справедливому замѣчанію Флята (Essais sur Balzac 1894—1896), Бальзакъ незамѣтно для самого себя, почти непроизвольно пришелъ къ обобщеніямъ, которыя вытекали какъ „психологическая необходимость" въ результатѣ долгаго накопленія документовъ, возникшихъ изъ его первыхъ опытовъ. Подведеніе ихъ подъ теоріи Жоффруа Сентъ-Илэра было отчасти лишь случайнымъ совпаденіемъ выводовъ, и въ этомъ заключается (по мнѣнію Флята) существенная разница между пріемами творчества Бальзака и нѣкоторыхъ его наиболѣе извѣстныхъ преемниковъ, т.-е. главнымъ образомъ Золя, у котораго—научныя теоріи впереди, а литература служитъ имъ лишь иллюстраціей (Les conceptions scientifiques rattachées et plaquées à un effort littéraire). Но какія особенности склада ума Бальзака привели его къ этимъ обобщеніямъ-теоріямъ, въ концѣ концовъ все же заимствованнымъ изъ области научныхъ изысканій? Прежде всего, конечно, стремленіе наблюдать, описывать, изслѣдовать соотношеніе явленій, — характеризовать во всѣхъ подробностяхъ, во всѣхъ мелочахъ міръ видимый, внѣшній. Поразительная наблюдательность и тонкая отдѣлка деталей этого Мейссонье въ литературѣ чередовались, правда, съ чистымъ творчествомъ по интуиціи, благодаря которой Бальзакъ и возвысился до созданія общечеловѣческихъ характеровъ,—каковы отецъ Горьо, старикъ Грандэ, Бальтазаръ Кляэсъ, Вотрэнъ и др. Но подобно тому, какъ въ современной ему наукѣ описательный методъ являлся преобладающимъ, такъ и у Бальзака описательный пріемъ представляется

его главнымъ оружіемъ. Отсюда многіе недостатки его стиля, не всегда соотвѣтствующаго тому или другому настроенію дѣйствующаго лица—оно не пережито авторомъ, а описано по наблюденіямъ со стороны.

Какъ бы ни дошелъ Бальзакъ до теоріи, изложенной имъ въ предисловіи къ Comédie humaine уже въ 1842 г., свой новый романъ—„Les paysans"—онъ выполнилъ, подчинившись до нѣкоторой степени самъ своей теоріи, писалъ, стало быть, съ заранѣе намѣченною цѣлью, для выполненія сознательной задачи. Мы не назовемъ это тенденціозностью въ узкомъ смыслѣ слова, но все же нѣкоторой предумышленною теоретичностью, элементомъ, постороннимъ чистому творчеству. Это опредѣляетъ вторую черту, характерную именно для даннаго произведенія Бальзака. Уже многія „породы" людскія, многіе слои и классы общества были имъ „описаны", когда Бальзакъ обратился къ вопросу о „крестьянахъ", и здѣсь авторъ, наблюдатель и теоретикъ, лицо—уже вполнѣ чуждое дѣйствующимъ лицамъ разсказа изъ низшаго сословія. Онъ не переживаетъ вмѣстѣ съ крестьянами процессовъ ихъ внутренней жизни, ихъ чувствъ и настроеній: онъ изучаетъ ихъ, наблюдаетъ дѣйствительность, даетъ характеристики, пишетъ, правда, съ натуры, но самъ стоитъ въ сторонѣ отъ картины, которую видитъ подъ извѣстнымъ угломъ.

Измѣните точку зрѣнія—пріемъ останется во многомъ сходнымъ даже у автора „Записокъ охотника". Дѣйствительно, Тургеневъ тоже выступалъ въ качествѣ сторонняго наблюдателя при изображеніи крестьянскихъ типовъ и также имѣлъ въ виду опредѣленную цѣль, хотя и иную, чѣмъ Бальзакъ. Крестьяне представляются у Тургенева какъ бы составной частью ландшафта, и недаромъ было замѣчено еще Анненковымъ, что природа и люди всегда координированы у Тургенева; описанія мѣстности, времени дня, погоды, освѣщеніе—всегда въ тонѣ съ сюжетомъ разсказа, съ душевнымъ настроеніемъ дѣйствующихъ лицъ *). Тургеневъ меньше разсуждаетъ, меньше морализуетъ, чѣмъ Бальзакъ; въ немъ сильнѣе художественный темпераментъ поэта и краски иныя. Къ нему рѣже примѣнимъ упрекъ, дѣлаемый Тэномъ Бальзаку — описаніе не есть картина: и „картинности", быть можетъ, даже слишкомъ много въ его описаніяхъ. Но психологія Тургенева не глубока, не всегда проникновенна; поэтъ стоитъ особнякомъ отъ дѣйствія; онъ больше излагаетъ, чѣмъ даетъ ощутить чужую душу въ ея скрытыхъ, угадываемыхъ движеніяхъ; описательный пріемъ беретъ рѣшительный перевѣсъ: авторъ и сю-

*) Мысль эта была подробнѣе развита въ лекціи г. Бардовскаго по поводу 50-лѣтія „Записокъ охотника", читанной на „утрѣ" въ Александринскомъ театрѣ. 21 декабря 1897 года.

жетъ постоянно двоятся, чувствуются раздѣльно. Отсюда, конечно, не слѣдуетъ, чтобы Тургеневъ не обладалъ способностью понимать мужика, сочувствовать его настроеніямъ и даже многое угадывать въ его внутренней жизни; но вѣрно понявъ характеръ, настроеніе, онъ, подобно Бальзаку, передаетъ ихъ неоднократно „своими словами", т.-е. описательно.

Та же раздвоенность характеризуетъ и поэзію Некрасова, у котораго, какъ извѣстно, за поэтомъ, за художникомъ-бытописателемъ выказывается и публицистъ. Описательный пріемъ съ разными оттѣнками, въ разсмотрѣніе которыхъ не буду здѣсь вдаваться, присущъ у насъ цѣлой плеядѣ писателей-народниковъ, проявившихъ болѣе или менѣе оригинальный талантъ, но не создавшихъ новаго направленія въ художественной литературѣ. Въ наиболѣе откровенной формѣ онъ выраженъ у Глѣба Успенскаго, который разсудочной стороной своего творчества всего ближе стоитъ къ Бальзаку, сходясь съ нимъ зачастую и въ выводахъ. Такъ, напримѣръ, характеризуя личность и міросозерцаніе Ивана Босыхъ (во „Власти земли"), Г. Успенскій замѣчаетъ, что его „отвѣты и разсказы были всегда неинтересны, очень часто утомительны своимъ однообразіемъ или, напротивъ, ставили въ недоумѣніе... Происходило это отъ того, что Иванъ часто вовсе не упоминалъ о томъ *главномъ*, что давало этимъ слухамъ и утомительнымъ разговорамъ глубокій (на мой взглядъ) интересъ, *а я, какъ человѣкъ, посторонній подробностямъ и сущности народной жизни*, не понималъ этого главнаго и пропускалъ мимо ушей такія слова и фразы, произносимыя Иваномъ мимоходомъ, какъ всѣмъ давно извѣстныя и понятныя, которыя именно одни только и могли освѣтить мнѣ тьму и путаницу нашихъ неинтересныхъ разговоровъ". Авторъ, очевидно, доискивается до пониманія народной души; онъ идетъ ощупью, какъ человѣкъ, по собственному признанію, „посторонній сущности народной жизни" *).

---

*) Оставляемъ въ сторонѣ г. Златовратскаго, оцѣнка котораго сдѣлана и не вызвала особыхъ разногласій въ послѣднихъ отзывахъ критики по поводу 30-лѣтняго юбилея его литературной дѣятельности. Его главной заслугой отмѣчено было то, что при изображеніи крестьянскихъ типовъ, авторъ разсматриваетъ ихъ не обособленно, а въ ихъ средѣ. „Вы изобразили деревенскую жизнь во всей ея полнотѣ,—сказано въ адресѣ московскаго общества,—во всей ея полнотѣ, во всѣхъ ея будничныхъ проявленіяхъ". Но г. Златовратскій все же „романтикъ" народности изъ школы Жоржъ-Сандъ, а затѣмъ онъ также обобщаетъ свои наблюденія „народной психологіи", какъ посторонній наблюдатель и изслѣдователь народной жизни. На эту особенность пріемовъ творчества большинства нашихъ народниковъ справедливо указалъ критикъ „Сѣвернаго Вѣстника" (январь, 1898 г.): „Авторъ пользуется беллетристической формой какъ бы мимоходомъ, нехотя, случайно и забываетъ ее или пренебрегаетъ ею при всякомъ удобномъ случаѣ. Его произведеніе,

Иной пріемъ творчества характеризуетъ произведенія изъ народнаго быта Льва Н. Толстого, когда онъ выступилъ на это поприще, уже въ сравнительно болѣе позднемъ періодѣ своей литературной дѣятельности. По крайней мѣрѣ, въ двухъ его произведеніяхъ—„Власть тьмы" и „Хозяинъ и работникъ" — мы имѣемъ отнюдь не стороннее описаніе наблюдателя жизни. Однако, авторъ не только сживается съ дѣйствующими лицами своей драмы и повѣсти, а вкладываетъ себя самого въ нихъ. Частности внѣшняго обихода поразительны по своему реализму и кажутся непосредственнымъ отголоскомъ жизни; стоитъ глубже присмотрѣться къ характерамъ, и главные изъ нихъ представятся *созданными,* созданными не только по даннымъ, заимствованнымъ изъ окружающей дѣйствительности, изъ наблюденій жизни, а по внутреннимъ, *личнымъ* процессамъ творчества, согласно психологіи самого автора и его индивидуальнымъ особенностямъ. Да и по основной темѣ „Власть тьмы" съ гораздо большимъ правомъ можетъ быть названа отвлеченнымъ этюдомъ страсти и ея роковыхъ послѣдствій, съ точки зрѣнія философско-моральной, чѣмъ бытовой картиной жизни крестьянъ, и это — несмотря на ultra-реалистическую обстановку дѣйствія. Въ характерѣ купца, въ „Хозяинѣ и работникѣ", также много внесено субъективно-толстовскаго, и нетрудно сблизить этотъ разсказъ со „Смертью Ивана Ильича", при внѣшней травестіи дѣйствующихъ лицъ. Несмотря на этотъ субъективный элементъ, который авторъ влагаетъ въ характеристику индивидуальности того или другого лица, Толстой несомнѣнно придаетъ своимъ созданіямъ и кажущійся, объективно-реальный обликъ, художественную цѣльность образа. Однако, къ главнымъ созданнымъ имъ характерамъ вполнѣ примѣнимо, на мой взглядъ, выраженіе „отвлеченныхъ реальностей", выраженіе, установленное за послѣднее время французскими критиками по отношенію къ произведеніямъ классиковъ XVII вѣка. Толстой именно создаетъ „отвлеченныя реальности" общечеловѣческаго характера изъ крестьянскихъ типовъ, какъ въ XVII вѣкѣ во Франціи создавали „отвлеченныя реальности" изъ королей и принцевъ классической трагедіи. Въ этомъ его громадная заслуга и культурно-историческое значеніе данныхъ его произведеній, въ которыхъ

задуманное, какъ романъ, повѣсть или разсказъ, обращается безъ всякой видимой причины въ разсужденіе или въ журнальную статью, гдѣ трактуются вопросы народной психологіи..." Это черта школы, исключительно ей принадлежащая... Между „народниками" есть и были писатели съ выдающимся художественнымъ талантомъ, а между тѣмъ, забывая, что они художники, они говорятъ общими мѣстами, какъ бы стыдясь своей творческой силы. Еще раньше на это обратилъ вниманіе Н. К. Михайловскій въ своемъ очеркѣ о Глѣбѣ Успенскомъ (см. „Сочиненія" т. V, 1897 г., стр. 81).

демократическая волна XIX вѣка достигла въ литературѣ кульминаціоннаго пункта. Подобно тому, какъ натурализмъ Расина привелъ его къ созданію вполнѣ человѣческихъ характеровъ изъ царственныхъ особъ, къ тому, чтобы, при сохраненіи внѣшняго колорита придворной, бытовой обстановки жизни XVII вѣка, очертить типы универсальнаго значенія, глубоко правдивые и, по сущности, реальные, но именно, какъ „отвлеченныя реальности",—такъ Левъ Толстой претворилъ личности изъ крестьянскаго сословія, возвысилъ ихъ до значенія общечеловѣческихъ характеровъ, при сохраненіи внѣшней реально-бытовой обстановки дѣйствія. Такъ поступалъ, конечно, и Шекспиръ, откуда бы онъ ни заимствовалъ сюжеты своихъ трагедій (но все же исключительно изъ привиллегированнаго сословія), при большей объективности и разнообразіи очерченныхъ характеровъ; Расинъ тоже несравненно объективнѣе Толстого, но индивидуальность автора „Войны и мира" настолько широка, глубока, скажу даже—многогранна, независимо отъ односторонности его теорій, что общечеловѣческое въ его созданіяхъ не заслонено вполнѣ субъективнымъ. Даже наоборотъ,—основные характеры крестьянскихъ типовъ пріобрѣтаютъ у него общечеловѣческое значеніе, благодаря тому индивидуальному элементу, который въ нихъ вложенъ авторомъ: они близки намъ, близки всѣмъ, такъ называемымъ „интеллигентнымъ" лицамъ, потому что перекинутъ мостъ между различіями сословныхъ разграниченій. Такимъ образомъ, прежняго обособленія между писателемъ и объектомъ описанія уже нѣтъ; личность автора слита съ его твореніями; художникъ уже не описываетъ дѣйствительности, а создаетъ воображаемый міръ, реально-возможный, но по существу именно созданный.

А. П. Чеховъ представляетъ намъ другой фазисъ эволюціи творчества. Спѣшу оговориться, что я не дѣлаю никакихъ сравненій *степени* таланта или геніальности того или другого писателя: наши замѣчанія относятся исключительно къ пріемамъ творчества, имѣютъ въ виду лишь отношеніе автора къ своему произведенію, совершенно независимо отъ классификаціи талантовъ по степенямъ. Послѣднее мы сочли бы теперь и неумѣстнымъ. Разница пріемовъ Чехова отъ двухъ другихъ указанныхъ моментовъ развитія народнической литературы заключается въ томъ, что онъ не описываетъ, какъ Бальзакъ и отчасти Тургеневъ, внѣшній бытъ, особенности и индивидуальныя черты разныхъ лицъ изъ народной среды; съ другой стороны, онъ не создаетъ „своихъ характеровъ" какъ Толстой, пользуясь наблюденіями дѣйствительности, какъ матеріаломъ и претворяя ихъ въ новые образы личнаго творчества; Чеховъ воспринимаетъ впечатлѣнія жизни,

передаетъ въ образной формѣ свои индивидуальныя ощущенія дѣйствительности. Это, конечно, импрессіонизмъ, съ вышеуказанными ограниченіями, при которыхъ мы старались выдѣлить и нѣчто иное, большее, даже въ послѣднемъ разсказѣ Чехова. Но импрессіонизмъ все же остается, съ его положительными и отрицательными сторонами. Положительными—необыкновенная свѣжесть впечатлѣнія для того читателя, котораго индивидуальность близка индивидуальности автора, или по крайней мѣрѣ способна къ ней приноровиться; положительными—ибо авторъ также не сторонній наблюдатель жизни, а тѣсно связанъ съ нею, составляетъ самъ какъ бы часть ея, открываясь намъ въ своихъ ощущеніяхъ и непосредственной передачѣ впечатлѣній жизни; отрицательными—неполнота, возможная односторонность, скажемъ даже, случайность полученныхъ впечатлѣній; невозможность на основаніи ихъ дѣлать общіе выводы. Но Чеховъ силенъ своимъ „настроеніемъ" и самобытнымъ талантомъ. Его импрессіонизмъ не внѣшній, а, такъ сказать, внутренній, т.-е. впечатлѣнія проходятъ сквозь призму индивидуальности автора, отлагаются на его внутренней жизни: поэтому онѣ такъ характерны и служатъ образнымъ выраженіемъ эволюціи его индивидуальнаго созерцанія.

Что касается В. Г. Короленко, то онъ занимаетъ особое мѣсто въ силу сложности дарованій этого писателя, при всемъ, сравнительно небольшомъ объемѣ имъ созданнаго. Во внѣшнихъ пріемахъ онъ отчасти примыкаетъ къ школѣ Тургенева, котораго напоминаетъ и по лирическому темпераменту, по воспріимчивости къ красотамъ природы, по стремленію къ художественной цѣльности картины. Но есть и несомнѣнная разница. Вспомнимъ, напримѣръ, его произведеніе—„Лѣсъ шумитъ", которое по общей структурѣ, по техникѣ и внѣшнимъ пріемамъ всего ближе подходитъ къ жанру „Записокъ охотника", быть можетъ, даже создано подъ нѣкоторымъ литературнымъ вліяніемъ Тургенева. Превосходная, поэтическая рамка зеленаго, вѣчно шумящаго лѣса, въ которомъ „много тайнъ погребено". Крѣпко лѣсъ шумитъ, быть бурѣ—и разыгралась она прежде всего въ людскихъ сердцахъ. Координація рамки и сюжета та же, что обыкновенно у Тургенева. Далѣе разсказъ ведется отъ имени старика, но психологія принадлежитъ или, вѣрнѣе, угадана авторомъ: намѣчено нѣсколько послѣдовательныхъ фазисовъ развитія характера главнаго дѣйствующаго лица—лѣсника Романа, и они переданы съ поразительнымъ рельефомъ, не какъ „описаніе", а именно какъ пережитое, какъ продуктъ творчества „субъективнаго", заставляющаго угадывать недосказанное, не выраженное словами. Почему Романъ въ началѣ такъ противился женитьбѣ? Онъ приводитъ разные предлоги, кромѣ глав-

наго: Оксана любовница пана. Конечно, онъ сразу догадался, почему панъ такъ настойчиво хотѣлъ его женить, но это нигдѣ не высказано и не должно было быть высказано, если считаться съ психологіей крестьянина и не быть повѣствователемъ, разъясняющимъ читателю записанныя наблюденія. Подчинился Романъ панской волѣ, подъ ударами кнута, но выставляетъ предлогомъ: „не дождетъ ея батько, чтобы изъ-за бабы христіанину вотъ какъ сыпали, да еще не считали". Шуткой прикрыто насильственное подчиненіе чужой волѣ. Бракъ заключенъ, но, конечно, бракъ лишь формальный, и Романъ озлобленъ противъ насильно-данной ему жены: „не люблю,—говоритъ онъ,—когда баба у меня въ избѣ спитъ. Духъ нехорошій". Слѣдующій моментъ въ развитіи чувствъ у Романа—прощеніе и примиреніе съ женой. Испытаніе длится нѣкоторое время, испытаніе безмолвное, своеобразное, по крестьяне мало говорятъ, когда что-нибудь глубоко въ душѣ залегло: они словоохотливы лишь по постороннимъ вопросамъ и предметамъ внѣшняго обихода; для *того* у нихъ словъ не хватаетъ. Предлогъ примиренія опять данъ формальный: стало лучше, удобнѣе жить при хозяйкѣ въ домѣ, и привыкъ. Бальзакъ остановился бы на этой внѣшней чертѣ, отмѣтивъ новое подтвержденіе своему тезису объ индифферентизмѣ крестьянъ въ вопросахъ „нравственности". Однако, индифферентизма тутъ нѣтъ: есть у Романа невысказанная словами, скрытая причина, которую авторъ даетъ, однако, возможность угадать: Романъ понялъ, убѣдился, присмотрѣвшись къ Оксанѣ, что она не распутница по природѣ, что не по своей волѣ „согрѣшила" съ паномъ. Покорностью, добрымъ поведеніемъ, послушаніемъ она искупила свой невольный грѣхъ, расположила Романа къ себѣ, и онъ простилъ ее, простилъ, даже не высказавъ упрека. Только одинъ разъ Романъ позволилъ себѣ намекъ на прошлое: когда ребенокъ Оксаны умеръ и она слишкомъ долго оплакиваетъ его. Немного поплакать онъ ей далъ; не „дитыну" жалѣлъ Романъ, а „Оксану жалѣлъ"; но потомъ не вытерпѣлъ — „можетъ быть, говоритъ, будетъ другая лучшая, „дитына", а та еще, можетъ, и не моя была"... Но онъ спѣшитъ загладить неловкость такого намека: крестьяне, вопреки Бальзаку, не чужды „деликатности" въ чувствахъ, а порой и удивительной чуткости сердца. И вотъ, Романъ поясняетъ, что не свое подозрѣніе онъ сообщилъ: то бабка Ѳедосья сказала, что слишкомъ скоро „дитына поспѣла"; самъ же онъ будто и не знаетъ, „скоро или нескоро" это полагается... Третій и послѣдній моментъ—ревность и месть. И опять-таки Романъ словно самъ и не при чемъ, ничего не видѣлъ, не догадывается. Другой человѣкъ—Опанасъ—досказываетъ: „не стерпитъ мое сердце, чтобы лютый ворогъ опять теперь и надъ

нею и надъ тобою потѣшался". Простая душа Романа искала какъ бы внѣшней прицѣпки, чтобы дать волю своимъ личнымъ чувствамъ и подозрѣніямъ. При всей сложности психологическаго процесса, происходившаго въ душѣ Романа, авторомъ замѣчательно выдержанъ его кажущійся безличнымъ и апатичнымъ характеръ человѣка, словно лишеннаго всякой инициативы. Такъ соблюдена внѣшняя объективность изложенія, правдивость очертаній и вмѣстѣ съ тѣмъ раскрытъ внутренній міръ дѣйствующаго лица разсказа, скорѣе угадываемый, чѣмъ изложенный въ словахъ; нужно постоянно читать между строкъ. Поэтому разсказъ и производитъ впечатлѣніе чего-то пережитаго, какъ бы лично испытаннаго: данный характеръ не описанъ и не записанъ наблюдателемъ жизни, онъ пережитъ и воспроизведенъ въ формѣ непосредственныхъ ощущеній жизни.

Выше указаннымъ пріемомъ внесенія фантастическаго элемента въ свои разсказы Короленко отчасти напоминаетъ Гоголя. Его повѣсть „Судный день" — словно отголосокъ „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки". Быть можетъ, изложеніе здѣсь нѣсколько длинно, что ослабляетъ интересъ, и слишкомъ элементарно противоположеніе жида и кулака изъ крестьянъ, въ пользу перваго. Но, пользуясь вымысломъ, образностью очертаній и фантастическими преданіями, Короленко, какъ уже было замѣчено, во многомъ символистъ, и это и есть то новое, что онъ отъ себя придаетъ данному, усвоенному имъ литературному пріему.

Иною стороной своего творчества Короленко близокъ къ Л. Н. Толстому: выступая по преимуществу въ роли бытописателя, онъ не просто романистъ-этнографъ, обладающій способностью сживаться, переживать и воспроизводить въ художественной формѣ различные— скажемъ, употребляя терминъ научной этнографіи, — „психическіе организмы". Индивидуальность автора зачастую проникаетъ въ самые образы, просвѣчиваетъ за дымкой объективированнаго разсказа, придавая ему особый смыслъ. Напримѣръ, внѣшнія очертанія „Сна Макара" представляютъ вполнѣ возможный якутско-христіанскій миѳъ, но это не страничка фольклора въ художественной передачѣ наблюдателя жизни, стремящагося понять и воспроизвести чуждое ему, какъ интеллигенту, міросозерцаніе. Авторъ, правда, сроднился съ типомъ, пережилъ его чувствованія и вѣроятныя вѣрованія; фальшивой ноты нигдѣ нѣтъ; но, конечно, идейное содержаніе „сна" принадлежитъ не Макару. Та высокая мораль, тѣ начала гуманности, тотъ философскій подъемъ мысли, которые просвѣчиваютъ въ цѣломъ рядѣ эпизодовъ „видѣнія" и завершаются въ превосходномъ штрихѣ, какъ деревянная чашка вѣсовъ поднимается, — все это не

могло сниться бѣдному Макару. Мы имѣемъ дѣло съ индивидуальностью автора, съ его личнымъ настроеніемъ и думами. Еще яснѣе выражается она въ такомъ очеркѣ, какъ „Тѣни“, и именно за спиной „тѣни“ Сократа, бесѣдующаго съ грознымъ владыкой Олимпа и отстаивающаго свободу совѣсти, свободу изслѣдованій, разумное усвоеніе истины. И кстати замѣтимъ—если свести вмѣстѣ различныя черты, въ которыхъ проявляется личное настроеніе автора въ разныхъ его очеркахъ, то не окажется ли самою главною, типичною въ нихъ—на-ряду съ широкою любовью ко всему человѣческому—именно это исканіе правды, глубокое, смѣлое и до боли душевной искреннее стремленіе къ истинѣ, которая одна „освобождаетъ людей“? Если мы не ошиблись въ опредѣленіи основной черты нашего бытописателя-поэта, то мы, пожалуй, нѣсколько заподозримъ полную „объективность“ созданія такого типа, какъ вышеупомянутый „убивецъ“. Не есть ли и онъ также лишь „отвлеченная реальность“? Но, съ другой стороны, не отъ того ли такъ близка и понятна автору та духовная жизнь простого народа, которая несомнѣнно ему присуща, въ немъ крѣпка и дѣятельна, несмотря на оковы невѣжества, на первобытную грубость нравовъ, на всѣ отрицательныя свойства „мужика“? Чеховъ по преимуществу ощутилъ эти отрицательныя свойства, намекнувъ, правда, и на иные, смутные проблески духовнаго начала, но, въ общемъ онъ все же выступилъ главнымъ образомъ, какъ нѣкогда и Бальзакъ, разрушителемъ „иллюзій“. Короленко „ощущаетъ“ другія стороны народной жизни; онѣ ему близки, онъ съ ними сроднился и воспроизводитъ ихъ не какъ „иллюзіи“, которыя умѣстны лишь разъ въ жизни, въ юности, — мы изъ нея вышли и намъ онѣ уже не по возрасту, — а какъ ту почву, тѣ положительныя данныя, которыя имѣются и у низшей братіи, лишенной „достатка“, но все же способной воспринять сѣмя добра и правды.

На вопросъ—должны ли мы учиться, какъ жить—у мужика, Короленко, вѣроятно, отвѣтилъ бы, какъ и Чеховъ, что учиться нечему, но добавивъ: а все же есть, за что и любить его.

Высказанныя замѣчанія, конечно, не имѣютъ въ виду представить сравнительную оцѣнку указанныхъ писателей во всемъ объемѣ ихъ литературной дѣятельности: съ этой точки зрѣнія характеристика была бы неполною и, къ тому же, представились бы существенныя неудобства сравнивать „молодыхъ“, не сказавшихъ еще своего послѣдняго слова писателей, съ такими колоссами въ литературѣ, какъ вышеназванныя имена.—Посвящая очеркъ памяти Бальзака, мы не можемъ въ заключеніе не припомнить одной глубокой мысли, высказанной имъ въ предисловіи къ тому же роману о „крестьянахъ“. Бальзакъ

самъ назвалъ представленную имъ картину нравовъ — „d'une effrayante vérité"—тяжелой, потрясающей правдой; но спѣшитъ къ этому прибавить, что такъ будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, „пока общество станетъ возводить филантропію въ принципъ, вмѣсто того, чтобы считать ее случайностью въ жизни" (tant que la société voudra faire de la philantropie un principe au lieu de la prendre pour un accident). Что же значитъ этотъ афоризмъ? Мнѣ кажется, что смыслъ его очевиденъ и, къ тому же, онъ является въ весьма рельефномъ противорѣчіи съ другими разсужденіями Бальзака — „реакціонера". Пока филантропія будетъ возводима въ принципъ, до тѣхъ поръ не будетъ принято мѣръ къ полному искорененію зла, или вѣрнѣе— золъ: золъ невѣжества, грубости, несомнѣнныхъ золъ нищеты, со всѣми ея отрицательными послѣдствіями. Филантропія, какъ „случайность", должна существовать, но это средство палліативное. А какое государство, правительство, общество, руководящіеся принципами справедливости и добра, не ставятъ своей конечной цѣлью самостоятельное благополучіе гражданъ, и только временной задачей—опеку сильныхъ надъ слабыми, благотворительность, какъ средство — не искорененія, а только отстраненія немедленныхъ, вопіющихъ золъ? Пусть мечта о такой идеальной общественной организаціи представляется утопіей, которую тотъ же авторъ въ другомъ мѣстѣ опровергаетъ, все же отрадно раскрыть въ глубинѣ души Бальзака — скептика и пессимиста — *скрытаго* утописта и гуманиста въ лучшемъ смыслѣ слова.

Ѳ. Батюшковъ.

9-го янв. 1898 г.

Сентъ-Бёвъ, Мишель и Жоржъ-Сандъ.

Отвоевавъ въ 1831 году свою личную самостоятельность, выяснивъ свое призваніе и добившись положенія и славы настоящаго писателя,—при чемъ первыми руководителями ея на этомъ поприщѣ являются Делятушъ, графъ де-Кератри и Сандо,—Жоржъ-Сандъ временно какъ бы вся отдалась личной жизни; цѣлые 4 года, съ 1831 по 1835, являются рядомъ бурно-смѣняющихся увлеченій. Но даже и въ періодъ этихъ увлеченій, какъ та „маленькая пчела", о которой мы всѣ учили въ дѣтствѣ, Жоржъ-Сандъ сумѣла, „оставивъ ядъ" въ чашечкахъ этихъ „цвѣтовъ зла", запастись многимъ прекраснымъ и цѣннымъ. Близость къ Мюссе, вліяніе этой тонкой художественной натуры сказались болѣе всего въ стремленіи писательницы къ большей чистотѣ литературнаго вкуса и нѣкоторой самокритикѣ.

Вліяніе Сентъ-Бёва было гораздо глубже и не ограничилось сферой только литературы. Въ одномъ письмѣ къ Сентъ-Бёву отъ 27-го февраля 1845 года Жоржъ-Сандъ говоритъ, что, несмотря на то, что они расходятся по своимъ убѣжденіямъ и что она не любитъ его друзей,—онъ всегда останется ей особенно дорогъ, какъ свидѣтель ея былыхъ страданій и огорченій (намекая на ту роль благоразумнаго совѣтника, которую онъ игралъ во время ея романа съ Мюссе). Но въ *Histoire de ma vie* она называетъ того же Сентъ-Бёва однимъ изъ своихъ „умственныхъ воспитателей и благодѣтелей" *), а на поднесенномъ ему экземплярѣ своего романа *Monsieur Sylvestre* она подписала: „à mon ami Sainte-Beuve, *chère et précieuse lumière dans ma vie*". И дѣйствительно, роль Сентъ-Бёва въ жизни великой писательницы и началась гораздо ранѣе, и окончилась гораздо позднѣе ея романа

*) Исторія моей жизни. Часть IV, стр. 267.

съ Мюссе, да и была гораздо болѣе важною, чѣмъ только роль благосклоннаго выслушивателя любовныхъ признаній и любовныхъ ляментацій. Наставленія Сентъ-Бёва, его указанія, ободренія и одобренія оказали не разъ громадныя услуги Жоржъ-Сандъ въ періоды ея колебаній, бурнаго исканія истины, паденій и увлеченій. Сентъ-Бёвъ отличался глубокимъ пониманіемъ человѣческой натуры, даже ея странностей и заблужденій, и Жоржъ-Сандъ очень цѣнила въ немъ это пониманіе и безбоязненно раскрывала предъ нимъ всѣ свои язвы и раны. Въ одномъ изъ первыхъ писемъ своихъ къ нему, еще въ апрѣлѣ 1833 г., въ отвѣтъ на предложеніе Сентъ-Бёва познакомить ее съ Жоффруа-Сентъ-Илеромъ, она отвѣчаетъ отказомъ, мотивируя этотъ отказъ тѣмъ, что Жоффруа, какъ натура черезчуръ цѣльно-добродѣтельная, ни въ какомъ случаѣ не окажется ей подходящимъ человѣкомъ, и по этому поводу дѣлаетъ слѣдующую живописную характеристику себя, Жоффруа и Сентъ-Бёва:

„Я говорю, что г. Жоффруа долженъ быть слишкомъ добръ, чистъ и неопытенъ для идей извѣстнаго порядка, которыя я пережила и испытала и которыя и вы также изслѣдовали, хотя не такъ далеко зашли, какъ я. Напр., я говорила себѣ: „Развѣ не дозволительно ѣсть человѣческое мясо?“ А вы себѣ говорили: „Можетъ быть, есть люди, которые себя спрашиваютъ, не дозволительно ли ѣсть человѣческое мясо?“ А г. Жоффруа говорилъ себѣ: „Никакому человѣку никогда не приходила въ голову мысль ѣсть человѣческое мясо“. А между тѣмъ существуютъ цѣлыя народности, которыя ѣдятъ его и которыя отъ этого, можетъ быть, не въ худшемъ положеніи передъ Богомъ. Я не горжусь, ибо, обратившись къ самой себѣ съ подобными вопросами, я ихъ не разрѣшила и остановилась на этомъ; г. Жоффруа, не зная даже, что подобные вопросы существуютъ, не имѣетъ заслуги въ томъ, что отрицаетъ ихъ; но вы, который, подумавъ обо всемъ и, можетъ быть, попробовавъ отвратительныхъ вещей, какъ это приходится дѣлать химикамъ, объявили, что человѣческое мясо невкусно и вредно, и рѣшились питаться избранною пищей,—вы, очевидно, обладаете разсужденіемъ, т.-е., въ нравственномъ смыслѣ слова, у васъ есть просвѣщенное знаніе (lumière) и сила...“

Выходитъ, что Сентъ-Бёвъ являлся для Жоржъ-Сандъ тѣмъ мудрымъ совѣтникомъ, который „прощаетъ, ибо все понимаетъ“, онъ привлекалъ ее своею разносторонностью, гибкостью пониманія, отсутствіемъ предвзятыхъ идей и партійности. Въ періодъ самаго мрачнаго отчаянія и пессимизма Жоржъ-Сандъ, когда она писала *Лелію*, и когда онъ восхищался глубиной и силой мыслей, несвойственными женщинамъ, которыя молодая писательница проявила въ этомъ произведеніи *), — Сентъ-Бёвъ въ то же самое время старался успокоить

*) См. его замѣчательное письмо къ ней, отъ 10 марта 1833 г., обнародованное въ книгѣ де Спульберка „Veritable Histoire“. Это письмо интересно сравнить съ отзывомъ его о Леліи, отъ 18 мая того же года, напечатаннымъ въ „Portraits Contemporains“.

мятущуюся душу Жоржъ-Сандъ, примирить ее съ жизнью и законами божескими и человѣческими. Онъ старался научить ее перенести центръ тяжести всѣхъ ея интересовъ изъ сферы личной жизни въ сферу художественной дѣятельности, полагать его въ литературномъ трудѣ, а болѣе всего стремиться къ развитію въ себѣ гармонически-идеальнаго человѣческаго духа, стоящаго выше страстей и непрестанно идущаго впередъ по пути моральнаго и интеллектуальнаго совершенствованія. Этотъ идеалъ и эти стремленія были еще съ юности, со времени монастыря, близки душѣ Авроры Дюдеванъ—недаромъ она и величаетъ постоянно Сентъ-Бёва своимъ *духовникомъ* и говоритъ, что въ немъ что-то *священническое* *). Любовь къ Альфреду де-Мюссе, которая была спасеніемъ отъ охватившихъ Жоржъ-Сандъ мизантропіи и пессимизма, въ то же время явилась помѣхой на томъ пути просвѣтленія и *самонахожденія*, той нравственной эволюціи, которая началась для романистки въ 1833 году. Въ іюлѣ предшествовавшаго года, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ бури, сломившей ее въ началѣ года, она пишетъ Сентъ-Бёву, что сильно подвинулась впередъ къ будущности, полной ясности и отреченія, о которой мечтаетъ въ хорошіе дни.

„Я почувствовала, что любовь такъ же мало мнѣ подходитъ, какъ розовый вѣнокъ къ шестидесятилѣтней головѣ, и вотъ уже три мѣсяца (навѣрное, первые три мѣсяца въ моей жизни) я не испытываю ни малѣйшаго искушенія къ тому. Вотъ я на чемъ остановилась. Я надѣюсь, отдыхаю, пишу, люблю своихъ дѣтей и не очень страдаю. Я подвигаюсь къ идеѣ Тренмора, не слишкомъ путаясь.“

И, объясняя ему разницу между вліяніемъ на нее Плянэ и его, Сентъ-Бёва, Жоржъ-Сандъ упрашиваетъ его не покидать ее одну на томъ *перепутьѣ*, на которомъ она стоитъ.

„Помогите мнѣ найти мою дорогу, такъ какъ я еще часто колеблюсь и спрашиваю себя, не вступила ли я на ложный путь... О, друзья мои! Немного помощи, немного жалости, я на опасномъ переходѣ и хотя подвигаюсь впередъ, но часто еще спотыкаюсь...“

Но едва черезъ нѣсколько недѣль послѣ этихъ строчекъ та же корреспондентка, которая писала о приближеніи къ идеѣ Тренмора, подразумѣвая подъ нею, очевидно, идеалъ самоотверженнаго служенія человѣчеству,—писала теперь Сентъ-Бёву, что она влюблена въ Мюссе и что „богохульствовала противъ природы и Бога, когда писала *Лелію*“,—и вслѣдъ затѣмъ, полная свѣтлыхъ надеждъ, Жоржъ-Сандъ сначала предприняла экскурсію въ Фонтенебло, а потомъ уѣхала и въ Италію. Потомъ разыгралась итальянская трагедія съ ея двукратнымъ парижскимъ возобновленіемъ и потрясающимъ эпило-

*) См. ея письма къ нему отъ іюля 1833 года.

гомъ. Сентъ-Бёвъ очень не одобрялъ этого возобновленія итальянскихъ бурныхъ сценъ и всѣми силами старался удерживать Жоржъ-Сандъ отъ свиданій съ Мюссе, о чемъ она довольно ѣдко и раздраженно пишетъ не разъ и въ письмахъ и въ дневникѣ, посланномъ Мюссе. Казалось бы, дружба съ Сентъ-Бёвомъ пошатнулась, а еще болѣе казалось бы, что Жоржъ-Сандъ навсегда забыла о своихъ былыхъ исканіяхъ истины и намѣреніяхъ пересоздать свою жизнь. Но едва купивъ дорогою цѣною свою свободу, эта смѣлая, упругая, какъ сталь, душа разомъ—и точно не было ни перерыва, ни помѣхи, — вернулась на ту самую точку, которой достигла въ моментъ, предшествовавшій ея сближенію съ Мюссе. И едва переселившись въ Ноганъ, въ мартѣ и апрѣлѣ 1835 г. она пишетъ Сентъ-Бёву тѣ два замѣчательныя письма, которыя недавно обнародованы г. де-Ломени-junior. Жалуясь прежде всего на то, что Сентъ-Бёвъ покинулъ ее одну въ самый тяжелый моментъ ея жизни, и упрашивая его вновь помочь ей, быть ея мудрымъ наставникомъ и духовникомъ, она говоритъ потомъ:

...„*Но, Боже мой, что дѣлать со своей силой? Куда дѣть ее? Какое примѣненіе вы нашли своей?* Скажите, скажите же скорѣе! Вы не изъ тѣхъ, которые могутъ отвѣчать: „не хочется бѣжать, ибо у меня нѣтъ ногъ“. Вы отдали куда-то, въ какое-нибудь святилище, на какое-нибудь таинственное свѣтило вашу молодость, ваши сомнѣнія, ваши страданія. Неужели же въ самомъ дѣлѣ въ христіанство? Но какъ сдѣлать, чтобы войти въ этотъ храмъ? Всякій разъ, что я прохожу мимо дверей его, я преклоняю колѣна передъ этой божественной поэзіей,—издали. Но если я приближаюсь, я уже не вижу того, что̀ я тамъ единственно видѣла. Я хотѣла бы найти Бога во всемъ его величіи и славѣ и пасть ницъ и не видѣть подлѣ себя подобныхъ мнѣ существъ, которыя говорили бы мнѣ: „это Онъ“, ибо тогда я стала бы сомнѣваться.“

„Ахъ! какъ вы счастливы! За какое преступленіе осуждена я на роль вѣчнаго жида? Вы говорите, что вы страдаете и умѣете страдать. Ну, я умѣю не хуже васъ страдать. Бьюсь объ закладъ, что ваши мученія показались бы мнѣ даже гораздо легче, чѣмъ они кажутся вамъ, если бъ у меня было, какъ у васъ, утѣшеніе, если бъ я могла хоть разъ, хоть на минуту въ сутки, собраться съ мыслями и сказать, поклоняясь чему нибудь: *Вотъ то, въ чемъ я не могу сомнѣваться...*“

...„Послушайте, мнѣ часто приходитъ въ голову (и это вродѣ утѣшенія, которое я себѣ позволяю), что причина, изъ-за которой страстныя души терпятъ мученія, благородна и свята. Любить—это изъ всего, что мы знаемъ, еще самое широкое и облагораживающее. Въ этомъ хоть находишь возможность и желаніе жертвовать собою...“

А 4 апрѣля въ отвѣтъ на отвѣтъ Сентъ-Бёва, вновь поднимая тотъ же вопросъ, она опять говоритъ:

„...Въ концѣ концовъ я пришла къ заключенію, которое я одна и могу вывести о самой себѣ, а именно, что эти „молніи моего чела“, эти „лучи генія“, всѣ эти „огненныя и великія черты“, какъ вы ихъ называете на

вашемъ поэтическомъ языкѣ,—въ сущности лишь преступное злоупотребленіе и болѣзненное развитіе нѣкоторыхъ способностей, которыя Богъ даровалъ мнѣ для лучшаго употребленія. Ахъ, я вижу это ясно теперь, будьте въ этомъ увѣрены, и въ этомъ и заключается наказаніе за мои ошибки. Но оно меня лишило бы мужества лишь въ томъ случаѣ, если бъ я была увѣрена въ своей неисправимости и неизлечимости. Но вотъ этого-то я и не знаю и это я рѣшила непремѣнно узнать, употребивъ всю силу, какая только у меня остается на то, чтобы исправить зло, которое я самой себѣ сдѣлала. Если я не смогу, я лучше постараюсь застрѣлиться, чѣмъ вновь начать жить тою жизнью, которую я вела за послѣдніе два или три года. Но я надѣюсь, не потому, что я въ себѣ чувствовала бы большіе задатки для успѣха, а потому, что желаніе успѣха всегда даетъ надежду.

„Не думайте, чтобы то *эхъ!* (bah!), которое находилось въ моемъ послѣднемъ письмѣ въ началѣ какого-то возвеличенія любви въ моемъ духѣ, означало что-нибудь иное, кромѣ рѣшимости почитать, какъ святое и прекрасное, это чувство, которымъ я злоупотребила и которымъ злоупотребляли относительно меня. Что касается желанія вновь вернуться къ нему отъ скуки или отъ досады, не бойтесь, что оно у меня явится. Напротивъ, даже мысль о такой любви, какую вы мнѣ рисуете, кажется мнѣ сномъ, который никогда для меня не сдѣлается дѣйствительностью, и я приложу всѣ свои старанія къ тому, чтобы онъ и не сдѣлался ею. Нѣтъ, нѣтъ, ни тотъ, ни этотъ! Ни нѣжной и постоянной любви, ни слѣпой и жестокой. Думаете ли вы, что я могу внушать первую или что я хотѣла бы испытать вторую? Обѣ прекрасны и цѣнны, но я слишкомъ стара для обѣихъ. Я къ этому больше не имѣю ни вѣры, ни надежды, ни желанія. Я вообще не могу ручаться ни за какія свои настроенія, но я чувствую, что это настроеніе очень глубоко, эта сторона моей жизни поражена такою грустью и ужасомъ, которые похожи на смерть, да это и есть, вѣроятно, смерть. Итакъ, мой взоръ обращается не сюда, а если онъ когда-нибудь сюда и обратится, то съ гораздо большею робостью и страхомъ, чѣмъ даже вы мнѣ посовѣтовали бы...“

И вслѣдъ за проклятіями по адресу „людей и книгъ, которые своими софизмами“ натолкнули ее на путь погони за наслажденіями и на жизнь настоящимъ мигомъ, и вслѣдъ за сожалѣніями о томъ времени, когда Франклинъ былъ ея настольной книгой и идеаломъ*), она говоритъ:

„Я хочу покорно ожидать, чтобы Провидѣніе мнѣ естественнымъ образомъ ниспослало какое-нибудь средство дѣлать добро. Я еще не знаю, существуетъ ли оно, ибо то, которое мы всѣ болѣе или менѣе дѣлаемъ, не кажется мнѣ заслуживающимъ этого прекраснаго названія. Но увидимъ! Отъ чего я хотѣла бы научиться добровольно отказываться—это отъ личнаго удовлетворенія. Это большой и тяжкій трудъ, цѣль котораго мнѣ неизвѣстна, но она должна

*) Въ это же почти время она то же самое писала на разные лады и своему другу Роллина въ „Письмахъ путешественника“, особенно въ томъ письмѣ, гдѣ она приводитъ изъ своихъ юношескихъ тетрадей „характеристику справедливаго“ или „праведника“ и горько оплакиваетъ свою высокомѣрную вѣру въ себя, приведшую ее къ паденіямъ и пораженіямъ.

быть, и которая, если она не приводитъ къ добру, не можетъ приводить къ злу. Я скажу вамъ, если мнѣ это удастся, какое дѣйствіе это произведетъ во мнѣ и буду ли я себя чувствовать *лучшей*. Я хотѣла бы дать своимъ дѣтямъ почтенную старуху-мать. Если мнѣ это не удастся, мой другъ, будьте увѣрены, что я не позволю, чтобы моя жизнь прицѣпилась къ ихъ жизни, какъ старыя лохмотья...“ *).

Это письмо къ Сентъ-Бёву было не сразу отправлено по назначенію, и 14 апрѣля Жоржъ-Сандъ приписываетъ къ нему слѣдующую многознаменательную страничку:

„Я довольно хорошо провела эту недѣлю и предыдущую. Я вновь перечитала Франклина, я бесѣдовала съ старымъ другомъ, который мудръ и счастливъ и тоже восторгается *добрякомъ Ришаромъ* **). И потомъ я видѣла цѣлую бурю политическихъ дѣятелей, которая не внушила мнѣ желанія умчаться въ эту сторону (намекъ на слова письма С.-Бёва къ ней, говорившаго, что она всегда готова внезапно умчаться куда-нибудь въ сторону—faire une cavalcade—то за однимъ, то за другимъ какимъ-нибудь чувствомъ или человѣкомъ), за этими идеями, хотя это и прекрасныя идеи и люди прекрасные по духу. Я довольна спокойствіемъ своего ума и тѣмъ малымъ участіемъ, которое я принимаю въ человѣческихъ дѣлахъ, поскольку они лично меня касаются. Необходимость найти поддержку, которая до сихъ поръ меня мучила, разсѣевается въ присутствіи людей, которые представляютъ собою, или думаютъ, что представляютъ,—теоріи. Я предпочитаю подождать, чтобы какія-нибудь убѣжденія проявились у меня, чѣмъ вводить ихъ въ свой мозгъ посредствомъ шампанскаго. Прощайте, мой другъ, я ни весела, ни горда. Я не много надѣюсь... Не говорите, что ваше счастье и ваша добродѣтель внушили бы мнѣ жалость, если бы я увидѣла, въ чемъ ихъ великій секретъ. Говорите мнѣ обратное, хотя бы вамъ пришлось для этого преувеличивать. Ахъ, если бы я была увѣрена, что добродѣтель то, что́ я прежде мечтала о ней, какъ бы я скоро къ ней вернулась; я, чувствующая въ себѣ столько силы, которую некуда дѣть! Но гдѣ вновь обрѣсти это желаніе, эту вѣру, эту надежду. Молитесь обо мнѣ, если Богъ ваши молитвы выслушиваетъ, молитесь о всѣхъ несчастныхъ людяхъ...“

Эта страница получаетъ чрезвычайно многознаменательное значеніе, если сопоставить ее съ тѣмъ, что VI „Письмо путешественника“, главы котораго помѣчены 11—15-мъ, 18-мъ, 20-мъ, 22-мъ, 23-мъ, 26-мъ и 29-мъ апрѣля и которое при первомъ своемъ появленіи на страницахъ „Revue des deux Mondes“ было помѣчено № IV и слѣдовало немедленно за тремя письмами къ Мюссе и письмомъ къ Роллина, названнымъ *Lettre d'un Oncle*, полными еще отголосками недавней

---

*) Почти тѣми же словами, какъ въ этихъ и слѣдующихъ строкахъ, Ж.-Сандъ говоритъ о своемъ намѣреніи самоубійства, чтобы не портить жизни сына и дочери,—и въ IV „Письмѣ путешественника“, въ части, обращенной къ Роллина.

**) Т.-е. знаменитымъ Almanach du bonhomme Richard, самымъ популярнымъ изъ всѣхъ писаній Веньямина Франклина, являющимся какъ бы сводомъ его моральныхъ и практическихъ положеній и наставленій.

сердечной драмы, — это VI письмо *) посвящено уже „Эверару"— Мишелю изъ Буржа.

Дѣйствительно, точно желая показать измученной страстями и сомнѣніями женщинѣ, что есть иная и лучшая, чѣмъ одни лишь чувства и любовныя перипетіи, точка приложенія самой необузданной индивидуальной силы, на избытокъ которой Жоржъ-Сандъ словно жалуется,—судьба какъ нельзя болѣе кстати столкнула ее въ 1835 году съ тремя личностями, вся жизнь и дѣятельность которыхъ явилась самоотверженнымъ *служеніемъ идеѣ*,—это были Мишель, Листъ и Ляменнэ.

И какъ разъ у Мишеля Жоржъ-Сандъ нашла то, чего не могъ ей дать Сентъ-Бёвъ. Сентъ-Бёвъ хотѣлъ излечить ее отъ ея сомнѣній и увлеченій, преподавъ ей философски-спокойное, диллетантски-объективное отношеніе къ жизни, умѣнье замыкаться въ себя, и въ самой себѣ, въ *идеальной свободѣ духа* находить то нравственное удовлетвореніе, котораго не могли дать ей люди, то счастье, за *которымъ она гонялась*. Мишель указалъ ей исходъ, болѣе подходящій для ея натуры и горячаго сердца: искать удовлетворенія всѣмъ силамъ духа въ состраданіи къ ближнимъ, въ служеніи человѣчеству. И вотъ на мѣстѣ эллински-спокойнаго Сентъ-Бёва мы видимъ временно въ роли учителя и руководителя Жоржъ-Сандъ странную и характерную фигуру типическаго демагога 30-хъ годовъ.

Напомнимъ вкратцѣ его біографію. Мишель изъ Буржа, — сынъ республиканца, убитаго противниками революціи въ 1793 году,—родился въ Э въ 1788 г.; республиканскія убѣжденія всосалъ онъ чуть не съ молокомъ матери, въ нихъ и выросъ; учился сначала въ Э, потомъ изучалъ право въ Парижѣ. Сдѣлавшись адвокатомъ, онъ прославился рядомъ блестящихъ защитъ по политическимъ дѣламъ съ половины 20-хъ до конца 30-хъ годовъ, наконецъ выступилъ защитникомъ и по такъ называемому „чудовищному процессу" (procès monstre) въ апрѣлѣ 1835 г., когда республиканская партія воспользовалась рѣчами своихъ вожаковъ не столько для оправданія обвиненныхъ по дѣлу о ліонскомъ возмущеніи, сколько для произнесенія цѣлаго ряда profession de foi и филиппикъ противъ существующаго порядка. Мы не станемъ пересказывать исторіи этого процесса, ибо

---

*) *Письма путешественника* въ собраніяхъ сочиненій Жоржъ-Сандъ напечатаны съ большими измѣненіями противъ своего первоначальнаго текста и въ совершенно измѣненномъ порядкѣ. Въ Revue des deux Mondes они печатались по мѣрѣ своего возникновенія, и по нимъ можно гораздо лучше, чѣмъ по отдѣльному изданію, слѣдить за личной жизнью и событіями жизни автора, или хотя бы за его отношеніями въ каждую данную минуту къ различнымъ личностямъ.

всякій читатель можетъ перечесть блестящія страницы Луи Блана, относящіяся до того эпизода *). Мишель былъ однимъ изъ наиболѣе видныхъ дѣйствующихъ лицъ въ этой эпопеѣ. Необычайная сила духа въ изможденномъ, слабомъ тѣлѣ; умъ рѣзкій и прямолинейный, честолюбіе и славолюбіе (доходившее до зависти къ сотоварищу по защитѣ Треля́, посаженному за извѣстное письмо къ обвиняемымъ **) на 3 мѣсяца въ тюрьму, въ то время какъ самого Мишеля посадили лишь на 1 мѣсяцъ, — хоть онъ и объяснялъ эту зависть разными возвышенными причинами), честолюбіе, приведшее его впослѣдствіи къ погонѣ за извѣстностью, а далѣе почти къ отреченію отъ убѣжденій юности; наконецъ необычайный ораторскій талантъ, умѣнье угадывать самыя разнообразныя индивидуальности слушателей, играть на нихъ, какъ на инструментѣ, *покорять* самую сопротивляющуюся аудиторію,—все это естественно поставило Мишеля сначала во главѣ маленькой мѣстной республиканской партіи въ Буржѣ, а потомъ сдѣлало его однимъ изъ главарей движенія 30-хъ годовъ вообще. Съ 1831 г. онъ издавалъ мѣстный органъ *Revue du Cher* и достигъ, благодаря этому журналу, громаднаго вліянія въ провинціи. Но къ концу 30-хъ годовъ онъ словно усталъ, отказался отъ дальнѣйшей пропаганды республиканскихъ идей; былъ депутатомъ отъ Шера и Віенны, но слабымъ и бездѣятельнымъ, и наконецъ въ 1839 г. сильно повредилъ себѣ защитой по дѣлу чиновника, преслѣдовавшаго какой-то журналъ по статьѣ такъ наз. „уложенія Bourbeau".

Послѣ 1837 г. Мишель вообще сталъ заботиться почти исключительно объ адвокатской *практикѣ*, увлекся наживой, звѣзда его стала меркнуть, о немъ такъ забыли, что въ 1848 г. никто не предложилъ его въ члены временнаго правительства. Его выбрали, правда, въ депутаты въ 1849 году: тутъ онъ явился однимъ изъ членовъ республиканской оппозиціи и защитилъ всеобщую подачу голосовъ, но уже далеко не имѣлъ такого обаянія на слушателей, какъ прежде; высказавшись за предоставленіе президенту права пользоваться вооруженной силой для самозащиты, Мишель какъ бы косвеннымъ образомъ способствовалъ coup d'état. Поэтому переворотъ 1851 года сразилъ его, онъ сталъ хандрить и чахнуть, и отъ горя и болѣзни умеръ въ 1853 году въ Монпелье.

Не пересказывая здѣсь исторіи апрѣльскаго процесса 1835 г. и

---

*) Louis Blanc. Histoire des X ans. Bruxelles. 1849. т. II, стр. 158—185.

**) Въ этомъ письмѣ, въ первоначальномъ составленіи котораго участвовала и Жоржъ-Сандъ, представитель республиканской адвокатуры уговаривалъ обвиненныхъ отказаться отъ защиты и тѣмъ протестовать противъ нарушенія закона во время судопроизводства по ихъ дѣлу.

подробностей, относящихся до участія въ немъ Мишеля, мы не станемъ повторять и нѣсколько прикрашеннаго разсказа Жоржъ-Сандъ о ея *обращеніи,* совершенномъ Мишелемъ *) на мосту Св. Отцовъ. *Обращать* Жоржъ-Сандъ, съ одной стороны было нечего, такъ какъ и сочувствіе къ разнымъ спеціально-альтруистическимъ теоріямъ и симпатіи къ демократіи въ сущности всегда жили въ ея душѣ, и еще во времена дружбы и переписки съ де-Сезомъ проявлялись довольно ярко. Если Мишель и совершилъ нѣкоторое обращеніе, то лишь въ томъ смыслѣ, что заинтересовалъ Жоржъ-Сандъ тою обострившеюся борьбой политическихъ партій, которая тогда разгорѣлась во Франціи, и заставилъ увидать, что̀ было въ этой борьбѣ и въ усиленіи республиканской партіи желательнаго для всякаго человѣка, симпатизирующаго христіански-соціальнымъ идеямъ. До сихъ поръ Жоржъ-Сандъ относилась къ политикѣ равнодушно. Въ ея изданныхъ и неизданныхъ письмахъ, какъ изъ временъ ея замужней жизни, такъ и изъ періода самостоятельности, всякій разъ, какъ рѣчь коснется политики, слышится какой-то не то презрительный, не то насмѣшливый, легкомысленно веселый тонъ **). Она не столько сочувствуетъ побѣдѣ на выборахъ въ Ля-Шатръ республиканской партіи (къ которой принадлежалъ ея мужъ, братъ Ипполитъ, старикъ Дюри-Дюфренъ и разные ея беррійскіе друзья), сколько подсмѣивается надъ неудачными маневрами противной партіи, надъ всѣми волненіями и перипетіями борьбы партій вообще, пародируетъ политическія рѣчи, манифесты, пародируетъ тонъ политическихъ газетныхъ статей. Она, правда, сообщаетъ мужу о парижскихъ парламентскихъ дебатахъ или о томъ, что „вы-де съ мачихой (баронесса Дюдеванъ) не сойдетесь въ мнѣніяхъ, ибо она орлеанистка",—она безпокоится о друзьяхъ, бывшихъ въ Парижѣ во время іюльскихъ дней, и сокрушается о невинныхъ и виновныхъ жертвахъ рѣзни,—но о вожакахъ движенія, объ ихъ рѣчахъ, побѣдахъ, дѣяніяхъ отзывается неизмѣнно съ легкой насмѣшкой и какъ бы мимоходомъ; она, что называется, „не принимала ихъ въ серьезъ". Мало того, съ самимъ Мишелемъ она познакомилась вовсе не изъ чувства заочнаго благоговѣнія, подобнаго тому, какое питали къ нему многіе изъ ея бер-

---

*) „Исторія моей жизни", т. IV. главы VII и IX. стр. 315—374.

**) Напечатанныя письма: 1830 г., 31 іюля, 7 сентября, 27 октября, 22 ноября, а также, и въ особенности: a) письмо къ госпожѣ Сентъ-Аньянъ, помѣченное „конецъ сентября и начало октября", напечатанное въ Revue Encyclopédique, наконецъ b) письма Авроры къ мужу отъ 1831 г., какъ неизданныя, такъ и напечатанныя уже въ Cosmopolis и въ книжкѣ „*Véritable Histoire d'Elle et Lui*" г. де-Спульберкомъ.

рійскихъ друзей, а скорѣе опять-таки изъ насмѣшливаго любопытства. Какъ аѳинянину надоѣло слушать, что Аристида „всѣ называютъ справедливымъ", такъ и ей надоѣло, что кругомъ нея только и повторяли на разные лады, что *„Мишель думаетъ такъ-то", „Мишель сказалъ", „Мишель говоритъ, что"* и т. д. и т. д. И она поѣхала въ Буржъ, чтобы воочію увидѣть этого новоявленнаго пророка и чтобы имѣть тоже право повторять: *„Мишель сказалъ, что..."* Кажется, даже она воображала, что она про себя „посмѣется надъ великимъ энтузіастомъ", какъ можно заключить изъ послѣднихъ строкъ ея „VI Письма путешественника" („soi béni de m'avoir forcé de regarder sans rire la face d'un grand enthousiaste"), однако посмѣяться ей не пришлось. Еще въ 1833 году Жоржъ-Сандъ познакомилась съ Адольфомъ Геру*), сенъ-симонистомъ и сотрудникомъ *Globe*'а, который, какъ и другіе сенъ-симонисты, увидѣлъ въ первыхъ романахъ писательницы воплощеніе идей, сходныхъ съ тѣмъ, что проповѣдывала ихъ партія относительно эмансипаціи женщины, и потому съ самаго начала явился дѣятельнымъ защитникомъ и толкователемъ молодого автора. Геру, по словамъ Максима Дюкана, былъ даже отряженъ сенъ-симонистами къ Жоржъ-Сандъ съ просьбой принять на себя роль той „свободной женщины" или „матери", появленія которой тщетно ожидали сенъ-симонисты. Разумѣется, Жоржъ-Сандъ рѣшительно отвергла предложеніе сенъ-симонистовъ**), но написавъ *Лелію*, уже сама обра-

---

*) Adolphe Guéroult, политическій дѣятель, журналистъ и экономистъ, р. 1810 г. въ Radepont, умеръ въ Vichy въ 1872 г., участвовалъ въ Globe, Temps, J. des Dèbats, République, Presse, основалъ Opinion nationale; исполнялъ нѣсколько разъ дипломатическія порученія въ Испаніи, былъ консуломъ въ Мексикѣ, въ Яссахъ; служилъ въ Credit Mobilier, благодаря своимъ связямъ съ бывшими сенъ-симонистами; сначала былъ противникомъ Имперіи, а потомъ примирился съ нею и являлся представителемъ такъ называемой démocratie césarienne.

**) Maxime du Camps. „Souvenirs littéraires". Deuxieme partie, Revue des deux Mondes. 15 mai 1882. Разсказывая о костюмѣ сенъ-симонистовъ и особенно объ ожерельѣ, которое носилъ Анфантенъ и на которомъ висѣло полушаріе съ рельефными словами „Le Père", долженствовавшее обратиться въ шаръ лишь въ тотъ день, когда была бы найдена „La Mère"—вслѣдствіе чего даже на портретѣ Анфантенъ изображенъ стоящимъ передъ двойнымъ кресломъ и жестомъ руки указывающимъ на пустое мѣсто въ знакъ того, что онъ ждетъ эту мать. — Дюканъ затѣмъ говоритъ: „Но кто же была эта ожидаемая Мать, эта женская Мессія, такъ страстно призываемая? Это должна была быть „свободная женщина". Не надо понимать „свободная" въ худомъ смыслѣ слова, это бы лишь значило впасть въ заблужденіе, которое нарочно поддерживалось шутниками. Смыслъ его достаточно страненъ самъ по себѣ, чтобы было нужнымъ посредствомъ ничѣмъ не оправдываемыхъ объясненій дѣлать его неприличнымъ. Свободною женщиной должна была быть та разумная и размышляющая женщина, которая, пораздумавъ надъ судьбой своихъ сестеръ, зная женскія нужды, изучивъ женскія способности, понять которыя мужчина никогда вполнѣ не могъ, — могла бы высказаться отъ имени своего пола,

тилась къ Геру, прося помощи и поддержки для ея новаго дѣтища Съ этого времени ея отношенія къ Геру становились все болѣе дружественными, а съ другой стороны Жоржъ-Сандъ все съ большимъ интересомъ и сочувствіемъ относилась къ сенъ-симонистскому ученію, уже не подсмѣивалась надъ нимъ (какъ въ 1831 году) *), и даже зимою 1835 г. посѣтила одно изъ собраній. Въ ученіи сенъ-симонистовъ было слишкомъ много сходнаго съ вѣрованіемъ самой Авроры Дюдеванъ, и потому она съ упованіемъ и довѣріемъ ждала много хорошаго отъ нихъ въ будущемъ, не ожидая, впрочемъ, чего-либо рѣшительнаго и окончательно-долженствующаго водворить рай на землѣ. Она не прониклась также убѣжденіемъ въ благодѣтельности знаменитаго путешествія сенъ-симонистовъ на Востокъ, въ смыслѣ полученія какихъ-то новыхъ откровеній, но очень радовалась, что ея молодой другъ расширитъ свой кругозоръ и познакомится съ разными новыми странами, слѣдовательно съ бо̀льшими знаніями будетъ трудиться на пользу грядущаго человѣчества. Когда около 1835 г. стало выясняться коренное разногласіе между сенъ-симонистами и республиканцами, Жоржъ-Сандъ съ интересомъ выслушивала объясненія и мнѣнія по этому поводу Геру, охотно бесѣдовала съ нимъ устно и письменно, и только одного не допускала: излишняго и нескромнаго вмѣшательства въ ея частную жизнь. Такъ напримѣръ, она всякій разъ рѣзко останавливала Геру, когда онъ заговаривалъ о ея мужскомъ костюмѣ или пытался говорить ей какія-то любезности **). И вотъ вслѣдъ

безъ всякихъ утаекъ, такъ чтобы представить непоколебимыя данныя для формулированія женскихъ правъ и обязанностей... Розыски свободной женщины—Матери не были изобрѣтеніемъ Анфантена; задолго до него, въ то время, какъ Огюстенъ Тьерри былъ секретаремъ Сенъ-Симона, этотъ послѣдній пытался отыскать это восьмое чудо свѣта и вообразилъ, что нашелъ его въ m-me де-Сталь. Онъ написалъ ей, предлагая помочь ему дать человѣчеству новаго спасителя, который провозгласитъ живое слово, отъ чего всяческое блаженство распространится на землѣ. M-me де-Сталь улыбнулась и оставила приглашеніе безъ отвѣта. Когда Жоржъ-Сандъ напечатала свои первые романы, которые походили на крикъ возмущенія противъ всемогущества бороды, міръ сенъ-симонистовъ взволновался и всѣ вообразили, что ожидаемая Девора явилась... Адольфу Геру было порученно попытаться завербовать въ послѣдовательницы „ученія“ эту Лелію, которая, казалось, готова была произнести женскія „Вѣрую“ и „Покаянную“. Геру нашелъ плохо одѣтую (mal appareillée) женщину, добывавшую себѣ средства своимъ талантомъ, но вовсе не помышлявшую о томъ, чтобы сдѣлаться жрицей новой вѣры. Вышло разочарованіе, а позднѣе это разочарованіе стало еще бо̀льшимъ, когда Жоржъ-Сандъ напечатала свои воспоминанія. Анфантенъ ожидалъ ихъ съ безпокойствомъ пловца, разыскивающаго невѣдомыя страны; онъ разсчитывалъ на исповѣдь безъ всякихъ умолчаній, которая бы освѣтила женщину до самыхъ тайниковъ души ея; онъ былъ разочарованъ“ (стр. 247).

*) Ея письма къ мужу отъ февраля 1831 г. (Cosmopolis, Fevrier 1897).

**) Корреспонденція, т. I.

за одною изъ такихъ „нотацій“, Жоржъ-Сандъ пишетъ ему весною 1835 года *):

...„Единственное неудобство, которое я вижу въ этомъ рѣшеніи (ѣхать на Востокъ) — то, что новое пребываніе съ главами сенъ-симонизма увеличитъ въ васъ чувство фанатизма къ людямъ и именамъ. Я не люблю этого чувства, я нахожу его мелкимъ, принижающимъ и глупымъ. Я его часто испытываю, и нѣтъ еще 24 часовъ, какъ я должна была выдержать сильную борьбу сама съ собою, чтобы оборониться отъ него въ присутствіи очень виднаго политическаго дѣятеля. Я не состою подъ знаменемъ никакого вожака и, сохраняя уваженіе, почтеніе и удивленіе передъ всѣми, кто благородно исповѣдуетъ какую-нибудь религію, я все-таки убѣждена, что подъ небомъ нѣтъ человѣка, который заслуживаетъ, чтобы передъ нимъ преклоняли колѣна... я бесѣдовала съ сенъ-симонистами, съ карлистами, съ Ляменнэ, съ Коэссеномъ, съ представителями умѣреннаго центра, а *вчера съ воплощеннымъ Робеспьеромъ*. Я нашла у всѣхъ этихъ людей большое количество добродѣтели, честности, ума и смысла, *а тотъ, который меня всего болѣе взволновалъ, тотъ, чьи идеи мнѣ наиболѣе ненавистны, личностью котораго я наиболѣе восхищаюсь,—это и есть послѣдній*, что доказываетъ, что легко вводить людей въ заблужденіе и злоупотреблять дарами Бога, *но я клянусь передъ Богомъ, что если крайняя лѣвая достигнетъ власти, то мнѣ головы не сносить, какъ и многимъ другимъ, ибо я молчать не буду*.

„Что я замѣчаю среди этихъ препирательствъ сектъ, занятыхъ возрожденіемъ человѣчества, это — безполезную трату великодушныхъ чувствъ и высокихъ мыслей и еще стремленіе къ соціальнымъ улучшеніямъ, невозможность что-либо сдѣлать въ данную минуту, за неимѣніемъ главы у этого большого сторукаго тѣла, которое раздираетъ само себя, не зная, за что взяться. Это столкновеніе не производитъ пока ничего, кромѣ шума и пыли. Мы еще не дожили до эры, когда оно создастъ общества и ихъ населитъ исправленными людьми... Я хотѣла бы, чтобъ умный и душевный человѣкъ принялся за исканіе истины и по кускамъ вырвалъ ее у тѣхъ, которые ее разорвали и раздѣлили между собою. Я хотѣла бы, чтобъ онъ побывалъ во всѣхъ сектахъ, чтобы съ ними ознакомиться и судить о нихъ. Я хотѣла бы, чтобъ вмѣсто того, чтобы надъ нимъ смѣяться за его подвижность и измѣнчивость, люди выслушали его, какъ самаго просвѣщеннаго и ревностнаго жреца будущаго... Помяните мое слово: настанетъ день, когда вы болѣе не будете вѣрить ни въ какую религіозную секту, ни въ какую политическую партію, ни въ какую соціальную систему. Вы увидите, что для людей существуетъ лишь возможность улучшенія, но подверженная тысячамъ затрудненій... Я сожалѣю объ этихъ сокровищахъ добродѣтели и мужества, которыя разъединяются одни отъ другихъ, и если бъ я могла достигнуть того, чтобъ соединить вмѣстѣ производительную силу пяти паръ рукъ, я считала бы, что этого достаточно, особенно принимая во вниманіе слабость моихъ рукъ.“

Какъ мы видимъ, первое впечатлѣніе рѣчей Мишеля—самое неблагопріятное, и корреспондентка Геру совершенно враждебна всякому „духу партіи“. Вліяніе Сентъ-Бёва еще сильно чувствуется въ

*) Письмо это ошибочно помѣчено въ Корреспонденціи „мартомъ 1836 года“,— оно относится именно ко времени перваго знакомства Жоржъ-Сандъ съ Мишелемъ.

скептическомъ отношеніи къ возможности внезапнаго пересозданія человѣчества, и въ извѣстнаго рода эклектизмѣ. Въ *неизданномъ* письмѣ къ Гюставу Плянэ Жоржъ-Сандъ еще болѣе подчеркиваетъ фактъ своего полнаго равнодушія къ опредѣленнымъ партійнымъ мнѣніямъ:

„*Ноганъ, 14-го апрѣля 1835.* Я просила Дютейля написать тебѣ на-дняхъ, потому что я уѣзжала въ Буржъ, и должна была просить тебя оказать мнѣ маленькую услугу. *Я познакомилась съ Мишелемъ, который мнѣ обѣщалъ гильотинировать меня при первой возможности, когда настанетъ республика.* Суди самъ, что онъ сдѣлаетъ съ тобой, если онъ гильотинируетъ меня, которая *такъ же сильна въ убѣжденіяхъ*, какъ Одри въ разговорѣ! Мы отправимся съ тобою вмѣстѣ на площадь Grève и будемъ острить по дорогѣ...“ 17-го апрѣля, Ипполиту Шатирону: „Я познакомилась съ Мишелемъ, который мнѣ кажется молодчиной, ладно скроеннымъ (un gaillard solidement trempé) на то, чтобы быть народнымъ трибуномъ. Если будетъ переворотъ, я думаю, что онъ надѣлаетъ много шуму...“

Между тѣмъ Мишель, только что прочитавшій *Лелію* и „сходившій отъ нея съ ума“ (il en était toqué) *), былъ пораженъ, узнавъ, что авторъ-женщина, и тотчасъ возгорѣлся желаніемъ *побѣдить* эту своеобразную и сильную натуру и обратить ее въ своего приверженца. И немедленно послѣ отъѣзда Жоржъ-Сандъ изъ Буржа онъ написалъ ей въ догонку, въ Ноганъ, длинное письмо. Завязалась переписка. Когда Мишель уѣхалъ въ Парижъ, Жоржъ-Сандъ и ея друзья тоже поѣхали туда, и новые знакомцы ежедневно видѣлись то въ ея квартирѣ на quai Malaquais, то слушали его въ залѣ суда, то сопровождали Мишеля на его прогулкахъ по Парижу, во время которыхъ либо происходили жаркіе споры, либо Мишель ораторствовалъ, громилъ существующій порядокъ, а всѣ его съ благоговѣніемъ слушали. Жоржъ-Сандъ, дабы не слишкомъ бросаться въ глаза среди этой шумной компаніи, вновь облачилась въ свой мужской костюмъ, и этотъ же костюмъ помогъ ей безпрепятственно проникнуть въ залу засѣданія въ Люксанбургѣ 20 мая **). Въ „*Исторіи моей жизни*“ ***) она говоритъ объ этихъ дняхъ такъ:

„Съ тѣхъ поръ, какъ мы съ нимъ вновь были вмѣстѣ по пріѣздѣ въ Парижъ, вся моя внѣшняя жизнь измѣнилась. Не знаю, насколько то волненіе, насыщавшее воздухъ, которымъ мы дышали, проникло бы безъ него въ мой черда-

---

*) „Исторія моей жизни“, т. IV, стр. 319.

**) Въ VII *Письмѣ путешественника*, адресованномъ Листу, Жоржъ-Сандъ юмористически изображаетъ это происшествіе: „Вспоминаете ли вы Эверара... и моего брата Эммануэля (Араго), который пряталъ меня въ одинъ изъ обширныхъ кармановъ своего сюртука, чтобы пробраться въ Палату пэровъ, и который, вернувшись ко мнѣ домой, ставилъ меня на фортепьяно, говоря вамъ: „Другой разъ вы моего дорогого брата положите въ бумажный фунтикъ, чтобы мнѣ не растрепать его прически“... (*„Письма путешественника“*, стр. 228—230, изд. Леви).

***) „Исторія моей жизни“, т. IV, стр. 334.

чокъ, но съ нимъ оно вторглось туда потоками. Онъ представилъ мнѣ своего задушевнаго друга Жирера (изъ Невера) и другихъ защитниковъ апрѣльскихъ обвиняемыхъ, избранныхъ въ провинціяхъ, сосѣднихъ съ нашей. Другой его пріятель Дежоржъ (изъ Арраса), Плянэ, Эммануэль Араго и два или три общіе друга дополняли нашу школу."

„Днемъ я принимала другихъ своихъ друзей. Немногіе изъ нихъ знали Эверара, не всѣ раздѣляли его идеи, но даже и эти часы дня были волнуемы спорами о внѣшнихъ событіяхъ, и не было возможности не забыть совершенно о себѣ въ томъ лихорадочнымъ состояніи, въ которомъ всѣ находились, благодаря современнымъ событіямъ."

Тѣмъ не менѣе въ письмахъ Жоржъ-Сандъ все еще слышится легкая не то насмѣшка, не то презрительная нотка по адресу политиканствующихъ Она пишетъ 23-мая Дютейлю *(неизданное*; первая часть письма относится до г. Дюдевана):

... „Ты знаешь лучше меня, какъ идетъ процессъ. Моя преданность къ Мишелю *еще не дошла до того, чтобы я стала читать газеты.* Но я его вижу каждый день, что приводитъ къ тому же самому. Его сердце такое же доброе и чувствительное, какъ его поступки сильны и благородны. Я сожалѣю за тебя о всѣхъ тѣхъ дняхъ, которые мы могли бы провести съ нимъ, Бидо, Жиреромъ, Лясюеромъ и др. Я на-дняхъ обѣдала у Листа съ Ляменнэ, Барро, Балляншемъ, Нурри и др. Въ понедѣльникъ я завтракаю у Мишеля съ Ляменнэ. Это сліяніе между людьми, нѣкогда принципіально-противоположными и различными по уму и профессіямъ, явленіе любопытное и врядъ ли когда-либо вновь повторимое. Черезъ нѣсколько дней мы всѣ разъѣдемся..."

Въ числѣ ихъ особенно слѣдуетъ отмѣтить друга Мишеля, Шарля Дидье *), о которомъ Жоржъ-Сандъ много говоритъ въ *„Исторіи моей жизни"*, которому посвящено X-е „Письмо путешественника" (по первоначальной нумераціи VII-е. Въ позднѣйшихъ изданіяхъ „Писемъ путешественника" имя *Дидье* замѣнено псевдонимомъ *Гербера* и лишь въ изданіяхъ, вышедшихъ *до* 1842 г., оно носитъ заголовокъ *A Charles Didier).* Квартира Дидье въ *rue du Regard, 6*, служила какъ бы сборнымъ пунктомъ для всѣхъ друзей Мишеля и Жоржъ-Сандъ, которая и во время своихъ пріѣздовъ въ Парижъ въ 1835 — 1837 гг. останавливалась тамъ и просила друзей своихъ туда адресовать ей письма.

Объ этихъ же собраніяхъ самыхъ несходныхъ, казалось бы, людей Жоржъ-Сандъ упоминаетъ и въ *„Исторіи моей жизни"*. Она сама подтверждаетъ тутъ вновь, что Мишель именно лишь внушилъ ей

---

*) Писатель Шарль Дидье родился въ Женевѣ въ 1805 г., умеръ въ Парижѣ въ 1864 г. Былъ сотрудникомъ Revue des deux Mondes, National, Monde'а Ляменнэ и т. д. Много путешествовалъ; исполнялъ въ 1848 г. дипломатическое порученіе въ Польшѣ. Изъ его сочиненій наиболѣе извѣстны его письма объ Испаніи, вышедшія впослѣдствіи. Подъ конецъ жизни онъ ослѣпъ.

интересъ къ разнымъ политическимъ партіямъ, тогда какъ интересъ къ соціальнымъ вопросамъ уже давно пробудился въ ней:

„Предшествовавшій мѣсяцъ, то-есть апрѣль, я провела въ томъ, что читала Эверара и писала ему. Въ этотъ промежутокъ я видѣла его и осыпала его вопросами, и чтобы лучше воспользоваться тѣмъ короткимъ временемъ, которое было у насъ, я уже ни о чемъ больше не спорила. Я попыталась воздвигнуть въ своей душѣ все построеніе его вѣрованій, чтобы убѣдиться, могла ли я ихъ усвоить съ пользой. Всѣмъ теперь ясно, что я уже и до того вѣровала по-республикански, а съ новыми идеями я пріобрѣла, слушая этого, временами дѣйствительно вдохновеннаго человѣка, то, что испытала сильныя волненія, которыхъ, по моему мнѣнію, никогда политика не могла бы мнѣ внушить. Я всегда равнодушно думала обо всемъ фактическомъ; я смотрѣла на протекавшія мимо меня тысячи историческихъ событій, какъ на мутный и тяжелый потокъ и говорила себѣ: *„Этой воды я пить не буду“*. Очень вѣроятно, что я и продолжала бы не желать примѣшивать моей внутренней жизни къ этимъ безпокойнымъ и горькимъ волнамъ. Сентъ-Бёвъ, который еще имѣлъ на меня вліяніе въ это время, благодаря своимъ ловкимъ насмѣшкамъ и благоразумнымъ предостереженіямъ, смотрѣлъ на положительныя вещи взоромъ любителя и критика. Критика въ его устахъ была полна привлекательности для наиболѣе разсудительной и спокойной стороны. Онъ очень мило насмѣхался надъ тѣмъ внезапнымъ сліяніемъ, которое произошло между самыми различными и сошедшимися со всѣхъ сторонъ свѣта умами, которые, по его словамъ, такъ перемѣшались, какъ если бы всѣ Дантовы круги ада внезапно сдавились въ одинъ. Обѣдъ, за которымъ Листъ соединилъ гг. Ляменнэ, Баллянша, пѣвца Нурри и меня, казался ему самой фантастической вещью, какую только можно вообразить. Онъ спрашивалъ меня, о чемъ же могли бесѣдовать между собою эти пять лицъ. Я ему отвѣчала, что не знаю, что, вѣроятно, г. Ляменнэ говорилъ съ Балляншемъ, Листъ съ Нурри, а я съ домашней кошкой...“

Этой милою шуткой Жоржъ-Сандъ скорѣе отдѣлывалась отъ прямого отвѣта, чѣмъ отвѣчала на вопросъ Сентъ-Бёва, такъ какъ она сама принимала, противъ своего обыкновенія, горячее участіе въ тогдашнихъ спорахъ и разговорахъ; Мишель при всякой встрѣчѣ съ Жоржъ-Сандъ пользовался случаемъ, чтобы „убѣждать“ ее, она же не только внимательно слушала его, но и возражала ему. Дѣло въ томъ, что новая знакомая Мишеля далеко не сразу обратилась въ его покорную ученицу. Правда, она сразу прониклась безграничнымъ чисто-сыновнимъ уваженіемъ и ученическимъ поклоненіемъ къ *личности* талантливаго демагога. Когда его посадили въ тюрьму, и онъ захворалъ, она постоянно посѣщала его, настояла на томъ, чтобы къ нему прислали доктора, ухаживала за нимъ, какъ сестра милосердія *). Но, тѣмъ не менѣе, собственно *проповѣдь* Мишеля, его идеи,

*) Въ напечатанныхъ въ „Корреспонденціи“ письмахъ Жоржъ-Сандъ выпущены почти вездѣ строки, касающіяся до Мишеля. Такъ, стр. 20, тома II-го „Корресп.“

его крайнія мнѣнія встрѣтили въ ней далеко непокорную слушательницу. И если исторія ея личныхъ отношеній къ Мишелю является какъ будто радостной встрѣчей заранѣе ожидаемаго праведника и пророка, того близкаго по духу незнакомца, передъ которымъ сразу отворяются всѣ двери, котораго не знаютъ, какъ получше привѣтствовать, и который въ самое короткое время становится и другомъ, и братомъ, и учителемъ, и чѣмъ-то еще большимъ,—то исторія пресловутаго „обращенія" является настоящей упорной *самообороной* Жоржъ-Сандъ противъ врага, грозящаго столь драгоцѣнной ей индивидуальной свободѣ, врага безпощаднаго, вандальски-уничтожающаго на своемъ пути все, что дорого художнику, все, что составляетъ столь же прекрасное и необходимое завоеваніе человѣческаго духа, какъ и тѣ идеи равенства, братства и свободы, во имя которыхъ велъ походъ свирѣпый трибунъ. И вотъ, въ то время какъ всѣ письма Жоржъ-Сандъ 1835—1837 гг. къ друзьямъ и роднымъ полны восторженныхъ выраженій о Мишелѣ, какъ о великой душѣ, о человѣкѣ, котораго она почитаетъ и любитъ дѣйствительно, какъ учителя и пророка, о которомъ она заботится съ дочернею нѣжностью, въ это же время ея пресловутое *Письмо къ Эверару* представляетъ собою нѣчто совсѣмъ иное, чрезвычайно интересное и въ психологическомъ, и въ литературномъ отношеніяхъ. И мы, отдаленные отъ этихъ лѣтъ болѣе, чѣмъ на полстолѣтіе, мы выносимъ изъ чтенія этого *Письма* совсѣмъ не то, что увидѣли въ немъ современники, и что большинство критиковъ и біографовъ исключительно продолжаютъ въ немъ видѣть. Это не только не есть „исповѣданіе идей Мишеля", но, наоборотъ, это упорная борьба и самозащита во имя свободы художнической индивидуальности противъ деспотически-нетерпимыхъ проповѣдей Мишеля. Мы какъ бы присутствуемъ при діалогѣ, изъ котораго слышимъ лишь *отвѣты* Жоржъ-Сандъ, отвѣты по большей части протестующіе, но по этимъ отвѣтамъ мы можемъ

слѣдуетъ читать такъ: „Я теперь съ моими дѣтьми въ дорогой Черной Долинѣ. Мишель въ тюрьмѣ въ Буржѣ. Я видѣла m-me Листъ наканунѣ моего отъѣзда изъ Парижа и поцѣловала ее за ея сына и за себя. Я не видѣла никого другого изъ нашихъ знакомыхъ. Занятая уходомъ за старымъ республиканцемъ, больнымъ болѣе чѣмъ когда-либо, я почти никогда не бывала у себя дома. Я разъ видѣла Эммануэля, который съ интересомъ разспрашивалъ меня о васъ. Говорятъ, что нашъ кузенъ Гейне окаменѣлъ въ созерцаніи у ногъ княгини Бельджойозо. Состенъ (де-ла-Рошфуко—другъ Листа и Жоржъ-Сандъ) умеръ, или узналъ себя въ части напечатаннаго письма, ибо я съ тѣхъ поръ его болѣе не видала. Я здорова, я глупа какъ гусыня, или какъ Состенъ. Я сплю двѣнадцать часовъ"... и т. д., какъ напечатано. (Письмо отъ 18 августа 1836 г. къ Францу Листу). Въ „Исторіи" Жоржъ-Сандъ тоже разсказываетъ о томъ, какъ она въ предыдущемъ году хлопотала и заботилась о Мишелѣ и его здоровьи.

отлично судить о томъ, что говорилъ и утверждалъ Мишель. Сопоставляя разсказы о Мишелѣ въ *Исторіи*, *Письмо къ Эверару* и *частныя, изданныя и неизданныя письма Жоржъ-Сандъ*, мы видимъ, что она была просто очарована Мишелемъ, какъ личностью, этимъ огнемъ, этой безкорыстной и абсолютной преданностью идеѣ, этой жизнью, изъ которой все эгоистическое, личное было изгнано и отметено, этой силой духа. Но убѣжденія Мишеля на первыхъ порахъ столько же пугали ее, какъ были ей глубоко антипатичны. Жоржъ-Сандъ была слишкомъ художникомъ по натурѣ, слишкомъ инвидуальной и свободолюбивой и стояла слишкомъ высоко надъ той толпой посредственностей, которая такъ охотно идетъ за всѣми вожаками и витіями, подобными Мишелю. Жоржъ-Сандъ была испугана не только проповѣдью насилій, переворотовъ, покупаемыхъ цѣной крови и жизней, но ее пугало и утвержденіе о необходимости всеобщей нивеллировки, о ненужности и даже вредѣ искусства и художниковъ; ее возмущали аскетически-фанатическія рѣчи этого революціоннаго Савонароллы. И потому, съ одной стороны, мы читаемъ всевозможные лестные эпитеты, выраженія безграничнаго преклоненія передъ *учителемъ*, съ другой — цѣлыя страницы протеста смиреннаго, сознающаго себя какъ бы дерзкимъ и недостойнымъ, но тѣмъ не менѣе протеста противъ *ученія*.

Первая глава „Письма къ Эверару“ начинается выраженіями благодарности за то, что, занятый серьезными интересами и „принадлежащій всѣмъ людямъ“, великій человѣкъ соблаговолилъ написать своему новому другу тотчасъ послѣ ихъ свиданія. И съ первыхъ же строкъ Жоржъ-Сандъ возноситъ Мишеля на пьедесталъ, но въ то же время высказываетъ далеко не демократическія чувства и мысли:

...„Каково твое призваніе! вѣдь это ремесло свинопаса, вѣдь это значитъ быть Аполлономъ у Адмета! Что самое худшее для тебя, такъ это то, что среди *твоихъ стадъ, въ твоихъ хлѣвахъ* ты не забываешь, что ты божество, и когда мимо тебя пролетаетъ птичка, ты завидуешь ея полету и тоскуешь о небесахъ. Отчего не могу я унести тебя съ собою на крыльяхъ мимолетнаго вѣтра, дать вдохнуть тебѣ вольный воздухъ пустынь, открыть тебѣ тайну поэтовъ и цыганской вольницы!.. И вотъ ты занятъ низменными работами, пригвожденъ ко кресту, прикованъ, какъ каторжникъ, къ людскому тщеславію. Иди же, и пусть тотъ, кто далъ тебѣ въ удѣлъ силу и страданія, окружитъ ореоломъ славы тотъ терновый вѣнецъ, который ты пріобрѣтешь цѣной свободы, счастья и жизни. Ибо, что касается филантропіи, которою вы похваляетесь въ своемъ смиреніи, вы—реформаторы, то извините—я въ нее не вѣрю. Филантропія создаетъ сестеръ милосердія. *Любовь къ славѣ совсѣмъ иное и приводитъ къ иной судьбѣ.* Молчи объ этомъ, о, высокій лицемѣръ (sublime hypocrite); ты самъ себя не знаешь, принимая за чувство долга ту роковую и неизбѣжную наклонность, на которую тебя толкаетъ инстинктивно

твоя мощь. Что касается меня, то я знаю, что ты не изъ тѣхъ, кто соблюдаетъ обязанности, но изъ тѣхъ, кто ихъ предписываетъ. *Ты не любишь людей, ты не братъ имъ, ибо ты имъ не ровня.* Ты исключеніе среди нихъ, ибо ты родился *царемъ.*

„Ахъ, вотъ это тебя злитъ, но въ сущности ты вѣдь хорошо знаешь, что есть царское достоинство божественнаго происхожденія. *Богъ одѣлилъ бы людей одинаковымъ количествомъ ума и добродѣтели, если бъ онъ хотѣлъ положить между ними равенство, какъ ты его понимаешь; но онъ создалъ великихъ людей, чтобы повелѣвать надъ мелкими,* какъ онъ создалъ кедръ, чтобъ онъ охранялъ иссопъ. То восторженное, почти деспотическое вліяніе, которымъ ты пользуешься здѣсь, внутри Франціи, гдѣ все думающее и чувствующее преклоняется предъ твоимъ превосходствомъ до того, что даже я, самый невоспитанный мальчишка, который когда-либо устраивалъ веселыя каникулы (école buissonnière) изъ своей жизни, и я даже принужденъ ежегодно ѣздить къ тебѣ на поклоненіе, — скажи, развѣ это не царская власть? Ваше величество не можете этого отрицать. Государь! фуляръ, который вы надѣваете вмѣсто парика, — корона Аквитаніи, въ ожиданіи чего-нибудь еще лучшаго. Ваша трибуна на воздухѣ—тронъ. Галлъ-Флери—капитанъ вашей гвардіи; Плянэ—вашъ шутъ, а я, съ вашего соизволенія, я буду вашимъ историкомъ; но чортъ возьми, государь, ведите себя хорошенько, ибо чѣмъ болѣе вашъ смиренный слуга ожидаетъ отъ васъ, тѣмъ большаго онъ потребуетъ, когда вы достигнете цѣли, а вы знаете, что его не менѣе трудно заставить молоть, чѣмъ блаженной памяти цирульника царя Мидаса... Ужъ не думаете ли вы, что я не признаю вашихъ правъ? О, вотъ ужъ нѣтъ! Мы никогда объ этомъ не поспоримъ. Одинъ извѣстный король родился барышникомъ, а ты отъ рожденія царь земли. Я самъ, сочинитель метафоръ, чувствую себя плохо огражденнымъ подъ зонтикомъ монархіи *), но и не хочу самъ держать его; я бы плохо за это взялся; но *всѣ троны на свѣтѣ не стоятъ, по моему мнѣнію, маленькаго цвѣточка на берегу альпійского озера...* Ну, вы тамъ, воюйте, издавайте законы! Ты говоришь, что я никогда не прихожу ни къ какимъ заключеніямъ. *Да я и не хлопочу вовсе о томъ, чтобы прійти къ какому-нибудь заключенію!* Я отправлюсь черезъ три мѣсяца въ путь, чтобы написать твое и свое имя на пескѣ Геллеспонта; отъ нихъ столько же останется на другой день, какъ отъ моихъ книгъ послѣ моей смерти, а можетъ быть—увы!—и отъ твоихъ дѣяній, о Марій, послѣ того какъ перемѣнное счастье вернетъ на поляхъ битвъ счастье Сулламъ и Наполеонамъ.

„Это не значитъ, чтобъ я былъ измѣнникомъ твоему дѣлу; изъ всѣхъ дѣлъ, о которыхъ я, безбородый, не помышляю, это все-таки самое благородное и прекрасное. Я даже не понимаю, чтобъ у поэтовъ было другое дѣло, ибо, если всѣ слова пусты, то все-таки „родина“ и „свобода“ благозвучны, тогда какъ „законность“ и „послушаніе“ грубы, неблагозвучны и созданы для ушей жандармовъ. Можно восхвалять храбрый народъ, но льстить коронованной головѣ, это — отказаться отъ человѣческаго достоинства. *А я, я убѣгаю отъ людского крика и иду слушать шумъ потоковъ...* Ваше честолюбіе, о люди рока, благородно и великолѣпно. *Изъ всѣхъ погремушекъ, которыми тѣшится человѣчество, вы избрали наименѣе ребяческую—славу!* Ахиллъ взялъ

*) Намекъ на извѣстныя остроты и карикатуры на Луи-Филиппа.

мечъ изъ середины женскихъ украшеній, поднесенныхъ ему; *а вы выбираете страданія во имя благородныхъ побужденій вмѣсто денегъ, титуловъ и мелкаго тщеславія, утѣшающаго посредственныхъ людей. О, великодушные безумцы, управляйте хорошенько всѣми этими гадкими идіотами и не жалѣйте на нихъ плетей.* А я пока буду воспѣвать солнце на своей вѣткѣ. Когда у васъ не будетъ ничего лучшаго, вы станете меня слушать... Прощай, братъ мой Эвераръ, братъ и царь не въ силу права первородства, а по праву добродѣтели (non en vertu du droit d'ainesse, mais du droit de vertu). Я люблю тебя отъ всего сердца и остаюсь, государь, вашего величества всепокорнѣйшимъ и всепреданнѣйшимъ слугой..."

Тутъ, какъ видитъ читатель, среди милыхъ шутокъ, чисто-женскаго кокетства и лестныхъ словъ, все время звучитъ одна и та же нота, одна и та же мысль: „я-де преклоняюсь передъ твоей личностью, но твое дѣло кажется мнѣ лишь тщеславіемъ высшаго порядка; ты, честолюбецъ, гонишься за пустой погремушкой, а я поэтъ, свободный отъ всѣхъ мелкихъ людскихъ приманокъ, вдали отъ людского шума, позналъ истинное счастье и покой наединѣ съ природой, въ служеніи искусству."

И второе письмо, отъ 15 апрѣля, подтверждаетъ это. Мишель поставилъ ей пять вопросовъ, на которые она и отвѣчаетъ поочереди. Между прочимъ, она говоритъ, что во вчерашнемъ письмѣ уже отвѣтила на *первый* вопросъ Эверара: о причинѣ его грусти. *Ему грустно* потому, что „трудиться для славы это — королевское призваніе и въ то же время каторжное ремесло". Правда, она тотчасъ же спѣшитъ утѣшить своего корреспондента тѣмъ, что онъ, въ своей роли страждущаго Прометея, „болѣе великъ, чѣмъ лѣсные орлы въ своей свободѣ. Они свободны, но они *ничто*, и ты не могъ бы быть счастливымъ на ихъ ладъ", — но вслѣдъ затѣмъ она говоритъ, что онъ не можетъ имѣть ничего общаго и съ такими людьми, какъ поэтъ-путешественникъ.

..."Навѣрное Марій въ Минтурнахъ не бесѣдовалъ съ мирными наядами. Люди шума, не приносите свои пыльныя и окровавленныя ноги въ чистыя воды, которыя журчатъ для насъ; намъ, безобиднымъ мечтателямъ, принадлежатъ горные ручьи; намъ говорятъ они о забвеніи и покоѣ—условіяхъ нашего счастья, надъ которыми вы смѣетесь. Оставьте намъ все это, мы вамъ предоставляемъ все остальное: лавры и алтари, труды и тріумфы... Мой бѣдный братъ, я предпочитаю мой страннический посохъ твоему скипетру."

Она сожалѣетъ о немъ и преклоняется передъ нимъ, ибо онъ не можетъ не быть тѣмъ, кѣмъ онъ сдѣлался, но самъ Путешественникъ

..."непригодный ни на что иное, какъ на то, чтобы спорить съ зломъ, смотрѣть на восходъ луны и сочинять меланхолическія или насмѣшливыя пѣсни для поэтическихъ студентовъ и влюбленныхъ школьниковъ, я, какъ уже сказалъ тебѣ вчера, привыкъ обращать свою жизнь въ каникулы, которыя состоятъ въ томъ, чтобы гоняться за бабочками вдоль изгородей,

иногда падать носомъ въ тернія, доставая цвѣтокъ, который осыпается въ рукѣ прежде, чѣмъ его понюхаешь, пѣть за-одно съ дроздами и засыпать подъ первой попавшейся ивой, не заботясь о времени и педантахъ. Самое лучшее, что я могу сдѣлать, это—посадить для тебя лавровое дерево въ моемъ саду. При каждомъ твоемъ подвигѣ, о которомъ мнѣ разскажутъ, я буду посылать тебѣ листочекъ съ него, и ты на мгновеніе вспомнишь о томъ, *кто смѣется надъ всѣми идеями, когда представителями ихъ являются педанты (des cuistres), но кто преклоняется передъ великимъ сердцемъ, въ которомъ живетъ справедливость...*"

И на вопросъ: „когда же будетъ заключеніе и что̀, если ты умрешь, не придя ни къ какому заключенію?"—она смѣло отвѣчаетъ:

...„Клянусь честью, пусть умираетъ маленькій Жоржъ, когда Богу будетъ угодно; свѣтъ не пойдетъ хуже оттого, что не узналъ его образа мыслей. ...Мнѣ вовсе не нужно высказывать какого бы то ни было убѣжденія. Нѣкоторыя лица, прочитавшія мои книги, ошибаются, думая, что своимъ поведеніемъ я на дѣлѣ исповѣдую свои убѣжденія, и что выборъ сюжетовъ моихъ повѣстушекъ—нѣчто въ родѣ обвинительной рѣчи противъ нѣкоторыхъ законовъ... Мои писанія, не выводившія никакихъ заключеній, не принесли ни добра, ни зла. Я очень охотно бы вывелъ изъ нихъ заключеніе, если бы я его нашелъ, но этого пока не случилось, и я недостаточно передовой для того, чтобы смѣть сказать свое слово. Я ненавижу педантизмъ добродѣтели. Можетъ быть, онъ и полезенъ для людей; *что до меня касается, то я слишкомъ правдивъ для того, чтобы пытаться лицемѣріемъ усмирить тѣ строгости, которыя моя нерѣшительность (смѣю сказать, смѣлая и честная) навлекаетъ на меня.* Я перенесу всю тяжесть этихъ строгостей, какъ бы трудно это мнѣ ни было, *пока не прійду къ тому внутреннему убѣжденію, котораго жду.* Порицаешь ты меня? Я вращаюсь въ очень маленькомъ кругу, и все-таки ты можешь сравнить его, хоть подъ микроскопомъ, съ тѣмъ, въ которомъ ты вращаешься. *Развѣ ты хотѣлъ бы для того, чтобы пріобрѣсти популярность и славу, притвориться, что исповѣдуешь мнѣнія, навязанныя тебѣ, и предъявляешь въ видѣ догмата вѣры то, что является пока еще въ видѣ зародыша въ глубинѣ твоего сознанія. Я слишкомъ дорожу твоимъ уваженіемъ для того, чтобы не разъяснить тебѣ свое состояніе...*

Въ третьемъ письмѣ, отъ 18 апрѣля, она опять защищается отъ его упрековъ въ „соціальномъ атеизмѣ":

...„Ты говоришь, что всякій, кто живетъ внѣ ученій утилитарныхъ, никогда не можетъ быть ни дѣйствительно великимъ, ни дѣйствительно добрымъ. Ты говоришь, что такое равнодушіе преступно, является опаснымъ примѣромъ и что надо, чтобъ я изъ него вышелъ или же рѣшился на нравственное самоубійство, отрѣзалъ бы себѣ правую руку и не бесѣдовалъ болѣе съ людьми. Ты очень строгъ, но мнѣ нравится, что ты такой,—это въ тебѣ прекрасно и достойно уваженія. Ты говоришь еще, что всякая система невмѣшательства просто извиненіе подлости или эгоизма, ибо нѣтъ никакого человѣческаго дѣла, которое не было бы полезно или вредно для человѣчества. Каково бы ни было мое желаніе, быть ли любимымъ или возбуждать удивленіе, говоришь ты, я долженъ дѣлать добро, и дѣлать добро разумно, съ размышленіемъ, сознательно, то-есть сдѣлаться благодѣтелемъ человѣчества,

филантропомъ. У меня привычка отвѣчать софизмами, шутками тѣмъ, кто со мною объ этомъ говоритъ; но въ данномъ случаѣ—иное, и я признаю за тобою право произносить великое слово „добродѣтель", которое едва смѣю повторять за тобою..."

И вслѣдъ затѣмъ, выражая опять полнѣйшее восхищеніе передъ его нравственной личностью, его строгостью къ самому себѣ и аскетическими требованіями, которымъ онъ подчинилъ себя, она высказываетъ убѣжденіе, что прежде, чѣмъ пытаться пересоздавать человѣчество и предписывать законы и перевороты, всякій реформаторъ, какъ и всякій человѣкъ, долженъ былъ бы самого себя пересоздать, быть совершеннымъ, покорить свои эгоистическія и грязныя побужденія, и тогда уже многое будетъ достигнуто. Однимъ словомъ, она по своимъ убѣжденіямъ стоитъ на сторонѣ морально-соціальныхъ реформаторовъ, а не политиковъ. И потому естественны ея слова, что

„понимаетъ, кто такой Мишель, но не понимаетъ его дѣлъ. Я вижу механизмъ этой прекрасной машины для идей, но цѣна и употребленіе ея произведеній *мнѣ непонятны, и во мнѣ къ нимъ равнодушіе.*"

Она опять утверждаетъ, что такъ или иначе, въ силу первородства или благородства, въ силу добродѣтели или насилія, но всѣ хотятъ быть выше другихъ, властвовать, повелѣвать, возбуждать удивленіе. И вотъ одни установили

„законы, продиктованные болѣе сильными и ловкими. Тѣ, которые сумѣли издать законы къ своей собственной выгодѣ, положили начало войнѣ между людьми сопротивляющимися и людьми угнетающими; въ свою очередь сопротивляющіеся взялись за оружіе и сдѣлались угнетателями по праву силы. Во всемъ этомъ гдѣ же справедливость? Возстаньте, избранные, божественные люди, придумавшіе добродѣтели! Вы изобрѣли счастье менѣе грубое, чѣмъ счастье чувственныхъ людей, болѣе честолюбивое, чѣмъ счастье храбрыхъ. *Вы открыли, что въ любви и признательности вашихъ братьевъ болѣе наслажденія, чѣмъ въ обладаніи всѣмъ тѣмъ, что они другъ у друга оспариваютъ.* И тогда, благоразумно изгнавъ изъ вашей жизни всѣ удовольствія, которыя дѣлали этихъ людей похожими между собою, вы благоразумно заклеймили именемъ порока все, что дѣлало ихъ счастливыми, слѣдовательно жадными, завистливыми, насмѣшливыми и необщительными. Вы отказались отъ вашей доли богатства и удовольствій на землѣ и сдѣлались такими, что уже не возбуждали ни зависти, ни недовѣрія; вы стали среди нихъ, какъ благодѣтельныя божества, чтобы просвѣщать ихъ насчетъ ихъ собственнаго блага и преподавать имъ полезные законы. Вы сказали имъ, что давать лучше, чѣмъ обладать, и тамъ, гдѣ вы повелѣвали, стала царствовать справедливость; какіе же софизмы могутъ бороться съ вашимъ превосходствомъ, о, великіе честолюбцы? На свѣтѣ нѣтъ ничего выше васъ, ничего драгоцѣннѣе, ничего полезнѣе!..."

Врядъ ли самый завѣдомый противникъ Мишеля нашелъ бы аргументъ болѣе язвительный и проникнутый бо́льшимъ скептицизмомъ

насчетъ побудительныхъ причинъ его дѣятельности, чѣмъ тотъ, который въ этихъ строкахъ приводитъ Жоржъ- Сандъ.

...„Я не знаю,—продолжаетъ она,—настанетъ ли день, когда человѣкъ рѣшитъ окончательно и непогрѣшимо, что́ полезно для человѣка. Я не разбираю въ подробностяхъ ученіе, которое ты исповѣдуешь; на-дняхъ я о немъ шутилъ; но разъ ты меня заставляешь разсуждать (что,—объявляю тебѣ,—не малая побѣда твоей силы надъ моею), то я тебѣ скажу, что великій законъ равенства, какъ бы онъ ни казался непримѣнимымъ страшащимся его, и *какъ бы наступленіе его царствованія на землѣ ни казалось невѣроятнымъ мнѣ, который смотритъ на эти вещи изъ глубины своей кельи*, — это первый и единственный неизмѣнный законъ, который во всѣ времена представлялся моему уму нравственнымъ и справедливымъ. Всѣ научныя тонкости, посредствомъ которыхъ достигается формулировка какой-нибудь идеи, совершенно мнѣ чужды, а что касается мѣръ, посредствомъ которыхъ эту идею можно заставить господствовать въ мірѣ, то, къ сожалѣнію, всѣ онѣ, по-моему, настолько подчинены сомнѣніямъ, возраженіямъ и антипатіямъ, затрудненіямъ со стороны тѣхъ, кто берется ихъ приводить въ исполненіе, что я чувствую, какъ каменѣю отъ скептицизма, едва лишь попробую взглянуть на эти мѣры и посмотрѣть, въ чемъ онѣ заключаются. Это не моего ума дѣла. Я натура поэтическая, а не законодательная, иногда воинственная, но никогда не парламентская. *Меня можно употребить на все* (sic), *сначала убѣдивъ меня, а потомъ приказавъ мнѣ, но я неспособенъ изобрѣсти или рѣшить что-либо.* Я приму все, что будетъ хорошо. Итакъ, требуй моей жизни и богатства, о римлянинъ, но оставь мой бѣдный духъ сильфамъ и нимфамъ поэзіи...“

Она возвращается къ своей, уже ранѣе высказанной, идеѣ, что людямъ, желающимъ предписывать законы, необходимо быть добродѣтельными въ высшемъ смыслѣ слова, съ простыхъ же смертныхъ требуется лишь, такъ сказать, гражданская честность.

...„Я еще далекъ отъ того, что называютъ *республиканскими добродѣтелями*, и что я называю, менѣе напыщеннымъ слогомъ, „достоинствами“ управляемаго субъекта или гражданина. Я дурно жилъ, я дурно воспользовался благами, выпавшими мнѣ на долю; я пренебрегалъ благотворительностью (добрыми дѣлами); я проводилъ мои дни въ скукѣ, бездѣльѣ, въ пустыхъ слезахъ, въ безумной любви, въ легкомысленныхъ удовольствіяхъ, я преклонился передъ идеалами изъ плоти и крови, и допустилъ, чтобъ ихъ опьяняющее дыханіе изгладило строгія правила, которыя книжная мудрость написала на моемъ челѣ въ юности; я дозволилъ ихъ невинному деспотизму обречь мои дни ребяческимъ удовольствіямъ, которыя загасили любовь къ добру и память о немъ, ибо вѣдь прежде была она, знаешь ли ты это, Эвераръ? *Здѣшніе* скажутъ это тебѣ: это всѣмъ извѣстно въ нашей странѣ (c'est de notoriété bourgeoise dans notre pays), но въ этомъ не было заслуги; я былъ молодъ, и роковыя любовныя страсти еще не проснулись въ моей груди. Онѣ въ ней заглушили много хорошаго, но я знаю, что есть и такое, чего я ничуть не запятналъ среди самыхъ большихъ ошибокъ моей жизни, и что ничего изъ остального не потеряно для меня безповоротно... Я свернулъ съ дороги, былъ невольникомъ страсти, къ которой не питалъ недовѣрія, а которую считалъ благородною и святою. Она такова и есть, безъ сомнѣнія; но я позволилъ ей

слишкомъ много властвовать надо мною. Мое мужество напрасно возмущалось противъ нея; страшная борьба поглотила лучшіе годы моей жизни, все это время я пробылъ въ странѣ, чуждой моей душѣ, въ странѣ изгнанія и рабства, откуда я, наконецъ, вырвался израненымъ, отупѣвшимъ отъ неволи, и таская за собою обрывки разорванной цѣпи, которая еще рѣжетъ меня до крови всякій разъ, какъ я дѣлаю движеніе, чтобы взглянуть на покинутые далекіе берега. Да, я былъ рабомъ; пожалѣй меня, свободный человѣкъ, и не удивляйся, что теперь я могу лишь вздыхать о путешествіяхъ, о чистомъ воздухѣ, о лѣсахъ и одиночествѣ... рабство унижаетъ человѣка и портитъ. Оно дѣлаетъ его безумнымъ или развращеннымъ, злымъ, лгуномъ, мстительнымъ, желчнымъ, въ двадцать разъ болѣе отвратительнымъ, чѣмъ угнетающій его тиранъ; это случилось со мною, и въ ненависти, которую я къ себѣ почувствовалъ, я желалъ смерти съ бѣшенствомъ, во всѣ дни своего паденія..."

Эти строчки являются повтореніемъ того самаго, что Жоржъ-Сандъ, какъ мы видѣли, писала Сентъ-Бёву. Но вслѣдъ затѣмъ она выражаетъ надежду и увѣренность на то, что все-таки еще можетъ быть и воздержной, и доброй, и способной къ труду, постоянству, безкорыстію и простотѣ. Она заключаетъ это письмо внезапнымъ восторженнымъ привѣтомъ „республикѣ, зарѣ справедливости и равенства, божественной утопіи, солнцу будущаго", можетъ быть, и химерическаго. И несмотря на только-что высказанныя сомнѣнія насчетъ возможности будущаго всеобщаго равенства и насчетъ того, знаютъ ли единомышленники Мишеля, что̀ можетъ доставить счастье человѣчеству, Жоржъ-Сандъ восклицаетъ по адресу республики:

„Если ты снизойдешь къ намъ ранѣе предусмотрѣннаго времени, ты найдешь меня готовымъ принять тебя и одѣтымъ согласно твоимъ суровымъ законамъ. Друзья мои, учителя, братья, привѣтъ вамъ; мой кровъ и хлѣбъ принадлежатъ вамъ отнынѣ, въ ожиданіи того, что республика ихъ потребуетъ!.."

Далѣе она выражаетъ, однако, надежду, что въ ожиданіи этого ей дозволено будетъ еще постранствовать по зовущимъ ее къ себѣ горамъ Швейцаріи, а навсегда прощается лишь съ „любовью, кумиромъ своей юности". Казалось бы, что Мишель окончательно покорилъ „непокорнаго школьника" и завербовалъ его безповоротно въ ряды своихъ адептовъ, однако и въ послѣдующихъ письмахъ все еще слышатся протестъ и сомнѣнія. То „Путешественникъ", по поводу своихъ друзей, къ которымъ Мишель, повидимому, относился свысока, говоритъ о томъ, какъ много они сдѣлали для него въ дни несчастья, и съ чуть скрытою насмѣшкой прибавляетъ: „Ils sont plus gais que toi..."; то сопровождаетъ восторженное обѣщаніе—отдать всего себя на служеніе идеямъ Мишеля—разными оговорками и высказываетъ сомнѣніе въ возможности „царствія Божьяго на землѣ".

„Ты знаешь... я слишкомъ много жилъ и ничего не сдѣлалъ добраго. Нужна ли кому-нибудь моя настоящая или будущая жизнь, лишь бы ее от-

дали на служеніе какой-нибудь идеѣ или страсти, на служеніе истинѣ, а не какому-нибудь человѣку — и я готовъ подчиниться законамъ. Но увы! я предупреждаю васъ, что способенъ лишь смѣло и точно исполнять приказанія. Я могу дѣйствовать, а не разглагольствовать, ибо я ничего не знаю *и ни въ чемъ не убѣжденъ. Я могу слушаться, лишь закрывъ глаза и заткнувъ уши, дабы ничего не видѣть и не слышать, что бы меня разубѣждало;* я могу идти съ моими друзьями, какъ собака, которая видитъ, что хозяинъ ея уѣзжаетъ на кораблѣ, и бросается въ воду, чтобъ плыть за нимъ до тѣхъ поръ, пока не умретъ отъ усталости. Море велико, о друзья, а я слабъ! Я гожусь лишь въ рядовые, и во мнѣ лишь 5 футовъ росту. Все равно—пигмей принадлежитъ вамъ! Я вашъ, ибо люблю и уважаю васъ. *Истины на этомъ свѣтѣ нѣтъ; царствіе Божіе не отъ міра сего.* Но поскольку человѣкъ можетъ похитить у божества лучъ свѣта, который свыше освѣщаетъ міръ,—то вы украли его, сыны Прометея, любовники суровой Истины и непоколебимой богини Правосудія. Впередъ! каковъ бы ни былъ оттѣнокъ вашего знамени, лишь бы ваши полчища были всегда на дорогѣ республиканскаго будущаго; ...во имя Вашингтона и Франклина, которые многаго не смогли сдѣлать и оставили намъ окончаніе своего подвига; во имя Сенъ-Симона, сыны котораго сразу идутъ къ высокой и страшной задачѣ (да хранитъ ихъ Богъ!..), лишь бы добро восторжествовало, лишь бы тѣ, кто вѣритъ, доказали это... я лишь бѣдный рядовой, ведите меня!..“

Но вслѣдъ затѣмъ этотъ скромный рядовой разражается цѣлой филиппикой противъ своего суроваго наставника по поводу его нападокъ на искусство и художниковъ, и эта глава *„Письма къ Эверару“* чуть ли не самая лучшая часть его.

...„Не скажешь ли ты мнѣ, на кого ты ополчился съ своими декламаціями противъ артистовъ? Кричи на нихъ, сколько угодно, но уважай искусство. О, вандалъ! хорошъ тотъ суровый сектантъ, который хотѣлъ бы надѣть власяницу и деревянные башмаки на Тальони и употребить руки Листа на то, чтобы вертѣть виноградные жернова, а въ то же время ложится на землю въ слезахъ при щебетаньѣ крошечной пѣночки и затѣваетъ бунтъ въ театрѣ, чтобы не позволить Отелло задушить Малибранъ. Суровый гражданинъ желаетъ уничтожить артистовъ, какъ соціальный наростъ, поглощающій слишкомъ много соковъ, но онъ любитъ вокальную музыку и помилуетъ пѣвцовъ. Я надѣюсь, что и живописцы найдутъ изъ вашихъ славныхъ головъ одну такую, которая понимаетъ живопись и не велитъ задѣлывать окна мастерскихъ. А что касается поэтовъ, то они — ваши кузены и *вы не пренебрегаете, формами ихъ рѣчи и механизмомъ ихъ періодовъ, когда желаете произвести впечатлѣніе на зѣвакъ. Вы у нихъ будете обучаться метафорамъ и способу пользоваться ими...“*

(Кажется, тутъ можно видѣть даже и намекъ на ту помощь, которую Жоржъ-Сандъ оказала Мишелю при писаніи „письма къ обвиняемымъ“).

„Но скажи мнѣ,—продолжаетъ она,—что ты имѣешь противъ артистовъ? На-дняхъ ты ихъ обвинилъ во всѣхъ соціальныхъ бѣдахъ, ты ихъ называлъ *„разлагающими“*, ты обвинилъ ихъ въ томъ, что они размягчаютъ мужество,

портятъ нравъ, ослабляютъ всѣ пружины воли. Твоя декламація осталась неоконченною, а твое обвиненіе смутнымъ, ибо я не могъ воздержаться отъ глупаго желанія спорить съ тобой. Я лучше сдѣлалъ бы, если бъ выслушалъ тебя, ты, вѣроятно, привелъ бы мнѣ болѣе серьезную причину, ибо это единственное выставленное тобою положеніе, о которомъ я размышлялъ, какъ оно мнѣ ни антипатично.

„Не самое ли *искусство* ты обвиняешь? Оно смѣется надъ тобою и надъ всѣми вами и надъ всѣми возможными ученіями! Попробуйте потушить лучъ солнца!.. А если ты не искусство хочешь извести, то и не художниковъ. Пока на землѣ вѣрятъ въ Іисуса Христа—будутъ священнослужители... точно также, пока будутъ ревностныя руки, будетъ звучать божественная лира искусства. Кажется, тутъ просто случайное и частное недовольство сыновъ юнаго Рима противъ сыновъ второго Вавилона... На-дняхъ одинъ изъ вашихъ, т.-е. изъ нашихъ, одинъ республиканецъ, объявилъ почти серьезно, что я заслуживаю смерти *). Чортъ меня побери, если я понимаю, что это значитъ. Тѣмъ не менѣе я этимъ восхищаюсь и горжусь, какъ и полагается, и съ этого дня не перестаю твердить всѣмъ своимъ друзьямъ по секрету, что я очень важная политическая и литературная особа, мѣшающая членамъ своей собственной партіи своимъ великимъ соціальнымъ и умственнымъ превосходствомъ...“

И продолжая то персифлировать, то дѣлая лирическія отступленія, Жоржъ-Сандъ шагъ за шагомъ разбиваетъ нападки Мишеля на художниковъ и искусство, и мы сожалѣемъ, что не можемъ цѣликомъ привести всего этого письма,—такія это удивительныя, по красотѣ языка, такія сильныя и горячія страницы.

„Я тебѣ надоѣдаю своимъ плоскимъ и неисправимымъ *шутовствомъ*—вотъ я ужъ и серьезенъ. Я готовъ сознаться, что мы всѣ великіе софисты. Софизмъ все захватилъ, онъ пробрался даже въ ноги танцовщицъ Оперы, а Берліозъ переложилъ его въ „Фантастическую симфонію“. Къ несчастью для древней мудрости, когда ты услышишь похоронный маршъ Берліоза **), въ твоемъ львиномъ сердцѣ произойдетъ нѣкоторое нервное потрясеніе и, пожалуй, ты зарычишь, какъ при смерти Дездемоны, что̀ будетъ весьма непріятно для меня, твоего спутника, который стремится показываться въ хорошенькомъ галстукѣ и быть чиннымъ и тихимъ въ Консерваторіи. Самое меньшее, что ты можешь сдѣлать, это сознаться, что музыка эта чуточку получше той, которую намъ преподносили въ Спартѣ во времена нашей службы при Ликургѣ, и ты подумаешь, что Аполлонъ, недовольный тѣмъ, что мы приносимъ жертвы только Палладѣ, сыгралъ съ нами шутку, преподавъ нѣсколько уроковъ этому *вавилонцу*, дабы онъ ввелъ наши души въ заблужденіе, вліяя на насъ роковой магнетической силой. Ты спросишь меня, развѣ такъ говорятъ серьезно... Я говорю серьезно. Берліозъ—великій композиторъ, геніальный человѣкъ, настоящій художникъ, и разъ ужъ онъ мнѣ попался подъ руку, я не прочь сказать тебѣ, что̀ такое истинный художникъ, ибо вижу, что ты объ этомъ понятія не имѣешь... Берліозъ—художникъ, онъ очень бѣденъ, очень смѣлъ и очень гордъ. Можетъ быть, онъ имѣетъ злодѣйство думать втайнѣ, что всѣ народы міра

*) Ср. съ вышеприведенымъ письмомъ 14 апрѣля 1835 г., стр. 498.

**) „Marche en supplice“ изъ той же „Symphonie fantastique—épisode de la vie d'un artiste“.

не стоятъ хроматической гаммы, во-время употребленной, какъ я имѣю дерзость предпочитать бѣлый гіацинтъ коронѣ Франціи. Но будь увѣренъ, что можно и съ такими безумными мыслями въ головѣ не быть врагомъ рода человѣческаго. Ты стоишь за суровые законы, Берліозъ—за трижды перечеркнутыя ноты, я—за „луковичныя растенія"; у всякаго свой вкусъ. Когда придется строить новый градъ Разума, будь увѣренъ, что всякій поможетъ по мѣрѣ силъ своихъ: Берліозъ придетъ съ киркой, я—съ зубочисткой, другіе—съ своими руками и волей. Но въ нашемъ юномъ Іерусалимѣ вѣдь будутъ, я полагаю, дни счастья и покоя, и тогда будетъ позволено вернуться однимъ къ фортепьяно, другимъ—копать свои грядки, всякому—невинно веселиться по своему вкусу и способностямъ..."

„Что было бы,— говоритъ она дальше, — если бы въ тѣ минуты, когда самъ Эвераръ восхищается звѣздами полуночи и безмятежно тоскуетъ о неизвѣстномъ и безконечномъ,—что было бы, если бы его

„грубо спросить: Къ чему это служитъ? Зачѣмъ ломать твою голову и утомлять мозгъ предположеніями? Развѣ это даетъ хлѣбъ и башмаки людямъ?—Ты мнѣ отвѣтилъ бы: „Это даетъ святыя ощущенія и мистическій энтузіазмъ тѣмъ, кто въ потѣ лица своего трудится для людей; это научаетъ ихъ надѣяться, мечтать о божествѣ, набираться бодрости и возвышаться надъ грязью и несчастьями человѣческой жизни посредствомъ хоть и химерическихъ, но возвышающихъ и укрѣпляющихъ мыслей о будущемъ... На колѣни, Сикамбръ, на колѣни! Настоящіе художники непремѣнно тебя поставятъ на колѣни. Если бъ ты зналъ, что такое эти люди, когда они соблюдаютъ свое евангеліе и почитаютъ святость своего апостольскаго призванія! Такихъ немного, я признаюсь въ этомъ, къ стыду своему..."

И тутъ изъ-подъ пера Жоржъ-Сандъ выливается та скорбная, много разъ цитированная страница, въ которой она съ горечью и болью разсказываетъ, какъ нужда, забота о дѣтяхъ, необходимость работать на срокъ заставляли ее писать спѣшно, не отдѣлывать своихъ произведеній, „насиловать свою Музу, которая мститъ за это мрачными, желчными страницами, леденитъ вдохновеніе сомнѣніями и отчаяніемъ". Она вспоминаетъ о недавно видѣнной драмѣ де-Виньи „*Чаттертонъ*" и говоритъ о мукахъ, испытываемыхъ требовательнымъ къ себѣ художникомъ, когда онъ не можетъ, въ силу бѣдности и лишеній, съ достаточнымъ благоговѣніемъ служить искусству. Ему хочется, какъ онъ ни скроменъ, „вѣрить и надѣяться", что онъ сдѣлаетъ что-нибудь хорошее, но:

„Если часы сочтены, если кредиторъ ждетъ у дверей, если ребенокъ, который легъ спать безъ ужина, напоминаетъ ему его бѣдность и необходимость кончить до зари—онъ долженъ принести великую жертву и перенести великое униженіе передъ самимъ собою. Онъ видитъ, что другіе работаютъ тихо, съ раздумьемъ, съ любовью; онъ видитъ, что они внимательно перечитываютъ свои страницы, поправляютъ ихъ, тщательно полируютъ, разсыпаютъ на нихъ, уже потомъ, тысячу драгоцѣнныхъ камней, снимаютъ всякую пылинку и еще сохраняютъ ихъ у себя, чтобы опять пересмотрѣть и превзойти

самое превосходство. А онъ, несчастный, онъ работалъ лопатой и топоромъ—трудъ грубый, однообразный, иногда сильный, но всегда неоконченный, спѣшный, лихорадочный; еще чернила не засохли на бумагѣ, какъ уже надо сдавать рукопись, не просмотрѣвъ ее, не поправивъ ошибокъ... Эти мелочныя несчастья заставляютъ тебя улыбаться и кажутся ребяческими... но есть что-то во-истину благородное и святое въ этой преданности художника своему искусству, которая заключается въ томъ, чтобы *сдѣлать хорошо*, цѣною богатства, славы и жизни. Убѣжденіе всегда добродѣтель... Ремесленникъ отправляетъ свой товаръ, чтобы увеличить свою прибыль, художникъ десятки лѣтъ чахнетъ на чердакѣ надъ произведеніемъ, которое доставило бы ему богатство, но которое онъ не отдаетъ, пока не окончитъ его на совѣсть. Что значитъ ему богатство и извѣстность? Для него одно одобреніе на свѣтѣ важно—одобреніе Рафаэля, тѣнь котораго всегда витаетъ надъ нимъ. О, святой человѣкъ!..“

И таковы же, по ея словамъ, всѣ истинные художники,—всѣ они думаютъ не о славѣ, а о своемъ искусствѣ, всякій готовъ стушеваться передъ тѣмъ, кто является его идеаломъ. Политическіе дѣятели на это неспособны, они всѣ преисполнены честолюбія, желанія первенствовать, затмевать другихъ. Лишь немногихъ „можно назвать *художниками*, и это для нихъ лучшая похвала“.

Итакъ, Мишель не убѣдилъ (и къ счастью!) своего собесѣдника относительно вреда искусства. Повидимому, онъ не вполнѣ убѣдилъ его и въ своей теоретической правотѣ, и даже въ послѣдней главѣ *Письма*, отъ 29 апрѣля, Путешественникъ спрашиваетъ Мишеля и его единомышленниковъ: „а что, коли вы лишь фанатики?“ и пытается найти этому *оправданіе въ томъ*, что даже такой фанатизмъ, который заставилъ бы Мишеля безъ сожалѣнія отправить на эшафотъ его маленькаго друга Жоржа —

„красивъ, и я отдамъ голову за удовольствіе хоть разъ въ жизни видѣть истиннаго римлянина“, ибо,—прибавляетъ она дальше,—„фанатизмъ это все-таки нѣчто, фанатикъ не всякій тотъ, кто хочетъ быть имъ, особенно по нашимъ временамъ, и я былъ бы болѣе гордъ, чѣмъ теперь, если бъ хоть немного былъ безуменъ на вашъ ладъ...“

Но кажется, что „фанатизмъ“ и „безуміе“ Мишеля порядочно-таки напугали въ то время Жоржъ-Сандъ, да и не мудрено. Мишель употребляетъ иногда аргументы довольно оригинальные для внушенія своихъ идей, и если не приговорилъ Жоржъ-Сандъ къ гильотинѣ, то подвергъ, такъ сказать, одиночному заключенію: а именно: однажды, когда онъ долженъ былъ, не окончивъ какого-то своего увѣщанія, уйти въ судъ, то просто-на-просто взялъ да и *запеpъ Жоржъ-Сандъ на ключъ*, дабы она не ушла, „не одумавшись“ и не обдумавъ хорошенько всего ей сказаннаго. Надо полагать, что такіе пріемы аргументаціи нѣсколько испугали Аврору Дюдеванъ, мало,

какъ мы знаемъ, склонную переносить чей бы то ни было деспотизмъ, и она очень серьезно стала подумывать о бѣгствѣ. Листъ и m-me д'Агу, ея новые друзья, приглашали ее въ Швейцарію, откуда она мечтала проѣхать въ Константинополь и въ Египетъ. И вотъ *Письмо къ Эверару* оканчивается полусерьезнымъ, полушутливымъ признаніемъ, что Путешественникъ хочетъ вновь уѣхать путешествовать. Онъ дѣлаетъ и всѣ послѣднія распоряженія:

... „Слушай, если вы объявите республику въ мое отсутствіе, берите все, что у меня есть, не церемоньтесь; у меня есть земли — отдайте ихъ тѣмъ, у кого ихъ нѣтъ; у меня есть садъ—пусть тамъ пасутся ваши лошади; у меня есть домъ — устройте въ немъ лазаретъ для вашихъ раненыхъ; у меня есть вино—пейте его; у меня есть табакъ—курите его; у меня есть мои печатныя произведенія—сдѣлайте изъ нихъ пыжи для ружей. Во всемъ моемъ наслѣдіи есть только двѣ вещи, которыя мнѣ больно было бы потерять: портретъ моей старой бабки и шесть квадратныхъ футовъ дерну, засаженныхъ кипарисами и розами. Тутъ почіетъ мой отецъ. Я ставлю портретъ и могилу подъ охрану республики и попрошу лишь, когда вернусь, въ видѣ возмѣщенія за всѣ убытки, понесенные мною: трубку, перо и чернилъ, *благодаря чему я буду радостно зарабатывать свой хлѣбъ, и остатокъ дней своихъ проведу въ томъ, что буду писать, что вы хорошо поступили.* А если я не вернусь—вотъ мое завѣщаніе: я поручаю моего сына своимъ друзьямъ, мою дочь—ихъ женамъ, картину и могилу — наслѣдіе моихъ дѣтей — тебѣ, главѣ нашей аквитанской республики, дабы ты былъ ихъ временнымъ хранителемъ; мои книги, минералы, гербаріи, бабочекъ—Мольгошу; всѣ трубки — Роллина; мои долги, если окажутся, — Флери, чтобъ его пріучить къ трудолюбію; мое благословеніе и и послѣдній каламбуръ—тѣмъ, кто сдѣлалъ меня несчастнымъ, дабы они утѣшились и забыли меня. Тебя я назначаю душеприказчикомъ; прощай же, я уѣзжаю... Прощайте, мои дѣти... мои друзья... и ты, учитель *), прощай, будь благословенъ за то, что далъ мнѣ безъ смѣху посмотрѣть въ лицо великаго энтузіаста и склонить передъ тобою колѣна, уѣзжая. О, зеленая страна цыганъ—Богемія! фантастическая родина всѣхъ честолюбивыхъ и неограниченныхъ душъ, итакъ, я увижу тебя! Я часто блуждалъ по твоимъ горамъ и леталъ надъ верхушками твоихъ сосенъ, я помню это отлично, хотя я тогда еще не родился среди людей, и все мое несчастіе произошло оттого, что я не могъ забыть о тебѣ, живя здѣсь...“

Жоржъ-Сандъ не удалось, однако, уѣхать въ этомъ году не только въ Константинополь, но даже и въ Швейцарію, куда ее тщетно звалъ Листъ и графиня д'Агу**). Этому помѣшали усилившіяся несогласія ея съ г. Дюдеваномъ, вскорѣ вызвавшія необходимость вести про-

*) Тутъ опять jeu de mots, ибо словомъ „maître“ титулуютъ во Франціи адвокатовъ (имѣющихъ право защищать во всѣхъ инстанціяхъ).

**) Все, что объ этомъ говорится въ статьѣ „Amitié romanesque“ (появившейся въ Revue de Paris, 1896), совершенно неточно и является сплошной хронологической ошибкой, благодаря которой авторъ заставляетъ Жоржъ-Сандъ дважды проѣхаться къ Листу въ Швейцарію и въ 1835 и въ 1836 гг. Между тѣмъ, въ 1835 г. Жоржъ-Сандъ *ни куда изъ Франціи не уѣзжала.* Въ нашей (печатающейся) книгѣ о Жоржъ-

цессъ, а также и отношенія къ Мишелю. О томъ, что между Мишелемъ и Жоржъ-Сандъ лѣтомъ 1835 г. установилась гораздо большая близость, чѣмъ простая дружба, столько разъ говорилось въ печати, что мы не считаемъ нужнымъ обходить этотъ вопросъ молчаніемъ. Какъ извѣстно также, этотъ романъ Жоржъ-Сандъ былъ, можетъ быть, самымъ печальнымъ для нея, ибо Мишель въ отношеніяхъ къ женщинамъ былъ столько же деспотиченъ, грубъ и властолюбивъ, какъ былъ свободолюбивъ и преданъ республиканскимъ идеямъ въ дѣлахъ общественныхъ. Относительно Жоржъ-Сандъ Мишель проявилъ всѣ пороки и причуды неограниченнаго властелина: былъ безразсудно ревнивъ—и въ то же время требовалъ, чтобы ему прощались самыя грубыя измѣны и невѣрности, былъ небреженъ, забывчивъ, холоденъ, проявилъ и обычные мужскіе недостатки — измѣнчивость и непостоянство. Однимъ словомъ, въ противоположность другимъ влюбленнымъ Авроры Дюдеванъ, Мишель первый ее покинулъ. Долгое время она боролась съ его холодностью, пыталась черезъ разныхъ друзей узнать причины, заставлявшія Мишеля то молчать цѣлыми недѣлями, то писать ей невозможныя письма, наконецъ она убѣдилась, что счастье миновало, примирилась съ своей участью—и они навсегда разошлись. Это было лѣтомъ 1837 года *).

Мы нѣсколько забѣжали впередъ и передали эпилогъ романа, который лѣтомъ 1835 г. только-что достигъ своего апогея. Въ 1835 году, скрывшись отъ всѣхъ и всего въ „пустомъ домикѣ“ въ Буржѣ, Жоржъ-Сандъ предавалась изученію френологіи и зачитывалась Ляфатеромъ, Галлемъ и Шпуругеймомъ, о чемъ свидѣтельствуетъ VIII *„Письмо путешественника“*, носящее подзаглавіе *„О Ляфатерѣ и пустомъ домѣ“*. Вмѣстѣ съ этимъ она все болѣе и болѣе проникалась республиканскими взглядами Мишеля и въ концѣ концовъ увѣровала-таки въ необходимость, спасительность и неотложность пришествія республики, о которомъ всѣ достойные сыны Франціи должны были бы хлопотать и стараться по мѣрѣ силъ. Писателю же, согласно этому догмату, вмѣнялось въ обязанность въ своихъ произведеніяхъ не изображать дѣйствительности такою, какъ она есть, и не заниматься рисованіемъ идеальной, счастливой или несчастной любви,—

Сандъ, гдѣ настоящій отрывокъ является небольшимъ этюдомъ изъ 10 и 11 главъ,—мы подробно разбираемъ всѣ ошибки и невѣрности, вкравшіяся въ довольно интересную въ психологическомъ отношеніи, но совершенно не историческую статью.

*) Со времени напечатанія въ *Revue Illustrée* переписки Жоржъ-Сандъ съ Мишелемъ, подъ вымышленными датами и именами и подъ заглавіемъ *„Lettres de femme“*,—впрочемъ, прерванной на 5-мъ №,—все нами здѣсь утверждаемое можетъ быть провѣрено самимъ читателемъ. Мы же имѣли возможность пользоваться и неизданною частью этой переписки.

а слѣдовало провозглашать на всѣ лады тоже демократическіе идеалы, проповѣдывать наступленіе золотого вѣка равенства, братства и свободы, или по меньшей мѣрѣ рисовать людей, приближающихся къ этому идеалу и старающихся въ своей жизни проводить его. Поэтому немудрено, что и въ письмахъ своихъ конца 1835 и начала 1836 г. Жоржъ-Сандъ уже совершенно иначе говоритъ о республиканскихъ дѣятеляхъ, чѣмъ въ началѣ 1835 года. Такъ она пишетъ Геру 9 ноября:

... „Во всякомъ дѣлѣ всегда есть прекрасный мигъ: это начало. Можетъ быть, поэтому я такая республиканка, а вы такъ мало сенъ-симонистъ. Какъ бы то ни было, идите своимъ путемъ, если думаете, что это путь правый. Мы всѣ желаемъ добра и идемъ къ одной цѣли различными путями. Мы постоянно ссоримся, потому что всякій думаетъ, что онъ умнѣе сосѣда, и утѣшается, что ему худо, видя, что и другимъ не лучше; печальное утѣшеніе, по истинѣ, и дѣлающее много вреда нашему времени. Вся эта война булавочными уколами, изъ-за самолюбія тѣхъ и другихъ, ни къ чему не ведетъ. Наоборотъ! Если бы всѣ, у кого есть добрыя намѣренія и благонамѣренныя чувства, относились другъ къ другу съ терпимостью, то дѣлали бы вдвое больше дѣла.

„Вы не можете отрицать, мой дорогой *Марій въ Минтурнахъ* *), что у меня болѣе добросовѣстности (bonne foi), чѣмъ у васъ. Вы съ головы до ногъ хулите нашихъ республиканцевъ, а я не перестаю любить вашихъ сенъ-симонистовъ и ставить ихъ превыше всего. Я даже удерживаю себя отъ того, чтобы черезъ-чуръ любить республиканцевъ. Я люблю тѣхъ изъ нихъ, кто мои друзья, на другихъ смотрю съ любопытствомъ или принимаю ихъ изъ вѣжливости и свѣтскаго приличія. Это нисколько не мѣшаетъ принципу.

Робеспьеръ былъ чертовски *сенъ-симоничeнъ*. Онъ былъ за скорое и насильственное приведеніе въ исполненіе ученія. Вы стоите за медленный и евангельскій ходъ дѣла. Ну, такъ всякій долженъ былъ бы быть республиканцемъ въ духѣ Робеспьера, или сенъ-симонистомъ въ духѣ Анфантена, согласно со своимъ темпераментомъ. Одни могли бы рыть, другіе строить. Будьте увѣрены, что это все будетъ и что между вами и нами будетъ тѣсное единеніе, и вы ничего не сдѣлаете безъ насъ.

Вы знаете, какъ утвердилось христіанство, т.-е. какъ плохо оно утвердилось даже въ то время, которое считается его лучшимъ временемъ. Оно было въ такомъ несогласіи съ нравами, что во имя его совершались преступленія и питались чувства самыя противоположныя его духу и основаніямъ...

Поступайте по-своему, если вы думаете, что хорошо поступаете, лавируя, и если совѣсть ваша въ покоѣ. Смѣйтесь надъ упреками, которые я дѣлаю вамъ за вашу увеличивающуюся вялость, какъ я смѣюсь надъ насмѣшками, которыя вы направляете по адресу моего новоиспеченнаго воодушевленія. Но мнѣ кажется, что вы все-таки ошибаетесь, и что любовь къ равенству всегда была единственной вещью, которая во мнѣ не измѣнилась съ тѣхъ поръ, какъ я существую. Я никогда не могла признавать надъ собою господина...“

*) Замѣчательно, что этотъ эпитетъ Ж. Сандъ даетъ одинаково и Мишелю и Геру. См. выше, стр. 503 и 504.

Позволительно, зная предыдущее, усомниться въ справедливости послѣдней фразы, зато все письмо несомнѣнно свидѣтельствуетъ о полномъ и совершенномъ переходѣ Жоржъ-Сандъ въ лагерь „воинствующихъ республиканцевъ", вплоть до проповѣди необходимости проведенія своихъ идей *силой*, вплоть до признанія Робеспьера *своимъ*, вплоть до постояннаго повторенія на всякіе лады: „мы", „наши", „у насъ", — говоря о тѣхъ республиканцахъ, которыхъ въ *„Письмѣ къ Эверару"* она еще называла „вы" и упрекала въ непомѣрномъ честолюбіи, славолюбіи и слѣпой увѣренности, что они одни обладаютъ истиной и открыли, въ чемъ благо человѣчества. Совершенно такою же проповѣдью республиканскихъ идей проникнуты и письма Жоржъ-Сандъ къ двѣнадцатилѣтнему сыну Морису—чрезвычайно интересныя и какъ изложеніе ея собственныхъ мнѣній и идей, и какъ педагогическій пріемъ. Это—нѣчто вродѣ заблаговременныхъ „внушеній" ребенку, какъ и во что онъ долженъ вѣрить, нѣчто вродѣ „республиканскихъ прописей".

Изъ приведеннаго письма къ Геру видно также, что и къ сенъ-симонистамъ она относилась съ гораздо большимъ противъ прежняго уваженіемъ и симпатіями. Она познакомилась съ Венсаромъ *), ихъ присяжнымъ *пѣснопѣвцемъ* и настолько заслужила ихъ взаимное расположеніе, симпатіи и уваженіе, что къ 1-му января 1836 г. вся „парижская сенъ-симонистская семья" прислала ей черезъ этого самаго Венсара **) цѣлую коллекцію подарковъ, списокъ которыхъ является прекурьезнымъ перечнемъ самыхъ разнообразныхъ предметовъ, отъ музыкальныхъ пьесъ и стиховъ, до корсетовъ, искусственныхъ цвѣтовъ, башмаковъ и желѣзныхъ *аршиновъ*, — ибо самъ Венсаръ былъ по профессіи изготовителемъ такъ наз. „мѣръ длины". Этими подарками была загромождена вся квартира Жоржъ-Сандъ, къ великой радости маленькихъ Мориса и Солянжъ, получившихъ тоже цѣлую коллекцію вещей. Это случилось не 1-го января, а нѣсколько позже, ибо Жоржъ-Сандъ не могла къ январю пріѣхать въ

---

*) Vinçard-ainé или Vinçard le chansonnier оставилъ очень интересныя воспоминанія, изданныя, повидимому, его племянникомъ Пьеромъ Венсаромъ, извѣстнымъ публицистомъ, авторомъ „Histoire du travail et des travailleurs" и „Ouvriers de Paris".

**) По крайней мѣрѣ, такъ говоритъ вдова послѣдняго изъ сенъ-симонистовъ, г-жа Буте, въ одномъ частномъ письмѣ. Венсаръ въ своихъ воспоминаніяхъ (*„Mémoires épisodiques d'un vieux chansonnier saint-simonien"*. Paris. Dentu et Grossart. 1878) говоритъ, что подарки отвезъ Jules Gallé. Очень интересныя подробности объ этомъ эпизодѣ мы находимъ также въ статьяхъ нѣкоего Caribert: *„La dame bleue et George Sand"* и *„Les étrennes de Maurice Sand"*, напечатанныхъ въ газетѣ „Paris" 20-го декабря 1887 г. и 10 сентября 1889 г.

Парижъ вслѣдствіе своего процесса, а въ отвѣтъ на приглашеніе сенъ-симонистовъ присутствовать на какомъ-то ихъ торжественномъ вечернемъ собраніи или балѣ, она написала Геру 11-го февраля письмо изъ Ля-Шатръ, выражая сожалѣніе, что не попадетъ на балъ и не увидитъ пока всѣхъ, тронувшихъ ее глубоко, подарковъ, но надѣется, что ко времени ея пріѣзда сенъ-симонисты вновь устроятъ вечеръ, ибо она непремѣнно хочетъ побывать въ ихъ кружкѣ. Это и состоялось дѣйствительно, хотя и нѣсколько позднѣе. Жоржъ-Сандъ посѣтила сенъ-симонистское собраніе въ Менильмонтанѣ, въ домѣ доктора Кюри (Curie), при чемъ ее сопровождалъ Альфредъ де-Мюссе. А въ началѣ этого 1836 года, въ отвѣтъ на такое трогательное выраженіе симпатій со стороны сенъ-симонистовъ, Жоржъ-Сандъ написала то письмо, которое напечатано въ I томѣ ея *Корреспонденціи*— „Сенъ-симонистскому семейству“ и помѣчено 15-мъ февраля 1836 г.

Такимъ образомъ, 1835 годъ закончилъ для Жоржъ-Сандъ періодъ этого субъективнаго и обособленнаго писательства и поставилъ ее въ ряды сознательныхъ борцовъ за свободу и равенство. Потому, отвергая пресловутое дѣленіе дѣятельности Жоржъ-Сандъ на три періода, принятое всѣми критиками и историками литературы, мы полагаемъ правильнѣе дѣлить ее скорѣе на два періода, при чемъ еще разъ (мы уже высказывали это не разъ въ печати) оговариваемся, что и въ первомъ періодѣ мы уже находимъ всѣ элементы второго и всѣ главнѣйшія позднѣйшія симпатіи и убѣжденія ея, хотя и не вполнѣ сознательно высказываемыя. Такими элементами мы считаемъ: 1) проповѣдь свободы *личности* въ частной жизни и въ дѣлѣ чувства, а въ частности—права художественныхъ натуръ на бо̀льшую свободу личности; 2) проповѣдь свободы совѣсти и религіозной; 3) проповѣдь соціальной свободы и равенства, — отсюда демократическія симпатіи и возвеличеніе въ романахъ личностей изъ народа; наконецъ, въ 4) страстная любовь къ природѣ, безыскусственной жизни среди нея—и отсюда любовное изображеніе какъ картинъ природы, такъ и сельской жизни. И вмѣсто того, чтобы раздѣлять произведенія Жоржъ-Сандъ на какіе-то произвольные три періода, ихъ слѣдовало бы раздѣлить именно по этимъ четыремъ основнымъ элементамъ или группамъ. Поэтому мы скорѣе присоединяемся къ тому анонимному автору статьи о Жоржъ-Сандъ въ *Illustration* 1844 г. *), который дѣлитъ ея писательство на два періода: субъективно-безсознательный и сознательно-соціальный, при чемъ *„Письма*

---

*) Illustration, t. III, № 69, Samedi 22 Juin 1844, p. 266: *„Femmes de lettres françaises contemporaines: George-Sand“* (съ портретомъ).

Путешественника" являются какъ бы звеномъ или переходною стадіей между ними. Такимъ образомъ, 1835—1836 гг. являются и въ личной, и въ писательской жизни Жоржъ-Сандъ годами *перелома*.

Не разбирая здѣсь крупныхъ и общеизвѣстныхъ романовъ великой писательницы, относящихся къ этому времени, позволимъ себѣ теперь остановиться на двухъ ея маленькихъ, но, по нашему мнѣнію, чрезвычайно характерныхъ произведеніяхъ, изъ которыхъ одно появилось весной 1835 г., а другое осенью 1836 г. и которыя являются какъ бы *вѣхами*, указывающими весь пройденный ею за это время путь. Это—*Poème de Myrza* и *Dieu inconnu*. Первую изъ этихъ двухъ небольшихъ вещицъ — странную космогоническую фантазію, трактующую о первыхъ дняхъ мірозданія, сотвореніи первыхъ человѣковъ и жизни первыхъ людскихъ поколѣній на землѣ, авторъ, разсказывающій свою поэму отъ лица какой-то фантастической пророчицы и поэтессы Мирзы, которая жила въ Цезареѣ и была представительницей той *переходной эпохи* между язычествомъ и христіанствомъ, когда развился *„эклектизмъ, въ которомъ примирялись самыя противоположныя вѣрованія и ученія"* (sic),— авторъ, говоримъ мы, заканчиваетъ свою поэму восторженнымъ гимномъ въ честь любви. Мирза прославляетъ это чувство выше всего, что даровано человѣку на счастье. Раздраженные ея рѣчами, аскетическіе лже-пророки и книжники хотятъ побить ее камнями, а народъ хочетъ ее съ тріумфомъ нести на рукахъ,—но она удаляется отъ тѣхъ и другихъ, взбирается на своего верблюда и уѣзжаетъ, говоря на прощанье: „Пустите меня уѣхать, и если эти люди возвѣстятъ вамъ нѣчто благое,—внимайте ему и берите его, откуда бы оно къ вамъ ни шло. Что до меня касается, вы знаете мое исповѣданіе вѣры, это — любовь. И все-таки, вы видите, я одинока, я прибыла одна и ухожу одинокая..."—Тогда Мирза „пролила много слезъ" и прибавила: „Понимаете ли вы мои слезы и знаете ли вы, куда я иду?" „И она пустилась въ путь, который ведетъ въ Ѳиваидскую пустыню..."

А мы невольно вспоминаемъ, какъ послѣ бурныхъ испытаній двухъ лѣтъ, удалившаяся весной 1835 года въ свою беррійскую „пустыню" и твердо рѣшившая вести суровую, строгую, одинокую жизнь, Жоржъ-Сандъ, прощаясь въ одномъ изъ *Писемъ къ Эверару* со всею своей прошлой жизнью и поканчивая, какъ она полагала, навсегда счеты съ любовью, восклицала:

„Но ты, кумиръ моей юности, любовь, изъ храма которой я навсегда убѣгаю, прощай! Помимо моей воли колѣна мои сгибаются и губы дрожатъ, произнося это безповоротное „прости". Еще взглядъ, еще приношеніе вѣнка изъ свѣжихъ розъ, первыхъ весеннихъ розъ — и прощай! Довольно жертвоприно-

ній, довольно колѣнопреклоненій! Ненасытный богъ, избери левитовъ болѣе молодыхъ и счастливыхъ, чѣмъ я, не считай меня болѣе въ числѣ приходящихъ поклоняться тебѣ; но покидая тебя, я не могу проклинать тебя, о восторгъ и мученье! я не могу даже упрекнуть тебя, я лишь поставлю у твоего подножья погребальную урну — эмблему моего вѣчнаго вдовства. Твои юные левиты опрокинутъ ее, танцуя вокругъ твоей статуи, они разобьютъ ее и будутъ по-прежнему любить. Царствуй, любовь, царствуй, пока республика не подрѣжетъ тебѣ крылья!..."

„Республика", какъ мы видимъ, не подрѣзала крыльевъ любви, но одинъ изъ ея жрецовъ научилъ ноганскую отшельницу поклоняться другимъ богамъ. И второй разсказъ, о которомъ мы упомянули, „Dieu inconnu", — одно изъ прелестнѣйшихъ произведеній Жоржъ-Сандъ по своему удивительному языку, сжатости и краткости, — повѣствуетъ о томъ, какъ въ эпоху гоненія на христіанство и римскаго упадка одна блестящая римская красавица, неудовлетворенная и разочаровавшаяся во всѣхъ своихъ прежнихъ вѣрованіяхъ и утѣхахъ, приходитъ въ катакомбы къ почитаемому всѣми христіанами старцу Памфилу и умоляетъ его помочь ей, спасти ее отъ отчаянія, научить ее вѣрить хотя бы въ „невѣдомаго бога". И, дѣйствительно, Памфилъ научаетъ ее искать утѣшенія какъ разъ въ обратномъ отъ всего того, что до сихъ поръ почиталось ею за счастье, искать утѣшенія въ отреченіи отъ удовольствій, отъ эгоизма, отъ любви человѣческой, въ самоотверженномъ служеніи людямъ, въ забвеніи о себѣ ради христіанской любви къ ближнимъ. Слушая отчаянныя рѣчи прекрасной Леи, обращенныя къ старцу, опять все время на ея мѣстѣ воображаешь себѣ Аврору Дюдеванъ, разочаровавшуюся въ людяхъ и людской любви, жадно ищущую свѣта и истины и страстно умоляющую то Сентъ-Бёва, то Мишеля помочь ей найти эту истину, дать ей вѣрованія, на которыхъ могла бы успокоиться ея измученная, пресытившаяся всѣми земными радостями душа...

Памфилъ освободилъ душу прекрасной Леи отъ оковъ ея языческихъ вѣрованій и всей прежней жизни, примирилъ ее съ неизбѣжнымъ концомъ всѣхъ радостей, давъ ей новый свѣтъ, научивъ молиться „невѣдомому богу".

Суровый Эвераръ освободилъ душу Авроры Дюдеванъ отъ оковъ личности, отъ излишняго индивидуализма, примирилъ ее съ жизнью, научивъ искать счастья не въ собственныхъ радостяхъ, а въ служеніи человѣчеству, въ сліяніи собственной личности съ жизнью, интересами, несчастьемъ и радостями своего народа и всего рода людского.

Брюссель, сентябрь, 1898 г. ***Влад. Каренинъ.***

ЭВОЛЮЦІЯ ЛИЧНОСТИ У ЖЕНЩИНЪ

ПО ТИПАМЪ ИБСЕНА.

I.

Нѣсколько пояснительныхъ замѣчаній.

Можно ли изучать не только женскіе типы, но даже „эволюцію личности у женщинъ"—по драмамъ Ибсена?

Вѣдь для этого нужно, чтобы авторъ былъ по меньшей мѣрѣ выдающимся художникомъ.

Когда, напр., у насъ въ Россіи по нѣкоторымъ женскимъ типамъ Тургенева явилась возможность намѣтить эволюцію женской личности, то это зависѣло, конечно, отъ того, что Тургеневъ сумѣлъ вѣрно схватить и передать важнѣйшія черты этой эволюціи. Но зато онъ былъ Тургеневъ.

А что такое Ибсенъ?

Можно не быть его поклонникомъ и, тѣмъ не менѣе, признавать фактъ, что онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ писателей, произведенія которыхъ не только читаются во всѣхъ странахъ свѣта, но и комментируются, т.-е. вызываютъ споры, вопросы и т. п. Многочисленность читателей какого-либо произведенія или автора еще не доказываетъ сама по себѣ его важнаго значенія: вѣдь и бульварные романы имѣютъ множество читателей. Но если произведеніе возбуждаетъ горячій *идейный* интересъ и при томъ въ читателяхъ самыхъ различныхъ національностей, это—вѣрный признакъ по меньшей мѣрѣ того, что въ немъ отразилось что-то захватывающее и важное для всѣхъ культурныхъ людей данной эпохи.

Что жъ такое отражаетъ Ибсенъ?

Міръ его музы очень неширокъ. Въ драмахъ его мы встрѣчаемъ

почти исключительно стремленія женской души и ея борьбу за нихъ. Почти никакіе иные стремленія и вопросы нашей эпохи Ибсеномъ не затрогивались. Отсюда очевидно, что интересъ, возбуждаемый его драмами, не можетъ заключаться ни въ чемъ иномъ, кромѣ изображаемой имъ жизни женской души, а слѣдовательно, не менѣе очевидно и то, что онъ рисуетъ женскую жизнь и душу съ такой стороны, которая, по крайней мѣрѣ въ нашу эпоху, представляетъ захватывающій интересъ одинаково и для образованнаго шведа, и для культурнаго американца, и для развитаго француза, и для просвѣщеннаго нѣмца...

И, дѣйствительно, вдумываясь въ героинь Ибсена, мы легко замѣчаемъ у нихъ одну общую черту, являющуюся въ то же время и отличительной чертой женщины нашей эпохи, это—стремленіе ихъ къ самостоятельности, къ защитѣ и развитію своей человѣческой личности. При этомъ, такъ какъ уровень или интенсивность этихъ стремленій и этой борьбы различны у разныхъ героинь Ибсена, то является возможность изучить прогрессивное развитіе этихъ стремленій, т.-е. изучить ихъ не просто, а въ постепенномъ процессѣ возрастанія, эволюціи, намѣчаемыхъ самими героинями, т.-е. усиленіемъ ихъ основныхъ стремленій къ самостоятельности, къ освобожденію своей личности отъ гнета какъ внутреннихъ „призраковъ“ или традицій, такъ и внѣшнихъ неблагопріятныхъ условій.

При этомъ мнѣ нѣтъ надобности входить въ такъ называемую художественную оцѣнку произведеній Ибсена, напр., его драматическихъ пріемовъ, вообще того, что другіе критики нерѣдко ставили ему въ вину. У писателей идейныхъ,—а таковъ Ибсенъ,—художественная сторона есть только *орудіе,* которымъ они воздѣйствуютъ на людей, передавая свои впечатлѣнія, мысли, чувства и настроенія, навѣянныя жизнью. Конечно, далеко не безразлично то, хорошо ли это орудіе или плохо; но, въ данномъ случаѣ, останавливаться надъ этимъ вопросомъ почти безполезно практически: вѣдь сколько бы ни говорили противъ формъ или пріемовъ Ибсена, мы ихъ не измѣнимъ. Въ нихъ его особенность, его оригинальность. Нужно брать его такимъ, каковъ онъ есть.

А что его „орудіе“ (т.-е. формы и пріемы) способно увлекать, интересовать и волновать, это доказываютъ факты, упомянутые выше.

Скажу два слова о моемъ пріемѣ изученія типовъ Ибсена.

Въ послѣднее время въ большой модѣ особый сортъ критики, который я назову „интервьюерскимъ“. Состоитъ онъ въ томъ, что критикъ собираетъ все, что сказано самимъ авторомъ объ его произведеніи, дополняетъ это своимъ личнымъ „допросомъ“ его и, затѣмъ,

ЭВОЛЮЦІЯ ЛИЧНОСТИ

ПО ТИПАМЪ ИБС

I.

Нѣсколько пояснительны

Можно ли изучать не только женскіе личности у женщинъ"—по драмамъ Ибс

Вѣдь для этого нужно, чтобы автор выдающимся художникомъ.

Когда, напр., у насъ въ Россіи по нѣ Тургенева явилась возможность намѣти ности, то это зависѣло, конечно, отъ то вѣрно схватить и передать важнѣйшія ч онъ былъ Тургеневъ.

А что такое Ибсенъ?

Можно не быть его поклонникомъ и, т фактъ, что онъ принадлежитъ къ числу произведенія которыхъ не только читают но и комментируются, т.-е. вызываютъ с

семейное „мы“, а дѣти говорятъ о себѣ въ

лу пробудилась самосознательная личность, и, она пробудилась позднѣе, именно въ силу того, всегда является результатомъ противоположенія -родовому союзу. Между тѣмъ, женщина почти до времени оставалась замкнутою въ сферѣ интере- совершенно лишенная самостоятельности и непо- дѣйствія на окружающую общественную жизнь.

е сознанія своего „я“ есть только начало дальнѣй- ичности. Это развитіе имѣетъ свои стадіи, какъ и ое или логическое развитіе. Но изъ этого вовсе не эти стадіи должны обязательно переживаться каж- ичностью въ томъ порядкѣ, какой намѣчается исто- чности и психологіей этого развитія. Личности, яв- ѣе, идутъ впередъ съ того момента, какой онѣ за- ающей средѣ. Имъ не нужно искать и бороться съ приходилось бороться и что приходилось искать чно, это справедливо только относительно личностей стоящихъ въ каждый данный моментъ на уровнѣ мъ лучшими изъ ихъ среды. Между тѣмъ, какъ из- у, въ обществѣ уживаются одновременно всевозможныя старыхъ типовъ, старыхъ формацій, какъ и въ ге- й уровень повышается лишь мало-по-малу, значительно поперовъ; такъ какъ у мужчинъ эта эволюція анало- бное изслѣдованіе представляетъ двоякій интересъ.

II.

ть и пробужденіе личности: Алина Сольнесъ и г-жа Альвингъ.

казалъ, что среди современнаго общества могутъ ужи- различныхъ формацій. Наиболѣе типичной предста- примитивной безличности является въ драмахъ Ибсена ктора Сольнеса—Алина. Съ нея и начнемъ.

сферѣ семейной жизни она представляетъ низшую ста- Такъ, она говоритъ Гильдѣ, спрашивающей ее о при- ки и болѣзни, что „гораздо больше тоскуетъ о сгорѣв- хъ (она ими играла, будучи уже замужемъ), чѣмъ объ

объясняетъ произведеніе не изъ него самого, не изъ того художественнаго матеріала, который оно представляетъ, а на основаніи *намѣреній* автора, свѣдѣнія о которыхъ собраны тѣмъ или инымъ способомъ.

Быть можетъ, такой матеріалъ и имѣетъ цѣнность, но онъ даетъ только *намѣренія* и *мысли* автора, формулированныя имъ въ видѣ отвлеченныхъ идей. Между тѣмъ извѣстно, что художникъ потому и дѣлается художникомъ, а не теоретикомъ или философомъ, что онъ гораздо лучше мыслитъ образами, чѣмъ отвлеченными понятіями или идеями. Это не мѣшаетъ многимъ изъ нихъ пускаться въ философію, писать теоретическіе трактаты (какъ напр., нашъ Толстой),— но кто же теперь читаетъ, напр., De Monarchia Данта или научно-теоретическіе труды Гёте, Шиллера, и т. п.? И, во всякомъ случаѣ, никто не поставитъ ихъ рядомъ съ художественными произведеніями тѣхъ же авторовъ или съ теоретическими твореніями спеціалистовъ въ области мысли и науки, какъ напр., Спиноза, Кантъ, Дарвинъ, Спенсеръ и т. д.

Между тѣмъ, когда критикъ-интервьюеръ допрашиваетъ писателя-художника о его намѣреніяхъ и идеяхъ, онъ именно требуетъ, чтобы тотъ формулировалъ абстрактно, теоретически свое художественное созданіе!

Я не говорю уже о томъ, что отчасти чувство деликатности, отчасти нежеланіе нажить враговъ и т. п. часто заставляютъ художника дать уклончивый отвѣтъ, особенно если вопросъ предлагается примѣрно въ такой формѣ: „не это ли вы желали сказать такимъ-то типомъ?“ На подобный вопросъ одного изъ французскихъ комментаторовъ Ибсенъ былъ вынужденъ отвѣтить, по поводу Геды Габлеръ, что она написана не на тезисъ (n'est pas une pièce à thêse)! А въ заключеніе Ибсенъ добавляетъ, что „не имѣетъ ничего возразить противъ толкованія этой пьесы“, сдѣланнаго комментаторами...

Не очевидно ли, что надо предоставить художникамъ быть художниками и не заставлять ихъ брать на себя чужую роль.

Въ виду этихъ — и многихъ другихъ — соображеній я буду дѣлать мои выводы только изъ матеріала, представляемаго *самими драмами* Ибсена, игнорируя совершенно интервьюерскій матеріалъ.

Въ заключеніе я долженъ сказать два слова о томъ, что понимаю подъ выраженіемъ „эволюція женской личности“, кромѣ вышесказаннаго.

Давно установлено наукой, что сознаніе своей личности (своего „я“) явилось въ человѣчествѣ не сразу. Въ языкѣ примитивныхъ народовъ, какъ и въ языкѣ дѣтей, нѣтъ слова „я“. Примитивные люди

знаютъ родовое или семейное „мы“, а дѣти говорятъ о себѣ въ третьемъ лицѣ.

Лишь мало-по-малу пробудилась самосознательная личность, и, конечно, у женщины она пробудилась позднѣе, именно въ силу того, что это пробужденіе всегда является результатомъ противоположенія своего „я“ семейно-родовому союзу. Между тѣмъ, женщина почти до самаго послѣдняго времени оставалась замкнутою въ сферѣ интересовъ семьи, почти совершенно лишенная самостоятельности и непосредственнаго воздѣйствія на окружающую общественную жизнь.

Но пробужденіе сознанія своего „я“ есть только начало дальнѣйшаго развитія личности. Это развитіе имѣетъ свои стадіи, какъ и всякое психическое или логическое развитіе. Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что всѣ эти стадіи должны обязательно переживаться каждой отдѣльной личностью въ томъ порядкѣ, какой намѣчается исторіей развитія личности и психологіей этого развитія. Личности, являющіяся позднѣе, идутъ впередъ съ того момента, какой онѣ застали въ окружающей средѣ. Имъ не нужно искать и бороться съ тѣмъ, съ чѣмъ приходилось бороться и что приходилось искать піонерамъ. Конечно, это справедливо только относительно личностей передовыхъ, т.-е. стоящихъ въ каждый данный моментъ на уровнѣ уже достигнутомъ лучшими изъ ихъ среды. Между тѣмъ, какъ извѣстно каждому, въ обществѣ уживаются одновременно всевозможныя „переживанія“ старыхъ типовъ, старыхъ формацій, какъ и въ геологіи,—и общій уровень повышается лишь мало-по-малу, значительно отставая отъ піонеровъ; такъ какъ у мужчинъ эта эволюція аналогична, то подобное изслѣдованіе представляетъ двоякій интересъ.

II.

Безличность и пробужденіе личности: Алина Сольнесъ и г-жа Альвингъ.

Я уже сказалъ, что среди современнаго общества могутъ уживаться типы различныхъ формацій. Наиболѣе типичной представительницей примитивной безличности является въ драмахъ Ибсена жена архитектора Сольнеса—Алина. Съ нея и начнемъ.

Даже въ сферѣ семейной жизни она представляетъ низшую стадію развитія. Такъ, она говоритъ Гильдѣ, спрашивающей ее о причинѣ ея тоски и болѣзни, что „гораздо больше тоскуетъ о сгорѣвшихъ куклахъ (она ими играла, будучи уже замужемъ), чѣмъ объ

умершихъ дѣтяхъ". Конечно, это—*символъ,* которымъ Ибсенъ,—быть можетъ, нѣсколько грубо и аляповато (по своему обыкновенію),—рисуетъ типъ тѣхъ женщинъ, о которыхъ въ обществѣ говорятъ: „ахъ, она—очаровательный ребенокъ!" Иными словами, въ потерѣ дѣтей ей тяжела потеря той забавы, какую она дѣлала для себя изъ нихъ, видя въ нихъ куколъ, наряжая ихъ, показывая своимъ знакомымъ и т. п., да тѣмъ и ограничивая свои материнскія и воспитательныя обязанности.

Столь же узко и наивно она понимаетъ и свои отношенія къ мужу: она была счастлива, пока мужъ наряжалъ ее, ухаживалъ за нею, доставлялъ ей развлеченія, т.-е. пока она забавлялась и забавляла его, какъ куколка.

Когда умерли дѣти и сгорѣли куклы, Алина умѣетъ только плакать, тосковать и отравлять жизнь мужу; этимъ она доводитъ его до того, что бывшій идеалистъ, строившій только „храмы" (символъ идейной работы), весь уходитъ въ дѣла наживы, въ страхѣ передъ грозящей конкуренціей и т. п.

Очаровательная „куколка-ребенокъ" становится самой мучительной обузой; въ ея заплаканныхъ глазахъ, въ ея блѣдномъ лицѣ и суровомъ молчаніи мужъ читалъ вѣчный упрекъ. Никакое взаимное пониманіе немыслимо. Идеалы мужа, его высшія стремленія — для нея незнакомая грамота. Неудивительно, что Сольнесъ не только палъ граждански, но палъ психически: у него явный бредъ преслѣдованія, даже галлюцинаціи...

Алина такъ мало намѣчена Ибсеномъ, что болѣе точной картины ея душевнаго состоянія дать мы не можемъ. Но это не бѣда: такой типъ достаточно исчерпанъ въ нашей литературѣ подъ именемъ „кисейной барышни", „Мимочки" и т. п. Мнѣ хотѣлось бы здѣсь отмѣтить лишь одно важное обстоятельство, объясняющее отчасти тотъ фактъ, что наиболѣе толковые изъ современныхъ мужчинъ сами помогаютъ подъему женской личности, являясь нерѣдко даже иниціаторами и первыми дѣятелями женскаго пробужденія. Въ драмѣ Ибсена мы наглядно видимъ, какія страданія и паденія грозятъ тѣмъ несчастливцамъ, жизнь которыхъ связана съ жизнью женщинъ-куколъ. Послѣ первыхъ чувственныхъ наслажденій, пріѣдающихся очень скоро, на плечахъ мужа остается невыносимая обуза, безсмысленно-требовательная, безтолковая, вѣчно-тоскующая и говорящая вздоръ, безъ малѣйшихъ признаковъ чувства собственнаго достоинства, способности понимать, мыслить, откликаться на высшіе интересы мужа и т. п. Все это задавлено съ дѣтства дикимъ воспитаніемъ, приспособлявшимъ женщину къ роли самки и куклы, задавлено иногда до

такой степени, что, напр., никакія усилія Сольнеса не въ силахъ сдѣлать изъ Алины ничего путнаго и человѣческаго.

Но, конечно, бываетъ и не такъ, и при томъ далеко не всегда иниціаторомъ пробужденія является мужчина. Въ одной изъ героинь Ибсена, г-жѣ Альвингъ (см. драму „Призраки"), мы имѣемъ именно такое самостоятельное пробужденіе женскаго „я", вызванное однимъ лишь грубымъ подавленіемъ естественнаго женскаго инстинкта (любви).

Ибсенъ не объясняетъ, какимъ образомъ г-жа Альвингъ, любя одного, вышла замужъ за другого, и при томъ за человѣка столь ненавистнаго ей, что она прямо послѣ вѣнчанія бѣжитъ къ возлюбленному и умоляетъ его оставить ее у себя. Впрочемъ, достаточно предположить, что у г-жи Альвингъ была маменька, принадлежащая къ типу женщинъ вродѣ Алины Сольнесъ, чтобы объясненіе было весьма просто. Дочь воспитывалась, какъ и мать, изъ нея готовили куклу и самку, она даже и понятія не имѣла о смыслѣ брака, о значеніи замужества, и только въ тотъ моментъ, когда въ церкви почувствовала себя принадлежащей ненавистному человѣку, въ ней пробудился *инстинктъ* женщины, влеченіе беззавѣтное къ тому, кого она любила, и ужасъ передъ тѣмъ, кто сталъ ея властелиномъ.

Но человѣкъ, котораго она любила, — пасторъ, и онъ, конечно, убѣждаетъ ее вернуться къ мужу и выполнять свято свой долгъ относительно семьи и семейнаго очага, и она повинуется ему. Насъ интересуютъ здѣсь не результаты и не тенденція самой драмы въ ея цѣломъ.

Ибсенъ, по своему обыкновенію, стремясь ярче подчеркнуть свою мысль, беретъ нѣсколько исключительный случай: мужъ г-жи Альвингъ оказывается не только пьяницей и развратникомъ, но еще страдаетъ такой болѣзнью, которая передается наслѣдственно и является впослѣдствіи причиной смерти единственнаго сына г-жи Альвингъ. Такое нагроможденіе страданій могло бы повредить простотѣ изображенія самой психологіи „пробужденія", но, къ счастью, пробужденіе г-жи Альвингъ началось ранѣе результатовъ болѣзни мужа, а потому мы можемъ намѣтить собственно *психологическій* процессъ въ его чистомъ видѣ.

Вотъ что г-жа Альвингъ говоритъ пастору (бывшему предмету ея любви) черезъ двадцать лѣтъ послѣ того, какъ онъ уговорилъ ее вернуться къ мужу. Надо замѣтить, что мужъ уже умеръ, что сынъ возвратился изъ-за границы. И вотъ г-жа Альвингъ, разсматривая всю свою прошлую жизнь, сводитъ нравственные счеты съ пасторомъ: „когда вы принудили меня,—разсказываетъ она,—поступить сообразно съ тѣмъ, что вы считали долгомъ и справедливостью; когда вы вос-

хваляли, какъ справедливое и истинное, все то, что *возмущало мою душу своею отвратительностью,—тогда у меня зародилось желаніе провѣрить* хорошенько ваши поученія *). Я коснулась только одного краешка—одного узелка, но когда я развязала его, вся сѣть распуталась."

Когда пасторъ продолжаетъ увѣрять, что совѣтъ, данный имъ въ то время, былъ „величайшей побѣдой надъ собой", она отвѣчаетъ: „это было преступленіемъ противъ насъ обоихъ".

Нельзя не видѣть изъ этихъ словъ, что въ началѣ пробужденія—критика и отрицаніе *такъ же узко-инстинктивны*. Вѣдь очевидно, что жизнь у „этого" пастора, да еще въ „незаконной связи" съ нимъ (и даже въ законной), не рѣшала задачи пробужденнаго самосознанія даже на первой его стадіи. Что могъ дать г-жѣ Альвингъ этотъ пасторъ? Между тѣмъ, еще не особенно давно не только сами женщины, но и литература (беллетристика), выражавшая ихъ интересы, были убѣждены, что весь „женскій вопросъ" заключается въ свободѣ выбора и развода. Но съ той поры много воды утекло, и эта первая стадія пробужденной личности, критики и отрицанія уже не одинъ разъ смѣнялась новыми стадіями эволюціи. Даже сама г-жа Альвингъ успѣла подъ конецъ жизни пережить дальнѣйшую стадію, но уже подъ вліяніемъ знакомства съ иной жизнью и иными идеями, т.-е. подъ вліяніемъ *внѣшняго, идейнаго* стимула.

Именно ея сынъ объяснилъ ей, что въ то время, какъ у нихъ на сѣверѣ считаютъ жизнь юдолью скорби, не умѣютъ *работать радостно*, „въ томъ кругу, гдѣ онъ вращался (среди художниковъ, въ Италіи), на жизнь смотрятъ, какъ на свѣтлое, радостное существованіе". „Въ томъ мірѣ, гдѣ я жилъ, — говоритъ онъ, — вѣчно царятъ солнечный свѣтъ, смѣхъ, праздничное веселье. *Вотъ почему я боюсь оставаться здѣсь на родинѣ... Я боюсь, что вся та сила, которая кипитъ во мнѣ, выродится здѣсь въ безнравственность...*"

На это г-жа Альвингъ восклицаетъ: „теперь я понимаю все *въ первый разъ!*"

Что же поняла она?

---

*) Небезполезно замѣтить, что г-жа Альвингъ была въ силахъ исполнить свой *долгъ* лишь чисто-внѣшнимъ образомъ: она, во 1-хъ, отдалась мужу физически, плодомъ чего былъ несчастный больной ребенокъ, во 2-хъ, она считала своимъ священнымъ долгомъ поддерживать *внѣшній престижъ мужа и семьи:* она не только скрывала отъ окружающихъ его пьянство и развратъ, не только переносила отъ него ужасныя оскорбленія, но отъ его имени благодѣтельствовала окружающему населенію, устраивала школы и пріюты его имени. А въ то же время она такъ ненавидѣла этого человѣка, что послѣ его смерти содѣйствуетъ поджогу одного изъ такихъ пріютовъ...

Это ей удается высказать лишь впослѣдствіи, въ 3-мъ актѣ. „Ты говорилъ мнѣ,—вспоминаетъ она,—о жизнерадостности, и въ ту минуту мнѣ показалось, что я всю свою жизнь вижу въ новомъ свѣтѣ... Ты посмотрѣлъ бы на твоего отца въ молодости! Сколько въ немъ было этой жизнерадостности, необузданной силы, веселья!... И вотъ, этотъ-то веселый ребенокъ,—потому что тогда онъ, дѣйствительно, былъ не болѣе, какъ ребенокъ,—жилъ въ такой обстановкѣ, гдѣ не было ничего возвышающаго, а были одни наслажденія. У него не было здѣсь никакой жизненной задачи, а была только служба. Не было никакой работы, которой онъ могъ бы отдаться всей душой. У него не было товарищей, а были только собутыльники, онъ видѣлъ только праздношатающихся лѣнтяевъ. И вотъ, вышло все такъ, какъ должно было выйти... Ты самъ сказалъ сегодня, что̀ вышло бы изъ тебя, если бы ты остался здѣсь... У твоего бѣднаго отца никогда не было ничего, что могло бы отвлечь въ хорошую сторону его жизнерадостность. *И я сама не вносила счастья въ нашу семейную жизнь... Меня учили на счетъ разныхъ обязанностей, и всѣ наши разговоры только и касались моихъ обязанностей.* Я боюсь, что сдѣлала семейную жизнь твоего отца *невыносимой*... Я видѣла только одно, что отецъ твой былъ развращенный, изломанный человѣкъ.“

Я считаю этотъ моментъ развитія сознанія весьма важнымъ: въ немъ бездѣятельная критика и отрицаніе переходятъ уже въ стадію, подготовляющую къ дѣятельности, а именно къ дѣятельному вліянію на ту среду, на тѣ явленія, которыя причинили страданіе.

Г-жа Альвингъ пришла къ мысли, что въ негодяйствѣ ея мужа была виновата, во 1-хъ, среда, окружавшая его, и во 2-хъ, она сама, не понявшая истинной цѣли своей, которая, по ея новому взгляду, должна была состоять въ исправленіи мужа, въ благотворномъ вліяніи на него.

Кому не извѣстно, что было время, когда самыя передовыя женщины не могли вообразить себѣ цѣли выше этой, т.-е. выше вліянія на мужчину или исправленія „падшаго“ друга etc., etc. Теперь намъ кажется наивной эта стадія, но она была важнымъ шагомъ впередъ. Какъ извѣстно каждому, жизнь дѣйствуетъ діаметрально противоположно на организмы (или индивидуальности) слабые и на организмы сильные: первые стремятся сами приспособиться къ ея условіямъ, какъ бы ни уродовало такое приспособленіе данную индивидуальность; наоборотъ, сильные организмы (или индивидуальности) стремятся передѣлать среду, ея условія, т.-е. приспособить жизнь къ себѣ и своимъ потребностямъ. Женщины, въ теченіе всей почти исторіи шли первымъ путемъ, т.-е. путемъ регрессивнаго приспособленія къ

чужимъ потребностямъ и состоянію рабской подчиненности. Отъ этого-то онѣ и пали такъ низко *). Въ новомъ же теченіи мысли у г-жи Альвингъ мы видѣли первый шагъ къ попыткамъ *воздѣйствовать на среду*, приспособлять ее къ себѣ. Правда, въ первый моментъ эта среда воплощается для г-жи Альвингъ вся въ лицѣ *одного* человѣка, мужа: его нужно исправить. Впослѣдствіи логика приводитъ вполнѣ естественно къ расширенію этой среды, т.-е. къ сознанію необходимости и для женщины общественной работы, общественнаго вліянія etc. Но съ этимъ мы встрѣтимся въ другихъ типахъ, а теперь отмѣтимъ еще одинъ важный моментъ въ первомъ пробужденіи сознательной личности: это—необходимость, прежде всего представляющаяся подобной личности, бороться *со своимъ собственнымъ* внутреннимъ міромъ, т.-е. съ предразсудками, понятіями, инстинктами прежней „формаціи" (говоря языкомъ геологовъ). Эти-то остатки прошлаго г-жа Альвингъ и называетъ „призраками":

„Въ насъ живетъ и прячется,—говоритъ она,—все, что мы наслѣдуемъ отъ родителей, всѣ старыя, повидимому умершія воззрѣнія и вѣрованія... Вездѣ кругомъ эти могильные выходцы..."

Резюмируя тѣ моменты психологическаго процесса пробужденія личности, которые мы нашли, нельзя не замѣтить, что они почти въ той же послѣдовательности свойственны не однѣмъ женщинамъ, но и всему человѣчеству, и отдѣльнымъ классамъ, выступающимъ на арену исторіи. Это до такой степени очевидно, что не требуетъ пояснительныхъ примѣровъ: вездѣ начинается съ протеста подавленной потребности или инстинкта, чувства. Протестъ первоначально полусознателенъ, т.-е. выражается въ чувствѣ, въ рефлективномъ взрывѣ тоски, ненависти, жажды избавленія отъ гнетущаго состоянія. Такъ же рефлективно онъ можетъ сопровождаться и рѣшительными, но совершенно нераціональными дѣйствіями, какъ побѣгъ г-жи Альвингъ къ любимому человѣку, пастору, который, конечно, не могъ оставить ее у себя, или какъ самоубійство Катерины въ „Грозѣ". У натуръ сравнительно сильныхъ, какъ г-жа Альвингъ, дѣло не останавливается на этомъ: подавленный инстинктъ или чувство возбуждаютъ въ нихъ работу мысли и сперва исключительно-критической и отрицательной мысли. И прежде всего эта мысль направляется на критику собственнаго внутренняго міра, его старыхъ понятій,

*) Знаменитый біологъ Гёкели замѣтилъ, что если бы эволюція видовъ животнаго царства обусловливалась только приспособленіемъ къ средѣ,—какъ полагали нѣкоторые,—то идеаломъ эволюціи, а слѣдовательно, идеаломъ животнаго нужно было бы считать то одноклѣточное существо, которое способно жить въ полярныхъ снѣгахъ, окрашивая ихъ въ красный цвѣтъ. Это—высшая степень приспособленія.

чувствъ, инстинктовъ, вообще „призраковъ“, оставшихся отъ прошлаго. Затѣмъ отрицаніе и критика переходятъ и на внѣшнія условія и причины, и начинаютъ вырабатываться планы (или, точнѣе, сперва — мечты) о возможности измѣнить эти внѣшнія условія и причины.

Чаще всего эти мечты или планы ограничиваются стремленіемъ измѣнить къ лучшему или уничтожить, разрушить ближайшія, наглядно бросающіяся въ глаза причины страданія: напр., уничтожить порочность даннаго лица или нѣсколькихъ лицъ, просвѣтить проповѣдью добра падшихъ или эксплоататоровъ, сломать машины (какъ было при первыхъ движеніяхъ среди рабочихъ въ Англіи), уничтожить тирана etc., etc. Лишь современемъ, съ развитіемъ сознательной мысли и послѣ ряда неудачныхъ опытовъ борьбы, отдѣльныя личности и мертвые предметы отступаютъ на задній планъ; причины зла ищутся шире и глубже, а съ тѣмъ вмѣстѣ расширяются планы и мечты о реформаторской дѣятельности.

Но съ такими формами мы еще встрѣтимся въ лицѣ другихъ героинь Ибсена, а теперь должны заняться подробнѣе типами переходными, типами страстной критики и отрицанія, обострившихся до крайности, вслѣдствіе упорнаго неудовлетворенія женскаго инстинкта или чувства: таковы Геда Габлеръ (изъ пьесы того же имени) и Гильда (изъ „Строителя Сольнеса“). Но еще ранѣе необходимо ознакомить читателя съ однимъ второстепеннымъ женскимъ лицомъ изъ пьесы „Геда Габлеръ“ — съ Теей. Она во 1-хъ, непосредственно примыкаетъ къ г-жѣ Альвингъ, осуществляя на дѣлѣ ту мечту, къ которой пришла эта послѣдняя въ концѣ жизни, а именно мечту— спасать падшихъ мужчинъ; такимъ образомъ, она является отчасти пробнымъ камнемъ этой идеи. Во 2-хъ, она совершенно удовлетворяется этого рода дѣятельностью, хотя при первомъ же опытѣ терпитъ фіаско, которое для всякой другой было бы трагическимъ. Однимъ словомъ, мы имѣемъ дѣло съ личностью уравновѣшенной, чуждой критики и отрицанія, а потому, на первый взглядъ, опровергающей ту психологію „пробужденной личности“, которую я резюмировалъ выше... Только ближайшее разсмотрѣніе этой особы объяснитъ намъ это противорѣчіе, подтвердивъ еще болѣе наши психологическія положенія.

III.

Тея изъ „Геды Габлеръ", какъ типъ, осуществляющій мѣщанское счастье.

Г-жа Альвингъ пришла въ концѣ жизни къ мысли, которая, какъ мы видѣли, состоитъ въ томъ, чтобы поднять падшаго мужчину, помогая ему въ его трудѣ, поддерживая его etc.

Тея беретъ подъ свое покровительство молодого и талантливаго ученаго Левборга, сбившагося съ пути и почти погибавшаго въ кутежахъ и развратѣ. Ей удается ненадолго вернуть его къ наукѣ и правильной жизни: подъ вліяніемъ Теи и при ея помощи, онъ пишетъ выдающійся ученый трактатъ, затѣмъ другой.

Однако, все это удается Теѣ лишь до тѣхъ поръ, пока Левборгъ не встрѣтился съ Гедой Габлеръ — женой молодого профессора, съ которой Левборгъ былъ близко знакомъ, когда она была еще дѣвушкой. Повидимому, Геда Габлеръ въ то время любила его, но произошло нѣчто, напоминающее или исторію Онѣгина съ Татьяной. или, быть можетъ, даже нѣчто болѣе серьезное: въ драмѣ, напр., есть намеки, что Гедѣ было *необходимо во что бы то ни стало* выйти замужъ, отчего она и пошла за нелюбимаго, совершенно ей неподходящаго Тесмана.

Встрѣтивъ вновь Геду Габлеръ, Левборгъ покидаетъ свою спасительницу (Тею) и весь отдается вліянію женщины, которая сознательно толкаетъ его на прежній путь и доводитъ *умышленно* до самоубійства. Подробности этой драмы мы разсмотримъ при разборѣ типа Геды Габлеръ; теперь же дѣло идетъ только о Теѣ, являющейся въ пьесѣ второстепеннымъ лицомъ. И недаромъ Ибсенъ отвелъ ей такое мѣсто, а первое предоставилъ Гедѣ Габлеръ, чѣмъ и вызвалъ протесты многихъ; въ драмѣ есть сцена, которая доказываетъ, что Тея—птица невысокаго полета. Вотъ эта сцена. Когда получено извѣстіе о самоубійствѣ Левборга, Тея тотчасъ же садится вмѣстѣ съ Тесманомъ (мужемъ Геды Габлеръ) за работу—возстановленія рукописи самоубійцы, которая сожжена Гедой. Многіе говорятъ: „Вотъ истинная героиня! Этой женщинѣ дорогъ не человѣкъ, а его трудъ, его идея! Она не плачетъ, не приходитъ въ отчаяніе, а бодро продолжаетъ ту работу, которую помогала Левборгу дѣлать ранѣе!" Но Ибсена нельзя такъ изучать. Часто у него двѣ-три фразы, вставленныя какъ бы à propos, освѣщаютъ цѣлыя перспективы. И здѣсь есть такая фраза: когда Тея усѣлась за работу съ Тесманомъ, Геда Габлеръ говоритъ ей язвительно: „Не кажется ли тебѣ страннымъ,

Тея? Ты теперь сидишь вмѣстѣ съ Тесманомъ, какъ сидѣла вмѣстѣ съ Левборгомъ!“ Что же на это Тея ей отвѣчаетъ?—„Господи, *если бы я могла вдохновить также и твоего мужа!*“ Значитъ, Теѣ важно не то, *кому* она помогаетъ, и не то, *какой идеѣ* она служитъ, ей важно *кого-нибудь* „вдохновлять“, а *кого* и *на что*—безразлично. Этотъ Тесманъ — ничтожная, бездарная букашка, и не только въ научномъ мірѣ: его нравственная личность до такой степени низка, что онъ, подозрѣвая намѣреніе жены — уничтожить трудъ Левборга, смотритъ на это сквозь пальцы, потому что Левборгъ опасный конкурентъ ему. Его душа до такой степени ничтожна, что онъ хочетъ, чтобы это преступленіе совершилось, но такъ, *какъ будто онъ не зналъ о немъ;* и не только, чтобы другіе такъ думали, но чтобы и онъ самъ такъ думалъ: иначе, вѣдь, у него останутся укоры совѣсти, а это—непріятно. Поэтому, догадываясь о намѣреніи жены уничтожить рукопись, онъ не только не разспрашиваетъ ее объ этомъ, но старается даже отклонить ея откровенность... И вотъ, Теѣ все равно—вдохновлять ли этого нравственнаго пигмея или Левборга!—Сравните Тею, напр., съ Еленой изъ „Наканунѣ“. Была ли та способна съ легкимъ сердцемъ перенести смерть героя любимой идеи, т.-е. Инсарова, и тотчасъ же утѣшиться тѣмъ, что она можетъ съ такимъ же успѣхомъ „вдохновлять“ Берсенева или юнаго художника Шубина? Различіе между Теей (какъ типомъ) и нашей Еленой изъ „Наканунѣ“, какъ и аналогичной съ нею женой Бранта у Ибсена,— огромно; это два различныхъ типа. И Елена, и жена Бранта служатъ *идеѣ*, которую онѣ сознательно приняли, хотя служатъ ей при посредствѣ мужчины, воплощающаго эту идею. Тея служитъ, наоборотъ, своей увѣренности или мечтѣ, что достаточно хорошенько вдохновить падшаго, плохого или слабаго человѣка, и онъ совершитъ подвиги. Поэтому и Елена, и жена Бранта выбираютъ людей, воплощающихъ наиболѣе совершенно *дорогую имъ* идею, для Теи же содержаніе или идея ея героя безразличны. Фабула драмы наглядно показываетъ, кромѣ того, и полную практическую несостоятельность этого способа служить людямъ.

Въ нашемъ обществѣ идея, воплощаемая Теей, имѣетъ своихъ представительницъ (хотя и въ измельчавшей, выродившейся формѣ) въ типѣ такъ называемыхъ мазинистокъ, поддерживающихъ и спасающихъ „отъ паденія“ всевозможные таланты—сегодня одного, завтра другого. Онѣ, какъ и Тея, вполнѣ счастливы и удовлетворены этого рода дѣятельностью.

Къ тому же типу принадлежатъ скромныя хранительницы мѣщанскаго счастья, маленькія труженицы маленькаго дѣла,—а именно,

спокойствія и комфорта своихъ мужей, что само по себѣ, конечно, не заслуживаетъ ничего, кромѣ уваженія, но это уваженіе приходится взять назадъ, когда женщина такого рода совершенно не разбираетъ, кому она служитъ: порядочному человѣку или плуту, Левборгу или Тесману...

Однимъ словомъ, читателю теперь должно быть ясно, что уравновѣшенность Теи не есть плодъ глубины и силы личности, а, наоборотъ, крайней незначительности ея, мелкости и безсилія. Это будетъ особенно ясно читателю, когда мы разсмотримъ далѣе настоящій идеальный типъ женщины, преданной мужу и его идеѣ сознательно, критически и служащей ему (а въ немъ — его идеѣ) съ полнымъ, безграничнымъ самоотверженіемъ; такова, какъ я уже упоминалъ, Агнеса Брантъ. Теперь же займемся переходнымъ типомъ, типомъ отрицанія и критики, обострившихся до крайности, вслѣдствіе подавленія живой потребности, живого женскаго инстинкта.

IV.

Геда Габлеръ изъ пьесы того же названія, Гильда изъ „Строителя Сольнеса“ и Іордисъ изъ „Сѣверныхъ богатырей“, какъ типы отрицательнаго чувства и мысли, обострившихся неудовлетворенною потребностью.

Геда Габлеръ казалась многимъ критикамъ совершенно непонятной и, во всякомъ случаѣ, отвратительной своею безпричинной, злобной жестокостью. Гильда же поражаетъ почти всѣхъ крайней распущенностью своихъ взглядовъ на свободу чувства. Многіе готовы были видѣть въ обѣихъ героиняхъ просто психопатокъ, а нѣкоторое сходство ихъ съ примитивной героиней древнихъ легендъ, Іордисъ, заставляетъ предполагать на первый взглядъ, что ихъ психопатія возникла на почвѣ вырожденія или атавизма (возвращенія къ типу предковъ). Такъ ли это? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, посмотримъ сперва—что такое Іордисъ.

Два славныхъ викинга, Сигурдъ и Гуннаръ, явились ко двору стараго короля - воина, чтобы взять себѣ въ жены двухъ дѣвушекъ, живущихъ у него: одна изъ нихъ родная дочь короля, другая—пріемная. Король взялъ ее къ себѣ еще ребенкомъ, когда побѣдилъ и убилъ ея отца, тоже знаменитаго вождя. Пріемную дочь зовутъ Іордисъ, а родную—Дагни. Первая проникнута духомъ древнихъ героическихъ легендъ, хочетъ принадлежать только герою и даже первому изъ героевъ, чтобы совершить вмѣстѣ съ нимъ вели-

кіе подвиги, о которыхъ она мечтаетъ съ ранняго дѣтства. Про Іордисъ и ея братьевъ ходила даже молва, что отецъ накормилъ ихъ мясомъ волчицы, послѣ чего къ нимъ перешелъ неукротимый характеръ этого животнаго.

Сигурдъ и Гуннаръ оба влюбляются въ Іордисъ, но она хочетъ принадлежать только тому изъ нихъ, кто окажется первымъ по геройству, и съ этой цѣлью ставитъ условіемъ, что выйдетъ замужъ за того, кто убьетъ могучаго бѣлаго медвѣдя, охраняющаго ея спальню. Этотъ подвигъ совершаетъ Сигурдъ, но, такъ какъ ему кажется, что Іордисъ любитъ не его, а Гуннара и, кромѣ того, Гуннаръ открываетъ ему свою любовь къ Іордисъ и свои страданія,—то Сигурдъ рѣшается уступить другу и свой подвигъ, и предметъ своей любви. Явившись къ Іордисъ послѣ убіенія медвѣдя, чтобы унести ее на корабль, Сигурдъ называетъ себя Гуннаромъ, и дѣвушка въ темнотѣ ночи не узнаетъ его. И вотъ она стала женой Гуннара, но инстинктъ подсказываетъ ей безсознательное отвращеніе не только къ мужу, но и къ сыну, родившемуся отъ него: и въ томъ, и въ другомъ она не чувствуетъ признаковъ героическаго типа, который нуженъ ей для осуществленія ея непреодолимаго стремленія къ борьбѣ. Она втайнѣ любитъ Сигурда, думаетъ о немъ и рвется душой къ „подвигамъ", слыша въ воѣ вѣтра голоса умершихъ предковъ, и видя въ ночныхъ тучахъ ихъ образы на коняхъ: они зовутъ ее къ битвамъ и побѣдамъ. Эта томительная жизнь около мужа, почувствовавшаго, вмѣстѣ съ женитьбой, склонность къ осѣдлой жизни и даже торговлѣ, переходитъ въ настоящую душевную бурю, когда она узнаетъ, что медвѣдя убилъ не ея мужъ, а Сигурдъ, и что — онъ, а не ея мужъ—*настоящій* герой. Она не знаетъ мотивовъ, заставившихъ Сигурда уступить ее другу, и видитъ въ этомъ презрѣніе его къ ней; она подготовляетъ страшную месть и ему, и его женѣ,—но Сигурду удается однажды, оставшись съ нею наединѣ, объяснить все, сказать ей, что онъ любилъ и любитъ только ее. Сперва въ ней является мысль—принадлежать ему, но онъ хочетъ остаться вѣрнымъ женѣ, и она тотчасъ бросаетъ эту мысль, замѣняя ее другой: она вездѣ будетъ слѣдовать за нимъ, чтобы возбуждать его храбрость, дѣлить съ нимъ всѣ опасности битвъ и совершать геройскіе подвиги рядомъ съ нимъ. Когда, по нѣкоторымъ обстоятельствамъ, не осуществляется и этотъ планъ, она убиваетъ и себя, и Сигурда.

Исторія Геды Габлеръ почти тождественна. Разница только въ деталяхъ, зависящихъ отъ иныхъ условій мѣста и времени, создающихъ болѣе утонченныя и мягкія формы, меньшую прямоту и необузданность дѣйствій.

Жена профессора Тесмана, Геда Габлеръ, когда была еще молоденькой дѣвушкой, увлекалась молодымъ ученымъ, Левборгомъ, но тотъ въ то время кутилъ и даже чѣмъ-то оскорбилъ ее (Ибсенъ умалчиваетъ — какъ оскорбилъ); обстоятельства слагаются такъ, что для нея нѣтъ иного выхода, кромѣ брака съ ничтожнымъ и мизернымъ, но кроткимъ и незлобивымъ буквоѣдомъ Тесманомъ. Геда не любитъ, презираетъ, почти ненавидитъ своего мужа. Но она горда и не показываетъ этого явно: только ядовитая и тонкая иронія, изрѣдка прорывающаяся у нея, — и которой не понимаетъ простоватый Тесманъ, — говоритъ вамъ, какъ ей противно его ничтожество, его семейно-практическія наклонности и сентиментализмъ, его радость и гордость, когда онъ подозрѣваетъ, что можетъ скоро стать отцомъ, и т. п.

И вотъ, Геда вновь встрѣчается съ Левборгомъ; подъ вліяніемъ Теи онъ совершенно измѣнился, сталъ знаменитъ своей работой и готовитъ новую, которая поставитъ его выше Тесмана въ общественномъ положеніи; въ Гедѣ, какъ и въ Іордисъ, поднимается страшная буря. Тутъ и ревность (когда, напр., сжигая рукопись, она твердитъ: „гори, его дитя, — его и ея!“), и усилившееся отвращеніе къ мужу, благодаря яркому контрасту между нимъ и талантливымъ Левборгомъ. И вотъ она, какъ Іордисъ, доводитъ Левборга до самоубійства, а затѣмъ убиваетъ себя.

Скажутъ: здѣсь есть только нѣкоторое внѣшнее сходство, но нѣтъ главнаго, что характеризуетъ типъ Іордисъ, а именно — нѣтъ стремленія принадлежать только герою, только *первому* изъ борцовъ. У Геды Габлеръ, вышедшей замужъ за смиреннаго Тесмана, хотя бы и въ силу необходимости, пробуждается просто чувство зависти къ скромной Теѣ, чувство досады, что не она спасла Левборга; наконецъ, въ ней кипитъ досада на торжество Левборга надъ ея мужемъ. Но такъ ли это? Наоборотъ, Геда всю жизнь мечтаетъ о „подвигѣ, осѣненномъ красотой“ (это ея любимое выраженіе). Къ этой основной тенденціи у нея примѣшивается много чисто-женскаго, принадлежащаго обыкновенному, среднему уровню женской души: тутъ и ревность, и тщеславіе, и женская мстительность. Но Ибсенъ былъ бы плохимъ художникомъ, если бы далъ намъ чистый образецъ высшей формы этого типа въ такой личности и на такой стадіи, когда этотъ типъ только что развивается. Необходимо отдѣлить путемъ анализа яркія крупинки руды (т.-е. типа) отъ смѣшивающихся съ ними шлаковъ. Такъ, напр., самоубійство Левборга нужно ей не ради мщенія: въ самоубійствѣ его она видитъ *подвигъ*, *героизмъ*. Она говоритъ, послѣ смерти Левборга, ассесору Браку: *„Какое облегченіе—знать, что*

въ мірѣ все же могутъ совершаться добровольно-мужественные поступки, поступки, осѣненные невольной красотой. У Эйлерта Левборга хватило мужества — прожить жизнь по своему. И затѣмъ — этотъ *великій подвигъ!* Подвигъ, озаренный *красотой!* У него хватило *силы* и *воли*— бѣжать съ жизненнаго пира такъ рано".

Іордисъ, убивая Сигурда, дѣлаетъ это также для того, чтобы его духъ соединился съ духами умершихъ героевъ, которыхъ въ тотъ мигъ она увидала въ быстро мчавшихся ночныхъ тучахъ.

Наконецъ, самоубійство Геды Габлеръ и Іордисъ вызывается совершенно сходными мотивами. Когда умираютъ ихъ „герои", т.-е. люди, которыхъ изъ всей окружающей толпы онѣ считали единственно способными къ осуществленію подвига (т.-е. мечты всей ихъ жизни), имъ больше не для чего жить. Іордисъ мгновенно рѣшается на убійство, когда слышитъ приближеніе своего мужа съ народомъ и чувствуетъ, что для нея вновь наступитъ жизнь въ нелюбимой семьѣ, не отвѣчающая основному ея стремленію. То же чувствуетъ и Геда Габлеръ, и ея положеніе особенно ярко освѣщается для нея ассесоромъ Бракомъ — блестящимъ и неглупымъ свѣтскимъ человѣкомъ, который давно ухаживаетъ за ней. Онъ хочетъ соблазнить ее побѣгомъ въ Парижъ вмѣстѣ съ нимъ, но видя, что все это не удается, что Геда Габлеръ терпитъ его ухаживанія только потому, что онъ все же интереснѣе другихъ, прибѣгаетъ къ рѣшительному средству: ему удалось узнать, что пистолетъ (для совершенія самоубійства) дала Левборгу Геда; этотъ пистолетъ найденъ при самоубійцѣ, и одинъ только ассесоръ Бракъ знаетъ, кому онъ принадлежитъ. Ловеласъ сообщаетъ ей объ этомъ съ оговорками, конечно, что никогда не выдастъ ея тайны.—„Такъ теперь я въ вашихъ рукахъ,— отвѣчаетъ Геда,—значитъ, *несвободна?*... О, этой мысли я не вынесу!" И тотчасъ послѣ этихъ словъ уходитъ въ свою комнату и застрѣливается.

Не дѣлая пока никакихъ выводовъ, перейдемъ къ Гильдѣ изъ „Строителя Сольнеса".

Сходство ея съ Гедой Габлеръ и Іордисъ прежде всего въ томъ, что она ищетъ себѣ въ спутники жизни непремѣнно „героя", котораго она опредѣляетъ, какъ человѣка, „способнаго совершить *что-то высокое, захватывающее*". Это ея любимое выраженіе, какъ у Геды Габлеръ—„подвигъ, осѣненный красотой".

Замѣтимъ мимоходомъ, для будущихъ выводовъ, что внутреннее содержаніе героя, а также общественное или моральное значеніе его подвига для нея, какъ и для Геды Габлеръ, совершенно не опредѣлились: „захватывающее", „высокое", т.-е. что-нибудь необыкновен-

ное, недюжинное, поднимающее тонъ будничной жизни—и только. И вотъ Гильда отказываетъ всѣмъ претендентамъ на ея руку и сердце, какъ людямъ обыкновеннымъ. Она ждетъ героя, а когда онъ не приходитъ, сама отыскиваетъ его, вспомнивъ, что въ дѣтствѣ видѣла „героя": то былъ архитекторъ Сольнесъ; на ея глазахъ онъ совершилъ подвигъ, и это на всю жизнь запало въ ея душу; подвигъ состоялъ въ томъ, что онъ забрался на верхушку шпица выстроенной имъ церкви, и тамъ, по старинному обычаю, повѣсилъ флагъ. Затѣмъ, она видѣла его въ домѣ своего отца: онъ похвалилъ ее, поцѣловалъ и обѣщалъ пріѣхать за нею, когда она выростетъ, чтобы отвезти ее въ страну Апельсинію и сдѣлать тамъ принцессой. Этотъ граціозный эпизодъ можно разсматривать, какъ аллегорію: но онъ отъ этого не теряетъ глубокаго и вѣрнаго психологическаго смысла. Какъ много людей, которые въ молодости, пріѣхавъ въ родной городокъ или деревню изъ столицы, заставляли своими горячими рѣчами о „подвигахъ", своими обѣщаніями, что настанутъ лучшія времена,—трепетать молодыя дѣвичьи сердца, зажигая ихъ иногда на всю жизнь свѣтлымъ стремленіемъ къ „высокому"...Это „высокое" могло въ глуши остаться смутнымъ, неопредѣлившимся, но оно жило и разгоралось въ душѣ, какъ живое, активное стремленіе, какъ почва, подготовленная для воспринятія болѣе опредѣленнаго идеала. И сколькимъ людямъ приходилось черезъ много лѣтъ пережить то, что пережилъ Сольнесъ, когда встрѣтился съ Гильдой, взрослой дѣвушкой, которая напомнила ему его слова, его призывы и обѣщанія... А между тѣмъ, онъ въ это время успѣлъ отяжелѣть, сдѣлаться практическимъ дѣльцомъ, жениться на пустой и ничтожной Алинѣ, прижить съ нею дѣтей и даже похоронить ихъ.

И когда жизнь, наполненная дѣловой сутолокой, жизнь съ глупой, ноющей женой опостылѣла ему и показала, какъ мало было счастья въ его „практичности", смѣнившей юный идеализмъ, въ это-то время и является Гильда съ напоминаніями о прошломъ, съ призывами, навѣянными когда-то имъ же самимъ. Безъ ея появленія онъ умеръ бы въ привычной дѣловой сутолокѣ; а если бы въ сознаніи и мелькало изрѣдка отвращеніе къ настоящему, то оно заглушалось бы ежеминутно необходимостью бороться за свое „положеніе", опасаясь конкурентовъ, напрягая силы для привычнаго „modus vivendi". Но на почву его недовольства настоящимъ—падаютъ горячія слова молодого энтузіазма, и прошлое всплываетъ съ небывалою силой.

Гильда сперва не замѣчаетъ въ немъ перемѣны. Онъ для нея прежній Сольнесъ, герой, отъ котораго она ждетъ исполненія старыхъ обѣщаній. Въ томъ, что онъ женатъ, она не видитъ препят-

ствій въ началѣ, какъ Іордисъ не видитъ сперва препятствій къ сближенію съ Сигурдомъ въ томъ, что онъ женатъ: всѣ эти формы нужны для людей обыкновенныхъ, а для героевъ законъ не писанъ.

Но у Гильды, какъ и у Іордисъ, этотъ планъ тотчасъ же угасаетъ, когда она видитъ вблизи страдающую и слабую жену своего героя: въ ней просыпается чувство обыкновеннаго человѣческаго состраданія, и она говоритъ Сольнесу, что „теперь уже не можетъ отнять его у жены для себя; если бы не видѣла ее, могла бы".

Но какъ же разстаться съ тѣмъ, кто былъ цѣлью и смысломъ всей ея жизни? Какъ же она будетъ жить дальше безъ героя, безъ идеала, безъ надежды выйти изъ будничной, ненавистной дѣйствительности? А выйти изъ нея самой, безъ мужчины-героя, однѣми собственными силами, она даже и не мечтаетъ. Это—идеалъ грядущей стадіи. И вотъ, она прибѣгаетъ къ казуистическимъ изворотамъ логики, чтобы сохранить Сольнеса: „вѣдь, если бы,—думаетъ она,—Сольнесъ взялъ ее самъ, хотя бы силой, она не чувствовала бы себя виноватой передъ этою несчастной Алиной. А настоящіе герои, викинги старыхъ легендъ, всегда брали силой то, чего хотѣли". На эту тему она начинаетъ проповѣдывать отяжелѣвшему Сольнесу; говоритъ ему о лѣсныхъ птицахъ, которыя не боятся свободно „отдаться своему стремленію", придумываетъ для своей совѣсти презрительное названіе „слабой совѣсти", упрекаетъ Сольнеса за то, что и у него „слабая совѣсть", и напоминаетъ ему древнихъ викинговъ.

На его вопросъ: „могла ли бы она добровольно остаться у такого викинга, взявшаго ее силой", она отвѣчаетъ, что, быть можетъ, могла бы, потому что въ ихъ смѣлости, въ ихъ „крѣпкой совѣсти" есть „что-то захватывающее".

Когда Сольнесъ, какъ и Сигурдъ (въ „Сѣверныхъ богатыряхъ"), не рѣшается исполнить ея мечты, Гильда, какъ и Іордисъ, останавливается на мысли вести своего героя на такой подвигъ, который бы вновь сдѣлалъ его выше обыкновенныхъ смертныхъ, хотя бы это и стоило ему жизни. Въ этомъ подвигѣ косвенно участвовала бы и она, такъ какъ она вызвала бы этотъ подвигъ. Кажущаяся нелогичность, состоящая въ томъ, что подвигъ отниметъ Сольнеса у жены, примиряется тѣмъ, что онъ будетъ взятъ не ею, Гильдой, лично для себя, а взятъ для *подвига,* передъ которымъ падаютъ всѣ личныя страданія, которому въ жертву должна быть принесена всякая *личная* жизнь.

Сольнесъ совершаетъ подвигъ—взбирается на шпицъ, какъ дѣлалъ это въ юности, но не выдерживаетъ, падаетъ сверху и умираетъ. Но Гильда въ восторгѣ. Она умираетъ сама съ крикомъ: „Вотъ мой герой!"

Аналогія съ Іордисъ здѣсь достигается даже въ деталяхъ, а тотъ фактъ, что Гильда не разъ вспоминаетъ викинговъ, еще подчеркиваетъ эту аналогію.

Теперь весьма интересно замѣтить различія между Гедой Габлеръ и Гильдой съ точки зрѣнія основной задачи нашей статьи, т.-е. опредѣлить степень силы пробужденной личности у той и у другой, а также и характеръ этого пробужденія, и его причины.

V.

Два способа пробужденія личности и ихъ различные психологическіе результаты.

Мы уже могли замѣтить выше, что личность пробуждается двумя способами: или болью и страданіемъ отъ неудовлетворенной потребности, инстинкта, чувства,—это способъ *непосредственный,* какъ у г-жи Альвингъ и у нашей Катерины въ „Грозѣ". Другой способъ — *идейный*, происходящій путемъ внѣшняго идейнаго вліянія, примѣра другихъ пробужденныхъ, или примѣра и слова мужчинъ, наконецъ, просто воздѣйствія среды, ушедшей впередъ, сравнительно съ даннымъ состояніемъ личности, напримѣръ, когда дѣвушка или юноша попадаютъ въ столицу, въ университетскіе или вообще интеллигентные кружки и, быстро переживая переходныя стадіи развитія индивидуальности, достигаютъ уровня, уже достигнутаго членами окружающей среды.

Гильда представляетъ пробужденіе личности, пришедшее извнѣ, идейнымъ путемъ, благодаря Сольнесу, сказавшему ей въ дѣтствѣ нѣсколько громкихъ, хотя и шутливыхъ фразъ, а, главное, поразившему ее своимъ подвигомъ.

Конечно, для того, чтобы эти нѣсколько фразъ принесли тотъ яркій результатъ, какой мы видимъ у Гильды, въ ея душѣ должна была имѣться нѣкоторая почва для нихъ, т.-е. сильная впечатлительность, сильная воспріимчивость; вѣдь, не одна же она видѣла подвигъ Сольнеса и слушала его фразы, но на нее они произвели болѣе сильное дѣйствіе, чѣмъ на другихъ. Однимъ словомъ, и для идейнаго, внѣшняго воздѣйствія необходимы извѣстные задатки въ самой индивидуальности.

У Геды Габлеръ пробужденіе явилось, повидимому, вполнѣ непосредственно, безъ всякихъ внѣшнихъ, т.-е. идейныхъ воздѣйствій, просто вслѣдствіе мучительной боли отъ попраннаго женскаго ин-

стинкта, т.-е. замужества съ нелюбимымъ, презираемымъ человѣкомъ, несоотвѣтствующимъ ея внутреннимъ потребностямъ и смутнымъ стремленіямъ къ идеалу, къ „подвигу, осѣненному красотой". Конечно, и для этой формы пробужденія необходима почва въ индивидуальности, въ сильномъ и стойкомъ состояніи внутренней потребности. И въ драмѣ мы, дѣйствительно, находимъ черты внутренней силы и благородства натуры у Геды Габлеръ. Напримѣръ, ея самоубійство, когда она узнаетъ, что находится въ рукахъ ассесора Брака, и т. п.

Психологическіе результаты этихъ двухъ способовъ пробужденія самосознательной личности ярко бросаются въ глаза и *a priori*, и въ пьесахъ Ибсена.

Тамъ, гдѣ пробужденіе явилось результатомъ непосредственной боли отъ попраннаго инстинкта или потребности, оно переходитъ въ критику и отрицаніе болѣе *страстныя*, болѣе смѣшанныя съ мучительнымъ чувствомъ страданія, а потому болѣе озлобленныя, раздраженныя, ненавистническія. Такъ, мы видимъ, какую мучительную ненависть чувствовала г-жа Альвингъ къ своему мужу до объясненія съ сыномъ. Этимъ же избыткомъ раздраженія и боли объясняются многія жестокости Геды Габлеръ.

У Гильды, наоборотъ, не было причинъ возненавидѣть жизнь; она еще не переносила ея ударовъ. Ея отрицанія исходятъ не изъ этихъ ударовъ, а изъ сравненія дѣйствительности съ тѣми чаяніями, стремленіями и настроеніями, которыми въ юности ее вдохновилъ Сольнесъ. У Геды Габлеръ отрицаніе идетъ отъ чувства *непосредственнаго, живого страданія*, у Гильды оно идетъ изъ *чувствъ болѣе идейныхъ, чѣмъ реальныхъ*. Это различіе имѣетъ большое значеніе въ развитіи дальнѣйшихъ слѣдствій. Какъ мы видѣли, у Гильды состраданіе или жалость къ людямъ не парализованы, какъ у Геды: такъ, увидѣвъ страдающую жену Сольнеса, она отказывается отъ своего первоначальнаго намѣренія — стать его любовницей. Правда, въ ней происходитъ борьба, она строитъ софизмы о „свободѣ чувства" у птицъ, но верхъ одерживаетъ состраданіе; она переходитъ къ другому плану. Правда, и этотъ другой планъ, грозя смертью Сольнесу, отнимаетъ его у жены. Но въ этомъ случаѣ, Гильда думаетъ, что дѣйствуетъ не для себя лично, а для того „высокаго", что для нея замѣняетъ идеалъ и передъ чѣмъ смиряются всѣ личные вопросы, ея ли собственные или жены Сольнеса.

Изъ тѣхъ же различій въ положеніи двухъ героинь возникаютъ и дальнѣйшія различія: Геда, поглощенная своими непосредственно-мучительными ощущеніями отъ жизни, невольно живетъ больше

жизнью *чувства* (хотя почти исключительно—*отрицательнаго);* она не можетъ мыслить *покойно,* какъ мыслитъ человѣкъ, для котораго страданія являются больше *идеями,* чѣмъ *чувствами,* какъ у Гильды. Она, наоборотъ, вся охвачена ихъ новыми и новыми ударами, она ищетъ хотя какихъ-нибудь паліативовъ отъ нихъ, какъ мы ихъ ищемъ при зубной боли, т.-е. наряжается, выѣзжаетъ въ свѣтъ, кокетничаетъ съ ассесоромъ Бракомъ. Гильда, наоборотъ, можетъ не дѣлать уступокъ жизни и въ то же время логически развивать свои отрицательныя чувства въ идеи и связно формулировать ихъ. Поэтому-то Геда Габлеръ никогда *не разсуждаетъ* о своихъ отрицаніяхъ, т.-е. не формулируетъ ихъ въ *идейной* послѣдовательности и сознательности. Зато она *чувствуетъ* и *поступаетъ* отрицательно. Наоборотъ, Гильда пугаетъ слушателя своими крайне-отрицательными *идеями* и формулами въ области отношеній между мужчиной и женщиной, однако, когда доходитъ до дѣла, она гораздо сдержаннѣе и сердечнѣе молчаливо-ненавидящей Геды, въ которой по внѣшности все такъ свѣтски-прилично и изящно.

Многіе больше боятся ясно-выраженныхъ отрицательныхъ идей, чѣмъ смутныхъ отрицательныхъ чувствованій и безсознательныхъ стремленій. Между тѣмъ, пока отрицательныя чувствованія не перешли въ сознательныя идеи, личность не можетъ даже критиковать ихъ въ себѣ, и тѣмъ болѣе не можетъ бороться съ ними. Поэтому, напр., Геда Габлеръ почти безразлична къ добру и злу; она не критикуетъ себя, не борется съ своими чувствами, потому что бороться можно внутри себя только съ тѣмъ, что знаешь въ себѣ, что ясно опредѣлилось, что можно развивать логически, доводить до абсурда или сопоставлять для сравненія съ чѣмъ-нибудь другимъ. Это мы и видимъ у Гильды, болѣе сдержанной практически. Но зато теоретически она доводитъ свои отрицательныя идеи до крайности, до абсурда. И это такъ же необходимо психологически: она не можетъ мыслить иначе, такъ какъ ея индивидуализмъ еще не дошелъ до положительнаго содержанія, а поэтому *только отрицателенъ,* т.-е. одностороненъ, а всякая односторонность, развиваемая логически, должна приводить къ абсурду. Несмотря на это и даже именно поэтому, она можетъ сопоставлять свои выводы съ чувствами симпатіи (напр., къ Алинѣ), и этого достаточно, чтобы ослабить *на практикѣ* ихъ односторонность, безоглядную рѣшимость на любую жестокость. Здѣсь, какъ и въ общественной жизни, возможность обсудить, обдумать наболѣвшую потребность, дѣлаетъ то, что рѣшеніе теряетъ свой разрушительный характеръ, обусловленный наболѣвшимъ чувствомъ, не находящимъ выхода; оно получаетъ характеръ сознатель-

ный, принявшій въ соображеніе по возможности наибольшую сумму условій и обстоятельствъ дѣла *).

Оговорю одно возможное недоразумѣніе. Я уже сказалъ, что многіе (въ томъ числѣ почтенный профессоръ Веселовскій, въ своемъ предисловіи къ изданію Юровскаго) смотрятъ на Геду Габлеръ, какъ на пустую, взбалмошную, злую и завистливую психопатку. Они могутъ упрекнуть меня за то, что я вижу въ ней и Гильдѣ нѣкоторую стадію развитія личности и ставлю этихъ героинь выше кроткой, самоотверженной и уравновѣшенной Теи.

Я долженъ здѣсь напомнить одну, очень извѣстную истину, забываемую суровыми судьями Геды Габлеръ. Нужно различать двѣ вещи: сравнительную высоту двухъ типовъ и сравнительное совершество въ предѣлахъ одного и того же типа. Геда Габлеръ и Гильда представляютъ лишь несовершенные зародыши типа болѣе высокаго, чѣмъ Тея, въ смыслѣ развитія индивидуальности: онѣ не довольствуются мѣщанскимъ счастьемъ, онѣ рвутся,—хотя и безтолково, и только отрицательно,—къ болѣе высокой, идеальной жизни. Въ нихъ ужъ заключены дрожжи или сѣмена будущаго развитія, заключены импульсы, толкающіе впередъ и ихъ самихъ, и лицъ, приходящихъ съ ними въ соприкосновеніе. Ихъ уродливости, ихъ кажущаяся психопатія и даже атавизмъ вполнѣ объяснимы психологически. Настоящій атавизмъ (возвращеніе къ типу предковъ, нравственное помѣшательство, вырожденіе) зависятъ отъ анатомическихъ измѣненій въ мозгу, то-есть, у больного мало-по-малу регрессивно атрофируются высшіе мозговые центры моральной и соціальной жизни; отъ этого субъектъ постепенно деградируетъ въ порядкѣ обратномъ порядку предыдущей эволюціи (Гёглинсъ Джексонъ). Но какъ существуетъ болѣзнь „крупъ“ и болѣзнь „псевдо-крупъ“, такъ есть душевное состояніе, которое можно назвать псевдо-атавизмомъ. Оно по внѣшнимъ проявленіямъ сходно съ атавизмомъ: иногда человѣкъ (и даже цѣлая нація) вдругъ теряютъ свою доброту, гуманность, справедливость, сдержанность и становятся жестокими до кровожадности и несправедливыми до жестокости.

Это бываетъ всегда въ эпохи задержанной извнѣ потребности или борьбы за какую-нибудь сильно наболѣвшую потребность, которая,

---

*) Одинъ изъ выдающихся психологовъ и этиковъ нашего времени, профессоръ Гефдингъ видитъ въ этомъ промежуткѣ (обсужденіи) между импульсомъ и дѣйствіемъ одно изъ первыхъ условій выработки личности изъ импульсивной въ сознательно-стойкую, а въ политикѣ—переходъ отъ импульсивной политики народа къ сознательному образу дѣйствій его путемъ участія въ обсужденіи общихъ дѣлъ.

не находя выхода, обостряется въ неудержимую страсть, становится чѣмъ-то въ родѣ idée fixe, сосредоточивая на себѣ всѣ помыслы, всѣ желанія.

И какъ сильная зубная боль заставляетъ забыть все остальное— и голодъ, и привычную любовь, и установившійся образъ жизни, заставляетъ человѣка превратиться въ животное, жаждущее только избавиться отъ боли, — такъ и потребность, черезчуръ наболѣвшая, обращаетъ мозгъ въ tabula rasa, съ которой, повидимому, все стирается, кромѣ страданій отъ этой неудовлетворенной потребности и кромѣ желанія избавиться отъ нихъ. Является нѣчто въ родѣ idée fixe, направляющее всю работу мысли, всѣ остальныя идеи въ одну точку, въ одну цѣль. Все, что стоитъ въ связи или ассоціаціи съ этой болью,—будетъ ли она политическая или физіологическая,—начинаетъ становиться предметомъ ненависти и отрицанія, т.-е. не только то, что дѣйствительно вредно и заслуживаетъ отрицанія, но и все безразличное, даже иногда полезное...

Какъ очевидно каждому, такое огульное отрицаніе, такой парадоксальный нигилизмъ (мы его видимъ, напр., въ нашу эпоху у Нитцше, ранѣе у Байрона, видѣли и въ другихъ формахъ) отличается отъ настоящаго атавизма тѣмъ, что онъ не зависитъ отъ измѣненій анатомической структуры мозга, а есть только результатъ поглощенія сознанія одной болью, одной идеей. Мозгъ остается цѣлымъ, со всѣми его высшими центрами, и достаточно только, чтобы потребность удовлетворилась (чтобы, напр., зубъ былъ вырванъ), какъ человѣкъ снова становится и добрымъ, и гуманнымъ, и справедливымъ, какъ прежде.

Какъ читатели могли убѣдиться изъ вышеизложеннаго содержанія „Геды Габлеръ“ и „Строителя Сольнеса“, наши героини находятся именно въ этомъ второмъ состояніи. Крайности ихъ отрицательныхъ поступковъ и мыслей, это—крайности наболѣвшей душевной неудовлетворенности, боли, причиненной несоотвѣтствіемъ ихъ стремленій (стремленій всей жизни) съ окружающей средой.

Но есть и другое основаніе видѣть въ нихъ дальнѣйшую стадію развитія, а не атавизмъ.

Въ чемъ проявляется ихъ кажущееся паденіе? Въ томъ, что онѣ готовы нарушить всѣ установившіяся нормы отношеній, лишь бы осуществить свои стремленія. Въ частности, одно изъ этихъ стремленій состоитъ въ томъ, чтобы принадлежать *только* герою, а не обыкновенному, среднему человѣку толпы. Но вотъ что говоритъ объ этомъ геніальнѣйшій біологъ нашей эпохи, Дарвинъ, въ одной изъ своихъ бесѣдъ съ извѣстнымъ біологомъ Альфредомъ Уоллесомъ. Онъ

высказалъ мысль, что европейская раса вырождается и выродится совсѣмъ, если инстинктъ подбора у женщинъ будетъ и дальше, какъ теперь, парализироваться при заключеніи браковъ посторонними соображеніями, какъ напримѣръ, матеріальными средствами или соціальнымъ положеніемъ будущаго мужа и т. д. Такъ какъ богатство и положеніе въ обществѣ часто могутъ совмѣщаться съ болѣзненностью, слабостью, пороками, умственнымъ безсиліемъ и т. п., то въ результатѣ такихъ браковъ явятся все болѣе и болѣе понижающіяся поколѣнія *).

Въ Іордисъ мы видимъ исканіе того именно типа, который всего лучше соотвѣтствуетъ условіямъ общества того времени, т.-е. хроническимъ войнамъ, охотничьей жизни и т. п. Но въ нашу эпоху естественный инстинктъ полового подбора отодвинутъ временно переходной эпохой цивилизаціи на задній планъ: борьба за жизнь заставляетъ цивилизованную женщину часто игнорировать свое естественное влеченіе къ высшему типу. Но когда гибельное отношеніе становится общимъ правиломъ, то возникновеніе женскаго типа, напоминающаго Іордисъ, является несомнѣнно шагомъ впередъ, а не назадъ. И Геда, и Гильда ищутъ, какъ мы видѣли, людей сильныхъ волей, индивидуальностью, энергіей, хотя онѣ еще не опредѣлили содержанія этой индивидуальности. Это, повторяю, уже само по себѣ есть состояніе, стоящее выше средняго уровня женщинъ толпы, особенно, если мы примемъ во вниманіе, съ какой энергіей и самоотверженіемъ борются наши героини за эту сторону своихъ стремленій.

Я вовсе не хочу сказать, что женскій инстинктъ выбора никогда не обманываетъ. Исторія указываетъ не мало образцовъ такихъ ошибокъ, но онѣ объясняются тѣмъ, что инстинктъ слагался въ условіяхъ несложной примитивной жизни, а культурная жизнь часто сбиваетъ его своей сложностью. Такъ, инстинктъ, влекущій животное къ корму, не можетъ подсказать ему, что за кормомъ спрятана человѣкомъ западня. Для этого мало инстинкта, необходимо еще и знаніе.

И вотъ еще одна изъ причинъ, почему для женщины необходимо знаніе, наука, чтобы даже и въ инстинктѣ выбора, опредѣляющемъ будущность человѣческаго типа, женщина могла правильно оріентироваться, влекомая правильнымъ инстинктомъ.

Теперь мы можемъ перейти къ дальнѣйшей стадіи развитія женской личности.

Я выскажу мысль, которая на первый взглядъ можетъ показаться

*) Alfred Wallace: „Selection and degeneration".

натяжкой: высшая форма того типа, зародыши котораго мы видѣли, въ уродливомъ видѣ, въ Гедѣ Габлеръ и Гильдѣ, дается намъ Агнесой Брантъ, т.-е. идеально-совершеннымъ образомъ безпредѣльно преданной жены, преданной сознательно, т.-е. ради идеи, обожаемой ею въ лицѣ любимаго человѣка.

Она была счастливѣе Геды Габлеръ и Гильды: судьба свела ее съ тѣмъ героемъ, который былъ нуженъ ея индивидуальности, и результаты получились другіе, потому что потребность не была подавлена, и вся энергія души обратилась въ любовь, въ служеніе идеѣ мужа, въ борьбу за нее вмѣстѣ съ нимъ до пожертвованія всѣмъ, даже жизнью. Такова и наша Елена изъ „Наканунѣ".

VI.

Агнеса Брантъ, какъ идеальный типъ женщины, отдающей жизнь на служеніе идеѣ любимаго человѣка.

Прежде, чѣмъ приступлю къ анализу типа Агнесы (какъ я уже сказалъ, аналогичнаго нашей Еленѣ изъ „Наканунѣ"), я долженъ подробнѣе разсмотрѣть самую драму. Безъ этого моя аналогія двухъ этихъ героинь не будетъ очевидна.

Дѣло въ томъ, что по какому-то странному недоразумѣнію или благодаря поверхностному чтенію многіе критики усмотрѣли въ Брантѣ мистическую идею. Внимательное чтеніе убѣдитъ каждаго, что идея Бранта не только не мистична, но, наоборотъ, черезчуръ *реалистична:* Ибсенъ отрицаетъ въ лицѣ Бранта безусловный идеализмъ (идеализмъ не въ философскомъ смыслѣ, а въ смыслѣ практическаго служенія *идеалу).*

Это я и постараюсь доказать, что́, впрочемъ, вовсе нетрудно.

Герой драмы, Брантъ—деревенскій священникъ. Но это не простой священникъ, а фанатическій борецъ за *безусловное* исполненіе требованій долга, морали или закона. Малѣйшее отступленіе отъ „долга", предписываемаго моралью, — какъ онъ понимаетъ ее,—онъ считаетъ такимъ же грѣхомъ, какъ и совершенное неисполненіе закона. Напр., его мать скопила крупное состояніе (для него же) не вполнѣ честными способами; когда она умираетъ и зоветъ сына, какъ священника, напутствовать ее въ иную жизнь, онъ отвѣчаетъ черезъ посланнаго, что не придетъ, пока она не отдастъ бѣднымъ *всего* своего имущества. Посланный возвращается и объявляетъ, что мать согласна отдать половину; Брантъ отказывается идти: „законъ долженъ быть исполненъ всецѣло; половина грѣха — все равно, что цѣлый

грѣхъ". Мать присылаетъ снова, обѣщая отдать три четверти своего состоянія, Брантъ отвѣчаетъ то же: „ничтожное нарушеніе закона или отступленіе отъ идеала такъ же преступно, какъ и нарушеніе всего закона!" Такъ мать и умерла, не дождавшись сына.

Тутъ важно замѣтить существенную черту, которую я объясню далѣе: Брантъ сдѣланъ авторомъ не только *не* безсердечнымъ человѣкомъ, но, наоборотъ,—страстно любящимъ и свою мать, и жену, и ребенка, но онъ борется и борется мучительно съ своей любовью, вообще съ милосердіемъ и прощеніемъ, къ которому склонно его сердце, — борется во имя принципа. А именно, онъ убѣжденъ, что идеалъ потому и не осуществился до сихъ поръ на землѣ, что люди устроили себѣ лазейку въ видѣ прощенія и милосердія *(caritas)*. Онъ проклинаетъ эту поправку, погубившую великое дѣло полнаго перерожденія жизни по идеалу, т.-е. полнаго воплощенія идеала въ жизни.

Къ себѣ самому онъ такъ же безжалостенъ, какъ и къ другимъ. Его ребенокъ находится при смерти, благодаря нездоровой мѣстности, гдѣ они поселились; врачъ говоритъ, что единственное средство спасти ребенка,—увезти его въ другой климатъ. Брантъ безумно любитъ ребенка, мысль о его смерти доводитъ его до галлюцинацій; онъ нѣсколько разъ готовъ измѣнить „долгу", т.-е. бросить свою паству, свое „дѣло" для спасенія ребенка (т.-е. ради „личнаго" своего чувства); но, несмотря на собственныя страданія, на упреки врача, громящаго его „безсердечіе" (совершенно ошибочно), несмотря на слезы и мольбы любимой жены, онъ побѣждаетъ свое *„личное"* во имя *идеи* и мало этого, онъ убѣждаетъ жену, убѣждаетъ до такой степени, что она остается добровольно, а послѣ смерти ребенка не оставляетъ у себя даже его одежды, его рубашечекъ и башмачковъ, чтобы не поддерживать въ себѣ горя и воспоминаній: „вѣдь и это горе—грѣхъ, такъ какъ ребенокъ принесенъ въ жертву идеалу, закону, долгу..."

Мало-по-малу Брантъ теряетъ своихъ прихожанъ, такъ какъ и отъ нихъ онъ требуетъ того же безусловнаго исполненія закона; наконецъ, умираетъ и жена... Но Брантъ не отступаетъ ни передъ какими страданіями, хотя, въ концѣ концовъ, они потрясаютъ его мозгъ настолько, что онъ уже совсѣмъ отвертывается отъ реальной жизни и зоветъ толпу къ послѣдней ступени отрицанія реальной жизни и *жизни вообще*, а именно онъ ведетъ за собою толпу въ безплодныя горныя выси, гдѣ нѣтъ ничего, кромѣ вѣчнаго льда и снѣга, и гдѣ вся эта толпа должна неизбѣжно погибнуть. Безуміе граничитъ здѣсь (какъ это часто случается) съ безусловно правильной цѣпью логической мысли, но именно мысли, не признающей никакихъ усту-

покъ, никакихъ отступленій отъ логическихъ выводовъ. И это—вовсе не измышленіе Ибсена: Шопенгауэръ логически пришелъ къ необходимости массоваго самоубійства во имя идеи „безсмыслія жизни и воли жить"; нашъ Толстой въ „Крейцеровой сонатѣ" пришелъ къ признанію разумнымъ — уничтоженія человѣческаго рода, такъ какъ безъ этого невыполнимы логическіе выводы изъ закона: „всякій, кто посмотритъ на женщину съ вожделѣніемъ, уже прелюбодѣйствовалъ съ нею въ сердцѣ своемъ". А многія другія требованія отъ людей, провозглашенныя нашимъ геніальнымъ романистомъ, развѣ они не тоже безусловное требованіе выполненія долга, логически выводимаго изъ двухъ — трехъ основныхъ положеній, хотя бы, напр., „въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твой" или „не убій" и т. п.

Я этимъ хочу сказать, что Брантъ не только не фантастическая личность, а типъ, взятый въ наиболѣе полномъ, чистомъ и совершенномъ своемъ выраженіи и, такъ сказать, художественно-доведенный до абсурда, что и было основной цѣлью всей драмы, ея идеей.

Объ этомъ говоритъ конецъ пьесы, когда Брантъ, покинутый толпой, забросанный каменьями, проклинаемый бывшими поклонниками, какъ обманщикъ (онъ говорилъ имъ о духовныхъ сокровищахъ, а они ждали на вершинахъ горъ—матеріальныхъ), остается одинъ среди снѣговъ, нѣтъ, не одинъ, а съ деревенской дурочкой; ее влечетъ къ тѣмъ же вершинамъ, другая идея, напоминающая idée-fixe героя „Краснаго цвѣтка" у Гаршина: дѣвушка увѣрена, что на вершинѣ горы живетъ коршунъ, причиняющій всѣ земныя бѣды; нужно его убить. И она бросаетъ камень въ коршуна, и этимъ обрушиваетъ лавину на себя и Бранта. И вотъ, Брантъ, видя неминуемую смерть, обращается къ небу:

— Отвѣть мнѣ, о, Боже, передъ смертью моей, — восклицаетъ онъ,—неужели quantum satis воли *) человѣка не можетъ заслужить частичку искупленія?

На это голосъ съ неба отвѣчаетъ:

— Онъ (т.-е. Богъ) есть „Deus Caritatis" (т.-е. Богъ милосердія, прощенія).

Иными словами, голосъ съ неба (вѣрное, внутреннее чувство Бранта) сказалъ ему передъ смертью, — когда погибло все, что онъ

*) Эти латинскія фразы въ концѣ драмы пришли въ голову Бранту не даромъ: онъ слышалъ ихъ отъ доктора, когда тотъ упрекалъ его въ безсердечіи надъ колыбелью умирающаго ребенка. Въ то время у доктора вырвалась фраза: „да, *quantum satis воли* занимаетъ много страницъ въ описи вашего имущества; но зато *conto caritatis*—у васъ пустая бѣлая страница". Этотъ-то приговоръ Брантъ и вспомнилъ передъ смертью...

любилъ и во что вѣрилъ, — что онъ ошибался всю жизнь, отрицая милосердіе и прощеніе во имя безусловнаго долга и закона, — что Богъ есть Богъ милосердія. Но этимъ же самымъ изречено и прощеніе Бранту.

Такимъ образомъ, очевидно, что Ибсенъ не только признаетъ Бранта ошибающимся, но и вся драма является художественнымъ опроверженіемъ цикла подобныхъ идей, цикла ставшаго моднымъ одно время. Ибсенъ именно протестуетъ этой драмой противъ безусловности и крайняго идеализма (практическаго) во имя реальной жизни съ ея маленькими людьми, маленькими радостями и скорбями, которыя безжалостно должны быть скошены суровымъ и безусловнымъ требованіемъ долга, а потому-то такое требованіе и несовмѣстимо съ жизнью, т.-е. можетъ являться въ ней только идеаломъ, свѣточемъ; но рядомъ съ этимъ идеаломъ является другой идеалъ, идеалъ милосердія, прощающій человѣческія слабости. Таково примиреніе идеала съ дѣйствительностью, закона и долга съ требованіями человѣческой жизни. Художникъ съ среднимъ умомъ могъ бы легко раздѣлаться съ идеей Бранта, выставивъ ее въ комическомъ свѣтѣ, а самого Бранта изобразивъ черствымъ, сухимъ, безсердечнымъ формалистомъ. Но Ибсенъ понялъ, что идею безусловнаго долга нужно воплотить въ полномъ величіи и красотѣ, и только тогда указать на ея практическую несовмѣстимость (въ абсолютномъ видѣ) съ требованіями реальной жизни.

Вотъ этого-то и не поняли критики, привыкшіе къ легкимъ и шаблоннымъ пріемамъ идейной борьбы въ произведеніяхъ художниковъ средней руки. Ибсенъ же видѣлъ и видѣлъ совершенно правильно, что истинное воплощеніе „долга“ будетъ имъ достигнуто только въ томъ случаѣ, если его герой, олицетворяющій долгъ, явится не безсердечнымъ и холоднымъ, а, наоборотъ, полнымъ самой горячей любви—и къ людямъ, и къ своимъ близкимъ—матери, женѣ, ребенку, которыхъ приходится приносить въ жертву принципу. Безсердечныхъ ревнителей безусловнаго долга можно отыскать въ живой дѣйствительности сколько угодно. Они безъ сожалѣнія давятъ и кромсаютъ жизнь по шаблону, потому что ничего не любятъ и никого не жалѣютъ. Но зато такіе люди только по ошибкѣ считаются ревнителями „долга“. Они—просто бездушныя машины закона, для которыхъ правило: pereat mundus, fiat justitia не представляетъ никакихъ внутреннихъ коллизій. Идея долга, въ ея высшемъ пониманіи, осуществляется только той личностью, которая ради этой идеи должна съ мучительнымъ страданіемъ жертвовать всѣмъ остальнымъ, всѣмъ, что ей безпредѣльно-дорого... И таковъ именно Брантъ. Онъ любитъ

Агнесу и своего ребенка до того, что умъ у него мутится; онъ доходитъ до галлюцинацій при видѣ ихъ страданій, и тѣмъ не менѣе остается вѣренъ себѣ. Когда онъ не хочетъ идти къ умирающей матери, пока она не доведетъ до конца исполненія своего долга (раздачи бѣднымъ неправильно-нажитого имѣнія), вы чувствуете, что онъ переживаетъ величайшую внутреннюю пытку; каждый новый посолъ отъ матери, сообщающій, что она отдаетъ все большія и большія части своего имущества, заставляетъ Бранта колебаться, онъ готовъ уступить, но идея „долга" каждый разъ беретъ верхъ, пока мать не умерла, не сдѣлавъ послѣдней уступки и не дождавшись сына... Онъ потрясенъ страшно, но „идея побѣдила".

Конечно, такую личность нельзя было взять изъ будничной дѣйствительности. Такіе типы въ чистомъ видѣ встрѣчаются разъ въ нѣсколько столѣтій. Но они — живые типы, а не абстрактныя идеи (напр. Мюнцеръ). И вотъ такого-то человѣка увидѣла молодая дѣвушка Агнеса, счастливая, жизнерадостная, только что помолвленная съ молодымъ художникомъ. Она увидѣла Бранта, когда шла съ женихомъ своимъ, весело любуясь чудной родной природой и полная счастья. Сначала ее поражаютъ суровыя, аскетическія рѣчи Бранта, громящія легкомысленную радость, указывающія высшее назначеніе жизни. Вслѣдъ затѣмъ, она видитъ его необыкновенный, по своему самоотверженію, подвигъ, когда онъ рѣшается въ страшную бурю переѣхать заливъ, чтобы дать послѣднее утѣшеніе умирающему рабочему. Никто изъ рыбаковъ не рѣшился перевезти его въ такую бурю, и онъ одинъ идетъ къ лодкѣ. И вотъ Агнеса бросается за нимъ въ лодку, покидая своего жениха. Имъ удалось вдвоемъ побороть бурю. Послѣ этого она говоритъ Бранту, что всюду пойдетъ за нимъ. Онъ предупреждаетъ ее, что его принципъ не допускаетъ ни малѣйшихъ уступокъ или слабости, что онъ тотчасъ долженъ будетъ покинуть ее, если она въ чемъ-либо измѣнитъ избранному пути. То же говоритъ ей и женихъ: „Что ты дѣлаешь?! Съ этимъ *жрецомъ закона* твою жизнь охватитъ вѣчная ночь". На это Агнеса отвѣчаетъ въ порывѣ энтузіазма: „Я выбираю ночь... Пройду вратами смерти. Передо мною встаетъ заря новаго утра!"

Въ теченіе дальнѣйшей брачной жизни съ Брантомъ, когда родившійся у нихъ ребенокъ таетъ медленно на ея глазахъ, въ душѣ Агнесы появляются сомнѣнія въ справедливости идей мужа. Одинъ разъ она говоритъ ему: „*твоя* церковь тѣсна", (т.-е. безусловный долгъ не охватываетъ *всей* жизни), но онъ не понялъ ея, думая, что она говоритъ о церкви (храмѣ) въ буквальномъ смыслѣ; но въ драмѣ есть два мѣста, когда она и прямо выражаетъ ему свои со-

мнѣнія. Такъ, замѣтивъ, что безусловнымъ осужденіемъ каждаго отступленія отъ идеала Брантъ разогналъ отъ себя всѣхъ послѣдователей, и они,—какъ и остальные его прихожане, — остались безъ всякаго духовнаго вождя, она высказываетъ это мужу. Бранту долго и горячо приходится доказывать ей, что „лучше ничего, чѣмъ кое-что", и она убѣждается, восклицая: „Да будетъ такъ, какъ ты говоришь! О, возьми, возьми меня съ собой! Веди меня къ твоимъ высокимъ небесамъ!"

Въ другой разъ, по аналогичному же поводу, ея сердце вновь подсказываетъ ей сомнѣнія, и снова онъ убѣждаетъ ее: „Я, вѣдь, требую,—говоритъ онъ,—только одного, чтобы не было шатанія воли, трусливыхъ сдѣлокъ съ совѣстью. Если мы исполняемъ дѣло на половину, или дѣлаемъ его несовершенно, мы неправы въ цѣломъ. Это правило должно быть установлено не на словахъ, а на дѣлѣ". И опять она восклицаетъ, охваченная энтузіазмомъ: „Я всюду, всюду пойду за тобой!"

Итакъ, отличительная черта Агнесы состоитъ въ томъ, во 1-хъ, что она настоящая служительница идеи. Правда, она служитъ ей не непосредственно, а черезъ свое служеніе любимому человѣку, но за любимымъ человѣкомъ она пошла ради его идеи, и остается около него только потому, что каждый разъ вновь убѣждается въ справедливости этой идеи. Во 2-хъ, самая идея, которой она служитъ, такова, что требуетъ огромныхъ жертвъ. Но она непреклонно остается вѣрной идеѣ, и вѣрной—не слѣпо, а критически-сознательно, какъ мы сейчасъ видѣли. Хотя личность женщины тутъ еще не выступаетъ *самостоятельнымъ* борцомъ, а ищетъ опоры въ могучей личности мужчины, однако, ея „я" уже прочно намѣчено и сказывается въ строгомъ выборѣ мужчины, въ критикѣ его дѣйствій, его мысли, и въ присоединеніи къ нему только тогда, когда умъ (хотя бы и вопреки сомнѣніямъ сердца) убѣждается въ высокомъ значеніи той идеи, той цѣли, которымъ служитъ избираемый герой.

Но какъ бы ни былъ высокъ типъ Агнесы, однако эволюція женской индивидуальности не останавливается на этой стадіи, и жизнь даетъ намъ факты, доказывающіе, что это только одна изъ стадій дальнѣйшаго поступательнаго движенія къ полной самостоятельности какъ въ идеяхъ, такъ и въ дѣятельности.

Я сказалъ: „жизнь даетъ намъ факты", потому что въ драмахъ Ибсена этотъ дальнѣйшій процессъ едва только намѣченъ въ лицѣ Норы, которой мы и займемся теперь, резюмируя въ двухъ словахъ то, къ чему мы пришли до сихъ поръ.

Мы видѣли до сихъ поръ, что всѣ разобранные нами женскіе

типы идутъ не иначе, какъ вслѣдъ за мужчиной, заражаясь его идеями или ища въ немъ тѣхъ идей, которыя онъ же заронилъ въ нихъ въ дѣтствѣ и юности. Поэтому жизнь ихъ подвергалась всевозможнымъ случайностямъ, какъ у Геды Габлеръ и Гильды, а въ лучшемъ случаѣ, какъ у Агнесы, приходилось отдавать все дорогое этой, въ сущности, чужой идеѣ, давя протесты своего любящаго сердца, давя противорѣчія, выплывающія отъ несогласія чуждой идеи съ требованіями болѣе чуткой и глубокой сердечности.

И вотъ откуда возникаетъ, очевидно, дальнѣйшее стремленіе женской личности — вносить въ жизнь нѣчто *свое,* самостоятельно созданное женскимъ сердцемъ и умомъ, вносить самостоятельно, собственными силами.

Нора и представляетъ у Ибсена слабый зародышъ этого новаго движенія или типа, успѣвшаго въ реальной жизни пойти гораздо дальше ея. Но возьмемъ у Ибсена то, что есть.

VII.

Нора, какъ переходъ къ типу полной женской самостоятельности.

Изложимъ вкратцѣ содержаніе драмы.

Въ началѣ ея, Нора, хотя уже и имѣетъ нѣсколько человѣкъ дѣтей, является сама въ сущности наивнымъ, любящимъ ребенкомъ. Ея личность, которой главный элементъ составляетъ необыкновенная сердечная чуткость и чистота нравственная, усыплена иллюзіей удовлетворенія этихъ основныхъ потребностей своихъ.

Она считаетъ мужа идеально-прекраснымъ человѣкомъ, еще и не подозрѣвая, что въ жизни часто не все является такимъ на самомъ дѣлѣ, какимъ кажется снаружи,—что часто человѣкъ кажется безупречно-хорошимъ просто потому, что не было случаевъ, не было причинъ, которыя взволновали бы подонки его души, вызвали ихъ появленіе наружу и показали бы личность съ такихъ сторонъ, которыя до той поры не было возможности наблюдать.

Такимъ образомъ можно сказать, что Нора счастлива своимъ невѣдѣніемъ людей и жизни. Она не подозрѣваетъ ничего нечистаго, ничего недостойнаго въ любви и отношеніяхъ къ себѣ мужа. Она счастлива любовью къ себѣ своихъ дѣтишекъ, играми и забавами, которыя она устраиваетъ для нихъ, сама увлекаясь, какъ ребенокъ, ихъ дѣтской радостью и весельемъ.

Но всякое состояніе незнанія — страшная вещь; оно даетъ очень шаткое и хрупкое счастье, которое рушится мгновенно, когда факты

обнаруживаютъ нѣчто новое и неожиданное, что потрясаетъ всѣ прежнія иллюзіи. И чѣмъ сильнѣе была прошлая вѣра, прошлая иллюзія, тѣмъ больше потрясаетъ душу открытіе своей ошибки, тѣмъ болѣе глубокій переворотъ и душевная катастрофа слѣдуетъ за открытіемъ правды и пробужденіемъ отъ радужныхъ сновъ. Одинъ изъ выдающихся психологовъ нашего времени замѣтилъ, что для дѣтей нѣтъ ничего опаснѣе, какъ рѣзкій переходъ изъ ихъ дѣтской фантазіи и тѣхъ иллюзій, въ какихъ они рисуютъ себѣ жизнь, къ суровой правдѣ реальной жизни.

Но именно это-то и случилось съ Норой.

Еще въ началѣ ея замужества, когда мужъ заболѣлъ и врачи велѣли ему ѣхать на воды, у нихъ не было денегъ на это путешествіе. Въ то время мужъ Норы былъ бѣденъ (впослѣдствіи, наоборотъ, онъ получилъ мѣсто директора банка и пользовался большими средствами). И вотъ, Нора рѣшила занять денегъ на леченіе мужа, но не говоря ему объ этомъ. Кредиторъ потребовалъ поручительства ея отца, и Нора, увѣренная, что отецъ ея не откажется отъ поручительства (а онъ жилъ гдѣ-то далеко, между тѣмъ деньги нужны были скоро)—подписывается *за него* на векселѣ. На ея бѣду отецъ умеръ наканунѣ выдачи векселя. Кредиторъ узнаетъ объ этомъ и грозитъ Норѣ уголовнымъ преслѣдованіемъ, если она не доставитъ ему мѣста въ банкѣ, которое зависитъ отъ ея мужа. Когда Нора пробуетъ исполнить требованіе своего кредитора и заводитъ объ этомъ рѣчь съ мужемъ, то оказывается, что исполнить ея просьбу невозможно: ея протеже—человѣкъ скомпрометированный, только что удаленный мужемъ изъ банка etc. Повидимому, было бы всего проще разсказать мужу о своемъ старомъ промахѣ, и мужъ выкупилъ бы вексель. Но этого-то Нора и не хочетъ. Ей кажется, что ея жертва для мужа потеряетъ всю свою цѣнность, если онъ узнаетъ о ней. Ей и въ голову не приходитъ, что мужъ можетъ быть недоволенъ ея поступкомъ только за то, что она нарушила „какую-то тамъ формальность“, разъ она вполнѣ чиста и права нравственно. Наоборотъ, она убѣждена, что мужъ будетъ въ восторгѣ отъ ея поступка, давшаго ему когда-то возможность поправить свое здоровье; онъ будетъ благодарить ее, будетъ считать себя обязаннымъ ей. Но вотъ этого-то именно она и не желаетъ. Отъ этого-то и пропадетъ вся цѣнность, *душевная* цѣнность ея поступка.

Можно находить такой высокій идеализмъ, такую крайнюю нравственную чуткость утрированными, а при подобномъ положеніи дѣла, даже неестественными. Но безъ этой идеальной нравственной чуткости не было бы и Норы, какъ не было бы Бранта безъ идеальнаго слѣдо-

ванія долгу. Этимъ я не хочу сказать, что такихъ женщинъ, какъ Нора, нѣтъ въ дѣйствительности: наоборотъ, среди женщинъ весьма часто встрѣчаются именно такія личности, т.-е. нравственно-идеальныя до такой степени, которая въ глазахъ практическихъ людей кажется почти неестественной и во всякомъ случаѣ наивной. Но наивность Норы, ея дѣтская неопытность и незнаніе ею жизни составляютъ, какъ я уже сказалъ, ея характеристическую черту въ началѣ драмы. Безъ этой наивной дѣтской чистоты она лучше бы понимала своего мужа въ первые годы ихъ жизни, она предвидѣла бы, что не восторгъ, а черствое осужденіе вызоветъ въ немъ ея „подвигъ", когда онъ узнаетъ о немъ. Но въ томъ-то и дѣло, что она и на жизнь, и на мужа смотритъ сквозь призму своихъ чистыхъ, моральныхъ идеаловъ. И легко представить себѣ, какой громадный переворотъ происходитъ въ ея душѣ, когда грубое прикосновеніе мужа къ ея подвигу сразу разрушаетъ въ ней всю эту иллюзію.

Мужъ дѣлаетъ ей „выговоръ", упрекаетъ ее въ легкомысліи, въ томъ, что она могла погубить его *служебную карьеру,* и т. д. И это все за то, что она спасла его отъ смерти и не сдѣлала ничего дурного, потому что не могла же она знать, что отецъ умеръ въ то время, когда она воспользовалась его именемъ.

Итакъ, если этотъ эпизодъ можетъ казаться нѣкоторымъ не вполнѣ естественнымъ, то только потому, что самое событіе, измышленное Ибсеномъ, нѣсколько искусственно, имѣя въ виду ярче выразить душевное состояніе дѣтски-чистой идеалистки въ ея столкновеніи съ грубой, условной моралью окружающей дѣйствительности. Но *внутренній* фактъ, т.-е. психологическая правда внутренняго состоянія Норы въ моментъ, когда она поняла эту дѣйствительность, и послѣ этого — безусловно естественны и реальны, а въ душевной жизни женщинъ и молодыхъ, идеальныхъ дѣвушекъ встрѣчаются безпрестанно, хотя и въ иныхъ формахъ.

Я уже сказалъ, что нѣтъ болѣе тяжелой внутренней драмы, какъ рѣзкій переходъ отъ идеалистической вѣры въ жизнь къ трезвой реальности, обрывающей сразу всѣ прежнія радужныя представленія. Вѣдь на этомъ построена и внутренняя драма Гамлета, когда онъ узнаетъ, что и его дядя, и мать—преступники, и перестаетъ вѣрить во все окружающее, въ чистую любимую дѣвушку, въ друзей, въ цѣлый міръ, который начинаетъ казаться ему „ничтожнымъ опустѣлымъ садомъ".

И чѣмъ идеальнѣе и чище была потрясенная душа, тѣмъ шире и глубже идетъ ея отрицаніе, охватывая, какъ пожаромъ, и то, что достойно отрицанія, и то, что случайно стоитъ рядомъ и само-по-себѣ

совершенно невинно. Въ такомъ состояніи нѣсколькихъ часовъ достаточно, чтобы пережить цѣлые десятки лѣтъ, перечувствовать вновь все свое прошлое, все, что любилъ и во что вѣрилъ, перечувствовать съ отвращеніемъ, съ ужасомъ и стыдомъ за то, что такъ слѣпо могъ ошибаться, могъ ставить себя, благодаря своему невѣдѣнію, въ позорныя положенія. Конечно, такая глубокая реакція невозможна въ душахъ мелкихъ. Поэтому-то не всѣмъ понятна Нора. А она именно переживаетъ (и *должна* пережить, по своей высокой нравственной чуткости) настоящую душевную грозу, революцію всѣхъ понятій и вѣрованій... И что же удивительнаго, что этотъ процессъ въ ея душѣ совершается быстро? Быть можетъ, въ менѣе чуткой душѣ эта всесокрушающая гроза растянулась бы на цѣлые годы мелкихъ, будничныхъ разочарованій, дождливыхъ дней и маленькихъ грозъ. Разница была бы во времени да въ интенсивности разрядившагося электричества, а не въ самой сущности дѣла.

И вотъ, въ этой душевной грозѣ, Нора въ нѣсколько часовъ додумалась (а вѣрнѣе, если можно такъ выразиться, „дочувствовалась") до ясныхъ и безповоротныхъ рѣшеній. Она поняла, что мужъ совсѣмъ не таковъ, какимъ она его считала и какимъ она его любила... Того человѣка, котораго она любила, нѣтъ, а тотъ человѣкъ, который называется ея мужемъ,—совсѣмъ другой человѣкъ, какъ бы подмѣненный кѣмъ-то и котораго она совсѣмъ не любитъ. Даже больше, они совсѣмъ чужды и противоположны другъ другу: то, что для нея „святая святыхъ", для него—предметъ осужденія.

Чѣмъ же была, въ такомъ случаѣ, ихъ прошлая любовь, ихъ прошлая связь? Иллюзіей, подъ которой не было ничего, кромѣ животнаго акта, позорящаго и леденящаго ея чистую душу, разъ она поняла, что все, что прикрывало этотъ актъ, было самообманомъ,—какъ въ опьяненіи...

Чѣмъ была вся ихъ семейная жизнь? Ея отношеніе къ дѣтямъ, ея воспитаніе этихъ дѣтей, которыми она такъ гордилась, которыхъ такъ любила? Могла ли она воспитывать въ нихъ людей, когда сама не была человѣкомъ, была куколкой и игрушкой мужа, забавой его, потому что онъ никогда не зналъ ея души, не зналъ и не понималъ ея, какъ человѣка, и даже не старался и не пробовалъ узнать! Значитъ, она была для него только тѣломъ, красивой самкой...

И вотъ откуда ея выводъ: „тогда только возможно сожительство, когда оно можетъ быть истиннымъ бракомъ". И другой выводъ: „нужно прежде самой стать человѣкомъ, чтобы воспитывать въ дѣтяхъ будущихъ людей". А отсюда ужъ 3-й выводъ: „у меня есть обязанность, которая больше, чѣмъ обязанности семейныя, это —

обязанность относительно себя самой", то-есть, обязанность стать прежде всего человѣкомъ, а не куклой, не игрушкой, не тѣломъ для чужого наслажденія.

И она уходитъ отъ мужа, чтобы выработать изъ себя „человѣка".

Одинъ только вопросъ можетъ вызвать при этомъ сомнѣніе: какъ она могла оставить дѣтей человѣку, уваженіе къ которому потеряла? Какъ она такъ легко поборола материнское чувство: вѣдь, раньше она такъ горячо и нѣжно любила ихъ, напр., когда устраивала имъ елку, наряжала ихъ и т. п.

На это Ибсенъ отвѣчаетъ потрясающей сценой, когда Нора, рѣшившаяся уже покинуть семью, приходитъ въ ужасъ отъ того, что няня хочетъ привести къ ней дѣтей для обычнаго прощанья передъ сномъ. Нора пугается не того только, что послѣдняя встрѣча съ дѣтьми можетъ поколебать ея рѣшимость; нѣтъ, она считаетъ самое себя недостойной прикасаться къ этимъ чистымъ созданіямъ, боится испортить ихъ своимъ прикосновеніемъ. Правда, это — крайность. Но какая естественная, психологически, крайность, когда въ душѣ происходитъ ломка всего прошлаго! Вѣдь, она должна была сознать и то, что вся ея любовь къ дѣтямъ, все воспитаніе ихъ были также инстинктивно-животны и слѣпы, какъ ея жизнь съ мужемъ. Она забавлялась дѣтьми, играла ими, какъ играютъ въ куклы! Она вернется къ нимъ или возьметъ ихъ къ себѣ, когда сама станетъ „человѣкомъ". Вотъ мысль, которой она хотя и не высказываетъ, но которая ясно свѣтится въ ея ужасѣ, когда дѣтей хотятъ привести къ ней...

На этомъ я окончу психологическій разборъ Норы и перейду къ вопросу: почему я ставлю ее на ту стадію развитія личности, которая выше стадій, занимаемыхъ остальными героинями Ибсена? Вѣдь, Нора еще ничего не сдѣлала. У нея еще нѣтъ ни опредѣленной идеи о томъ, что она будетъ дѣлать дальше, ни опредѣленнаго идеала положительной дѣятельности.

Я покажу, что у нея есть все это, хотя еще и не въ оформившемся, не въ конкретномъ видѣ, для чего не было и времени, такъ какъ весь переворотъ совершился въ ней въ какія-нибудь сутки. Высота ея внутренней личности, ея нравственнаго „я", — спавшаго въ безсознательномъ покоѣ до этого переворота, — была такова, что она въ нѣсколько часовъ не только рѣшаетъ, но и осуществляетъ полный разрывъ съ прежнимъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ кончаетъ и съ *отрицательной* стадіей развитія. Между тѣмъ, напр., у г-жи Альвингъ, у Геды Габлеръ, у Гильды эта отрицательная стадія затягивается на всю ихъ жизнь.

Во 2-хъ, результатомъ этого должно быть то, что ей уже останется только прямо и безъ борьбы выработать себѣ *положительный* идеалъ, а стало-быть начать и положительную, созидающую работу. Вѣдь понятно, что пока люди ведутъ только отрицательную работу (расчистки мѣста подъ новое зданіе), до тѣхъ поръ всѣ ихъ силы и помыслы направлены только на эту расчистку, т.-е. на отрицаніе, на борьбу за отрицательные идеалы, — и не остается времени для созданія идеаловъ положительныхъ и борьбы за нихъ. Но для Норы въ прошломъ все кончено, она не только въ мысли, но и на дѣлѣ уже расчистила мѣсто для новой, положительной постройки. Значитъ, въ ней мы имѣемъ готовый типъ для дальнѣйшей стадіи, стадіи положительныхъ идеаловъ и положительнаго труда.

И это не все: въ 3-хъ, мы видимъ отчасти уже и этотъ положительный идеалъ, хотя намѣченный пока только для своего собственнаго „я“: Нора прежде всего хочетъ сама стать „человѣкомъ“. Этимъ она сказала очень многое. Стать „человѣкомъ“, это значитъ — стать на уровень *„человѣчности“ данной эпохи,* на уровень пониманія, знаній, мысли, самостоятельности и личной независимости лучшихъ людей своей эпохи. Это ужъ положительный идеалъ и планъ, хотя еще только *личный.* Но иначе и быть не можетъ. Какъ нельзя воспитывать дѣтей, т.-е. сдѣлать ихъ „людьми“, не ставъ самой „человѣкомъ“, такъ нельзя увѣренно намѣтить себѣ плановъ общественной дѣятельности, общественныхъ идеаловъ, пока еще не сознаешь себя „человѣкомъ“.

Наконецъ, въ 4-хъ, Нора—единственная изъ героинь Ибсена, которая и приходитъ къ своей идеѣ, и выполняетъ ее совершенно самостоятельно, одна, безъ помощи мужчины, безъ его указаній, руководительства, поддержки. Если мужчина и помогъ ей понять свое положеніе, сознать свой идеалъ, то *исключительно отрицательнымъ путемъ,* тѣмъ жестокимъ ударомъ, который онъ нанесъ ея идеализму.

Но одному ли идеализму? Припомнимъ, что̀ прежде всего послужило причиной разрыва между Норой и ея мужемъ?—*Совершенно противоположныя понятія у обоихъ о добрѣ и правдѣ:* мужъ обнаружилъ *чисто-формальное,* юридически-условное, житейски-меркантильное пониманіе жизни (въ томъ, какъ отнесся къ „подвигу“ Норы). У нея же точка зрѣнія чисто-этическая, сердечно-справедливая, видящая только *внутреннюю сторону поступка. Не есть ли это тѣ два полюса, которые характеризуютъ вообще взгляды на жизнь мужчины и женщины?* Не есть ли точка зрѣнія Норы именно тотъ великій вкладъ въ человѣческую цивилизацію, который внесетъ въ нее женское

сердце, женская личность, сдѣлавшись самостоятельными и освободившись отъ умственнаго вліянія мужчины? Не есть ли это тотъ элементъ, котораго недоставало въ исторіи человѣчества? А если такъ, то намъ понятенъ, въ лицѣ Норы, самый основной мотивъ эволюціи женской личности, какъ будущаго историческаго фактора болѣе совершенной, сердечно-правдивой цивилизаціи, бывшей до сихъ поръ только *формально-справедливою*.

Конечно, въ работѣ созданія изъ себя человѣка Норѣ придется взять и мужскую науку, и мужскія идеи... Но это — идеи и наука *общечеловѣческія*... Онѣ—только *орудія*, помогающія одинаково и мужчинѣ, и женщинѣ, вооружившись ими, идти дальше и выше по пути къ идеалу общаго блага, человѣчности и независимости, *развивая свои особыя точки зрѣнія*.

Ибсенъ не даетъ типа, который былъ бы выше типа Норы, хотя, повторяю, она еще—типъ in potentia, какъ молодой орленокъ, только что вылупившійся изъ яйца.

Но жизнь,—и, между прочимъ, наша русская жизнь, — шагнула давно дальше этого типа, т.-е. показала его и въ жизни, показала его въ дальнѣйшемъ развитіи.

Я не буду указывать фактовъ изъ русской жизни, они извѣстны всѣмъ интеллигентнымъ людямъ. Я имѣю въ виду не одно только стремленіе русскихъ женщинъ—образовать общество, совершенно самостоятельное и независимое отъ вліянія другого пола. Этотъ шагъ уже сдѣлала отчасти и Нора. Этотъ шагъ есть еще шагъ *личнаго* долга относительно *самихъ себя*. Но Россія знаетъ женщинъ, работающихъ въ глухихъ деревняхъ, какъ врачи, учительницы, — работавшихъ на поляхъ битвы и въ лазаретахъ,—она знаетъ женщинъ, работающихъ въ области науки, мысли и великихъ общественныхъ задачъ.

Это не мѣшаетъ имъ или многимъ изъ нихъ быть любящими женами и матерями, создавать высшую форму идеальной семьи, о которой мечтала Нора, — семьи, въ которой члены ея — равноправные „люди“, образующіе свободный союзъ, основанный на свободномъ *взаимномъ* уваженіи, пониманіи, любви и поддержкѣ.

Я долженъ сказать и о благопріятныхъ для Норы *внѣшнихъ* условіяхъ.

Въ жизни женщинъ, какъ и въ исторіи человѣчества, крайній индивидуализмъ, разбивающій людей на разрозненные и чуждые другъ другу атомы, является только временнымъ состояніемъ протеста личности противъ насилій, неудобствъ и подавляющей стѣснительности какой-либо старой формы общественнаго или семейнаго союза. Но *личность не можетъ жить одиноко*. Высвободившись изъ

стѣснительной формы, она тотчасъ создаетъ новую форму союза, болѣе свободную, т.-е. дающую личности большій просторъ проявлять свое „я“, свою оригинальность и самодѣятельность, въ союзѣ съ другими и не мѣшая другимъ.

Вся исторія есть лишь постоянная смѣна формъ болѣе стѣснительныхъ менѣе стѣснительными, смѣна, перемежающаяся пульсаціями подъема крайняго индивидуализма въ періоды борьбы за свое „я“ съ окружающими стѣснительными условіями.

Вспомнимъ наше собственное русское прошлое. Теремная жизнь была такъ стѣснительна, что въ ней, кажется, не могла даже рождаться и мысль о какой-нибудь женской личности, самодѣятельности, протестѣ. Однако, это ошибка. Являлись и тогда протестантки, но онѣ дѣйствовали средствами, напоминающими Іордисъ, — заговорами, ядами,—онѣ шли въ предводительницы разбойничьихъ шаекъ, бродившихъ по большимъ рѣкамъ, или просто шли на каторгу за убійства и отравленія мужей... Чѣмъ стѣснительнѣе форма, тѣмъ ужаснѣе реакція личности.

Если же личность не шла дальше первой стадіи борьбы (т.-е. борьбы только со своимъ внутреннимъ міромъ, протестующимъ и неудовлетвореннымъ), то она убивала себя, какъ Катерина въ „Грозѣ“, шла въ монастырь, какъ Лиза въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, терзалась всю жизнь, какъ г-жа Альвингъ.

Однако, всѣ эти протесты, какъ бы слабы они ни были, въ какой бы уродливой формѣ ни являлись, дѣйствовали на самыя *формы* отношеній, смягчая ихъ первобытный, мучительный, тюремный характеръ. И по мѣрѣ смягченія формъ (напр., семейной жизни) самый протестъ становится человѣчнѣе. Отъ этого, конечно, ускоряется и темпъ этихъ пульсацій (т.-е. исключительнаго подъема индивидуалистическихъ протестовъ), иными словами, ускоряется вообще смѣна старыхъ формъ отношеній новыми, менѣе стѣснительными для личности. Новыя формы союза людей семейнаго или гражданскаго скрѣпляются все меньше и меньше внѣшнимъ насиліемъ и принужденіемъ, и все больше и больше внутреннимъ убѣжденіемъ, разумно-сознательнымъ согласіемъ въ цѣляхъ.

Сама исторія показываетъ, что этотъ *темпъ* смѣны формъ ускоряется и облегчается съ каждымъ столѣтіемъ. Такъ, реформа, которая требовала бы встарину сотни лѣтъ и самыхъ грандіозныхъ жертвъ тысячами жизней, теперь требуетъ десятка лѣтъ и происходитъ безкровно, путемъ словесной борьбы противоположныхъ мнѣній.

Въ этомъ сущность прогресса съ ея внѣшней стороны.

Но въ этомъ ускоряющемся темпѣ, который, употребляя музыкаль-

ное сравненіе, можетъ быть раздѣленъ на такты, личность, являющаяся основнымъ мотивомъ, начинаетъ каждый тактъ неудовлетворенностью, диссонансомъ съ готовыми формами, отрицаніемъ, и кончаетъ новой гармоніей, созиданіемъ новыхъ, болѣе совершенныхъ сочетаній.

Въ первый, отрицательный періодъ личность можетъ—при упорствѣ среды—доходить до такого сосредоточенія на одной идеѣ, на одномъ отрицательномъ напряженіи, что возникаютъ типы Гильды или типы Геды Габлеръ, въ литературѣ и философіи являются Байроны, Шопенгауэры, Нитчше, въ гражданской исторіи—эпохи псевдоатавизма, когда кажется, что погибло все человѣчное, справедливое—и мораль, и искусство, и право, и идеалы, и наука, и мысль...

Но формы, смягчающіяся прогрессивно, даютъ все меньше и меньше сопротивленія новымъ, зарождающимся стремленіямъ личности. Личность ужъ не имѣетъ нужды для достиженія своей цѣли доходить до idée fixe, до дикаго самофанатизированія, неизбѣжнаго въ ту пору исторіи, когда за каждый шагъ впередъ приходилось жертвовать жизнью тысячъ или жизнью героевъ для торжества будущихъ поколѣній.

Такимъ образомъ, картина, представляемая намъ исторіей, устраняетъ всякій пессимизмъ, какъ относительно значенія личности въ исторіи, такъ и относительно грядущаго прогресса личности и общественности. Постоянно разобщаясь другъ съ другомъ и вступая во взаимную борьбу, эти два начала (индивидуализма и общественности) приходятъ постоянно вновь къ болѣе совершенной гармоніи, пока личность вновь не перерастаетъ установившагося modus vivendi. Но всегда личность въ концѣ концовъ имѣетъ цѣлью общественность, т.-е. союзъ съ другими,—даже тогда, когда отрицаетъ его и борется съ нимъ,—а общественность всегда имѣетъ цѣлью защиту личности—даже тогда, когда стѣсняетъ и подавляетъ ее.

Это два нераздѣльныхъ фактора, два коррелата. какъ двѣ стороны одной и той же поверхности.

Л. Е. Оболенскій.

ОКОНЧАНІЕ МАЛОРОССІЙСКОЙ ЛЕГЕНДЫ:

„СОРОКЪ ЛѢТЪ“,

ИЗДАННОЙ КОСТОМАРОВЫМЪ ВЪ 1881 Г.

(Въ „Легендѣ“ Костомарова разсказывается, что убійца купца, разбогатѣвшій на ограбленныя деньги, живетъ въ довольствѣ и спокойствіи. Но при совершеніи преступленія онъ слышалъ голосъ, угрожавшій наказаніемъ черезъ 40 лѣтъ и потому съ приближеніемъ этого срока начинаетъ мучиться и, наконецъ, рѣшаетъ во всемъ открыться сыну. Сынъ совершенно его успокоиваетъ, вполнѣ увѣривъ, что нечего бояться, потому что ничего, безпокоящаго отца, въ дѣйствительности не существуетъ, что никакихъ наказаній или наградъ не будетъ и что голосъ только ему прислышался. Послѣ этого убійца, уже ничѣмъ не смущаемый, продолжаетъ свою привольную и спокойную жизнь и даже умираетъ безболѣзненно — его нашли мертвымъ въ постели. Такимъ образомъ по „Легендѣ“ наказаніе совершилось въ назначенный срокъ полною утратой вѣры и закончилось внезапной смертью „нераскаяннаго грѣшника“.— Новое окончаніе „Легенды“ гр. Л. Н. Толстымъ начинается послѣ Костомаровскаго „разговора“ убійцы съ сыномъ).

Въ эту же первую ночь, съ 12-го на 13-е августа, когда онъ (убійца), послѣ разговора съ сыномъ, легъ одинъ спать въ своей комнатѣ, началось его наказаніе.

„Нѣтъ Бога, нѣтъ души, нѣтъ наказанія! Какъ хорошо, какъ покойно! И какъ много и долго я понапрасну мучилъ себя. Всѣ боремся другъ съ другомъ, всѣ губимъ другъ друга, чтобы жить, какъ это сказалъ Александръ. Борьба за существованіе: вотъ законъ! И другого нѣтъ. И мнѣ Богъ далъ быть побѣдителемъ. Богъ далъ! Все остается эта глупая привычка. Не Богъ какой-то далъ, а я сумѣлъ быть побѣдителемъ; вотъ мнѣ и хорошо. И всякій борись; а кто поборолъ, пользуйся своею побѣдой. Я поборолъ и пользуюсь. Хорошо было мнѣ жить, только воспоминаніе отравляло; теперь же

будетъ еще лучше, совсѣмъ хорошо. Я понимаю, что имъ завидно (онъ вспомнилъ слова схимника). Имъ завидно: каждому хочется. А хочется, такъ борись. Самъ борись, а не жди, чтобы тебѣ дали. Вотъ и Александръ...“

Онъ вспомнилъ, какъ Александръ говорилъ ему на-дняхъ, что положенныхъ ему двадцати тысячъ въ годъ мало. Онъ просилъ прибавить ему еще десять тысячъ, и, когда онъ отказалъ, онъ былъ недоволенъ.

„Положимъ, онъ разсчитываетъ имѣть все, когда я умру...“

И вдругъ Трофиму Семеновичу очень ясно пришло въ голову, что сынъ долженъ желать его смерти.

„Борись, чтобы быть побѣдителемъ. Я боролся—убилъ купца; мнѣ нужна была его смерть, и я взялъ его жизнь. А ему, сыну моему Александру, чья смерть нужна?“

Онъ остановился и привсталъ въ ужасѣ на постели.

„Чья смерть?—Моя!—Да, я стою ему на дорогѣ. Сколько бы я ни давалъ ему, ему лучше, чтобы я умеръ, и онъ былъ бы хозяиномъ.“

И Трофимъ сталъ вспоминать взгляды и слова сына и во всемъ онъ видѣлъ то, что сынъ желаетъ его смерти. И не можетъ не желать.

„А если желаетъ и онъ—образованный человѣкъ безъ суевѣрій, такъ онъ долженъ меня убить. Положимъ, онъ не захочетъ погубить себя. Но есть ядъ!“

И вдругъ ему вспомнился разговоръ сына о старинныхъ ядахъ, такихъ, которые убиваютъ такъ, что слѣдовъ нельзя найти.

„А если у него будетъ этотъ ядъ, то какъ же онъ не дастъ его мнѣ? Онъ долженъ дать!“

„Онъ говорилъ уже, что я запускаю дѣла, онъ говорилъ, что можно сдѣлать больше. Да, стаканъ чаю—и готово! Подкупить людей, повара, они всѣ продажны.“

Онъ сталъ вспоминать своего камердинера-щеголя.

„Этому дай тысячу рублей—и готово, да и повару тоже.“

Трофимъ взволновался, думая это, и, чтобы успокоиться, хотѣлъ выпить стаканъ сахарной воды, стоявшій на столикѣ у его кровати. Онъ взялъ въ руку стаканъ: на днѣ было что-то бѣлое. „Кто знаетъ, что это?—Нѣтъ не обманешь!“ сказалъ онъ и вылилъ воду; затѣмъ пошелъ къ рукомойнику и выпилъ воды оттуда. „Да, борьба всѣхъ противъ всѣхъ. А бороться, такъ не зѣвать: буду осторожнѣе. Буду пить и ѣсть то, что будетъ ѣсть жена... Да и она тоже. Она знаетъ, что ей пойдетъ седьмая часть. А ея бѣдные родные давно требуютъ отъ нея. Да, война, такъ война! Надо такъ поставить себя, чтобы имъ

не было выгоды въ моей смерти. Надо написать завѣщаніе такое, которое лишило бы ихъ всего, чтобы смерть моя была невыгодна имъ. Да, завтра сдѣлаю это и объявлю имъ.“

Онъ хотѣлъ заснуть, но мысли не давали ему спать. Онъ сталъ сочинять завѣщаніе. Надѣлъ халатъ и туфли, подошелъ къ столу и сталъ писать начерно завѣщаніе, въ которомъ онъ отдавалъ все состояніе на богоугодныя заведенія. Окончивъ это, онъ хотѣлъ лечь; но тутъ пришла ему мысль о лакеѣ, о дворникѣ. Онъ самъ переносился въ душу лакея и говорилъ себѣ: „что̀, если бы я былъ бѣднякъ-лакей и получалъ бы 15 руб. жалованья въ мѣсяцъ, и за пять комнатъ отъ меня спалъ бы богачъ съ деньгами, и я бы твердо зналъ, какъ я знаю теперь, что нѣтъ Бога, нѣтъ и суда. Что̀ я сдѣлалъ бы? Я сдѣлалъ бы, что̀ я сдѣлалъ съ купцомъ.“ И на Трофима нашелъ страхъ; онъ опять всталъ и сталъ запирать свою дверь, но задвижка не держала, и онъ, задвинувъ дверь кресломъ, привязалъ его полотенцемъ къ ручкѣ и на кресло поставилъ кресло, чтобы оно загремѣло. Только тогда онъ затушилъ свѣчу и проспалъ такъ долго, что жена обезпокоилась и пошла отворить дверь. Кресла упали и загремѣли. Трофимъ вскочилъ испуганный, блѣдный.

„Кто? что? караулъ!“ даже закричалъ онъ и долго не могъ опомниться. Ему при пробужденіи показалось, что его пришли убивать. Когда онъ опомнился, то сказалъ, что онъ изъ осторожности загородилъ, и постарался скрыть свой страхъ; но сколько онъ ни старался, съ этого дня и домашніе, и прислуга стали замѣчать въ немъ большую перемѣну. Прежде онъ бывалъ веселъ, бывалъ и сердитъ, бывалъ ласковъ и добръ, бывалъ и унылъ, когда думалъ о своемъ грѣхѣ. Прежде онъ однихъ не любилъ, другихъ любилъ, особенно дѣтей-внуковъ. Теперь же онъ всегда былъ одинаковъ, всегда былъ молчаливъ, остороженъ, на всѣхъ смотрѣлъ подозрительно и со всѣми, даже съ дѣтьми, былъ одинаково холоденъ. Завѣщаніе сдѣлалось для него главнымъ занятіемъ съ этого времени. Долго не могъ онъ сдѣлать такого, какое ему хотѣлось сдѣлать. Всѣ приказные, которые пріѣзжали къ нему за этимъ дѣломъ, не могли угодить ему. Онъ писалъ, и переписывалъ, и перемѣнялъ. Въ пищѣ онъ также сталъ особенно требователенъ. Иногда самыя вкусныя и любимыя его кушанья онъ оставлялъ, не отвѣдавъ ихъ, часто отказывался отъ обѣда и приходилъ въ серединѣ стола и бралъ у сына или дочери или жены начатую тарелку и тогда только ѣлъ. Вино онъ самъ покупалъ особо и держалъ въ своей комнатѣ въ шкапу. Дѣлами онъ сталъ заниматься меньше; но когда и занимался, всегда скрывалъ отъ домашнихъ свои барыши и сколько онъ получаетъ. Деньги,

которыя доставляли ему прежде столько радости, теперь только мучили его. Онъ старался уберечь ихъ отъ другихъ и чувствовалъ, что уберечь ихъ нельзя противъ такихъ людей безъ Бога, какимъ онъ самъ былъ. Онъ чувствовалъ, что если всѣ узнаютъ то, что̀ онъ зналъ, и что̀ знаетъ его сынъ, что Бога и суда нѣтъ, то тогда никакія силы не сохранятъ его. Его убьютъ, отравятъ, отнимутъ состояніе обманомъ или силой. Одно было спасеніе: не показывать людямъ того, что онъ знаетъ, что нѣтъ Бога и суда, а напротивъ, внушать имъ, что есть Богъ, что есть судъ. И потому еще послѣдняя перемѣна, которая сдѣлалась съ Трофимомъ послѣ 12-го августа, была та, что онъ сталъ особенно набоженъ, такимъ, какимъ еще не былъ во всю свою жизнь. Онъ не пропускалъ ни одной службы, постился всѣ посты, середы и пятницы, не пропускалъ никогда случая внушать своимъ семейнымъ, и своимъ знакомымъ, и своей прислугѣ, что есть Богъ и его законъ, и что тѣ, которые не будутъ соблюдать его, погибнутъ и будутъ жестоко наказаны въ будущей жизни. Онъ внушалъ это даже своему сыну, дѣлая видъ, что забылъ все, что говорилъ съ нимъ, или что раскаивался въ этомъ.

Съ самаго того срока, 12-го августа, когда онъ увѣрился въ томъ, что ему бояться нечего и некого, что Бога нѣтъ, и что теперь ничто ему не помѣшаетъ жить вполнѣ въ свое удовольствіе, не только отпали всѣ его удовольствія, но изъ всѣхъ удовольствій сдѣлались мученія. Страхъ убійства, отравленія, обмана, самыхъ страшныхъ преступленій въ своей семьѣ и между своими домочадцами не оставлялъ его. Онъ подозрѣвалъ всякаго человѣка во всѣхъ самыхъ ужасныхъ замыслахъ, и боялся, и ненавидѣлъ всякаго человѣка, и жену, и сына, и дочь, и всѣхъ людей. Даже маленькіе внуки его, которыхъ онъ прежде любилъ, теперь казались ему злыми звѣрками. Ему казалось, что они такъ же ненавидятъ его, какъ онъ ненавидѣлъ людей. Чтобы спасаться отъ своего страха, онъ дѣлалъ, не переставая, два дѣла: первое, принималъ мѣры осторожности противъ всѣхъ людей; второе, внушалъ людямъ, что есть Богъ, судъ Божій. Онъ считалъ, что его спасеніе въ томъ, чтобы увѣрить людей въ томъ, во что онъ самъ не вѣрилъ. Состояніе его, которое все увеличивалось, уже не радовало, но пугало его. Семейные были его враги. Простыхъ радостей—ѣды, питья, сна, и тѣхъ у него не было. Онъ во всемъ подозрѣвалъ злые противъ себя замыслы.

Такъ прожилъ несчастный Трофимъ еще болѣе десяти лѣтъ. Странности его были всѣмъ видны, но страданій его никто не видалъ. А страданія его были велики. Страданія его были главное въ томъ, что жизнь его—онъ чувствовалъ—была испорчена страхомъ, который обуялъ его,

а поправить ее онъ никакъ не могъ, никакъ не могъ освободиться отъ страха, а между тѣмъ то, чего онъ боялся, надвигалось все ближе и ближе.

Такъ промаялся Трофимъ 12 лѣтъ, и одинъ разъ, придя отъ обѣдни и позавтракавъ у себя въ комнатѣ и выпивъ вина, запертаго у него въ шкапу, онъ легъ спать и больше не проснулся. Смерть Трофима была внезапная и легкая.

Богатый гробъ Трофима повезли на кладбище Александро-Невской Лавры. За гробомъ шла толпа знакомыхъ, ѣздившихъ на богатые обѣды и ужины богача-золотопромышленника. Одинъ проповѣдникъ, славившійся тогда въ Петербургѣ даромъ краснорѣчія, произнесъ надгробное слово и много говорилъ о добродѣтели, благочестіи и счастливой жизни усопшаго. Никто, кромѣ Бога, не зналъ о преступленіи Трофима, ни о томъ, какое наказаніе постигло его съ той минуты, какъ онъ потерялъ въ себѣ Бога.

Левъ Толстой.

* * *

Смотри, какъ много парусовъ
Въ морской безбрежности бѣлѣетъ;
Имъ путь средь волнъ равно готовъ,
Ихъ солнца лучъ равно лелѣетъ...

Они летятъ къ своей судьбѣ:
Иные пристани достигнутъ,
Другіе—въ роковой борьбѣ—
Въ бездонной пропасти погибнутъ...

И броненосный великанъ,
И челнъ—перстомъ судьбы отмѣченъ:
А онъ—великій океанъ—
Спокоенъ, грозенъ, безконеченъ...

Гр. П. Капнистъ.

*
* *

...Вчера въ степи я слышалъ отдаленный
Крикъ журавлей. И дико, и легко
Онъ прозвенѣлъ надъ тихими полями
Веселою и гордою свободой...
Путь добрый! Имъ не жалко насъ:
И новая цвѣтущая природа,
И новая весна ихъ ожидаетъ
За синими, за теплыми морями,
А здѣсь... здѣсь умираетъ все:
Засохла степь, лѣсъ глохнетъ и желтѣетъ,
Осенній вѣтеръ, тучи нагоняя,
Открылъ въ кустахъ звѣриные лазы,
Листвой засыпалъ долы и овраги,
И по ночамъ въ ихъ черной темнотѣ,
Подъ шумъ деревьевъ, свѣчками мерцаютъ,
Таинственно блуждая, волчьи очи...

Да, край родной не веселитъ теперь!...
И все-таки, кочующія птицы,
Не пробуждаетъ зависти во мнѣ
Вашъ звонкій крикъ, и гордый, и свободный!
Въ былые дни и я былъ вольной птицей,
И мнѣ, какъ вамъ, былъ тѣсенъ край родной,
И вѣчная весна меня манила...
Я счастливъ былъ... Зачѣмъ же это счастье
Прошло такъ скоро? Отчего мнѣ жаль
Васъ, перелетныя, кочующія птицы?...

Здѣсь грустно. Близится ненастная пора,
Когда въ степи сѣдой туманъ ночуетъ,
Когда во мглѣ разсвѣтъ едва бѣлѣетъ
И пашня лишь чернѣетъ сквозь туманъ.
Но я люблю, кочующія птицы,
Родныя степи. Бѣдныя селенья —
Моя отчизна; я вернулся къ ней,
Усталый отъ скитаній одинокихъ,

Какъ хорошо, кочующія птицы,
Тогда у насъ! Какъ весело и грустно
Въ нѣмомъ лѣсу межъ черными вѣтвями,
Межъ золотыми листьями березъ
Синѣетъ наше ласковое небо!

Я въ эти дни люблю бродить, вдыхая
Осинниковъ поблекшихъ ароматъ
И слушая дроздовъ веселыхъ крики;
Люблю уйти одинъ на дальній хуторъ,
Смотрѣть, какъ озимь мягко зеленѣетъ,
Какъ бархатомъ блестятъ на солнцѣ пашни,
А вдалекѣ, на жнивьяхъ золотыхъ,
Стоитъ туманъ, прозрачный и лазурный.

Мнѣ вспоминается тогда моя весна —
Мечты любви и юности далекой,
Когда я васъ, кочующія птицы,
Съ такою грустью къ югу провожалъ.
Мнѣ вспоминается былое счастье,
Былые дни... Но мнѣ не жаль былого:
Я не грущу, какъ прежде, о быломъ, —
Оно живетъ въ моемъ безмолвномъ сердцѣ,
А міръ вездѣ сіяетъ красотой.
Мнѣ въ немъ теперь все дорого и мило:
И блескъ весны за синими морями,
И сѣверныя скудныя поля,

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

Предисловіе I
26 мая 1898 года III

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

Чтенія на торжественномъ собраніи Общества Любителей Россійской Словесности, 8 апрѣля 1898 г., въ память В. Г. Бѣлинскаго:

Памяти Бѣлинскаго. *Н. И. Стороженко* 1
Бѣлинскій, какъ русскій культурно-историческій типъ. *И. И. Иванова* . 8
Бѣлинскій, его друзья и враги. *В. Е. Якушкина* 24
„Orlando furioso". *А. Н. Веселовскаго* 45
Бѣлинскій и эпоха реформъ. *Г. А. Джаншіева* 56
Бѣлинскій, какъ педагогъ. *В. П. Острогорскаго* 67
Бѣлинскій—драматургъ. *Н. К. Михайловскаго* 73
Отличительная особенность критики Бѣлинскаго. *Д. Н. Овсянико-Куликовскаго* . 81
Гегель и Бѣлинскій объ искусствѣ. *М. М. Филиппова* 91

Матеріалы для біографіи Бѣлинскаго:

Пребываніе въ Московскомъ университетѣ. *А. Н. Пыпина* 107
Записки и письмо Бѣлинскаго къ А. П. Ефремову 113
Письма Бѣлинскаго къ женѣ, 1846 г. 119

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

Ты побѣдилъ, Галилеянинъ! Стихотвореніе *К. Р.* 159
„Былыя радости!... Какъ нынѣ". Стих. *А. М. Жемчужникова* 160
Три разсказа (Ораторъ, Неосторожность, Въ банѣ) *А. П. Чехова* 161
Изъ Ады Негри. Пожаръ въ шахтѣ. Стих. *О. М. Чюминой* 171
П. С. Мочаловъ въ жизни и на сценѣ. *Кн. А. И. Сумбатова* 175
Памяти В. Г. Бѣлинскаго. Стих. *В. Н. Ладыженскаго* 190
Сонъ. Изъ воспоминаній одного маленькаго человѣка. *Н. Н. Златовратскаго* . 191
Метель. Стих. *М. А. Лохвицкой* 202
Дѣдъ. Разсказъ. *О. А. Шапиръ* 203
Здравый смыслъ. Стих. *Я. П. Полонскаго* 230
Нужда. Наброски изъ жизни переселенцевъ. *Н. Д. Телешова* 233
Памяти В. Г. Бѣлинскаго. Стих. *Е. Чернобаева* 240

Стр.
Смерть Натальи Алекс. Герценъ. *Е. С. Некрасовой* 241
Ракита и вѣтеръ. Стих. *Н. А. Панова*. 246
Сказка объ Иванушкѣ-дурачкѣ и братѣ его, премудромъ Кузьмѣ. *П. В. Засодимскаго*. 247
„Я въ мірѣ грезъ не зналъ прекраснѣе одной“. Стих. *П. Я.* 254
Два „похода“ Эмиля Золя. *К. К. Арсеньева*. 255
Тѣнь. Изъ одного дневника. *Л. Мельшина* 265
Памяти В. Г. Бѣлинскаго. Стих. *А. Лукьянова* 278
Символисты и декаденты. Психіатрическій этюдъ. Д-ра *Н. Н. Баженова* . . . 279
Тишина. Стих. *Гр. П. Каннисга*. 312
Мотя. Наброски карандашемъ. *А. С. Шабельской* 313
Часы съ цѣпочкой. Изъ папки этюдовъ. *А. А. Лугового* 321
Жизнь. Стих. *Н. И. Тимковскаго*. 326
Огюстъ Контъ, какъ основатель соціологіи. *Н. И. Карѣева* 329
„Мой другъ, есть радость и любовь“. Стих. *К. Д. Бальмонта* 341
„Отцвѣли—о, давно!—отцвѣли“. Стих. *Его же*. 342
Фольклоръ и его изученіе. *В. В. Лесевича*. 343
„Бояться надо намъ...“ Стих. *Т. Л. Щепкиной-Куперникъ*. 350
Нѣсколько словъ о Тургеневѣ, какъ поэтѣ. *В. А. Гольцева*. 351
„Они давно уже почили“. Стих. *Е. А. Морозова*. 356

Изъ переписки русскихъ писателей:

Письма И. С. Тургенева, П. В. Анненкова, гр. А. К. Толстого и И. А. Гончарова къ редактору „Вѣстника Европы“ (1874 годъ). *М. М. Стасюлевича*. 357
Письма М. Е. Салтыкова къ И. С. Тургеневу 382
Письма Н. А. Некрасова къ И. К. Бабсту и А. В. Дружинину 385
Письмо Н. Г. Чернышевскаго къ И. К. Бабсту. 388
Стихотвореніе Ив. Ив. Лажечникова. *А. О. Кони*. 390
Профессія писателя. Отрывокъ. *Л. З. Слонимскаго* 392
Учительница. Стих. *Н. А. Чудова* 397
Происхожденіе идеи долга. *М. М. Ковалевскаго*. 401
Русской женщинѣ. Стих. *Т. Л. Щепкиной-Куперникъ*. 413
Драма. Очеркъ. *Н. И. Тимковскаго* 415
Жвирблисъ. Сказка. *Н. А. Чудова* 428
Идеалистическія настроенія въ поэмѣ „Демонъ“. *С. Д. Махалова* 433
Веймаръ. Изъ путевыхъ впечатлѣній. *Н. П. Анненковой-Бернаръ* 445
На разстояніи полувѣка. Бальзакъ, Чеховъ и Короленко о крестьянахъ. *Ѳ. Д. Батюшкова* 449
Сентъ-Бёвъ, Мишель и Жоржъ-Сандъ. *В. Д. Каренина*. 486
Эволюція личности у женщинъ, по типамъ Ибсена. *Л. Е. Оболенскаго*. . . . 520
Окончаніе малороссійской легенды: „Сорокъ лѣтъ“. *Гр. Л. Н. Толстого* . . . 559
„Смотри, какъ много парусовъ“. Стих. *Гр. П. Каннисга*. 564
„Вчера въ степи“. Стих. *И. А. Бунина*. 565

PG 3321 .B4 P41
Pamiati V.G. BielinskagANT6912
Hoover Institution Library
3 6105 082 796 090